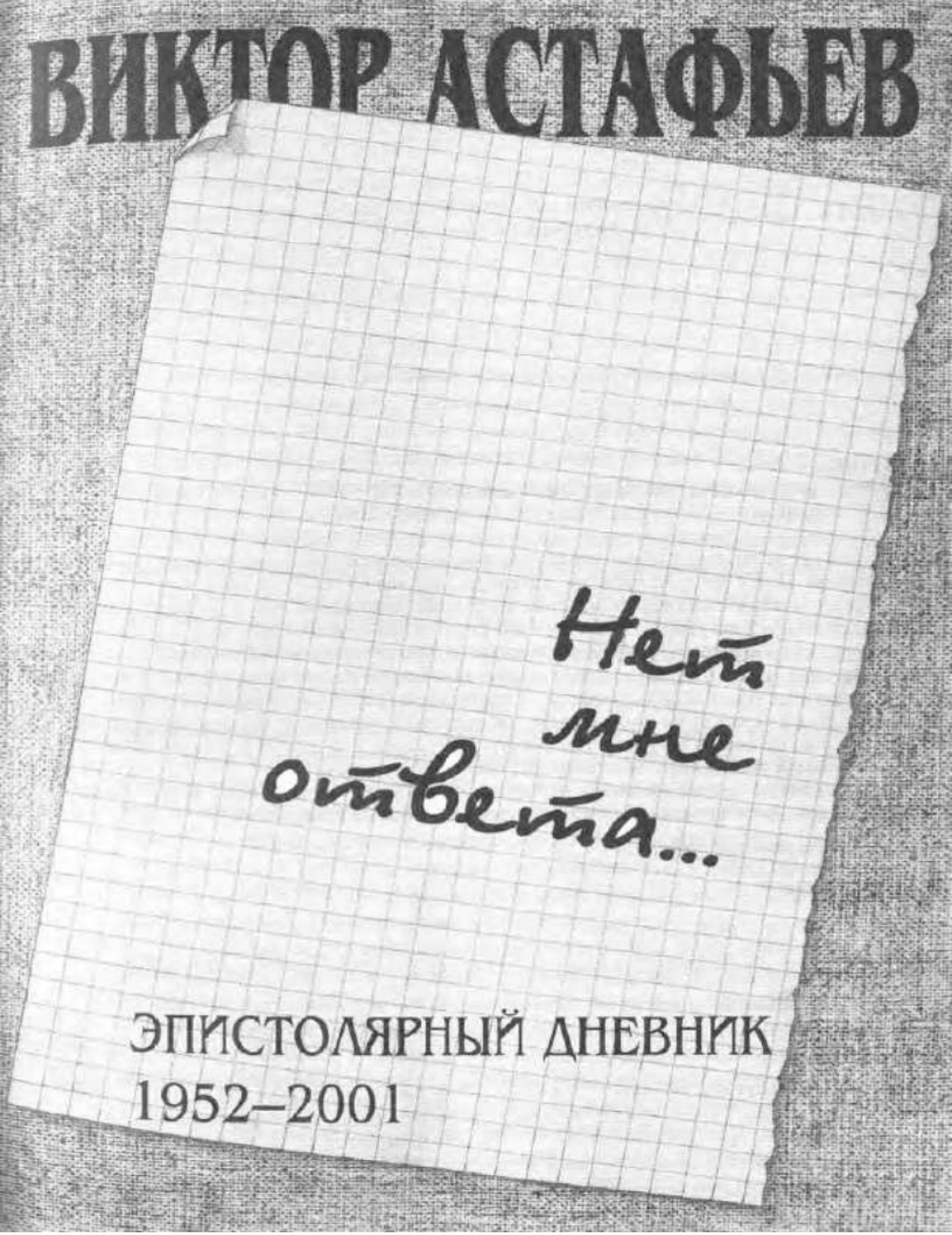
ВИКТОР АСТАФЬЕВ



SHOUT
SHARE
IT

УДК 821
ББК 83.3(2=Рус)7
А 91
Составитель Геннадий Сапронов
Художник Сергей Элоян

Астафьев В.П.
А 91 Нет мне ответа... Эпистолярный дневник 1952—2001 / Сост., предисл. Г. Сапронова. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2009. — 720 с.: ил.

Книга представляет собой эпистолярный дневник большого русского писателя Виктора Петровича Астафьева. Дневник, составленный из нескольких сотен его писем, почти ежедневно из года в год отправляемых им в разные уголки страны родным и друзьям, собратьям по перу, начинающим авторам, в издательства и редакции литературных журналов. В них с предельной искренностью и откровенной прямотой отразилась жизнь выдающегося мастера слова на протяжении пятидесяти лет: его радости и огорчения, победы и утраты, глубина духовного мира и секреты творческой лаборатории прозаика. В них страдающая мысль и горестные раздумья сына своего Отечества о судьбе его многострадальной Родины и её народа, великой частицей которого он был.

Большинство писем Виктора Астафьева публикуются впервые. Книга широко проиллюстрирована фотографиями из семейного архива писателя.

ISBN 978-5-94535-107-3
© Астафьев В.П., наследники, 2009
© Элоян С.Н., оформление, 2009
© Сапронов Г.К., предисловие, составление, 2009
© Сапронов Г.К., издатель, 2009

Вечно Наш

Когда бываю в Красноярске, я всегда еду в Овсянку к Виктору Петровичу — пройтись по его селу, заглянуть в его домик, зайти в его библиотеку, в его церквушку и обязательно поднимаюсь к нему на Манскую гору, где у подножья раскидистых берёз, растущих из одного корня, на бывшей крестьянской пашне, окружённый красотой енисейских гор нашёл он упокоение рядом с дочерью и с земляками посреди России.

Виктор Петрович явился на свет 1 мая 1924 года в день памяти воина-мученика Виктора, а, пройдя через сиротство, бездомность, кровь, раны и грязь войны, через цепь нескончаемых наших «гражданских» войн, перенеся всю боль и каторжные муки писательского труда, оставил нас поутру 29 ноября 2001 года, в день памяти евангелиста Матфея. И каждый раз, глядя на полированную черноту каменного надгробия, где золотом озорной извилистой линии такого родного почерка высечен его автограф, а внизу, на отдельной плите, указаны годы его жизни, возвращаюсь к мысли, уколовшей меня в тот далёкий студёный день прощания с ним, когда я впервые увидел эти стоящие рядом даты: 1924 — 2001. Мысли о том, что жизнь человека — это и есть маленькая чёрточка между двумя датами, и что нет в ней ничего случайного — всё исполнено глубокого смысла: и каждая дата, и длина этой чёрточки. Вот и эта книга, которая составлялась все восемь лет после его ухода, тоже есть эта чёрточка, вместившая в себя его жизнь, его боли и радости, сомнения, разочарования и открытия.

Он никогда не вёл дневниковых записей. У него была изумительная память, поражавшая своей глубиной и необъятностью. В ней умещались не только полчища имён и дат, но и названия сотен земных существ и растений, их краски и запахи, несчётное количество поэтических строк и мелодий музыкальных шедевров, глубинное знание быта людей, природных явлений — все детали и оттенки жизни. «У меня до войны была редкостная память, — писал он в одном из писем Валентину Курбатову, — которая меня избаловала до того, что я ничего другого делать не хотел — ни учиться, ни трудиться — мне всё давалось «просто так». Маленький, совсем малограмотный, я уже сочинял стихи и разного рода истории, за что в ФЗО и на войне меня любили и даже с плацдарма вытащили, но там, на плацдарме, осталась половина меня — моей памяти, один глаз, половина веры, половина бездумности, и полностью остался мальчик, который долго во мне удобно жил, весёлый, глазастый и неунывающий. Работа в литературе, огромное перенапряжение самого себя (ведь одновременно и грамоту, и всё-всё надо было постигать самостоятельно) так меня

износили, что потекли остатки памяти, но и с половиной того, что было, что не отшибло на войне, жил я вольно и припеваючи никогда много не записывал, сочинённое в лесу год-полтора назад восстанавливал до звука, когда доходило в писанине именно до этого, где-то сочинённого места».

Помню, Виктор Петрович доставал иногда крохотный блокнотик, в котором лишь одному ему понятным «шифром», буквально несколькими буквами отмечал только что увиденное, услышанное или что-то вспомнившееся. Этих словесных крючочков вполне хватало ему, чтобы при необходимости выудить из памяти нужную деталь или точное слово.

Когда в 2002 году вышла книга переписки В. Астафьева и В. Курбатова «Крест бесконечный», меня, составившего её, и Валентина Яковлевича, давшего согласие на публикацию своих писем, не все тогда поняли. Говорилось, что не надо было столь поспешно публиковать эти письма, что прошло ещё крохотно мало времени, удаляющего нас от дня кончины Виктора Петровича, что должно отойти поколение, когда в дело вступит история и тогда — всё можно и ничего не страшно... Но я понимал, что переписка этих двух замечательных людей, за нас несущих крест бесконечных поисков причин бед и горестей, происходящих с нами, поисков ответов на вопросы, мучающие нас, будет важна не только литературоведам. Она будет важна, может быть, в первую очередь простым людям, пока ещё что-то читающим, над чем-то ещё размышляющим в этой слетевшей со всех колёс и опор жизни. И широкий читательский интерес к книге, не ослабевающий и по сей день (о ней по-прежнему говорят, спорят, цитируют её авторов), подтвердил это и всё расставил на свои места, а многие наши бывшие оппоненты согласились, что с поколением уйдём и мы, знавшие и любившие Виктора Петровича, и пытливый литературный исследователь никогда не заменит нас, сегодня сохраняющих живую память о нём, искренне желающих поделиться первоисточным знанием, честно выполнить свой долг перед навсегда ушедшим другом.

Сразу после выхода в свет «Креста бесконечного», а вслед за ней книги «Твердь и посох» (переписки Виктора Петровича с его другом и критиком Александром Николаевичем Макаровым) ко мне из многих уголков России начали стекаться астафьевские письма от людей, с которыми у Виктора Петровича в разные годы была большая иль малая переписка. Иногда это могло быть всего лишь одно письмо, как, к примеру, Валентину Непомнящему, которое Виктор Петрович написал, не будучи с ним лично знаком, а просто по-человечески неравнодушно откликнулся на его публикацию о Пушкине в «Литературной газете». И таких

«разовых» посланий было немало. Люди присылали копии писем Астафьева, как, может, самую дорогую в их жизни реликвию, нередко сопровождая их полезным и душевным пояснением, Я понимал, что это был и отклик на выход «Креста бесконечного», и что люди делают это не из желания отметиться в тени знаменитого имени, а искренне хотят мне помочь в многотрудной работе по собиранию эпистолярного наследия классика

И когда объём этих писем достиг некой «критической» массы, разместив их по полочкам-годам в хронологическую шеренгу, я увидел — это и есть дневник Виктора Петровича, который он по листочку изо дня в день, из года в год посылал разным людям во все концы страны, да и за её пределы тоже. Сам был не раз свидетелем тому, как он, отложив свои литературные дела, разгребая завалы накопившейся почты, отвечал в день сразу на несколько писем. А иногда и само писание письма приносило ему удовлетворение — отвлекало от тяжкого труда, «переключало» что-то внутри, настраивая на дорогие воспоминания, на желание поделиться с близким человеком радостью, а то и огорчением.

Казалось, жизнь делала всё, чтобы не было у нас такого писателя — изувечила его детство, кинула в мясорубку войны, добивала вернувшегося с фронта солдата послевоенной нищетой и голодухой, мучила сознание идеологическими догмами, кромсала безжалостным цензурным скальпелем лучшие строки. Он выстоял! Не сделался ни озлобленным обывателем, ни диссидентом с кукишем в кармане, ни литературным барином вроде тех, чьи имена как-то мгновенно исчезли и забылись в наши дни. Он всегда оставался самим собой, не считаясь с пустыми и бездарными мнениями, с «веяниями» времени, с навязываемыми нормами. Астафьев сам по себе был и норма, и правило и, как доказало время, стал истинно национальным писателем в самом высоком смысле этого трудного понятия.

Все мы, кто знал его, был в переписке с ним, дружил с ним, как-то привыкли к тому, что есть вот такой у нас Виктор Петрович — мудрый, весёлый, рассудительный, горячий. Мы могли написать ему письмо и быть уверенными, что обязательно получим ответ. Могли запросто позвонить или зайти в гости, порой забывая, что отвлекаем его от работы, ломаем творческий настрой. Ибо мы всегда знали, что есть человек, на которого хотелось равняться, доверять ему свои сомнения, перед которым может быть стыдно, и который всегда ответит на твои «глобальные» вопросы. Хотя знаю, что жаждой своей услышать от него однозначный ответ на мучившие всех вопросы многие люди смущали его: «Кабы знал я ответ на вопрос, как жить, я бы написал его на листовках и разбросал с вертолёта...»

И всё же пока он был на земле, меня не покидало ощущение духовного порядка. Съездить к нему в Красноярск, поговорить в тиши писательского кабинетика, посидеть под его любимым кедром в маленьком овсянском дворике — как причаститься, прочитать его новую повесть или рассказ — как глаза промыть и заново почувствовать жизнь с её реальными ценностями и заботами. И потому именно к нему, в Овсянку, словно к жившему в свете Евангелия оптинскому старцу, устремлялись все - от провинциальной учительницы, тащившей из иркутской дали своих учеников, до академиков, народных артистов и президентов. Просто он был Астафьевым — чьим именем, без всяких регалий и званий, называлась эпоха, в которой все мы жили.

Его письма не просто искренни, они во многом исповедальны. Перед нами как на глазах вырастает великий писатель и мощный прямой и свободный человек. Однако тут же понимаешь, что это в письмах всё так внешне быстро и просто, что они для тебя лишь мелькающие кадры, за которыми большая, тяжкая, полная драматизма жизнь и судьба Богом одарённого и бесконечно трудолюбивого человека. И потому мы ещё долго будем постигать уроки этой жизни, преподанные нам мудрым учителем. И не только уроки литературы. Астафьев учил нас прежде всего свободе и сам был свободным — и в жизни, и в творчестве. Помню, на одной из встреч его спросили: «Как стать свободным человеком?» Виктор Петрович с улыбкой ответил: «Начните с того, что перестаньте врать самому себе и прогибаться перед начальником».

Усталый, больной, иструдивший душу до дна, он каждое утро садился за рабочий стол, чтобы не только успеть дописать задуманное (сколько ещё осталось нерождённых сюжетов и героев, с которыми нам уже никогда не встретиться!), но и для того, чтобы честно заработать свой хлеб, кормить семью, поднимать сирот-внуков, помогать сыну и его семье. «Какая тяжкая, сжигающая нас, как на огне, наша работа! Да мало кто знает об этом — видят лишь, когда шляемся, пьём и Ваньку валяем!» — пишет он в отчаянии Александру Макарову. А в другом письме: «...даже кувалда, которой я в своё время орудовал в литейном цехе, не брала столько здоровья и не выматывала так. как «лёгонькое» писательское перо, Но и, конечно же, ни одна работа и не приносила мне столько счастья и восторга, как это литературное дело. Когда вдруг из ничего, из обыкновенного пузырька с чернилами извлечёшь что-то похожее на жизнь, воссоздашь из слов дорогую себе, а иногда и другим людям картинку или характер и замрёшь, как художник перед полотном,

поражённый этим волшебством — ведь из ничего получилось! Господи! Да неужели это я сделал?»

В постперестроечное время о нём писали и говорили много и по-разному — от наодеколоненных фраз («Наша совесть... Наш свет... Наше всё...») до словесных нечистот злобы («Клеветник... Очернитель... Приспособленец...»). В последнем особенно преуспевали те, кого он просто выкормил с щедрой писательской руки — давал рекомендации в Союз писателей, писал предисловия к книгам, проталкивал их «шедевры» в журналах и издательствах, потому что всегда верил в добро. «Я, конечно, знал цену их творениям. — говорил он мне позже, — но когда-то и мне, полуграмотному и литературно несовершенному, помогали добрые люди. Что поделать, если в этих оказалось больше зла, чем таланта»,

И никогда не жаловался на журнально-газетную истерию, разве самым близким людям, чаще всего и не отвечал на эти крысиные укусы. Так было и с историей, раздутой вокруг рассказа «Ловля пескарей в Грузии», и с резонансом на его единственный и откровенный ответ на письмо Н. Эйдельмана — до сих пор желающие возводят его до «высот» их якобы переписки (такое впечатление, что она и сегодня меж ними продолжается). Конечно, бесследно всё это не прошло и, несомненно, сократило его земные дни.

«Это не может не влиять на писателя, — говорил он мне в одной из наших последних с ним бесед. — На исходе жизни задаешь себе вопрос: зачем? Зачем я жил, зачем работал, зачем круглыми сутками горбился за столом? Люди от этого лучше стали? Мир улучшился? Зачем эти миллионы книг, картин, написанных нищими художниками, которые шли под пули, на расстрел, на костёр, — зачем они создавались? Когда эти вопросы подступают к тебе — становится страшно жить».

Последний год его жизни был омрачён безобразной выходкой, которую учинили депутаты-коммунисты краевого Законодательного собрания. Они проголосовали против того, чтобы тяжело больной, умирающий писатель-Фронтовик получал к пенсии от своих земляков прибавку в три с половиной тысячи рублей. Случилось всё, как в недалёкие памятные времена — с писателем попытались свести счёты «от имени народа».

Коммунистам, конечно, всегда было за что не любить Астафьева. Речь не о тех рядовых коммунистах, которые, как и он сам, кормили вшей в окопах войны, а потом поднимали страну из разрухи — этим людям обижаться на писателя не за что. Они для него — народ, тот самый народ, который в своём творчестве он защищал каждой строкой. Просто правда всегда приходится по

нраву не всем. «Я порой думаю, — писал он, — неужели тяжкие времена и страшные беды нас, русский народ, ничему не научили? Неужели желающие нового помрачения российского разума, новой свалки и братоубийства снова зачернят здравый смысл, с таким трудом, через такое горе, такие громадные потери к нам возвращающийся? Новой смуты, ещё одной свалки нам не пережить, не хватит на это наших ослабевших, редеющих рядов, повреждённого, если не надорвавшегося, российского здоровья. Не поддавайтесь сатанинским силам, русские люди! Постарайтесь жить по справедливости, быть милосердными друг к другу и нетерпимыми ко злу, разрушающему души...»

Конечно, не все письма Виктора Петровича удалось собрать. Это просто невозможно. Я знаю, тысячи их частичками его души развеяно на просторах Родины. Но даже те, что вошли в этот объёмный том, вобрали в себя полвека жизни не только самого Виктора Петровича, но и сотен тех, с кем он общался, дружил, о ком переживал, кому спешил подставить плечо.

«Душа хотела б быть звездой» — поставил он строчку из Тютчева эпиграфом к своей «попытке исповеди» «Из тихого света. Душа Астафьева, звезда Астафьева будет вечно светить настоящим и будущим его читателям. И он вечно будет наш, как вечны будут и эти, полные добра, любви и сострадания, его эпистолярные строки.

Много, очень много больных и важных вопросов оставил нам Виктор Петрович. Он и сам всю жизнь ими терзался, так и не найдя ответа на многие. Вот и тебе, читатель, листая сегодня этот своеобразный эпистолярный дневник, мучиться неравнодушной душой и искать ответы на эти непростые вопросы. Мучиться самому и ответы искать в самом себе, потому как адресат его писем теперь навсегда — все мы.

Это будет нелёгкое чтение и проверка для нас, сегодняшних. Кто мы? Где мы сейчас? Что осталось от прошедшего времени? Что в нас сбылось, а что, увы, кануло в Лету? И справедливо ли кануло? И может, нам всё же ухватиться за его правду, горько, а где и озорно сказанную нам? Ведь правда его вопрошает и мучает нас. И значит, она жива.

Геннадий Сапронов

ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ДНЕВНИК 1952-2001

1952

9 декабря 1952
Чусовой
(В.А.Черненко)

Многоуважаемый Владимир Александрович!

После разговора с Вами пришёл с работы и ознакомился с отредактированным рассказом *[речь идёт о рассказе «Тимкоуль». — Сост.]*. Вы совершенно правильно сделали, что заменили у него название. Я, откровенно говоря, даже не задумывался над заголовком, а теперь понял, что стоило подумать как следует. С Вашей правкой согласен полностью, кое-что я уже и своим «нюхом» учуял, переделал, но многое пригодится. А вообще даже отредактированный вариант бледен по сравнению с тем, который имеется сейчас у меня. Ну ничего, утешает, что в сборнике будет рассказ лучше *[речь идёт о первом сборнике рассказов В. П. Астафьева «До будущей весны», который выйдет в Молотовском книжном издательстве в 1953 г. — Сост.]*.

Прошу Вас, Владимир Александрович, исправить всюду слово «байя» на «бойс». Я, как видите, написал его по слуху и неверно. Слышится «а», но пишется «о». Мне думается, лучше заменить слово «аргиш» простым словом «переход». Колорит достигается не употреблением северных слов, а речевой интонацией. Я зто понял позднее, и теперь у меня северяне говорят по-северному, а не как закоренелые русаки. Кажется мне, что последняя фраза в рассказе лучше будет звучать так: «Это ладно. Надо такие подписи у сердца хранить» (слова Айгичема). Можно и слово «сокуй» пустить без пояснений, а написать так: «Тимкоуль через голову натянул меховую доху-сокуй...», и, по-моему, будет понятно. Вот, в основном, у меня и все замечания по тому тексту, который Вы прислали.

Насчёт «Гражданского человека» я подумал, и, пожалуй. Вы правы. Именно таким рассказом следует открывать сборник. Он будет преддверием от человека, тоскующего на войне по мирному труду, к людям, занимающимся мирным трудом, защищающим мир. Но вот беда, у меня дома нет никакого текста этого рассказа. Восстановить же по памяти я его не смогу, так как он написан давно. Если у вас имеется какой-нибудь текст «Гражданского человека», вышлите мне, пожалуйста.

Работа над сборником продвигается успешно. Сейчас потею над последним рассказом «В одном ряду». Хочу написать короткий-короткий рассказ, но пока не получается, мучает многословие. Трудно судить о своих произведениях, но, кажется, один рассказ я сделал ничего, во всяком случае, меня трогает. Это рассказ «В новую семью». Может быть, он получился лучше других потому, что тема близка сердцу и выдумки в нём нет.

Ну, я, кажется, расписался. Закругляюсь. Привет всем вашим коллегам и пожелание успехов в труде. С приветом.

В. Астафьев

1953

6 июня 1953 г.

Чусовой

(В.А.Черненко)

Дорогой Володя!

Ждали мы от вас обещанное, рассердились и.родили сами разворот *[речь идёт о литературной странице в газете «Чусовской рабочий». — Сост.]*. Правда, шапка у разворота не совсем скромная, но спорить с начальством — дело тяжёлое, и я вынужден был отступить. Надо было писать «начинающих авторов», а не писателей.

Между прочим, открыли мы нового автора — Белугина. Люди читали его повесть И называли талантливым. Вчера и я прочитал её, и тоже присоединяюсь к этому мнению. Парень одарённый. Работает он крановщиком в мартеновском цехе, бывший моряк. Сейчас у нас начал работать литкружок, и мы эту повесть Белугина будем обсуждать. После чего, очевидно, он её доработает и мы её отправим в Союз *[имеется в виду Пермское отделение СП СССР. — Сост.]*. Ещё этот автор работает над повестью из жизни завода, так что он заслуживает внимания и писательской организации, и издательства. Поговори о нём с Людмилой Сергеевной *[Римской. — Сост.]* и с Клавдией Васильевной *[Рождественской. — Сост.]*. покажи наш разворот и напиши, когда нужно будет выслать повесть Белугина, чтобы её обсудили в издательстве. Она небольшая, всего 73 страницы.

Да, неплохо было бы, если бы в отношении работы кружка нам дали кое-какие указания (пока он работает при редакции, без руководителя и всяких инструкций, но, надо сказать, более активно, чем раньше). Ну, будь здоров, спешу тут на одно собранье. Пиши. Крепко жму руку.

В. Астафьев

1953 г.

Чусовой

(В.А.Черненко)

Здравствуй, дорогой Володя!

Сейчас только моя жена прислала мне на работу твоё письмо и рассказ. Пишу коротенький ответ. «Королёва» *[имеется в виду*

рассказ «Тот самый Королёв». — Сост.] я отослал с Поповым, он позавчера был в издательстве (только не мог увидеться с тобой), а Рождественская в тот день болела, но стихи он передал и мою писанину Вагнеру тоже.

Насчёт твоих вопросов. Я лично склонен к тому, чтобы ты включил «Кандидатскую карточку» *[здесь и далее в письме названия рассказов. — Сост.]* и "Кузнецовку", но смотри сам. Насчёт «Магарыча» я полностью «за». А вот насчёт «Земляники» стоит подумать. Не лучше ли будет рассказ с уральской темой «До будущей весны»? Но я полагаюсь на твоё чутьё и буду согласен с тем, что покажется тебе лучшим. Я, право, сейчас, кроме «Магарыча», не знаю, как оценить свои рассказы.

Вообще, конечно, пока страшновато печататься в другой области. Словом, и страшновато, и заманчиво. Но всё, что ни совершается, к лучшему, если даже один рассказ напечатают, и то хорошо.

Я после твоего отъезда в тот же день съездил в командировку в Пашню *[рабочий посёлок в Пермской области. — Сост.]*, собрал интересный материал для очерка, но пока за него не принимался, запутался в домашних делах.

Да! Набросал один детский рассказ в период командировки. Думаю, все рассказы писать от лица мальчишки, чтобы не подделываться под ребячий тон.

Ну, Володя, будь здоров. Виктор

1953 г.
Чусовой
(В.А.Черненко)

Добрый день, дорогой Володя!

Получил твоё письмо и рукопись. Ждал письма с нетерпением и волнением, всё ещё в был в великих сомнениях насчёт сборника *[имеется виду сборник рассказов «До будущей весны».- Сост.]*. Жалковато, как и любому смертному, своё произведение, выкинутое из сборника. Ну да, может быть, это и к лучшему, авось сделаю из него что-то порядочное. В общем, когда ты поедешь к нам. захвати, пожалуйста, исправленный экземпляр этого мученого рассказа. Посмотрел «Землянику» *[здесь и далее в письме названия рассказов. — Сост.]*. Рассказ стал лучше. Но как бы и меня не стали звать захребетником, вроде ставропольских писателей, за которых дописывают редакторы. Если такой правке подверглась только «Земляника», то я считаю, что это ещё не беда, но если все рассказы, признаюсь, мне будет совестно называть книжку своей. «Дерево без корней» — это хорошо и даже здорово. Только скудоумие моё помешало мне найти эту строчку

в рассказе для названия.

Интересно мне узнать, Володя, когда приблизительно наберут мою книжку? А ещё интереснее узнать, когда вышлют аванс, ибо в деньгах имею большую нужду. Если сумеешь ускорить это дело, буду очень благодарен тебе. Ну, это между нами, издержать деньги всегда, конечно, успею. Машинку пишущую хочу купить, и поэтому хотел бы поскорее получить гроши. В общем, пока рад и тому, что книжка прошла все стадии перед набором. Гора с плеч.

Ходил один раз на рыбалку, клюёт хорошо, давай приезжай скорее. В огороде редиска и лук поспели. Ы-ых, хороша закуска!

Ну, будь здоров. Держи меня в курсе дел (с книжкой), передай большой привет Надежде Николаевне *[Арбеневой. — Сост.]*, Владимиру Васильевичу *[Воловинскому. — Сост.]*, Лёвке *[Давыдычеву. — Сост.]* и всем, всем. Крепко жму руку. Виктор

P. S. Обязательно позвони, когда поедете, чтобы встретить вас, а то ещё нападут чусовские бандиты.

16 ноября 1953 г.
Чусовой
(В.А.Черненко)

Здравствуй, дорогой Володя!

Всё собирался тебе черкнуть, да тут мы сколотили литературную страницу *[литературная страница выходила в воскресном номере газеты «Чусовской рабочий». — Сост.]*, хотели попутно выслать и её. Однако материалы с пресс-конференции вытеснили нашу страницу, и её отложили до следующего выходного, поэтому пишу, не дожидаясь номера.

Ну, первое, что меня интересует, ты уже, наверное, догадываешься, книга, конечно *[речь идёт о книге «До будущей весны». — Сост.]*. Сегодня шешнадцатое, а моя «будущая весна» всё ещё не зацвела. Не бачу я её, что с ней, горемышной? Идёт она или нового года дожидаться? Успокой душу любителя вёсен, напиши, долго ли ещё будет осень? Это одно, Теперь немножко о себе. Штуку ту, о которой тебе говорил, вчера закончил и, как только Марья *[Мария Семёновна Корякина-Астафьева, жена писателя. — Сост.]* напечатает, вышлю тебе читать. Рассказ «Личность несознательная» положил "перевоспитываться" в ящик, мне его не переделать в том духе, в каком требуют звездинцы *[редакция областной газеты «Звезда». — Сост.]*.

Как ты живёшь, друже? Чего нового на ваших творческих и издательских горизонтах?

Ну, будь здоров. Жму руку. Виктор

P. S. Да, не написал ли тебе Боголюбов конкретно, чьи

рассказы приняты в сборник? А то Реутов меня спрашивает, как дела с его рассказом?

22 ноября 1953 г.
Чусовой
(В.А.Черненко)
Здравствуй, Володя!

Как видишь, я разродился! Вещь написана, но не отшлифована, поэтому на частности не обращай большого внимания *[речь идёт о рукописи книги «Васюткино озеро». — Сост.]*. Попрошу вот о чём: свежим взглядом заметь, где имеются смешения во времени. Как тебе известно, это мой грех. Теперь, не лишка ли природных описаний и сравнений в тексте, понятны ли будут ребятам написанные сравнения, нет ли в тексте таких мест, которые тормозят движение? Надо ли подбавлять в вещь больше трудностей и приключений? Я лично за то, чтобы меньше было выдумки. Мне кажется, для мальчишки и этих испытаний достаточно. Самое главное, Володя, помоги мне разобраться вот с чем: повесть - это или рассказ?

Сейчас тот период, когда эта штука должна отлежаться. Видимо, с месяц я в неё заглядывать не буду, поэтому особенно не торопись, а когда будет время, тогда и прочтёшь. Если сумеешь подсунуть прочитать её собратьям — тоже будет хорошо. Чем больше советов и замечаний я получу в процессе Работы, тем меньше будет возни с вещью потом.

Да, насчёт языка. Как видишь, я не особенно подделывался под детский язык в авторском тексте. Старался писать просто, но почти так же, как и для взрослых. На этой почве, видимо, у меня будут потом схватки с издательством, однако я буду отстаивать именно такой, не сюсюкающий характер писания, а строгий и немного грубоватый. Как ты на это дело смотришь?

И ещё вот что: как Васютка? Получился ли пацан? Может быть, надо ещё оттенить какую-нибудь его сторону? В общем, безо всякой пощады критикуй — пойдёт на пользу. Можешь прямо в тексте на полях делать пометки. Всё равно ещё перепечатывать придётся не раз.

Получил наконец-то свою «Весну» *[имеется в виду книга «До будущей весны». — Сост.]*. Спасибо тебе! Книжонка получилась аккуратная и выглядит неплохо. Уже поздравляют и критикуют меня людишки. Редакционные коллеги скептически поздравили, а большинство знакомых искренне трясут руку.

Не надумаете ли в Конституцию приехать к нам? Было бы хорошо. Если да, то черкни заранее.

Ну, Володя, будь здоров!

Жму руку. Виктор Астафьев

1954 год

Май 1954 г.
Чусовой
(В.А.Черненко и В.Г.Александрову)
Дорогие Володя и Володя!

Если вы желаете посмотреть на настоящий Урал и отдохнуть по-настоящему, вам колебаться не надо. Берите отпуска и айда-те ко мне. Какая перспектива вас ожидает? Жизнь на лоне природы — раз! Трезвость (ибо там. куда мы поедем, близко магазина нет) - два! Временное избавление (а я считаю для отдыха настоящего джентльмена это очень важным фактором) от спутницы жизни — три!!! Ну, я думаю, этого уже достаточно, чтобы соблазнить вас, если вы, конечно, поэты и нам осточертел город.

Вильва *[река в Пермской области. — Сост.]* снова мутная, но это не должно смущать вас, как не смущает и меня. Мы можем подняться на лодке выше на шесть километров того старика-метеоролога, о котором я говорил, и там устроить жильё, допустим, шалаш, или займём пустую хату. Там Вильва уже светлая. Можем податься и вверх по Усьве *[река в Пермской области. — Сост.]*, например, в посёлок Бревно, в коем живёт 109-летний старик. Словом, поживём, как настоящие «робинзоны», наберёмся вдохновения, а место, где нарыбалить, мы всегда найдём. Насчёт лодки я уже договорился, насчёт отпуска тоже — с 1 июня. Дело за вами. Но, право, если вы надумаете, вам позавидуют не только живые молотовские писатели, но и мёртвые. Не знаю только, дадут ли вам разом отпуск. Ну, настаивайте. Смелость города берёт, а вы ребята бравые и уж маму-то Римскую *[Л. С. Римская. — Сост.]*, думаю, одолеете. Давайте, действуйте. Так что дело за вами. Пишите, когда, как, что? Чтобы я был начеку. С приветом, В. Астафьев

13 июля 1954 г.
(В редакцию журнала «Новый мир»)
Уважаемая редакция!

Я — начинающий автор. Писать начал три года назад. Ещё в первый год я написал рассказ о мальчике-сироте, который обрёл новую семью в детдоме. Рассказ так первоначально и назывался «В новую семью». После него я написал уже порядочно рассказов, некоторые из них напечатаны. Но, видимо, у каждого начинающего есть такие вещи, которые нуждаются в том, чтобы

их переделывали и переделывали. Рассказ этот я много раз переделывал, но отправить куда-либо не решался. Читал людям — нравится, но меня в нём что-то смущает.

Недавно я взялся за него ещё раз и сделал не от первого лица, как он был написан, а от третьего. Но разобраться в нём, увидеть его со стороны мне до сих пор трудно. Дело в том, что рассказ этот почти автобиографического характера. Когда я его читаю, к написанному примешиваются мои чувства, воспоминания, я волнуюсь. А волнует ли этот рассказ читателя, сказать не могу.

Мне очень хочется разобраться в этом рассказе и получить квалифицированную помощь, поэтому я впервые решился отправить свою рукопись в толстый журнал. Может быть, кто-нибудь из писателей не откажется прочесть этот рассказ и указать на его недостатки. Я не обижусь ни на какую критику, буду за неё только благодарен.

В. Астафьев, г. Чусовой Молотовской области, ул. Партизанская, 76.

1954 г.
Чусовой
(В.А.Черненко)
Здравствуй, дорогой Володя!

Посылаю ещё одну литстраницу, как видишь, трудимся! Решили делать почаще странички, да, к сожалению, из нашего полку убыло. Уехал в Свердловск хороший писака Алексей Степанович Новосельский. Так что письмо твоё его не застало, а он рад бы был, но ничего, он обещал писать мне, поэтому я не теряю надежды переслать ему письмо. И Никольскому передам обязательно, парень тоже будет рад.

А письмо, которое пришло на моё имя от Назаровского (ты, вероятно, знаешь, о чём в нём речь), озадачило меня *[В. Астафьев получил предложение принять участие в работе над сборником «Корни уходят в землю. Очерки колхозной жизни». Книга выйдет в 1955 г., в ней будет напечатан очерк В. Астафьева «Идёт весна». — Сост.]*. Я же в сельском хозяйстве ни бельмеса, редьку от брюквы с трудом отличаю, поэтому откажусь от участия в сборнике, тем более что сейчас и в колхозы мне ехать негодь. Пепеляев у нас уехал на год учиться в г. Молотов *[в 1940 — 1957 гг. название Перми. — Сост.]*, вместо него Толстиков. Так что в редакции не хватает двух человек (нет ещё человека на сельхозотделе) и работы, конечно, по горло. Возможно, я найду кого-нибудь, кто согласится написать этот очерк. Ну, как ты поживаешь? Что нового? Пиши.

Жму руку. Виктор

1954 г.
Чусовой
(В.А.Черненко, В.Г.Александрову))
Здравствуйте, орлы-курортники!

Шлю вам виды. Комментарии к ним, как говорится, излишни. Поэтому сразу перехожу к делу. Как моя книга? *[Вероятно, речь идёт о книге «Огоньки», которую планировало издать Молотовское книжное издательство. — Сост.]* Брать мне с собой ружьё, когда поеду в Молотов, или миром обойдёмся? Глядите, ребята! Я тут за отпуск щук множество съел, так что со мной шутки плохи. Ясно?

Чем вы порадовали за отпуск себя и Родину? Я думаю, о себе-то не забыли, слышал, что «караул» насчёт денег кричали, а как насчёт творчества?

Я отпуск провёл дома. На рыбалке был только пять дней и настолько удачно что вдругорядь не потянуло. Далеко и тяжело. Работал, конечно, марал бумагу Намарал много, оттого и здоровьишко нисколь не улучшилось, всё ещё шумит в голове. Это меня начинает беспокоить не на шутку. Ну. да ничего, 50, не выдаст, свинья не съест. Кормиться надо.

Из журнала «Смена» *[в 1954 г. в нём был опубликован рассказ В. Астафьева «Заноза» — Сост.]* мне настойчиво протежируют литературный институт, но для этого надо сдать экзамены за 10 класс, а у меня сейчас, пожалуй, силёнок не хватит. Я совсем ослаб в математических науках, надо начинать почти с третьего класса.

Ну вот, хотел трохи черкнуть и расписался.

Только что вернулся из командировки. Ездил по лесам и долам, видел много интересного.

Да, братцы! Вы, конечно, сейчас народ издержавшийся до невозможности, но тем не менее раскошеливайтесь, если не трудно, пришлите мне альманах № 18 *[речь идёт об альманахе «Прикамье» (1940 — 1960) Пермского отделения СП СССР. — Сост.]*, который, по слухам, вот-вот должен выйти.

Жму крепко ваши лапы. Виктор

1954 г.
Чусовой
(В.А.Черненко)
Привет. Володя!

Тебе, наверное, неизвестно, что я страшный лентяй писать письма, ну так вот, в силу этой лени я даже не ответил на твоё

письмо. Теперь вот потянуло потолковать с тобой в час послетрудовой, я и взялся гвоздить.

Только что прочёл рецензию в «Звезде» *[областная газета. — Сост.]*, где меня абзацем отметили, и выражаю страшное недовольство тем, что обошли, в общем-то, неплохой очерк. Забывчивость некрасивая, ведь человек печатается впервые, ждёт, поди, критики, ночей не спит, а тут на тебе, ни слова.

Насчёт критики на Ваньку Реутова *[речь идёт о романе И. Реутова «На уральской реке», напечатанном в альманахе «Прикамье». 1954, № 18. — Сост.]* сулить не берусь. Но наш «злопыхатель» Толстиков ковырнул этот роман с точки зрения исторической, и оказалась там такая ересь, что надо дальше, да некуда. Он написал спокойную и убийственную рецензию с доказательствами, ссылками на первоисточники. Очевидно, на днях она будет напечатана в нашей газете, и я тебе её пришлю. Она могла бы, разумеется, и не появиться, если бы автор романа не мнил о себе чёрт знает что и не нуждался в том, чтобы его спустили на землю. Реагировал он на критику по-реутовски: каждому встречному и поперечному объяснял, что ляпусы эти и ошибки наделали издательство и редактор, а он-де давал рукопись, куда с добром. Словом, готовит он на нашу редакцию жалобу от горкома и вплоть до ЦК.

Сегодня 11-е число, а денег до сих пор из издательства я не получил. Тоскливо. Между прочим, журнал «Смена» по этой части аккуратностью не блещет тоже не прислал мне гонорар, и я сумлеваюсь, уж не забыли ли!

А как ты существуешь? Всё редактируешь? Брось ты это занятие к чертям и приезжай ко мне, глядишь, хоть чего-нибудь здесь напишешь, там, как я погляжу, тебе не дадут взяться за перо. На самом деле ты ведь не для того же ушёл из издательства, чтобы батрачить снова. Здесь, на отшибе, не больно до тебя докричаться, и ты сотворишь чего-нибудь. А то я. откровенно говоря, боюсь, как бы ты не отвык работать над своими вещами и не превратился в вечного редактора. Черкать же таких, как Кривооченко — Астафьев или Недоуменко — Реутов, не совсем приятно. Они наворочают, а ты зализывай, не твоё это призвание.

Так, это всё беллетристика. Теперь о деле. Филоню я страшно и за последнее время почти ничего не написал, думаю с сегодняшнего дня взяться, так как погода настала самая писучая. О деньгах ты не беспокойся, потому что всё равно мне, очевидно, скоро пришлют из издательства 60 процентов, и тогда разбогатею. Но о книжке, я думаю, беспокоиться надо *[имеется в виду книга «Огоньки». — Сост.]*. Напиши мне всё-таки, когда мы сумеем взяться за неё, чтобы я подготовился к этому времени,

прикончил свои дела.

Будь здоров. Жму руку. Виктор

Декабрь 1954 г.

Чусовой

(семье В.А.Черненко)

Здравствуйте, Черненки!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом, от души желаем того, чего хочется, а также здоровья, дружбы, а Володе больших творческих успехов. Навидавшись в Московии всяких разностей и наслушавшись литературных богов и божков, он, наверное, здорово вдохновился и нагвоздит теперь большой том, как дом, да ещё крепче «Кольчуги» *[имеется в виду роман В. Черненко «Кольчуга». — Сост.]*.

Слушай, Володя! Говорил тебе В. Александров или нет относительно нашего литкружка? Если нет, то я вот что хочу сообщить. Мы решили возобновить работу кружка, ибо молодая поросль осаждает и требует к себе внимания. На сей раз мы решили поставить наш кружок на твёрдую ногу. Наметили избрать старейшиной А. М. Толстикова. Первое организационное занятие думаем провести 7 января. Вернее, не думаем, а уже дали объявление в газете Я очень бы просил тебя переговорить с Клавдией Васильевной Рождественской относительно присылки на это первое занятие кого-нибудь из отделения Союза писателей. Было бы очень хорошо, если бы приехали ты или она как участники съезда *[речь идёт о II съезде Союза писателей СССР, участниками которого были К. В. Рождественская и В. А. Черненко. — Сост.]*. Помогли бы нам практически. Кроме того, неплохо будет, если приедет кто-нибудь из издательства, посмотреть здесь на месте кое-что, познакомиться с авторами. А авторов этих, паря, всё прибавляется и прибавляется, скоро дойдёт, наверное, до того, что, куда ни плюнь, в писателя попадёшь.

Я думаю, Володя, что приехать сюда к нам в интересах не только наших, но И писательской организации. Кроме того, нам надо с тобой решить в отношении книжки *[вероятно, речь идёт о сборнике рассказов В. Астафьева «Огоньки». — Сост.]*. Я, например, совсем охладел к ней, и как теперь быть, не знаю. Ну, ещё раз поздравляю с праздником и крепко жму руки. Виктор

1955 год

1955 г.

Чусовой
(В.А.Черненко)
Привет, Володя!

Письмо твоё получил и рад тому, что ты, хоть и беден, но бодр. Я тоже бодрюсь и тружусь, а иначе нельзя, потому как роман *[в 1955— 1957гг. В. П. Астафьев работал над романом «Тают снега». — Сост.]* надо дописывать, дабы и впредь лапу не сосать.

Ну, говорить тебе о том, что живётся после отпуска туго, я думаю, не надо. До того сделалось туго, что позавчера звонил в издательство, говорил с какой-то женщиной. Она сперва напугала, а затем пообещала мол скоро гроши вышлют. Цену таким обещаниям я приблизительно знаю, но всё же надеюсь, что издатели не обойдут своей милостью страждущего человека, у которого, по заверениям «Звезды», «богатая кладовая», да он якобы ею пользовании не умеет *[имеется в виду статья А. Романова «Рассказы для детей», опубликованная в областной газете «Звезда» 17 шюля 1955 г. — Сост.]*. Я теперь держу ружьё заряженным. Так как уверен, что чусовское жульё, вычитав насчет моей кладовой, обязательно ночью полезет, а в кладовой-то Секлетинья *[няня детей В. П. Астафьева. — Сост.]* спит, ещё пострадает девка из-за неосмотрительно оброненного рецензентом слова.

Как ты живёшь? Погодка-то вай-вай, только в «Каме» *[ресторан «Кама». — Сост.]* и сидеть. Думаю, что в конце августа я привезу в издательство книгу на обчитку, и, пока её там листают, можно будет податься на Яйву *[река в Пермской области. — Сост.]*. Шибко охота! Тут я несколько раз бывал в лесу по ягоды, грибы и раз на рыбалку. Поймал четырёх щурят — одного приличного. Читал в «Литературке», как разгвоздили Фрадкина? *[Речь идёт о книге пермского прозаика В. Фрадкина «Дорога к звёздам», рецензия на которую была опубликована в «Литературной газете». — Сост.]*. Чёрт его знает. Наша организация такая, которая заслуживает больше внимания, чем тульская и им подобные. Ты бы хоть натравил Молчанова написать статью перед совещанием молодых *[Всесоюзное совещание молодых писателей. — Сост.]*. Ну, будь здоров, лист кончается. Жму руку. Виктор

1956 год

26 апреля 1956 г.
Чусовой

(Адресат не установлен)

Здравствуй, Иван, а также твои ребята — Олег и Серёжа и супруга Анна Дмитриевна. С приветом к вам Виктор с семейством. Получил твоё письмо, Иван. Спасибо за память. Рад, что ты устроился и все твои мучения, я не имею в виду творческие, позади. За фотографии особенное спасибо. Это большая память о Родине моей, о которой я никогда не переставал и не перестаю тосковать. Но что сделаешь. Есть несовременная, однако добрая пословица — «Не живи, как хочешь, а живи, как бог велит!» Пока приходится мириться с дымным и не очень приветливым дедушкой-Уралом.

По возвращении из Красноярска я принялся основательно за свой роман и к ноябрю закончил первый вариант. В конце ноября его толково обсудили в отделении Союза писателей и дали мне крепкую зарядку на доработку вещи. Увы, я так безжалостно расходовал здоровье в былые времена, что на систематическую работу меня уже не хватает. С ноября и до середины февраля я лечился электричеством, уколами, микстурами и прочей дрянью. Добился очень немногого. Немножко меньше сделались головные боли и звон в ушах. Поэтому если не критики-перестраховщики, а коллеги-контрики растащат по листику мою книгу, то я, наверное, размозжу свою голову, наполненную гипертоническим звоном, о первый же телеграфный столб.

Так, ну что ещё тебе рассказать о своих литделах? Наклёвывается переиздание детских рассказов в Москве. Со дня на день жду вызов. Там к моим рассказам отнеслись более благосклонно. Вот, может быть, твои замечания удастся учесть при доработке рассказов. Здесь местная критика излишне захваливает мои вещи. Хорошо, что у меня крепкий рассудок, а то бы охмелел, пожалуй. Недавно журнал «Смена» напечатал два моих очерка и обещает ещё один напечатать (смотри № 5). Да, рассказ «Васюткино озеро» Молотовское издательство издаёт отдельной книжкой. Вообще-то рассказами я сейчас занимаюсь мало. Лежит их целая папка, все требуют доработки, а сил и времени нет. Очень я жалею, что много труда и сил убил на вещи легковесные, отдавая дань тому духовному течению в литературе, в котором захлебнулся не один начинающий автор.

А вообще чаще и чаще нападает на меня какой-то творческий столбняк. Вот, к примеру, прошло два дня, а я ни строчки не сделал, поэтому и взялся за письма. Раздумья, раздумья, раздумья. И всё больше горькие. То ли здоровье шалит, то ли мудрее становлюсь, сам не знаю. И поговорить не с кем, и душу излить некому. Чужая сторона ушей не имеет.

Вот под настроение видишь, как расписался. Пора и честь

знать. Пиши мне. Может быть, не всегда своевременно, но всё равно с удовольствием отвечу.

Крепко жму руку и желаю всех благ земных.

На этом письмо заканчиваю. Время позднее, и мысли расплываются, как дождинки на стене. Устал я за день крепко и потому закругляюсь. Погода у нас отвратительная. Всё время дожди и снег. Грязь, слякоть непролазная, а летом, наверное, всё сгорит от жары. Что-то в природе, как и в народе, запуталось, утратило закономерность. Ну, кланяйся родной земле в день весенний. Целуй своих ребятишек и половину.

Пиши, что нового в Красноярске вообще и в литературном мире в частности. Извини за почерк. По сравнению с твоим — его вообще нельзя назвать почерком. Но, надеюсь, как-нибудь разберёшь, хотя и знаю, что это трудное дело. Кстати, я теперь совсем собрат с тобой — выписал очки. Зрение село здорово.

Ну, будь здоров. Обнимаю тебя, твой земляк Виктор

1956 г.

Чусовой

(Адресат не установлен)

Здравствуй, Иван!

Получил твоё восторженное письмо, благодарю за него. Ты, конечно, перехвалил мои очерки. По-видимому, твоя натура подобна моей — она состоит из сплошных крайностей и способна или восторгаться беспредельно, или подвергать беспрекословному уничтожению то, что не поглянулось. Человек без середины — это характерная черта нашего поколения. Причины этого кроются очень глубоко, в неправильном воспитании. Недаром же мы только сейчас начинаем прозревать и смотреть на свет белый удивлёнными глазами. А вот Писарев, батенька мой, к 28 годам уже был величайшим мыслителем, ярчайшей кометой на тёмном небосводе. Н-да, поуродовали нас в детстве, крепко поуродовали сверхидейные воспитатели, а это стоило многих ошибок в жизни, в людях оставило немало рубцов на наивных сердцах, которые всё принимали за чистую монету. Надеюсь, ты понимаешь меня?

Но я несколько отвлёкся.

Подходит мой праздник, 1 мая. Я называю его моим потому, что он трижды мой. Во-первых, весна, во-вторых, на 1 мая мой день рождения, мне исполнится 32 года, в-третьих, просто праздник, с которым я вас от всего сердца поздравляю и желаю детишкам, тебе, жене всех благ земных и радости весенней. Иван, если ты хочешь мне сделать приятное в день рождения, пришли, пожалуйста, в конверте подснежник. Ну, тот самый, с кремовыми

мягкими лепестками в форме чашечки. У нас здесь такие не растут, а только беленькие, мелкие, как пуговицы. Вообще нет ничего краше сибирских цветов В края сибирского!

За фотографии спасибо. К сожалению, я сейчас не могу тебе выслать своих. Готовых нет, а сам я фотографировать не умею. Руки деревянные. Как-то были с другом на рыбалке и я поймал спиннингом здоровенную щуку на семь килограммов. Ну, естественно, друг приказал мне стать в позу и запечатлел меня на фоне уральских гор с чудовищем в руках. А потом навёл аппарат, взял мою щуку и говорит: «Ты только чикни, там всё сделано». Ну я и чикнул, так что он даже в объектив не попал. Он проявил плёнку, кроет меня на чём свет. А я ему говорю: «Бог он кривду видит. Ты чьей щукой хотел фасонить? Моей!» Он на меня в драку. Весело было. Словом, сколько мне ни доверяли аппарат, ничего путного не получалось...

……*Окончание письма утрачено*……

Май 1956 г.
Чусовой
(В.А.Черненко)
Здравствуй, Володя!

Сегодня приехал из Лысьвы *[город в Пермской области. — Сост.]* и сыскал в ящике извещение на перевод, аж на полтораста рублей. Понял, что от вас, очень кстати эти карбованцы. Спасибо. Сие событие послужило поводом к написанию сего письма.

Живу я неходко. Дела продвигаются плохо. Что-то очень нерабочее настроение. Или наступила «пора серенад», как это отметил в своё время небезызвестный Андрюха Ромашов, или надвигается рыбачий сезон, только не пишется и баста! Подготовил, правда, «Васюткино озеро» для отправки, по вашему совету, в Москву и всё.

Володя, был тут без меня Балахонов и довёл до сведения моей Марьи такие новости: в издательстве денег нет, и будут лишь 10 июля. Я вот что тебя прошу: пусть Володя Александров узнает, сколько мне придётся получить всего и за очерки, и из сборника сатиры, и сообщит, когда это можно сделать, т. е. получить гроши, или сообщи ты. Мы бы с Марьей тогда приехали в Молотов получить гроши, а то, пожалуй, ни грошей, ни времени не останется.

Между прочим, если не смотрел картину «Папа, мама, служанка и я» — обязательно посмотри. Картина эта из числа грустных комедий на бытовую тему, которые умеют мастерски делать французы и, увы, совсем разучились делать наши. Правда,

тут некоторым она не нравится, потому что, как и всякая французская картина, она немножко скоромная, да мы ведь великих постов тоже не признаём, хотя подчас и стараемся делать вид, что причастны к лику святых.

Ну, будь здоров. Знаю, что будешь плеваться, разбирая каракули, да что сделаешь. Жму руку. Виктор

Октябрь 1956 г.
Чусовой
(В.А.Черненко)
Дорогой Володя!

Я так и не собрался поехать в Молотов. Главная причина сам знаешь какая. Время у неработающего писателя есть всегда, а вот деньги — редкие гости. А тут Маня придумала болеть каждый месяц, и без «кормилицы» туго совсем. Я, собственно, сегодня и писать-то начал от отчаянья, чтобы спросить у тебя, не знаешь ли ты кого-нибудь из наших сознательных писателей, кто мог мне дать тысчонку взаймы месяца на два-три? Может быть, у Бориса Ширшова или у Саши Макарова есть? Пришла пора подписываться на газеты и журналы, за ребятишек платить — и хоть реви. Из-за проклятых денег работа идёт туго. Не сделал ещё и половины книги. Всё думаешь, чего завтра жрать? Чтоб она пропала, эта наша доля!

Ну ладно. Теперь изложу вторую, более светлорадостную причину, которая побудила меня написать письмо. Ходил я недавно на охоту. В верховьях одной из речек мы обнаружили лося, пойманного в петлю. Ну я, разумеется, заявил об этом в милицию. Дали мне милиционера, председателя охотобщества и ещё человека, и мы пошли, но лося нашли уже убитого. Браконьер половину ею. в том числе рога, сумел стаскать и спрятать, другою же половину мы нашли и забрали. И вот, если у тебя есть желание попробовать лосятины от пуза, забирай пол-литра (в нашем городе сухо) и двигай ко мне, хотя бы на день. Можешь прихватить с собой Ширшова, и, если погода будет ничего, сходим в лес с ночёвкой. Там есть избушка хорошая.

Вот так. Новостей у меня больше нет. Из «Смены» пока ничего насчёт очерков не сообщили. Московский редактор пока тоже помалкивает насчёт сборник.! *[вероятно, речь идёт о сборнике рассказов В. Астафьева «Тёплый дождь». — Сост.]*. Тишь да гладь, и роман *[«Тают снега». — Сост.]* дорабатывается со скрипом. Надоел он мне и разонравился, а это основная беда, тормозящая работу. Ну и хрен с ней. Картошка есть, мясо есть, разве это не житуха.

Приезжай, старина. Жму лапу. Виктор

P. S. Да, если у вас в Молотове будет идти картина «Седьмое небо», то обязательно посмотри, иначе много в жизни потеряешь. Таких картин на свете очень и очень мало. Я вот вчера вечером посмотрел, и она мне сегодня всю ночь грезилась. Изумительная вещь!

1956 г.
Чусовой
(В.А.Черненко)
Дорогой Володя!

Ждал я, ждал, когда у меня появится настроение дорабатывать «Чижики», и не дождался. Своим наплевательством отношением к рукописи вы, очевидно, надолго убили во мне охоту дорабатывать этот рассказ. Думаю, для того, чтобы согласиться со мной, тебе надо представить себя на месте того автора, которому пришлют его рукопись в таком виде *[листы рукописи рассказа были загрязнены, помяты. — Сост.]*.

Говорю всё это, может быть, и грубо, но, как всегда, прямо. Желаю, чтобы начало этого письма ты зачитал членам своей редколлегии. Вообще-то, мне нужно было встать в оскорблённую позу, но я надеюсь, что случай с моей рукописью был единственный и последний. Губить в авторах их добрые побуждения неряшествами нельзя, за каждой рукописью стоит труд человека, и не всегда праздный труд. Ты это понимаешь лучше меня и, думаю, не возьмешься опровергать мои доводы или, тем более, обижаться на них.

В наказание же за ваши грехи я посылаю вам новый многотрудный рассказ «Месть» и фельетон для раздела сатиры. Первых экземпляров нет дома, где-то братцы читают, а потому шлю вторые. Я сейчас, несмотря на болезнь, много и упорно тружусь над романом. Чего у вас нового? Жму руку. Виктор

Ноябрь 1956 г.
Чусовой
(В.А.Черненко)

Добрый день, Володя! Как ты там живой? У тебя ли ещё пребывают гости?1 А я, брат, после всех треволнений при обсуждении *[романа «Тают снега» в областной писательской организации. — Сост.]* захворал, с головой сделалось хуже, и до сих пор ничего не делаю. Работать хочется здорово, а не могу. Читать тоже нельзя, но как удержаться — читаю, отчего голове лучше не становится. Надо бы использовать это зря пропадающее время на поездку в колхоз, а мне почему-то не шлют из Союза *[Пермского отделения СП СССР. — Сост.]* обещанных

командировочных вот уже скоро месяц. Я не выдержал и написал письмо Рождественской с просьбой объяснить, что сие значит, но и она отмалчивается. Ты не в курсе дел, а? Если да, то черкни, отчего такая задержка. Без поездки же в колхоз мне за рукопись приниматься невозможно, и, если с командировкой там ничего не получилось, пусть они душу не томят, я буду тогда сам что-нибудь изобретать.

Мне тут. правда, присылали кус из Свердловска за очерк сорок процентов и шестьдесят процентов за рассказ, который они взяли в детский сборник [очевидно, «Тольку»], но, будучи невыдержанным от природы, я эти деньги растрёс в течение суток: послал немного отцу, который вот-вот должен нагрянуть, раздал долги и всё. При желании можно было, конечно, выкроить на поездку, но я понадеялся и теперь сижу на мели. Очерк в «Смене» что-то тянут, не печатают *[речь идёт об очерке «Любовь к жизни», который будет опубликован в № 15 журнала «Смена» за 1956 г. — Сост.]*. Возьмут да раздумают. Им что, никакого урону, а мне таковой сюрприз даже не по нюху будет.

Однако есть у меня и отрады. Я ведь тебе говорил, что издательство взяло переиздать «Васюткино озеро». И они мне поставили превосходные условия, с помощью коих я думаю относительно безбедно доработать рукопись романа. Дали они двойной тираж и оплату, как за новое произведение, словом, оплата за лист получается в три тыщи с лишним. Такой «дерзости» я от них не ожидал, знаю, что всё это сделано для того, чтобы я смог дотянуть книжку, и таковая чуткость меня ко многому обязывает. Вот почему надо поспешить в колхоз. Жму крепко руку. Виктор

1956 г.
Чусовой
(В.А.Черненко)
Володя!

Только запечатал тебе письмо, является почтальонка и вручает от тебя пакет. Спасибо тебе, Володя, от души за искреннюю оценку рассказа. Ведь на таких вещах легко споткнуться и уйти в сторону. Будем считать, что я написал её не зря.

Даже неудачная вещь многому учит. Иногда, пожалуй, больше, чем удачная. Лишний раз это меня убеждает в том, что надо поменьше выдумывать. Ведь моя биография — это кладезь, который едва ли за жизнь вычерпаешь. Она и должна быть источником дальнейших трудов. Вот и будут следующие рассказы о моём товарище детства. И вообще мне надо писать больше о

ребятах. В этом я убедился, работая над романом. Моя стихия — быт, семья, ребятишки. Производство не для меня. Бувай. Виктор

1957 год.

Апрель 1957 г.
Чусовой
(В.А.Черненко)
Привет, Володя!

Давно от тебя ни слуху, ни духу. И я не подаю признаков жизни. Трудимся, брат. Трудимся так, что огонь из-под пера. Вчера поставил точку, и Марья начала печатать рукопись на машинке *[имеется в виду рукопись романа «Тают снега». — Сост.]*.

Ну что тебе сказать о работе? Рукопись увеличилась на сто страниц. Это первое. Великолепная получилась, на мой взгляд, последняя глава, в которой Серёжа воскрес. Вот, пожалуй, всё, что я могу сказать о рукописи. Она ещё не отстоялась, не отлежалась, и я, разумеется, не могу взглянуть на неё трезво-критически. Думал я её доставить в Молотов перед праздником, однако воздержусь это делать. 10 мая выезжаю на курорт и завезу попутно. Это время использую на то, чтобы лучше подчистить текст, выловить, что можно. Думаю один экземпляр прихватить с собой, может быть, в Москве кому-нибудь суну почитать.

Да! Есть немаловажное событие в моей творческой жизни. «Детгиз» серьёзно заинтересовался моей персоной и заключил со мной договор на издание сборника. При этом получились такие казусы, которые удивили меня, и, вероятно, не оставят равнодушным и тебя. В «Детгизе» начисто забраковали «Тольку» *[здесь и далее названия рассказов. — Сост.]*, с большим скрипом и под вопросом оставили в сборнике «Васюткино озеро». Лучшими рассказами они признали «Схватку» и «Землянику». Во, брат, какие вещи! Это лишний раз подтверждает, что единого мнения на литературное произведение не может существовать. Когда поеду в Ялту, остановлюсь на несколько дней в Москве, Побываю в «Детгизе», выясню всё окончательно.

Весьма понравилась мне статья Антокольского в «Литгазете» о конференции уральцев *[речь идёт о межобластном совещании уральских писателей. — Сост.]*. Мудрый мужик. О конференции до меня дошли лишь печатные отголоски, по которым судя, я сделал вывод, что молотовская литература была рыбой на безрыбье. Так ли это? Однако не буду суров. Уже одно то, что нашу область наконец-то заметили, щекочет самолюбие и патриотические чувства. Да! Володя!

Вот пока всё. Марья у меня придумала нынче болеть часто. В

связи с этим сидим на могучей финансовой мели. И если Олег Селянкин там пошевелится, ускорит перевод сорока процентов, возражать не станем. Руку. Виктор

1958 год

13 октября 1958 г.
Чусовой
(адресат не установлен)
Здорово, Иван, здорово заблудшая душа!

Рад был получить весточку о том, что ты жив и к тому же здоров, и принят в партию, и живёшь в Ачинске! Я завидую всем, кто живёт в Сибири, а значит и тебе. В письме ты известил меня, что принят в Союз журналистов, на что у меня, брат, есть козырь — я на днях принят в члены Союза писателей. Событие в моей жизни немаловажное!

За эти времена временного затишья нашей переписки событий произошло много, и я боюсь, что в письме их не описать. Первое и главное событие, из-за которого я бросил писать не только тебе, но и всем на свете, — это то, что у меня свалилась жена с диагнозом туберкулёз кости, а следом за ней сын, и с подозрением на этот же диагноз. Тут уж, брат, не до писем. К тому же затеяли покупку дома, да работал я собкором областного радио и ездил тут по всем краям. Сейчас Маня дома, сын тоже, работу в радио я к чертям собачьим бросил — надоела, и вот отвечаю на гору писем. «Расшиваюсь», как говорят железнодорожники.

А в Красноярске я больше не был и стосковался до жути. Но есть шанс убить медведя. Я закончил работу над первой частью повести «Перевал» и собираюсь писать вторую часть, а действие её происходить должно в Игарке. Летом я налаживаюсь туда и, поскольку нынче ты живёшь на пути, видимо, заверну на денёк-другой к тебе. Вот тогда поболтаем. Пока же коротенько о моих делах.

В прошлом году вышли в свет три мои книжки. Одна маленькая для детей в Перми и там же роман «Тают снега», сборник рассказов «Тёплый дождь» в «Детгизе». Его ты мог увидеть, он продавался по всему Союзу, так как издан был большим тиражом. Что же касается романа «Тают снега», то он до Сибири, надо думать, не дойдёт, так как издан всего пятнадцатью тысячами и, насколько мне известно, распродан в пределах области. Но дело поправимое. Для друзей у меня сыщется экземпляр, и я тебе вышлю его на днях, чего не могу сделать с

другими книжками, запас каких иссяк.

Сейчас заканчиваю работу над сборником рассказов. Один из них передавался по радио из Москвы с музыкой и тому подобными атрибутами и произвёл фурор, так как после этого наше областное радио уже трижды повторяло передачу его по просьбе радиослушателей. Называется этот рассказ «Ария Каварадосси». Но вообще стало мне работать трудно. Литературная выучка дала себя знать, да и здоровьишко никудышное. Безумно болит голова. Работаю лишь утром, я к вечеру полный дурак и немощный, как Казанова в старости.

На днях был у меня работник журнала «Молодая гвардия». Сделали совместно с ним большой очерк. Место для него оставлено в 12-м номере, но поместят ли — не знаю. Заострили мы очерк здорово. Потихоньку печатаюсь в нашем новом журнале «Уральский следопыт». У нас ведь ещё кроме него сейчас выходит и журнал «Урал». Печататься есть где — знай, пиши, да получше. Но, к сожалению, «лучше» в наши дни понятие растяжимое, не всегда лучшее попадает в печать, а чаще почему-то худшее.

Вот, Иван, пока коротенько о себе и о своих делах. Видимо, я написал далеко не обо всём, но надеюсь встретиться и тогда «выложимся».

Что же касается тебя, газеты и т. д., то могу сказать, что голова у тебя болит именно от пятиразовой газеты, будь она неладна, а писать тебе нужно, несмотря на это. Я до сих пор помню твой рассказ «Чёрный крест», и думаю, что придёт твой день, хотя бы потому, что ты печатаешься и недоволен собой. Всем, кто остаётся доволен своей писаниной, можно смело ставить крест — это уж я знаю по той литературной братии, с которой знаком. Самодовольство — это крыша, ну а с крыши писать легко. Так что больше всего бойся быть довольным написанным — это уж на собственной шкуре испытано. Пока я недоволен всем, что написал и издал, и радуюсь тому, значит, ещё карабкаюсь «на крышу» и не хочу, чтобы она была как на бане — шагнул и на ней.

Жму крепко лапу. Виктор

Адрес мой изменился. Я переехал всего лишь на квартал в сторону, и звучит он ныне так: Пермская область, г. Чусовой, ул. Нагорная, дом 60.

1959 год

8 марта 1959 г.
(адресат не установлен)

Здравствуй, Иван!

Ты прости, брат, что я так долго тебе не отвечал. Лишь на днях появился дома.

Вернулся из Коми округа, и сразу вызвали в Свердловск — сдавать в набор первую часть повести. Она должна появиться в № 5 журнала «Урал». После Свердловска в Пермь, там уже утвердили творческую командировку в Игарку — писать вторую часть повести «Перевал», которая печатается в «Урале». Так что нынче снова увижу Сибирь. Рад — безмерно.

Ну-с, теперь о самом главном — о твоих рассказах. Прочёл я их, Иван, и не хотелось тебя огорчать (ведь друзьям хочется говорить только приятное), но кривить душой я не умею и прямо скажу: плохо.

Меня поразила не сама, так сказать, техника письма (тут ты уж поднаторел кое в чём), не литературщина даже, которая так и хлещет через край в обоих рассказах, а их убожество. Ты только прикинь мысленно, о чём рассказ «Последняя встреча», и получится: «Водка бяка — её нить вредно!» Ну мелко же, Иван, мелко! А второй, длинный рассказ, о чём? О том, как парни тёткам домишко соорудили, сюрприз роженице преподнесли? Слащаво, по-бабьи сделано и высосано из пальца. А этого я никому не прощаю. Так какого же дьявола, ты — парень бывалый, тёртый, свет и людей повидавший, уподобляешься эстетикам-белоручкам? Ведь есть же у тебя за душой настоящие образы, настоящие сюжеты — почему их бережёшь? Газета давит, газета требует? Пиши для газеты — это тоже дело нужное. Но в литературе не поступайся, не разменивайся по дешёвке. Копай глубже. Пусть будет это ещё неумело, по топорному сделано, однако это будет твоё, твоя кровь, твоя плоть. И тогда слова будут другие, тоже твои, а не стёртые до дыр газетные штампы. Пишешь ты этакие рассказы, как «Чисто золото» и «Последняя встреча» (одни названия чего стоят! — вытрепанные, затасканные, как парижские проститутки!), левой ногой (если надо, я тебе когда-нибудь это докажу). И потому столько в текстах ляпсусов и галиматьи, что я не знаю даже какие примеры приводить.

Ну, вот первый попавшийся: «Ничто не останавливало преобразователей Сибири — ни мороз, ни пурга. Рос новый посёлок и т. д.». «Прибавляя газу, он задумался над тем, как оправдать попойку» — ну разве можно так всерьёз писать, душа любезная? Это же издевательство над словом «рассказ» и над русским языком!

Ты мне можешь возразить, ссылаясь на читателей: им, мол, понравилось. Но меня этот аргумент не убедит и не обескуражит. Я работал в газете и знаю, как ещё падки наши читатели на

дешёвку. С этой точки зрения «Последняя встреча» — товар ходовой. Но есть закон в литературе и для всех закон, кто взял в руки перо: пиши в расчёте на самого умного и взыскательного читателя!

Вот и не забывай о нём. А меня извини за то, что я нашумел. Иначе не могу и не умею. Да и сам ты просил объективной оценки своих вещей. Не подумай, что я поучаю. Горький говаривал, что надо много знать, многому научиться, чтобы получить право не учить, а лишь осторожно подсказывать.

Поэтому считай моё письмо как дружеский разговор. Пиши настоящие вещи. Пусть в год один рассказ, но настоящий, и я с радостью прочту его и буду гордиться тем, что вот Иван колупнул так колупнул. Пусть клюют зёрнышки другие писаки. Их немало. Не гонись за ними. Не в этом счастье и творческая радость.

Ну, будь здоров. Привет семье. Обнимаю, Виктор

5 июля 1959 г.
Чусовой
(П.В.Чацкому)

Уважаемый Павел Васильевич!

Извините, что я не сразу ответил на Ваше письмо. Катался по Вашим родным местам на пароходе — от Перми до Астрахани и вот только прибыл домой со своим семейством. По Каме и Волге я ездил первый раз и ревниво сравнивал их с Енисеем. Сам я сибиряк, родился близ Красноярска, неподалёку от того места, где сейчас строится Красноярская ГЭС. Конечно, «всяк кулик своё болото хвалит», но Енисей, несомненно, величественней и изумительный по красоте. Волге повезло прославителями и только. Это говорится без желания умалить в Ваших глазах Волгу. Всякому своя родина и милей, и краше.

Я буду рад переписываться с Вами, а затем и познакомимся лично. Иногда, изредка, правда, я бываю в Москве. И считаю, что часто там бывать не следует. Хотя Лев Никулин и уверяет, что житьё в Москве якобы возвышает людей культурно над периферийщиками, я всё же остаюсь ярым приверженцем "бескультурной", но и не объевропеившейся, в худшем смысле того слова, периферии. Старый пердун он, этот Лев, если так позволяет себе думать о так называемой периферии. Она ему всё ещё кажется сирой Русью, какой была до отмены крепостного права.

Ни хрена-то он не знает, окромя литературных архивов, если занимается такими утверждениями. Он даже на семинаре-то не был, а пишет о нём тоном неоспоримого судьи. Я был на этом семинаре и убедился воочию, что молодые «культурные»

москвичи, имеющие под боком первоклассные библиотеки,академиков, маститых писателей и т. п., ничего за душой не имеют, кроме цинизма, пошленьких анекдотцев, литературных сплетен и беспрецедентного апломба. Они и научились-то только тому, чтобы плюнуть в руку, которая дает им хлеб. Рабочий для них — быдло с жерновами вместо мозгов. Ах, отрыжка нового времени! И сивый Никулин возносит эту отрыжку!

Ведь не они дали рассказы-то на-гора во время работы семинара, а всё те же периферийщики, умеющие работать и не говорить красиво, не удивлять блестящими верхушками, нахватанными повсюду. Ну ладно, разбрюзжался я, как истерик.

А мне ещё 35 лет, и я считаю себя молодым, не в литературном смысле, разумеется. А то у нас слово «молодой» обязательно ставится рядом со словом «снисходительность».

Пишу я девятый год. До этого был самым распоследним «быдлом»: работал литейщиком, грузчиком, плотником, чистил помойки, выгружал вагоны, работал на сплаве. А до войны жил в детдоме, потом закончил школу ФЗО и трудился составителем поездов коне Красноярска,

В 42-м ушёл добровольцем в армию. Там мне кое-что подбили, в том числе и глаз. Составителем я уже не мог работать. Образование шесть классов, здоровье подорвано — вот я и мотался. А в 1951 году неожиданно для себя и для всех написал рассказ, который имел успех, и немалый, тут, на периферии. Потом написал много плохих рассказов, и они доселе лежат в столе. В 1953 году вышел мой первый сборник рассказов. Сейчас на моём счету шесть книжек. Одна из них большая и довольно слабая — это роман «Тают снега». Его, правда, хвалят. Были пяток рецензий, читательские конференции, но сам я хвалить его не могу. После того написал я две повести — «Перевал» и «Стародуб». продолжал работать над рассказами и очерками.

Повесть «Перевал» напечатана в № 5 журнала «Урал» и, если у Вас сыщется время, прочтите — это моя любимая вещь. Нынче она выйдет отдельной книжкой в Свердловске, и я Вам её непременно пришлю. «Стародуб» с рассказами выходит на будущий год в Перми. Все эти вещи о Сибири, к Уралу я плохо прирастаю, хотя и написал на уральском материале роман и ряд рассказов.

Вот видите, какое Вам длиннющее письмо накатал. Может, Вас интересует что-либо — спрашивайте. Могу выслать нашу газету «Чусовской рабочий». Уровень её, конечно, низкий, но фактический материал бывает интересный. Сам я месяца на полтора уеду в творческую командировку в г. Игарку, где я жил в

детдоме, и стану работать над второй частью «Перевала».

Вашу книгу «Лешегоны» я видел в магазине, но, к сожалению, не читал. Постараюсь прочесть, чтобы иметь представление о Вашем творчестве.

Город наш очень дымный, чёрный и неблагоустроенный, но стоит в очень живописных местах. Здесь сливаются три реки: Вильва впадает в Усьву, а Усьва — в Чусовую. Город в основном расположен на стрелке и за реками.

У нас большой металлургический завод, крупный железнодорожный узел. Богатый историей и промышленностью пригород. Здесь есть всё: алмазы, цемент, руда, уголь, лес, сельское хозяйство, ферросплавное производство, рыбалка, охота и многое, многое другое.

Сам я рыбак и ярый охотник. Много брожу. Леса здешние и округу знаю отлично. Все реки проплыл и обходил. Красота на них не поддаётся описанию. Так что я богатый человек. Темы и замыслы меня одолевают постоянно.

Никак не могу выбраться на ровную линию, чтобы работать над одной, двумя вещами. Вечно в работе ворох рукописей. Теперь Вам станет понятно, отчего меня не тянет часто в столицу. Иногда разве только встряхнуться и сплетен послушать — это тоже время от времени нужно, дабы нюх обострялся и скучное житьишко взвеселялось.

Кстати, Вы писали, что жили в Кирове. Из Кирова на семинаре был интересный и весьма культурный (как это ни покажется странным Никулину!) парень по фамилии Лубнин (его рассказ напечатали в № 2 «Нашего современник!»). И вообще на семинаре было немало интересных ребят. Были, правда, и такие, коим следовало бы заниматься в литкружке при районной газете, ибо они ещё азов не знают.

Ну, Павел Васильевич, всего Вам доброго. Знаю, что почерк у меня ужасный и Вам придется помучиться, но жена утащилась на рынок и перепечатывать письмо некому. Сам я не печатаю. Уж не обессудьте, если я что и неладно скатал. Я стараюсь быть со всеми откровенным. Попадает мне за это, да ничего, терплю.

Дружески жму руку. В. Астафьев

1959 г.
Москва
(жене и детям)

Маня и ребята, здравствуйте!

Получил рукопись и письмо. А вчера вам отправил тоже рукопись и письмо. Вчера же ходил по делам. В «Детгизе»

редактор опять исчеркал «Дядю Кузю», опять надо много править. Насчет путёвок я писал. С ними вроде бы всё в порядке, нужны деньги. А насчёт стипендии ты ослышалась — я её действительно получил, но лишь за 10 дней, когда посещал занятия *[с 1959 по 1961 гг. Виктор Петрович по рекомендации Пермского отделения Союза писателей учился на Высших литературных курсах при Московском литературном институте им. М. Горького. — Сост.]* Я купил тут книги из «ЖЗЛ» — «Рублёва», «Эдисона» и «Артёма». А «Стендаля» нет, если увидишь, купи. Я ещё купил «Сабанеева» — о рыбной ловле, так что Толстиков пусть не хвастается, есть теперь эта книга и у меня.

Погода гнусная — то дождь, го снег. Слякоть, одним словом. Ходили на просмотр фильма «Женщины». Коротко о нём не скажешь. Сегодня всем курсам Пойдём в мастерскую скульптора Вучетича, должно быть интересно. На днях встречались со специалистом по кибернетике, и много удивительного.

В «Молодой» *[здесь и далее в письмах имеется в виду издательство «Молодая гвардия. — Сост.]* рассказ сдали в набор, а договор пока не подписали. Издательство перетрясает план изданий на будущий год. Хоть бы меня не выкинули, тогда уж будет дело. Ждать осталось считанные дни. Встреча у скульптора Вучетича была очень полезной к интересной. За «Перевал» ещё не принимался, после лекций не могу — болит голова, и пропускать занятия нельзя — строгости, а и творческие дни занимаюсь редактурой.

Виктор

1960 год

1960 г.
Москва
(жене и детям)

Маня и ребята здравствуйте! Ну вот, я уже несколько дней в Москве и. как всегда по приезде, перемогаюсь, всего ломает, боюсь, что грипп.

Дни эти были очень неорганизованны. Кроме института и «Детгиза» нигде пока не был. Вчера в «Детгизе» получил две тысячи рублей! И говорят, мол, еще не всё, что пока вышел из печати первый тираж — сто тысяч, за него вот и выдали, остальные потом. Попытаюсь в воскресенье купить костюм. В институт сегодня не поехал, сижу долблю Шишкова. Фамилия моя меня опять подвела — первому нужно выступать с докладом, вот и готовлюсь.

Предположения мои насчёт общежития сбылись: запретили всё-таки приходить к нам — это и хорошо, и плохо. Хорошо, что меньше будут мешать работать, но плохо, что на тюрьму похоже. А запретили из-за одного дурака-студента: выбросился в окно с пятого этажа, протрезвел и пока живой, но на ладан дышит.

Справку Ирине для музыкальной школы пришлю — сегодня только вспомнил, Сейчас поеду в редакцию газеты «Литература и жизнь» отдавать рассказ "Эхо войны" и оттуда заеду в «Советский писатель».

Звонил в «Роман-газету». Редактор, который должен читать рукопись, заболел, и мне сказали, чтоб время от времени звонил, но разговаривали со мной любезно.

Из Свердловска вестей пока нет, что-то на финише они затоптались.

Между прочим, сегодня на скучной лекции я задумался, взял бумажку и стал вспоминать, сколько мы в нынешнем юлу получили и истребили денег, и был страшно поражён: около восьмидесяти тысяч! Каково!. Какая дорогая жизнь, ведь ничего крупного не покупали. Костюм-то себе я куплю. Но на ближайшее время получек не предвидится, а как вам без денег жить? Поэтому расходуйте деньги по необходимости, не особенно ударяясь в тряпьё, но на еде не экономьте. И хватит занимать, а потом думать, чем и как рассчитаться. Я хочу поработать над тем, над чем хочется, и не ради денег. Машинку я тоже потом здесь куплю, это уж где-то перед самым новым годом.

...Вчера Получил письмо из «Уральского следопыта» и от тебя — перепечатанную рукопись. Стихи Светозара Барченко мне понравились. Лучшими из них в редакции считают «Таёжный сруб» и напечатают его непременно, а остальные — будут смотреть. Они очень обрадовались, что я прислал им стихи и просили поискать для них ещё рукописи. Ну что ж, поищу, только читать много придётся всяческой макулатуры.

Рассказ «Старый да малый» идёт во втором номере «Следопыта», просят чего-нибудь ещё и настаивают, чтобы я сделал игарский материал. А я тут одну работу взвалил на себя — взялся переводить трагическую повесть одного кавказца — карачаевца. Повесть интересная, и мужик он хороший, не в пример другим чеченцам. Но взялся, наверное, зря, когда до своих дел руки не доходят. Вот отправлю в Башкирию рассказы и начну доделывать рассказ «Родная кровь», который теперь называется «Кровь человеческая», а потом стану доделывать «Дядю Кузю» и продолжать писать рассказы для «Зорькиной песни». Работы, работы! Когда возьмусь за повесть?

Будет экзамен скоро — надо почитать Л. Толстого.

Вчера после длительного перерыва получил твое письмо и получил очень оригинально. Весь день я был на пленуме. Приехала целая шайка уральцев: из Перми трое и из Свердловска четверо. Протрепались допоздна. Домой приехал около двенадцати ночи. Мне говорят, мне письма были. Я цап-царап — нету. У нас иногда делают медвежью услугу: возьмут, чтоб отдать, да и забудут. Я вышел на середину коридора и закричал: «Паразиты! Кто взял письма? Отдайте!» Бесполезно. Тогда я закричал ещё громче: «Бляди! Кто взял письма? Отдайте!» Тут проснулся Мирза — мой сосед и спокойнёхонько говорит: «Я взял. Чего кричишь. Я тибя пят раз стучал. Тибы нету. На, биры свою письма».

Я так им обрадовался, что и наматерить его забыл. В одном конверте был договор из Перми. В другом твоё письмо. Теперь ты уж получила моё письмо и знаешь, когда выезжать и что нужно мне выслать деньги. Я уж тут всех обстрелял: по полсотне да по сотне.

Дела мои неважны. Болели ноги, а теперь руки, но всё бы ничего, но вот «Молодая гвардия», кажется, мне шило в жопу вставит. Наша бумажная промышленность не выполнила план, в издательстве бумаги нет и оно сокращает сорок процентов изданий. Остаются только тс. кто заключил договора и получил авансы, а нашего брата или на следующий год, или вовсе в мусор. Москвичи рыскают, нажимают на кнопки, а мне идти некуда. Даже редактор мой в командировке, как нарочно лешаи его унесли!

Ну ладно. Я и так не сплю и делать ничего не могу. Вчера похвалил меня в докладе Соболев, но даже и это не утешило. Пленум завтра заканчивает работу, с большим трудом достали билеты в Большой театр, на «Хованщину».

…Сегодня получил от вас письмо и рад, что у вас всё ничего. Встречались с композитором Новиковым и с С. Смирновым, нынешним Редактором «Литгазеты»… Разговора о газете не получилось, проговорили о героях Бреста. Новиков играл нам и ругался, потом Володя Харитонов мой сосед, пел свои песни, написанные Новиковым. Мы подхватили. Новиков говорит «в старое доброе время комсомольцы и всякие курсанты пели везде, даже на собраниях. хотя песен имели меньше. А сейчас заседают с умными лицами Сам Новиков похож на Макарова, рожа у него не музыкальная, но дядька он обаятельный. Хорошие это были встречи.

Сегодня была лекция Мотылёвой. Чем дальше я её слушаю, тем больше обожаю. Ты знаешь, Маня, дух захватывает — так умно и здорово она читает о Толстом. Вроде бы всё давно

известно, ан нет, Мотылёва заново открывает нам этого русака-гиганта! И как открывает! Чудо!

Уже есть вёрстка «Дождя» (тёплого), но редактор ложится на операцию — будут чинить ему ухо, значит, вёрстку с ним будем вычитывать позже, ибо к Новому году книга должна увидеть свет. Во темпы! Это значит, у меня одна за другой выйдут три книги. Тоже неплохо! «Перевал» ещё не прислали, жду со дня на день. В «Роман-газету» ещё не звонил. Узнавал окольно, но в отделах ничего не знают. Видимо, Ильенков просто положил рукопись в стол, потом вернёт её мне со своей кислой мордой, с какой и принял. Вот что значит быть автором неизвестным. В «Советском писателе» рукопись тоже ещё не прочитали.

А серию «ЖЗЛ» покупай всю и читай — это интересное чтение. Я купил Хемингуэя и Ремарка. А «Следопыт» обязательно выпиши...

И вот ещё что: возьми моё коричневое пальто и серый пиджак, зашей и отправь в Игарку, Анатолию Петровичу Астафьеву. Думаю, объяснять тебе ничего не надо. Отцу деньги тоже вышли. Спасибо за газету.

Целую, Виктор

1960 г.
Москва
(В.М.Бахметьеву)

Глубокоуважаемый Владимир Матвеевич!

Долго ждал я подписки на собрание сочинений Вячеслава Шишкова. Наконец, сегодня моя давняя мечта осуществилась — я оформил подписку. Оформил и тут же решил написать в «Гослитиздат», нет, не благодарственное письмо, а давно наболевший вопрос, почему в наших издательствах, у наших литературных властей такое отношение к замечательному писателю, в ряд с которым можно поставить только одного-двух советских писателей? Почему после долголетних обещаний «Гослитиздат» решил «удивить» читателей восьмитомником? Это же, по существу, повторение посмертного издания избранных произведений Шишкова, с той только разницей, что там было уложено всё в шесть томов.

Вам-то хорошо известно, что ещё при жизни Шишкова издавалось двенадцать томов его сочинений — это, если мне память не изменяет, ещё до написания им «Угрюм-реки» и «Пугачёва». Так неужели же сейчас нельзя было сделать хотя бы двенадцатитомник? Снова не включён в издание роман «Ватага», снова нет ряда малоизвестных произведений Вячеслава Шишкова. Читатели снова должны верить на слово, что «Ватага»-де

ошибочное произведение, что и в ряде других произведений Шишков ошибался и т.д.

Было время, когда у нас всё творчество Достоевского считалось ошибочным, узнавать Сергея Есенина людей вынуждали подпольно, по альбомчикам и блатным песням, а за книгу Джона Рида сажали в тюрьму. И вот до сих пор ещё живы кое у кого эти тенденции, и они не доверяют читателям, боятся, что те не разберутся в ошибках и срывах того или иного писателя.

И вот слабые, в сравнении с другими произведениями, написанные в спешке, пусть нужные в свое время военные рассказы Шишкова печатаются без конца, включаются во все издания, а многое из творчества писателя замалчивается, утаивается от читателей. Мне, человеку, воспитавшемуся на книгах Шишкова, безмерно любящему этого силача в русском языке, великого выдумщика и недостижимого мастера в изображении людей, больно и обидно за покойного писателя, которого и при жизни-то замалчивали да порицали время от времени.

Да и как не будет больно, если на втором съезде писателей Шишкова упомянули один раз! Упомянул его Натан Рыбак в своём выступлении. А на съезде российских писателей, где я присутствовал, его этак, мимоходом, хвалили за «Емельяна Пугачёва». Диво дивное! На этих же съездах воскурялся фимиам до небес таким писателям, которые и сами-то себя никогда не решатся поставим, вровень с Шишковым.

Когда-то в письме к Вам Вячеслав Яковлевич сетовал на то, что у критиков он не в чести, зато радует внимание и интерес читателей к его произведениям и что, в конечном счёте, это для писателя главное.

Да, это так, писатель пишет для того, чтобы его читали. И Шишкова читают, да ещё как! Все последние издания «Угрюм-реки», а их было довольно много, в нашей районной библиотеке постоянно на руках. А тут народ в основном трудовой живёт и если уж что читает, так, значит, это действительно интересно. Пустяки тут не любят читать. И всё-таки знают Шишкова больше как автора "Угрюм-реки". Слов нет, это книга книг, и я уверен, что ещё приди такие времена, когда по ней будут изучать историю русского капитализма, но не должно так быть, чтобы знали у нас Шишкова только наполовину. Писатель этот достоин того, чтобы его знали лучше, читали больше.

Вот потому-то я и не написал в «Гослитиздат», а Вам. Надеюсь, что Вы принимаете участие в подготовке подписного издания и, возможно, сумеете как-то воздействовать на издательские власти и увеличить объём издания. Это крайне

необходимо, на мой взгляд. Ведь даже многие их наших литераторов думают так, что Шишков и написал лишь то, что издаётся.

Я вот учусь на Высших литературных курсах и делал доклад на уроках по теории литературы о творчестве Шишкова, видел, как люди удивлялись, слушая о жизни и творчестве этого исключительно даровитого писателя и широкодушного человека. А ведь я рассказывал-то о Шишкове литераторам! Да и пользовался-то я теми скудными материалами, которые есть в библиотеках И которые, в общем-то, лишь повторяют Вашу книжку о Шишкове.

Больше хочется знать об этом прекрасном писателе, больше и шире читать его. Шишков заслужил своим творчеством и своей жизнью заботливое, любовное внимание к себе, а о нём пишут лишь в дни юбилея его друзья, которых остаётся всё меньше и меньше.

Извините, Владимир Матвеевич, за длинное письмо и за некоторую сумбурность. Дойдет ли моя просьба до издательских властей — не знаю, но пусть хоть Вам будет известно, что у Вашего покойного друга есть искренне любящий его Поклонник. который восхищается его творчеством и не устаёт у него учиться трудному литературному делу.

С глубоким уважением. Астафьев

1960 г.

Москва

(Жене и детям)

Дорогая Маня и астафьята, здравствуйте!

Я очухался и вчера был в «Молодой», купил журнал с повестью *[журнал «Молодая гвардия» № 9, 1960, с повестью «Звездопад». — Сост.]*. Повесть прилизали не так уж и безобразно, как я ожидал. Там же узнал печальную весть. Умер Панфёров. Уважал я его и жаль его мне страшно. Завтра все пойдут прощаться с ним.

Купил две книжки из «ЖЗЛ — «Улугбек» и «Полководцы Гражданской войны». Тут опытные люди мне очень посоветовали есть больше винограда и лимонов, чтобы укреплять сердце, что я сегодня и сделал и делюсь опытом с тобой. Купил хорошую книгу — «Фауста» в переводе Пастернака. А «Желябова» в продаже нет, увидишь — купи.

Береги себя. Маня, особенно своё сердце. Ни о чём не думай и не волнуйся. Ты для всех нас слишком дорога, поэтому щади себя как только возможно.

Обсуждение моего рассказа назначено на 15 сентября, а в

«Урале» ставят его в 12-й номер, но просят доделать конец *[«Дикий лук». — Сост.]*. Пока я это сделать не в состоянии. Примусь уж после обсуждения. По телевизору смотрел матч «Локомотив» — «Динамо». «Паровоз» расколотил «Динаму» начисто — 4:1! Из четырёх мячей три забил мой любимец Бубулин, да мячи-то такие, что Яшин только глянуть на них мог, а взять было невозможно,

...Ездил в Литфонд, чтоб уплатить деньги за путёвки, но у меня их пока не приняли. 16-го будет правление Литфонда, и там решат вопрос о скидке стоимости путёвки. Если бы скинули, было бы хорошо.

И «Молодой» пока ничего не решилось, ждём-пождём. Приезжал ко мне Юрка Сбитнев, выпили малость. Вечером смотрели «Иванова» в исполнении артистов Малого театра. Снова убедился в том, что наши зрители видят на экране самодеятельность и настоящих актёров не знают. Пьеса-то хлипкая, и люди как все у Чехова — хлипкие. В этом спектакле не симпатичный доктор, а Царёв, Велихов, Жаров, Светловидов играют удивительно. Просто потрясающе! А как стал играть Жаров, которого я не любил но кино за болтовню.

О покупке — ты пишешь, что купили холодильник. Не ко времени у нас покупки случаются! Я хожу с мокрыми ногами, не могу купить туфли, думаю, вдруг не хватит денег за путёвки. Когда будете собираться, прихватите по пятку книг «Зорькиной песни» и «Стародуба». На бокс сходили. Зрелище это пробуждает в человеке зверя, низменные, жестокие его инстинкты. Люди кричат: «Добивай!» Кровь с лица не дают утереть. Бьют так, что брызги во все стороны! Московские психопаты и смотрят, и визжат с горящими глазами, аж судороги их берут! Я бы запретил глядеть на такое женщинам и весь этот бокс в наш нервный век. Зрелище это адски-захватывающее. жестокое, бесчеловечное. А гут ещё наши с немцами, чувство такое, что сходятся уж не спортсмены со спортсменами, а враги. Наш три раунда лупил немца, а тот уж шатается, но всё лезет в драку, характер показывает... Избиение да и только.

Дела обстоят так: стоит вопрос о снятии Твардовского с поста, но редакция жива, работает. Был у Берзер. Сказала, что повесть мою хочет прочесть новый зав. отделом прозы, и потом она будет читать вторично, С карандашом, и мы начнём совместную работу. А пока вычитываю рукопись. Рассказы отнес в Литературную Россию» и в «Огонёк». В «Сельской молодёжи» меня обрадовали только что вышедшим томом приложения, где и я. Тут же написали договор и сделали расчёт. Книжку мою на днях подписали в печать — мучица цензура. Сняли рассказ

«Горсть спелых вишен» и заставили сделать «Два солдата» по журнальному тексту. Обстановка в «Литературной России» жуткая.

Вышло около пяти листом, по 300 рублей за новое и сколько-то за старое, там старого — повесть, то и получилось рублей около 800. Небогато, но всё же. Деньги я велел перевести в Пермь, на мой счёт, а за рассказ просил оставить здесь, и мне их выдадут только в конце месяца. Но я пока живу, в крайности, перехвачу у кого на недельку. Пока не забыл — идёт подписка. Ты сходи в Союз и заплати деньги: «Новый мир», «Наш современник», «Вокруг света« и «Наука И жизнь» Из газет: «Литературная Россия», «Комсомолка», «Футбол» и этого хватит с лихвой. Сходи на базар, купи груш, моркови и картошки. В понедельник, наверное, побываю в Хотьково. А во вторник — в редакциях, насчёт рассказов станет ясно. Рецензия на Носова в наборе. Вычитываю рукопись. Никого нет. Хорошо.

В Москве я, наверное, задержусь. Повесть в «Знамени» пока прочитал только Макаров Он «за», но он ничего не решает, как не решает и следующий чтец Козлов, а начальства нет, оно занято. Все советуют подождать чего-нибудь определённого и тогда уезжать. Я так и сделаю. Пока заплатил за комнату в общежитии до 1 декабря, дальше будет видно. С режиссёром писать некогда, набросок сценария буду делать сам, дома. Сейчас иду с рассказами в издательство «Советская Россия» На воскресенье, возможно, уеду в Калугу, чтоб здесь зря не болтаться и не попасть в объятия пьяных студентов.

Один экземпляр рукописи пока передал одному из редакторов «Роман-газеты».

А как ты? Ребята, помогайте матери.

Только что вернулся из института — сдавал иностранную литературу. Говорил о Ремарке. Сдал на пятёрку. После этого заехал в «Молодую гвардию» и имел беседу с В. Фёдоровым. Он меня удивил, вернее, его разговоры о моем "Звездопаде". Ту он совсем не тот Фёдоров, который нам известен по поэмам «Проданная Венера» и «Белая роща». Я вынужден был забрать повесть и Редакции, ибо если только сделать так, как того хочет Фёдоров, то я перестану уважать себя, а он (в душе), вероятно, меня. Очень, очень казённое, очень перестраховочное и совершенно не литераторское отношение с его стороны оказалось. Диву даёшься, как чины портят людей!

Ну и настроение, прямо скажу, препаршивое. И не потому только, что с повестью так получилось (в ней-то я совершенно уверен), а просто по-человечески обидно, когда рушится идеал на глазах... А я ведь ещё не совсем потерял веру в такую старинную

штуку, как идеал. Сейчас буду править рукопись отдам затем на перепечатку и отнесу Дементьеву в «Новый мир», после чего, если она гам не «покажется», вынужден буду ехать дня на два-три в «Неву» к Эльмару Грину, по совету Ивана Падерина, который остался при своём мнении и очень хочет, чтобы повесть увидела свет. Сейчас у меня на столе гранки, которые я должен вернуть послезавтра в редакцию, ибо мне велели «подумать». А думать-то. собственно, нечего, да и некогда — экзамены и ещё «Дядя Кузя» на столе, который почти вперёд не продвигается.

Я рал, что вы хорошо отдыхаете. А я устал. Устал от дум, от повести. Хочу в лес. Очень плохо мне сегодня. Ну да ладно. Такова писательская жизнь, таков наш хлеб, проклятый всеми писателями, которые зарабатывают его честно.

Целую вас. Виктор

1961 год

1961 г.
Москва
(Жене)
Маня!

Получил от вас письмо с газетной вырезкой. Я отболел гриппом. Вот только первый день был на занятиях. Получил приглашение от Нины Михайловны *[речь идёт о преподавателе литинститута. — Сост.]* в числе ещё нескольких побывать у неё дома. Этой чести у нас удостаиваются немногие. Человек она чрезвычайно интересный, и у неё имеется редкостная коллекция иконографических работ.

Деньги лежат на книжке и будут ждать твоего приезда, чтобы с пользой их израсходовали. С трудом и не всегда успешно отбиваюсь от занимателей. Раздал уже порядочно, как-то буду собирать!

Сегодня познакомился с художником — хорошим парнем. Обещает хорошо оформить книгу. Вечером двинем в клуб литераторов на празднование 30-летия журнала «Знамя». А на «Мёртвые души» сходить не получилось — был у нас солдатский вечер в общежитии, читали стихи, вспоминали, пели фронтовые песни. Было больше грустно, чем весело.

Накупил уйму пластинок. И сейчас звучит, что бы ты думала? Ария! Да, да, ария Каварадосси, и поёт, кто бы ты думала? Марио Ланца. И я счастлив! Как много и немного нужно человеку для счастья! Купил и «Чио-чио-сан»... Все наши любимые вещи. А «Мёртвые души», говорят, восхитительны. Но не всё потеряно. Следующий спектакль через неделю, приедешь, сходим в театр

непременно. Ещё обязательно постараемся посмотреть «Первый день свободы».

Хорошо, что ты съездила в Пермь, встряхнулась и всё узнала. Лёва тебя понял совершенно правильно. «Квартира будет». «Всё в порядке», — это ведь пока только слова и нечего конкретного. Когда, что и где — вот главное. Ну, теперь уж неё равно, поди-ка, дадут. Желательно, чтобы скорее.

Сегодня выслал в Пермь отредактированный «Звездопад» и подписанный Договор на него. В «Молодую» рассказ тоже наладил, и завтра его сдадут в набор. Очерк доделал и прошу, как сможешь, скорей его напечатай. Съездил в Фонд, дал заявки на путёвки. Поедем в Ригу. 30-го нужно уже выезжать из Москвы, чтобы 31-го быть на новогодней ёлке в Доме творчества. Значит, из дома вам надо выезжать 27-28 числа. Деньги мне нужно нести за путевки 10-15 декабря значит, к тому времени переведи мне 4500 рублей, а на остальное пока живите. Прислали ли те 2800 рублей, что обещали из Перми а то ведь вам и жить не на что станет. Я напишу в Пермь письмо и попрошу об этом, а гам. ласт Бог, получите из «Мурзилки». потом из -Урала», словом, поживёте.

Завтра иду в «Детгиз» добивать с редактором «Дядю Кутю», вечером пойдём на просмотр фильма «Жемчужина» — это по изумительной повести Стейнбека. Завтра же пойду в издательство «Молодая гвардия» за договором, надеюсь, его уже подписали, задержка была за директором.

Ребята, я получил ваше письмо. Рад, что хорошо учитесь. Так и надо. Иринушка, я помню о том, что тебе нужна готовальня, но у меня пока нет денег. Приедете, и всё купим. Будь умницей и не порти маме нервы. Я постараюсь до нового года свернуть все свои дела, и мы все вместе будем хорошо отдыхать и часто ездить в Ригу, до неё от лома творчества 20 минут езды.

Маня, я сегодня получил письмо, в котором ты сообщила, что заболел Андрей. Что с ним? Поправился ли? Если это грипп да без осложнений, то ничего. Как мне жалко парня, прямо беда. А я сегодня видел во сне, что лодку стащили и ребята горюют по этому поводу. Что-то со смыслом сон-то получился.

Ну вот, Маня, получил я деньги из журнала. Как началось паскудно, так и кончилось. В редакции на номер не хватило денег, и мне начислили сначала 5100, а потом срезали до 4500. И получил я на руки чуть больше четырёх. Теперь я положу на них с прибором за такое отношение. Повесть поуродовали, да ещё так заплатили... Утешает одно: деньги эти я употребил на дело: вчера прямо из издательства я поехал в магазин и купил дорожку. Выбор был больший, но у меня разбежались глаза. Но дело было к

вечеру, и дорожка оставалась уже кусками. Я купил остаток в 3 м 25 см за 910 рублей. Был кусок 3 м 40 см, но я остановился на этом — очень понравился орнамент. А сегодня вот только что купил машинку. Выбор тоже был большой. Мне больше других понравилась «Оптима». И мастера, и продавцы тоже советовали покупать её. Отдал 2000 рублей. Она более громоздка и тяжела против других, но зато очень мягко печатает — только пальцы положишь — и всё, кроме того, она — вечная. Говорят, эта марка лучшая в мире. А старую нашу машинку мы оставим на тот случай, если куда на лето будем уезжать, так чтобы не таскать её за собой.

Вот видишь, какие новости! Машинка-то уж больно хороша! Солидная, и изящная и очень удобная. На ней можно печатать и таблицы, и всякую муру. А фрукты покупай. Я как-нибудь и на них заработаю, а как она, жизнь, пойдёт дальше, чёрт знает. Хоть сейчас поешьте.

Сегодня, после длительного перерыва, я получил от вас письмо и рукопись. Это очень хорошо, а то я уж начал беспокоиться. Не знаю, почему вы но получаете от меня письма. Я написал письмо, как прилетел, и оттого не давал телеграмму. Сегодня я купил посылочный ящичек. положил в него туфли, лекарства и яблок, добавлю яблок или свежих огурцов. тогда и отправлю.

Сегодня я весь день писал, на лекции не ездил. Рассказ *[речь идёт о повести «Звездопад», которая первоначально писалась автором как рассказ. — Сост.]* получается листа на два с половиной — в нём вся послевоенная и военная жизнь моего поколения. Это моя кровь, а не рассказ. Пишу и чуть не плачу — видать, нервы стали никуда не годные. Вот сейчас чуть не заревел над письмом дочери Моти Савинцева. Ах, сколько же вынес наш бедный и великий народ! Надо бы мне на неделю отключиться, чтобы вчерне выложить рассказ на бумагу, но нельзя — строгости. А это значит, я буду больше мучиться и психовать, а сон у меня и без того расстроился и весь я не в себе. Но время такой дикой, захватывающей работы не хватает тебя и дома. Хотя вы иной раз и мешаете, но привычка есть привычка.

А рассказ этот — начало какого-то второго этапа в моём творчестве. Есть в нём что-то и старое, но много и такого, что отличает его от прошлых вещей. Многие друзья не узнают меня в этой веши. Ну да сама увидишь. Я, наверное, ничего путнего тебе не написал. Я весь живу в рассказе и думать способен только о нём.

Пиши почаще и не обижайся, если какое-то время я не смогу писать вам письма.

...Сегодня пришли письма от тебя и от ребят.

Насчёт Коли — я, конечно, ошеломлён *[речь идёт о сводном брате В. П. Астафьева из Игарки Н. П. Астафьеве. — Сост.]*. У него вроде вот-вот должен быть ребёнок, может, уж есть. Но ведь на охоте он ещё дурнее меня, лезет куда шито и не надо... Вот бела так уж беда! Хоть бы оправился.

Ты сделай вот что: отправь рублей пятьдесят в Игарку по адресу: ул. Лесная. 2. Астафьеву Николаю Петровичу, и рублей десять-пятнаднать отправь бабушке но адресу: Красноярск, слобода Весны. 7-я Продольная. 8. кв. 2, Астафьевой Марии Егоровне; и отцу рублей двадцать — двадцать пять. Лететь в Игарку отцу не след, чтобы не было мирового скандала и драки, ибо с горя печальные ребята могут ему и наподдавать. Пусть лучше уж не проявляет запоздалой заботы, а напишет письмо или чем-нибудь поможет, и всё.

Ну и дурной охотник! Ох и дурной! Вон куда забрался! И чего ему там надо было? Работал шофёром, так вот понадобилось, а на работе не работалось... Не хватает всё-таки отца-то доброго. Самоуправством все живут. Вот чёрт! Ну ладно, что сделаешь.

Дела мои все лучше и лучше. Сплю хорошо, брюхо растёт как на опаре, зато голова болит Меньше. Много хожу, и, видимо, от этого выступила крапивница. Погода так себе, то дождь, то снег, то солнце. Новостей нет.

Вчера я послал вам письмо, в котором роптал, что «Звездопад» куда-то запропастился. А после занятий начались сплошные радости. Я получил стипендию и купил, что бы ты думала?! — купил подснежников, фиолетовых, у которых в чашечки будто угольки положены! Сейчас стоят в вазочке на столе. В общежитии меня ждал «Звездопад»! Я собрал ребят и начал им читать.

В это время приносят мне письмо и пакет. Открываю: а там моя книжка "Стародуб" это Борис Никандрович *[Назаровский. — Сост.]* лично послал мне один экземпляр, может, даже сигнальный. Я посмотрел и ахнул — так здорово получилась книжка. Красивая, аккуратная, культурная! Есть ещё синонимы?

Хватит. А то избалую издательство. Эта моя пока лучшая по оформлению книжка. Сейчас и напишу Борису Никандровичу, что лучшего подарка к дню моею рождения нельзя было и придумать!

Сегодня начну править «Звездопад», но уж после того, как съезжу в магазин и куплю машинку.

...Закончил правку «Звездопада» и отвёз на машинку. Зав. отделом прозы журнала «Молодая гвардия», прочитав мой «Перевал», пришёл в восторг и просит во что бы то ни стало «Звездопад». После праздника отвезу. В шестом номере «Октября»

дают рецензию на меня. Она уже ушла в набор.

Получил письмо от Б. Н. Наэаровского. «Зорькину песню» они сдали в набор, убравши рассказ «Компания» — он им не понравился. За неё и деньги, тс восемь тысяч, а за «Стародуб» потом. «Тают снега» к переизданию утвердили. Думают о том. как издать книгу массовым тиражом — 75 тысяч.

Борис Никандрович написал статью в «Звезду» о «Перевале» и «Стародубе». Пошли мне её. Я ожидаю от него разумных и толковых мыслей. До 10-го я. наверное, буду в поездке, если не удастся отложить её на вторую половину мая. Поездка предстоит в Серпухов с бригадой писателей. Погода похолодала, уже не топят, сплю под одеялом и пальто. Машинку ещё не купил — нет подходящих, а деньги опять расплываются. Беда. Ты, когда соберёшься ехать, возьми с собой аккредитив с запасом, а то без денег далеко не упрыгаешь. Ну и всё.

...Деньги от вас вчера поручил и ещё бандероль. Спасибо за то и за другое, особенно за деньги. Вы тяните как-нибудь, чтоб и на дорогу вам осталось. А уральцы пообещали послать мне гонорар сюда за рассказ. А «Дядьку Орла» я отвёз в «Литературу и жизнь». Сказали, что герой не магистральный, но вроде собираются печатать. Ещё просили меня, чтоб я куда-нибудь съездил и написал бы очерк в новогодний номер. Я пока согласия не дал, потому что есть ещё дела.

Пятнадцатого буду выступать в университете. Вчера после окончания пленума мы ужинали в ресторане, меня просквозило, и на занятие сегодня не пошёл — болит горло. На улице слякотно и холодно, когда уж это кончится? После молодогвардейских неурядиц пытаюсь работать — начал писать рассказ. Идёт пока плохо. Вчера со мной разговаривала детгизовская редакторша насчёт «Перевала». Если окончательно сорвётся в «Молодой», попробую работать с ними.

Тринадцатого последний экзамен. У меня один хвост — по философии, и если я его аннулирую, то сразу же и уеду. Дам вам телеграмму, чтоб встретили — машинка, да манаток набирается. Сегодня купил Ирине плащ и у букиниста 4-томник Писарева. Кроме беготни занимался «Диким луком». Буду заканчивать «Тёплый дождь». Замыслов много. Старьё надоело, хочется писать новое.

...Я уж с неделю, однако, не писал тебе, «крутился. Нервотрепка с книгой не кончилась. В главной редакции вырубили два рассказа: «Живую душу» и «Дикий лук». Осталось четыре, и потому раздел «Рассказы» оказался куцым довеском к повестям. Я отбиваю «Дикий лук», но требуют большой переработки а я так уж износился за время, что вроде уж и не

годен на серьезную работу сердце колет и колет и воздуха не хватает. Книжка, по всей видимости так и останется на 16 листов. Сейчас она у корректоров, и досылом можно бы сделать «Дикий лук».

Завтра выступаю в Доме искусств, это где мы смотрели выставку Кончаловского.

Настала последняя неделя занятий, потом экзамены и домой. Все надоело. Два дня кряду навещали меня Черненко и Альберт Яковлев из Свердловска.

Меня выбрали в состав актива журнала «Молодая гвардия», значит, предстоит ещё и рукописи читать.

Новеллы мои сдают в набор, но без «Лошади», в восьмой номер «Урала». Как Ирина? Бойтесь гриппа — такой страшенный грипп ходит, с ног валит, спасу нет.

Что слышно о квартире? Переехать бы сразу *[речь идёт о получении квартиры в Перми и предстоящем переезде. — Сост.]*. Придётся месяца на два-три пригласить к себе бабушку погостить [М.Е.Астафьева из с. Овсянка под Красноярском. — Сост.]. У них что-то вовсе разладилось в семье, и ей некоторое время надо пожить в отдельности. Характерец-то у неё тот ещё, наверное, всё с этого и началось. Но это уж после того, как переедем. Да и нужна она мне будет очень в связи с работой над первой частью романа. Память у неё завидная, и она сможет многое мне порассказывать.

Побывал в журнале «Октябрь». В редакции читают «Перевал» и просят для публикации новые вещи. Со мной беседовал редактор и очень любезно. Говорил и о статье, которая ему понравилась. Он ещё сказал, что я зря на курсы поехал. Надо, говорит, писать — тут тебе и учёба. Мужик он, конечно, с загибами. но на меня произвёл очень хорошее впечатление. В пятом номере они дают рецензию на «Перевал», довольно объемную и хвалебную. Вернувшись из «Октября», я основательно слёг.

Вчера по телевизору показывали фильм «Баллада о солдате». Затем была беседа с постановщиками и участниками фильма. Чухрай — очень красивый и умный мужик. А Володя Ивашов и его напарница Жанна Прохоренко! Володя в рубашке без галстука, застёгнутый на все пуговки, как школьник, угловатый. Урбанский тоже был. Он мужчина представительный.

С книгой всё решилось благополучно. Оформляет книжку художник Сергеи Куприянов. Будет цветной форзац, будет по три иллюстрации к повестям и ставки (по одной) к рассказам.

Здоровье хорошее, толстею не по дням, но часам. Дочитал роман И. Падерина. *Слабый роман. Я, как всегда, прямо и*

*грубовато покритиковал его, он об*иделся и чуть было не впал в истерику. Я думал, он умнее.

Есть слух, что наши курсы преобразуются в трехгодичную академию, и, кажется на новый учебный год не будут набирать новый состав курсантов, рассказ «Две матери» я переименовал, и теперь он называется «Кавказец».

……хочет перевести его на свой язык. Сегодня пойду в «знамя» и узнаю о судьбе рассказов.

...Пишу вам, пожалуй, последнее письмо. Вчера я относил гранки в «Молодую гвардию», чтобы раскланяться и уйти, но тут меня схватили и потащили к главному, он беседовал со мной долго и толково. Замечания его были направлены на то, чтобы вещь была цельной и еще более художественной. Я не мог не согласиться с его замечаниями и советами. После этого меня познакомили с художником, который делает рисунки к повести. С ним мы уехали домой, и там я пробыл до полночи. Очень интересный человек и талантливый художник. Пока я беседовал с его женой, он пастелью набросал мой портрет, по-моему, сильно схватил моё теперешнее настроение. Потом я приехал домой, долго ворочался, не выдержал и взялся за «Звездопад». Написал страшный кусок и боюсь, он вовсе испугает молодогвардейцев. Завтра утром должен идти с доработанной повестью в редакцию. Но я ещё не спал ни минуты, а осталось семь гранок, попробую сейчас лечь и утром рано встать. Пятого экзамен по философии — не читал ни строчки из-за срочных дел. Как буду сдавать — не знаю. Ну да ничего.

Сегодня был у редактора и отвёз ему больше половины исправленного «Дяди Кузи», остальное привёз и надо доделать к четвергу. В «Детгизе» мне ещё всучили рукопись на рецензию, отказаться было нельзя — это из той самой редакции, которая издавала «Тёплый дождь».

Денег мне не шлют ниоткуда. Беда. Иринка мне не пишет, видать, считает, что писать мне необязательно. Таковы дети! Что будет дальше?

Виктор

1962 год

9 июня 1962

(А.М.Борщаговскому)

Уважаемый Александр Михайлович!

Не знаю, принято или нет благодарить критиков за рецензию, но мне очень захотелось это сделать после прочтения Вашей статьи о моей книге.

Я не так уже молод по годам и по творческому стажу (мне 38 лет, из них 10 я работаю в литературе), но еще не разу мне не доводилось прочесть о моих вещах столь заинтересованные и добрые слова. Не отписку, не «отклик», а именно заинтересованную статью. Вы написали, пытаясь дружески помочь автору, не избалованному вниманием, разобраться в своей писанине и в самом себе.

Конечно, с чем-то я и не согласен в Вашей статье, кое-что и сам «нащупал» и мог бы раскритиковать некоторые свои вещи шибче Вас, но не это главное, главное, что Вы читали мою книгу не равнодушно, и это дорого мне больше всего.

Спасибо Вам за добрые слова и за внимание! Желаю Вам здоровья и творческих радостей, которые не так уж часты в нашей жизни, и эти слова, слова благодарности написаны в минуты настоящей радости.

Всего Вам доброго! С приветом. В. Астафьев

29 октября 1962

(А.Н.Макарову)

Уважаемый Александр Николаевич!

Наше эпистолярное знакомство началось с довольно-таки чудных странностей. Книжку Вам отправляла моя жена. Сам я спешно уехал на север Урала и забрался к чёрту на кулички. Аж на Кваркуш — это одна из самых больших вершин Урала, и там, на склоне его, находятся изумительные альпийские луга. Проездом был и в Березниках. Это сейчас большой, красивый и самый зелёный город в нашей области. В нём есть даже телецентр, сами понимаете, построен он не только для развлечения трудящихся.

Когда я вернулся чуть живой из похода, посмотрел на квитанции почтовые ахнул. На одной квитанции стояло вместо «Макаров» — «Марков», такая малюсенькая опечатка, а так как я всех наших Марковых не очень люблю, мне было вдвойне не по себе.

Вскоре из Чусового я уехал (мне наконец-то дали квартиру в Перми) и так решил, что книжка затерялась.

Письмо Ваше пришло давно, а в моём прошлом жилище поселились татары, которые на это дело смотрят с философским спокойствием: получит или не получит человек письмо, от этого, мол, в мире ничего не изменится.

И вот лишь вчера письмо Ваше мне привезли. Такая вот прелюдия!

Спасибо Вам за добрые слова. Сейчас я пишу повесть о детдомовцах [*речь идёт о повести «Кража». — Сост.*]. Годы

сложные — 37-й в основном. Хочется написать правду, а правда тех времён страшная. Особенно страшна она была для детей, которые совершенно не понимали, что происходит, и. лишившись родителей, кричали: «спасибо любимому...» В общем, не хочется писать о сиротах так, как было писано в книжках с заголовками: «В родной семье», «Одной семьёй» и т. д. А так, как хочется, не очень-то получается, вот потому, наверное, мне и показалось, что Вы меня перехваливаете. Но похвала ко времени - это для россиянина как яичко к Христову дню, и Вы приободрили меня здорово. Поднатужусь и, глядишь, одолею эту повесть, которой болею давно и которую охота написать хоть немного лучше предыдущих. Тем более что книжка «Звездопад» уже отошла в прошлое, живёт отдельно от меня, и многое в ней кажется наивным.

Попутно с «серьёзными» вещами я всегда пишу маленькие вещи о природе, вроде стихотворений в прозе — это для отработки слова, интонации, для тренировки глаза и памяти. Набралось их порядочно. Я собрал их в книжку и издал её в Свердловске под названием «След человека». Книжку мило издали, и я Вам её потом привезу или пришлю. Мне прислали анкету на совещание молодых. Если утвердят — приеду. Я говорю «если», потому что молодым уже не могу себя считать — мне 38 лет.

Буду рад познакомиться с Вами и, если Вы любите деревню, пригласить Вас когда-нибудь порыбачить в полунищее село за Камским морем, где я купил себе хату и бываю там, когда время позволяет. Картины там. правда, более грустные, чем в наших книжках. Всё заросло репьём и быльём, как в рассказах Бунина, только не было у него слов: «колхоз», «бригада» и плаката, написанного на старых газетах: «Мы за мир!» Это, так сказать, «приметы нового». Ну, да бог с ними, с такими мыслями, иногда от них и устаёшь. Ещё раз спасибо Вам за письмо и за тёплые слова.

Желаю Вам доброго здоровья и крепко жму руку. Ваш В. Астафьев

1962 г.

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Спасибо Вам за доброе письмо. Оно пришлось как-то здорово кстати. Навалилась меланхолия, и не писалось, а всё только думалось.

Может, виной тому были события в маленькой далёкой стране, которой, как пешкой, решили сыграть сильные мира сего.

И слава богу, что не «принесли её в жертву», как писала одна датчанка потом в газете «Известия». И без того слишком уж много было жертв на нашей памяти только.

Вышла моя книжка [*сборник рассказов «След человека в Свердловском книжном издательстве. — Сост.*] та, о которой я Вам писал. Раз Вы человек деревенский и любите природу, я и дарю Вам её на память. Затоскуете зимой в городу и полистаете вторую часть её, и может, она окажется маленьким свиданием с простыми человеческими радостями, которые приносит нам природа. Она в этом деле безотказна и почти никогда не приносит горя. Возблагодарим её за это!

Вещи в сборнике собраны за много лет и потому неравноценны, но я шлю Вам книжку для дружеского прочтения и надеюсь. Вы будете снисходительны к моим, может быть, излишним восторгам и моему трепету перед каждым кустиком и зарёю, которые сплошь и рядом в книжке и, наверное, станут утомлять и даже раздражать. А может быть, и нет? Книжка-то моя и судить мне о ней трудно. Словом, мне хотелось, чтобы она рождала в человеке только светлые чувства, хотя есть там вещи и шибко пессимистичные.

Повесть пишу. Туго, но продвигаюсь вперёд, авось и получится что. Пока судить не берусь. Таких сложных вещей ещё не писал.

Прочитал «Зиму тревоги нашей». Стейнбека я любил и раньше, за «Гроздья гнева» и в особенности за «Жемчужину», а теперь просто боготворю его. Вот ведь как «просто» умеет писать человек! И это ещё перевод, а как, поди, здорово в оригинале!

Да, после таких книг почешешь, почешешь думалку и начинаешь листать написанное и вдруг убеждаешься в собственном убожестве. Коварные эти мужики, мастера-то, нет-нет да и вышибут из седла самоуспокоенности, шпыняют под бока, гляди, мол, как надо писать-то. Ну, авось да небось, и мы свою полоску вспашем. Если в это не верить - пропадай моя телега, все четыре колеса! Может, я чего и не так написал, извиняйте. Немножко рад книжке. На рыбалку вот съездил и под настроение Вам написал.

Крепко жму Вашу руку и желаю всего доброго. Ваш В. Астафьев

Сегодня прочёл Солженицына в «Новом мире». Потрясён. Радуюсь. За литературу нашу радуюсь, за народ наш талантливый и терпеливый.

1963 год

4 января 1963 г.

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Извините, что отнимаю у Вас время, но по пустякам я бы не стал этого делать. В Перми живёт Ольга Александровна Волконская (далёкая и дальняя родственница знаменитых российских Волконских). Она была дитём вывезена за границу в смутное время и моталась по всему свету, как по Старому, так и по Новому. Там и выросла. Мечтала вернуться на Родину и вернулась. Она пишет. Печаталась за границей в прогрессивных изданиях. Печатается изредка и у нас. В частности, подборка её рассказов была напечатана в журнале «Урал». Наше Пермское издательство решило напечатать книгу её вещей. И вот несколько лет не может осуществить этого дела, и всё из-за того, что автор вернулся из дальних Палестин. Наконец-то её оставили в плане, эту книгу, но, чтобы перестраховаться, «общественность» требует рецензии «сверху», т.е. от Союза писателей из Москвы (мы не пророки в своём отечестве), и вот теперь нам стало известно, что эту рецензию заказали Вам.

Александр Николаевич, если рукопись Волконской заслуживает того, чтобы её было возможно поддержать, поддержите, пожалуйста. Я пишу Вам не с целью оказать какое-то давление (как это пишется в газетах), а просто в порядке участия в судьбе этой очень культурной и в общем-то совершенно беззащитной женщины. Она, конечно, счастлива и тем, что имеет — Родину. Но раз уж она пишет, и пишет не хуже, а лучше многих авторов, издаваемых нашим областным издательством, то как-то и неловко держать её в тенях и затирать лишь из-за того, что она имела несчастье родиться в семье дворян, а не пролетариев.

Рукопись Волконской называется «Фиалки и волки», если это не против души, помогите и нам, и автору. О чём любезно прошу. С уважением, В. Астафьев

P. S. Я много работаю. Начерно закончил повесть и теперь обстругиваю её. Думаю к лету доломить окончательно. Получилось вроде, чем и счастлив.

27 января 1963 г.

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Я только что вернулся из знакомых Вам Березников. Была там передача по телевидению, и мне пришлось первый раз в жизни моргать от яростных ламп и глядеть в пустоту, разговаривая с читателями. Занятие не из приятных.

По возвращении домой прочёл в «Лит. России» Ваши заметки о моей книжке [*речь идёт о рецензии А. Макарова «Прочитав «След человека» в «Лит. России», 1963, № 3. — Сост.*]. Мне даже и не хочется их называть рецензией. Очень мне было приятно прочесть Ваши раздумья о книжке. Смущало одно: пославши Вам книжку, я вроде бы напросился на «отклик». Ну, может, это смущение проистекает от «провинциальности» или от «божьего человека», как обозвал меня однажды в Москве один бойкий поэт «из обоймы».

Я всё бьюсь, штурмую повесть. Задачу я себе задал почти непосильную. Работаю тяжело. Нервы уже на исходе. Усталость страшная. Вы мне помогли, поддержали рабочий тонус, и за это самое большое спасибо. Как и всякое яичко дорого ко Христову дню, так и Ваши заметки пришлись ко времени. Возможно, мне удастся захватить уже что-то более или менее читабельное с собою. Черновики я, правда, не люблю читать и показывать, но в этой повести много такого, о чём надо бы посоветоваться. Словом, если ещё раза два или три перенесут совещание, и я уже приеду с почти готовой вещью.

С Волконской всё обошлось хорошо. Моего вмешательства не потребовалось. Достаточно было рецензии «сверху» и всё. Книгу её уже редактируют.

Ещё раз спасибо Вам на добром слове. Ваш Астафьев

23 апреля 1963 г.
Пермь
(А.М.Борщаговскому)
Дорогой Александр Михайлович!

Поздравляю Вас с праздником весны.

Знаю, что отравили Вам эту весну, клюют в темя птички-невелички. Ну, да кого у нас не клевали, не клюют и не клюнут!

Авось переживём! Держитесь! Сожмите крепче кулаки, зубы стисните — это помогает.

Посылаю Вам любопытную заметку из нашей областной газеты о Вашем фильме. Кинотеатры у нас забиты. Я едва попал на фильм. Публика реагирует на события самым живым образом. Успех фильма у зрителей очень большой но прессы на нём я не видел. Неужто от того, что Вы в «опале»? Ай-яй-ай! Что ж поделаешь. Нас тут, меня в частности, тоже помаленьку «прорабатывают», да я плюю на всё, работаю с удвоенной энергией, чего и Вам желаю, крепко жму руку.

Привет Вашей семье. Ваш В. Астафьев

Май 1963 г.

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Нонешний Касьян какой-то тяжёлый для всей земли — жара, землетрясения, бури, тревоги и масса черёмухи. Не к добру, говорят! У меня год этот исключительно тяжёлый. Не успел я вернуться из Ессентуков и пережить обострение, как тяжело заболели жена и её племянник, воспитывающийся вместе с нашими ребятами. И у жены, и у племяша дело подкатывало к смерти от менингоэнцефалита. Леса заражены энцефалитным клещом до безобразных размеров. Больницы наши были забиты людьми совершенно разбитыми и надолго выведенными из строя с последствиями на всю жизнь. Были случаи укусов клешами даже в городском парке. Вот так природа мстит за истязание и разбой, учинённые нами.

Есть такая малая птаха синица-московка. Она питается исключительно этим клещом и съедает его, говорят, до 45 кг в год. Но она любит боровые, густые леса, и в вырубленных, захламлённых местах не живёт. Её на обрубленном Урале почти нет, встречается только на севере и изредка возле нас, и вот, пожалуйста, не стало птахи малой и пошёл мор на людей. Когда только у нас и научатся понимать и осмысливать цитаты, хотя бы того же Энгельса, насчёт того, что к природе надо притрагиваться осторожно, иначе она отомстит.

А какая уж тут осторожность. Весь Урал обрубили, засрали, разгромили на века. Куда ни сунешься, везде брошен лес, везде хлам непролазный и лесная зараза.

Но Вы всё-таки не бойтесь и приезжайте в августе или сентябре. Действие клеща кончается в июле, в конце, и я как охотник и рыбак ещё могу сводить Вас в неразбитые места. Кроме того, в деревушке, где я обычно обитаю, есть речушка с хариусами. Но их так быстро истребляют, что ныне я уже с трудом налавливаю на уху. На будущий год ещё, видимо, буду налавливать, а там уж на уклейку, окунишек и ершей перейду, да ещё на лещей, ловить которых не люблю, но развелось их в Камском море дивно и никуда не денешься, придётся превращаться в лещатника и ждать часами, ждать поклёвки. А я люблю побегать по речке, похитрить, поругаться и обмануть харюзишку. Вкусен, собака, и ловок! Ловить его дело хитрое, но и наслаждение ж!

Писать я нынче совсем перестал. Повесть никак не могу добить. Вовсе выбит из колеи. Сейчас вот жена уже дышит и начинает печатать. Я для разгона написал эту штучку, что кладу Вам в конверт, и ещё рассказ сделал на лист. Его посылаю в

«Урал», там обещают быстро деньжонки заплатить. «Хлебозары» посылаю Вам просто так, для прочтения. Всё пробую «звук» отработать и писать, как наши славные россияне писали стихи, — складно и со смыслом. А то уж больно много развелось у нас модных прозаиков и, как ни странно, поэтов, которые пишут спустя рукава, оставляя писательскую работу в стороне. Стихи пишут длинные, нескладные. И для кого только? Вон Рождественский уж метрами стихи выдаёт. В каждом журнале его самодовольная личность. А стихи? У нас в детдоме говорили: «Ни складушки, ни ладушки, поцелуй её с задушки», так, видно, про такие стихи. Главное — ребятишек развращают. В провинции косяки студентов ходят со стихами, где развязность, хилософия заменяют всякий смысл и поэзию.

Ну я чего-то разбрюзжался! Бывает. Как мне хотелось бы сделать хорошую повесть. А сейчас вот заглядываю в рукопись, и все кажется плохо до того, что и работать над нею не хочется. А знаю — надо себя изнасиловать, заставить. Ну, авось и перемогу себя, авось чего-то и получится.

Как Вам там живется, в Тарусе? Как пишется?

Я весною, если — тьфу! — ничего не случится, поеду в город Белев. Я оттуда начинал воевать и, наверное, смогу и на Тарусу посмотреть — это, по-моему, по пути? А пока везу больную жену в деревню и вынужден буду ещё долго находиться при ней неотлучно. Она у меня мировая баба. Мы женились ещё в 45-м. Она тоже была в армии. Много перенесла. Умница, хлебосольница, и вот говорит — бог шельму метит, пока всё наоборот, всё наоборот.

Чего-то я Вам наворотил тут?

Желаю всего, всего доброго. Всегда рад Вашим добрым и душевным письмам Читаю их и перечитываю. И всё больше и больше хочется встретиться и покалякать. Ну теперь, буду если в Москве, так дозвонюсь уж.

Жму Вашу трудовую, Виктор

4 июня 1963 г.

(А.М.Борщаговскому

Дорогой Александр Михайлович!

Я тоже был в деревне и провёл там всю весну. Это было для меня большим праздником и счастьем. Надышался, насмотрелся, отдохнул, посветлел душой и головой. Стало легче дышать и работать. У меня куплен некорыстный домишко в умирающей, полузаброшенной деревушке [*деревня Быковка под Пермью. — Сост.*]. Рядом с домом речка. Ловлю в ней хариусов. Негусто, но ловлю. Пейзаж там чуть уральский, и больше среднероссийский:

бугры, перелески, поля, но главное — чудная, студёноводная речка. В километре от деревни так называемое Камское море, захламлённое лесом деловым и смытым с берегов. Миллионы кубометров болтает волнами по морю уже несколько лет, и в окрестностях дорубают остатки и бросают их в воду — плавать, как бы специально, колоть нам этими огромными занозами глаза, чтоб мы лучше видели, что ли.

По возвращении прочёл Вашу повесть. Хорошая повесть. Зря Вы насчёт нее оговаривались. У меня есть свои претензии к ней, но они чисто вкусовые и субъективные, разумеется. Меня несколько подавило мастерство её. То есть она настолько гладко сделана в смысле писательского мастерства, что нигде и не споткнёшься. Это, наверное, хорошо, но это же и настораживает.

Я подумал, прочитавши Вашу повесть, кажется, впервые глубоко подумал что критику начинать писать, пожалуй, даже труднее, чем обыкновенному смертному. Критик уже слишком хорошо знает, «как надо». Вот поэтому, видимо, Вы так строги в письме, а местами и очень сдержанны. Я люблю строгое письмо и считаю лучшей книгой о прошедшей войне лишь строгую, "железную" книгу Рихтера «Не убий». Он нет-нет, да и «сфулюганит», вроде и не к месту «сфулюганит», вроде бы и перехохмит где-то, а читать как-то свободно, хорошо и радостно.

По душе мне и однобокий Ремарк, особенно его роман «Возвращение», хотя по стилю и по многому другому он мне чужой, а вот рассказывает о солдатах, о чужих, о немцах, и вроде как обо мне. Целую страницу дует, собака, о том, как солдат помочился после войны и как струйка «серебром блестела под луной». Как будто озорует, но я-то понимаю, что именно вот так вот и можно помочиться с удовольствием, не стоя на коленях в окопе, и это заменит много сиен, написанных иными умильными писателями о том. как почувствовал себя солдат, увидев после страшных боёв дом родной, папу и маму, да ещё бабушку.

Но самым великим, самым моим любимым, моим богом является всё же Достоевский.

Чем больше читаю его, тем больше низко кланяюсь земле нашей русской, которая родила такого писателя. Нет у меня слов и чувств, которыми можно было бы выразить моё отношение к Достоевскому. Благоговение! У меня есть его десятитомник.

Я иной раз гляну на полку с книгами, и мне заплакать хочется. Кто я такой? А обладаю таким сокровищем! Вот могу запросто подойти и притронуться рукой, а это ж святыня!

И он дал мне такое счастье — прикоснуться к такой святыне! И чем хуже дела на земле, чем больше страдает человечество, тем чаше и чаще тянутся руки к «Карамазовым» — этой книге книг.

Да что я Вам всё это говорю! Вы же русский человек, и в Достоевском вся наша боль, все наши муки, все наши слабости и наше величие, и потому он до боли близок всем нам, хотя и обещает неутешительное будущее, но в этом не его вина. А если он был объективен, каковыми мы уже не умеем быть, и страдал за всех разом, то надо только удивляться крепости его сердца. У всякого другого человека, так постигшего мир и людей, сердце этого не выдержало бы и разорвалось на клочки.

Ну вот, увлёкся.

Возвращаюсь к повести. Здорово всё сделано, что касается отношений Маши и матери. Тонко сделано. Хорошо завершено, не сусально. Отец — мужик хороший, и вообще народу хорошего в повести много. Сочно, со вкусом и смаком написан север. Удивила меня лишь несколько раз повторенная фраза отцом Радика: «Алеут тоже человек!»

Я знаю немного этих бойе. Чтобы он так заговорил, надо сильно его обидеть. В повести не хватает сцены и куска, либо этот выкрик висит в воздухе. То, что его отправили как алкоголика «в отсидку», ещё ничего не значит.

А вообще после прочтения повести потянуло снова на север. Дружно там живут, семейно, и отношения сохранились ещё святые, не загаженные мелочами. Может, и соберусь ещё когда.

Послезавтра, точнее завтра, к нам приезжают латышские писатели и в придачу несколько москвичей. Судя по программе, хотят «изучить жизнь». Пока они её, грешную, будут «изучать», нам придётся с ними хороводиться. А потом я снова уеду в деревню, на всё лето. Буду бывать в городе лишь наездами. Сделаю еще один заход на повесть, после которого как-то надо решать и её судьбу.

Повесть *[«Кража». — Сост.]* к августу или в августе я добью. У меня к Вам большая просьба. Не сможете ли Вы её прочесть после того, как я её доделаю? Очень бы хотелось дать её Вам, прежде чем начинать определять её в журнал какой-то. В какой — я ещё и сам не знаю. «Уралу» её не осилить, зубаста она для него. А главное не это, главное мне бы хотелось кое о чём посоветоваться с Вами. Если у Вас будет время в августе и желание прочесть рукопись, напишите, куда Вам её послать, и тогда я напишу обо всём, что меня тревожит, и о чём бы я хотел посоветоваться с Вами как со старшим товарищем.

Я, наверное, утомил Вас своим письмом? Почерк у меня очень уж аховый. Но так хотелось поговорить, да всё равно в письме всего не испишешь, да и не умею я их писать. Как-то сумбурно у меня всё получается. Ну, может, нам доведётся когда-то и так встретиться и поговорить очно. А пока всего Вам доброго. Здоровья и хорошей работы.

Крепко, крепко жму Вашу руку. Ваш Виктор

P. S. Читал Вашу статью в «Литературке». Читал в деревне и потом целый день ходил в лесу и думал. Да, молодым быть трудно, и не только в Риме или Стокгольме, и у нас тоже...

16 июля 1963 г.

Пермь

(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

Я так рад Вашему письму! Его долго не было, и я уж подумал — не обидел ли человека, которому и без того тошно. А обижать и бить людей я уже не могу, хотя и делаю это иной раз непроизвольно. Такая жизнь.

Лет шестнадцать назад я ударил человека кулаком и с тех

пор дал слово никогда не прибегать больше к этому способу действий. Может, оттого, что это произошло при мерзких, низменных обстоятельствах, а может, оттого, что в детстве приходилось отбиваться часто, чтобы выжить. Из рукописи, которую я пришлю Вам, скорей всего, в начале сентября, Вы всё это увидите [*речь идёт о повести «Кража». - Сост.*].

А человека я ударил за кости. Да, да, за кости с колбасного завода. Привезли их в наш цех на делёжку, как «доппитание», и начальство выбрало все мозговые кости, а нам оставило рёбра. Жена у меня лежала в больнице с умирающей маленькой дочкой, и ей не дали карточку. Есть было нечего. Дочка умирала от того, что её нечем было кормить, и умерла. А мы с женой (она тоже с фронта — коммунист, на войне и вступила в партию) такое горе мыкали, не приведи господь. И вот горе, беды и, главное, унизительное сознание того что я, мужчина, не могу содержать семью, прокормить её, заставили поднять руку, и я дал в рыло начальнику цеха. А он парень-то тоже с фронта и потом жил хуже меня. Я пятнадцать лет встречал его на улице в Чусовом, и все эти годы мне было стыдно до чёртиков. Хоть бы он буржуем стал, тогда другое дело, а то такой же «пролетарья». Словом, с тех пор — всё, хотя иной раз и хочется взять по детдомовской привычке стул и обломать его об иную голову.

Живу я всё в деревне безвылазно. Погода у нас нынче одурела. В начале лета и вот уже больше месяца стоит куда тебе с добром. Всё растёт, цветёт, радуется, хлеба в рост. Хариусы клюют помаленьку. В деревне тишь и благодать.

Работаю много. Повесть уходит всё вглубь и вглубь. Не знаю уж, как и вынырну я из этой глуби. Бессилие иной раз охватывает. Не хватает грамоты, культуры и отсюда — масштабное мышление. Обруч какой-то в голове и на сердце. Ломает его — буквально. Стараюсь плюнуть на всё. ан воздухом-то дышать каким? Вот и не удаётся превозмочь себя до конца. А надо бы! Надо бы! Сколько надо рассказать! Сколько осмыслить!

Гнали мы в прошлом году с замечательными колхозными ребятишками на альпийские уральские луга скот. Я написал об этом очерк и попросил «уделить внимание» ребятишкам, которые бескорыстно, в разбитой обуви, худой одежонке ходят к чёрту на кулички в дождь и снег, помогая колхозу, а потом всё лето работают на полях.

«Взяли»! Журнал «Уральский следопыт» наградил школу грамотой, какими-то значками и пятью путёвками на слёт юных следопытов. Повезу их (путёвки) сам. Завтра и порадую село и ребятишек. Пусть хоть пятеро из них посмотрят кусочек света, поедят, как следует. Ехать далеко на север области, но надо.

Я помню, как валялся на полу столовой одного дома творчества откормленный выродок, пинал в морду маму, плевал на официанток и кричал: «Я — внук Прокофьева!» И не могу с тех пор бывать в этих домах и очень хочу, чтобы кусочек сладкого пирога, хоть маленький, достался тем ребятишкам, которые его заработали, зарабатывают, но в глаза не видят.

Сегодня ночью я прочёл повесть своего друга по курсам, Анатолия Знаменского. Не слышали о таком? Это очень талантливый человек, и повесть его где-то посильнее «Одного дня Ивана Денисовича» Солженицына (она об этом же, но «припоздала»). Советую Вам достать его книжку рассказов «Прометей № 319» и прочесть там два рассказа: «Прометея» и особенно «Песнь песней». Остальное написано давно, случайно и «для хлеба». Нынче в «Урале» печатается его роман «Иван-чай», но повесть, которую я прочёл, сильнее всего. Он в 64 страницы «уложил» столько, что диво-дивное. В общем, не бедна земля наша талантами, да таланты-то на неё ропщут — неласковая, неподатливая. И сколько её роют, а всё тверда!

Статью о Достоевском прочту непременно, как вернусь домой. Я очень хочу во многом разобраться и не могу.

Пишу между «серьёзными делами» для ребят. Пишу с удовольствием, даже с наслаждением и на этих вещах «отдыхаю».

Ну вот пока и всё. Как хорошо, что Вы «появились», и я могу поговорить с Вами хотя бы в письме.

По существу, люди мы все очень одинокие. И страдаем, и радуемся, и даже боремся (чаще с собою) в одиночку. Как я завидую тому, что Вы — таким кругом! — читаете рукописи. А здесь провинция. Здесь зависть и напольные интриги. Печатаюсь вне Перми, по существу, я один. А есть «свои классики», как и во всякой другой области. Выдают в год по пятидесятилистовой книге и их видите ли, не замечают! Что-то не то! А в общем-то, чепуха всё это. Каждый художник прежде всего сам себе судья. Ругаюсь я тут. Зуботычины, в виде рецензий, даю градомётом. Прикормили их возле литературы, как собак возле бойни.

Я тут ещё уполномоченный Литфонда. Ну и кормушка ж это! Обобрали меня как липку. Все «фонды» раздал, и скоро мне влетит «сверьху». Ну, глядишь "с поста" сымут за растрату. И то добро.

Всего Вам доброго, Александр Михайлович! Хорошей погоды! Хорошего клёва в прямом и переносном смысле! Крепко жму Вашу руку. Виктор

Ноябрь 1963 г.
(адресат не установлен)

Дорогой Иван!

Когда русский человек говорит слово «вознёсся» или «зазнался», то он сразу ставит себя в положение обвинителя, а тот, кому он это говорит, следовательно, должен оправдываться и таким образом доставлять некую усладу обвинителю. Ни перед тобой, ни перед кем другим я оправдываться не собираюсь, ибо вина моя перед людьми, и в особенности перед литераторами, которые начинали писать вместе со мною, либо гораздо раньше, вина моя перед ними состоит лишь в том, что я больше и лучше их работаю. С некоторых пор друзьям моим прошлым и настоящим стало доставлять удовольствие говорить мне гадости, в особенности тем, кто принимал и принимает литературу вроде приятельской забавы. Я же давно знаю, что она не забава, а одна из тяжелейших работ на свете, и отношусь к ней только как к работе, а не к способу показать миру свою персону и удивить мир ею, а следовательно, ни «возноситься», ни фарисействовать мне некогда.

Кроме того, я два года живу в Перми, а до этого два года учился в Москве и никаких писем от тебя не получал. Если бы получил — можешь быть уверен, ответил бы. Я отвечаю на каждое письмо, и умное, и глупое, иной раз от сна отрываю часы, но всё равно отвечаю, дабы не давать лишнего повода думать, о пишущей братии плохо и разносить по свету мещанские гадости. Я сужу о писателе по его произведениями, тут он весь на виду — это же советую и тебе делать. Будь здоров. Виктор

12 декабря 1963 г.

(Адресат не установлен)

Иван!

Ты попал со своей открыткой не в добрый час.

Я приехал домой из Ялты (заболел там 8 ноября, а 9-го выехал). Хотел проехать Москву, но там, как раз должны были принимать в Союз рекомендованного мной мужика и попросили остаться, так как его шансы были не очень. Я остался совершенно больной аж на целых четыре дня, а потом выдержал бой на приемной комиссии, заступаясь в лице подшефного за всю периферийную литературу. Его приняли, а я глотал валидол, на том и до дому доехал.

Тут сей друг с радости напился и немедля наговорил мне гадостей. Он мог их говорить на том основании, что переехал из подвала в новую квартиру. Её выхлопотал тоже я, как депутат и как уполномоченный Литфонда. Деньги литфондовские вкладывал в кооператив, на свой риск и страх. Он приходил потом извиняться и плакаться, потому что ребята ему рассказали

всё же, как я бился за него в Москве и как добывал квартиру. Говорит: «Не знал, что так могут ко мне относиться». То есть думал, что уж если что для него сделал на копейку, так орать должен, что на рубль — это у нас заведено. Ну, махнул я на него рукой, контуженный он, да и «осознал» вроде.

Вот в сей период, лёжа в больнице, я тебе и накатал то злое письмо. Отвёл душу на тебе, ибо жены дома не было (она тоже была в больнице на очередной женской операции). Извинения не прошу, потому что считаю тебя мужиком, хотя и передёрнуло меня на словах «отвода не жду», это кокетство «бедного» периферийщика.

Меня обещают вылечить за полмесяца, печёнка и сердце у меня разболтались, и ещё голова шумит, ну к этому-то я привык. Думаю к новому году выбраться отсюда. Нервы подкреплю и прочее, а то уж и жене доставаться стало, а она у меня такая женщина, каких не на всяком меридиане земного шара найдёшь. Редкостного ума, такта, душевности, и готова за меня голову свою отдать и сердце вынуть, если надо. Это не красивые слова, а правда. Только я ей никогда их не говорил — стесняюсь, а вот ввернуть, пока не слышит, что-нибудь «творческое» — это ничего.

Работы много. Готовлю книжку в библиотеку «Огонька», сборник рассказов в «Советскую Россию», и главное, к марту должен сдать в журнал и издательство «Молодая гвардия» новую повесть *[«Кража». — Сост.]*, над которой бьюсь с 1961 года. Вещь уже читали, но предстоит большая доработка. Очень вещь серьёзная. Действие её происходит в Игарке.

А ты, значит, в драматургию ударился? Хлопотное, не очень благодарное и не для всех хлебное дело.

Ну, бывай! Привет семье. Виктор

1964 год

11 февраля 1964

(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

Вы, наверное, уже в Чехословакии? А у нас нынче хорошая сухая зима, тем не менее и до нас докатилась какая-то страшная эпидемия гриппа. Все медики на ноги поставлены. Не упасся и я от болезни. Лежу вот уже пятый день, правда, не с гриппом, а с ангиной, но тоже хрен редьки не слаще. Единственное преимущество перед гриппом — можно читать и писать хотя бы письма. Вот я и пишу по письму в день.

Я очень рад, что Вы на меня не обиделись за то, что я не зашёл к Вам в Москве. Ну, да Вы ведь не провинциал и всё

понимаете, как надо. И, наверное, хорошо, что Вы не остались на съезд. Право, всё это уже и утомительно, и удручительно не только для пожилого человека, знающего к тому же театр и основы, по которым создаются спектакли.

У меня самочувствие не очень-то хорошее. Перво-наперво устал с повестью и ещё потому, что распорядился я ею глупее некуда. У меня была телеграмма из «Нового мира» насчёт рукописи, но тут товарищ мой прислал мне письмо о том, как долго читали там его рассказ, как нудно редактировали, и я заколебался. Дело в том, что в издательстве «Молодая гвардия» повесть перенесена из 1963 года в первый квартал нонешнего года и мне, следовательно, нужно было поспешать. Бах! — письмо из «Знамени»: «Помним, любим, быстро прочтём и т. д.». Я всадил им рукопись (хотя знал, какой это занудливый журнал, в смысле прочтения рукописей авторов, не являющихся секретарями и членами), и, конечно, попал на уду.

Сначала всё шло быстро и хорошо. Прочли, дали редакционное заключение работники отдела прозы и Александр Николаевич Макаров, член редколлегии. И вот уже скоро три месяца, как повесть в «Знамени», и начальство никак не соберётся решить её участь. Дней десять назад была телеграмма о том, собираются обсуждать на редколлегии днями, и снова молчок, все это может кончиться весьма печальным результатом — повесть не современная, не военная, и на этом, да и на любом основании мне могут отказать в «Знамени», и тогда я останусь вне журнала вообще, потому что издательство уже махнуло на меня.

Ну, век живи, век учись и так далее...

Еще занимался киносценарием для ребят. Очень неуверен был, принимаясь за эту работу, ибо начитался статей о специфике, ракурсах, фокусах и прочем.

Плюнул я на все это и стал писать сценарии как литератор и кинозритель, умеющий кое-что запомнить, увидеть, кинозритель, в жизни которого кино играло, пожалуй, главную роль в смысле воспитания и отравления организма, просвещения и отупления — всего вместе.

Недавно приезжали ко мне на денёк режиссёр и редактор из студии, и оказалось, что я вполне владею этой «спецификой», ибо, сказали они, «самая наиглавнейшая специфика наша — это достоверная жизнь, а она в сценарии есть, а как снять, кверху ногами или на лету, это уже не ваша забота». Ну, тем и успокоили. Теперь буду работать уверенней. Вот только поправиться бы, и возьмусь за сценарий, потому что с повестью в очередной раз разделался (опять надеюсь, в последний).

Читал я всю полемику с Солоухиным. Я и по его книгам,

очень талантливым, убедился, что он бессовестный человек, а теперь это моё мнение подтвердилось дискуссией. Мало того, он не просто бессовестный, он заигравшийся, беспардонный демагог, которому ради красного словца не жаль матери-отца.

О многом и многом мне хочется и надо с Вами поговорить. В письме этого не сделаешь. Да и отдыхать Вам надо, а я ещё тут со своею нудной тоской.

Будьте здоровы. Не работайте там. Отдыхайте. Шлю Вам привет с родной земли. Виктор

1964 г.
Пермь
(Адресат не установлен)
Дорогой Иван!

Не так давно я был в Москве и однажды вернулся в общежитие литинститута, где постоянно останавливаюсь и где у меня много приятелей, и заорал: «Я был в гостях у счастливых людей!» Мне не поверили, и я сказал: «Бля буду!» Всё равно не поверили. Я действительно был в гостях у людей, которых можно назвать счастливыми, братия литинститутовская, как правило, с такими сложными, исковерканными судьбами, что ей, да и мне тоже, не верилось, будто бывают счастливые люди.

Я как-то говорил, что почти каждый человек — это герой большого романа, в крайности повести, а есть такие, что и с них хоть трилогию пиши.

Так усложнилась наша жизнь, что человечишку этого мотает, мотает, треплет, треплет, что он бы и не хотел, да в куделю превратится.

Я знаю несколько приличных писателей, которые в расцвете сил и творчества бросили писать: «А зачем?» — спрашивают. И действительно, зачем? Вон у меня на полке стоит двести книг из серии «Жизнь замечательных людей», стоят сочинения титанов! — Толстого, Достоевского, Бальзака и многих, многих, страдальцев «за будущее», за человека. И что? Лучше стал человек? Жизнь его устроенней сделалась? Он высвободил ум и себя от забот о насущном хлебе для творчества и великих дел? Да ни хрена подобного! Всё стало хуже и человек тоже. Эта двуногая скотина сама себя поставила к стенке и не понимает этого. Дошла до морали «сдохни ты сегодня, а я завтра», загрязнила и разгромила природу, то есть предала и ободрала своего лучшего друга. Наши титаны мысли все в гробу поперевёртывались, поди. Даже Карл Маркс вшу бородой метёт, а на что уж был активный демагог, которому ради красного словца не жаль было не только матери-отца, но и всех нас, детей его. И кабы одного меня.

А я если отлежусь, на съезд поеду, посмотрю еще один спектакль в жизни со многими явлениями и замаскированным карьеризмом и пр., и пр. Может,когда и в Сибирь соберусь. Если всё изладится — летом уеду на Енисей отдохну хоть. А пока бодрюсь, старина, в меру сил. Обнимаю. Виктор

8 сентября 1964 г.

(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

В последнем письме Вы мне писали о болезни тестя и о том, что в Мещере горят леса и вообще чёрт знает что делается. Я получил это письмо тогда, когда у меня в семье двое лежали в тяжком бреду и на грани, как говорится, от клещевого энцефалита. Впрочем, я и сейчас, когда все беды остались позади, шибко сомневаюсь в диагнозе, ибо ни у Марии, ни у племенника её, который живёт у нас, впившихся клещей не было. Видимо, это какая-то тяжкая разновидность менингита, но списывают всё на клещей, которые и в самом деле нынче свирепствовали у нас и отправили на тот свет многих людей.

И если бы у меня не было друзей и маломальской известности в городе, то и жена моя тоже бы побывала чёрт знает где, скорей всего, дальше ещё, чем Тёркин Вася. Больницы были переполнены, врачи в отпусках и с трудом уж через облисполком удалось устроить в больницу Марию — там её и спасли, и племяш тоже поправился.

Сейчас уже больше месяца мы живём в деревне, и Мария хорошо поправляется, а я наконец-то смог работать над «Кражей». До этого, чтобы совсем не выйти из колеи, кропал рассказы — сделал три — один, кажется, ничего.

А «Кража» идёт очень и очень туго. Запутался я и заплёлся. И хотя время и советы, особенно Ваши, очень пригодились, всё же хвастаться особенно нечем. Что-то мне кажется в повести плохим и от этого вещь разлюбливается, и начинаю от неё уставать, а это уж плохой признак — устанешь, скомкаешь и отпихнёшь от себя. Пока сдерживаюсь и заставляю себя работать. В общем-то, вещь, конечно, сделалась получше, ещё заход-другой сделаю и, может, вывезу.

Лето у нас стояло засушливое, но в середине августа грянул холод и всё померзло, и листья сразу начали желтеть. Сейчас начало сентября, а всё уже дышит глубокой осенью. И печаль какая-то кругом, растерянность. Я много хожу по лесу с ружьём и радуюсь тому, что могу вот так ходить, и думать о чём угодно, и жить вдали от шумихи, суеты и раздражительности. Правда, и съездить уж хочется куда-нибудь.

Может, глубокой осенью приеду с повестью в Москву, а может, и сборник рассказов редактировать в «Советскую Россию». Лежит там мой сборник скоро уж два года и ни слуху, ни хрюку из издательства. Рассержусь, наверное, да отдам его в "Советский писатель». У меня оттудова есть письмо с предложением что-нибудь им дать.

Что нового у Вас? Как киносценарий и роман? Как здоровье домашних?

Вы, наверное, из Кузьминского уже вернулись, поэтому я пишу Вам на столичный адрес.

Читаю сейчас книгу статей Леонида Леонова. Мудёр мужик, но и хитёр тоже. Вышла у меня книжечка «Перевал» на латышском языке — вот и все мои, новости. Говорят, вышла моя повестушка «Звездопад» в Чехословакии, но книжку мне не шлют отчего-то. Может быть, Вы когда-нибудь поедете в Чехословакию или Ваши знакомые? Будьте добры, попросите привезти один экземплярчик, если книжка в самом деле вышла. Охота взглянуть.

Ну всего Вам хорошего. Пусть хорошо работается. Жму руку. Виктор

P. S. Дорогой Александр Михайлович! Только я дописал Вам письмо, прискакали мои ребята на воскресенье в деревню и привезли от Вас пакет. В письме я отписал Вам свои жития и теперь, естественно, мои вопросы насчёт Ваших дел отпадают. Удивляюсь Вашей работоспособности. Вы, наверное, очень организованный человек.

А Ваше сетование насчёт критики я полностью разделяю. Действительно, странно, что о Ваших книгах ни звука! Я, например, уверен был, что последняя Ваша повесть в «Нашем современнике» вызовет споры в печати, ибо в ней есть о чём поразмышлять и поспорить. Так нет, критики тоже ищут чего полегче и ни с того ни с сего поднимут вой вокруг какой-нибудь лабуды. Вспоминаются мне горькие строки из писем Вячеслава Шишкова, который тоже при жизни был у критики не в чести, да и сейчас, после смерти, его особо не жалуют. О Крымове или Горбатове пишут и говорят больше, а читают всё же Шишкова. Такая уж штуковина непонятная эта литература. Так работать, конечно, тяжело. Хорошо, что за границей издают Ваши книги и читатели знают — это, в общем-то, самое главное. И всё же можно было и отнять чуточку внимания критики, спорящей об Аксёнове или Вознесенском.

К сожалению, без критики и без внимания иные писатели совсем изменяются. Есть такой писатель Борисов в Свердловской области. Он задолго до Шолохова написал рассказ «Луна над ячменным полем» (и не хуже, чем «Судьба человека»), но его так

мутузили «внутри» писательской организации, что приучили писать так же безлико, как и они, чтоб знал край и не лез за него, не выделялся, а был тоже серењким и безропотным.

Или вот у Константина Воробьёва вышли повести и рассказы в «Советской России». Отменная проза — и ни гу-гу о книжке. Я не хочу утешать Вас этими примерами, и пишу о них лишь только потому, что и сам недоумеваю и не понимаю многих вещей.

Пусть Вам хорошо работается — это главное. Виктор

4 ноября 1964

(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

Прежде всего с праздником Вас и всё Ваше семейство!

Я только что из деревни. Повесть таки добил. Стоило это огромных усилий и перенапряжения невероятного. Если б не глухое село, не добрая осень, не отринутость от суеты и ошеломительных новостей, мне не справиться б было с этой вещью. Не всё, но вывез я в повести.

Есть прогибы, есть места, где не хватило силенок, а точнее таланта, но чувствую Что вещь получилась, и только звон в контуженной башке да усталость не дают как следует порадоваться этой моей победе над собою (я ведь несколько раз про себя киксовал и решал уж отступиться от этой вещи).

Дома я нашёл в газете рецензию на Вашу повесть. Наконец-то! Я тут даю её, повесть, читать всем своим знакомым. Всем она нравится (даже не то слово немножко). и все говорят, что сами ни за что не стали б читать повесть под таким названием. Уж очень оно безлико и вяло. Кстати, один мой знакомый писатель который страшно обрадовался, прочтя Вашу повесть, и целую неделю толковал со мною о ней, сказал, мол, хорошо, что «Литературка» не напечатала ничего о повести Борщаговского, рецензируя прозу «Нашего современника". Я спросил, почему. И он, на мой взгляд, резонно ответил, что больше двух абзацев она не могла бы уделить повести, а о ней нужно писать много и так же умно, как сама вещь написана.

Свою повесть я отправляю в «Знамя» — обещают быстро прочесть. Кроме того, я печатался когда-то в «Знамени» и меня там ещё помнят, судя по письму, пришедшему из журнала. Если чего-нибудь не стрясётся, то числа 20-25 ноября приеду в Москву и постараюсь сыскать Вас, вот потому и пишу коротко, что надеюсь потолковать. Очно!

Желаю Вам нормальной работы. Всего доброго. Виктор

25 декабря 1964 г.

(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

В самое расслюнявленное время, в самую мокропогодь был я в Москве. Приехал в великой душевной смуте, или, как нынче говорят, с депрессией, ибо, закончив повесть, обалдел от неё и устал. В Москве я немедленно подхватил грипп и жалел себя, такого одинокого и несчастного, всё мне хотелось плакать, и даже были и другие сентиментальные мысли и намерения. Естественно, что в таком чисто российском состоянии, когда чувствуешь себя несчастненьким и сладенько упиваешься этим, ни видеть, ни звонить мне никому не хотелось.

В эти дни приехал из Челябинска в Москву Володя Кузнецов (сталевар, лицом и волосом похожий на Есенина) и привёз полный чемодан стихов, нигде еще не печатанных и никем не слышанных. Лёжа на кровати, я переслушал весь чемодан и был поражён и обрадован, что наша земля, даже неудобренная, нет-нет да и родит овощь и здоровую. Парню 28 лет. У него невероятно трудная биография, твёрдый характер и почти зрелая уже муза. (Я кладу вам в конверт один экземпляр ею стихотворения — посмотрите!) Захотите – еще пришлю. Каковы его дела в Москве, пока не знаю. Думаю, что не очень хорошие. Ототрут его плечами удалые молодцы, знающие ходы и выходы, да и не по зубам многим нашим журналам будет его умная и мужественная поэзия.

Я знаю Валю Волкова из калужской деревни. Он пишет так, что сердце стонет от скорби за землю нашу, и потому его не печатают. Утешает единственное, что настоящий талант всё равно пробьётся… Но как подумаешь — сколько не пробилось!..

Так и не дождавшись результатов с повестью, чуть только выздоровев, я укатил из Москвы. В моё присутствие «Кражу» прочли в «Знамени» Макаров и Уваров. Оба они «за», хотя и сделали замечания, но они сказали, что сходу, по «зелёной», у них печатаются только секретари правления Союза, и тем меня утешили. Начальство повесть не читало. Обещало как будто прочесть и быстро сообщить, но вот новый год на носу, а ничего не слышно. Боюсь, что «Знамя» подведёт меня и я останусь с повестью вне журнала, ибо в издательстве прочли повесть, написали договор, и я с трудом уговорил издательство перенести повесть из 2-го в 3-й квартал.

Мой вояж в «Знамя», кажется, рассорил меня с «Молодой гвардией», где я, постоянно печатался. Во всяком случае, там сделали вид, что обиделись на меня смертельно. Но, хотя обещали объявить меня в журнале на будущий год, и… «забыли», зная, что я работаю для них. Ну я, может, из-за гриппа, а может,

из-за депрессии высказал им все свои обиды, а обиды мне наносились всякий раз, как я печатался, то в виде ущемлений гонорарных, то усекновений текстовых.

Словом, жизнь катится вперёд, и настроение моё уже подладилось, и я снова весь в работе, а Вы на меня не обижайтесь. Это уж свойство моего характера — появляться на люди бодрым и здоровым, а в болезни и несчастье уходить в себя, в одиночество.

Маня моя, слава богу, тоже шевелится уже, печатает и варит, и високосный год кончается.

Сегодня отправлю четыре листа в приложение к «Сельской молодёжи» (предложили мне там напечататься), отправляю «Звездопад» и два новых рассказа. В Чехословакии книга моя действительно вышла. Какие-то дальние знакомые купили её там и передавали мне об этом через дальних же знакомых. Так что я Вас очень прошу привезти мне книжку. Она вышла как будто в молодёжном издательстве.

Я избран делегатом на съезд, следовательно, в начале февраля мы увидимся. Я покажу Вам новые рассказы и себя покажу, хотя мне и стыдно будет немножко, но Вы уж не браните меня. Я тут столько крови испортил своей, пока поправил дела домашние, отбился от должности секретаря отделения и закончил повесть. Работа и спасла меня от многих бед.

Ошарашили Вы меня сообщением насчёт болезни Яшина и Залыгина. Они ж ещё молоды для писателей и на тебе! Мор идёт по земле, повальный мор. Вот разом несколько знакомых доканчивает рак в здешних больницах. Весёленький век нам выпал!

А теперь поздравляю Вас с Новым годом и желаю, чтоб он лучше и легче был, чем нонешний, и чтоб работалось, работалось. Ваш Виктор

1965 год

16 января 1965 г.

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Я нахожусь сейчас в «своей» деревне. По возвращении из Москвы ездил в Свердловск на совещание, которое, по-моему, никому не нужно было и пользы от него никакой. Только и пользы, что банкет, где все упились и наговорились.

Вернувшись домой, работал над «Кражей», но устал, плюнул на всё и рванул «на лоно». Хорошее оно, это «лоно», прямо слов нет и сказать, как тут тихо, снежно, голубо и здорово!

А тут ещё и удача. В первый день, как приехал, взял зимние

удочки, спустился на речку и в первой же лунке поймал шесть хороших хариусов. Впервые в жизни поймал зимой хариусов, да ещё сразу шесть! Потом мы с сынишкой рыбачили ещё три дня, и поймал он всего одного хариуска, а я ничего больше. На том, видно, и кончилась моя планида или фарт. А вчера ударили морозы. Радио говорит — кратковременные. Посмотрим. Я времени не теряю зря. Сижу и делаю набросок киносценария, за который уже давно получил и проел аванс. В успехе дела я шибко сомневаюсь, но аванс отработаю и от повести отдохну. А это уж немало.

После праздника я давал телеграмму в «Знамя», просто чтоб подшевелить немножко «машину». Ответа нет. Я беспокоюсь очень. Ведь если меня забодают, я могу остаться вне журнала вообще, ибо «Молодая гвардия» в лучшем случае будет ждать меня до лета, а потом возьмёт за бороду.

Ну да бог с ней, с этой повестью! Не стоит о ней и говорить. Хорошо уже то, что я её опять перетряс, пересмотрел и дорабатывать заканчиваю. Глядишь, лучше и завершённее станет. Это не так уж мало. И потому уже я благодарен Вам и никак не могу «охладеть». Это уж Вы зря. Я так просто с людьми не расхожусь. Повесть повестью, а дружба дружбой. И не стоит говорить об этом больше.

Я делегат съезда. Получил карточку, заполнил. Значит, скоро приеду и мы ещё где-нибудь посидим в уголке и покалякаем, и, глядишь, и выпьем на этот раз, отменим "сухой закон", навязанный жёнами. В Новый год я грипповал. А сейчас чувствую себя хорошо и только об одном жалею, что дела вынуждают через три дня покинуть деревню. Так бы и жил здесь век! Обнимаю Вас! Виктор

1965 г.
(Жене)
Дорогая Маня!

У тети Таси *[тётка Марии Семёновны. — Сост.]* я пробыл два дня, хорошо выспался. С тетей Тасей наговорились досыта. Она живет всё так же, по-моему, до завидного земно и покойно, вся в буднях — трудах да хлопотах, тоже земных и непритязательных. Глядя на неё, я ещё рад убедился, что быть при земле и жить ею — есть высшее наслаждение и не всем ведомое счастье.

Спасибо за рукопись! Жаль, что тебе снова пришлось быть в суете и штурме. Мне бы и хотелось, чтобы тебе было спокойней и нетрудно, но ни я, ни семья моя не умеем этого делать и всё получается как-то не по азбуке, а больше по течению.

Повесть всё ещё читают в «Новом мире», а вот рассказы вроде

бы двигаются: «Индия» идёт в «Литературной России». «Заклятье» — в «Сельской молодёжи», а в «Огоньке» — про оленей, говорят — хорошо, но лучше бы про комбригады, а так может и не пройти.

На следующей неделе начинается семинар в Чите, и успею ли я к нему? А хотелось бы съездить, развеяться малость. Сегодня поеду в Союз и переговорю обо всём, попутно узнаю, не выкинули ли рассказ из «Нашего современника», сейчас все может быть. Идёт новая облава на литературу, а облавливать-то уж нечего и некого. В среде литераторов кроме рвачей и бездарей полное уныние. Ждали послаблений, а тут фигу с маслом. Ходил в прачечную, хотел сдать пару белья в разовую стирку да постеснялся, больно уж черномазые грузины и иже с ними держатся там по-хозяйски. А вокруг лебезят банщики. Противно смотреть. Рукопись посмотрю после машинки и тогда отнесу в «Молодую гвардию». Повести там и там, видать, будут лежать, пока не отпразднуют 50-летие неповторимой нашей и любимой власти. Ну, лежат не только у меня. А вот насчёт нового сборника рассказов на 67-й год я в «Советском писателе» договорился на 12 листов. Времени тут даром не теряю. Надо работать. Целую, я

Март 1965 г.

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Повесть я доделал уже больше недели как и что-то прихворнул опять — ангина прихватила, да какая-то непривычно тяжёлая. Сейчас уже поправился почти, но ничего делать не могу из-за неопределённости с повестью, навалилась тоска, и от тоски вот и пишу Вам. ибо из-за болезни даже на рыбалку ехать нельзя, да и холода нынче стоят.

Вчера мои орлы ездили на рыбалку, и сын ознобил нос и также все брюшки пальцев, поймав при этом четырёх окуней и трёх сорожек.

Что же это «Знамя» так меня мучает? Была телеграмма дней с десять назад, скоро, мол, и опять ни гу-гу. Я уж извелся весь, а главное, делать ничего не могу, и сомнения меня всякие одолевают, какая-то смута на душе и думы насчёт своей писательской неполноценности.

Всё это, в общем-то, блажь, и я не хотел писать о ней, да уж больно невмоготу.

Читал вчера Вашу статью в «Литературке» [*Художник — искусство — время. Лит газета. 1965. 13, 25 февр., 2 марта. — Сост.*]. Меня как-то очень покоробили Ваши слова «и пусть автор

не обижается...» Чего уж Вы с поклоном критикуете Вл. Солоухина? Он и без того избалован вконец и обнаглел от этого, судя по демагогии, разведённой в «Литературке» насчёт обрядов. Людям жрать нечего, они, крестьяне наши, пребывают в равнодушии и запустении, а Солоухин хлопочет насчёт обрядов и пишет сельские идиллии. Хитрец он, очень талантливый и оттого ещё более вредный хитрец-демагог.

Недавно был бригадир из нашего села и сообщил, что в клубе при демонстрации фильма «Председатель» к концу сеанса осталось два человека. Люди плюясь уходили из клуба и говорили, что им всё это и у себя видеть надоело, а тут ещё в кино показывают...

Я, в общем-то, был готов к этому, но очень хотел ошибиться в предположении и удручён был этим сообщением вконец. Так что деликатничать с теми авторами, которые вроде бы врать не врут, но и правды не говорят, не следует, наверное. Очень они много вреда принесли. И Солоухин — это тонкий перерожденец лакировщика, который видит каждую травинку и даже каплю росы на ней, но бревна не замечает, рыло в кровь разобьёт и всё равно не заметит, ибо за это не платят, за бревно-то...

Говорят, съезд снова перенесли. Может, его зажмут, как когда-то совещание молодых зажали? Если так, то в Москву я не скоро поеду, а чего-то так хочется потолковать. Ну да авось чего с повестью и выйдет. Сняли бы скорее камень с души — туда ли, сюда ли объявили, и делу конец.

Если съезд не скоро, Вы мне черкните маленько при наличии свободного времени, а если съезд скоро, то и писать не надо. Я, наверное, сбегу в деревню на недельку, как немножко потеплеет.

Что это происходит на литфронте? В правление Московской и Ленинградской организации не вошли Соболев, Прокофьев, Грибачёв, Софронов и иже с ними. Если так дело пойдёт, то можно дожить до того, что и правду говорить и писать станут?.. Даже страшно представить себе это!..

С приветом. Виктор

29 марта 1965 г.

Пермь

(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович! Вчера я вернулся из град-столицы, где провёл двадцать чудеснейших и почти бесполезных дней. Дела мои с повестью так и не сдвинулись с места. В «Новом мире» новый заведующий отделом прозы читал сызнова повесть. Она ему понравилась, и он сказал, что давать будет и

непременно, но сейчас не до последних номеров, сейчас надо сдавать 910 номера, а там уж, глядишь, и до меня очередь.

У меня был полуторачасовой разговор по повести с начальством издательства "Молодая гвардия", и когда я его закончил, мне было так тяжело физически и морально, будто я тифом переболел. Тяжело от того, что люди требовали от меня и просили такое, во что сами не верят, что никому не нужно и все-таки... В конце сентября все эти слова получат продолжение. Работа в «Новом мире», разговор в «Молодой гвардии... Уж хоть бы отказали, я и то рад был, пожалуй.

Все двадцать дней собирался поехать к Вам, но Москва так умеет отнимать время и деньги, что у меня никак не получилось свободного куска хотя бы дня в три. Всё по-старому: «Приди завтра», «послезавтра», а телефоны обрывать и брать за горло я не умею, и поэтому до сих пор «Новый мир» мне договора не дал, хотя затребовал заявление на него ещё ранним летом. Да и не в договоре дело, но всё же. Устал я очень. Поеду на несколько дней к себе деревню, а потом в Сибирь. Передохну.

Рассказ Ваш в журнале я видел. Соседство с Вами меня смущает. Рассказ мой сделан из старого этюда и как-то не получился, что-то в нём нагнетено, надумано, какая-то неправда есть, и я уж каюсь, что вынул его из стола, но было плохо с деньгами. Сделал я ещё три рассказа, два пристроил в Москве — в «Литературной России» и в «Огоньке», а третий надо крепко доделывать.

Из Ирбита мне есть письмо с извещением, что Вы дали согласие приехать к ним. Я, конечно же, составлю Вам компанию. Это будет приятная поездка и отличная встреча, хлебосольная, русская, радушная. Это единственный виденный мною город, где писатель свою глупость стесняется демонстрировать и не обзывает коллег дармоедами. Я в конце сентября буду в Москве, а затем поеду в Белгород на семинар и вас увижу. Договоримся. Рад, что Вы согласились побывать на Урале. Плохо, что зима будет, но что же делать!

Думаю, что настроение Ваше подналадилось уже? Рассказ-то в «Современнике» есть, а нашему брату, как дитю — для поднятия настроения нужно много и немного, иногда буквальный пустяк выбивает из колеи и пустяк же возвращает в неё. Ничто так не поправляет настроение, как напечатанная вещь если она, конечно, не истерзана до неузнаваемости Подержишь другой раз в руке журнал, положишь в стол и дальше поехал. Пусть и у Вас так же будет

Всего Вам доброго. Погода наладилась. Работайте и надейтесь на лучшее Крепко жму Вашу руку. Виктор

1 апреля 1965 г.
Быковка
(А.М.Борщаговскому)
Дорогой Александр Михайлович!

Я в деревне! Но буквально перед самым отъездом мне принесли Ваше письмо бандероль с книжками. Какая это была меня радость! И как ко времени! С повестью-то ведь у меня всё осложнилось. Её не берут в журналы. И не потому, что она очень худа. Говорят: «здорово», «талантливо» и начинают толковать о том что в ней не написано. А Никонов из «Молодой гвардии» так прямо и честно сказал — «нет». «Не пропустят тут многое, а ведь ты не захочешь её кастрировать?» Нет, конечно! Пусть уж лучше в столе лежит. Перед самым отъездом со съезда я отнёс повесть в «Новый мир.. Там мужики прямые и с хорошим вкусом и они мне скажут то ли, сё ли. А то вон в «Знамени» три с половиной месяца продержали и ни ответа, ни привета. Все заказывают, чтоб я зашел к ним чтоб не давать мне письменного ответа. Ловкачи! Обучил их Кожевников «политике».

Остаётся у меня ещё один обход — в «Урал». Но там в своё время цензор получил из-за меня строгача и теперь дрожит при одном виде моей фамилии бычиной злой дрожью и готов в любую минуту забодать меня. Куда крестьянину податься?! В "Неву"? На съезде редактор её новый просил что-нибудь. Но "Кража" — это не «что-нибудь»... Всё же жду ответ из «Нового мира». Обещали в начале апреля его дать.

Со съезда я приехал абсолютно больной от виденного и выпитого. То, что я увидел там, заставило не одного меня напиться. Люди, по три года не пившие, горько запили. Но всё это было ягодками по сравнению с приёмом. Никогда не забуду, как писатели стадом бежали по древнерусскому Кремлю к столам и растаскивали выпивку и жратву. Такое видел только в запасном полку и на свинофермах!

Вот уехал в деревню, просидел четыре дня на льду с удочкой, загорел, отдохнул, губы от ветра потрескались, бородёнка отросла, и почувствовал себя маленько человеком. А то всё плакать хотелось. Выйти на площадь и завыть волком.

Сделал набросок рассказа о том, как осенью па северной уральской вершине *[рассказ так и называется: «На далёкой северной вершине». — Сост.]* дикий олень, не имеющий с кем подраться за любовь, пришел в колхозное стадо оленей, сразился с вожаком стада, а тот встал перед ним на колени и пропорол ему отростком рога пылающее сердце... Научился кой-чему у людей!

Есть в задумке маленькая повесть («моя» по сюжету и по теме), есть несколько уже выношенных рассказов, но пока судьба повести не определилась, ни за что вплотную не могу приняться.

Дня через три поеду в Свердловск заниматься «кином». Набросок сценария там прочитали. Режиссёр и редактор говорят «добро», а директора студии смущали мои "архаизмы". Если учесть, что под этим словом у нас всё чаще и чаще скрыто подразумевают правду жизни, то ждать мне хорошего не приходится.

Сегодня же я дам ответ чехословацкому редактору и поблагодарю его за внимание. А наши-то, «молодогвардейцы»-то, какие свиньи! Какое всё же равнодушие к человеку! Все рецензии, где написано, что сия книга издана «Молодой гвардией», они собрали, подшили, а письма читателей и книжку, переведенную в Чехословакии, отослать мне забыли, да просто и не подумали об этом. О боже, куда мы идём, куда заворачиваем?!

А мы с Марьей и дочкой поедем нынче в Дубулты с 25 мая. Надо маленько встряхнуться, поглядеть хотя бы на пол-Европы и с латышскими друзьями встретиться. Они там перевели и издали мой «Перевал». Зовут «обмыть» это.

Ну, всего Вам доброго, Александр Михайлович. Хорошо, что Вы уехали от съезда. Крепко обнимаю Вас Виктор.

6 мая 1965 г.
Пермь
(Г.Семенову)
Дорогой Георгий!

Недавно я был в деревне, лежал из-за хвори я читал оттого много. Прочёл и твои рассказы с «Знамени». Они мне, и особенно «Кушаверо», доставили подлинное наслаждение. И мне захотелось сказать тебе радостное, светлое спасибо за добрую радость при чтении, которая не так уж часто случается при чтении нынешних авторов, рассказчиков в особенности. (Пустяков шибко много!)

Радуюсь за тебя и за людей российских, ибо знаю, что истинный талант проверяется на такой вот отточенной штуке, как рассказ, где было уже столько русских мастеров, что после них вроде бы уж и делать нечего. А ты вот сумел! Молодец! Хорошо. По-русски густо и раздумчиво, по-толстовски мудро и зримо написано.

Ещё раз уверился, что жанр этот даётся тем, кто умеет слышать звук родной земли и язык родной не по грамматике учит.

Ну, дай тебе бог, Георгий, и впредь работать так же хорошо и густо, и если ещё поострее да посердитее, оно и совсем здорово будет, ибо время благодушного созерцания прошло, теперь оно требует от нас всех более строгого и мудрого одоления, чтоб вовсе нас в калач не согнули.

Жму твою трудовую пятерню. Виктор

2 июля 1965 г.

Пермь

(Адресат не установлен)

Дорогой Иван!

Я около двух месяцев не был дома. Ездил в Латвию, работал в Москве, где решалась судьба моей повести в «Новом мире» и в издательстве «Молодая гвардия». Как будто решилось, но снова — доделки, переделки и купюры перестраховочного редактора. Устал как собака, но надо дело доводить до конца. К концу июля должен сдать уже готовую повесть в журнал и в издательство, а там опять начнется ещё редактура, ещё цензура и т.д. Но несмотря ни на что, к сентябрю я должен высвободиться и поехать в Читу на семинар и вообще в Сибирь.

Кстати, я совсем склонился к мысли переехать на Родину, обменять квартиру и прочее. Но для этого мне нужно побывать в Красноярске и ещё оглядеться. С их писательским начальником я познакомился на съезде. Он, конечно, не сахар, но у нас здесь есть подонки и похлеще. Да и не пить мне чаи и кофеи с ним, а Родина тянет, и уже мне 41 год. И ещё лет пять-шесть, и уже не поднять задницу будет от Уральского камня.

Журнал я тебе посылаю один, свой. В киосках-то не видать его. Журнал этот *[«Уральский следопыт». — Сост.]* почти не попадает в розницу. Из редколлегии его я вышел. Ну их... далеко, далеко.

Как я пишу? Прописали мне очки, и вот я впервые пробую писать в ни и читать. Надоедливо, но надо. Стало сильно болеть моё глядело последнее, 8 от него и голова. За фото спасибо, но ты, наверное, забыл, что уже посылал мне эти же картинки, однако без Красноярска.

Привет семье. Твой Виктор

1965 г.

Быковка

(Адресат не установлен)

Дорогой Иванушка!

Вчера мои супружница вернулась из города с хлебушком и разной другой пищей и привезла почту. Прочёл твоё грустное

письмо и не знаю чем тебя утешить и надо ли утешать. «Следопыт» плохой журнал, и потому я вышел из евонной коллегии! а писать вес же надо, а то начнёшь рыбок в аквариуме разводить или марки собирать, а эти дела куда менее занятные и бесполезные вовсе.

В Волгоград-Сталинград правильно сделал, что не поехал, пропал бы ты с тоски в этом безлесном и покато-пустом краю.

Черкасова я однажды видел, но на знакомство я набиваться не люблю, а так не представилось случая. Кроме того, он один раз принародно лобызался с Соболевым, а в моих глазах мало чего стоит человек, лобызающийся с этим литбарином. так что очень он упал в моих глазах, а романа я его не читал. Он вместе с П. Н. Яновским должен был ехать в Поровск-Забайкальский, где были в ссылке декабристы, но перепил, сбрындил и не поехал. Н. Н. Яновского (чудесного человека) мы взяли в свою группу и поездили чудно. Были на границе Монголии, били шишки кедровые, ловили таймешков и ленков, а я сходил с ума от красот и простора земли нашей и ещё подивился раз людям, которые теснятся и суетятся в городах, а столько у нас пустой и прекрасной земли!

Там, в поездке, народ, конечно, выпивал и я было присоседился, ну конечно, сразу же загулял мой верный геморрой и прочее, и я, минуя Родину свою, куда был твёрдо намерен заехать, ринулся домой и сразу же убёг в деревню. Жена моя, проявляя всю нежность и доброту свою, пытается вот уже больше недели оздоровить меня и не может. Тут, конечно, ждала меня куча рукописей, и вот я сижу да читаю. По глупости ума дал согласие быть на семинаре в Белгороде в середине октября, и они мне подвалили произведений, да ещё друзья не забывают, вот и становится всё трудней и трудней добираться до своих пешей. Уж по полгода иногда не могу написать ни строчки, а на ходу, урывками писать разучился, потому видно, что стал работать профессионально и серьезно.

Можешь поздравить меня — мою многострадальную повесть «Кража» теперь уже твёрдо взял «Новый мир», и в первых номерах будущего года она должна увидеть свет. Если после редактуры останется в ней даже половина того, что есть, то и всё равно вещь эта встревожит наше литературное болото. Мне отказали с этой повестью многие журналы, всё потому, что она очень серьёзна. И то, что Новый мир приголубил меня, я считаю большой для себя победой ибо этот журнал настоящий и даёт настоящую литературу и кроме того, он высокопрофессионален и печататься в нём не так просто, нужно грыжу нажить и выложиться до основания, а это многим щелкопёрам непосильно.

Познакомился я уже в пути назад с Золием Яхниным из Красноярска, говорил о переезде. Он, конечно, «за», но тоже предупреждает, что тут всякое может быть. Ну,пока не к спеху, а уж помирать всё равно на Родину приеду.

Жду зимы. На обратном пути из Белгорода поспеет редактура повести, затем я освобожусь и начну писать. Много задумано, много бродит в голове надежда на зиму.

Жму руку. Виктор

11 октября 1965 г.
Пермь
(Б.Ф.Лапину)

Здравствуй, Борис!

Не зная твоего адреса, пишу тебе на Союз, надеясь, что письмо это тебя найдет.

На обратном пути я задержался вместе с Левой Давыдычевым на сутки в Иркутске, и мне, да и Лёве тоже, отыскали газету со статьёй о Читинском семинаре. И эта статья не обрадовала, и по приезде домой я всё как-то себя неловко чувствовал, хотя после разговора с тобою в коридоре гостиницы я порадовался за тебя и мне уж вроде и полегче чуток стало. Я понял, что ты парень не только с характером, талантом, но и умён, а это очень важная для писателя «деталь». У нас уж очень много на Руси талантливых дураков, из-за которых нас так и зовут — быдлом. И главное, есть ещё одна живучая российская привычка хвалиться своим бескультурьем и тем, что «мы университетов не кончали».

К сожалению, Читинский семинар не дал мне, к примеру, больших оснований думать, что «дело сдвинулось». В столовой, в коридорах гостиницы и на ненастных перекрёстках семинара мне то и дело встречались парни бранчливые, хвастливые, заносчивые и пройдошистые, те, которые думают, что у литературы, как у курицы, есть только один проход — задний.

Вот потому-то меня дважды и четырежды порадовал разговор с тобою. В том, что ты понял нас правильно и оценил нашу «суровость» точно, было от хорошего ума, а значит, и культуры, и это меня как-то успокоило. Талантливый да ещё плюс умный и культурный человек сумеет одолеть в жизни всё, том числе и себя.

Но вот газета и слух о том, что очень ты удручён ею, повергли меня снова в неловкость и виноватость перед тобою, и я, будучи почти полмесяца больным и живя в деревне, всё думал о тебе и как-то беспокоился о том, чтоб не заломало тебя и не доконало. Сам я устоял и выдержал всё это — мой первый рассказ как идейно порочный прекратили печатать на середине, дали

редактору выговор, а меня пронесли в областной газете уже как «неустойчивого» и «заблудшего», а вскоре на семинаре даже назвали «младшим братом Померанцева». Было это в пятидесятых годах, и шутить тогда не очень любили. Но я как-то не спасовал, держался, всегда делал и думал то, что думаю, и да же те, кто клял меня за первый рассказ и называл «младшим братом», прониклись затем уважением ко мне и, более того, говорят, что они-то меня, серого мужика, и «вырастили». Доля правды в этом есть. Чем больше они меня кляли, ругали, выставляли на посмешище, тем более я убеждался, что прав и платформа моя тверда!

Все это говорится тебе не дли хвастовства, а как обмен «опытом», и ты, надеюсь, поймешь это верно, и поймёшь и то, что каждая моя вещь до сих проходит со скрипом в печать. Но, на напечатанную ни на одну не было ещё хулы, а наоборот. Вот уже два года ходит по редакциям моя самая значительная вещь — «Кража», я доходил порою до отчаяния, но восторжествовала все же справедливость — «Новый мир» собирается ее печатать в первых номерах будущего года. Собирается — это не значит, что уже напечатано, однако всё же...

Вот и ты стой и иди затем упрямо, но не твердолобо, и гни свою линию.

Не бывает худа без добра, и бьют, и хвалят нашего брата на пользу только. Вот если «перебивают» и «перехваливают» — это хужей. Однако работай, и это главное. Я дома буду в конце октября. Жму руку. Астафьев

23 октября 1965 г.
Пермь
(А.М.Борщаговскому)
Дорогой Александр Михайлович!

Вернулся я из Читы, где Соболев давал представление, названное мною «Его лебединая песня». Вся гнусь нашего времени, все литературные вывихи, всё шкурничество и дешевая игра в народность и партийность сосредоточились в этом человеке, как в сточной яме, беспросветной, вонючей, но сверху прикрытой слепенькой травкой.

На память благодарные провинциалы — народ добрый, гостеприимный, по простоте душевной всему свято верящий, особенно тому, что касается литературы, - подарили ему великолепную медвежью шкуру.

Семинар читинский богат впечатлениями, поездками, но на нём происходило неприкрытое развращение начинающих авторов, с которыми заигрывали. Возводили их в гении и скорее

тащили в Союз. Хочется Соболеву уйти в отставку в почестях и поклонниках. В Москве ему это не удаётся, так с российской братвой в игрушки играет.

Но я успел многое. Съездил на границу Монголии — был у шишкобоев в кедрачах, на рыбалке был. в колхозе слушал наши наиудивительнейшие сибирские песни, ещё кое-где сохранившиеся и не убитые колмановскими и табачниковыми.

Дома меня ждало Ваше маленькое и печальное письмо. Я ещё раз с горечью отметил, как тяжела и губительна для здоровья наша работа. Впрочем, не для всех - есть люди, которые и в литературе живут легко, припеваючи и холят румяные и весёлые по редакциям.

Мои дели таковы: «Новый мир» решил твёрдо давать повесть, но в будущем году потому что у них там смена начальства в отделе прозы, да и редактор ушла в отпуск. А я где-то и рад этому, потому что замотался и потому что можно будет готовить вещь к печати не торопясь и с толком. Вот потому и пишу Вам, что, наверное, попаду в столицу не скоро.

Уезжаю в деревню. Там хорошо пишется в непогоду, ибо и делать больше нечего, как читать и писать. А я уже давненько ничего не писал всерьёз и шибко стосковался по работе. Задумок очень много. Наверное, начну писать маленькую повесть из войны под названием «Легенда о пастухе и пастушке» [*в окончательном варианте повесть будет называться «Пастух и пастушка». — Сост.*], где мне хочется высказать всю человеческую тоску об обыкновенном самом земном счастье и чистой, здоровой любви, даже подзаголовок зрел было — «Современная идиллия», но претенциозно больно, и я уже отказался от него *[в окончательном варианте в подзаголовок повести автор поставит слова «Современная пастораль». — Сост.]*. Тему я эту начинал ещё в «Звездопаде», но не довёл до того накала и до той боли, до которой надо бы, чтоб твёрдые лбы, то и дело хватающиеся за оружие, хоть немного задумались бы над тем, на что они поднимают руку.

Вот и Ваш рассказ я почитал. И у Вас сквозит вина перед святой русской бабой, которая имеет право на своё счастье, на добропорядочную жизнь, а её принудили унижаться, выуживать счастливые мгновения запретно, оскорбительно для неё. Я содрогаюсь, когда находятся наши писатели, неуважительно «отражающие» таких вот женщин, но это, как правило, плохие писатели, бесчувственные люди.

А «Молодая гвардия» уже в третий раз завернула мне повесть, всё требуют оптимизма побольше, а где я его возьму? Подожду журнальный вариант и, если ещё будут кочевряжиться, я унесу

повесть в другое издательство.

Ну, поправляйтесь скорее и отдыхайте. Привет семейству Вашему. Виктор

Ноябрь 1965 г.
Быковка
(А.Н. Макарову)
Дорогой Александр Николаевич!

Сижу я в деревушке, пишу — хорошо так жить! Недавно лишь остановился лёд, а то всё жил без вестей, без почты, правда, радио слушал — «Спидола» у меня. Было трудно настраиваться работать после длительного перерыва, но у меня есть хороший причал, рассказы о детстве. И как мне нужно начать работу, я берусь за этот цикл, работаю с радостью, с удовольствием, и от них, от этих вещей, уже перехожу к более серьезным. А погляжу, погляжу потом и убеждаться начинаю, что то, что мне кажется серьёзным, куда как хуже, лукавей и на что-то уже похоже, чем мои легко пишущиеся, бесхитростные и ни на что, кроме точной памяти о любимых людях, дедушке и бабушке, да о своём грустном и прекрасном детстве, не претендующие.

Постепенно собирается книжка — уже есть рассказов восемь, больших и маленьких. Только что закончил, и непременно Вам, для весёлости настроения, пришлю рассказ «Монах в новых штанах» (пишу ученической ручкой и, как в школе, делаю кляксу за кляксой) — самый большой это рассказ в цикле. Уже продумал, как составить книжку, чем начать, чем кончить — есть внутренний заряд разбить всю эту надуманную литературу об экзотике Сибири бесхитростными и точными рассказами об этой очень русской, очень простой, очень доброй земле, ни людьми, ни языком, ничем, кроме богатств земных и, может быть, душевных, не отличающейся от остальной России.

Придумали всю Сибирь командированные писатели, и эта выдуманная, земля вроде бы уж возобладала, и даже сибирские писатели многие, из молодых особенно, уж начинают гоняться за выдуманной землей и понять того не могут, что тягаться им тут с Яковлевыми, Алексиными и другими — Баруздиными и Аксеновыми силенок не хватит — эти на ходу подмётки рвут.

Нужно мне в книжку написать ещё пять рассказов - это я решил сделать к 68 году. Мучаю давно уже «серьёзный рассказ» «Синие сумерки» и кто кого - он меня или я его, но должны домучить. Тоже пришлю его Вам посмотреть , что-то меня в нём не устраивает, что-то в нём «не звучит» — может быть Вы увидите?

Пришлю я Вам это, как только жена перепечатает на машинке. В «Новый» пока не зовут, а я уже отвык от повести, весь в новых замыслах, и как за неё снова приниматься — ума не приложу. Очень мучает меня маленькая повесть о войне. Есть уже название, всё есть - нет лишь решимости взяться за неё. Всякий раз, как писать о войне, я, ровно перед взаправдашней атакой, робею, набираюсь духу, всё выверяю, выверяю, как бы чего не забыть, где бы не соврать, не слукавить, и это ведь всё при том же «тик-так», которое стучит каждому из нас.

Вот ещё замысел, ещё в утробе она, повесть-то, а уже знаешь, против чего будут возражать издатели, и тратишь уйму мыслительной продукции на то, как сказать всё и чтоб «не заметили». Всё-таки в очень сложных мы условиях работаем и надо дивиться жизнестойкости и приспособляемости русской нашей литературы. И что бы мы действительно делали, чем бы жили, если б в самом деле ко времени и к пути не появлялись у нас Твардовские?

Я так был рал тому, что Вы о нём написали, что и слов нет сказать, как рал. Глубинка наша писательская, пользующаяся ошмётками московских сплетен, клянёт мужика, ничего не понимая: «Объевреился!». «Интеллигентщину и снобизм в журнале развёл!». «Россию затирает ионическую, чтобы самому первым быть» и т.д., и т.п. Слушаешь такое, и идо и печаль возьмёт и злость на дубовость нашу и графоманскую периферийную озлобленность, которая предпочитает написать роман, не думая, страниц этак на 800 или тыщу, о том, как «был ничем, а стал всем», а вот бездумный, пошлый роман, принятый местными властями и хвалёный на читательской конференции, Твардовский вот не печатает.

Правильно и делает! Я его уважаю давно, и не потому, что вот он меня там приголубил, может, ещё и забодают. Я и видел-то его один лишь раз. и говорил с ним минуты три. не более, а обогрел он меня, как русская печка, у которой тепло унутреннее, долгостойкое, и от него, как от доброго лекарства, проходят болезни костяные и насморки всякие. (Во завернул, а!? Твардовский — и русская печь! Пусть ещё кто придумает! Это влияние жизни в деревне. Вчера без жены я топил эту самую печь, сунул в неё голову — лез за чугуном — и опалил себе весь чуб.)

Девятый номер «Нового мира» я караулил, дети мои караулили и всё-таки не скараулили - его мгновенно расхватали в рознице. Теперь буду ждать очереди на него в Союзе и там же «Знамя» возьму с Вашей статьёй, как возвращусь (числа 22-го) из деревни. Меня очень радует, что наиболее разумные, не оголтелые дубари, доподлинно читающие люди знают «Новый

мир» и всё чаще и чаще раздаются голоса: «Это единственный стоящий журнал». Может кого-то чем-то заставит это задуматься.

А надо бы задуматься-то!

Ездил я по читинским землям в одной бригаде с Ник. Ник. Яновским из Новосибирска — милейший дядька, умница и разумница, суждения его о литературе откровенны, прямы, и вот прислал он мне свою книгу «С веком наравне» и только что вышедшую в Новосибирске книгу о современном прозе. Прочёл я её до середины, и до того мне стало тошно, и не из-за книги (книгу плохую всяк может написать), а из-за Николая Николаевича, из-за того, что он с серьёзным видом ратует за бесспорное, утверждает утвержденное, убеждает в величии социализма и полезности его миру мыслящему на основе таких созданий этого великого направления, как Балуев, ангелочки-девочки из повестей Ильи Лаврова и сконструированный хитромудрым Сашей Рекемчуком депутат местного совета Коля Бабушкин!

Хотел уж я написать Николаю Николаевичу из села этого заснеженного послание, а потом подумал: «Зачем? Ведь он же притворяется! Если б заблуждался — другое дело. А знать, хорошей, многострадальной души человек и книжку с хорошей надписью прислал». Вот гут и думай чего хочешь!

Ещё читаю книгу Черкасова «Записки охотника Восточной Сибири», случайно купленную в уценённых книгах. Бог мой. какой это кладезь языка, наблюдательности. душевности, а сам Черкасов — это ж образен кристально честного русского человека! На душе тепло делается, как такое и о таком читаешь!

Ничего письмо-то я Вам накатал! Дал стране угля! Целый вечер будете разбираться, потому как поболтать мне здесь не с кем — терпите!

Как приеду в Москву (всё надеюсь, что скоро позовут), так Вам и позвоню сразу, а может, когда и в деревушку к себе вызову, отдохнуть маленько от столицы. Вот бы мы уж поболтали под треск и шёлк дров в русской печке. Читали ль вы стихи Джемса Клиффорда в № 7 «Нашего современника» прошлый год? Я их очень полюбил. Все вот хожу по избе и твержу:

Мой дедушка Дик
был славный старик —
храню до сих пор его трубки
Был смел он и прям
и очень упрям,
и в спорах не шёл на уступки.
Мой дедушка Дик силён был как бык,
ругался, как шкипер на баке.

Был дока старик, мой дедушка Дик,
в работе, в попойке и в драке и т. д.

Особенно полюбилось мне его «Кафе»; а строчки эти совершенно неожиданные в конце: «И вертится планета, и летит к своей неотвратимой катастрофе» всякий раз берут за живое и ещё наводят на мысль о том, что наши поэты не умеют, а также не могут из-за «тик-так» позволить себе говорить так вот «вольно» обо всём, что питает людей и души. Это в тот миг, в тот час. когда планета «вертится и летит...» в самом деле куда-то к чертям на кулички. А может, мне из деревни так кажется? Может, в Москве она летит совсем по иному? По другим орбитам?

Если не приеду, напишите мне: куда и чего у вас там летит.

Вас обнимаю за душевные письма и особенно за строки о Твардовском Славно у меня на душе от них. поэтому и расписался так неудержимо.

Ваш Виктор

22 ноября 1965 г.
Быковка
(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

Сегодня я последний день в деревне и поэтому могу себе позволить писать что угодно и делать тоже, что вздумается, ибо в юроде, там ни дела, ни работы, как говорится.

Пробыл я здесь 20 дней в этот раз и много ходил по лесу, пилил и колол дрова, рыбачил, а между тем докончил два рассказа (на 40 страниц и на 28 страниц) да ещё набросал черновик третьего. Мне остаётся только благодарить провидение, как говорят европейцы, за то, что оно подсунуло мне этот «дом творчества», где крестьянам жить худо, очень уж они отторгнуты от людей и мира, а мне лучше не надо. Ещё одно противоречие жизни!

Новостей я никаких не знаю, ни о Солженицыне, ни о других. Из Вашего письма и о Смирнове, и о Чаковском только узнал. Будем надеяться — всё, что ни свершается, к лучшему. Да, пока вроде, тьфу, тьфу, просветы какие-то в жизни начались. Боязно от того, что за всем этим последует. Так уж нас приучили с недоверием смотреть в завтра. И вины в этом нашей нет, а беда наша только.

В «Новый мир» меня пока не зовут. Может, ещё и забодает Твардовский меня. Но будем надеяться на лучший исход! Трудно мне будет приняться за повесть снова. Я совершенно от неё отвык, и новые замыслы толпой обступили меня и теребя! со всех

сторон, даже во сне не оставляют в покое.

На очереди небольшая повесть о войне. А я писать о войне всякий раз боюсь. Боюсь перед памятью убитых друзей сделать что-нибудь недостойно, слукавить, а ещё памяти своей боюсь. Иной раз так и думаю, что сдохну, разворошив все и заглянув в нутро войны. Словом, всякий раз будто перед взаправдашним боем. Опою и так мало я написал о воине — увиливаю всё. Но эта повестишка одолевает *[речь идёт о повести «Пастух и пастушка». — Сост.]* — она из тех, что может получиться или очень хорошо, или очень плохо. Буду надеяться на первое, иначе и начинать не стоит.

А Вас, значит, на рассказы потянуло? Это понятно. Очень завлекательный и емкий жанр В нём всё видно хорошо, и оттого малая вещь лучше, чем большая, да и вообще я, например, больше всего люблю работать нал рассказами. К.сожалению, за них платят так же, как и за романы — с листа и оттого рассказчики сидят голодом и один за другим покидают этот нехлебный жанр.

Я не так давно был у Евгения Носова в Курске и читал в рукописи его рассказ «Потрава» — будь я издателем, то взял бы часть гонораров от пухлых романов на схожую тему и заплатил бы за этот рассказ столько, чтоб год или два Женька ни о чём не думал. А он работает медленно, два рассказа в год — больше написать не может. И стыдно сказать, ел уже не раз ливерную колбасу, которую продавщицы из ближайшего магазина заносят его псу. Сказать кому, так не поверят, скажут — клевета на советскую действительность, и Женька никому не говорит об этом, стесняется своей бедности. Надо было видеть его, доброго и большого, горько сконфуженным из-за того, что он не мог «принять как следует гостя», то есть меня.

То же самое бывает и у друга моею Коли Воронина. Другой раз и заехал, бы в Калугу к нему, а вздохнёшь, да и не поедешь, потому что пойдёт он занимать деньжонки, чтоб чего-нибудь поставить нас стол, и никак ею не уговоришь от этого действия отказаться. Потом уедешь, и завыть хочется.

Коля всё на Платонова ссылается. Вот, мол, подвижник был, а нам уж и бог велел голодовать. Но я бывал несколько раз в домах творчества и убеждался в том, что на таком вот подвижничестве жиреют дельцы-писатели и не знают уж, в какой дом засунуть свою персону с жёнами и детьми, чем её натолкать и во что нарядиться.

В Ирбит я написал, чтоб отложили и мой визит до Вашего. Поедем всё-таки вместе. Глядишь, и морозы к той поре уймутся. А то сейчас из тепла вылезать не хочется. Ну, всего Вам! Не болейте. Пусть пишется и дышится хорошо. Ваш Виктор

P. S. Да! Я тут печку топил и похлёбку варил, одновременно слушая радиопостановку по Вашим «Бусам». Ну, скажу Вам, сделали они её! Всё, о чём повесть писана — убрали, а то, что, с точки зрения радишников, ценно, оставили — экзотику всякую. Тот, кто не читал повести, подумает, что Вы нежненький и сладенький, приторный писатель. Лучше уж не давать им на растерзание вещи крупные. Сами-то Вы хоть слышали? Это чёрт знает что такое.

Декабрь 1965 г.

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Поскольку в Москву меня не зовут и теперь до Нового года едва уж позовут, решил я Вам написать, так как по возвращении из деревни прочёл Вашу статью об Евтушенко *[речь идёт о статье Л. Макарова - Раздумья над поэмой Евг. Евтушенко» в журнале «Знамя». 1465. № 10. - Сост.]* и, более того, следом за Вашей сразу же прочел статью А. Лобанова в «Молодой гвардии» о той же самой поэме [«Братская ГЭС». — Сост.].

Меня всегда поражали надменность и высокомерие в статьях Лобанова, но тут он превзошёл сам себя и опустился до методов старшины Приходько, который иначе воспитывать вверенного бойца не может, как поставить его перед строем и высмеивать его пороки, явные и старшиной Приходько придуманные. Главное, чтоб рота смеялась, чтоб унижен был боец и чувствовал себя мальчишкой, и чтоб его, старшины, хохлацкое самодовольство удовлетворено было.

Разумеется, меня очень порадовала Ваша статья, так же, как радовали и предыдущие Ваши статьи о молодёжи — взыскательной добротой, душевностью. За такую критику, помогающую осознать себя, свои недостатки, как на, собраниях говорится, всегда хочется поблагодарить старшего своего товарища. А ведь замечаний, и куда более суровых. Вы сделали гораздо больше Евтушенко, чем Лобанов в своей статейке! Но тут, видимо, и отголоски той вознишки, что идёт вокруг московского писательского корыта, дали себя знать. В столице нашей даже те, кто писать не умеют — преимущественно они! — чего-то всё шуршат по-за спинами, как тараканы, охаивают чего-то и кого-то и фигу в кармане показывают «левым» или «правым».

А дел и поводов для них, куда более значительных поводов, в жизни шибко много и, наверное, вот эта мышиная возня — один из способов спастись от тяжёлых дум и грустной, порой даже трагической повседневности.

Чем больше осложняется жизнь и назревают в ней такие события, которые требуют от человека серьёзности, тем больше появляется у нас людей пройдошистых, рвущих от жизни хоть пирога кусок, или славы клок. С этой точки зрения мне и Евтушенко представляется сладкоежкой. И правильно Вы ему всё время долбили, что пора мужчиною стать. Тем более что желающих ходить в мальчиках и чтоб спрос с них был, как с мальчиков, и без того много.

Я закончил рассказы. Вам не послал, потому что Вы и без того забиты разными делами и чтениями. Послал самый большой рассказ в «Молодую гвардию» его там взяли на «уру» потому что он безобидный, а сейчас время литературы или «героической», или безобидной. Потому-то и в «Новом мире» выжидают с «Кражей». Поругали их в верхах за серьезную литературу, хотят, чтоб они до «Октября» опустились, тогда ими довольны будут.

Несмотря ни на что, я начал писать новую повесть о войне... Решился и помаленьку раскачиваюсь, набираю разбег.

Говорят, в январе будет пленум и меня вызовут. Значит, увидимся и наговоримся. У меня что-то много за последнее время разного накопилось.

Читали ль Вы «Записки княгини М. Н. Волконской»? Если нет, я Вам их дам почитать. Приобрёл в Чите, в уценённых книгах! Молю бога и благодарю за то, что наткнулся я на эти уценённые книги. Из нашей-то одичалости и глупости прикоснуться к такому светлому роднику, к такому благородству! Даже и не верится, что могли такие люди жить на этой земле, и всё подозреваешь, что бабы эти театралки были. Но театралок хватило бы на дни, на недели, а они по двадцать пять лет выдержали, девушками уехали и старухами вернулись.

Мда-а, «были люди в наше время!..»

С Новым годом Вас, Александр Николаевич, самое главное, здоровья Вам и рабочего ладу! Пусть ещё и этот год продюжит, обойдётся без войны!

Ваш Виктор

1966 год

20 января 1966 г.

(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

В Москву меня всё не зовут и не зовут, на вряд ли скоро и позовут, потому как дано указание насчёт зэков и спецпереселенцев (в том смысле, что их у нас не было, а если и

были, то это всё правильно, так и полагалось быть).

Мне предложили из «Нового мира» подумать. А что могу «подумать»? Из собак енотов я делать не умею. Видно, такова судьба этой многострадальной понести. Хорошо, хоть она «не злободневна» и может ждать сколько угодно.

Пока я бился над «Кражей», у меня скопилось много замыслов, которые я жадно и реализую. К добру или к худу, но пишется мне пока хорошо. Всё последнее время я опять был в деревне. Трещали страшные морозы. Мы с женой топили печку, и я писал, писал, закутавшись в полушубок. Писал тоже про зиму, про морозы, про войну, про русских людей...

Пришло мне поздравление с Новым годом из одного иностранного чехословацкого издательства. Они где-то почему-то вычитали, что моя повесть «Кража» выходит в «Молодой гвардии», и просят прислать рукопись или корректуру, как они выражаются. А я, грешник, и не знаю — могу ли я им послать свою рукопись. Один наш товарищ как-то послал в Румынию пьесу свою, а ему завернули её наши надзиратели с такой надписью, что он с тех пор ничего не посылает и мне не велит. Я, вообще-то. не очень боязлив, но мне не хотелось бы навредить «Краже», у которой и без того всё так сложно обстоит. Не поедете ли Вы в Чехословакию? А может, присоветуете, как мне поступить?

Наш Виктор

24 февраля 1966 г.

(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

Очень я долго тут ездил и оттого сразу не ответил на Ваше письмо. Ездил я на южный Урал к фронтовому другу. которого не видел 22 года и который отыскал меня, потому что в свое время помог я ему раненому выбрести из-под огня и добраться до санбата. Люди нашего поколения умели и умеют, слава тебе Господи, ценить добро и хранить его в памяти, вот и не забывал моего участия дружок, как и я не забываю тех. кто меня потом тоже доставил в санбат и перевязал на передовой.

Встреча наша была волнующая и грустная. Настолько она грустная, что жена моя до сих нор недоумевает, отчего это я ничего ей не рассказываю?! А что рассказывать-то? Так называемый фронтовое юмор или что молодость и здоровье остались в окопах? Друзей гам много осталось. Вспоминалась вся тяжёлая работа, бездельники-политруки, командиры, которые обжирали нас. солдат, и почему-то считали и они и мы, что так оно и быть должно, чтоб они ели с отдельного блюда, а нам

разблюдовка не полагалась, нам проросший ячмень, клевер и крапива. Если украдёшь, смародёрствуешь — это твоё. Говорят, сейчас на Украине москалей ненавидят, и не напрасно, по-моему, только жаль, что ненавидят они не тех москалей, которых надо бы!..

Словом, пожил я у друга и увёз ещё более растревоженную душу и радостное сознание того, что я не осквернил, или почти не осквернил, сочинительством память свою о войне. И что если о ней писать, то только так, как было. Покрывать морализированием и романтикой войну, как это хотелось бы кой-кому. — преступление перед мёртвыми и живыми друзьями, перед теми особенно, кого приучить хотят к мысли, что война это не так уж и плохо: можно песни петь, возвыситься, сделаться героем и любимая тебя оценит по достоинству. Блажь это литературная. Я радуюсь тому, что ребятишки наши начали, подсознательно пока, сопротивляться всякому милитаристическому направлению.

Один молодой генерал жаловался мне, что молодые солдаты стыдиться стали маршировать по улице и глотки драть. Я ему сказал, что если б торжествовала передовая человеческая мысль на земле, давно б уж не было на ней никаких казарм, никаких армий и некого было бы «освобождать», а ему, генералу, пришлось бы идти на производство и не обесценивать, не обесцвечивать до серою цвета человека, а производить нужные людям вещи. Он забормотал насчёт того, что порох-то должен оставаться сухим, что пацифизм, к сожалению, проник почему-то прежде всего в души фронтовиков, а на них надеются. Он умный человек, видать, а притворяется, прикидывается. сам себя заставляет быть хуже, чем он есть на самом деле.

А я ведь помню, ещё каких-нибудь 20-30 лет назад все мы мечтали идти в пограничники. визжали от восторга, завидев командира или орденоносца, а ныне шиш! Бомба, висящая над головой у людей, делает свою работу. Лучше б она Не висела, и можно б было жить людям спокойно. Меня иногда охватывает тоска но глухим бунинским временам, так бы и забрался в тихую русскую деревню, встал к сохе, вернулся б к земле, к неразграбленной и незамордованной...

Я только что закончил киносценарий но рассказу «Руки жены». Затеялся его ставить один свердловский режиссёр. С «Кражей» всё без сдвигу. Я жду, и в журнале, видно, тоже ждут. Ну, авось. «Бывали хуже времена»...

Ездили ли Вы в Читу и Иркутск? Не минуйте нас. Мы будем очень рады повидать Вас. Угостим грибами! Видел я Свердловске писателя-ирбитянина. Договорились о встрече на осень позднюю

— октябрь примерно. Я думаю, так оно лучше. Летом какие встречи, а весна занята у меня. В апреле я поеду в Кемерово, на семинар. Предложили — я не отказался, всё же это хороший способ встречаться.

Ну, всего Вам доброго. Как здоровы? Ваш Виктор

Март 1966 г.

(А.М.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Давно я Вам не писал, но издаля всё ж слежу, где Вы бываете и чего пишете. Купил тут недавно второй номер «Знамени», но руки ещё не дошли прочесть Вашу статью *[речь идёт о статье Макарова «Через пять лет» в журнале «Знамя». 1966. № 2. 3, 7. 8. - Сост.]* и, верно, читать буду уж сразу в двух номерах — это даже и лучше.

А вчера на сон грядущий прочёл я в «Лит. России» сильно вумные статьи двух крытиков, и у меня было точно такое состояние, как у того чалдона, который шёл с собрания, и сю спросили, о чём было собрание. А он ответил: «Да разве советские товарищи скажут, об чём оно было!»

Может, я уж отупел (много у меня нынче работы) или так уж умно зачали писать наши критики, что ничего не поймёшь. Да и статья Ваша о «Братской ГЭС», мне кажется, не давала оснований открывать дискуссию о сюжете, вопрос о коем и без того затуманен и запутан. Впрочем, у нас даже о таких понятиях, как правда, искренность, умели и умеют такое напутать, что потом всей деревней не разберешь, где уж чего. И вечно у нас так! Как только начинаются трудные для литературы дни, так тут как тут дискуссия о транскрипции образов Флобера или об истоках нравственного начала в произведениях древнегреческих драматургов. Прямо, как на войне — отвлекающий манёвр, изготовление ложных позиций и стрельба по ним пустыми болванками.

Да, в общем-то, всё старо! Вам уж и примелькалось, небось, всё это, и устали уж, наверное, смертельно от недомолвок и всевозможной шумихи по поводу чего угодно, только чтоб от сути подальше?

А я всё долблю и долблю бумагу, зная, что это и беда, и выручка. Перестань работать — раскиснешь. Последнее время писал киносценарий по своему рассказу "Руки жены" Один режиссёр нашёлся ставить фильм, а я не отказался. Если фильма И не будет — денег дадут, а у меня нонче ни строчки не издаётся в связи с тем, что «Кража», кажется, плотно засела в

редакционном столе «Нового мира» до лучших времён. Есть надо каждый день, к сожалению. На рассказах не прокормишься. Тем более что берут их с выбором, что побеззубей да со смефуечками, те подавай, а как посерьёзней рассказ, так пишут, что «сгустил краски», и возвращают. Так вот в третьем номере «Молодой гвардии» идёт мой большом рассказ «Монах в новых штанах», и Вы уж по названию услышите — ничего там серьёзного быть не может. А вот днями я Вам пошлю посмотреть рассказ *[видимо, речь идёт о рассказе «Синие сумерки», Сост.]*, над которым бился, бился, и дороги ему пока нет. Правда, попросили в "Новый мир", и я послал его, так молчат чего-то. Может, обиделись на мой ответ по поводу "Кражи" Они предлагали мне подумать в связи с тем, что вышел-де запрет на спецпереселенцев и зэков, а я ответил, что думай не думай, а из собак енотов я слетать не сумею, да и не охота. Вот примолкли чего-то.

Набросал я гут повестушку начерно листа на 2,5 о фэзэошнике военных лет *[повесть «Где-то гремит война». — Сост.]*. Грустно-грустно получилось. Теперь сижу И ковыряю её. Вообще осень и зиму я работал и работаю много. На 67-й год «Совпис» запланировал мою книжку рассказов, и я собираю сё помаленьку. Сдать должен к июню.

Пишу я Вам ещё вот почему. Мне предложили поехать в Кемерово, на семинар, и я согласился. Это хороший способ встряхнуться и посмотреть новый юрод. В Сибири как раз будет весна, подснежники и т. п. Не поедете ли Вы? Вот было бы хорошо. Мы бы хоть наговорились. Я понимаю, что в Москве разговоров много, но я изголодался по трёпу, а в Москву ехать незачем пока. Читали ль Вы рассказ Нагибина «Браконьер» в № 12 «Нашего современника"? Какой рассказише! Какой мастер! Я даже пытался написать о нём статейку, но когда перевалил за 20-ю страницу и ещё до рассказа по существу и не добрался, понял, что не за своё я дело взялся, и бросил.

Какие-то до нас тревожные лит. слухи доходят, и не хотелось бы им верить, а подумаешь-подумаешь и вздохнёшь — всё может быть. Если не читали, прочтите в «Комсомолке» в трёх номерах исследование о свободном времени современного городскою человека нашей страны. Оч-чень важнеющий, на многие мысли наводящий документ!

Ну вот, маленько поговорили с Вами. Если некогда, на ответ время не тратьте, а лучше приезжайте в Кемерово!

Ваш Виктор

Апрель 1966 г.
(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Лишь из дому могу я написать Вам. В Москве наш брат периферийщик, как сорвавшийся с цепи кобель — бегает задравши хвост, полупьяный и ошалевший от новостей, встреч и разговоров.

Страшно жалею, что мы не встретились, но Иван Падерин передал мне Ваше письмо с рассказом, и я его, сидючи на пленуме, прочёл, потом в поезде, потом дома. Наверное, не во всём, но во многом Ваши замечания совпали с моими сомнениями и догадками, смутно меня донимавшими. Трудно даётся мне этот рассказ! Но я его добью, собаку. Включу в рукопись в том виде, в каком он есть, а пока она рецензируется, ходит по людям (в «Совписе»), это. Говорят, года занимает, я и добью рассказ. Мне только неловко, что Вам пришлось так много времени затратить и письмо мне писать величиной с критическую статью. Но я тут же и подумал (слаб и хитёр человек, зело хитроумен!) — раз А. Н. так много написал, значит, рассказ его это заставил сделать, а раз так... и т.д. и т.п.

На пленуме, а также после него произошла маленькая стычка у меня и моего друга Коли Воронина со Стариковым, который, пользуясь благостной поддержкой президиума и всех, кто к президиуму поближе, пытался забивать голы в ворота «Нового мира». А так как в воротах никого не было и за воротами тоже, то он просто наслаждение имел лупить и лупить по пустым воротам, говоря, что «Октябрь» - это правильная линия, а «Новый мир»-де неправильная. Мы с Колей возразили ему, к неудовольствию Соболева и прибегающих к нему подхалимов.

Кстати, я взял «Кражу» из «Нового мира» и передал в «Сибирские огни». Тут она, кажется, и найдёт пристанище. Обещают 8—9-й номер. Замечаний немного. В «Новом мире» с рукописью расставались тягостно, с большим сожалением (и не с одной моей — всё лучшее российские ребята тащат туда), но в таком положении находится сейчас этот журнал, что ему держать до бесконечности рукописи невозможно, а печатать, что им хочется, не дают.

С горя и ещё для того, чтоб размочить мою тоску, мы зашли с новомирцами выпить граммов по сто, да так надрались, что уж и не помню я, как расставались. Много я услышал в тот вечер всяческих вещей, а особенно о Твардовском. Моё личное мнение, что это для наших времён великая и почти святая фигура, подтверждено было многими фактами. От этого и жить легче маленько. А та шушера, вроде Бровмана, как мусор на реке воспринимается после того, что рассказали мне об Александре Трифоновиче. И хорошо, что есть он. И пусть живёт дольше. И

если его даже уйдут из журнала, всё равно жить будет легче, пока он есть.

А вообще после этой московской говорильни на пленуме и в кулуарах хочется пойти в леса и очиститься. Вот я и пойду. Послезавтра. Сделаю завтра сообщение о пленуме и отправлюсь. Если пароходы ещё не ходят, пойду пешком (вёрст 15) и пробуду в деревне до 10 мая.

Буде возникнет у Вас охота прибыть на праздники ко мне, то ещё раз сообщаю — лететь 2 часа 15 минут, ехать сутки. Дома будут сын и дочь. Они в любой момент проводят Вас в деревню, если не на пароходе (это очень удобно), то пешком — это не очень удобно, однако ж интересно. Но я уверен, что пароходы вот-вот пойдут, потому как лёд давно киснет и течёт здорово. В деревне будут моя жена и товарищи по охоте. Будет выпивка (немного), много цветов, две собаки, два ружья, грибы солёные, маринованные и сухие, а если повезёт, то будет дичь и рыбный пирог. На Вашем месте я бы плюнул на всё и давал Астафьеву телеграмму: «Приеду такого-то» и всё.

На всякий случай поздравляю всех Вас с праздником весны и желаю бодрости духа и всего, чего сулит весна, кроме болезней, войны и нервотрепки.

Крепко вас обнимаю и ещё раз благодарю за доброе, большое письмо. Ваш Виктор

Май 1966 г.
Новосибирск
(Жене)
Дорогая Маня!

Сижу в гостинице «Новосибирск». Идет дождь. На улице слякотно. Я только что «опрокинул» 12 страниц в повести и на сегодня — выдохся. Увы, старый текст остается малыми островками, как тот, который я видел вчера на Обском море, а островок этот — бывший г. Бердск, точнее, то место, где он стоял, а дальше за ним — обрывистый берег, на нём сосняк и то место, где я служил под знамёнами...

Две ночи я ночевал у Володи Сапожникова, потому что в гостинице не было мест (по всей стране одна и та же история). За два дня мы обговорили замечания (их много), потом бродили с ним по Академгородку, дивились и трепались. Академгородок — это чудо! Впервые в житии увидел современную архитектуру, современный городок и вдруг не в кино, а наяву убедился, как это здорово и даже прекрасно. Народ тоже отличается от основного народа, и мир совсем иной - как будто другая планета: на одной Быковка, а на другой Академгородок, который не снизойдёт до

Быковки, а Быковка не готова взняться до Академгородка.

А дальше — сосны и место моей службы, так и напрашивается начало будущей повести о запасном полку. Но пока не до неё. Пока «Кража». Чтобы сделать первые 150 страниц в срок, мне нужно делать в день минимум по 25 страниц — это многовато, но в первой части возможно. Хуже со второй половиной, там работы больше, кое-что нужно дописывать, и, если учесть, что я к этой поре разряжусь, будет нелегко. Однако сделать нужно. Вторая часть требуется к 15 июня, и уезжать мне, не сделав её, нельзя. Значит, всё нужно сделать до Кемерово, до 30-го числа. Завтра — 15-е. Работа адская, но надо, надо. 28-го я выступаю на телевидении (запродали тут меня без меня) — буду читать отрывок из повести. Кроме того, запишусь на видеомагнитофон с рассказом о книжке Болотова Вити — он же в прошлом новосибирец, и меня попросили. А вообще меня пока, слава богу, не отрывают. Володька трудится в поте лица. Николай Николаевич Яновский человек деликатный, а больше у меня знакомых здесь нет.

Я — умная голова, уехал без рассказа «Синие сумерки», который хотел показать Володе и Николаю Николаевичу. Не захватил в запас книжек Болотова и Домнина. Если по сроку это письмо придёт, ты отправь на Володькин адрес (для меня) по две книжки каждого, а рассказ, уж если отправлять, то 2-й экземпляр. И, пожалуйста, не волнуйся. Я тебя очень люблю, очень ценю, считаю, что такое доказывается не словами, а делами.

Восемнадцатого мне дадут аванс. Тут продают великолепные латышские мебельные гарнитуры (в Академгородке, разумеется), цена 404 рубля. Купил бы — «зуб горит», но Володька сказал, что дня два придётся бегать насчёт транспорта, контейнеров и т.п. И я охолонул. У меня такого, мебельного, времени нет.

Целую. Виктор

24 июня 1966 г.
Быковка
(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

Я, кажется, в суете и попыхах забыл послать Вам свою новую, прескверно изданную книжку. Посылаю. Писать много не буду. Весь я измотан, издёрган и усталый. Завтра отправляюсь с женой и сыном в Сибирь, на Родину, и возможно, в селе Ярцево, на Енисее, где живёт мой братишка, мне и отдохнуть удастся.

Напишу лишь о продолжающейся истории с моей злополучной «Кражей». Из «Нового мира» я вынужден был её взять, так как она лежала там и ещё могла лежать долго без

сдвигов... Расстались мы полюбовно без всяких обид, но с огорчениями с той и другой стороны. До меня уже дошли слухи, что «доброжелатели» распускают слух, будто Астафьева зарубили, он переругался и т. д. Всё это выдумки и не очень оригинальные.

Повесть попросили в «Сибирские огни», конкретно назвали номера 8—9, и в «Новом мире» по-доброму рассудили, что уж чем лежать повести, то пусть она свет увидит.

«Свет» её очень тёмный. Я сидел в Новосибирске почти месяц в гостинице, наполненной грохотом, ремонтным матом, полуголодный, оглохший, терзаемый к тому же ортодоксальным заведующим отделом прозы журнала, и правил повесть, да оборонял её от перестраховки и трусости, переходящей рамки, даже нынче существующие. Первую половину сдали в набор, и я уехал на Кемеровский семинар.

По второй половине повести у меня было как раз наибольшее количество расхождений с редакцией. Я оставил её на машинке с тем, чтоб уж после этого мне прислали рукопись с окончательными редакционными замечаниями. Со мною поступили иначе — рукопись мне не прислали, прислали телеграмму, чтоб я не позднее 25-го был в Новосибирске. Телеграмма послана 23-го, пришла 24-го, а 25-го, 26-го — суббота и воскресенье Всё сделано тонко. 29-го окончательный срок сдачи по графику журнала. Это значит, там сделали с рукописью всё, что хотели, и я знаю что. И меня поставят перед свершившимся фактом, тем более что заплатили мне 60 процентов гонорара за всю повесть. Душа моя кровью уж облилась из-за этой повести, и что будет дальше — одному богу известно.

Как много сил расходуется не на написание, а на отстаивание своего труда! Горько всё это сознавать, и всякий раз, как печататься, я сталкиваюсь с этим, ведь с повестушкой «Звездопад» в своё время была та же история, от которой меня чуть кондрашка не хватил. Я тоже отредактировал её, согласовал, а после всего этого редактор журнала изуродовал ее по своему понятию и усмотрению.

В общем, еду в Сибирь, полный смутных и тяжёлых предчувствий. Да ещё повесть цензуру не проходила! А тут ещё г-н де Голль мне дорогу переехал! Когда в Новосибирске сидел, город чистили и вылизывали для приёма французика, а теперь совпадает мой и его приезд! Беда от этих буржуев советским людям!

Как живёте Вы? Судя но «Литературке», живы и действенны. Это хорошо. Домой вернусь я к началу августа и возьмусь досоставлять сборник рассказов для «Советского писателя». Срок-то у меня июнь, но мне не управиться.

Сил уже нету.

Делал я тут маленькую повесть. Думал листа на три - получилось четыре. Это последняя вещь из цикла «Страницы детства». Ещё надо написать штучки три-четыре мелких, и мой долголетний цикл сложится. Году в 1968 издам я книжку под названием «Далёкая и близкая сказка» и чую, что это будет моя лучшая книжка, цензура её терзать не будет, всё там про дедку, бабку да про мальчика. Такая литература у нас ещё не пугает никого.

В посланной Вам книжке из этого цикла есть несколько рассказов. Вы их узнаете. Если будет время, черкните мне своё мнение о книжке. Она, правда, похудела за период производства и издана ужасно, но ту уж не моя вина, а моя беда.

Как Ваш роман? Всего Вам наилучшего.

Ваш Виктор

24 августа 1966 г.

Быковка

(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

Я всё живу в деревне, и времени у меня много, и работа двигается потихоньку. Я дорабатываю рассказы для сборника в «Советском писателе». Вероятно, в первых числах сентября отправлю его, маленько поброжу с ружьём и попишу новое. Со старым возиться надоело. Много штукатурки и соплей много в вещах уже опубликованных, просматривая их, стыдишься самого себя иной раз. Но это и утешение — раз видишь огрехи, значит, ещё не закостенел и помаленьку вперёд двигаешься.

За добрые слова о моём сборнике — большое спасибо. Наверное, Вы перехваливате меня (мне всё время кажется, что меня перехваливают), но сам себя я сужу строже, чем мои читатели, и требую с себя больше, хотя писать становится всё труднее и труднее — вычерпывается языковой запас, какие-то душевные импульсы иссякают, да и биография, из которой я черпаю, черпаю — не бездонна. В запасе ещё война. Моя война, мною пережитая, мною увиденная — эту целину и собираюсь я тронуть зимою. Страшно, а надо!

Хочу писать продолжение «Кражи». Не хронологически, а ещё две-три повести, объединённые одним героем. Знаю, что хватит почти на всю жизнь. Знаю, что будет тяжело. Долго уверял я себя, что не надо этого, что лучше легче прожить, пописывая разные лирические истории и новеллы, ан ничего с собой поделать не могу.

Следующую повесть назову «Зрячий посох» и введу туда

своего романтико-анархического героя. Там, в этом горниле, ему на всю жизнь переломают кости и душу сапогом.

Буду писать совершенно отрешённо, ни о чём не заботясь и не думая о цензуре.

Нынче я был в Академгородке и с пляжа, с ультрасовременного, смотрел на остров поднявшийся из Обского моря. Там под водою и осталось то место, где я проходил «службу» в 1942 году, туда вот и помещу героя. А потом фронт. И ещё одна повесть, послефронтовая. По размеру они должны быть небольшими. Каждая с самостоятельным сюжетом. Каждая с отдельным названием. Попробую сделать судьбу моего поколения. Его величие и трагедию.

Очень тяжкий труд, огромная задача, но мне уже сорок три года, и пора думать о том, что положат в изголовье, когда отправляться к родителям станешь. Считаю, что всё, мною сделанное до сих пор, это подготовка к основной работе и, может быть, именно потому так осторожно и редко я притрагивался к войне.

«Кража» — это экспозиция, вступительная часть, предыстория, а всё остальное впереди. Зимою же закончу я «Страницы детства» — книга получается листов на 17. Она почти вся, за исключением двух-трех рассказов, готова. И эта милая, тёплая память о детстве покормит меня какое-то время, а я поделаю то, к чему долго внутренне готовился.

Даже Ваши мучения с романом меня не остепенили. Это как болезнь. Я очень рад, что так по душе пришлось Вам писание рассказов. Думаю, что они и подкузьмили Вас при работе над романом. Они ведь учат не расползаться, следить за каждой фразой и всё держать в кулаке. Рассказ — горка вроде бы и невысокая, а с неё видно ой как много! Да и культура рассказа нашего (лучшего) сильно выросла. Я думаю, если положить на весы два рассказа Жени Носова из № 2 «Нового мира» и какой-нибудь обласканный всеми романище, то рассказы его перетянут, потому что на одной тарелке золото, а на другой — вода!

Насчёт Катаева я прочитал у Дудинцева и разделяю Вашу точку зрения. От «Сына трудового народа» и к «Колодцу» — это путь, заслуживающий того, чтоб наш брат мотал себе на ус и учился. Вообще, судьбы наших классиков, живых и мёртвых, — это страшная школа. Увы, многие из них даже и до «Колодца» не дойдут, так и разменяют свой талант и жизнь на суету и пятаки.

Меня особенно потрясает судьба Суркова. Какой поэт мог быть! Я благоговел перед многими его великими стихами — русские, всегда сдержанные в эмоциях и оттого особенно эмоциональные. За этими стихами угадывался очень сильный и

глубоко душевный человек, а из него получился литературный вождь, который кому только ручку не целовал!..

Ну да бог с ними. Хорошо уж и то, что они были, есть и нам, добрым молодцам, дают повседневный урок. Думаю, не без этого урока пересаливают хлеб чёрствый, едят хрен с квасом, но не пишут на потребу и Вася Белов, и Юра Казаков, и Костя Воробьёв, и Володя Сапожников, и тот же Солженицын, и Максимов, и Климент Борисов, множество других — дай им бог дальнейшего мужества и здоровья!

В Коктебель я не поеду, Александр Михайлович. Дал себе зарок — не ездить в эти дома. Во-первых, дорого, а во-вторых, раздражает меня многое там. Да и домишко мой в деревне очень хорош, мне лучшего ничего и не надо. Одолевают летом гости, но сейчас уже схлынули. Мы тут с сыном вдвоём, но и он к 1-му уедет учиться. Приедет жена.

Не всем у меня нравится, конечно. Был недавно мой один товарищ с женою и с сыном, сказал, что «в Коктебеле лучше». Куражился над нами, пробовал барина из себя гнуть, чванство этакое российское выказывать, и я едва не погнал его отсюда.

Ловлю помаленьку рыбу. Мало осталось, но на уху наскребаем. Хожу по лесу. Слушаю петухов, на народишко гляжу. Мало его тут, а мирный такой народишко, пока не напьётся. В деревушке все нас считают уже своими. И на душе покойно, и работается хорошо. Чего ещё и надо-то нашему брату?!

Прочёл в газете, что в ноябре пленум, значит, скоро увидимся и поговорим, а в письме всего не скажешь, хотя и длинное оно получилось.

Желаю Вам перекатить гору — одолеть роман. Здоровья желаю. И крепко жму трудовую.

Ваш Виктор

17 сентября 1966 г.
Пермь
(А.Н.Макарову)

Александр Николаевич!

Письмо Ваше писано 9-го, я приехал в город 16-го, пишу 17-го утром и рассчитываю, что Вы мой ответ получите не позднее 20-21-го.

Какая у нас сейчас чудная погода! Ах, если бы она продержалась! Я завтра укачу в деревню, но дома у меня сын, дочь, и 21-го на партсобрание приедет жена. Она будет ждать Вас. К нам ходят самолеты (по-моему, два или три), но я советую Вам ехать поездом — это ночь и половина дня в пути на пермском поезде, с Курского вокзала. Посмотрите осеннюю Россию,

подышите ею маленько в пути.

Дайте телеграмму, поскольку жена не знает Вас, она или объявит по вокзальному радио, чтоб Вы зашли в радиорубку вокзала, или так просто будет Вас искать (я описал ей портреты), а Вы, как увидите в толпе самую маленький белокурую женщину с носом, который на семерых рос, но одной достался, значит это моя добрая и хлебосольная жена. Очень Вас жду! Хотел дать телеграмму, но что в ней скажешь?

Я как раз ворокосю новый, осенний рассказ, и только поэтому сам не встречу Вас, но Вы ни о чём не беспокойтесь. Жена всё сделает. От вокзала до нас идёт улица Ленина, и ходу тут 15 минут (две трамвайные остановки). Остановка «Плеханова» и полквартала вперёд. Дом с зелёными полосами и с вывеской «Воздушная кукуруза», а напротив нас большой обувной магазин, а за нами (через два дома) агентство «Аэрофлота». Это на всякий случай наши координаты — ул. Ленина, дом 172, кв. 26 (второй подъезд, второй этаж).

Вот и всё, Жду! Обнимаю! Ваш Виктор

8 октября 1966 г.

Пермь

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Маня ездила в город и привезла мне Ваше письмо. Я очень рад, что у Вас остались приятные впечатления о поездке к нам. Ибо напуганные куражливостью Вороновых, побывавших до Вас, мы уже стали бояться не угодить чем-либо нашим гостям. Жаль, что побыли Вы очень мало. Как раз после вашего отъезда хариус начал скатываться и весь скопился на поворце подле нашей избы, и я за выход ловлю штук по 20-25 хороших рыбок, сидя на одном месте. Вот бы Вам тут душу отвести!

Погода было изломилась маленько, но сегодня резко похолодало и опять стало солнечно, ясно.

Приехал к нам единственный оставшийся в живых мой дядя из родной деревни и мы всё разговариваем с ним. Он, сам того не зная, пополняет меня языком, восстанавливает воспоминания, и вообще хорошо, что он приехал, а то я уж начал забывать, что у меня есть родственники.

Вчера ходил с ним на охоту, принесли двух рябчиков. Варили чай в лесу, сидели у костра. Осень доцветает, в тайге грусть, и тянет к воспоминаниям о покойных, о бабушке и дедушке, замечательных тружениках и сердечных людях.

А Маня... Она у меня злосчастный человек! Поехала в город, что-то занесло ветром в глаз, и вот мыкалась, мыкалась. Две ночи

не спала, и я отправил ее домой, к врачу. Она даже и Блока не смогла почитать, и так уж рада, так уж рада она Вашему вниманию, и подарку, и тому, что сумела угодить Вам. Она человек, не избалованный вниманием, умеет ценить его как не знаю кто.

Что касается меня, то Вы напрасно беспокоитесь. Просто в силу своей породы, да и прошлой жизни отчасти я очень сдержан в проявлении чувств к людям, и потому я не мог выразить словами, как я был рад Вашему приезду и как, истосковавшись по людям, с которыми можно не прятаться, наговорился с Вами и отвёл, что называется, душу. Но до Вашего приезда меня страшно донимал геморрой и никак не могла выйти кровь. Стало от него, проклятого, прихватывать сердце. Ну а тут на радостях выпил, сделалось похуже, но, оказывается, напиться-то надо было! Вскоре после Вас набухший этот геморрой прорвало, дурная кровь вышла, и мне сделалось лучше. Сейчас я уже по тайге резвей хожу. Так что всё хорошо. Мне только было очень грустно, когда Вы уезжали, а на моей морде все мои чуйства видно, вот Вы и обеспокоились.

Всё хорошо. Ещё раз повторяю, что я был очень и очень рад Вашему приезду, ведь одиночество это не лучший друг писателя, хотя порой и дорожишь им, и оно полезно работе, но пей сладкого — не досыта, горького — не до слез! Так, кажется, говорится?

И ещё. Ради бога не считайте себя обязанным писать что-либо обо мне, хотя Вы и «собрали» материал. Освободите себя хотя бы от этого груза. Я и так, не в пример многим периферийщикам, избалован вниманием прессы. Есть ребята, которые куда как лучше меня работают, а находятся втуне, вот о них (например, о Косте Воробьёве) и написать бы. Прочитали Вы его книжку или нет? А я читал роман Ивана Акулова «В вечном долгу», напечатанный в первых номерах «Урала». Опять колхозы, опять горе, голод, несправедливости и прочее. Язык хороший, роман добрый, но... Но лет бы на пятнадцать раньше ему появиться! А теперь это запоздалый роман, и тихо, тихо он погрузится на библиотечные полки, повздыхает там и успокоится в пыли времени.

Сам я ещё ничего не делаю. Позволил себе осень погулять, а там уже и за работу.

На пленум, если он состоится, я непременно приеду, но остановлюсь в гостинице и всё из-за того же геморроя, который заставляет иной раз стесняться, и я поэтому всегда почти останавливаюсь в казённых местах. А с Вами мы навидаемся досыта.

Крепко вас обнимаю. Ваш Виктор

10 октября 1966 года
Быковка
(А.М.Борщаговскому)
Дорогой Александр Михайлович!

Давненько получил Ваше письмо, а пока искал «Неделю» (я её не выписываю, а в деревню почта не ходит) и читал «Три тополя» *[по повести А. Борщаговского «Три тополя» снят фильм «Три тополя на Плющихе». — Сост.]*, привезли и «Наш современник» с «Ковчегом». Вчера на сон грядущий я прочитал его и от души хочу поздравить Вас с настоящей, добротной прозой, которая очень и очень уже отличается от той, что я читал у Вас прежде. Деревня Вас, городского человека, остро и крепко взяла себе, а Вы её в себя. И язык стал очень цельный, ядрёный, а главное, органичный с тем миром, в котором действие происходит. Каждый в «Ковчеге» получил своё, каждый виден, особенно старуха с «пешнёй», привыкшая к «смирению и закону». Как это здорово подмечено! Для сибиряков это нехарактерно, а для средней России, где люди так и не минули пору крепостною права, — в точку.

Хорош пастух со своими словами и особенно теми, что и «у правительства своих денег нету, тоже наши». Вы первый это сказали, и как их оставили, эти слова, в «Современнике», я уж положительно не пойму!

Правда, порой у меня создавалось впечатление при чтении «Ковчега», что я имею дело со сценарием. Может, из-за эпизодичности действия и перенесения «объектива» с лица на лицо. Но боже Вас упаси обратить эту вещь в сценарий! Погубят её, измочалят! Итальянцы этот неторопливый, несюжетный рассказ сняли бы, а наши — нет. Наши заставят морду набить Полещуку, село поднять и снимут, как бык корову покрывал и за этими «действиями» и смефуёчками пропадёт главное: разговор о судьбе крестьянства — хребта народного, который и по сию пору не знает, что с ним будет, и зарабатывает меньше, чем негры у покойного Фервурда.

Я завидую Вам в том, что Вы можете писать о деревне. Я — не могу. Живу постоянно в деревне и не могу. Просили у меня в «Литературку» статью, и я пообещал даже, но написать так и не смог. Уж больно всё в деревне остановилось, застыло, оравнодушело, и никакие постановления ничего поделать не могут. Газетчики, как всегда, желаемое принимают за действительность, а деревня тем временем доживает, допивается и гниёт на моих глазах. Нужен очень большой переворот на манер

коллективизации, нужны свежие силы, большие средства, новую кровь нужно вливать в организм деревни — тогда, может, что-то и сдвинется. Я вижу одно спасение — возврат к звеньевому способу обработки земли, то есть, по существу, возврат к единоличному хозяйству. С помощью РТС на уровне современных достижений науки мужики наши, очнувшись, ещё удивили бы мир и нас тоже плодами своего труда, а так они тянут лямку сонно и равнодушно, идут, и смотрят, нет ли поблизости дороги или поворота в сторону.

О «Трёх тополях» — у меня какое-то от этого рассказа смутное ощущение. Какое-то чувство незавершённости в нём. Точка или позднее поставлена, или нет её. Всё мне кажется, что рассказ этот составная часть «Ковчега». Но это мои субъективные чуйства.

Живу в деревне по-прежнему. В гости Вас раньше не звал, потому что боялся. У нас были в гостях баре советские — Н. Воронов с супругой-актёркой, хотя она и работает учительницей. Они такой тут аристократизм вшивый показывали, так куражились над женою, что я с трудом сдержался, чтоб не вытурить их из своего дома. А раз Вы непривередливы — ради бога в любое время, кроме первой половины лета. У нас в эту пору клещи. Упаси бог, чтоб приезжий человек у меня отхватил страшную болезнь. Хватит того, что чуть не умерла моя многострадальная жена. Лучше всего приезжайте ко мне о сентябре-октябре, когда рыбалка есть (правда, совсем уж захудавшая) и охота, идут дожди и тянет на беседу, а если светит солнце — бегать по тайге хочется.

Но мы об этом поговорим еще при встрече. Скоро пленум будет, вроде бы и я приеду.

Наш современник» взял У меня рассказ «Синие сумерки», над которым бился я почти два года. Давать хотят после нового года.

Написал я последнюю вещь из «Страниц детства», рассказ «Последний поклон» — размер вывел на повесть в четыре листа, и даёт его «Молодая гвардия». И мой товарищ ткнул пальцем в это название *[в дальнейшем Виктор Петрович дал это название всему циклу рассказов, которые впервые вышли отдельной книгой в Перми в 1968 г. — Сост.]*. Вещь по плану последняя, но по написанию нет — ещё осталось три рассказа, вступление и заключение. Тогда книга, над которой я работаю в течение 10 лет, будет готова, и, на мой взгляд, лучшая моя книга.

«Кражу», как поступят журналы, я Вам вышлю. Она уже очень и очень отличается от той рукописи, которую Вы давно читали. Стала она, как выбегавшаяся собака — жирок слетел, клочья шерсти вытерлись, подбористa в талии, резва в чтении, но как

много при этом утерялось из неё! Читают её в «Роман-газете», но не дадут. Чувствую. Кабы автор был пройдоха, то и пробил бы, а я чего из Быковки-то пробью? Да и бог с ними. Дадут, так дадут, нет — так нет.

Выдвигали меня за «Звездопад» на Горьковскую премию. Я, говорят, вместе с Алексеевым и Германом до финала дошёл, но где же мне конкурировать в премиях с Алексеевым? Ему дали за «Вишнёвый омут». Меня это, в общем-то, нисколько не трогает. Я вижу вокруг столько обойдённых и объеденных людей, что боюсь за свою счастливую судьбу и всё вижу во сне, как снова оказываюсь в литейном цехе с кувалдой в руках и с полуголодными ребятишками дома.

Ну, всего Вам доброго! Обнимаю Вас. Ваш Виктор

5 ноября 1966 г.

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Статью я Вашу прочёл позавчера, а вчера пришло и Ваше письмо. В тот день, как прийти «Литературке» со статьёй *[имеется в виду рецензия А. Макарова «С чего начинается человек» в «Литературной газете», 1966, 1 нояб. — Сост.]*, получил я рассказ с машинки. И статья, и рассказ до того меня разволновали, что я искурил пачку сигарет, а потом пошёл в город и даже наклюкался, что со мной бывает, в общем-то, довольно редко.

Чувствуется по статье, что Вы многое замыслили сказать, но размер Вас зануздал. Наверное, Вы очень помогли повести и мне этой статьёй. Я ведь до сих пор за неё не брался, не могу пересилить своей неприязни к ней, а «Молодая гвардия» не напоминает о себе, должно быть, притаились и ждут «прессы». Народ там молодой, но тёртый, и с ним теперь мне легче будет разговаривать об издании повести. Шли слухи насчёт «Роман-газеты», но боюсь, что слухами это и кончится, ибо там зав. ещё более тертый и в номенклатуре и конъюнктуре разбирается крепенько. Словом, спасибо Вам! Постараюсь, как говорится, оправдать...

Рассказ (это тот самый, который я не стал Вам читать в деревне) дошёл, как мне кажется, до читабельных кондиций, но работа над ним далеко ещё не окончена *[речь идёт о рассказе «Ясным ли днём». Впервые был напечатан в «Новом мире». 1967. № 7. — Сост.]*. И за Ваше доброе отношение ко мне придётся Вам расплачиваться трудом. Я прошу до пленума прочесть его и потом поговорить со мною. Пусть Вас не смущает такое громкое посвящение. Он больше сделано от автора и для автора, ибо

возник рассказ по причине Пирогова, в исполнении которого я слышал и полюбил романс «Ясным ли днём» еще в детстве, да так вот и запало на всю жизнь. При публикации рассказа (если дело дойдёт до этого?!) я посвящение, вероятно, сниму, чтоб избавиться от возгласов: «Эко Астафьев-то выдрючивается!..»

В деревне я так ещё и не был. Лёд лишь недавно стал, а я с Маней ездил В Чусовой и Лысьву. В Чусовом ходили на кладбище навещать нашу маленькую дочку и Маниных родителей. На кладбище, куда ни погляжу — всё знакомые фамилии. Когда-то доктор Трофимов, тоже уже покоящийся на этом кладбище, любил сюда ходить выпивать. А выпивши говорил: «Вот почти все кто здесь лежат, у меня лечились». А я Мане сказал, вспомнив о нём, о Трофимове: «Вот почти все, кто здесь лежат, были описаны мною в газете». Мало живёт народишко в этом дымном, зловонном, чёрном рабочем городе.

Одиннадцатого ноября с Маней уезжаем в литературную Мекку, город Ирбит, на читательскую конференцию по «Краже», а пока Маня собирается принимать маленькую компанию гостей и наготовила разных вкусных вещей. Вот если б Вы поближе были!.. Но я надеюсь как-нибудь зимою залучить всё ж Вас к себе и свозить в заснеженную Быковку поглотать тишины морозной и насладиться истинным, так редкостным в наши времена, покоем. Коли пленум 22-го, значит, числа 20-21-го я прикачу. А пока ещё раз поздравляю Вас праздником.

Всего вам наилучшего. Ваш Виктор

Ноябрь-декабрь 1966 г.

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Сегодня, возвернувшись из Сибири, где я умудрился простыть, ибо пижон есть и уехал в ботинках, да кабы фэззошных, а то на траках без бортов... Оне, эти ботинки, тем горше, что дома меня ждали новые вятские валенки, домашней катки, тёплые и уютные до того, что я их вот цельный день с ног снять не решаюсь. Кабы в Сибирь их с собою! Каким бы молодцом я возвернулся к жене!..

Был в Дивногорске, в родной Овсянке. Наслушался, насмотрелся, и если бы сейчас писать повесть «Где-то гремит война», она была бы богаче. Но у литератора, как у старьевщика, всё до поры до времени лежит, авось и пригодится.

…Я, конечно, дурень-провинциал и оттого не мог подумать, что человек работающий в обстановке делячества (кстати, очень порядочный человек) может нас с Вами тоже принять за деляг. Горько мне, если это так, и ещё горше оттого, что Вас я принудил

из-за себя волноваться. Поводов к этому у Вас и без того достаточно. Бог с ней, с «газетой», и с «романом». Я долго жил без них и как-то сумел не запятнать своё писательское имя, а главное, быть честным перед собою, и это всегда мне очень помогало в работе. Разумеется, я был бы рад напечататься в «Роман-газете» и не только для того, чтобы «прогреметь» и получить хоть какую-то финансовую передышку. Но опять же, почему я должен рассчитывать на комфорт, если многие писатели, куда как самоотверженно работающие, постоянно терпят нужду и работают, работают. С них и брать пример надлежит, а не с Бабаевского, который миллионы накопит, а жрёт пирожок за пять копеек и следит за тем, чтобы крошка от этого пирога на штаны не упала.

Словом, так: если хоть краем уха услышу или хоть одно слово прочту в письме Малюгина (его ещё нет) о том, что ставится под сомнение моя писательская порядочность, я его пошлю туда, где только дикие козы и гураны живут, вместе со своим хитромудрым начальником. Можете не сомневаться — выражения я найду, сейчас в Сибири я снова подзарядился ими!

Я очень рад, что Вам понравилась моя повесть. Особенно за то, что вы меня поддержали с названием. В «Молодой» меня просили сменить название, но я уперся, однако ж сомнение в душу они мне всё же заронили. Замечания Ваши я некоторые стихийно уже поправил, но иные и нет. Особенно важное замечание насчёт Алёшки. Забыл! Ну, что сделаешь — бывает! Видимо, это ещё и от поспешности. Всё же маловато я работал над повестью. Однако в гранках я кое-что добью.

Вперёд наука! «Ясным ли днём» потому и держу на столе, чтоб всё выверить и выписать не торопясь.

Вот поправлюсь маленько, просморкаюсь, одолею текучку и возьмусь за «Кражу», готовить для отдельного издания буду. Первые сто страниц уже Маня напечатала, но они полегче были, дальше пойдёт труднее, да и в первой сотне возникла порядочная правка. Сказали мне, что в «Урале» (№ 2) и в «Нашем современнике» (№ 3) идут рецензии на «Кражу», с «философией» будто бы.

Вот на первый случай пока и всё. Хотелось бы поболтать с Вами, как-то я уж истосковался обо всех вас, привязался, видно. И пусть Наталья Фёдоровна поверит — мне куда было приятней быть у вас и разговоры разговаривать, нежели обивать пороги редакций.

Как она, бедная? Всё волнуется за всех?! Захлёстывают её муки мира и дома! Неразрешимые, вечные муки! Их Кампанелла, здоровяк-мужик, разрешить не смог, а она со слабым-то сердцем

и своей непосредственностью хочет облегчить страдания человечества!

Берегите сердце, Наталья Фёдоровна, голубушка, своё и мужево, ибо оно износимо, а страдания были и будут бесконечно. Нам их не одолеть, хотя мы и пытаемся это сделать, опять же пря на горячую чугунку обнажённым сердцем! (Ничего закатил афоризм, а?) То ли будет, если я ещё раз съезжу в сибирскую тайгу!

Целую всех крепко. Ваш Виктор

20 декабря 1966 г.

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич! С Новым годом вас, дорогие друзья! Здоровья вам и всего самого наилучшего! Семейство моё кланяется Вам и шлёт свои самые лучшие пожелания!

Я трублю. Готовлю «Кражу» для отдельного издания в «Молодой». Как всегда возникла правка и немалая. Из «Молодой» мне прислали очень любезное письмо. Они уже успели прочесть «Сиб. огни» и говорят, что, мол, это их почти устраивает. Расщедрились настолько, что прочли сами в журнале рукопись новой повести «Где-то гремит война» и решили её присоединить к «Краже», а я так обнаглел, что попросил их и «Стародуб» включить. Вставши впереди «Кражи», он бы многое осветил там своим светом, и гляделась бы «Кража» несколько оптимистичней. Пока ответа не имею *[в сборник вошли повести «Кража» и «Где-то гремит война». Молодая гвардия. 1968. — Сост.]*.

Получил я письмо от Малюгина. Мы — люди мнительные. Ничего он такого не пишет. Жалуется на серую литературу и на затурканность, жалуется на то, что печатают, чего не хочется печатать, и в связи с юбилеем опасается, что моя «Кража» минует их заведение.

Печатают они в основном чучмеков — это и беда, и выручка у нас! Что было бы без них? Пропали бы все, наверное! Я попрошу Вас, Александр Николаевич (эк записался-то!), выслать мне рукопись новой повести. У меня ничего не осталось, и раз её включают в книжку, то ещё раз пересмотреть надо и перепечатать затем.

Новостей пока нет никаких. Маня моя суетится — стирает, варит, печатает «Кражу» в 13-й (!) раз. Жаль её, но что поделаешь, жить-то надо!

В феврале мы хотим провести отчётно-выборное собрание. У Вас нет желания заявиться к нам в качестве представителя? Если есть, черкните — мы сообщим в Союз, и Вас направят.

А как Наталья Фёдоровна? Пусть на ногах встречает Новый год, и тогда уж не свалится ни разу больше! Я Вас обнимаю. Ваш Виктор

1967 год

5 января 1967 г.
(А.Н.Макарову)
Дорогой Александр Николаевич!

Что-то мне захотелось поразговаривать с Вами, вот потому и пишу.

Новый год у меня начался с «благословения», 3-го числа получил из «Современника» рассказ «Синие сумерки», вынутый из первого номера Главлитом. Вчера сидел и правил его, истребляя немодные кому-то мысли. А кому? Мы ведь так и не знаем, по существу, кто это «тама» бдит и подвергает нас унизительному надзору.

Рассказ я, разумеется, не стал уродовать, а сделал кое-что и написал, если их не устроит — пусть возвратят.

Что-то вообще смутное происходит вокруг, замельтешился оживлённо литературовед, приставленный к нам из надзорных органов, собирает какие-то списки, сведения, выписывает цитаты из моей статьи в молодёжной газете, да и на конференции по «Краже», проходившей недавно в центральной библиотеке, его «участие» чувствовалось...

А уж тот, кто был нашим полномочным представителем на идеологическом совещании в Москве, ведёт себя так, как вели себя таковые представители в худшие времена, с нами не встречается, ничего не сообщает нам, зато на всевозможных совещаниях, где публика особенно обывательски настроена, обливает грязью литературу, литераторов и искусство наше так, как будто уверен, что скоро нас побьют каменьями. Видно, одну старую истину он всё же помнит: что голодный и недовольный народ никому не нужен. Накорми его — и он сам каменьями побьёт своих пророков.

Беда его в том, что он вкладывает каменья в руки ещё недостаточно накормленного народа, а тормоз в том, что тёмные силы, вооружившись каменьями, бьют не разбираясь — и пророков и недоумков, и правых и виноватых, пример тому под боком - в Китае.

Получил я гранки из «Молодой» — это «Где-то гремит...», и правка, сделанная в ней, меня тоже удивила, уж явно перестраховочная, уж такая прямо, что руками развести впору. (А повестушка-то грустная, но безобидная, безобидная.)

А её ведь цензура ещё не смотрела. Может, и эту завернёт? Не удивлюсь. Пользуясь юбилейным настроем, кажется, хотят на нас затянуть намордник по всем ремешкам. Но, в общем-то, я плюю на это! Настроение, конечно, портят, да с пути избранного не собьют. Чему-чему, а настойчивости и упрямству нас научили, и таковыми своими мерами сие только укрепляют в нас.

Правда, есть одно опасение, которое высказал в письме ко мне трагически живущий Кости Воробьев, — кабы усталость и раздражение не переросли в озлобление. Русской литературой всегда двигала любовь. Ибо, как сказано одним мыслителем, «жизнь человеческая слишком коротка, чтобы расходовать её на злобу и ненависть». Не дай бог нашей литературе утерять её самое главное достоинство.

Я всё это время работал над «Кражей», а затем над «Где-то...» Повестушка отлежалась, и мне удалось её почистить, кое в чём улучшить, кое-что прописать и дописать, чем я и доволен.

Сейчас Маня хлопает ее на машинке, а я тружусь над рассказом «Ясным ли днём». И тоже получше получается. Почище, поточнее. Ввожу я одну для меня очень важную мысль в рассказ, о том, что Сергей Митрофанович как человек бездетный, для которого все дети — его дети, чувствует вину перед ними за то, что они снова идут служить. Хотя он верил, что та война, которую он отвоевал, была последней и его муки и увечья были последними. А ещё за то, что поют они «ча-ча-ча», и ещё за то, что речка грязная, леса порублены, и за неустроенность, за смуту, оставленную в ребяческих душах. Всё ведь это не с неба к ним свалилось, во всём, что есть плохого, и наша вина, наша беда — это ведь только «святые», «непорочные» старпёры ругают молодняк так, как будто к нам их с Марса в коробке свалили. А они ведь наши, наши!..

Правда, чем дольше идёт работа над рассказом, тем меньше у него шансов увидеть свет, особенно в юбилейном году, но это уж дело шешнадцатое.

Устал я очень. Надо бы в деревню податься отдохнуть, да стоят морозы и уже давно стоят, прочно, и снега нет почти, тротуары голые, и многие людишки рушатся на ходу, особливо пьяные. Прочитал я письмо Натальи Фёдоровны, адресованное Мане. По письму чувствуется, что выздоравливает, и рад за неё. Но чудачка, чудачка! И если бы не такие чудаки да чудачки, так и где бы мы были сейчас?! Наверное, уж снова на карачках по лесам бегали, кушали еловые шишки, и у нас обратно вырос бы хвост и мы бы играли им, заместо всякого искусства был бы нам хвост.

Читаю Вашу книгу *[«Серьёзная жизнь». М., 1962. — Сост.]*. Какое-то очень противоречивое у меня чувство от статьи о

Весёлом, Бабеле и Васильеве. Пока читаю — убеждаете. Как отойду в сторонку, подумаю — что-то не так. Или я чего недопойму, или же Вы чего-то подпутываете. Существует же ещё какое-то читательское, объективное отношение к литературе и искусству прошлых времён. Разумеется, сейчас, с нынешней колокольни и с нынешней читательской культурой тот же аббат Прево просто наивен и смешон, как смешно и наивно первое кино. Сейчас вон даже ребята мои считают скушным Клапку Джерома и, кстати, не смеются над «Золотым телёнком», а скучают, читая его. Конечно, сейчас Артем Весёлый — да и один ли он! — очень уязвим. Вон я "Странников" перечитывал у любимого Шишкова. Просто и читать-то вроде бы неловко, но они же существуют, и читаешь их, как Шишкова, Весёлого и т.д. Кстати, насчёт «Чапаева». Почему-то мне думается — не будь фильма, эту книжку давно бы все забыли. Единственный, наверное, факт в литературе, когда кино не убило первоисточника.

Словом, написал вот и чувствую, что ничего Вам не объяснил, ибо и сам никак не могу разобраться, в чем тут дело. Наверное, сейчас Вы бы не стали писать такую статью или написали бы это по-другому. Мною скорей всего владеет старое российское правило: «Живых ненавидим и мёртвых оплакиваем». Нам всегда мёртвых да ещё убитых очень жалко, и нутро протестует даже против, может быть, и честного высказывания о них, которые «не по шерсти».

Скоро я отправлю рукописи повестей в «Молодую», и если там всё пойдет ладом, они через месячишко-полтора вызовут меня на редактуру и тогда потолкуем, а возможно, собрание будет у нас до этого и Вы сможете приехать.

Числа 20 января наш секретарь полетит в Москву, позвонит Вам, и Вы с ним договоритесь, как, когда и что.

Нашёл я тут сборник статей «Навстречу будущему» (а не «Навстречу жизни», как я Вам говорил), прочёл статью о себе одной критикессы. Напутано там со мною беда сколько, и ранения лишние приписаны, и место ранения переврано. Это я к тому, чтоб Вы не брали во внимание мои биографические данные из этой статьи. В глазах женщин я всегда почему-то выгляжу лучше, чем есть на самом деле! Это, конечно, хорошо до какой-то степени, и будь я помоложе, не преминул бы воспользоваться своим преимуществом, да старьём себя чувствую и рассказики опять же сочинять надо...

Ну, всего Вам хорошего. Не хворайте. Ваш Виктор

13 января 1967 г.

(А.Н.Макарову)

Дорогой! Александр Николаевич!

Недавно я писал Вам очень большое послание, где выразил свое неудовольствие статьёй «Разговор по поводу», неудовольствие это укрепилось ещё больше, когда я прочитал о Павле Васильеве. Где-то тут Вы сделали не похожую на Вас вещь, то есть поддержали официальную точку зрения на литературу и литераторов подобного рода. Я ещё буду с Вами спорить о Васильеве, но сейчас мне это делать не хочется и вот почему.

После Васильева перешёл я к Чехову, и каким добрым, Вашим добрым ветром дохнуло на меня. Честно скажу, я давно не читал с таким наслаждением ничего, особенно в критике. Очень это хорошая статья, наверное, лучшая из Ваших. Случилось со мною главное, мне захотелось перечитать всего Чехова и полюбить его так же, как любите Вы. И как только у меня появится время для сосредоточенного внимательного чтения, я возьмусь за Чехова, к которому всегда относился прохладно, как раз по причине той, которую Вы обозначили совершенно точно, то есть потому, что «проходил» в школе.

Много всего происходило в душе, когда читал я статью Вашу, но всё время устойчиво было одно стыдное ощущение: какой я дикий и неграмотный человек, хотя и работаю после таких вот писателей, как Чехов. И много таких нас — диких, малокультурных, мало знающих и ещё меньше понимающих... И всё идет к тому, чтобы мы таковыми и оставались. Думающих людей у нас не любят и не хотят их, ибо лучший тот, кто поворачивается беспрекословно направо, налево и смотрит в рот всякому олуху, приставленному руководить и управлять...

Ну ладно-ть, кину мою старую песню. Повести я закончил и отослал в «Молодую». Днями рвану я всё-таки в Быковку, отдохнуть надо. Рассказ "Ясным ли днём" тоже закончил, отошлю в «Новый мир», хотя его и затуркали и вроде бы уж в год по номеру готовы выпускать. В скорости, надеюсь, вызовут меня в Москву редактироваться, и там потолкуем о Чехове и обо всём на свете.

Нашелся командир дивизии, в которой я воевал. Живёт в Москве, затребовал меня к себе (приглашает!) побеседовать о нас и просмотреть те материалы, которые у него собрались о пути и действиях нашей дивизии. Любопытно будет. Я этого генерала видел всего два раза издали и оба раза со страху чуть в штаны не напустил, а тут запросто приду и скажу: «Здорово, Сергей Сергеевич, как живёшь? Каку пенсию получаешь? И вообще, веруешь ли в бога?..» Ничего, да?!

Маня бренчит на машинке и шлёт Вам поклоны. Приехал наш старшой из Уссурийска, привёз рога от козули, ухряпанной собственноручно, и себя привёз и больше ничего. Гуляли они тут вчерась, твист, собаки, танцевали, и я не знал, креститься мне или материться, а в общем сидел, посматривал, похихикивал и терпел, а ночью тонул где-то в чёрной воде и утром к Марье с проси шей обратился: «Ты что же, говорю, старая стерва, не спасала меня? Я всю ночь тонул и звал тебя». А она говорит: «Как бы я тебя спасала, коли ты на меня сложил и ноги, и руки, и мне даже шевельнуться невозможно было!»

Так и живем, с юмором всё больше.

А Вы как? Здоровы ли? Крепко обнимаю.

Ваш Виктор

13 января 1967 г.

(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

В конце концов, все наши тревоги, беды и сложности, как в громоотвод, попадают в наших подвижниц-жен. Пока моя жена не начала умирать, я этого не понимал, а теперь как я Вас понимаю и сочувствую Вам! Сейчас вот пытаюсь поберечь жену, а как это делать-то нашему брату? И не умеем и не сможем, а ведь без неё, в моём доме, к примеру, всё пойдёт прахом. А она после энцефалита, и дети ничего не понимают и не жалеют её, да и сама себя она беречь не научена, суетится круглые сутки, всем пытается помочь и угодить, особенно мне, конечно, а я... Тоже гусь! Устал вот тут, издёргался — дорабатывал «Кражу», новую повесть, делал рассказ, а пока делал в «Современник», цензура бортанула из первого номера рассказ, а потом вёрстка из «Молодой» пришла вся ощипанная, как курица. Надо наорать на кого-то, а на кого наорёшь-то? Под боком никого кроме жены нет, ну и на неё. Потом виноватым себя чувствовал, «заглаживал» вину.

Сейчас вроде бы разделался со всеми делами на время и мечтаю уехать в деревню, хотя бы на недельку, отдохнуть.

Настроение тоже пакостное. О цензуре знаю, что свирепствует, и кагэбэшники оживились, «интересуются» нашим братом, в частности, мною. Мне-то наплевать на всё, главного они со мною уже не могут сделать, то есть вернуть меня в «счастливое» детство, когда я ничего не понимал и всему радовался больше, чем огорчался. Но то, что в юбилейном году нам решили кляп в рот сунуть, о многом говорит. Значит, и дальше век будем на унизительной слежке и подозрении — это за

все наши дела, за нашу кровь и преданность своей великой и измученной Родине.

Скоро, через месяц-два, буду в Москве. Обязательно позвоню. Обнимаю. Ваш Виктор

20-23 января 1967 г.
Быковка
(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Вот мы и в Быковке! Выбрались наконец. Пришли вчера. В избушке все стыло, немило и черно. Но как только затопили печку, как только она затрещала дровами, сразу и веселей сделалось. Картошка замерзла, грибы замёрзли, и все замерзло. Спирька, услышав нас, орал на всю округу. Я пошел по воду, отвязал его и увидел собаку, совершенно лишившуюся рассудка и в таком восторге, что мне пришлось от него спасаться бегством.

Вечер наступил быстро, синий, тихий и мглистый. Сварили. Поели. Я пал на раскладушку и ничего мне не хотелось — ни читать, ни думать. Так и лежал весь вечер, не читая и не думая. Хорошо!

Ночью топили железную печку, так как стены промёрзли, а русскую топить сразу нельзя — будет угарно. Проспали долго. Встали маленько угоревшие. Поели. Я взял лыжи, ружьё и отправился в лес. Хватило меня с непривычки только на 3,5 часа, но и за это время я успел надышаться, надивоваться и успокоиться от городских тревог и передряг.

Лес тут благодатен ещё и тем, что он вовсе не исхожен. Прошёл кругом километров восемь, и попалась всего одна старая лыжня. А заячьего, лосиного, лисьего и птичьего следа — много. Выгнал из лунок двух косачей, пальнул, но так, чтобы не попасть, да если бы и хотел, так не попал бы, наверное, ибо вспорхнули они из-под самых лыж, забились, заклохтали. Я их пугнул. Улетели. И ладно. Выводки весной будут. Но Спирька мой горько страдал от того, что мы с ним мазанули. Начал плавать по снегу, завывать и лаять в свежие лунки. Выстрадал несколько рябчиков, но сам же их и прогнал дальше в лес. Спустились мы с ним в речку. Видели там снегирей, щеглов, дятла и стайку дроздов. Речка нынче кипит страшно. С осени не было снегу, и морозы стояли большие, образовались ледяные пробки, и вода пошла верхом, по льду. Кусты затоплены жёлтой наледью. Местами речка вышла из берегов, залила низины. Лёд местами наслоился до двух метров. Я испугался за хариусов. В таких случаях он погибает массами. А у нас его в массах-то и нет давно. Ещё с

осени отгадывал загадку — почему хариусы собрались в двух местах: у нашей бани и чуть повыше? Случилось это первый раз за всё время, как я тут живу.

Сегодня нарочно пошёл возле речки и вот разгадка — только на этих местах и нет наледи. Хариусы выбрали ямки, выше которых находятся перекаты длиной в полкилометра, и ниже короткий, но глубокий и мощный перекат. Какая бы наледь ни была, всё одно она длинный и бурный перекат не закроет, всё одно где-то проест лёд и пойдёт нормально подо льдом, ибо на перекате за счет движения воды и температуры её лед не может быть толстым. Ежели же верхний перекат всё же закроет наледью и вода начнёт покрывать яму, где стоит рыба, и доступ кислорода прекратится, у неё есть место для отступления — нижний мощный перекат, где можно отстояться. Жить там худо, конечно, придётся расходовать мною сил, чтобы устоять на быстрине. Зимою рыба, и хариус особенно, выбирает места потише, поспокойнее, а хариус и таймень даже набирают балласт (гальку) в брюхо, чтобы тяжесть помогала стоять в затишке и не требовалось лишних сил удерживать себя на плаву. Так вот, самые сильные рыбы, даже застигнутые бедствием, согнанные с места зимовки, всё равно выживут, а мелочь и слабаки — сгинут. Всё, как у людей и, только по-честному, и в дни бедствий они не рвут друг дружку и не выцарапывают глаза слабому.

Вот так я открыл сегодня, почему хариусы выбирали себе именно эти места для зимовки.

И ещё раз подивился мудрости природы, и ещё раз возмутился тому, что не зная броду, нынешние «сверхчеловеки» лезут в эту природу ногами и руками, а она мудрее их. только слабее в своей доверчивости и доброте. Она с нами обращается чаще всего благородно, а мы исподлились и её, как подлюгу, лапаем.

Проживу я здесь неделю, а если выйдет, и две. Завтра опять пойду в лес и продолжу это письмо. Оказия будет не скоро. Поэтому у меня есть возможность продолжать и продолжать письмо. О литературе не напишу ни строчки. Ну её к черту! Разве что перед отправкой несколько слов о деле.

Да и чего о ней писать? Всё ясно. Вчера вон радио про Норильск рассказывало. Уж так разливались, так разливались! А о том, что этот город построен на человеческих костях, — ни слова. Такой вот радиоправды и от нас хотят.

А сейчас, когда я ходил по лесу, заснеженному, тихому и чистому, мне захотелось уйти работать егерем или лесником, или чёрт его знает кем, но чтобы быть в лесу постоянно. Отвыкнуть от города и людей (а я знаю — это возможно, и у меня даже характера на это хватит), но надо и писать бросить, иначе опять, даже и в лесу, будешь мучиться и потянет к кому-нибудь трепаться и плакаться. «В своё время я имел мужество не писать», — сказал один хитромудрый Наш классик, но он был трус и цветистой этой фразой прикрывался, А как бы хорошо было набраться мужества и бросить писать не от трусости, а от полного сознания бесполезности этого запятим.

Да-а, а сейчас снова вечер. И снова синё всё вокруг, и каждую минуту синь сгущается. И чем синей вокруг, тем тише и сиротливей деревушка — ни звука, ни огонька, и лес вокруг потемнел. В нём бука притаилась, ребятишек пугать будет и домой загонять с улки. А тут и ребятишек не видать. И лошадей не видать. Синё, тихо. Ночь приближается. Снежная, с морозцем. А по белой земле, по мёрзлым кустам ползёт и ползёт жёлтая наледь. Дна не видать. Воды не слыхать, а ступишь — мокро и провалиться можно по уши. И ночью будет сочиться наледь, никому не нужная, полуживая, всем вредная. Что-то и в нашей жизни есть вроде неё. Неслышное, ненужное, а затопляет сознание, душу, напластовывается, напластовывается и вот уже воздуху не станет — задохнешься, как рыба подо льдом.

А не написать ли рассказ пол названием «Наледь»?

Вчера всё же поместился за стол. Писал в «Комсомолку» письмо об одном подонке. Есть такой поэт-песенник Гурьян, автор ура-патриотических песен и стишков про красные гвоздики, про мечи и орала, а сам, падла, забросил восьмидесятилетнюю мать.

Ему присудили платить десятку, так он и эту десятку норовит зажилить!

Ко мне, как к сердобольному человеку, обратились сходить к этой матери и узнать. Много было в моей жизни тяжёлых встреч, но встреча с матерью Гурьяна самая гнетущая, пожалуй. Был у неё ещё до Нового года, писать не хотел, но и молчать, успокоиться тоже не могу. Самое возмутительное тут ещё и то, что у нас присосались к патриотизму всякие подонки, но путных людей трудно вынудить писать, чего им не хочется, а подонкам всё равно что писать. И святого для них не существует. Словом, написал.

А потом со Спирькой в лес подался. Ходили недолго. Валил густой и сырой снег - лыжи не катятся. Вечером к бабушке Даше приехал сын-охотник со товарищи. Ходил к ним. Сын бабушки угрохал нонче двух лосей по лицензии и я спрашивал — не жалко ли? Говорит, когда идёшь, охотишься да весь на азарте — не жалко, а как увидишь такую большую животную на снегу, в крови и судорогах, то на душе как-то неловко делается. Ну. как и все охотники, они большие златоусты. Много чего и вечер-то рассказали интересного. Лёня, сын бабушки Даши, вырос здесь, в Быковке, и его послушать шибко интересно, как оно тут было во время оно. А время «оно» и десятками лет не исчисляется. А были и пруд, и лес, и дичь, и даже килограммовые хариусы в речке водились. Быстро мы навели порядок» в природе! У Лёни выросла собака, чудесная лаечка под названием Белка. И мне ещё раз больно стало на душе. Нет Индуса! Стоит лишь деревце на его могиле, качается на ветру.

А сегодня холодно. Ветер дует. Сегодня должен приехать Толя и привезти мотыля. У нас с этим зверем дела очень плохи. Привозят его из Челябинской области и когда продают, на улице демонстрации больше, чем в праздники. Если привезёт мотыля — порыбачим, а если нет, значит остаются лыжи и в лес. Тоже неплохо. Маня читает Булгакова в «Москве». Хихикала весь вечер. Закончила первую часть. Сейчас моя очередь наступила. А вчерась деревня наша шумела — Крещенье праздновали быковцы. Брагу пили и песни пели. Время мало касается наших российских людей. Больше это касается транспортных средств — лошадей не стало, так ходят пешком и носят на себе грузы разные: котомки, вязанки сена, вязанки дров. А нравов? Нравов всё-таки почти не коснулось время. Так, маленько, краешком. Если сопоставить изменения и разруху в природе с людьми деревенскими, то можно подумать, что везде и всюду ещё стоят дремучие леса и реки все чисты.

А тут по радио трезвон: «сдвиги», «величайшая эпоха»,

«революция в самосознании людей», «шаги саженьи», «на пороге...» Конечно, Быковка — деревня нетипичная, да вот беда, деревень таких у нас несть числа, и в городе люди живут всё больше из деревень же, да и там умудряются сохранить свою «косность» и привязанность к обычаям. Видно, не так-то просто вытряхивать из людей то, чего тысячелетиями в них врастало.

Сколько всё-таки работы для мысли в наше время! Сколько вопросов задали человечеству эти наши пятьдесят лет! Ах, если бы всё осмыслить и взвеешь трезво, философски, задавши хотя бы один суровый себе вопрос — были ль мы готовы к революции? И стоила ли овчинка выделки? А тут новость завез один парень из Москвы. Пырьеву поручили инсценировать (экранизировать) «Братьев Карамазовых»! Вот это да-да-да-а! Говорят, Алов и Наумов сделали превосходно «Скверный анекдот», но раз превосходно, значит неприемлемо, и вот в пику им поручают старшему товарищу показать этим удальцам, как надо показывать Достоевского. Батюшки-светы, а мы ещё в тайниках души ждём каких-то снисхождений! Глупость, глупость и тупость торжествуют, а мы ждём!..

23-е. Значит, загнул мороз. И что значит? Значит, надо писать. Вот и написал конец рассказа «Фотография, на которой меня нет» — это один из трёх последних рассказов «Страниц детства». Пишется, как и все рассказы этого цикла, легко, непринуждённо, и жаль будет, когда я закончу эту книгу и «иссякнет святая струя».

Приехал Толя, точнее, пришёл. Понесло его где-то в стороне по морозу и бездорожью. Еле отогрелся. (Мотыля не привёз. Не досталось!) Привез почту — письма, газеты, «Новый мир» № 11. Два письма добрых — одно от редактора "Совписа", которому послал я два последних рассказа для книжки. «Ясным ли днём» он нашёл «превосходным» рассказом и сообщает, что в феврале выпишет мне «одобрение». Получил письмо от А. Софронова. В «Огоньке» третий год пошёл, как лежит мой одобренный рассказ. Я рассердился и написал главреду дерзкое письмо. Ответ пришёл быстро с успокоением — «Скоро в ближайших дадим. Извините и ещё присылайте».

Пришло письмо из правления: 911 февраля пленум по журнальной прозе и критике. Приглашают. Думаю, к той поре подойдет редактура в «Молодой», но если и не подойдёт, всё одно приеду.

Смотрел газеты. «Литературка» становится интересней, хотя о литературе в ней по-прежнему всего ничего, а вот «Россия» поблекла рядом с нею как пасынок выглядит. Жаль. Всё же это наша, российская газета. Не так уж у нас много своего-то. Начал

читать Булгакова. Ну и ехидный же мужик! И талантище же! Ей богу, обаятельнейший писатель. И такую силу, как Булгаков да Платонов, держали втуне, хотя одно время в литературе нашей было — шаром покати.

Маня стряпает пельмени с капустой. Спирьке привезли огромную кость. Грызет её со стуком и бряком.

А что, Александр Николаевич, утомил я, пожалуй, Вас? Хотя Вы и любитель послушать мои «сказочки», но всё же и меру знать надо.

А потому закругляюсь-ка я. Остаётся лишь написать, что «Синие сумерки» пока не вернулись. Пойдут, наверное? Я их «подправил» очень ловко и осторожно. Повесть так хорошо обдёргали, что главное осталось, а то, что цензуру может раздражить, как языком корова слизнула. «Ясным ли днём» я Вам привезу потом в уже окончательной (пока) редакции.

Вот и всё. Надо расставаться с письмом. А жаль чего-то. Вроде бы болтал и болтал с Вами, о чём хотелось и как хотелось. А это так славно — болтать. Как душе хочется. Обнимаю Вас.

Ваш Виктор

Февраль 1967 г.

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Захватил я всё-таки с собой столичный грипп, а он, зараза, куда крепче периферийного оказался. Дней десять пластом лежал, и сейчас ещё болит спина и вялость в теле да звон в голове. Следом за мной болели Андрей и Ирина, а сейчас лежит мать, а я хозяйствую. Хозяин из меня, прямо надо заметить, хреновый, и зло от меня да раздражение — и никакого толку. Работать совсем не могу. Выбит из колеи, а это действует на мой характер весьма и весьма отрицательно. И редактор мой не едет чего-то, а я его жду. жду...

В середине марта я не приеду на пленум. Нечего кататься взад-вперёд. Но вот в середине апреля мы, наверное, приедем вместе со старухой. Дело в том, что отдел пропаганды Союза затеял обсуждение «Кражи» и последних моих вещей, а я не возражал. Надо послушать и уловить, может быть, важный какой-то момент в работе, который, чувствую я, наступил, а где он, в чём? — уловить и понять не могу. Когда меня спросили по телефону, кто бы сделал на этом обсуждении вступительное слово, я брякнул о Вас. Брякнул, а потом подумал, что, не спросясь-то, наверное, не надо было этого делать. Но я опять же подумал, что Вы уж всё читали, а кому-то мучиться бы пришлось, и кроме того, думаю, раз отдел да ещё пропаганды, так он, может,

и заплатит Вам маленько за это дело.

Ладно ли я поступил-то?

У больного есть одно хорошее преимущество перед здоровыми — он может себе позволить читать. Дочитал я «Мастера и Маргариту». Мне вторая часть, кроме глав о Понтии Пилате, не понравилась. Тут явный перебор пошёл. И всё на грани шизофрении, воздействие скорее на психику, а не на ум и сердце. Я аж за голову начал хвататься, дочитывая разогнавшегося Булгакова. Мне кажется, при желании такое наговорит кто угодно, а вот первую часть никому больше не написать.

Давно добирался до «Дюма» Моруа. Прочёл. Был под впечатлением большим и сейчас под ним нахожуся. Такие люди и миры, как Дюма, будто нарочно существовали для того, чтобы собою подчеркнуть наше ничтожество и нашу обывательскую сущность. Какой наполненной и яркой жизнью они жили! И оттого им хорошо было делаться романтиками и выдумщиками. А мы, как черви-древоточцы в дверке, скрипим-скрипим и горсть опилок выточим. Выше бытописательства и натурализма нам и не подняться, потому что люди мы не свободные в действиях своих, а уж отсюда прямая зависимость и мыслительная. В лучшем случае мы можем что-то увидеть и более или менее списать, и тут достигли даже виртуозности и предельной простоты, часто переходящей границы натурализма. А поднять моральную, этическую или — уж совсем нонсенс! — политическую проблему нам не дано, потому как у всех у нас, кроме Москвы, пожалуй, задница не по циркулю. А без проблемы, без углубления в действительность какая может быть литература? Слова на бумаге да и только.

Я вот пробовал тут писать в «Литературку» статью о рассказе. Писал, писал, а потом перестал. Боже мой. как всё плоско, умыло и примитивно! Мысли, которые я с трудом выковорил из башки, и на мысли-то не похожи вовсе, на конские шевяки, что валяются на дороге и раскисают от первой сырости и прилипают к сапогам, а не к сердцу. Так вот и сижу в депрессии или пессимизме полном. Не то хвораю, не то хандрю и ничего не могу делать.

Хочу в деревню скорее, уж мотыль Ваш пропадает, а всё не получается. Ваш Виктор

22 марта 1967 г.

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Уж так получается, что, получив от Вас письмо, я испытываю нутряную потребность не то чтобы ответствовать, а поболтать с

Вами и тем втягиваю Вас в переписку, хотя я Вам, кажется, говорил или писал, что отвечать мне совсем необязательно. Не скрою, мне Ваши письма — это отдушина и радость, но не обременяйте себя, тем более в нездоровье будучи.

Я убрался в деревню. Уже скоро десять дней здесь. Оклемался, отдышался и... рыбачил. Погода у нас холодная, никак зима не сдаётся, и клёв неважный. Ловлю ершов в основном, изредка попадают окунишки, но я везучий на рыбалке, меня даже в деревне колдуном за это звали, и при бесклёвье, на глазах у изумлённых рыбаков, почти на сухом месте просверлил лунку и поймал двух приличных голавлей, то-то рыбаки ахнули. Говорят: «А мы-то, а мы-то!..» и больше добавить ничего не могут, и я их понимаю: мы-то думали, тама рыбы нет, у берега-то, думали, и лягухи не водится, а ты-то... Словом, посрамил я род людской, а сын меня посрамил, собственный сын! Поехала моя Мария встречать редактора, который дал телеграмму, что двадцатого выезжает, и... не приехал, падла такая. Я деткам своим послал ершишек и окунишек на уху. Мать приезжает — вот, мол, папа деткам рыбки послал, старается, а сын открывает ей холодильник, и там лежат окуни, сорожины и голавль. Оказывается, он шутки для поехал с ребятами на воскресенье поудить и играючи наловил там рыбы, а я её тут ищу, сверлю, а из всех дыр дымина валит... Так вот всюду посрамляет и обставляет нас молодёжь!

А редактора-то нет! Я хоть и хорохорюсь, но душа не на месте. Ведь если они боданут мне книжку, я на лето останусь без копейки денег и тогда... а всё тогда накроется: и поездки, и покой, и семейное благополучие.

Редакторы... А Вы тоже, хоть и старый лит. волк, а наивный, спасу нет. Неужто вы всерьёз подумали, будто это я дал кастрировать повесть в «Молодой»? Да меня никто и не спрашивал! Цензор — та придралась к тексту, к бабушке этой несчастной, и ещё кое к чему, а журнал на выходе, ну и рубили, как хотели. Уж лучше бы они совсем эту фразу вместе с куском выбросили, тогда б не так нелепо было. Но в «Молодой» со мною и не такие штуки выделывали. Я, кажется, рассказывал вам, как обошёлся Котенко со «Звездопадом»? А что сделал Зубавин с рассказом «Два бойца» или «Сашка Лебедев», знаете? Я освирепел и написал Зубавину письмо, где даже и оскорблял его последними словами, а он... Он даже не рассердился на меня. Видно, много таких писем получает. Ответил только: «Посидели бы на моём месте...»

Вот и «Кражу» тоже маринуют. «Виктор Петрович, укажите карандашом все места, где есть расхождения с журнальным

вариантом», — говорят. Я отвечаю: «Помилуйте, как можно! После журнала я объёмно перелопачиваю вещь, делаю всеобщую правку, как же я Вам укажу?!»

Ну вот договорились, что редактор ещё и ещё прочтёт повесть ту и другую, а затем зав.. а затем главный и отметит, а «Вы уж на месте утрясёте, только, пожалуйста, помните о лите [*здесь и далее в письмах имеется в виду цензура. — Сост.*]. Мы Вам зла не хотим, но лит, лит!..» И руками себя хлопают. Все добра хотят, все хорошие, да боятся лита! И где уж боязнь, а где перестраховка — не всегда различишь. Беда прямо!

Написал я всё-таки статью о рассказе в «Литературку» *[Рассказ — "Любимый жанр". Лит. газета. 1967. 19 апр. — Сост.]*. Плохо получилось, плохо. Мысли вроде коровьих лепёх, серо-зелёные, но послал, хотя бы для того, чтоб знали, что данное слово пытался сдержать. Продолжаю работать над «Страницами» [*рассказы о детстве, вошедшие впоследствии в книгу «Последний поклон». — Сост.]*. и работа эта меня радует. А дальше «Пастух и пастушка» и, действительно, потом коридор пустой. Не в смысле тем и замыслов, у меня их всегда в башке роится уйма, а в чём-то другом. Но если хунвейбины разные не помешают, у меня вроде бы ещё перспектива с годик не писать — планируется моя книжка в «Уральскую библиотеку» и переиздание всех повестей в «России» на 69-й год. Кроме того, я пристрою где-то «Страницы» и воспользуюсь тем, чтобы годик поездить, подумать, передохнуть. Многое мне нужно рассказать о войне, о мною увиденной войне, и как это сделать, с какой стороны на войну зайти, надо подумать. Время нужно и пространство. «Страницы» в самом деле что-то вычерпали во мне, какой-то эмоциональный заряд, который можно было растянуть надолго, я в них выхлестнул, и этот источник, так долго меня питавший, иссяк. Попробую набираться материала и эмоций в современности. Только недоброе у меня к ней отношение и боюсь, что не пойдёт у меня современность. Но есть война, война, хреновина одна... Ну да чего горевать! Скоро уж пятьдесят будет, а там, как цыган говорил: «Зима да лето, зима да лето» — и пенсию писательскую дадут. Вот уж тогда я порыбачу-у-у!.. А поджелудочная железа — это, дорогой мой человек, плохая штука. У Толи-пасечника мучается этим делом жена. Только что вернулась из больницы, после всяких блокад и прочего. Лежит. Велели ей: вина не пить, горького и острого не есть, с мужиком не... того, и вообще... не мять никак живот. Лежит сейчас дома, в Быковке, и пока мало сдвигов. Диета, наверное. Диета Вам только и поможет, а ещё бы лес, да деревня, да свежее молоко, да покой... Но «покой нам только снится», как сказал товарищ поэт. Как бы хотелось, чтоб

Вы были здоровы и жизнерадостны! Да ведь не маг я булгаковский, а то б моментом эту железу Вашу вынул и другую, стальную что ли, вставил.

Крепко Вас обнимаю, болезный, но не сдающийся человек. Калязинские ребята, они такие, они эту железу запросто вынали и в утиле на иголки и маковухи меняли, а которые и на водку. Ваш Виктор

30 марта 1967 г.
Быковка
(Адресат не установлен)
Иванушка, сельдюк ты мой!

Я прочёл открытку, где содержится вопль, адресованный мне. Я мог бы и тебе адресовать подобный же вопль, но будем считать, что ты занят ещё больше меня, и потому тоже не пишешь. Я много работал, добивал «Страницы детства», и уже виден конец. Ещё с месячишко работы и я расстанусь с этой, самой дорогой моему сердцу, книжкой, вероятно, лучшей из моих. Во втором номере «Молодой гвардии» напечатали заключительную вещь этой книжки — «Где-то гремит война», покарябали, правда, но без этого у нас печатать не умеют.

Ездил в феврале по делам в Москву и зацепил столичный грипп. Болел тяжело и долго. Главное, что после гриппа напала на меня мерехлюндия, ни работать, ни читать неохота сделалось. Говорят, сейчас это у многих бывает в послегрипповой период и даже случаются самоубийства. Я до этого не дошёл, ибо есть у меня угол в деревне. Вот сюда я и забрался, откуда и пишу тебе. Здесь я оклемался и пришёл в себя. Начал работать и даже письма писать, которые запустил сильно. И вообще всё позапустил.

Старуха моя уехала в город, по хлеб, и я сейчас один, чему и рад очень. Стал дорожить одиночеством — старость приближается. Вспоминали как-то тут тебя. Я поведал своей жене твой рассказ о том, как люди замерзают в тундре. Ещё вспоминал тебя вот почему: был в нашем городе смотр народных театров, и какой-то театр привозил «Якова Свердлова». Автор с еврейской фамилией. Они ничего не прозевают! Опередили тебя.

Ездил ли ты в Туруханск? Пойми ты мою тоску по собаке, по сибирской! Будем вместе с собачкой тосковать о родине. Да и повод у меня появится к тебе съездить и ещё побывать в Сибири *[Виктор Петрович просил друга помочь достать ему сибирскую лайку. — Сост.]*.

В ближайшее время будут мои новые рассказы в

«Литературной России» и в «Огоньке», а летом в «Нашем современнике» — рассказ о собаке.

Вот и все мои новости, пока. Кланяйся жене, сынам. А тебя я обнимаю.

Твой Виктор

1967 г.

(Адресат не установлен)

Дорогая Евдокия Осиповна!

Чудесный, добрый Вы, видать, русский человек! Таким сердечным теплом повеяло от Вашего письма и от Ваших воспоминаний о брате и о себе тоже. Мне они очень понравились прежде всего тем, что в них нет сочинительства, претензий на литературу, а есть живая безыскусная исповедь, которая в общем-то и является настоящей литературой.

Я немедленно отсылаю Ваши воспоминания в журнал «Наш современник», членом редколлегии которого являюсь. В номера, приуроченные к 50-летию Советской власти, такие материалы нужны как воздух! Пусть современные молодые люди, а кое-кто из старших зажравшихся совмещан узнают, как нам досталось наше относительное благополучие, и что сделали и вытерпели люди ради лучшей жизни на русской земле.

Я не знаю, как в нашем журнале решат вопрос с Вашими воспоминаниями, но думаю, если не у нас, то в другом месте, в другом издании их напечатают с большой радостью.

Что же касается Ваших заметок о рижском взморье — я бывал на нём и могу засвидетельствовать, что Ваши наблюдения точны и поэтичны, также и заметки о водителе троллейбуса — их нужно предложить рижской вечерней газете или молодёжной — это для газет очень подходит.

Писать Вам нужно, не стыдясь своих четырёх классов. У меня тоже нелишка — шесть! Дело ведь не в классах, а в самообразовании, в прирождённой внутренней культуре, которая порой бывает тоньше, поэтичней, чем у людей с «поплавком» на борту пиджака.

Не знаете ли Вы писательницу (в Риге) Ингриду Соколову? Она инвалид войны, но хороший, душевный человек. Найдите её (живёт на улице Горького), познакомьтесь, наговоритесь, и совет добрый она даст.

До свидания! Виктор Астафьев

Начало апреля 1967 г.

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Получил Ваше письмо, в котором Вы мне с юмором описываете все свои злоключения и приключения, связанные с хворобой вашей. Трудиться бы Вам в «Крокодиле» или вести отдел сатиры в «Литературке» и не хлопотать о больницах! Дар у Вас о мрачном и паскудном в жизни повествовать со смефуёчками. Такой автор был бы находкой для нашей литературы, алчущей светлого и возвышенного везде и повсюду, а Вы в критику ударились. Вот — не критикуй!

Но, кроме шуток, чем Вы больше бодритесь в своих письмах, чем там больше юмора, тем большее беспокойство берёт меня. Не знаю почему, но как-то быстро и прочно я привязался к Вам и Вы мне сделались очень дороги. Так-то я не решился б этого сказать, а в письме вот проще всё. Родство душ, наверное? А может, и одинокость наша, ещё невиданная и неслыханная ни в какой литературе, понуждает привязываться к человеку, который не заражён высокомерием, который не орёт на каждом углу «за русский народ», и с которым просто и интересно быть.

У меня их было немало, друзей-то, но одни из них исторговались на лит. барахолке, другие всё норовят горланить о «левых» и «правых», извлекая из этого выгоду или поддакивая кому-то, и всё время щупают — а ты за кого? За нас или за них?

А мне ни за кого не хочется. Писателей я делю только на хороших и плохих, а не на евреев и русских. Еврей Казакевич мне куда как ближе, нежели ублюдок литературный С. Бабаевский, хотя он и русский.

Вот и остался у меня из всех курсантских и прочих друзей Женька Носов, да Вы и ещё один парень со свердловской киностудии, чудесный человек, и дорожу я этими друзьями, и боль их, и беды — моя боль и мои беды. С Женькой Носовым я Вас как-нибудь поближе познакомлю. Славный, светлый мужик и мягкости души, самостоятельности характера необыкновенной. И писатель такой, что читать его радостно и гордость берёт за него. А то «друзья» наляпают чего-нибудь и ждут, чтобы их «по-дружески» хвалил, подмазывал, а я не умею и не люблю этого, вот скажешь, а тебе: «Ну да, ты у нас один только могёшь... ты у нас!..» С Женькой у нас этого не бывает. Мы можем просто и прямо сказать друг дружке — это вот у тебя здорово, а это хреново.

С нетерпеньем буду ждать Вашей статьи. Откровенно говоря, побаиваюсь. И не потому что Вы там можете меня поругать (ругать давно надо и есть за что), а как бы не осложнила она наших отношений с Вами. Наверное, тут надо сделать вид, что Вы обо мне ничего не писали, а я ничего не читал? Да ведь не

получится детской этой игры-то! Но и Вы, и я уже взрослые люди — отнесёмся к этому факту мудро...

Сегодня мне всю ночь снились какие-то литературные сны. Анна Самойловна Берзер приснилась, у которой находится мой рассказ «Ясным ли днём», будто говорит она мне: «Читали, как нас на секретариате-то?» — «Читал», — говорю. «Ну так чего же с таким рассказом идёте?..» — «Да я, — говорю, — понял так, что нас больше хвалили...» — «Ничего вы не поняли...» А дальше пошло что-то смесью — лица, рожи, ужимки и ухмылки разных людей.

Между прочим, «Молодая гвардия» опять что-то затеяла с книгой. Редактора не шлют и помалкивают. Я так изнервничался, что на руках (в сгибах локтей) выступила у меня экзема, чего сроду не бывало. С 64-го года пьют они из меня кровь. Лопнет скоро у меня терпение, заберу я у них повести и отдам их в другое издательство. Но это значит — в нынешнем году мне книжки не видать. А последняя — «Поросли окопы...» вышла в начале 65-го года. Вот тут и проживи! Бесправие писательское у нас всё-таки жуткое. Вроде стены кругом, куда ни торкнешься, всё лбом стукнешься и отскочишь!

Живу всё ещё в деревне. Рыба не клюёт совсем. Поймал пять судаков, и на этом мои подвиги кончились. Доделываю последний рассказ «Страниц» и собираюсь домой, пока по льду ходить ещё можно. Охоту, говорят, нынче не откроют. А хотелось побегать по лесу с ружьишком. Я хоть весною никого и не убиваю, но наслаждаюсь лесом, волнуюсь весною. А так ведь даже понарошке с ружьём не выскочишь — защитник природы! А без ружья не умею, не интересно сие.

Что это на Вас за напасти ныне? Ну авось хоть к лету на ногах будете, да на природе поправитесь. Может, в Карелию-то всё же съездим? Целую тебя, дорогой. Поправляйся. Твой Виктор

26 апреля 1967 г.

(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

Поздравляю Вас с весною и Вашу болезную супругу тоже. Надеюсь, она уже немного оклемалась.

А я как побывал в феврале в столице, получил грипп, так вот с тех пор и не оправлюсь. Механизмы, изношенные войной, годны, видать, только для свалки и на мыло. Уезжал в деревню на месяц (как раз в то время, когда Вы в Ирбите были), и вроде бы ничего себя стал чувствовать, а вернулся в город на отчётно-выборное собрание — приступ случился, еле отводились. Вот

сегодня впервые берусь за чернила.

Конечно, издатели наши всячески способствуют тому, чтоб наш брат поскорее подох. Четвёртый год издательство «Молодая гвардия» маринует «Кражу» и до сих пор водит меня за нос. Перебиваюсь на журнальные публикации. А как на них жить. Вам рассказывать не надо, тем более что я никак не догадаюсь растянуть повесть листов на 40, а всё на четыре меня только хватает.

Буду добиваться путёвки в Ессентуки, может, и добьюсь. А то совсем замучили меня желудок и печень. Из желудка всё время идёт кровь, и подыхать, даже при такой паршивой жизни, в 43 года что-то всё ещё не хочется. Хотя иной раз и посещает уж мыслишка, а может и лучше бы отдать чалку...

Настроение у меня ужасное. Никому и ничего не пишу. Работа не идёт. Всё запущено, заброшено. Поэтому и писать дальше ничего не буду. У Вас и без меня горя хватает. Мой хороший старший друг и Ваш жестокий рецензент Александр Николаевич Макаров тоже лежит в больнице и тоже шлёт письма минорные. Что-то чем дальше живём, тем меньше и меньше весны в жизни.

Обнимаю Вас. Виктор

Конец апреля 1967 г.

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Вчера мы провернули — именно провернули! — отчётно-выборное собрание, в один день, коротко и по-деловому. Я избавился от всех обязанностей, и от Литфонда, и от бюро, да ещё поспособствовал смене секретаря, который протрубил у нас восемь лет и поседел от этой деятельности. По случаю избавления от должности мы крепко выпили, и вот сегодня у меня дрожат руки, ноет печень, и я ничего не могу писать, кроме эпистолярных произведений, к чему и прибегаю, дабы морально чувствовать себя в тарелке. Да и на письмо на Ваше, тьфу ты! на твоё, мне захотелось ответить поскорее.

Значит, в фешенебельной больнице?! Больницы, даже фешенебельные — это всё равно больницы, и избави от них бог. Может, уже дома? Хорошо бы. А я всё жду редактора. Пришла из «Молодой» телеграмма: «Рукопись задержалась чтением главной редакции» (третий раз читают!).

Чуть я не попал в Москву. Из ЦК ВЛКСМ пришёл вызов на актив журнала «Молодая гвардия», но числа совпали с нашим собранием и поездка не состоялась. Однако мы всё равно скоро

увидимся. Читательские конференции — три, в библиотеке им. Лавренёва, им. Володарского и на каком-то заводе — назначены на 15 мая (начало) с тем, чтобы я уже и на съезд остался. Когда он будет, не слыхал?

Приедем мы вместе со старухой, если она будет в форме. Тут у неё прихватило сердце, и лежала она, бедняга, несколько дней, а лежать ей — это всё равно, что спринтеру, всю жизнь бегающему, утерять сандалию и упасть на дистанции.

Поднялась уже, копается в доме, подержится, подержится за ретивое и опять гремит хозяйством. Я ворчу на неё, чтобы ложилась, но вижу, что когда лежит, совсем она несчастная, и настаивать или нет на лежании — не знаю. С жёнами обращаться — дело научное и, как вижу, на всю жизнь — непосильное.

Рыбалка моя, как видно, накрылась. Насверлили мы с пенсионером-рыбаком сотню лунок, и теперь люди из них судаков вытаскивает, а я, значит, сижу и у моря погоды жду, ибо ход судака задержался и начался лишь теперь, перед вскрытием рек.

Погода всякая. В основном хорошая, но стали перепадать дождики и тучи наплывают всё чаще от вас, из столицы. Грешите там, смуту в небе делаете, а мы, тихие и скромные люди, страдай тут из-за столичных невоздержанностей, хотя бы уж небо-то не баламутили, обходились бы литературой и ЦДЛ, там никакого неба нет, а фимиам табашный плавает волнами.

Хотя и на периферии тоже разгул пошёл, и касается поветрие светлых душ провинциалов. Я, как догадываюсь, вчерась пьяненький к жене прилубыкиваться зачал (к больной-то, ну не дурак ли!), и дело кончилось тем, что обнаружил её утром спящую по отдельности, на диване, а я, значит, в сиротстве. В назидание ей я рассказал историю, происшедшую между мужем и женой. Пообедал это муж (а был он у нас баснописец), плотно пообедал и, значит, жену, убирающую посуду, за холку — цап! «Побалуемся, старуха, что ли?» — «Поди ты к лешему! Мне некогда, кручусь, устала, как собака, а у тебя одно на уме!» — «Ну что же делать тогда? — задумался баснописец. — Пожалуй, к девкам идти придётся». Жена, Кланя, убегла, хлопнула дверью, а через пять минут уже в халате и без штанов прибежала, легла на диван и кричит: «На! Подавись!..»

Я и говорю Мане, вот, говорю, какие жены-то сознательные и самоотверженные. Хохочет старая. А ещё этот баснописец (покойный уже, к сожалению), очень обаятельный и талантливый мужик, погубленный провинцией и из-за провинции так и не сделавшийся настоящим поэтом, болел туберкулёзом и часто подолгу лежал в больницах. Там он сочинял притчи про всех и про всё. Многие и сейчас живы, и мы их читаем в мужской

компании... Так вот, в больнице сестра, тоже Клава, однажды Афоне и говорит: «Что-то Вы, Афанасий Лазаревич, про всех сочиняете, а про меня дак нет». — «Обидишься ведь, если сочиню». — «Ну уж, обижусь! Я понятливая...»

И Афоня сочинил про Клаву стих нижеследующего содержания:

В палату каждый день, с утра.
Приходит Клава — медсестра.
Больного жмёт она в углу
И тычет в задницу иглу.
Вливает грамм стрептомицина
Ну х..и сделашь? Медицина!

Афоню выгнали не только из палаты, но и из диспансера за этот стих. Он с горя напился и свалился в канаву. Его забрали в вытрезвитель, а как раз шла облава на писателей в связи с прегрешениями министра культуры. Афоню выгнать можно только из одного места, из партии. Зацапали его, голубчика, и на бюро. Беспартийные массы, и я среди них, сидят в Союзе и переживают за Афоню. Вышел Афоня грустный-прегрустный. Мы к нему, а он поднял гла-33 и хриплым своим печальным голосом пропел:

Нас бьют, работников культуры.
Всыпают крепко мудакам!
За то, что сам министр культуры
Ходил по тайным бардакам.

Помер наш Афоня всеми брошенный, забытый, а сейчас вот его как-то не хватает, чего-то выпало из жизни, а мы и не заметили в суете, как его прозевали, виноватимся теперь в душе перед ним. А что пользы от этого? Как там у Ахматовой или у Тушновой? «И все цветы, живые, не из жести, придите и отдайте мне теперь». А мы уж очень щедры бываем на цветы из жести...

Впрочем, хватит на эту тему. Я ведь весёлое тебе письмо хотел написать, чтобы повеселить маленько и взбодрить хоть чуть-чуть.

Естественно, что эти дни не работал, в чём раскаиваюсь, но завтра уже начну, думаю, что начну. Обнимаю тебя, дорогой. Не хворай! Твой Виктор. Старуха кланяется.

25 апреля 1967 г.

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Только я Вам отправил письмо с книжкой, как со мной приключилась оказия, чем-то отравил и без того гнилой желудок, и взяло меня! Печень и сердце, и вся механизма, уделанная

войной, как заголосила, а я вместе с нею. Несколько дней было тяжело, и сегодня впервые берусь за ручку. За это время разом пришло от Вас два письма и статья моя в «Литературке». Черти драные, как умеют править! Так обкатали, что от моего гонора и следа не осталось, и острых углов как не бывало! Я думал, они по-благородному поступят, хоть гранки пришлют. И я бы сумел там кое-что подладить. Ничего не прислали — тиснули и никаких гвоздей. Я Вам потом покажу статью в доподлинном виде, и Вы ещё раз убедитесь, как осторожен Ваш родной «орган» печати.

Погода у нас стоит прекрасная, 22-24 тепла. И в такую-то погоду погиб такой человек! Мне этого русака Комарова жаль, как родного брата. Люди эти воистину герои и труженики. И вот... Начало! Сколько ещё их кокнется, пока они освоят пространство! И никак у меня не хватает ума объяснить себе эту проклятую «логику» жизни, что такие хорошие, нужные люди гибнут, а дрянь какая-нибудь, которая родилась затем только, чтобы отравлять людям жизнь, портить воздух, здравствует, процветает, ходит по земле с ножами, кастетами и вредными намерениями. Сколько лет, с самой войны об этом думаю и ничегошеньки растолковать себе не могу. Несправедливость, наверное, самое необъяснимое в жизни, отклонение от неё.

Читаю Ричарда Олдингтона. Впервые читаю. Очень хороший и честный писатель. Его взгляды на войну полностью совпадают с моими. Разница лишь в том, что он может позволить говорить и писать, и думать, что ему захочется, а я вынужден буду в самом главном изворачиваться, объяснять, маскироваться и ловчить, чтобы высказать те же самые мысли, ибо войны в сущности своей похожи друг на дружку. На них убивают людей! Всё остальное не главное и пустяк по сравнению с этим.

Мечтаю на праздник убраться в деревню. Но не знаю, сойдёт ли к этой поре лёд с моря, а пешком мне не уйти, ослаб от хвори. В деревне я бы быстро поправился. Там всё исцеляет — и весна, и воздух.

В «Молодую» послал телеграмму с предупреждением, что если они в ближайшее время не решат судьбу книги, я передам её в другое издательство. Да, конечно, с этим младым, но ранним издательством я больше не свяжусь. Буду тыкаться в «Сов. писатель», хотя знаю, что и там тоже меня никто с распростёртыми объятиями не встречает, и там кровь умеют пить. Меньше всего пьют крови в местных издательствах, но это значит — махнуть рукой на всё, в том числе и на себя, да и примириться с ролью местного писателя, которому ничего не хочется, кроме как добывать пером хлебушко какой-нито. Но скоро придётся и в местное идти. Надеясь на центральные, я вовсе остался без денег.

Живу сейчас на аванс, выданный «Совписом» под книжку будущего года. Тоже не сахар.

Принципы пока не кормят! Беспринципность же идёт ходко на лит. базаре.

Из больницы-то вышли или нет ещё? Поскольку соберусь или нет писать до праздника — не знаю, так с весною всех! Цветенья всем и здоровья, да радости хоть маленько!

Всех вас обнимаю. Ваш Виктор

6 мая 1967 г.

(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

Читательские конференции по моей «Краже» будут проходить 15-го в библиотеке им. Лавренёва, а 16-го — в библиотеке им. Володарского. Следовательно, 14-го я буду в Москве. Остановлюсь, скорее всего, у Макаровых и, возможно, с женой, но всё возможно... возможно, и не приеду.

Днями жена и родная тётка чуть не погибли на Камском море. Опрокинулась лодка. Моторист утонул, а их еле откачали. Состояние её очень неважное, а она должна ехать на аборт (на 21-й в своей жизни). Если бы меня сейчас вывели на площадь, сняли штаны и пороли розгами всенародно, я бы и то, наверное, чувствовал себя лучше.

Больше уж ничего писать не буду. Коли жена выдюжит и будет жива, приеду и всё расскажу, а пока прощаюсь до лучших времён. Ваш Виктор

Конец мая – начало июня 1967 г.

Ессентуки

(Жене)

Маня!

Сердце моё — злой вещун и почти никогда попусту не ноет. Сегодня занесло меня в парковый читальный зал, и там я посмотрел свой рассказ в «Современнике» *[вероятно, «Синие сумерки». 1967. № 6. — Сост.]*. Что с ним сделали! Кажется, ещё никогда так не выхолащивали, не изрубали и не искажали моего текста. Я ушёл из зала шатаясь, и, когда пришёл в столовую. Две женщины, сидящие со мной за одним столом, сказали: «Виктор Петрович! Что с вами? На вас же лица нет!» Я не помню, что им ответил, попытался пошутить, но ничего не вышло. В «мёртвый час» я написал Зубавину короткое письмо. Так жестоко меня ещё не предавали с текстом. И где? В «Современнике»! В журнале, который я хвалил как раз за честность, и из-за этого пошёл туда.

Как жить? Как работать? Эти вопросы и без того не оставляют меня ни на минуту, а тут последние проблески света затыкают грязной лапой... Отпуск мой испорчен. Настроение ужасно. Мне хочется завыть и удариться башкой о стену. Будь же проклято время, в которое нам довелось жить и работать! Зачем Всевышний наделил ещё каким-то дарованием?! Для больших мук?! Для ещё больших страданий?! Будто и без них мало! Мне давно-давно так тяжко не было. Я чувствую, как во мне что-то гаснет, притупляется. Боюсь стать равнодушным. Боюсь отупеть. А всё идет к этому. Надолго ли ещё хватит моей раздольной натуры? Моего юмора? Моей жизнеспособности? Всего этого остались крохи. Меня всё чаше и чаше тянет быть одному, тянет к замкнутости, к погружению в самого в себя. Но это — конец художнику! Это уже буду не я, а кто-то другой станет водить моей рукой, а сердце будет молчать.

Я тебе почти не говорю о своем внутреннем состоянии. Я знаю, у тебя земных забот и земных горестей слишком много, чтобы добавлять к ним мои, да и объяснить их я не сумею — слишком они у каждого индивидуальны и не всегда могут быть понятны даже самым разродным людям.

Страшно, когда лишаешься надежды. Ты можешь сказать, что одного испорченного, изуродованного рассказа, пусть и дорогого сердцу, очень мало для таких пессимистических настроений. Но а слишком пристально слежу за тем, что происходит в нашей литературе, слишком сторожко жду изменений к лучшему и даже пытаюсь внушить себе, что они есть, что они придвигаются, и вижу: самообман уже не помогает, что мы слишком часто прибегали к самообману раньше и такое «лекарство» уже не годится. А другого нет.

Нас ждёт великое банкротство, и мы бессильны ему противостоять. Даже единственную возможность — талант — и то нам не дают реализовать и употребить на пользу людям. Нас засупонивают всё туже и туже. Мысль начинает работать вяло, покоряться. А чтобы творить, нужно быть бунтарём. Но против кого и против чего бунтовать? Кругом одни благожелатели, все к тебе вроде бы с добром, а потом «отредактируют». Руки опускаются. И жаль, что это ремесло невозможно бросить.

Ей-богу, будь у меня побольше сил — бросил бы. В лес ушёл бы и прожил остаток дней в радость себе. Неужели ж я не заслужил такой почести: жить хоть десяток лет для себя?! Неужели постоянно должен мучиться своими и чужими муками, никому и ничего не дающими, кроме новых мук?!

Поеду в Москву, пойду к Александру Николаевичу Макарову и, если он присоветует, пойду, доберусь до секретариата, до

нашего «отца» Соболева, и расскажу ему о том, как меня предали в «Современнике».

Отсюда я уеду одиннадцатого или днём двенадцатого. Сегодня, естественно, ждал весточки от тебя, но её нет. Пусть хоть дома всё ладно будет, а то я однажды могу не выдержать...

Зачем только я заходил в эту читалку? Только нездоровье нажил.

Целую. Виктор

12 июня 1967 г.
Быковка
(А.Н.Макарову)
Дорогой Александр Николаевич!

Вот уже скоро десять дней, как я в деревне. Надо ли говорить, как я этому рад! После двухдневного похолодания, во время которого выпадал снег, и довольно глубокий, установилась довольно сносная погода. И даже всё зазеленело как-то густо и сочно. Лето наступило! Но много погибло птиц, особенно дроздов и скворцов, которые без корма долго жить не могут. То там, то тут в траве лежат трупики птенцов, а иные в речке утонули. Но соловьи поют во всю ивановскую, и позавчера притопал коростель — скрипит за нашей баней.

Я приходил в себя и ничего особенного не делал. Читал, в огороде копался и рыбачил.

Рыбалка худая. Сначала ещё ловил по десятку-полтора харюзков, а сейчас они уже разбрелись по кустам и так их мало, что найти не удаётся. Приходится думать о передислокации на море, а там ветры дуют всё время и вообще не по мне там рыбалка. Вот разве через недельку на судака можно будет выходить.

Читал Амосова «Мысли и сердце», очень умно, очень современно и никакой претензии на литературу. Начал читать Залыгина «Солёную падь». Ну силён мужик! Так о гражданской войне ещё никто не писал. Ну мастер, собака! А вообще жизнь идёт в деревне тихо, и никакие израили тут не мешают бабам брагу пить, веники вязать, полоть в огородах и рано спать ложиться.

Мыслей у меня в башке нет никаких, слава богу. Прислали из журналов «Москва» и «Вопросы литературы» анкеты. В «Вопросах» уж больно мудрёная, мне и не ответить на такую, а от «Москвы», наверное, тоже откажусь, хотя и обещал. Неохота что-то шевелить своей мыслительностью. Только сейчас, распустив мускулы, я и понял, как устал от жизни, домашних бед и съезда. Надобно отдохнуть по возможности и браться подчищать «Страницы

детства» да и сдавать их в издательство. Маня моя помаленьку оживает и сейчас чувствует себя уже сносно, хотя и барахлит у неё сердчишко да левая рука по-прежнему немеет, но ничего. Она — баба живучая. Шьёт вон сидит чего-то и сопит носом умиротворённо, аж мне спать захотелось, хотя сон мой всё ещё не очень отрегулирован. А как вы прозябаете в Малеевке? Рыбачите ли? Как брюхо? Как Наталья Фёдоровна?

Я в Карелию, наверное, не поеду. Чего-то не хочется трогаться из деревни. Там выпивки будут, суета, трёп, а здесь покой, земляника, и, глядишь, судак начнёт брать. Тем более что в июле надо ехать в Латвию. Пожалуй, не поеду.

Книжку и рукопись получил.

Ну, обнимаю тебя, твой Виктор

Июнь 1967 г.
Быковка
(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Не больно летом-то пишутся письма. Из деревни написал тебе только одно — всё некогда. С утра работаю — домозоливаю «Страницы». И домозолил вроде бы. Маня мается — ездит печатать домой, потому что декада в Латвии начнётся не в конце июля, а 13-го, и надо успеть добить книжку до отъезда.

В Карелию уж не поехал, неохота мотаться. В деревне прямо благодать, и я подумал, на кой хрен тебе эта Малеевка, жил бы здесь да рыбачил себе. Нынче на море сильно берут лещ и сорога. Был сейчас у нас пьяный лесник — рыбак заядлый, хвастался.

Я же всё за хариусами рыскаю. Вчерась поймал 32 штуки, а есть некому, мать уехала, ребята лишь сегодня прибудут. Посолил рыбу. Хариуски солёные у меня ещё прошлые есть.

Грибы начинаются. Собрал уж на грибовницу и сейчас вот ещё пойду.

Полем в огороде, садил-то я без Мани и по случаю потепления садил рано, и выросло бурьяну много, а картошки не видать.

До сих пор не наладился сон. Никак не думал, что съезд так надолго выведет меня из равновесия. Как вспомню, так и трясёт меня. По прошествии времени только понял, как подло всё и какая беспросветность впереди.

Где ты будешь в Литве-то? И когда? Если до 13-го не уедете, то я тебя, может, и повидаю, а из Латвии едва ли. Там сыр-бор начнётся. Не поехал бы, но купить кое-что надо и себе, и ребятам, костюм надо, пальто, сапоги — ничего-то у нас нету. Всё заперли до праздников. Берегут к Христову дню? Поедем мы вместе с

Маней, чтоб никакая латышка на меня не позарилась! А пока ездим в Латвию, и август подкатит. Ты уж ничего не намечай на август-то. Приезжай в начале и поживёшь тихонько. Ей-богу хорошо тут. И пописать даже можешь, если захочешь. И порыбачим судаков, и побродим по лесу.

Обнимаю тебя. Виктор

29 июня 1967 г.

Быковка

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич;

Маня привезла мне в деревню журнал, присланный тобою, и я ещё раз, теперь уже неторопливо и обстоятельно, прочёл твою статью и ещё раз убедился, что статья добротная, вызывающая много мыслей. После первого прочтения статьи и разговора с тобой у меня что-то начало пошевеливаться насчёт романа. Плавают в мыслях и голове много судеб, случаев, событий и однородных сюжетов. Все хотел засесть как-нибудь и написать цикл зарисовок и очерков, не вошедших в газету, написать просто так, для себя, и сейчас вот прикидываю и вроде бы начинаю как-то собирать эти судьбы, в основном ужасные, в одно целое. Словом, что-то чуть ещё мерещится, чуть шевелится, «и даль свободного романа» совсем, совсем ещё не ясна мне.

Но поскольку я тугодум, однако тугодум твёрдый, то, может, и выношу чего, может, и соберу в кучу разные судьбы и картины. А пока довычитываю с машинки «Последний поклон». Только что дочитал «Где-то гремит война», повесть «исправленную и дополненную». А она и в самом деле ничего! Для меня даже несколько неожиданно это, потому что и написал-то я её нечаянно. Хотел два рассказа — о шорницкой и об охоте на коз написать в «Страницы детства», потом пошло-поехало, и вот получилась бесхитростная и переживательная вещь.

Неисповедимы пути наши... Над иной вещью бьёшься, бьёшься. Думаешь, я её так напишу, ух как напишу, а потом хвать-похвать, и ни хрена-то не получилось. Что было в башке, там и осталось, а на бумагу сопливые вышлепки вылились.

М-да-а, нудная, сложная работёнка! Читали ли «Карюху» Алексеева? Если нет — советую. Я просто очарован этой вещью. Русская, истинно русская, благородная проза!

Да, чуть не забыл.

Наверное, и раньше сказать забыл. Вот в том месте статьи, где ты пишешь: „Я мало верю в случайности...» Совершенно верно. Я — тоже. Подкрепить следует этот важный аргумент. И

подкрепить поучительно для всех, кто думает, что писатель с неба сваливается.

Во-первых, от природы я был выдумщик, враль и фантазёр. Но этого мало. Вралей у нас и фантазёров дополна. Вон Хрущёв какой враль и фантазёр был, а писателя из него так и не получилось. Хотя пробовал человек...

Так вот, надо, чтобы какие-то природные задатки попали ещё в благоприятные условия, получили бы толчок, что ли. И мне в этом смысле повезло. Тебе на глаза, наверное, не попалась моя статья об Игнатии Рождественском, напечатанная в «Октябре» в 1961 году? Она многое бы прояснила.

В самом «творческом» возрасте я жил в Игарке. Городе, каких сейчас уже нет, к счастью и несчастью. Город весь кипел страстями и... творчеством. В нём много читали. И не только потому, что длинная зимняя ночь, метели, оторванность — это один из фактов, но ещё и потому, что здесь это было самой жизненной потребностью.

Вспоминаю, что когда началась работа над книгой «Мы из Игарки», все школы, всё «опчество» было не на шутку возбуждено и заражено этим. Везде шли конкурсы скрытые и открытые. В каждой школе издавались рукописные журналы, еженедельно выпускались стенные газеты со стихами, зарисовками, фотографиями, рисунками. Газета «Большевик Заполярья» шла нарасхват, ибо тоже заполнена была «художественным материалом». И вот в эту-то пору прибыл в Игарку Игнатий Дмитриевич Рождественский. Он преподавал литературу и русский, преподавал как бог на душу положит, много нам читал, рассказывал, учил распознавать слово, прививал к нему вкус. Я сидел тогда в 5-м классе второй, если не третий, год. Учеником считался архиплохим, человечишком архибросовым. И вот чтение вслух. Проверка как кто читает. И отличники мямлят, а я будь здоров прочитал. Игнат заметил меня, хотя и тогда уж близоруким был. Стал чаше спрашивать, спрашивать тогда, когда другие ни в зуб ногой. Я, естественно, из кожи лез, чтобы ему потрафить.

А потом я стишок сочинил об Игарке: «Игарка, Игарка, ты город полярный, на севере вырос, среди холодов...»

И этот стишок попал в обзор, помещённый в газете «Большевик Заполярья». Буквами была напечатана моя фамилия! Я ходил — грудь колесом! Весь Детдом мною гордился. Экспромты требовал. И я сочинял экспромты, преимущественно непечатного порядка.

Но шутки шутками, а ведь с этого, со встречи со стоящим учителем и обзора в газете, я почувствовал, что чего-то стою, и

строже к себе сделался, Учиться лучше стал. Правда, поздно хватился. Кончил шестой класс, и возраст мой вышел из детдомовского, но уже в шестом классе я землю рыл и кончил его за одну зиму, а не за две и не за три, как прежде. Ещё когда в пятом был, Игнат дал нам большую тему для сочинения, приблизительно сказав, у кого что самое интересное было летом, о том и напишите своими словами.

А я летом блудил. Четверо с лишним суток блудил в заполярной тайге и сам вышел, сам себя спас, хотя доблестные родители мои посчитали меня пропащим и облегчённо уж вздохнули.

Вот о том, как я блудил, и написал зарисовку под названием «Жив!» Игнатию Дмитриевичу она очень понравилась. И он сё взял в рукописный школьный журнал, где она и была напечатана с рисунками школьных же художников.

Много лет спустя я вспомнил об этой школьной зарисовке и на основании её написал рассказ «Васюткино озеро». Я и до сих пор не стыжусь этого рассказа. Он, по-моему, один из самых лучших моих ранних рассказов (я писал его третьим или четвёртым по счёту, после «Гражданского человека»).

В книжку «Мы из Игарки» я не попал и по чистой случайности. Материалов в книжку набралось тьма, и отбор был жесточайший. За фамилией В. Астафьев поставили один материал и посчитали — хватит, два, мол, жирно будет. А это был мой однофамилец, совсем из другой школы — Вася Астафьев. Он писал об Игарке и о том, что мечтает быть поэтом, а погиб как будто на войне...

Словом, вся эта творческая струя в школах, в городе пробудила в ребятах вкус и стремление к творчеству, и много вышло (и если б не война!) одарённых людей из игарских школ. И меня, разумеется, не минула эта струя.

Потом было не до творчества — это другой разговор, однако зёрна, зароненные в детскую душу, должны были когда-то прорасти.

Вот о чём, наверное, я забыл тебе рассказать. А это важно. Важно прежде всего для тех, кто думает, что писателем может быть каждый, и особенно для тех, кто учит детей. Мало их учить грамоте, совершенно этого недостаточно. А у нас начали об этом забывать.

Где ты сейчас? Всё ещё в Малеевке? А я скоро из деревни фью-ууть! Жаль! Прихватило меня опять тут. Валялся три дня. Сожрал чего-то. И взяла меня печень и брюха. Всё-таки не избежать мне Ессентуков. Надо будет ехать осенью. А пока в Латвию собираюсь и скорее заканчиваю «Последний поклон»,

чтобы сдать на обсуждение до отъезда.

Как твоё здоровьишко? Как все твои чады и домочадцы? Что-то уж я и стосковаться успел. Ну, до встречи в скором времени. Обнимаю тебя. Твой Виктор

30 июля 1967 г.
Быковка
(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

На обратном пути из Латвии звонил я тебе с аэродрома, но долго и громко мне объясняли, что ты в Литве и вернешься в августе.

В Латвии нас встречали хорошо и всё было славно, кроме мелочей и раздражительного поведения Вити Бокова, который окончательно помешался на своей персоне, и гениемания так захватила его, что он уже кажется шизофреником. Устали очень от приёмов, речей и выступлений, а ещё от пьянок.

Каждая встреча — это пьянка. Искупался раз и раз на рыбалке был, однако четырех щучонок добыл на спиннинг. Ну да там и слепой поймает — так много рыбы. Моей заслуги тут нет никакой. Даже неинтересно и ловить. Теперь вот дома.

Пермь встретила нас страшным ливнем. Отвесно стояла вода. Залила улицы так, что стояли трамваи, а люди бродили по улицам, аки по Енисею, и один мальчишка даже утонул, ибо строители коммунизма, торопясь приблизить светлое будущее, спешили и не закрыли крышку магистрального колодца. Ребенок резвился, бегал по воде и ухнул туды.

А сейчас я в Быковке. Маня дома. Дети собираются сдавать экзамены с 1 августа, и надо их пороть и говорить: «Ребята, занимайтесь! Ребята, занимайтесь!..» Они же рычат на неё так, будто она конвоир и не даёт им ходу в вольность, и вообще мешает жить им, как желательно, а желательно им жить, ни хрена не делая и сладко кушая.

В Быковке я с отцом. Он тяжело болеет. Износился в скитаниях, тюрьмах и на морях-окиянах. Сейчас у него всё больное. И надо бы сердиться на него за себя, за братьев и сестёр, раскиданных им по свету, а не могу. Жалко его. Не разори великая власть нашу семью, не утони мать, он бы жил себе, как все люди, и, наверное, семья была бы как семья и он человек как человек, а так что же! Не одного его в жизни запутали, изломали и под конец отвалили 45 рублей пенсии. Живи не тужи и благодари за то, что ещё не удавили совсем. В лес даже ходить не может, а он вечный таёжник, и это для него мука большая, хотя

он и скрывает.

А в лесу нынче грибов, ягод! Я вчера сгоряча сбегал, наловил на уху хариусков, а потом схватил корзину и прямо за полем в течение часа набил её грибами. Хотя бы вы скорее все приехали и застали бы лето со всеми его благостями! Ведь Литва и Латвия, хотя и богаты природой, но всё равно — не Россия, чужие они. Сидишь рыбачишь, а за спиной георгины цветут, ну какая же это природа!?

Не разладишься ли ты за поездку в Литву? Сможешь ли к нам-то приехать? Хорошо бы в начале августа. Я ведь на сентябрь хочу рвануть в Сибирь. Пожить в родной деревне — потрудиться и отдохнуть от семьи со всеми сё экзаменами, бедами и неурядицами. Забыться хочется хоть ненадолго. Да и в Енисейске побывал, ибо уцелил я сделать героя из «Пастуха и пастушки» родом из этого замершего городка, когда-то шумного, богатого и расположенного неподалёку от Казачинского порога, среди величественной, яростной природы. Думаю, что именно в таком месте должен был вырасти мой герой — застенчиво-скромный, но бесстрашный, яростный в иную минуту и робкий в проявлении чувств, но до последней жилки отдающийся ему и товариществу. Надо понюхать город, зайти в старое здание гимназии, где школа сейчас и где Учился мой герой и умудрился умереть гимназистиком, хотя нюхал только помещение гимназии, только помещение...

Ну вот, я уж и сочинять начал! Пиши или телеграфируй, когда сможешь приехать. Целую тебя и всех домочадцев.

Пребывающий в Быковке В. Астафьев

Август 1967 г.

Быковка

(Адресат не установлен)

Дорогой Ванюша!

Я действительно тут по Прибалтике катался, был на декаде русской культуры в Латвии. Много неповторимого и хорошего видел и слышал. Латыши меня много переводят и печатают, так что я у них был почти своим человеком, и это способствовало тому, что чувствовали мы себя с Марьей как дома в Латвии. Пьянки только замучили. Везде, даже в школах, латыши считают своим долгом угостить нашего брата, а уж в рыболовецком совхозе или в плодово-овощном, там вообще принимают по-царски.

Приехал усталый, забрался в деревню, да и писал. А тем временем сын и дочь — оба! — завалили экзамены в университет,

и куда их сейчас девать — ума не приложу. Работу найти трудно, учиться не будут. Дожили! Никому не нужны наши дети! Лоботрясничают пока, шатаются из угла в угол.

В деревне я, наконец-то, смог мало-мало восстановить сон и войти в норму. Надо бы какое-то время не писать и не читать, чтобы оправиться (был у меня тут приступ сильный и всего другого было), но уже не могу обходиться без дела — графоманом стал. Вот и пишу каждый день. Пишу больше для себя, развязавши полностью узелок и забыв о цензуре унутренней и унешней. Получается!

На сентябрь, если ничего не стрясётся, уеду в родную деревню Овсянку и проживу там месяц. Уеду на Родину и постараюсь не пить, а отдыхать и набираться впечатлений, надышаться воздухом Сибири. А потом поеду в Москву — редактировать сборник рассказов в «Советском писателе».

Что у тебя стряслось? Кто тебе дал по мозгам? Не обращай ты на это внимания. Разве одного тебя волтузят!? Будь темпераментней, горячей и злей, да и пиши на накале, и на всякие бутуки наплюй. Эка невидаль — бьют! Солженицына вон как бьют, а он борется, отстаивает своё право называться человеком, да ещё и нам в этом деле помогает.

Литература, брат, вступила в такое отношение с обществом, что тут без борьбы уж не обойтись, и морды в кровь скоро будут бить всем нам, но и мы кой-кого в бараний рог согнём, отрасли зубы-то! Писатели, особенно бывшие фронтовики, — народ упрямый, их не больно запугаешь...

В одном из ближайших номеров «Нового мира» будет мой новый рассказ (если цензура не зарежет!), рассказ обдерганный, но там столько человеческого горя осталось, что это и подумать многих заставит о нашем житье-бытье *[рассказ «Ясным ли днём». — Сост.]*. Познакомился я на съезде с Василем Быковым (читал его «Мёртвым не больно»). Поедом едят его, но он бывший фронтовик, этакий Ванька-взводный — это орешек крепкий, не вдруг такого срубаешь.

……*Окончание письма утрачено*

8 августа 1967 г.

(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

Я не так давно вернулся из Сибири — ездил на Родину, а попутно заворачивал в Новосибирск, где было последнее толковище по «Краже». Теперь я уже прочёл вёрстку и второй части, и вроде бы с меня свалилась гора (№ 8—9 «Сибирских

огней»).

Есть в повести издержки и утруски, но, в общем-то, всё обошлось по-божески и цензура по первой части сделала лишь два незначительных замечания.

В редакциях сейчас сидят такие цензоры, что сами сто очков любой цензуре вставят, да и сами авторы подцензурны у нутра своего, которое уже заранее знает, чего можно, а чего нельзя. Вышколили нас!

От Сибири у меня очень смутно в голове и тяжко на сердце. Куда ни приеду, везде разговоры про смерти, да всё страшные какие-то.

Лишь у братишек, в Ярцево — это 700 км ниже Красноярска — удалось порыбачить и побродить по настоящей, нетронутой ещё лапами строителей светлого будущего тайге. А залапали Сибирь страшно! Ещё после наводнения, что ли, так у меня ощущение такое, будто погром был на берегах родной реки.

Всё стало чужое, разношёрстное. Сибиряки порастворились среди разной шушеры, да и подразвратились тоже — пьянство несусветное, и вслед за ним и бездушие, само собой.

Но об этом больше не хочется. Дома я был недолго и побыстрей убрался в деревню, ибо все сроки сдачи сборника в «Советский писатель», где собираюсь издаваться первый раз, уже истекли. Хотел уж было садиться за стол, как случилась беда, околела любимая собака, которая была умней и добрей многих человеков. Сибирская лайка, добытая мною со страшным трудом, и вот на моих и на глазах сына и жены кобель медленно и мучительно умер. Ошибся он один раз, и как сапёр — сразу. Без нас тут его тётенька одна кормила в тарелке эмалированной и в неё же потом положила отравленную колбасу. Сын пошёл копать червей, а кобель мой ходил за ним как тень, и ребятишки не заметили, когда он под лавкой поел этой колбасы. Никогда и нигде он ничего не брал, а тут...

Наревелся я над его могилой. И неожиданная смерть эта помогла мне доделать рассказ «Синие сумерки», над которым бился я больше двух лет.

Жестокое всё же наше ремесло! Надо и страданья свои и людские вывёртывать наизнанку, а вывертывая, страдать ещё и ещё. По этой причине я очень мало пишу о войне. Как возьмусь, так меня всего и заколотит, и всё болеть начинает.

Погода в селе стоит жаркая. Всё засыхает, хотя каждый день заносит кругом, громы гремят, а над деревушкой нашей дыра голубая в небе никак не закрывается. Я каждый день стараюсь работать над сборником, но тянет писать что-нибудь новое, однако это уж потом, когда со старьём разделаюсь.

Литературных новостей никаких не знаю. «Новый мир» читаю. Василя Быкова читал. Напористо, сильно, с большим мужеством сделано, однако есть и схематизм в вещи. Она не прописана, Быков как бы торопится вывалить всё, что на душе, и нагромоздил очень много, а остановиться, поразмыслить не успел или, скорее всего, не сумел. Это беда всех его вещей. Немножко бы ему баклановского добавить психологизма, аналитичности его и неторопливой пристальности...

Но это уж мои претензии личные, а так вещь смелая, и не напрасно она взбудоражила хевру, которая утвердила в литературе генеральско-полковничью правду о войне и считает её единственно верной, а она всего лишь ширма с позолотой, которой надлежит скрыть правду окопную, солдатскую от которой и на лысых генеральских головах волосы бы зашевелились! Читал и Катаева. Ничего не понял. Это, по-моему, литература сноба и для снобов. Я такой не люблю, нерусская это писанина. Русская и в сложности своей проста и как бы открывает тебе всю глубину по мере твоего роста вместе с нею. Я читал .«Войну и мир» пять раз в жизни, и всякий раз она меня потягивала к каким-то новым пластам, скрытым в ней, хотя и в предыдущие чтения тоже вроде бы всё было понятно, всё доступно. А тут что-то на грани шизофрении и бреда.

А вы читали ль в № 1 «Севера» повесть Васи Белова «Привычное дело»? Вот эта вещь меня потрясла, хотя и проста она, как земля. Очень советую прочесть, а то её непременно замолчат в критике и ничего о ней не узнают люди. «Север»-то читает совсем мало народу.

Август весь я собираюсь провести в деревне, да и сентябрь тоже, если удастся. Хочу написать серию давно задуманных очерков, которые не написал в своё время, а зимою уж начну повесть о войне. Всё-таки она меня гнетёт и — как я от неё? — стучит в сердце. Герой там у меня умрёт, хотя это и не нравится нашим критикам. И на Корчагина походить не будет, хотя многим так хочется его воскресить.

Дался им этот Корчагин, ей-богу! Я уж и читать о нём не могу, так и кажется мне, когда я о нём читаю в тысячу который раз, что от китайского мракобесия мы совсем недалеко ушли.

На этой пессимистической строчке и заканчиваю письмо, желая Вам писучести. Здоровья и всего самого наилучшего. Обнимаю Вас. Ваш Виктор

20 августа 1967 г.
Быковка

(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Начинаются дни золотые... то есть начинается охота, а завтра день рождения у Мани, соврал — послезавтра! И надо промышлять что-нибудь на стол, вот я и собираюсь с други во леса с ночёвкой, а потом гулять будем, пить чего бог пошлёт, петь, плясать и материться от души. То-то праздник будет! Я всё в деревне, шибко жалею, что Вы не приехали. Погода нонче не погода, а изумленье какое-то. До сих пор народ купается в море и жара стоит, и рыба клюёт, рыбаки сказывают. Я сам-то не хожу, утерял вкус к рыбалке, хариус остался мелкий, ловить его неинтересно, а после хариусов никакая рыбалка не идёт: это всё равно, что после струга — топором.

Всё это время работал. Каждый день. Писал «Затеси», для себя писал. Много чего накопилось. И написал изрядно, да ещё больше писать осталось. Подоспело обсуждение «Последнего поклона». После обсуждения (в Союзе нашем) возникла потребность ещё кое-чего в рукописи поделать, и до поездки в Сибирь решил я эту работу провернуть, ибо в октябре на меня навалится текучка, надо будет читать вёрстку, редактировать сборник в «Совписе» и т.д.

Живем мы хорошо. Мария, отец и я — в деревне, ребята — в городе. Ирина ищет работу, а Андрей пытается сдавать экзамены по второму заходу, теперь уже на вечернее отделение. Хоть бы сдал! Самое главное, чтобы они не болтались, как шевяки в проруби. Читаю очень хорошую книжку о Лермонтове — Ивановой. Читаю и ахаю, уж такая неподходящая земля — Россия для гениев, так она их терзает, а они нет-нет, да и появляются на беду свою. Горькая книга, страшная судьба поэта.

Новостей никаких у нас нет, а грибов много и малины тоже было много, по она уже осыпалась. Ходил по грибы последнее время каждый день после обеда. Жду поездки в Сибирь. Во сне уже вижу, матушку. Через неделю, видно, и отправлюсь. Из Сибири напишу, что и как. А ты как со своим курсаком? У меня тоже чего-то пошаливает, но терплю. Не хворай — это самое главное.

Твой Виктор

28 августа 1967 г.

Пермь

(А.Н.Макарову)

Дорогой ты мой, болезный Александр Николаевич!

Что же это за напасть на тебя? Столько олухов и бездельников ходит по земле здоровых! И чем глупее, чем

непутней, тем могутней. Ещё одна несправедливость мудрейшей жизни! Письмо твоё привезли мне в деревню, а сегодня я уже дома и готовлюсь ехать в Сибирь. Сделаю кой-какие дела и адью!

Дома ждал меня «Новый мир» с рассказом моим. То-то радость мне! Рассказ при редактуре обхерили здорово, и без меня. Уже в гранках, они кой-чего шарпанули... Ообенно мне жалко описание станции Пихтовка и слова, которым я так радовался, когда их нашёл: «Наносило от этой станции старым пахотным миром и святым ладанным праздником». Но, видимо, потому и выкинули, что тоска по старому миру сказалась, а журнал этот и без того за такие мотивы клянут.

И всё равно радуюсь. Рассказ, в общем-то, есть, а в книге постараюсь дать его более полным, тем более что меня в журнале уверяли, будто публикация в «Новом мире» — это своего рода пропуск в цензуре.

Мечты сбываются! Мечтал когда-то издать книжку в Москве — издал, и не одну уже. Почему-то лелеял мечту напечататься в «Огоньке» — напечатался, и даже премию получил. Среди моих писателей-однокашников вроде бы в неполноценных ходишь, если не публиковался в «Новом мире», — и это осуществилось.

Что осталось? Издаться в «Роман-газете» и заканчивать карьеру, начинать рыбу удить и писать для себя. Не дожидаясь этого явления, всё время я писал «Затеси» для себя. Сделал штук десять, ещё надо писать 21. Думаю и в Сибири, в дождливую погоду, поковыряться. Хочется мне почитать эти штукенции тебе, ведь в них я полностью развязал себе пупок, и хотя преодолеть лит. условности и рабью привычку оглядываться полностью не преодолел ещё, однако попытку сделал.

Читал я Виктора Лихоносова две книжки. Повесть «Тоска-кручина» просто ошеломила меня и боевитостью, и мастерством, совершенно удивительным для молодого писателя. Очень большой и серьёзный художник растёт, если его не заломают или сам он себя не изнахратит пьянством, беспутной жизнью и писательским атаманством. Не один уже талантливый парень скопытился на моих глазах, а уж о тебе и говорить нечего, ты уж и вовсе навидался.

Ах, как жалко, что ты не приехал! Так много накопилось разговору. И погода, погода стояла до сего дня неслыханная. В море нашем народ купался до конца августа — такого ещё не бывало. И я купался несколько раз. Ходил я на охоту три раза. Одну ночь провёл в лесу, и когда друзья мои сморились от разговоров и впечатлений, я просто лежал у костра, слушал тихую ночь, смотрел на звёзды сквозь вершины елей и думал, думал и радовался, что так ещё много прекрасного в жизни... А ты

в это время в Москве был, в душной, пробензиненной. и с больным брюхом. Так бы мы у костерка того славно посидели!.. Ну что ж, ещё посидим! Не падай духом, главное (чуть не описался — падай брюхом, а и брюхом нельзя падать тебе!). Значит — ничем не падай.

Очень много жду от поездки в Сибирь. Я так давно мечтаю побыть там не проездом, побыть одному, посмотреть, подышать, матери крест на могилу наладить и послушать нашей ещё не совсем умершей речи.

Из Сибири я тебе напишу, а пока крепись, дорогой, и колись, коли велено, а я буду надеяться увидеть тебя в октябре жизнерадостным и здоровым, с той надеждой и кончаю своё размашистое письмо (клеток и линеек на бумаге нету — вот и разогнался!).

Привет Наталье Фёдоровне, Толе, Аннете и Юре ото всех наших и от меня, разумеется. Ирина поступает на работу, Андрей сдаёт по второму заходу, но уже получил две тройки, и, видимо, студента из него не получится. Но я уже устал с ним бороться и хочу отдохнуть от всего этого. Бегу в Сибирь и не жалко мне лаптей...

Целую тебя. Твой Виктор

9 сентября 1967 г.
Овсянка
(жене)
Дорогая Маня!

Я уже несколько дней в Овсянке. Здесь погода вроде бы сделалась, и я вчера первый раз сходил в лес с ружьём и удивил гробовозов, которые уверяли меня, что в лесу ничего нет и с ружьем тащиться незачем. А я принёс четырёх рябчиков! Всего видел шесть, но здесь рябчик, в отличие от уральского, доверчив и глуп.

Тайга изумительна! Очень отлична от уральской — редкая она здесь и оттого светлая, с травой и папоротником понизу. Горы и скалистые осыпи в лиственницах и соснах, кое-где случаются и ельники, но их мало, и пихты встречаются реденько. Речка Малая Слизнёвка очень быстрая, распадок её глубок, скалы аж в небо упираются, а пойма реки заросла смородинником и жимолостью, да дикой акацией и ольховником, и потому удить в ней почти невозможно.

Пользуясь погодой, все копают картошку. Мы с дядькой завтра тоже станем копать, а потом пойдём на Ману, через горы. На лодке подниматься невозможно — на двадцать вёрст от устья стоит сплавной лес.

Получил вёрстку. Я её вычитал и шлю тебе. Журнала «Детская литература» здесь нет, а ты или найди адрес на конверте, или узнай в Союзе и гранки перешли дальше.

Жаль, что ты не написала ни слова — это уже ни к чему. Поступил ли Андрей? Устроилась ли Иринка? Все наши кланяются тебе и ребятам. Целую, Виктор

12 сентября 1967 г.
Овсянка
(А.Н.Макарову)
Дорогой Александр Николаевич!

Пишу тебе из родного села, из самой что ни на есть Сибири. Прилетел 2-го, а сегодня уже 12-е. Дни пролетели совершенно незаметно. В городе навестил приятелей, затем в Союзе застрял среди местных писателей и после уж в деревню отправился. Здесь началась гулянка, но быстро заглохла, так как я её не особенно поддерживал, да и картошку всем копать надобно. Лето стояло здесь прескверное, и лишь сейчас наступило погодье. Говорят, что я привёз его с Урала. Копали картошку с дядькой и роднёй. Один раз ходил я на охоту по родным лесам. И леса, и горы здесь отличны от уральских. Горы зело высоки, и ходить по ним тяжеловато, и леса редки, понизу травой земля взявшаяся — папоротником, борцом, козлобородником, костяникой. И очень красиво в лесах, умиротворённо как-то, и дорожки, как в парках, чисты, травянисты. Речки, где и охотиться приходится, текут в таких высоченных распадках, что голову надо задирать, чтобы вершины увидать. Распадки широки, но заросшие дурниной шибко, и смородиннику много, прямо как в саду.

Был я в местной школе, приглашали. Ну, школа, как и полагается строителям коммунизма, сделана хорошо, а внутрях даже и комфортабельно. Чисто в ней, уютно, и даже кабинеты оборудованные есть. Приняли меня хорошо, с родственной гордостью. Ничего не пишу и не читаю. Чрезвычайно рад ному. Всё-то мне надоело, ни на что глаза не глядели бы, кроме леса и воды да неба светлого.

Как твоё здоровье? Часто думаю о тебе, вспоминаю и хочу, чтобы оставили тебя эти хвори злосчастные. Твой Виктор

20 сентября 1967 г.
Овсянка
(А.М.Борщаговскому)
Дорогой Александр Михайлович!

Письмо пишу я Вам уже домой, ибо пока Ваше письмо нашло меня. Вы уж из Коктебеля, небось, убрались. А пишу из родного

села Овсянки, что было во глубине сибирских руд, а теперь оказалось рядом со стройкой коммунизьма, которая имеет свойство шуметь и засорять всё вокруг.

С самого этого грустного съезда что-то навалилось на меня — хоть в петлю лезь. Наверное, с непривычки, а может, оттого, что по наивности своей ещё чего-то ждал, надеялся... Увы, мне стало тогда понятно, что ничего не будет. Так во лжи и прекраснодушии и пребывать нам до скончания.

Худо было мне. Ничего я не писал, ничего делать не мог. Съездил в Латвию — ещё хуже стало, ибо увидел, как мы, русские, отстали даже от латышей в почитании человеческого достоинства, как мы плохо живём, как низменны в помыслах своих и житейских бурях.

Худо было мне, а от меня худо остальным. Оба два дитя моих сдавали экзамены в университет, а если точнее, так их завалили, лишь только потому, что они дети писателя. Обывательская ненависть к нам всё возрастает оттого, что мы не ходим на работу по гудку и, как им кажется, живём независимо и никому не подчиняемся, тогда как они. обыватели, себя пупами земли считают. Вот и бьют в зубы сначала деток, а потом, глядишь, и нас на фонарях повесят, ибо: «Накорми чернь хлебами, и она побьёт камнями пророков своих».

Убрался я в Сибирь. Убежал почти. Дома было невыносимо. Я даже начал больную и добрую свою жёнушку обижать. Нет никого под боком-то, кроме жены, а она ответчик за всё.

В Сибири ничего я не делаю, кроме как одно мероприятие провёл — приглашали в родную школу. Всё было по-деревенски наивно и хорошо. Такие почести мне воздавали, что я чуть было сам себе не понравился! А потом я с дядькой и сродным братишкой ушёл на реку нашу, много раз мною описанную. Мы купили лодку в деревне Сосновка, которую я в «Перевале» Шипчихой обозвал, и оттуда спускались. Стреляли, дивились. Красота такая, что дух захватывает и никаких слов не хватает, чтобы эту мощную красоту описать.

Попутно с Вашим письмом пришло приглашение на русскую декаду в Москве и на пленум, но я уж не поеду. Маленько излечился Сибирью, чуть обрёл душевное равновесие и не стоит его тратить на говорильню.

Спасибо Вам за добрые слова о рассказе. Вы, как всегда, добры ко мне и, видимо, почувствовали, что что-то со мной неладно, и попытались поддержать. Это единственное, что и осталось нам — поддерживать друг друга в нашем тяжёлом и, кажется, совсем бесполезном деле.

В октябре буду в Москве редактировать сборник рассказов —

так мне обещали. Позвоню Вам. Ваш Виктор

21 сентября 1967 г.
Овсянка
(А.Н.Макарову)
Дорогой Александр Николаевич!

Здесь, в сибирской деревне, нашло меня письмо обо всех событиях, происшедших с тобой (Маня переслала мне письмо). Не могу себе места найти, всё думаю о тебе, что же это за напасти такие? Знаю, что никакие утешительные слова не облегчат болезней и боли, сам много болел и валялся по больничным койкам. Своя боль — больше всех. Но всё же пишу тебе, чтобы хоть как-то поддержать тебя в борьбе с недугом и, может, хоть на минуту отвлечь и подумать о чём-то другом, кроме болезни.

Я ходил в тайгу. Был в посёлке Сосновка. Дома состарились, посёлок захирел, пустует, а природа стоит на месте, и это очень даже удивительно по сравнению со скоротечностью человеческой жизни. Река Мана изумительной красоты. Дух захватывает, и никаких слов нет, чтобы таковую красоту описать. С дядькой и сродным братишкой сплавали на лодке, и я стрелял рябчиков. Десятка полтора ухлопал птичек, а рыбы не добыл. Рыбы осталось на реке мало, всё расшуровано тракторами и сплавом. Потом шли через наши деревенские когда-то заимки, а ныне там пустуют избы и не убранные хлеба чьего-то подсобного хозяйства. Запустение, одичание и рядом народище, электролинии на Красноярскую ГЭС. Какое-то наслоение одиннадцатого и двадцатого века — всё перепуталось.

Прислали мне вызов в Москву на пленум, но я не поеду, немножко обрёл душевный покой, так не хочется его расходовать попусту, да и нездоровится тоже. Собираюсь уже домой и дня через три улечу, видно. В октябре, наверное, буду в Москве и надеюсь увидеть тебя уже дома, в уже подходящем состоянии.

Береги себя, дорогой! Бодрись, если можешь! Крепко тебя целую и желаю здоровья, которое, имея, мы не ценим, а потом вот... Твой Виктор

13 ноября 1967 г.
(А.М.Борщаговскому)
Дорогой А.М.!

Днями получил Ваше письмо, а сам в это время сидел в дыму и пламени, до того запурхался в делах. Ввязался я по глупости в одну поездку с бригадой журнала «Молодая гвардия» в Краснодар, по Кубани и т. д. Я долго там выдержать не мог и удрал, бросивши и бригаду, и «жемчужный край», как его

именуют сами кубанцы.

А все же полезно съездил. Больше ценить начинаешь нашу бедную, затурканную Россию, когда побываешь на такой вот жирной, плоской и избалованной земле. По сравнению с сорок пятым годом ничего там не произошло, в смысле морали и духовной жизни. Зажравшийся, недружелюбный и вороватый народишко живёт там, у которого хамство и самодовольство в крови, а хохлацкая тупость смешалась с российской и кавказской ограниченностью. Тарапунька и Штепсель вполне заменят им все книги, музыку и прочие духовные ценности. И писатели живут там сытые, здоровенные, прилично одетые, успешно промышляющие деньгу и готовые горло перервать тому, кто не делает того же и как бы белой вороной им представляется.

С Витей Лихоносовым большинство из них не здоровается и местное издательство его не издаёт, как неподходящего по идейности. Я Вите Лихоносову говорил, чтобы он немедленно покинул эту землю, ибо тут или приспособленцем сделаешься (чего и требуется), или озлишься, чего не надо делать, ибо злость хороша в писательстве, пока её впрягать умеешь. А Витя парень очень больной и уехать ему не так-то просто.

Из Краснодара я подался в Воронеж, где не бывал никогда и хорошо пожил почти три дня у Юры Гончарова. Есть у него своя машина. Поездили, посмотрели. Юра воевал под Воронежем, повозил меня по местам боев. И то. что я там увидел, опять хлестануло меня по голове и сердцу. На местах боёв до се валяются косточки русские и летают тучи воронья. Это в то время, когда мы воздвигаем помпезные памятники на Малаховом кургане, Поклонной горе и прочих местах! Пионерчики-следопыты ходят по следам героев, а захоронить останки руки не доходят и денег на это нетути.

Ах, господи, какое у нас постоянство в равнодушии к тем, кто отдаёт Родине и народу всё и какое заботливое кокетное отношение к тем, кто языком болтает, крутится на глазу и шкоду всякую делает, кто вошью ползает по больному телу и без того искусанного народа — тем все и заботы, и блага.

Был я в госпитале. Там сейчас школа (это в Краснодаре), и ударило меня в голову запахом госпиталя так, что помутился свет белый. Оказывается, в этот день ставили ребятишкам уколы. Буду, видимо, делать со временем фильм по «Звездопаду», так с этого и начну его. с посещения школы и запаха эфира. И вижу уж, как это делать надо.

После Воронежа закатился я в Москву. И тут в «Советском писателе» меня схватили за горло — давай, давай! То есть гони быстро редактуру сборника. Посидели мы денёк с редактором, и я

скорее домой, а дома меня ждала вёрстка двух повестей, которые издательство «Молодая гвардия» издаёт уже четвёртый год. Вёрстку требуют вернуть через три дня. иначе «опоздаем», «выбьемся», «не успеем» и т.п. Вот и получился у меня праздник аховый. Штудировал вёрстку, потом сборник. Всё в спешке, всё в гоньбе, и глаз мой единственный начал краснеть, струя в него пошла — с утра ещё смотрит, а к вечеру уж только моргает, и я его кулаком тру. Очки подобрать не умею, а те, что мне подбирали, не помогают, а лишь вредят и мешают.

Но сегодня я сборник отправлю и попытаюсь убраться в деревню — отдохнуть маленько и пописать. Давно не писал, а хочется. Организованности мне не хватает страшно. В деревню попасть тоже сложно. У нас до сих пор стоит осень. Нет снега и мороза. Лёд не встал, пароходы не ходят, и так вот всё болтается между осенью и зимой. Но в крайности, уйду через горы, пешком — это 15 вёрст. Встряхнусь маленько. Устал уж очень от разных дел и переживаний.

Ребята так ладом и не определились. Дочка поступила работать в библиотеку на раздачу книг, а сын болтается. А тут ещё посадили в тюрьму того парня, который спас из воды жену мою. Нахулиганил. Надо было его выручать. И я месяц потратил на это дело, а при моём характере просить, ходить по инстанциям, объясняться, бить челом — это страшное испытание.

Словом, как-то жизнь идёт и разменивается по пустякам, а надо бы писать и хочется писать, а писать-то и некогда, и получается так, что писательство, труд наш. вроде бы и второстепенный. Хорошая у меня жена и семья не самая худая, но если бы всё повторилось сначала и я бы знал, что быть мне литератором, ни за чтобы не женился, ибо у писателя должна быть только одна баба — литература.

Спасибо Вам за добрые слова о моём рассказе. Как я жалею, что видели Вы его очень неполным во всех смыслах. Может, в книжке пройдёт? Я оставил так, как хотелось. Но цензура, наверное, не пустит. Книгу Васи Белова в «Советском писателе» цензура задержала и. говорят, крепко задержала.

Получил письмо от Григория Бакланова с добрыми словами об «Ясным ли днём». Спасибо ему. Добрый отзыв нашего брата окопника особенно дорог, ибо что-то родственное испытываю я ко всем фронтовикам-окопникам, которых остаётся всё меньше и меньше. Он же написал мне, что «Кражу» издают в Болгарии. Я этого не знал. Привет ему передайте.

Поклон вашей супруге и дочери.

Ваш Виктор

18 ноября 1967 г.
Быковка
(А.Н.Макарову)

Дорогой мой Александр Николаевич!

Пришла открытка из Софии от вас с Натальей Фёдоровной! Как ты далеко! Ведь всякая заграница для меня — это уже конец света, где-то за турками, арабами и за Ньюфаундлендом!

А я пишу тебе из Быковки. Сегодня ночью выпал первый снег и сразу — по колено. Сырой, пухлый. Собака валяется в нём, и вид у неё такой, будто она рехнулась.

А до Быковки я в разных палестинах побывал! Леший меня дёрнул ввязаться в поездку с бригадой журнала «Молодая гвардия» на Кубань. Думал, места-то памятные, госпиталь, воспоминания и т. д. Ничего путного из этого не получилось. Кубанская земля жирная, вся обработанная. Какая-то искусственно-ручная. А народ там сытый, жирный даже, довольный собою и жратвой своею, а больше его ничто не интересует — литература какая-то там! В сорок пятом году в станице Васюринской, когда мы приходили в клуб, кубанские казаки и казачки, занявши скамейки, сидели и семечки на пол лузгали. А когда им говорили, чтоб они место костыльникам уступили, они орали: «Ишь воно, ранетый, так хай на топчану лежить, а до клуба нэ ходыть!» Дрались мы с ними, костыли в ход пускали, а они ножи и дреколье.

Ничего с тех пор не изменилось, народ меняется медленно. И так ли любы стали мне и ещё больше дороги наши бабочки — пьющие, добрые, бедные и какие-то застенчивые в проявлении чувств. Как дома — живу я середь них.

Потом я вернулся в Москву, звонил вашим, но не ответили, видно, дома не было. А когда вперёд летел, то разговаривал с Юрой, и он меня успокоил в отношении тебя.

Дома меня ждала вёрстка повести из «Молодой гвардии» (лучше поздно, чем никогда!) и редактура сборника из «Совписа». Вёрстку требовали вернуть в три дня, редактуру сделать за неделю. У нас ведь всё так — годами издают, но автора торопят.

Я, конечно, праздник побоку и за работу. В срок всё равно не уложиться, но работал так много, что заболела голова и единственный глаз начал отказывать — конъюнктивит начался. Старуха моя испугалась ещё больше меня (они, бедные, видимо, больше нас понимают нас) и вытолкала меня в деревню, а сама осталась зубы лечить.

И вот я в Быковке. До вчерашнею дня, то есть до 17 ноября, было тепло, сухо, и река не встала до сих пор. Лето и осень удивительные были, не перед погибелью ли?! Народишко так чего

только не говорит! Любая проруха в природе и в народе истолковывается как «знамение»! Космонавтика и кудесничество, шарлатанство и ворожба, лопата и геропланы — всё вместе! Всё навалом, всё в куче!

И вот, значится, ударился я в рыбалку, а харюз-то под лёд убрался, и я его оттедова должон достать! Достал сначала 9 щук. а вчера 11 щук, а сегодня пошёл и первым делом проступился левой ногой, начерпал в сапог, да с тем и возвернулся. Не бывает худа без добра — не собрался бы ещё несколько дней тебе написать. Завтра уезжает от меня Алёша (тот самый, глухонемой сродный братишка, которого я имел честь описывать в рассказах и повести), явился в отпуск и всё время меня ругает за неналаженные рамы и прочее. Говорит: «Витя — голова, во! А хозяин тьфу!» Я говорю: «А то ты захотел, чтоб и голова, и хозяин, так не бывает, да и голова, говорю, крученевая, мозги в ей хвюрер своротил набок, вот и получился от этого писатель, а то б коренной человек был, рамы бы наладил, трубу отремонтировал и бабе своей особо не досаждал бы». Смотрит братан рот открывши, по губам что поймёт, а что нет, а я с ним толкую да толкую.

Собирался в это время писать «Пастушку», да вот голова-то барахлит — рыбалить буду, потом, глядишь, и налажусь.

А как ты там, в булгарах-то? Тоскливо, поди? Но лишь бы выздоровел, на ноги встал да ко мне в Бы ковку бы добрался — здесь бы отошёл душою. Больно хорошо! Тихо, снежно и ни единой души кругом. Да, событие! Провели ведь электричество нам к пятидесятилетию. Так что мы теперя цивилизованные!

Вот на этом важнеющем известии я и заканчиваю своё послание. Пишу домой, а там ребята или переправят тебе письмо, или ты домой приедешь и прочтёте.

Желаю тебе самого главного — скорее поправиться.

Целую крепко. Твой Виктор

23 ноября 1967 г.
Быковка
(А.Н.Макарову)

Дорогой Александр Николаевич!

Девятнадцатого уехал от меня, из деревни, братишка Алёша, я отправил с ним тебе письмо, а сегодня, 23-го, снова пишу, чтобы поделиться с тобой моей большой радостью. Сразу же после отъезда братишки, пользуясь тишиной, одиночеством и блаженством покоя, сел я писать «Пастуха и пастушку», попробовал написать вступление и в течение трёх дней начерно написал повесть. Не спал, конечно, не ел почти, так, что-то жевал

на ходу, а больше чаёк пил (готовить-то некому!) и всё писал, писал. Сегодня я поставил точку на черновом варианте, и захотелось мне с кем-то поговорить, а с кем же я могу говорить, как не с тобою, моим добрым другом и искренним почитателем!

Сложное у меня сейчас чувство — боюсь перечитывать, что написал. Много сомнений в душе, что-то не так вышло, как задумывалось, что-то тянет на слезу и сентиментальность повесть-то, а настрой её беспощадно-суровый. Это должен быть вопль, плач о погубленной любви целого поколения, и писать об этом посредственно, даже хорошо нельзя, только очень хорошо, только отлично, иначе не стоит и браться. Я столько лет готовился к этому, боялся повести и сейчас боюсь, перечитавши её, разочарования боюсь. Недоделки, пропуски, корявости, неточности меня не пугают — у меня будет время пощупать каждую строчку, переписать, если потребуется и десять, и двадцать раз, но получилось ли главное? Звук, настрой, вроде бы остался — это начало. Но что-то мало изнутра, много слов. Тут беда ещё в том, что он и она всю ночь вдвоём в грехе, на грани отчаяния, истерики и потопившего их чувства. А опыт общения с женщинами у меня слишком мизерный, мало я интимно общался с ними в силу своей застенчивости, миру не заметной. И вот отсутствие такого опыта почувствовалось, когда я писал, не из чего было выбирать и отбирать, а придумывать в этих делах ничего нельзя и невозможно. Ну что ж, почитаю старых грешников — Бунина, Цвейга, Толстого — поучусь ещё у них, авось помогут старику, как помогали уж сотням, если не тысячам таких, как я. Повесть (я дал ей подзаголовок: «Современная пастораль») вышла, как я и предполагал, чуть побольше четырёх листов — при доделке вытянет на пять, у меня все вещи потом дописываются, ибо черновики я пишу быстро, строю каркас, а потом уж дорубаю, доделываю и дописываю. Вот так, дорогой мой. Пишу я тебе и не знаю, как ты? Где? Каково твоё здоровье? А шибко мне знать это хочется.

Завтра я поеду домой. Все харчи кончились, и главное, искурил сигареты — смолил, когда писал, как пароход. Река ещё не встала, как попадать на ту сторону буду — одному богу известно. Погода всё ещё квёлая. Идёт и идёт сырой снег, по колено уж выпал, а мороза всё нет и зимы настоящей нет. Лёд па Быковке съело мокрым илом, и теперь рыбачить никак стало невозможно, ни по-летнему, ни по-зимнему, а последний раз я всё же вытащил из-подо льда целых два десятка хариусов.

На охоту бродил тут, чтобы дать голове маленький роздых, убил двух белок. Белки нынче много у нас, но собаки у меня доброй нет, а Спирька мой только по блинкам и по хлебу с

маслом охотник.

Глаз у меня опять разболелся — веко распухло и глядело всё в красных жилках и ровно бы песок в нём. Попробую сегодня принять снотворное и дать глазу отдых. Всего меня ещё трясёт. Вот сейчас голову горячей водой помыл и полотенцем мокрым потёрся, так вроде бы полегче стало. Какая тяжёлая, сжигающая нас, как на огне, наша работа! Да мало кто знает об этом — видят лишь, когда шляемся, пьём и Ваньку валяем!

Каждодневно думающий о тебе, пребывающий в Быковке твой Виктор

1968 год

20 января 1968

(В.В.Смирновой)

Дорогая Вера Васильевна!

Я получил Ваше доброе и славное письмо и в такое время, когда могу, не торопясь, написать Вам. Дело в том, что я нахожусь в больнице. Я был на похоронах Александра Николаевича Макарова, и так они на меня подействовали, что вернулся домой совершенно разбитым и месяц перемогался, и потом пришлось всё же пойти в больницу. Страшноватого-то ничего нет, слава богу, но подлечиться требовалось.

Смерть Александра Николаевича для меня, да и для всей нашей литературы, считаю, большая потеря. А я так вроде бы второй раз осиротел. Непродолжительная, но очень крепкая дружба связывала меня с Александром Николаевичем. Многому он меня незаметно научил за это время, во многом помог разобраться, не стараясь как бы этого и делать вовсе, от многого наносного, идущего от периферийности мышления помог избавиться, и во многом, конечно же, осложнил мою писательскую жизнь. Сделалась она гораздо труднее, но это как раз те трудности, которые создавал Чаадаев Пушкину и без которых Пушкин не стал бы тем, что он есть (я, конечно, без аналогий, а просто вспомнил, как пример).

Мне очень легко было общаться с Александром Николаевичем. И дело не только в его деликатнейшем, милейшем характере, в какой-то застенчиво-мужицкой тактичности, а ещё и в том, что, послужив под началом литгенералов, всё изведав и испытав, и осмыслив в нашей суетной, порой визгливой литературной жизни, он сумел подняться над всею литературной мишурой, мнимостью борьбы, больным и недалёким вождизмом, так поражающим бывших полковников и майоров, затесавшихся в литературу и оставшихся, по существу, всё теми же

полуграмотными офицерами с окопными или заокопными замашками ротных командиров. Поднявшись над этим, он относился ко всему этому, что меня порой ранило, возмущало, с каким-то спокойным и снисходительным юмором. «Ну что Вы, Виктор Петрович, — бывало, скажет, — стоит ли на это обращать внимание? Вы пишите, голубчик, и на такие пустяки не расходуйте силы и нервы, у Вас они не больно железные. Я вот...» И расскажет о чём-нибудь, что отняло у него годы, силы. А то, бывало, грустно помолчит и погладит меня по плечу, по голове и вздохнёт: «Ах, дорогой вы мой!» и прочтёт что-нибудь к случаю или смешное, или грустное.

Памяти его я постоянно поражался, как поражался и работоспособности. Ведь обо мне и о Галине Николаевой он писал статьи уже смертельно больным.

К тому же и дома у него была не очень, если не сказать больше, творческая обстановка.

Очень, очень я жалею, что свела нас судьба с Александром Николаевичем поздновато и на малое время. Я и сейчас ещё не могу прийти в себя. Наталья Фёдоровна *[вдова А. Н. Макарова. — Сост.]* хлопочет об издании написанного Александром Николаевичем и просит, чтобы я что-нибудь написал о нём, ведь у меня много писем его, умных, всегда почти шутливых, а за шутками столько грусти! Но я никак не могу, да и не знаю, как приняться за эту работу. Во-первых, мне не приходилось делать такое, а во-вторых, наверное, и тяжело очень будет. Ведь это как бы вдругорядь хоронить дорогого, незабвенного друга.

Я вот и сейчас пишу Вам о нём, а у меня в горле слёзы стоят, и дрожу я весь. Писанина моя нынче как-то не очень идёт. Много я писал и печатал в прошлые годы. Видно, выдохся и устал. Написал, правда, начерно небольшую повесть «Пастух и пастушка» с подзаголовком «Современная пастораль», задуманную ещё в 54-м. Но приостановилось пока всё. Повесть очень сложная. Повесть о войне и любви. О том, как раздавила война накоротке вспыхнувшую любовь и уничтожила романтичного, чистого и, следовательно, не подходящего для наших времён человека.

Как дальше пойдёт, не знаю. Должны нынче выйти «Кража» в «Молодой гвардии» и сборник рассказов в «Советском писателе». Я их Вам пришлю.

А в Перми моё постоянное местожительство. Раньше я жил за Пермью, но после Высших литературных курсов перебрался сюда. Не скажу, что Пермь самое подходящее место для пишущего человека, но город более или менее культурный среди российских городов и спокойней городов молодых — а впрочем,

провинция, конечно, со всеми вытекающими плюсами и минусами.

Но в Москве я и вовсе жить бы не смог — меня разодрала бы суета и склочность литературной жизни. Я иной раз побываю там неделю и столько наслушаюсь, что неделю, а то и месяц отплёвываться нужно. Бог уж с ней, со столицей! Не опускаться если душевно, так можно и у нас жить и писать, оно даже и лучше — к природе ближе и к народишку нашему послушному, разгульному и затурканному.

У меня в деревне есть свой домишко, так большую часть времени живу я со своей дорогой супружницей там. А дети уж выросли. Дочери двадцать, сыну скоро восемнадцать. И на нас уж старость надвигается!

Всего Вам доброго, Вера Васильевна. Возможного здоровья, работоспособности и душевного покоя. Всегда Ваш В. Астафьев

Май 1968 г.
Быковка
(А.М.Борщаговскому)
Дорогой Александр Михайлович!

Долго я Вам не писал и сейчас пишу уже на Кузьминское, памятуя, что Вы собирались туда после поездки в Данию. А судя по статье в «Литературке», Вы туда уже съездили. Пишу я из деревни тоже.

Мы с женой садим картошку, лук и прочую огородину. Никак не можем отвыкнуть от земли своей и, хотя эту самую овощь легче купить, чем обиходить, — мы всё же садим каждый год и радуемся, если что-то вырастает, той здоровой радостью, которую нынешние советские писатели клеймят и проклинают, изобличают и умничают, а сами, конечно же, картошку едят и недовольны, если она дороговата и неразвариста. Мне всё кажется, что по отношению к сельхоз. труду у нас произошло какое-то умственное надругательство, и никто этого никак понять не желает.

Я вот помню, моя бабка-сибирячка, Екатерина Петровна, поизбалованная, как и все сибиряки, жирной, вольной и родливой землёй, в 30-е годы категорически отказывалась класть навоз в землю, и вся деревня наша против этого новшества вставала на дыбы: «Да чтобы картошку, да из говна вынутую ись?! Не-е, я её лучше садить не буду, мать её и перемать!..» Навоз наши весь отдавали китайцам, которые жили колонией на окраине Красноярска, и потом у них же на базаре покупали крупную раннюю редиску, великолепные красные помидоры и толковали меж собой: «Слова эти бляди-хунхузы знают, и от того у них

растёт всё как дурнина...» А насчёт навоза нашего же, деревенского, и веры никто не давал.

Так вот и советские писатели, и журналисты многие, и многие советские баре всё ещё брезгуют тем, что крестьяне вынуждены копаться в говне, кормить их, и они им придумывают труд другой, более разуму их удобный и красивый. А раз придумывается труд, надо и людей придумывать, и не случайно такое яростное, просто оголтелое сопротивление встретила Матрёна солженицынская. Её, этой живой, доподлинной бабы, испугались хуже, чем чернозёму, потому что она сразу выместила из русской избы и деревенской литературы мильёны жизнерадостных колхозниц, сбросила с книжных полок тыщи томов, состряпанных и сляпанных литературными деятелями, которые жили и живут по нехитрому правилу «что изволите?» Эти ловчилы отлично понимают, что появись такие вот живые Матрёны, и они из-за них тут же лишатся куска хлеба с маслом, не говоря уже о круглогодовых путёвках в дома творчества.

Моя деревня Быковка состоит из десяти домов, и здесь всё есть, как во всяком русском селе: одна дура, одна припадочная, одна блядь, один современный куркуль. Всего по одному, а вот Матрён наберётся десяток, потому что в эти десять быковских старых-престарых изб не вернулось с войны 16 мужиков. А кто же возьмёт замуж таких изработанных, некрасивых, неразвитых баб? Вот они и ворочают землю. Одни таскают вязанки сена из лесу тайком, а потом наварят браги, да как напьются, да как запоют хриплыми голосами про Марусю, которая отравилась «от проклятой, от любви», так ажно сердце кровью и обливается, и хочется обнять их, этих баб и к сердцу прижать да нареветься вместе с ними по-бабьи громко, с припевом, и обласкать их, а за одно и себя тоже...

Ездил ненадолго в Тюмень и день Победы пробыл там, а вернувшись, нашёл дома приятную весть. Из «Нового мира» сообщили, что люди сего журнала склонны взять мою повесть. Дело только за «небольшим», то есть за Твардовским, если он даст добро, можно приступать к редактуре. Редактуру согласилась делать Берзер. Я её не знаю как редактора, но статьи её, по-моему, когда-то читал.

В связи с такой новостью меня сразу охватил трудовой зуд, и я начал гвоздить подборку лирических рассказов, давно задуманную, выношенную, но из-за того, что я расклеился и вышел из рабочей колеи, до сих пор не написанную. Тут уж очень упорно начали поносить лирическую прозу, и некоторые готовы стали утверждать, что был бы смысл, а всё остальное ерунда, а прозаики, преимущественно полковники и подполковники в

отставке, всё жмут на героизацию, в открытую, с трибун съезда, проповедуя мужество, потому что они главной книгой в жизни почитают «Устав полевой службы», а из неё пункты такие, как: «Действия старшего начальника обсуждению не подлежат», «Смирно!», «Кругом!», «Прекратите разговоры!» Кто такой Ницше и почему его фашисты в боги взяли, наши подполковники в литературе понять не умеют. Не хватает ихого ума на это. А уж говорить им о том, что склонность русских писателей к лирической прозе, а русских читателей — к пониманию таковой есть национальная особенность, особенность народа, который нескладных песен не пел, имеет почти весь фольклор ладный и складный, да и сама природа с её зримыми сменами времён года, все её травушки-муравушки, цветочки-цветики, листики-листочки, то расцветание, то умирание на глазах русского человека, делают его душу мягкосердной, протяжно-жалостливой. И недаром исконно русские поэты, выходцы из народа, отличались таким стихотворным ладом, такой душевностью, что народ наш пел и принимал их без подписки, принимал, как себя самого. И не знает до се наш простой люд таких поэтов, как Маяковский и ему подобные, хотя они и со «смыслом», а вот Есенина знает.

Наши молодые прозаики, слава богу, небольшая, но бойкая часть их, под шумок суют такие изделия, что в них сплошные афоризмы, переложенные из Ларошфуко или ещё из кого, сплошные эпиграфы и параграфы, подзаголовки занимают уже целые страницы, любовные записки, справки и накладные, целиком переписанные. И всё это для того, чтобы изловчиться и прикрыть отсутствие лирического настроя души, то есть прикрыть отсутствие самого себя, ибо в настрое вещи или в «звуке», как говорил Бунин, как раз и можно только проявить себя, свои чувства, опять же душу, потому что чувства без души не живут, как птицы без гнезда не выводятся, есть, правда, такие, как голубь и кукушка, но они иждивенцы в природе, по-прежнему тунеядцы и дармоеды.

Жуть меня берёт, как я подумаю, что скоро помрут Паустовский, Леонов, Никулин, Шкловский, а что взамен идёт?

Но это уж тема разговора на целый вечер. Письмо и так длинное получилось. Ну да Вы в деревне. Я люблю читать длинные письма, особенно Ваши. Всегда радуюсь им. Всего Вам хорошего. Главное, рабочего настроения. И бодрости. Крепко жму трудовую.

Виктор

Июнь 1968 г.

(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

Давно уже получил письмо от Вас, и нынче вот и книжку рассказов, но никак не мог собраться с силами написать Вам. Сначала все мои писания прервала поездка в Югославию. Был первый раз за рубежом, и, может, оттого, что был в стране доброжелательной, неплохо живущей, почувствовал себя впервые настоящим человеком, причастным к Великому народу и Великой стране, человеком, которым гордятся и которому есть чем гордиться. Как жаль, что за утверждением собственного достоинства и достоинства своего народа стало необходимо ездить за границу, ибо громкие слова, что говорят нам всечасно равнодушным голосом, перестали уже действовать в своём доме и если действуют, то даже наоборот. Словом, поездка была прекрасной. Впечатлений масса, и самых хороших.

Но начиналась поездка трудно, в беготне и нервотрепке, ибо наши доморощенные деятели задержали мои документы в Перми. Оттого я и не повидался с Вами, а звонить не люблю. Надеялся сделать это на обратном пути, но не вышло — очень торопился. Надо было проводить сына в армию.

Приехал 1 мая вечером домой (в пути мне исполнилось 44), а 5-го проводили Андрюшку. Провожали тягостно, особенно мать. Она слегла сразу с тяжёлым сердечным приступом, а когда встала чуток на ноги, я увёз её в деревню. Там копались в огороде, садили кое-чего, а сегодня вернулись — и письмо от сына: отправлен в Германию. Я, как старый солдат, всё время держался, а вот сегодня навалилась какая-то дремучая тяжесть и весь я как разбитый. И понимаю всё, а поделать с собой ничего не могу — печально, смурно на душе. Писать о новобранцах всё-таки легче, чем провожать их. Да ещё в Германию, будто эта Германия и без того не сидит в моих печёнках. А тут — не парадокс ли! Письмо из Германии — в Берлине собираются издавать «Кражу». Полное содружество семьи Астафьевых с немцами! Один будет охранять их мир и покой, а другой чтением развлекать! Если бы мне сказали об этом в 44-м году — я бы, наверное, коньки отбросил бы от потрясения. А сейчас вот ничего — живём! Ох, всё же какая извилистая штука — жизнь!

Повесть свою «Пастух и пастушка», после третьего захода, я отложил до осени. Пока не я её, а она меня одолевает, потому пусть полежит, может быть, мы найдём общий язык. Да и могу я себе нынче наконец-то позволить не спешить. Если всё будет на горизонте прилично и цензура вовсе не освирепеет, у меня выйдут в нонешнем году четыре книжки и я буду долгое время, при наших скромных запросах, с хлебом и солью. А это такое

счастье! Такая свобода, о которой я мечтал много лет.

Очень много появилось какой-то мелкой, суетливой работы, запросы, анкеты, ответы, а я отказывать не умею и считаю должным ответить вниманием на внимание. Вот и пишу всякую шелуху. И тоже волнуюсь, дурак!

Съездили ль Вы в Швецию? Что нового на литературном горизонте? Видел в газетах, как поспешно каются люди, живущие по принципу: не согрешишь — не покаешься. А мой выбрык против «отца русской литературы» стоил мне выброса из «Роман-газеты», и «доброжелатели» обещают, что на этом не кончится, он, мол, памятливый. Да наплевать мне на всё это. Мелочи всё это по сравнению с главными вопросами жизни, которые с возрастом всё меньше и меньше оставляют времени для сна.

Картину Вашу ещё не видел. Она идёт у нас с 27 числа, но уже много о ней читал добрых слов! Радуюсь за Вас и желаю дальше так же действовать. Передайте от меня и моей бедной Маши привет Валентине, а Вас я обнимаю. Виктор

1968 г.

(Адресат не установлен)

Уважаемые Элеонора Петровна, Инга Ивановна и Наталья Ивановна!

Я все лето был в Сибири и потому не ответил на Ваше доброе письмо. Да, как у всякого пишущего, у меня тоже появляется «кинозуд», но уж мало чего от него осталось. «Звездопад» пытались поставить на Свердловской киностудии, уже и деньги мне платили, но жена моя напугалась и велела мне их вернуть, ибо ни за один рассказ мне столько не платили, а тут за сценарий, написанный по готовой вещи... Кино не поставили. Сценарий вернули: то я что-то не так сделал, то режиссёра не нашли, то ещё что-то мне непонятное содеялось... Но на этом моя киноопупея не закончилась.

Узнал об этом Юрий Бондарев, что ввязался я в такое дело, а повесть ему нравится. И спрашивает: «Остался ли хоть какой-нибудь экземпляр?». «Остался», — говорю. «Давай его мне, — сказал, — я его в своё творческое объединение отдам, там ребята хорошие, а про любовь хорошего ничего нет». Я послал. Жду-пожду. Год прошёл. Два прошло, а я всё жду, но не это главное. Главное, что я работаю там, где бог мне назначил, — пишу потихоньку прозу. Однажды у Бондарева спрашиваю: «В корзину его бросили иль как?» — «Не бросили, но потеряли», — отвечает мне Юрий. Кулик или Калик какой-то потерял мой «Звездопад». Как пели в детдоме мои друзья: «Утонул он, утонул, только хером болтанул!..»

Тут я успокоился и решил жить дальше в качестве прозаика и кинозрителя. Но раз! Зазвонили, затрещали телефоны. Студия им. Довженко: сейчас, моментом, с ходу или, как опять же острили орлы-детдомовцы: «С маху под рубаху!» хотят снимать полнометражный фильм по рассказу «Ясным ли днём». Режиссёр любит меня и обожает рассказ! Директор студии рыдает, ибо сам безногий, а тут герой без ноги. Ну, думаю, такое редкостное совпадение даст результат — уж две-то ноги на двоих кино вывезут!

Ан не тут-то было! Есть начальство на двух ногах и даже на трёх, которое попадается и лает: «Як цэ можэ буты, шоб громадяника. та ше червоноармейца бэз лапы на нашему лучшему, передовому, гуманному экране показуваты? Чи мы капыталисти, чи футурысти?.. Пэрэробыть!» Пэрэробляв я, пэрэробляв той горемычный киносценарий и однажды выразился, тихо, но матерно...

На том моя киноопупея будто и кончилась, если не считать нескольких коротких фильмов, снятых выпускниками, из которых я ни одного не видел. Говорят, на Одесской киностудии по рассказу «Солдат и мать» дипломная работа одного из выпускников получилась очень удачной, да и играют в фильме любимые мною актёры — Булгакова и Кононов.

Ну-с, режиссёр со студии Довженко, парень по духу мне близкий, не забывал меня и в покое не оставлял — уломал меня написать сценарий по повести «Пастух и пастушка». Студия сценарий приняла на «ура». Режиссёр Уехал в деревню, я — в Сибирь, а сценарий пошёл по инстанциям. Что, кто, где и как! — я ничего не знаю, иль повторяю, что лишь вчера вернулся с родины.

Вот и всё, что могу сказать я о своих отношениях с кином... Когда-то Джона Стейнбека спросили: имеет ли он какие-либо отношения с телевидением? И этот проклинаемый нами писатель, которого я, несмотря на поношения «Лит. газеты», до сих пор обожаю, ответил перед самой смертью с буржуйской прямотой: «Ну должен же человек иметь хоть одно достоинство! Моё заключается в том, что я не имею никаких дел с телевидением...»

Но там телевидение растленное, двенадцатипрограммное, там голых девок показывают, и друг в дружку стреляют, да банки грабят. А вот покажете вы, допустим, госпиталь в том виде, в каком я его написал, чтобы не рядить больных в пижамки, чтобы кровь и страдания были не красивенькие, а раны гноились, и любовник Миша Ерофеев ходил в кальсонах, подвязанных юбкой? Нет, конечно. А на нет и суда нет! Пусть дальше показывают Марью-большевичку, которая в берлогу залезла, изнасиловала

медведя и вдобавок шкуру с него сняла! Во баба, а?! Родился в Сибири, крестился в Сибири, а таких впервые вижу! Медведя за всю жизнь нос к носу видел один раз, ружьё было в руках, правда, дробью заряженное, но... я — не Марья, далеко не Марья! Только и смог пошевелить губами: «Ну, уходи!..» — сказать. И он ушёл, а то бы и письмо писать мне вам не довелось.

Вот предложил бы вам попробовать снять многосерийный фильм по повести «Последний поклон». Добрый видится мне фильм. И режиссёр есть, который «по-телевизионному» его видит, а ну как в «Поклон»-то Марью-большевичку вставят либо Петю Вельяминова, старого моего знакомого, — сусальненьким большевичком с усиками, речи произносить заставят? А?! Ой, люди, страшно!..

Ставили у меня в каком-то году «Дикий лук» на Центральном телевидении. Соседи сошлись, расселись. Ребята на полу разместились. Сосед мой в Перми в 28 лет доктором философии был. Глядел я, глядел кинопродукцию по своим «мотивам» и подумал: возьмёт сейчас сосед мой кирпич, да как шандарахнет мне по башке за такое кино и отвечать не будет, ибо за такое говно убивать мало.

Ну и как вы после этого? Согласны приглашать меня ещё, или уж бог со мною?

А телевизор я смотрю регулярно, иной раз с большим интересом. Ваш «Адъютант» мне очень понравился, особенно (в нём) Слава Стржельчик. Я как-то увидел его в Москве в гостинице, хотел сказать ему об этом, да постеснялся. А в «Вызываем огонь на себя» или «Операции «Трест» — очень понравилась Касаткина. Дай ей бог здоровья и Вам тоже!

Я только что с родины приехал — брата похоронил (от рака умер). Всё лето умирал у меня на глазах, оттого и юмор мой злой. Простите!

В. Астафьев

10 сентября 1968 г.
Быковка
(В.А.Старикову)
Дорогой Виктор!

Письмо твоё привезли мне в деревню, где безвылазно сижу я уже два месяца, застигнутый непогодой, скверным настроением и трудной работою. Делаю сценарий по «Звездопаду» по договору со Свердловской студией. И так от него обалдел, что для радости и отдохновения души написал два небольших рассказа про разных животных, как-то: «Коростель птица» и «Жеребёнок Яшка».

Сценарий я днями закончил. В конце концов он увлёк меня и,

кажется, получился значительным, а потому и не видать ему жизни на экране, но аванс я отработал честно и тем хотя бы доволен.

Ездил я в июне в Вологду (не знаю, писал ли об этом тебе). В хорошей компании — Фёдор Абрамов, Вася Белов, Женя Носов, Саша Романов и ещё четверо интересных парней-художников прокатились от Вологды до Великого Устюга на пароходике, и это было самой большой отрадой в моей нынешней жизни, которая после смерти Александра Николаевича как-то сделалась очень уж квёлая и одинокая.

В Великом Устюге мы заходили к художнику Шельниковскому. Ему 85 лет, он основатель и утвердитель знаменитой северной черни по серебру, деятель искусств. Получает персональную пенсию 85 рублей, и дали ему двухкомнатную квартиру. И он так рад, доволен всем этим, особенно что сортир и ванная у него вместе, что и слушать его горько даже. И вот довольный всем и жалкий в этой довольности, большой художник жаловался лишь на одно: «Мне всю жизнь не хватало среды. Я засох тут один». И я понимаю его. И надумал я покинуть Урал — спившуюся, покрытую болотной ряской пермскую организацию, где не только не пишут, но и не читают даже, а только пьют, дерутся и изображают из себя писателей. С сорок пятого года живу я на Урале и не прирос к нему, не сделался он мне своим. Хватит! Слушался жены, тёщи, боялся ворохнуться, а сейчас всё — рублю концы! Звали меня опять ребята в Вологду. И хорошие они ребята, и город приятный, а всё же поеду я на родину в Сибирь.

С 4 по 8 сентября в Киеве будет встреча ветеранов нашей дивизии. Удостоился! После этого я заеду в Москву, там скопились у меня разного рода дела, в том числе, кажется, и редактура в «Роман-газете». И как только покончу со всем, получу деньги, сразу же начинаю дело с обменом квартиры, и к весне думаю убраться в Сибирь, а может, и раньше. Тем более что задумал я большой роман, а без Сибири и каждодневно вливающейся живой речи мне его уже не написать. Мои языковые запасы и воспоминания почти иссякли.

Счастливо вам отдохнуть! Обнимаю вас обоих, ваш Виктор

1969 год

1969 г.
Вологда
(Е.Носову, И.Лободину)
Дорогие Женя и Игорь! Получил ваше послание перед самым

отъездом и разобрал письмо ваше после третьего захода! Был у нас на войне шофёр один, мог он ездить только пьяный, а трезвый на первый же «предмет» наезжал!

Слышал в Вологде, что Игорь оженился, в подробностях рассказали, как проходило это действо коллективное, с участием профсоюзно-партийно-комсомольской ячейки, без направления которых Игорь, видимо, не управился бы. Ну, да у нас русаков без фокусов, как без хлеба. Дал бы бог мира да согласия — это уж от меня древнее и традиционное пожелание. Лучшего пока не придумано.

Я очень забеган. Переезжать так часто да ещё при моей филантропической натуре... Удумал я перед отъездом сделать добро и вызвал из Уссурийска своего племяша с женой, уже беременной, желая, чтобы они не мучались без квартиры, как мы, и вдали от родины. Полагая, что для этого угрюмого города я всё же сделал немало, ожидал, что помогут мне определить ребят на жильё, пусть и меньшее, чем моя квартира. Да наивен я, как всегда. Наткнулся на такие препоны, что и сам не рад своей затее. Сейчас главная проблема определить ребят — и можно ехать. Контейнеры сегодня заказал — 8-го погрузка и в понедельник можно бы выезжать.

Ребята меня там приняли хорошо, и я этому рад. Надоело жить в одиночестве, среди Урала, от которого всё больше и больше болит голова. В связи с беготней ничего не делаю, хотя поступило очень соблазнительное предложение — быстро сделать сценарий по рассказу «Ясным ли днём» с тем, чтобы нынче же и фильм вышел. Рассказ ложится, ну а деньги за него позволили бы писать несколько лет всё, что душе, а не цензуре угодно.

Вероятно, переехав в Вологду, тут же и примусь за дело и сразу напишу вам, как и что, и в гости позову.

Дом в деревне на Урале я не нарушаю с тем, чтобы Марья могла ездить на родной Урал, и мне, когда захочется сбежать в леса, тоже можно будет им воспользоваться. Уж очень много в эту халупу вложено моего и особенно Марьиного труда. Покидать избушку жалко — единственное, что по-настоящему жалко покидать на Урале.

Обнимаю. Ваш Виктор

16 марта 1969 г.
Вологда
(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

Пишу Вам письмо из Вологды, куда я переехал жить. Долго объяснять, как надоел мне угрюмый Урал за 24 года со всем

своим могуществом и героизмом, которым так любят кичиться люди, ничего героического, кроме подлостей, не сделавшие. Писательской среды нет никакой, то есть она есть, но такая, что не дай бог смотреть на неё — под стать своему городу. Словом, как писала Майя Борисова, «Не дай вам бог покидать нелюбимые города...»

И переезд, и всё связанное с ним было очень сложно и тягостно. Одна хорошо меня знающая особа сказала: «От себя бежишь, Астафьев! Не выйдет...» И это знаю — не выйдет! А что же делать? Дожить до 50 лет в Перми и там окочуриться от болезней и в одиночестве? Ехать на Родину, в Сибирь? Но она, Родина-то, лишь в сердце моём сохранилась ласковой и доброй, а на самом-то деле пока она — край романтиков! А романтики эти так скоро обсерут мою землю, так её запакостят, что и не узнаешь.

Вот и выбрал я старинную Вологду, где есть друзья и ещё пахнет Русью, близкой моему сердцу. Пока мне здесь хорошо. Народ тут простодушнее, добрее, и природа сохранилась, и тихо тут, неторопливо.

Дали мне такую же точно квартиру, как в Перми, только получше построенную, на три метра поменьше, да это пустяки. Встретили меня хорошо и власти, и писатели. Я уже работаю, и на рыбалку ездил два раза. Первый раз разбил себе локоть и термос, и ящик — до того «нарыбачился», а второй раз поймал судака и подлещика.

Летал в Киев. Там режиссёр Войтецкий решил ставить картину по «Ясным ли днём». Работали с ним. Режиссёр хороший. Последняя его работа «Скуки ради». Парень он винницкий, но без хохлацкого тупого фанфаронства и без картонно-игрушечного национализма, который ничего кроме печали и обиды на людей не вызывает в душе солдата, защищавшего эту землю. Сейчас сценарий должны утверждать два главка — украинский и московский. Как оно будет — не знаю. Может, и получится что. Режиссёр-то горит весь, желает сделать картину, и меня воспалил своим энтузиазмом.

Женщины мои тяжело пережили разлуку с Уралом. Им тут одиноко. Ну, авось попривыкнут. А с меня схлынула суета, гнетущая обстановка, сплетни, наговоры и как-то даже дышаться стало легче.

Продолжаю работу над «Пастухом и пастушкой». Никакие литературные будни на меня уже не действуют, пишу, как хочется, хотя и знаю, что повесть не ко времени и не в «духе».

Читал про Колю Воронина, читал всё, что касается начинающейся облавы на честных писателей, и пожал плечами:

«Собаки лают, а верблюды идут и идут». Бедный Коля — у него ведь всю повесть (роман был) изрубили ещё в процессе печатанья, а теперь самого в окрошку рубят. Он обратился ко мне с просьбой — выступить в защиту повести. Только вот не подсказал — где. Ведь когда идёт облава, защищаться негде. Конечно, я напишу письмо в «Литературку» и назову автора статейки подлецом, каков он и есть на самом деле, но ведь что им: ссы в глаза — всё божья роса.

Не сетуйте, что долго не писал. По возвращении из Переделкино я почти всю зиму проболел — плохо было с головой, не писал ничего — плохо было на душе, а потом переезд, который решался быстро, а происходил медленно. Сейчас легче, гораздо лучше. И работать потянуло, а больше — рыбачить. Женщины мои завтра едут к тётушке в Хотьково, а я сверну свои срочные дела и заберусь надолго рыбачить, подальше от слухов о вылазках всевозможных хунвейбинов.

Вот и всё пока. Увидите Борю Можаева, передайте ему привет и мой новый адрес: Вологда, ул. Урицкого, 94, кв. 8.

Валентине кланяюсь я и мои женщины. Будьте все здоровы. Виктор.

P. S. Сегодня день выборов и я с утра всё твержу стишок, который однажды прислал в «Чусовской рабочий» один гражданин: «Мы крикнем дружное «Ура!» И все пойдём на выбора. И я, советский гражданин, проголосую, как один!» Сильные стишки-то!

7 апреля 1969 г.
Вологда
(Адресат не установлен)
Дорогой Ваня!

Пришло твоё большое, как всегда, обстоятельное письмо, написанное, не в пример моему, человеческим почерком. Я всегда радуюсь твоим письмам — они как глоток воздуха Родины, и я завидую тебе, тому, что ты верен родному краю, видишь его каждодневно, дышишь воздухом и морозом Сибири.

Увы, я не мог и не смогу скоро оказаться в родных краях насовсем. Родина моя как-то до обидного сурово всегда обходилась со мной, много сил, горя и страданий принесла, и я, любя её, может быть, несколько выдуманную, боюсь в то же время её. Кроме родной деревни и Красноярска меня ничто в Сибири не привлекает на жительство, но воздух загрязнили на родине моей не меньше, чем на Урале, а у меня и от Урала болит голова. Кроме того, далеко очень от центров и, соответственно, возрастет

тупость литературная, начинает давать себя знать провинциализм в культуре и какая-то автономная замкнутость в оценке точного места, которое знать совершенно необходимо, дабы не впасть в самомнение и фанаберию.

Я достаточно насмотрелся на провинциалов-литераторов. В большинстве своём это безобразная картина. В Свердловске большая писательская организация, издаётся два журнала, театры, киностудия, и тем не менее большей провинции в культуре и литературе я не знаю. Зато сами о себе они понимают так много, что могут кому угодно права качать. Пробовали и мне, да я-то с переду артист, а сзаду-то говнист и не больно потерплю. Я сам могу расшибить любого из них в лепёху, и они робели меня трогать.

По-моему, все с облегчением вздохнули на Урале, когда я уехал. Уж больно я их беспокоил своими откровенными словами о том, что говно — это говно, а иногда и статьи писал такие, что графоманы давиться собирались и словоблуды стишки писать бросали.

Вот так вот «спокойно». Литератор, мечтающий в наше время жить спокойно, то есть печатать всякую брехню, жрать сладко и срать гладко, — это уже в моих глазах не литератор, а человек-обыватель, которому до лампочки всё, кроме себя.

А в Вологде действительно очень небольшая, но крепкая и дружная организация. Здесь живёт превосходный прозаик Вася Белов, поэт Коля Рубцов (обязательно достань в библиотеке его сборник «Звезда полей»), Ольга Фокина, Саша Романов, и много на подходе интересных парней. Они понимают хорошо, что такое работа, и сидеть за столом не мешают. Нет здесь той массы необязательных знакомых, какой я оброс на Урале, меньше раздражителей в лице газет, издательства, телевидения, и потому я живу и работаю собранней, чем прежде.

Езжу на рыбалку и продолжаю работать над новой повестью *[«Пастух и пастушка». — Сост.]*. Вот уже скоро два года и третий пойдёт, как я бьюсь над этой маленькой повестью, и или рога себе на ней сломаю, или сделаю что-то заметное.

Посылаю тебе «Поклон» — свою самую любимую книгу и Марьину повесть, которую она написала между стирками, кухней и мной. Человек она очень одержимый от природы и цельный, и ей бы давно уж быть профессиональным писателем, но она посвятила себя мужу всю без остатка и детям. И другого своего назначения знать не хочет. Пишет редко и урывками. Получается у неё всё лучше и лучше, и большая вина моя перед ней за то, что заели мы её жизнь и талант, а я ещё нет-нет да и в капризы ударюсь, было влюблюсь и мучаюсь ещё больше, и её мучаю

своим чёрствым отношением. Трудно с нашим братом жить и ладить.

Может, летом я побываю в Сибири. Попробую до тебя добраться и посмотреть настоящие Саяны. И верха Енисея. Загадывать трудно, но помечтать можно. Сын мой служит в Германии. Мать с туристами в мае собирается его навестить.

Привет твоим всем — жене, парням. Обнимаю тебя. Виктор

16 апреля 1969 г.
Вологда
(В.Колыхалову)
Дорогой Володя!

Ну и толстую же книжку ты написал! Читал я её, читал... Я ведь толстые книги сейчас читаю трудно и долго — глядело моё послабело, и голова побаливает. Но твою добил — оттого, что люблю книги сибиряков. В них у талантливых, разумеется, авторов и не наезжих, а коренных сибиряков всегда покоряет выпуклая образность, сочный и богатейший язык, сочная природа. Наш грубоватый, не подмазанный крылышком юмор, не вымученная, не выставленная напоказ честность и правда. Правда непосредственная, неотразимая, как жизнь, которая вроде бы как сама собой разумеется и потому её обычно принимают и воспринимают без ахов и охов и никакой излишней подозрительности к ней не проявляют. Такова уж она, настоящая правда: её или принимают целиком, или отвергают, но тоже целиком, ибо она неделима и неотделима, эта «исповедальная проза».

«Верха» наши, наторевшие в надзоре за словом, совсем не случайно относились к этой прозе снисходительно — она была безопасна и «безвредна», ибо скользила по верхам событий и жизни, шибала больше в нос и не трогала сердца. К этакой литературе во все времена все привыкали очень быстро, а настоящего слова, по справедливому и потому уже осуждённому в «Огоньке» замечанию Гранина, Россия всегда боялась.

Твоя книга написана в лучших традициях сибирской прозы, которая была и осталась, по моему глубокому убеждению, лучшей и определяющей в прозе 20-х и 30-х годов. Зазубрин, Ошаров, Петров, Иван Кратт, Шишков, Жуков, Сейфуллина, Вс. Иванов, Черкасов (покойный, а не живой!) и множество других сибиряков зачали советскую прозу и продолжали её с новейшим живописным блеском, они как бы изголодались по живому слову, по живому разговору, в душах их скопилось столько красок, столько живописных образов и эмоциональности, что они её

выплёскивали удало, безудержно, темпераментно, и иной раз одной страницы (у Шишкова, например) иному современному столичному «художнику слова» хватило бы на целый роман — так они бедно заряжены жизнью, так мало видели и пережили.

Всё это, присущее лучшим сибирякам, как бы само собой перешло к нам. Да и как могло быть иначе? Мы же росли и выросли на этой литературе! И всё это ярко, зримо и вещественно присутствует в твоей книге.

Но я глубоко убеждён, что сибиряки наши, если б дали им возможность созреть, жить и работать, вспомнили бы в конце концов, что до них были Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин — в прозе. Пушкин, Блок, Некрасов — в поэзии, которые умели — да ещё как! — писать: и образно, и живописно, и удало, и правдиво и... как хочешь. От стихийной, порой «голенькой» прозы они постепенно переходили к мысли. А если уж шла война, то и её описывали, и не одними батальными сценами отделывались эти воистину мудрые художники, мятущийся человек появлялся у них на позициях. И мятущийся, чего-то ищущий граф, и мужичок, со «своих позиций» пытающийся понять себя. Если уж нищий студент угрохал старуху, то за него нравственные вопросы решал не всезнающий майор Пронин или мимо ехавший и случайно завернувший в роман секретарь обкома, а сам он, студент, обращал свой взор вокруг и в самого себя. И всё вокруг постигал — и высшую нравственность, и падение — путём мучительного размышления над сущностью человеческой жизни, над её величием и мерзостью.

Тургеневы, Достоевские, Толстые достигли высших вершин в слове, потому что сделали слово мыслительным, и, мало того, пошли дальше, забрались туда, откуда возникает эта мысль. — в человеческую душу.

Увы и ах! При всём блеске прозы 20-х и 30-х годов, особенно сибирской, она лишилась основного достижения нашей русской великой литературы. Она изображала и только. Она, захлебнувшись, спешила вперёд, летела, подхваченная запушенной во всю мощь и на всю «железку» круговертью событий и собственной жизни. Ещё раз говорю: дай ей время приостановиться, осмотреться, поразмыслить — литература эта непременно пошла бы в глубь явлений жизни, занялась бы самоанализом и осмыслением вновь народившегося общества.

Я думаю, не случайно почти всю сибирскую литературу вырубили под корень. Кто-то инстинктивно почувствовал, что она если не представляет, то будет представлять опасность. Такие мужики, как Зазубрин, Петров и Ошаров, очень много знали и даже сотой доли того, что знали, ещё не только не выложили на

бумагу, но и не коснулись. И они-то в первую очередь и пострадали. Оставшиеся в живых Шишков, Сейфуллина, Иванов были травлены литературными гончими и по существу загнаны в угол. Взамен им хлынула в литературу та самая хевра, которая «счастье в том находит, что хорошо на задних лапках ходит».

Думаю, ни Зазубрин, ни Петров, ни тем более Павел Васильев не написали бы в самые страшные годы слов: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...»

Именно потому, что они, настоящие бойцы-коммунисты, люди с чистой душой и прекрасной биографией, не делали этого и не сделали бы, их и не стало.

Не стало их, нашлись другие, те самые, которые для нас, мальчишек, писали книжки («Я сын трудового народа», «Белеет парус одинокий»), готовя из нас патриотов и тех самых бойцов, которые потом с этими книжками умирали в окопах. А авторы держали в столах или в душах уже заготовки «Трав забвения» или «Святого колодца», чтобы отречься от того, что они делали раньше, умыть руки, по существу, предав нас, смотревших им в рот и верившим на слово. «Пора подумать о душе», — пишет Катаев в «Траве...». А о какой душе-то? Души-то нет! Там уже банная мочалка, которой Катаев и иже с ним натирали спины в общественных банях всем, кто казался им шире спиной и влиятельней. «Его пример — другим наука!» Что и говорить, они многому нас научили, прежде всего, тому, что жить и работать в литературе так, как они, нельзя — это подло!

Вот я и подхожу к той мысли, ради которой и развёл все эту прелюдию и которая, так сказать, навеяна твоей книгой. Литература наша сейчас в лучших своих книгах мучительно пытается пойти вглубь, вернуться к тому, что было ею уже достигнуто и развито, и пойти дальше. Логика жизни неумолима. Она требует этого от всякой созревшей или полусозревшей литературы. Всё чаще и чаше в книгах талантливых людей делается видно, что они (пусть и запоздало с издержками, со скрипом в мозгу и в костях) хотят приблизиться к работе Толстого и Достоевского, не повторяя их, не эпигонствуя, не воображая, что им дан богом тот же талант, а ориентируясь на их совесть, самостоятельность взглядов на жизнь и явления общественные.

И снова как прежде! Только начала наша литература заглядывать вглубь, только приступила к осмыслению окружающей действительности, как её начали трясти за грудки и гнать. Вперёд! Вперёд без остановки. Некогда остановиться, некогда думать. Помогайте, раз вас кормят, решать хозяйственные и строительные вопросы. А в души заглядывать

себе и другим — это потом, это непозволительная роскошь, это самокопанье! Кому оно нужно?

М-да-с! Цепь снова замыкается. На щит уже снова поднимаются бабаевские, семенихины, горбачевы, которые, опять же по сибирскому выражению, трем свиньям пойло не сумеют разлить, а берутся писать и решать нравственные вопросы. Но как может решать эти вопросы человек, будучи сам совершенно безнравственным, бездарным, оголтело давящим всё талантливое вокруг, чтоб утвердить себя и посредственность, коя ему ничем не угрожает.

Сложный сейчас стоит вопрос перед каждым честно и даровито пишущим человеком. Куда и с кем идти? Стоит он и перед тобой, Володя, да ещё как! Ты, может быть, и сам того ещё не сознаёшь, переживая счастливую литературную юность. Книга твоя хороша, слов нет. Но вся она пока ещё от стихийного таланта, неорганизованного, невзнузданного. Я не случайно вернулся и перечитал предисловие Залыгина. О-о, это мудрый мужик! И предисловие он тебе написал осторожное и мудрое.

Книга твоя ещё очень бытописательна. Её можно где угодно остановить и ещё сколь угодно продолжать. Из неё можно вынимать целые куски, главы и даже части — и ничего не изменится. Из неё можно вынимать людей или добавлять. А людей в книге целые роты и полки. А смертей сколько! А событий! И все они, за исключением главного героя, исчезают куда-то, как пешки с доски, — отыгрались и долой! Многие умерщвлены без всякого лукавства, по одному принципу: так в жизни бывает или было. С середины книги становится утомительно следить за судьбами людей, читать необязательные эпизоды и целые главы. Пятая, да и четвёртая части начали уже дробиться на эпизоды, и запоминается потрясающая новеллка, как утонул внук Ивана Сосипатьевича и как был убит председатель колхоза. Остаётся в памяти сенокос и ещё кое-что. А остальное уже вяло написано, многословно. Ну вот, спроси ты сам себя: зачем столько страниц написано о медвежонке и о том, как два дурака травили его?

На стихии таланта, на достоверности материала, на добротном языке и добром юморе, неторопливой и достоверной интонации стоит твой роман, который точнее бы назвать бывальщиной и которую так любят у нас читать везде и всюду. Ну, а дальше что?

Можно гвоздить дальше на этом же уровне, эксплуатируя биографию и дарование, — это очень простой и лёгкий путь. А если по-другому? По тому, о чём я, совсем неспроста, толковал почти всю остальную часть письма.

Ох, трудное это дело! Повесть «Перевал», написанную по тому же принципу, что и твои «Побеги», и о том же — я писал несколько месяцев, и её напечатали мгновенно. А хвалили-то как! Взахлёб! Повесть «Пастух и пастушка» (того же размера — 6 листов) пишу уже третий год, и конца работы ещё не видно, и я совершенно не уверен, что кто-либо решится её печатать. Пишу о своём примере не для ради хвастовства, а потому как он ближе.

В заключение моего затянувшегося письма прошу тебя воспринять всё тут написанное как субъективное, товарищеское и ещё вызванное тем, что ты сибиряк, а значит, родня, перед которой лукавить грех. Ещё извини, что отдал письмо на машинку жене. Почерк у меня ужасный, а тут еще рука болит и пишу с трудом и вовсе неразборчиво.

Желаю тебе работы и творческих мучений, которые совершенно всем нам необходимы, особенно сейчас. Жму руку. Виктор

Апрель 1969 г.
Вологда
(Б.В.Ширшову)
Дорогой Борис!

Получил твое письмо и газету уже давненько. Но как раз был очень загружен и оттого сразу не ответил и не поблагодарил тебя за хлопоты и письмо. Я доделывал сценарий и вычитывал вёрстку книги повестей. Книга большая, и я так устал с нею, что сразу же на рыбалку поехал. Рыбалка тут весною хорошая — привёз полную шарманку сороги, окуня, двух щук и одну нельму на кило.

Живу я пока хорошо, тьфу, тьфу! Город и народ здешний мне нравятся — очень спокойный город. В нём рано ложатся спать и никуда не торопятся, а люди приветливые и добродушные, с переездом им много хлопот было и все-то, но нигде и никто нас не облаял, не трепал нервов, тогда как в Перми на одном только товарном дворе мы получили полную дозу хамства, зла и неприятия.

Организация писательская тут маленькая (я оказался 13-й член), но тоже дружная и деловая, выпивают ребята, конечно, но не в Союзе, и все работают. В организации очень деловая и принципиальная обстановка. Недавно был на собрании по издательским вопросам и подумал: «Вот бы пермякам посидеть на этом собрании»...

Письма из Перми я получаю и в курсе всех дел. Получил и газету «Вечёрку» от Бориса Никандровича [Назаровского. —

Сост.]. Здесь телевидения (телецентра) нет, и смотрим мы московскую программу, одну, что тоже хорошо, меньше времени губится.

Ирина, дочь моя, уехала на праздники в Пермь, а после праздников поедет и Мария, а я уж где-то в августе побываю. Ездил недавно в Москву и Киев. Москва от нас близко, 8 часов на поезде.

Вот так и идут дела мои, всё дальше в лес, ведь мне 1 мая стукнет 45!

Поздравляю тебя с праздником весны. Желаю крепкого здоровья. Всем привет. Жму руку. Виктор

Июнь 1969 г.

(Жене)

Дорогая Маня!

В Красноярск я прилетел ночью с шестого на седьмое. Колька в больнице — язва. Утром я захватил его за пять минут до операции. Он маленько приободрился, а когда я вышел из больницы, сразу же встретил... кого бы думала? Сидорини! *[Сидорин, бывший главреж Пермского театра. — Сост.]*. Ныне он главный режиссёр Ачинского театра. Поговорили, и от него я узнал, что умер Игнатий Дмитриевич Рождественский. Я, естественно, отправился к ним. Евгения Моисеевна лежит пластом, съехались ребята с зятьями и прочей роднёй. От Евгении Моисеевны я узнал, что не своей смертью умер Игнатий Дмитриевич, а повесился. Это ужасно. У Рождественских я пробыл весь день. Тяжело и горько было слышать подробности, хотя, в отличие, допустим, от Макаровой, Евгения Моисеевна держится стойко и, как подобает любящей женщине, достойно. А ребята, особенно девчонки, сразу вроде подобрались, строже и лучше сделались. Об отце вспоминают только хорошее, сразу научились быть внимательными ко всем, особенно к матери, и делать по дому стали всё, вплоть до приёма гостей и друзей покойного, которые идут и идут уже пятые сутки (он покончил с собой второго, а в пятницу его схоронили). Я не попал на похороны, потому что на сутки задержался в Новосибирске.

Сегодня пойдём на кладбище — Игнатий Дмитриевич похоронен в Николаеве. Здесь жара невыносимая, поэтому поедем утром пораньше. Я забегу в больницу, к Николаю, узнаю, как прошла операция, и пойду к Рождественским. За вчерашний день я страшно устал и думаю теперь о том лишь, чтобы поскорее приехал отец и можно было бы плыть по реке и маленько отдохнуть. Это тем более необходимо сделать скорей, потому что здесь, в Красноярске, 15-го начинается писательское сборище,

посвященное юбилею.

...Только 23-го я добрался до Ярцево. Телеграф здесь не работает, вот я и пишу письмо, авось скорее дойдёт. Ехал я, в общем-то, хорошо и всё было ничего.

Колю я застал уже в худом положении: исхудал, страдает, ещё пытается ходить, но это уж двигает им трудовая сила, любой интеллигентик давно бы уж и головы не поднимал. Всё говорит: «Скорее бы умереть», — а ведь это только начало главных болей и страданий. Двадцатый день живёт на наркотиках, спит плохо, есть не может. А тут Вовка-«помощник» пьёт и лютует. Ночь сегодня не дал спать никому, а сам вот напился и свалился. И унять нельзя — папа родимый, руки и ноги вверху, орёт, психует.

Была тут мачеха и тоже орала и головой трясла, слава богу, уехала в Игарку, поэтому я пока туда не поеду — уж с нею-то встречаться не хочу. Вот если она сюда нагрянет, как сулились, я сразу же сяду на пароход и уплыву куда глаза глядят. Прожил я здесь сутки, однако, долго мне здесь не выдержать. Одна отрада — ребятишки. Брошенные на произвол судьбы, они как прилипли ко мне, так и не отлипают. Слушаются пока, как солдатики. Рыбаки оба заядлые — вот и займёмся этим делом.

Я ещё напишу, что и как. Пока остаюсь жив-здоров. Желудок пока нормально, мотор дюжит.

Приехал ли папа? Что слышно от Ирины?

...Сегодня уже 25-е июня, а о чём писать, я и не знаю. Коле всё хуже и хуже. Страдает парень невыносимо, ищет место и не может найти. Навалится на что-нибудь грудью, постоит на коленях и говорит: «Где же это моя смерть заблудилась, блядь?! Ой!..»

Ну, а дома что говорить? Говорить не хочется. Звонил в Красноярск насчёт того, чтобы достать мумиё (каменное масло) — единственное, что ещё может если не спасти, то хоть как-то облегчить страдания парня. Пока нет никаких вестей. В Кызыле, у тувинцев, говорят, достать можно. Да я хоть к африканцам готов лететь — так невыносимо смотреть на страдания Коли.

Погода перемогается. Хожу с ребятами на Енисей рыбачить. Клюёт неважно, а за хариусами на речку не сунешься - много клещей. На берегах Енисея до сих пор ещё грядами лежит лёд, и в лесу, в глуби тайги, много снега, который начал бурно таять — так затянулась здесь весна.

Телеграмма от Вити Ермакова пришла. Сообщает, что ты уже в деревне, что звонили из Перми.

Вот и всё. Ничего я не делаю, даже не читаю. Всё спасение — Енисей. Спать приспособился на чердаке, а то первые дни спать совсем не мог. Володя пока с нами, но скоро уже пойдёт на работу. Без него тут будет совсем плохо. Он сейчас не пьёт и очень хорошим сделался, таким, какой он и есть на самом деле. Где Ирина? Что от неё слышно? Как дела у Андрея?

Пиши на Красноярск. Приехал ли папа?

...26-го днём Николай повесился у себя лома. Обнаружили 27-го, за час до моего приезда к ним. Он хотел убить бабушку и бил её до того, что она потеряла сознание, а он думал — умерла, и сам повесился на шпингалете окна.

Похороны в понедельник. И в понедельник же, может быть, возьмут бабушку в дом престарелых. Сегодня пятница, и я весь день в бегах и хлопотах — это как-то и помогло. Сейчас зашёл к Зине Шахматовой, поел у неё и отсюда — к Юре. Он один. Галя в отпуске и мне будет у него удобно, хотя это и далеко от центра.

Я держусь, не беспокойся. Как только определю бабушку, уеду куда-нибудь в лес или на реку. Когда успокоюсь, напишу. А пока не могу, и в голове очень глухо, ровно ватой она набита... Не волнуйся очень-то — не впервой. Всё мне кажется: на семье Мазовских лежит какой-то зловещий рок...

...Вчера мы схоронили Николая. Я доволен лишь одним, что сообразил не взять тебя с собой. Всё так ужасно! Столько страданий и унижения. Были тётки, были Витя и Юра наш. После похорон они забрали меня, чтоб накормить, после еды я так разомлел и заглох, что на гору подняться уже не смог, а там шли поминки, у Валентины, притворной бабы, а бабушка осталась одна, так и лежит одна в пустой избе, замкнутая на замок. Ужасней ничего не представить.

Сейчас я тороплюсь туда, но дождь загнал меня на главпочту, где ждало меня твоё первое письмо. Не беспокойся за меня особо, я держусь! А врачи не везут бабушку в дом призрения, видимо, ждут, что она вот-вот умрёт, так чтобы меньше возни.

Сейчас пойду хлопотать, ведь до этого все хлопоты были о Николае. Он успокоился, а бабушка мается... Мутно и страшно. Слова бессильны всё выразить. Ну, никто как бог. Деньги мои тают как снег. Вышли мне на главпочту рублей 200 — останусь без денег, вовсе хана будет.

В Овсянке меня ждут, там надеюсь отдохнуть.

Целую. Виктор

11 сентября 1969 г.

(В.Потанину)

Дорогой Витя!

Я рад и счастлив, что могу написать тебе одобрительное письмо, ибо мне было бы тяжело, если б твоя повесть не понравилась, и пришлось бы писать горькую правду, стараясь при этом не убить тебя, потому как я знаю, что ты — человек ранимый и довольно одинокий в своей рабочей грусти и сердечной печали.

Хороша повесть! Чистая и горькая, как и вся жизнь наших несчастных и добрых людей, особливо женщин. Всю ты свою тихую душу, всю сосредоточенно-умную печаль вложил в эту вещь. Спасибо тебе, особенно за язык - так он меня порадовал своей земной первозданностью, своей обыденной красотой и благозвучностью. Словом, приехавши с Тульщины, я тут же дал восторженную рецензию на твою повесть и оставил её в отделе прозы «Нашего современника» с настоянием, чтобы печатали её в первом номере 70-го года.

Не всегда, далеко не всегда мои восторги и моё негодование разделяют в журнале, чаще даже и наоборот. Но я всё же верю в благополучный исход с твоей повестью, и она будет, должна быть на страницах нашего журнала. Особенно я рад тому, что повесть твоя более зрелая по исполнению и мысли, чем предыдущие вещи. Растёшь ты сильно в прозе! Изобразительность твоя, звук твоей прозы меня растрогали и покорили до глубины души.

Обнимаю тебя, дорогой, и желаю всегда быть тем, что ты есть — светлая и чистая душа твоя исторгнет ещё не одну прекрасную страницу в нашей литературе. Верю в тебя, надеюсь на тебя, и это укрепляет во мне веру в наше литературное будущее, которое хотят и никак не могут остановить ни иноземцы, ни доморощенные литературные хунвейбины.

Исправленную немного и сокращённую повесть посылай прямо в «Современник». Я в скором времени уеду на Урал и всю осень буду работать там над книгою о войне.

После посещения могилы Толстого много дум и усталости во мне. Но об этом не напишешь. Об этом когда-нибудь поговорим. Твой В. Астафьев

20 октября 1969 г

(Е.И.Носову)

Дорогой Женя!

Это пишу я тебе из деревни Быковки, где у меня сохранилась избушка и куда я, как обычно, забрался осенью. Будем жить здесь месяц, а потом с Марьей возвернёмся в Вологду, о которой я уже и скучать маленько начал.

Лето на Урале нынче было дождливое и холодное, ничего не уродилось; кроме рябины в лесу, и сейчас уже трудящиеся, давя

друг дружку, дорого покупают картошку и капусту, а что будет зимой, один только пророк Мао знает.

Рано выпал снег. Думали, быстро сойдёт, а он лежит и лежит. Охота плохая, харюз из реки скатился, и рыбалки тоже нет, так что ничего другого мне не остаётся делать, как браться за писанину. Я тут много работал, писал «затеси» свои, да написал зубодробительную статью в защиту русской песни, но печатать её, наверное, никто не захочет, потому что основной упор в ней сделан на то, что безнравственное общество и может рождать только безнравственное и чужое народу искусство, подавая вместо житного хлеб концентраты из суперинтеллектуального железа.

Перед отъездом на Урал прочёл твое письмо, присланное всем нам, и не писал сразу, потому что хотел сделать это пообстоятельнее, из деревни. Саша Романов тоже сумел написать тебе, а Вася [Белов. — Сост.] укатил в Болгарию.

Многое в твоём письме мне понятно и близко. Я ведь тоже жил в литературном шалмане одиноко и обложен был, как медведь в берлоге, сплетниками да завистниками. В Вологде я себя чувствую так, как будто из курной бани выбрался на студёный снежный воздух. Хороший в Вологде народ. И не только писательский. Я дважды был в Никольском районе — какие бедные и добрые люди живут в глуби этой исконной русской земли, чистые, душевные и как с ними легко и просто! Хоть остаток жизни доживу среди людей, мне близких и понятных. Хотел бы я предложить тебе сделать то же, но есть большое «но»: тебе-то придётся уезжать с родины, с Курщины. Как ты осилишь разлуку с ней? Я давно уж болтаюсь по свету, уже оторвался вроде бы от Сибири, а всё же завидую вологодским ребятам, что они живут дома и чувствуют себя домашними. Но и это преодолимо. В Курск ты смог бы ездить, когда захочется. Ещё одно «но» — квартира, тебе придётся её снять. А как домашние? Конечно, хорошо бы тебе переехать к нам. Всё же живём мы семейно, друг друга питаем. Много говорим о том, что кто напишет, а то я уж отвык от этого. Вологжане вообще большие работяги, пишут много и серьёзно, невольно и сам тянешься за ними. Творческая разболтанность, пустая болтовня тут не в моде и это, пожалуй, самое главное.

В общем, Женя, все мы тебя любим, и надо нам как-то быть вместе, иначе заклюют. Вологдой, в связи с моим переездом, многие стали интересоваться, кто подозрительно, кто насмешливо, кто завистливо, кто опасливо. Идёт борьба за наши души, нам не всегда видная и понятная. Та группа писателей, а число ей с десяток-другой, что сколотилась во глубине России и

является сейчас по существу надеждой и совестью этой самой России, как бельмо в глазу у литературных деляг. Её стараются прибрать к рукам то подачками, то моралью, то запугиванием, то лаской те, кто будто бы за русский народ и кто берётся говорить от его имени и хотел бы диктовать свою волю в литературе. Их раздражает и бесит, что истинные-то писатели не с ними, а сами по себе, сохраняют самостоятельность, насколько она возможна в наши дни.

Недавно вызывали в «Огонёк» нашего Сашу Романова, Софронов даёт его поэму, обещает книжку.

Я очень рад, что Игорёк [Игорь Лободин — прозаик, ученик и друг Е. Носова. — Сост.] наконец-то появился с рассказом, пора ему по-настоящему вкапываться в дело и печататься шире и больше. Поздравь его, пожалуйста, облобызай за меня. Отрадно и то, что ребята «во глубинке» пишут всё лучше и лучше. Вот как умно и тонко написал Витя Лихоносов! Хорошо и чисто пишет Витя Потанин, и как глубоко начал писать Володя Сапожников, у которого летом я был и перечитал всё, что он написал.

Ну, дай бог тебе закончить книжку, здоровья хоть немного и покоя возможного. Был я на Тульшине, посетил места боёв, где началось моё боевое крещение, и Ясную Поляну, где прежде бывал и откуда унёс много дум и всего на сердце. Андрей мой всё служит. Ирина учится в пединституте.

Вышла у меня «Кража» в ГДР, сулятся туда послать на какую-то неделю.

Ну, обнимаю и целую тебя. Будь работоспособен. Твоим домашним — поклоны. Твой Виктор

5 ноября 1969 г.

(Адресат не установлен)

Дорогой Ванюша!

Приехал я домой только что — осень просидел в деревне, работал. Получил твоё письмо, удостоверение, газету. Спасибо тебе за всё, туруханец. Ты так внимателен ко мне, а я вот летом не решился лететь к тебе, дабы не выбить тебя из колеи.

Прилетел я в Красноярск 6 июля (пробыл 5 дней в Новосибирске), а 2-го повесился наш Игнатий Дмитриевич. Так меня потрясла его смерть! Жара неописуемая, болезнь и операция ближнего родича — Кольки, самоубийство товарища в родном селе, на похороны которого я попал прямо из машины... Напал на меня какой-то столбняк, и потом прямо-таки с рассудком начало неладное происходить — никого и ничего мне не хотелось видеть, сидел недолго в Красноярске в пустой квартире сродной сестры без еды и воды, видения какие-то стали мне являться.

Однажды я поднялся с кровати, уехал в аэропорт, улечу, думаю, к Ивану, может развеюсь как-то, но в аэропорту было столько народа, что и невозможно понять было кто, куда и зачем летит. Кроме того, был у меня билет в Игарку, на пароход, но тут я его сдал, каким-то образом приобрёл билет до Москвы (не полетел кто-то) и улетел домой совершенно больной и разбитый.

Отлежавшись, ездил по Вологодчине, затем в Туле был, в Ясной Поляне, а осень на Урале. Немного отошёл и работать начал. Писал мелкие вещи, но, на подходе работа над книгой о войне, работа лет на 5-10, так что ближайшие годы заняты будут делом, а это лучшее лекарство от душевных недугов.

Вышли у меня повести в Москве, но книг я не имею — пока сидел в деревне, их продали. Может, авторские пришлют. Вышла «Кража» в Чехословакии, ГДР и в Болгарии.

Сын — служит, дочь — учится, Марья по дому вертится, жизнь идёт вперёд. Весной был у меня в гостях фронтовой друг — он фотограф по нынешней профессии, сделал много снимков, шлю тебе на память три штуки. Живу я здесь спокойно. Русь кругом исконная и добрая. Будет отпуск — приезжай. От Москвы до Вологды 7 часов на поезде и 52 минуты на самолёте.

Скоро пойдёт на экранах американский фильм «Лучшие годы нашей жизни» (я его видел ещё на литературных курсах), обязательно посмотри. А пока поздравляю тебя и твоих товарищей с праздником. Всем доброго здоровья и успехов в работе. Супруге твоей и детям поклоны. Обнимаю тебя, твой Виктор

1970 год

28 января 1970 г.
Вологда
(Л.И.Кузьмину)
Дорогой Лёва!

От души поздравляю тебя с радостным событием! *[речь идёт о приёме Л. И. Кузьмина в члены СП СССР. — Сост.]*. Быть членом надо лишь для устойчивости духа, а больше ни на черта этот билет не нужен. А вот падать духом ни от чего не след. Много в литературе причин для отчаяния, и тут уж готовься к нелёгкой жизни. Много глупых людей потому что. Вот я в «Комсомолке» потолковал маленько, так зашевелился весь пермский областной писатель. Его, бедного, задели! Так он уютно сидел в чулане, пил на последние рублишки, укрывался ряднишком, сотканным из собственной к себе жалости, умильности, обиженности, и тут с него и снимают такую удобную одёжку, и беспокоят его. Вот он и

забрюзжал, задёргался, болезный, ибо работать давно отвык, а только и тешится званием писательским и собственной значимостью, кем-то погубленной.

Не опускайся никогда ни в работе, ни нравственно до этого, тихого с виду и сжигаемого ненавистью и завистью внутри областника! Им легче быть, удобней. Рабом вообще легче быть, хоть в жизни, хоть в литературе.

А я, брат, переехал на новую квартиру. Четырёхкомнатную дали. Простор такой и удобства. У меня теперь совершенно отдельный кабинет, и так он мне нравится, что не выходил бы никуда. Возни было много, ещё не совсем и устроились, книги ещё на полу лежат, но я начал работать. Готовлю «Пастушку» для «Нового мира» и сборник коротких новелл для «Советского писателя». «Пастушку» переписал восьмой раз и пока доволен ею. Не знаю, как изрубят её в журнале, а пока отнеслись к повести хорошо, дали договор, аванс и обещают напечатать после юбилеев.

Марья моя тоже отлежала в больнице с сердцем, но сейчас уже в ходу, печатает, носится по квартире, как иноходец, хотя и неможется всё ещё ей. Я обнимаю тебя и ещё раз поздравляю.

Твой Виктор Петрович

12 мая 1970 г.
Вологда
(А.Щербакову)

Дорогой земляк — Саша Щербаков!

Я как раз лежал в больнице, когда пришла Ваша книжка. Я не успеваю читать все книжки, подаренные мне, но наши, сибирские — исключение, я их читаю обязательно, ибо всегда надеюсь услышать родную речь, увидеть что-то родное, поговорить с кем-то близким хотя бы мысленно.

Ваша книжка мне очень поглянулась, особенно её первая часть, где она меньше поражена газетчиной, этой всё живое съедающей ржавчиной. Много в очерках сыновнего чувства, много грустной и доброй улыбки, много тепла, согревающего человеческую душу вдали от родного дома. А главное то, что автор её сохранил чувство благодарности родной земле и людям её, а с благодарности и начинается человек, и благородство души его и помыслов отсюда же. Неблагодарные — всегда эгоисты.

Жаль, что у книги худое, тусклое название — она будет лежать на прилавках и полках с этим названием. И ещё, мне кажется, работу над книжкой нужно продолжить — на основании её и частично используя этот материал и фамилии людей, которые здесь названы (характеры их лишь намечены чуть),

написать небольшую повесть о таскинцах, да так, чтобы наперёд выступило не только их дело и любовь к нему, а сами люди. Перенаселять повесть не нужно, сделайте отдельные главы-рассказы, связанные местом действия и общей жизнью.

Очень советую над этим подумать, если надумаете что и сделаете, присылайте рукопись — я с радостью её посмотрю и, если она будет того стоить, определю в журнал или ещё куда.

А пока желаю Вам всего доброго и лучшего. Рад был познакомиться с Вашим голосом — он очень доверителен и чист в Вашей милой книжке. Наверное, и сами Вы такой же. Раз в 56-м году поступали в институт в «смазных сапогах», значит, знаете, что такое труд, хлеб и честь.

Жму Вашу руку. Ваш В. Астафьев

12 мая 1970 г.

(Адресат не установлен)

Дорогие Виктор и Галя! Получил я ваше письмо и погоревал сильно. Я слышал, что Виктор заболел, но не предполагал все же, что так страшно его тряхнула болезнь.

Этот проклятый фронт так и перебирает нашего брата, перетряхивает наши кости. Видно, война для нас никогда не кончится, так и будем мы её носить в себе да мучиться болями и воспоминаниями.

Очень я рад, что Виктор начинает уже выкарабкиваться помаленьку и что ты, Галя, рядом с ним. Как это важно и неоценимо! Хочется сказать тебе спасибо от всего нашего мужицкого роду, и вообще мне часто хочется поклониться российским бабам за то, что они есть на земле и возле нас. Мы без них ни хрена не стоим. И только кажемся себе повелителями да головами, на самом-то деле путаники и слабаки.

Но об этом уж так много написали признательные мужчины, в том числе и я, что повторяться не след.

В скором времени мне предстоит быть в Ленинграде. Там живут многие мои однополчане. И вот надвинулся юбилей командира дивизиона и юбилей нашей бригады. Соберутся фронтовики, будут разговоры разговаривать, нужно их послушать, потому что я начал писать большую книгу о солдатской житухе на войне, в окопах. А последние годы я бился над небольшой повестью «Пастух и пастушка», да и сейчас бьюсь ещё. Повесть пасторального типа, о войне и о любви. Сложная оказалась вещь в работе, а ещё сложнее для публикации. Но вроде бы «Новый мир» собирается летом её напечатать. Дали договор и аванс, но требуют значительных сокращений, а повесть сокращать

трудно, потому что за три года я её так уплотнил на шести-то листах, что теперь где-то только чего вынешь — остальное рушится (повесть впервые будет опубликована в журнале «Наш современник». 1971. № 8. — Сост.]. Ещё пишу короткие новеллы и готовлю из них книжку.

Живу я в Вологде хорошо, спокойно. Город здесь тихий, ребята-писатели хорошие. Дали мне здесь четырёхкомнатную квартиру, и работать хорошо. Дочь у меня учится в здешнем пединституте, сын служит в армии, а старуха моя мне помогает и суп да кашу варит. Так вот и живём.

Поправляйся, Витя! Нельзя нам, фронтовикам сдаваться. Рано. Надо ещё пожить за себя и за тех, кто не вернулся с войны, да и сделать много ещё надо.

Обнимаю тебя крепко, по-солдатски, дорогой. Привет от моей Марьи.

В. Астафьев

1970

(Адресат не установлен)

Дорогие мои землячки Золотухина и Долгополова!

Очень жаль, что не знаю ваших имён-отчеств и вынужден так вот, официально, начинать письмо.

Спасибо вам, дорогие люди, за тёплые слова, поздравления, за значок и все ваши добрые послания ко мне. Я всегда бываю рад всякому привету и вниманию с Родины, и дорога мне память и доброжелательность моих односельчан. Так уж водится среди русских людей: на большой своей Родине они выделяют и любят больше всего свою маленькую родину и, как тому кулику из русской пословицы, — «своё болото всего дороже!»

И вот я, если больше года не бываю в Сибири, не повидаюсь с Енисеем и Овсянкой, начинаю видеть их во сне, а сон и воспоминания всегда «редактируют» действительность, отбирают всё самое лучшее и красивое, и потому сны о родной земле — самые прекрасные и сладкие сны, а воспоминания грустные и в то же время солнечные. Вот из этих воспоминаний, из этой тоски по родине, о детстве (а наше, в частности моё, детство было богато впечатлениями, событиями, потому и вспоминать детство радостно) и родилась книга о детстве, писать которую было тоже сладостно. Оттого так и работалось мне ненатужно, весело и в удовольствие над «Последним поклоном». Ни одна книга не принесла мне столько внутреннего удовлетворения этим воистину каторжным трудом.

Я в жизни переработал множество всяких работ, но даже

кувалда, которой я в своё время орудовал в литейном цехе, не брала столько здоровья и не выматывала так, как «лёгонькое» писательское перо. И конечно же ни одна работа и не приносила мне столько счастья и восторга, как это литературное Дело, И счастье не тогда, когда выходит книга (хотя это — всякий раз праздник), со временем привыкаешь к этому празднику, начинаешь относиться к своей работе так же. как и ко всякой другой. Плотник, построивший дом, или кузнец, хорошо подковавший коня, думаю, испытывает то же самое, что и я, получив, книгу из издательства. Но счастье бывает самое большее тогда, когда вдруг из ничего, из обыкновенного пузырька С чернилами извлечёшь что-то похожее на жизнь, воссоздашь из слов дорогую себе, а иногда и другим людям картинку или характер, и замрешь, как художник перед полотном, пораженный этим волшебством — ведь из ничего получилось! — сам себе удивишься: «Господи! Да неужели это я сделал?!»

Вот это и есть счастье творчества, редкое счастье, но ради него и работаешь, напрягаешь память, перенапрягаешь сердце, и всё же. как оно получается, никому и никак не сумеешь объяснить и передать. Научить писать нельзя — подучить можно.

Сейчас я начинаю писать роман об инвалиде войны и хватит мне его надолго. Говорить о романе ещё очень рано. Всё ещё в заметках. Не бросаю работать и над маленькими рассказами, которые именую сибирским словом —, «затеси». Они публиковались в первом и втором номерах журнала «Наш современник» за прошлый год. Иногда бывают в журнале «Сельская молодёжь», Книга «Затеси» включена в план издания 1972 г.

Три последних года я работал над повестью о любви и войне — «Пастух и пастушка». Работа закончена. Повесть включена в мой однотомник, который должен выйти в этом году в издательстве «Молодая гвардия». Кроме этой повести туда войдут: «Стародуб», «Кража», «Последний поклон».

Есть и другие дела и задумки, но о них говорить преждевременно. Времени для работы остаётся очень мало. С годами обрастаешь знакомствами и всевозможными обязательствами, которые сильно отвлекают. Порою месяцами не удаётся по-настоящему сесть за стол. Всё мечтаю забраться к тётушке в Овсянку, засесть в закутке месяца на два и поработать всласть в стороне от почты, звонков и всяческих мелких забот-хлопот.

Что же касается вашего вопроса насчёт деревенской темы, то на вопрос этот отвечать не так просто. Думаю, масса книг о дореволюционной деревни и деревне тридцатых годов была

вызвана прежде всего тем, что авторы их были свежевыходцами из деревни и корни их ещё не отсохли и, главное, не отболели и не оторвались от родной земли. Да и события, происходившие тогда в деревне, были остры, значительны и волнующи по содержанию. Шла ломка старой деревни, тысячелетнего крестьянского уклада — это не могло не вызвать пристального внимания со стороны литераторов, не могло всё это не потрясти писателя своей жгучей драмой.

Современная деревня, особенно послевоенная, сделалась монотонной в жизни своей, невеселой, неяркой (я говорю о старой, обезлюдевшей деревне). А новая деревня, напоминающая не то рабочий посёлок, не то городок, очень смахивающий на приснопамятные «соцгородки», не может тронуть сердце и глаз художника своей одноликостью как в домах, так и в отношении к труду. Эта деревня должна родить своих писателей, которые увидят в ней свою поэзию, свой смысл, свою красоту и философию. Мне же и моим друзьям-деревенщикам ближе, роднее и понятней та разнопёстрая, тихая и очень разная деревня, которую мы знали и запомнили с детства.

Вопрос этот и разговор очень больной, и в письме всё не скажешь. Этот вопрос задаётся писателям с трибун съездов, и в письмах, и в критических статьях. Нужно время. Нужно расстояние, чтобы приглядеться к новым явлениям в деревне и осмыслить их. Те, кто пытается наскочить на эту тему не подумав, рожают «слепых котят», которые, в отличие от котят живых, так и не прозревают, а на корню засыхают и опрокидываются кверху лапками.

Могу расширить список писателей, и к тем, которых вы перечислили, добавить Федора Абрамова («Две зимы и три лета»), повесть Василия Белова «Привычное дело», повести и рассказы Евгения Носова, Троепольского, В. Распутина (в седьмом и восьмом номерах «Нашего современника» напечатана замечательная повесть этого автора «Последний срок»). Можно порекомендовать читателям книги Юрия Бондарева, Константина Воробьёва, Александра Боршаговского, Бориса Можаева, Виктора Лихоносова. Эти все писатели, пишущие о деревне, в том числе и современной, и пишущие, на мой взгляд, довольно прилично, есть среди них и пишущие о сибирской деревне.

Вот пока и всё, что я могу вам написать. Ребята из Овсянской школы прислали мне гербарий цветов, и я часто его рассматриваю и гостям показываю — хвастаюсь, какие дивные цветы цветут у нас! Может быть, в начале июня, в пору цветения, мне удастся приехать в Сибирь и побывать в Овсянке вместе с моим другом, хорошим писателем Евгением Носовым. Но сейчас

зима, за окном светит морозное солнце, и лето кажется таким далёким, и мечта о нём — такой несбыточной, что и загадывать что-либо страшно...

Пожелаю всем вам всего самого лучшего! Ещё раз спасибо за внимание и добрые слова в письмах. Низко кланяюсь родному селу и сердечно приветствую читателей нашей библиотеки. Ваш Виктор Астафьев

23 октября 1970 г.

(Адресат не установлен)

Дорогой Ванюша!

Получил твоё длинное грустно-элегическое письмо. Сейчас я от друзей получаю письма в основном такие же, все жалуются на одиночество, покинутость и пр. Сказывается возраст, неудовлетворённость жизнью, дни из которой отнимает у нас суета, но и мы ими сорили, не задумываясь о днях грядущих. И ничего с этим не сделаешь — так было, есть и будет. Я, что ли, разумней распорядился собой? Кто его знает. Повезло, может быть, но к этому везению выстраивается целая цепь жизненных обстоятельств, в том числе гибель матери. Все свои нынешние «блага», всю, не совсем заслуженную славу свою (на безрыбье и я рыба!), всё, что есть у меня, я не задумываясь отдал бы за обыкновенную деревенскую жизнь с матерью под одной крышей. Нет для меня ничего выше и дороже на свете, чем мать. Но так уж заведено у людей — надо потерять, чтобы оценить. Но я потерял мать на седьмом году и не помню её, даже облика не помню, и если я через сорок лет говорю это, значит нет тут ни литературого лукавства, ни личной корысти.

Я тоже бросил курить и тоже стал пузат и толст. Курить заставил меня бросить сердечный приступ, который случился после празднования дня рождения - первого мая праздник, второго в больницу. Там и бросил. Что делать? Не помирать же из-за курева. Есть более веские причины.

Лето всё проездил. Сначала был в ГДР — очень полезная поездка для будущей книги, потом месяц был на Урале — делал инсценировку по любимому тобой рассказу «Руки жены» для Пермского драмтеатра; пьеса уже репетируется, зимой обещают премьеру, называется пьеса «Черёмуха».

Затем ездил в Салехард, где с женой и одним другом-художником на рыбнадзоровском катере совершил «кругосветку» по малой и большой Оби. Удивительная получилась поездка! Край этот не тронут ещё. Поел осетрины, максуна, чиря и пр. Настрелялся, насмотрелся, шишек кедровых побил, брусники

поел и ровно бы очистился душой, и такая меня охватила жажда к работе, что, вернувшись, я тут же сел и начал давно задуманный роман об инвалиде войны, начал уж «входить», начал уж размахиваться — бац, телеграмма! Вызвали в «Роман-газету» готовить «Последний поклон». Пока его готовил, тут секретариат в Архангельске подкатил, я прямо из Москвы и туда. На пути в Вологде подхватил Марью свою, и она хоть пить шибко-то мне не давала, тормозила всякие мои загульные действия. Кроме того, в Архангельске у неё вышла книга из двух повестей («Отец» и новая), так она и дело сделала.

Вот теперь я лишь оказался дома... Но через два дня. 25 октября, исполняется четверть века, как мы заключили брачный союз с Марьей Семёновной, свадьбы у нас тогда, в сорок пятом, не было, так решили погулять нынче, и опять долой неделя. А там ещё что-нибудь, ну вон в Пермь на 14-е ноября зовёт слёзно друг фронтовой — ему 50 исполняется. «Не приедешь если», пишет, «обижусь», «зазнался значит», пишет. Ко всем моим погодкам и друзьям подступают юбилейные годы — зальёмся, наверное! Мне и самому скоро 50! Это я к тому Ваня, что если весной не приеду — не суди, но хоть позднее, а всё равно на Родине буду и к тебе загляну.

Дело в том, что ТЮЗ Красноярский намеревается сделать постановку по «Краже», инсценировку пишет зять покойного И. Д. Рождественского, и как он её сделает и когда — не знаю. Если он сделает и начнётся работа, мне придётся подъехать в Красноярск, я обещал помогать театру своими действиями А если это не получится — летом двину в село родное на месячишко, ждёт меня дядя рыбачить — вот с ним и к тебе по морю прикатим (у дядьки моторка есть). Будем ехать, песни петь и рыбачить, а ты выйдешь на бережок и скажешь: «Что же вы, бляди такие, так долго едете? Уж самогонка вся прокисла!» «Мечты, мечты, где ваша сладость!?»

Но мечты бывают осуществимы, надеемся. Вот мечтал на Оби побывать и побыл! «Пастушка» моя не пристроилась ещё. Все ахают и охают, но не печатают. В однотомник я её вставил, если не снимут, выйдет в книжке хотя бы. Вот, Ваня — Ваня-паренёк, и всё вроде. Чего забыл — не обессудь.

Поздравляю тебя и супругу твою с праздником и белоснежной зимой. Катайтесь чаще на салазках и брюха не будет! А у нас нет ещё снега — тепло и сыро.

Ваня! Не горюй! Думай о тех людях, которым ой как хуже тебя, и будет тебе легче. Мне такое сопоставление с другими всегда помогало. А «Тают снега» — это говенная книга. Я её мысленно вычеркнул из своего актива и никому дарить мне её не хочется. Раз её спёр какой-то дурак, пусть ему хуже будет, как

говорили о секретаре колхозной парторганизации, которому дали на премию собрание сочинений Карла Маркса: «Так ему и надо!»

А ещё я тут на севере услышал хорошую наиновейшую частушку: «Я у милки под рубахой облигацию нашёл. Расстегнул свою ширинку — тут же номер подошёл!» Хорошо, а? Вот он, народ-то, творец какой!

Обнимаю, твой Виктор

P. S. Недавно с твоей родины, из Туруханска, одна сибирячка-читательница прислала мне сельдюшки (севрюжки) и осетрины. Добрая какая-то и чудная рыбачка, которую так растрогал мой «Последний поклон». Кстати, он выходит в «Роман-газете», кажется, в январе.

Ноябрь 1970 г.

В СП СССР

Уважаемые руководители писательской организации! Старшие товарищи по труду!

Нерадостные думы, озабоченность нашими делами заставили меня, одного из работников нашей литературы, оторваться от повседневного труда и написать вам это письмо. Вызвано оно тем, что вы самовластно, не поставив в известность даже нас, членов правления российской писательской организации, не говоря уж просто о членах писательского коллектива, исключили из членов Союза писателей писателя Александра Исаевича Солженицына, которому и без того выпала доля мученика в жизни и в литературе. А ведь даже в колхозах, перед тем как изгнать кого-либо из членов артели, собирают общее собрание!

Не один я ждал, что нам хотя бы через писательские газеты, наконец, будет объяснено, чем и почему вызвана крайняя акция в отношении к одному из наших собратьев по труду, но и этого не произошло. Объяснение секретариата с надёрганными цитатами из письма А. Солженицына и превратно истолкованными удовлетворить может разве что и без того озлобленного, горя и боли жаждущего обывателя.

Нам, и так давно уже и прочно устранённым от решения жизненно важных писательских дел (нельзя же всерьёз относиться к тем реденьким приглашениям на очередные пленумы, где, по существу, не решается и не обсуждается ничего дельного), как бы стукнули ещё раз по носу и дали понять: мол, знай, щенок, свой куток. Этак ведь дело может снова обернуться тем, что наши дела и судьбы в конце концов решать будет уже не секретариат, а кто-нибудь один, ответственный, к литературе приставленный товарищ.

Случилось так, что после выхода своей первой книжки я,

больной, ехал в санаторий и в Москве оказался в день смерти Фадеева. Никогда не видевший его живым, знавший только по его произведениям, с детства преданно любивший, особенно «Разгром», был я ошеломлён этой смертью. Несколько раз "Прошёл я мимо гроба Фадеева в Колонном зале, я мучительно пытался понять; что же это случилось? Что произошло? Вот он, человек, который меня - учил и миллионы таких, как я, быть мужественными, прямыми, не жалеть себя во имя друга, земли родной, отцов своих и матерей, — взял и застрелился! Нет, не там, в Колонном зале, а гораздо поздней, я, ещё только вступавший в литературу, сделал для себя вывод, что Фадеев предупреждал нас, литературных юнцов, этим выстрелом, оберегал от тех роковых ошибок и заблуждений, которые совершил он, и не хотел, чтобы мы их повторяли. Может быть, это и не так. Толкуют этот мужественный (иначе я не могу его назвать) поступок и иначе, толкуют выгодно для себя и текущего времени. Не я склоняю голову перед человеком, который так много сделал литературные трудом своим для того, чтобы мы выросли бойцами и честными людьми и не задумывались: выгодно это или нет.

Я склоняю перед ним голову и за то, что эхо его выстрела звучит в мое! душе до сих пор и не даёт покоя, предостерегает от лёгкой жизни, равнодушия и литературных компромиссов, на которые, к горькому моему сожалению, так склонны сделались те, кто учил нас в детстве своими книгами был непреклонными в испытаниях, быть всегда, в беде и в радости, со своим народом.

Как-то всё больше и больше ощущается попытка наших старших товарищей отмахнуться от нас либо заморочить голову. Но ведь мы уже не юнцы! У нас за плечами война и нелёгкая послевоенная жизнь. У нас уже головы седые, и мы вправе не только ждать, но и требовать, чтобы с нами разговаривали как с ровней, а не как с бедными родственниками. И тем более вправе требовать, чтобы с нами считались, когда решаются вопросы, для литературы насущно важные, болезненно острые.

Волевые, келейные решения многих наших дел уже привели к тому, что надзор за словом писательским у нас стал такой, какой и не снился писателям в «проклятом прошлом». Он, этот надзор, сделался многоступенчатым, нашему брату даже и допуску нет к тем, кто решает судьбы новых книг. «Невидимки» точат древо нашей литературы, и прав Солженицын, указавший на то, что она утратила своё ведущее положение в мире. Как ни отмаливайся от этого, как ни ораторствуй, ни прикрывайся цифирью валовой продукции литературы, а ведь так. Работать в нашей литературе всё труднее и труднее из-за внешнего давления да из-за того

«внутреннего цензора», который в каждом из нас домовито живёт и сердце в кулаке сжимает.

Можно от всего этого отмахнуться. Можно и себя убедить в том, что живём ведь, пишем, даже издаёмся, хоть и в «кастрированном» виде. Но нас воспитывали не себялюбцами-одиночками, не мещанами, у которых хата с краю, и потому не можем мы быть безразличными к судьбами и делам товарищей по труду, к тем, наконец, даровитым людям, что идут уже следом за нами, дышат горячо в наш затылок.

Мал. немыслимо мал для такой страны, как наша, приток одарённых людей в литературу. Вспомните только, каков был «улов» на обширных семинарах в Чите и в Кемерово: Распутин, Вампилов, Машкин, Колыхалов. Якубовский, ну и ещё два-три человека, фамилии которых не вдруг и вспомнишь. В молодых числимся мы, сорока- и сорокапятилетние. — это ли не показатели застоя мысли в обществе, это ли не тревожный сигнал того, что потенциальные творческие возможности сдерживаются у нас?!

А поглядите, полистайте внимательней книги моих сверстников по возрасту и труду. Какая бездонная усталость в прозе сорокалетних, какая печаль В интонации талантливой прозы! И кабы эта усталость была и оставалась в книгах! Она ещё и в душах наших. Закройте глаза и заставьте кого-нибудь вслух прочесть талантливую книгу сорокалетнего — вам послышится голос старца. Неужели вы этого не знаете и не слышите?!

Ныне в Москве повесился Юрий Добряков; летом в Красноярске повесился Игнатий Рождественский. Первого я почти не знал, второго знаю с детства — он был моим школьным учителем. Он учил меня русскому языку и литературе в игарской школе. Хорошо учил. Прекрасный был преподаватель и прекрасный человек, безмерно любивший русскую поэзию и землю родную, особенно Сибирь. Всегда он поражал меня юношеской восторженностью, незатемнённым оптимизмом в восприятии жизни и вот... повесился в 58 лет. Анатолий Кузнецов за рубеж смылся, трусливенько, подло смылся, не по-русски, хлопнув дверью и пославши по матушке тех, кто ему не нравился, а втихаря, исподволь изготовившись к бегству. Теперь вот учинили расправу над талантливейшим писателем России.

Не довелось мне читать его новых романов — не люблю я читать и думать под одеялом — унизительно это для бывшего солдата и русского литератора, но и то, что я читал, напечатанное в журнале, особенно «Матрёнин двор», — убедило меня в том, что Солженицын — дарование большое, редкостное, а его взашей вытолкали из членов Союза и намёк дают, чтобы он

вообще из «дома нашего» убирался. А мы сидим и трём в носу, делаем вид, будто и не понимаем вовсе, что это нас припугнуть хотят, ворчим по закоулкам, митингуем в домашнем кругу.

Стыд-то какой! Вчерашние бойцы, неустрашимые фронтовики и их сопутницы делают вид, будто ничего не произошло и не происходит. Будто и не ведают, что кровью нашей завоёванное в мире уважение распыляется, улетучивается, и те, кто был за нас, отвёртываются один за другим. Говард Фаст, Фрэнк Харди, Андре Стиль и покойный Джон Стейнбек, даже Луи Арагон...

Что же — опять изоляция? Опять пресловутый железный занавес? Опять это зловещее: «Я не прошу вас доносить друг на друга, но прошу проникнуться друг к другу здоровым недоверием»? А ведь если так и дальше дело пойдёт и все мы по углам отмалчиваться будем — до новой беды снова докатиться возможно.

Горько и тяжело писать вам, убелённым сединами, много пережившим и передумавшим, но ещё горше и тяжелее молчать.

Честный выстрел, пробивший сердце русского писателя Александра Фадеева, не даёт права молчать тем, кто пришёл сменить его на боевом и нелёгком посту.

С уважением. В. Астафьев, член правления Союза писателей РСФСР

В Союзе писателей отмолчались, сделали вид, что письмо не получали. Может, и не получали, были конторы, которые, заботясь о нашей нравственности, упрятывали и бумаги, и нравственность, и авторов вместе с тем в долгий ящик. А может, и Господь меня снова спасал от бед и писателей. Что касается секретариата нашего Союза, то невольно вспоминается анекдот: «Мама! Письмо, в котором ты просишь денег, я до сих пор не получил», — не хотели там расширения скандала и огласки, шуму лишнего не желали. *[Авторское пояснение через много лет. — Сост.]*

1971 год

Октябрь 1971
(Адресат не установлен)
Дорогая Каролина Алексеевна!

Я был в отъезде и оттого не ответил сразу на Ваше письмо. Очень рад, что моя новая повесть понравилась Вам *[речь идёт о повести «Пастух и пастушка». — Сост.]*. Много взяла она у меня сил и боли, прежде чем появилась на свет. Но в журнале печатался сокращенный вариант. Может быть, Вы подождёте выхода книги до середины будущего года? Или всё-таки прислать

журнал?

«Затеси» тоже немножко подождите. В начале будущего года в издательстве «Советский писатель» выйдет моя книга «Затеси», и я пришлю её Вам, где Вы можете найти и те вещи, которые печатались до и после семидесятого года.

Очень рад, что М. Дудин так хорошо говорил Вам о моей повести, он фронтовик, и его мнение мне особенно ценно. Друг Дудина, поэт Сергей Орлов, также был в Чехословакии осенью и говорил о моей повести. И мне тоже захотелось повидаться с Вами и поговорить. Но как это сделать, я не знаю. У меня ведь вышли уже две книги в Вашей стране, и любопытно было бы узнать — читаются ли они? Заметил ли их Ваш читатель?

Что касается слова «затесь», оно есть в словаре Даля и в разных местах нашей страны пишется и произносится по-разному: затёс, затёска, а на моей родине в Сибири — с мягким знаком — затесь. Происходит оно от слова тесать — рубить топором, затёсывать на дереве отметку и идти дальше, а потом, на расстоянии, снова делается затёска — таким образом, остаются меты на стволах, чтоб человек не заблудился, а когда он часто ходит по своим затесям — оставляет тропинку, затем может получиться и дорога, так что все таёжные дороги начались с затесей. Я и поговорку слышал в Сибири: «Поход начинается с песни, дорога — с затесей».

Вот пока и всё. Поздравляю Вас с праздником Октября. Желаю всего доброго и буду ждать ответ. Мое отчество — Петрович.

Да, ради бога не беспокойтесь насчёт какого-то сувенира — ничего не надо. Ваш В. Астафьев

1971 г.

(Н.Волокитину)

Дорогой Коля!

Я тут приболел немножко. Ходил по дивному осеннему лесу с ружьецом и разопрел в тёплой одежде, а потом попил холодного и спать лёг в нетопленой избе, назавтра же и зачихал, и домой поехал, добывши одного рябчика. Но уже очухался, ничего особенного — катар верхних дыхательных путей, по-мужицки просто — простуда. Вот я и читал всласть стихи, окунался в русскую поэзию — это диво дивное. Даже и жалко людей, лишённых этой чудесной страны. Бедные, они просто и сами себя лишают, может, самого большого после любви наслаждения, а так как наслаждений ноне раз-два и обчёлся, то вдвое обидно за людей, не полюбивших поэзию. Вот пишу тебе, а в голове звучит совершенно потрясающая строчка Тютчева: «О, господи дай

жгучего страданья!» Не дожили эти ребята до наших дней! Они б молили господа, чтоб он хоть маленько поубавил сих страданий. Правда, они молили всё о страданиях возвышенных, нам вовсе недоступных и непонятных, как свинина казаху.

А на столе ждёт масса необходимейших дел, и в первую очередь гранки «Пастушки», которые надо было срочно читать. Прочёл. Повесть едва ли пойдет, а надеяться надо.

Мозги у меня всё ещё нараскоряку, и поэтому не могу собрать мысли воедино и толково написать всё. Вот-вот должна быть вёрстка однотомника, тоже работа большая, да и с «Пастушкой» ещё горя хвачу. Но сил я у вас поднабрался и могу ломить теперь. Вот вернулся домой, вздохнул облегчённо вроде бы, а на сердце какая-то тоска и несбыточная мечта: мою бы Вологду с её добротой и зеленью и квартирой четырёхкомнатной перетащить бы в Сибирь и поставить супротив Караульного бы быка... Вот бы да бы!.. Маниловщина! А сладко помечтать.

Нового я ничего не написал. Добил лишь большой рассказ о космонавтах *["Ночь космонавта". — Сост.]* — вся надежда на зиму, надо бы роман замесить, и повесть небольшую, да всё недосуг, всё дела более «важные». Рукописями заваливают меня молодые со всех концов — из двух одно: или вывелись добрые люди, готовые жертвовать собой и временем во имя молодых, или же молодёжь настырная и одолевает всех своими рукописями.

Ну вот, пишу-то я без повода, а без повода русские люди ничего не умеют, даже прогуляться на двор, и то им надо, чтоб попутно в нужник завернуть. Вот и расползся я и ничего путного не сказал тебе, а всё представляю,как притих сейчас Казачинск среди пожухлых лугов, нарядного, уже сквозящего леса и как неотвратимо надвигается на вас всех тоскливая, долгая и воюще-печальная зима. Зато сейчас пора прекрасная! Выдаются солнечные дни, в лесу маслята, рыжики, а у вас грузди. Утки тревожатся, ласточки и стрижи улетели, скворцы клубятся в небе и перед вечером поют в палисадниках молодые, готовясь к будущей весне. Будем и мы мечтать о ней и согреваться мечтой о тепле и солнце в зимнюю стужу.

Обнимаю тебя. Прости за грустный тон письма — это немножко от хвори немножко от осени. Твой Виктор Петрович

1972 год

Май 1972 г.
(В.Г.Летову)
Дорогой Вадим!
Давненько уж я получил твоё письмо, а ответить не мог —

свалился. Всё было хорошо. Перед праздником с Марьей Семёновной поднялись легко и быстро и двинулись во Псков. Побывали в пушкинских местах. Экое диво! Сколько радости дала нам эта поездка. Потом, перед самым праздником и после него малость схватывало сердце. Оклемался вроде и в Киев собрался, с режиссёром работать, но 6-го как взяло...

Вот второй только день брожу по избе и пробую водить ручкой по бумаге. Билеты в Киев сдали, чемоданы распаковали. Режиссёру самому приходится лететь ко мне, и сегодня он будет, а с ним уж хрен чего напишешь. Вот я и стараюсь все мелкие дела приделать. Рукописи разгрёб, почту и даже почитал кой-чего для души. Есть преимущества у филона...

Теперь мечтаю, как поскорее выбраться в деревню, пожить на чистом воздухе, на чистой воде и, может, наладившись, и пописать чего. Хочется что-нибудь про природу написать для ребят и рассказ хочется написать о том, как Ваську одного в леспромхозе товарищеским судом судили, и что из этого получилось. По демагогии вдарить хочется.

Ринка наша *[так по-домашнему звали Ирину, — Сост.]* была в Сухуми по какой-то туристической путёвке. Грузинцы-молодцы вологодских туристов блокировали, и девки боялись в одиночку нос куда-либо показать. Так что Ринка, не найдя тебя, отсыпалась. Мне вот тоже надо бы в Ессентуки ехать да ведь собраться-то, путёвку-то достать — целая история с географией!

Роман я окончил. Чтобы его, собаку, делать, надо ба-альшое здоровье иметь. До осени пусть терпит. Где-то вышла моя книжка «затесей», в газете видел, а наяву ещё нет. Когда её пришлют к нам в край северный? Далеко ведь — семь часов поездом! Однотомник мой, великомученный, задержали было, в который уж раз чего-то напугавшись, на сей раз рецензии в «Новом мире»! И сейчас, говорят, опять ему ход дали. Комики и трусы!

Очень рад, что дела твои тихонько налаживаются, но ещё больше буду рад, если тебя «Известия» изымут с южных краёв, где, я понял по рассказам Ринки, живут сплошь плуты и дикари. С ними поживёшь, так и Салехард сказочным городом вспоминаться будет.

У нас весна никак не наступает, но каждому погожему дню радуемся. И жизнь течёт хоть необычная, но добрая.

Обнимаю. Виктор Петрович

20 сентября 1972 г.

(В.Г.Летову)

Дорогой Вадим!

Я только что вернулся с Оби. На этот раз с бригадой ух,

хорошей бригадой-то, по средней Оби крутились, пароходом и на вертолёте. Я при встрече расскажу тебе, что и как, а пока пишу, чтобы ты дал сигнал к отъезду. Мы можем поехать в конце сентября, начале октября.

Я очень себя плохо чувствую — гастрит обострился, а главное, поднялось давление и мне надо отдохнуть и воды какой-нибудь попить. А устал я и надсадился с одним художественным произведением, которое заканчиваю и скоро отошлю в журнал. И как вышлю, то буду свободен пока ото всех дел.

Затею с путёвками в Гагру пришлось оставить — мы не можем так надолго отлучаться из дому, а вот если бы ты подыскал заранее нам комнатушку через бюро какое-нибудь на двоих, было бы хорошо. Может, у твоей прежней хозяйки? Нам очень не хотелось бы тебя стеснять и отвлекать от работы. Словом, ждём от тебя сигнала — телеграмму, письмо, как угодно, и тогда собираемся и едем.

С книгой опять, кажется, всё накрылось по причине пессимизма, а и Бог с ним. У меня нет сил и на свою-то работу. Ну, будь здоров! Твой Виктор Петрович

1972 г.

(А.С.Филлиповичу)

Дорогой Александр Сергеевич!

Я слышал, что Вы в Москве. Значит, что-то сдвинулось в кино! Я тоже месяц назад, по просьбе своего несчастного режиссёра, побывал у высокого киношного начальства и порадовался тому, что я работаю в литературе и могу от кино не зависеть. У нас всё проще, доступней и, наверное, человечней. Когда со стороны посмотришь, конечно.

А на Новый год меня свалило в тяжким приступом — гриппом, а потом начались осложнения, которые и до се не кончились. Болезнь, как всегда, способствовала тому, что когда я смог глазом глядеть и башкой немного шевелить, то прочитал все рукописи, скопившиеся у меня. Первым я читал Ваш сборник и потом долго не мог отделаться от гнетущего чувства одиночества, тоски и какой-то волчьей зимней озяблости. Часто такого рода настроения и такие ощущения я списываю на болезнь — при гриппе все они появляются разом и долго не отступают. Остальную же часть всё-таки списываю на Вашу рукопись и теперь понял — прежде всего поэтому, отчасти исключительно поэтому. Вас и не печатают и печатать скоро не будут.

Конечно, Вы вправе мне заметить — настроение «духа» саму душу художника не придумывает — она одинока, и в рукописи

одинока. Правильно, Вы же ещё и усугубляете эту заунывную безысходность, часто неосознанно. В Ваших старомодно и неудачно названных рассказах столько смерти, тлена, старческой покинутости!..

Я понимаю, рассказы писались в разное время, и в это разное время Вы целиком выполнили, даже перевыполнили программу российского новеллиста, который вовсе уже и не русский новеллист, если: а) не напишет о собаке, б) о лошади, в) об одичавших и одиноких стариках, г) он не современный русский новеллист, если не напишет об истреблении (бесцельном, конечно) огромного и доброго зверя-лося и ещё о корове. Я тоже обо всём этом писал, и все мои друзья писали. Кажется, у меня ещё корова в запасе? А за лошадь я уж раза четыре принимался!.. Но спасло меня то, что об этом обо всём я писал не протяжении многих лет, и между этим были другие рассказы, как бы разбавлявшие роковую неизбежность тем русского новеллиста. Потом я научился кое в чём себе отказывать, то есть не касаться тем и предметов, которые как бы заранее обрекают на сочувствие и успех данное произведение (именно поэтому шибко очеловеченный белый Бим с чёрным ухом пользуется таким ошеломляющим успехом у нашего слабо подготовленного, но жалостливого к животным читателя). Именно поэтому я бы и не стал писать, а если бы написалось, никому бы не показывал рассказа о смерти одинокого пса и псовой одинокости его хозяев. Человек, так хорошо научившийся владеть пером, как Вы, должен взять себя за руку, как хороший ягодник не коснётся пусть спелых, пусть ярких ягод, оставляя их легкодоступными для ребятишек, коим пока ещё тяжело и жутко ходить в лес одним.

Вы меня поняли?

Ваши рассказы о людях (название «Смерть музыканта» — действительно худое и даже вычурное в данном случае и опять же плохо названный рассказ «История одной любви») — лучшие и наиболее цельные в сборнике. К ним присоединяется свежо (видимо, недавно написанное), этакое славное вступление к сборнику. Остальное надо как-то разбавлять, надо как-то освежать, а то ведь дышать нечем — такая духотища и тоска. Причём рассказ об охотничьей собаке написан в духе «Бима» — это когда собака очеловечивается до того, что и мыслит за человека и её глазами обсуждаются и решаются поступки человека. Но так как они всё же от собаки и совсем «по-человечьи» не может быть, начинается то хитренькое упрощение под хитренького Троепольского, когда поступки человека излагаются как бы со стороны и поверхностно — вот и гадай, отчего хозяин сделался таким. В мать свою сволочную удался, в

армии ли особачился? От роковой ли любви озверел до того, что собаку свою стрелять взялся!..

Всё слишком сверху нахватано, слишком везде в рассказах о животных этот самый натурализм и жалость эксплуатируются. А когда начинается о людях, появляется другая беда: разобщённость и житейская, и душевная. Есть она? Есть. Но так ли уж остро воспринимается и претерпевается, как нами — людьми пишущими и, жеманно выражаясь, интеллигентно чувствующими? Нет и нет!

Я много лет знаю свою деревушку Быковку на Урале — она постепенно вымирает, народу в ней остается всё меньше и меньше, но всё-таки мои быковцы (а у меня уже есть основания называть их своими) хоть и отдалены, хоть и шибко оторваны от остального мира — тоже тоскуют, и работой заняты, и загулять могут. А летом: грибы-ягоды, сено, дрова, да гости городские, — им не до тоски, однако, а то, что у них на душе, — они выскажут хотя бы моей жене и облегчатся, и живут просто, ненадоедно: попивая, сплетничая, помогая друг дружке. И мир их этот, и жизнь ихняя не нуждаются в нашем сочувствии. И не нужно навязывать им своё настроение, свой псевдоопыт и взгляд на жизнь хотя бы потому, что их «тёмной» жизни уже много тысяч лет, а нашей, «просвещённой» — и сотня не наберётся. Однако ж нам и сотни хватило, чтоб душевно разрушиться. Не верите мне, прочтите свой сборник — его написал если ещё и не разрушенный душевно, то смертельно усталый человек. Вот какие невесёлые думы были у меня после прочтения Вашего сборника.

Виктор Астафьев

1972 г.

(Н.Волокитину)

Дорогой Николай!

И я радуюсь тому, что стал ты членом организации, в которой имею честь состоять я и мои товарищи. Да, радуюсь, и не только потому, что, как говорится, руку к сему приложил, но и потому ещё, что верю в нашу захламлённую, не раз уже распроданную с молотка, замордованную и всё-таки живую литературу.

Счёт у нас пока ещё на единицы, однако эти единицы составляют сейчас суть и всё в литературе, и они в большей степени, чем рвущая зубами мясо и юный приспособленческая орда, влияют на формирование общества, на его совесть, честность и здоровье. Пусть внешне это ещё не столь ощутимо, как хотелось бы, но и не столь ничтожно, чтобы с ним не считались. Во всяком случае, я по себе знаю, как на меня и на моих друзей надеются, ждут многого от нас и боятся, чтобы мы не

предали свою душу и перо. А распродать то и другое и прожить лёгкую — вот лёгкую ли?! — жизнь в нашей литературе очень просто.

Вчера появились в газетах портреты Корнейчука с дежурными словами скорби. У меня был как раз режиссёр из Киева и сказал страшную, на мой взгляд, вещь — никто, ни один человек не помянул покойного добрым словом, все почему-то в день его кончины вспоминали о нём мерзости, а сам он, умирая от рака крови, кричал: «Отдам миллион, только спасите!» Вот и ни званья, ни миллионы не нужны сделались, как смерть подступила.

Всё это я к тому пишу, что нашёл ты путь сложный, трудный, трудности которого, сколь бы я тебя к ним ни готовил, будут всегда пробующими твой позвонок на прочность. Сейчас у тебя в душе праздник, в голове туман и рассеянность, как в половодье, — плыви в любую сторону, ведь просторно! Хорошее состояние, но оно пройдёт, начнётся работа, работа, работа. Тебе нужно очень много сделать и, прежде всего, в направлении самоусовершенствования. Жить нужно напряжённо, особенно периферийному писателю. Ему, горемыке, всё время приходится ходить с котомкой и нести груз той самой продукции, тех знаний и информации, за которыми в столице лишь стоит через улицу перебежать и вот они.

Не дай бог тебе заболеть чванством и самолюбованием, какая бы на тебя слава потом ни свалилась. Но не дай бог остаться робким и застенчивым провинциалом, которых у нас просто готовы на руках носить, потому что провинциал — он же ребёнок, которому можно и соску дать, и по попке похлопать ласково, и идти в нужную сторону научить, держась за руку дяди, ласкового дяди из журнала или издательства, который дни и ночи не спит и всё думает, как несмышлёнышу глазки открыть и ходить его ножками научить. Ходить надо самому, и как можно твёрже, говорить своим голосом, но как можно реже и только по делу. И помнить две заповеди — первая житейская: «Жизнь свою держи за узду, на жребий свой не ахай, и если тебя посылают в ... ты посылай на ...». Вторая — литературная:

Орёл был у нас председатель,
Зайчишка был наш издатель,
А критиком был медведь.
Чтобы быть российским писателем —
Ба-а-а-льшое здоровье надо иметь.

Вот и помни всегда о нём, о здоровье. Я вот с фронта его ещё немного привёз, а потом не жалел, развеивал и не всегда на работу, но было и на застолья. Конечно, я не жалею о том, чего

было не так уж и много — о гулянке, но вот хворать стал всё чаше, и хворь из-за стола надолго вышибает, а там уж и старость костями постукивает — через два года пять-де-сят! Третий день пробую садиться за стол, а и то накоротко, а сделать хочется ещё много.

Ну, написал я тебе семь вёрст, читай знай. Крепко тебя обнимаю. В добрый путь. Твой Виктор Петрович

27 декабря 1972
Вологда
(Е.Городецкому)
Дорогой Женя!

И за посвящение, и за поздравление, и особенно за цитату из «Экклезиаста» — спасибо. Эту цитату я пришпилю к роману, чтобы неповадно было тем, кто хочет и добивается того, чтобы властвовать над всеми и иметь себе даже на войне отпуск, пока умирают другие...

Кстати, книгу повестей, где есть и «Пастушка», выдвигают на Гос. премию на 1973 год, но это пока «тайна». Действие сие начинается в четвёртый раз, я уж было в дыбы, да Бондарев, бывший вояка, Ванька-взводный, умница и хохмач, смеётся: дают на четвёртый раз, говорит, мне на четвёртый дали!..

Где-то я слышал: что такое затурканный еврей? — это еврей-турок, а что такое затурканный русак? — это я, мудак! Веришь, нет? Как в Боржоми прочёл хорошую книгу «Великий человек», так с тех пор ни одной не прочёл. Правда, правда! Справа от меня уже три ряда книг на столе, в основном подаренных, и не могу прочесть — готовил том избранного. Как ковырнулся — батюшки мои, а говна-то, а мусора-то в тексте. Свою раннюю повесть «Звездопад» переписал заново, «Перевал» исчеркал до основания, а надо ещё предисловие, а надо и рукописи читать, и письма писать, и в Москву по делам съездить, и там, конечно же, напиться и неделю лежать, не поднимая головы, — контужен ведь, дурак, давление мгновенно подскакивает, да и глаз-то один всего видит и сдаёт, подлюга. Но живу и даже умудряюсь, в обшем-то, все почти сделать, в смысле почты, но уже с поздравлениями оплошал, поэтому у ребят у всех прошу извинения и всех чохом поздравляю.

А тут ещё упал и не упал, а прямо сказать, ё..улся, идя с базара, и отшиб нутренность всю. Видно, остарели там все кишки-то, и аж что-то треснуло и пискнуло в моём толстом брюхе, оказалось, почки отшиб — тоже неплохо!..

Женя! А ведь А. Романов раздухарился, и ещё двое вологодских парней, и просятся в Сибирь... А ну-ка, парень,

давай-ка посоображаем насчёт августа или начала сентября, но чтобы банда была небольшая и этих выступлений поменьше. Конечно, всё это можно сделать через Красноярское отделение Союза писателей. Но они же заставят выступать и речи травить, а мне их травить на любимой земле всё равно что в ухо лучшему другу по пьянке поссать. Мне на Енисее хочется сидеть на палубе, молчать, глазеть и слушать воду, а потом потрепаться бы маленько с хорошим человеком насчёт того, как тут хорошо и почему всё это хорошее губят мудаки, мои земляки и всякий блудный люд...

Виктор Астафьев

1973 год

27 января 1973

(Н.А.Горбачеву)

Уважаемый товарищ Горбачев!

Я внимательно ознакомился с перечнем названных книг, уже изданных в библиотеке «Родная земля», и с проспектом на 1974 год. Мне кажется, библиотека довольно полно охватила имена писателей, наиболее причастных к «теме земли», хотя некоторые произведения я не считаю лучшими в нашей литературе и достойными быть представленными в общесоюзной библиотеке, но это моё мнение, оно не бесспорно, и я на нём не настаиваю.

Однако же недоумение вызвало у меня отсутствие таких произведений (как среди изданных, так и намеченных к изданию), как «Привычное дело» Василия Белова и «На Иртыше» Сергея Залыгина, а также, к примеру, и произведений Анатолия Знаменского из Краснодара и Валентина Распутина из Иркутска. Думаю, отсутствие произведений уже общепризнанных, получивших огромную прессу и известных читателю писательских имён — Белова, Залыгина Распутина, не могут заменить такие, как «Пласты» Грачёва либо «Белый свет» Бабаевского и др. Замена настоящей литературы второстепенной не делает чести ни библиотеке «Родная земля», ни планам общественного совета, ни комитету по печати, да и никому вообще. Просто массовому читателю лишний раз подсовывается книга серая вместо настоящей, делающей большое дело литературы, всеми принятой с любовью и почему-то игнорируемой нашим комитетом.

Я надеюсь, что это печальное недоразумение будет устранено и имена умнейших и одарённейших писателей нашего времени: Сергея Залыгина, Василия Белова, Валентина Распутина ещё украсят библиотеку «Родная земля», в противном случае моё

присутствие в общественном совете теряет смысл — я никогда не был склонен к тому, чтобы вместо хорошего произведения поддерживать посредственное и плохое, какие бы соображения высшего (читайте — перестраховочного) порядка тому не были причиной. Они не могут и не должны влиять на взгляды литератора так же, как и на само литературное движение. От этого нет никакой пользы, а вреда много.

Желаю всего доброго.

Виктор Астафьев

4 февраля 1973

(В.Г.Летову)

Дорогой Вадим!

Тут после месячного перерыва (все-таки угодил в больницу с осложнением - воспаление легких после гриппа) забрел я в Союз наш, а там никого нет и лежит куча газет, а сверху "Известия". Я возьми да и подумай: «Вот сейчас открою газету, а там очерк Вадима». Открываю — точно, есть! И очерк-то славный про буровиков и жизню ихнюю «романтическую». Всё-таки удел твой пока — очерк. На очень короткой и малой площади ты сумел много сказать, а главное — характер написать.

А тут мне предстояло готовить сборник юбилейный. Подумал я, подумал, да сам к нему и предисловие написал, чтобы снять с себя ореол некоего страдальца и оградить от праздного сочувствия и оков «за трудную жизнь». Жизнь как жизнь. Я на неё не в обиде. Она даже интереснее других получилась, может, во всяком случае — насыщеннее. И не надо было мне вытягивать из себя жилы, чтоб набрать на книжку материал, а только выбирать и всё. Постарался написать строго, спокойно и по возможности без той саморекламы, в которую ударились наши многие писатели, ещё при жизни жаждущие быть «классиками».

Кроме того, хотел почистить все тексты, «прибрать» их, вытереть сопли, смести мусор, и оборачивалось это неожиданностями. Некоторые вещи, например, «Звездопад», переписал почти заново. Если увидишь мою «Излучину», не читай пока рассказ «Ночь космонавта». Испохабили рассказ-то, выщелочили всё, что составляло его суть: надо свою землю беречь и жить на ней как следует, ибо за нею пустота, тьма и ни хера там нету для жизни годного. Хотя ты ведь вроде в рукописи читал рассказ или нет? Память моя слабеть начинает, и весь я какой-то разваренный. Не успеваю отвечать на письма, рукопись сдал почти на три месяца с опозданием, а ведь вкалываю, суечусь. Господи! Неужели так рано старость наступает? Никогда я прежде не отставал и, дав слово, в лепёшку разбивался. Тут уж из

пермского издательства обеспокоенные звонили — не отдал ли я сборник в другое издательство? Всяк судит и рядит о жизни и литературе в меру своей испорченности.

Сборник я назвал спокойно и хорошо — «Вести». Моим читателям и друзьям посылаю свои лучшие вещи доброй вестью. Даже надежду слабую питаю, что пройдёт в нём «Пастушка» целиком.

Вадим, милый! А сколько же тебя «известинцы» всё же мариновать будут и эксплуатировать?! Когда они тебя во Сибирь сошлют? Вот уедете вы в Сибирь, потом ещё кой-какие друзья уедут, и я, наверное, тоже туда уеду. Что-то я хвораю тут каждую зиму от сырости, и на родину меня очень тянет. Прочитал тут про великого земляка Сурикова Василия Ивановича. Тоже вот в Москве жил, мировую славу имел и денег много, а всё мечтал в Сибирь вернуться, в Красноярск. Такая уж это наша болезнь сибиряцкая.

У нас Ринка всё чего-то никак нигде не приткнётся. В Удмуртии ввели в университете удмуртский язык. На хрена он ей сдался? И куда её ещё посылать? В Сибирь, наверное, на родину мою, там, может, повезёт. Сегодня приезжает на каникулы Андрей, а до сего дня жила тётушка Марии, этакий славный шустрый человек, опрятный. Та самая тётушка, которой посвятил я рассказ «Курица не птица».

Обнимаю тебя, твой Виктор Петрович

8 февраля 1973

(В.Юровских)

Дорогой Вася!

Уже давненько пришло Ваше письмо, но я болел и продолжаю болеть (осложнение после гриппа) и лишь недавно начал садиться за стол.

Мне близки и понятны все Ваши слова и мысли. И надо мной когда-то диковалось быдло, то в лице начальника литейного цеха, то газетного царька районного масштаба... Люди эти, как правило, невежественные, завистливые, своих баб боятся, пьют под одеялом, только втихую слушают «Голос Америки», маринуют грибы, садят викторию, посылая на рынок родную мать поторговать ею, шлют деток в музыкальную школу (а мать живёт на кухне), сплетничают с инструктором райкома, раболепствуют перед секретарём и больше всего в жизни боятся потерять насиженное тёплое место, ради которого заложат что угодно — Родину, мать, жену, детей, даже яйца дадут себе выложить, и всё это на «принципиальной основе»!

Ах какое мещанство-то мы возродили взамен низвергнутого

пятьдесят лет назад! Не простое, а золотое! Большой оно крови и денег стоит!.. И затопит, задушит мещанство, как чёрной сажей, всё разумное, доброе, ибо, как и всякое зло — оно бесстыдно, бессердечно и ничего кроме себя не уважающее, а желающее только, чтоб вместе с ним, мещанином, все подохли, ибо он считает — на нём мир стоит, им и кончится.

Общество уже начинает расплачиваться за своё благодушие, думая, что, исчезло мещанство, умер обыватель, оставшись лишь у Чехова и Горького. Ан нет, он только затаился и, как кокон, превратился сначала в гусеницу, потом, сожравши светлые побеги дерева, окуклился и запорхал над нами нарядной бабочкой, имеющей высшее образование и рассуждения насчёт чести, совести и морали.

Ах, какая мораль, какая мораль! Вот уже и в литературе она восторжествовала — чем больше болтовни, суматохи, тем меньше стоящих книг, а значит и отвечать таким руководителям, людям бездарным, угрюмым, скаредам и демагогам, как Марков и Сартаков, ни за что не надо. Покойный Яшин как-то крикнул нам, молодым петухам: «Чего шумите?! Вам ещё деньги будут платить за то, чтоб вы не писали!..» Кажется, дело к тому идёт, потому что писать против сердца мы не приучены. Или же путь наш закончится так же, как у Рубцова Коли или Алёши Еранцева (я ведь знал его, встречался с ним раза два на разного рода сборищах — молодой, умный парнишка был, что он, повесился, что ли, если бы не затравили?). За последние годы много уж перевесилось и перестрелялось... В Сибири лет пять назад повесился мой школьный учитель, поэт Игнатий Рождественский. Этакий был восторженный человек и патриот. И на вот, залез в петлю! Думаю, что молчание не убавит жертвы в литературе, а наоборот...

Рассказы Ваши я ещё не читал. «Новый мир» после ухода из него А. Т. Твардовского принципиально не выписываю, а в Союз не могу пойти — тяжело подниматься по лестнице. Но наша секретарша обещала найти и принесть.

Вот пока и всё. Работа у меня всякая стоит. В № 12 «Нашего современника» за прошлый год напечатана дорогам мне вещь — «Ода русскому огороду», она хоть и усечена, но многое из того, что я хотел ею сказать, осталось. (Это всё, что я сумел сделать за прошлый гол!) Посмотрите.

Желаю Вам и семье Вашей здоровья. Пишите и работайте больше, пока есть силы и здоровье. Всего Вам доброго! В. Астафьев

12 марта 1973 г.

(А.Г.Зебзеевой)

Дорогая Аля!

Посылаю тебе сказочку Вали Петровской — это та самая девушка, которая без рук и без ног и которую однажды я рекомендовал с очерком в «Молодом человеке». Увы, она так и не поддержана никем и одинока, а я-то думал...

Впрочем, что тут думать — общество наше погружается всё глубже в тяжкий обывательский сытый сон и в равнодушие, до убогих ли тут?!

Прошу тебя, Аля, приспособить эту милую сказочку. То-то радости будет у одинокого человека! Я маленько сказочку эту подправил. Первый экземпляр повезу в Москву, может, в «Мурзилку» приспособлю.

Еду завтра. А так всю зиму проболел и вот с полмесяца как стал работать, но «паров» ещё мало, точнее «пары» уж не прежние, хотя телеса и раздались вширь.

В мае мы с Марией Семёновной, точнее, в конце апреля двинем в Быковку — подышать весной и поработать, тогда и поговорим о житье-бытье, а пока приветы всем от меня и Марьи Семёновны. Что с «Пастушкой»? Пора бы ей уже выйти.

Ну, бывайте! Ваш В. Астафьев

1973 г.

(Н.Волокитину)

Дорогой Николаша!

Сегодня я купил тебе и себе, конечно, по нескольку разнообразных пластинок, и серьёзных, и душещипательных, памятных по детству, для разнообразия настроения. Надо сказать, что от моего южного настроения не осталось и следа — всё взяла текучка, почта, какие-то сумбурные, никому не нужные дела.

А на дворе слякоть, мразь. После холодов лёгких и белого снега раскисло всё, туман, сырь, все кости болят и на душе такая слякоть! Не знаю, куда бы себя дел. Из рук всё валится, потому что ложь кругом, паскудство, и с годами видишь это отчётливей, переживаешь острее. Начал писать статью для «Избранного», дошёл до смерти мамы, и так стало плохо, так больно, так заболело сердце, что и жить-то уж как-то даже не то чтобы не хочется, а тошно. Пишу и поэтапно вижу, как разрушалась и уничтожалась наша семья, большая, безалаберная, и среди всех жертв самая невинная, самая горькая и невозвратная — моя мама.

А биографию надо написать. Пишут все и врут, либо нажимают на жалостливые и выигрышные моменты: «тяжёлое детство», «солдат», «рабочий» и вот вам — писатель, ай-лю-ли, ай-лю-ли, как его мы довели! Обрыдло всё это. Так маскируют

трагедию личности и литератора, значит, и всего общества, так охотно и поспешно теряющего свое нравственное и национальное достоинство.

Хочется с кем-то поговорить, поболтать. А с кем? Живу я всё же в чужом краю, с чужими людьми. А где они, родные-то? И Родина где? Овсянка? Это уже не моя родина, это лишь её тень, напоминание и могилы, заросшие крапивой, без догляду и слёз оставленные. Я только и плачу ещё про себя обо всём — и о Родине моей, и о могилах родных. А сколько их, слёз-то моих? Тут и моря мало, чтобы затопить всё горе людское.

Биографию я всё же напишу, пересилю себя. Большую, беспощадную, и из неё уж выберу сокращённое изображение для «Избранного».

Клею повести, правлю, пишу выступление к 50 годам, и страшное моё ощущение и отношение к этому — по длине жизни чувствую, что мне лет полтораста, и в то же время кажется: не заметил, как всё это было. Видимо, самый длинный отрезок времени — это юность. И отнятая, убитая, сожжённая, она пеплом своим стучит в сердце, требует какого-то возмещения, компенсации, но компенсацией может быть только сама юность, а она бывает раз. «Ах, юность, юность, нет к тебе возврата, не воскресить — зови иль не зови! На дне души светло и виновато лежат осколки дружбы и любви!» Осколки! Разве из них что склеишь? Я же не археолог, а всего лишь литератор, иногда впадающий в детство и умеющий более или менее выдумать юность чью-то. воображая её своей, и прилепить к этой воображаемой юности воображаемую любовь, потому что любовь есть самое естественное чувство, и изображённое на бумаге, оно уже становится словом, а слово есть всего лишь слово. Музыке ещё способно добраться до тех чувств, из которых берёт начало любовь...

Боюсь сбить тебя с толку, заразить своим нытьём — у тебя сейчас ведь хорошая пора. Ах, как я был счастлив в эту пору, хотя у меня был полон дом прожорливых ртов, и жилья не было, а всё равно петухом на заборе чувствовал себя, и хвост распушен!

Пиши, ради бога пиши! Это ведь я так, раскис. Очень уж болит все, раны ноют. И как мне хочется жить возле вас, возле Енисея! Я бы, наверно, вышел на берег, и мне бы лучше стало, а может, наоборот? Может, всё уж в воображении только, но я умирать всё равно в Овсянку приеду. Я тут начал писать поэму! Да-да! И называется она «Прощание с собой». В стихах. И серьёзную. Мне её надолго хватит, до смерти, она так и задумана, чтобы прощаться с каждым уходящим днём и с дорогими людьми, которые всё падают и падают, как солдаты на марше.

Отправляю тебе вместе с пластинками «Оду русскому огороду». Я уже подготовил расклейку сборника для Красноярского издательства. Дело за «Пастушкой». Жду письма —

не разрешат ли мне её издать в целом виде. Так хотелось бы всю целиком издать! Или всё же придётся по расклейке однотомника?

И ещё, Коля, просьба! Я в Томске покупал рюкзак орехов кедровых, но уже все исщёлкал. Судя по лету, нынче в Сибири должен быть урожай. Будь добр, пришли мне орешков. Привык к ним, и они как-то отвлекают и утешают.

Обнимаю. Ваш Виктор Астафьев

23 апреля 1973

(А.Войтецкому)

Дорогой Артур!

Вчерашний разговор не ободрил меня, наоборот — расстроил, и я почти до утра не спал. А тут работа над новой вещью идёт к концу, силы на исходе.

Знаешь, что мне не понравилось вчера, да и раньше не нравилось и настораживало? Вот это самое: «Витя, никому ничего не говори!..» Какие-то недомолвки, прятанье, хитрости и намёки — зачем мне всё это? Я ведь ещё во время разговора в комитете *[комитет по кинематографии. — Сост.]* понял, отчего завалился в первый раз сценарий — ты намеревался, да уже и начинал ставить «Вишнёвый сад», а мой сценарий держал на всякий случай, потому и не знали о нём ничего и никто в комитете... Теперь опять какие-то секреты, увертки постоянные, снова разговоры о деньгах! Вероятно, ты так и не поверил мне, не захотел поверить из объевреенного Киева, что я не хочу получать никаких денег, боюсь быть ими связанным.

В доказательство своей искренности могу тебе сообщить: я так и не востребовал недополученную мной тысячу рублей со студии Довженко за «Ясным ли днём», и вполне может быть, её кто-то присвоил. Мне на моё житьё хватает заработка прозой, и поэтому я и сейчас не хочу ничего получать со студии, а если переведут деньги, я их верну в бухгалтерию, либо положу на отдельный счёт и буду держать на нём с надеждой, что смогу всегда вернуть их. Кроме того, 28-29-го я на месяц уезжаю на Урал и перевод могут вернуть на студию по причине неполучения (на почте).

И всё это потому, что нет у меня ни от тебя, ни от студии никаких гарантий на то, что вы готовы и можете сделать фильм на уровне если не повести, то хотя бы того сценария, который я, а не ты предлагал для съёмок. Ты же лишь обстрогал мой сценарий, и он сделался вроде щуки — везде проходимым. Побудь одну минуту на моём месте и посмотри моим глазом на всё. При печатании в журнале повесть претерпела выкидыши и кастрации.

Предупрежденный и настроенный тобою, я многое обошёл и многое сам обстругал при переработке повести в сценарий, затем прошёлся по нему ты, уже с режиссёрским, а точнее, цензурным топориком. И теперь вот ещё предлагается мне: "подумать над этим", «заменить то-то», «выкинуть это»... Плюс к этому твоя твердая настойчивость поставить на главную роль 35-летнюю Аду Роговцеву, той осторожные намёки: «Вполне может быть, что я и вытяну», затем упорное стремление «украинизировать» героев, но так, чтобы это было «сладко». Отчего исчезли из сценария две хохлушки, имеющиеся в повести во время прощания, да и ещё кое-что...

Я живу не на Украине, и фильм должен делаться не только для украинцев. Мне на всю эту «национальную» гриппозную погоду начхать, и потому я не пойду ни на какие заигрывания по этому вопросу ни с тобой, ни со студией. Но... где гарантия, что ты, начавши снимать фильм и ставши его хозяином, не распорядишься во всём по-своему и не сделаешь такую штуку, что мне стыдно будет на люди показаться? Я хотел бы эту гарантию иметь хотя бы в письме от тебя и не хотел бы, чтоб темнили и хитрили вокруг первого моего фильма.

«Пастушка» — вещь долговечная, это-то я знаю твёрдо. И может ждать долго. Я — тоже. Подумай и ты: готов ли ты для работы над нею. Недавно один режиссёр, возжаждавший во что бы то ни стало снять что-нибудь из «Последнего поклона», отказался от этой затеи, признался, что «не созрел», и пошёл работать оператором к хорошему режиссёру, мол, «а потом уж... может быть...» — написал он в своём письме. Вот такая честность и прямота мне по душе.

И ещё. Я посмотрел «Ромео и Джульетту» не так давно. Шедевр. Шедевры и в мире снимаются не каждый день, но каждый должен к ним стремиться. А уж если и стремления связаны условностями работы, характером, жизнью и т. д., то наши киношники хотя бы должны понять после этого фильма, что молодых должны играть молодые, тогда половина успеха гарантирована. Вот такие мои мысли и соображения.

Со сценарием я ничего делать не буду и прошу не посылать мне никаких денег, пока не получу от тебя, желательно и от студии, на моё письмо прямого и внятного ответа.

Будь здоров! Виктор

1973 г.
(И.Соколовой)
Дорогая Ингрида!
Как раз сегодня, когда пришла от Вас телеграмма, я собрался

Вам писать. Раньше никак не мог — второй год нахожусь в страшной запарке, нет никакого роздыха, и запарку эту сделал я себе сам — добиваю новую повесть «Царь-рыба», делал пьесу и массу других текучих дел, не отдыхал нисколько — болит контуженная голова, скопилась масса рукописей и почты.

Недавно, болея гриппом, я взялся читать Вашу рукопись, а читаю я медленно...

У меня очень сложное, если не сказать — растерянное состояние после прочтения её. Я совсем не был готов к такого рода чтению. Прочитав «моя», я полагал, что буду читать книгу «о себе», то есть о Вас, которая не может быть неинтересной, ибо сам «материал» не позволяет ей быть таковой. Но вышло всё не так, как ожидалось. Книга произвела на меня удручающее впечатление. Что это? Мемуары? Исповедь? Самодоклад? Для мемуаров слишком мало оснований. О себе писать мемуары, видимо, надо как-то иначе, какую-то форму надо искать. Лекция, исповедь? Но тогда личный материал в ней , выглядит оказёненным, случайным, часто — давно известным по газетам и мемуарам маршалов. Но такого жанра никогда ещё не было, да он и невозможен, ибо докладывающий о себе человек, хочет он того или нет, впадает в самовосхваление, а где и в бестактность по отношению к близким своим...

Часто Вами поминается Островский. «Как закалялась сталь» — эта книга уже набила мозоли на наших мозгах, но тем не менее, пусть она и плохо написана, да в ней найдена форма повествования от третьего лица, герой имеет отличную от автора фамилию (это уж стараниями всевозможных лизоблюдов, демагогов произведено полное, безоговорочное слияние героя и автора, что сам он едва ли согласился бы с этим живой да в здравом уме и памяти). У Вас, да и в любой вещи, где есть «я» — оно, это «я», ко многому обязывает, прежде всего к сдержанности, осторожности в обращении с этим самым «я» (главное, необходимо изображать, а не пересказывать. У Вас поначалу семнадцатая артдивизия находилась на марше... Но это именно наша бригада, вооружённая гаубицами образца 1908 года системы Шнейдера, выплавляемыми на Тульском заводе (гаубицами, у которых для первого выстрела ствол накатывался руками и снаряд досылался в ствол банником), оказалась на острие атаки немцев. Сначала нас смяли наши отступающие в панике части и не дали нам как следует закопаться. Потом хлынули танки — мы продержались несколько часов, ибо у старушек-гаубиц стояли сибиряки, которых не так-то просто напугать, сшибить и раздавить. Конечно, в итоге нас разбили в прах, от бригады осталось полтора орудия — одно без колеса и

что-то около трёхсот человек из двух с лишним тысяч. Но тем временем прорвавшиеся через нас танки встретила развернувшаяся в боевые порядки артиллерия и добила вся остальная наша дивизия. Контрудар не получился. Немцы были разбиты. Товарищ Трофименко стал генералом армии, получил ещё один орден, а мои однополчане давно запаханы и засеяны пшеницей под Ахтыркой...

Был я и в Опошне, и в Катильве, и в Миргороде. Эти гоголевские местечки стояли в первозданной целости, с беленькими хатками, как и сёла вокруг них. Мы обжирались там фруктами и после страшного удара приходили в себя.

Были у Вас и ещё какие-то попытки хоть слабо изобразить, написать свою жизнь, потом они совершенно исчезли. Не знаю, возможно ли без изображения рассказать о чём-либо художественно вообще, а о войне и сложной бабьей доле на ней — в частности.

Очень гнетущее впечатление произвело на меня то, что рассказано о войне — виденье виденью рознь, как и память памяти, но какой-то привычный, газетный стереотип у Вас присутствует во всей книге, странно и, по-моему, нескромно названной.

Очень часто совпадали наши пути на войне: весь путь к Днепру почти совместный. Я был под Ахтыркой. Наша бригада оказалась той несчастной частью, которой иногда выпадала доля оказаться в момент удара на самом горячем месте и погибнуть, сдерживая этот удар. Ахтырку, по-моему, заняла 27-я армия и устремилась вперёд, оголив фланги. Немцы немедленно этим воспользовались и нанесли контрудар с двух сторон — от Богодухова и Краснокутска, чтобы отрезать армию, которую так безголово вёл генерал Трофименко вперёд.

Вы возносите до небес разведку. Я был один раз в разведке, ходил за «языком» — ничего похожего на то, что Вы рассказываете. Что это за разведка, где могут сразу погибнуть десять человек? Фронтовая? Но она ходит в глубокие тылы. Армейская — тоже. Дивизионная? Полковая? Так я и не понял: почему разведкой может распоряжаться, пусть и бездарно, какой-то хмырь, явившийся из тыла?

И вообще к концу войны чины всякие реже и реже появлялись на передовой — хотели выжить обзавелись бабами и комфортом, а на передовой их обманывали или пугали. За полгода я только раз видел газетчика на передовой, из нашей, дивизионной газеты «Сокрушительный удар», который, пощелкав фотоаппаратом, мгновенно смылся, хотя обстановка была далеко не смертельная. Никакого комиссара на передовой ни разу не видел, кроме

капитана Мартынова из нашего артдивизиона, он был совестливым человеком и, зная, что солдатам не во что завернуть табак, иногда приносил нам газету. Комиссар бригады товарищ Сафонов или Сафронов, точно уж не помню, нажил на войне брюшко и румянец, имел две легковые машины и первым, даже вперёд комбрига, мирового мужика, получил боевой орден.

На встречу ветеранов нашей дивизии приезжала какая-то шушера, обвешанная орденами и медалями, хвалилась подвигами, жаждая о себе книг и кинофильмов, а хватились их спросить мы, четверо солдат, в конце концов угодивших на встречу, почти никто из них на передовой и не был, там ведь убивали, ранили, там орденов мудрено было дождаться...

Днепровские плацдармы! Я был южнее Киева, на тех самых Букринских плацдармах (на двух из трёх). Ранен был там и утверждаю, до смерти буду утверждать, что так могли нас заставить переправляться и воевать только те, кому совершенно наплевать на чужую человеческую жизнь. Те, кто оставался на левом берегу и, «не щадя жизни», восславлял наши «подвиги». А мы на другой стороне Днепра, на клочке земли, голодные, холодные, без табаку, патроны со счёта, гранат нету, лопат нету, подыхали, съедаемые вшами, крысами, откуда-то массой хлынувшими в окопы.

Ох, не задевали бы Вы нашей боли, нашего горя походя, пока мы ещё живы. Я пробовал написать роман о Днепровском плацдарме — не могу: страшно, даже сейчас страшно, и сердце останавливается, и головные боли мучают. Может, я не обладаю тем мужеством, которое необходимо, чтоб писать обо всём, как иные закалённые, несгибаемые воины!

Сейчас, когда я Вам пишу, по телевизору показывают спектакль «Из записок Лопатина» в исполнении «Современника». Этому автору [Константину Симонову. — Сост.] всё даётся, всё нипочем! У него сердце не останавливается и не болит! Экая тёпленькая, удобненькая всем демагогия! Экая рассудительная война! Экая литература! Задача которой — забыть, что счёт нашей Победы — десять к одному не в нашу пользу (это официально!), да миллионы, десятки миллионов калек и умерших сразу же от ран, болезней и голода. Правильно, хоть и нечаянно кто-то из националов назвал этакую стряпню — таратурой. Именно таратура — иначе не скажешь!

Не знаю я, что Вам посоветовать. Кроме всего прочего, вещь плоха по языку, изобилует выспренними отступлениями «по поводу искусства», а об этом надо бы в другом месте, в другой раз. Здесь же место лишь судьбе женщины на войне и изувеченной войною. Где она, та женщина? В книге всего лишь

тень её, какая-то парадная вывеска. Надо, видимо, Вам написать о себе «для себя», вот тогда, глядишь, выйдет «для всех», а пока же всего лишь сумбурный набросок с претенциозным заголовком.

Я знаю, что Вам нелегко будет читать моё письмо, надо бы «повежливей» быть с женщиной, но литературу я ставлю на один шаг с тяжелейшей службой и мужской работой. Вы часто употребляете «фронтовики», «солдаты», а солдат перед солдатом не должен кривить душой, мы, во всяком случае, избегали этого делать на передовой, иначе все погибли бы. И вот я как солдат солдату говорю то, что думаю, а Ваше дело принимать — не принимать!..

Кланяюсь. Виктор Астафьев

6 декабря 1973

(В.Юровских)

Дорогой Вася!

Очень рад, что ты появишься в нашем журнале. Маловато, правда, они отобрали, но лиха беда начало!

Я вот уже скоро два месяца не вылезаю из-за стола, наконец-то смог выкроить время и для себя, но запустил все текущие дела. Передо мной лежит письмо Феликса Витольдовича Шпаковского — «счастлив писатель, который может получить такие письма!», сказал мой близкий товарищ, бывший у меня в ту пору, когда пришло это письмо. И потому не могу я отписаться на него «просто так», а на большое письмо не выкраивается времени — работа идёт к концу (пять новых глав «Последнего поклона»), силы мои на пределе, нервы суди сам какие. Я вообще изнашиваюсь сильно, когда работаю, даже и бабу не надо делается после страшного напряжения, через какое-то время начинаю прибегать к помощи снотворного, но я контужен сильно и встаю, как с глубокого похмелья, поэтому и снотворное стараюсь принимать в чрезвычайных случаях.

Однако погода у нас установилась славная, сухой морозец, нет сыри, так изнуряющей мои дыхалки, и я работаю, хоть не так прытко, как прежде, но сосредоточенно, напористо, и на душе праздник, а усталость, что ж усталость — это наш удел. Даже богатырь Толстой, умевший так хорошо отдыхать, жаловался, что он после каждой книги чувствует себя вконец разбитым, правда, он не чета нам, и книги писал толще и глыбже, да и ума у него было столько, что страшно становится, когда подумаешь, чего и сколько он видел и понимал...

Поклонись своим, Вася!

Обнимаю тебя. Виктор Петрович

Декабрь 1973 г.

(С.П.Залыгину)

Дорогой Сергей Павлович!

Сердечно поздравляю Вас с шестидесятилетием, несколько удивлённый, что Вам уже столько лет! Ваша моложавая внешность и звонкий голосок — немалая тому вина, да ещё и бег времени, сумасшедший, часто бестолковый, когда и свои-то года не видишь — как и куда улетают!

Прежде всего желаю я Вам крепкого здоровья и теперь уж навечно остаться тем, что Вы есть — совестливым человеком и писателем, коих после смерти Твардовского у нас осталось так мало. А Вы есть, и помогаете нашей не такой уж и здоровой литературе устоять на ногах, не потерять веры в совесть и порядочность человеческую, а значит, и писательскую.

Давно мне хотелось чем-нибудь отблагодарить Вас за всё то, что Вы делаете для нас — литераторов, живущих в провинции, и в частности за себя: я-то ведь знаю, что не раз на меня налаживалась облава и Вы её прихватывали в самом начале, не давая разогнаться «борзым кобелям». И вот, как мне кажется, написалась вещь, которую я, не стыдясь, могу подарить Вам — это новая глава — рассказ из «Последнего поклона». Как и все главы, она совершенно самостоятельная и в то же время какими-то нервами, а где и нитями связана со всей книгой *[глава «Пир после Победы». — Сост.]*.

Всего я — вдруг! — накатал пять новых глав! «Вдруг!» я обронил не случайно — вся книга писалась и пишется как-то внепланово и настигает меня неожиданно. И эти главы схватили меня на пути к совсем другой работе. Как когда-то сказал покойный Коля Рубцов: «О чём писать — на то не наша воля». Воистину так. Они, новые главы, заполнят «прораны» до «Где-то гремит война», после «Бабушкиного праздника». А та, что посвящена Вам, встанет за «Где-то гремит...» перед заключительной главой. Я много над этой главой работал, много себя в неё вложил — мне всё хотелось написать что-нибудь высокое, но не риторичное, не демагогичное о нашей, такой Великой и такой горестной Победе.

Саму Победу я встретил препаскудно, горько до слёз — после госпиталя был в Ровно, в полку по борьбе с бандеровцами, и стоял на посту у казармы в ночь с восьмого на девятое мая. Поднялась стрельба, крики, ликование, и я выпалил с радости вверенную мне обойму из винтовки, за что и был отправлен на губу дураком старшиной, да и проревел до вечера, одиноко лёжа на деревянных, карболкой воняющих нарах.

А хотелось написать о торжестве души, хотелось много-много дать свету, подурачиться хотелось, как мальчишке, на траве поваляться, отпраздновать, погоревать и подумать о жизни будущей — всё это в одном рассказе. Как я её, эту задачу, выполнил — судить не мне, но дарю Вам эту вещь от чистого и благодарного сердца.

Все вологодские ребята гордятся тем, что был у них Яшин, и скорбят, что не стало его. Я горжусь тем, что есть у нас Залыгин, и слово «земляк» поставил в том большом и братском смысле, с каким оно воспринималось и жило в нас всю войну на фронте, да и сейчас не всеми и не везде ещё захватано нечистыми руками.

Низко Вам кланяюсь, Сергей Павлович! Обнимаю Вас! Живите долго! Вечно Ваш по земле родной и помыслам. В. Астафьев

1973 г.

(Н.А.Драгану)

Дорогой Николай Андреевич!

Приветствую Вас и поздравляю с Новым годом! Надеюсь, что старый Вы благополучно отплавали, и теперь стоит Ваше судно пустое и грустное, а Вы проведываете его и, небось, уже тоскуете по весне, по путине и своей неспокойной работе.

Я давно собирался Вам написать, но так сложились обстоятельства, что ни Вам, ни в газету написать не сумел. Заболел воспалением лёгких, а когда вышел из больницы, закрутили меня дела и до сих пор не дают передышки. Надеюсь, в январе буду здоров, повезу в Москву рукопись. А тогда, расставшись с Вами в Туруханске, мы с Женей Городецким (ребята через несколько дней улетели в Красноярск) подались на Тунгуску. Комара была тьма-тьмущая, но я всё равно рыбачил, не сдавался, поймал десятка полтора сигов, с десяток хариусов, насмотрелся, надышался и вместе с Женей вернулся в Туруханск, затем три дня побыл в родной Овсянке и затем уж улетел домой...

В то лето поездка с Вами оказалась единственной, но не только поэтому я её так хорошо вспоминаю. Думаю, повезло нам, что с нами был такой общительный и славный капитан, прекрасная повариха и весь коллектив, какой-то свой в доску! — так и остались в душе родственные связи. Я очень прощу Вас и всех, кто есть из команды в Подтёсово, поздравить от меня с Новым годом и пожелать, чтоб все были здоровы, счастливы в жизни, скорой, дружной весны и всегда глубокой воды под килем!

По сей день перед глазами у меня стоят Осиновские пороги — ничего красивей я в своей жизни не видел и едва ли уж увижу. И вообще для меня нет красивей реки, чем Енисей. В моём рабочем кабинете, за спиной у меня, висит карта Красноярского

края, и я часто «путешествую» по Енисею — это помотает мне жить и работать. Работаю я сейчас над продолжением повести «Последний поклон», а потом продолжу работу над новой повестью «Царь-рыба». Её мне хватит надолго.

В 77-м голу в Красноярске выйдет том новых моих произведений, а пятидесятилетие своё мне очень бы хотелось отпраздновать в родных местах. Я постараюсь найти Вас, повидаться с Вами и подарить свою «толстую» книгу. А пока ещё раз поздравляю Вас и Ваших близких с Новогодьем!

Всегда о Вас тепло вспоминаю. Поклон заснеженному Подтёсово и всем подтёсовцам. Обнимаю. Ваш Виктор Астафьев

1974 год

4 января 1974 г.
(С.Задерееву)
Дорогой Сергей!

Тут у меня большой был завал в делах, и он не кончился бы, если б я не сбежал из города в глухое село, где меня и найти не смогут, а жене не велел сказывать, где я. Вот и прочёл там много скопившихся рукописей, в том, числе и Вашу.

Вы прислали мне уж очень много всего, в голове и памяти — каша, но всё-таки из этой каши что-то и задержалось в уме. Главное, что человек Вы, несомненно, способный, есть у Вас и слух, и нюх, и глаз приметливый, то что необходимо писателю, хотя чувство меры Вам иногда изменяет, склонность к какому-то слововывёртыванию встречается, но это всё пройдёт, будете больше писать — разовьётся вкус, и сами всё повычёркиваете манерное и заумное...

Вот что мне хотелось бы Вам сказать. Почти все, кого я, доводилось, обсуждал на семинарах, да и те, кто присылает рукописи на дом и в журнал, почти все (!) молодые пишут миниатюры и коротенькие рассказы. Ну, это они так называют, а там нет ни рассказа, ни притчи, а так, что-то приблизительное, мимоходом написанное. Что это — лень, нежелание перетруждать себя, перенапрягаться и работать в своё удовольствие, писать, будто цветочки собирать? Как Вы сами-то к этому относитесь? Многое из того, что Вы напечатали на машинке, есть не что иное, как заметки из записной книжки, мимоходные, часто необязательные в исполнении и не могущие претендовать на какой-либо из жанров, ибо есть они — ну штришок, заметка, чёрточка...

А между тем мне видится в Ваших коротких рассказах повесть. Да, да повесть! Они все в одном ключе сделаны, у всех

один настрой, и герои как-то бок о бок ходят. Надо их объединить сюжетом, притереть друг к другу и попробовать сделать повесть. Она, конечно, требует большого труда, сосредоточенности и просто крепкой жопы, но без этого всего нет и писателя. Вот и испытайте на прочность своё заднее место, поработайте, как следует, иначе так приучитесь ловить солнечных зайчиков, что Вам тяжело будет, а может, И невозможно переходить к формам и жанрам более трудоёмким. Человек Вы, повторяю, способный, но одних способностей в нашем деле ещё мало — труд, труд, труд и упорство — вот что ещё нужно.

Желаю всего доброго. В. Астафьев

P. S. Лично я пишу свои «затеси» только после серьёзной работы или в перерывах, удовольствия для...

1974 г.

Вологда

(Е.А.Лебедеву)

Дорогой Евгений Лебедев! (Извините, что запамятовал Ваше отчество.)

Это пишет Вам и посылает свои книжки человек, с которым Вы встретились в 1957 году на берегу Енисея, там, где ныне располагается не по заслугам воспетый молодой да ранний городок Дивногорск.

Тогда в качестве корреспондента журнала «Смена» начинающий писатель и уроженец этих мест был послан воспевать немало великих строек, а вы — бригада ленинградских артистов — развлекать строительную публику. Тогда там был великий бардак (он и потом продолжался, и по сю пору не кончился), и воспевать было особо нечего, царила там безработица, хаос, и вам тоже вроде бы развлекать особо некого было, да и не хотелось. Вы ютились в грязной комнате конторы, отданной норильским пионерлагерем гидростроителям, и я обитался по соседству, и молодой инженер, меня опекавший и просвещавший, всё толковал мне, что я всё равно «правды не напишу».

Правду и в самом деле писать трудно, однако в меру сил и способностей, Богом мне отпущенных, я описал тот великий бардак, что мы видели, и редактор «Смены», прочитавши моё творение, заявил, что я рановато туда поехал!

Я и позднее бывал там, и вообще на Родину езжу каждый год. Вот только что вернулся. Был в низовьях Енисея, рыбачил, съеден комарами дотла.

Тогда в Скиту (Знаменском), так зовётся то место, мы с Вами

как-то хорошо поговорили, и я с тех пор слежу за Вами и радуюсь Вашей работе, последнее, что видел, — это чеховские короткие рассказы по телевизору, которые Вы играли вместе с очень хорошим тоже актёром (фамилия у него грузинская). Хорошо, славно у Вас всё получилось. Я вообще-то Чехова не очень люблю, а такой рассказ, как «Дорогая собака», считал просто пустячком, и тем поразительнее Ваше искусство, когда Вы из пустяка... козюльку сделали!

Ну вот, в тот же приезд на великую стройку родилась у меня мысль написать повесть о моей Родине и родичах, дабы самонадеянным преобразователям и освоителям Сибири не казалось, что до них тут никто не жил. Жили! Жили, да ещё и какие люди жили!..

Так и родился «Последний поклон». И писался десять лет. Книга эта уже много раз издавалась, была в «Роман-газете», но я шлю Вам (из последнего!) издание отдельное, лучшее по оформлению.

К сожалению, нет у меня (не осталось дома) сборника моих повестей, однако к юбилею (мне весной стукнет 50 лет) выйдет однотомник, и я пошлю Вам его с радостью.

Я и раньше всё собирался послать Вам что-нибудь, да всё наша российская скованность, застенчивость, которую интеллигентностью зовут, мешала. Но вот пришёл «Экран», увидел Вас на обложке, и так чего-то захотелось поговорить и вспомнить...

Как я оказался в Вологде? Долго рассказывать. Письмо и без того затянулось. Работаю я сейчас над романом о войне и второй книгой «Последнего поклона», где-то, как подземный гром, начинаются и докатываются до меня известия о кино. Кажется, не ставили, не ставили, да сразу два фильма вроде бы собираются ставить. Но это так, между нами.

Низко Вам кланяюсь. Шлю близким Вашим наилучшие пожелания. Больших Вам ролей и удач, таких, как гоголевский Попришин — он меня потряс. Будьте здоровы. Ваш Виктор Астафьев

24 февраля 1974 г.
(адресат не установлен)
Дорогой Ваня!

Не ропщи ты на нас, грешных, что пишем редко, и не думай ничего худого — старимся, много хвораем и ещё больше суетимся, а меня заживо похоронили в рукописях графоманы и молодые, в меру талантливые писатели — облеплен рукописями, как горчишниками, и не могу справиться никак. Ведь каждому

молодому кажется, что пишет-то он один и посылает мне рукописи тем более один.

С большим трудом, лишь изредка могу заняться своим делом. Но я пишу тебе не для того, чтобы жаловаться, а вот для чё. Первого мая мне стукнет 50 лет. Хотел я умотать из дома в лес, в тайгу от юбилея, но нельзя, положение обязывает, иначе будет истолковано как неуважение к друзьям, властям и т. д., и т. п.

Но сразу же после праздников я, буде жив и здоров, умотаю в деревню, на Урал, а оттуда уж к выходу книги в Красноярске (Избранные повести) — и в Овсянку (конец июня — начало июля). Погуляем там с роднёй, попьём, попляшем и надо бы проветриться. Я помню, что от Дивногорска вверх по Енисею ходит «Метеор» и что езды до тебя 8 часов!

Так хотелось бы побывать у тебя вместе с супругою. Будешь ли ты дома в это время? Я ведь совсем не видел и не знаю верховьев Енисея — нужно не только для прогулки, но и для работы. Отпиши мне. Вот тогда и поговорим обо всём. А пока кланяюсь всем твоим, а тебя обнимаю. Виктор

Март 1974
(В.Юровских)
Дорогой Вася!

Пишу тебе коротко — приболел опять, да дело срочное одно пристало. Я ничего, кроме миниатюр в «Новом мире» и в «Нашем современнике» твоего не читал. Ты писал, что у тебя выходила якобы книжка миниатюр? И всё? Или что-то есть более крупное твоё напечатано? Если нет, то тебя просто не примут с таким «малым багажом» в Союз, и ты переживёшь большую душевную травму. Не лучше ли повременить и сделать всё наверняка, а? Я, например, оформлялся только наверняка, имея уже четыре книги и много публикаций в центральной прессе.

10—12 апреля в Москве состоится редколлегия по вопросу работы с молодыми — неплохо было бы, если б ты к той поре оказался у меня или в Москве, я б тебя представил С. В. Викулову, а он председатель приёмной комиссии. И, глядишь, всё бы у тебя и оформилось, а так всё же могут не принять. Ссылки на прежнее и есть ссылки, теперь принимают очень строго, и строгости эти распространяются в основном на русских Иванов, с периферии которые...

Я уеду из дома числа 8—9 апреля, имей это в виду. Я очень занят сейчас — извини. Твой Виктор Петрович

28 мая 1974 г.
Быковка

(Адресат не установлен)

Дорогой Николай! (Извините за фамильярность — забыл при встрече спросить отчество.)

Я пишу Вам из далёкого уральского села Быковки, куда забрался поработать сразу после пленума, да что-то не очень пока работается.

А пишу я Вам вот по какому поводу. Несколько лет мы с Евгением Ивановичем Носовым доводили до ума повесть вашего саратовского парня Виктора Политова. Когда вроде бы довели и настала необходимость её печатать — «Наш современник» без особых объяснений повесть отклонил, а автор, дописывавший уже и вторую повесть, духом ослаб, решил бросить писать, и стихи, и прозу, ударился в рыбаки, пить начал. А жаль — парень он очень способный и внутренне чистый, глубокий, судя по письмам.

Не напишете ли Вы ему письмо (адрес его в конце сообщу) и не попросите ли для ознакомления рукопись? Мне кажется, она Вам хорошо подошла бы, а Евгений Иванович Носов, читавший последний вариант повести, весьма высоко о ней отозвался, написал бы предисловие к ней.

Будьте любезны! Жаль, если талантливый и умный человек сделается забулдыгой, их и без него многовато.

Низко кланяюсь. Привет вашим саратовским художникам, гармонистам и коллегам по труду. Виктор Астафьев

28 мая 1974 г.

(В.Юровских)

Дорогой Вася!

Все твои письма с газетой, со стародубками пришли ко мне на Урал. Дочь переслала. А я здесь, в своей избушке, отлёживаюсь после юбилея. Загулял, брат, крепко загулял. Едва живой после пленума до Перми добрался, да так прытко! Утром ещё был в Москве, потом взмыл в небо и вечером уже шагал по полям к безвестной и дорогой мне Быковке, где убавилось ещё на два дома жителей и всего жилых осталось домов — шесть, в пяти из которых доживают свой век одинокие солдатки. Один мужик на всю деревеньку остался. Мне пришлось даже вспомнить, что я тоже был мужиком, и помочь одной бабе заготовить столбы на огород — заготовили двадцать шесть штук, и я еле приволокся домой. Устал. Вот интеллигенция толстопузая! Отвык от труда. Надо бы нашего брата время от времени на лесозаготовки принудительно гонять.

Здесь я собирался много чего понаделать, но увы... дал я согласие вести семинар на Иркутском совещании молодых

писателей. Байкал охота посмотреть, и дело всё свелось к тому, что читаю рукописи, правда, в большинстве своём любопытные и даже симпатичные, а писать-то некогда. Пятого июня надо уже отсюда уезжать, ибо 12-го начало совещания в Иркутске. Когда я здесь бываю месяца полтора-два, тогда успеваю наотдыхаться, написаться и даже по городу соскучиться, а так успел лишь написать заметку о Василе Быкове в «Огонёк» — 10 июня ему 50! — да сделать черновик очерка о жизни одной здешней бабы (с которой столбики и заготавливал). Худо дело — писать недосуг!

За газету, за статью и за рисунок спасибо! Шибко уж ты меня вознёс, и вообще шибко много я красивых слов наслушался за юбилей, до се прийти от них в себя не могу. А надо приходить, нормально себя чувствовать, чтобы быть спокойным в работе и не заноситься, даже перед собой, но самые красивые и хорошие слова услышал я в Москве — мне предложили издать собрание сочинений! Будет это не скоро — через четыре года. Говорю об этом рановато и только тебе «по секрету» сие говорю, да ещё от радости, которую удержать, как и в детстве, не могу. Бабушка когда-то говорила про меня: «Тёплое молоко в жопе у него и то не удержишь». А с детства мы ведь мало в чём меняемся, только взрослеть начнёшь, как тут тебе 50 лет и снова начинается детство, только уже не розовое.

Много чего мне нужно и хочется написать, в первую голову надо заканчивать «Царь-рыбу». Это мой святой долг. Июль-август вроде бы намечаются у меня свободными, спрячусь куда-нибудь и поработаю, а в сентябре в Польшу — там книжки мои издают, надо побывать.

Ну ладно, прощевай!

Прислал ли Женя Носов рекомендацию? Он (я спрашивал его) говорит, вернусь и пошлю.

А тапочки носи на здоровье, я нарочно их тогда не нашёл, чтоб не шлялся ты по гостиничному нумеру в носках. Я уж себе новые купил — две пары.

Главное, пиши, Вася, пока годы не ушли, пока ещё члены крепкие и азарт есть — пиши, потом труднее будет... собраться. Вот мне сейчас вроде уж лучше даётся писание, а всё чего-то не пускает к столу. Характер уж такой что ли. Вот В. Ф. Тендряков каждый день за стол в определённое время садится, и тут хоть мать родная с того света явись к нему на свидание, он её не примет. Это, наверное, надо быть очень высокого мнения о себе и о своём труде, я же всю жизнь самоуничижение своё одолеть не могу...

Ну, ещё раз обнимаю.

Виктор Петрович

Июнь 1974 г.

(И.Стрелковой)

Дорогая Ирина Стрелкова!

Я всегда и всех благодарю за доброе слово, где-либо сказанное о моей работе, как в старину благодарили за хлеб-соль, и ведь поддержка в работе нашей — работаю же! — и есть тот «хлеб» и та «соль», которой питается наш брат. И привил мне это качество не Александр Николаевич, а деревенская старая жизнь, где на драку — дракой, на добро — добром!..

Но так случилось, что я лишь теперь вот, в конце июня, прочёл Вашу,по-моему, очень умную и такую серьёзную статью, что даже я в ней вроде бы всё понял, особенно в начале. Хорошая статья.

Спасибо! Говна я написал много, и нет гарантии, что ещё не напишу, но понявши, что это совсем говно, я его, как правило в переиздания не тащу. Так что не всё Вы читали. Я работал и работаю очень трудно, пишу-то я, особенно черновики, быстро, много, лихорадочно, но только господь бог ведает, как эта бойкость письма даётся мне. «Пастушку» (я её люблю, как свою дочь — зло и больно) задумал ведь я ещё в 1954 году. Работал на областном радио, отстал от поезда на глухом уральской разъезде. С собой была книга «Манон Леско», я её прочел за день-то, и так она меня потрясла, что я в конце концов додумался: «А что если?..» Неужели, думал я, мы-то разучились любить, чувствовать, прощать и из наших отношений даже загадочность исчезла? Неужели романтичность-то нашу душу оставила? Но тогда конец! Тогда значит отставные майоры и полковники овладеют жизнью и конечно же из-за тупости своей и жирности мозгов погубят человека в человеке...

Словом, это я сейчас так «вумно» выражаюсь, а тогда мне хотелось просто написать о любви грешной и земной. Ведь в ту пору в литературе не только про постель, но и про то, что нас не в капусте нашли, писать считалось предосудительно.

Я, конечно же, и тогда понимал, что замысел мой опережает мои возможности, что надо учиться, ждать, накапливать силы, чувства, мастерство. И даже про отношения, те же хотя бы постельные, знать побольше полагается, чем знал и, увы, знаю я. Кроме того, с годами я всё больше и больше усложнял замысел, точнее жизнь, движение мысли и литературы усложняли его, и я уж трусливо стал надеяться, что замысел этот оставит меня, умрёт во мне, как множество других. Ан не вышло! Измучил он меня, истерзал. Рожать надо было.

Ох, а рожал-то как! Господи! Только двенадцать раз

переписывалась рукопись. А черновик написал в три дня, в деревне, перед смертью Александра Николаевича Макарова.

Конечно же, критики ругают вещь, и справедливо, но они не так бы на неё наскакивали, если б она была напечатана вся. Всего лишь страниц пятнадцать-семнадцать исчезло из неё, но как это много оказалось! Где-то получился разрыв в железной цепи, ведущей от звена к звену — Бориса к смерти. В рукописи всё железно, неумолимо в этом смысле. Сейчас вот «Пастушка» вышла отдельным изданием, чуть пополнее журнального варианта. Но ошибок, ошибок в ней! Я кой-какие поправил, отсылая книжку Вам. Но вот что интересно. Многое из того, что я написал, мне перечитывать тошно и не хочется, я и расклейку делаю, так прямо мучаюсь, читая. А вот «Пастушку», ехал в вагоне из Перми, читал и сам себе удивлялся и Люсю свою тоже полюбил, вдруг. То есть я её, наверное, всю жизнь любил, эту выдуманную женщину, а тут вот как-то совсем она мне близкой сделалась, до боли. Борис меня уже мало волнует. Заездил я его, и критики помогли его скомпрометировать, а Люсю почти никто не отгадал, и она вроде бы как больше «своя» осталась.

Вот так вот. Редко удаётся в наше время хорошо о себе и о своей работе подумать, а я вот в вагоне подумал и порадовался себе, даже слеза меня прошибла. Ведь если б Вы знали, в какое больное место пальцем указали! Как трудно, невыносимо тяжело стать, да и потом сохранять себя интеллигентом при нашем-то мужицком мурле!

И какая у Вас замечательная мысль (она не меня касается, а многих моих собратьев по перу), что начавши по-настоящему работать в литературе, мы не должны, не можем оставаться рабочими и крестьянами, даже в высоком смысле этих слов, мы, конечно же, обязаны стать, чувствовать себя интеллигентами и отвечать за это слово полной мерой, а не прятаться за спину разухабистого работяги. В восьмом номере «Нашего современника» идёт моя писанина «о себе» (к пятидесятилетию), там резко высказываю и подчеркиваю эту мысль, и поэтому не буду повторяться.

Ну-с, всего-то ведь не напишешь, да и не скажешь.

Весной я всё же поправился, уехал на Урал, там у меня в глухом лесном хуторке избушка сохранилась, и я засел писать всякую всячину, Написал много. Получилось что-то похожее на вторую часть «Последнего поклона», но лишь отдалённо похоже. Работа эта «промежуточная». У меня вчерне написанный лежит второй уже год роман о войне, на него надо много сил и времени — ни того, ни другого прошедшей зимой у меня не было.

Сейчас собираюсь на месяцок в Сибирь. Я без неё не могу

писать, да и дышать тоже — посмотрю, понюхаю, песен с родичами попою и на год заряжен. Надо бы и жить там, да боюся — азиатчины много и климат «преобразовали» так, что в Красноярске жить невозможно, а больше мне нигде жить не хочется (родное село в 18 верстах от Красноярска).

Ну вот, хоть и сумбурно я чего-то Вам написал и спасибо сказал — эта главное. Низко кланяюсь. В. Астафьев

9 августа 1974 г.
(А.Михайлову)
Дорогой Саша!

Ну вот, закончен труд, завещанный от бога иль от чёрта?! Знал бы, что он так много займёт времени и сил, ни за что не согласился бы. Работу затянул не по своей воле — в Сибири обострилась моя пневмония. Вернулся домой, подлечился, забрался на озеро Кубенское, раскачивался несколько дней, разламывался и только начал работать, как новая беда: обварил ногу супом! Деградация! Почти такая же, как у твоей любимой команды ЦСКА Таёжник! Рыбак! Знаток быта и жизни — сварил ногу супом! Ожог третьей степени. Сижу дома, а больше лежу. В лесу тьма грибов, а я их с базара кушаю! Во, интеллигенция?!

Саша! Беседа наша получилась такая, что от журнала потребуется определённая смелость, чтобы напечатать её полностью *[речь о беседе с А. Михайловым «Пересекая рубеж», опубликованной журналом «Вопросы литературы». 1974. №11. — Сост.]* как память о нашем разговоре, отражённом на бумаге. Говори в журнале, мол, авторы писали, авторам и отвечать, чтоб подписи их набирали жирно, и будет всё в порядке.

В сентябре собираемся с Марьей в Польшу, да что-то нынче идёт так всё наперекосяк, уж и не знаю — ехать ли? Документы-то оформлены и поехать надо бы — и для работы, и для обновления памяти, — ведь собираюсь всерьёз и вплотную заняться военной темой после «Царь-рыбы», которая перележала и теперь никак не даётся в руки. Однако добивать надо — написано много.

Чего нового в столице? Поклон тебе и всем твоим от меня и Марьи.

Обнимаю, Виктор

21 августа 1974 г.
(Б.Ф.Лапину)
Дорогой Боря!

Ничего я тебе прислать пока не могу, а что сумею прислать — погоди.

В Сибири, точнее, на пути в Красноярск (помнишь, дождь, холод), я подпростыл, а мне с хронической пневмонией немного и надо. Крепился какое-то время (водка, селёдка, нервы), а потом приступ. И свалился. Полежал маленько в больнице и при переводе из одной больницы в другую спрыснул домой. Здесь подлечился, начинал уже работать в деревне, но обварил ногу супом!!! И всё, — сижу уже давно, матерюсь, хожу на перевязки, а работать не могу, при такой боли не больно наработаешь. В сентябре же (если рана подживёт) еду в Польшу, следовательно, решительно смогу сесть за рукопись не раньше второй половины октября, следовательно, послать тебе главу для журнала смогу лишь зимою — вот такие семечки-орехи. Они есть уже, главы-то, но сырые, не отделанные, а сырые нельзя посылать, фирма не велит. И что ты с материалом так бьёшься? Прижми Сибирь, вот там сколько талантов! Одни иркутяне чего стоят. Я тут прочитал повесть Славы Шугаева «Пётр и Павел» — такая сила. Молодец Слава! И чего его ругают? Очень талантливый человек!

У нас погода грибная. Дождь с редкими проглядываниями солнца, грибы растут не только в лесу, но и в городе, в квартирах, особенно в старых деревянных домах. Второй оглушительно грибной год, и второй год я сижу или лежу в эту пору на койке, отращиваю пузо, которое, правда, стабилизировалось — ни взад, ни вперёд не идёт!

Ну, кланяюсь всем! Всё ещё в глазу моём стоят (или лежат?) цветущие берега Байкала, сплошь в голубых незабудках, с огоньками жаркое по голубому и крохотными черешками колокольчиков, да упрятавшийся в мокрых кустах бадан светится — такою и будет теперь помниться ваша земля, ибо иной-то я ее не видел.

Ну, пока! Обнимаю, Виктор Петрович

Сентябрь 1974 г.

Винница

(жене)

Дорогая, родная моя!

Ты, наверное, уж не знаешь, что и думать — не пишу, не звоню и почему звонила Света по моему поручению... Всё равно, чего бы ты ни думала, а на край только могла отнести то, что я заболел и тяжело. Вякнула на прощанье: «Ты только не заболей!» Да, я вот уж четвёртый день лежу в больнице с воспалением лёгких. А заболел и того раньше. Заболел — где-то не поберёгся, на сквозняк ли попал или то, что в Буге искупался, но, скорее всего — лёг в сырую постель без шерстяной кофты... Дом-то у хозяйки в Сокольцах кирпичный, летом не отопляющийся. Комната была у меня отдельная, всё тихо-мирно, для работы

условия идеальные, и места очень красивые, только очень сырые, как в Ходыженске когда-то, помнишь? Я уже на другой день почувствовал неладное, но подумал — из-за пищи, кою потреблял в местном кафе, гулял по берегу реки. 14-го числа я вовсе скис, но сценарий всё же закончил. Закончил и сразу свалился, температура 39. Сначала ещё подумал, что отравление, но ночью всё началось, как всякий раз при пневмонии: озноб, безумная головная боль, руки-ноги отнимаются...

Утром Артур бедный *[Войтецкий, кинорежиссёр. — Сост.]*, сам ангиной больной, набегался, пока в съёмочной группе Одесской киностудии добыл машину. Пятьдесят вёрст до города, да в городе. Мест нигде нет — всё забито. Его школьный соученик, профессор Шкляр, освободился лишь вечером (еврей, а мужик хороший, твёрдый, чуткий) — аж побелел, обзванивая всё и вся. К ночи уж меня увезли в санлечуправление (так здесь называется спецклиника). Положили меня одного в 4-местную палату, и сразу уколы и прочее. Правостороннее воспаление лёгких, сама знаешь, что это такое...

Гулять пока не дают. Но сидеть уже могу и хоть с перерывами, но пишу тебе. А отправлю, как будет возможность.

Дни идут. Как получишь сценарий, постарайся напечатать поскорее, из Киева постоянно звонят, просят, торопят. В лёгких уже делается лучше, к твоему приезду буду молодцом. Учти, в Виннице идут постоянно дожди и во дворах по колено воды. Захвати одну книгу «Повести о моём современнике» и одну «Роман-газету». Прочёл Женину повесть. Прекрасно! В ней он главного-то героя вроде бы как с Сельвёрстова списал — быдло это руководящее везде на одно лицо.

Напиши или как по-другому сообщи, что и как у вас. Как Иринка-то?; Моему студенту сегодня тоже будут драть гланды, оказывается, это не так уж и просто...

Если соберёшься ехать (только не спеши, что ты тут будешь делать одна- то?), то захвати мне пальто, шляпу, чёрные ботинки. Сегодня, если смогу, начну клеить сценарий — весь он в клочках, но пока не принимался, примусь уж после обхода. Вчера мои розочки завяли. Я их выбросил в ведро, а они прощально пахли так трогательно, будто последние печальные вздохи испускали. Мать Артура, Лидия Петровна, приносит мне цветы и фрукты. Вчера принесла георгины, а ты же знаешь, я их не очень, но эти такие, что я рот открыл: нежные, прозрачно-розовые с постепенно угасающим где-то в глубине цветка и на кончиках лепестков розовым сиянием, совершенно живым, осязаемым. И есть солнце или нет, они будто пронизаны насквозь солнечным мягким сиянием. В Виннице такие георгины только у одного знаменитого

садовода, и, хотя он человек, как о нём говорят, незлой и нескупой, корень цветка никому не даёт, это, говорит он, как моё дитё, моё создание, как же, мол, я его отдам?! Вот умру, тогда... Чудо! Чудо! Чудо! Я уж говорил Лидии Петровне, что Маня моя в штаны бы написала от восторга. Лидия Петровна хохочет.

Принесла она мне и «Современник», № 8, и газеты. Смотрел статью свою *[«Сопричастный всему живому» в журнале «Наш современник». — Сост.]*. В трёх местах всё же подрезали... И когда уж это кончится?!

Читал газеты. Оглушён суесловием: митинги, встречи, выезды — «рабочая тема», «тема труда». О, Господи! Как будто литература, отражающая жизнь общества, честно отображающая, осмысливающая, может обойтись без темы труда, хлеба, то есть без смысла жизни! Нарочно дробят, запутывают простые истины, загоняя тем самым литературу по углам, давая магистраль сиюминутным приспособленцам и бездарям, умеющим тут же и на всё откликнуться, отразить, «осмыслить». Чушь какая-то! Бред! И бред не стихийный, бред организованный, дробящий мысли и направленность творчества. Видать, худы дела у общества, коли оно хочет звоном колоколов заглушить обычное слово, обыкновенный человеческий голос! Увы! Увы! Среди звонарей на первое место начинает вырываться Юрий Васильевич Бондарев. Неужели и он курва?! Если так, то это уж и вовсе прискорбно. Да что делать — не он первый, не он последний, и «идут они, солнцем палимы», и орденами да тиражами покупаемы...

Маня! Я попробовал клеить, и клей-то мне Лидия Петровна хороший принесла, в тюбике. Да куда там! Весь я измазался, ножницы в плевательницу уронил, руки дрожат, лоб вспотел, раздражился я и скоро устал. Ты уж как-нибудь, по помеченным кускам-клочкам напечатаешь, а что невпопад или не разберёшь — допечатаем где-нибудь.

Ну, держись. А я устал шибко. Ложусь. Целую, Виктор

...Пришло от тебя первое письмо. Слава богу, теперь я в курсе ваших дел.

Артур вчера был у меня, сказал, что по телефону с тобой обо всём перетолковал, и, наверное, правильно сделал, что отговорил. Сколько мучительных хлопот только с билетами! Лучше соберись с духом да отдохни хоть немного после всех этих передряг, которые, если уж наваливаются на нас, то поленницей!..

Ничего. Бывает хуже. У меня от лекарств болит голова, и я почти не могу читать, лежу, думаю. Всё не идёт из головы судьба Марии Егоровны *[М. Е. Астафьева, бабушка по отцу, как называл её Виктор Петрович, «бабушка из Сисима». — Сост.]*, ибо надумал я в «Царь-рыбу» вставить рассказ о её последних днях, да сие от

меня ведь не зависит — думать или не думать, раз пошёл рассказ, значит, пошёл и избавиться от этого можно только написанием его — так вот лишь теперь, столь времени спустя, я полностью осознал весь ужас того человеческого падения и страшной трагедии семьи, которую заканчивали собой Мария Егоровна и Колька...

Что-то зловещее и в то же время закономерное было и есть во всём этом. А я несу «моральный крест» за всех их, Богом мне назначенный. Видимо, так нужно было, чтоб последний отпрыск семьи, первый внук, за всех их мучился памятью, душой и, мучаясь, пересказал их долю, в которой, кажется, все муки нашего народа отразились, как в капле утренней росы отражается свет солнца. Так уж всё банально, так обыденно, так похоже на всё остальное, что и сравнение банальное обретает банальный и оттого особенно трагичный смысл...

Я поправляюсь. Уколы почти все отменили, процедур добавили. Делают лишь глюкозу. Ты, пожалуй, не приезжай, лучше отдохни маленько. Тут ещё ремонт этот несчастный!

Я тоже малость мечтаю уже о починке: сесть бы с удочкой на бережок и подёргать окуней, может, и язь попадётся?! За грибами бы в бору побродить! Рыжики к той поре будут.

Читала ли ты Женину повесть? *[Повесть Е. Носова «Шопен, соната номер два». — Сост.]* Прочти. Какая сила! Женя становится писателем, с которым на всей Руси некого сейчас сравнить! Нет сейчас другого такого крепкого, убористого и честного писателя, как он да Вася Белов. Нету. Эстеты есть, пёстрые, вроде меня, а таких, цельных и целеустремлённых, — не знаю. Я написал Жене письмо, в котором сравнил его с боксёром Попенченко: уж он если поймает мысль какую, або идею, пока её к канатам не прижмёт, не добьёт до нокаута — не отпустит.

Врачиха у меня суетливо-заботливая, говорит, «через 5—7 днив усе буда добре...» Я говорю: «И домой, до старушки полечу?..» — «Га, там видно будэ!..» Значит, где-то после 1-го я всё же буду дома. А ты не езди, не мучайся., Я всё тут выполняю безропотно, слушаюсь всех, и поскольку настроил себя на лечение и терпение, то уж не так и сиротливо. Третий или четвёртый день уж нет дождя, аппетит налаживается. Я подстригся и побрился. Волосы коротко остриг, а то мыться пока нельзя и голова вся в перхоти.

Соседу моему, Сашку, вырезали гланды, и я всё видел и понял, каково было Викторовне. Жаль, что она курит и не понимает, чего творит — Сашка не курит и покрепче её, а вон сколько дней мается.

Я почитываю книги «Генерал Де Голль» и «Герой нашего

времени» — по- переменке и потихоньку. От «Героя...» я по-прежнему в неописуемом восторге, хотя вроде уж знаю его, а «Де Голля» открываю заново. Почти не пишу если не считать маленький кусок в «Такую долгую зиму», но уж не отправляю тебе, сам привезу — спешить некуда.

Лидия Петровна принесла цветы, я дописываю письмо, чтоб с нею отправить. Не беспокойся, постарайся быть умной — новые лёгкие мне все равно не вставят, а эти подлечат. Лечат здорово. Всем поклоны. Андрюшка пусть бережется, а то будет маяться, как я. Книжки и одежонку вышли.

Виктор

6 октября 1974 г.

(В.Юровских)

Дорогой Вася!

В один день пришли письма от тебя и Вити Потанина. Очень я рад, что всё у вас так хорошо пошло. Я безвылазно сидел в деревне,нога зажила, раскачиваюсь, начинаю работать, собирал боровые плоды, бруснику, удил — хорошо окунёк берёт. Выехал на съезд книголюбов, и в Москве меня подсекла весть о смерти Василия Макаровича Шукшина — земляка моего, которого я сильно любил и гордился им. Вот уж не везёт русским талантам и самородкам в особенности!

Мысли кислые какие-то. И нет их, мыслей-то. Снова еду завтра в деревню — мне и работа в горе первое лекарство. Будь здоров! Береги себя! Всем твоим юровчатам кланяюсь я и Мария Семёновна.

13 ноября 1974 г.

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Меня очень взволновало и тронуло Ваше письмо. Вы очень точно схватили суть происходящего в нашей литературе. А значит, и во всей духовной жизни. Ряженье в благородство, игра в «отцов родных» (я это называю: «не кнутом, а пряником»), улавливание душ нестойких, жизнью не битых. И они-то своей неосознанной и, что ещё страшнее, осознанной наивностью наводят «порядки» в движении мысли, определяют (или, точнее, пытаются совершенно безуспешно определить) нравственный климат общества. Но «класс», он не то что выпить не дурак, он тупо и молча спивается, вот уж тут неосознанно, придя к какой-то совершенно страшной форме сопротивления бездушию, цинизму и лжи.

Валя Распутин написал что-то совершенно не поддающееся моему разуму, что-то потрясающее по мастерству, проникновению в душу человека, по языку и той огромной задаче, которую он взвалил на себя и на своих героев повести «Живи и помни». И вот что страшно: привыкшее к упрощению, к отдельному восприятию жизни и литературы и приучившее к этому общество, неустойчивое, склизкое, всё время как бы пытающееся заняться фигурным катанием на самодельных коньках-колодках (которые мы оковывали отожжённой проволокой), оно, это общество, вместе со своими «мыслителями» не готово к такого рода литературе. Война — понятно; победили — ясно; хорошие и плохие люди были — определённо; хороших больше, чем плохих — неоспоримо; но вот наступила пора, и она не могла не наступить — как победили? Чего стоила нам эта победа? Что сделала она с людьми? Что, наконец, такое война, да ещё современная? И самое главное, что такое хороший и плохой человек? Немец, убивающий русского, — плохой; русский, убивающий немца, — хороший. Это в какой-то момент помогало духовному нашему возвышению, поднимало над смертью и нуждой, но и приучало к упрощённому, восприятию действительности, создавало удобную схему, по которой надо и можно любить себя, уважать, хвалить, и отучивало думать настолько, что на схемы и ещё на кого-то и чего-то мы начали вообще перекладывать Функции думания, и, что самое удручающее, если не ужасное, мы во многом в этом преуспели.

Жить не думая, жить свободно от снедающих дум о себе и о будущем (а мысль всегда была двигательной энергией в движении человечества), веря или уверяя себя, заставляя поверить, что будущее и без твоего ума обойдётся, тебе только и надо, что работать не покладая рук. оказалось очень удобно, но это развратило наши умы: лень ума, и без того нам присущая, убаюкала нас, и понесло, понесло к сытости, самодовольству, утешению и равнодушию. Но мысль неостановима: криво ли, спиралью ли, заячьими ли скидками она идёт, движется, и если закостенела, — пробуждение её болезненно, ужасно. Пролежавший в гипсовой форме человек с больным позвоночником, вставая на ноги нуждается в опоре, всякое движение в нём вызывает страх упасть, кости его берцовые упирают больно в таз, таз в свою очередь давит на рёбра, рёбра — на грудную клетку, а та — на шейные позвонки. Через великие муки и мужество должен пройти человек, чтобы вновь получить возможность двигаться, жить естественной, нормальной жизнью...

Сможем ли мы? Как далеко зашла наша болезнь неподвижности? Способны ли мы уже на те муки

самопожертвования, отказа от себя и своих материальных благ? Вот вопросы, на которые, хочешь не хочешь, уже надо давать ответы. Иначе гибель всем. «Хорошие — плохие» люди в военной форме уже своё отжили. Они существуют только благодаря законсервированности и косности человеческой мысли. Прогресс, а он в основном служит так называемым целям обороны, уже пошёл в наступление, и когда-то казавшиеся смешными слова о том, что «войны не будет, но будет такая война за мир, что камня на камне не останется», уже не кажутся смешными. Только разум, только пробуждение и возмужание человеческой мысли могут остановить всё это. И опять мучение, и опять боль — а у нас-то как? Худо, убого, мордовороты в науке и в литературе, да и во всей культуре были и есть сильнее мыслителей и их больше, но они страшны стали тем, что надели на себя те же заграничные модные тряпки, парики, золотые часы и сменили облик на этакого ласкового, добренького интеллектуала, который готов с тебя пылинки снимать чтобы ты только не ерепенился, был как все, служил общим целям, то есть плыл по течению, совершенно не думая и не заставляя никого думать о том, куда тебя вынесет и всех нас тоже...

Ой, дадут они Вале Распутину за повесть! Он не просто палец, а всю руку до локтя запустил в болячку, которая была когда-то раной, но сверху то зарубцевалась, а под рубцом гной, осколки, госпитальные нитки и закаменевшие слёзы...

Ой, Валентин, дух переведу! Я ведь сегодня с женой разговорился, и она сказала, что я не послал тебе (Вам) свою книгу! Я говорю — посылал, она — нет! Бог меня отметил кое-чем, Валентин, и прежде всего — памятью. У меня была до войны редкостная память, которая меня избаловала до того, что я ничего другого делать не хотел — ни учиться, ни трудиться — мне всё давалось просто так. Маленький, совсем малограмотный, я уже сочинял стихи и разного рода истории, за что в ФЗО и на войне меня любили и даже с плацдарма вытащили, но там, на плацдарме, осталась половина меня — моей памяти, один глаз, половина веры, половина бездумности, и весь полностью остался мальчик, который долго во мне удобно жил, весёлый, глазастый и не унывающий...

Работа в литературе, огромное перенапряжение всего себя (ведь одновременно и грамоту, и всё-всё надо было постигать) так меня износили, что потекли остатки памяти, а и с половиной того, что было, что не отшибло на войне, жил вольно, припеваючи — никогда много не записывал, сочинённое в лесу год-полтора назад восстанавливал до звука, когда дело доходило в писанине именно до этого, где-то сочинённого места. И вот... износ. Ночью

в бессонницу что-то придёт в голову, и такое ясное, простое — неохота себе и жене сон встряхивать. «Утром вспомню», — думаю и... засплю! Не могу вспомнить! Работать (а сейчас я как раз очень много и напряжённо работаю над «Царь-рыбой» — уже месяца два как), работать приходится уже с полным переключением в работу и только, стараясь не отвлекаться ни на что. А коли раньше хватало на всё, то и сейчас я, конечно, не могу от всего отвлечься, однако многое забываю и вот посылаю Вам свою книгу, и если уже посылал — простите меня за такой маразм и отдайте одну кому-нибудь, ну а если не посылал, то, значит, лучше поздно, чем никогда...

Книга издана на родине, к пятидесятилетию, в ней более полно (почти полно) напечатана «Пастушка». В книге масса ошибок — это отличительный признак наших издательств, особенно провинциальных, так что, если будете читать «станция Карасино», имейте в виду «станок», ибо там и дорог-то сроду не было... и т. д.

Ну вот, написал Вам, поговорил, и дальше за работу. Попутно шлю Вам библиографический справочник» на память. Он, кажется, вышел уже после Нашего отъезда во Псков. Знакомы ли Вы с критиком Юрой Селезнёвым, недавно закончившим аспирантуру и работающим сейчас в «Знамени»? Очень он хороший, умный парень, иногда нам удаётся с ним поболтать в Москве.

Сейчас я уже очень устал. Много сделал за два месяца беспрерывной почти работы, но ещё больше надо сделать, чтобы закончить повесть и приняться за трудные размышления о судьбе покойного критика А. Н. Макарова — человека талантливого, но загруженного машиной времени и измотанного ею до того, что лишь перед смертью он понял, что не тем занимался...

Ах ты! Ах ты! Живёшь, живёшь! В праздник погиб у нас на своей машине Коля Бурмагин, прекрасный график. Разбился весь, изуродовался, а в гробу лежит — мальчик мальчиком, только борода седая. Меня оторопь берёт от наблюдения последних десяти лет — все покойники, даже пропойцы, стали выглядеть в гробу красивыми и успокоенными. Коля Рубцов остановил на губах ироническую улыбочку: что, дескать, взяли? Я-то отмучился! А Вася Шукшин лежал в гробу с выражением некоего лёгкого упрёка. Ну, я уж совсем на минор перешёл, а мне ведь сегодня ещё работать! Двадцатого еду на редколлегию в Москву. Чуть развеюсь. Купил я себе избу на реке Кубене. Её сейчас ремонтирую. Вот когда-нибудь приедете, поговорим, а пока — низко кланяюсь в. Астафьев

1974 г.

(Адресат не установлен)

Дорогой Игнатий Иванович!

Не знаю, сколько пролежало Ваше письмо дома, — я был на Украине, занимался кином и оказался в больнице схватил обострение хронической пневмонии. Почти месяц пролежал в Винницкой области, в больнице на казённых харчах. А делали, точнее, доделывали мы с режиссёром как раз «Пастуха и пастушку». Режиссёр Артур Войтецкий давно мечтает экранизировать что-нибудь моё. Работа по рассказу «Ясным ли днём» уже накрылась. Он три года сидел без работы, ждал. Первый вариант сценария нам завернули (по «Пастушке») в комитете, всё уж замерло было, но где-то и что-то щёлкнуло наверху, и всё закрутилось снова. Я не думаю, что сценарий нам и сейчас затвердят — очень уж я поперечен и подлаживать материал под чью-то дудку не желаю. Однако и без того это ни разу не поставленное кино взяло у меня столько времени и сил, что я уж и плюнуть на сие искусство готов и буду заниматься своим «тихим» делом, хотя и относительно независимым.

Идея Ваша мне не по душе. Как это я «оживлю» Бориса? *[Героя повести "Пастух и пастушка». — Сост.]* Меня же мои друзья, честные писатели, мнением которых я дорожу, курвой назовут и правы будут. Кроме того, я уже понял, что сделать, как хочется и как мыслится, кинодеятели не дадут, тем более к пятисерийному фильму — большой работе — конечно же, будет особо подозрительное внимание. Не те сейчас времена, когда можно было бы сказать своё слово в кино. В литературе и то не дают, на верхушки и ширпотреб склоняют всячески, даже премии дают, только чтоб нос не совали в глубь земли, тем паче в душу человеческую.

Поживём. Подождём. А пока пусть мои повести живут своей тихой, но цельной жизнью. Не хочется их деформировать, подгонять под конъюнктуру времени, которое чем дальше, тем подлее делается. Повести уже отлиты в определённую форму и довольно с них. Короткий, но поучительный опыт работы в кино настроил меня пессимистически по отношению к нему, не стоит оно времени и сил, которых остаётся не так уж много. А замыслов много, и надо хотя бы часть из них реализовать. Для этого нужно быть собранным, не распыляться на посторонние, вовсе неблагодарные дела, какими я отныне считаю дела киношные.

Извините, коли расстроил Вас и раздосадовал. Желаю Вам всего хорошего!

Виктор Астафьев

20 декабря 1974

(В.Г.Распутину)

Дорогой Валя!

Поздравляю тебя и всех твоих домашних Новым годом. Все будьте здоровы, живите, дружно, и тебе пусть хорошо работается в новом году!

Я давно хотел тебе написать, ещё сразу, как прочел «Живи и помни», но сам сидел плотно за столом, всё ещё добываю и добиваю «Царь-рыбу», а он не больно добывается, уходит вглыбь, а оттуда, как тебе известно, и налим не больно-то скоро выудишь, вертухается, не даётся даже налим, а тут рыба да ещё и «царь»...

Очень ты хорошо написал повесть. Валя! Очень! Я такой образцовой, такой плотной и глубоко национальной прозы давно не читал в нашей современной литературе. Да и есть ли она? Есть приближенная к этой, но то ей неприбранность мешает, то нравственная неясность позиции автора, которому и хочется, и колется что-то сказать, да «внутренний цензор» мешает. Ты написал роман (конечно же, это роман) о трагедии войны, вот именно народной войны, а то у нас все это слово понимают и принимают в смысле массовости, но смысл всего происходившего гораздо глубже. Как-то на фронте слышал, уж не помню по какому случаю, сказанное умным человеком: «Молокососы! — это нам, юнцам говорилось. — что вы тут хлещетесь, под пулями работаете, надеясь, что потом вас на руках носить будут, помогут вам жизни. Ни хрена! Как всегда, победу отнимут у народа те, кто за вашими спинами скрывался, и чтоб её отнять у вас, поперёд вас и бедных баб высунутся вас с говном смешают, сделают безликой массой, принизят ваше значение оплюют ваш тяжкий труд на войне и в тылу...»

Примерно вот такое, в окопах, на передовой — там ведь нам свобода полная была, болтай чего хочешь. — начальство-то, особенно надзорное, берегло свои жизни и отиралось во втором эшелоне. Это уж потом, отнимая нашу победу повысовывалось вперёд столько всякого народу, что мы оторопели: вот, оказывается, кто подвиги-то совершал — журналисты, артисты, кинохроникёры, контрразведчики, тыловики всех мастей, а генералы так прямо носом земно рыли на передовой, ну а уж комиссары, те просто только и кричали: «Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд!» и грудью пёрли на врага, а мы лишь им помогали, пушки таскали, кур воровали, картошку лопали и вшей кормили ну изредка стреляли. Ну бомбили нас, убивали, ранили не по разу — экая невидаль, это совсем никому и неинтересно! У нас комиссар, замполит артиллерийской бригады, на фронте брюшком обзавелся, румянец на его щеках земляничный наспел,

ездил на машине, застеленной ковром, спал на простынях, кушал с отдельной кухни и ни разу — ни разу! — я его не видел на передовой, где нам курить завернуть не во что было, а уж о жратве и говорить нечего...

А как они в штабах выпячивали грудь, обнимали именем народа таких вот, как твой мужик, уставший от войны, — видимость работы, занятость свою на войне надо ж было где-то и на ком-то проявить. При переправе на плацдарм на левом берегу оставались три сотни чиновного люду, заградотряды поставили, все чего-то бегали, указывали, руководили, все в поту, глаза на лбу, а на ту сторону плыть-то и неохота. Ну, а уж о бабах и говорить нечего. Твоя Настёна в их общем ряду страдальческом только тобой понята и написана. Но концовка... (Викулов читал из письма твоего на редколлегии) и в самом деле скомкана, в сравнении с остальным обстоятельным текстом. Да и сам знаешь, Валя, что-то есть в ней от лукавого. Ты сам и виноват. Нигде не допустил сбою, везде был предельно точен и искренен. И вот... Ты знаешь, как запутано всё было В ту пору? Народ ехал куда попало, убегал от баб, а бабы от мужиков. Твоей Настёне с ребёнком, да и вместе с мужем затеряться было в любом леспромхозе — тьфу! — раз плюнуть. Туда брали кого попало и как попало.

Нравственное что-то, совесть, растерянность, неумение сдвинуться с меча не позволили? Но Настёна вон какую изворотливость проявляла до этого! Что-то тут надо доделывать, Валя. Что-то додумывать и придумывать, чтоб конец повести (романа!) был на уровне всей остальной вещи. Один въедливый читатель написал мне, что да, повесть Распутна это отдельно от всей литературы стоящая вещь, и долго ей жить, но всё-таки Распутин окончил трагедию там, где у Достоевского она только начиналась... Не во всём тут можно согласиться с саратовским читателем, но что-то есть в этих словах и в точку.

Но всё это придирки к большой вещи, сложной и, повторяю, лучшей из всего того, что мне доводилось читать за многие, особенно за последние годы. Писать тебе, Валя, дальше и дальше! Ты вон ещё какой молодой!..

А я всё живу воспоминаниями о Байкале! Очень хорошие несколько дней прожито, так и стоят в глазах горы с прожильями снегов, море цветов на склонах, росплески голубых незабудок. Толстой говорил: «Пусть она, эта цивилизация погибнет к чёртовой матери, вот только музыку жалко», а мне природу.

Цветы вот эти, пташек, почему-то особенно маленьких, и ещё ребятишек.

Я тоже купил себе дом в деревне, на берегу реки Кубены.

Конечно, это не Сибирь, не Байкал тем более, но и в этих сирых северных местах есть свои прелести и каждый цветочек тут уже видишь отдельно и ценишь особой ценой. Может бог даст, когда и побываешь у нас, Русь древнюю посмотришь — это тоже надо видеть. Художнику всё надо видеть. А мы с женою, если ничего не стрясётся, непременно побываем на Байкале и у бурят, и у вас.

А пока «всё смешалось в доме Астафьевых!» — дочь выходит замуж — это, брат, пострашней бомбёжки! Вот незаметно доживёшь и сам узнаешь. Пятнадцатого января Жене Носову полста — поздравьте его, хороший он человек... Отец-бродяга в Астрахани загибается, вот поеду к Жене и от него в Астрахань — писать художественные произведения некогда, всё время дела более «важные» отвлекают, не знаю, когда и закончу повесть.

Попрошу тебя, Валя, передай мои поклоны и поздравления с Новым годом Славе Шугаеву, повесть которого «Пётр и Павел» мне очень тоже понравилась. Володе Жемчужникову, Глебу Пакулову, Жене Суворову и всем знакомым иркутянам. Тебя ещё раз поздравляю с рождением прекрасного романа, всех нас с победой, крупной победой русской прозы, желаю, чтоб усталость твоя скорее проходила и ты начинал новую, ещё лучшую вещь, хотя лучше-то вроде и невозможно.

Братски тебя обнимаю и целую, твой Виктор Петрович

1974 г.

(Адресат не установлен)

Дорогой Евгений Павлович!

Спасибо Вам за письмо и предложение принять участие в разговоре по моей повести «Кража». В Игарке телестудия — это для меня неожиданная и приятная новость! Я не самый яростный поклонник телевидения, хотя и смотрю его почти ежедневно, однако считаю, что где-где, а на севере, в отдалённости, оно самый нужный и незаменимый собеседник.

Итак, о «Краже». Повесть вынашивалась долго, и чем больше появлялось сюсюкающих книг о сиротах и детдомовцах под названием «В родном доме» и т. д., тем больше охватывало меня желание честно и правдиво рассказать о том, что родной дом не может заменить даже самый образцовый казённый дом, что сиротство само по себе есть большое несчастье, калечащее человеческие судьбы, и что надо стремиться к тому совершенному обществу, где бы сиротство вообще было невозможно.

Любой человек, живущий в том или ином обществе, не может быть вне его, и даже отвергнутые от людей сироты многими, порой невидимыми нитями связаны со всем, что их окружает и

кто их окружает. Поэтому я не мог писать о детдомовцах изолированно от людей, от города, от мест, где они живут, растут и набираются ума-разума.

Одного моего детдомовского опыта явно недоставало для повести, такой объёмной по содержанию, событиям и судьбам людей, действующих в ней. Много здесь образов обобщённых, собранных по крупице, по чёрточке и с фронтовых товарищей, и с фэзэушников, и с соседей по госпитальным койкам. Таков, прежде всего, главный герой Толя Мазов. В какой-то мере собирателен и образ самого города Краесветска, хотя игарчане, особенно старожилы, многое узнают из того, что было и есть в Игарке.

Повесть писалась по памяти, а память, даже такая как у меня, может что-то утратить, подменить, заслонить дальние события и лица недавно виденными, употребить слова и названия, случайно где-то услышанные. Потому я и не придерживался строгой документальности в изображении людей и места действия — это всегда связывает руки, заземляет мысль, обуздывает фантазию, без которой проза лишается многоплановости, становится достоверной по материалу, но плоской и скучной для чтения.

Была ли кража денег в бане? Да, была, но ещё до того, как я попал в игарский дом-интернат. Но и при мне случались всякого рода кражи, драки и потасовки с городской шпаной, которую тогда в самом деле возглавляли Слепец — Слепцов и Валька Вдовин (с ним я даже водил дружбу и бывал у него дома). Вообще-то, вопрос «была — не была», «было — не было» не должен занимать читателя. Главный вопрос: так могло быть? И если читатель говорит «Да», значит, написано всё точно и достоверно — искусство художника не нужно путать с искусством фотографа — между ними недостижимое расстояние.

Но так уж всех читателей занимает вопрос прототипов, что я потрафлю их любопытству. Мария Егоровна Астафьева, жена моего деда, которую я звал бабушкой из Сисима, жившая во втором бараке на окраине нового города неподалёку от графитной фабрики, часто и с благодарностью вспоминала коменданта, который не дал загинуть многим спецпереселенцам в первую, страшную зиму. Он постоянно ходил по баракам, помогал словом и делом, в частности, помог и ей с ребятишками. Фамилию его она не помнила, да это и не имело для меня никакого значения, главное, там, в далёком Заполярье, был, нашёлся человек, который, не щадя себя, выполнял свой долг и проявлял человечность к людям, кои на заботу о них и доброту отвечали ещё большей добротой и самоотверженным трудом, иначе городу было бы не устоять, люди вымерли бы от цинги и бесправия.

В 1939 году (за точность не ручаюсь — я ведь в ту пору был мальчишкой) в Игарке умер секретарь горкома по фамилии Хлопков или Охлопков. Помню, когда его хоронили, был страшный мороз, и оркестранты грели трубы под мышками и под пальто, но трубы всё равно перехватывало, и они сипели. Какими путями я оказался около гроба — не ведаю, но меня поразило лицо покойного — скорбное и в то же время хранящее печать спокойствия и достоинства. Я прислушался к разговорам и речам — говорили о нём много хорошего, но мне показалось, что у покойного нет родных, что он всего себя отдал людям и что, может, это тот самый человек, который был в 30-х годах комендантом Игарки. С тех пор и начал во мне складываться образ, который и был написан под фамилией Ступинский. Увы, мало ему досталось места в повести у сюжета свои законы, своя дисциплина, он не даёт разбрасываться озираться по сторонам.

Репнин Валериан Иванович — это Василий Иванович Соколов. Всё, что нем написано в «Краже», действительно имело место в его жизни. Я слышал, что умер он в 1944 году, будучи директором школы в совхозе «Полярный», что на острове против Игарки. Его давно нет, но я до конца дней буду хранить о нём добрую память, поклоняться его человечности, уму, такту и обаянию — всё, что было во мне плохого, начал из меня потихоньку выкорчёвывать и взращивать хорошее — он! И ещё — Игнатий Дмитриевич Рождественский, работавший в ту пору преподавателем литературы и русского языка в школах Игарки.

А вот зав. гороно Голикова выведена под собственной фамилией, и портрет её ублюдочный в точности сохранён в моей памяти и написан в назидание тем учителям и воспитателям, которые полагают, что можно угнетать, притеснять и унижать детей безнаказанно. Дети всё равно когда-то станут взрослыми, и ещё неизвестно, что из них получится. А вдруг из них получится писатель, да ещё памятливый, да их в «комедию вставит!», как горестно говорит городничий в «Ревизоре». Маруся Черепанова написана под своей фамилией. Где она — я не знаю. Вася Петров, с которого наполовину списан Попик, работал одно время в посёлке Старая Игарка заведующим зверофермой. Зина Кондакова — это Зина Куликова, фамилия её по понятным причинам изменена и не надо её объявлять во всеуслышание.

Паралитик так и остался Паралитиком. Слышал, что блатняки отрубили ему голову в исправительно-трудовой колонии. Где Деменков и что с ним, я не знаю, написан он под доподлинной фамилией. Тётя Уля так и была тётей Улей. Добрейший, чудеснейший человек! Такими, как тётя Уля, мир держится, только мы, кого она кормила, поила и иногда по-

матерински бранила этого не замечаем и поздно понимаем.

Многие наши ребята погибли на войне, иные в трудах закончили земной путь — ведь нам почти всем уже за пятьдесят! Скоро будет пятьдесят и городу Игарке. Доживу — непременно приеду на этот главный для всех нас, старых игарчан, праздник.

Прощаясь со всеми вами, дорогие друзья, сообщаю, что работаю над повестью «Царь-рыба». Она тоже о Сибири, об Енисее, о родных земляках. Лежит начерно написанный роман о войне, ждёт своего часа. В замысле повесть о войне, фантастическая повесть, рассказы. В будущем году выйдет моя книга «Где-то гремит война» в издательстве «Современник», очередным изданием — «Конь с розовой гривой» в издательстве «Детская литература». Запланирована книга публицистики в серии «О времени и о себе». «По секрету» сообщу, как самым близким людям (писатели, как и охотники, очень суеверны), что в конце 70-х годов планируется издание 5-томного собрания сочинений.

Как видите, планов, замыслов и работы впереди много!

Вам, Евгений Павлович, и вашим сотрудникам — доброй зимы, здоровья успехов в работе и радостей в жизни! С Новым годом! Ваш Виктор Астафьев

Раз уж сам не могу, то посылаю несколько фотографий — они помогут Вам живее сделать передачу.

1974 г.

(А.А.Богданову)

Дорогой Альберт!

Я как-то спрашивал у Сергея Васильевича *[Викулов, редактор журнала «Наш современник». — Сост.]*, сызнова жаловавшегося, что печатать нечего. «Неужто, — спрашивал я, — из самотёка, нашего не отыскивается?» — «Ничего. Верь мне — ничего». Я не поверил и остался при своём мнении, да и не верю этому. Вспомните старый «Новый мир, все авторы, в том числе и ныне уважаемые «Нашим современником», оказались в нём из самотёка.

Просто у нас не умеют или не хотят — нет заинтересованных лиц в том, чтобы работать как следует с самотёком. Согласиться с тем, что в течение года ничего интересного не приходило с почтой, я не могу и не хочу — это значило бы согласиться с тем, что нация наша уж вовсе оскудела, что хорошие произведения высохли, как грибы в прошлогоднее лето от засухи.

Как свидетельство того, что с самотёком в нашем журнале работают наплевательски, спустя рукава, я посылаю Вам письмо Политова, рассказ которого доделывался по моей просьбе и указаниям несколько раз, после чего я разрешил ему послать его в наш журнал и заставил автора добавить (для нас же) повесть.

Все мои рекомендации последних годов журналом игнорируются, ни одна вещь не прошла, а и было-то их очень немного из потока рукописей, идущих ко мне, я выбрал лишь крупицы. Так или иначе, хотите вы того или нет, но таким отношением не только к авторам, мной рекомендованным, Вы ставите и меня как бы в умственно неполноценные, отобравшего неполноценные рукописи. А раз так, то и смысла мне нет работать на и для Вас, чего-то читать, фамилию свою оставлять «дежурной» на последней страничке журнала я бы не хотел. Соглашался идти в редколлегию работать, а не дежурить, и работать не для себя, и не в надежде, что авось ещё какого-нибудь провинциального горемыку удастся пристроить и напечатать, ибо уж совсем стало глухо и плохо работать провинциальным писателям. Мои вещи и без Вас найдутся храбрецы печатать. И мне по-прежнему жаль, что не удалось напечатать Филипповича с его великолепной повестью и рассказами: не удалось пристроить Ромашова из Перми, повесть которого, может, и не фейерверк, но не хуже многого из того, что мы печатаем. «Мы сами с усами» — как бы дают понять в редакции, но и с «с усами» печатают такое дерьмо, что за журнал и за свою, даже "дежурную" фамилию стыдно делается (я имею в виду хотя бы тот же рассказ Рослякова или убогие стишки Иванова из Ярославля), да и ещё кой-чего.

Наверное, я не смогу быть на редколлегии — лечу зубы, и на 24-е назначено отчётно-выборное собрание нашей писательской организации, но попрошу это письмо зачитать как моё

выступление, письмо Политова тоже зачитать, потом вернуть его мне. Стишки не читать (их он писал уж не от ума), хотя они на том же уровне, увы, на каком мы иной раз печатаем в «лучшем» журнале!

Виктор Астафьев

1975 год

Дорогой товарищ секретарь! (Извините, не знаю ни фамилии Вашей ни имени-отчества.)

Я надеюсь, Вы видели и читали в «Литературной России» (№ 52 от 27.12.74) публикацию рассказов покойного Вашего и моею земляка — Бори Никонова (на всякий случай газету посылаю). Прекрасному, даровитейшему от природы, мужественному юноше суждена была короткая жизнь и мучительная кончина. Но судьба так распорядилась, что иногда короткая жизнь бывает ярче и полезней людям и Родине, чем иная слишком затянувшаяся, тусклая, иногда и вовсе бесполезная.

Я пишу Вам это письмо не для того, чтобы заниматься философским» изысканиями, а с чисто практической целью — мне бы хотелось, как земляку Бори Никонова, любящему людей родного края и всё, что в нём есть истинно ценного, привлечь внимание краевого комсомола к удивительно редкой судьбе покойного юноши.

Пока он не избалован вниманием. Видимо, Вас, краевой комсомол, как и многих из нас, заела текучка, мы слишком привыкли к решению вопросов общих и глобальных, забывая, что какими бы те вопросы ни были глобальными и вообще всё, что есть и будет — вытекает из жизни и судьбы человеческой, ибо каждый в отдельности взятый человек есть уже мир, мир неповторимый и никогда вновь не возникающий... Придут тысячи, миллионы людей, пройдут годы, десятилетия, может, и столетия, но Борю Никонова, этого мальчика с капризными губами, девчоночьими ресницами и удивительно талантливой душой никто и никогда не повторит...

К чему вся эта «увертюра»?

Не знаю, как Вы, а я, глядя на юное, почти детское лицо Бори, снятое на мёртвую плёнку, читая его рассказы, стихи и этюды, ощущаю какую-то не объяснимую вину перед ним и его памятью. Ну, это бывало и будет. Благодарная память живущих перед умершими, вина перед ранними смертями, которыми часто оплачивалась наша жизнь и наше будущее — есть «кирпич» том основании, которому название — нравственность. И забота о

нашем нравственном фундаменте, о том, чья жизнь и есть «кирпич» в оном,заставляют меня обратиться с нижеследующей просьбой (можете считать её частной — но может ли просьба такого рода быть частной?) о том, чтобы Красноярский край ком позаботился вместе с другими молодёжными организациями края о увековечении памяти дивногорского юноши, который, уже будучи обречённо больным, вступил в комсомол и торопливо, пусть иногда и очень торопливо (его в этом можно понять!) попытался утвердить себя как личность, трудовую, творческую, созидательную.

Жизнь Бори Никонова, его мучительный, титанический в его и наших масштабах труд — должны стать известными молодёжи Сибири, а сама молодёжь должна сделать всё, чтобы память о юноше Боре Никонове не загасла, не затерялась в суете...

Предлагаю выступить крайкому комсомола от моего ли имени, от имени ли дивногорских комсомольцев с предложением:

1. Присудить Борису Никонову за его произведения (посмертно) краевую премию комсомола.

2. Краевому издательству, не торопясь, вдумчиво отобрать всё лучшее, созданное покойным писателем, и издать с хорошим предисловием книгу произведений Б. Никонова в хорошем и строгом оформлении.

3. Установить на могиле юного патриота стелу или положить надгробный камень от имени молодёжи Дивногорска.

4. Не забывать о том, что у Бори Никонова осталась многострадальная мать и безмерно любившие его родичи.

Словом, отнестись к памяти юноши с той заботой и отзывчивостью, которые он заслужил своей короткой, но удивительно мужественной и яркой жизнью, должной послужить примером для многих молодых людей нашего края. Сибири, может, и всей нашей страны.

Виктор Астафьев, писатель

11 марта 1975 г.

(Директору ВААП)

Уважаемый тов. Чернявский!

Я даю согласие на включение моей повести «Пастух и пастушка» в болгарское издание, но это моё согласие последнее. Прошу больше не обращаться ко мне с подобными просьбами и не отнимать у меня, работающего человека, время по той причине, что гонорарные условия, которые предлагает мне ВААП, считаю грабительскими. Думаю, что нигде ещё автора не унижали такой нищенской платой за переводы, как это делает ВААП на узаконенном основании.

При первой же возможности я попрошусь на беседу в ЦК и скажу там об этом или выступлю с общественной трибуны. Мне лично моя работа даётся тяжким трудом, и хлеб своей писательский я добываю остатками здоровья, потерянного на войне, и потому не могу и не хочу, чтоб меня обирали и обдирали, как оброчного пахаря.

Уверен и знаю, что моё негодование разделяют большинство работающих Писателей — слишком много посредников развелось меж писательским сто-лом и работодателем, и часто последние кушают слаще, спят мягче и, главке, спокойней, чем сами работники.

С приветом. В. Астафьев

15 марта 1975 г.

(В.Г.Распутину)

Дорогой Валя!

Всё-таки расхворался я после этой бурной поездки в Белоруссию и вот лишь поднимаюсь, собираюсь в деревню. На спектакль, устраиваемый «Нашим современником», и на редколлегию 30 марта — 1 апреля, очевидно, не приеду.

Есть у меня в Перми очень хороший друг — художник Женя Широков. Он когда-то написал с меня портрет, и независимо от того, я или не я на нём, портрет этот обошёл все выставки наши и заграничные, а теперь приобретён Третьяковкой и висит там. Есть у него и другие портреты и полотна огромной силы. Вот прислал он мне фотографии со своей новой работой, а она будто к твоей повести «Живи и помни» писана. Мне захотелось с тобой поделиться (фото он прислал несколько штук, да я у него ещё возьму), так что хоть и с подписью иной, а всё же прими. Там и Настёна твоя есть, ты её узнаешь, а ведь повести твоей он не читал! Вот как работает мысль и голова русская! Не знаю, как радость отдельно, но горе и радость, воедино соединённые, мы чувствуем едино, и как часто бывают традиционные и потрясающие совпадения.

У нас солнце, всё тает, плывёт, а в мае, говорят, будет и студёно. Мы уже мечтаем о поездке на Байкал, я закупаю крючки по заказу Глеба Пакулова. Всем кланяюсь и желаю доброго здоровья! Твой Виктор Петрович

7 апреля 1975 г.

(Ю.Алексеевой и Е.Капустину)

Дорогие Юля! Женя!

Вот сейчас, буквально минут пятнадцать тому, произошло маленькое чудо — с плеса, на котором мы с Женей рыбачим,

унесло льдину, Унесло вместе с нашими лунками, чьими-то брошенными мокроступами-самоклейками, с баночкой из-под политуры, с пустой бутылкой из-под дешёвого яблочного вина, которое в большой моде средь нашего народа, здешнего в особенности.

А вечера прямо против окон дома один здешний родом мужик поймал голавля и язя — потчевал меня ухой. Это его лунки были ниже островка, в разлучье, сделанном речкой, на которое ты меня звал, и там он накануне нашего прихода хорошо половил крупную плотву. Вот что значит знать место!

Ну а мы с Женей вчера-то ничего не поймали, оттого что всё время драло и тревожило льдину против деревни, которая вела в заречную деревню. Льдина оказалась против городьбы и конного двора, вся взъерошилась. Берег вспахало и подрыло раскрошенным льдом, и всё деревенское плёсо вклочь кругами и пластушинами искромсало, избороздило.

Вообще после твоего отъезда стоял лишь один погожий день. Я взбудоражился, думая, что источники и небесные тверди обрели успокоение. Взбудоражил Колю, и мы помчались на Сить, дабы доловить оставшихся после тебя, лютого хышника, окуней, но только вымокли до нитки под дождём и ветром. Вернулись к Коле домой, топили печь, сушились, даже водку для сугрева пили. Я-то, помня о своей бравой голове, выпил маленько водки, но много чая, отчего не мог уснуть до трёх часов ночи. А Коля набрался, бабу мою, и без того пуганую, стал пугать по телефону,

Утром я с автобусом уехал в Сиблу, топил печь, досушивался, потом принял снотворное и долго спал, вслушиваясь в свои лёгкие — воспаление меня, слава богу, на сей раз миновало, но под правой лопаткой всё же тупо болит, напоминая, что с хронической пневмонией особенно шутить не надо.

Маня моя в городе на хозяйстве, сулилась сегодня приехать. Вот уже скоро вечер — её нет. Где она? Что? Не сшибла ли в стремительности своей чего? Не сшибла ль кого, не расшиблась ли сама? Она у меня вроде теперешней речки Сиблы, бежит, ворочает всё на своём пути, бурлит, полноводится, пытаясь всем сделать добро, всех собою обмыть, обласкать, а потом успокоится и недоумевает — это чего же наделала-то? А главное — зачем?

Дождь лил всю ночь. Спал я сносно. Снились мне какие-то покойнички, строем марширующие по улицам иностранного города, и среди них безликие, тёмные девки в разноцветных косынках и на высоких каблуках. Маршировать им тяжело. Мостовая булыжная, туфли подворачиваются, а они бредут, бредут. Во сне же я и понял, что покойники, да ещё молчаливые, снятся в дождь не к лиху, а к успокоению.

Утром едва расходился. Истопил печь и сел работать. Сделал немного, только беру разгон в новой главе. Затем написал несколько писем. Писал, писал — глядь, с верхнего плёса пошла льдина, дыбится, ломается, кусты на пути гнёт и режет.

Пообедав, отправился на реку. Потихоньку пошёл я по берегу к устью Сиблы, соображая, где потом и как можно будет рыбачить. Пришёл к Сибле, она разлилась, затопила кусты, бушует, грязная, взъерошенная, издали шумит, словно большой поезд на железной дороге.

Стоял возле устья, смотрел на льдину, по которой мы недавно с тобой ходили. На краю её сидела ворона, и вдруг мне показалось, что она поплыла — я подумал, что доработался до точки, глядело моё совсем уж отказало, да и сама голова. Потом понял, что вороны — птицы хитрые и храбрые, тоже любят всякие развлечения: сядут, к примеру, на плывущую льдину и катят себе по течению, а как льдина ударится, подлетают вверх и довольно противно закаркают.

Но вот на той стороне вскипел белый бурун, донёсся шум. треск, что-то ахнуло, сломалось, и я увидел, что вся льдина двинулась, пошла почти незаметно глазу!

А под тем берегом всё больше шуму, хрусту, лёд всё набирал силу, скорость. Ворона взлетела, завихлялась. Скоро серая льдина ушла за поворот, и голая, тёмная вода вдруг выдохнула скопившийся подо льдом прозрачный пар, до зябкости ощущаемый кожей.

А речка, только что быв неживой, покрытой серым и мокрым, закружилась, забурлила, в ней и на ней оказалось так много всего скрытого толщей льда — и бурунчиков. и стрелочек, и каких-то холодноватых, но бойких светлячков, идущих от острова, два обозначилось...

Как прекрасна эта живая, трепетная река, пусть немножко холодноватая, тёмная и жуткая с виду, но тело её дышит, плоть, переполненная силами, куда-то стремится, чего-то ищет, ждёт. Снова я подумал о своей дочери на сносях, о том, что жизнь, как и чем бы её ни усмиряли, берёт своё, всё хочет рожать, продолжать себя и нас.

В это время над рекой прошёл и ниточкой вытянулся табунок уток, маленький, разбитый в пути охотниками. Он испуганно взмыл надо мной, и, пока не растворился в сонном и сыром мареве парящей земли, я всё его провожал взглядом. Отчего-то затрещал в кустах одинокий дрозд, на яру стояла на хохлившаяся пигалица и молча подозрительно смотрела на меня.

В поля из деревни слетелись скворцы, сели что-то клевать, они с самой утра радостно, несмотря на дождь, пели и трясли

остренькими крылами. От чего-то не видно и не слышно ни одного куличка, ни одной плёшечки.

Все же как часто я путаю эту бедную, в чём-то убогую землю с Сибирью и жду от неё того, на что она не способна, — вечное заблуждение человека болеющего ностальгией!

Я пошёл домой, оглянулся, река всё дышала, чуть растерянная, ещё не привыкшая к наготе. Я вспомнил Шукшина, его «Калину» и подумал, что вот так, наверное, как он сыграл, выходит арестант из-под конвоя на волю, делает выдох, удаляя из себя спёртый горький воздух неволи, и, громко топая вслушиваясь в вольные шаги, пока ещё не веря себе, идёт и идёт сам не знает куда, лишь бы идти, лишь бы слышать свои шаги, дышать своей грудью вольно! Ничего не знаю прекрасней реки, она заставляет жить, думать, куда-то стремиться.

Большая нам с Маней была, Женя, радость, что ты приезжал. Круг близких людей с возрастом сужается, но зато остаются в нём уж самые близкие. А после того, как я понял, что «вологодская школа», эти, в общем-то, талантливые, но по природе своей убогие люди на дружбу не способны, а лишь на эрзац её, видимость, на корешильство, которым я переболел ещё в детдоме и потому не могу судить людей за то, что они болеют детскими болезнями и умеют жестоко же, по-детски бездумно ранить людей, полагая в то же время что они необычно добры и щедры душой, — после всего этого круг мне близких людей сделался ещё ближе и дороже. И хорошо, что придумана бумага, на ней можно сказать всё, что хочешь, даже о том, что любишь человека, а тс так-то словами мы ведь не посмеем, стеснительны больно!..

В обмен на радость, доставленную твоим приездом, сразу и расплата — у моего доблестного папы умерла жена, «последняя подруга жизни», наверное, женщина терпеливая и добрая, коль она столько лет могла его выносить и терпеть. Я, к примеру, больше месяца с ним не выдерживал, но теперь вот надо будет ехать за ним, забирать к себе. Однако ж родителей не выбирают, и старость человеческая путных и непутных делает беспомощными равняет всех. Никто не знает, как он кончит свою жизнь, что ждёт его впереди.

Вероятно, ещё до праздников мне придётся уже ехать в Астрахань и на обратном пути просить тебя. Женя, встретить меня с машиной. Будучи Е Москве, я зайду иль позвоню, а сейчас берусь топить печь, варить, думать и скоро стану смотреть хоккей по телевизору — большое это мне здесь развлечение и отвлечение от писанины.

А перед окнами уже очистившаяся в наших местах река Стремень серебриться начинает. Куда-то хочется идти или ехать,

чего-то хочется найти, должно быть, счастье, а оно вот оно. счастье-то — вытаявшая трава, дождинки, сверкающие на ветвях берёзы и яблони, кошка, подкрадывающаяся к зоркой вороне, под горой живая река и мерцалой синью скрытое молчаливое манящее заречье! Неясные, вечные дали! Непонятное вечное беспокойство человека! И человека ли только? Всего живого, от травки до птицы, от капли малой до большой реки — всё живое, пока оно живое, куда-то стремится, чего-то хочет!

Обнимаю и целую вас, родные мои! Ваш Виктор

P. S. В деревне продаётся изба — подробности ещё не знаю, но, может, следующую весну встретим вместе. На берегу этой самой большой и красивой реки. Марья не приехала. Перепечатывать письмо некому. Не сумеете прочесть, приеду, сам прочту — оно писалось под настроение.

Май 1975 г.

(Е.И.Носову)

Дорогой Женя!

Давай-ка я тебя обниму побитыми, ревматизменными лапами, и помянем-ка мы средь ликующих толп, вспоминая солдатские пути-дороги, которые только в воображении современных классиков так прямы, победны и сплошь цветами усыпаны. Но они, классики-то, сплошь из второго эшелона и нам не родня. Меня грусть и печаль охватывают в День Победы, хочется молчать, и я не могу видеть радостных лиц, все они мне кажутся ненатуральными, кощунственными, да и как после Днепровского-то плацдарма я иначе могу всё это воспринимать?!

Пожелаю тебе здоровья, сердечный мой друг и солдат, сколь Богом отпущено прожить ещё и поблагодарить судьбу за то, что не зарыла она нас в "шар земной", а дала возможность ещё подышать, детишек слепить, друг с другом повстречаться, поговорить, рыбы половить, цветов порвать.

Я вот вчерась щучонку на спиннинг выдернул, а позавчерась голавля и ельца на удочку на глазах у изумлённой Марьи. То-то радости было! Тем радостней, что это первые рыбы, пойманные на новом месте, после ледохода и под окном моего деревенского дома!..

Сюда я забрался почти сразу после возвращения от тебя, выезжал лишь на свадьбу дочери. Вошёл в деревенскую жизнь, в работу, и понеси же меня лешаки в Белоруссию. И после гулянок свалился в городе Могилёве (и город-то выбрал соответственный), что едва со мной отводились, на одну ночь даже сиделку из больницы дежурить заставили. Во, герой!

Домой едва добрался, с месяц не только писать, а и читать-то не мог. Давление подскочило аж за 220, потом наоборот, низкое, как у земноводного (чуть не написал земновозного! И, пожалуй, правильней было бы!).

Ан и весна вологодская меня нынче с моей пневмонией угнетает — всё время льёт, льёт, всего пять дней за весну солнечных простояло. Сходил с ружьём в лес (у меня всё это рядом!) и прошвырнулся-то вёрст восемь, а бывало хаживал с ружьём по 40-50 километров за день, и скололо у меня всю спину, потом и грудь — едва домой приволокся. Но отлежался.

Очень здорово, что я домишко этот купил. Это моё спасение. Люди как озверели, пристают с просьбами, всё чего-то надо, всё чего-то празднуют, суетятся и вот не дают покою. Я и спрятался! Хрен тут возьмёшь, во глубинах-то болот!

Не помню, говорил ли я тебе, что «Молодая гвардия» планировала мне пятитомник, а комитет зарубил — не созрел, мол. Ну, я-то знаю, как «зреют». Надо поторговать именем, письмишки поподписывать, начальство похваливать. А «ху-ху не хо-хо?» — как говорил Василий Макарович, землячок мой. Есть вещи подороже пятитомников, в моём понимании. Я и без него проживу, без «собрания», зато спокойно в гробу лежать буду.

Из бытовых подробностей моей жизни радостного мало. Работаю немного. Ирина опять в больнице. У папы моего — бродяги — умерла жена. Остался один, больной, почти слепой, пока он в больнице, но скоро надо будет ехать за ним и брать к себе. Дети его о нём и слышать не хотят, как прежде и он о них. Мне ж надо выполнять мамой заказанный долг. Но на Байкал мы всё же поедем.

В остальном пока всё более-менее. Книга моя, изданная в Красноярске, помогла найти трёх содетдомовцев — уже всем за пятьдесят и все не верят, что они уже старики, как сговорились, пишут: «А жизни-то не видели».

Вот и все. Маня и я целуем вас всех. Не хворай! Вечно твой Виктор

15 июня 1975 г.

Сибла

(А.И.Щербакову)

Дорогой Саша!

Давно получил я саженцы, давно их высадил на своей вновь огороженной и теперь просторной и уютной усадьбе. Каждый день ходим глядеть на них — большинство сибиряков, как им и полагается, ведут себя жизнестойко и даже боевито, иные разъерошились и подались вверх даже маленькими шишечками, похожими на рябчиные отсидки-говёшки. Я посадил у себя штук

тридцать да наделил соседей, Толю-почтальона, Лариона Алексеевича, старика трудового и любопытного, который ещё выращивает здесь сибирскую облепиху из семечек. У всех кедры прижились — лето благоприятное, май и начало июня были очень жаркие, а сейчас дождливо, похолодало, но бывает и вёдро, парит от земли, и всё растёт хорошо, картошку уже окучили, едим давно свою редиску, салат, зацветают горох и бобы — жить можно!

А вчера пришли твои газеты — очень красивая цветная-то газета, и я сожалею, что мне её раньше не послали. Радостно издана, а по оформлению, так и с выдумкой хорошей. Прочёл статью и твоё маленькое предисловие. Ни о чём не беспокойся. Неловкости я не испытал, читая всё это, значит, и сокращения, и слово твоё искренне, уважительны (а писатель — «зверина» чуткий, он всякое неуважение или фальшь чувствует кожей). Так что спасибо за всё и присылай газеты дольше.

Кстати, мне звонили в город и предлагали возглавить эту самую пис. делегацию в Красноярск *[речь о традиционном литературном празднике тех лет «Енисейские встречи», очередной писательский десант в тот год возглавил Сергей Сартаков. — Сост.)*, но, во-первых, я не люблю ездить в родные и чистые для памяти углы родного дома в качестве кого-то иного, кроме как своего человека, а не представителя. Чего ж в нём, в своём-то доме, представляться? Тут надо посидеть, помолиться прошлому, поразговаривать за столом с родичами, а не красоваться перед аудиторией и говорить заданные слова; во-вторых, и это самое главное, наконец-то пошла, сдвинул я её, последняя глава «Царь-рыбы» *["Сон о белых горах». — Сост.]*, очень большая, в сущности — повесть в повести, и завтра, даст бог, я поставлю точку в черновике, и вся книга на разном уровне готовности глав будет уже в сборе, а дорабатывать, добивать я умею, воспитал в себе упорство и терпение долгими и многолетними трудами. Так что до поездки на Байкал уже более или менее книга будет в куче. Месяц поездки, отлежится, отстоится текст — ещё один на него заход, и можно будет показывать, нести «в люди», а там уж самая неприятная пора, работа в редакции, редактура, которую точнее бы назвать кастрацией, и т. д., и т. п.

Ездил я на четыре дня в Москву, готовил книгу в «Худ. литру», статью мы с редакторшей сделали построже, поделовитей и пошире, взявши кое-что из статьи «Сопричастный всему...» Вчера же пришёл из Новосибирска сборник «Сибирские рассказы», приятно изданный, на выходе книга в «Современнике». И ещё я купил себе машину «Волгу», чтобы было на чём ездить в Сиблу, жду сына из университета, он умеет водить машину, Так что всё,

слава богу, пока нормально: кедры растут, книга идёт, скоро поеду за отцом в Астрахань, а потом и на Байкал — отдыхать. Устал, надо сказать, сильно, только за последние недели написал свежих 100 страниц, что даже для меня много.

Ну, будь! Виктор Петрович

Июль 1975 г.
Сибла
(В.Г.Летову)
Дорогой Вадим!

Я очень обрадовался твоему известию об «Известиях», всё же ты заслужил и вымучил право работать в большой и серьёзной газете (в смысле хотя бы размера и тиража, а так-то все они у нас на один примитивный лад). И поздравляю тебя с назначением! Всё же везёт тебе на жаркие страны!

Я тебе не отписал сразу оттого, что пошла, точнее, я её стронул, последняя по написанию, а не по содержанию глава «Царь-рыбы», которая держала всю повесть два года и никак не шла. всё что-то мне, а значит и ей, мешало. Глава большая, по существу, повесть в повести, и лишь вчера я её начерно написал. Прыть уже не та. Мне покойный А. Н. Макаров говорил: «Виктор Петрович, не разбрасывайте себя и своё время, пишите, пишите сейчас, пока вам нет пятидесяти. Потом ох как трудно это делать!..» А я, конечно, не верил, и пятьдесят, мне казалось, цифра долгая, меня не касающаяся, ан коснулась! Вчера едва из-за стола поднялся — лопатки вроде бы срослись, руки онемели, в сердце колотьё и уж не бурная радость, а грустный вздох: «Ну, слава богу, кончил!» Говорят мужики, со временем так же будешь с облегчением вздыхать, переспавши с бабой. «Какая радужная перспектива!» — сказал бы современный интеллектуал из журнала «Юность».

Я уже писал тебе, что мы купили дом в тихой деревушке на берегу реки,здесь я нахожусь с декабря, много понаписал черновиков, в том числе три главы в «Последний поклон», ну и с «Царь-рыбой» уже многое сделал, хотя ничего не завершил. Весной-то устал сильно, встряхнусь, думаю. — поехал в Белоруссию. Народу тьма. Пьянка бурная. Ну и я в неё встрял, конечно, компанейский же человек! И так газанул, что в городе Могилёве (нашёл соответственное место) начал богу душу отдавать, так сильно подскочило давление. Ничего, отходили. Сиделка ночь возле меня просидела, молоденькая, ласковая девушка, всё как в гостинице.

После этого — шабаш! Ездил только на четыре дня в Москву,

редактировал книжку и бегом оттеда в деревушку свою. Ответно приглашаю всех вас (и не для проформы, а всерьёз), когда совсем вас закрутит, хоть маленько отдохнуть от жары на нашей умеренной и грустной русской земле — милости прошу. Изба большая, речка под окном, лес и вымершие деревушки вокруг, наше и деревенское радушие неизменно и вечно, надеюсь.

А я твоим приглашением, наверное, воспользуюсь, если будущая весна будет такая же, как нынче. Весь апрель, с перерывом на 2-4 дня, лил, моросил, сочился дождь, и я со своими лёгкими дошёл до того, что не мог уж шевелиться, работать и даже читать. Так было худо, что смерть уже не казалась чем-то пугающим и, как в старину, представлялась избавлением от гнетущего недуга. Потом-то всё прошло, было очень жарко, до 32 градусов, и я много работал, словом, ожил, на том и нынче держусь.

Много было и ещё есть работы с ремонтом и благоустройством дома. Моя Мария Семёновна и на голом месте, в пустыне дело найдёт, а тут тем более не даёт покоя ни мне, ни себе. От Вологды мы поселились в 90 километрах, всякий раз надо было кого-то просить нас везти сюда, опять быть обязанным, связанным, ну и решили мы купить машину. Деньги на неё были отложены, и всё подходил черёд и надобность потерять их, а я крестился, не давал. И бац! — предложили, и мы приобрели машину-то, «Волгу» тёмно-вишнёвого цвета. Сейчас стоит в стайке, где раньше корова стояла, и не мычит, не телится, ибо ездить-то на ней некому. Я не стану, ещё задавлю хорошего человека, отвечать надо, и главное, жалко будет человека-то. Ждём Андрея, у него есть какие-то правишки. А он тоже у нас подзавалился. Всё время учился на пятёрки, и защитился на четыре, а подвалили ему какого-то свеженького оппонента еврейца, и тот его укатал. Может, всё ещё за папу мстят, много рукописей и графоманов зарезал я в Перми. Меня не достать, так через дитёв. Время-то подлое, а интеллигенция всегда соответствует своему времени, особенно провинциальная, вшивая. Парень шибко переживает и — мама родная — всё в себе, тяжести на душе носит, не звонит, не пишет и домой не торопится, сам себе кажется покинутым, одиноким. Не в папу! Этот быстро наладит всё матюками, криком, чего-нибудь сломает, порвёт, напьётся, попоёт, поплачет и снова в строю!

Вадим! Я ещё тебе вот чего хочу сказать. В Ашхабаде живёт мой сокурсник по ВЛК Нариман Джумаев, лирик столь же славный, талантливый, сколь и красивый. Он давно меня зовёт приехать, а я никак не соберусь. Я знаю, как тебе будет одиноко без друзей, да и с туркменами надо как-то контакт налаживать.

Познакомься с Нариманом. Мне думается, я не ошибаюсь — он стоящий человек. Пожалуйста, не стесняйся, он иногда пишет очерки, рассказы, глядишь, и его организуешь.

Ну вот и всё пока, что забыл, извини. Если всё будет благополучно, в июне я съезжу за моим доблестным папой. Он овдовел в последний и окончательный, надеюсь, раз. Доживать ему в моём доме, дети его, родные мне по нему и неродные по мачехе, слышать о нём не желают. Он, надо сказать, заслужил это. В августе мы собираемся с Марией на Байкал. Надо как следует посмотреть на это действительно «священное море», пока его не превратили в помойку. Ну, а потом опять за стол добивать книгу, работать надо, иначе хана, замёрзнешь сам в себе.

Крепко тебя обнимаю, твой Виктор Петрович

Июнь 1975

Маня, дорогая!

Я третий день в Овсянке. Отмылся, отоспался в избушке у Апрони *[Потылицына Апраксин Ильинична, тётя В. П. Астафьева. — Сост.]*, а там тихо и спокойно. С Августой *[Потылицына Августа Ильинична, тётя В. П. Астафьева. — Сост.]* и Апроней был в лесочке, нашёл два стародуба и подснежников. Весна здесь затянулась, и потому всё цветёт смешавшись. Цветки отнесли на могилки, а на могилках живые жарки растут (Августа садила), и такие яркие! Цветов много всюду: на окнах, и магазинах и везде. А вчера Нюра с внуком *[Потылицына Анна Костантиновна. тётя В. П. Астафьева. — Сост.]*, Августа и я на лодке отправились на Усть-Ману, нашли Тоню Вычужанину [*односельчанку. — Сост.]* и весь день проговорили, говорили, вспоминали, смотрели. Живут они по другую сторону Маны, где когда-то был кордон, и — Господи! — до чего же там красиво! Конечно, отставные военные чины времени не теряют, расхватывают там землю и воздвигают себе дворцы.

Завтра с Витей Краснобровкиным *[односельчанином. — Сост.]*, нашим Юрой *[Потылицын Юрий Николаевич, двоюродный брат В. П. Астафьева. — Сост.]* и дядей [*Потылицын Николай Ильич, дядя В. П. Астафьева. — Сост.]* поедем на Ману на машине — Люба, дяди Колина дочь, достанет машину, Обратно двинем пешком. Надо бы уже ехать вниз, да нельзя — Августа собирается в воскресенье делать сороковины и не отпускает меня. Она всё ревёт, ревёт о Лийке. В Троицу собрались, посидели, она весь вечер проревела и нас расклевила.

По тону письма ты уж чувствуешь, что я отошёл, и не беспокойся обо мне. Я нарочно не пишу о том, что было. Но если

б не Галькин Виктор со своей машиной, я бы до сих пор носился по Красноярску и хлопотал. Словом, не дай бог всё это видеть даже со стороны, а уж страдать и переживать — и подавно...

Наши все тебе кланяются и жалеют, что ты не приехала. Зубоскалы всё такие же. За завтраком Апроня загнула матюка. Августа говорит: «Ты чего это материшься-то?» А Апроня: «А я люблю», — невинно так ответила.

И вообще, деревня наша как была забубённой, такой и осталась. Вчера Бобровские дрались, с гаком, матом — как в старые добрые времена. Дядя Миша тоже полез было драться, но зять ему так подвесил!

Ну ладно. Целую. Виктор

21 июня 1975 г.
Сибла
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Извини, что не сразу тебе ответил, не мог на письма выкроить время, всё бьюсь с «Рыбой» — ловлю её, давлю, ибо издательство ещё раз напомнило о себе, о договоре и пр. и пр., а я никогда себе не позволял разгильдяйства в литературной работе и в отношениях с работодателями. Вот и сижу. Сегодня ещё раз, как мне кажется, предпоследний, закончил правку большой главы «Уха на Боганиде», завтра съезжу в город к зубному врачу, и два дня, благодаря этому, у меня будет передышка, совершенно необходимая. До этого я написал самую большую главу начерно, ту самую, что меня держала, она аж на сто с лишним страниц выперла и при доработке дойдёт страниц до полтораста. Вся работа над нею впереди, но зато теперь книга в сборе и большинство глав на подборе уже, стало быть, видно, чего, как и куда править и исправлять.

Июль я ещё протрублю, а потом поеду на Байкал и ничего кроме удочек не возьму, ни единой книжки, ни рукописи, даже и ручку брошу, ибо устал, аж до скрипа каждой жилы в теле моём, хоть и толстопузом.

У нас стоит прекрасная погода. Я занимаюсь домашними делами и рыбачу, ибо Мария Семёновна уехала на Урал помогать сыну возвращаться из университета. Кроме четвёрки в диплом, ему ткнули ещё плохую характеристику, ибо грызся с дураками и лицедеями университетскими, и они ему давно ещё пообещали «устроить кое-чего» в ихнем просвещённом понимании. Пакость - есть лекарство, заменившее старичка-аспирина.

В тот день, как пришло твоё письмо, я писал в «Молодую гвардию» моему редактору и попросил его иметь в виду тебя

насчёт внутреннего рецензирования, так что если что получишь, не удивляйся. У меня с отделом прозы этой самой «Гвардии» очень хорошие отношения, и я ещё поговорю с завшей Зоей Николаевной Яхонтовой. Насчёт «Нашего современника» я не совсем в курсе. Чего, как там? Но в конце месяца сюда сулится приехать Викулов, и я узнаю у него. Если что, пошлю в отдел прозы твой адрес. В критике, видимо, всё ещё сидит тот молодец с обликом енисейского кержака — чуб от донских разбойников, глаза от тунгусских шаманов.

Есть возможность у меня потолковать насчёт рецензирования в «Знамени». Как ты на это дело смотришь? И брось свои интеллигентские штучки, когда дело касается хлеба! Надо его зарабатывать, иметь, чтобы хоть сколько-то быть независимым, тем паче, что у тебя скоро будет прибавка в семье и тебе ещё неизвестно, что эта самая прибавка требует себе больше, чем папа, мама, тёша и вся родня вместе взятая, хлопот, забот и питанья.

Кланяюсь. Обнимаю! Виктор Петрович

P. S. Валя! В Новосибирске вышла книга «Сибирский рассказ», по-моему, добрая книга. Надо бы её поддержать, не потому, что там есть я, а вообще. Отрецензировал бы? А я берусь пристроить рецензию. Книга должна быть у Юры Куранова, он в ней «представлен»!..

23 июня 1975 г.

(В.Юровских)

Дорогой Вася!

Не обижайся, что я не отзываюсь на твои письма. Я действительно работаю много над «Царь-рыбой» и наконец-то хоть начерно написал самую большую и главную главу. Теперь вся книга в сборе, в разной степени готовности глав, но это уже ближе к концу, дорабатывать я умею, приучил себя домучивать, иначе какой бы я был профессионал-литератор? Черновики-то набрасывать все горазды, это самая сладкая сметана в работе, слизывай её пальцем, как блудня-мальчишка, а дальше-то начинается самая что ни на есть мужицкая, если не конская работа, дальше-то и проверяется, куда ты и насколько годен.

Ещё июль работать, а потом отдых. Поеду на Байкал и осенью добью, здоров буду, и «Рыбу», и «Последний поклон» — тогда уж немножко развяжу руки, а то жидко и много развёл — листов 25 в работе, и всё вещи отдельные по главам — это трудно.

Возимся с избой, особенно Марья Семёновна, всякий она покой потеряла, но уж зато рай земной теперь, и я не

представляю, как бы я без этой избы и тишины, и уединения заканчивал книгу. Наверное, бросил бы, не хватило бы сил, ибо другие заботы никто с меня не снимал. Машину купил, но водить я не стану, одноглаз и отключён от мира сего часто бываю, задавлю ещё себя или кого-нибудь. Денежки все издержал вот и жму с книгой, чтоб безбоязненно и относительно независимо жить.

Все твои тревоги в связи с Союзом и пр. я пережил ещё в Чусовом, они неизбежны, и всё-таки уезжай в Курган. Не пей, вот главное, на чём ловят и подсиживают нашего брата. Работай! Вот главное, что бесит злопыхателей до того, что они в конце концов и беситься перестают, улыбаться начинают, знакомством при встрече намекают приветственно.

Вася! И не шли ты никаких подарков! Мы — люди богатые по сравнению с тобой, а ты столовый прибор! (И вообще, на будущее — ножи дарить нельзя, поссоришься. Плохо знаешь приметы, классик!)

Ну, обнимаю тебя. У нас лето прекрасное. Была жара, потом похолодало и дожди, теперь снова жара и грозы, тянет на траву, на реку, но рыба клюёт слабо, обожралась, сомлела. Зато начали появляться маслята, море цветов, подпевают ягоды.

Ну, целую, обнимаю, Виктор

Июнь 1975 г.

(Е.И.Носову)

Дорогой Женя!

Письмо твоё застало меня в момент, когда я после двухгодичной муки и проволочек наконец-то раскачал себя на славную и самую большую главу «Царь-рыбы» и уж не оторвался, хотя мне, как всегда, захотелось тут же засесть и хоть на бумаге поговорить с тобой.

Глава эта была какая-то неловкая, всё что-то мешало её написать. Да и вся книга так идёт: то воспаление лёгких, то супом ногу обварил, то дети женятся, то папу надо везти, то самому юбилей справлять, и если б не самодисциплина и сибирский упрямый лоб, бросил бы всё. Но теперь уже легче глава начерно написана, вся книга, пусть и сырая, но в сборе, а доделывать, домучивать — это уж дело писателя, а не человека, тут уж профессиональная машина пусть скрежещет шестернями, но домалывает.

Впереди ещё часть июня и июль. В июле, может, осенью, надо съездить за отцом — и всё, можно отправляться на Байкал — заработал моральное право быть там, считать себя в отпуске, хотя с деньгами и туговато.

Мой деревенский дом полон и берёт много — все детки, замужние и холостые, сироты братовы — все, считай, на моей шее, хотя им кажется, что живут они сами собой, на свои средства. Да я и не угнетаю их сознанием нахлебничества, пусть так и думают, а умру — почувствуют. Работоспособность, хотя уж и не прежняя, ещё сохранилась. Конечно же, и страх сохранился: не так получилось, видать, весь порох вышел, выписался, издержался...

Деревня и дом мой здесь принесли мне не только радость, а счастье — такая здесь тишина, красота, рыбалка, уединение, физический труд и хлопоты отвлекают от самокопания и политицких размышлений. Убухал все деньги купил «Волгу», чтобы ещё и транспортную зависимость аннулировать, да и от вологодских «друзей» быть подальше. Разглядел я их, убедился, что пристального к себе присмотра они не выдерживают и не стоят — дерьмо, собранное в старинный крашеный туесок из милой бересты, прикрытое сверху благолепной иконкой русского письма, но уже осыпавшейся, растрескавшейся и отцветшей до доски, потерявшей всё, кроме сознания: «Это мы на ней изображены!..» Знаю теперь, отчего родилась и приводящая Белова в бешенство, от того, что точна, поговорка: «Вологодский конвой шутить не любит!..»

Ну-с, вот, значится, главу закончил, хотя и не без греха, заболели зубы, — всё вынес, вытерпел и в Союз не ездил, пока её, проклятую, не завершил.

Машина стоит в конюшне, где раньше корова и конь жили, молча стоит ждёт Андрюшку — он заканчивает университет, распределили в Вологду. Сюда же и Толька с семьёй переедет — запился, бродяга, по бабам ходит, пропадает, надо, чтоб на глазах был.

Был у меня по весне Женя Капустин несколько дней, нарыбачился, задохнулся, глядя на меня печальными глазами, — понял я его, бедолагу, мечту выговорил. Купил ему тут избёнку аж за 150 рублей — старенькая, хроменькая, но славная избушка. А Женя свалился — сказываются раны, отнимаются ноги, лежит вот в больнице и мечтает лишь о том, как скорее попасть в деревушку. Жду его на следующей неделе. Марья посадила в их огороде редиску, лук, чеснок, салат, морковь, репу и картошку. Я сегодня её окучил. Хорошо на участке, белый морковник цветёт чуть не выше избы, яблоньки растут, красная смородина под окном вызориваться начала. Когда покупал избушку, думал, может, и другой Евгений, который Носов, приедет, когда захочет поработать, — вот ему и угол отдельный, топи печь, пиши, думай, а потрепаться ко мне придёшь — двести сажен ходу. Право слово.

Женя, приедь осенью и увидишь, что сманивал я тебя не зря...

Рассказ твой, «Переправу», мне прислали из Курска ещё до появления его в «Лит. России». И я подумал, не написать ли тебе — для раскачки — таких вот «мелочей» побольше. И про муравьев в дровах, и про повара, и про всё, что ты помнишь, — это можно и нужно делать для поддержки формы и в малом промежутке времени, иногда и на ходу. Мне очень хочется, чтобы ты работал, ибо работа наша — жизнь.

Я получил письмо от Пети Сальникова и не знаю, куда ему писать. Очень я люблю этого дивного мужика и, будь на месте бабы, никого, кроме Пети, не выбрал бы себе в «вечные спутники». Но как и чем ему помочь? Думаю, что в Курске, возле тебя, ему было бы полегче, поспособней, что ли. Ну, смотри сам, а я боюсь, чтоб он не потерялся.

Я если из Астрахани поеду (туда полечу), дам тебе телеграмму, хоть коротко повидаться на вокзале. Миша Колосов вроде бы собирается на Байкал. Очень жаль, что не получается у тебя. Там нас ждут: шлюпку, удочки — всё приготовили. Но работа есть работа.

Милый ты мой старичок! Сколько бы я тебе ни писал, всё будет мало, всё не выговориться, потому закругляюсь. Кланяюсь тебе и твоему семейству: Вале, Жене, Тане, Ирине, Ромке — всем-всем! А перед моими глазами стоит книга на японском языке и на её корке твой и мой портреты.

Целую, твой Виктор

2 июля 1975 г.

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Нет, не укатил я ещё на Байкал и укачу ли? Андрей наш застрял в Чердыни, строит бесплатно музей бедному государству, у которого всегда хватало средствий на остроги и недоставало на сохранение истории. Никуда не делась добрая старая эпоха, когда «поспешно разбирались церкви и долго строились ларьки»...

Вот мы и сидим и ждем, а он одним нас письмом удостоил, по которому и не поймёшь, когда прибудет, ему 15-го уже законно на работу надо по распределению. Не дождавшись его, мы не можем уехать.

Народ тут нас одолел, не перечисляя многих, скажу лишь, что немец с западногерманского телевидения добрался до нас и заснял на карточку, переполошив и нас. и всех тут своим нашествием. Из Игарки приехала сестра с мужем и дитём, которое взорвало банку пороха, готовясь к будущим битвам,

опалило себе рожу, кожу, лёгкие, а главное, глаза. На одном начались боли — надо лечить. Хлопоты, беготня, но я всё же пробую работать. Погода разнеживающая, все купаются, брызгаются, гуляют, а народ сено косит, чуть не плачет, потому что грозы часты и скошенную траву парит.

Работа моя идёт медленно. Пар вышел, надо бы передохнуть, а Викулов торопит — заезжали они ко мне ненадолго, Викулов, Орлов и Бондарев, потолковали, хоть и коротко, но по душам. Надо! Кстати, ты оказался прав, «Берег» дальше забрал меня и победил. Роман выдающийся и, как фотоплёнка, проявил на себе убожество критической мысли. Как далеки, невнятны и совсем не в ту степь о нём статейки. Четыре прочёл — и полное непонимание того, что читано, или желание не понимать?

Редактором твоей книжки в Новосибирске будет Женя Городецкий (составитель «Сибирских рассказов»), готовься к трудной работе. Он, парень, хоть и еврей, но геолог, да ещё какой! Весь Север облазил, сам пишет, со мною был на Нижней Тунгуске (вдвоём были) и как-то знает меня по-иному (с иной стороны). Думаю, что он не облегчит, а затруднит твою работу.

Очень рад, что красноярцы подкинули тебе рукопись. Этого добра, погоди маленько, я тебе раздобуду хоть телегу, дай срок с книгой разделаться, в люди показаться.

Кстати, редактором «Смены» стал Альберт Лиханов. Скликает силы. Может, и туда тебя пристроить на заработки? Платят там хорошо. Кланяюсь твоей супруге. Тебя обнимаю. Виктор Петрович

4 июля 1975 г.

(Ю.В.Бондареву)

Дорогой Юрий!

Только теперь вот прочёл твой новый роман — читаю я медленно, а тут читал еще и трудно, преодолевая раздражительное сопротивление до середины романа, тем убедительней победа этой вещи — наверное, так и должны читаться произведения сложные, необычные, умные. Привыкли глотать, как галушки. Очень хороший роман ты написал! Наверное, выдающийся. Но всё выдающееся должно утвердиться временем, поэтому я и говорю «наверное». Слишком много у нас объявилось выдающихся — можно забить эшелоны и дома до потолка, а за пятьдесят-то лет едва ли пяток книг попадёт в этот строгий и высокий ряд.

О многом мне хотелось бы поговорить, за многое поблагодарить тебя. Но говорю я тебе спасибо прежде всего за то, что ты по-настоящему возвеличил советского человека, того самого, за которого пролито море крови, кто оплакан и обмыт

океаном горьких и тяжёлых слёз, в том числе и наших, и которого оболванили, унизили, низвели до потешного ничтожества бездарные писаки, кино, театры, газеты, радио, теле — все под видом прославления приложили к нему руку на шумном и бездумном базаре нашей пропаганды и до того его устряпали, что уж неловко делается, когда скажут «советский человек» — вроде бы как обормот это какой-то, болван, выкрикивающий лозунги и идущий напролом. Изуродовали сами себя, много сил, ума и здоровья надо, чтобы выпрямить горб, выпрямить позвоночник и убрать эту вечную идиотскую улыбку с так называемого нашего парня, который смеётся «как дети», даже «среди упорной борьбы и труда».

Особенно мне приятно, что твой советский человек ещё и наш брат писатель, так достойно и умно умеющий держать себя всюду — и дома, и в гостях во время напряжённой его заграничной жизни. Невольно я воскликнул про себя: «Ах, молодец!» — потому что и мои мысли, и моё поведение он выражал собою, только делал это так, как мне хотелось бы и как делать я ещё не умею. В том и суть, и привлекательность твоего Никитина, что за ним и к нему хочется тянуться, быть его достойным собеседником и другом. Оказывается, задача создавать положительный образ для подражания выполнима, но только если за неё берётся настоящий художник, который не принижает, не задавливает читателя интеллектом своего героя и собственным высокомерием, пробивающимся сквозь муравьиный рой наставленных букв и слов.

Благородную работу сделал ты, Юрий, очищающую от скверны, идолопоклонства, мутной воды, в которой ловят свою рыбку люди ловкие, корыстные и криводушные, способные смести умное слово, особенно в литературе и искусстве, а большей частью возле них обретающегося приспособленчества. Спокойно, увесисто и разумно смазал ты по сусалам демагогам, краснобаям и всякого рода делягам, прячущимся за пошатнувшийся забор, из соцреализма сплетённый из подозрительности ко всем, кто мыслит не так, нестандартно, незаданно. Эта самая надутая «самсоновщина» стоит лишь на одном, идущем ещё от «А любишь ли ты, курва, советскую власть?» и до нынешнего блеяния «принижение образа современника» (кстати, Ардаматский вёл себя в ГДР точно так же, как Самсонов, только ещё глупее, ибо есть он самовлюблённый болван, причём уже совершенно законченный).

Я очень рад, что твой роман появился в нашем журнале — вроде как-то ближе ты нам сделался, твоим корешкам по фронту и единомыслию, а то высокий твой пост отдалил тебя куда-то в

непонятную нам туманную стратосферу, именуемую по-старинному — «власть» и вечно пугающую простых смертных космической дальностью и непроглядностью расстояния. Но, кроме смеха, вот о чём я подумал, когда окончил чтение романа. Тебе надо уйти из секретарей! Постарайся меня понять. Как и у всех у нас, здоровье твоё подорвано, жизни нам осталось мало, и за это время ты ещё сможешь написать две-три хорошие книги. Ты набрал силы и можешь покорять огромные, пышно говоря, вершины, так и покоряй их! А руководят пусть те, кто ничего другого делать не умеет, глядишь, не выбросят на рынок одну-другую свою толстенькую и заунывную книгу. Конечно же, хорошо, когда «у руля» наш брат. И я радовался очень, когда тебя избрали в начальники. Но что изменилось, Юрий? Со стороны виднее — ничего! Писателю дано изменять людей, общество и помогать им пером. Вот и помогай! Пиши! Отравной сладости власти ты хватил, попробовал, и небось сыт ею уже по горло? Или это и вправду болезнь?! Прими всё это не как поучение, а как совет человека, не умеющего быть навязчивым, но всегда к тебе сердечно относящегося и желающего добра не только тебе, но и всем нам, всему нашему обществу, захлёстнутому жаждой приобретательства и так нуждающемуся в умном слове.

К слову о приобретательстве. Я тоже приобрёл себе дом в глухой деревне на берегу Кубены и машину, которую сам из-за одноглазия водить не могу и не смею. Пытаюсь найди какого-нибудь инвалидишку-шофёра, который любил бы природу, как я, и согласился бы ездить за мизерную плату, ибо покупки мои и семейные расходы вывернули мою мошну наизнанку.

Настроение моё творческое не очень, не знаю, где и на чём я «подорвался», но вот уж несколько лет мучаю и не могу домучить вроде бы и несложную повесть «Царь-рыба», и как всегда в таких случаях, ищу причины внешние. Тут ещё и ежегодная трёпка фамилии в списках соискателей премий, похожая уже на издевательство и насмешку, да ещё маленькие щипки недоброжелателей: заявку в «Роман-газете» на «Пастушку» забодали, даже слово об этом не написали; закрыли запущенную уже в производство картину; комитет по печати рубанул запланированный «Молодой гвардией» пятитомник на том основании, что я-де ещё не созрел, но я-то хорошо знаю истинную причину, и как мне надо было зреть и под какое солнце становиться, чтобы созревание, по-крестьянски говоря — вызоривание, скорее совершилось. Ну и некоторые житейские неурядицы сказываются. А у кого их нет? Просто устал я, видать, от однообразной работы, и надо делать что-то новое и по-новому, а на это надо много сил, уверенности, даже самоуверенности,

коей всю-то жизнь мне недостаёт. Хотя иной раз, особенно пьяненький, взбадриваюсь, взбалтываю себя, и муть во мне на время поднимается, но потом опять осядет, как пыльное облако, и снова видны ясно и возможности мои, и усталость снова давит, наплывать начинает, наползать медведем, мохнато душить мысль о бесполезности своей работы и жизни. Может, это и от некой благополучности литературной судьбы? Я как подумаю о судьбе Кости Воробьёва, так и неловкость чувствую перед ним, даже перед мёртвым... Ну, однако, хотел-то я написать коротенькое письмо, но сижу в деревне, никуда не тороплюсь, вот и разговорился. Пищу я тебе не часто, отрываю вроде и вовсе уж редко, разве что по крайней надобности, так что оторви время от заседаний на прочтение моего писания.

Пригласил бы тебя к себе в деревню, но ничего экзотического здесь для тебя нет, бедность, запустение, тихая агония просторной страны, на которой жили люди под названием русские. Хотя, может, и стоит взглянуть и на это осенью и проникнуться той печалью, которая углубляет мысль, сжимает сердце и помогает или заставляет приподняться над суетой и мелочами. Печаль тоже по-своему врачует. А на Тунгуске я тоже побывал в позапрошлом году. Надо было побывать в связи с работой над «Царь-рыбой». Сейчас как раз и делаю кусок о Тунгуске.

Ещё раз спасибо тебе за трудную и большую радость, доставленную «Берегом». Желаю сил, здоровья и вдохновения! Крепко, по-солдатски обнимаю. Виктор

24 августа 1975 г.

(В.Г.Распутину)

Дорогой Валя!

Человек предполагает, а он, как известно, господь-то наш, только располагает, но и этого достаточно, чтоб человеку не поехать, куда он хочет.

Не вышло у меня нынче ничего, и книгу не поимел, и никуда не съездил. Ждали сына Андрейку из университета, он работал в стройотряде и приехал только к 20 августа совсем больной и жёлтый, так ему дался этот сраный вуз. Что-то с желудком, ладно если не язва, а то ведь сейчас сплошь честные студенты с язвами да болезнью прошлого века, чахоткой, приобретают дипломы. Словом, оставили всё до будущего года. Даст бог, и соберёмся, хотя загадывать в наши дни...

Я всё сижу в деревне и всё ужу «Царь-рыбу». Пар из меня давно вышел, сил нету, яйца преют и глаза болят, а толку нет. К

тексту появилась неприязнь, как ко врагу, а это преодолевать трудно, да нужно, иначе нечего этим ремеслом и заниматься.

В начале октября меня пригласили чехи что-то там посмотреть и поговорить, на 10 дней. Мне бы до октября кончить повесть и уехать со свободной душой. Ещё месяц с лишним, работы много, но бог даст, осилюсь. В конце октября — редколлегия, может, увидимся, а пока я даже никому писем не пишу и тебе бы не собрался, да ведь надо ж извиниться хоть. Глебу *[Пакулову. — Сост.]*, Славе *[Шугаеву. — Сост.]*, Володе *[Жемчужникову. — Сост.]*, всем, всем поклоны и мои извинения, что обнадёжил, может, кому личные дела и планы спутал, но видит бог, как мне хотелось побывать на Байкале, жена так бредила, бедная, и вот...

Поклон, Валя, твоим всем, большим и малым!

Обнимаю тебя. Как пишется-то? Лето было ничего, урожайное на полях, а в лесу пустовато, ягод не было совсем, грибы объявились, таскают хорошо. Твой Виктор Петрович

26 августа 1975 г.
Сибла
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Письма твои нашли меня на месте, в д. Сибла Харовского района. Никуда поехать не смогли, сын приехал надорванный студенческим житьём, главным образом питанием, которое у них в столовке столь же хорошо, как и в заведениях Гулага, только и отличия, что тут деньги платят. Да и советские мещане всё, что могли, поднесли за папу, уехавшего, видите ли, из Перми без их соизволения.

Приехал больной желудком, испитой, шкилетина шкилетиной. Был-то не в сурьёзных телах и сразу зачал работать на ставке 75 рэ. Ну ладно, хоть коллектив его встретил хорошо, принял как своего, а он и есть свой, кто же нынче на такую ставку пойдёт, кроме покинутых и убогих интеллигентов, в одиночку пытающихся исцелить замордованную, разграбленную историю и казну Отечества нашего.

Я работу не кончил. Только-только завершил второй заход на новую главу, надо бы ещё хоть два, и остальные все главы намечено пройти в последний раз перед тем, как давать читать, а «пары» все вышли, вот я и решил сделать паузу, съездить за отцом в Астрахань. Всё встряска какая-никакая, и хоть немного от рукописи отвыкну или отстану, а то ведь зараза какая! Почти уж ненавижу её, а руки лапают, щупают, теребят в ней чего-то. Чисто

наказанье господне — не работа!

Управиться с поездкой думаю за неделю, а там снова за дело. Пригласили поехать в Чехословакию в начале октября, тоже встряхнуться, на людей посмотреть, а тем временем глава отлежится, и я её, суку, додавлю!

Зоя Куранова прислала мне письмо, намекала насчёт книги из «Современника». Книга прилично издана, в ней меньше, чем прежде, вылущенная «Пастушка», но снова ошибок, ошибок! Уж в этот раз такой на вид надёжный редактор был, но женился в аккурат и правку делал в другом месте, а мою на бумагу не перенёс, даже в эпиграфе пропуск. Господи! И снова остались старик со старухой лежащими «головой на восход»! Ай, какая безответственность, расхлябанность! И ведь не пожалуешься, парню попадет, его накажут и разве в этом дело? Надо наказывать или переучивать всё общество.

Ты всё ещё в Глубоком? Книжки тебе и Курановым я вышлю на дом, как вернусь домой (через два дня). У тебя кто-то родился или ещё нет?

Ну, будь здоров! Что-то часто я ныне вспоминаю достославный град Чусовой. К чему бы это? Твой Виктор Петрович

30 сентября 1975 г.
Сибла
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валя!

Ну что ж, от души тебя поздравляю! Сыновья, да еще в пять кило богатыри, не каждый день рождаются! Дай бог, доля у того малыша-крохи, который еще и свет видит иным, чем мы, была посчастливей нашей, чтоб ум, совесть, что ему дадут родители и дала природа, мог он употребить на пользу людей, матери-земли, чтоб жизнь его была ему не в тягость, чтоб сложности её были общечеловеческими, а не кирпичной стеной, о которую все мы, и папа евонный тоже, лбы поразбивали и лишь малую лунку в ней выдолбили...

Я всё в деревне, всё ковыряю «Царь-рыбу». Поездка в Астрахань отняла десять дней, да ещё десять потребовалось налаживаться, входить в работу. Лишь вчера она пошла снова да ладом.

Болеет Андрей. Приобрел в университетах язву двенадцатиперстной кишки — положили в больницу. Не очень хороши дела у Иринки. Она снова беременна, и снова чего-то неладно идёт этот процесс, грозится тоже завалить больницу. Надо и отца определять в больницу — привез его дохлого. Маня

одна в городе, вся поизвелась, боюсь, чтобы не свалилась. Звоню ей каждый день, ибо могу лишь словесно облегчить её долю, а от забот и хлопот не избавлю.

Сам я себя ничего сейчас чувствую. Простудил, было, лёгкие в пути, уже подлечил.

Осень стоит хорошая, ясная, только очень ветрено и некогда по лесам бродить. Ходил разок, подстрелил двух рябчиков. Сегодня, может, тоже соберусь.

Дал я, дурак, согласие поехать в Чехословакию. Если всё пойдёт, как намечено, днями выезжать, и опять из рабочей колеи выбьюсь, а мне уж, признаться, эта «Рыба» надоела, устал я от неё.

Кстати, цитатами теми, что ты указал мне, можешь пользоваться — отрывок «Капля» печатался в «Сельской молодёжи» во втором или третьем номере нонешнего года. Главы (две) печатались в «Красноярском рабочем», и вообще скоро я её отдам читать, повесть-то. а книжки издаются у нас медленно, и пусть они тебя не пугают темпами своими.

Н. Н. Яновский — человек хороший, и очень, но он писал и чего-то пишет обо мне для красноярского издательства, так что тут профессиональная ревность или неприязнь. Бог её знает, как и назвать.

Ну-с, Курановым поклон! Получили ли книги-то? Маня вчера говорила: по телефону, что есть от тебя ещё одно письмо дома, так, наверное, получили. Письмо мне привезут лишь в субботу, а сегодня вторник.

Супруге твоей огромный привет и моё сердечное поздравление! Тебя обнимаю. Твой Виктор Петрович

30 сентября 1975 г.
Сибла
(В.Юровских)
Дорогой Вася!

Получил я твоё славное письмо. Рад, что дух твой бодр и осень хороша, а с сыновьями, увы, приходится всем расставаться, такая человеческая доля. И ещё рад, что ребята хлопочут тебе место и квартиру в Кургане. Надо жить вам всем вместе, не в глуши, да и газета очень с годами становится невыносимой. Со временем надо бы тебе и на Высшие литературные курсы поехать, пока возраст не вышел. Или уже вышел? Там до 45 лет принимают, но бывают и исключения, надо, так мы с Женей *[Носовым. — Сост.]* похлопочем.

Лишь вчера смог вплотную заняться работой, всё мучаю «Царь-рыбу», и конца работе нет. Вроде бы вот доведу, всё уже

ладно, начну вновь читать — правка, бесконечная правка! Может, я уже больной? Может, обессилел и мне изменяет художественная память и интуиция? Но смотрю текст и не нравится, примитив какой-то! Рукопись надо начинать и кончать вовремя. Я затянул и должен уже давно работать над другими вещами, а эту просто прошёл и, значит, перерос, вот и маюсь.

В Кургане мне очень хочется побывать. Но ездун-то я хреновый стал, всё простужаюсь, вот начну лечиться медвежьим салом, говорят, от пневмонии здорово помогает, а пока сижу, работаю. Сам печи топлю, варю, дом обихаживаю, хорошая такая жизнь, боюсь, как бы она меня к одиночеству не приучила. Одиночество — это отравная сладость для пишущего человека, и к старости она особенно заманчива.

Осень у нас светлая, но ветреная. В лесу бываю редко — некогда. Рыба не клюёт. Совсем, наотрез. Ходил с ружьём, двух рябчиков уколотил, утка северная чего-то не летит, и местную выколотили друзья природы на мотоциклах. Во машина, бля, ей всё доступно! Орлы! Носятся по буеракам, по болотам и бабу сзади везут, чтоб развлекаться чем было на природе. Хорошо! Прогресс! Это мы бывало волокёмся вёрст за десять, а ещё дадут ли — неизвестно! И не давали наши дурочки-то, для святого будущего кунку берегли.

Ну, поклон твоим всем юровчатам. Я остаюсь жив и за рабочим столом. Обнимаю тебя, Виктор Петрович

Октябрь 1975 г.

(Е.И.Носову)

Дорогой Женя!

Вчера пришла ко мне баба по имени Анна из соседнего села и говорит: «Давай, Виктор Петрович, звонить куда-нибудь — от сына из армии более двух месяцев писем нету, мы уж с мамой ревим...» Баба чистенькая, в новой телогрейке, полушалок на ней ещё моды тридцатых годов, и история ейная совершенно российская: 26 лет было, как пошли они с мужем в гости, в деревню Стеганиху, к братьям мужа. А муж-то ейный, если пьяный, то шибко буйный. Ну и тут, как выпил, так и кулаки в ход. Братья его связали, ткнули рылом в подушку. Утром рано хватились — успокоился буян навеки: неловко в подушку-то уткнули. С тремя детьми осталась, замуж не выходила, теперь вот в единственном жилом доме средь пустой деревни зимогорят. Ребята выросли, разлетелись...

Думали мы с Анной, думали и решили позвонить кому поближе, дочери, что работает на станции в буфете. Поговорила Анна, узнала, что и им ничего! от Миколая нету, и пошла обратно

в пустую деревушку Деряжницу — «крымовать», как выразилась она. А я долго сидел потрясённый и умилённый: это, ж надо такое ироническое, горькое и неунываемое отношение к жизни сохранить, чтоб сказать слово экое! Гоголевское прямо.

Вот, стало быть, и я «крымую» год уже в деревне, как это татаре-то поют: «Сидит заче на бирюзом и долбит своим нога». И я долблю, только не «нога», а «жопом своим», пытаясь додолбить «Царь-рыбу», совсем дошёл до ручки, если б не тишь деревни, не леса да долы... Повесть эта, начавшаяся без определённого сюжета и замысла, вытянула из меня все кишки, надоела мне до смерти, а надо кончать, уж финиш виден, но работы ещё немало.

Выбрался в Астрахань, за отцом, обернулся за десять дней, с обострением пневмонии. Сначала кашель бил, затем насквозь пробивало-промывало, но я смылся в деревню, пил прополис, медвежий жир, ушёл от городских сквозняков, много бродил по лесу и... больницу миновал.

Осень была прекрасна. Я ходил с ружьём и, хотя вологодский рябчик напуган ещё более, чем японец в Хиросиме, утащил из леса их более трёх десятков, ибо надо было питать сына. Приобрёл Андрей в студентах чего-то, больше месяца лежал в больнице и теперь всё ещё чахнет, погас весь, апатией охвачен. Одна долгоязыкая баба брякнула: «Да не рак ли?!» ...Каждый день я теперь звоню домой и каждый раз думаю: «Чего-то мне скажет Марья сегодня?» Она-то, бедная, извелась совсем. И отца-то я полудохлого привёз. Он там с астраханскими кирюшниками вовсе запился. Но более всего боязно за Андрея — не дай бог переживать детей. Это лишь моему доблестному папе под силу. Нынче в июле умер ещё один его сын (от мачехи) — пил здорово, колесил по свету, перед смертью явился в Дивногорск, выпил, уснул и готов: сгорел от вина — это по-ранешному, а по-нынешнему — алкогольный токсикоз. Положили его рядом с сестрой Ниной, которая, я говорил тебе и показывал место, сорвалась со скалы и разбилась. Я папе сказал о смерти сына, но он был так пьян, что и забыл об этом. Через день я ему напомнил об этом, он ко мне с претензией: «Ты мне ничё не говорил!..»

Да бог ему судья. Как я его вёз, как он полз на карачках в самолёт, почти слепой, обезножевший, всеми оставленный, — тоже не мажорная картина. Нет у меня к нему любви, хотя и грешно это, но и злобы на него уже нет — всё перегорело, перетёрлось в муку — жизнь учит терпимости, которой так людям недостаёт, терпимости и жалости друг к другу.

Днями звонил Викулов, интересовался моими делами (нечего печатать). Сказал, что звонил и тебе. Я маленько порасспрашивал, и он мне про твою повесть сказал, а про болезни нет, да ты,

наверное, ему и не говорил. Слушал по радио передачу — я в деревне-то давно один, топлю печи, варю еду, помойки таскаю и радио слушаю, — по случаю выдвижения тебя на премию, читали, как всегда, не лучший рассказ, но душе всё одно приятно. Передо мной на полке стоит японский сборник, изданный «Прогрессом», — там мы с тобой на одной корочке, и я иной раз подмигну тебе своим кривым глазом и даже говорю тебе чего-нибудь на японском наречии: здорово, мол, живём, старичонка!..

Хотел позвать тебя в октябре к себе — жаль такой благостью одному пользоваться, побродили бы по тихому осеннему лесу, да всё боялся, сорвут меня, в город вызовут из-за Андрея, и тебя собью с места, от работы оторву. Ладно уж теперь до весны. Весной тут рыбёшка хорошо берёт, а к осени река обмелела. Днями я покину деревню с так и незавершённой повестью, хотя работаю, как вол, но стал вовсе короткий день, да и нет его почти, сумерки всё время. Север-то шибко сказывается, слепнуть и печи топить не хочется больше, и опять в шум городской, к суете и на сквозняки. Ох уж эти сквозняки! Так я боюсь больницы. Оказывается, с воспалением не легче, чем с сердцем.

Всё же думаю в декабре приехать с повестью, и книгу надо сдавать, задолжал большой аванс. Во, сивый дурак! Прежде никогда не заключал договор заранее и авансов не брал, а тут забарахолился: дом, машина, квартира молодым — и попал впросак.

Старичок! Ты осилься да на редколлегию-то приезжай, и с ребятами повидаемся, и пить не будем, я и не могу уж — видно, выпили мы с тобой своё к полсотне-то лет, лимиты наши кончились.

Ну что же, друг мой сердечный. Писать я могу без конца, да ведь лучше воочию поговорить. А Маня моя, человек деликатный, и она мне всё напоминала: «Ты Жене-то не написал ещё?» — «Не написал, — говорю. — всё собираюсь». А у вас в Курске юмористы не перевелись. Галя, наша знакомая, в своем поздравлении написала, рассказывая о своём физкультурном муже: «Толя чувствует себя хорошо. У нас много работы: всякие спортивные соревнования, кроссы, эстафеты — конца не видно. Но когда-то и куда-нибудь прибегут, а пока всё бегут, бегут...» Прелесть, правда? Нам — сочинителям — так и не написать!

Ну, остаюсь «крымуюший» в деревне Сибле, кланяющийся твоему многочисленному семейству Виктор, сын Петров, а тебя к сердцу прижимаю. Не болей, пожалуйста, надо до весны как-то доживать, а там и лето наступит, солнышко обогреет, и лёгкие наши сипеть перестанут и можно будет аж до пупа дышать! До встречи, родной мой братан! Виктор

29 октября 1975 г.
Сибла
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

В общем-то, я сейчас никому не пишу писем, только-только собираю с трудом силенки на работу, чтоб добить как-нибудь повесть. Начал последним заходом вторую часть. Осталось четыре главы из двенадцати, но одна, последняя, очень большая и самая сырая. Однако ж думаю в ноябре всё сделать. Если б не заботы, не печали — Андрей-то всё ещё в больнице, дела на лад не идут, очень исхудал, и мы страшимся думать о худшем. Все упования на крайнюю инстанцию — на Бога...

А пишу я вот чего — у тебя голова хоть и 68-го размера, но и в неё может прийти простейшая мысль: а не обиделся ли В. П. на замечание? *[Речь идёт о замечании по поводу повести «Пастух и пастушка», в частности смерти главного героя. — Сост.]* Повторю тебе ещё раз, что я работаю профессионально и отношусь к литературе как профессионал, а это значит — своя голова на плечах, ей и думать, и разбираться. Обижаются в литературе люди случайные, дамочки в брюках, которые не работают, а играют в литературу, и самолюбие у них впереди работы. Да, конечно, вписал строку и под влиянием критики и бесед разных, а также и потому, что приступила ко мне весной смерть, и я снова обнаружил, что жить охота, и подумал, что я, наверное, неправ, без сопротивления отправляя молодого парня на тот свет, — но дом срублен, пусть косовато, всякое вставление сутунков и даже клиньев кособочит его ещё больше и делает щель. Я вычитывал недавнюю вёрстку для «Художественной литературы» (там у меня переиздаётся небольшой сборник), внимательнейшим образом перечёл это место и страницу снял. Дай-то бог, чтобы правку мою перенесли, а то вот в доблестном «Современнике» не трудились этого сделать, и такие опять ляпы в тексте!..

А ещё спасибо за поздравление — оно было в числе трёх. С 8-м марта или ещё какой дежурной датой люди поздравляют охотно, и тут действует инерция какая-то — дежурные слова и чувства! 30-летие наше мы «праздновали» с М. С. вдвоём в Сибле: выпили, поели, поговорили про прошлое, в том числе и про Чусовой. Назавтра она уехала, дома больные ждут. А я вот тут один всё тружусь, печи топлю, еду варю. Кругом тишь и мрак — отдохнуть хочется.

Поклон твоим домочадцам. Кланяюсь. Виктор Петрович

13 ноября 1975 г.

Вологда

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Ну вот, я уже недели две как вытряхнулся из Сиблы и заканчиваю работу дома. Зима выжила. Надо сделалось топить печи по два раза на дню. варенье еды, хлопоты, а у нас север всё же, свету мало, днём с огнём, вот и выехал с неохотой.

Здесь, конечно, меня подхватили было, да в оборот, но я собрал весь свой характер и работал ежедневно, что и даёт мне возможность сообщить: 1 декабря ставлю точку на последней правке «Царь-рыбы», остаётся вычитка, доправка, ловля блох, и рукопись можно везти в журнал. Это я сделаю числа 11 декабря, ибо 12-го у нас редколлегия, там, вероятно, я застряну, а потому заранее поздравляю тебя и твоё уже многочисленное семейство с Новым годом!, Дай бог всем здоровья, остальное от него зависит, от власти и от Бога, а имя мы можем лишь молиться.

Очень я себя усталым чувствую, голова болит, крапивница одолела, но это уже вещи обычные, каждая большая работа тем кончается. Главное — гора с плеч! Знаю, горя с проходимостью много приму, но тоже не привыкать. Видел ли ты книжку Толи Ланщикова обо мне? Года четыре она издавалась я уж думал, о ней все забыли, а она вот взяла и появилась.

Не повредит ли она тебе?

Получил я письмо от Жени Городецкого, он пишет, что имя нужен портрет, который бы десятикласснику и то был внятен, а Курбатов-де, оченно уж умно! Боюсь, что десятиклассникам тебе не угодить, они, глядя на стену, на кирпич, на книгу, всё о ей ... думают, и больше на уме у них ничего нет.

Вышла «Пастушка» в ГДР и Чехословакии (здесь с рассказами вместе), изданы очень хорошо. Андрей выздоровел и работает, Маня собирается в турпоездку, дома ей роздыху нет. Кедры, большинство, ушли под снег в бодром виде, но есть и отсев.

Обнимаю. Виктор Петрович

1975 г.

(В газету "Вечерняя Пермь")

Недавно из Перми мне пришёл подарок — пластмассовая коробочка с доброй и дорогой сердцу надписью. А в коробочке микронабор слесарного лекального инструмента, сделанного, изготовленного руками учащихся пермского ПТУ № 3, что в Мотовилихе.

В тёплом и большом письме, написанном мастером группы — Константином Александровичем Королёвым, были такие слова:

«Ручная работа слесаря-лекальщика, особо точная, ювелирная, «умственная», как говорят про неё ветераны-лекальщики, и она, наверное, чем-то сродни сложной и удивительной работе писателя». И то и другое — дело творческое, требующее больших знаний и умения, того, что в рабочем цехе называют мастеровой смекалкой. Результат труда, качество и отделка изделия по самым высоким требованиям должны соответствовать самому неумолимому ОТК — совести исполнителя, его работе и писательской чести.

Такие вот письма, посланные тружеником-читателем, доброжелательным, тонко и точно разбирающимся в литературе, умеющим отделить зерно от плевел, — есть самая большая радость и благодарность за наш нелёгкий труд.

В том же письме мне сообщили, что ПТУ № 3 (прежде ФЗУ) седьмого декабря исполняется пятьдесят лет.

Пятьдесят лет в мотовилихинском училище учили и учат мастерству и рабочему делу молодых ребят и девушек. Да это ж целая армия! И, наверное, нет уж такой области в нашей стране, где бы не жили и не трудились бывшие фэзэошники, гордо и с достоинством продолжающие дело своих дедов и отцов — мотовилихинцев! И в такой славный для молодых парней и девушек юбилей я - бывший фэзэошник, начавший трудовой путь в лихие и тяжёлые военные годы, шлю им самые добрые пожелания успехов в труде и в жизни, творческих свершений и дерзаний, а их наставникам — здоровья и много-много терпения, потому что знаю, как нелегко воспитать нашего брата, научить не только профессии, но прежде всего уважению к труду — властителю всего сущего и святого на земле.

Ещё раз благодарю за чудесный подарок, буду стараться каждую строку в моей «продукции» делать так же тонко и точно, как вы сделали слесарный инструмент в дорогом мне подарке. В. Астафьев

1975 г.

(читателю Л.Е.Цепенко)

Леонид Евдокимович!

Я работаю в литературе с лишком двадцать лет и, естественно, за это время получал всякие письма, самое их большое количество пришло на ещё не завершённую повесть «Последний поклон». Есть среди них и восторженный отклик покойного Черкасова, которого Вы употребили в качестве дубины, дабы расшибить меня. Но я не из робких людей, более того — из упрямых, а ещё и чувство собственного достоинства имею и

посему не только не отвечаю на письма, написанные прокурорским тоном, но вообще не удостаиваю их общением в работе своей.

Вам Митроха из главы-рассказа «Ночь тёмная-тёмная» ничего не напомнил? Он ведь Вашим тоном общается с людьми: «найти истинного виновника (или виновников)», «не должен был, не мог допустить таких грубых ошибок», «как никто, обязан», «я не хочу умалять вины автора, во многом он виновен», «живой поклёп на сибиряков» и т.д.. и т.п.

Не стал бы я тратить время и слова на этот ответ, ясно сознаю, что это бесполезно — человек, старающийся изобличать, притирать к стене, обычно считает себя умней всех и есть он крайняя инстанция во всяком деле, в общем-то, типичная позиция воинствующего обывателя, который склонен думать, что история и всё в этом мире началось с него, им постигнуто, до конца исчерпано и, значит, с ним и кончится. Но... Ваши требования и угрожающий тон обращены не столь к автору, сколько к издателям. Вот уж это напрасно! Коли Вы есть «потребитель продукции», а «продукция» эта подписана мною, мне и отвечать за неё, а то, неровен час. на задёрганных, работающих за мизерную зарплату редакторов обрушится «меч карающий»...

Но по существу. Итак:

Куть — кутья. И это мне ведомо, любезный «потребитель продукции». И про поминальную кутью, и про куть, но... повесть вот именно автобиографическая, при желании Вы могли бы найти в ней куда более существенные сдвиги и неправильности в языке, однако в данном случае я сознательно, а не по лопоухости употребил слово, ибо так оно употреблялось в моём родном селе. Повесть издавалась уже несколько раз, вышла в «Роман-газете», и читатели не раз и не два обратили внимание на то, что возникает путаница с кутьёй и кутью. Правда, в отличие от Вас, читатели те допускали возможным употреблять такие слова, как: «мне кажется», «я думаю», «по-моему», «может быть, так будет точнее», и вот в следующем издании слово «кутья» будет уже заменено (книга на выходе). В издании «Роман-газеты» или в первом издании вкрались вроде бы маленькие ошибки: бродень сделался бреднем и пр. Возможно, это прошло ещё в рукописи на машинке.

Книга в Красноярске издавалась сложно. Я живу от Красноярска далеко. Добрые люди на родине спешили выпустить книгу к моему полувековому юбилею, и мне не довелось вычитывать гранки и вёрстку, ведь есть такие вещи, которые выправлять должен только автор, редактор не может трогать текст автора, тем более издававшийся, ибо не знает — сознательно автор допускает то или иное языковое отступление,

употребляет тот или иной образ или оборот (тем более что все редакторы, работавшие со мной, знают, как я порой свирепо отношусь к любого рода вмешательствам в мой текст и обычно сам всё редактирую, не полагаясь в этом сугубо индивидуальном деле ни на кого) — вот по этой причине в красноярское издание вкралось немало ошибок, которые идут ещё с моей машинки, например: вместо «станок Карасино» получилась «станция Карасино». Досадно!

Сейчас я заканчиваю работу над «Последним поклоном», дорабатываю старые главы и соединяю их с новыми. Вижу, как ещё несовершенен местами текст, как много надо доделывать, дописывать, сокращать повторы — этим и занимаюсь, вижу также, как много скопилось всякого рода ошибок при многих изданиях глав отдельно и книгой.

Творческий процесс — живой процесс. В нём, как и во всякой работе, ошибки неизбежны. Письма читателей часто помогают их заметить, исправить, но только не такие письма, как Ваше. Повластвовали Вы, видать, Цепенко, на своём веку, пусть где-нибудь и в маленькой конторе иль в школе, однако помордовали людей всяких, ведаю, и язык Ваш находится в вечном движении. а жизнь весьма многообразна.

Даже Сибирь неодинакова и неоднородна. Не знаю, как у Вас в Ирбее, но в нашем селе не было ни одного дома одинакового, ни одного хозяина или хозяйки, похожих друг на дружку. Двор моего дедушки был так небогато построен, что к сеновалу на санях не подъехать, потому сваливали сено во дворе. А Вы уж сразу — «поклёп»! Я пишу Вам это письмо из деревни, где сижу и работаю. У меня тут дом куплен крестьянский, у него крытый двор, так в этом дворе есть взъезд прямо на поветь, и, стало быть, прямо с возом заезжали наверх и сваливали сено под крышей. В этом же селе ещё до сих пор многие моются в русских печах, чего в Сибири давно не наблюдается, зато здесь отделывают дома, как терема (отделывали), а у нас больше о крепости дома и заплота заботились.

Есть такая поговорка: «На свой аршин не меряй». Работу же писателя и вовсе ни на какой аршин мерить нельзя. Каждому писателю «аршин» этот дан природой или Богом, а не выдан в конторе, как диплом или ордер на квартиру.

Родился я в Сибири, жил и живу почти всё время в деревне. Что дала и чего отняла у русских мужиков советская власть, знаю не хуже Вас. Преступлений не совершал. К суду не привлекался. За участие в боях за родину солдатом награждён орденом и медалями. За работу в литературе награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени и потому считаю тон Вашего

обвинительного акта (письма так не пишут) недопустимым.

В. Астафьев

1976 год

3 января 1976 г.
Вологда
(В.Г.Летову)
Дорогой Вадим!

Едва жив возвратился из столицы суета, люди, пьянка, да ещё на ходу подцепленный грипп совсем меня было повалили, но старого солдата, как известно, мало повалить!.. Я ещё дома допил остатки и вот 3 января включаюсь в текучку, ибо моя Мари, как зовёт её одна знакомая латышка, собирается в Индию туристкой. Не знаю, доберётся ли она до Индии, но нервы дотрепала вконец, не спит, от прививок вспухала и хворала, особенно от оспы. А батюшки мои! Русская баба в Индии! Куда идём?! И чё будет-то?.. Надеюсь, в Ашхабад пущают ещё без прививок? Я боюсь их!

Я б и нынче уж куда-нибудь уехал, так устал, как никогда ещё не уставал. Но вот отправлю Мари в Индию и уеду в деревню хоть на неделю и буду ловить налимов и ни хрена не делать, а то помру.

К тебе собираемся твёрдо. Мари тут может задержаться (Ринка в феврале иль марте рожать должна), а я приеду. Не могу больше, от звонков, суеты и сырости устал. На месте ты и отберёшь кусок для «Известий». Я привезу рукопись целиком, чтоб ты её увидел в первозданном виде. Но если тебе путь (а не околица) к нам и к тому же охота, то чего лучше — заезжай и поехали вместе. Эдак я даже люблю, кто-то хотя бы бегает по кассам, а ты у чемодана сидишь! Благость, которую лишь с годами начинаешь ценить. А вот командировки мне никакой не надо, я их никогда не беру, опять же боюся. Взял однажды в «Огоньке», дак чуть в суд не угодил...

Ну, словом, ты мне позвони в феврале-то, ладно? Мы и порешим всё. В феврале у меня премьера в Москве. Ермоловцы пьесу мою поставили. Обнимаю. Виктор Петрович

2 марта 1976
Вологда
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

На письма твои не отвечал оттого, что и писать-то уже не могу. Дела меня доконали. Особенно «Царь-рыба». Одновременная сдача её в журнал и книгой в «Молодую гвардию»

взяла остаток сил. Жил больше полмесяца в Москве и в Переделкино, ибо дома под окном долбили полтора месяца грунт и додолбили мою контуженную голову. В Москве тоже было мне плохо, всё люди, люди, все с делами и просьбами сделать то, помочь тому-то, выступить там-то, прочесть это и всё с этакой благодушной улыбкой: «Ну что Вам стоит?»

В Переделкино для начала меня поселили над кочегаркой, и здесь продолжался долбёж головы, только уже ломом и лопатой, угорал я в той комнате смертельно, стал проситься в другую. Пока переводили, народ нащупал меня уже и тама. К концу пребывания ремонт начался в корпусе, застучали молотки, бодрые совтрудящиеся запели бодрые трудовые песни, и я даже продление своё там отменил и не стал дожидаться премьеры по моей пьесе «Черёмуха» в театре им. Ермоловой, которая состоится 12 марта, но, может, к той поре я оклемаюсь.

Пока что под окнами не долбят, и я начал спать, а раз сплю, значит, упадёт давление и перестанет всё дрожать во мне и на мне, особенно руки, а то ведь хуже, чем у алкаша.

Так вот даётся мне литература! А впереди ещё редактура в «Молодой гвардии» и цензура в «Нашем современнике», которая стоит уже за углом, занеся дубину над моею буйной головой.

«Царь-рыба» начинается с четвёртого номера и должна идти в трёх номерах.

В Москве слышал, что Юра Куранов думает о переезде в Москву. Считаю, что это для него целесообразно более чем для кого-либо, с условием, что он сохранит избу в Глубоком.

Марья моя Семёновна ездила на 12 дней в Индию туристом, но я так отупел, что и не послушал её многообильных впечатлений. Вот всё, что пока я в состоянии написать. Кланяюсь жене твоей, дитю. Желаю всего наилучшего.

Виктор Петрович

5 марта 1976

(Е.И.Носову)

Дорогой Женя

Как мы расстались под звон медалей, так с тех пор ни слуху, ни духу.

Я почти месяц был в Москве, сдавал в «Наш современник» повесть и в «Молодую гвардию» книгу. Очень устал и подпростудил лёгкие. Наш хитромудрый Серёга *[С. В. Викулов, редактор журнала «Наш современник». — Сост.]* добавил мне головной боли. В письме не хочу писать, но если он выкинет ещё такой же пируэт по отношению ко мне, я и его, и журнал этот выкину куда подальше. Из «Молодой гвардии» мне сообщили, что

ты до се не прислал книжки на расклейку. Ты что, хвораешь или забыл, но ведь книжка-то должна выйти уже в нынешнем году. Тебе боятся лишний раз напоминать и надоедать, а сроки поджимают. Расклейку сделают в издательстве, и стоить это тебе будет рублей 18-20, так что сам себя и семейство своё клеем намажь.

Женя, я числа 20—25-го улечу в Туркмению с Марьей, греть свои превшие лёгкие, а после безвылазно, вплоть до съезда, буду в деревне, так что приезжай погреться на нашем незнойном солнышке, подёргать окунишек да сорожонку, которая ещё не выдохла. Если брюхо болит — наладим диетой: молоко в селе замечательное, птичек тебе настреляю. Приезжай обязательно, а то так и не увидимся до съезда. Привет твоим. Твой Виктор

4 апреля 1976 г.
Вологда
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валя!

Я сейчас только вернулся из Ашхабада, где маленько погрел свои лёгкие. Ну и, конечно, дел у меня накопилось, даже не мог за всю зиму вырваться в Сиблу.

Жду третий кусок «Царь-рыбы» (гранки). А ещё литом не благословлён и второй. Книга идёт со скрипом, немалым приходится попускаться во имя главного. Слава богу, в первом куске удалось сохранить и суть, и первозданность. Как-то будет дальше? Прошла премьера моей первой пьесы в театре Ермоловой *[драма в двух актах «Черёмуха», режиссёр В. Андреев. — Сост.]*. Спектакль идёт хорошо, среди вымученной и замученной словодрисни, которой затопили евреи сушу, моё неумелое, но русским языком написанное драмо-представление вдруг сделалось «откровением» для театральной публики. Сейчас спектакль готовится в Вологде. А я готовлюсь уехать в Сиблу, отдохнуть как следует и продолжить «Поклон» — четыре последние главы, две из которых почти написаны, а две ещё и не начаты. Буду завершать мою давнюю работу и расставаться навсегда с темой Сибири и детства и целиком переходить на поле брани. Надо, пока не поздно, написать всё же «свою войну». Никто её за меня не напишет.

А Женя Городецкий голову морочит тебе и себе — лучшие фотографии с меня сделал он на Нижней Тунгуске, вот пусть одну из них и пожертвует (одна там есть просто блеск — я весь облеплен комарами, в штормовке, лицо объеденное, чуть таёжное). А портрет, о котором ты говоришь, в пересъёмке выглядит совершенно чёрным, в цвете же они его не дадут.

Ну, дай бог удачи! Через 5—10 дней я стану дедом! Дома большое напряжение. Дочь ходит тяжело, последнее время сильно отекает.

Поклон от М. С. тебе и твоему разросшемуся семейству. Кланяюсь. Курановым поклон. Виктор Петрович

17 апреля 1976 г.
Вологда
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Прими поздравления с весной и Победой! Здоровья и благополучия твоей семье!

А я позавчера стал дедом — Ирина подарила мне внука. Рожала тяжело, но всё уже позади, как сама пишет. Сам я в больнице — воспаление лёгких снова, но уже поправляюсь. Думаю в середине мая поехать в деревню.

Городецкий пишет, что заканчивает редактуру твоей книги, и хвалит тебя, но говорит, «шибко умно и мудрёно выражается Курбатов — борюсь!» А я думаю: зачем же тогда Курбатова столь учили, да сам он сколько книг прочитал, ажник голова 68-го размера сделалась.

А с избушкой, Валентин, я пока ничего не знаю. Хозяин её, Женя Капустин, приедет в середине мая и оставит кого или нет — неведомо. У нас же ныне тьма народу собирается, и я уж намечаю уголок — куда скрыться. Есть у меня такой на Урале, в селе Быковка. Позднее я напишу тебе, что и как, а пока низко кланяюсь, обнимаю и желаю всего хорошего. Твой Виктор Петрович

Апрель 1976
(В.Г.Распутину)
Дорогой Валентин!

Из далекой и сырой Вологды шлю тебе привет и поздравления с праздником весны и Победы! Желаю доброго здоровья тебе, ребятишкам твоим и всем близким, да чтоб повесть у тебя благополучно завершилась и комитет по охране гостайн не терзал её так, как терзает сейчас мою «Царь-рыбу», а я в больнице лежу. И самое им время надо мной издеваться и доводить до того, чтоб проклял я и себя, и эту зае... литературу. В больнице я с воспалением лёгких — болезнь дежурная и мне уже привычная. Есть и радость немалая — появился на свет мой внук, и я его буду пороть три раза на день и приговаривать: «Не пиши! Не пиши! Не пиши!»

Слышал я, что был ты у святых мощей, приложился к святому

— Леонову. Я к нему не хочу идти, боюсь, что разговор наш кончится матюками — это они, литературные дворяне и баре, предали всё и вся, и нам теперь приходится работать с кляпом во рту и с завязанными глазами и руками. Как ещё и работаем? Часто удивляюсь! Как не посходили с ума, не спились с отчаяния — видно, шкура крепкая и душа до того избита. Скорее бы в деревню! Единственное место, где я ещё чувствую себя человеком и входит в меня успокоение и наслаждение одиночеством. Обнимаю, Виктор Петрович.

14 июня 1976 г.
Сибла
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Я после больницы вот уже больше месяца в Быковке (описался!) в Сибле! Но всё недомогаю, долгое время даже читать не мог, погода меня измучила — бесконечные дожди, холод. Мария Семёновна занята в городе внуком, наезжает сюда на денек-другой, но вот и дороги размыло, и всё уже кругом плывёт, река вышла из берегов, в деревню уже въехать невозможно, так днями буду выбираться в город. Надо потихоньку складывать чемодан, ехать на съезд писателей, да и дел скопилось много.

«Царь-рыба» моя подошла к концу в печатании в журнале, потери в повести огромны, особенно досталось второму куску в пятом номере *[Наш современник. 1976. № 4, 5, 6. — Сост.]*. Много нервов, много сил взяла эта «редактура», на душе было горько и пусто, недоумение брало — уж если это режут и порют, то что же тогда будет, если поплотнее навалиться на то, что называется правдой? Страшна она, матушка, ох страшна! Вот и не подпускают, ведут отстрел с упреждением.

Горькое твоё письмо о смерти брата долго лежало перед моими глазами, не раз Я его перечитал — понимаю и вижу за этими строками много. Теперь тебе понятней станет то, что пережил наш брат на войне — к смерти привыкнуть нельзя нигде, и на войне тоже, но притерпеться, отупеть возможно. Я после войны лет пять или семь не реагировал на смерть, закапывал людей, как поленья, лишь смерть махонькой дочери (непривычно! не хоронил детей) сшибла меня с ног в прямом смысле, и я даже нюхал нашатырный спирт, остальное не брало.

Году в 53-м или 54-м шел я на рыбалку за вильвенский мост по известной тебе дороге. И неподалёку от не менее тебе известной 9-й школы (шёл рано утром) увидел как-то жалко и отстраненно плачущую женщину, до которой ещё полностью не дошло горе или, наоборот, уже «перешло» её всю так, что она

была как бы вне себя (в прострации, как ныне говорится) и держалась горько и как-то вяло спокойно. Её о чём-то спрашивал милиционер и записывал чего-то в блокнот. Чуть отчуждённо стоял в стороне и хмурился пожилой путеобходчик. Я приблизился и увидел накрытую женским полушалком девочку, волосики которой белели недвижно и обвисло, личико, чуть выставленное из-под полушалка, было испачкано сажей и мазутом, судя по личику, девочке было лет восемь-девять. И так её изрезало, что она вся уместилась под полушалком...

Я молча ушёл, и в душе моей появилась жалость, и долго ещё, да и сейчас я помню явственно белые волосики, жидкие, реденькие, виднеющиеся из-под старого тёмного полушалка.

Жизнь дала мне много «смертного» материала, начиная от детского потрясения — смерти матери. Нашли её на девятый день страшную, измытую водой, измятую брёвнами и камнями... Вытаскивал людей из петель; видел на житомирском шоссе наших солдат, разъезженных в жидкой грязи до того, что они были не толще фанеры, а головы так расплющены, что величиной с банный таз сделались — большего надругательства человека над человеком мне видеть не доводилось. Отступали из Житомира, проехались по людям наши машины и танки, затем наступающая немецкая техника; наступая в январе, мы ещё раз проехались машинами и танками по этим густо насоренным трупам. А что стоит посещение морга, где лежал задушенный руками женщины (!) поэт Рубцов (я был в морге первым, ребята, естественно, побаивались, а мне уж, как фронтовику, вроде и всё равно). Привычен!

Какая проклятая сила, чья страшная воля прививает человеку такие вот, «привычки»!? Так вот и мой Борис Костяев не влез в эту привычку, не вынес страсти этакой, а критики всё долдонят и долдонят: «Умер от любви»! Простое, общедоступное, удобное, а главное «безвредное» объяснение — за него «ничего не будет» — какой примитивизм!

Как твои дела подвигаются? У нас внук растёт-подрастает, зовут его тоже Витей. Ну, поклон тебе от Марии Семёновны, маме твоей поклон, жене и сыну. Обнимаю тебя, желаю скорее справиться с горем, памятуя, что оно не последнее и надо для будущих дней беречь силы. Твой Виктор Петрович

5 августа 1976
Сибла
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валя!

Ты всегда накатаешь такое, что не ответить на твое письмо

невозможно. И все же я не ответил бы, если бы не одно обстоятельство... Я довожу «Царь-рыбу» до ума, то есть редактирую для отдельного издания. Ах, что это за работа! Устал смертельно. Десятого лечу сдавать, уродовать книгу дальше, но уже вместе с издателями. Я в Сибле. Свету не вижу, из-за стола не вылажу, да и нету свету-то.

Дней 10 постояло вёдро с холодами по ночам, и опять грянул мокромозготник.

Ужас какой-то! Свету конец! Критика на «Царь-рыбу» вызвала неописуемый гнев умных читателей-писателей своей обыденной монотонностью, умением много написать и ничего решительно не сказать.

А пишу я вот чего. Если есть у тебя экземпляр труда твоего, заверни его в бумагу и отправь по адресу: Красноярск, пр. Мира, 89, альманах «Огни Енисея»... Волокитину Николаю Ивановичу.

Коля Волокитин избран там секретарём и, стало быть, автоматически — главным редактором альманаха. Он мой приятель и подшефный. Я много для него сделал. И печатать ему в альманахе нечего. Ты напиши в записке, что делаешь эту работу для Новосибирска, а чего там и как, не пиши, и нельзя ли, де, чего-нибудь использовать в альманахе? Думаю, что кусок-другой они дадут - это тебе штаны немножко поддержит, и труд твой зазря не пропадёт — издадут где-нибудь. Не везде такие идиоты сидят, как и Новосибирске.

Кланяюсь, обнимаю!

Твой Виктор Петрович

18 августа 1976 г.

Сибла

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валя!

Вернулся я из Москвы еле жив. Осчастливили меня «Роман-газетой», но... одним номером, два — это не для меня, и пришлось мне сокращать 3,5 листа *[«Царь-рыба», повествование в рассказах, опубликовано в № 5 «Роман-газеты» за 1977 г. — Сост.]*. Я, идиот, пошёл по повести, и вот она стала вся обезжиренная, неживая, чужая, и сам я себя запрезирал, заболела у меня голова, и, чего давно не бывало, даже сердце забарахлило. Однажды бессонной ночью мне пришло простое решение в голову — просто снять пару глав, и я снял «Летит чёрное перо», «Поминки» и кое-что из дневников Гоги Герцева. Всё вроде бы путём, но тут через мою убогую, вялую, боязливую редакторшу передают намёк: «Островата вещь-то, Виктор Петрович, почистил бы». Тут я сказал: «Идите вы все к е... матери!» На что редакторша

заплакала и сказала: «Вам хорошо посылать, а кого посылать мне? И куда? С меня ведь потребуют, скажут — не умеете работать с авторами, а раз не умеете... А у меня ещё на руках мать-старушка». В другое время при упоминании о дите и о матери я сразу и сдавался, но тут был так уж свиреп и болен, что плюнул на всех детей и матерей, да и уехал домой. Так до се и не знаю: идёт — не идёт. Если не идёт — меня даже почти не огорчит. Жаль лишь времени, нервов. Головы своей жалко.

Дома меня ждали твои два письма — одно с газеткою. Спасибо тебе. Валентин! На маленькой площадке ты сумел сказать много, а то сейчас научились загромождать площадь какими-то умствованиями, за которыми ничего, кроме желания получать деньги, нет. В десятом номере «Литературного обозрения будет «круглый стол» по «Рыбе» — мне очень интересно будет знать твоё мнение… На мой комментарий не обращай внимания, я наговаривал его с совсем уж больной головой, которая и в Сибле, откуда я и пишу, не перестает болеть.

Погода у нас по-прежнему скверная. Всё гниет, ничего не растёт. Кедры все твои тоже, от сырости скукожились (фу ты, опять инородное слово!), боюсь, кабы не погибли. Да и мы тоже. На рынке картошка 80 копеек кило - это в августе-то! Внук наш растёт. Андрей на два года уезжает на Урал, в Чердынь, работать и писать какой-то труд. Не прижился он в Вологде, одиноко ему тут было. Пусть едет и живёт самостоятельно.

Поклон твоему дому! Всем доброго здоровья. Ваш В. Астафьев

24 августа 1976 г.

(Р.Штильмарку)

Дорогой Роберт иль Роман!

Полмесяца жил я в Москве, каждый день собирался Вас навестить, но задёргали, затискали делами, точнее, видимостью дел, до хвори, погода плохая, сыро везде, а у меня — хроническая пневмония, ну и плюс болезни, которые сопровождают человека сидячей работы всюду и везде. Приехал сын и увёз меня на машине к тётушке в Хотьково, глянули на карту — Балашиха совсем в другом конце. Сын — водитель молодой и зелёный, вот и не рискнул делать крюк, уехали домой

Первый раз я ехал этой древней дорогой — через Переславль, Ростов, Ярославль — на Вологду. Какая тихая, теперь уже обманчиво притихшая Россия. Представляю, как тут было при царе-кесаре, и зависть к предкам охватывает — жили, никуда не спешили, ничего не боялись, одного барина почитали, а теперь-то их вон, по тыще на каждого трудящегося развелось! И все кланяться велят, и почитать их, а главное — идею, по которой

они вознеслись и здравствуют.

Мой папа тоже зимогорил в Енисейске (отбывал там ссылку в 1953-1955 гг.) правда, не без вины, а по причине дурной своей башки. Сейчас у меня доживает свой век. Дети, сотворенные им с маменькой, видеть его не желают, да и мало их осталось. Поумирали, поспились.

Есть о чём поговорить нам, есть! И я непременно Вас навещу, скорее всего в октябре, в первой половине, а пока удалюсь в деревню, отлёживаться после редактуры, далеко ещё не завершённой, то есть мною-то она сделана, но ещё издательство не начинало «работу с автором».

Статью Вашего сына Феликса я читал в «Нашем современнике», и она мне понравилась *[речь о статье «Наши кедровые леса», опубликованной в № 9 журнала в 1975 г. — Сост.]*, жаль, что не довелось мне с ним встретиться во время работы над «Царь-рыбой», впрочем, и от того уже, что я знал и видел, у меня уже раскалывается башка, а он бы, как учёный, ещё добавил мне «материалу». Ну, крепитесь, держитесь и прочее! В. Астафьев

август 1976 г.

(В.Г.Летову)

Дорогой Вадим!

После долгого нервотрёпного сидения Москве я вернулся, наконец-то, домой, как всегда хворый, но дела недоделавший. Вот добрался и до деревни — дня два буду вовсе один, даже и не верю этакому счастью! Как-то мои домашние наловчились терзать меня своим присутствием и связанными с этим постоянными волнениями, недоразумениями, подозрениями, и пр. и пр.

Готовил я «Царь-рыбу» в «Роман-газету» в один (!) номер — больше мне не дают. Надо было сокращать 3,5 листа. Я, идиот, начал «идти по тексту», исполосовал всю повесть, измучился, изматерился, а потом догадался просто снять пару глав и только. Но тут на меня с претензиями: «Остро, надо бы то-то...» Я взорвался и сказал, что всю возможную и невозможную цензуру прошёл и с меня хватит. С тем и уехал. Пойдёт, не пойдёт — не знаю. Жаль потраченные нервы — они и без того-то сплошные хлопья.

Погода у нас так и не наладилась. Всё вымокло, выстыло — урожая ни в полях, ни в лесу. Уныло всё и в природе, и в людях. У меня всё болит: кости, лёгкие, и, чего давно не бывало, стало придуривать сердце, иной раз довольно пугливо.

Книгу тому безрукому художнику я отправил — «Затеси» отправил, ибо там рассказ «Руки жены». 15 сентября с Марьей поедем в Молдавию на декаду русской культуры, авось маленько

погреемся. А потом я всё же двину в Сибирь — надо заканчивать «Последний поклон», а то пока я его напишу, все вымрут. В начале августа умерла тётя Галя, та самая «прокурорша», что описана в последней главке «Царь-рыбы». Я на похоронах не был — не смог, и это меня угнетает очень.

Ну-с, пожелаю Герке хорошего начала учебного года, а Матрёне здоровья и здоровья. Да пусть вас больше не трясёт. Напиши Вале — пусть она мне достанет «Пастуха и пастушку» на грузинском языке. Мне грузины не отвечают. Всех целую. Виктор

А младшему Виктору завтра 4 месяца. Славный малый растёт, улыбается всем, горгочет.

5 сентября 1976 г.

(В.Юровских)

Дорогой Вася!

Мне всегда приятно получать твои бодрые и трепетные письма, всё в них о природе, о работе, а то алкаши одни одолевают, стонут, стишки «погибельные» шлют и сами вроде бы вот-вот погибнут, но чаше всего погибают их матери, жёны, дети, а они продолжают пить, жаловаться, ругать власти, литературу, всех чернить, кроме себя. Надоели, окаянные. Артисты они, и все одинаково играют, зато самолюбивы и эгоистичны до омерзения. Надоели, падлы!

Я живу всё ещё тяжеловато. Написать книгу, которая бы всколыхнула пусть не общество, а хотя бы отдельную публику, трудно, а потом ещё надо нести на себе, как крест, груз гнева, боли и настороженности, вызванных ею. Очень «Царь-рыба» оказалась для моего здоровья и больной головы книгой тяжёлой — до сих пор мучаюсь с нею. Сдавал в «Роман-газету», так все требуют подписей, печатей, разрешения и, в конце концов, дали сокращённый вариант в одном номере, да и то попросили: «Остро очень, так нельзя ли кое-что...», ну тут уже я освирепел, бахнул дверью и уехал. Дают вроде бы в № 23, но боюсь, что попросят в корректуре «кое-что», и я опять буду ругаться, а потом голова станет раскалываться. А ещё ведь редактура книги впереди новой, непростой — в неё входят «Ода русскому огороду», новые главы «Последнего поклона» и «Царь-Рыба» — меня уж всячески готовят к «редактуре». Ах, мати божья!..

После Москвы я сразу уехал в деревню. Погода у нас по-прежнему плохая. Урожаю нет — маленько наросло грибов, вот и собираем с Марьей Семёновной да сушим, солим и маринуем — всё еда зимой, а то даже ведь картошка не выросла. И рыба не клюёт! Вода большая, корму много несёт, и она срать хотела на наживку.

Саша Филиппович прислал мне большое письмо, много о «Царь-рыбе» мне написал — умница он, но, кажется, в Свердловске ему не жить — съедят. Я посоветовал ему держать на прицеле Курган.

Пятнадцатого сентября, если будем здоровы, уедем с Марьей Семёновной на декаду, в Молдавию, хоть маленько встряхнуться и отогреться, а потом, отредактировав книгу, пусть и поздней осенью, я всё же собираюсь в Сибирь — надо заканчивать «Последний поклон», а чтобы закончить, всенепременно надо постоять на том месте у Енисея, где нашли утопленницу-мать.

Вот потянуло к этому месту, и ничего с собой поделать не могу, и книгу мне не закончить, если я не выполню этого душевного «каприза». Внук наш Витенька растёт хорошо, слава богу. Сын Андрей уезжает обратно на Урал, в Вологде не прижился. Вот такие наши дела.

Всем привет. Виктор

4 октября 1976 г.

(В редакцию газеты "Кадр")

Уважаемый тов. Е. Поротов!

Спасибо Вам за газету «Кадр», за письмо и предложение ответить на Вашу анкету. Коротенько отвечаю (подробнее нет времени): 1. Я — зритель с детства. В деревенском клубе крутил «динамку» немого кино, чтоб заработать право смотреть бесплатно фильм. Каждому огольцу доверялось прокрутить целую часть. Силы, хватало не у всех, слабела рука, слабел свет на экране, исчезало изображение, публика громко выражала негодование, и слабака немедленно подменяли. Из фильмов, увиденных в детстве, мне ярче всего запомнился «Когда пробуждаются мёртвые» с участием молодого Игоря Ильинского. Видел я первый звуковой и цветной фильм — «Соловей-соловушко». Впечатление чуда, сколь его потом ни пытались уничтожить наши и заграничные ремесленники кино, так и не исчезло до сих пор.

Сейчас, в силу суеты и занятости, я уже не такой активный зритель кинематографа, появилось чувство усталости (не пресыщенности) от огромного количества фильмов серых, привычных и часто вторичных. Из двухсот фильмов, выходящих за год, запоминается два-три — это очень мало, даже в литературе, переживающей сложные времена, нет такого многопроцентного серого потока продукции, а ведь воздействие кино на массы куда более напористо ныне, нежели влияние литературы.

Из последних фильмов студии «Ленфильм» (мною

увиденных) запомнилась картина «Старые стены», а в картине больше всего мне понравилась Гурченко, сделавшая сложную, если не сложнейшую, работу, перешагнув через образ и стереотип той, что засела в памяти зрителей, скорее и не героини, а персонажа, исполняющего песенку: «Пять минут, пять минут...»

Проблема «Писатель и кинематограф» будет до тех пор, пока существует и то, и другое. Уж очень разные это вещи. Думаю я, что было и будет в этой проблеме главенствующее лицо — писатель, ибо сколько бы у него ни было надзирателей, они не могут проникнуть в его тайну, тайну замысла, и, следовательно, никому не дано распоряжаться писателем, сколь бы ни старались, как бы ни изощрялись в этой бесполезной и бессмысленной работе люди, присваивающие себе право судей, диктаторов или «добрых советчиков».

И ещё — писатель свободней кинематографистов был и будет потому, что процесс его работы стоит недорого — бумага, перо, а место — если приспичит писать — можно найти хоть в лесу, хоть на чердаке. Киношник обложен со всех сторон надзором, словно медведь в берлоге, и я удивляюсь даже, как это иным режиссёрам при таком огромном количестве финансовых, идейных и прочих надзирателей ещё удаётся иногда как-то извернуться и выпустить что-то интересное на экраны! Считаю это не просто удачей режиссёра, сценариста, художника, оператора и актёров, а их творческим подвигом. Думаю, дальше будет ещё труднее, уж очень много (год от года всё больше и больше) появляется желающих руководить, направлять, указывать, ковыряться в душе художника и всё меньше и меньше желающих нести тяжёлую каторгу творца.

Демагог, если судить хотя бы по журналу «Экран», становится всё более напористым и властным диктатором; и если учесть, что художник, «как собака, всё понимает, но сказать не может», битву наглядно проигрывает он. Хотя, когда демагог срубит последнюю сосну и окажется лицом к лицу с пустыней, ему снова придётся замолчать и ждать, когда другие, способные к труду и творческому подвигу люди насадят и вырастят лес и ему, демагогу, снова будет что срубать...

Сейчас одновременно ведут со мною переговоры о постановке картин по моим произведениям три студии. «Всякому овощу своё время» — гласит житейская, честная русская пословица. Видимо, я, как «овощ», созрел для кино...

С приветом, В. Астафьев

Ноябрь 1976 г.

(Главному редактору
"Литературной газеты"
В секретариат правления Союза писателей СССР)

Двадцать шестого октября в вестибюле дома творчества в Гагре мы с женою смотрели по телевизору встречу по футболу между командами «Арарат» и «Зенит». Араратовцы забили гол ленинградцам из спорного положения, и кто-то сзади меня сказал: «Глядите, зенитовцы и не спорят!» Меня, как давнего болельщика за «Зенит», сунуло сказать: «А они и не будут спорить, это не араратовцы, которые в игре со «Спартаком» устроили безобразный митинг на своём поле...»

«Что говоришь, негодяй?!» — вдруг заорал сидящий рядом с женой, вальяжно развалившийся в кресле гражданин.

«Простите! — сказал я. — но я не с Вами разговариваю».

«Хам! Ты должен извиниться передо мной. Тебя судить надо за такой подлый душок!..»

И пошла такая брань, что я вынужден был ответить:

«Что Вы орёте? Вы что, напугать меня хотите? Так я пуганный на фронте фашистами, и напугать меня уже трудно».

«Идиот! Хамло! Ты ответишь за эти слова...» — ещё громче разорался гражданин, брызгая слюной, картинно гневаясь.

Я замолчал, ибо понял, что он провоцирует скандал, да и руки у меня стали отниматься, начало схватывать сердце — перед отъездом в Гагру я сорок дней отлежал в больнице. Жена моя вежливо попросила совсем уж разбушевавшегося гражданина, когда я замолк: «Перестаньте! Да перестаньте же пожалуйста!..»

«Ты своему дураку-мужу указывай! Ты на него, идиота, воздействуй!..И всё в таком же тоне и духе. Мало того, гражданин этот демонстративно закурил и принялся пускать дым в лицо жене, продолжая при этом орать, всё более и более склоняя свою речь в шовинистские направления.

Тогда рядом сидящий с ним гражданин в очках похлопал его по руке и скорбным вздохом сказал:

«Успокойся, дорогой! Их не перевоспитать!..» — было это сказано чтобы мы с женой уяснили, что не нас перевоспитывать, а всех русских.

Каково же было моё удивление, когда я узнал, что на болельщицкую реплику, может быть, и неуместную с моей стороны, этакий вот провокационный базар устраивал работник «Литературной газеты», постоянно и настойчиво ратующий за утверждение человеческого достоинства, Константин Богратыч Серебряков, а утешал его и говорил насчёт перевоспитания «их» — один из секретарей Союза писателей Армении, фамилию которого, надеюсь. Серебряков вспомнит.

И вообще уяснил я, оглядевшись: Серебряков работал на свою публику - в вестибюле сидели одни его собратья, и это перед ними он выказывал о истинным «патриотом» и желал громкого скандала, но его не получилось.

Разумеется, ни я, ни жена не спали после этого происшествия, ожидая что Серебряков извинится хотя бы перед женщиной, вступившей в партию на фронте, имеющей правительственные награды, написавшей две книги, матери троих детей, наконец, просто женщиной. Но человек, как бы желавший нас «перевоспитать» (на свой лад, чтобы обращаться с незнакомыми людьми на «ты», вести себя разнузданно в общественном месте, хамить женщине Серебряков, видимо, считает своё поведение нормальным, особенно там, тех местах, где он чувствует себя «дома» и в окружении «своих» людей.

Я никогда не работал в большой, да ещё центральной газете, был литературным работником всего лишь в районке, но редактор её не уставал повторять всем нам, тогда ещё молодым и горячим, работавшим в газете, что мы представители одной из самых древнейших, видных народу, профессий. Мы — журналисты и обязаны постоянно помнить об этом и вести себя достойно как в редакции газеты, так и вне её, вплоть до собственного дома» говоря уж о местах общественных.

Уверен, что и в «Литературной газете» придерживаются этой святой для советского журналиста морали, и, думаю, Серябряков не позволит себе вести себя так в другом месте, в Москве, например. А он и после инцидента продолжал вести в доме творчества вызывающе, курил в вестибюле, несмотря на запреты, если говорил, то на весь зал, если сидел, то непременно развалившись.

Впервые в жизни и за двадцать с лишним лет работы в литературе я прибегаю к такому прискорбному "творчеству", ибо впервые был так оскорблен и унижен. Я не требую извинений от Серябрякова - трижды раненый фашистами, я слишком хорошо знаю цену тем ранам, а нанесенные публично - цена им ничтожна. Но настаиваю, чтобы Серебряков письменно извинился перед моею женою - Марией Семеновной Астафьевой, по адресу: г.Вологда, ул. Ленинградская, 26, кв.12. И еще надеюсь, что главный редактор "Литературной газеты", партийная организация редакции напомнит своему сотруднику об этике журналисткой и человеческой.

С уважением, Виктор Астафьев, член правления СП РСФСР.

14 ноября 1976 г.
(Е.Городецкому)

Дорогой Женя!

Ездил я в обратную сторону, в германскую, на Неделю советской книги. Погода там, у германца, хорошая, золотая осень, и харчей полно, чего не скажешь о стороне нашей — и погода мерзость, и харча нет. Я очень ободрился от германской погоды, все перегрузки хорошо переносил, ведь три-четыре выступления в день! И так уж привык к бодрому состоянию, что когда заехали ночью в Белоруссию и заныли мои кости, думал, отлежал их. Ан нет! Погода меня замаяла. Болотная, сырая, протухлая. Все дома болеют и особенно внук. Вот уже месяц парень мается с воспалением кишечника. Медицина наша и порядки созданы не лечить, а мучить, и как бы не замучили парнишку. Сегодня ревел он, бедный, всю-то ночь напролёт. Ещё и зубки режутся.

Надо уезжать. Дорога мне только в Сибирь, на родину, или на тот свет. Лучше на родину, Сперва я думал построить дом в Овсянке, вселиться в него припухнуть. Но ведь опять же при наших-то порядках построят его года за три-четыре и мне надо будет там терпеть, руководить, раздавать деньги, трепать нервы. Опять придётся кланяться, просить квартиру. Ах, мати божья!..

Дома о моем решении ещё никто ничего не знает. Постепенно готовить — изведутся. ведь переезд в нашем возрасте, при нашем барахле уж и не просто двум пожарам, а землетрясению равен...

Ну никто как Бог.

С "Рыбой" этой мучения мои всё не кончаются. Только недавно сдал книгу в производство в "Мол. гвардии", как тут же узнал, что в «Роман-газете» остановили, вынули уже из производства даже сокращённый вариант. До лучших времен, говорят. Кто остановил? Кто говорит? Ныне ничего не узнаешь, хотя я и догадываюсь, кто и откуда и даже почему...

Я уже давно ничего не пишу — некогда. Надо бы заканчивать «Поклон» и непременно нынче, а я никак ладом за стол не сяду. Суета засосала, затянула, будто в улово. И дома, в Сибири, побыть не соберусь, а уж снится и Сибирь, и Тунгуска, как я и предполагал. Комары, гнус, холод — это всё память отмела, будто литературный лакировщик высветил природу, время, на реке проведённое, берега, воду, горы, людей...

А когда поеду — не знаю. Прежде надо ехать лёгкие лечить. И башку. Болеть стала, курва. Давление прыгает. Ну да годы ведь уже немалые. Чего спросишь с войны? Новой не было бы хоть, одно и утешение и надежда.

Ну вот и накарябал маленько, между всяких дел. Кланяюсь твоей много численной семье!

Обнимаю тебя — Виктор Петров сын.

А папа с прошлой осени живёт у меня. Оставил его тут

одного в деревне он ка-ак загулял — это в семьдесят-то пять лет. Неисправим бродяга!..

28 ноября 1976 г.
Вологда
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Какое-то наитие. Днем был в молодёжной газете, что-то разговорился о Чусовом и проговорил почти полдня, тут только и обнаружив, как ярко отпечатался и город, и время, в нём прожитое... А ещё говорим: «благодарность», «неблагодарность»... По отношению к Чусовому мне в пору петь: «Мне б надо Вас возненавидеть, а я, безумец, Вас люблю!..»

Словом, пришёл из редакции, а от тебя письмо. Не ответил сразу, плохо с внуком, плохо дома. У малыша уже полтора — полтора! — месяца не могут остановить понос, и я, долго державшийся, тоже начинаю впадать в панику. Всё, что в наших силах, не таких уж сильных, сделано, и тщетно. Везти мальчика в Москву боюсь. Боюсь, что повторение анализов, новое голодание доконает его натуру, удивительно стойкую, мощь какую-то недетскую. Мальчик, голодающий так долго, так долго страдающий от болезни, уколов, душной палаты, горьких лекарств, всё ещё всем, а в особенности нам, радуется, улыбается и даже от уколов не орёт. И только гнётся и по-взрослому ойкает. По сей причине не вступаю я ни в какие с тобой литературные дискуссии — башня сдвинута, я уже и позабывать стал о какой-то «Царь-рыбе». Прочёл тут в «Литературном обозрении» (гранки-то читал на бегу в Москве) и удивился: «Гля-ди-ко, кого-то и задело за живое»...

О Герцеве только так и возможно было написать в «Царь-рыбе», тронь я эту коросту сильнее и глубже, другую ж книгу пришлось бы писать.

Не попадалась ли тебе книга В. Фомина «Пересечение параллельных»? Фомин этот — киновед, и книга его о кино, о близких нам людях. Он не только кончил тот же факультет, что и ты, но и похож на тебя многим, в том числе и бородой. Они приезжали ко мне в Сиблу со сценарием — «Мосфильм» экранизирует «Перевал». Картину будет снимать Булат Мансуров — порядочный, по-моему, мужик и работяга. Снять должны летом 1977 года. Я продал право на экранизацию, но чем могу, помогаю.

Теперь о Васе Белове. Я последние его вещи не читал, но читал предпоследние. Тревогу твою вполне разделяю, тем более что сам он абсолютно не знает, что давненько уж находится в

творческом кризисе и пишет не то, что бог велел, а людей, которые бы ему это сказали иль написали, возле него нету. Вологодские-то люди — лукавые, они и не скажут никакой горькой правды. Сам Вася тоже из вологодских, хвалится, что в институте пять лет жил в одной комнате с человеком и не сказал ему, что он бездарен, а вот мы, нехорошие, такие-сякие, сказали. А тот, надсадившись от бесполезного и графоманского труда, рано умер, а точнее, просто пропал, а всё же Вася никому не признаётся, что усугубил все дело, помог товарищу, русскому человеку скопытиться своим блядским молчанием. Я уж давно раскусил эту вологодскую доброту, она страшнее жестокости.

В «Молодой гвардии», в редакции «ЖЗЛ», заведующим работает Юра Селезнёв, очень хороший человек. Я просил его, чтобы он давал тебе что-нибудь на рецензию. Народу у него пребывает дополна, суета заедает, может, и забыл, так напомни ему словесно иль письменно, что я ходатайствовал. Ко мне он хорошо относится.

Моя мечта, если внук выздоровеет, закончить «Последний поклон». В Сибирь мне не удалось и нынче съездить, но недавно съездил на неделю ещё раз в ГДР, пригодится в будущих писаниях о войне.

Из Сиблы я бежал рано. Лета не было. Осень была плохая. Я никаких сил не набрался. От сырости ноет всё.

Вот пока и всё. Всем поклоны. И с Новым годом! Едва уж соберусь написать. Будьте все здоровы! Ваш Виктор Астафьев

3 декабря 1976 г.
Вологда
(В.Хорошавцеву)
Дорогой Виктор!

Привет тебе, Тоне и граду Чусовому, который я вспоминаю часто, и недавно по какому-то поводу и тебя вспоминали. Наитие! Я с удовольствием прочёл твоё писание, ибо о рыбалке, да ещё об Усьве, да ещё о хариусах! ещё и читать-то удовольствие. Беллетристикой, да ещё серой, я уже сыт по горло.

Пятнадцатого декабря редколлегия журнала «Наш современник», там зреет предложение дать что-то по поводу «Царь-рыбы», то есть дать разные материалы, пришедшие после этой повести. Я предложу прочесть и твой материал. Если не выйдет, надо будет его послать в «Уральский следопыт», я это и сделаю. Но вообще-то надо тебе сказать, после появления этого материала всякого рода туристы вовсе одолеют Усьву и всё пожгут и побьют, и обхаркают - турист стал бедствием для нашей

многострадальной природы. Мария Семёновна тоже шлёт вам поклоны. А я, прочтя твою страничку, нежно и с грустью вспоминал, как мы рыбачили на Яйве и как отпустили щуку-крокодила. Сейчас смешно и отрадно вспоминать всё это, ибо ничего в жизни лучше-то и нет, как общение с природой — рыбалка, охота. К сожалению, время моё уходит на дела совсем иного порядка, на какие-то заседания, никому не нужные поездки, чтение рукописей, преимущественно убогих, на ответы, бытовую суету.

У меня развилась и сильно меня мучает хроническая пневмония — зимой на рыбалке почти не бываю, а тут всё лето лил дождь, приостановился было в октябре, в ноябре снова начался и до сей поры — сырь, мразь. Утром едва поднимаюсь с постели.

Сын Андрей работает в Чердыне, в музее, с Уралом не расстаётся. Дочь здесь работает, сделалась матерью, да вот мальчик тяжело болеет, она лежит с ним в больнице, но дело, слава богу, пошло на поправку. Сейчас вот собираемся с Марией Семёновной навестить их в больнице.

Ваш В. Астафьев

1976 г.

(Ученикам и учителям школы-интерната №2 г. Череповца)

Благодарю вас за письмо и за добрые слова о моей работе! Желаю успехов всем и в частности литературному кружку вашей школы. Вы, наверное, знаете из биографии, что я тоже когда-то участвовал в школьном рукописном журнале и «творчество» моё началось именно там, в школе.

К сожалению, я не могу сейчас приехать в Череповец — нездоров, а почты и дел скопилось очень много, ибо только что вернулся из ГДР, где проводилась Неделя советской книги. По этой причине и на вопросы ваши отвечу коротенько.

Люблю классическую музыку. Больше других музыкальных произведений люблю Первую симфонию Калинникова, концерт для фортепьяно с оркестром Грига, «Реквием» Верди, увертюру к опере Вагнера «Тангейзер» и вообще всю оперную музыку люблю, любовь к которой привил мне воспитатель детдома Василий Иванович Соколов (прототип Репнина в повести «Кража»).

Писатель, как и всякий серьёзный читатель, с возрастом меняет свои привязанности — первой прочитанной в жизни книгой и долго мною любимой была «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, потом любил всё то, что любят все дети. В молодости обожал Тургенева, в особенности его роман «Рудин». Затем «переметнулся» к «Мартину Идену» Джека Лондона. Постепенно

дорос до русской классики и добрался до Льва Николаевича Толстого, до Бунина и до Достоевского, который уж многие годы был и остаётся моим кумиром. Если говорить о книге, которая меня «перепахала», так это, прежде всего, «Братья Карамазовы» Фёдора Михайловича.

Сейчас начинаю снова открывать для себя Пушкина и Гоголя и вновь, уже взрослым умом, поражаюсь их гению, их недосягаемости...

Недавно вышла моя книга с повестями «Стародуб», «Кража», «Пастух и пастушка» в издательстве «Художественная литература», которую предваряет моя статья «Стержневой корень». В статье вы найдёте более подробные ответы на все остальные ваши вопросы, а я прощаюсь с вами и ещё раз желаю всем вам всего доброго и хорошего!

Виктор Астафьев

12 декабря 1976 г.
Вологда
(В.Юровских)

Дорогой мой лесной опёнок!

Тебя и всех твоих юровичей поздравляю с Новым годом! Здоровы все будьте! А тебе пусть хорошо пишется и по-лесному хорошо дышится! Я много тебе не пишу, всё недосуг. Ночью еду в Москву на редколлегию, пленум и т. д. Лишь позавчера выписали внука из больницы, и лишь вчера начало подмораживать, а то всё было мокро, мерзко, кисло. Целый год мокреть! Ещё один такой год, и мне с моими лёгкими можно писать завещание.

Нервишки мои на пределе, весь я раздражён, всё во мне дрожит до последней клеточки, не пишу «для себя» ничего, но всё время в работе, всё время суета, нервотрепка, которую усугубляет и увеличивает моя преподобная супруга, умеющая нагнетать в доме панику и мрачность бесконечную. Одна у меня надежда отдохнуть от жены, от детей, от телефонных звонков, каких-то суетных дел — съёмки фильма «Перевал» вроде бы намечаются на моей Родине, уехать бы на всё лето с киношниками, спрятаться от всего и постепенно подготовиться к переезду на Родину, Здесь я больше жить не могу — скверно, грустно, не родно!

Ну ладно, не буду нагонять на Вас тоску — везде и у всех свои проблемы и беды.

Обнимаю тебя, твой Виктор Петрович

1976 г.
(Н.Христову)

Дорогой Николо Христов!

Пишет Вам из далёкого русского города Вологды русский писатель Астафьев. Не знаю, насколько точный Ваш адрес дали мне в журнале, но, надеюсь, письмо моё найдёт Вас.

Я с большим волнением и болью прочёл Вашу «Колючую розу» в журнале «Иностранная литература». Сам я родом сибиряк, моё родное село близко от Красноярска. Вырос на берегу Енисея и с детства научился почитать и любить нашу родную природу, и, когда начал писать — в 1951 году на Урале, — тема природы заняла главенствующее место в моей работе. Вот почему мне так близка и понятна Ваша боль и Ваше страстное слово в защиту природы. Вы совершенно точно назвали одну из причин такого тревожного положения на земле — человеческая беспечность, от которой до преступности всего шаг, и шаг совсем небольшой.

Я недавно закончил большую повесть «Царь-рыба», она напечатана в 4—6 номерах журнала «Наш современник» и должна скоро выйти в сокращённом виде в «Роман-газете». Большинство глав-рассказов в повести как раз о человеческой беспечности и безответственности за себя и за свои поступки. Особенно безответственно ведут себя люди в тайге сибирской, ибо кажется им, что она нескончаема, вечна и сколько бы её не тиранили — конца ей и её терпению не будет. То же самое, наверное, думают люди, истребляющие джунгли Амазонки, — они так широки и дики, что создают обманчивое представление о неисчерпаемости земных богатств.

В Болгарии у меня выходило несколько книг, слышал, что начинается издание двухтомника. Может, что-то и попадалось Вам на глаза. Буду рад, если мои чувства и моя боль перекликнутся с Вашими чувствами и с Вашей болью, ведь живём-то мы все на одной земле и заботиться о ней надо бы всем людям, но пока очень и очень многие не понимают, что пилят и уже опасно подпилили сук, на котором сидят. У нас тоже пока больше тревожатся и заботятся о природе пишущие люди и учёные. Люди же, непосредственно занятые работой на земле, в лесу, в недрах земных, машут на всё это рукой: «На наш век хватит!..»

Мы свой долг посильно исполняем, но, думаю, недостаточно страстно делают своё дело многие пишущие люди. Все бы вот писали так, как Вы свою «Колючую розу», наверное, скорее заставили бы задуматься человечество о своём будущем.

Ещё раз благодарю Вас за великолепную прозу. Желаю Вам доброго здоровья, а людям земли — благоразумия!

Кланяюсь Вам с почтением. Виктор Астафьев

1977 год

15 января 1977 г.

(В.Г.Летову)

Дорогой Вадим!

Пишу тебе из-за города, из дома отдыха, где есть зимний пустующий домик журналистов. Вот здесь, с Нового года, вдвоём с редактором областной комсомольской газеты, очень славным парнем, мы и зимогорим. Питание готовое, уединение, тишина, он пишет повесть, а я вычитываю большую и сложную вёрстку сборника. Там всё новое, и «Царь-рыба» более или менее на себя похожая. Дай Бог, чтобы комитет по охране природы делал бы столько. Десять дней вычитывал, подправлял, и осталось у меня два дня на письма, а потом мы с М. С. поедем на недельку в Ленинград. Надо хоть встряхнуться, повидаться с однополчанами — вымирают, посетить могилку Вити Курочкина, товарища по перу, которого я не хоронил из-за текущих дел. И один или два раза выступить в Союзе писателей, в университете или на телевидении. В Ленинграде у меня больше всего читателей, судя по письмам, и читателей чутких, доброжелательных. А тут, в связи с «Царь-рыбой», такой читатель из подворотен вылез, такое воспитанное мурло, интеллигентно себя понимающее. Он в школе вызубрил две цитаты — «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно стыдно...» и «В человеке всё должно быть прекрасно...», а сам, сука, всю жизнь в казарме или на эсминце пил кровь из подчинённых, обогащал свою квартиру, наряжал в панбархат бабу-дуру или воровал с баз. Конечно, прав Стасов: «Укус от клопа не смертелен, да вонь от него преотвратительная».

Я вроде бы расчистил время от всякого хлама и могу начинать писать остальные главы «Последнего поклона». Вот съезжу в Ленинград, вернусь в эту Убогую и тихую обитель и махом напишу две главы (две начерно написаны), а потом уж дома и где угодно буду доводить до ума их и перелопачивать всю книгу.

В пятом номере «Роман-газеты» в сокращённом виде идёт «Царь-рыба» — продрала все невода и мережи на своём пути. Не давать стало невозможно, велик резонанс, сильно пошла за кордон, а ведь написана-то лишь частица, капля из великого моря человеческих страданий и безобразий, чуть тронута вопросом тема — отчего это люди так одиноки? Ожидалось же всё наоборот — братство, всеобщая гармония, согласие и пр., и пр., а тут вон как пошло.

Как много дала мне та поездка по Оби! Спасибо тебе за неё дальним числом и поздним временем.

А в Туркмению нам весной, наверное, не попасть. Заказал я

путёвки в Ялту, надо лечиться, с лёгкими у меня неважно. Прошлый год мокреть с апреля и до последних чисел декабря вовсе довела меня. Я мало двигался, стал ещё тучнее и часто терял работоспособность, а с нею вместе и присутствие духа.

Сейчас вот отдышался, да и внучек наш, слава Богу, уже гулять его носят, кушает, горгочет, хулиганит, один раз уже из телеги вываливался и башкой об стол — всё путём...

В мае начинаются съёмки фильма по моему «Перевалу» на моей родине. Делает фильм бывший работник ашхабадской студии (мир тесен!) Булат Мансуров. Его фильмы — «Жажда», «Рабыня», «Состязание» и др. Мужик он скромный, работящий, и фильм по моей повести для него площадка, с которой он должен пересесть и закрепиться на «Мосфильме» (объединение Райзмана, великолепного, кстати, человека, скромного и отзывчивого). Я на всё лето хочу уехать со съёмочной группой на родину, отдохнуть, отдышаться и решить вопрос с переездом — стоит, не стоит.

Впереди у меня много кропотливой работы: сценарий, доделки — в 79-м году «Худ. литература» намеревается издать двухтомник, в 80-81-м, если не напишу куда-нибудь ругательное письмо, начнётся издание собрания сочинений в четырёх томах в «Молодой гвардии».

Ну вот, очень рад, что выбралось время тебе написать более или менее подробно, а то засуетился вконец.

Тебя обнимаю, желаю доброй работы. Твой Виктор Петрович

1 марта 1977 г.
Вологда
(адресат не установлен)
Уважаемый Илья Григорьевич!

Не так уж часто мне, бывшему солдату, приходилось вступать в контакт с генералом, да ещё и благодарить его за тёплые и разумные слова. Делаю это с моим преогромным удовольствием. Спасибо и за то, что не даёте утвердиться во мнении, будто все военные у нас — дубари. А они словно бы и гордятся этим. Одно из первых ругательных писем на «Царь-рыбу», посланное не мне, а в «Правду», было от работника Северного морского флота, как он себя аттестовал, не допускающего, судя по тону письма, иных мнений, кроме своего, чина немалого. Отругал я его письменно, а теперь уж и каюсь: не он, воспитание виновато, казарма — не лучшее место для интеллектуального развития и самоуглубления.

...А днями я начерно закончил заключительные главы повести «Последний поклон». Работа продолжалась в течение двадцати лет! Прощаться с нею и радостно, и грустно. Но надо. Начал уставать от книги, и, стало быть, срок её кончился. Она как бы

предваряет «Царь-рыбу». Вторая и первая книги вместе должны будут выходить в 1978 году, вроде бы в издательстве «Современник».

Ну, ещё раз благодарю за доброе слово и, как на фронте говорили в ответ на похвалу старшего по званию: «Служу...» Кланяюсь, Виктор Астафьев

9 марта 1977 г.

(В.Г.Летову)

Дорогой Вадим!

Ну вот, давненько тебе не писал, приспела оказия — «лауреатская» книга. Шлю её и маленькую писульку, в коей сообщаю, что со скрипом, но закончил начерно «Последний поклон». Сейчас две из четырёх глав М. С. печатает на машинке для дальнейшей работы. Одна вроде бы получилась, а вот как последняя, ещё не знаю. Внук ей особо-то не даёт заняться делами. И вообще всю семью держит в весёлом возбуждении, такой разбойник стал!

Я очень устал от работы и переделок, сделался вял, и вернулась ко мне давняя гостья — цинга. Правой стороной рта уж есть не могу. Зима была суровая, и сейчас все ветра со снегом. Дважды выезжали за 200 вёрст на озеро порыбачить и оба раза едва ноги унесли — так заметает след.

Завтра мы с М. С. едем в Москву на «Мосфильм», смотреть актёрские пробы в «Перевал», и дела у меня там накопились, а оттуда я двину сразу же в Петрозаводск выступать в университете, и по приезде нашем уже собираться в Ялту надо. И мне, и М. С. хорошо бы отдохнуть. Мы порешили так — если погода в Ялте будет плохая, тогда уж плюнуть на всё и двинуть под ваше солнце, да всё не надеемся, что будет и к нам когда-то милостив Бог. Нельзя же гноить человеков так долго, хотя они того и заслужили. Вышла «Роман-газета» и уже поступила подписчикам, а мне нет. Видел мельком. Всё стало делаться у нас через жопу. Из «Лит. России» гонорар мой заслали в... Новороссийск. Книг запечатали двести штук, сам заявление писал — не прислали ни одной. Авторские шлют с опозданием на полгода, а то и вовсе забудут. Что деется! Что деется!

Стало всё безответственно, разболтанно, и пьянство, пьянство! Море разливанное, как перед потопом.

Как вы-то живёте? У вас уже сеют — мельком слышал по радио. Ну, дай нам Бог здоровья, а «известинцы» покоя не дадут, это уж климат газет — бегать, звонить, шуметь, и выходить к читателю серенькой робкой овечкой. Обнимаю тебя. Виктор Петрович

Лето 1977

Овсянка, жене

Дорогая Маня!

Занепогодило, и я сижу дома в своих модных туфлях, а хотелось бы ещё походить по Большой Слизневке и вообще по лесу. Он сейчас здесь дивен, а горы красивы. Я часами сижу у задней калитки в огороде и смотрю на слияние двух рек, смотрю. и слёзы, будто шлак в горле... Вверху как было, так и есть: горы, вершины, проплешины леса, а внизу рыбак на рыбаке, моторка на моторке, все куда-то Мчатся сломя голову, всё торопится к концу своему...

Вчера я выступал в Овсянке перед учителями. С утра дождило, и я едва выдюжил, едва выжал из себя улыбку на совместном фото, ибо уже знал, что Умер Миша Шахматов и меня ждут в городе на похороны. Даже тут нужен «почётный гость», а умер он от пьянства и чахотки. На похороны я не поехал, и к родичам, и к директору в гости не ходил, пущай сердятся. Вернулся, принял димедрол и проспал часа четыре. А тут гости — Слава Сукачёв с супругой и братом. Слава богу, всего лишь на ночь. Маленько поговорили, погоревали — его тоже на курсы не взяли. Наверное, бравый чернобровый писатель-оптимист Н. Горбачёв сводит счёты из-за меня с ребятами. Подлости нет границ.

Я уже собираюсь домой. Соскучился уже по дому, да и незаконченная работа мучает. Никуда не надо ездить, не завершив книгу, не свалив её с плеч. Всё время какой-то долг, всё время какой-то неспокой на душе. Хорошо, что в первые дни я «не объявлялся». А сейчас уж бежать надо: были статьи в газете, по радио чего-то трепанули, и кончился покой, даже относительный. Сегодня льёт, и потому, слава богу, никого.

Позавчера был в семье Никоновых *[односельчан. — Сост.]*, у мамы и у сестры. Тяжёлое свидание! Неприятное! Погиб сын. Внук сидит за коллективное изнасилование, а бабушка и мама считают, что весь свет виноват, кроме него и их. Ещё один сын-пердак, 117 кг весу, прыгает в оперетке, на секретном

предприятии, ибо там платят 280 рэ. Ушёл с радостью и облегчением из этого дома.

Съёмки фильма идут сейчас на запани, когда было сухо, я туда ходил пешком — отрадные дни, прелестные тропы и отдых для души. Съёмки идут к концу, и чем дальше, тем тяжелее. Половина группы уже болеет простудой, поносами — нельзя быть в экспедиции 3—4 месяца в отрыве от дома. Думаю, что многое будет скомкано, отснято поспешно в конце, но есть ещё не отснятое и в середине фильма.

Я дождусь Любу Полехину, напишу для неё какой-то текст и ещё маленькую сценку для Сковородника и Ильки и полечу домой, скорее всего 5—6 сентября. Может, полетим вместе с Булатом *[Мансуровым. — Сост.]*. Володя Гусев уже отснялся и улетел. Хороший актёр! Умеет работать с полной самоотдачей! Булат едва жив: руки дрожат, лицо дёргается, глаза бегают, худой — страшно смотреть. А новый директор — жалило, как паук, сидит в гостинице и караулит, кто чего натворит, и тут же «портянку» в Москву. Тут считают, и не без оснований, что его прислали, чтоб не пустить Булата на «Мосфильм» и погубить картину,

Кошмар какой-то! Люди страдают.

Ну, вот пока и всё. Послезавтра у меня выступление в «Красноярском рабочем», надеюсь, последнее. Побываю ещё в Овсянке (тётки сердятся!) и буду прощаться с киногруппой, работающей самоотверженно. В ней много хороших ребят, иначе бы всё уже накрылось. Дюжат особенно те, кто составляет бригаду. Кадочников — старик, с пневмонией, живёт на горчичниках, а как работает! Ох уж этот хлеб киношный! Кажется, горше и нет.

Ну, пока. Целую всех, я

2 декабря 1977

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Были у меня очень запарные дни. Я заканчивал, готовил для печати, редактировал, вычитывал и т. д. «Последний поклон» — весь! На исходе сил всё делал, почти больной от усталости и подлой погоды. Увёз книгу в Москву. Думаю, пока читают в издательстве, хоть в театры похожу. Куда там! Навалилось какое-то вороньё из газет, из полудрузей, просто людей любопытных и спать-то не дают, а тут ещё с кино надо было помогать, да и друзей-то хоть немного повидать. Трижды выступал, редколлегия журнала была и ещё какие-то дела. И все в голос: «Вы должны!» Я уж, в Академии общественных наук выступая, ляпнул, что всё

время и всем должен, а мне почему-то никто и ничего...

Было пятилетие со дня кончины Я. В. Смелякова, узким кругом ездили на Новодевичье. Шёл проливной дождь, а хотелось и Александру Трифоновичу *[Твардовскому. — Сост.]* поклониться, и к Василию Макаровичу *[Шукшину, — Сост.]* завернуть. Завернул, спрашиваю: «Ты чего ж, Макарыч, в такую сиротскую зиму здесь один лежишь? Зачем тебе это нужно?..» Молчит, смотрит с портрета печально, как бы говоря: «А что делать, земляк? И ты ляжешь. Между прочим, здесь нисколько не хуже, чем у вас, даже потише маленько, и все, воистину, равны»...

Отредактировав книгу, я тут же вернулся домой, никого не навестив, нигде не побывав ладом. Не осталось сил. И начал спать и есть. Сплю и ем. Вся работа! Мне особенно сон нужен. Еда ни к чему бы. Я совсем растолстел от сиденья по 10—12 часов за столом. Я ведь и старые главы «Поклона» все перекромсал. Новые идут в следующем году в первом номере «Нашего современника».

Книжку твою, славно и на старинный лад переплетённую, получил. Поблагодарить не выбрал времени. Делаю это сейчас. Спасибо! Одну книжку отдал главному редактору «Современника» — может, переиздадут? Но им нужно листов восемь-десять, что-то придётся добавлять из других материалов, если они, конечно, не забудут. Сейчас обещания ничего не стоят.

Мечтал посидеть дома. Почитать, отоспаться и укатить в Сиблу. Если буду здоров, так и сделаю. За зиму съезжу лишь на встречу к друзьям-фронтовикам и, может, быть в Киев, на совещание писателей, освобождавших украину, — это, наверное, будет интересно. А в остальное время отдыхать, отдыхать — усталость даже в костях гудит или поёт.

В декабре должны сдавать наш фильм. Название его так и осталось мне не к душе: «Сюда не залетали чайки» (хотя были и лучше: «Сретенье» — режиссёра, «Запах земляники» — моё). Телевиденье подбивает меня на две серии «Пастушки», уже утверждено в плане. Я сказал: «Пока не увижу режиссёра, не поговорю с ним, моего согласья нет и не будет...» Боязно!

Фетин в Ленинграде начинает подготовку к съёмкам фильма «Сон о белых горах», но это всё по чужим сценариям, а «Пастушку», если делать, то только сам. Я теперь понял точно: в сценаристах, обработчиках чужих книг околачиваются халтурщики и дельцы — таким и оказался пройдоха Трошкин, автор сценария по «Перевалу», за которого всё равно пришлось работать мне и режиссёру. Этот же режиссёр мечтает поставить «Последний поклон», вот почему я хочу, чтоб ты посмотрел этот фильм по «Перевалу» и сказал мне -стоит ли доверять самую мне дорогую и теперь уже очень серьёзную книгу?

Посмотришь — напиши подробно. И подробно о Чусовом, ладно? Я туда не скоро соберусь.

Внук наш Витенька хорошо растёт, потрошит всё, что может, от стен квартиры и до книг.

Ну, Валя, бодрый будь! Что-то меня пугнуло твоё последнее письмо.

Поклон твоим домашним от меня, Ирины и всех наших. Я обнимаю тебя. Твой Виктор Петрович

Декабрь 1977

(М.А.Ульянову)

Дорогой Михаил Александрович!

Когда Вас чествовали в связи с пятидесятилетием, я находился под Москвой, в Переделкино, и хотел было тоже поехать, чтоб пожать Вам руку, но такая была гнусная погода, что я едва ноги волочил и, закончив работу, поскорее подался домой, где и отдыхиваюсь до сих пор.

Я сдавал «Последний поклон» в производство. Нынче это сложная процедура, много крови испортишь, пока сдашь, пожалуй, не меньше, чем в период работы над самой вещью. Ныне я всё чаше вспоминаю старую британскую пословицу: «Чем хуже дела в приходе, тем больше работы звонарю». Дела неважные, а вроде как мы виноваты — за нами следят и бдят немилосердно. Воистину: «Нигде так не боятся слова, как на Руси». Труд, который и радовал, и изводил меня на протяжении двадцати лет, закончен. Можно и дух перевести. Я ведь и старые главы все перетряс, подтянул и сделал новую редакцию всей первой книги. «Поклон» теперь состоит из двух книг и как выйдет (к лету), непременно книга будет у Вас. Сибирякам дарить книги о Сибири — мне особая радость.

Сняли на «Мосфильме» и первую картину по моей повести «Перевал». Фильм называется: «Сюда не залетали чайки». К картине отношение хорошее — она очень скромная, но сделана с большим уважением к нашим людям и земле. Побывал я на съёмках. Ну и хлеб киношный! Уж наш вроде бы нелёгок и с полынью пополам, а этот не знаю с чем и сравнить. Разве что с солдатским, фронтовым — столь много надо самоотверженности, преданности и любви к этому шебутному делу.

Сейчас я упорно готовлюсь писать о войне — с этой целью ездил в ГДР, в Польшу, на Украину, и снова отправляюсь в Киев. Я воевал на Украине, там дважды ранен и вот собирают нас на той земле — поговорить за «круглым столом» о войне. За «столом-то», я знаю, путного ничего не скажут, а вот меж собой может возникнуть много интересных разговоров. О войне мне

хочется писать по-своему, это трудно, но нужно.

Я посылаю Вам на память свою первую в жизни пьесу. Этот вариант я сделал после двух спектаклей — у ермоловцев и в Вологде. Пьеса была написана давно, залежалась в столе, и я не поработал над нею вместе с театрами — не хотелось, да и самый разгон набрал в работе над «Царь-рыбой». И твори Бог волю! Сырой материал дал возможность режиссёрам заниматься любой отсебятиной. Вот почему я вернулся к пьесе, прибрал лохмотья, немного выстроил её «по законам». Вернулся потому, что пьеса, вернее, материал этот дорог мне тем, что всё это было в жизни и главные герои по сию пору живут на Урале, в Гремячинском районе. Я скептически отношусь ко всякого рода прототипам — автор должен убедить: «Было!» — и баста, иначе он и за дело не должен браться. Но сейчас, когда бездуховность, безнравственность вроде бы на телегу сели и ножки свесили, совершенно необходимо, на мой взгляд, поддержать в человеке всё, что способствует его здоровью, а не разрушению. Особенно русский человек нуждается в поддержке, которого вроде бы уж и с весов сбросили и приговорили к вымиранию как пьяницу или дистрофика.

Всё, что описано в пьесе, случилось в пятидесятых годах, но и сейчас есть такие люди, есть, пусть и поубыло их. А вот к написанию второй пьесы я готовлюсь уже серьёзно. Надо её написать так убедительно, чтоб у режиссёров не возникало потребности домысливать, дописывать и творить за меня. Так отвоёвывал я своё место в прозе, только работой, только убедительностью, везде много охотников подправлять, направлять — хлебом не корми, дай пожариться в рукописи.

Когда я был в Переделкино, то посмотрел последний фильм Ромма: «И всё-таки я верю», где и Вы поговорили немножко. Ночь я не спал после этого фильма, лежал в глухом коттедже, за окном шлёпала мокреть, было тихо, пустынно и длинно-длинно шло время. Какое предостережение благодушию нашему! Как далеко мы зашли в этой жизни! И где выход?!

Я не знаю. Право, не знаю. Но надо жить и исполнять свои обязанности! А как с внуком быть? Ему всего год и восемь месяцев. Что останется ему? Кто будет вокруг? Что сделают с его душой, да и с телом тоже?

Вчера я Вас видел по телевидению в «Театральных встречах», откуда и узнал, что Вы начали работать над шукшинским «Разиным». Я знал Василия Макаровича, он бывал у нас дома, и рад, что самый дорогой ему материал попал в Ваши, а не в какие-то другие руки. Рад, что Пугачёва будет играть Матвеев, манит исторический материал, слово Шукшина, звучное и неистовое,

поворотит его на назначенную Богом стезю и уведёт из придворья.

А позавчера я слушал Вас по телевидению в передаче о художнике Попкове. Мы ведь здесь, в провинции, сидим по домам, смотрим телевизор и постепенно покрываемся паутиной обывателя, которую потом трудно с себя обирать...

Ну, извините, что утомил Вас длинным письмом. Спасибо за новогоднее поздравление! За труд Ваш постоянный. Со всеми Вас праздниками: с 50-летием. с Новым годом! Пусть он будет милостив ко всем нам, сущим на земле! А Вася Белов лежит с пневмонией в больнице. Мучает она и меня...

Кланяюсь. Виктор Петрович

Декабрь 1977 г.

(И.Акулову)

Дорогой Иван!

Ну, прежде всего спасибо тебе за то, что ты доверился мне и дал прочитать свой роман. Ничего я честнее, мужественней и талантливей не читал в нашей литературе о нашей горемычной деревне. Даже такие книги, как «Пряслины», «На Иртыше» и «Комиссия» Залыгина всё-таки написаны «деревенскими гостями». Только через себя пропустивши нашу деревню, со всем её говном, святостью, свинством и величием, возможно было написать о ней так глубоко, с таким проникновенным страданием, как это сделал ты. Всё же твоё преимущество в возрасте сказалось — несколько лет работы на земле, истинной, взрослой, заменяют всю память и интуицию, какая, например, дадена мне. Добро ещё, что я не взялся писать о деревне к ряду, а написал лишь то, что выхватила память. Думаю, возраста не хватает и беловским «Канунам» — совершенно схожим с твоею книгой по материалу, времени и героям.

У меня к этой твоей книге хорошее чувство и отношение. После прочтения твоего романа незрелость «Канунов» сделалась совершенно очевидной. Тем подлее на фоне этой и особенно твоей то действо, какое сотворил Шолохов в «Поднятой целине» или Можаев в «Мужиках и бабах» (первая книга). Из такой-то сложности, из горя горького и тревожного времени они состряпали оперетку на деревенскую тему, которую Можаев, к примеру, знает по цэдээловскому трёпу и редким наездам к матери на чёрной «Волге» в качестве писателя-гостя. А Шолохов так испугался самого себя после «Тихого Дона», что пустился в разнопляс с самим собою. Он — самая трагичная фигура в нашей завшивленной литературе. Эдак-то и я её знаю, деревню-матушку. Эдак-то и мне народ жалко. Тут жалости мало, тут ум и знания

требуются да ещё трезвая голова.

Нашим в «Нашем современнике» я выскажу своё мнение, и особый разговор у меня будет с моим другом, Евгением Ивановичем Носовым. Он подло отнёсся к твоему роману, он с точки зрения функционера рассуждал о книге, которая ранит, не может не ранить всякого порядочного человека, если он истинно русский. Наверное, после этого разговора я потеряю друга, но мне уже не привыкать терять в литературе друзей.

Самая горькая потеря была — Владимир Черненко (Пермь), который блестяще начинал и плачевно кончил свой в литературе путь оттого, что много пил, полюбил быть начальником над писателями и отсюда неизбежно — закриводушничал. А он так много сделал для меня, особенно в начале моего пути. Но что делать? У меня оставались два пути: или сказать ему всё, что я о нём думаю, и расстаться, или самому начинать пить беспробудно и опускаться до написания рассказиков о сладеньких товарищах-коммунистах, несгибаемых ни в труде, ни в бою.

С тобой разговор у нас будет длинный, поэтому с письмом я закругляюсь. А тебя прошу приехать числу к десятому января. Примерно в это же время из Москвы должны приехать показывать картину по «Перевалу» режиссёр и оператор, а днём позже приедет с концертом наша заочная знакомая Виктория Иванова. И мы послушаем в её исполнении много прекрасных романсов, в том числе и мой любимый романс: «Вам не понять моей печали». И иконы посмотришь, город оглядишь. Соберись на несколько дней.

Я не знаю, как складываются твои дела в «Москве». Знаю одно: Алексеев не менее лукав, чем Викулов, и я думаю, согласится печатать роман в пику Викулову. Но при этом потребует такой правки, что ты за голову схватишься и откажешься сам. Сам! — понял ты меня?! Так у меня было с «Пастушкой». Я сам отказался, и сам виноват остался. Никто меня не ругал, за грудки не брал — всё ласково, ласково...

Так что будь к этому готов. И ещё, как мне кажется, готов будь писать продолжение, вторую книгу, к которой у тебя уже есть блестящее название: «Ошибись, милуя». Материал твой реализован только наполовину, Ты только взял разгон. Никто уже не напишет так о начале коллективизации, как ты. А в том, что роман будет напечатан со временем, я совершенно не сомневаюсь. С твоего позволения рукопись прочтёт и моя Марья Семёновна.

Будь здоров! И тебя, и близких поздравляю с Новым годом!

Передай привет Вале Сорокину.

Обнимаю, Виктор

1978 год

10 января 1978 г.
(В.Г.Летову)
Дорогой Вадим!

Письмо твоё пришло 9 января, а ты писал его 25 декабря. Вот так писать под новый год! Пришло оно одновременно с письмом из Сибири, в котором меня известили, что мой любимый братишка, с которым я выводился когда-то, заболел раком, уже разрезан, зашит, и дело времени решать его срок жизни.

Днями я лечу в Сибирь, где и бабушка находится также в предсмертном состоянии. Родни и друзей у меня много, и всех их мне, видно, не перехоронить. Когда-то от горя и страданий я умру тоже, и, наверное, сделаю это с облегчением. Так что-то устал, так состарился душевно...

Ну ладно, не об этом я хотел написать-то. Рука повела. В Быковке я начерно написал роман. Он выделился из того, что я писать уже начал. Роман о форсировании Днепра. Действие его происходит на плацдарме в очень короткий срок. Главный герой родом из Шурышкар, должен походить на Серёжку ухватками, а характер несколько иной. Много у меня вопросов к тебе будет, и, наверное, придётся всё равно ехать, хотя осенью надо будет и на Украине побывать, оглядеть местность, где действие романа происходит.

Пока ответь мне на один вопрос: где находится кладбище в Салехарде и как оно выглядит (осенью или весной)? И ещё спроси у южан, бывает ли коньяк больше пяти звёздочек. В связи с романом читаю продукцию «Воениздата» о битве за Днепр. О, боженька ты мой, что там понаписано-то! Я и не представлял себе, каким потоком хлещет ложь о войне, размера этой лжи не представлял. Хорошо хоть то, что книги эти никто не берёт и не читает.

Ну ладно, Вадим, ты уж извини меня, что коротко — уж очень голова болит.

Жене и сыночке поклон. Маня и Ирина кланяются. Обнимаю, твой Виктор

Январь 1978 г.
Вологда
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валя!

Очень рад тебя поздравить со вступлением в Союз! Дело это вроде и формальное, да нужное. Отныне уже ты не партизан и

диверсант-одиночка идеологического фронта, а организованный член, которого и поприжать можно в случае чего, и пенсией поманить, и вообще утвердить в праве самосознания, что работу работаешь, а не лапти плетёшь, и можешь за эту работу получить пряник или плеть. Пряник дают всегда уже кем-то облизанный...

Наверное, со временем тебе надо перебраться в Москву и устроиться на службу, то есть устроиться на службу и с помощью её перебраться в Москву, получив за службу квартиру. Думаю, что критику в таком глухом городе, как Псков, не житьё, зачичеревеешь, усохнешь мозгом.

У меня должно выходить собрание сочинений в четырёх томах в «Молодой гвардии». Сперва намечали первые два тома на 80-й год, но теперь разделили по тому и первый намечают в 79-м году *[все тома вышли в течение 1979-1981 гг. — Сост.]*. Я, когда меня спросили насчёт автора вступительной статьи, назвал тебя. Сделать это тебе не так уж и трудно на основании книжки, а объём статьи где-то в пределах двух листов, значит, и подзаработаешь маленько. Это если издатели не найдут кандидатуру «по своему сердцу».

Читал ли ты мои новые главы из «Последнего поклона» в «Нашем современнике»? Мне очень хочется узнать твоё мнение. Я много сил вложил в них, и из-за них мне пришлось сильно дотягивать первую книгу. Буханцов, критик, уже написал о главах в «Литературной России», но так умно, как будто речь идёт о передовом методе производства больничных костылей, а главное — преподаватель ведь, словесник! Кандидат наук — и читать не умеет, купился на моём «французском» тексте. Плёл я там за покойного дядю всякую романтическую хреновину, подставив к ней доподлинное имя маркизы Де-бель-иль из Дюма-младшего, корректорши эту хреновину закавычили, и ничтоже сумняшеся критик упрекнул меня за то, что неграмотный этот дядя шпарит этакими изысканными цитатами... Я сразу вспомнил почему-то с ума меня сводившую когда-то деревенскую песню, точнее, «жестокий романс», к которым так склонны до се мои любимые гробовозы: «О боже мой, что делает привычка! О боже мой, что делает любовь!..» В данном случае — любовь к примитивизму.

Нынче, узнав, что я «отдыхаю», навалились на меня с рукописями, книгами, статьями и пр., и пр., да и посещают народы. Сейчас гостит в Вологде с женою вместе Николай Николаевич Яновский. Он пишет обо мне монографию аж на 12 листов для «Советского писателя». Мне его жаль даже, ведь это же не роман, где тут 12-то листов наскрести. Но он говорит: «Я привычен». Я очень уже давно знаю Николая Николаевича, связывает нас давняя симпатия в общении, он — милейший

человек, встреча с ним для меня и для души — большая разрядка и удовольствие.

Потихоньку готовлюсь ехать в Казахстан, в Темиртау, с заездом в Орск — решили мы, четыре фронтовых друга, пока не поздно, собраться и повидаться. Двое из четырёх живут в Темиртау, вот и соберёмся у большинства. Поскольку я очень упорно мечтаю писать о войне и поскольку один из четырёх меня вытащил с поля боя, а одного из четырёх — я, и нынче весной побывал в Польше на том месте, где его тащил-то, бедолагу, то много жду от этой встречи. Всё же самые верные люди в моей жизни — да и в моей ли? — оказались братья-фронтовики, те, с которыми горе мыкали в окопах. Смог вспомнить, что с тем, которого мне предстояло вытащить на горбу в Польше, мы при первом знакомстве подрались и, конечно, будучи более тренированным в детдомовских драках, я ему навтыкал. И вот через много-много лет вспомнил я ту драку и коснулся знакомого образа в главе «Соевые конфеты», причём произошло это подсознательно. О Ване, моём друге, что живёт в Орске, и о том, как мы с ним дрались — а был он младший сержант! — я вспомнил уже после того как главы были напечатаны... Дети всё же были мы. По восемнадцать лет. Подумать и то жутко, что это такое — восемнадцать-то лет?!

Ну, поклоны твоим большим и малым! Обнимаю, ещё раз поздравляю. Виктор Астафьев

P. S. А кинокартину везде приняли на «уру» и дали ей 1-ю категорию. Видно, всё, что делается без претензий на великое, и получается ладом...

9 февраля 1978 г.
Вологда
(В.Юровских)
Дорогой Вася!

Нет, не получается на этом пути. Поездом мы сначала из Москвы на Орск, там соединимся с другом и покатим дальше (если уцелеем до этого). Прямо какое-то бедствие… Народ одолел. Всякий. Марья Семёновна устала смертельно. Внучек заболел.

Недавно был приём в Союз, приняли и Марью Семёновну, после выпили, и один, вновь принятый, поехал домой в деревню и замёрз в снегу. Всё как-то нелепо, нервно, дёргано! Я так уже и за стол, заваленный почтою, не могу присесть — некогда!

Если дочь соизволит явиться с Урала вовремя, то мы числа 14—15-го выедем и где-то числа 25-го двинем обратно, тогда уж северной дорогой, может, и заедем в Курган, а оттуда к тебе. Ты

уж извести об этом Витю Потанина, мне писать некогда. Да не ссорься с ним! Понял?!

Кино тут днями наше привозили. Замечательная получилась картина, и песня наконец-то о Сибири настоящая написана. Ну, всё расскажу при встрече, а может, и плёнку с песней прихвачу. Когда поедем обратно, я дам телеграмму. Вите или Ване обязательно позвони. Обнимаю, Виктор Петрович

Март 1978 г.

(Е.В.Бахтину)

Дорогой Евгений Васильевич!

Приветствую Вас, Елену, маму Вашу и ребят, шлю всем самые наилучшие пожелания, прежде всего женщинам, и поздравляю их с праздником и началом весны!

Евгений Васильевич, вот чего я беспокою Вас. Не живётся мне спокойно, и всё тянет меня написать чего-нибудь сердитое, и вот написал я начерно роман о форсировании Днепра. Роман небольшой, тургеневского размера но тем не менее очень сложный, и долго мне ещё предстоит с ним возиться, и хотелось бы, чтоб он был точней в изображении частностей войны, особенно переправы. Выберите, пожалуйста, время и напишите мне поподробней о наших гаубицах. Почему они «шнейдеровками» называются? Каков эффект их стрельбы? Как готовились к переправе? Как вели бой с другого берега? Делалась ли какая-то разведка и пристрелка заблаговременно? Подробней и как можно больше напишите терминов, которыми пользуются при ведении и подготовке огня с закрытых позиций и на прямой наводке. Какие чувства переживали Вы, когда находились на плацдарме, особенно к тем, кто остался не левом берегу, попивая водчонку, щупая баб и требуя от Вас «активных действий», сводок и донесений?

Словом, всё, что припомните о плацдарме, напишите. Я пишу роман не о нашей дивизии, и люди, и действия в романе обобщены, собирательны, но кое-чем из того, что застряло в памяти, естественно, воспользуюсь.

Перечитал я кучу литературы, мемуарной и документальной о битве за Днепр. Боже мой! Я и не предполагал, что можно так и столько наврать, исказить всё! Значит, есть причины не говорить правду, а причина-то, в общем, одна: наши колоссальные потери на Днепре, безалаберность и неподготовленность при захвате плацдармов и неспособность полководцев, таких в том числе, как Ватутин, вести операции крупного масштаба и полное пренебрежение к человеку — солдатами сорили, как песком. Да и сейчас полководцы, увешанные орденами, всё делают, чтобы

доказать, как они блистательно воевали и чуть ли не с каждым солдатом целовались — такие они добрые отцы! Никто никого не застреливал, не расстреливал, заградотрядов, штрафных рот в помине не было, а уж храбры, храбры были, особенно политручки! Прямо врага так и ломили молодецкой грудью!..

Обнимаю Вас, Виктор

14 апреля 1978 г.
Вологда
(В.Юровских)
Васенька!

Всё я получил, и альбом, и письма, и газеты — спасибо. Но пришла весна, а с нею и какие-то недомогания, лёгкие-то мучают меня, а тут и делишки, конечно. Каждый день мою голову чем-нибудь забивают, в основном — чепухой. Но сейчас занимаюсь делом, читаю вёрстку «Поклона» и как вычитаю, наверное, улечу в Красноярск, заниматься домом.

Вырешили мне путёвки в Ялту, лечить лёгкие. Хлопоты были большие. С какого числа путёвки, я ещё не знаю, хочу до них побывать в Сибири.

Марья Семёновна туристом укатила в Югославию — Болгарию, 17-го уже вернется, Дед пьёт водку и буянит. Зять пьёт водку и где-то ночует. Я бы иной раз взял ружьё и перебил бы их всех или нажал собачку собственной ногой. Моя благостная семейка хуже всяких неблагостных. В ней, как в современном сортире, все газы и говно по трубам идут, а в конце трубы — я, должен всё это говно или схлебать, или сделать вид, что на меня льётся божья роса.

Марья Семёновна всегда, а в последние годы в особенности, утешает меня скорее всего видимостью забот и хлопот, лишая при этом главного — свободы мысли и действий. Всё время думаешь — как бы не обидеть ненароком, не так бы чего не сделать — человек-то она больной, хороший, а я... и т.д., и т.п.

Снаружи, Вася, всё хорошо, а внутри, «под крышкой», ох сколько всего! На износ живу. Надеюсь на переезд в Сибирь, как на некое христово осияние, а Марья Семёновна тихо и упорно сопротивляется этому. Она уже много лет всё, что не по ней и для неё неполезно, воспринимает в штыки, всегда против меня, и чем-то у нас дело кончится — не знаю. Она забыла, что если я взорвусь — будет худо. А снаружи, Вася, это образцовая жена. Избави бог всех нас, лапотных мужиков, от образцовых.

Ладно, Вася, сам видишь, сорвало меня, вот и поплакался в жилетку.

Ещё раз спасибо! Книгу, кому там надо, пошлю позднее или

привезу когда-нибудь. Обнимаю, целую. Виктор Петрович

11 мая 1978 г.
Вологда
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Я тут на полмесяца выскакивал в Сибирь, встретить весну и повидаться с родными. Там, в родной деревне, и Пасху встретил, и 1 Мая. В Пасху ночью стреляли по старому обычаю, пальнул и я два раза. Деревня отводками, гнездышками еще живая, судя по разрозненным выстрелам. А вообще ни с чем не сравнимое это диво — ночь весенняя, звёздная, шум вод в горах, тень лесов, и вдруг пальба, какая-то не боевая, пусть в удаль, озорство ли, а тревоги никакой. Я и разговляться не велел меня поднимать. Пришёл, упал на кровать и уснул крепко-крепко, успокоенный и мирный.

Да, зимою мы с Марьей Семёновной съездили к фронтовым братьям. Большое дело сделали. Поездка получилась, иначе и не скажешь, святая и к святым. Когда-нибудь расскажу, а писать? Разве напишешь?

Все думаю о военной книге. Намечается большая, вроде трилогии, есть какой-то уже план в голове, вертятся и люди, некоторые с лицом даже. Делаю «затеси», пишу потихоньку пьесу *[речь идёт о пьесе «Прости меня», впервые поставленной в Вологодском драматическом театре. — Сост.]* и подбираю книгу публикаций, всё дела, дела, без них как же?

Внук растёт и радует деда с бабкой. Не знаю, как месяц и выдержу без него в Крыму. Я и за один-то день успеваю о нём соскучиться.

В Сибле ещё не был. Ездила туда Марья Семёновна, прибралась, выспалась. Летом и я туда заберусь. С середины июня. Может, подъедешь? Видел твои миниатюры в «России», но не читал ещё. Бегаю, кручусь. У нас ещё завтра отчетно-выборное собрание, так и присесть некогда.

Поклонись жене, поцелуй сына. Если что забыл отписать, извини. Весь раздёрган. Обнимаю тебя, желаю хорошей работы. Виктор Петрович

Да! Прочёл твою статью в «Литературном обозрении», хотел сразу же написать, но отвело и теперь уже не собраться. Статья очень оригинальная, но это всё-таки лишь начало каких-то твоих больших рассуждений о литературе...

18 мая 1978 г.

(В.Г.Летову)

Дорогой Вадим!

Перед самым отъездом в Крым получил я, Вадим, твоё большое и, как всегда, доброе письмо. Рад, что дебют в театре состоялся. Дай Бог не последний. Рад, что дела более или менее идут, и ты не сорвался пока с места — всему свой час. Обживётесь, оглядитесь, оперитесь, и может, чего и в России подвернётся. Прибалтика ведь, особенно Эстония, поражена национализмом, и из азиатского, да в полунемецкий национализм?! Хотя русские прусских всегда бивали, но прусские никогда сего не забывали...

Моя сраная пневмония загнала меня в институт Сеченова, в Ялту, куда путёвки бесплатны и даже больничный выдают, а уж коли бесплатно...

Вадим! Такое убожество, грязь, равнодушие к людям, наплевательство к их жалобам и болям я видел только во время войны в госпиталях. На хрена меня, дурака, заносит в такую вот богадельню?! Ведь трое в комнате, в сортир далеко, в комнате холодно и сыро, а лечение... климатом! Так ведь рядом дом творчества, и в нём условия независимые и удобства почти барские. Уже теперь, на третий день лечения, мечтаю скорее вернуться домой и в деревню, в глушь, в леса.

Пасху и первомайские праздники был на родине, в Овсянке. Хорошо было. Наверное, куплю я там домишко, оборудую ею и стану там писать книгу о войне, надумывается трилогия — запасной полк, фронт, после фронта. Страшно и думать, какая работа, сколько сил и бумаги потребуется! Но всё уже вертится в голове и сердце, и мне уже не отвертеться от этой работы...

Пока делаю мелочи, некоторые «затеси» пойдут в «Новом мире», где-то в последних номерах, и ещё статья в журнале «Театр», тоже в конце года (это я тебе как «театралу» сообщаю).

Писал ли я тебе, что первый том собрания сочинений сдаётся в производство и, очевидно, нынче будет подписка; на выходе «Последний поклон», выйдет — пришлю. Витёк маленький растёт, хулиганит, радуется жизни. А я обнимаю и целую тебя. Твой Виктор Петрович

14 июля 1978 г.

(семье В.Потанина)

Дорогие Люся, Витя, Катенька, Анна Тимофеевна!

Сидим мы тоже в деревушке Сибле залиты по уши водою — четвёртый год у нас все лето льёт дождь, а нынче так и всю

Европу залило. Я был в Крыму в доме творчества, хотел подсушиться, да куда там, лило, как и здесь, было холодно, спал под двумя одеялами.

Вот уже месяц мы в деревне. За месяц было семь более ли менее погожих дней, три дня даже с солнцем, и сейчас вот второй день живём без дождя, а в Москве и того нет, там шпарит бесперерывно. У нас зелени уже нет — трава, а под нею вода, и не трава, а травища. В лесу не продохнуть, хмарь безголосье, бурьян, до сих пор цветёт брусничник. Вот такое бедствие никому и не виделось, в огороде в земле сгнила картошка, ничего не растёт...

Я и сам эти дни ничего не мог делать, даже читать, а потом уж совсем в пессимизм ударился и давай себя за волосы вытаскивать из трясины душевною мрака, заставил себя потихоньку читать, трудиться, и... разошёлся, наверно заканчиваю драму, которую давно придумал, а всё не мог за неё засесть. Я всё думаю над трилогией о войне, она у меня уже обрисовалась, в обшем-то, и на будущий год, жив буду, приступлю к этой невероятно трудной работе хватит мне её, наверное, до конца дней моих. До этого хотелось бы расширить дорогу — написать об А. Н. Макарове, собрать в кучу «затеси», сдать в «Современник» книгу публицистики, подготовить второй том собрания сочинений, да и кино-театральные дела сбагрить. На «Ленфильме» идёт полным ходом подготовка к постановке фильма «Таёжная повесть» по главе из «Рыбы» «Сон о белых горах». На «Мосфильме» Булат Мансуров начинает подговку к двухсерийному телефильму по «Пастуху и пастушке» — этот сценарий и буду делать сам, это передоверять нельзя, такую секс-историю сочинят, что и вовсе от телевизора отставников и вековух не оторвать будет

Я и не написал вам сразу из-за мрачности духа, но теперь, когда «подладился», хочу поблагодарить вас и за память, и за доброту, и за заботу — рубаха мне по душе, и я сразу же напялил её на себя. Маня от духов в восторге, а Витенька с книжкой до того таскался, что и лишку оттуда выдрал.

Сегодня мы с ним ходили к речке, он бросал камни в одуревшую от воды речку, а я рвал цветы и нашёл ему три первых целых земляничины. Потом он попросил поймать ему бабочку, поймали, повредили, мальчик пожалел её и велел отпустить. Потом мы видели чайку, и малыш сказал: «тяйка», потом мы пропустили много «би-би», потом на лугу мы видели лошадку, которая делала «ам-ам». и домой в гору малыш шлёпал сам и пытался рассказать о таких огромных впечатлениях, об открывающихся в мире чудесах. Если даже и таким мир сохранится, в нём ещё достаточно удивления и уважения, но едва

ли...

Вчера я сидел на рыбалке на реке Кубене, и до слуха моего донёсся непривычный приятный звук с полей из-за реки, и много прошло времени, прежде чем я узнал пастуший рожок. Сделал отец — инвалид войны, пастух и дал сыну, а тот уже и пропел далёкую, как сказка, песню рожком, порадовал заброшенную людьми землю, пустые деревушки, захлёстнутые бурьяном. Слушал я рожок, и по воде плыли, кружась, белые пятна и что-то похожее на размытый творог — это с полей дождевыми потоками сносило удобрения. Четвёртый год льёт, четвёртый год ни грамма урожая, но под «мудрым» руководством олухи царя небесного, которым наплевать на землю, реки, даже на себя, тупо валят и валят химию на родные поля, а тем временем в Кремле думают, где бы ещё купить или урвать хлеба, картошек или хоть сена клок.

Мы с Марьей Семёновной едем в Улан-Удэ на Неделю литературы, надо встряхнуться. 19-го выбираемся отсюда, 22-го уже будем в Москве. Ты не едешь ли, Витя? Охота уж и повидаться, часто с М. С. мы вспоминаем нашу поездку зимнюю и вас, таких родных нам людей. Хорошо, что вы есть и о вас иногда можно вспоминать и думать.

Будьте здоровы, добры, и пусть солнце светит над вами самое доброе. Ваш Виктор Петрович.

1978 г.

(Адресат не установлен)

Дорогие товарищи!

Спасибо вам за письмо и анкету, присланную в связи с приближающимся юбилеем Льва Николаевича Толстого. Но вопросы анкеты заранее обрекают отвечающего на разговор «умственный», сухой и казённый, а для меня имя Толстого свято в прямом значении этого слова, и любая фамильярность или казённость по отношению к нему меня коробят.

Кроме того, я думаю, много желающих найдётся и без меня ответить на ваши вопросы, поэтому напишу вам чуть-чуть «от себя», а Вы уж как сочтёте возможным, так и поступите с этой писаниной, исполненной не по форме.

Первым в жизни художественным произведением, узнанным мной, был рассказ Льва Николаевича «Кавказский пленник». Его прочитал нам, ещё не умеющим читать деревенским детям, только что прибывший в деревню, учитель. С тех пор рассказ о Жилине и Костылине, а также рассказ Горького «Дед Архип и Лёнька», услышанный следом за «Кавказским пленником», я не перечитывал, и мне удалось сохранить чувство великого чуда в

сердце, которое сотворил наш молодой и славный учитель на наших глазах, ибо лишь позднее я пойму, что чудо это раньше него сотворил писатель — Толстой.

Много-много лет спустя, вместе с тульским писателем Александром Гавриком я поехал в Ясную Поляну и был потрясён равнодушием и праздностью толпы, жидкими потоками плавающей по аллеям, дорогам и тропинкам усадьбы. Люди чего-то жевали, фотографировались на память, хохотали, припоминая какие-то сплетни о Толстом, а главным образом, о жене его и детях. Какая-то простодушная пожилая женщина сказала, стоя возле могилы Толстого: «Господи! Господи! Такой, говорят, большой был человек, а могила сиротская, без креста. Денег, что ли, жалко?» Какой-то седовласый гражданин в рубахе-распашонке с лицом закалённого кухонного бойца кричал в кафе усадьбы: «Почему это водка есть, а коньяку нету? Я хочу благородного человека помянуть благородным напитком!..» Рядом сидела его внучка или дочка отроческого возраста, потупив глаза, с лицом потерянным и несчастным. Саша Гаврик, не выдержав, сказав «бойцу»: «Гражданин, опомнитесь! Вы где находитесь-то?»

И «боец» тотчас же с радостью напал на Сашу. И мы покидали усадьбу под мерзкий, ржавый, уже сорванный голос кухонного воина, под звук движка, который нудно звучал возле дома, на аллейке, как нам пояснили, улавливая количество газов, сажи и дыма, опадающих на усадьбу, ибо хвойные деревья здесь почти уже все погибли, так чтоб не посохли оставшиеся...

Так бы я, наверное, и уехал домой с тяжёлой растерянностью в душе, если бы Саша Гаврик, много уже бывавший в Ясной Поляне, не посоветовал мне наведаться сюда в выходной день.

Стоял сентябрь, золотая пора России. На усадьбе ещё редко, неохотно опадал лист. Было чисто и светло, а главное, безлюдно. Я весь день проходил по усадьбе один, и весь день у меня было ощущение, что в спину мне острыми, тяжёлыми пулями бьёт взгляд, пронзая меня насквозь и высвечивая во мне всё, что было и есть, и я невольно подбирался, припоминая всё, чего сделал в жизни недостойного и хорошего. Весь день был я как бы подсудимым, весь день подводил баланец своей жизни. Это был трудный день в жизни моей, ибо трудно судить себя взглядом и совестью великого художника и умницы. Не всякому под силу выдержать этакий суд.

Поздней я высказал пожелание, чтобы каждого вступающего на писательскую стезю, прежде чем принять в Союз и оформить, как писателя, привозили бы в Ясную Поляну, давали возможность побыть «с Толстым наедине» и потом уж опрашивали, готов ли он заниматься тем делом, каким занимался Лев Николаевич.

Уже в сумерках я пришёл к могиле Толстого, постоял над ней, потом дотронулся до холодной, очерствело-осенней травы ладонью и вышел на дорогу. В Тулу я шёл пешком, ещё и ещё переживая ощущения того строгого покоя, коим наполнены были леса, перелески и рощи усадьбы, той раздумчивой осенней тишины, какая осенями была здесь и при Льве Николаевиче и вот продолжилась во времени, коснулась моей души. И мне тоже сделалось спокойней, суета как бы отхлынула от меня и, казалось, не закрутит уже, не завертит более, и чувство печальное, чувство зрелого возраста вселилось в меня тогда, и думалось мне, что я способен и буду делать добро, только добро...

Больше я не бывал в Ясной Поляне и боюсь туда поехать, боюсь встретить жующих, хохочущих и снимающихся на карточки праздных людей, коим всё равно, где бывать, в какой книге отзывов ставить автограф, чему дивоваться, что слышать, лишь бы полезно убить время. И ещё боюсь я, очень боюсь не выдержать сурового суда мыслителя, творца, величайшего из людей, рождённых на земле за много тысяч лет. с которым дано и мне было счастье родиться в одной стране — России. И живёт во мне вечное сознание любви и страха: я занимаюсь той же работой, которой занимался он! Так какая же должна быть огромная ответственность во мне и во всех нас, ныне живущих, за землю, которую он пахал, за работу, которую он так свято, мудро и мученически выполнял?!

Виктор Астафьев

13 ноября 1978 г.

(В.Юровских)

Дорогой Вася!

Дошло всё хорошо. Вчера, 12 ноября, Маня принесла посылку. Но впредь, кому бы и чего ты ни посылал, ничего не завёртывай в полиэтилен, да ещё так плотно. Всё должно «дышать», таков, видимо, закон жизни на земле, и развитие ее, даже культура и политика, подвержены этому закону, иначе плесневеют, портятся.

Но уже осень, холодно и всё дошло хорошо. Я уже начал пить сало. Противно, конечно, да что же делать-то? Приходится и куда более противные вещи делать. Кастрировать рукописи, например. Я всякий раз, когда делаю это чувствую себя такой проблядью, что сам себе противен.

Вот и сейчас в роли пробляди действую — выхолащиваю рукопись воспоминаний об А. Н. Макарове *[рукопись повести «Зрячий посох». — Сост.]* ради его памяти и писем, от которых, надеюсь, толку будет больше, чем от самих воспоминаний, и

поэтому весь трезвон с присуждением премии прошёл над головой и как будто меня не коснулся, хотя было нервно. И ты прости Марью Семёновну, что она меня не разбудила, когда я уснул. Было тяжёлое давление, погода на улице всё ещё худа, я принял какое-то снотворное зелье и перестал подходить к телефону. Поспал — легче стало. Пробовал даже работать, не очень-то получилось, но к концу месяца надо бы сдать книгу публицистики, развязаться и осмотреться! Вычитываю вёрстку первого тома собрания сочинений. Работа тоже муторная, многое, особенно из первого тома, уж читать не хочется, противно, а надо!

Купил я домик в Сибири на 28 метров (пустили слух — дворец!), его ценность самая большая в том, что он в родном переулке, напротив бабушкиного дома, где прошло моё короткое детство. Много надежд я возлагаю на этот домик. Алёша *[Девяткин. — Сост.]*, глухонемой мой двоюродный брат, уже начал в нём марафетный ремонт, ибо домик поставлен в 56-м и ещё очень крепок, почти нов — кухня, две комнаты, верандочка, банька — чего ещё надо?

Авось и ты когда заскочишь поглядеть на пусть и цивилизованную Сибирь. Здесь работать стало невозможно, надо куда-то прятаться, вот и прячусь, хоть на время. Ещё раз спасибо за всё. Твой Виктор Петрович

1978 г.

(С.В.Викулову)

Дорогой Сергей Васильевич!

Я оставлял трудный этот разговор до личной встречи в Москве, но обстоятельства сложились так, что я не могу пока никуда двинуться из дому (покалечил ногу и засел вот дома), и всё равно я не начал бы этого разговора, ибо он в большей степени касается всё же меня, а уж потом и авторов, рукописи которых похоронили в редакции «Нашего современника» или их поуродовал завравшийся, вконец обнаглевший Марченко.

Сегодня пришло письмо от Голубкова из Перми, в котором он с воплем описал, что сделал Марченко с его повестью. В своё время Марченко такое же «добро» сделал В. Политову, сократив его повесть в сотню страниц до одиннадцати — мастерство невиданное, наглость неслыханная!

У меня уже давно накапливалась на сердце тяжесть — ни одна, ни одна моя вещь в «Нашем современнике» не прошла без кастраций, причём таких, которые, по мнению редакции, видимо, спасли её от «неприятностей», зато трещал мой лоб. Так, в статье,

в начале её — «Сопричастный всему живому», вырублены два абзаца, после чего статья приобрела характер саморекламный и нескромный. Много бед наделано и в «Оде русскому огороду». Но верх всякого терпения то, что произошло при публикации глав «Последнего поклона». Меня раздражали, а местами просто бесили Ваши, Сергей Васильевич, замечания на полях рукописи — они во многом перестраховочны, трусливы и, увы, простите уж за резкость, малопрофессиональны, зато самонадеянны без меры.

Я, к сожалению, не умею защищать свои тексты и вещи словесно (видимо, надо быть Ф. Абрамовым, чтобы брать Вас за горло), ибо полагал и всё ещё, возможно, наивно полагаю, что дело автора говорить на бумаге. С болью в сердце я терпел и Ваши замечания, и работу с Марченко в надежде, что слова главного редактора «Теперь мы не исправим без ведома автора ни единой буковки» — это слова главного редактора, а не коридорного служащего!

Каково же было моё изумление, когда в вёрстке я не нашёл многих кусков, абзацев и фраз, причём характер «обезжиривания» текста, кастрации его все тот же — убирание «натурализмов», «грубостей» и смущающих «эстетический слух» выражений. Всё это сделано было не по цензурным соображениям - все что касалось таковых опасений, я выполнил сам, зная, под каким богом живу! А соображений чисто вкусовых — о вкусах же, как известно, спорят, тем более о таких, кои всё ярче заявляют себя в «Н. современнике».

Я сделал поправки в вёрстке и приехал с ними в Москву. Шла подготовка к редколлегии, и было не до меня. Марченко сказал: «Хорошо, хорошо, бу сделано, но потом...»

Перед отъездом в Иркутск я спросил у него: «Мою правку перенесли?» — перенесли, перенесли, будь спокоен». Мне тут же дали сигнал журнала, и я уже в дороге обнаружил, что правку мою не только не перенесли, но никто даже не удосужился посмотреть гранки, мной правленные. Я это утверждаю с полной уверенностью, потому что даже ошибки не исправлены. Опять в тексте множество ошибок! Причём не только грамматических. К примеру, таких вот: я пишу, что «шарился по библиотеке». Я искал этот абзац и не с бухты-барахты ставил его, я вообще, было бы Вам известно, стараюсь с бухты-барахты ничего не ставить в своих вещах. «Шарился», потому что всё видится глазами воришки, пакостника, боящегося того, что он совершает, и даже презирающего себя за это. Вместо этого, вроде бы и незаметного, но очень важного абзаца вставляют «ширился» — и безлико, и дежурно, и нелепо — где сполоху ширяться в книжных стеллажах, скажите Вы мне на милость?!

Ну, а то, что Марченко сделал со сценами в школе, то, что снял стих-загадку, снял частушку и не перенёс её замену — это уж полный произвол! Я уж не говорю о более тонких и спорных вещах в тексте — им нет числа.

Ну и врать своему автору, члену редколлегии, уважаемому, наконец, в литературе человеку, уже поседевшему от этой проклятой литературы, врать в глаза — это-то как?! Что же тогда говорить о том, что Марченко не выполнил ни одной моей просьбы, с которыми я обращался к нему, отдавая или отсылая рукописи молодых авторов (Сукачёва, Смолина, Филипповича, Политова, Юровских, рассказы последнего так изуродовали, что он плакал на мои глазах) и многих-многих других. Я уже не говорю о том, как Марченко поставил меня в неловкое положение — два года маринуя рассказ жены и каждый раз заверяя: завтра отдаю читать!..

У автора есть одно-разъединственное право справляться с редакционным произволом, протестовать против него — это не давать свои вещи в данный орган или как его назвать?

Я уже ушёл таким образом из «Молодой гвардии», давно я не печатаюсь там. Вот и новую вещь отослал в другой журнал, а не в «Наш современник И всем молодым, знакомым мне ребятам сказал, чтобы они с «Н. современником» дел не имели, слово работающих в нём стало несамостоятельным, работа своевольна, несолидна.

Я знаю Ваше настроение и журнала всего. Да, журнал стал лучше, но в этом не только Ваша заслуга, а и наша, в том числе и моя, как члена редколлегии и как автора. Спасибо, что напечатали «Пастушку», но говорите спасибо и за то, что «Пастушка» дала журналу больше всех в нём напечатанных произведений читательского внимания, причём не проходного, а настоящего читателя.

Недавно я листал старый «Новый мир» — моё ощущение вот какое: далеко ещё «Н. современнику» до него, он, «Н. современник», пока в разложье между журналом солидным, высокохудожественным и примитивной безвкусицей, и способствует этому произвол (как в отборе рукописей, так и в подготовке их в печать), да и немалая доля зазнайства, пока ещё ни на чём не основанного и мало чем подкреплённого, я уж не говорю, что просто вредного в любом деле, а в журнальном тем паче.

Ответа я не жду, да и не хочу его, говоря откровенно, но выговориться хотел давно и сожалею, что нездоровье заставило провести этот разговор эпистолярным способом.

Кланяюсь. В. Астафьев

1979 год

27 февраля 1979 г.
Вологда
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валя!

Из всех провинциальных литераторов (включая и меня тоже), мне известных, ты самый из них мнительный и ранимый, хотя комплексами всех нас Господь не обидел.

Ну отчего ты вбил себе в голову, что «всё испортил»? Чего и портить-то? Давно уж всё испорчено, ещё до твоего рождения. Всё было нормально, как может быть «нормально» в современной жизни, говорили люди, даже «хорошо». И зачем этой суете, этим мелочам все мы придаём этакое значение?! Вот добраться до бумаги по-настоящему с осени не могу, это беда, а остальное...

Тесно, глухо, совсем уж, видать, одиноко тебе в псковской провинции-то? Знаю, жил, живу в ней, проклятой. Но вот был я в те же дни, как и ты, в Москве в гостях у великого артиста Михаила Александровича Ульянова, в самом центре Москвы, в квартире, стараниями жены его и тяжкими трудами артиста добытой и прилично обставленной. Вроде всё есть, слава, внимание со всех сторон, сердце, не до конца разбитое и растраченное на публичный рёв во время всяких громких политмероприятий, и деньжонки, хоть и не вдосталь, а водятся, пить давно бросил, не курит, не гуляет. И вдруг среди доброй беседы, горестно изогнув подковой нижнюю губу, любимец публики и партии заявляет: «В Москве живёт восемь миллионов одиноких людей». Это его доподлинные слова! Я аж притих и ужался в себя.

А потом думал, думал и додумался — да ведь и во всём-то мире сплошное одиночество! «Век двадцатый, век необычайный» разъединил вовсе людей, хотя ожидалось наоборот — теперь уже деревенская глушь нам, оглушённым рёвом и грохотом цивилизации, кажется не просто тихим раем, но ещё средоточием людским, тесным родством, общением. И ведь церковники-то не дураки были, все праздники строили так, чтобы люди выпадали из нор и братались. Великая певица Обухова говаривала: «Христосовались! Да! Все кряду. Уж такой ли, бывало, золотушный парнишка попадётся, что меня, дворянскую барышню, Баратынского внучку, барыню в кружевах, с души воротит, а целуешься троекратно со всеми кряду, подарки бедные принимаешь и сама даешь. Куда же денешься? Это же жизнь. Это уважение не только твоё к народу, но и народа к тебе, а его ох как

сложно заслужить. Это ведь вы там, в современной литературе, напридумывали бог весть что о барах и крестьянах, Не читаю я её. Ложь там, ложь сплошная. Если б по-вашему всё было, так Россия давно бы погибла».

Н-да-а, а зиме-то конец скоро. Как ни лютовала матушка... От каждой весны ждёшь чуда, какого-то воскресенья и воскресенья, а она придёт, бурлит ручейками и вот уж умчалась в лето, а лето мелькнёт зелёным платком, и вот уж дохнуло тоской, печалью...

Я так сейчас более 10 дней нигде не могу выдержать, тоска загрызает, что окопная вошь.

Не знаю, верно ли я поступил, но записал тебя в свою «команду», не спросив на то твоего разрешения, — с 20 по 26 марта в Москве совещание молодых писателей. Я руковожу одним из семинаров и попросил включить в число руководителей несколько близких мне периферийшиков. Всё оплачивается — дорога, жильё, банкет. Нагрузка небольшая, будет много речей, лекций, а работы всего три дня. Можно поделать какие-то дела в Москве, а главное, при сборище всех издателей я смогу тебе подыскать работёнку, чтоб хоть денежное угнетение не так тебя давило. Да и поговорим маленько. Может, и в Вологду заедешь. Ну, там видно будет. Не сердись, что завербовал тебя, не спросясь. Не было времени. После Москвы летал в Ленинград — смотрел материал фильма по «Сну о белых горах». Наснимал человече 3,5 часа, а надо 1,5 часа — вот и не знает, что теперь делать. Всё жалко выбрасывать. Потом я всё же выбрался на три дня на рыбалку, на лёд, и вот помаленьку привыкаю к столу.

Не хандри! Поклон жене, ребятёнку. Обнимаю. Виктор Петрович

Февраль 1979 г.

(С.А.Баруздину)

Дорогой Сергей Алексеевич!

Доконала меня эта Переделкина, мать её растак! Не дом творчества, а какая-то обитель престарелых людей, ничего уже не только не пишущих, но и писающих с трудом, да всё больше за голяшку и в ботинок.

«Камеры» — так бы я назвал комнаты в доме творчества — запущены, полы давно не натирались, мебель обнажившаяся, старая — всё убого, уныло, серо. А кормят!..

Ведь сколько просили мы отдать этот дом творчества нам, периферийным писателям, приезжающим в столицу работать в журналах, с редакторами и т. Д. Дали шесть самых худших комнат, и заткнись! Особенно знаменита там камера № 3. рядом с сортиром, через неё, как через чистилище, пропускают всех

периферийщиков — и меня в этот раз пропускали, — шумно в ней, вонько, тесно.

Звоню в Литфонд и говорю: «К писателю может быть любое отношение даже враждебное, но я ещё и инвалид войны...» Кое-как дали комнату в коттедже, которая якобы из резерва секретариата, холодную, унылую, но я уже и такой был рад, хотя мой друг — художник — оскорбился за меня, побывав в этой комнате. А тут и «резерв» явился — рыло пухлое, надменное, рот треплив, хуже, чем у одесской бандерши... Больше я, конечно, не поеду в этот дом и лучше не доеду до него, остановлюсь в доме призрения актёров, но как же остальным-то ребятам из провинции быть? Куда деваться?

Хотелось бы с Марковым на эту тему поговорить, что ли? А эти, деятели из Литфонда, каркают: «Писатели! Писатели! Они только баб водят да пьют там!»

Боже, как они хорошо думают о нас! Боже! За месяц была одна шумная пьянка, и один, по-моему, писатель одну человеко-единицу женского пола приводил, да и то уснул раньше, чем она изготовилась к утехам и долгожданном плотским радостям, ибо утром писатель отводил рыло в сторону и прятался в воротник якобы от ветру.

Я и на вечер-то Ваш не попал и на Рубцова тоже из-за хвори. После выступлений у меня подпрыгнуло давление. Было один раз 220 на 140, такое давление сразу не уронишь, а поднять волнением и выпивкой — дважды два. И на Юры Воронова, моего хорошего знакомого, вечер тоже не ездил, и вообще, было радости — побывал в пяти театрах, посмотрел лучшие спектакли да повидался кое с кем из Сибири.

Закончил пребывание своё бесполезным походом на Главпур, где ещё раз убедился, как нас крепко охраняют и как мы прочно стоим на земле — печать и подписи на пропусках ставил контр-адмирал! Ну, так ему и нам надо! За что боролись, на то и напоролись. Прочно, очень прочно держат они оборону в наших тылах и в любое время, заслышав «ату», бросятся на нас сзади и разобьют нам прикладами затылки...

Сергей Алексеевич! А как Вы сейчас? Выбрались из больницы-то? Может, зелье какое надо? Барсучье сало у меня есть, прополис есть, облепиховое масло, кое-какие действительно полезные травки. Только Роза крикнет по телефону, чего надо, тут же и пошлю.

Я сейчас вот отлежусь, очухаюсь и начну доделывать писанину о А. Н. Макарове — накатал 260 страниц и новую пьесу (по мотивам «Звездопада») изладил. Жду весны и тепла. Собираюсь на рыбалку. Раньше просто ездил, а теперь вот

собираюсь, с самой осени собираюсь, и пузо усыхает не от рыбалки, а от самих сборов.

На всё лето собираюсь в Сибирь. Осенью начну писать роман о войне. Большой. Трудный.

И как Вы больной-то писали обо мне? Господи! Подарил же мне бог талант — везение на хороших людей! Спасибо Вам братское, фронтовое на добром слове, пусть бог даст вам сил на выздоровление и не выпускает Вас из-под контроля медицинского, божьего. Кланяюсь, обнимаю, целую Вас обоих с Розой. Мои все шлют поклоны.

Может, осенью поедете в Душанбе? Или ранней весной? Там у нас хорошие знакомые появились, почти родня. Так, может, вместе кости погреем на южном солнце?

Ваш В. Астафьев

28 марта 1979 г.

(К.М.Симонову)

Дорогой Константин Михайлович!

Посылаю Вам самую дорогую книгу о самой светлой поре моей жизни, несмотря на все её внешние тяжести. Я знаю, что лучше мне уже ничего не написать, мастеровитей (слово-то какое нехорошее!), наверное, а свободней, раскованней, когда вроде бы и не пишешь, а как зяблик на острой пике ели сидишь и на всю округу звенишь о том, как солнечно вокруг как светло, приветно! И оттого, что ты рад, рады и тебе. Но зяблик зябликом, а благодушный тон критики на первую книгу помог мне настроиться более серьёзно и написать вторую, которая, как мне кажется, уравновесила моё отношение к прошедшему и притушила как бы эту самую благость.

Но пишу я Вам не только и не столько потому, а с просьбой, хотя и знаю и вижу, как Вы заняты. Но что делать?

Дело в том, что я написал книгу об Александре Николаевиче Макарове, основанную на его письмах ко мне. В письмах этих часто присутствуете Вы, да и материал книги в той или иной степени касается либо Вас, либо того сложного времени, в которое пришлось Вам работать, а потом совместно и преодолевать эти самые сложности. Не сможете ли Вы взять на себя труд прочесть рукопись книги до того, как она будет опубликована (если будет?) и помочь автору избежать каких-то перехлёстов, неправильностей, посоветовать что-то с высоты своего возраста и опыта?

Я бы мог выслать Вам рукопись в начале апреля, и не торопить Вас с прочтением, а потом, если бы Вы нашли время для разговора, я бы подъехал в Москву (обычно я останавливаюсь от

Вас близко, на ул. Красноармейской, в двадцать пятом доме). Отбейте телеграмму или позвоните в Вологду по телефону 2-21-07, и, если согласитесь, я и вышлю рукопись.

Буду чрезвычайно Вам благодарен. Желаю доброго здоровья!

Кланяюсь. Виктор Астафьев

14 апреля 1979 г.

(М.Шламову)

Дорогой Миша!

Бесконечно был рад получить от тебя письмо. Такая приятная неожиданность! Сейчас уже такой возраст и век такой, что больше и чаще друзей теряешь, чем обретаешь, а тут — старый друг, который лучше новых двух — не зря говорится.

Я после большой работы. Очень устал. Волосы на голове дымятся от усталости, и потому напишу немного и, наверное, сумбурно.

Знаешь ли ты, что нынче юбилей нашего незабвенного города детства? Да, 29 июня Игарке отмечается её пятидесятилетие. Многие старые игарчане собираются туда. Собираюсь и я. С 1959 года не бывал в Игарке. Хорошо бы поехать вместе. С начала июня я буду в родной деревне — час езды от Красноярска, в деревне найти меня легко. Там пробуду до начала июля, а потом, видимо, поеду на Алтай, на юбилей покойного собрата по перу — Василия Макаровича Шукшина.

Расскажу немножко о себе.

Летом 41-го года — учился в ФЗО на станции Енисей, поработал полгода и на фронт. Воевал сперва на Брянском фронте, а потом всё время на 1-м Украинском. Воевал рядовым солдатом в артиллерии, был трижды ранен (бойкий наскачет!) и рядовым снят с учёта в 50 лет. Осенью 45-го года женился в нестроевой части на военной девушке, да и поехал на её родину жить, на Урал, в город Чусовой. И прожили мы там 18 лет и хватили горя и нужды по ноздри. Но молодость была, и мы всё перебороли, вырастили трёх детей, сейчас уж дважды дед и бабка. Писать я начал в 1951 году, с тех пор этим делом и занимаюсь. После войны работал на всяких работах, и на тяжёлых, и на грязных. Как начал писать, взяли на работу в газету, потом на радио. В 1959— 1961 годах учился на Высших лит. курсах. После курсов восемь лет жил в Перми, затем переехал в Вологду. Написал и много, и немного. Нынче начинает выходить моё собрание сочинений в четырёх томах. Есть и кино, и пьесы, созданные по мотивам произведений, переведён и перевожусь на многие языки. Работать я люблю.

А ты, наверное, всё такой же художник? И левша? У меня

жена левша. Почерк у тебя всё ещё прекрасный. А у меня не почерк, а сплошные каракули, которые разбирает только жена и печатает на машинке. Рисуешь ли ты? Или буришь землю и забыл про искусство? Нам обязательно нужно повидаться. Если ты не сможешь приехать в Овсянку или в Вологду, то в сентябре я буду на Байкале и свяжусь с тобой.

А пока крепко тебя обнимаю. Поздравляю с праздником и весной! Мы с женой завтра едем в Польшу, на места боёв. Там я был ранен последний раз. Задумал писать книгу о войне, и надо всё прошлое пропустить через сердце заново. Поэтому извини за торопливость.

Ещё раз кланяюсь. Виктор

Апрель 1979 г.

(В.Г.Летову)

Дорогой Вадим!

Так я тут заработался, что и письма писал только служебные, да ещё мотался на совещание молодых, сорвал себя, давление замучило. Во время совещания принесли фильм «Таёжная повесть» по «Рыбе». А после просмотра водки приняли. А много мне уже нельзя. Вот и кончилось тем, что совсем не принимаю, а болит всё, особливо башка, а без неё и без жопы в нашей работе не обойдёшься, а они и сдают. Утром смотрел книгу о Леонардо Да Винчи, у него правая рука отнялась, у Рубенса тоже, а у Бетховена уши. Сатанинская эта работа — искусство, и Бог не позволяет особо резвиться.

Спасибо тебе, заботливый мой человек, за японскую леску, за крючки — это, конечно, подарок! И, конечно же, я поделюсь всем этим добром с настоящими злодеями-рыбаками. Есть у меня такие: и на Байкале, и на Енисее.

Сегодня Маня заканчивает допечатку «Зрячего посоха», и пьесу я тоже добил. Получилось «окно» до праздника. Едем в Польшу, надо ещё раз посмотреть места боёв — нужно для будущего романа. Летом буду в Сибири — подъезжай, погляди на мои родные горы, и в Хабаровске мы обязательно побываем. Не был на Дальнем Востоке, да и «дел» у меня там накопилось.

Как вы устроились? Как Матрёна? Я ведь в пьесе новой одну героиню так и назвал, Матрёной. Хорошая баба получилась. Вот охота много написать, а голова разламывается, надо ложиться в постель. И трещит она не только от Работы. Ирина вот с приступом почек, и тем не менее вчера на мужа пьяницу в драку, только телефон трешит: «Убивают!» Кто? Кого? Маня схватилась бежать, а у меня руки начали отниматься, потом и ноги, вот

сегодня и пропадаю совсем. Эх, детки, детки. Загонят нас в гроб, и сами же страдать будут. Где занять ума и совести, чтоб вложить в них?!

Ну, это между нами, горе-то наше семейное. Это уж тебе только. Вырвалось. Ребёнка жалко. Перепугают, издёргают, осиротят. Ладно, обнимаю и целую. Твой Виктор Петрович

27 мая 1979 г.
Сибла
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Наконец-то я в Сибле и наконец-то сделалось потеплее, подсохла зелень, убыла вода, немножко клюёт рыба, и внук мой подзагорел, поправился, спит и ест хорошо, хотя бабке с ним и хлопотно.

Я сюда приехал из Москвы после записи на телевидении в передаче «Творческий вечер» — запись шла три с лишним часа, и я лежал пластом после этой работёнки, а Михаил Александрович Ульянов по телефону меня спросил: «Ну и как наш хлеб, Виктор Петрович?»

Получил я сигнальный экземпляр первого тома здесь, в деревушке, налюбовался им и без торопливости прочёл твоё предисловие. По-моему, написано ладно и складно, как надо — это и не статья, и не очерк, а слово и только.

Получил и первый отлуп из «Нашего современника» на «Зрячий посох» — он для меня никакой неожиданностью не сделался. Я знал, что едва ли сейчас напечатают вещь в том виде, как она есть, но редакцию, где меня будут, меньше кастрировать, всё же поискать следует. И я подумал о «Неве» и о том парне, про которого ты говорил. Не думаю, что они храбрее других, а попробовать можно. Всё равно рукопись, как вернётся, будет лежать в столе. А вот книгу вроде бы одобрили, и на той неделе приедет редактор в Сиблу с рукописью — станет редактировать.

Я и подумал: может, ты напишешь в «Неву» и если они оттудова официально попросят рукопись, я и пошлю (любительски-приятельски я давно уже рукописей не шлю — ничего хорошего из этого не выходит) — если ты им черкнёшь, будет хорошо. Я хотя и улечу в Сибирь 10 июня, но дома Мария Семёновна остаётся и она распорядится, всё сделает толком.

В Сибири я пробуду долго. Еду праздновать 50-летие Игарки. Очень жду и даже волнуюсь очень в ожидании встречи с городом детства, где не был 20 лет. Бежит время! Мой сибирский адрес: 663081 Красноярск, п/о Овсянка, ул. Щетинкина, 26 (мне)

Адрес тебе уже тоже знакомый. К сожалению, ныне мне там

мало придётся быть — в июне 50 лет Шукшину, собираемся с Марией Семёновной съездить туда, а в самом конце июня женится сын — надо быть дома. Здесь думаю объявиться только в августе, а потом осенью снова двинуть туда, начинать роман надо. Тут нет уже возможности работать — издёргали.

«Зрячий посох» прихватываю с собой. Отредактировали книгу публицистики и, чтобы оставить название, напечатали отрывок в 12 страниц из «книги воспоминаний» как предисловие. Но мне так хотелось собрать в книгу всё своё блевотное публистическое барахло, сдать, издать и отправить в архив, вот я и рад окончанию этой хлопотной работы, хотя и её считают «дерзкой» и опасаются «глазу».

Поклон всем твоим. Виктор Петрович

22 июня 1979 г.

(жене)

Дорогая Маня!

Вот я и на пароходе! Прошли уже устье Ангары — всё пока, слава богу, на месте — ещё не осчастливила рука преобразователей это изумительное место, где такая своенравная, такая брыкливая река, оперлись о стену скал с правой стороны, почти лениво вливается в Енисей, оградив себя плоским зелёным островком, а поляны на крутом правом побережье светятся лампадно-зелено, и кажется, что они кем-то раскатаны на крепкой столешнице.

Я впервые и с удивлением обнаружил, как точно пишет об Ангаре Валя Распутин, нет, нет, не пейзаж, не внешние приметы, хотя и это он делать мастер, а как бы душу саму этой вкрадчивой и бурной реки. Мне даже показалось сейчас, что и сам Валя чем-то неуловимо, глубинно, колдовски-скрыто похож на свою родную реку, хотя и не подозревает об этом.

Мне говорят, что я тоже — душа Енисея, да ведь мало ли что говорят, да и очень ведь растяжимо понятие — душа. Наверное, моя смертная любовь к этому, ко мне всегда как бы чуть отчуждённому краю живёт во мне и какой-то згой, искоркой малой проблескивает в моих жалких словах, но в совсем не жалких и немалых чувствах, которыми наградил меня господь бог.

А я проспал почти весь день, и Казачинские пороги проспал. Слышал, как било в скулу парохода, как его чуть покачивало, и что-то тревожное чувствовал, а проснуться не мог. Я вообще тут много сплю и с 18 июня (точно помню число!) ощутил вдруг отсутствие головной боли.

Ах, какое это счастье чувствовать себя пусть и не совсем, но почти здоровым. И тут я тебя понял и пожалел. И понял также, что моё постоянное раздражение, вспышки характера, какое-то гнетущее состояние, непременно распространяющееся и на окружающих, — это всё нездоровье, это всё угнетённое состояние духа. Так никто никогда и не узнает, как, преодолевая свои недуги, я садился за стол и заставлял себя работать и в кровь разбивал морду о стол. Вот почему я ненавижу всех, кому легко жилось и живётся в писательстве, для меня сей труд был и остаётся каторгой. Я уж много-много раз ловил себя на мысли: «Умереть бы...» — как избавительной. Но кто знает об этом? Близкие? Ты? По раздражённости? По отчуждённости? По тяжким каждодневным усилиям заставлять себя работать, ибо в работе есть жизнь...

Ах, как просто и потому так легко живут люди вокруг. И как я им завидую.

Однажды я шёл пешком с красноярского базара, нарочно шёл пешком и смотрел на лица людей — ты же знаешь эту мою слабость — читать лица, — и сколь много повстречалось мне хороших лиц, особенно женских, преимущественно проукраинских, пробелорусских, но облагороженных или, наоборот, испорченных межкровьем — этого я не знаю, думаю, что облагороженных. Хорошо одетые, свободные по случаю выходного дня, как прекрасны были люди, и как мне не хотелось заглядывать им «за спину», угадывать их судьбы, ибо я заранее знал, судьбы их хуже их. Ах, если б люди походили на себя в жизненной сути, помнили бы, как они добродушны, хороши и светлолики, то оскотиниваться, то есть, придя в понедельник на работу, красть, материться, обманывать друг друга и предавать не смогли бы.

А скоро Енисейск! Самый любимый мой и самый жалкий ныне городишко! Что меня влечёт к нему? Зачем? Не знаю. Это вроде как моя любовь к матери — обыкновенной крестьянке, но с такой трагической и пространственной судьбой, что вроде бы уж в космос прорастает, судьбой, которую и Шекспиру бы не постичь.

А телеграмма твоя пришла вечером, и что на неё отвечать — не знаю. И посылки обе пришли. Всё в порядке, всё сохранилось. И книги мне во как нужны! Вот и Енисейск. Закругляюсь.

Целую. Виктор

23 июня 1979 г.
(Жене и дочери)
Дорогие Маня и Ирина!

Вчера в Подтесово я отправил вам письмо сегодня пишу снова — от нечего делать. Идем мы медленней, чем думалось и хотелось бы - мешают туманы. На нашем теплоходе очень покойно, команда всего 10 человек. Капитан — очень славный и разговорчивый мужик. Вчера попотчевал стерляжьей ухой. С ним жена и маленькая дочка, а старшая уже в институте учится.

Вот в 10 утра лишь подняли якоря и пошли. Ребята отправились на нос судна — загорать, а я сходил в душ, сменил бельё и немного полежал. Сон мой восстановился, и я даже днём сплю, но от этого, конечно, прибавляю в весе, но спать охота — спасу нет и противиться этакому желанию на воде трудновато.

Вечером прошли Ярцево. Возле Опарихи и Сурнихи горели рыбацкие огоньки — так бы и выскочил, и вообще время сейчас очень хорошее — тепло, светло. Вчера сполоснул нас грозовой дождь, за кормой стояла радуга. Енисей красив непобедимо, но деревни по берегам сплошь брошенные — это здесь, в среднем-то течении, а внизу, говорит капитан, вообще ничего не осталось. Из мне известных посёлков остались лишь Курейка и Горошиха — меж Игаркой и Дудинкой нет ни одного живого посёлка, начинают обнажаться и пустеть даже райцентры. Что будет дальше? Капитан говорит, что ни хлеба, ни рыбы купить негде. Очень тяжкое зрелище — пустые посёлки. На всём пути видели один-два построенных дома и один новый посёлок — Сурниха. Во как! А флоту много, что дорога ездовая, Енисей сделался. А красот много. Сегодня будем проходить Осиновские пороги *[среднее течение Енисея. — Сост.]*. Давно я их не видел. Завтра или послезавтра утром будем в Туруханске.

Ваш Виктор

10 июля 1979 г.
Овсянка
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Ну вот пишу я из своего овсянского дома, куда и прикатило твоё письмо. Дом изнутри готов и вполне благопристоен, но работы дальше ещё много и свернуть бы её разом, да Алёша, мой глухонемой брательник, никого не подпускает И ни с кем не урабатывается, всё делает всегда сам, да и машинёшку дочери купить охота ему, надо, чтоб я доплатил. Я бы и так доплатил, но попробуй - тут потолкуй! А он ведь и работает, и живёт в Базаихе, что верстах в шестнадцати от нас, в пригороде — мотается туда-сюда, а без Овсянки тоже жить не может.

Бремя моё здесь летит как-то разрессоренно, вроде бы и особо зад не отбивает, но и покоя настоящего нет.

Ездил на юбилей в Игарку, много видел, многое слышал, ещё больше подсмотрел и, главное, был на рыбалке в том месте, где зимогорили Эля и Аким. И пилот, что нёс меня по небу на вертолёте, и все попутчики были совершенно уверены, что «так оно и было» и я чуть ли не третьим спал в мешке с ними. Смешная, наивная и святая вера в нашу литературу, ротозейское простодушие в восприятии слова. Как мы -злоупотребляем этим доверием! Как тупы и часто пустобрешны бываем...

На Шукшина едва ли попадём мы с Марией Семёновной — не успеем, наверное.

Я её уже поджидал, и она вылетела девятого и сегодня должна была уже опочивать в Овсянке, но в пути её настигла скорбная телеграмма. Сейчас Мария Семёновна по дороге к известному тебе городу Чусовому, где будет хоронить младшую сестру — Тасю, на 8 лет её моложе (осложнение на мозг после гриппа). И мне бы уже сегодня не писать тебе, да самому некуда себя девать, ходил уже и на Енисей (рядом), каких-то людей из города принимал, даже полоть в огороде пробовал — всё не к душе да не к строке. И читать не могу. Осталось три девки от пьяницы отца, две полудебильны (старшая замужем или что-то в этом роде), а младшая в Марью Семёновну — даровита, светла умом, только что поступила в Пермский университет как медалистка — теперь папа останется на её руках и девкиному веку и науке — конец.

А я попробую жить здесь подольше. Хоть и надоедает народишко, но очень мне нравится это самое, что ты зовёшь «уединением», избушка, леса, горы... Думаю даже начать писать. А к Макарычу теперь не слетать. Жаль.

Обнимаю. Целую. В. П.

17 августа 1979 г.
Овсянка
(С.А.Баруздину)

Дорогой Сергей Алексеевич!

Я все лето в Сибири, обживаю избу в родной деревне, которую купил для работы. Но работать пока некогда, много хлопот, много поездок, которые, увы, не обходятся без пьянки, — это бедствие какое-то, и от него не так-то просто отмахнуться или спастись.

Работать на бумаге почти не довелось, но перевидал и передумал много — за Сибирь взялись вплотную, и поскольку на моих глазах был разгромлен Урал, то меня оторопь берёт от размаха того погрома, который развернулся здесь. При таком

темпе и при таких хозяевах и Сибири хватит нам ненадолго, а это последний наш форпост. Потом надо будет ложиться и добровольно умирать. Пропадём без войны и без внешнего вмешательства, но зато при передовой системе.

Журнал я Ваш получил давно, а не успел поблагодарить за него только из-за того, что не было времени присесть за стол. Так благодарю сейчас, издалека, и желаю доброго здоровья.

Ваш В. Астафьев

17 августа 1979 г.

(Адресат не установлен)

Уважаемые товарищи! То, что вы называете «ритмом прозы», Бунин называл просто и точно — «звуком». Слова без звука нет, и прежде чем появиться слову, появился звук. Так и в прозе: прежде, чем возникнет сюжет, оформится замысел, вещь должна «зазвучать», родиться в душе «звуком», оформиться в единую мелодию, а всё остальное потом, всё остальное приложится. И горе, если во время работы обстоятельства уводят от работы надолго и мелодия вещи начинает умолкать в душе, рваться, и тогда замечаются сбои в прозе. Видите, как пишущий заметался, появилась разностильность, что-то сломалось, «оглохло» в прозе — значит не «звучит».

Лучше всего удаются вещи, написанные в один дух, единым порывом, в которых мелодия рвёт сердце, вздымает тебя на такие высоты, что ты задыхаешься от счастья. Разумеется, этой музыки лишь частица малая, может, всего кайля упадёт на бумагу и отзовётся звуком ответным в сердце читателя, однако и это уже большое счастье для пишущего, высокопарно выражаясь, творца.

Сейчас у нас много прозы «глухой», составленной из слов, как из кирпичей. Но настоящая русская проза, даже критика (Писарев, Белинский, Добролюбов; современные: Щеглов, Лакшин и др.) — тоже имеют свой «звук». Я думаю, лучшей проверкой достоинства того или иного произведения была бы его проверка на слух, то есть чтение на аудиторию, но это великое мерило литературы и соотношение её с читателем, увы, утрачено. Да и как иначе? Большую часть нашей захваленной и запремированной прозы пришлось бы отправить в макулатуру после такой простой и естественной проверки.

Разумеется, всё написанное здесь — моё личное мнение, основанное на личном опыте.

С приветом, Виктор Астафьев

14 сентября 1979 г.

(В.Г.Летову)

Дорогой Вадим!

Шлю тебе первый том. По выходе остальных — дошлю. Из Сибири меня выкурили. Надвинулось много событий — 23 августа женился и отошёл от дома сын Андрей, а ещё раньше слёг отец — рак печени, и 5 сентября мы его похоронили. Покинул нас последний старик. Каков он был, ты знаешь от меня, но родителей не выбирают, и как тебе, наверное, было жалко своего забулдыгу, так и я горюю, не могу найти себе места, ведь кусочек сердца отвалился, и кусочек немалый и больной.

Потом задавило собаку на наших глазах, жившую у нас, потом внучек приболел, потом... начинается развод у дочери с мужем, уж больно забулдыжный попался. Ничем его, даже добротой не взять. Из вытрезвителя не вылазит. Паспорт и всё остальное потерял. Дома с кулаками ходит, и я ещё корми его. Пять лет кормил. Хватит, он поздоровее меня будет. Лучше уж двоих кормить буду — дочь и внука, чем какого-то уличного проходимца, который лишен всего, даже чувства благодарности.

В Сибири я много ездил, много видел, и сейчас как дурак — сердце там, я — здесь. Всё из рук валится. Завтра подаюсь в деревню. Надо прийти в себя. Осень у нас пышная, на редкость хорошая. Надо хоть на лес и свет осенний посмотреть. Как ты обживаешься на востоке, Вадим? Вот, говорят, где осень-то бывает благодать.

И если не в тягость, Вадим, коль увидишь где ещё японскую леску и крючки поменьше, купи, ладно? Я по доброте души своей почти всё тобой присланное раздарил, осчастливил рыбаков. А на рыбалках я нынче бываю, и на Севере даже на том месте был, где зимогорили мои Аким с Элей, — лётчики отблагодарили таким образом меня за полюбившуюся им «Царь-рыбу», покатали на вертолёте.

Бывал я на чтениях Шукшина. Ну и места, ну и природа! Красотища, и климат крымский. Народу было — тьма.

Вадим, прости что коротко. За это время почты скопилось, а мне хотелось скорее послать тебе книгу. Обнимаю. Виктор Петрович

23 сентября 1979 г.
Вологда
(Ф.Ф.Штильмарку)

Дорогой Феликс!

Шлю тебе ответно книгу, тут про медведей, как толковали, очень мало — два из трех рассказов, мною написанных в жизни. — они когда-то печатались в "Знамени», но третий рассказ «Бедный зверь» — детгизовский. «Отцам» и «мамам» показался

очень жестоким, будто вся наша жизнь, особенно у зверя, вполне идиллическая!

Всё лето я пробыл в Сибири, бывал и недалеко от тебя — в Игарке и даже на Гарбичиан летал — рыбачил. Ездил и ещё кой-куда, ездил бы и больше, да отец умирал, и 5 сентября мы его с большим горем схоронили — рак печени. Погубил он себя вином. И хотя последние годы лет жил с нами, пил при каждом подходящем случае. Ну, да Бог ему теперь судья, а не люди. Жалко всё равно очень. Ушёл от нас последний старик.

В будущем году, если не зарежут сценарий, начнутся съёмки двухсерийного фильма «Царь-рыба» где то в районе села Бор и посёлка Ворогово, на Осиновских порогах.

Об отце я поговорю, конечно, но я уже перестал верить всем. Кругом обещают, обещают и врут. Совсем трудно стало печатать молодых. Сколько ни проталкиваю — не идут, и чем талантливее человек, тем его труднее стало напечатать.

В.Астафьев

1979 г.

(З.И.Поповой)

Дорогая Зоя Ивановна!

Давно пришло Ваше письмо с печальным известием о смерти Виктора Михайловича *[В. М. Попова, пермского прозаика. — Сост.]*. Сразу не ответил на него оттого, что сам прихварывал, а потом поехал в Сибирь да там и захворал. И чего же я мог написать Вам? Сочувствие в таких случаях не помогает и не облегчает. Кабы своими словами я мог бы вернуть самого дорогого Вам человека, поискал бы самые светлые слова, но, увы, в таких случаях слова бессильны.

Но как бы ни было, живым надо жить и исполнять назначенное судьбой. И хуже, гораздо хуже бывает, когда из супружеской пары первой уходит в мир иной женщина, жена, — мужик остаётся совершенно беспомощным в этом миру и совсем несчастным, вот и рассудил Создатель справедливо, как всегда, — первым забирая мужчину. Женщина умеет хранить память и горе, она его оплачет и обиходит, как говорил перед смертью мой дядя, вот уже семь лет покоящийся на красноярском кладбище, а прожили они всю жизнь вдвоём. Первое время тётя Галя после его смерти даже есть одна не могла, ходила на кладбище...

Горе, смерть, как и жизнь, неповторимы, и всякому своё горе — самое горькое. Мужайтесь! Вот и всё, что я могу Вам сказать. Что же касается издания книжки Виктора Михайловича, я сегодня же напишу А. Н. Зебзеевой — редактору детской литературы пермского издательства. Человек она исключительно добрый и

умный, думаю, что-то предпримет и вставит издание книги Виктора Михайловича в план издательства, хотя бы перспективный.

Доброго здоровья Вам и Вашим детям. Виктору Михайловичу — светлая память. Ваш Виктор Астафьев

25 октября 1979 г.

Сибла

(В.Юровских)

Дорогой Вася!

Сижу я в деревне уж полмесяца, плюю в потолок...

Правда, никак не могу после смерти отца наладиться, или уж стар и ленив стал, но на ручку и чернила даже смотреть не могу.

Пробую ходить по лесу, когда погода, и удивляюсь ещё и ещё, как быстро пустеют леса. Прямо какое-то страшное исчезновение жизни, а какая боязливая птица, зверёк. Наверное, они раньше нас чуют надвигающуюся катастрофу жизни.

В Сибири я не работал, в Сибири ездил, глядел, слушал и... пил, конечно. Никуда от этого не уйдёшь и не спрячешься! Бывал на хорошей рыбалке, ловил непуганую рыбу, вертолётчики в благодарность за «Царь-рыбу» бросили меня на день в то место, где зимогорили Эля с Акимом, совершенно уверенные в том, что так всё и было, и я там был, водку пил, хариусом закусывал. Ещё был на Алтае, на шукшинском юбилее, ещё был в верховьях Енисея.

Впечатления подавили меня своей пестротой, грандиозностью и полной анархией, разбоем, ничего-нежеланием людей думать и делать, а только пить, пить, пить... Ужасно! Куда мы идём? Да ещё и торопимся?!

После смерти отца задавило у меня собаку, разошлась Ирина с мужем -причина всё та же, российский загульный муженёк и совсем забулдыгой стал — ни стыда, ни совести...

А ещё раньше, летом, у Марьи Семёновны умерла младшая сестра. Теперь ждём с нетерпением, чтоб скорее этот год кончился. Но кончатся ли беды с ним вместе?

Здесь я вёрстку «Царь-рыбы» читал, принимаюсь формировать четвёртый том собрания сочинений и читать вёрстку второго. Словом, без дела не сижу, хотя и дела не делаю. Обдумываю, хожу, бередю память и душу — может, всё же осмелюсь писать роман. Бог его знает...

Пьеса моя новая широко берётся театрами, а повесть «Зрячий посох» ложится в стол — не печатают... Ну да пусть полежит. Авось дождётся своего времени

Тебя обнимаю и целую. Виктор Петрович

Осень 1979 г.

(Г.Ф.Шаповалову)

Дорогой мой Жора!

Когда пришло твоё письмо, я был в деревне (есть у меня там домик для работы — место глухое, дичающее год от года без людей, как и вся Россия), и жена по телефону мне сказала о письме. Я так был взволнован — спать не мог.

Я, ещё когда жил на Урале, пробовал найти тебя и писал по памяти: Мелитопольский район, село Ялта, колхоз ФОС, но ответа не было, и я очень жалел, что след твой затерялся.

Первое письмо писал ещё в 1946 году — нашёл меня Ваня Гергель, потом Слава Шадринов, потом Равиль Абдрашитов (в конце письма я напишу их адреса). Все они бывали у меня в Вологде, а два года назад я сговорил их собраться вместе, и мы рванули к Славе с Равилем, заехав по пути к Ване в Орск.

Ваня уже второй год на пенсии, а Слава покидает Темиртау, переезжает в Нижний Тагил. Слава из рабочих вышел в начальники, работает заместителем директора комбината по транспорту, бывал и на партийной работе — трижды избирался секретарём райкома. Равиль работает инженером-конструктором на Карагандинском комбинате, а Ваня ведал заводской лабораторией.

Я же хватил лиха после войны такого, что и не берусь описывать, спасло, что склонен к литературе. В 1951 году начал писать и работать в газете на родине моей жены, в г. Чусовом Пермской области. Вырастили мы с женой Марией Семёновной троих детей, двух родных, дочь и сына, и племянника жены. Ребята уж большие, и есть уже внук Витя — 3.5 годика. У племянника жены тоже есть сын Арсений и тоже считает меня дедом, так что я уже дважды дед.

У Славы двое детей — парни, с ними он хватил горя, сейчас они уже женаты.

Бывал я на встрече ветеранов нашей 17-й дивизии, в Киеве и в Ленинграде, чувствовал там себя неуютно, никто меня не знает и я никого. — одни господа-офицеры, много евреев, которых я на передовой и в глаза не видел все герои, все обвешаны регалиями, все задаются.

На второй встрече были Слава и Ваня, так повеселее было. Бывали мы у Бахтина Евгения Васильевича в Ленинграде. Он уже не тот, что был на фронте, и здоровья нет, и гонору поменьше, и я к нему все же не очень расположен. Как братьев, люблю Ваню и Славу, и Равиля, мне с ними хорошо, да вот ты теперь нашёлся,

тебя я считаю совсем уж родным, и это хорошо.

Пишут мне многие из дивизии, со всех концов страны. Будущей весной они, ветераны нашей дивизии, собираются в Житомире, где собирались осенью прошлого года и где их как «киевско-житомирских» встречали очень хорошо. Если тебе захочется побывать на встрече, а разок побывать любопытно, свяжись с Бахтиным, он поможет тебе связаться со штабом ветеранов дивизии

Теперь о том, как нам увидеться. Ноябрь меня дома не будет, а в декабре надеюсь быть дома. В январе — пока, как и что у меня будет, не знаю. Где-то поближе к теплу мы бы приехали к тебе в Жданов вместе с Марией Семёновной. В Жданове у нас есть ещё уральские приятели, но если у тебя есть возможность — милости прошу к нам.

Повидаться и поговорить хочется. По весне на лето я обычно улетаю на родину, в Сибирь. Здоровье в общем-то бы и ничего, но болит голова и мучают лёгкие — пневмония. Давно уж не курю, стал толстый и рыхлый, а выпивать ещё выпиваю, под настроение так и лишковато. Марья переживает, да где со мной сладить!

Посылаю тебе первый том собрания сочинений, три остальные пришлю потом, по мере их выхода. Сейчас я седее, веселее и толще! — это учти.

Ну, родной мой, мне писать не переписать — оставлю многое для разговора. Обещанные адреса ребят высылаю. Обнимаю и целую тебя по-братски. Вечно твой Виктор

6 декабря 1979 г.

(Курбан-Гали Сулейманову)

Дорогой Галим!

Гоняло меня тут по разным местам — был на каком-то дурацком семинаре драматургов в Рузе, затем ездил в Финляндию — вернулся больной и разбитый — гора почты. Выступление на телевидении, что «огонь на себя», не успеваю не только отписываться, но и читать человеческие стоны и повествования о жизнях. Особенно грустные письма от инвалидов войны...

Прочёл присланные рассказы, благо они коротенькие. Дохнуло на меня простоватой и наивной литературой 50-х годов, причём не вообще литературой, а литературой пермской, к которой я был тоже склонен и с кровью, с муками отдирал её с себя, как ссохшиеся кровавые бинты на ране. Думаю, что основа моих творческих сил ушла на преодоление провинциализма, и не простого, а устойчивого, имеющего основы и позиции в лице не

только умерших (Реутов — Сапиро — Андриевский и т. д.), но и здравствующих Селянкина, Давыдычева и т. д. Ими создан не просто «климат», а тонус упрощенчества, заниженности художественных критериев, потому что они так и не научились работать профессионально, они так и остались любителями литературы, а проще сказать, дешёвого гонорара, который растлил таких высокоодарённых полей, как Крашенинников, Решетов, Болотов и даже Домнин.

Понимаешь, какая беда в твоих рассказах, они не изображены, не написаны — они выболтаны. В них нет страсти, они одномерны и бескровны, удержаться же им на злобе дня очень трудно. Я думаю, что их охотно напечатают в той же Перми, но не напечатают дальше. Ты прочти в № 7 1979 г., по-моему, где-то возле этого номер, в «Нашем современнике» рассказ свердловчанина Коли Никонова «На волков». Там то же самое, что и у тебя в «Праматери», но как много всего, как сильно там всё — там не один, там три или пять слоев одновременно идут, и охота страшная, бесчеловечное убийство ради убийства...

И не обижайся на меня — я кем был, тем и остался в жизни. Везде и всюду, что думал, то и говорю. Тем и держусь. Может быть, по весне мы с Марьей побываем в Перми. Твой Виктор

23 декабря 1979 г.

В Пятое творческое объединение киностудии «Мосфильм» от автора сценария «Царь-рыба» Астафьева Виктора Петровича.

Я получил заключение сценарно-редакционной коллегии на литературный сценарий «Царь-рыба» и внимательно с ним ознакомился. Замечаний по сценарию немного, и они, в обшем-то, легко выполнимы. И всё же я буду просить коллегию и руководство объединения снять сценарий из плана и отложить его на какое-то время.

Дело в том, что в двухсерийном телефильме материалу «Царь-рыбы» очень тесно. Первоначально фильм затеивался в 3-м объединении, и мы ушли оттуда именно потому, что нас не устраивал односерийный полнометражный фильм. В телеобъединении собирались делать сценарий для четырёхсерийного фильма.

Уже и тогда было ясно, что для материала «Царь-рыбы» маловато и четырёх серий, но при определённом уплотнении всё же возможен был, пусть и беглый, охват материала повести. Когда же дело завершилось тем, что разрешено было лишь две серии, то все наши попытки втиснуть материал в рамки двухсерийного фильма не имели успеха. Автор начал отходить от книги,

упрощать материал и сделал-таки сценарий, совершенно далёкий от оригинала, и получился он удручающе упрощенный. И сейчас в заключении коллегии содержится просьба пойти на ещё большие упрощения — из-за финансов, трудностей производства и т.д., и т.п.

Вот почему я прошу снять сценарий из плана. И если объединение заинтересовано в том, чтобы фильм по «Царь-рыбе» бы поставлен, поставило бы все-таки вопрос о многосерийном фильме. Две серии заранее обречены на беглое, конспективное фиксирование материала, а не на добротное, интересное и художественное изображение того сложного, остросовременного материала, который заложен в повести «Царь-рыба».

Упрошенных, убогих по мысли и чувству фильмов и без того многовато на нашем телеэкране, и я не хочу, чтобы к ним добавился ещё один обрывок из отрывков, уже с моей фамилией. Думаю, и телеобъединение в этом также не заинтересовано.

1979 г.

(В.Татарскому)

Дорогой Виктор Татарский!

Так случилось, что о передачах «Встреча с песней» я не раз читал в газетах, а вот услышать довелось лишь нынче Вашу передачу и порадоваться тому, что в замусоренном эфире зазвучал чистый голос настоящей песни и разговор о ней идёт доверительный, душевный.

Мне тоже захотелось рассказать Вам одну любопытную историю, связанную с песней, а точнее, — с романсом, редким и, на мой взгляд, незаслуженно мало исполняемым.

В детстве довелось мне жить в детдоме заполярного города Игарки. Однажды в детдом был приобретён патефон и пластинки, которые, конечно же очень скоро были превращены боевой детдомовской братией в лом, уцелело пластинок совсем мало. Среди уцелевших оказалась пластинка, которую редко играли, потому что она была «неинтересная», то есть ребятам не нравилась. Я очень любил наш повреждённый патефон и часто его заводил, и когда пластинок совсем почти не осталось, начал заводить «неинтересные», в том числе и ту, на которой было написано — «Ясным ли днём или ночью угрюмою» — романс.

Не хочу хвалиться, будто романс сразу мне понравился, поразил меня. Нет. Я «вживался» в него постепенно, и когда слушал Пирогова, то мне он казался не артистом, а очень доступным человеком, может быть, даже из родной моей деревни, который думал вслух, а я слушал его, и отчего-то виделся мне солдат, который сидел в холодном ночном окопе и думал,

тосковал о «ней». «Она» мне представлялась какой-то воздушной, заоблачной, взгляду и пониманию моему недоступной...

Увы, спустя не такое уж большое время мне наяву довелось увидеть солдат, которые сидели в окопах, не спали ночами, думая о своих любимых, о матерях, сестрах, жёнах. И образ тот, бесплотный, как бы пребывающий за облаками, начал обретать вполне земные черты — это образ великой, прекрасной и многострадальной русской женщины. И слова: «Ясным ли днём или ночью угрюмою всё о тебе я тоскую и думаю» звучали в моей душе с такой грустью и горечью, что иногда хотелось заплакать, хотя лично обо мне никто «не тосковал и не думал», потому что на фронт я ещё совсем молоденьким ушёл, ни с какой девушкой не встречался, а матери у меня уже давно не было.

Проходили годы. Война давно закончилась. У меня появилась семья, заботы, но мелодия теперь уже навечно полюбившегося романса не умолкала во мне, и однажды, уже будучи опытным литератором, я решился посягнуть на дорогой мне романс, на дорогое для меня творение, и написал рассказ под названием «Ясным ли днём». В 1967 году в седьмом номере журнала «Новый Мир» он был опубликован, и после, когда рассказ получил добрые отзывы и я понял, что он получился, я печатал его уже с таким посвящением: «Памяти великого русского певца Александра Пирогова». Однако самого романса я так с детства и не слышал, слова писал по памяти, мелодию напевал, какая сохранилась в душе. Друзья и писатели при встречах и в письмах спрашивали меня, где взять романс «Ясным ли днём» и не выдумал ли я его? Я и сам уж начал сомневаться в себе, с недоверием относиться к своей памяти.

Но совсем недавно дочка моя, немножко играющая «для себя», купила сборник «Арии, романсы и песни из репертуара Александра Пирогова», и там. к великой моей радости, обнаружился романс «Ясным ли днём». Очень дорогая встреча с давно любимым романсом очень растрогала меня, и я всем друзьям написал, где его можно найти, но спеть-то не могу. Если возможно, передайте этот романс в исполнении Пирогова, передайте привет его супруге, передачу о которой я также слушал с большим наслажденьем.

Заранее Вас благодарю и низко кланяюсь. Виктор Астафьев

1979 г.
(Ю.Т.Грибову)
Дорогой Юрий Тарасович!
Я с недоумением узнал, что Вы сняли рассказ Филипповича и

при этом сослались на меня, что якобы говорили со мной. Да, говорили, но ведь не сказали, что снимаете рассказ, а говорили о том, что Вам нравится, чего не нравится и т.д.

Но сколько читателей — столько и вкусов! Вот послушайте доподлинное высказывание одного, уже покойного, редактора журнала: «Я терпеть не могу Паустовского и Казакова, но у моего журнала 120 тысяч подписчиков, стало быть, миллионов пять читателей, и половина из них обожает этих писателей, так почему же я не должен считаться с этой половиной?..» Эти слова принадлежат покойному Панфёрову, человеку категоричному в жизни и гибкому в редакторском деле.

На мой взгляд, гибкости (не хитрости и извиваемости, а именно творческой гибкости) и принципиальности не хватает «Литературной России», она как имела простенькое, провинциальное личико, так его в сути своей и не меняет.

По опыту «Нашего современника», который находился в куда более худшем положении, знаю, нужна смелость и даже не кутузовская, полководческая смелость, а элементарная, редакторская и гражданская, для того чтобы ликвидировать провинциализм и наладить дыхание еженедельника — этой смелости нет ни в критических статьях, ни в беллетристике. Рассказ Филипповича Вы спокойно и свободно напечатали бы, если б он был «прикрыт» именем, допустим, моим, Распутина, а ещё лучше — Маркова иль Сартакова. Но Ваша задача не только отражать литературную жизнь России, но и открывать в ней новые имена, возбуждать творческие силы, поскольку во многих областях закрыты и альманахи, и издательства.

Мне кажется, Вы и Ваши помощники не совсем ещё поняли, какая огромная ответственность лежит на Вашем еженедельнике и на Вас лично за духовную и творческую жизнь российской провинции. И то, что она прокисает, покрывается всё больше плёнкой плесени, что царствуют там бездарность и воинствующие графоманы, должно Вас не только встревожить, но к настроить на несколько иную, неспокойную жизнь.

Почему Вы так спокойно и охотно печатаете до сих пор рассказы вторичные, безликие, а стало быть, и бесспорные? И почему превосходно (я настаиваю и говорю о рассказе Филипповича), профессионально написанное, Вы своей властью сняли? Что, с серостью спокойней живётся? За серятину не взыщут. Да если Вы боитесь печатать суровый рассказ, далеко не криминальный, совсем не опасный для Вашего служебного благополучия, — отдайте его читать «по кругу», доверьтесь людям, проверьте свой вкус (который, я надеюсь, Вы не считаете безупречным?!) — как это делается у нас в «Н. современнике».

А на этом уровне (как Вы работаете сейчас) требовательности и принципиальности Вам не улучшить еженедельник — подняли Вы тираж за несколько лет на три тысячи, так они, эти тиражи, везде автоматически поднялись — не обольщайтесь! И ещё я настаиваю, чтоб рассказ Филипповича был напечатан, поскольку с меня просили предисловие. Или хотя бы объяснили мне, отчего он не может быть напечатан, и не передоверяйте Вы это дело подчинённым, тем, кто рассказа не слышал.

Будьте здоровы! Всем кланяюсь. В. Астафьев

1979 г.

(Адресат не установлен)

Дорогой Ваня!

И тебя с Новым годом! И Анну! И сыновей, и невесток, и внуков! Развёл Иван родню по всему Енисею, понимаешь! И всё сослепу — не придерёшься.

Пытаюсь представить, как вы там сейчас, и вижу огород в ярких подсолнухах, в цветах и клумбах, твою царицу Анну среди пышного цветения сибирского огорода и какой-то цивилизованно-стандартный городишко, из которого вроде бы вынута душа или что-то главное в него не вставлено. Так бывает на выставках: и хорошая вроде бы, и широкая, и картины нравятся, а чего-то не хватает, и позднее понимаешь — нет «центровой», главной картины, а все картины без неё уж картинки вроссыпь... Вот и наши новые города без церкви, без какого-то одухотворённого сооружения не имеют души — это просто жильё, сбитое в кучу, как стадо какое-то...

А я очень тоскую по Сибири, ещё больше тоскую и, видно, всё же стану собираться «домой». Осенью закопал отца в здешнюю мокрую глину и стало мне совсем здесь одиноко и томно.

Надо уезжать, пока не поздно, надо дожить век на Родине. К тебе по клубнику ездить стану,

Обнимаю тебя и всех. Твой Виктор

1980 год

13 февраля 1980 г.

Вологда

(В.Г.Распутину)

Дорогой Валентин!

Всё же не миновал я заведения под названием больница. Перемогался с осени, полубольной ездил и в Финляндию, а потом

на исходе уже слякоти достал грипп, ну а после него обострение пневмонии, а где пневмония, то следом и стенокардия... С этим «букетом» и прилёг. Сейчас уже ничего, начинаю сваливать текучку.

Литературой-то, Валя, я уже давно не занимаюсь. С год уж ни строчки, и не тянет особо. То ли устал, то ли этот уже завладевший полностью и постоянно давящий нас вопрос: а зачем это? Кому нужно? Когда-то в газете я верил поначалу, что «изменю жизнь», «помогу людям»... Потом в литературе ещё более долгое заблуждение, укреплённое критикой и всевозможной демагогией, а потом самому себе я дал ответ — зарабатываю хлеб посредством пера и ладно, и раз заработал надолго вперёд — и эта забота с плеч долой.

...А вообще по-настоящему добр и счастлив бывал только в работе, в хорошем застолье, да на природе. Но пить давно уже не пью, курить бросил десять лет назад — одна отрада осталась, мечтаю летом попасть в Сибирь и со временем вовсе переехать. Я знаю — лучше не будет. Возможно, даже и хуже будет, но хочется верить, что воздух Родины, её виды, родня и прочая дребедень как-то встряхнут, освежат...

Вот так и живу. Знаю, что и тебе не пишется, и Жене Носову, и о причинах не спрашиваю. Свете, Марусе и Сергею поклоны. Обнимаю тебя. Виктор Петрович

19 февраля 1980 г.

(Ю.Н.Сбитневу)

Дорогой Юра!

Получил твоё письмо в больнице — пятьдесят лет не подарок, а пятьдесят пять и плюс фронтовые дела и вовсе не молодят; всё чаше и чаше потребность лечиться возникает, и хотя я сопротивляюсь и говорю, что ещё належусь по больничным койкам, всё же иногда нужда заставляет приземлиться.

С осени перемогался и перемогся было, но подцепил грипп, а он нонче мутант и на грипп не похож, начинает с ног, корёжит кости, как при ревматизме, а потом за всё остальное берётся. После гриппа взыграла пневмония, потом давление и всё остальное. Лежать ещё долго, так вот хоть письма пишу, и то ладно, а более ничего не пишу, и давно уже. Что-то всё плотнее подступает вопрос: зачем это и кому нужно? Слишком стремительно разлагается человек вообще и наше общество в частности, лишь бы удавалось заниматься самоутешением и самообманом, как прежде, и звереет, и подлеет человек ещё больше, и это при наличии Толстых, Пушкиных и прочих Шекспиров и Петрарок.

Нам, противоречиво жившим и путано мыслящим, и вовсе не по плечу справиться со стихией цинизма и равнодушия и растления человеческой души. Только теперь я, например, по-настоящему понял, к чему приводит безверие и что даже насильственная вера лучше, чем вовсе ничего. Церковку-та сковырнули рановато, без Бога ни до порога и тем более ни до коммунизма..

Теперь кусай локоть, а он вывихнут, и костоправов подходящих не находится, не токмо мыслителей и личностей, способных справиться с девятым валом бездушия и безверия...

Одного хочу — не дожить до следующей войны. Мне не перенести её будет, ибо я знаю, что ждёт наших детей, внуков и русский народ, точнее, остатки его, уже раздробленные, полуассимилированные, деморализованные. Кто-то дышит нашему народу в затылок, подгоняет его, подталкивает к скорейшему концу. И кто это, я понять до конца не могу, ибо он занимается самопожиранием, как будто изжил сам себя, но для великого народа слишком малый срок, чтобы заболеть белокровием. Может быть, мы и не были великими? Может, так в детстве и застряли? Стадное чувство, рабство, душевная незрелость, робость перед сильной личностью вроде бы к этому склоняют, но великая культура, небывало самобытное и величайшее искусство, созданное за короткий срок, — живое свидетельство зрелости нации.

Так что же за ветер низовой, каменный сметает нас с земли, как осеннюю, листву?! Легко было бы всё спереть на евреев, как это делают «защитники» нашего народа за столом цэдээл, очень легко и самоутешительно, да проходишь и этот рубеж, доходишь до самоуглубления и в себе где-то смутно ощущаешь и причины, и вину за происходящее и за будущее. Страшнее будет тем, кто ощутит это уже не смутно, а отчётливо, в ком пробудится ум, мужество судить себя и нас открыто, но будет это уже как румянец и половое возбуждение, которое происходит у чахоточных людей перед самым угасанием. Поздно будет!

Мне очень понравился твой рассказ «Двухголовый», который я читал летом в Сибири. В нём как раз есть то, чего недостаёт современной нашей литературе, — духовное здоровье. Я хотел тебе написать письмо, но суета и юбилейные пьянки заели время, а потом заумирал мой доблестный папа и умер 3 сентября прошлого года и закопан в мокрые комки вологодской глины. Как он хотел убраться со мной в Сибирь и лечь в мягкую родную землю! Не успел. И теперь я уж всерьёз думаю: самому надо успеть податься ближе к родному пределу. Отец мой был, как тебе известно, не самый лучший из родителей, но родителей, как

и Родину, не выбирают, и вот жаль его, необъяснимо жаль. А помер он, голубчик, от цирроза печени, пил до конца дней своих, и с большой охотой. Умирал в ясную осень, недолго, но тяжело, всё просил у меня прощения и говорил, что я тоже умирать буду тяжело, ибо вся наша родня умирает тяжко. За неделю до смерти попросил поводить его по палате, мы Марией повели, едва ноги тянет. Я и говорю: «Давай попляши». Он улыбнулся и поправил: «Не попляши, а сбацай». Шутник был родитель!

Никого более из стариков на свете не осталось, только две тётки и дядя в Сибири. Надо ехать ближе к ним. Одному неуютно и тоскливо жить стало. Раньше спасался от всего работой, сейчас работать не могу, и не я один, вся мне близкая братия ни хрена не пишет и едва ли писать начнёт. Так что лай вдогонку деревенской прозе припоздал, даже и лай никого уже возбудить не может.

Делал я тут статейку о рассказе, где и похвалил «Двухголового», но не додедал, и лежим мы в разных местах — статейка дома, на столе, а я здесь зимогорю.

Собираюсь в марте в столицу вместе с Марией, если получится, позвоню, а пока желаю доброго здоровья тебе и всем твоим старым и малым. Майе поклон отдельный.

Удалось ли тебе подписаться на мой 4-томник? Если нет — я добуду. Правда в Вологде до сих пор ещё не было первого тома, а вышел уже и второй.

Малый наш внук растёт. Мучит и бабушку, и мать, когда и меня норовит достать. Очень живой и крепенький парнишка. Хорошо ест и развивается, а папа евонный где-то гуляет — разошлись родители, ещё один россиянин-безотцовшина растёт дурной травой возле забора.

Ах ты, раз ах ты! Сколько бед и горя на свете!

Обнимаю тебя, здоров будь. Твой Виктор

3 марта 1980 г.
Вологда
(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Я и сам давненько собираюсь тебе написать, да всё как-то не сходится писать тому, кому надобно и хочется, время моё разбирают, как солому на корм. Здесь, в больнице, только и сумел плюнуть на всё, проявить характер и несколько дней вообще ничего не делать, а потом поработать на себя — сделал с десяток «затесей». Но я отсюда скоро уйду, и начнётся всё с начала.

Жалоба твоя на провинцию мне как никому, пожалуй, понятна. В Вологде У меня нет никакого общения. Пока мог водку

пить, собутыльничать было с кем. А вот уже не могу, да и неинтересно стало, не веселит и водка, и нету собеседника по душе, а трепаться просто так я уж лучше буду со своей Марьей, она в писательских делах собеседник толковый и подвижный.

Всё хотел я, чтоб ты к нам приехал хоть ненадолго, но перемогался-то я с ноября и всю зиму, а полубольной человек — какой собеседник?

Теперь ты в Чусовой собрался (поклонись ему!), а я хочу с Марьей в Москву съездить, «приобщиться», походить по театрам, навестить знакомых и друзей, а то я всё же не оставляю мечты уехать домой, на Родину, а оттуда потакать «культурным потребностям» будет уже сложнее.

Сегодня уже третий день весны, тенькают синицы, солнцем веет, если даже и облачно. Дожили ещё до одной весны и если войны не стрясётся, маленько веселее будет, и кажется — до осени недосягаемо далеко.

Здесь, в больнице, наконец-то прочёл я абрамовский «Дом», и что-то он мне не понравился. Кажется мне, что эта бойко написанная, заранее по местам распределённая книга в противоречии находится и с самим Абрамовым и с «Пряслиными» тоже. Она и по стилю другая, а главное, разрушает уже созданные образы. Так в моём понимании «Две зимы и три лета» и остались вершиной этой большой и неоправданно разбухшей книжищи. Читал и еще кое-что, да всё по обязанности, на предмет рекомендаций, предисловий и просто по просьбе — скучное, неинтересное сплошь чтение. И когда я от него избавлюсь!? А что Серёжу Задереева решил поддержать, очень хорошо. Поклон твоим. Кланяюсь. В. Астафьев

20 марта 1980 г.

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

После больницы мы с Марией Семёновной проделали тот же путь что и ты — в столицы за развлечениями! Поразвлекались недолго, посмотрели несколько спектаклей, балет во Дворце съездов, побывали у нескольких знакомых. Тут всякие интервьюеры и люди, жаждущие критических, юбилейных статей и анкет, узнали, что я есть в столице, попёрли комком на меня, и мы убегли домой, где не совсем здоров малый Витя, а у большого всё ещё руки дрожат.

Совершенно с тобою согласен насчёт Абрамова. Последний роман его «Дом» произвёл на меня удручающее впечатление своей бойкостью стиля, то и дело переходящей в скороговорку, самолюбование. Это можаевский стиль - они не зря дружат — оба

самовлюблённы, оба деревни не то чтобы не знают а чувствуют её, как люди давно городские не только по кустюму, но и по душе. При том они так себя любят, что другое что-либо любить уже нет сил и возможностей, вся энергия уходит на себя. Но Фёдор хоть начитан, наблюдателен, а вот Можаев просто глуп и от глупости пребывает в постоянном чувстве самоупоения, этакой рязанской эйфории.

Собрался во Псков капитально, но цивилизация встала на нашем творческом пути — в Перми невестка Ольга попала под машину, идя на работу, изломало её всю, едва живая осталась. Лечу туда в конце месяца — надо чем-то помочь.

В Чусовом чё заснимешь — всё нам дорого, присылай. Шлю книгу Васи Юровских, специально выпросил для тебя. В больнице читал по кусочку, будто сахарок сосал. Так ли хорошо! Так ли славно! Так ли поэтично! Напиши-ка ты о нём, если ляжет на душу, что-нибудь трогательное. Живёт он в Шадринске. Мы с Женей Носовым определили его в Союз и зовём «лесной опёнок». Шибко добрый и хороший мужик.

А ещё знаешь ли ты Мишу Голубкова? С углежжения чусовского выполз, из спецпереселенческой сажи и в писателя! Он печатался в «Нашем современнике» несколько раз, издавал книжки в Перми, собирается издать в Москве. Сейчас прислал новую повесть, и мне хотелось бы, чтобы ты его прочёл и шефствовал над ним как земляком. Я уже не в силах справляться со всем этим.

Извини. Кто-то пришёл. Закругляюсь. В мае-июне собираюсь побыть в Сибле, если удастся, дам знать. Но сердце моё солдатское чует — надвигается война и все наши планы, а может, и дети обратятся в прах. Будем молиться Господу — отвести беду, да возьмёт ли? Нагрешили и наследили уж больно... Поклон твоим домашним от моих всех. Кланяюсь. Виктор Петрович

28 апреля 1980 г.

(В.Г.Летову)

Дорогой Вадим!

Я только что из Сибири, смотрел квартиру, отдавал команды по ремонту дома. По мне всё решено, и душой я уже «дома», но последняя препона — Марья Семёновна. Беда! Не хочет она отсюда уезжать. А надо! Я здесь больше не могу не только писать, но и жить. И душевно, и физически тяжело. Вот пишу письмо, а по спине струйки текут. Не от жары, как в Ашхабаде, а от вечной духотищи. Но никто, как Бог...

Спасибо за подарок, очень и очень хороший, хотя и не очень

полный томик. Шлю тебе два в ответ, ждём третьего, а то уж тропу на почту истоптали, так я рационализацию внёс — посылать два тома разом. Четвёртый выйдет в 1981-м, наверное. Пока выходит собрание сочинений, настроение такое, как будто надо всё начинать заново и вновь. Видимо, поэтому я здесь не могу начать тяжелейшую свою книгу — роман о войне. Ох и роман! Хватит ли у меня сил и мужества на него? Самому страшно от того, что во мне бродит. А у меня руки дрожат по утрам и ноги немеют — пневмония клятая кислороду ходу не даёт.

Пьеса моя идёт хорошо и уже широко *[драма в двух действиях «Прости меня». — Сост.]*. Напечатали её в пятом номере «Нашего современника». А по "Пастушке" Кирилл Молчанов написал оперу, да название в Свердловске снова дали худое — «Верность». Это уж скорее Борису Полевому подходит, або Первенцеву, но не мне.

Нонче нам уж никуда не поехать. Дай бог хоть частично живыми добраться до Красноярска.

С праздником, с весной вас всех! Мир дому вашему! Целую вас всех, Виктор Петрович

Подтверди, пожалуйста, получение книг. Воруют!

Август 1980 г.
Красноярск
(В.Г.Летову)
Дорогой Вадим!

Ну ты по мнительности действительно съехал. Как те в башку-то кучерявую, вшами и песком забитую, такое ещё влазит?! Я уж думаю, это от стихийных бедствий, обрушившихся на Хабаровск. Тут и покрепче башка не выдержит. Эко вас там трясёт и колышет!

Просто живём мы всё ещё суетно, всё ещё устраиваемся, а меня народ одолевает. Однако ж несмотря ни на что, собрал, составил и в срок сдал в издательство книгу «затесей» — 102 штуки, из них половина новых. А это такая работёнка! В деревне строят гараж и дровяник, есть и ещё дела-делишки. М. С. благоустраивает квартиру и меня в ней. Съездили по картошку на машине, а на катере по рукотворной луже-морю на рыбалку, но погоды не было. Кончилось дело собиранием смородины, а жадность же фраера губит. Я побрал в наклонку (в день затмения!), при моём-то пузе, и захворал. И себя и бабу свою шалую наматерил: на хрена нам сдалась эта смородина? Может, ты мне из Хабаровска растолкуешь?

Вот полубольной и книжку заканчивал. Позавчера, в день сдачи книжки, прилетел Женя Капустин (он делает подарочное оформление «Царь-рыбы» и хотел взглянуть на «фактуру»). Ну напились мы, песни орали до трёх утра под баян, весь наш академический городок потрясли до основания. А вчера я весь день лежал и думал о проблемах соцреализма. Сёдни в деревню, пока собираются, так я и пишу тебе.

Мне надо быть 1 сентября в Москве, на международной книжной ярмарке, заключать договоры с издателями, а потом во главе с Залыгиным целой; бандой поедем в Петрозаводск потрясать местную интеллигенцию выступлениями и пьянкой.

Вадим! М. С. ни в какой отвар не верит. Её нонче женьшень оживил, она в него уверовала и более никому, особенно мне, не верит. Ты уж, батюшко, ежели сможешь, уважь бабу — пришли зелья. Здоровьишко её при её прыти нуждается в подкормке.

Твой Виктор Петрович. М. С. кланяется

Сентябрь 1980 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Посылаю тебе «Посох памяти», а не «Зрячий посох». Рукопись «Зрячего посоха» лежит на столе, я продолжаю над ней работу, но не без ее влияния получился такой «Посох»! Я планировал включить в книгу и «Зрячий» — воспоминание — повесть об А. Н. Макарове, однако работу затянул, и объём её увеличился так сильно, что и без неё получилась книга по плановому объёму, да и печатать её пока никто не собирался. Тем временем текст, писался, верстался, перевёрстывался и где-то, на каком-то промежуточном этапе мой ли пьяненький редактор или тугодумая какая-то, хоть и трезвая начальница, посчитала, видать, моё название шибко мудрёным и подправила.. Когда началась редактура, уже было заказано оформление и выправить что- либо было невозможно. Итак, одним литкурьёзом на свете стало больше — в предисловии-вступлении говорится о «Зрячем посохе», а на обложке «Посох памяти». Всё же я весьма и весьма рад, что книжка эта вышла. Важно, что многое мы с М. С. собрали в кучу, пусть не всё лежит на тех «полках», где надобно, книжка нуждается в пересоставлении, исключениях и добавлениях, однако дальше всё будет делать легче. Ведь мы даже «Чусовской рабочий» потревожили, запрашивая материалы и даты, но из-за спешки в последний момент некоторые даты так и не установили.

Книга местами дерзкая, а есть фразы и отважные. Горжусь

тем, что смел их произносить и будучи ещё зелёным, молодым, а не тогда, когда стал лауреатом и от этого храбрым, как иные витии полагают.

Живу по-прежнему один. М. С. всё ещё в Вологде, отлёживается после операции. По цепной реакции оперировали аппендикс и у Андрея. В середине февраля, если буду здоров, встречусь в Москве с М. С. — буду работать в детском театре, а если нет, она сама сюда прилетит. Погода здесь чудесная. Мороз и солнце! Действительно, это чудесно. Впервые за много последних зим чувствую себя бодро, тянет работать.

Поклон твоему семейству. Обнимаю. В. П.

15 октября 1980 г.
Красноярск
(А.М.Абрамову)

Дорогой Анатолий Михайлович!

Письмо Ваше нашло меня в родной Сибири, в родном селе, посреди осенних дел в огороде, который я, к ужасу моих тёток и родичей, превращаю в лес, как я делал и всюду, где жил, а они же садили помидоры, картошки!

Отвечаю сразу, ибо всё лето после переезда болел и нигде не бывал, вот и хочу, пусть и осенью, съездить на юг края к друзьям-детдомовцам в Абакан и к моему однополчанину — великому воину-разведчику Ивану Исаеву.

Переезды в нашем возрасте — дело трудное и сложное, было бы ещё труднее если бы не родное село. Городская квартира пока мне совершенно чужая, И в город я езжу по нужде и неохотно.

Но здесь и климат, и многое действует на меня умиротворяюще, лучше стало с лёгкими, голова меньше болит, и суеты пока меньше, и многолюдства пока удаётся избежать. Всё еще вплотную не работаю, однако зимой думаю сесть за стол.

Сегодня 15-е. До 30-го письмо моё дойдёт, поэтому лучше в письме несколько слов, а телеграммы, справки и автографы — не мой жанр.

Алёша Прасолов, его стихи поразили меня с первого раза своей глубиной. Но о глубине я к той поре уже наслышался вдосталь, только что кончил Высшие лит. курсы, пошатался по комнатам Литинститута, да и в книгах, как тех лет так и нынешних, почти как пропуск в предисловии слово «глубина», но никогда не пишут слова — «неотгаданная».

Я думаю, и Лермонтов, а прежде всего «всем доступный» Есенин, как раз и притягивают, до стона и слёз волнуют тем, что дотрагиваются в нас до того, что ныло, болело, светилось внутри

нас и что ноет, болит и светится внутри нас. И дано им было каким-то наитием, каким-то неведомым чувством коснуться того, что именуется высоко и справедливо — волшебством поэзии. Только ей да ещё музыке и дано растревожить в нас самих нам непонятное и никем ещё непонятое и необъяснённое (слава богу!) чувство, в котором тоска по прекрасному, по лучшей своей и человеческой доле, мечты о всепрощении, желание любви и братства, и ещё, и ещё чего-то как бы приближаются к тебе, делаются осязаемей, — недаром от музыки и поэзии плачут. Это плачут люди о себе, о лучшем в себе, о том, который задуман природой и где-то осуществлён даже, но самим собою подавлен, самим собою побуждён ко злу и Малодоступен добру.

Алёша Прасолов не прочитан нашим дорогим широким читателем и не может быть прочитан, он не кричит о времени, он заглянул в него и, как Лермонтов, содрогнулся от того, что ему открылось. Это заблуждение, что он говорит об обыкновенном и обыкновенными словами. Коля Рубцов тоже обыкновенен — на первый, поверхностный взгляд, а вся поэзия его проникнута предчувствием смерти. Своей! И это страшно. И это пугает своей избранностью, и мы невольно и смущенно толкуем его вкривь и вкось, только чтобы самим — Боже упаси! — не заразиться тягой поэта к загробным и предсмертным чувствам. Всем не хочется умирать, и тем мы живы, потому и хитрим с самими собой прежде всего, играем в телевизионные куклы, в радиоугадайки в тю-тю с жизнью, а в это время над головой летают самолёты с боеголовками, варначат так называемые космонавты в погонах, сытые и, как было во веки веков, толстодумные генералы нацеливают друг на друга ракеты и, жуя казенную пайку, подсчитывают, сколько оной ракетой сметут с земли супротивников, а супротивниками стали все, ибо при современном оружии нет ни белых, ни цветных, ни маленьких, ни больших, ни границ, ни пространств, ни социальных систем, ни кастовых разделений. Вот тут-то и вся закавыка.

Коля Рубцов предчувствовал свою только смерть, и где-то жило в нём тоскливое предчувствие угасания Родины — России. Оно у него с годами всё явственней и заунывней звучало, ибо он видел и ощущал, как оголяется, пустеет Вологодчина и как вместе с ним запиваются и дичают на городских просторах вчерашние крестьяне, деревенские устои и семьи, прежде всего, распадаются под натиском малогабаритного городского «рая».

У Прасолова всё это от частной судьбы прорастает в общечеловеческие масштабы, и предчувствие трагедии во всём такое, что нашим мелким душам и копеечному, обарахлившемуся обществу страшнее всего читать, а тем более пущать в себя такое.

Люди, как на пожаре, тянут барахло, машины, дачи, участки, бьют животных, жгут и покоряют пространства, торопятся, лезут друг на дружку, затаптывают родителей, детей, отметают в хламе старые морали, продают иконы и кресты. А тут является человек и спокойно спрашивает: «А зачем это?» — и толкует о счастье самопознания, о душевном укреплении, о мысли, как наиболее ценном из того, что доступно человеку, что создало его — человека, и что он должен материализовать в улучшении себя и будущих поколений, а не в приобретении «Жигулей» и тёплого одеяла — для этого никакой мысли не надо, для этого довольно двух хватающих рук. И литература наша вполне удовлетворяет «духовные запросы» потребителя, делает это с нарастающим успехом, что от неё и требуется на данном этапе. Выдающийся поэт редко бывал современен. Несовременен и Прасолов, но современны его ощущения и предчувствия, к сожалению, в слове его далеко не реализованные. Участь выдающихся поэтов России разделил он: преждевременная смерть - это не только рок, но и закономерность жизни — чтобы не смущал нас своим высоким светом, не тревожил своей мыслью и словом, нам достаточно и лампочки Ильича, а если семилинейная лампа или горнушка с нефтью в землянках засветится в конце нашего пути — и этим обойдёмся, только чтобы сыто и спокойно было. Мы, и только мы, убиваем своих поэтов, как цветные выбивали белых, а белые цветных — пусть не портят нам цвет кожи! Пусть создадут себе отдельную землю «поэтов» и живут там. И поют там.

Мы не готовы к восприятию высокого слова, высоких чувств и трагедий — поэты всегда родятся «рано». И Прасолов родился «рано» и ушёл «не вовремя». Не будем отгадывать его судьбу, поучимся постигнуть его слово, постигнуть и понять себя и время! Пока не поздно! Обнимаю, Виктор Петрович

Ноябрь 1980 г.
Овсянка
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Вот я и переехал на Родину! Пока не поздно, так ближе «к родимому пределу»...

Переехал в июле и заболел, нахватался на путях-дорогах сквозняков и пьянок, начались обострения одно за другим, и долгонько лечился, да и сейчас ещё не рискую шибко лезть на воду и в лес.

Однако климат здесь суше, и я чувствовал себя хорошо, перестала болеть голова, подсохли лёгкие. Я так этому радовался, так хвалил погоду, что она взяла... и испортилась. Сегодня

мокрый снег загнал меня с огорода в дом, и снова болит голова, ломит под лопатками, вялость, апатия... Как я жил в вологодских болотах столь лет?!

Вычитал вёрстку четвёртого тома. Летит время! Вот и издание собрания сочинений, о котором и не мечтал, не думал, уже подходит к концу. И ещё один какой-то этап или этапчик в жизни минул.

Писать ничего, кроме «затесей», не писал. Часть их печаталась в «Смене» и «Огоньке», остальные лежат, дожидаясь отделки, да многим из них так и лежать. Всё чаше и чаше они выходят «личного» порядка, и их нет даже смысла предлагать в печать. Может, когда донесёт тебя до Сибири, и я почитаю.

Остаток лета и осень занимался я административно-хозяйственными делами и ещё раз убедился, как в нашем косном, обюрократившемся, свободном для лентяев и хамов государстве уворовывается время и силы людей, как они ладно перемалываются в ничто, как унижены граждане стоянием в очередях, ожиданиями, прошениями. И всю эту ситуацию сами же создают, сами же её и клянут, сами же возмущаются втихаря, ища виноватых где угодно, только не в себе — государство самоедов, самоистребителей и безответственных существ, даже по отношению к своей особе..

С удовольствием садил после всего этого лес в огороде — посадил калину, рябину, берёзу, ёлку, сосну, лиственницу, лесных цветов на месте картошки и капусты, чем привёл родичей в изумление, и они решили, что житие в Европах даром не проходит и я уже с катушек съехал.

Вот для начала то, что я тебе имею сообщить, а ещё адреса: 660036 Красноярск. Академгородок, 14, кв. 55 или Красноярск, п/о Овсянка, улица Щетинкина. 26. Здесь я с весны и до зимы и только в морозы подамся в город.

М. С. долго была в Вологде и с месяц как приехала, бросив внуков (у Андрея в июне родился сын Женечка), и сильно по ним тоскует. В августе приезжала Ирина с Витенькой. Ему здесь очень понравилась и «водичка», и «лес», и «деда», но мать не хочет переезжать, хотя он и сказал: «Хосю зыть в Овсянке с дедой». Боюсь, что это осложнит всё наше житье. Я-то начну работать и всё выдюжу, а бабке без внуков будет одиноко. Ну ладно, не мы первые, не мы последние живем в разлуке с детьми и внуками. Не было этого у нас никогда, вот и боязно за них.

А знаешь. Валентин, моя неприязнь к «Царь-рыбе» прошла, читал вёрстку, и мне она стала ближе. Только вот всё, что было в ней отражено худого, в жизни сделалось ещё хуже: рвачество, бродяжничество, пьянь и бесстыдство захлестывают Сибирь.

Обнимаю тебя. Пиши, не сердись на молчанье моё.

Твой Виктор Петрович

7 декабря 1980 г.
Красноярск
(А.М.Борщаговскому)
Дорогой Александр Михайлович!

Вы блестяще написали статью «Изгнание» — это всё вариации Гоги Герцева, а меня били в лоб, что он нетипичен, подан лобово, где, мол нашли такого, но были и живые мнения. Дмитрий Молдавский назвал его одним из первых: «тип, закономерно рождённый нашей дорогой действительностью»...

Плодятся бандиты с ножами, кастетами, обрезами — красноярские власти и милиция уже не могу! совладать с ними, город полон слухов и происшествий, семеро-восьмеро бьют одного, беззащитного, и бьют смертно, и среди этих семерых часто попадаются студенты, они же первые спекулянты и барахольщики. Мы же не справились и уже не справимся с бандитом-демагогом, ибо сами вложили ему оружие в руки. Нонче летом в Овсянке ко мне зашёл ухоженный молодой человек в вельветовом комбинезоне и попросил с корнем, выдернуть дикарём выросший мак. Я выдрал, отдал и спросил: «Зачем он вам?» — «А мы из него готовим примитивный опиум». И я подумал, что не зря боролись за всеобщее образование, вот село, где и самогонку-то прежде не все гнать умели, уже к опиуму подошло, спасибо учителям, спасибо всем, кто не понимает, что вооружать чем-либо, даже гранатой, неподготовленное для этого существо — опасно, оно дичает быстрее и страшнее неграмотного, ибо без бога и царя в голове прёт само не зная куда...

Посылаю Вам письмо, передайте его в «Литературную газету», но в надёжные руки, если сами не заинтересуетесь им. Они уже раз отмахнулись от этого письма, и напрасно, за ним мерещится чудовищная драма в кубанском варианте, где зло похлеще хохлацкого и беспардонность вражее сталинской.

Валентину и Вас с Новым годом! Здоровы будьте. Я от недосыпов и болезни Марии и сам скис — мучает давление. Обнимаю. Виктор

1980 г.

(Адресат не установлен)

Уважаемые товарищи!

Я считал и считаю, что школа наша должна приучать детей к книге, а не отучать от неё, что она многие годы с успехом делала, заставляя детей заниматься пересказом произведений, заучиванием наизусть не только поэтических, но и прозаических текстов, часто неподсильных и взрослой, окрепшей памяти. Или же изучением специфики поэзии и прозы на уровне института мировой литературы. Все ямбы и хореи — это ведь «производственные термины», часто неизвестные и самим

стихотворцам, а изучением и запоминанием их мучают детей. Причём мучают одинаково как московских, так и сельских детей, потому что учебные программы одинаковы для хорошо развитых ребят и для ребят, слабо или никак не подготовленных к школе.

Чтобы приучить ребёнка к чтению, им нужно читать и обязательно вслух, как это делалось в тридцатые годы, когда было мало книг, и это оказалось благом для нас, тогдашних учащихся. Чтение вслух в младших классах должно занимать основное время на уроках чтения, ибо ребятишки, даже самые непоседливые, и по сию пору охотней слушают, чем говорят. Но при этом непременно учитель должен подбирать тексты для чтения доступные и интересные. Многие тексты классической литературы современным детям, большей частью городским, сделались непонятными. Вот пример из Тургенева: «У Калиныча в хлеву завёлся хорь. Калиныч поставил капкан. Хорь попался в капкан».

Современное дитя совершенно не понимает, кто такой Калиныч, что такое капкан, хлев, хорь, но, заучивая механически текст, даже маленький человек раздражается, начинает сопротивляться и литературе подобного рода, и учителю с его механическим методом преподавания любого предмета, тем более предмета такого, от которого дети ждут интересного, а от неинтересного они устают и на других уроках.

Но прежде чем заняться вопросами изучения литературы в школе. Академии педагогических наук нужно решить вопрос более серьёзный и наболевший — это изучение природы, нашей родной природы и прежде всего земли, на которой мы живём и которая нас кормит.

Ещё 30—50 лет назад в этом почти не было необходимости: дети рождались и росли в основном в сельской местности и там проходили самостоятельно школу общения и изучения природы, трудом постигая всю её сложность и простоту — названия и породы деревьев, трав, цветов, характер погоды, умение садить, добывать, косить, плавать, пахать, да и просто ориентироваться в лесу и на местности.

Совсем недавно в сибирской тайге сгорела целая группа студентов машиностроительного техникума, ибо пакостить, как в городе, так и в лесу они умели, есть предположение, что лес они же и подожгли, а вот выйти из пожара, бороться с огнём не научились.

Многие дети нашей страны, да и взрослые тоже, выжили в войну лишь только потому, что умели питаться от земли, от леса, от лугов и полей. Что будет с нашими детьми, если нас снова постигнет такая же беда? Ведь с проектами питания не стало

лучше, а даже наоборот. Ныне и в сельской местности дети, да и взрослые тоже, питаются зачастую из магазинов и столовых. «Забывчивость» эта, пренебрежение «земной наукой» может очень и очень дорого обойтись всем нам.

Нужно как можно скорей вводить в школьные программы уроки природоведения, и не просто уроки с бесконечной говорильней и со стишками: «Птицы солнышка ждут, птицы песни поют, а восток всё горит-разгорается...»

Надо науку о природе делать практически, водить детей в лес, на поля, в сады и огороды и там показывать, как и что называется, кого едят и с чем, чем можно отравиться, а чем нельзя, что помогает от живота, ревматизма и просто от дури. Лучше бы всего такие сады, огороды и опытные делянки иметь возле школ, засадить их своими руками.

Я не раз бывал в школах, где есть приусадебные участки или кедровые и сосновые рощи, посаженные и хранимые учащимися, и свидетельствую: в этих школах больше порядка и лучше успеваемость.

Пока Академия педагогических наук занимается подготовкой программ и всевозможных законов, можно и нужно дать учителям возможность преподавать свой предмет более самостоятельно, и тогда дурь учительская, их бестактность и малая подготовленность сделаются более очевидными. А то получаются педагогические парадоксы — я знал учительницу, мою односельчанку выросшую на природе и от природы — она водила учеников в лес и показывала им травы, цветы, растения, говорила, что как называется, что съедобно из грибов и растений, учила их сочить сок, не губя деревьев, добывать корни саранок и других цветов, не повреждая растения, и при этом читала детям стихи, приводила примеры из литературы. А её уволили, проводили на пенсию как малограмотного педагога те, кто лишь только-только окончил институты и четко знает «методику» преподавания!

Кстати, сам я учился русскому и литературе в игарской школе у преподавателя Игнатия Дмитриевича Рождественского, будущего известного сибирского поэта, который, в нарушение методик, обязательно на каждом уроке оставлял 10—15 минут для чтения вслух и тем самым научил нас слушать и читать, а некоторых, в их числе и меня, преданно и вечно любить литературу.

Виктор Астафьев, лауреат Госпремии РСФСР и СССР

1981 год

21 января 1981 г.

(Адресат не установлен)

Дорогая Галя!

Уж такая ты прелестница писать письма, почти как моя Марья, откуда чё и берётся?!

Я по-прежнему живу один, и поскольку эта воля мне впервые в жизни, не могу ей нарадоваться и сожалею, что раньше почему-то за неё не боролся. А тут ещё погода моя, родная — мороз и солнце, действительно, чудесно! Я впервые за много зим, без обострения, гриппа, соплей и кашля. Так ли хорошо, что и боюсь иной раз — проснусь: всё кончится!

Налаживается помаленьку и в Вологде всё. Марья Семёновна поправляется, Андрей, по её «стопам» попавший с аппендицитом на операцию, уже дома, Витенька ходит в садик. И вообще, у меня ощущение такое, что врозь нам уже лучше. Но может, и обманчивое, может, и мираж.

Тут меня сердце прихватило недавно, лежу один, воды и капель подать некому, покуражиться не над кем, тоже хорошего мало, но ты это знаешь лучше меня. Вот отлежался и начал дальше работать. Только жадность на работу огромная, а сердце уже не то и очи. Жадность и сердце как-то не так уж ладят, как прежде. Тут написал за один присест 28 страниц, морда раскалились, голова разболелась, спать не могу, трясёт. И назавтра сердце прихватило, да с болью, А каков рысак был! Как-то написал в один присест «Коня с розовой гривой» — работал от шести утра до шести вечера, и мало потом правил. Как-то написал за три дня 120 страниц черновика «Пастушки», но так свалил всё в кучу, что много мест потом выправлял.

Очень угнетает кухня и почта. Нашёл бы домработницу, да Марья никого не потерпит в доме, кроме себя. А в столовку ходить не привычен и, вообще никуда не привык ходить. Домосед. Красноярцы в шоке — думали, я буду бродить по городу, выступать, встречаться с массами, колобродить, кушать в ресторанах и развлекать умственными разговорами вельмож, а он спрятался в лесах, притаился, навозит себе корма на неделю и скорее за стол?! Непонятно!

Ещё меня пока мало графоманов нашло, но рукописи всё же шлют. Ещё мало трещит телефон, и я знаю, что это всё временно, вот и тороплюсь хотя бы «Зрячий посох» закончить.

И читаю маленько, пусть и через силу, перенапрягая своё единственное глядело. Очень мне не понравился «Выбор» Бондарева. Какой слабый роман! Как он далёк от народа и его истинных нужд! А стиль какой высокомерный. И чем больше

автор стремится выглядеть аристократом, тем более лезет наружу лоскутная, претенциозная провинция... Роман подтасовочный, недобрый. Где это было в русской литературе, чтоб мать не подошла ко гробу единственного (!) сына?! А уж вся война так дурно написана в книге, что покойный Курочкин изорвал бы в клочья журнал...

Галя! Ты пиши мне, когда охота. И не ропщи, если не отвечу. Сожалею, что тогда, у Васи, я был зело пьян, и шибко я пьяный-то матерщинник. Стыдно, а чё сделаешь?! Ничо не сделаешь. Попроси за меня извинения у жены Васи и попутно передай им обоим поклоны.

Обнимаю, целую тебя, на твоей Звёздной улице пусть горит свет гостеприимства, не угасая. Виктор Петрович

23 февраля 1981 г.
Красноярск
(адресат не установлен)
Дорогая Галя!

Позавчера ко мне прилетела Марья Семёновна, стало повеселей и посвободней со временем, а то быт съедал его, вот я и отписываю письма.

Зима идёт к концу, и всё уладилось — Марья Семёновна сменяла квартиру для дочери, устроила всех и сама более или менее в порядке явилась домой, но, конечно, до прежней Марьи Семёновны пока далеко. Я как увидел её идущую с самолёта, сердце упало — совсем усталый, больной и уже очень пожилой человек.

Я, как отпишу письма, так добью «Зрячий посох» и возьмусь за «затеси», романом уж не успеть до осени заняться. В начале марта, будем здоровы, поедем, точнее, полетим в Москву по делам, а там, может, и на юг спустимся, погреться. Зима у нас всё ещё сухая и морозная, я чувствую себя бодро, но из-за быта мало всё же поработал.

Ты хочешь на север? А всё же жаль будет, если потеряешь квартиру, она ей-богу, нынче дороже всяких капиталов.

В Ленинграде 2 января умер наш командир дивизиона, и все мы, его бойцы бывшие, ринулись было на похороны и ни один не попал, была нелётная погода. Убывают наши ряды, и ничего с этим не поделаешь!

Сегодня день Красной Армии, идём с Марьей Семёновной на торжественное, а так как я собираюсь слетать ещё и на Ангару, то заранее поздравляю тебя с женским днём и желаю всего, чего желают хорошим людям, И сверх того подольше сохранить всё, что надо женщине, и побольше сил для жизни и труда.

7 мая 1981 г.
Красноярск
(Л.и Р.Балакшиным)
Дорогие Люда! Роберт!

С праздниками прошедшими Вас и детей. Я и праздниками работал, даже первого мая. Завален почтой и рецензиями, до себя уж руки не доходят и потому пашу на себя, когда болею.

Твоя рукопись благополучно лежит у меня. Как только ее где-то одобрят, тут же и напишу предисловие. Будем ждать.

Но никогда, никогда и никому, особенно в издательства и журналы, не посылай недоделанных рукописей — это последние инстанции на пути реализации продукции писателя, и тут рассуждение одно: годно — не годно, подходит — не подходит.

Возиться с сырыми, недоделанными рукописями никто не будет, они как дети, должны быть полностью сделанными и выпушенными на свет родителями, а ты зачем-то послал в журнал недоделанный рассказ. Зачем? Ты что, худо себе представляешь, сколько там разбирается и читается рукописей? И если ты надеешься, что кто-то там сядет и за тебя допишет, то зря — они и сами пишут много. Им не до тебя.

Всё-таки сколь я тебя ни пилил, сколь ни вынимал из тебя чувство безалаберности и некой вольной самодеятельности, всё ещё в тебе бродит литературный мальчик, а надо становиться профессионалом и по-взрослому, профессионально относиться к литературному труду, иначе ничего не получится, так и проболтаешься возле литературы, забавляя себя писчебумажной работой.

За окопный немецкий фольклор огромное спасибо — это очень и очень мне кстати.

Вот пока и всё, будь сурьёзен! Поклон Люде и тебе от Марьи Семёновны, она в конце мая собирается в Вологду. Обнимаю, Виктор Петрович

7 мая 1981 г.
Красноярск
(Е.Д.Суркову)
Уважаемый Евгений Данилович!

Посылаю Вам сценарий, написанный совместно с Федоровским, бывшим лётчиком-истребителем, хорошо знающим авиацию и немножко немцев. Если бы Вы смогли напечатать сценарий в журнале «Искусство кино», то, возможно, это помогло

бы передать его в надёжные руки, ибо материал таков, что бойкий режиссёр сделает из него боевик-пустышку, а умный и мало испорченный, возможно, сотворит и шедевр. Мне хочется, чтоб получилось последнее *[сценарий фильма «Не убий» в соавторстве с Е. Федоровским опубликован в № 10 журнала «Искусство кино» за 1981 г — Сост.]*.

Самое поразительное — герой наш умер четыре года назад в одном из архангельских леспромхозов (я это просто так, ибо знаю, что даже редкостный случай и факт — это ещё не литература и тем более не кино), но всё же, на столько лет пережить своего погубителя?! Разнообразна жизнь.

Желаю Вам того же, чего начал ежедневно желать и себе — доброго здоровья!.. Поклон Вашим близким. Виктор Астафьев

23 мая 1981 г.
Овсянка
(М.Домогацких)
Дорогой Миша!

Позавчера моя жена, Мария Семёновна, никогда тебя не видевшая наяву, умудрилась тебя увидеть во сне — умершего. (Не боись! По русским приметам — долго жить будешь.) И во сне же она говорит мне: «Вот Миша Домогацких умер, а ты так и не написал ему рекомендацию». Вот до чего я дожил, суета заела! Одолели те, кто ближе живёт, а ты во-она где, вроде и подождать можешь.

Письмо твоё получил, а подарок находится в Вологде, днями Мария Семёновна полетит туда и посмотрит на него, а я уж после съезда заеду в Вологду. Живу я здесь ничего, продолжаю устраиваться, немного болел, поэтому и не работал вплотную. В марте-апреле был в Москве по делам, затем маленько погрелись с женой в Душанбе. Продолжаю работать над книгой публицистического порядка (воспоминания) под названием «Зрячий посох», в августе должен сдать в местное издательство новую книгу «Затесей» и осенью, глядишь, напишу роман о войне. А пока хочется посмотреть край, привыкнуть к родине, познать её ближе. Собираемся в конце лета прошвырнуться на рыбнадзоровском катере по Енисею.

Весна у нас началась бодро (в апреле 20-25, в начале мая и в середине доходило до 33 градусов). А сейчас вот снег пробрасывает, ночью обещают заморозок, а всё взошло — вылезло, цветёт. Вот тут и весь характер земли нашей, а бабы — терпи то жар, то холод!

Рекомендацию, как ты и велишь, я пошлю в Москву.

Вот пока и всё. Обнимаю тебя. Что ж ты, умеешь по-китайски,

и по-французски, и по-всякому, и не скажешь китайцам, чтобы они не нарушали ничего? Разом, на всех языках призови их к порядку.

Обнимаю. Виктор

5 июня 1981 г.

(В.Юровских)

Дорогой Вася!

Прости, что долго не отвечал — хотел дать «отстояться» твоему горю, ибо тут любые, даже расхорошие утешительные слова неуместны и раздражительны; второе — Марья Семёновна улетела в Вологду поводиться с внуком и оттуда двинуть в Пермь, а из Перми вместе с невесткой в Курган, на встречу с Илизаровым. А меня народ одолел, а одному, без бабы, управляться с гостями очень трудно, и я зашился. Ладно, хоть с продуктами мне тут помогают все сочувствующие и кое-что по дому и двору делают тётки, а то хоть в лес беги. Числа 16-го из Пскова прилетает Валя Курбатов (тот, что предисловие писал мне) и, наверное, Николай Николаевич Яновский из Новосибирска, а там уже и самому надо собираться на съезд.

После съезда, по плану, надо заехать в Вологду, взять Марию Семёновну и Витьку, да и двинуть сюда. Витя всё кашляет, бронхи простужены, так прокалить его надо на свирепом сибирском солнце. В начале августа я хочу съездить на рыбнадзоровском катере порыбачить, посмотреть и отдохнуть.

Все мои рабочие планы не исполнились, со скрипом прошёлся по «Зрячему посоху», добавил сотню страниц, и они довершили написанное. В таком виде можно дома оставлять рукопись и не утруждать редакции, не возьмут. Если Викулов не взял и предыдущий вариант, то об этом и заикаться не стоит. Теперь дело за перепечаткой, а секретарша моя с внуком водится. В августе надо сдавать новую книгу «затесей» в местное издательство и осенью начать роман. Ноги, что ли, от шага отставать начали? Раньше всё успевал, а нынче вот на рыбалке не был уже три года! Год доживаю на береге Енисея и ни разу удочку не закинул в его студеные воды. Позор! Я бы таких людей в пустыню выселил, а вместо них селил на красивые и рыбацкие берега тех, кто не является позором природы, не унижает своим толстым брюхом и поведением клокочущую весенней страстью землю-мать.

Вот, Вася, как видишь, не до портрета мне пока. Жив буду, ещё сыщем время, а сейчас начинаю строить гараж, ибо купил «Волгу» и надо ей стойло, литература и друзья должны подождать, гараж на данном этапе развития социализма важнее

их. Зато потом, когда приедете, глядишь, на живую природу съездим и живую рыбу половим, а мне вот снится всё мёртвая, и это к худу.

Обнимаю тебя. Твой Виктор Петрович

22 июня 1981 г.

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Фотографии очень хорошие, а письмо весьма субъективно, и в нём есть что-то раздражающее, так и хочется сказать дерзость в ответ: «Вам, евангелистам, хорошо! Помолитесь и дальше живёте в смирении, а тут вот писать за каким-то чёртом надо, бороться с чем-то и зачем-то, хотя и знаешь, что бесполезно это!» Но «мысль изреченная есть...», и потому не стану я её изрекать, да ещё в письме. Ничего пока, слава богу, писать не хочется, даже писем.

М. С. приехала. Хлопочет. Я перешёл в избушку и пишу тут, гараж всё строится. С М. С. съездили за ягодами, за клубникой. Далеко. Обкатали машину, набрали ягод, аж две корзины! Насмотрелся на богатые когда-то края, где, куда ни плюнь — полтора метра чернозёма лежит, а в магазинах нет ни сахару, ни крупы — ничего нет, и воду развозят в бочках, ибо из реки пить её нельзя. Утром, как в войну, люди стоят в очередь за хлебом, полусырым, разваливающимся. Если утром не купят — всё, а прежде здесь не знали, куда его девать, хлеб-то. По улицам шляются бичи, задирают народ, юнцы на ходу заголяют юбки девкам, мимо надменно проходит чёрная «Волга» с нолями, в ней сидит местная власть, ничего не видя позорного в своём и окружающем существовании, на полях мельтешит какой-то полупьяный народишко, хохочет, задирая друг дружку и спрашивая, не привезли ль бормотуху.

Статью твою прочёл. Отдай ты её в журнал. Отчитайся. Не мучай себя и мою фамиль. Она уже и без того замызгана и замучена.

Дома, в Вологде, Витеньке вытаскивали серную пробку из уха и занесли отит — заразу, мальчик кричит криком. Ирина тоже заболела, какой-то остеохондроз грудной клетки. Не будь на свете дедушки с его корявым почерком, Давно бы уж с голоду померли. Андрей с Таней не ужились со старым большевиком, он как настоящий несгибаемый коммунист решил ближе к семидесяти жениться, и ему в 3-комнатной квартире стало тесно с детьми, как было тесно и с женой, которую он довёл до смерти своей передовой моралью, за кою он получает в обкомовском магазине пайку.

Маня плохо спит, переживает, а я работать не могу.

Поклон твоим домочадцам. Бердяева сегодня прочту. В. Астафьев

3 августа 1981 г.

(С.А.Баруздину)

Дорогой Сергей Алексеевич!

Получил Ваше письмо с приятными вестями (не худо бы сборник и мне послать, а то ведь я тоже в Азии, и тут мне его не достать, не говоря уже о том, чтобы купить). Сегодня Вам отправляю четыре тома собрания сочинений. Четвёртый том только что меня достиг. Обратно Азия!

В Нурек отправлю позднее, ибо сейчас лежу вот. Приболел не вовремя. Лето под уклон идёт, поездить бы надо, порыбалить, поглазеть, а я...

Но надеюсь на бога и на погоду сибирскую, которая головы не признаёт, ходили бы ноги (а у меня болит голова).

Что касается Розиных поползновений, то пусть она мне объяснит, чего ей надо, и, если можно, пусть отложит до осени или зимы контакт наш, ибо тут подзаездили меня со всякого рода беседами. Пора о работе подумать, а всё недосуг. Я ведь ещё и не устроился здесь до конца. Вот два месяца гараж строят и никак к финишу не придут. Своего рода БАМ на Овсянке, который бамкает в ушах и голове. И как это при отсталом, прогнившем, никуда не годном Николашке с лопатой и кайлом построили дорогу Москва — Владивосток?! И главное, без шума! А мы кол вобьём и пляшем вокруг него, пока ночью его воры не срубят.

Отдыхайте! Здоровы будьте! Ваш Виктор Петрович

Сергей Алексеевич! А я сейчас заглянул в свой талмуд, а вы там в списке на собр. сочинений. Или я не отправил Вам первый том с квитанцией? Или Вы имеете замысел поставить на полку аж два четырёхтомника моих?

Ну, поглядите хорошенько! Если у Вас окажется два экземпляра, никому не отдавайте без моей команды.

23 августа 1981 г.

В секретариат! Московской писательской организации.

Дорогие товарищи!

Ко мне обратилась вдова моего покойного друга, замечательного, но, к сожалению, мало известного писателя Константина Воробьева с просьбой помочь ей и семье её с жильём — шесть человек, среди них больная, уже неспособная двигаться мать вдовы, живут на 43 метрах. Формально вроде бы всё в порядке: необходимый метраж — норма его соблюдена. Но здесь

же хранится архив покойного писателя, его библиотека и рабочее место, хотя и скромное, а всё же почтенное.

Сейчас вдова покойного писателя работает в ГДР, преподаёт русский язык и, чтоб хоть немного «улучшить» семейное жилище, осталась за границей ещё на год, а когда вернётся — ей, по существу, негде будет жить.

Я очень прошу вас, дорогие товарищи и друзья, помочь семье Воробьёвых, не формально, а по-человечески рассудить моё «послание» и найти возможность хоть как-то помочь Вере Викторовне отделиться от детей с больной матерью. Помогите, пожалуйста!

Не знаю, как вас, а меня не покидает чувство вины перед ушедшим рано фронтовиком, и вполовину не раскрывшим свои творческие возможности Константином Дмитриевичем Воробьёвым, которому и повоевать пришлось тяжело, и в литературу входить того тяжелее — жить в стороне от России и писать о России, и при всей взыскательности к своей работе, мучительном поиске своего слова и стиля, начать печататься широко только после смерти...

Впрочем, что я вам толкую, — писательские и человеческие судьбы неисповедимы. Но я пишу об этом для того, чтобы пробудить сердечность и к памяти писателя, и к его вдове, которая разделила с мужем и партизанскую долю, и послевоенное лихо, и болезни, и потери, и нелёгкий писательский быт, и характер покойного вынесла. Словом, она заслужила право жить нормальной человеческой жизнью хотя бы на старости лет.

Всем желаю здоровья и успешных дел. В. Астафьев

29 августа 1981 г.

(В.В.Воробьевой)

Дорогая Вера!

Мне приходится писать Вам уже в ГДР. Дело в том, что я уже более года как переехал из Вологды на родину, в Сибирь, и письмо Ваше шло долго. Одновременно с этим письмом я написал обращение в Московский секретариат и Лазарю Карелину. Постараемся воззвать к их человечности, и, думаю, что они не формально отнесутся к моей просьбе — в секретариате Московской писательской организации у меня много доброжелательных товарищей и всего несколько недругов.

Очень я рад, что Вы на хорошей работе, и с этой стороны всё у Вас ладится, надеюсь, и с жильём со временем образуется.

Если буду в декабре в столице, непременно Вам позвоню и узнаю, что у Вас и как. Я немного не застал Вас в Москве — 1

сентября мы с Марьей Семеновной летим во Франкфурт на международную книжную ярмарку, затем на Север, с выездным секретариатом, и в Вологду — навестить детей.

В Сибири всё ещё устраиваюсь, но и помаленьку начинаю работать. Осенью надеюсь начать свой роман. О войне. Годы летят, а всё кажется, что главная книга всё ещё не написана, что она впереди. Много времени уходит в никуда, впустую, заедает суета.

Желаю Вам здоровья и разрешения ваших серьёзных проблем и вопросов. Ваш В. Астафьев

4 октября 1981 г.

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Мы с Марьей Семёновной поездили. С группой, возглавляемой Сергеем Павловичем Залыгиным, ездили в Петрозаводск, Мурманск поднимать литературу до неслыханных высот, а главным образом пообщаться меж собой и с хорошими людьми. Был Валя Распутин, два Вити — Лихоносов и Потанин. Белов был, Личутин, Володя Гусев и ещё много кого и чего.

После литературных дел из Мурманска полетели в Вологду, повидались с ребятами и внучатами. Они, в общем-то, ничего, хотя до полного благополучия и далеко. Андрейка сошёл с квартиры тестя. Он, тесть, старый большевик, а потому бесстыдник, эгоист и демагог, остаётся один в трёхкомнатной квартире, а целая семья живёт временно, как на вокзале, в чужом углу, и уже заболел мальчик. Мы приехали, а Таня (невестка) с внуком в больнице, и её родимый папа ни разу к ним не наведался. Расстроюсь, говорит, только, для здоровья вредно. Ирина и Витя в порядке. Марья Семёновна помаленьку оклемалась, но, конечно, не до конца, старые хвори дают себя знать — болит нога, грозятся операцией, а какая ей ещё операция при её годах и изношенном в лоскутья сердце?

Я собрал, доделал и сдал в местное издательство книгу «Затесей» *[вышла в Красноярском книжном издательстве в 1982 г. — Сост.]*. Сто с лишним штук разбил на шесть тетрадей. Книга получилась дерзкая, так что не знаю, что с ней будет. Приближаюсь к концу и со «Зрячим посохом», но работаю всё ещё; урывками и потому за роман не берусь.

Был на книжной ярмарке, но не столько на ней, сколько смотрел и слушал. На ярмарке всего много, а у меня суставы ног сильно заболели, видимо, отложения солей, и ходить я более версты не могу, вот и смотрел на «Мосфильме» «Звездопад», «Агонию», «Прощание с Матёрой». Картины одна лучше другой,

но какова будет их экранная судьба — неведомо. Последняя вообще, наверное, ляжет на полку, а картина-то составила бы честь не только нашему, но и мировому киноискусству в лучших его качествах.

Побывал в гостях у Михаила Александровича Ульянова, хорошо покалякали. Был в театре на Малой Бронной. В общем, повидался со всеми почти, с кем хотелось повидаться. Теперь бы и работать, но задурела погода. Прямо вологодская слякоть за мной повсюду тащится. Вот сегодня минус девять, а днями обещают тепло и всё развезёт, да и в Австрию меня хотят сослать с делегацией, и какая уж тут работа, когда Моцарт и Штраус в голове музицируют лично для меня. Это в ноябре, а до ноября поделаю кое-что, хоть доделаю, глядишь. В Голландии вышла «Царь-рыба», и ещё она во многих местах выйдет. А в Голландии, поскольку они на воде живут и любят камбалу, так книга моя про рыбу, говорят, бестселлером стала. Но всё это дела посторонние, пора бы за роман вплотную приниматься, а то уж становится неловко даром хлеб есть. Да и скоро шестьдесят — тоже возраст ничего, можно и не успеть главную работу сделать.

В Овсянке, как приехал, ещё не был — гололёд страшенный, ездить страшно, сегодня явится сестра, скажет, чего там и как. Мы ведь умчались, даже огород не убравши.

Читал ли ты «Лето на водах» Титова? Ты ведь много читаешь, но мог и пропустить. Это повесть о Лермонтове, изданная «Лениздатом». Давно я с таким наслаждением ничего не читал. Правда там большая и в нас прорастающая всеми корнями. Я так всегда и полагал, что трагедия Лермонтова гораздо проще и оттого страшнее, чем говорили нам в школе. Эта трагедия прежде всего русского человека и русского поэта, столь же гениального, сколь и бесшабашно-безалаберного.

Такая жалость и такая тоска, и боль, и светлая печаль, и сожаление о себе самом и ещё об ком-то...

Ну ладно, закругляюсь. Здоровы все будьте. Тёплой зимы и хоть немного деньжонок. Завтра я поеду в издательство, попробую шепнуть намёк насчёт твоего авансу. Обнимаю. Виктор Петрович

21 ноября 1981

(адресат не установлен)

Уважаёмый Владимир Исакович!

Инсценировка очень плоха *[инсценировка повести «Кража». — Сост.]*. Есть такое презираемое и осмеянное нашими юмористами понятие: «специфика сцены». Но сколько её ни осмеивай, она есть и заставляет с собою считаться. Я посмотрел текст и понял, что

человек, писавший инсценировку, совсем не знает театра и его сцены.

Вы что ж, все три действия будете крутить круг, орудовать светом, строить и перестраивать, чтоб показать деяние то и дело меняющихся мест действия? Или прибегнете к так называемой условности? Но условность на провинциальной сцене даже в очень хороших руках, умелых и ловких, даже в хорошем исполнении почти всегда выглядит карикатурно, пошло, смотреть лихое областное действо, излаженное под «столицу», — неловко, досадно.

И ещё: что Вы будете делать с длиннющими монологами? Сейчас даже в столице нет актёров, может быть, кроме Ульянова и Папанова (но они не придут к Вам играть!), которые могли б более-менее, хоть на мало-мальски профессиональном уровне произнести монолог. Я работал в московском театре — ставили мою пьесу, и не одну, и говорю Вам, вполне основываясь на фактах.

Мой Вам, инсценировщик, совет: не гоняться за всем содержанием повести (необъятное не объять), оставить основную линию, сконцентрировать действие в детдоме, быть может, одну-две сцены оставить (в комнате Ступинского, в милиции — и всё), разумеется, при переносе прозы на сцену надо её по существу переписывать, привносить что-то из области драматургии. Я на этом не настаиваю, а то такого понапишут!..

Читали ль вы мою пьесу «Прости меня»? За основу её и в основу её взята повесть «Звездопад». Что там от повести осталось? Инсценировка нуждается не только в переосмыслении произведения, но и обогащении прежде всего драматическим действием, единством материала, сжатого, спрессованного, собранного в кулак.

Все мысли автора «Кражи», его внутренние монологи, переданные персонажам, надо вернуть автору, сделать «голос за сценой» или выпустить его на сцену иль того, кто будет читать, то есть мыслить за него. Получается это тоже почти всегда неудачно, плохо, но всё же лучше, чем когда выходит артист с уровнем районной самодеятельности и начинает бубнить чего-то неразборчивое 10—12 минут — и в зале не только зрители, но и мухи мрут!..

Где Вы видели спектакль в трёх действиях? Когда? С двух-то действий публика уходит, соскучившись по телевизору и домашнему уюту. А тут — три!

Мы в Красноярске сделали инсценировку по «Не убий» (это мой сценарий, по нему был сделан фильм — «Дважды рождённый») совсем без перерыва, в одном действии. Это публика

ещё выдерживает.

Вы пишете, что озабочены — как сохранить повесть? Нет повести. Как бы Вы ни изощрялись при переносе на сцену — в другой ряд и род искусства — не сохранить её, и с этим приходится мириться. Но нужно и можно сохранить главное — дух её, увеличить «ударную силу» её, ускорить ход, обострить действие за счёт снимаемости текста, убирания небольших сцен и даже линий, особенно сиен проходных, действующих лиц «разового пользования». Максимум действующих лиц, минимум сцен, минимум суеты и хаоса. Я видел инсценировку в Красноярском ТЮЗе. Сцена была одна, но «двухэтажная» и высвечивала то один этаж — низкий, детдом, то второй — комната Репнина, Ступинского, кухня, милиция.

Пьеса очень длинна. Её надо решительно сокращать и ещё много-много работать над инсценировкой.

Я недавно принимал у себя режиссёра Малого театра. Он сам написал и ставит «Царь-рыбу», разумеется, сохраняя дух, стиль и содержание повести — по законам жанра и сцены, много привнёс и своего, сократив повесть до 65 страниц машинописного текста, да и этого многовато. Если это «своё» сделано талантливо, серьёзно и творчески, я, хоть и скрепя сердце, иногда подписываю инсценировки, но Вашу не подпишу. Рано! Поработайте ещё и поработайте творчески, с учётом Ваших возможностей, возможностей Вашего коллектива и законов сцены. Успехов — Виктор Астафьев

25 декабря 1981 г.

(Г.В.Свиридову)

Дорогой Георгий Васильевич!

Я уж и не знаю, как и чем отблагодарить Вас за столь драгоценный подарок?! Если слово «спасибо», происходящее от «спаси Бог», хоть в малой степени передаст мои чувства радости, удивления и восхищения, я говорю Вам его многократно и земно кланяюсь Вам за Ваш прекрасный труд, за то, что Вы вспомнили обо мне, живущем за тридевять земель от столицы...

Разумеется, я многажды слышал и слушал Ваши произведения, есть у меня и пластинки, но вразброс, купленные по случаю. А Вы мне — такие записи, в таком количестве подарили! Да хранит Вас Господь!

Я, конечно же, с радостью отдарю, чем смогу, привезу Вам, как буду в Москве, свой четырёхтомник, посылать по почте сделалось ненадёжно — воруют. Семь бандеролей с четвёртым томом, посланных в Ленинград, — потерялись разом, вот до чего

дожили и докатились! Даже такое место, как почта, подверглось разбою. Ничего ни святого, ни надёжного не остаётся.

Я, Георгий Васильевич, не гурман, а всего лишь слушатель благодарный, многое в «сложной» музыке не «волоку», как нынче говорят, но чем-то и чего-то чувствую.

Когда я впервые слушал капеллу Юрлова (слава ему во веки веков за его подвижническую жизнь, за его нравственность и духовный подвиг!) — это было двадцать уж с лишним лет назад, в Латвии, на Декаде русской культуры, в Домском соборе, — то понял тогда, что перед этой музыкой, перед таким великим искусством все равны и все виноваты в том свинстве, какое люди развернули на земле среди людей. А в зале были и члены Президиума ЦК, артисты, певцы и всякий люд. Многие плакали, плакали про себя, покаянно, а мне так хотелось всех обнять и рассказать им что-нибудь, утешить и тоже покаяться.

Потом мне удалось достать пластинки с церковными хоралами (первый выпуск), потом они стали продаваться свободно, в классическом отделе магазина «Грампластинки», но в классическом отделе не было покупателей, никто их не рвал из рук, а напротив в отделе орали Алла Пугачёва, Ротару, Хиль и иже с ними.

Недавно на выступлении разговор зашёл о том, какой стала Россия. Из зала слушатель-весельчак прислал мне записку: «Россия впрямь другою стала, был Емельян, теперь вот Алла». Было б совсем грустно, если б уж все ушли в пугачёвщину». Слава богу, работаете Вы и ещё несколько крупных русских композиторов и не даёте нам совсем одичать и подчиниться дикому и чужому ритму века.

А в моей родной деревне осталась ещё родня, и иногда мы вес поём, и осколки семей наших деревенских тоже ещё поют, иногда протяжно, вольно, со слезою. Вот эти часы я очень люблю, всегда они меня трогают и не дают вовсе упасть духом. Но все родичи уже старые, и, как «упадёт» один из хора — образуется дыра, и никто её уже не затыкает, ибо не знают нынешние парни и девки наших старых песен, стыдятся их, зато вихляться задами по-бабьи не стыдно. Ну что ж, наверное, самая отрадная и закономерная поговорка: «Другие времена, другие песни», не хочется с этим соглашаться, не хочется слышать какие-то завыванья на нерусский лад и вывёртывать горло не по-нашему тоже больно и неловко. Да что я об этом толкую! Вы-то всё это знаете и переживаете куда как больнее всех нас.

Силы Вам, и крепости духа, и новых песен, сочинений, романсов — в новом году. Поклон Вашим близким от меня и моей супруги, Марьи Семёновны, — это она печатает на машинке

моё письмо, ибо почерк мой, кроме неё, никто не разбирает. Ещё раз кланяюсь и благодарю! Ваш Виктор Астафьев

1982 год

3 января 1982 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Я — дома. Работаю. Много. Не помню, послал тебе поздравление с Новым годом или нет? Если нет, то год ещё только начался и не поздно пожелать добра и здоровья.

Осень у нас началась быстро — с 1 октября. И зима ранняя, но хорошая была, лёгкий морозец и солнце. Я чувствовал себя очень хорошо, бодро, и меня потянуло работать. Мария Семёновна ездила в Москву и Вологду, а я в это время нагвоздил черновик новой повести. Черновик сумбурный, наверное, плохой, но работалось с большой охотой, хотя, как нарочно, мне тут мешали разные народы.

Сейчас М. С. печатает черновик, а я правлю сценарий по рассказу «Тревожный сон». Будут снимать по заказу ЦТ. Весной начнут *[в прокате фильм назывался «Ненаглядный мой». — Сост.]*. А я не отказался. Платят они так, что теперь могу спокойно новую книжку писать. Ты вон сколько корячишься с Пришвиным и теперь, поди, знаешь, каково их писать-то. Критиковать трохи легче.

Всё я хвастался всем своим здоровьем. Хвалился, хвалился и в праздник горлом заболел. Состояние сделалось подавленное, а было как у петуха весеннего.

Читаю «Осень патриарха». С трудом достал. Читаю и убеждаюсь, что вся наша литература, вместе взятая, дряхлая, менторская и сладкожопая по сравнению с книгой Маркеса. В «Патриархе» он добрался-таки до чудовищного нашего творения, способного погубить весь мир. И в его генерале узнаются все деспоты мира, и наши тоже, все подлецы и трусы, и шкурники, значит, и мы — тоже. Беззубо шамкаем мы голыми дёснами что-то про природу и человека, часто умненько, ласково, когда кругом такая «блядская жизнь», как сказал великий Маркес. Великий Гоголь нашего времени, так бы я его назвал, и из всей нашей бумажной продукции поставил бы в ряду с ним только «Тихий Дон», «Тёркина» да последний роман Айтматова.

В апреле меня здесь не будет. Поеду в Новосибирск, на Урал, в Москву. Приезжай в мае. Мы уже переберемся в Овсянку. Вот пока и всё. Красноярцы (в издательстве) ждут от тебя вестей.

Обнимаю! Поклон твоим домочадцам от меня и Марьи Семёновны. Твой Виктор Петров сын

6 февраля 1982 г.

(Ф.Р.Штильмарку)

Дорогой Феликс! Это хорошо, что летом ты поедешь в низовья Енисея. У меня в устье Подкаменной Тунгуски живёт преданнейший школьный друг Вася Баяндин (работает в экспедиции) и стоном стонет, зовёт к себе. Я, наверное, соберусь летом. Однако когда поедешь не минуй меня, здесь, в Овсянке ли, найди. Надо кое о чём потолковать, и жена моя на Столбах не была. Хорошо бы снова рано утром, до нашествия орды, побывать там, среди дивной и удивительной тайги. Я ведь теперь тоскую по Столбам и по ручью тому светлому, из которого пили. Они-то, лес и камни, не виноваты, что мы такие мудаки, и две дамочки не поделили «любви к природе» меж собою *[здесь подразумевается конфликт двух сотрудниц заповедника. — Сост.]*. Они, леса, умнее нас и величавей, если дерево падает и срывает с другого дерева кору, обламывает ветви, отряхивает хвою, оно, дерево, лишь простонет, согнётся и начинает восстанавливаться. Нам бы такое мудрое терпение на работе, не навязанное, а естественное, от жизни идущее...

Феликс! Я ведь посылал вам «Посох памяти» — изданную книгу в «Современнике», в библиотеке «О времени и о себе», послал в ответ на «Тайгу» Неужели пропала?! Осенью в Ленинграде пропало разом семь бандеролей с четвёртым томом собрания сочинений. Бандитизм! Неуязвимый!

А может, ты имеешь в виду книжку «Древнее, вечное», изданную «Советской Россией» в библиотеке «Писатель и время»? Это маленький такой сборничек. В любом случае напиши, и я уж отправлю тогда ценной бандеролью Что делать? Обезоруженный стоишь, а тебе карманы выворачивают и ещё лыбятся при этом!

Жду весны! Летал в Австрию. На обратном пути, уже в Красноярске, простудился и вот только что принимаюсь работать.

В декабре начерно написал новую небольшую повесть. Обнимаю. Виктор Петрович

15 февраля 1982 г.

(В.Юровских)

Дорогой Васенька!

Поздравляю тебя и твою семью с новосельем! Пусть вам хорошо живётся и работается в хорошем жилье. Современные умники и древние мудрецы утверждают, что жизнь человека делится На две половины — до получения квартиры и после

получения таковой...

Это вот я чё думаю — ходишь, ходишь с удочкой и всё мечтаешь поймать самую большую рыбу, и вот возьми да и поймай! А дале чё? Бросишь рыбачить, да?!

Я вот в январе был в Австрии и посмотрел на сытый, даже пресыщенный всем народишко: харчами, удовольствиями, политикой, зрелищами. И какой не интересный, ничего путнего не создающий, ничего волнительного не желающий народишко получился, как сказал наш один умный парень, работающий в Австрии: «Румяные импотенты». И правда, импотенты не только по той части, но и духовные.

Все ценное, что у них есть, и всё не ихнее, всё из прошлого или куплено за деньги за морем — вот тебе и противоречие, да ещё какое!

Может, наши мудрые руководители правильно делают, что держат народ впроголодь? Во всём: в харчах, в правде, в жилье, в нравственности, в удовольствиях. Ведь накорми-ка наших до отвала, оне же спать улягутся, да ещё и с чужими бабами.

Ждём весны, Вася. Зима очень длинная — началась 1 октября. Надоело! А клубники и здесь полно. Мы в прошлом годе с Марьей Семёновной натаскали аж две корзины, до се варенье хлебаем. Сейчас Марья Семёновна укатила в Вологду, некому с младшим внуком водиться. А я пробую работать, да не очень-то дают. Летом, Вася, готовься приехать к нам, вместе с художником, надо вам здесь побывать. Срок я потом назначу, ибо много собираюсь ездить. Надо Родину познавать.

Обнимаю, Виктор

14 марта 1982 г.

(В.Юровских)

Дорогой Вася!

Писания твои очень далеки от литературы, говорить тут совершенно не о чем, разве что о слабой культуре читателя. Писать — это от бога и ещё от многих и многих причин зависит, а читать? Уж где-где как не в глуши начинаешь читать много, разборчиво, в усладу сердца, заменяя чтением и театры, и выставки, наполняя душу соками культуры. Нет, сплошь и рядом культура чтения у нас унылая, нищая, а отсюда и сама культура, духовное состояние человека примитивны.

Ну вот, неужели ты до сих пор не читал «Прощание с Матёрой» Валентина Распутина, изданную миллионным тиражом, переведённую во всём мире? А если читал, как решился писать (неразборчиво). Ведь он у Распутина написан и как написан! Там дерево — символ, дерево, которое крепит корнями родной остров

ко всей земле, дерево-якорь и символ всей жизни, а у тебя — трухлявое дерево, которое мешает расти другому лесу и траве. И всего-то?

Материалом владеешь хорошим. Что можно было бы сделать из похода по тундре к рыбным озёрам двух человеков? Захватывающую новеллу можно было бы сделать, а получилось унылое повествование о том, как два мудака погибают, потому что рот открыли и не умеют себя охранить от напастей.

Я ведь говорил тебе — на кой хер они те сдались, эти партийные? Почитал бы лучше что-нибудь путное в это время, вон их, книг-то, сколько мудрых, так нет, будешь ведь писать про революционную эпоху, про классовое расслоение и мудрую политику местного руководства во главе с Ван Ванычем Мудаковым. И никому это не нужно и неинтересно кроме самого дряхлого Ван Ваныча.

Сердись не сердись — сам напросился на чтение рукописи. Виктор

28 марта 1982 г.

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Я кое-как добрался снова до повести, делаю второй заход. С декабря не мог приняться за неё, чувствую, остывает, и, бросив всё и вся, эгоистично посвятил себя своей работе. Не скажу, что повесть ладится, плохо с композицией, не получаются бабы, а если они не получаются, остальное мало имеет значения — они главнее всех и всего. Это я ещё раз осознал. Хотел написать рассказ, а вывезло на повесть, сперва на маленькую, теперь на среднюю. Все рыхло, длинно, местами маловыразительно — нельзя профессионалу так долго бездельничать или заниматься полуделом, копыта отрастают, как у стоялого коня, надо их обрезать и заново коваться, а кому охота в станок лезть? Вот потому и не пишу никому, всё ж перерывы в работе, сплошь и рядом, то приболею, то мероприятия разные. Вот на три дня летал в Новосибирск на юбилей «Сибирских огней» и три дня долой, а числа 7-10 апреля собираемся на недельку в Москву и потом на всё лето в деревню, где и ждём тебя в начале июня, но не позднее, лучше даже в конце мая, ибо я ныне собираюсь поездить по краю и дома буду мало.

Мария Семёновна слетала в Вологду, болели внуки — и тот, и другой, выручала детей. Кто их потом будет выручать? И думать об этом тяжеловато, а уже часто думается.

Ну, вот коротенько всё. «Затеси» книгой ушли в набор. Что с ними будет, одному всевышнему ведомо.

Поклон домашним от меня и М. С. Я обнимаю тебя. Виктор Петрович

17 июня 1982 г.

(В. Кондратьеву)

Дорогой Вячеслав! Ну вот, в кои-то веки читал, не торопясь, хорошую книгу. Наконец читал твоего «Сашку», или, точнее сказать, «Ржевский роман». Очень хорошую, честную и горькую книгу собрал. Она читается и воспринимается как роман, и что в ней лучше, что хуже, я судить не берусь — книга едина, критики пусть ищут, что критиковать, это их работа.

А я, читая книгу, ещё раз убедился, как бездарно и бесчеловечно мы воевали на пределе всего — сил, совести, и вышла наша победа нам боком через много лет. Бездарные полководцы, разучившиеся ценить самую жизнь, сорили солдатами и досорились! Россия опустела, огромная страна взялась бурьяном, и в этом бурьяне догнивают изувеченные, надсаженные войной мужики. Зато уж наши «маршалы», как они себя называют, напротив, красуются на божнице, куда сами себя водрузили. Тут один курносый, безбородый и беспородный «маршал», видно, из батраков, да так на уровне деревенского неграмотного батрака и оставшийся. Белобородов или кто-то ему подобный, договорился по телевизору: «Герои наши солдаты, герои, переходили Истру по пояс в ледяной воде, проваливались в полыньи, тонули, а всё-таки взяли город. Первая наша победа!» И ему хлопают, а его бы в рыло хлобыстнуть и сказать: «Ты, тупица набитая, хвалишься своим позором! Немцы под Москвой!

Кругом леса, избы, телеграфные столбы, марево кругом, солома и много чего, а у тебя солдаты Истру переходят по пояс в ледяной воде...»

Да ведь не поймёт, ибо такому нравилось гнать солдат вброд, что и на Днепре переправлялись на сподручных средствах, сотни людей утонули. Хоть один сука-командующий попробовал бы под огнём плыть на этих «сподручных средствах».

Я только теперь и понял, что сами эти разрядившиеся и с помощью генералиссимуса разжиревшие враги нашему народу и своему отечеству самые страшные ещё потому, что, сытые и тупые от самодовольства, ничего не знают и знать не хотят о своём народе, и обжирали и обжирают его со всех сторон.

Самое страшное ещё в том, что они породили себе подобных тупиц и карьеристов, «ржевская битва» всегда может повториться, только формы и размеры её сейчас будут катастрофически огромными.

Словом, сунул ты им в рыло книгу, кирпич необожжённый, да

ведь отвернутся, они уже и классиков не читают, они уж вон «прощай, дорогой товарищ» на могиле своих «друзей» по бумаге говорят.

Но главное — книга есть, ты поддержал вовремя с болью отвоёванное направление в нашей литературе, а его охота задушить, охота дожить... маршалам и генералам, красиво дожить, чтоб никто не беспокоил, чтоб никакой больше заботы — после них хоть потоп!

Я понимаю, сколько внутренней боли и страдания пережил ты, раскапывая в своей памяти эти горькие страницы, написанные, кстати, уверенной рукой, очень просто, жёстко, как только и надо писать о войне. Романтик из тебя никакой. Там, где ты пытаешься подпустить романтики с помощью женщин, сразу сбои начинаются, рвётся дыхание, заплетаются ноги, как у тех солдат, что шли по ржевскому шоссе, звеня пустыми котелками, и с ходу в бой, на мясо...

……*Окончание письма утрачено*

1982 г.

(Старым добрым знакомым из г.Игарки)

Дорогие Таня! Анна Тимофеевна! Незабвенная и дорогая тётя Уля!

Кланяюсь вам и всем вашим близким и благодарю за письмо, которое так долго искало меня и нашло! Я несказанно рад ему. Рад, что все вы живы-здоровы, и прежде всего рад тому, что тётя Уля держится на этой земле! Она была очень добра и справедлива к нам к сиротам, и бог дал ей за это долгие годы, хороших детей и внуков.

Как он выглядит, наш бог, я не видел и не знаю, но верю, что название ему — справедливость, честность и совесть. Все, кто сейчас воруют, злодействуют и тянут кусок у ближнего, особенно у сирот, всё равно будут наказаны: плохими, неблагодарными детьми, огнём, тюрьмой, болезнями, а добрые люди и в бедности своей, и в печали будут жить, и жить спокойно, встречать солнце и свет дня с радостью и надеждой, и каждый прожитый ими день будет и им, и людям наградой за сердечность и ласку к другим людям, особенно к детям.

Ведь прошли какие годы, и мне уже 58 лет, а мы помним тетю Улю как родную, и любим её той любовью, какую она нам привила и передала от себя, от своего доброго и светлого сердца.

Да продлит Господь дни её!

Нынче, совсем уж скоро, я полечу на Нижнюю Тунтуску, к Васе Баяндину (он работает в экспедиции механиком), и расскажу ему, что жива наша тётя Уля *[здесь и далее в письме имена тех, с*

кем Виктор Петрович жил в игарском доме-интернате в предвоенные годы. — Сост.]. Живут Коля Березин с Ирой Сюркаевой, вырастили дочку, и сам Серёжа Сюркаев живёт там же. В Красноярске живёт Вера Белова (ныне Торгашина), а брат её, Валентин, умер от рака ещё молодым. В Эвенкии, в Туре, живёт Галя Усова, она замужем за тамошним начальником, учительствовала, вырастила трёх дочерей и ныне уже на пенсии. Многие наши ребята погибли на фронте, и вечная им намять наша.

Я тоже был на фронте, трижды ранен, после войны долго жил на Урале, в городе Чусовом Пермской области. Жена у меня уралка, зовут её Марией Семёновной. Мы вырастили двоих детей — дочь Ирину и сына Андрея. Первую дочку, маленькую, похоронили — очень трудно жили после войны и не смогли её — крошечку — сохранить. У нас уже двое внуков от дочери и от сына, оба парня бравые, старшего зовут Витей, младшего Женей. И дети, и внуки остались жить в Вологде, где мы прожили последние десять лет. А мы вот вернулись на мою родину к старости лет, получили квартиру и в родной деревне Овсянке купили домик. Отсюда, из деревни, где я часто и подолгу летом бываю, сижу, работаю, копаюсь в земле, рву траву, ухаживаю за овощью и цветами, я и пишу.

Жена моя — тоже писатель, помогает мне и хозяюет по дому. Всё, в общем-то, нормально. Иногда похварываем, но от этого уж никуда не денешься — годы берут своё, да и жизнь позади нелёгкая.

После войны я был рабочим, затем журналистом. Литературным делом начал заниматься в 1951 году. Тётя Уля, наверное, помнит, что я уже в детдоме много читал, любил и присочинить, и попеть, и пошкодничать. Книги меня всегда спасали от бед, пьянства и привели к литературе. Вышло у меня уже более 150 книг у нас в стране и за границей. Издавалось собрание сочинений в четырёх томах, выхолили фильмы по моим произведениям, идут в театре мои пьесы. В 1978 и в 1980 годах мне присудили Государственные премии РСФСР и СССР. Получал много и годовых премий, имею хороших читателей, друзей. Всё это я пишу не для хвастовства, а чтобы тётя Уля знала, что и ее работа, и работа всех добрых людей, воспитателей, учителей не пропала даром, их терпение и доброта помогали и помогают мне терпеливо относиться к людям, к их слабостям, и помогать людям, и за добро платить добром. Посылаю вам новую книгу, там есть и про Игарку. Я был на 50-летии Игарки, встречали меня очень хорошо.

Всех вас обнимаю! Всем желаю добра-здоровья. Низко

кланяюсь. Ваш Виктор Петрович

21 июня 1982 г.
(Р.А.Балакшину)
Дорогой Роберт!

И всё-таки я согласен со Стасиком Панкратовым — рукопись твоя пока конспект, к роману ли иль к чему ещё.

Сложность вся состоит в том, что ты, кажется, первый коснулся темы пленных в этой отечественной войне, теме очень важной и своевременной. Кое-кому и у нас, и в Германии снова хочется сабелькой помахать.

И, конечно же, с бухты-барахты эту тему не поднять. Нужно вчитываться, вгрызаться в неё. Найти тех, кто «работал» с немцами в лагерях, леспромхозах и на стройках, найти, пока ещё не совсем поздно; нужно бы и немцев, зимогоривших в наших лагерях, повидать, и т. д., и т. п. Не знаю почему не вошёл тот рассказ о побеге в эту рукопись? Он изобразительно сильнее, чем всё здесь рассказанное и пересказанное: весь приезд делегации, поход за водкой в рукописи выглядят надуманно, словно человек с луны свалился, ничего не видал, не слышал, не знает. В том-то и сложность человеческих отношений, что после драки, смертоубийства, успокоившись и прибрав на себе вспушенные перья, они ко всему этому относятся с печальным спокойствием и внутренней боязнью, чтоб с детьми того же не стало. Я немного говорил, встречался с немецкими вояками, и никакой у меня рефлексии не было, не хотелось мне немцу горло перегрызать, хотя, конечно, внутри неприязнь осталась, и немцы это прекрасно чувствуют.

Да, конечно, если продолжать работу, она и называться должна «Искупление», но если продолжать, надо всего себя посвящать ей, а то у тебя пока всё ещё литература как бы в прицепе к работе дворника и ко всем издательствам, которые так занимают тебя.

Я ещё раз повторяю: литература — баба очень суровая, она никаких других баб и дел не терпит, ей надо отдавать всё — жизнь, душу, жену, семью, иначе — самодеятельность.

Поклон Вологде — отсюда она кажется тихим добрым городком. Ваш Виктор Петрович

21 июня 1982 г.
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

От тебя ажник три (!!!) послания — из Емельяново, с книгой Ю.Кузнецова и с фотографиями. «За всё, за всё тебя благодарю»,

как поётся в хорошем романсе. Я уж не помню, как развивались события после твоего отъезда, но вроде бы стремительно. Мы с Марьей Семёновной взяли да и махнули на самолёте в посёлок Бор, к другу моего детства. Он — работяга. Из сохранившихся работяг — с совестью, с угловатостью, даже с умом. Вокруг него такие же, весь Север прошедшие мужики.

Он, Вася, специально к нашему приезду взял отпуск и на своей моторке покатал по хорошим местам. Мы даже переночевали на Осиновских порогах — и это уж на всю жизнь. Место неописуемой красоты и величия, рыба, пусть и мелкая, ловилась беспрестанно, даже Марья наловила штук до двадцати, а браконьерщики попотчевали нас и свежей дивной стерлядкой. Чтят они автора «Царь-рыбы» за правду-матку, за то, что «борется» он!.. Пробыли недолго.

А тем временем ещё раз остановили «Затеси» и был снят рассказ «Русский алмаз», чего и следовало ожидать. Среди ходатаев за нравственность литературы оказался Шней-Красиков: ходил в крайком, сука старая, и усиливал бдительность. Откуда он мог знать про книгу или что-то о ней? Источники всегда найдутся, а я и на тебя грешу маленько. По благодушию и интеллигентской беспечности мог ты в Малеевке «побеседовать» с ним и обо мне, и о моей книжке, а ему-то и дай. Как себе вес-то набивать и цену? Сволочь же на всю жизнь остаётся сволочью, да ещё ничтожное по уму и национальности существо. Ну, да хер с ним! Не стоит он разговора, а я уж нацелился расхерачить печатно его роман. Да как вспомнишь что читать то надо почти 500 страниц, печатной блевотины, так меня от критики и отворотило.

В книжке и без «Алмаза» остаётся достаточно, чтоб считаться ей серьёзной, а это не так мало в наше время. Насчёт баклановской прозы мысли твои полностью разделяю, а она ведь не худшая среди литературы существующей, нисколько не хуже той же бондаревской, считаю я.

Потянуло меня после той великолепной поездки заглянуть в рукопись романа. Заглянул. Просидел до двух ночи, увидел бездну ждущей меня работы, и появилось: может, бросить? Бросал же! И вот с этим настроением сейчас всячески борюсь, а бороться трудно, в голове масса приятственных рассказиков про рыбалку и про дорогих мне людей. Может, они более нуждаются быть запёчатлёнными, чем те, которых я лишь наметил в рукописи? Эти мной любимые люди и виды как живые передо мной, не надо ни выдумывать, ни надсажаться.

Поклон тебе от наших всех. Обнимаю. В. П.

P. S. Ах ти, ах ти, бес так вокруг и вертится! Так и тянет к

лёгкой жизни, к воровству, плутовству и духовным прегрешениям. А ты вон подвигов требуешь! И тоже духовных. Может, плюнуть на тебя и поддаться бесу?! Ах ти, ах ти, а тут лето, ягоды поспели, грыбы наросли, рыба клюёть... бабы ходють кругом, жопами вертють! Ведь зачем-то они имя вертють же?! Как ты думаешь, зачем?

3 июля 1982 г.

(В отдел культуры Красноярского крайкома партии)

Уважаемые товарищи Балашов и Мухопад!

Вот в каких городах Советского Союза идут мои пьесы и инсценировки: в Москве, Ленинграде, Петрозаводске, Вологде, Кирове, Архангельске, Туле, Брянске, Гродно, Уфе, Сыктывкаре, Курске, Ставрополе, Нижнем Тагиле, Челябинске... Какую-то часть театров я могу и не знать.

В Свердловском театре оперы и балета поставлена опера «Верность» — по повести «Пастух и пастушка», композиторы Кирилл Молчанов и Юрий Пьянкой (Москва): заканчивается работа над балетом «Звездопад».

Странно мне, конечно, не видеть в списке этом сибирских городов и, в частности, города Красноярска. Фильм, выпущенный центральной студией страны — «Мосфильмом», по существу, в городе не шёл (один премьерный показ в кинотеатре «Луч», а всё остальное — по глухим окраинам, кинотеатрам и клубам).

Быть может, отделы культуры и пропаганды крайкома как-то развеют моё недоумение, усугублённое ещё и тем, что город Вологда, в котором я прожил предыдущие 11 лет, своим авторам всегда предоставлял только центральные кинотеатры, обязательно превращал показ фильма или пьесы в праздник местной культуры; добивался дополнительного количества книг и даже тиражей местных авторов, выходивших в Москве и Ленинграде, всячески содействовал постановке и показу спектаклей и фильмов прежде всего зрителям своего города. Поставленная областным драмтеатром Вологды пьеса «Черёмуха» не сходит со сцены седьмой год (в городе 230 тысяч населения), пьесой «Прости меня» открывался в городе новый Театр юного зрителя. Спектакль удостоен Государственной премии РСФСР за 1981 год.

Я понимаю, что в борьбе за высокую культуру Сибири вам, быть может, и вздохнуть некогда, но местная культура, к которой я имею честь принадлежать уже третий год, смею надеяться, также составная часть сибирской культуры, и я в ней — не последний в стране представитель, а между тем со мною не изволили не только поговорить, но и познакомиться как следует.

А ведь я мог бы сообщить премного любопытного дополнительно к тому списку, который написал выше, и спросить мог бы кой о чём и высказать своё мнение по многим вопросам, касающимся не только культуры, и не только местной.

Должен вам заметить, что в Вологде первый секретарь обкома, пока был относительно здоров, хоть и занятой человек, многое о нас знал как о литераторах и о нашей творческой жизни, читал наши книги, случалось, и бранил литераторов, и помогал, чем мог. А секретарь по идеологии Виктор Алексеевич Грибанов (ныне председатель облисполкома) читал все наши книги, смотрел все спектакли и считал своей обязанностью два-три раза в году встречаться с местными писателями и не на ходу, не в коридоре, а у себя в кабинете, обязательно для этого выделял полдня.

А тут новый заведующий отделом культуры, т. Мухопад, уже несколько, месяцев пребывающий на посту, не соизволил не только лично с кем-то из писателей познакомиться, но и в Союзе писателей не бывал и писателей в глаза не видел!

Неужели непонятно, что общение с писателями тому же Грибанову давало, быть может, больше, чем нам, литераторам, поддерживало и его, и нас, снимало наслоение сплетен и раздражённости, наконец, взаимно обогащало тех и других.

Я рискую быть неправильно понятым, мол, набивается на постановки пьесы и прочее, и прочее. Нет, я и в молодости не навязывал никому ни книг своих, ни пьес, ни образа жизни, но много помогал и помогаю молодым писателям и просто людям, чего и вам желаю! И не скрою: в афише того же театра имени Пушкина значатся пьесы Мирошниченко, Бримана и т.д., не очень меня тянет быть в этой компании. Почему-то тот и другой театр — Пушкина и ТЮЗ обратились ко мне с просьбой об инсценировке «Пастуха и пастушки», хотя прекрасно знают, что я не соглашусь на инсценировку этой повести и, тем более, на постановку её при той режиссуре и исполнителях, которые есть сейчас в наличии. Я сказал завлиту ТЮЗа: «Зачем вам нужна инсценировка повести, по сути и качеству своему неосуществимая на сцене, когда во многих молодёжных театрах идёт «Прости меня», пьеса для молодых?» — «Нас смущает образ Смерти. Нам не поднять его».

А сложнейшую повесть, видимо, поверхностно прочитанную, поднять возможно?

Странно и такое: напечатанная в 1978 году в журнале «Театр» моя пьеса „Черёмуха», перепечатанная затем в сборниках и репертуарных бюллетенях, оказалась непрочитанной (до встречи со мною уже в 1981 году) главным режиссёром театра родного

города! Пьеса «Прости меня» напечатана в журнале ..Наш современник» (тираж журнала 330 тысяч!), она идёт в десятке театров страны, получила широкую прессу и Государственную премию, а многие деятели театра и культуры в Красноярске и не слышали даже о ней.

Я это пишу вам не для того, чтобы жаловаться (сроду не жаловался и в обкомы да в крайкомы не писал), а на своём примере, на личном, конкретном, хотел бы заострить ваше внимание, заставить глубже подумать над словами: «Сибири — высокую культуру», что это не просто лозунг и своевременный выкрик. Это дело, и дело очень важное, к которому, кроме всего прочего, должно быть не только казённое, но и собственное отношение каждого работающего в области культуры, тем более руководящего, направляющего его к этому предмету. Отношение ответственное, а не демагогическое, увы, понимаемое порой голословно, как очередная кампания по копке картошек и уборке сена. Краснобайства, пустозвонства и показухи, считаю я, и без того лишка во всей стране, в Красноярске и крае, увы, этого тоже лишковато. Об этом вы и без меня знаете.

Виктор Астафьев

Сентябрь 1982 г.

(Е.А.Тяпкиной)

Дорогая Елена Алексеевна! Простите меня, бога ради, что я затянул с письмом. Давно получил я Ваше письмо, но работал, как проклятый, хотел закончить повесть, но она меня скорее, видно, кончит. Работы ещё на полтора-два месяца, а я уж совсем извёлся, «пар» из меня вышел, и сроки поджимают. Никогда не заключал заранее договоров, а тут покупка машины и прочее выбили из финансов, вогнали в кабалу, вот и приходится вкалывать до изнеможения. А в остальном, как говорится или поётся: «всё хорошо, всё хорошо!..»

Я безвылазно в деревне. Иногда удаётся выплыть на речку, поудить, сходить в лес по грибы. Хотя старушки-шуструшки наши и вышаривают ближний лес, я всё же немножко нахожу после них, и они удивляются: «Эко же! эт-то не токо выходили, а и вылежали всю траву, а он где-то и сыскал!..»

Очень их удивляет и то, что я сам варю обед, колю и пилю дрова, копаю картошки, выношу помойки: «Ли-ко, ли-ко, писатель-то наш тоже, как человек!» И очень они, иные из них, разочарованы этим. Вот кабы барином был, белоручкой, так зауважали бы! Ах как мы навыдумывали наш народ! Убожества в нём и дури нисколько не убавилось, невзирая ни на какую «зарю». Вот живут в соседях две старухи, обе приехали из города на лето.

Одна вкалывает дни и ночи, другая — ходит, губы поджавши, сплетничает.

«Что же Вы Фане-то (сестре) не помогаете?» — «А я начальница!» У неё, видите ли, зять работает в Череповце мастером в заводе, и вот она попутно с ним «начальница» и уж считает, что начальнику — а значит и ей — делать ничего не следует. Ну где ещё может такое говно взрасти, кроме как на Руси и в Африке?

Журнальчик, вшивый «Экран», так и не дал поправку. Более того, рассердившись на мою жалобу, и гонорара мне не заплатил, посчитав рассказ перепечаткой. Свиньи! Редактора только что перевели из «Смены», ну если так себя вести будет, переведут из «Экрана» в ЦК комсомола, там не хватает безответственного и похабного народа.

Как Вы здоровы? Как живёте-то? Пишите, не обижайтесь, что я подолгу не отзываюсь. Запутался в делах. Поздней осенью, скорей всего в ноябре, я долго буду в Москве — редактировать буду книгу, — и тогда мы повидаемся.

А пока кланяюсь и желаю Вам всего самого наилучшего, вперёд всего здоровья. Ваш Виктор Астафьев

28 ноября 1982 г.

(В.Г.Распутину)

Дорогой Валентин!

Может, на пленуме, в Кремлях я и увижу тебя, но книжку шлю по почте, чтоб не тащить её в Москву. Трудно, со скрипом и осложнениями выходила книжка, вышла и вышла, и ничего не случилось. Она для подготовленного читателя и для чтения по настроению, где попало, не подряд.

Дома у нас не очень хорошо. Тяжело болеет дочь. Рассталась с мужем ни без последствия и надсада. Предстоит нам с Марией Семёновной растить детей, а успеем ли их поднять? Года наши уже большие, мы жизнью поднадсаженные. а у дочери дела неважные.

Ну да в каждой семье своё, и не на кого уповать, кроме как на Бога — Марья Семёновна сейчас в Вологде, возле детей и внуков. Я после пленума тоже туда двину, будем думать и решать, как дальше быть с дочерью и её семьёй.

Я закончил «Зрячий посох», везу его с собой в Москву. Только вот не знаю зачем. Наверное, чтоб убедиться, что храброго редактора в Москве после Твардовского нет, а вот лукавых, вроде тебе очень известного, развелось, что тараканов в больших современных домах.

Ну, даст бог, увидимся в Москве или Иркутске, куда меня

Шастин то позовёт, то отлуп даст — чё-то переносит и переносит литературное мероприятие. Преданно тебя обнимаю. Виктор Петрович

17 декабря 1982 г.
(А.И.Булову)
Дорогой Анатолий!

Книга Ваша и славное Ваше письмо нашли меня дома, накануне отъезда в Москву на юбилейный пленум, после которого я приделал кой-какие дела — год не был в Москве, съездил в Вологду за дочерью и внуком, и вот дома, и, как всякий раз, начинаю привыкать к столу, очищаю его от скопившейся почты и всяких посторонних бумаг, а себя — от побочных дел, что удаётся всё труднее и труднее. Уже приходится уворовывать время для своей писанины. Тургенев когда-то иронизировал: «Русские писатели страшно любят, когда им мешают работать». Да жил-то он в другом веке, в другие времена, имел усадьбы и крепостных, да и в очереди ни за чем не стоял и никуда не торопился, кроме как в Париж, к любовнице, полагая, что муж её не справляется с нею, что впоследствии и подтвердилось, ибо и двое мужиков — француз и русский с нею не справились, и она их обоих в гроб загнала...

Нет, Толя, не буду я вести никакие большие семинары, ибо слова Некрасова, мною чуть подредактированные: «Дураков ничему не научишь, а на умных тоску наведёшь», — всё более и более на моих глазах обретают материальные основы, да и летать и ездить я стал тяжело, да и работы много, суеты ещё больше.

Вот после Нового года дочь родит второго ребенка, а её муж подался, нет, не в леса — кабы в леса! — а в шинки, в медвытрезвители и прочие места, достойно венчающие наши усилия и борьбу за высоконравственное общество. Он мне как-то сказал: «Как живёте Вы — живут единицы, а как живём мы — живут миллионы». Ну и живёт, как миллионы, соря по свету детей-безотцовщину, и не испытывает при этом никаких угрызений совести, да и отучил уже себя от таких мелких и ненужных ему забот, как совесть и угрызения ейные.

Я сперва позавидовал Вам, что Вы в лесах, в дебрях, в первозданной, так сказать, благодати. Нынче я первый раз (в сентябре) был на Дальнем Востоке, и в тайге был. Сказать, что природа Востока ошеломила меня, значит ничего не сказать, но жить даже в такой экзотической, пышной природе более месяца я не смогу. Пробовал. Был на Урале в охотничьей избушке и выдержал только десять дён. Я отчётливо понимаю, что цивилизация без меня вполне обойдётся, а вот я без цивилизации

уже не обойдусь, и прежде всего как писатель не могу, а как человек-то как раз и смог бы. Я это к тому, что в лесах и посёлках Вам надо жить до поры до времени, а потом — «на свет» вылезать надо.

Я ещё не читал Вашей книги (она ведь большая), но непременно прочту, но как литератор, живший и начинавший в глухомани (город Чусовой Пермской области, 18 годов в нём прожил!), на своём личном опыте основываясь, могу сказать: чем раньше литератор вылезет из глуши, тем скорее он созреет для серьёзных дел. Наша литература утомлена и давно уже надломлена писателями полуграмотными, малоразвитыми, реализующими свои возможности лишь на четверть, в лучшем случае наполовину — из-за дремучего своего невежества.

Мне о Вас говорили, и хорошо говорили, и я хоть отдалённое, но имею представление о Вас.

Мой Вам совет: как только вступите в Союз писателей, добивайтесь, чтоб Вас приняли на Высшие литературные курсы. Сами по себе курсы — благо, но всяком случае, для меня они были таковыми — я поступил на них в 37 лет. Но ещё большее благо — два года прожить в Москве, пообщаться с товарищами по труду (если в меру пить водку, время для обучения остаётся) и прикоснуться к сокровищам отечественной и мировой культуры. За два года я посмотрел около шестидесяти спектаклей, посетил все постоянные выставки, приучил себя к серьёзной музыке и т. д., и т. п. Это всё необходимо как воздух в нашей проклятой и прекрасной работе. А семинары и совещания ничего не дают — это вселюдная толчея, головокруженье от похвал и не более, причём чаще всего похвал и комплиментов безответственных, ни к чему людей, их выболтавших, не обязывающих.

Не обижайтесь на меня, что я вроде бы вмешиваюсь в Ваши дела и жизнь. Но мне так хочется, чтоб Вы сократили путь «к себе», ибо сам всего добивался в одиночестве, лишь в зрелом возрасте начав осознавать себя и лишь на курсах приобретя настоящих, требовательных друзей.

Если почему-либо Вам доведётся быть у нас, в Красноярске, найдите меня. и словами да кулаками я яснее и скорее Вам всё докажу.

А пока — я сердцем с Вами в тайге. Суток бы трое-четверо посидел в Вашей избушке, дыму понюхал, на тайгу насмотрелся, может, и побродил бы маленько. В октябре нынче побывал на кордоне у племянника, на Мане реке — такие счастливые дни были, да всего лишь три дня, а потом надо было опять уезжать, погружаться в текучку, такой уж у меня характер — не могу без людей и без дел, часто необязательных, жить и быть.

Ну, бывайте здоровы! Пусть охотничий сезон принесёт удачу! Пусть Вам хорошо пишется и вольно дышится. С Новым годом! Мира Вам и нам. Новых замыслов и новых книг! Кланяюсь. Ваш В. Астафьев

Декабрь 1982 г.

(М.А.Ульянову)

Дорогой Михаил Александрович!

Вот и еще один год жизни минул, ещё один кусочек жизни откололся от нас и булькнул в бездну времени. Поклонимся ему вослед поблагодарим за то, что он был мирным, а более ни помянуть, ни поблагодарить его не за что: всё та же суета, демагогия, ложь, время, выродившееся в безвременье, нация, на глазах распадающаяся, как больная брюшина, давно, в молодости ещё поражённая болезнью рабства, униженности и ко всему покорности, что делается вокруг. Да и нет её уже, нации-то, — что-то полурастворённое ассимиляциями, нация, не восстановившая себя не только количественно после войны, но и стыдящаяся самой себя. Да и есть чего стыдиться. Табуном скотским сделались: табунно пьют, табунно случаются, табунно идут, куда ведут. В Сибири это хохлы — их, голубчиков, исподволь накопилось в стране больше, чем русских — 50 млн на Украине и 30 — в глуби того, что звалось Россией и Сибирью, а теперь незаметно переименовано в Нечерноземье и Кацапию.

Видел Вас издалека на юбилейном пленуме, но вокруг Вас толпились люди и мелькали блицы фотоаппаратов, и я не подошёл — мой единственный зрячий глаз плохо переносит мельканье блицев. Но все блицы померкли, когда начались речи с юбилейной трибуны. Конечно, наивно было бы ждать в такой день на такой трибуне какие-то откровения, в основном талдычат всё то же, что и тридцать, и сорок лет назад...

Выдержал я лишь до Муслима Магомаева — пусть бы он да Биешу больше пели. Ушёл я в гостиницу, и там мы с хорошими людьми хорошо попили и чайку, и кофейку, и коньячку. С тем я и поехал в Вологду за дочерью и внуком. Привёз их сюда. Дочь где-то сразу после Нового года будет рожать нам второго внука, внучку ли. А муж в бегах. Они, мужья-то, сейчас передовые, не то что мы, отсталые — заведём, бывало, детей и сами их воспитываем, растим. кормим, теперь этим государство вроде должно заниматься: нужны ему рабочие и солдаты — корми! Ну, а в нашем варианте — дед и бабка пока живы, будут нести семейное бремя (слово-то какое точное!). Зять мне как-то сказал бодренько: «Как вы, папа, живёте — живут единицы, как я живу — живут миллионы». А ведь рабочий, дорожник, и гляди, как

политицки подкован! Не зря боролись за всеобщее образование, и они. образованные, хотят вольно пить, валяться в медвытрезвителях, поднимать кулаки на жену за то, что она его мужа, кормит, поит и ублажает.

Такой свободы ещё свет не видывал! Вот это демократия! Для лжецов! Для лодырей и пьяниц. Позабавлялись в своё время наши духовные наставники пустыми словами и жестокими мерами воздействия, не задумываясь, что из этого получится, произрастёт. И произрос законченный трус да тунеядец в невиданном масштабе! А как теперь всё это исправлять и что делать — никто не знает.

Посмотрел я «Частную жизнь», но как-то в неподходящий момент, что ли. Случилось так, что эту «Частную жизнь» я смотрел после «Амаркорда» Феллини, и такой пресной, вываренной показалась мне эта самая «жизнь» после разудалого, хулиганского и воистину гениального итальянца.

Первый раз Вас видел в неестественном каком-то гриме, в замедленном действии, в пригашенном темпераменте, словно вожжи сзади Вас были и ими поворачивали Вас то влево, то вправо, даже паузы, возможно, и хорошо сыгранные, за что Вас и хвалят, мне тоже казались неестественными. Вполне может быть, виноват тут и «Ричард», который дважды подряд был у нас показан по телевидению. И, кстати, «Ричард» по телевизору показался мне даже лучше, чем в театре, — в театре я видел спектакль, сидя далеко, и не видел «крупных планов». Но всё же более всего мне ближе бывший солдат из «Последнего побега» — вот где всё гуманно, всё естественно и до крайности неистово! То была ваша роль!

Ну-с, с Новым годом! Поскольку люди вы занятые, в книжке, посылаемой Вам, я пометил, что надобно прочесть. Остальное — по желанию и вразброс — под настроение читать. Книга выходила с большими осложнениями, так что новую мою вещь уж никто и печатать не хочет. Лежит в столе. Обнимаю. Целую. Общий всем поклон. Ваш Виктор Астафьев

1983 год

23 января 1983 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Ирина подарила нам внучку. Далось это тяжело, с нервотрепкой и прочими последствиями. Более месяца, а если считать заезд в Вологду, привыканье в Красноярске и прочее, и

прочее, то месяца полтора я не мог ни писать, ни думать. А потом тоже разболелся, валялся в соплях гриппозных. Где-то простудился. Зима-то у нас, в общем, милостива, слякоти нет, но перепады большие — вчера было ночью минус 26, а днём минус 1—3.

Завтра Ирину привезут домой. Она тут побудет какое-то время, и как окрепнет, так их мать и проводит в Вологду. А я 28-го уйду в профилакторий и возьмусь за роман о войне. Приходили тут майоры из «Красной звезды» и, каясь за прошлые «недоразумения», просили у меня кусок ко дню Красной армии в газету. Я им, конечно, говорил, что к датам не подхожу, но они вынудили меня посмотреть черновик второй части романа, года три уж валяющегося в столе, и я увидел вполне серьёзную зрелую прозу в очень железно И твёрдо построенной книге, где, в отличие от современного романа, ни путаницы, ни тупиков и материал ещё жив в памяти. Так решил я смутную-то вещь отложить и взяться за главное, ибо услышал тут мудрое изречение Курчатова, что можно всю жизнь растащить на дела второстепенные и что надо, как он, всегда заниматься только главным делом. Для него этим главным были атомная и водородная бомбы, оставленные нам на добрую память, и как мы главное дело его поборем нашим главным — не знаю, но явные сдвиги есть.

Мой неврастеничный и умненький внук Витенька спросил тут у бабы, когда, с какого возраста принимают на комбайн? Бабушка, естественно, поинтересовалась — зачем ему это? «А я не хочу никого убивать», — ответил он. Вот если человечество так проникнется, успеет проникнуться отвращением к войне, то уже в эмбриональном состоянии его будет рвать от запаха пороха, и можно будет говорить серьёзно о мире и разоружении. Все, все, от мала до велика, должны напитаться отвращением к убийству, иначе ничего не выйдет и все словеса и усилия наши впустую.

Ну чего ты, ей-богу, разбрюзжался! Ведь пишу, да и не только я, с расчётом на понимание и доверие читателя, хотя бы такого редкого, как ты. И на тебе! Там же поставлено «провинциальная критика — не по географическому принципу», ну, если дело дойдёт до переиздания при мне или без меня, поставьте моё любимое словечко «направители», то есть «критики-направители».

Да ты и не хуже меня понимаешь, о чём речь в книжке, да, видно, так отсырел и заглох в своём псковском углу, что уж и чувство юмора потерял, думая о боге и крестах. А я вот как раз читаю «Окаянные дни» известного тебе автора *[Бунина. — Сост.]* и ещё раз убеждаюсь, что нет его, бога-то, нет, иначе бы он давно покарал всю эту свору страшными и немедленными муками, он

почто-то карает всё не тех, всё вслепую, и насылает болести на простой люд.

Я вон на Вологодчине узнал новость такую, что волосы везде зашевелились: на северо-западе, а значит, и у вас, появился энцефалитный комар! Значит, и у нас он, голубчик, скоро будет. Во всяком разе колорадский жук уже гостит и успешно переваливает любимый твой Урал, а ты там бурчишь: «Не трожь Дедкова-братишку и Золотусского не трожь, а то пасть порву!»

Да и не трогаю, не трогаю! Во-первых, боюсь, во-вторых, люблю их и соболезную им не меньше тебя.

А получил ли ты от меня вырезку из газеты с твоим собственным изображением? Неужели братишки-доглядчики перехватили? Очень юморной был снимок. Я пописал, ещё до эпопеи с рождением внучки, маленько «затеси», а вообще осень и зима почти пропали.

Ну, не болей и не смурней. Обнимаю. Виктор Петрович

24 января 1983 г.

(В.Юровских)

Дорогой Вася!

Пока ты пребывал там, в чаду юбилейных наслаждений, у нас родилась внучка — Поленька.

Длилось это долго, для всех нервотрёпно и сложно. Дело кончилось кесаревым сечением. Возили Иришу в Ленинград на исследования и подкрепления, затем, после пышного юбилейного пленума всех муз и искусств, я поехал в Вологду, где давно уже находилась Марья Семёновна, и мы Иришу вместе с Витенькой привезли сюда. Ирина хвора, рыхла, а Витенька неврастеничен и настырен, суеты, хлопот и всего прочего с ними много, особенно бабушке.

Наконец-то Иришу определили в роддом мой родной. Помнишь по «Соевым конфетам» больницу номер два, куда я брёл когда-то в войну почти политиком и где меня спасли для войны и будущих славных дел. Товарищам Брежневу и Павловскому не всё удалось добить и расстроить в стране и на транспорте, больницы по-прежнему обиходны, порядочны и приветливы. Ирине на родном моём транспорте сделали всё, что в силах современной медицины. и по совести, какая ныне возможна. Гора с плеч!

Осень потеряна, половина зимы тоже. Пока они здесь будут жить, ещё с месячишко, я попробую сделать черновик первой части военного романа (вторая часть вчерне давно написана), авось и получится. Что-то не стало хватать времени для работы!

Потом Ирина с детьми поедет в Вологду, бабушка их проводит, и мне ещё до весны время выпадет на работу. Надеюсь.

Ну, а как она будет жить с двумя детьми без мужа и без нас, я себе пока плохо представляю, дочь моя, по-моему, тоже не всё это отчётливо видит, да и как тут всё предвидеть? У всех житуха и судьба своя.

Что ещё? Вот с трудом, со скрежетом вылезла на свет книга «Затеси», но следующую вещь, «Зрячий посох», с трудом законченный уже никто целиком не берёт, роман не возьмут и подавно. Надо приучать себя к новому уклону жизни, писать для стола. Сознание и знание того, что в столах лежала и лежит лучшая литература, укрепляет меня, да и не в моей это воле что-то изменить, подладить и подладиться. Наступил ещё один, наверное, последний, самый сложным этап жизни и работы, и тут уж ничего никому не поделать.

Был очень урожайный год. Вместе с заграничными изданиями вышло у меня в 82-м году более десяти книг, среди которых две изумительно оформленные «Бабушкин праздник» («Советская Россия») и «В тайге, у Енисея» («Малыш») до того меня растрогали, что мне захотелось написать что-нибудь для детей и я уже придумал, что. Вот и буду, чтоб сердце не разорвалось от такой войны, меж делом писать для ребят, «затеси» и большую статью о культуре нашей, точнее о бескультурье. Замыслы большие, а пых уж не тот. Днями опять тяжело валялся в гриппе.

А Женя, Евгений наш Иванович, видимо, совсем плох *[Е. И. Носов. -Сост.]*. В новогодней открытке написал: «Залёг на самое дно». Если его не станет, не знаю, что будет со мною. Уж слишком давняя и прочная наша привычка чувствовать друг друга на земле двигала, руководила нами и укрепляла в жизни нас, да и работа велась взаимным, часто негласным, но большим гревом любви, доверия и взыскательности. Никак не решусь ему написать, боюсь ушибить жалким словом или неосторожными слезьми.

Такие вот дела. Вася. Не обижайся, что редко пишу. Заезжен и несколько потерян я в себе. Четыре года работы над «Зрячим посохом» опустошили меня и, быть может, что-то во мне и поднадорвали, а отдыха нет, даже формального. Последний раз в санатории был почти двадцать лет назад, в доме творчества — десять, на рыбалку вырваться не могу...

Ну прости. Повыл, как на луну, Поклон всем. Виктор Петрович

16 апреля 1983 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!
Тяжело я тут переболел. Полтора месяца отлежал в больнице.

Умудрился заболеть без Марьи, она была в Вологде. отвозила туда разросшееся семейство Ирины.

Одиннадцатого января Ирина родила внучку — Поленьку. Рожала здесь, в Красноярске, и, как месяц исполнился девочке, двинулись они домой в сопровождении бабушки, а я уже перемогался, обострение в лёгких уже было, но дело привычное, думал дома изжить, приостановить процесс, но у нас весна взялась вымешать злобу за хорошую, солнцезарную зиму, чем занимается и до сих пор, и потного, меня несколько раз сильно продуло. Когда уж край пришёл, я к врачам — двухстороннее воспаление лёгких, и на мое проколотое благодарным чусовским читателем лёгкое, на оставшуюся с тех пор эмфизему уж было многовато, и я двое суток не очень настойчиво, не так, как в молодости, но всё же поборолся за жизнь [*в начале 1950-х гг. в г. Чусовом К Астафьев стал свидетелем хулиганской драки на танцплощадке. Пытаясь разнять дерущихся, получил ножевое ранение в лёгкое. — Сост.*].

И вот снова дышу, хоть и со скрипом, заставляю себя садиться за стол, хоть письма писать или маленькие «затеей», ибо на улицу не хожу, боюсь погоды.

Твоё письмо о Боге и иконах (пермское) — я советую всё, что в нём есть, использовать в будущей книге. Мысли, может, и мимоходом оброненные, в порядке полемики, в такой «стихийной» последовательности и безыскусной точности могут потом, когда будешь сочинять, и не получиться, огрузнеют, лишним умственным мясом обрастут и отдалятся от читателя. Марье Семёновне велю скопировать письмо.

Второе — о любви к Сталину, Так богу вам надо молиться, что время и мы избавили вас от этой любви, которая страшнее проказы. Но что-то наш унизительный и подлый пример мало на кого подействовал и мало кого отвратил от земных богов. Так «жадные толпы у тронов» и не поредели, так и не перевелась омерзительная привычка получать, точнее, подымать хлеб из придорожной пыли, брошенный туда земными творцами. А я уж и тем счастлив, что поздно хватился, не успел «налюбиться», ибо в ту пору стихотворные сборники издавались — половина стихов о Сталине (обязательно, иначе не издали бы), а потом вторая половина о счастливой жизни в свободной стране. Всего три года продолжалась моя газетная любовь. Год из трёх ушёл на то, чтобы я, тупица, понял, что передовую статью надо начинать и кончать именем отца и учителя, а передовица стоила дороже всех материалов, ибо это единственный жанр, который осиливал писать наш достославный главный редактор.

Прочёл я все материалы, какие попали на глаза, о Рафаэле,

даже Пистунову прочёл, хотя и не терплю её, но и она в этот раз не о своей только умственности писала, но и о художнике тоже, и совсем неплохо. Зато ты писал с блеском, никого не повторив, никого не потревожив цитатами, и в конце статьи так, видно, горел и волновался, что это передаётся и читателю, во всяком разе передалось мне. Я, как всегда, от восторга чувств побежал на кухню к Мане и очень тебя хвалил и рекомендовал. Чуть было в слезу её не вбил, поскольку напирал на земляческие чувства и говорил, что русская земля не только Платонов и Невтонов, и вождей может рожать, но вот изсилилась и на каменной чусовской природе взрастила Курбатова!..

А ты там в сплин, понимаешь, ударился... А у нас тут дни Сурикова прошли. Мною шуму, слов и очень посредственная выставка живописи и скульптуры.

Ну-с, с праздником! Тебя, жену, дитя! Всё лето буду в Овсянке, лишь на Рыбалку мечтаю выбраться. Возьми да приедь, слетаем куда-нибудь. Развеешься. Обнимаю. Виктор Петрович

20 апреля 1983 г.
Красноярск
(Е.А.Лебедеву)

Дорогой Евгений Алексеевич!

Давно я не подавал Вам никаких вестей — переезжал на Родину, туда, где когда-то свела нас судьба возле палаток первостроителей Красноярской ГЭС, а переезд в наш век равен не только двум пожарам, но еще и одному выходу в космос без скафандра, без шапки, без кальсон.

Три года, как я на родине. Завёл избу в родной деревне и даже уголок отдельный построил для работы, чего сроду не имел, и не имел напрасно. Работа изнашивает нервы, работа в неподходящих условиях ещё и треплет их. Чаше и чаше стал болеть. Сказываются и сидение за столом, и фронтовые раны, и внутреннее нервное напряжение, и раздражение от наших порядков, которые не трогают только забулдыг и воров, ибо им в нашей дорогой действительности самый плодотворный оказался климат и всего тут способней существовать и плодиться. Так что занесёт на гастроли или ещё на какую великую новостройку — ночевать в палатке Вам более не придётся.

Ваше интервью в «Смене» я читал и понял из него главное, что Вы полны энергии, сил и готовы работать ещё долго. Дай-то бог!

Посылаю Вам и Георгию Александровичу [*Товстоногову. — Сост.*] по книжке «Затесей», ибо мне известно, что в Ленинград

послан лишь один экземпляр её, да и тот в библиотеку Салтыкова-Щедрина. Книжка копилась долго, издавалась трудно, когда полистаете её, поймёте, почему. Она не для чтения подряд, она для чтения под настроение. Наверное, что-то совпадёт и с Вашими мыслями и наблюдениями. Я так уверенно говорю, потому что смотрел выступление Георгия Александровича по телевидению, читал и читаю его статьи в журналах и газетах — слова у него, слава богу, не расходятся с делом. Серьёзный он человек и серьёзно относится к своему делу, к людям, к бытию нашему. Ах, если б побольше серьёзности всему нашему искусству, литературе, тогда они, быть может, хоть в какой-то мере соответствовали бы тому течению жизни, которое нас несёт не то на свалку истории, не то в геенну огненную войны, куда-то, в общем, несёт, и от сознания беспомощности, от частого непонимания — зачем это? почему? — берёт отчаяние.

Ну, а на старую да пыльную шубу вошь вылазит ме-ел-кая, кусучая, жадная — за последнее время, судя по прессе и шуму, самые выдающиеся личности в нашей жизни были — Семён Гейченко, популярностью своей затмивший и самого Александра Сергеевича, да первопроходимец Михалков — «а-атец ру-усской ли-итературы». Далее уж ни ехать, ни идти некуда!

Даю на машинку письмо, ибо недавно из больницы и руки ещё дрожат. С Первомаем всех вас! С весной! Доброго здоровья всем вам! Мир Вашему гостеприимному дому!

Кланяюсь. Виктор Петрович Астафьев

21 апреля 1983 г.

(В.Юровских)

Дорогой Вася!

Я полтора месяца отлежал в больнице — двухстороннее воспаление лёгких. На моё раненое лёгкое одно, и второе эмфиземное — это уж лишковато. Два дня были очень тяжёлыми, начинался отёк сердца от кашля и я уж думал, что скоро увижусь с моим и твоим отцом, да вот выскребся, вырулил наверх. А здесь ветра, холодина, воет и стучит ночами кто-то за окном, пугает этим светом, а он и без того страшнее и страшнее год от года.

Зима у нас стояла «грузинская», и все, как грузины, распустились телом и душой, ходят руки в брюки, а Сибирь — раз им фигу в нос: «Что, бляди-чалдоны, совсем забыли, где живёте?!»

Тепла нет, и весны до се нет. В горах снег, на реках лёд, на земле ни травинки, поздние подснежники высунули мохнатые рыльца и замерли — куда тут? — Астафьев с его музой-то чуть не погинул, а им, бедным цветочкам, и вовсе хана.

В деревню не переехал, делать ничего не могу, перемогаюсь.

Много съел, и ещё больше всадили в меня разных препаратов, а они начали выходить рогом, и мой главный инструмент — язык так изъязвило, что и говорить, ись не могу. Сказал лишь, что бабу свою много материл в жизни, и за бабу мне и суд, и наказание особые.

Пишу письма, поздравления, иногда одну-две «затеси» сочиню, на большее сил нету, и вот сочинил письмо твоему корешу Виноградову, ты уж не сочти за труд переслать.

Саню жалко! Жалко и больно! «Никто, как русские, сам себя не губит». Ах ты, господи! Мог бы поднять его из гроба, выпорол бы прутом, приговаривая: «Береги талант! Береги себя! Оба Богом дадены свету!..»

С маем! С праздником тебя. Твой Виктор Петрович

Апрель 1983 г.

(В редакцию газеты "Московские новости")

Уважаемая редакция!

Прочитавши в № 13 «Московских новостей» полемику «историков» Василия Морозова и Александра Самсонова, - хотел бы сказать, что советские историки в большинстве своем, а сочинители и редакторы «Истории Отечественной войны» в частности, давно потеряли право прикасаться к святому слову «правда», ибо от прикосновения их нечистых рук, грязных помыслов и крючкотворного пера оно, и без того изрядно у нас выпачканное и искривлённое, пачкается и искажается ещё больше.

Вся двенадцатитомная «История» создана, с позволения сказать, «учёными» для того, чтоб исказить историю войны, спрятать концы в воду, держать и дальше наш народ в неведении относительно наших потерь и хода всей войны, особенно начального её периода. И премию составители «Истории» получили за ловкость рук, за приспособленчество, за лжесвидетельство, словом за то, что особенно высоко ценилось, да и сейчас ещё ценится теми, кто кормился и кормится ложью.

Творцы «Истории» сделали большое упущение — не догадались исправить карты военных лет — достаточно взглянуть на них, как сразу же видно сделается разительное расхождение между картами и текстом, «объясняющим», что за картами следует.

Из 12 томов «Истории», из хитромудро стряпанных книг, наш народ так и не узнает, что стоит за словами «более двадцати миллионов», как не узнает и того, что произошло под Харьковом, где гитлеровцы обещали нам устроить «второй Сталинград», что кроется за словами «крымский позор» и как весной 1944 года два

фронта доблестно били и не добили первую танковую армию противника — это не для наших «историков», это для тех, кто «за морем» пишет о войне всё, что знает и что бог на душу положил. И таким образом существуют две правды о прошлой войне: одна ихняя и одна наша, но все эти «правды» очень далеки от истины. И полемики, подобные той, какую затеяли Морозов и Самсонов, споры по частностям, мелочам и ложно многозначительным, амбициозным претензиям друг к другу — ещё одна плохо замаскированная попытка крючкотворов увести в сторону, в словесный бурьян, от горьких истин и вопросов нашего и без того замороченного читателя, наш не единожды обманутый, недоумевающий народ.

Не удивлюсь, если «историкам» В. Морозову и А. Самсонову присудят ещё одну какую-нибудь премию при помощи тайного голосования.

Если единожды солгавший не может не врать, то каково-то остановиться творцам аж двенадцати томов ловко замаскированной кривды!

Инвалид Отечественной войны, писатель Виктор Астафьев

22 августа 1983 г.
Овсянка
(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Все твои письма при мне. Ответить абы как мне не хотелось, а на обстоятельное письмо не было ни сил, ни времени. У нас так и не было весны, да и лета тоже, вот только в конце августа распогодилось, но уже ночи холодны, туманы над горами и Енисеем густы. За лето леса, горы и почва опились влагой, выдыхают, что возможно.

Наша жизнь течёт не без перемен — 8 июня не стало моей тётушки Апрони, кончились её земные сроки, в очень тяжёлом состоянии доживает жизнь в Подмосковье тётушка Марьи Семёновны, очень нам дорогой и близкий человек, первой встретившая нас с фронта и хоть маленько обласкавшая («Курица — не птица» — это о ней).

Марья Семёновна недавно летала к ней, заехала к детям. Все они, слав богу, живы и здоровы, только Андрей всё ещё мается с квартирой. Более всего радует людей и радуется жизни Поленька, ей уже 8-й месяц, она пробует ходить и всем приветливо улыбается.

Ну а я в осень, в непогоду, обычно работаю и, поскольку наше лето было почти как осень, я потихоньку да помаленьку влез в роман, причём начал его с третьей книги, уж больно Джеймс

Джонс задел меня своим романом "Только позови". Я его читал и всё время раздражённо ёрзал — вам бы, бляди, наши беды и заботы! А мы ведь при всём ужасе и при всех держимордах, при нашей худшей в мире демократии выжили, устояли, а они выдохлись неизвестно от чего, и всё им конституции не хватает! И такие вот хлюпики собираются воевать с нами? Тырятся!?

Я вот и покажу, на что мы способны были, и не только в прошлом. Потенциальные возможности для смертоубийства у нас ещё преогромны, и, главное, мы всё ещё во стократ живучей, мужественней и стойче их при всём нашем нынешнем разброде и крохоборстве.

Избрал я для третьей книги самую простейшую, самую примитивную форму сказа от первого лица, ибо сам материал настолько обширен, страшен и уникален, что не нуждается в дополнительных инъекциях и ухищрениях. Первая и в особенности вторая книги будут по форме сложнее, особенно вторая. Третья книга состоит из четырёх частей. Две я почти уже начерно написал: это около 400 страниц. Работаю, как и в молодости, много и, кажется, сильно, однако восстанавливаюсь уже медленно, вот лишь несколько ночей сплю без снотворного, более или менее уравновесилось давление, оттого что погода сделалась ровнее, суше и лучше, а то садился работать и при плохом давлении, особенно стало мучить нижнее артериальное — ниже 100 бывает редко. Но что же ждать? Молодость и молодая прыть не вернутся уже, а роман хочется сделать. Если буду работать так же, как нынче, за 3-4 года одолею. Материал весь отстоялся, книга в голове выстроилась, дело за временем и чернилами, которые я, кстати, достаю с великим трудом. Надеюсь, что зимой или ближе к весне позову тебя прочесть более или менее прибранную третью книгу под названием «Весёлый солдат», где будет и Чусовой, и все прелести, связанные с ним.

Кстати, любимый город наш бурно отпраздновал своё пятидесятилетие. Мне прислали ворох бумаг и приветствий, и я уж ущипнуть себя был готов — полно! Уж в этом ли городе я жил и угрохал свою молодость? Умеем, по-прежнему умеем пускать себе пыль в глаза, да и не простую, а всё золотистую!

А Марья моя Семёновна вдруг весною затосковала о Чусовом, нос повесила, говорит и говорит каждый день воспоминанья, и я уж сказал ей: «Ну съезди, иного способа от тоски избавиться нет». Но я ещё после тяжёлой болезни хандрил, плохо себя чувствовал, и она не решилась меня оставить, перемаялась, и я ей пообещал, что зимою или весной мы сделаем турне по Уралу и непременно уж посетим родные могилки в Чусовом. Ей ведь только на могилках побывать, и она успокоится.

Два раза (всего!) выезжал я на природу — на водохранилище на катере и на мало-большой Абакан. Это довольно далеко, но реки — Абаканы — спокойнее Амыла, лодки уёмистей, хоть и деревянные, мужики надёжнее. Проехали и повидали многое. Проехали даже стоянку старообрядцев Лыковых. Песков Василий Михайлович сделал очень плохую и тяжкую им услугу, «засветив» этих чистых и святых людей, он вызвал на них стаи стервятников, да и сам, как ни горько это говорить, оказался в роли стервятника — три могилы возле дома Лыковых образовалось, остались дочь и дед, но ребята, мои сопутники, меня утешили — Лыковы собираются, судя по всему, сменить стоянку в четвёртый (!!!) раз и уйти дальше в горы, что могилы эти пусты и сыновья рубят новый стан где-нибудь в новом, ещё более глухом и укромном месте. Вот тебе страсти-то сибирские!

Половили рыбки, хорошо половили. Я до се ем хайрюзов малосольных, а вчера скромно справили день рождения Марьи Семёновны, так и гостей попотчевал.

Пришлось мне маленько поработать и за тебя, придумывать название книги. Редакторша припёрла меня к стене. Много перебрали, остановились на словах «Миг и вечность» — это всё же лучше, чем было у тебя, хотя тоже не ахти что. Полтора месяца работала здесь киногруппа из Киева, снимали фильм (теле) «Ненаглядный мой» по моему сценарию *[по рассказу «Тревожный сон» — Сост.]* — фильм должен выйти на телеэкран в ноябре-декабре. Сам я ничего ещё не видел, но актёры хорошие, не заношенные, и работали все серьезно.

Обнимаю. Поклон твоему парню и жене. Виктор Петрович

1 ноября 1983 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)

Всё-то вы шутки шутите, молодой че-а-ек, а мы тут без устали боремся за высокую культуру и как посмотрим вокруг, то век нынешний и век минувший оченно, оказывается, похожи, и время не то движется и летит, не то остановилось и дремлет, как сытый кобель в конуре, охраняя чего-то и от кого-то, потрафляя хозяевам, бросающим ему мосол, давая лапу по просьбе, а то и без оной, подавая со скуки голос, всё более скулящий...

Нет, ложная информация достигает богоспасаемого вашего города, который давно уж турки не осаждали, и оттого в нём дремлет мысль и угасло любопытство. Да и что говорить о городе, из которого сознательные трудящиеся ездят и ходят в очередя за сосисками за границу, к чухонцам, и едят их пусть и с идейным отвращением, по необходимости животной, но не выплёвывают

же!..

Всё лето мы-с сидели-с в Овсянке и писали чего-то-с и написали-с аж 800 страниц черновика, а это и на машинке будет 500 страниц, и это всего лишь половина романа, а сил не стало, и осень пришла.

Осень очень хорошая, сухая, солнечная, но ночи сделались холодные, а печь мы до се не переложили, и пришлось переехать в город.

Только один раз ездили на четыре дня в Читу, на «Литературную осень, а там дождливо и худо, так быстренько вернулись. Сейчас моя Марья Семёновна собирается в турпоездку по Финляндии, ибо после успешной атаки на вражеский самолёт нас далеко никуда не пускают, а пустят — не рад будешь, заклюют или камнями забросают. Вот и наша поездка, в числе многих и многих, в Испанию не состоялась, и так, видно, не увижу я Ламанчу, в которой родился самый добрый гений этой недоброй планеты.

А поеду-ка я на курорт в Белокуриху отдохнуть. Очень устал. Надо отдохнуть и сил набраться для дальнейшей работы. Здесь отдыха не получается звонят кому не лень, и спасенье ещё в том, что телефон плохо работает. Кроме того, в Алтайском крае живёт мой фронтовой дружок и в самом Барнауле — семья погибшего товарища, надо навестить и того, и других. Может, и к Шукшину удастся съездить без толпы.

Маня половину рукописи уже напечатала. Чего получается, сказать не могу пока, но что так «развязно» я ещё не писал — это точно, видно, пора приспела.

В связи с писаниной, поскольку ты сектант и шутник, у меня к тебе вопрос. И серьёзный. Я поставил эпиграфом к роману вот такой текст: «...человек не только не должен убивать, но не должен гневаться на брата, не должен никого считать ничтожным» (из первой заповеди «Евангелия от Матфея»), сверились по «Евангелию», какое у меня есть («Новый Завет», издание сорок четвёртое, 1916 год), но изречения этого не нашли.

Помоги мне вспомнить, откуда оно и точно ли переведено? Мне оно кажется обеднённым в переводе и упрошенным, а когда и где я его записал — вспомнить не смог, давно это было. Наверное, в Быковке ещё я списывал с рукописных тетрадок у старух всё «божественное», иначе мне взять негде было.

Та-ак, «Джонни получил винтовку» напечатан в девятом номере «Сибирских огней», и это мне, безбожнику, зачтётся на небесах, а ещё, слепуя, портя последний глаз, прочёл я переписку фронтовых друзей из Красноярска, подготовил её, написал предисловие и помог опубликовать на страницах альманах

«Енисей», и это тоже мне зачтётся. Делал и другие благотворительные дела. «Пора замаливать стихи», писал твой любимый поэт Алёша Решетов, и я считаю, что и грехи тоже, хотя они растут и разбухают так, что уж скоро никаких молитв не хватит, чтобы отмолиться.

Говорил ли я тебе, что посылал твоему братишке с критического миноносца Игорю Дедкову «Затеси», и он мне прислал очень доброе письмо, в котором двумя абзацами приделал литературных вождей, Бондарева и в особенности трепача Исаева так, что уж я чуть со стула не упал от точности и умности слова, вызревшего в тихой и суровой русской провинции.

За вырезку из рекламы спасибо, поте-э-эшил, во-во-о поте-эешил! Да и я мог бы кой-чем тебя потешить из «области культуры», но дел — гора, и руки дрожат.

С праздником осени и с ожиданием весны! Мечтаем о весне, о поездке по Уралу — с юбилея я отсюда сбегу. Обнимаю. Виктор Петрович

17 декабря 1983 г.

(Е.Е.Куренному)

Дорогой Женя!

Я получил твоё письмо, но сразу не ответил — болел. После поездки в Читу, несмотря на бывшую у вас погоду, я вернулся в бодром рабочем настроении. И хоть на исходе сил, но закончил первую часть романа (вчерне).

Из деревни переехал в город, и Мария моя поехала в турпоездку в Финляндию, а я — на курорт «Белокуриха». Не ездил я на курорты больше 20 лет, и теперь в наши дорогие здравницы, особенно профсоюзные, меня разве что под конвоем запрут. Приняли меня хамски, устроили отвратительно, на лечение я вообще не ходил, а сидел в грязной камере-комнатушке и с тоски, писал рассказы о природе, делая разрядку перед серьёзной работой. Пробыл 12 дней и уехал с подновлённой пневмонией, да ещё отравился в последний день и дорогу задристал.

В Барнауле же ребята встретили меня очень хорошо, отводились маленько со мной. Я навестил семью погибшего на войне старшего друга, поплакал вместе с его дочерьми и внуками, полежал у Гены Гущина на диване, а они писателя, водочки попили за моё здоровье, и первого явился домой. Лежал пластом, заболела даже печень, про которую я и не знал, где она есть. Третьего прилетела Мария, и стало легче жить. Вот уже дня три как сажусь за стол «Съездил Ванька на курорт, подравнял

здоровье!»

Фильмов моих два. Один — «Дважды рождённый», снятый на «Мосфильме», скоро пойдёт на экранах. Уже в Москве в Доме кинопремьера была, «Ненаглядный мой» сулятся привезти из Киева и показать — он тоже принят на телеобъединении и, слышал я, принят хорошо.

Очень часто вспоминаем поездку в колхоз и на озеро.

Поклон вам всем и поздравления с Новым годом.

Обнимаю, твой Виктор Петрович.

26 декабря 1983 г.

Красноярск

(А.М.Борщаговскому)

Дорогой Александр Михайлович!

Получил! Получил! И перед самым Новым годом! Спасибо и спасибо! Как Вас и хватает на всё! Открою какую газету — там выступал, тут присутствовал

Конечно, и я желаю Вам и Валентине всего того, чего желают добрым людям, а главное, чтоб не сгорели наши дети и внуки в пламени войны.

Маленько могу и похвалиться собой — были плохие весна и лето, а мне, немоглось, и начал я писать сперва крохи, а потом разошелся и написал за лето 500 машинописных страниц военного романа, к которому иду и шёл всю жизнь, написал, как всегда, «с фокусами» — с третьей, заключительной части. Вот половина черновика есть, надо ещё писать первые две части — лет на 8-10 мне, наверное, работы хватит, а отпущены ли они мне? Кто знает Очень устал. Тут попробовал полечиться на курорте — ещё больше заболел и изнервничался от недогляда, хамства и наплевательского к человеку отношения. Сейчас лежу дома, хожу на уколы, жду дочь с внучатами на Новый год, а Мария допечатывает рукопись. Балую себя «затесями» и рассказами о природе, никуда не хожу, не выступаю нигде, ограничил круг знакомых и общения — нет уже сил на всё остальное — весною шестьдесят, а порой гнетёт груз памяти и ранения, и ревматизмы, и пневмония, как на девяносто лет тянет.

В Москве не был два года и не тянет, а вот по селу родному очень тоскую, болезненно переживаю зимой отрыв от него. Только в нём, разбойном, одичавшем, придурками, пьяницами и лодырями населенном, чувствую себя на месте и покойно.

Видел Гришу Бакланова по телевизору, удалось подписаться на его собрание сочинений. На телевизоре он выглядел достойно своего ума и таланта.

Я уже устал глядеть на разных «мыслителей» века и болтунов,

рвущих на себе рубахи и бренчащих медалями. Поклонись Грише! Я ему писал письмо. Может, и получил к юбилею. А тебе посылал «Затеси» — книгу. Ну, наверное, украли в пути. Если украли — пошлю ещё.

Извини, Александр Михайлович, что пишу редко, да таким вот почерком. Сплю плохо, мучает давление, полное нервное истощение от работы — дрожат руки. Сам себе научился мерить давление, поддерживать его и регулировать. У меня ведь трое внучат, внучке только через месяц год будет. Кто их без меня накормит и обогреет? Надо жить. И роман надо написать.

Обнимаю и ещё раз благодарю. Мария присоединяется. Ваш Виктор

1983 г.

Зам. Председателя Красноярского крайисполкома Глотову

Председателю Дивногорского горисполкома Новаку

Заведующему отделом культуры крайисполкома Харченко

Уважаемые товарищи!

При обсуждении генплана переустройства моего родного села Овсянка я просил уделить особое внимание нашей сельской библиотеке, ни с кем и ни с чем её не соединять, а сделать к библиотеке пристройку, оставив нынешний дом, в котором расположена библиотека, под читальный зал.

Всякое воссоединение сельских библиотек с чем-либо и с кем-либо заканчивается для них, как правило, плачевно, как это уже было единожды в Овсянке. Располагаясь в сельском клубе, библиотека сгорела вместе с клубом, в котором пьянствовали, содомили, и скорей всего, и спалили клуб по пьянке два местных культдеятеля.

Библиотека в Овсянке сложилась. В ней работают настоящие подвижники за мизерную зарплату. Они собрали и сберегли книжный фонд, неутомимо ведут передвижническую работу, таская книги на горбу на деревообрабатывающий овсянский завод и в Молодёжный поселок, не давая населению окончательно спиться и одичать.

Кроме того, в овсянской библиотеке часто бывают гости: писатели, артисты, иногда и иностранные гости, — им как раз и нравится библиотека с её "сельским ликом", опрятностью и уютом. Библиотечные работники здесь же проводят встречи с писателями, деятелями культуры, и, наверное, ни одна сельская библиотека не может сравниться с овсянской по количеству проверенных мероприятий и бережному, любовному к ней отношению.

Я как могу и чем могу помогаю библиотеке родного села.

И вот снова слухи докатились до села: снести, перестроить, поместить её в Дом культуры, где будет музыкальное училище, конференц- и спортзал? На хрена, скажите вы мне, добрые люди, Овсянке конференц-зал?! Громко звучит,да? Ну и стройте его там, где это звучит, а библиотеку не троньте, лучше помогите ей.

Виктор Астафьев

[Только в конце 80-х в Овсянке было построено здание библиотеки. — Сост.]

1984 год

3 февраля 1984 г.

Красноярск

(Адресат не установлен)

Дорогая Галя!

Уже февраль наступил, а я всё не соберусь отозваться на твоё новогоднее письмо и рассказ о вечере, посвящённом Вите.

Слава богу, что всё обошлось благородно, а то ведь разучились уважать с достоинством живых и чтить достойно покойных. Даже это делать разучились!

Нонче весной померла моя предпоследняя тётка в деревне, Апроня (Апраксия Ильинична), и опустел бабушкин дом. Так я шибко переживал, а потом радовался, что старушку схоронили с пением молитв, благостью, с причащением и помянули хорошо, хоть и водка текла полноводней Енисея. Живую-то мать детям всё некогда было навешать, мной и общением со мной жила старушка (благо, дома напротив, я нарочно так и покупал), так водкой хотели стыд мужицкий потопить. А уже через месяц схватились братья мои в топоры, по пустяку, конечно, и я уж рад (как слово-то всё время некстати подвёртывается!), что они наладились продать бабушкин дом. Чужих людей будет легче перенести в родном подворье, чем пьяных скандалящих родичей.

На каникулы к нам приезжала Ирина с Витей и Поленькой, радости и мороки не было конца. Ребята, особенно Поленька, со времени сбиты, спят днём, а ночью Полька проснётся и по всем комнатам бродит, песни поёт, по деду ползает и на башку наступает. Явилась с фонарём во всё лицо, да тут ещё штуки три синяка добыла. Такая боевая коммунистка, спасу нет!

Потом провожали их до Москвы, купили кое-что из продуктов и вечером усадили в поезд. Доехали они хорошо, а я весь утоп в делах и суете. А тут юбилей надвигается, всякие дёргания и посетители по поводу этого, и, как всегда вовремя, вёрстка

сборника — бух на стол! — и как всегда «скорей!», «горим!» «план срываем!..» А чтение для меня стало не менее трудным процессом, чем писание, сдаёт мой зрячий глаз, не может много и быстро читать, болит от чтения контуженная голова. Да кто об этих делах и печалях, кроме жены, знает и хочет знать?

Вчера вёрстку сдал, целый день с нею возились редактор и я. Сегодня полувыходной, отписываю ответы, хотя бы некоторые, на письма.

Всё лето я работал, и много работал. Начал давно носимую книгу о войне. Очень устал, полный нервный износ, высокое давление, обострение всего, вплоть до геморроя. Хотел передохнуть, отвлечься, поехал партизаном на местный курорт в Алтайском крае. Нарвался на жида, пишущего стихи, и на главврача, от скудоумия балующуюся литературой. А поскольку мне уж блевать впору было от одного слова «литература», то я отказался читать их и общаться с ними уклонился, так они мне устроили «отдых»... Через две недели совершенно уж больной утёк я домой и до сих пор с трудом налаживаюсь. Хорошо, что у нас зима прекрасная, сухая, морозная и родная природа врачует меня.

Разумеется, ни о каком переезде в Ленинград, даже под конвоем, речи быть не может. Я приехал домой помирать, и здесь мне, после гнилого северо-запада хорошо, хотя бы с точки климата, суше, покойней, народу меньше, хотя, конечно, совсем от него не спрячешься.

Кладбище у нас в двух верстах от села, в лесу, на приволье, раньше здесь пашни были — Шихматовский улус звалось это место по фамилии Шихматовских, большого населения нашего села, вот туда и поеду со временем, а более уж никуда не тянет, разве что изредка в тайгу иль на рыбалку выберусь.

Да и здоровье наше, особливо у Марьи Семёновны, пошатнулось. Износ сталинских «счастливых» времён даром не прошёл, сейчас вся борьба с нуждой наружу выходит и требует, чтоб мы помянули дорогих вождей, предавших нас и бросивших на произвол судьбы после войны, достойными их поганой памяти словами.

Кланяюсь. Виктор Петрович

P. S. От юбилейных дней я отсюда вместе с Марьей смотаюсь на всю весну.

23 июня 1984 г.
Овсянка
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Я уж и не помню, когда тебе писал. Почта зарыла меня в свои недра. Лишь днями я вышел из больницы. Лечили меня. Обследовали. И до того долечили и дообследовали, что я уж возопил и взбунтовался, хотя всегда являюсь образцовым больным, всё пью, под уколы подставляюсь, считая, что люди мне добра хотят.

Потом уж невтерпёж стало. К лёгким присоединились сердце, печень и такая апатия, такой пространственный пессимизм, что и никакие юбилейные хвалы во мне не отозвались. Да и какое тут может быть эхо, когда в день рождения пьёшь брусничную воду?! Эхо, оно бывает, ежели гуляешь как следует — ведро выпьешь, лохань корму съешь, вот тогда эхо и в душе, и в сортире!..

Интересно же бывает на свете!.. Ты мне Витю Конецкого описал... Очень хороший мужик, в самом деле, и писатель первоклассный, но у нас же блядство, а не критика, вот и замалчивают его. Впрочем, читатель его хорошо знает, настоящий читатель, а не массовое это барахло, производимое самой «передовой» в мире педагогикой и оголтелой демагогией. Я как раз начал читать в прошлом году присланную им книжку (с дурацким, правда, названием: «В сугубо внутренних водах») и ещё раз порадовался крепости его пера, богатству воображения. И весь его голос, и сам он в своей прозе, даже в прозе-то лучше, угадывается и читается, а то напустит на себя "аристократического черта" и в сноба начнёт поигрывать.

А Абрамова и я не любил как человека, и не всё им написанное ставлю на уровень мировой литературы. Он автор одной книги «Две зимы и три лета», которую потом подпортил хлёстким и даже залихватским романом «Дом», очень дурно, торопливо писаным, и главное — торопливыми наблюдениями сугубо уже огорожанившегося человека заполненным. И ещё люблю у него и выделяю из всей литературы «Жила-была семужка» и очерк «Вокруг да около». Но его письма, назидания крестьянам, присвоенное себе право всех поучать, наставлять и чваниться своей гениальной простотой — всё это было отвратительно. Он не любил людей, особенно не любил тех, кто, казалось ему, добился большего, чем он, и, по его понятию, совершенно незаслуженного преуспеяния. В нём таился человечишка, вставленный в природный дар, не столь уж и большой, сколь ловкий, но дар истинный, природный, который долго мешал ему прорваться, куда он хотел — на трибуны, в газеты, в кабинеты, где он орал якобы от имени народа и «за народ». А на самом деле всё это было непомерной амбицией и делалось ради всё затемняющего, даже разум, тщеславия.

Его, по душе, не любил никто, и он никого не любил, даже

бабу свою, шибко тоже надменную и «много об себе понимающую», звал он её «моя барыня» и сделал он ради неё много и многим когда-то поступился.

Ну, да бог с ним теперь. Все мы не ангелы и все источены, как дерево короедом, нашим грозным и фальшивым временем.

Я пока ещё не работаю и, наверное, летом работать не буду. У нас с середины июня наступило погодье и тепло, но всё как-то душно, тревожно. Видно, отголоски среднерусских смерчей и нас достают с высей. Особенно какой-то грузный, удушливый и тревожный день был вчера. Видно, Господь напоминает о начале неслыханного ещё кровопролития и тайной, в природе сокрытой, духотищей прижимает нас и тревожит сердце, напоминая об этом и упреждая, чтоб 22 июня более не повторялось.

Подействует ли? Сомневаюсь. Уж больно разброд на земле большой и всё большую скорость и силу набирающий. А противостоять бедствиям и, может быть, гибели может уже только разумное, крепко за руки взявшееся сообщество людей, а не стадо испуганных баранов и много веков гоняющих их и рвущих стай волков.

К нам приехали внуки с дочерью. Веселят нас и развлекают. Особенно младшая девица — она и цирк, и театр, и кино, и все развлекательные места и средства заменяет собою. Всё лето мы будем здесь, мне никуда ехать нельзя. Мечтаю лишь в сентябре выбраться на Амур и притоки его, к хорошим людям, а не к пьяницам. Подгони-ка время и деньги на всякий случай к сентябрю. Конечно, ты можешь и в Хабаровске подработать, там журнал и много рукописей всяких, напишешь «обсёр» или чей-то «патрет», но лучше просто так, с фотоаппаратом и удочкой ехать.

Ну, я заканчиваю, рука устала, всего не напишешь. Надо повидаться поговорить неторопливо, а ещё лучше порыбачить. Хорошую рыбалку обещают на Амуре. В восьмом номере «Нового мира» идёт мой рассказ, ежели цензура не зарежет *[«Медвежья кровь». — Сост.]*. Я там тебя абзацем задел, не всё тебе надо мной тешиться словесно и анализу меня подвергать, попался и ты, субчик, на перо или на уду, как хочешь, так и считай.

О Чусовом ничего не пишу. Лучше поговорить. Очень грустная и сладкая тоска о нём в сердце.

Обнимаю. Виктор Петрович

15 июля 1984 г.

(О.К.Селянскому)

Дорогой Олег!

Вот, лишь днями отправлены книги на твоё имя. Послужи ещё сибирской литературе, отвези их в больницу. Дуньки

больничные написали мне список, будто ведомость на зарплату — фамилия и инициалы, а имени-отчества своего, видать, и сами уже не помнят.

Не отправили книги раньше оттого, что запурхались. Я лишь в середине июня выбрался из больницы, под честное слово. Потом приехала из Вологды дочь с детьми, собирались в деревню. На моём столе почты и деловой, и праздной, дел обязательных и необязательных скопилась тьма. А делалка моя притупилась, прежней прыти уже нет.

За период лежания в больнице мне подладили лёгкие, но при этом разладили всё остальное, вплоть до сранья, и я иногда по три дня облегчиться не могу — силов нету, то по пять раз за ночь бегаю. Как говорил мой тесть: «Почту гоняю». Юмористы вы, чусовляне! От роду большие юмористы.

Сейчас я уже немного очухался, хотя у нас не было весны и нет лета, сыро, холодно. Ладно, хоть смерчей и ураганов нету. Читал я, вас тоже они достали, и подумал: «Ещё унесёт в пространствие Гринблата с Лебедевой и выбросит, в качестве удобрения, на садовые участки, что тогда делать будет перьмская литература!»

Разок я уже съездил на рыбалку. На водохранилище щука берёт — сколь забросишь, столь и поймаешь. Небольшая, до килограмма, но такая юркая, что спиннинг я об неё поломал. Рыбёшка — смесь карася с карпом — ходит на удочке, как лошадь, но, как и все героические существа, быстро выдыхается, ложится на бок и отворяет хлебало, тут его, голубчика, за зебры и в лодку.

Надоело и это занятие, пошли за харюзом на речку, притоков бывшего Енисея тьма и все с харюзом и ленком. Зашли с устья одной малюсенькой речки, я поймал пять харюзов, два хороших, и двенадцать клещей, товарищ мой поймал четырёх харюзов и пятнадцать клещей, после чего охота ходить в тайгу у нас пропала. В прошлом году у нас тоже было плохое лето, и клеш продержался в заглушье до сентября. Нонче он, думаю, вступит в соц. соревнование с прошлогодним клещом и выдюжит до февраля, а там, глядишь, круглогодично начнёт действовать и разить советских тружеников и бродяг. изгоняя их из испохабленной природы, которая начинает огрызаться смертью. Очень много нонче смертельных случаев от энцефалита и прочих, зачастую неизвестных никому болезней печени, крови, мозга. Война, самим же человеком развязанная, так и не прекращалась, а кто был нам вроде бы и безобидным другом, переходит в наступление — и горе тому, кто вступает в ссору с природой, его породившей. Недаром же начались конфликты между детьми и

родителями, ох недаром! Бесчувственные родители, не наученные никого почитать и любить, вымётывают икру, из которой вылупляются существа под названием акселераты, ни стыда у них, ни совести, ни памяти, ни любви, от всего свободны, кроме похоти и желания поиграть да напиться.

Я ещё не работаю и вот позволяю себе поболтать в письме. Получил два письма от Коли Вагнера, спасибо и привет ему, одно от чусовлянина и тоже юмориста М. Голубкова. Он сулился мне послать отрывок из повести для журнала «Охота» — напомни ему об этом, ибо написать я соберусь не скоро. Надо гору писем со стола пустить в стол, а там и клубника в лесу поспеет, смородина чёрная — надо съездить.

В сентябре двину на Амур, в гости к ихтиологам, в октябре — в Японию, в гости к хитренькому узкоглазенькому издателю, за мир бороться будем с ним совместно, и тут уже кто кого!..

Обнимаю тебя. Не хворай! Всем поклоны. В первую голову домашним. Твой Виктор

1 ноября 1984 г.

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин

Ну, всё тебе об нас известно, окромя того, что в октябре, в начале, развалили в овсянской избе печку, глины привезли, изготовились к атаке... Утром встаю, до конька снегу и свету белого не видать. Ну, я же у каких полководцев воевал? Самых лучших, самых умных, самых честных и храбрых! В атаку и всё, хоть тут камни с неба вались! И пошли в атаку, и неделю с печкой провозились, и пока долезли до крыши, сделалось минус 15. Тут я отступать начал и бёг аж до Ставрополя, не оглядываясь, оставив избу без шубы.

В Ставрополе и Пятигорске было ещё тепло, много цветов. Мероприятие было хорошо организовано. Из-за овсянского лихопогодья я отказался ехать на Домбай, где было холодно, и остался «внизу» и повёз бригаду аж из пяти творческих умов и куда думаешь? В Александровский район, где родился и жил известный всем лауреат Нобелевской премии [*Александр Исаевич Солженицын. — Сост.*] и где его поминают либо в шутку, либо с грустной улыбкой, качая головой, со злом никто при мне не поминал.

Время ведёт неумолимую работу, и оно «честнее нас», сказал не то Карамзин, не то Пушкин, а может, и я мимоходом придумал. А совсем оглохший Витя Лихоносов, стесняющийся своего недуга, как ему казалось, тихо, а на самом деле звонким, как и все глухие, голосом, указуя перстом вверх, вещал: «Не зря и не напрасно мы именно сюда угодили. Есть что-то там, что распоряжается нами помимо нашей воли».

Хорошее место, умный и сдержанный секретарь райкома, гостеприимный и юмористый председатель богатого колхоза, посещение конезавода, где я обнаружил, что лошади не только древнее нас, но и мудрее. Видимым подчинением и красотою своею, да глубокой печалью в прекрасных глазах они явственно говорят нам, что пора уж за ум взяться, не свирепствовать на земле, беречь всё живое, а значит, и себя. Но что нам тот конский немой глас? Мы сами с усами! И, конечно, никаким, даже самым красивым разумным существам, видимо, уж не образумить нас.

Пишу вот тебе, а перед глазами газета с портретом изрешечённой пулями Индиры Ганди, далёкой от нас и непонятной, а всё же человека, и не просто человека — женщины. матери, какого-никакого мыслителя. Убили, кретины, чтоб расчистить дорогу к трону кретинам ещё большим...

В Москве на этот раз как-то непонятно провели время. Два раза были в театре и оба раза в Малом, и оба раза удачно. Навестили любезных моему сердцу художников, чудесных русских братьев Ткачёвых, Алёшу и Сергея, пробыли у них почти целый незабываемый день. Побывали дома у Анатолия Дмитриевича Папанова, навестили дома больного Михаила Ульянова и повидались с Толей Заболоцким, с Лёвой Дуровым и со всеми приятными нашему сердцу людьми. А то ведь я часто в Москве лежу у друга в квартире, смотрю телевизор, а всё равно умудряюсь увезти полную душу харчков. которые попадают в столице нашей даже сквозь стены.

Письмо твоё о смерти отца пришло как раз в момент эпопеи с печкой, я ничего не мог писать, даже в Ленинград на конференцию по Шукшину не поехал, что вызвало, конечно же, кривотолки и раздражение некоторых «борцов», более любящих своих собратьев вдогонку, да и не угодить мне всем-то, а погреться надо было.

Вернулся сюда — осень наладилась и хорошо постояла, но вот второй день, будто на Вологодчине — сыро, снежно, дождливо. Болит всё, но особенно болит раненое лёгкое, даже не само оно, его только печёт, а все над ним псами, кости и весь плечевой левый сустав, будто под горячим кирпичом.

Вероятно, после праздника лягу дней на 10 в больницу, чтоб

покололи, подладили для поездки в Японию, которая намечена на 10 декабря. А перед этим, 30 ноября, если буду здоров, хоть относительно, залечу в Ленинград с бригадою издательства «Советская Россия» и, наверное, там и договорюсь об издании твоей книги об Агине, либо в «Современнике», где директором сейчас Лёня Фролов, и мне с ним договориться, пожалуй что, легче, нежели с Юрой Бычковым, которого я не видал лет двадцать с лишним и даже не знал, что он есть такой большой начальник. Но ежели надо, пойду и к Бычкову. Будь всегда уверен в том, что я ещё не устал помогать людям всем, чем могу, а тебе тем более. Делай книгу без оглядок, и, я уверен, она будет интересная.

Чигал я твою статью о романе Боршаговского об Агине и подумал, что ежели роман на уровне твоей статьи, то это должен быть выдающийся роман, однако я его не читал.

Завален делами. Набросал в августе четыре рассказа, один, кажется, стоящий, его и добиваю. Рассказ большой, почти на два листа, сейчас он в той стадии, когда ему надо полежать месяца три, и тогда я его доконаю [*рассказ «Лишь прожить». — Сост.*]. Сделаю и те три «рыбацких» рассказа. В них, правда, зла больше, чем рыбы, но куда же деваться-то? В задумке ещё четыре рассказа. Надеюсь зимой их написать, хотя бы вчерне. Это много, конечно, но тут я заглянул в очередной том Диккенса, а в нём самая мной любимая его вещь «Дэвид Копперфильд» (когда-то я мог читать такие толстенные книги! Даже и не верится!), и обратил внимание на объём — вышло столько же что и у Пети Проскурина в «Судьбе». Я давай углубляться, читаю, перечитываю и глазу своему не верю: над «Дэвидом Копперфильдом» Диккенс начал работать в феврале 1849 года. Первый выпуск романа вышел в мае того же года. С последним выпуском читатели познакомились в декабре 1850 года. Это что же они, буржуи проклятые, делают с нами, а?! И писатели, и издатели. Это ж их не зря хотели и хотят похерить. Это ж они компрометируют не только наш передовой век неслыханного прогресса, но и передовое наше, до зубов вооруженное техникой опчество низводят до пещерного уровня. 55 листов исписать за несколько месяцев и издать в течение нескольких недель?! Ну-у, братцы, так нельзя, так нечестно. Это же издевательство над нами, это ж выходит, что в прошлом веке работали лучше, быстрее и качественней нас, таких самоуверенных, таких болтливых и самовлюблённых. Лучше их, гадов, и не открывать.

Был в Пятигорске в доме Лермонтова в его юбилей. Толканул какую-то речужку возле памятника, в любопытной толпе изнывающих от безделья осенних курортников, стоя на дорожке

средь цветов перед микрофоном. И памятник-то сзади почто-то оказался, и Лермонтов, вроде как отвернувшись юным ликом в лес, слушал этакий полупьяный бред... До сих пор чувство неловкости в глубине души. Не умеем себя вести не только средь «своих», но и среди «них», святых людей, на святых местах.

Ещё я хочу написать пьесу и вместе с Ромой Солнцевым составляю сборник одного стихотворения для «Современника». Надоело слышать одно и то же, намозолили уши одни и те же, уже при жизни оплесневелые имена, хочется хоть немного приподнять занавеску над заживо похороненной Россией - помоги нам. Ты сносно знаешь поэзию, и не просто рекомендациями помоги, а пришли стихи — самое, самое лучшее. Лучшее одно. В ворохе и в книгах если рыться, мы вдвоём утонем, да и уже почти утонули. Периферия спохватилась и давай валить нам навильники стихов, сами из себя выбирать не хотят и не умеют.

Скажи Саше Бологову, чтоб он нам помог в этом деле, и ещё я просил Сашу и повторяю свою просьбу: пусть псковитяне, ленинградцы, новгородцы и все, кого вы знаете, пошлют свои книги по адресу: 663081 Красноярский край, Дивногорский район, село Овсянка, библиотека. Стыд и срам, но в моём родном селе, в чистенькой библиотеке, где работают за нищенскую зарплату женщины, убогий-разубогий книжный фонд. Помогите!

Засим прими моё сочувствие. От этой беды, увы, никуда не денешься. Поцелуй своих домашних — жену и сына. А я и Марья Семёновна обнимаем вас и поздравляем с надвигающимся праздником. Преданно. Виктор Петрович

P. S. Стихи только российской провинции — у москвичей и ленинградцев есть «День поэзии» и много других «трибун», с которых ворохами валится поэтическая солома...

5 ноября 1984 г.
Красноярск
(Р.А.Балакшину)
Дорогой Роберт!

Прости ты меня бога ради за статью. Подарили мне чемодан под названием «дипломат», да ещё и английский, и стал этот «дипломат» ящиком для чистых бумаг. Получая по почте рукописи, я их складывал в сей «дипломат», заказывая себе прочесть всё в деревне, но поскольку никогда и ни с какими аксессуарами мысли и творчество не таскал (поначалу от стеснения носил рукописи в рукаве, так вот нёс «Звездопад» в «Знамя», а зашёл по пути к приятелю в журнал «Молодая гвардия», и, увидев за рукавом пиджака рукопись, он её выпросил почитать, и так эта повесть, подвергнувшись кастрации, оказалась

в этом журнале), — словом, забыл я «дипломат» под столом и всё, что в нём было прочитано до зимы.

Теперь открыл заслонки и ужаснулся: и от того, что всё это надо читать, и от того что люди же ждут. Один автор (аж сатирической повести) из Куйбышева, наверное, уже и поседел, ожидая моего приговора.

Статья твоя очень любопытная и написана хорошо. Её бы надо поместить в сборнике «Отечество», издающемся в Москве, и вологодские робята должны поспособствовать тебе в этом. А более и не знаю, где могут напечатать. Может быть, стоит послать копию статьи академику Борису Александровичу Рыбакову? Белов, наверное, знает его адрес, да и в галерее поди-ко знают.

Письму твоему тоже рад. Очень хорошо, что с приёмом все так славно получилось. Рад за тебя. Ты «развиваешься» нормально и даже вот становишься граждански активным человеком — это совершенно необходимо в наш век. На отшибе от жизни, а значит, от воистину дорогой действительности могут жить только себялюбы и равнодушные люди. Настоящий писатель не может быть этаким, у него обо всём душа болит. С наступающим вас праздником! Кланяюсь, целую, Виктор Петрович. Марья Семёновна присоединяется. В конце ноября, быть может, окажемся в Вологде.

15 ноября 1984 г.

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин! Да, конечно, русскую печку сложили, и очень красивую, тёплую, хотя эта современная интеллигенция, ну совсем охеревшая от мод, настаивала сотворить камин. Камин им, бля, сауну, участок с дачей, хрусталя, ковров и машинёшку, тогда хоть небо рушься — всем довольны!

Вы, если будете делать каменку (тоже ведь пижонство, только обратного порядка!), выбирайте средних размеров камень, желательно гладкий, обмытый водой, и зорко следите, чтоб не попал дресвяной, пористый камень, а то угорите и подохнете от пижонства в расцвете лет.

Я сейчас в больнице. Лёг на полмесяца подладиться перед поездкой в Ленинград, Вологду, и вот пришла телеграмма — 7 декабря в Японию. Зима у нас взялась за дело хорошо. Сегодня было минус 30 утром, да и неделю с лишним меньше минус 20 нету, но сухо, солнечно, морозно, погода моя, и я даже пытаюсь между уколами и процедурами работать. Два из четырёх летом написанных рассказа почти доделал, один мне и самому по душе — это попытка сделать подобие современных «старосветских

помещиков», правда, в мужицком облике. Получилось и сурово, и трогательно, чего я и хотел. Рассказ большой — 62 страницы, и хоть в этом, в количестве страниц, я Николая Васильевича превзошёл, а в остальном-то никому и никогда его уже не превзойти. Он, как планета наша, видимо, неповторим в мироздании мысли, слова и природности, да и в изображении России и россиян. Даже Фёдор Михайлович в этом деле ему не соперник.

Стихами ты нам помог. Толи Гребнева стихи у меня есть, и я бы нашёл что-то, но стихотворение ангарского парня (Анатолия Кобенкова), лучшее из присланных, я бы и не узнал.

Провинция-мама! Взяли мы с Ромкой Солнцевым на себя благородный и тягостный труд — напечатать антологию одного стихотворения профессионально работающих авторов, чтоб как-то образумить публику, помешанную на Высоцком и ещё двух-трёх поэтах, ничего не читающую и не знающую, да и знать не желающую! Написали письма в организации, в города, поэтам — обрушился на нас поток книжек, папки рукописей. Не хочет провинциальный российский поэт отобрать своё лучшее стихотворение или не знает его у себя. Но больше из-за лени, из-за инертности, будто все ему обязаны, и мы тоже, а он оставил за собой право лишь ныть, жаловаться на невнимание, судьбу и бегать по платным аудиториям, сшибая червонец на простой и жидкий апплодисмент для самоутешения.

Конечно же, много хороших стихов попадается в море стихоплётства, есть просто выдающиеся поэты и среди живых — Володя Жуков, Федя Сухов, Асламов, те же покойные Ручьёв, Рубцов, Прасолов, но какое же количество ужасающее поэтического назьма, уже и перегноя. Горами, полосами, отвалами заполнены книжки с квасным местным патриотизмом, злобой дня, убогой уединённостью, плачем о деревне и криками о Родине, нигде никто не поднимается до откровения: «люблю Отчизну я, но странною любовью».

Не знаю, сколь будет пользы дорогому читателю от нашей работы, но для меня лично польза большая, она освободит меня от всяческих заблуждений, насчёт нашей «высокой» культуры вообще и от преувеличений всяческих в частности. [*Антология одного стихотворения российских поэтов «Час России» вышла в издательстве «Современник» в 1988 г. Составители В. Астафьев и Р. Солнцев передали гонорар за эту книгу в Детский фонд страны. — Сост.*]

Книгу, куда ты велишь, непременно пошлю, если ранее не послал (ты ведь мне уже писал об этом), коли не забуду. У нас расширяется квартира — подсоединяют соседнюю,

двухкомнатную — задыхаюсь от книжной пыли, да и когда дети приезжают, спать негде.

Вот пока и всё. Писать неловко. Столик низкий, а пузо у меня, невзирая на болести, по-прежнему толстое, хоть я и хлеба не ем, и водку не пью, и ничего, кроме художественной литературы, не делаю.

Поклон твоим домашним и Саше Бологову. У Игоря-то Григорьева, наверное, тоже один хороший стишок найдётся? Помнится, когда он не дурел, вроде писал путём. Давайте, помогайте, россияне, доброму делу...

Обнимаю. Виктор Петрович

27 ноября 1984 г.

(В.А.Зубкову)

Дорогой Владимир Анатольевич!

Пишу почти на ходу, поэтому кратко — включайте, что хотите, только сборники присылайте, пожалуйста. С тех пор, как книжка попала в «дехвицит», перестали присылать авторские, а издательство «Радуга» даже в договоре оговаривает сие, и я им недавно прямо на договоре крупно с руганью написал, что хорошо устроились, ничем не обязаны автору.

Да, эпизод повешенья целиком списан с жизни — это было в первый раз в моей жизни, когда я видел, как вешает человек человека, и на всю жизнь, и я же был, и провалился из-за этого на смотре и не попал «в ансамблю». Я ж когда-то неплохо пел. Конечно же, с самого начала всё это в рассказе было, и, начиная с «Нового мира» его холостили [*речь о рассказе «Ясным ли днём» - Сост.*]. Один раз, в пермском сборнике «Молодой человек», мне удалось напечатать рассказ целиком *[«Молодой человек» — сборник произведений пермских авторов, несколько раз выпускавшийся Пермским книжным издательством в 60-е годы. — Сост.]*. Я берёг книжку до хороших времён, но они так и не наступили и едва ли наступят. А вот была у меня редакторша «Молодой гвардии», в доску своя, и я чуть не на коленях умолял её вставить некоторые куски в «Царь-рыбе» и некоторых других вещах. А «Ясным ли днём» расклеил нагло по «Молодому человеку». Второй сборник мне пожертвовал Саша Граевский — ах, как жалко мужика, как жалко! *[Александр Граевский — в 60-е годы главный редактор Пермского книжного издательства, фронтовик, друг Астафьева, рано ушедший из жизни. — Сост.]* — и редакторша «не заметила» расклейки по-старому, где-то откопанному изданию и, как потом призналась, молилась втихаря, чтоб ещё кто не заметил. Теперь я везде стараюсь

издавать рассказ целиком, но вот находятся бдительные «издатели» (я только после Вашего письма заглянул в книжку) центрального столичного (!) издательства и на всякий случай пасут свою шкуру. Я, конечно, насрамлю их, да толку-то!..

Поклон всем «нашим» в издательстве. Поскольку уезжаю я надолго и далеко — аж в Японию, то шлю вам новогодние приветы и пожелания — главное здоровья и мира, а остальное уж всё стало игрушками.

Пусть будут здоровы и Ваши близкие, а Вам пусть хорошо живётся и работается. Кланяюсь Вам. Виктор Петрович

30 декабря 1984 г.

(В.Г.Распутину)

Дорогой Валентин! Пришло твоё письмо, и что-то так мне от него хорошо на душе стало, что я тут же «взялся за перо», как говорят маститые современные литера-мыслители, хотя дома... мне расширяют квартиру. Бондарев летом был здесь проездом и с уничижительной улыбкой, как он только может (и это часто не от ощущения только власти), так вот вопросик: «У классика Чаковского квартира в центре Москвы сто сорок квадратных метров, а у писателя Астафьева на окраине Красноярска — тридцать пять, так что, в вашем воображении именно такие масштабы квадратных метров соответствуют их масштабам гражданским и писательским?» И стукнул где-то там, в крайкоме, кулаком по столу.

Ну, далее долго рассказывать. Подсоединили мне соседнюю двухкомнатную квартиру, давши семье детной соседской трёхкомнатную, и добрые люди из опять же краеведческого музея, где меня родственно любят, взяли на себя всю канитель по объединению и ремонту квартиры, и пока я был в Японии, а Мария Семёновна в Вологде, в основном, всё и сделали.

Да манатки-то и книги, ремонт вверх дном... Надо заказать стеллажи, и нету в магазинах полок. Марья моя умоталась до последнего краю и кабы не захворала. Зато дальняя, дальняя комнатёнка, с видом на Енисей, уже почти в порядке, и я теперь здесь и сплю, и работаю. Поскольку уединения для работы у меня, кажись, и не было сроду, то избушке в Овсянке и этому вот кабинетику я рад, как самому дорогому подарку судьбы.

Да, я знаю, что мы в Москве разъехались, и ещё теперь знаю, что в Японию предлагалось послать нас вместе, да поехал туда со мною отвратительный грузин, вместивший в себя всё ничтожество и маразм современного торгаша-грузина, однако и ему не удалось испортить мне поездку.

Съездил я здорово. Принимали меня... расскажу потом, как

принимали, а пока передаю тебе поклон от Харуко-сан, твоей переводчицы, уже побывавшей в Иркутске и снова туда собирающейся в свадебное путешествие. Уж чем ты её пронял и какой заботой окружил, не знаю, но она так была ко мне внимательна, предупредительна, так хлопотала, что я уже сдерживал её порывы и порой брал под руку, чтоб она, как моя Марья Семёновна (а они ростиком и со спины одинаковы), не убегала от меня в порыве заботы о человеке. И это дочь миллионера! Ах, мамочки мои, чем дольше живу, тем глупее себя ощущаю.

Да-а, дома, мимоходом узнал, что ты после Мексики побыл в Иркутске всего три дня и улетел в Сишеа (США), читать лекции в Гарвардском, ага, университете! И снится мне сон (это ещё до получения твоего письма): какой-то зал, смахивающий на зал пригородного чусовского колхоза «Большевик», где я сутками сиживал на отчётно-выборных собраниях (от газеты), народишко в платках и телогрейках, трибуна из фанеры, проломленная пинком спереду, и на трибуне ты, да вроде и под мухой. Чё-то умное говорил, говорил про нашу литературу, а потом и ахнул: «Вот чего достигла наша литература в последние десятилетия, а вы, бляди, Астафьева не издаёте!..» Тут я заёрзал где-то (ну, значит, на кровати) и подумал: «Чего же это он так-то, сразу и бляди! За рубежом же, надо ж тут марку даржать, и, кроме того, они издавали меня, говорят, даже видели в Сингапуре книжку какого-то солидного американского издательства, сборник рассказов от Пушкина, Гоголя и аж до меня и Василия Белова. Э-эх, зря я Валентину осенью ту книжку не показал, он бы так не выражался...» Ну дальше полезли крысы, трупы, я их топтал, крыс-то, и даже пробовал есть вместе с шерстью и, Маня говорит, сильно, задушенно кашлял — это идёт во мне роман о войне и видятся сцены Днепровского плацдарма. Надо как-то писать, избавляться, иначе задушит.

В Японии, Валя, тебя ждут, и тебе надо туда съездить. Они, японцы, предполагают пригласить тебя весною, но и осенью, когда у нас холодно, там совсем хорошо, плюс 8—15, есть ещё зелень, мандарины на деревьях. Я один, будучи в гостях у очень умного человека и писателя, сорвал и довёз до Красноярска, вон он на тумбочке лежит, светит, будто позднее солнышко.

Плохо мне стало лишь в одном месте, в Хиросиме, это опять же из-за романа, который горит, ворочается во мне. И ещё я очень тяжело пережил два местных землетрясения, видимо, колебания эти очень вкрадчивые, совсем не жуткие, сшевелили контузию в голове и череп мой раскалывало, я уже не мог уснуть более, а на сон и без того мало времени оставалось, и под конец очень устал.

Работал много, два-три выступления, встречи, разговоры, да и выпивки, пусть и слабые, по нашим масштабам. В разговорах, в отличие, скажем, от поляков, японцы скорее любопытны и умеют слушать, а враждебности нет. Лишь один раз где-то что-то коснулось нашей демократии, но я их, япошек, тут же сокрушил, сказавши, что сам я рядовой и беспартийный, а жена у меня коммунист и старший сержант...

Сразу же моя Марья представилась, наверное, в кожаной куртке и галифе, персонажем из жуткой трагикомедии под названием «Оптимистическая», которая, наставив на меня маузер, сквозь зубы спрашивает: «Хочешь ли ты ещё комиссарского тела?», и япошки жалостно заморгали, примолкли озадаченно, им из их патриархального семейного уклада такие инсинуации совсем недоступны, уму ихнему непостижимы. Слово это, «инсинуации», я заимствовал из репертуара одного пермского журналиста, он, как напьётся бывало, а пил часто и много (потому и помер рано), всё бывало плакал: «Вот у тебя отец или дед твой коммунист, а мой даже в профосюзе не побывал...» И чуть чего — кулаком по столу, очками сверкнёт и, как ему, поди, казалось, гаркнет: «Всё это инсинуации, ёптвою мать!..» Что сие слово означает, он так, по-моему, и не успел выучить. Да и я тоже.

Дак вот, «инсинуаций» с награждениями я пережил много. У меня были великие минуты в жизни, связанные с награждением, светлые минуты, можно сказать: Это когда мне за выбитый на Днепре глаз вручали медаль «За отвагу» — самая моя дорогая награда, самая памятная. Я утерял от неё ленточку и колодку, а сама медаль жива до сих пор, и я ею горжусь. Более мне гордиться нечем, может, ещё тем, что изо всех своих сил я берёг свою солдатскую честь и шибко бы слукавил, если б сказал, что сберёг её совсем без пятен, однако многим и многим даже этого сделать не удалось — сохранить хоть дальний уголок души в чистоте и почтении к своим друзьям, к маме, к бабушке и к деду.

Ну-с, Валентин, я тоже чувствую тебя рядом, всего пятьсот вёрст (япошки ахали и хохотали от души, услышав о таком «пустяковом» для нас расстоянии), и тоже живу и держусь твоей незримой поддержкой и теплотой. Ещё очень люблю Николая Николаевича Яновского и Валю Курбатова. Слава богу, что мы не одиноки, хоть снаружи, слава богу! И ещё я очень люблю эту проклятую работу. Пробовал бросить — не могу. И вот нонче, после болезни, накатал четыре рассказа, два уже успел отделать и один отдал в «Новый мир», другой в «Юность». Карпов хочет ставить рассказ в юбилейный номер, я ему говорю, не надо, не юбилейный автор, а он тоже, как пермский журналист,

хорохорится, надену, говорит Геройскую Звезду, погоны полковничьи и пойду по инстанциям. Ну, если уж с таким безобидным, на мой взгляд, рассказом надо ходить по инстанциям, то дела наши совсем плохи.

Однако не всё ж в письме, кое-что оставлю и для разговору. Если Харуко-сан объявится весною или летом, предупреди меня заранее и я, взявши за бок свою, тоже кривоногую, сан, рвану к тебе. Харуко-сан, прощаясь, сказала на чистом руссом языке: «Я и мус будем ссясливы...», и нам будет повод повидаться.

Хочу в этом году написать ещё три рассказа и доделать черновики в романе, пройтись по сценарию «Где-то гремит война» (трёхсерийный, телевизионный) хозяйской рукой.

Чем меньше остаётся годов, тем больше хочется сделать. Почаще вспоминай-ка брат мой, не совсем уж и младший, об этом и ещё о том, что весь душевный неуют, вся депрессия и даже хвори сгорают в нашей надсадной работе, сгорают, как бы возрождая из пепла самого тебя более просветлённого и жизнелюбивого или жизнеспособного.

Кудряво сказал и ещё бы кудрявее хотел, да не умею. Желаю тебе работы, работы и не только «унутренней», но и «унешней». Обнимаю тебя, целую, Свете и ребятишкам кланяюсь. С Новым годом! Мир дому Вашему и миру большому — мир! Твой Виктор Петрович

1984 г.

(П.П.Коваленко)

Дорогой Пётр Павлович! (имя-отчество моего отца!)

Прости меня, грешного, — читал твои стихи мало и вразброс. Сейчас вот, после твоего честного и мужественного письма прочёл обе книжки подряд. Нового ничего не открыл и не услышал, но то, что ты поэт органичный, проще говоря, родился со стихом в груди и поэтическим звуком в сердце — это точно.

Очень много на Руси нашей было и ушло в никуда поэтических дарований. Тут и нужда житейская, и чувство самоуничижения, и давление близких, особенно жён, не желающих верить, что мужик ей попался сочинитель, с которым жить трудно, временами просто невыносимо, да и голодно. Всё же в другой организации судьба твоя, Пётр Павлович, была бы более устроенной и сделал бы ты гораздо больше и лучше в литературе.

Я вспоминаю Костю Мамонтова (сейчас он живёт в Белгороде), он жил в Перми, работал машинистом электровоза. В прошлом фронтовик — пехотинец, вдоволь нанюхавшийся пороху, испивший боли и крови, очень, очень аккуратным почерком, чисто писал стихи в блокнотики, однажды показал их в

Пермском Союзе писателей. Стихи были одномерные, плоские, тема войны, как стрела огненная, пронзила их; мысль стихов да и тематика с твоею схожа, и уровень ранних стихов тот же, но стихи в то время были ладны, складны, наивно-доверчивы, изобразительно ярки, как и положено в русской поэзии. Стихи его начали печатать в газетах, альманахах, издали в «кассете», приглашали Костю на все совещания молодых и просто на всякие мероприятия. Приходил он редко, общался мало с кем — работа, семья, желание после боёв, фронта и крови уединиться, спрятаться в себя тоже было явным. В стихах он двигался медленно, внутренняя культура, особенно читательская, его не росла, не развивалась почти, однако стихи становились всё более складными, ладными. И когда зашла речь о приёме его в Союз писателей, мы и не колебались, единодушно Костю приняли в члены Союза такого, какой он есть. Вскоре он уехал из Перми в Белгород. Присылал мне оттудова изредка письма, новые стихи и даже книжки. Он на пенсии уже, но при Союзе, в творческом коллективе — и это очень важно. Важно, что его не отторгли от творческого коллектива, хотя и поругивали, и поучали, а эстеты и плевались...

Этот бесноватый вождь тутошний и его помощники виновны в том, что ты остался на отшибе, сам с собою, и твои литературные задатки (хорошие, на мой взгляд) остались почти втуне. Ты мало реализовался как человек, плохо развит как читатель, поэтические твои рывки из банальностей, повторов, одномерности мысли, разобщённость с движущейся литературой — всё-всё видно в твоих стихах, бесхитростных, но кое-где даже профессионально сделанных. Есть строчки и кусочки, достойные пера больших поэтов, но в большинстве стихи, особенно те, где ты «вылазишь из окопа и шинели», просто вяломысленны, вторичны, самодеятельный поэт не даёт тебе прорваться сквозь себя как профессионалу, за штанины и полы стягивает к тому, что ближе лежит. Ах, как жаль, как жаль!

Разумеется, я замолвлю за тебя при случае слово в Союзе, и это не будет каким-то снисхождением или подачкой, я буду просить за талантливого человека, урождённого поэта, плохо, вяло распорядившегося своим дарованием.

Недавно в Томске приняли в Союз шестидесятипятилетнего поэта. Очень он звучен, лёгок, идёт от народной мелодии, изобразительно действует и музыкально, прямо как волшебник! При приёме его в Союз, естественно, спросили: «Где ж вы раньше-то были?!» — «Да так как-то всё, некогда всё было, жил, работал...»

Наверное, и ты так же скажешь. Но для литератора, для

сочинителя, да ещё поэта — главная работа и есть сочинение литературных произведений. Да, литература требует очень много сил, всего тебя без остатка, настойчивости, внутреннего ритма и напряжения жизни и мысли. А «так как-то всё» — это по-русски, конечно, однако совсем непростительно.

Понимаю, что огорчаю тебя своим письмом, да что делать-то? Раз написал на книжке: «Солдат солдату», — давай слушай, терпи и дальше иди. Ещё есть у нас немножко времени...

Кланяюсь. Виктор Астафьев

1985 год

12 января 1985 г.

(М. и О. Сбитневым)

Дорогие Майя! Юра!

Книгу и вёрстку получили. И письма получили. Спасибо! Простите нас за чёрствость или невнимание, уже сказывается изношенность, уже прижимают года, и раздраженность по любому, чаще всего пустячному, поводу тоже даёт себя знать.

Сейчас у нас завал. Жили-то мы на 35 метрах, и мне приходилось шляться, по чужим углам спать, когда приезжали дети и внуки, да и книги, бумаги начали выдавливать из помещения. А тут «подарочек» чусовских братьев - Струков (оба давно покинули сей свет — есть бог-то, есть!) — даёт себя знать: стала сильно болеть ножевая рана в левом лёгком, не хватает воздуху, и плечо, особенно почему-то за столом, в сидячем положении, разваливает.

Юра Бондарев шумнул на здешние власти, и они добавили мне соседнюю двухкомнатную квартиру. Ремонт, реконструкция, приобретение мебели, гвоздей, красок — всё это проблемы. И какие! Художественные и гражданские туго решаются, а эти уж становятся непреодолимыми на старости лет.

Но зато теперь устроимся так, что можно будет жить и работать по-человечески, не мучить гостиницы и телефоны, когда приезжают знакомые и друзья, — спать и срать есть где.

Юра! Я, когда прочту вёрстку, напишу тебе побольше, а пока завал. Я тут ещё с кином связался, старый дурак.

Напоминаю тебе о моих «подшефных», в Союз которых принимать. Комиссия, я слышал, приёмная, будет заседать 24 января, и может совпасть так, что пойдёт двое моих (я теперь редко даю рекомендации, тут просто совпадение), и если в Вологде Балакшина Роберта принимали дружески, празднично, как и следует тому быть, и приняли единогласно, то Олега Пашенко в Красноярске самоупоённые фашиствующие

графоманы-молодчики едва не зарезали. Парень очень талантливый и, конечно, дерзкий, а графоманы говорят: «Напринимаешь таких вот, нас издавать перестанут». И перестанут, и правильно сделают, ведь они писать так и не захотели научиться, потратили время и силы свои на интриги местного масштаба, на пробивание сырых рукописей.

Словом, всё ты это знаешь. Я тебя очень прошу: поприсутствуй на приёмной комиссии, попроси всех отнестись к ребятам повнимательней. Ведь в Дагестане 300 с лишним членов, в Грузии и того больше. Только что воинствующие графоманы зарезали талантливейшего парня Володю Курносенко, хирурга, парня образованного, дерзкого, честного. Так Россия успешно борется со своими талантами, и вот результат: на Урале за двадцать лет ни одного таланта яркого. Было появился росток в Оренбурге — Ваня Уханов и Петя Краснов, так графоманы матёрые, злые с помощью местных властей выжили обоих с родной земли, оба мыкаются в перенаселённой Москве, а в них нужд на Урале...

Дела эти очень серьёзные, они должны беспокоить русских писателей, если у них ещё хоть чуть-чуть болит сердце о России и её культуре, — ведь одряхлела наша организация, и на такую пространную страну, как Сибирь, по большому счёту, два писателя, да и те уж на исходе сил, и здоровья у обоих уже мало.

Помогайте, братцы! Не мне, не Распутину — мы уж давно на ногах, и жить, и постоять за себя умеем. Молодым и талантливым помогайте — того же Володю Курносенко в назидание новосибирским воинственным графоманам надо бы принять в Союз помимо них, прямо в Москве. Надо, я приеду на приёмное заседание, хоть и со временем у меня и со здоровьем не очень хорошо.

Обнимаю. Виктор

24 января 1985 г.

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Давно уж не писал тебе. Получил уж, кажется, писем пять твоих. Завертело! Перед Новым годом ездил в Японию, а потом расширение и реконструкция квартиры, не закончено это дело и до сих пор, да ещё, как всегда в середине дела, навалились «важные дела», да такие, что папку с черновиками рассказов не дают открыть, и в башке совеем догнивает рассказ. Вот хоть до писем добрался, и то дело.

О деле. Я заходил в «Сов. Россию» и говорил про Конецкого.

Урки, давно окопавшиеся на проезде Сапунова, начали говорить, что видели где-то в другом издательстве заявку на книжку о Конецком, и вообще отнеслись к этой кандидатуре и теме без всякого энтузиазма. Остаётся «Современник», но там мне самому надо быть и говорить, там те люди, которых я ещё могу в чём-то и чем-то убеждать. Мы с Солнцевым заканчиваем работу над антологией одного стихотворения, в конце февраля надеюсь её повезти в Москву, вот тогда и поговорю.

«Оженил» я тебя совсем по другому поводу и делу. Получал авторский экземпляр однотомника в «Художественной литературе», и меня прижали к стене две дамочки из тех, что любят литературу и служат ей честно (всё реже, но ещё встречаются такие), и убедили написать предисловие к девятитомному собранию сочинений Мельникова-Печерского. Я сразу вспомнил, что ты с бородой, стрижен под горшок, и подумал, что тебе не чужд этот автор, и согласился, выговорив условие, что будем писать двое, а это значит — писать будешь ты, а я «консультировать». Работу надо будет сдать осенью этого года или в начале 86-го. Мне до той поры надо прочесть хотя бы «Письма о раскольниках». Главная моя забота, чтоб ты заработал хоть какие-то деньги. В «Худ. лите», кажется, хорошо платят за вступительные статьи. Вот пришлют договор — увидим.

Тебе надо как-то приехать ко мне. Есть тут у нас теперь «камара-одиночка», как называл сии заведения мой разлюбезный папуля, с книгами, папками, где пахнет книжным тленом и клеем. Можешь в ней запираться хоть на неделю, никто и не заметит, даже если помрёшь. Тогда и о делах поговорим, хотя дела кругом, прямо сказать... но заработок на дорогу какой-нибудь изобретём тебе.

Кланяюсь, обнимаю. Виктор Петрович

1985 г.

(Г.Ф.Шаповалову)

Дорогой Жора! Вроде весна наступает и у нас, правда, не очень торопится, ночами холодно, однако длинная и холодная зима, кажется, позади. Я, правда, маленько её, зиму, сократил — ездил в декабре в Японию, там было плюс 5-15. Для меня это в самый раз, а япошки говорят: «Холодно».

Поездка была интересная, хотя и пришлось мне много поработать: выступал, встречался с писателями и студентами, побывал во многих городах, в Хиросиме — тоже. Вблизи увидел последствия атомной бомбардировки и ясно представил себе, что ждёт людей, если случится ядерная война. Лучше до этого и не доживать: война, на которой мы с тобой были, — игрушка по

сравнению с ужасами войны будущей.

После поездки сидел дома, много работал. Не знаю только зачем. Просят, умоляют написать о войне, напишешь — не проходит в печать: всем нужна война красивая и героическая, а та, на которой мы были, с грязью, вшами, подлецами-комиссарами вроде начальника политотдела нашей дивизии — такая война никому не нужна, а врать о войне я не могу, ибо чем больше врёшь о войне прошлой, тем ближе становится война будущая.

Но всё равно живу работами и заботами. К будущей зиме, здоров буду, надеюсь закончить новую книгу рассказов и, может, сделаю, точнее, доделаю маленькую повесть, а скорее, маленький роман.

С успехом прошёл по телевидению фильм по моему сценарию «Ненаглядный мой». С тем же режиссёром собираемся работать над трёхсерийным телефильмом «Где-то гремит война». Я ещё сделал инсценировку для местного театра ко Дню Победы, и ещё много чего поделал. Очень устал. Твой Виктор

1985 г.

(И.П.Борисовой)

Дорогая Инна Петровна!

Посылаю Вам (в «Новый мир») два, не скрою, дорогих мне рассказа (может, оттого что я давно их не писал, самостоятельных и больших рассказов, и разгон начался с «Медвежьей крови» — спасибо ему хоть за это!). Рассказы эти помогли мне преодолеть душевную депрессию и творческий застой, хотя по мелочам много чего делал — да всё не то...

У меня просьба к Вам и к редакции — оставить посвящение Ульянову. Он знает о рассказе и о посвящении, отнёсся к этому почти благоговейно, и я окажусь не просто трепачом, а попаду перед ним в очень неловкое положение.

Обогатившись опытом литературно-творческой работы по телефону, я уже сам, по доброй воле, поработал за цензуру и карандашом снял «опасные места» — всё же сам я сделаю это лучше и чище, чем чужие руки. И в первом рассказе удалось мне вывернуться из «щекотливых мест и ситуаций» (о Господи! Как иногда сдохнуть хочется!), и более его портить не надо, а снимут — что ж, не первый раз булыжник на голову. Будут лежать рассказы в столе, соберётся сборник — пойду в верха, хотя и знаю, ничего доброго из этого не выйдет — могу сорваться, и срыв этот давно назрел: ведь правят и уродуют меня с первых рассказов! Название рассказа изменил оттого, что он «вылез» из замысла, пошёл дальше и перерос прежнее название. Кажется, и

закончить его удалось нужным аккордом — этаким человеческим вздохом о жизни и обо всех нас, незаметно приближающихся к своему естественному концу.

Посылаю «Жизнь прожить» с правкой и такой экземпляр, чтоб видно было правку и вам было бы легче ориентироваться. Рассказы большие, если что-то нужно заплатить за перепечатку — сообщите, куда и кому, немедленно уплачу.

Кланяюсь. Желаю Вам и журналу успехов и хоть маленького послабления со стороны дозревающих наше хилое и горькое слово. *[Один рассказ — «Жизнь прижить» — был всё же изуродован цензурой и опубликован в N° 9 за 1985 г., второй, «Тельняшка с Тихого океана», пришлось автору снять, уже набранный и свёрстанный, и передать в другой журнал. — Сост.]*

Ваш Виктор Астафьев

Март 1985 г.
Красноярск
(М.С.Литвякову)

Дорогой Миша!

Ну, задали вы мне работы, и «Зенит», и ты — только что подписал 29 книг, уж какие в наличности есть [*Литвяков попросил Астафьева подписать свои книги для футболистов «Зенита». — Сост.*]. Помаленьку посылками отправим на твой адрес, а ты уж там посмотри, когда и как и кому отдать книги- Я подписывал им книги после очередного проигрыша в Баку. Во, молодцы! я их пытался приободрить, но знаю, что вознесёшься духом, а падать брюхом. Они уже в первой игре с «Факелом» могли пропустить 4 гола, и Миша Бирюков отбивался ногами, головой, брюхом, даже и руками. Теперь, видно и он не успевает отбиваться... Вон, киевляне-то, все непогоды выдержали, самого Буряка выперли в Россию, в кокетливо-модное «Торпедо», за которое даже я перестал болеть, и начали играть.

Снега у нас нынче до крыши, в Хакасии сдуло и к нам принесло. Зимой много писал, в том числе, меж делом, сладил трёхсерийный сценарий «Где-то гремит война» для телевизора. Режиссер тот же, Артур Войтецкий, что делал Ненаглядный мой». Начало съёмок в августе здесь, в нашем крае.

В середине апреля летим в Болгарию отдыхать. Тут ведь не дают ни бзднуть, ни охнуть — всем надо художественно написанных мемуаров и произведений, а цензура совсем не того жаждет. Домой надеемся вернуться числа 3-4 мая, и сразу в деревню. Сейчас, перед отъездом, завершаю все текущие дела, очень устал. Весна у нас, как и зима, плохая, дурная скорее. Надо

бежать в Болгарию, там, говорят, тепло.

Тебя и Ирину поздравляем с весной — здоровы будьте, и пусть войны больше никогда не будет. Обнимаю, Виктор Петрович

31 марта 1985 г.

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Четыре уже дня, как и у нас началась весна, поплыло всё кругом, а снегу: было много. В Хакасии и в Минусинской впадине его подняло, сдуло до зелени и к нам принесло. Овсянка завалена до крыши.

Я в морозы и ветра не выходил из дому. Много сделал, большую работу задал надзорному оку любимой Родины. Один из лучших, вполне безобидных рассказов уже цензура зарезала в «Новом мире» [*рассказ «Жизнь прожить опубликован в «Новом мире» позднее, в сентябре 1985 г. — Сост.*]. Карпов грозился надеть погоны и Звезду Героя, дабы защитить моё художественное детище. А где? И от кого? От тех, кто цензуру породил, утвердил и за своей спиною спрятал и дёргает за ниточку: «Усь, усь!» Игрушки! Остальные рассказы потыристей и позлей — лежать им в столе. Но и пусть лежат! Там им спокойней, и из меня кровь не пьют. Работать-то меня всё равно не отучат, и к зиме или зимою я сделаю сборник из новых вещей на 20 листов. Чем я лучше; или хуже того же живого Леонова или мёртвого Нилина, у которых остались полные столы превосходных рукописей, а свету является бог знает какое варево?!

Очень мы уходились и устали с Маней и подаёмся из дома на месяц. Сейчас у нас Ирина с детьми. 5 апреля мы вместе с ними, всей ордой, улетим в Москву, откуда проводим их в Вологду, а сами числа 10-го улетим в Болгарию, подальше от юбилейной политики, и попробуем отдохнуть вдали от этих глупых немытых рож и не голубых, но всё тех же бездушных российских мундиров.

Насчёт Мельникова-Печерского пока всё спокойно и ни звуку, но они обещали сделать договор к осени. Я, как и ты, становлюсь скептиком и ничему уже не верю. Польке вон два годика, и та настырничает и пробует хитрить, что уж про нас-то и говорить!

Домой вернёмся числа 3-го мая.

Значит, тебя, жену и Севу с весной и с Победой!

Всё лето собираюсь быть здесь, а осенью уеду на юг края, зайду с тыла на известный тебе Амыл — там ещё можно себе принадлежать. Обнимаю. Виктор Петрович

2 апреля 1985 г.
(Ю.Н.Сбитневу)
Дорогой Юра!

Роман я твой прочёл, читал рассказы, читаю затурканный суетой и дерготой. У нас сейчас Ирина с детишками, а 5-го мы уезжаем на месяц в Болгарию отдохнуть. Меня давно туда приглашали, но всё было недосуг, а теперь стало невыносимо от юбилейной и прочей потехи. Надо скрыться от всего этого хоть на месяц. Пятого, только посадим Ирину с детьми на поезд, я сделаю кой-какие дела в Москве, и мы улетим.

Зимой я много чего понаписал, и цензура уже работает в поту, ничего не проходит. Даже то, что считалось «вполне» и было поставлено в юбилейные номера, — слетело, значит, я вполне серьёзно начал работать.

Когда вернусь, дочитаю твою книгу и напишу тебе подробно, а пока на ходу, на скаку, чтоб не терял, поздравляю с весной, с Днём Победы, который если верить Черчиллю, а кому же верить, как не ему, для всех победителей, во все времена был и началом их поражения. Мы не избежим этой участи, и конец наш предрешен, дело только в сроках, но всё делается изо всех сил, чтоб эти сроки ускорить.

Поклон Майе! Я, Мария, Ирина, Витя и Полька целуем и обнимаем вас.

Виктор

15 мая 1985 г.
Красноярск
(Г.К.Сапронову)
Дорогой Геннадий!

Ваш материал это самое серьёзное, совсем, кстати, не поражённое отсебятиной, интересное по форме, глубокое по содержанию из всего, что было со мной «беседовано» [*речь о беседе с писателем «Жить честно и много работать», опубликованной 7 мая 1985 г. в иркутской областной молодёжной газете «Советская молодёжь». — Сост.*] Не зря Вы так долго ходили за мной. Да ведь и этого мало, нужно умение, талант, а Вы всё сделали по-журналистски талантливо.

И спасибо Вам, что не унизили меня и себя враньём. Меня поразило высокое качество материала ещё и тем, что в нашем городе «высокой культуры» его попросту не пропустили бы, посчитав дерзким.

Я после большой запарки устал, барахлит сердце, и поэтому почерк мой совсем «разгулялся». Закругляюсь. Просто хотелось скорее поблагодарить Вас. Знаю ведь, как Вы ждёте моего письма.

Пришлите, если можете, ещё штук десяток или пяток газет — нужно для детей и друзей.

Поклон Валентину Григорьевичу *[Распутину, — Сост.]*. Ваш Виктор Петрович

2 июля 1985 г.
Овсянка
(Ю.Н.Сбитневу)
Дорогой Юра!

Такая жизнь идёт — время, как в песок. И писать некогда, и читать тоже, а тут погодка! Два лета после Вологодчины подышал я горным сухим воздухом и так хорошо себя почувствовал, хоть до девок беги. Но вот уже третье лето подряд нету не только лета, но и весны тоже не стало. Нынешний год самый худой. Лето, по существу, так ещё и не началось, а сегодня второй день июля, ждать-то уже и нечего.

Был недавно на водохранилище, рыба, которой отнереститься надо было ещё в апреле, мечет икру сейчас вместе с лещом, карасём и прочей тварью, и не мечет, а выбрасывает груз, где и как попало, изнурённая, лохматая, ничего уже не боящаяся и не желающая — травы нету, трётся об лесины и пенья затопленные. Рыбаки-промысловики за две недели выполнили годовые планы, черпая рыбу, полумёртвую, тощую, всем, чем можно черпать. И тучи мелкого окуня поедают икру, видел даже, как сорожняк и лещ, отупев от такой жизни, ели собственную икру, а окуни, брызгая молоками, охотятся на молодь свою. Что в народе, то и...

Клеща — тучи. Дожди и холода беспрестанные. В лес не суйся, из дому не выходи! Природа начинает с нами обращаться всерьёз. Хватит, побаловались, потерпела она от нас! Один крупный генетик и социолог, умница парень, окончательно меня уверил, что войны не будет, мы не успеем открыть побоище. Сроки существования активных животных и в первую голову человека, а также сильных растений уже очень коротки. Жизнь совсем с планеты не исчезнет, останутся частицы растений, водорослей и мелких, но самых стойких животных, скорее всего крысы, которые, доедая нас, родят тех, кто поест их, потом через миллион лет снова явится миру существо с комиссарскими мозгами и сообразит, что кто не работает, тот лучше и дольше проживёт.

И всё начнётся сначала. Иного биосинтеза не предвидится. Надежда на Вселенную, на иные структуры и иное, не агрессивное, устройство разума. Во что я, грешник, лично на исходе жизни совершенно не верю, ибо видел всю жизнь, как зло

неизменно и неуклонно одолевало и одолевает добро. Зло лишь меняет одежды, даже не облик, и прикидывается нагло добром. Последнее постановление о трезвости и налаживании морали нашей — это почти неприкрытая злобная акция против и без того запуганного, затурканного народишка. Те кто сочинил сей документ, прекрасно знают, что исполнять и проводить его в жизнь будут люди, всё уже пропившие, начиная с комиссарских широких галифе, в которые бздеть удобно, и кончая честью и совестью. Они и открыли тихий террор на местах, выгода от которого временная, последствия неоглядные, уходящие в пространства. Да кого сейчас они, пространства, интересуют Переночевать бы сегодня, а завтра, как на фронте, авось переднюем.

Ну ладно, хрен с ними со всеми. Устал я от нашей действительности и от вождей мирового пролетариата, сплошь выдающихся и скромных. Не веришь почитай речи тех рож, которые и сейчас озаряют светом своих невинных глаз кремлёвские президиумы и трибуны, а лучше всего вспомни отцов наших - Маркова и Михалкова. Во достойные сыны своего времени! Глядя на них и слушая их, часто я повторяю про себя и вслух: «Так нам, проблядям, и надо!»

Книгу твою прочёл, и с удовольствием. Особенно рассказы. Вероятно, ты, как и все мы, слишком эмоциональные люди, зажигающиеся накоротко да ярко, всё же не романист и даже не повествователь. Роман твой — это всё те же рассказы, наброски, этюды, обрывки из отрывков, плохо, а то и никак между собой не соединённые. Сваленные вместе, они напоминают литературный капустник, в котором даже я, очень медленно и внимательно читающий книги, совсем заблудился, запутался, как тот герой в рассказе «По ягоды». Великолепном, кстати, рассказе, который покажется скучным горожанам, а меня вогнал в остолбенение, ибо я блудил, бывало, у поскотины, слыша собак и нюхая дым из бань.

Снова с удовольствием прочёл о двухголовом, всё о медведях, понравилось мне и про то, как детки ребёночка сделали и на лестнице его оставили. Быть может, он несколько бесстрастен и, наверное, от этой бесстрастной обыденности ещё более страшный, но я бы так не смог, непременно заорал бы, затопал сапогами, рубаху бы на груди порвал, а потом Марья б чинила рубаху-то.

Сама Марья сейчас в Коктебеле с Витькой, но сегодня, раньше на неделю, возвращается, хотя собиралась год и трепала себе и мне нервы очень сильно, да, видно, жирующих жидов не выдержала. Я их нынче более двух собравшихся вместе уже

совсем не переношу, как, впрочем, и хохлацкого отброса, заполонившего матушку-Сибирь. Ну, что тебе ещё о книге? Да ничего. Сам не маленький, всё знаешь. Письмо яркое, уверенное, русское. Прыти молодой и самоуверенности особой я не обнаружил, провалов нет. Быть может, есть рассказы, которые и писать и печатать было необязательно, но они есть у всех у нас — это ведь тоже груз, и он тоже требует разгрузки и ослобонения.

Желаю тебе доброго здоровья и работы по душе. Я тоже работаю, и много. Раньше с обострениями пневмонии лежал, сейчас сажусь за стол — сроки жизни поджимают. Конечно, работать при воспалении, когда болит голова, немеют руки и мёрзнут ноги, не очень способно, но раз прежде много времени провёл в пустой болтовне, махании руками, в гоготе, роготе, а потом в пьянке, надо сейчас восполнять утерянное. По причине лёгких не ездил в Пензу и на юбилейный пленум и не скоро соберусь, наверное, в вояж.

Обнимаю, Виктор. Привет Майе.

12 июля 1985 г.

(В.К.Курбатову)

Дорогой Валентин! Да, я в Овсянке, с 15 июня, тогда как раньше приезжал к 9 мая. Не было у нас весны, лета тоже нет, ни у нас, ни у вас, и на всей планете беда за бедой, главная из них — в Канаде всё сгорело а Канада кормит полмира и нас тоже, с нашим передовым сельским хозяйством. Давно на Руси голода не было, так кабы он нас, да нас-то что, мы полупривычны, дитёв наших и особо внуков, побрасывающих хлебушек от невежестваа и сытости, врасплох не захватил бы.

Не знаю, писал ли я тебе после Болгарии, но перед нею писал, знаю, целое письмо. Ответил на все письма, лежавшие на столе, чтобы иметь моральное право на отдых, но по приезде из Болгарии в холод и снег начал болеть лёгкими, обострение за обострением, и до се не очухался. Вот, избывая очередное, седьмое по счёту подряд обострение, наелся антибиотиков, и хватанул меня такой приступ печени, а я в деревне один, так добрые люди воды подавали, горчичники ставили и кормили, да и варят мне до сих пор. Жена, дочь и внуки в городе.

Жена с внуком ездила в Коктебель. Я ж не езжу в дома творчества из-за, евреев, тобою любимых, не могу их больше двух видеть, а уж выносить их праздно-утомлённый, аристократически-вальяжный вид и слушать умственные разговоры и подавно.

Так вот, моя Марья круги пускала на всю Россию, всех задёргала, и не успел я от неё отдышаться, как она явилась из Крыму, да ещё с видом обиженной святой богоматери. Я её не мог

встретить — работал в деревне, и нельзя мне было в сырую погоду ехать в холодный панельный городской дом. А она в последние годы шибко всерьёз начала принимать слова в свой адрес о своей исключительности, сделалась видом и характером похожа на свою маму, которая, всю жизнь болея, последние годы не ела, а круглосуточно жевала своего мужа, чудесного, безответного и забитого мужика — Семёна Агафоновича. Я её, грешник, терпеть не мог и не хоронил даже, был как раз в Кудымкаре, и не приехал на похороны. Пережила она, больная, едва дышащая, ханжеством набитая, мужа своего на 14 лет! И вот моя все повадки, все ужимки, всю «картинку» на старости лет с мамы сняла: перестала варить, ладом делать, штопать толком, печатать ей сделалось некогда, с людьми здоровается по выбору, может и совсем не поздороваться, суждения обо всех и обо всём имеет только крайние, а в первую голову, конечно, обо мне.

И вот явившись из Крыма, поджала губы, насупила обиженное лико с носиком своим — не то сердится, что не встретил, не то знает что-то про меня предосудительное — это давняя её метода делать меня виноватым. А я по слабости характера (а больше из принципа: от говна подальше — здоровью легче) и вспомню вины свои: то выпил, то сказал не то, то пообщался не с теми и не так... Но выпивать я не могу уже давно, людей она от дому отпугнула высокомерием своим, а где и хамством. Из-за непогоды работал все последние дни, как колхозная лошадь. Один только раз съездил на рыбалку. Детей и внуков не обижал, терпел, а они, милые, ох как бойки и разбалованы, только и слышишь вопли за стеной. Вот я и не стал заискивать перед женой, хвалить её за находчивость, что бросила Крым и осчастливила нас ранним появлением, и, коли она не разговаривает со мной, я тоже позволил себе подобную ответную акцию — забрали детей, манатки, уехали в город. Я полсуток проспал, умиротворённый тишиной, и взялся работать. Сделал роман, аж на 6 листов, и вот завершил вчера третий, основной на него заход *[речь о романе «Печальный детектив». — Сост.]*. Будет ещё работа, и немалая, но уж не главная. Роман этот я вынул из заброшенной рукописи, вещь странная, самому мне непонятная, зачем и что я написал — сам не знаю, кто его будет читать — вовсе не ведаю.

В «Новом мире» набрали два новых рассказа, безобидненьких в сравнении с романом, но так их «отредактировали», что я вынужден был просить второй рассказ снять — одна от него шкурка осталась. Они мне в ответ упрёк: как, мол, так, мы всё согласовали с Вами, мы хорошие, а хитрые ж все, бляди, стали, спасу нет! Звонили без конца, согласовывая обороты, слова, даже слово «капалуха», и меня умилило: во работают с автором. А от

текста осталось – хер, да и тот с соломинку толщиной...

Но всё равно к зиме думаю составить сборник на 20 листов. Написалась даже новая глава в «Последний поклон», и глава, на мой взгляд, совсем недурная. Самое радостное для меня то, что после такого большого перерыва я без труда попал в тональность книги и в «образ», будто не прекращал работу, наверное, внутренне она и шла, и будет идти до конца дней моих, коих, видимо, осталось не так уж много. Вот я и заставляю себя работать даже во время приступов. Конечно же, физическое состояние сказывается на тексте, но и опыт уже есть, пусть тяжкий, горький, а всё же во многом уже помогавший, но и мешающий тоже.

Серёжа Задереев, дела которого не без моей помощи потихоньку налаживаются, с моего согласия включил тебя в молодёжный семинар, который будет в Красноярске осенью. Я просил его, и он выполнил мою просьбу включить тебя в число руководителей семинара. Работа, конечно, неблагодарная, но это даст тебе возможность за казённый счёт приехать в сибирские дали, пообщаться со мной и ребятами, прочесть мои рукописи в неотредактированном виде, и поговорить надо о многом, в том числе об Алёше Прасолове. Предлагают в "Современнике" написать предисловие к его избранному, а я им ответил, если в паре с Курбатовым — пожалуйста, а одному мне обстоятельное, путное предисловие к такому сложному и глубокому поэту не освоить.

В августе, в конце, если буду здоров, съезжу в Монголию. Пришло приглашение от посла ФРГ, туда, если тоже буду здоров, собираюсь поздней осенью. Может, вырвусь на рыбалку, но холод ночами осенний, звёзды ясные невозмутимо пялятся, не стыдясь, на землю, заросшую бурьяном от сырости и гнили, в лес не сунешься — клеща больше, чем комаров, стало.

Вот 12 июля (самый жаркий месяц в Сибири) сижу в тельняшке, обут в валенки — светопреставление-то, оказывается, и так может простенько начинаться.

Поклоны жене и Севе. Большой, наверное, уже парень? С гробовозовским поклоном! Виктор Петрович

P. S. А у нас, у гробовозов-то, всё сложно! Вино в Овсянке совсем не продают. Тихо и боязно, собаки круглосуточно бухают, не понимают ситуации.

18 июля 1985 г.
Овсянка
(Г.К.Сапронову)
Дорогой Геннадий!

Простите меня, если можете! Я взял Ваше письмо вместе с кучей писем в деревню, чтобы оттуда написать Вам ответ. Но... Опять это «но»! Куда-то задевался конверт от письма, газеты у меня с собой не было, я со дня на день собирался в город, но вдруг из-за непогоды начал работать. Потом я собрался в Иркутск и подумал: чего мне писать ответ, увижу человека и всё обскажу, а от писанины, особо от писем, меня и так уж воротит.

Но... опять но! Взял и заболел не совсем привычной болезнью — обострение пневмонии от сыри и холода, а пока выбивал из себя пневмонию лекарствами, довёл до приступа печень. И вот теперь недолеченная пневмония гложет, нудит печень, усталость после непогоды и работы адская. Наступила наконец погода, так, может, отдохну и долечусь.

Вы уже в «Комсомолке» или нет? *[Тогда решался вопрос о моём переходе на работу собкором. — Сост.]* Если в «Комсомолке», то прошу Вас ничего туда не делать. Вы сделали превосходный материал в иркутской газете (это не только моё мнение), и, я думаю, этого вполне достаточно.

Из остатков материала остатки и получаются — это раз. Второе — видимо, так мало порядочных людей в литературе, что нас с Валентином *[Распутиным. — Сост.]*, даже полупорядочных людей, затаскали по газетным страницам, как девок по общежитским постелям. Третье — «Комсомолка» никогда не решится дать материал на том уровне храбрости, на коем Вы как редактор позволили себе это сделать в областной газете. В этом меня ещё раз убедила шустренькая статейка о романе Ю. Бондарева «Игра» на страницах «КП», сего странного издания, которое всё ещё ратует за продолжение подловато-ремесленной книжонки, состряпанной Караваевой и Колосовым по снятым матрицам Николая Островского, мудака, в моём нонешнем понимание весьма и весьма изрядного, наделавшего много вреда всем нам.

Пишу на газету, так и не найдя конверта. Надеюсь, не затеряется.

9 октября 1985 г.
(Ф.Р.Штильмарку)
Дорогой Феликс!

И телеграмму, и письмо получил *[сообщение о смерти отца Феликса, писателя Роберта Александровича Штильмарка. — Сост.]*. Я потерял своего непутёвого отца шесть лет назад, и передо мной открылась та же пустота, и свободен путь вперёд сделался. А ведь отец у нас был нам не родителем, больше производителем, но родителей, как и вождей, не выбирают. Все

дороги. Всех жалко. По всем сердце болит и болеть никогда не перестанет, с той лишь разницей, что о непутёвых родителях он болит вдвойне.

Я думаю, Феликс, что тебе, как очеркисту, надобно вступать в Союз писателей, а не в какой-то профсоюз московских литераторов — прозаиков. Для этого тебе надо проделать кропотливую работу — подобрать всё тобой написанное и обратиться к близким твоему сердцу писателям. Одну рекомендацию мою, считай, ты уже имеешь, вторую попроси у Юры Черниченко — это очень порядочный и умный человек, а принимают очеркистов в Союз чуть снисходительнее, чем остальных. Их мало, оттого что работа их нехлебная и вызывает много неудовольствия своей обнажённой документальностью. Краснобайство, пустословие и ложь криводушная оплачиваются лучше, чем горькая правда.

Но если тебе нужна бумага от меня насчёт профсоюза, сам отстучи её на машинке, пришли, я её подпишу, а то если я начну писать сей документ, то тебя никуда, кроме ЛТП и тюрьмы, не примут.

Ещё раз прими моё сочувствие, положи цветочек на могилу отца, скажи, что от сибиряков с извинениями за то, что они его тут, за колючей проволокой, чуть не уморили и не заморозили, и с благодарностью за то, что он здесь, спасая душу, написал своего «Наследника из Калькутты».

Мир его праху! Кланяюсь. Виктор Петрович

9 октября 1985 г.

Красноярск

(В.Юровских)

Дорогой Вася!

Я вчера возвратился из деревни на городские квартиры, закончив работу над маленьким, но очень дерзким и трудным романом о современности (делал рассказы — они уже печатаются, пусть и с обрезонами, в седьмом номере «Юности» и в девятом номере «Нового мира»), и вот с одного рассказа вывело меня на роман.

В нём всего шесть листов, но рабо-оты-ы! Лето было плохое, холодное, дождливое, и ничего иного не оставалось, как сидеть за столом. На исходе лета ездил в Монголию и с делегацией писателей на машинах проехал почти две тысячи километров по пустыне Гоби. Пустыня как раз цвела. Боже, какая прекрасная планета досталась этакой сволочи, живоглоту, безумцу, предателю и ублюдку под названием человек! Мы недостойны своей матери-земли, мы — свиньи на двух ногах, подрывающие корни дерева, которое питает своими плодами свиней безропотно

и бесплатно.

Готовлю дополненное и исправленное издание «Последнего поклона», написалась вдруг новая глава, пойдёт в первом номере «Сельской молодёжи», если цензура не снимет; снимается трёхсерийный телефильм «Где-то гремит война», пишу «затеси», делаю массу всякой работы.

Пить уже не могу нисколько. Кроме лёгких, пошаливать стали печень, желудок. В Монголии на дикой пище я их поджёг хорошо, до се прихожу в себя.

Были летом ребятишки в Овсянке — сначала Ириша с Витей и Полей, а недавно Андрей с женой.

Собираюсь съездить в ФРГ (нужно для работы над военным романом) и все, сажусь на прикол, наверное, зимой не миновать мне опять больницы, а пока сильно болит голова от усталости и взвинчены до предела нервы.

Сала, если барсука задавите, пришли, попробую поправить им лёгкие, хотя уже их поправить трудно. Болят все раны и царапины к непогоде. Поклон всем шлю. Виктор

Конец октября 1985 г.

(В.Г.Летову)

Дорогой Вадим!

А я тут последнее время часто тебя был вынужден вспоминать — заканчивал работу над рассказом «Ловля пескарей в Грузии», и там есть об Убилаве и о некоторых наших общих наблюдениях и мыслях.

Рассказ этот из нового сборника, который и занял мои последние годы и месяцы. Начиналось с походного рассказа «Медвежья кровь» и вдруг пошло-поехало. Накопилось, видно, всего много в душе и памяти. Из одного рассказа вылез роман небольшой, всего на шесть листов *[«Печальный детектив». - Сост.]*. Иные рассказы уже печатаются — девятый номер «Нового мира» (седьмой — «Юности», есть набранные, есть уже снятые с полос и возвёрнутые, всё есть. Роман одобрен в «Октябре», ждут для обсуждения и редактуру. И заранее уже ноет и болит сердце, зная сколько крови будет из него и автора выпито. Но сам ведь виноват, не работал бы, не марал бумагу, и здоровье бы сохранилось, или писал на потребу дня, не горячился, не лез на рожон.

Сборник будет издавать «Современник», если цензура не срубит его *[сборник под общим названием «Жизнь прожить» выйдет в 1986 г. — Сост.]*. Два заглавных рассказа так и не написал, отложил на потом, нет сил, полный нервный износ. Работал очень много и нагрузно. Весны не было, лета не было,

загнало холодом в избушку, а осень была длинная, сухая, бодрая. Я сносно себя чувствовал и трудился, как в молодые годы. В январе-феврале думаю сдать книгу, и если её не обрежут, не исказят и оставят хотя бы часть того, чего хотел, книга будет заметная на моём, так сказать, заключительном этапе.

В сентябре съездил в Монголию, пронёсся две тысячи километров по пустыне Гоби в период её цветения. Дивное диво! Замечательная поездка. Сейчас собираюсь в Москву для работы, на съезд и затем в ФРГ, пришло частное приглашение от правительства данной республики, а мне для будущей работы поездка сия совершенно необходима.

Какой-то день сегодня! Три раза уже оторвали от письма посетители, закругляюсь. Готовить буду исправленное и дополненное издание «Поклона», написалась новая глава, идёт в первом номере «Сельской молодёжи». Снимется трёхсерийный телефильм «Где-то гремит война», в Малом театре готовят к постановке «Царь-рыбу». Вот и все мои основные дела и новости.

Пути в сторону Смоленска мне нет, а есть путь в Горький и Ленинград во второй половине зимы и весной в Болгарию. Надо отдохнуть. В сентябре похоронили последнего дядю, Кольчу-младшего. Умирал долго и тяжело. Опустел двор, изба, деревня, и вокруг сделалось очень пусто. Осталась одна тётка — Августа. Ну, что ли, всему свой срок...

Поклон всем твоим, обнимаю, Виктор Петрович

3 ноября 1985 г.

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Сейчас я тебе не могу написать много. Устал. «Печальный детектив» я отослал в «Октябрь». Приступил к собиранию сборника и просмотрел пять рассказов и отдал их на машинку, ещё четыре на подходе, два — около дела, два — почти черновики, а один — за главный — ещё и не написан, буде уж зимой напишу, сдавши в издательство сборник без него пока. Был и ещё в задумке один рассказ, но такой сложный и тяжёлый, что его писать надо на свежую голову и с запасом сил, которых сейчас у меня почти нет.

Всё ещё много забирают силы и время посторонние дела и суета, ну никак от этого не спасёшься! Был недавно в Иркутске. И у Валентина *[Распутина — Сост.]* то же самое, пожалуй, что и похуже: дом — в городе, телефон работает, а я всё же в сторонке, и связь с миром аховая. В конце ноября собираюсь в ФРГ на 10 дён, а оттуда уж прямо на съезд. Марья Семёновна тоже едет на съезд, и тоже делегатом. Авось и увидимся где-нибудь, а нет —

будем ждать февраля. Приедь пораньше. У нас теперь есть где жить и спать. Перечтёшь всё, что я тут наворокосил, в «отредактированном» виде. А редактируют!.. Мати Божья! Да уж неохота и плакаться на эту тему. Поклон твоим домашним.

Видел ли ты последнее «Литературное обозрение»? Эвон как тебя хвалют, а попутно и меня. Обнимаю. Виктор Петрович

16 ноября 1985 г.

(С.А.Баруздину)

Дорогой Сергей Алексеевич!

Жизнь твоя, как я понял, идёт разнообразно. Подлечившись в больнице, ты без устали делаешь детей, попиваешь коньячок и собираешь библиотеку для Нурека, а журнал редактируешь, пишешь стихи и романы меж этими, главными делами. Завидная активность и разносторонняя направленность. Дай-то бог! Среди всего этого и возраст незаметен, правда?

Осенью я уезжал из деревни в город, хорошо и плодотворно потрудившись в сырую и холодную пору под названием — лето. Перед переездом аннулировал всю стопку писем, лежавшую, как укор, перед моим зрячим оком на столе. Писал письмо и тебе, но в деревне у меня адреса твоего домашнего не было, и я послал письмо на «Дружбу», и, если там нету порядку и письмо потерялось, это уже не моя вина.

А книги, как ты и велел мне однажды, я отправляю прямо в Нурек, зачем им крюк-то делать? Вот вышел и «Поклон» ещё одним изданием — вышлю, а более ничего.

Новые книги делаются долго. Вот заканчиваю сборник рассказов, и из одного рассказа нечаянно получился роман, аж на шесть листов! Сейчас его читают в «Октябре»; до чего дочитаются — не ведаю *[речь о романе «Печальный детектив», опубликованном в № 1 журнала «Октябрь» за 1986 г. — Сост.]*. А Вам, в «Дружбу», в серёдке зимы я пошлю большой рассказ под названием Ловля пескарей в Грузии», авось и пригодится.

Собираюсь ехать в ФРГ, а потом на съезд, со съезда — к детям в Вологду и, таким образом оторвавшись от стола, немножко отдохну, а то устал до предела.

Вот и все мои новости.

Да! В том письме я повторил мою просьбу, чтоб ты и твои коллеги послали книги в библиотеку моего родного села, она, конечно, не великая стройка Нурек, но всё же нуждается и в Божьем, и человеческом надзоре:

63081 Красноярский край, Дивногорский р-н, п/о Овсянка, библиотека. Кланяюсь Розе. Поцелуй малыша. Твой Виктор Петрович

1986 год

3 января 1986 г.
(адресат не установлен)
Дорогой Анатолий Николаевич!

Я и в самом деле днями уезжаю, желая предварительно закончить работу над новой книгой. Вот сижу и с трепетом жду звонка из Москвы - мой новый маленький роман подозрительно долго задерживается в лито *[«Печальный детектив». — Сост.]*, а телефон дребезжит, да всё не по тому поводу.

Пока я работал на себя, на тумбочке скопилась кипа папок разнообразных, и всё это на один зрячий глаз, а жена уж освирепела, отбортовывает папки обратно, не разворачивая, лишь приписав: «В. П. в отъезде, рукопись возвращается». Однако эти вот прорвались — «по договорённости». И когда уж я их прочитаю? И зачем?

Перед самым отлётом в Москву на съезд перечитал почти всё, вплоть до записок от сумасшедших, а они пишут, и очень много, веруя твёрдо, что они сумасшедшие, знают твёрдо истину! На многие, доступные моему уму, ответил и вот... всякий раз с ужасом смотрю на почту, когда жена заносит мне утром почту — опять бандероли, опять ценные! И ведь знаю, что в них, в этих «ценных», и тупое бессилие охватывает меня, словно с закрученными рукам загнали меня в угол и угрюмо морду чешут!

Вернусь я, если буду здоров. Я и сейчас пишу дрожащими руками — устал, выдохся, нахожусь на пределе — книгу-то на 20 листов изготовил, да в основном из рассказов, а это надо делать многие годы, но будут ли они у меня?..

Словом, поезжайте в Челябинск, найдите в издательстве нового редактора Владимира Курносенко и скажите, что В. П. просил прочесть Вашу рукопись и взять над Вами шефство.

Писательская его, Курносенко, судьба складывается тоже нелегко, даже драматично, и Вы, наверное, найдёте в нём родственную душу, что пишущему совершенно необходимо. В письмах он тоже ехиден, востёр, по образованию врач и человек интеллигентный, с большими накоплениями внутри. Как бы Вы там ни пёрли грудью разом и на всё, а пишущему человеку необходима внутренняя культура и постоянная подзарядка ею. В Карталах, как и в городе Чусовом, где я прожил молодость свою, там начал писать и стал там «членом» в 1958 году, можно одичать (что уже и угадывается в Вашем письме), но не усовершенствоваться. Писательские, как и всякие прочие, судьбы складываются по-разному, стандарта нет, с той лишь разницей,

что пишущий и мечтающий стать сочинителем человек всё должен подчинять этому, и на брюзжание, на демонстрацию интеллектуального превосходства над карталинскими партдеятелями не должно оставаться времени (велика честь и победа сокрушительно усмехаться над дураком и приспособленцем!). И если по делу, по настоящему, после первой же книжки из Карталов надо уезжать, поближе к прессе, к музыке, к живописи, к общению с порядочными и культурными людьми, которых надо искать и открывать, а открывши, успевать больше слушать и перенимать, радоваться, что даром отдают, слушать, а не орать, что всё — говно, акромя портретов. Я встречал людей, которые хвалились тем, что спорили с самим Твардовским! Я хвалил себя за то, что при единственной с ним встрече не тратил время на споры (а хотелось), но внимал великому поэту и гражданину, слушал во все уши, что он мне говорил, тратил на меня, чусовского журналиста, время!

Вернусь я в начале февраля, малость передохну и числа десятого улечу в Ленинград на Рубцовские чтения, а потом Сергей Павлович Залыгин попросил заменить его на съезде в Латвии. «Суета суёт!» — как говаривал великий хохмач Папанов, чудесный и очень уж больной человек.

Ещё одно: я, бывший окопный вояка, давно собираюсь писать статью под названием «Межедомок». Разрешите мне воспользоваться двумя моментами из Вашего письма: насчёт ФЗО и бурьяна? И как хотите — назвать Вашу фамилию или не надо? С Новым годом!

Кланяюсь. Виктор Петрович

Январь 1986 г.

(жене)

Дорогая Маня!

Пишу тебе из Варшавы с конгресса сторонников мира! Первый послевоенный конгресс был здесь же, в 1948 году.

Интересного много. Живу напротив гостиницы «Европа», в которой бывал вместе с Юрой Бондаревым. Отель первоклассный, но я ещё ни разу не выспался, просыпаюсь по-сибирски — в 5 часов утра, когда бы ни лёг. Очень много здесь симпатичных наших людей. Один из них — Михаил Константинович Аникушин, мой сосед по коридору — человек совершенно российский, во всем! И чтоб ты имела представление, кто это — шлю его замечательного Пушкина. Здесь же Георгий Степанович Жжёнов, Вера Кузьминична Васильева, Долматовский, Сергей Петрович Капица, Сагдеев и другие. Идут встречи-приёмы, и, хоть сухой закон, по рюмашечке подают. В день прилёта шёл дождь,

сегодня заснежило и чуть похолодало. Сегодня, 17-го — День освобождения Варшавы, и мы с утра возложили Цветы к подножию Нике и расписывались в книге города Варшавы. Меня куда-то снимали, не иначе, как на кино, и телевидение снимали, может, увидите.

Немножко тревожно с Германией. Улетаю я во Франкфурт 20-го в полночь, идут хлопоты, чтоб меня встречали, думаю, всё обойдётся. Программа моя легкая: начинается моя жизнь в Кёльне — оттуда я тебе постараюсь написать, говорят, у меня будут... — вот только расписался и звонок. «Здесь есть Георги Четолбашев, — говорят снизу, — сейчас поднимется на лифте».

Так что обнимаю тебя, милая, желаю быть здоровой! Георги уже поднялся, кланяется, целует, тоже желает тебе здоровья.

Целую. Твой Виктор

...Пишу тебе из Кёльна, из гостиницы, которая находится неподалёку от знаменитого Кёльнского собора. Гостиница не богатая, но опрятная и уютная.

Летел из Варшавы в Бонн — мне достали прямой билет. Встретил меня товарищ Юры Ростовцева, Виталий Соколов — корреспондент «Комсомольской правды», и определил на место. Я уже кое-что повидал. Выступал в местном университете, был дважды в гостях. Сегодня весь день пробыл в крестьянском хозяйстве — это самое интересное из того, что я пока видел.

Завтра до обеда у меня будет свободное время, и я хочу походить по городу, поглазеть. Ни в гостях, ни в крестьянах, слава богу, спиртного не пьют, но едят хорошо. Погода стоит прекрасная, плюс 8, кругом поля, зелёные от озимых. Ездили в этнографический музей, смотрели древнюю Германию и выставку современного ремесла. Чувствую себя хорошо, но всё не могу выспаться, постараюсь сделать это сегодня. Пишу вот тебе, работает телевизор - много рекламы, песен, по одному каналу идёт боевик. 25-го, в воскресенье поеду в Мюнхен и оттуда в Москву. Позвоню в Вологду. Что-то опять тоскую по всем.

Целую, Виктор

...Я уже в Мюнхене. Ехал на поезде (сам попросился). Долго ехал вдоль мутного, из берегов норовящего выйти Рейна, вдоль которого почти беспрерывно идут селения и городки с махонькими опрятными садочками и непременной ёлкой или стенкой ёлок среди и по краю зелёных полянок. Дома красивые, опрятные, они почти все по старой архитектуре выстроенные, но в городах есть уже и модерняга, и какая! Рядом с гостиницей «Мондиаль», где жил в Кёльне, на найденной древней мозаике воздвигли сооружение, о котором любой, даже не нашей страны житель, сразу подумает, что это тюрьма. И описывать далее это

помещение я не буду, а то вдруг Валентина Михайловна *[Ярошевская. — Сост.]* при реконструкции своего музея соблазнится этакие новшеством. По-над домами, по Рейну — террасные сады и огороды, прямо в отвесных скалах и на клочках гор, а вверху всё замки, крепости и графские строения — все сохранены, ко всем сделаны подвесные дороги.

В Мюнхен я приехал под вечер. Меня встретила и сразу узнала моя переводчица, болгарка, замужем за немцем. Всей семьёй встречали. У неё две девчушки — 12 и 15 лет, охота им было «на своего» посмотреть.

Успели мы поужинать в ратуше. Я ел судака и салат, выпил водочки, и пошли мы смотреть руганый-переруганый нами и нашими идейными указчиками фильм «Рембо». Потрясающий фильм! Потрясающий! О том. как современного человека совратили, сделали солдатом — героем, а потом обыватели всех мастей загнали в угол и он был вынужден отбиваться. А отбиваясь, он превратился в страшного, мстительного получеловека-полузверя и гиганта сверхсилы, однако и при этом не теряя границы сознания и убивая только негодяев (ни одного солдата не тронув, мальчика, который его, как зверя, выслеживал, пощадил, даже не ударив, и шерифа, но потом уж изрешетил его и разгромил город. Целый современный городок, в который его не пускали пожрать, отдохнуть, побыть с людьми). А как снят! Как сыгран! Это современный Тарзан, только Тарзан-то с печальными постоянно глазами. И под конец он плачет, как мальчишка, на груди своего старого командира и даёт надеть на себя наручники. Играет Рембо американец итальянского происхождения, у нас такого артиста, увы, нет. Было жалкое подобие — Олег Видов, и тот за рубеж смылся. Пытался Абдулов, да жирен и морда тупая.

Сейчас идём в старую библиотеку — встречаться со славистами. Завтра встреча с издательшей, на последние три дня программа плотная. Был я на охоте соколятников и ястребятников под Кёльном. Во потеха! Невозможно смотреть на это без юмора. Выгоняют кроликов из чаши, из нор и завалов. Я топаю по чаще и кричу: «Вылазь, фриц! Гитлер капут!» — и сразу откликнулся радостный голос: «Капут! Капут! Хитлий капут!» Оказалось, охотник у нас воевал все четыре года. Прощаться стали — обнимает: «Не надо война! Не надо война!» — заклинает.

О Господи! Как сложен и прост этот мир! Сегодня видел тебя во сне и как-то плохо видел. Охота уж домой. Как вы там? Хотя я узнаю об этом раньше, чем придёт письмо. Но вот поговорил и вроде на сердце полегче.

Целую всех, а тебя отдельно. Твой Виктор

...Маня! А это я пишу тебе потому, что в гостиничном номере

в папке обнаружилась красивая бумага.

День прошёл насыщенно: встречался с председателем Союза писателей в Мюнхене; был в фирме, торгующей нашими книгами и книгами восточных стран; был в конторе, в магазине, в гостях у хозяина Рихарда Вагнера — дело налажено, сам хозяин богат, хитёр, умён и в обращении доступен, как наш воспитанный трамвайный кондуктор. Вечером слависты местного университета устроили ужин в экзотическом ресторане, обкурили меня до того, что я взвыл, и тогда перешли в соседнюю пивную, огромную, экзотическую, шумную. На приёме была и Симмер — издательша, баба крупная, рыжая, по-русски, как я по-немецки, но очень трогательная в обращении. Однако с нею был «друг», этакий румяненький немец, вымытый в шампунях, затем облизанный, и она с ним скоро отбыла, пообещав завтра устроить мне «грос отдых». Куда-то за город поедем и даже на озеро с рыбой. Приняв меня за рыбака и охотника, они решили, что я и дня прожить не могу без этих занятий. А у меня одна забота: как бы не простудиться здесь, как немцы говорят — «сибирен мороз» — то есть вчера вечером было минус 5.

Сегодня встречи в библиотеках, аж в двух! Обед с библиотекарями, а вечером в театр. Осталось два дня. И в Москву! Пора гостям на место. Хоть немцы и развлекают меня и даже вроде рады мне от души, да всё же домой охота.

Целую тебя, родная. Твой Виктор

26 февраля 1986 г.

Г.Г.Горенскому

Копия в Союз писателей СССР

Мне переслали Ваше письмо из союза писателей СССР. Отвечать на него нет надобности. На все письма — отклики на публикацию моих скромных солдатских воспоминаний (нет там ни "самовозвышения, ни бахвальства" — я за этим, в отличие от Вас, внимательно слежу) — буду отвечать в обзоре через ту же газету «Правда», ибо не отвечать невозможно *[речь о статье «Там, в окопах: воспоминания солдата», опубликованной в газете «Правда» 25 ноября 1985 г. — Сост.]*.

Есть письма — и их большинство, — преисполненные такого благородства, такой благодарной памяти, искренности и признательности, что держать их в столе нельзя. Есть письма и подобные тем, что написали Вы, и на них надо отозваться, а то ведь, в спеси своей утопая, Вы так и будете думать, что Ваше «благородное» возмущение тем, что какой-то солдатишко смеет иметь свое суждение, да и... «властей не признаёт!» (Фамусов), останется при Вас в самонадеянной, надменной тупости своей Вы

вздумаете ещё кого-нибудь опровергать, отчитывать. Это стало Вашим ремеслом от безделья, у Вас уже подпись факсимильная заготовлена для этого. Или подумаете, что я струсил и потому не «реагирую».

Что Вы и кто Вы — мне объяснять не надо. Уже одно то, что живя в одном городе со мной, имея возможность сказать мне лично или по телефону (как фронтовик фронтовику): «Ты что пишешь, такой-сякой! Не так всё было!..» — Вы прибегли к посланию в форме доноса, что охарактеризовало Вас и уничтожило в моих глазах, да и только ли в моих? Донос Ваш не будет иметь никаких последствий, хотя Вы на это жадно надеетесь, как и всякий вконец исподличавшийся, самоупоённый борец за справедливость, ибо время доносчиков и стукачей всех рангов, к горю и сожалению Вашему, — закончилось.

Я — беспартийный, у Вас и с Вами, слава богу, не служу-с, исключать меня неоткуда, да и руки у Вас коротки. Уже после всех доносов и отповедей (в основном, от чинов, проливающих кровь, вроде Вашего вождя-вдохновителя Брежнева в политотделах армий, для которых пребывание в 70 км от фронта считалось передовой), меня избрали секретарём Союза писателей РСФСР. Досылом, в две недели напечатали мой новый роман в журнале «Октябрь», который несомненно вызовет у Вас бешенство (а он и писан для того, чтобы взбесить всю нечисть: демагогов, лжецов и мордоворотов), и уже есть на него отклики в прессе — «Литературной газете», «Известиях», «Неделе», «Советской культуре». И есть письма, в том числе от моего давнего и прекрасного друга-фронтовика окопного Василя Быкова. Вас Бог обидел и друзьями, иначе не были бы Вы тем, что есть, лжецы и подхалимы были вокруг Вас, а истинный друг всегда нужен для того, чтоб сказать другу всё, что он считав нужным сказать другу.

Вы цитировали «Литературку», где Василь, на радость Вам и таким как Вы, поправил одно мое высказывание. А я процитирую Вам начало письма Василя от 7.2.86 г. — «Витя! Виктор Петрович, дорогой дружище! Сегодня ночью дочитал твой роман и до утра не мог уснуть — взбудораженный, восхищенный, ошарашенный» — и т.д.

Вам непонятно? Не подходит! Вы схватились за голову: «Да как же так можно? Ругать, журить человека и называть его другом?..» Можно. Можно и нужно. Вы относитесь к числу несчастных людей, к тем, кто не знал истинной дружбы, не понял, что такое слово «сибиряк» и какой гордый смысл в это понятие вложен!

Мне Вас жалко! Мы действительно были на разных войнах и в разных мирах. Мой мир неизмеримо мучительней и прекрасней

Вашего, ибо я всю жизнь, изо всех сил стремился к честному хлебу, жил, кормился и детей своих кормил бедным, но честным хлебом правды. Вы ели хлеб с маслом, добытый с помощью притворства и лжи. С тем и умрёте! На моей могиле будут плакать люди и расти цветы, на Вашу могилу будут плевать проходящие мимо «клиенты» и нижние чины.

Я только что вернулся с конгресса сторонников мира в Варшаве и из длительной поездки по Западной Германии. Устал. Болен. Не могу ответить на многие Ваши выпады, недостойные белой бумаги и того высокого звания, которое Вы носите. Да и невежественны Вы, нечестны, чтоб можно было с Вами говорить на равных и по-человечески, тоже не впадая в невежество и бесчестие, хотя бы о превосходстве нашей стратегии и тактики, о способностях наших военачальников. Вы, вероятно, имели в виду тов. Кирпоноса, который открыл целый фронт и погубил сразу несколько наших армий? Или Крым, где Манштейн силами одной (!) одиннадцатой армии при поддержке частей 2-й воздушной армии смёл с земли всё, что у нас там имелось. На глазах всего Черноморского флота, бросив осаждённый Севастополь, «сбегал» под Керчь и «кулаком», состоящим в основном из двух танковых корпусов, в прах разгромил три наши армии, руководимые любимым выкормышем боготворимого Вами вождя, Мехлисом, так что и «каблуков от них не осталось», как пишет мне в одном из откликов участник этих бедственных сражений. От имени сотен тысяч людей бойкие на слово и бездарные на деле, дорогие Вам наши полководцы заслужили вечную кару!..

Эх, Горенский, Горенский, Гавриил Георгиевич! Мы уж и ложь во спасение прошли, а Вы всё ещё «тама», всё ещё врёте себе и другим! А ведь тёзка Ваш, придворный поэт Гавриил Державин писал ещё двести лет назад: «Злодейства землю сотрясают! Неправды зыблют Небеса!..» И этого не знаете?! И Пушкина небось не читаете, а Лермонтова тем более?! В лени и самоупоении жить спокойнее, сытее и блаженней, да?!

Ну и живите! А я уж как-нибудь без Ваших нравоучений обойдусь. Я сам себе судья и командир. Работаю в великой русской литературе не ротным писарем. Я инвалид второй группы ВОВ, награждённый медалью «За отвагу» и Орденом Красной Звезды на фронте, тремя орденами Трудового Красного знамени, орденом Дружбы народов, за работу в русской литературе удостоен 0еУдарственных премий РСФСР им. Горького и премии СССР, секретарь Правления Союза писателей РСФСР, депутат Красноярского краевого совета, член редколлегий многих журналов и издательств.

Виктор Астафьев

1986 г.

(П.Николаенко)

Дорогой Петя!

Я получил твоё письмо, спасибо за него! Поклонись, пожалуйста, от нас с Марьей Семёновной Клаве, твоим детям и внукам, всем желаем скорой весны и доброго мирного лета.

Мы живём помаленьку, работаем, старимся, ждём тепла и лета. В эту зиму у меня было много поездок: был в Москве на съезде писателей, затем — на конгрессе сторонников мира в Варшаве, и сразу же поездка по Западной Германии, очень интересная была поездка, но утомительная. Затем вместе с Марьей Семёновной летали в Ленинград, оттуда к детям в Вологду, а я ещё и, в Горький заезжал по делам.

Сейчас отдыхиваюсь, пытаюсь разделаться с почтой. Особенно много писем пришло по поводу статьи в «Правде», надо их все прочесть, сделать по ним обзор опять же для «Правды» *[речь о статье « Там, в окопах: воспоминания солдата», опубликованной в газете «Правда» 25 ноября 1985 г. — Сост.]*.

Нашёлся наш дорогой командир дивизиона Митрофан Иванович Воробьёв, ты его должен помнить. Его ранило под Каменец-Подольском, после него стал командиром дивизиона начальник штаба Бахтин. Я знаю, что в сентябре будет в Житомире встреча ветеранов нашей дивизии, хлопочу, чтоб пригласили Митрофана Ивановича с Капитолиной Ивановной. Заканчивается работа над трёхсерийным фильмом по моему сценарию, и я постараюсь, чтоб его показали нашим ветеранам.

Мы с Марьей Семёновной собираемся уехать подальше от дома — устали от телефонов, от людей, надеемся отдохнуть в тёплой стране — Болгарии. Кланяюсь и обнимаю. Твой Виктор

12 марта 1986 г.

В отдел пропаганды Житомирского обкома КПСС

Дорогие товарищи!

К вам от имени ветеранов 17-й артиллерийской дивизии — Киевско-Житомирской — обращается бывший боец её, ныне — писатель, лауреат Государственных премий, инвалид войны Астафьев Виктор Петрович. Ветераны нашей славной дивизии решили провести встречу в городе Житомире в сентябре 1986 года и пишут мне о том, что житомирские власти не только не идут навстречу нашим сборам, но и препятствуют этому мероприятию, как могут.

Я понимаю Вас, даже очень хорошо понимаю — осень, время уборочной кампании, а со стариками много возни и хлопот: надо

их встречать, устраивать, приветствовать, организовывать встречи и т. д. Но скоро мы уж никого не будем обременять и Вас тоже, дорогие товарищи житомирцы. Старость наступает гораздо неожиданней и стремительней, чем этого желаешь и ждёшь. Думаю, встреча наших ветеранов будет одной из последних, но вполне вероятно, что и последняя. — уже и самым молодым из участников войны перевалило за шестьдесят. Наберитесь сил и мужества потерпеть нас ещё немножко.

Тем более что, будучи недавно в Ленинграде. Я договорился с нашими ветеранами и просил сообщить всем, что на встрече должны торжествовать сухой закон и самодисциплина.

Со своей стороны обещаю провести несколько встреч с читателями и ветеранами, посетить места боёв, а также показать фильм по моему сценарию «Где-то гремит война» (три серии), работу над которым по заказу Гостелерадио заканчивает на студии им. А. Довженко режиссёр Войтецкий.

Прошу Вас мне коротенько отписать по указанному адресу.

Заранее Вас благодарю и кланяюсь. Виктор Астафьев

12 марта 1986 г.

(К.И. и М.И.Воробьевым)

Дорогие Капитолина Ивановна и Митрофан Иванович!

Я давненько получил Ваше письмо и всё его откладывал в сторону, чтоб ответить Вам подробней и толковей. Но время всё бежит, бежит, суета и текучие дела не убывают, и я решил хоть коротенько пока Вам написать, а жена перепечатает письмо на машинке.

Я после ранения на Букринском плацдарме так и не вижу правым глазом, а от многописости и почерк испортился, так что извините, ответ мой на машинке.

Я Вас, Митрофан Иванович, и Вас, Капитолина Ивановна, очень хорошо помню и часто вспоминаю, чему добрый свидетель жена моя, Марья Семёновна. Она у меня тоже участник войны.

Я после ещё одного ранения, полученного уже в Польше, и долгого пребывания в госпитале, в нестроевой части встретил М. С. Мы поженились в 1945 году, уехали жить на её родину в г. Чусовой, на Урал, вырастили дочь и сына, а одну дочку от послевоенной нужды потеряли. Сейчас у нас уже трое внуков: двое парней — Витя и младший Женя, и внучка Поля, ей исполнилось три годика, а Витя уже ходит в школу. Женя — в садик. Жена моя тоже снимается литературным трудом и, конечно, домом.

Насколько мне известно, Вы, Митрофан Иванович, ни разу не были на встрече ветеранов нашей дивизии. Сообщаю Вам, что

нынче подобная встреча назначена на сентябрь в городе Житомире. Я сообщу в комитет ветеранов дивизии Ваш адрес с просьбой, чтобы Вас пригласили.

Сам я из-за занятости и затурканности редко бываю на подобных встречах и был всего на двух: в Киеве и в Ленинграде, где встречался с бойцами нашего взвода — Петей Николаенко, Ваней Гергелем, Жорой Шаповаловым и Славой Шадриновым, который, если помните, вышел из окружения на наш наблюдательный пункт на плацдарме. Сейчас он работает замдиректора Нижнетагильского комбината по транспорту. Бахтин Евгений Васильевич, Дидык Алексей Кондратьевич умерли в Ленинграде. Волкенштейн Сергей Сергеевич раньше их умер в Москве. Живых осталось уже очень мало, да и больные все, старые. Вы, если и помните нас — меня, Николаенко, Гергеля, Жору Шаповалова, то помните мальчишками, ведь мы все с 24-го года рождения, все уже на пенсии, на отдыхе, я тоже получаю персональную пенсию по 2-й группе инвалидности, но отпуска и отдыха в нашей проклятой и прекрасной работе не бывает.

Мне очень хочется с Вами встретиться и поговорить. Очень! И если Вы не сможете приехать в Житомир, я бы напросился заехать к Вам в Новохопёрск. В Воронеже я бывал, там издавались мои книги, есть друзья, так что крюк на денёк-другой я бы сделал. Ну, а если соберётесь в Житомир, тем лучше — там побываем на местах боёв, я постараюсь показать Вам новую трёх-? серийную картину «Где-то гремит война», снятую по моему сценарию.

Литературой я занимаюсь с 1951 года, а до того был рабочим, учился в школе рабочей молодёжи, ныне — уж похвалюсь Вам как бывшему моему командиру и очень родному человеку — дважды лауреат Госпремий. Выходила у меня собрание сочинений в четырёх томах. Считаю, что жизнь прожил нё напрасно, хотя не во всём и не так, как хотелось. В № 1 журнала «Октябрь за 1986 год напечатан мой новый роман. Шуму о нём уже много, даже больше, чем я ожидал.

Следом за письмом посылаю Вам однотомник, изданный к моему 60-летию с фотографией, по которой Вы меня, возможно, чуть и припомните. Кланяюсь низко и целую Вас. Ваш Виктор Астафьев

12 марта 1986 г.

(Адресат не установлен)

Дорогие Наталья Михайловна и Павел Михайлович!

Вас приветствует бывший боец 7-го корпуса, которым Вы, Павел Михайлович, имели честь командовать во время войны, а ныне — писатель Астафьев Виктор Петрович. Желаю Вам доброго

здоровья и тёплого, мирного лета.

Из Краснодара мне написал о вас Тупиха Михаил Антонович, и я очень рад, что Вы живы. Он же написал, что у вас устарело жильё и его не ремонтируют. Я слышал о Вашей скромности ещё на фронте, хотя видеть Вас мне не довелось — я был рядовым бойцом в 92-й артбригаде 17-й дивизии, несколько раз был ранен и сейчас инвалид 2-й группы, но продолжаю работать.

Скоро я буду делать обзор писем, поступивших на моё выступление в газете «Правда» в ноябре прошлого года, и постараюсь через газету «надавить» на одесские власти и постараюсь, как смогу, помочь Вам с ремонтом жилья. Кланяюсь. Ваш бывший боец Виктор Астафьев

21 марта 1986 г.

(Б.В.Никитину)

Дорогой Борис Фёдорович! Всё чаще и чаще укладывают меня постель старые фронтовые раны, и с годами прибавляются болезни. На такой случай у меня скапливается куча рукописей, и я, значит, «не скучаю».

Ваша рукопись, конечно же, не добавила мне здоровья, но и не убила до конца — видел я всё это, и по Уралу достаточно пошлялся, и в качестве рыбака, и в качестве журналиста, и в качестве просто шатающегося любителя природы. Бывал и в Лабытнанге, а на пути к ней в знаменитой Сеиде, где пересекаются пути многих страшных судеб, дорог, истории нашей и современности ясноокой. Ездил и поездом — из Воркуты, Ухты, Сыктывкара и проч, попадал в вагоны с амнистированными и вербованными. Наверное, из-за ранения в лицо (у меня подбит на Днепре и не видит правый глаз), из-за глубоких морщин и из детдома, ФЗО и фронта полученного умения держаться с подобного рода публикой, меня никогда не трогали, и оттого, что я держал вещи на виду, ничего ни разу и не взяли, а наоборот — своё, последнее, предлагали. А вот стрелки, оперативники, «попки» замели один раз. Вёз я грамоту, значки и награждения в Верх-Язвенскую школу от журнала «Уральский следопыт» — за тяжёлую работу по перегону скота на Кваркуш, ребятам вёз. А голова стриженая — тяжёлая контузия у меня, и мне казалось, когда волос снимешь — голове легче. В это время — побег из лагерей, а «попки» храбры у себя в дежурке, в лесу же боятся и набились в катер, искать беглецов. Я как раз с упоением читал впервые вышедшего Платонова, а они, бесстрашные стражи, на корме с девками поигрывали и, чтоб покуражиться, но скорее от тупости, давай мою личность сравнивать с фотками беглых, и, показывая на одного, девица с ужасом прошептала: «Похож!»

Один, в прыщах, изношенный крестьянством дома, изнурённый онанизмом в казарме блюститель порядка ко мне: «Ваши документы!» — «Какие?» — спрашиваю. «Как какие? Ты чё?!» — «Ну, какие, какие — паспорт, депутатский билет, журналистское удостоверение? Чего надо-то?» — «Пашпорт».

Дал я ему паспорт, долго он на меня, на карточку смотрел — сличал. А на карточке я без морщин, выгляжу моложе и красивей. «Насмотрелся? Налюбовался?» — спрашиваю. «Бу-бу», — в ответ. «А ну-ка, теперь покажи свои документы!» — «Как? Зачем? Ишь ты, документы ему». — «Покажешь, покажешь! Чего боишься-то!» — «Я — боюсь? — и на девок взглядом победителя: — Гы-гы! Боюсь!» — сунул мне плоское удостоверение. Я, ни слова не говоря, к себе его в карман и говорю: «Председатель Красновишерского райисполкома передаст эту ксиву твоему начальнику и поведает попутно о том, как вы храбро втроём искали на катере беглых арестантов».

Э-эх, что было! Картина! За капитаном бегали. А капитан меня узнал и на стрелка на этого: «Недоносок! Пакостник! Забрался на катер, бздун, да ещё и власть показываешь!.. Отдайте вы ему корочки эти, Виктор Петрович, я его, мерзавца, вместе с боевыми соратниками сейчас в лес, на комарьё высажу. И вас высажу, красотки!» — рявкнул капитан на девок. Те, бедные, в слёзы: «А нас-то за чё? Ну, обознались! Он и на писателя-то не похож, да и не писатель, поди-ко, документы подделал».

Так вот, на писателя не похожий, и до се живу. Сейчас хоть дублёнка есть, машина, дом в деревне, и волосья не стригу — сами вылезают, а бывали времена.

Ваш опус, конечно же, печатать никто не будет в ближайшие обозримые лета, но писать это необходимо, хотя, в общем-то, читать про бичей я уже и подустал. Поэзия, половина её, сейчас поёт о покинутой деревне, проза — о бичах. Много их развелось, бедствие надвигается на нас, а мы делаем вид, что не замечаем «бревна в глазу», но то же самое было и с темой пьянки, теперь вот хватились.

Человек Вы способный, юркий и натянутый до звона в себе. Писать Вам надо хотя бы для того, чтоб «освободить» себя, разрядиться, а что и когда будет печататься — это сказать весьма затруднительно даже известному писателю, безвестному же тем более. Но, терпение и труд...

Будьте здоровы, будьте сердиты, но не злы, и работайте больше, успевайте, пока молоды. Кланяюсь и желаю добра-здоровья! Виктор Астафьев

14 июля 1986 г.

Овсянка

(В Восточно-Сибирское книжное издательство)

Уважаемые товарищи и друзья!

Хорошее дело вы придумали. Очень! Воспитывать наших, уже совершенно уверовавших в свою исключительность, «лучших в мире» читателей, на мой взгляд, бесполезно, они, в массе своей, так испорчены в школе и повсеместной демагогией, что тратить слова на них излишне, а вот детей ещё можно и не поздно приучить к книге.

Благодарю за честь быть председателем юношеской библиотеки [*издательство задумаю серию «Юношеская библиотека». — Сост.]*. Готов всеми своими невеликими силами и возможностями способствовать успеху издания и огорчиться ещё раз, что инициатива по изданию юношеской библиотеки изошла не из моего родного города. Но, коли вся Сибирь наша Родина, утешимся тем, что начинание всё же наше, сибирское.

Конечно же, я с удовольствием напишу вступление к первому тому! Хорошо бы напомнить мне об этом. Предстоит мне несколько длительных поездок, а память становится коротка, могу и забыть.

Прошу вас непременно включить в одни из томов повесть Петра Поликарповича Петрова «Саяны шумят» и вообще припомнить то, что с упоением читалось нами в тридцатых годах, наверное, не всё там было дурно писано наверняка не хуже нынешнего конвейера-потока.

Надо бы оставить место для новых произведений, что пишутся иль уже написаны и выйдут на свет за эти годы. Пожалуйста, не обижайте омичей, они как-то на отшибе всё время остаются, город-то хороший.

Простите, что письмо не на машинке. Жены дома нет, а я печатать так и не выучился.

Кланяюсь вам. Ещё раз успехов! В. Астафьев

16 июля 1986 г.

Красноярск

(В.Г.Распутину)

Дорогой Валя!

Мария Семёновна приехала с похорон, тётушка, повидавшись со мной, будто долг свой исполнила и умерла. Мария Семёновна с тяжким трудом достала билет из Москвы — Чернобыль отбивает смертоносными волнами людей на все стороны.

Записку твою мне Лёня передал. «Мёртвые мы никому не нужны» — пишешь ты. А живые? Только тем, кого кормим и жалеем. Кто на глазах и под ладонями.

Абреки из Грузии звонят в час ночи *[после публикации рассказа «Ловля пескарей в Грузии» в N° 5 журнала «Наш современник» за 1986 г. из Грузии на Виктора Петровича и его семью посыпались угрозы и оскорбления. — Сост.]*. Марья моя назвала одного мудаком (это первое ругательство, ею допущенное за всю нашу совместную жизнь), а он ей сказал: «Сама мудака» — во уж!

Собираемся в Эвенкию. Охота тайменя поймать, на старообрядцев посмотреть, поучиться у них стойкости.

Воронежцы извинения просят за Троепольского у меня. Он, мол, у Грузии, а мы у тебя, и пишут, что подобное поведение его сделалось нормой, и мне много писем идёт с поддержкой. В письмах русские мужики храбрые и умные, а вот бабы и наяву храбрее, хотя все их считают глупыми. Явное заблуждение, от истории и по истории идущее.

Я больше живу в Овсянке. Ездил один раз на водохранилище, снимали передачу «Жизнь растений», пока те растения ещё живы. Передача пойдёт по ЦТ в сентябре, а я в сентябре хочу поехать в Житомир, на встречу ветеранов нашей дивизии.

Хорошо, что хоть пепел горемыки Толи Соболева догадались на Родину увезти. Не развеяли хоть по Кенигсбергу.

Поклон Свете и всему твоему семейству. Виктор Петрович

1 августа 1986 г.

(Адресат не установлен)

Дорогой Евгений Замирович!

Нынешней осенью я начну большую работу над подготовкой исправленного «Последнего поклона». Написались две новые главы, одна из них — «Пеструха» — печатается в № 1 журнала «Сельская молодёжь», и Вы, чувствую по письму, ещё не читали её. Вторая глава в работе.

Подготовка нового издания, надеюсь, сама даст ответ на многие Ваши вопросы. Появится и бабушка вновь, и довольно явственно, в новой главе «Пеструха». Книга разделится уже не на две, а на три части. Пойдёт работа и над языком. в том числе и над ликвидацией излишеств языковых.

Почему снял фразу: «Музыка окликнула во мне далёкое детство»? Сейчас Уже, конечно, не помню, но ныне я снял бы её за некоторую манерность и Иже за налёт литературной красивости. Надо бы всё это вычистить у меня и в Других вещах, а уж во всей нашей современной литературе, особенно в поэзии, сей «материал» лопатой бы совковой выгрести.

Как приходят ко мне слова? Не знаю, что на это ответить.

Наверное, слова мои — это я сам, и они во мне живут. Впрочем, последнее время я много пользуюсь словарями, в том числе сибирскими. Где сверяюсь, а где и пользуюсь этим бесценным кладом, собранным нашими подвижниками из учебных заведений, прежде всего в Томском университете. Они, в Томске, знают, что я их боготворю за их прекрасную, так нужную в России работу, и шлют мне все, что у них издается. Вот только что прислали «Средне-Обский словарь», и один экземпляр я пошлю в Японию, где так въедливо изучают русский язык, а издатель мой ещё и коллекционирует (!) русские словари.

Кланяюсь. Желаю всего доброго. Ваш Виктор Петрович

1 августа 1986 г.

(И.П.Дедкову)

Дорогой Игорь Петрович!

Статью в «Новом мире» прочёл перед самым отлётом в Эвенкию. Из пяти дней, проведённых в тайге, погожих набралось два, так что было у меня время полежать на тесаных жердях в охотничьей избушке, посидеть у костра, послушать тишину и подумать неторопливо, а больше сидеть просто так, ни о чём не думая и радуясь тому, что есть ещё «углы» на земле, куда можно спрятаться со своим незрелым, всё ещё детским горем, ибо там, перед величием пространств и необъятности тайги, ощупаешь себя дитём. Чьим? Наверное, дитём подлинной, единственной матушки-земли!

Последнее время мне редко удаётся бывать в тайге — больны лёгкие, правое под пневмонией, левое ранено, и меня ведёт в слезу. И случалось, плакивал я, сидя у костра, от какой-то необъяснимой сладко-горькой печали. Так вот в 39-м году, будучи на первой в жизни новогодней ёлке (бедной, детдомовской, которая, конечно же, мне показалась сказочно роскошной), в разгар веселья и праздника я горько расплакался. Меня почему-то дружно все начал! утешать, и многие сироты тоже расплакались, и не от того, что родителей их расстреляли в Медвежьем логу или сделали сиротами другими, более «спокойными» средствами. Плакали они совсем по другим причинам, которые я и по ныне не возьмусь объяснить до конца, ибо они до конца и необъяснимы.

...За полдня поймал я на гибельную бамбуковую удочку и на примитивные мушки-обманки ведро харюза и ленка, поймал бы и ещё, да речка вздулась от дождей и эвенкийский бог сказал: «Хватит! Вас много, таких азартных и жадных».

Скажете: «Всё жамини да жамини, а о моей статье ни полслова!»

Понравилась мне статья, понравилась! Вы пока более других

рецензентов приблизились к пониманию того, что я хотел сказать, сам порой не понимая того, как это сделать и о чём толковать со здешним нынешним народом, потому как и народ этот уже шибко отдалился от моего разумения, а может, я от него. Хожу иной раз по родному селу, ищу чего-то, но ни села, ни себя в нём найти не могу.

Увижу на скамеечке тётку Дуню и брошусь к ней, как к огоньку бакенскому на чужой, на каменной реке. Ей 84 года, жива, подвижна, ростит для сыновей двух поросят, обихаживает избу, огород, а когда так ещё с котомкой - лучишку, ягодёнок иль чесночишку — на рынок подастся. Чего уж там наторгует — секрет большой, но с народом пообщается, с бабёнками навидается и довольнёхонька! А на воскресенье, глядишь, сыновья да внуки приедут, работающие на каких-то непонятных «производствах», да и им самим едва ли понятных. С горы Колька спустится (там у нас Молодёжный посёлок) — путный мужик, у путной матери вырос. Папа-то был в галифе, командовал да хворал, а чаще — чужих бабёнок щупал, вот и помре рано от грехов мушшынских и блуду опшэственного, а тётка Дуня жива и почти здорова, и Колька — ей помощник хороший, душе поддержка и радость. Всё умеет, и по двору, и по специальности, здоров, красив, приветлив. Я и полюбуюсь ими издаля, да и укреплюсь душевно. А то хоть пропадай, когда тебя «мужественно» поддерживают русские мыслители по углам Кремля, за колоннами либо в сортире.

Завтра еду в деревню. Всё там в огороде заросло да и высохло, поди-ко, — июль у нас простоял жаркий. Люблю свою деревню и такой, какая она есть, — придурочно-дачная, раскрашенная, как гуляшая девка или буфетчица, дурная, стяжательная, как официантка из ресторана «Вырва» (так «Нарву» называли возле «Литературки»), но другой деревни у меня нет, да и не надо мне другую. Какую Бог дал и какой она меня родила, такими будем доживать и помирать вместе.

А «Печальный детектив» я хотел сделать непохожим на другие мои вещи. Это я помню отчётливо, потому как и все другие вещи мне не хотелось делать похожими друг на дружку. Я по природе своей выдумщик, «хлопуша», как мне говаривала бабушка, и мне хочется без конца выдумывать, сочинять и это увлекает меня прежде всего, а дальше уж объяснимые вещи начинаются: привязка к земле, читатель-писатель, искушённый формалист и опытный самоцензор; хитрован-редактор, приспособленец — гражданин, нюхом охотничьей лайки-бельчатницы берущий «поверху», то есть умеющий улавливать дух времени И веянье ветров, ну, а потом — труд, труд, труд,

когда голова и задница соединены прямой кишкой.

Всё это не унижает моего труда и не убивает во мне моего удивления и восхищенья им. У Вали Распутина в рассказе: «Что передать вороне?» (по-моему) или в «Наташе» сказано, что ему кажется, что в нём есть другой человек. А мне думается — не кажется! И эти два человека противоборствуют всё время: один — сирый, придавленный страхом и временем, склонный к постоянному самоуничижению; другой — свободный в мыслях и на бумаге, упрямый, понимающий и чувствующий больше и тоньше, чем позволяет ему выразить тот, первый. И сколько же внутренних сил и напряжения ушло и уходит на противоборство этих двух человеков?! Вы скажете, и у Гоголя было так же, и Николай Васильевич маялся... Да ведь люди-то в Николае Васильевиче размешались под стать ему, с огромными, пространственными мыслями, неизмеримым космическим обаянием, даже в мерзостях своих, кои мы, по ничтожеству нашему, как и злополучные грузины, и выставить на вид боимся. И муки у Николая Васильевича были не чета нашим, огромные муки, нами до сих пор не понятые, не постигнутые оттого, что до Гоголя мы не возвысились. Ни время, ни образованность наша (скорее полуобразованность), ни, наконец, строение души нашей не позволили нам сблизиться с такой «материей» вплотную, хотя шаг вперёд и сделали. Гоголя начинают читать, но далеко, ох как далеко ещё до подлинного прочтения этого величайшего из гениев, до счастья проникновения в него или хотя бы почтительного (не фамильярного, как зачастую случается ныне) сближения с ним.

Если Вы посчитаете возможным исключить себя из этого «мы», — пожалуйста! Мне остаётся только позавидовать Вам.

Ну вот. вроде маленько выговорился. Оттого и не писал до поездки в Эвенкию, что сил на разговор не было и желания браться за ручку — тоже.

Ещё раз спасибо Вам на добром слове! Здоровы будьте! За книгу спасибо. Статью о Косте *[К. Воробьёве. — Сост.]* непременно посмотрю, да и всю книжку осенью в деревне пролистаю. А пока собираюсь в Туву. В сентябре — на Украину, где уже, наверное, в последний раз встречаются ветераны нашей Киевско-Житомирской дивизии, и, даст Бог здоровья, буду готовить «Последний поклон» — написалось в него ещё две новые главы.

Шлю Вам и свои книги. Кланяюсь Вам и Вашим близким. Жена моя, Марья Семёновна, будет перепечатывать это письмо (иначе не прочтёте) и присоединит свои поклоны. Ваш Виктор Астафьев

12 августа 1986 г.
Красноярск
(В.Г.Летову)
Дорогой Вадим!

Месяца полтора назад я писал тебе большое письмо, где объяснял, почему и отчего не могу пока поехать на Смоленщину, Что там у тебя за бардак, что письма не доходят?

Живем помаленьку. трудимся, иногда хвораем вместе или врозь. Летом была Ирина с детьми. Потом мы маленько поездили, были вдвоём в Эвенкии, затем я летал в Туву. Порыбачил.

Нам всё звонят «доброжелатели»... Сотни писем идут ко мне, в журнал, в Грузию, в Союз писателей, в том числе и коллективных. В одном из них присланы стихи И. Абашидзе, написанные им в 30-х годах в честь Берии, перевод Долматовского. К ним добавить нечего. Письмо в «Н. современник» я не читал, но хорошо, что его напечатали, пусть все видят, на каком уровне культуры и гражданства стоят «лучшие умы» спесивой земли.

На мой взгляд, они сравнялись с тувинцами, о которых один русский путешественник сказал: «Народ грязный и подлый». От нашего либерализма, подкармливания и заигрывания народ сей сделался ещё тупее, наглее и подлее.

Я собираюсь на Украину на встречу ветеранов нашей дивизии, но прежде заеду в Воронежскую область, где доживает свои последние годы наш командир дивизиона, нашедшийся после моего выступления в «Правде».

Шлю тебе «Детектив». Должна скоро выйти книжка рассказов с этим романом в голове. Осенью и зимой буду делать дополненное и исправленное издание «Поклона», написалось две новых главы. Осенью же по телевизору покажут трёхсерийный фильм «Где-то гремит война». Не прозевай, хороший фильм.

Обнимаю тебя Виктор Петрович

21 августа 1986 г.
(В.Н.Таничеву)
Дорогой Валерий Николаевич!

Телеграмму я получил. Спасибо за приглашение печататься в «Роман-газете" и за хлопоты, без которых, догадывался я дело не обошлось.

Книги пока не посылаю по той простой причине, что у меня их нет, а слышал, что вышла книга в «Современнике». Огоньковская же книжка на расклейку не годится из-за формата и

шрифта. Но прежде чем послать книжку, я хотел бы предупредить Вас и тех, кто «благословляет» Ваше массовое издание — вприцеп с кем-то я печататься не буду, а ведь наметили-то «вприцеп») потому как роман мой всего семь листов авторских.

Так уж случилось, что «благодетели» мои долго меня вообще до массового издания не допускали и мимо «Роман-газеты» прошли «Кража», «Пастух и пастушка», «Ода русскому огороду» и многое другое. «Царь-рыба» была загнана в один выпуск, и из неё сокращено восемь листов. Лишь «Последний поклон» был удостоен соответствующего внимания по причине его, видимо, полной «безвредности».

Более я никаких подачек и снисхождений не приму. Или мне дадут под новые вещи — роман и рассказы — целиком выпуск «Роман-газеты», то есть книгу на 14 листов, а книга в «Современнике» объемом 25 листов и выбрать есть из чего, можно и из старых, но не состарившихся повестей дать — «Ода русскому огороду» или «Пастух и пастушка». А огрызком и довеском я печататься не хочу и не стану,

Если патроны Ваши и вдохновители согласны на моё предложение — давайте телеграмму, и я вышлю книги. Если предложение моё не проходит, то не пало тратиться и на телеграмму. Это письмо моё можете считать официальным.

Дальше пишу для Вас и для Альберта *[А. Лихачева, в ту пору редактора журнала «Смена». — Сост.]*.

Живём, работаем, волны шумихи, ночные звонки с угрозами с ног нас не сбили. Возросла почта, и очень сильно. Почта меня, в основном, радует: читатели русские, лучшая их часть, держатся достойно и достойный отпор дают прихлебателям и трусам, в том числе штрейкбрехерам из «Нашего современника» и из СП РСФСР. Почта необыкновенная, умная, содержательная, свидетельствующая о том, что нас мало убить, надо ещё и повалить, а до этого, слава Богу, ещё далеко.

Из Грузии мне прислали стихи Ираклия Абашидзе: на смерть Кирова и на приезд Берии в Поти, а также газету «Зарю Востока» за 30 июля 1986 г. с отчётом о партийном активе Грузии — чрезвычайно любопытные произведения. Вот их бы в «Роман-газете» опубликовать — полезное бы дело получилось.

Я дважды ездил в тайгу, сперва в Эвенкию, затем в Туву — рыбачил, смотрел, дивился: есть ещё у нас где жить, быть, есть чего кушать и чем топить. Ума бы ещё и хоть маленько порядку, так нас бы и рукой не достать, и бомбой не запугать.

На несколько дней приехал в город — у Марьи Семёновны день рождения, затем снова в деревню. Начну работать над подготовкой дополненного и исправленного издания «Последнего

поклона» — написал две новые главы. Работа предстоит большая и серьёзная.

В конце октября пленум СП РСФСР. Бог даст, я к той поре сделаю эту Работу, привезу книгу в Москву, и мы увидимся.

А пока — желаю доброго здоровья, то есть ничего более не ломать, ибо уж всё поломато. Поклонись своей жене и маме, которая не хочет жить в Безбожном переулке, и правильно делает — безбожие вылилось в беззаконие и вместо Бога, как предсказывал Достоевский, явился богочеловек, всё сокрушающий и истребляющий. Кланяюсь. Виктор Петрович

22 августа 1986 г.

(А.Ф.Гремицкой)

Дорогая Ася!

Я был в лесу и маленько подзадержал верстку *[речь идёт о сборнике «Военные страницы», изданном в «Молодой гвардии» в 1986 г. — Сост.]*, хотел прочесть её повнимательней, а то уж больно «перлов» много скопилось: «ядрёная деваха» уж ядерной сделалась, даже «правая губа» у женщины появилась — надо полагать, от чтения современной художественной литературы! Особенно ошарашивающие ляпсусы я пометил восклицательными знаками, кое-где заполнил пустые строчки пусть нахально, не к месту расставленными абзацами, ну и хоть маленько поборолся с бедствием моим — буквой «а». Где возможно — снимите её — это как идёт от устного рассказа, так и мучает мои бедные произведения.

Чтобы сократить время доставки вёрстки в издательство, посылаю её с Романом Солнцевым — он едет в Коктебель и будет проездом в Москве.

В сентябре вплотную приступаю к работе над «Последним поклоном», написал две новые главы, одна уже напечатана, другая в деле. Работа предстоит большая, но за осень надеюсь одолеть.

Живём мы, как всегда, в трудах и заботах, я, в основном, в Овсянке. Я дважды побывал в тайге, в Эвенкии и в Туве. В Эвенкию ездили вместе с Марьей Семёновной, на вертолёте нас забрасывали в глубь тайги, жили в охотничьей избушке. Погода маленько подгадила, но до дождей я всё-таки успел порыбачить, и тайги наслушались.

По приезде нас ждал ваш альбом! Ну и молодцы вы, бабы! Ну молодцы! Юмор вас не покинул даже в издательстве «Молодая гвардия», а что если б вас перевести в «Планету» иль в «Мысль»?! И подумать-то весело, чего бы вы с этой «Мыслью» сделали!!!

Спасибо! Спасибо! Читатели поддерживают меня, и издатели, слава богу, в обиду не дают. Почта возросла, и какая почта! Живы мы, и народ наш жив!

Целую всех, обнимаю и благодарю! Ваш Виктор Петрович

7 сентября 1986 г.

(С.П.Залыгину)

Дорогой Сергей Павлович!

Надеюсь, ты уж прибыл из Дубултов в Москву и начал править миром? Я читал твоё интервью в «Литературке» и проникся серьёзностью твоих намерений, да и тонкий намёк понял. Сейчас я работаю над подготовкой исправленного и дополненного издания «Поклона» — написалось две новых главы. Глава эта — вполне самостоятельный рассказ, с некоторыми связями-ниточками со всем предыдущим материалом. Глава по объёму большая и вполне проходимая по цензуре. «Последний поклон», видимо, разделится на три книги, и работы с ним предстоит ещё много.

Хочу тебе сказать о том, чего раньше не говорил — не возникало надобности, — о своих давних, непростых отношениях с «Новым миром». Началось всё с того, что ещё в шестидесятые годы в этом журнале была отредактирована подборка моих рассказов, и заредактирована так, что я, живучи тогда в Перми, ещё нигде в толстых журналах не появлявшийся, вынужден был их снять. Рассказики, как я теперь понимаю, были не ахти и, может, даже лучше, что они не появились на свет. Из четырёх рассказов, снятых мною, я потом занялся лишь одним и сделал «Восьмой побег», а остальные просто напечатал на периферии и на том успокоился, никуда их более не включаю.

Но вот в прошлом году мне снова, но уже с трудом удалось вынуть из «Нового мира» рассказ — «Тельняшка с Тихого океана». Высокомерное отношение и очень «грамотная» редактура сделали рассказ таким, что под ним уже можно было ставить любую подпись, а я на любую не согласен и раньше был, теперь, на старости лет, тем более. Давление на меня я испытывал сначала, печатая в журнале своих дружков, в особенности такого чирка-трескунка, считающего себя гением из народа, как Витя Боков.

Обратил бы ты внимание и на вторую половину журнала, на критику и литературоведение — уж очень много там литературы снобистско-высокомерного толка не сумевших сделаться хотя бы средненькими прозаиков (им бы этого вполне хватило, чтоб считаться хорошими) и по этой причине принявшихся анализировать и препарировать современную литературу.

Проза в «Новом мире», как и прежде, заметнее, чем в других журналах, хотя и пестроты в неё и излишней трескотни, «злободневности» и просто словесного блуду многовато добавляют такие «проблемные» беллетристы, как В. Токарева и иже с нею.

Вот и все мои тебе «инструкции». Вполне допускаю, что всё это ты знаешь не хуже, а лучше меня, но тем не менее глас из народа, любящего тебя и желающего тебе добра и здоровья, в моём лице пущай прозвучит. Ношу ты взял на себя нелёгкую и в немолодые годы, взвалил ради нас же, никем так и не объединённых.

«Наш современник» оказался «нашим» до первого поворота, и тут же начал нас предавать направо и налево. По моему подсчету, Викулов употребил уже двенадцать редколлегий. За это время даже в такой текучей футбольной команде, как московский «Спартак», перебывало меньше народу. Но «Спартак» хоть одного игрока хорошего, Хидиятуллина, с извинениями вернул, а Викулов гонит, как сквозь солдатский строй, своих помощников и рядовых работников, и, думаю, в ранней смерти Юры Селезнёва он виноват в той же степени, что и советское КГБ, которое его ещё парнишкой-студентом запихивало в одиночку, и была та одиночка, видать, очень страшна, потому как и много лет спустя, он, Юра, вскакивал по ночам с криками ужаса. Я ночевал однажды в общежитии Литинститута в одной с ним комнате, был тому свидетелем и отпаивал его водой.

Ну вот, на этом про дела и кончу, поскольку ты катаешься по странам и континентам, а творишь за границей, то бишь в Латвии, я маленько и о Родине твоей напишу, чтоб напомнить тебе о ней и раздразнить её видами, авось вместо Запада покатишь в отпуск к нам, азиятам, на Восток.

Лето у нас и по Сибири, после трёхлетней прорухи, было прекрасное, урожайное, доброе, и до сих пор в Красноярском водохранилище «зеркало воды», то есть верх, имеет температуру плюс 19—21! И люди купаются. Грибов народилось полно, картошка замечательная, всякая овощь из гряды прёт. В нашей деревне, откуда я тебе и пишу, даже кукуруза вызрела в початках. Вот бы Хрушёва к нам! Он бы нам медалю дал, а может, и орден!

Я дважды ездил на рыбалку: в Эвенкию и в Туву. Маленько отвёл душу на ловле хорошей рыбы — хариуса и ленка. В Эвенкии всё ещё пространственно, безлюдно, тихо, но уже нашли нефть и торят дороги, налаживают промысла. Тува вконец испорчена национализмом и дикой, оголтелой пьянкой. Режут русских походя, да ещё больше друг дружку, болеют чахоткой, вырождаются. Сделались тувинцы жуткими ворами,

мошенниками и проходимцами — цивилизация не покорила их, они цивилизацию обхаркали и живут по-скотски, со скотом в горах, потаённо и пьяно.

А в Эвенкии мы пожили в охотничьей избушке. Всё бы хорошо, но опять горела без конца и края матушка-тайга, самолёты ходить не могли — на небе солнце угасало от дыма, и температура до одного градуса падала среди лета, а, по советскому радио и телевидению передали соболезнующе-горькую информацию о том, что на юге Франции от страшных пожаров выгорело аж 30 гектаров леса! Вот так вот и живём, боремся за правду, продвигаем вперёд идеи и помыслы.

Обнимаю тебя, родной человек. Держись на ногах. А мы подопрём тебя, не боись. Твой Виктор

14 сентября 1986 г.
Овсянка – Красноярск
(Н.Я.Эйдельману)
Натан Яковлевич!

Вы и представить себе не можете, сколько радости доставило мне Ваше письмо. Кругом говорят, отовсюду пишут о национальном возрождении русского народа, но говорить и писать — одно, а возрождаться не на словах, не на бумаге — совсем другое дело.

У всякого национального возрождения, тем более у русского, должны быть противники и враги. Возрождаясь, мы можем дойти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на навязанном нам «эсперанто», «тонко» названном «литературным языком». В своих шовинистических устремлениях мы можем дойти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, жутко подумать, — собрания сочинений отечественных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже приберем к рукам и — о ужас, о кошмар! — сами прокомментируем «Дневники» Достоевского.

Нынче летом умерла под Загорском тётушка моей жены, бывшая нам вместо матери, и перед смертью сказала мне, услышав о комедии, разыгранной грузинами на съезде: «Не отвечай назло злом, оно и не прибавится».

Последую её совету и на Ваше чёрное письмо, переполненное не просто злом, а перекипевшим гноем еврейского высокоинтеллектуального высокомерия (Вашего привычного уже «трунения»), не отвечу злом, хотя мог бы, кстати, привести цитаты и в первую голову из Стасова, насчёт клопа, укус которого

не смертелен, но...

Лучше я разрешу Ваше недоумение и недоумение московских евреев по поводу слова «еврейчата», откуда, мол, оно взялось, мы его и слыхом не слыхивали?!

«...этот Куликовский был из числа тех поляков, которых мой отец вывез маленькими из Польши и присвоил себе в собственность, между ними было несколько жиденят...» (Н. Эйдельман. История и современность в художественном сознании поэта, с. 339).

На этом я и кончу, пожалуй, хотя цитировать мог бы многое. Полагаю, что память у меня не хуже Вашей, а вот глаз, зрячий, один, оттого и пишу на клетчатой бумаге, по возможности кратко.

Более всего меня в Вашем письме поразило скопище зла. Это что же Вы, старый человек, в душе-то носите?! Какой груз зла и ненависти клубится в вашем чреве? Хорошо хоть фамилией своей подписываетесь, не предаёте своего отца. А то вон не менее чем Вы злой, но совершенно ссученный атеист Иосиф Аронович Крывелёв и фамилию украл, и ворованной моралью — падалью питается. Жрёт со стола лжи и глазки невинно закатывает, считая всех вокруг людьми бесчестными и лживыми.

Пожелаю Вам того же, чего пожелала дочь нашего последнего царя, стихи которой были вложены в Евангелие: «Господь! Прости нашим врагам. Господь! Прими и их в объятия». И она, и сестры её, и братец, обезножевший окончательно в ссылке, и отец с матерью расстреляны, кстати, евреями и латышами, которых возглавлял отпетый, махровый сионист Юровский.

Так что Вам в минуты утишения души стоит подумать и над тем, что в лагерях вы находились и за преступления Юровского и иже с ним, маялись по велению Высшего судии, а не по развязности одного Ежова.

Как видите, мы, русские, ещё не потеряли памяти, и мы всё ещё народ большой, и нас всё ещё мало убить, но надо и повалить.

Засим кланяюсь. И просвети Вашу душу всемилостивейший Бог!

За почерк прошения не прошу — война виновата.

12 октября 1986 г.
Овсянка
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Пишу тебе прямо вдогонку. Как истопил печи и еду сварил, так и читать твою рукопись взялся.

Блистательно! Иного слова и не хочу искать — блистательно! Я лучше и вдохновенней ничего у тебя ещё не читал. Мо-ло-дец! *[Речь о предисловии к собранию сочинений И. Мельникова-Печерского. — Сост.]* Не зря ты самообразовывался. Остаётся лишь позавидовать хорошей завистью. И своё собственное невежество кажется малость окупившимся, когда пообщаешься с такими мужиками, как ты, да прочитаешь такое вот. Мне показалось даже, что за последние годы ты многое ещё и приобрёл. Наверное, тут и общение с духовенством сказалось. Только в словах не утони я имею в виду всё, что всуе сказано). Русским интеллигентам всё же свойственно «умственность» держать при себе и не любоваться ею даже в подпитии. Может быть, тебе ещё предстоит что-то пройти и до чего-то дойти.

Знания существуют не для того, чтобы побеждать, то есть давить невежество, а чтобы помочь отучиться от него, помочь прозреть, пробудить в человеке стремление к самоусовершенствованию, и ты это уловил, тонко уловил у Мельникова-Печерского.

Наверное, терпение старообрядцев есть высочайшая, нами так и не понятая степень культуры, внутренней их культуры. Уж очень часто мы, увидев невежество и невежественного человека, торопимся ткнуть в него пальцем и сказать слово «дурак»! А так как дураков кругом очень много (дураков, думающих о себе, что они умные), у нас, у «шибко умных», работы не убавляется и порой даже во сне рот не закрывается.

Я много вчера думал, ходил по вечерней Овсянке. Хорошо у меня на сердце было, хоть и получил очередную угрозу по почте, что приедут два грузина и зарэжут меня. Хорошо оттого, что вот не прошли даром наши «жертвы», недочитанное, недоученное, недодуманное, недобратое нами всё же кем-то добирается, люди не только дичают, но и образовываются.

А мне что уж, куда уж? Более 10 страниц и прочесть не могу. Разламывается голова. Не оправдание, конечно, да что же сказать, когда говорить нечего?! Я и не бичую себя особо-то. Из Чусового выбрался, сажу малость отряхнул с себя, продвинулся от полного невежества, злость и темь военную в себе преодолел за полжизни, пусть не всю и не до конца, а всё же...

Я это к тому, что в текст твой вмешиваться не стану, «помогать», то есть портить ничего не буду. Отошлю за твоей подписью и постараюсь издателей убедить, что так оно и лучше, правильней будет. Кроме того, узнав из планов об этом предисловии, Лиханов просит его в «Смену», и разреши мне его отправить туда. Текст я попрошу перепечатать, этот всё равно грязноват.

Ну, а мне и радости от чтения достаточно, и желания, возникшего после чтения, перечесть хоть одну книгу Мельникова-Печерского.

А тут ещё наши французов «обули» — 2:0 выиграли! И погода по-прежнему солнечна, суха, правда, ночью был крепкий морозец, но ты ж его ещё застал, сегодня ж только двенадцатое.

У Андрюши Поздеева, как отсюда «ослобонюсь», непременно побываю. «Картинки» Тойво Ряннеля посмотрел. Хо-хо-хо, тебе о Печерском было веселее писать. Не знаю, как я выкручусь тут. Может, опыт «Чусовского рабочего» пригодится? Такой страшный и «полезный» опыт!

Обнимаю тебя. Спасибо! Спасибо! Живи, работай, молись, у тебя все основания для этого есть. Твой Виктор Петрович

13 октября 1986 г.

Овсянка

(В.Г.Распутину)

Дорогой Валентин! Эти «братья» довели меня всё-таки до того, что я вынужден бросить работу и писать совсем непривычные моей руке «произведения», в совсем непривычные организации.

На всякий случай посылаю копию и тебе (копии от руки, Мария Семёновна ничего о них не знает, ибо она и без того едва жива после трёх похорон, последние в конце августа) — если ты будешь на пленуме и почувствуешь разнузданность и нужду в том, что надо «заступаться» за меня, сделай это ещё раз — выйди и прочти это письмо от моего имени, копию. Оригинал же наши ловкачи из родного Союза попробуют замолчать, «помирить» и т. д. Пришлют ещё и миротворца за казённый счет, который будет доказывать, что Михалков не проходимец.

Погода у нас до се так и стоит дивная, даже писать ничего не хочется.

Посылаю тебе книжку, где есть глава из «Поклона», посвященная тебе. По этике полагалось бы тебя спросить об этом. Но как-то разом взбрело мне на ум эту очень близкую нашему сибирскому сердцу притчу посвятить тебе, главное, что делал я это от всего сердца, даже и с какой-то братской нежностью. Старею, видно. Обнимаю тебя. Виктор Петрович

(приложение к письму)

Секретарю правления Союза писателей РСФСР

Копия в ЦК КПСС Е. К. Лигачёву

Копия в Краевой КГБ

от Астафьева Виктора Петровича

Благодарю за приглашение приехать на секретариат правления, посвященный дружбе братских литератур, но я не приеду на него.

Что такое наше братство и дружба народов, я немножко знал и прежде, а теперь познал эту тему более углублённо, ибо со дней съезда писателей «братской» страны Советов подвергаюсь непрерывной травле со стороны младших «братьев» грузин. По телефону и письменно дорогие «братья» сулятся подослать наёмных убийц.

Вдохновителем этой разнузданной и хорошо организованной и продуманной политики, точнее сказать, издевательски-дешёвого спектакля, я считаю "отца" российской литературы (которого не напрасно же зовут по Руси — первопроходимцем) С. В. Михалкова и испытанного «на деле», старого доносчика Г.Троепольского, а направителем и дирижёром — новоявленного идейного вождя Лигачёва Е. К.

Ко всему сказанному могу добавить, что я старый солдат-окопник и запугать меня не так-то просто, как мало всегда было убить русского солдата, его надо ещё и повалить, но вот этого-то я и не позволю с собой сделать.

Виктор Астафьев, русский писатель, инвалид Отечественной войны

1986 г.

(Ответы на анкету читателей)

1. Повидавший разгром природы на Урале, гибель деревень в средней России и, наблюдая варварское, колониальное отношение к природе, земле и богатствам великой, богатейшей отчизны под названием Сибирь, с горьким недоумением глядевший в погибшие воды рек Европы: Эльбы, Рейна Сены, я никакого оптимизма насчёт будущего земли высказать не могу, хотя и рад бы.

По этой же причине не верю и в мировую гармонию, тем более достижение её посредством научно-технической революции. То, что мы именуем гармонией, вообще недостижимо при таком хозяине Земли, как хомо сапиенс. Лишь отдельные гении и мыслители доказали, что он мог бы образумить варваров словом, искусством, мыслью, но, увы, на одного мыслящего и трудового человека все века наваливались тучи кровожадных насильников, дармоедов, рвачей лжецов, и они в конце концов добились своего, растоптали святое реалистическое искусство, надругались над словом, над здравым смыслом и с приплясом, визгом, хохотом двигаются ко краю пропасти.

Мне иногда кажется, что человек занял чьё-то место на земле,

сожрал на ходу того, кому была предназначена эта прекрасная планета, и даже не заметил этого. Не верю, не хочу верить, чтобы такие дивные и беззащитные цветы, деревья, животные предназначены были для того, чтоб туполобое существо растаптывало их, сжигало, обхаркивало, заваливало дерьмом.

2. Взаимоотношения экономики и экологии в том виде, в каком их «изготовил» человек, — не совместимы, как гений и злодейство. Примирение их? Не вам, живущим рядом с Чернобылем, задавать такие благодушные, если не безответственные вопросы. Уже не шаги нужны, а целый переворот в сознании человека, в его взаимоотношениях с природой-матерью.

3. В этом веке уже не остановить бешеного, нахрапистого и расхристанного наступления на природу. Но приуменьшить зло возможно, начав вместе с разорением лечение земли и неба. Спастись и спасти будущее планеты и людей возможно простым и всем доступным способом — уже сейчас, с детского садика начавши воспитание детей по законам созидания, а не разрушения. С самого раннего возраста нужно постоянное общение детей с природой, для чего необходимы уроки природоведения везде и всюду, и непременное участие детей в восстановительной работе по всей земле, приобщение к крестьянскому труду. Война и воины ничего кроме зла и хаоса на земле не сотворили, и солдата с ружьём, человека с топором должен заменить труженик с лопатой, с молотком и саженцем в руках. Иначе гибель всем и всему.

Роль культуры!? Какая может быть культура с таким всеобщим низким сознанием, с таким агрессивным характером человечества? Может быть, поменьше сочинять лжи и таким образом меньше будет истребляться лесов на бумагу. Каждому человеку пора садить, а не рубить, строить, охранять, спасать, а не болтать всуе, попусту о спасении земных ценностей, самой земли, как и о гибели её. Я уже давно не беру в руки ружьё.

23 ноября 1986 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Марья Семёновна вырвалась домой, именно вырвалась и пока ещё не очень, чтобы очень, но устала от больницы и, больных, хотела домой, а что дома-то? Психованный муж и пустота. Но сулятся в начале декабря прилететь Валентин Григорьевич *[Распутин. — Сост.]* и Володя Крупин, а затем Андрей, сын.

Может, он и возьмёт мать в Вологду, тогда я сам отправлюсь лечиться в какой-нибудь здешний приют под названием профилакторий. Нервы на пределе — голова разламывается.

Мне всё время кажется, что кто-то пытается достать меня через жену и угробить её, зная, что без неё мне не работать и не существовать. Я даже подозреваю одного «друга дома», но верить этому не хочу. Может, это моя мнительность, к старости обострившаяся.

Возил тётушку Августу Ильинишну к глазному профессору — правый глаз у неё погас совсем, в левом зрения чуть-чуть, и задача удержать его хоть на время.

Есть и другие неприятности, но поменьше. Попробую вывернуться и сойти с этой ухабистой полосы. Заставляю себя писать «затеси», авось и на этот раз они помогут мне войти в рабочий ритм, а тогда мне сам чёрт не брат.

У нас намечается зима, третий день минус 7—15, и довольно хорошо дышится.

Посылаю выпрошенную для тебя очень славную книгу очень славного человека. Был он завкафедрой фауны в Томском университете, и травник известный, начал с помощью народа нащупывать, что горец (аконит) действительно может послужить основой лекарства от рака — бездари тут же ополчились на него и выжили из университета. Ныне он работает в филиале нашего института леса «по кедру», а годов через пять-семь какому-нибудь Эйдельману-внуку дадут Нобелевскую премию за «открытие», давно сделанное нашим народом и Геной Спиридоновым.

Обнимаю. Пиши почаще и прямо на имя Марьи Семёновны. Сегодня я прочёл в газете, что возле вашего знаменитого города найдена самая северная стоянка древнего человека. Ну никуда от Чусового! Маня посмеялась.

Виктор Петрович

1 декабря 1986 г.
Красноярск
(Е.Ягумовой)
Дорогая Елена!

Я нарочно подобрал Вам открытку с цветами, чтоб напомнить среди зимы о них и о тепле, которое вечно ждётся, а с возрастом ждётся нетерпеливо и как-то болезненно-судорожно: «Скорее бы весна! Скорее!..» И рядом вопрос: «А сколько всего осталось? Надо ли торопить время?»

Простите, бога ради, что долго Вам не писал. Плохо было дома. Сперва недомогал я, а потом свалилась с инфарктом и чуть

не умерла жена. Сейчас уже дома, расхаживается, кастрюлями на кухне звенит, а это привычная и такая в жизни нужная «музыка». Мы ведь женились в 45-м году. Для Вас это выглядит небось, как конец первого тысячелетия.

И до стихов Ваших добрался. Ну что Вам сказать? Я переворачиваю горы рукописей, а мне все и отовсюду говорят: «Брось. Не трать своё время», да всё думаю: «Но должна же, должна же быть награда за любой труд!..» И вот такой наградой явились Ваши стихи. Хорошие, вполне уже зрелые. Посмотрел в письме, как мало Вы потратили времени на написание (или на запись — у настоящего поэта стихи постоянно живут и слагаются в душе) стихов и вообще, какое недолгое время Вы их пишете. Вы родились поэтом, и вот дар Ваш затревожил Вас, начал мучить и гнать из себя это мучение и восторг, и страдание и радость, на люди. Молча поэт не может существовать, он собеседник людей, он думает вместе с ними и не может страдать в одиночку. Очищаясь страданием, углублённей его чувствуя, он помогает и нам, его слушателям, очищаться, высоко говоря, вместе с поэтом плакать и возноситься в горние выси, где звёзды, где небо, где что-то есть такое, до чего чувством только и возможно достать, притронуться к какой-то тайне, мучительной и манящей.

Даром своим надо уметь распоряжаться. И на первых порах я Вам помогу, а там уж как бог велит. Из этих стихов, что у меня, я сделаю несколько подборок — для альманаха «Енисей» (плохо в альманахе с поэзией) и для тонких пока столичных журналов, а может, и для толстого одного. Я ещё подумаю. Наверное, Вы написали ещё что-то? Присылайте. И ещё у меня к Вам предложение, может, и неожиданное. Где-то, в чём-то я поймал ухом, что ли, «струну», настрой которой близок любимой мною поэтессе Белле Ахмадулиной. И я подумал: не послать ли ей хорошо отобранные стихи? Если доверите, я сам подберу стихи и пошлю ей с коротким письмом. Она человек, глубоко, по-женски чувствующий мир и его подспудные страсти и трагедии, и пишет поэтому сложно для тугого на ухо массового читателя, она как бы избранник избранных, но так всегда было с настоящими поэтами, больно и по-настоящему чувствующими и через сердце своё пропускающими токи времени. Лермонтов тоже оказался слишком «сложен» для своего времени, а вот Апухтин (я его тоже читаю с наслаждением) — в самый раз.

И Вас, если Вы будете работать в поэзии (не бойтесь этого грубого слова, это хорошее слово!) и жить поэзией (без неё Вы уже не сможете), ждёт очень сложная и нелёгкая жизнь. Да я из стихов «увидел», что таковая жизнь уже мучает Вас — окружение непонятости, одиночества, пронзающего чувства боли и

проникновение в женскую душу — ох, какой это груз! Какая Божья награда и наказание одновременно.

Наказание талантом — это прежде всего взятие всякой боли на себя, десятикратное, а может, и миллионнократное (кто сочтёт, взвесит?) страдание за всех и за вся. Талант возвышает, страдание очищает, но мир не терпит «выскочек», люди стягивают витию с небес за крылья и норовят натянуть на пророка такую же, как у них, телогрейку в рабочем мазуте.

Надо терпеть и, мучаясь этим терпением, творить себя, иногда и притворяясь таким же дураком, как «ропщущая чернь». От мира можно уйти «в себя». вознесться до небес в мечтах, но оторваться от жизни и от людей ещё никому не удалось — они его рожают, они и уничтожают. Иногда медленно мучая, иногда выстрелом в упор или изоляцией от общества, чтоб «не смущая невинный взор». Ладноть, будя теорий.

Нужно, чтоб Вы прислали стихи в двух-трёх экземплярах. Может, удастся сформировать книжку, а они. книжки, издаются медленно, уже сейчас утверждаются перспективные планы издательств 1988 года. В трёх же экземплярах короткую биографическую справку. И, пожалуйста, пишите! Как можно чаще «записывайте» стихи на бумагу. И здоровы будьте, насколько это возможно в Норильске, да ещё зимнем. Почерк мой ужасный, поэтому Марья Семёновна напечатает письмо на машинке. Я читал ей часть Ваших стихов, и они ей понравились.

Кланяюсь. Виктор Петрович

1987 год

Март 1987 г.
Красноярск
(А.Ф.Гремицкой)
Дорогая Ася!

Бандерольки с зеленой верёвочкой шли, шли от вас и иссякли, значит, все пришли. Спасибо! Я понимаю, сколько хлопот вам было, да что же делать? Не переселяться же на старости лет в столицу ради бандеролей и частых встреч с дамочками. Им ведь тоже надоесть можно. А издаля и любовь жарче, прочнее и длительнее. Я уж хотел дать благодарственную телеграмму, а тут письмо от тебя. Хорошее письмо, которому, как и у меня, тесно в мыслях, и оно от бурности характера аж на поля вылазит, и там-то, на полях, неразборчиво пишется самое ценное — «люблю, целую» и прочее.

Мы помаленьку, кажется, выплываем. Марья Семёновна начинает шевелиться на кухне и пятый день, как на улицу выходит. А то у нас зима рассердилась сама на себя и ну нас морозить в марте, да ветрами понужать, и такими, что Марье

Семёновне выходить на улицу нельзя было. А она простор и волю любит. Вот едва приподнялась, а уже вольничает и пытается меня словом уязвить. Значит, дело к лучшему идёт.

На каникулы прилетала дочь с внуками. Они уже возвратились домой, но дух ихай, особенно Полькин, в избе витает. Она каждое утро вставала раньше всех, поскольку и уторкивалась раньше, израсходовав все свои сверхсилы, и требует: «Деда, тявай! тявай, тявай! Ку-ку! Ты посему не откукуливаися? Ты спись?» И не отстанет, пока не поднимет.

Я разбираю почту, рукописи, начинаю с мелочей за бумаги браться — сделал предисловие к книге С. В. Максимова «Крылатые слова», переложил на Русский язык рассказ друга-болгарина, завалявшийся у меня, пробую начерно делать скопившиеся «затеей», авось разгонюсь и за «Поклон» примусь. Ну, то уж в деревне, по весне.

М. Н. Алексеев попросил у меня рукопись «Зрячего посоха», сулился прилететь, да у него жена умерла, и он отложил поездку на начало апреля. Я прочитал и сам эту рукопись. Пять лет лежания в столе не пошли ей на пользу, и сделать ничего не могу. Отвык от рукописи. Наверное, лишь уберу какие-то куски своего текста, и, если согласятся не трогать письма А. Н. Макарова, пусть печатают. Чего ж лежать и пылиться рукописи, не такой уж и крамольной, всего лишь честной, в основе своей.

А вот как к «геройству» Валентина относиться, для себя ещё не установил *[речь о присуждении В. Г. Распутину звания Героя Социалистического Труда. — Сост.]*. С одной стороны, хорошо, официальное признание, первый писатель-сибиряк, живущий в провинции со Звездой. А с другой стороны — это ведь и покупка сильная. Характер у Валентина твёрдый, да ведь пряник-то и монаршьи милости слёзы умиления вышибали и у таких титанов, как Достоевский Ф. М., и лишь могучий дух дал ему не оступиться, остаться во много самим собой и даже походить в реакционерах в одухотворённое время в идейном нашем государстве. И третье — как посмотрю на Звёзды Софронова, Иванова, Абашидзе, Маковского, да как вспомню, что Твардовский, Трифонов, Ахматова, Артём Весёлый и прочие не удостоились их, так и тускнеет это золото в моём глазу и никакого трепета не вызывает, хотя Марья Семёнове «тонко» и намекает, что и я, будь попокладистей, имел бы награды повыше. Раз пять уже при мне друзьям сказала бедная Марья Семёновна: «Валентин Григорьевич так объективно всегда выступает». Даже и она не всегда и не в всём меня понимает. А я переделал Грибоедова на свой лад: «Избавь нас Бог от милостей монаршьих и от щедрот вельможных отведи».

Благодарю всех вас за поддержку словом и делом, кланяюсь.
Виктор Петрович

10 апреля 1987 г.
Красноярск
(М. и Ю.Сбитневым)
Дорогие Майя! Юра!

Давно уже наверху стопы, перед глазами, лежит письмо Майи, и каждый день собираюсь отписать ей, да какие-то делишки (дел-то настоящих давно не делаю) отрывают, отбрасывают от стола.

Тяжёлый год прошёл. А будут ли легче следующие? Надеюсь, но как-то слабо надеюсь. Старость подступает, а с этой штуковиной не заспоришь, более что я не бодрый большевичок, который отсиживался в комиссарских блиндажах, а теперь, поскольку атеист и знает, что будут его ись черви те что ели преданный им и погубленный им народишко, пасёт своё здоровье будущего, жрёт по лимиту и по науке всё, бегает почти нагишом по зимнему лесу, купается в прорубях и кричит остатку народа: «Не пей!», «Делай, как я и будешь образцовым примером для будущих поколений».

И тем не менее моя комиссарша не выдержала напору жизни. В прошлом году в апреле умерла её старшая сестра, в июле — тётушка Тая в Подмосковье, много для нас значившая, в конце августа — старший брат Сергей, который, когда нам в молодости бесхлебно и бездомно было, знать нас не знал, а на старости лет притулиться надо ж к кому-то. Был он на фронте шибко избит, глаз повреждён, позвоночник повреждён, по году и более лежал в спецсанаториях, где он и его собратья по изломанной спине умудрялись попивать будучи лежачими больными. Посылали всё, что могли, и деньжонки посылали, хотя и знали, что он их пропьёт. Последний раз попросил 50 рэ. Марья забунтовала: «Не пошлю!» А я как чувствовал что-то... А что чувствовал? Опыт жизни. Бабушка Марья Егоровна *[Астафьева. — Сост.]*, когда я последний был у неё в больнице и принёс ей еврейских апельсинов, попросила меня принести крепко заваренного свежего чайку, а я ушёл, загулял, загусарил и про чай, и про бабушку, впав в веселье и красноречие, запамятовал. А была она не очень лёгким человеком, хотя ко мне проявляла доброту посреди целого народа, забывшего о доброте. И вот мучает этим чаем, невыполненной просьбой — тяжкое это бремя! Два года уже скоро, как умер » деревне последним дядя — Кольча-младший. А тоже любил выпить, до чифиру опускался и занимал по родне рублишки, а жена его за это кляла родню, и вот его не стало и

жене нехорошо, и родне больно. А последняя моя тётка Августа, ослепла она совсем, всё плачет и кается: «Просил у меня Кольча рубель, а я не дала. Ну почему я ему не дала этот рубель, так его перетак?!» Вот и говорю М. С: ..Отправь! Не из последнего ведь. Ну хочешь, раздели пополам полсотенную». А когда приехала его хоронить, у него под подушкой от четвертной ещё десятка оставалась и чекунчик недопитый...

Семнадцатого октября хватанул мою бабу инфаркт. Большой. Трудно она выплывала наверх. А тут нас подкопали кругом, телефон обрезали, шофёр мой ко времени разобрал машину, ездил я на советском транспорте, нервничал, мёрз. Однажды голова закружилась, хераknулся среди города, пробую встать, шапку схватить, а внутри вроде как все гайки с резьбы сошли, и не верится, а встать не могу. Шли молодые парень с девкой, гармонично развитые люди в дублёнках и в золоте, так захохотали — такой я неуклюжий и жалкий валяюсь. Они ведь и не знают, что я на фронте из-под пули в ямку или в воронку мог унырнуть. Что, говорю, хохочете? За клоуна приняли? Не Никулин я! Тут подскочил ко мне бритвами резанный, конвоирами битый парняга-мужичок, приподнял, шапку на меня задом наперёд напялил и с известным тебе хорошо жаргонным превосходством зашипел: «С-сэки! Я деда поднял? Поднял! Вы, с-сэки, упадёте, вас поднимать некому будет». Умён, собака, практическим, выстраданным умом умён этот мой вечный «герой», то полпайки отдаст кровной, то прирежет невзначай...

Выкарабкалась баба. А сидеть и лежать-то смирно не умет. На кухне кастрюлями давай греметь, в ванную стирать лезет, наклоняться давай, я тоже привык к ней, к дуре, вечно бегущей и чего-то делающей. 27 декабря умер в Темиртау первый из нашей шестёрки боец, и в эту же ночь у Марьи второй приступ, среди ночи. Хорошо, что под нами врач живёт, знающая нас как облупленных, прибежала, а Марья в клинической смерти. Она её как-то через колено переломила, выпить чего-то дала, и у Марьи выброс с переду и сзаду. Оживать начала. Но в больницу увозили, уже попрощалась и со мной, и с домом. Сцена, скажу я тебе, на театре, как жиды говорят, непоставимая.

Вот до сих пор и тянется всё это. А тут зима осердилась сама на себя, что зимой слабо морозила, и давай нас дожимать в весенние сроки. Вот лишь второй день, потеплело, снег тает, водотечь открылась, жёлтая с зеленцой, снеговая вода пошла.

Ничего я за зиму почти не сделал, а планов было-о-о! Написал предисловие к «Крылатым словам» С. В. Максимова, статейку о Распутине, переложил с болгарского рассказ-притчу, сделал наброски десятка «затесей» и всё. А ведь всё время чё-то

делаю и от дела не бегаю. Люди осаждают, и всем чего-то надо. Я уж Марье говорю: «Был бы бабой, с койки не вставал бы, никому отказать не могу».

Устал очень. На каком-то взводе или пределе живу. В деревню охота. А раньше середины мая туда не попасть. В прошлом годе летом побывал в Эвенкии и в Туве. В Эвенкии мне понравилось, в Туве — нет. Может, туда и нынче съезжу.

На каникулах была Ирина с ребятишками. Вите уже 12 лет, Польке пятый пошел, жизнь Ирины идёт на них, я и не ожидал, что она станет такой хорошей, самоотверженной матерью.

Майя! Мария твой роман прочитала *[жена Ю. Сбитнева — прозаик Майя Ганина. — Сост.]*, ей понравилось. У меня всё запушено, в том числе и чтение, но летом, в деревне, надеюсь добраться и тебя и Юру почитать, а то стыдно. Правда, читаю я сейчас мало и медленно — голова болит.

Ну что сказать на прощание? Здоровы будьте! Не принимайте взаболь дорогую действительность и наши литдела. Они, право, не стоят того, чтобы ради них и из-за них хворать. Ничтожная жизнь с уклоном в подлость рождает себе подобную литературу и «мыслителей» придворных. От этого можно устать, но гневаться на это и нервы тратить — много чести.

Целую, обнимаю обоих. Ваш Виктор.

14 апреля 1987 г.

(В.Распутину)

Дорогой Валентин!

Пересылаю тебе письмо какого-то идиота. Я уже не смеюсь, читая подобные сентенции на конвертах, юмор мой иссяк.

Марья моя Семёновна начинает шевелиться, но дела её туго идут, а тут весна затянулась. Раньше хоть куда-то скрывались от этой слякоти, а нонче она не каждый день и на улицу выходит, а так хочется бабе поправиться, быть на ногах. Говорит: «И открыток писать к 1 мая не буду. А то как напишу, что поправляюсь, так мне и хуже...»

Телефон у нас опять не работает (третий раз только в апреле выходят из строя кабеля, то их режут, то варят в горячей воде), но я во сне с тобой разговаривал, всё равно как по телефону, и повторяю наяву то, что талдычил во сне: «Пожалуйста, скройся из города и работай! Если б ты знал, как быстро пролетает десятилетие от 50 до 60, а дальше уже работается затруднительно не хватает сил и суеты не убывает, а прибывает...»

У меня зима прошла даром. Ничего почти не сделал, а устал, будто охотничья собака, даже шерсть к весне (читай волосья) лезет от усталости. Улетаю на три дня в Игарку перевести дух и

кое-что поглядеть (завтра улетаю).

Тебя летом ждут. Исаев свой катер даст. Он сулится и сам ехать, но это едва ли получится у него.

А я в конце июня махну в Мексику на конференцию по современному роману. Хоть посмотрю на добрых-то людей, да и проверю себя: выдержу Мексику полмесяца — значит ещё ничего мужик.

Поздравляю тебя со Звездой, особо не смущайся, она не только твоя, но и Абрамова и Твардовского, и погубленных мужиков, могучих телом и душой А Зазубрина, Павла Васильева, да и Василия Фёдорова, и многих других, — носи и за них. А моя Марья деликатно так сказала разочков пять, думая, что с одною раза я не усёк: «Валентин Григорьевич так всегда объективно выступает, так объективно», мол, награды мои могли быть почтенней, если бы я был повоздержанней. Бедная наша жизнь, убогое время, даже очень близкий и умный человек до конца не понимает, что я вздохнул бы с облегчением, если б перестали трепать моё имя по поводу посредственнейшего моего романа— э-ээх! *[Виктор Петрович имел в виду роман «Печальный детектив». — Сост.-]*

Ладно, обнимаю, Виктор Петрович

6 июня 1987 г.

(С.Н.Асламовой)

Дорогая Светлана Николаевна! Первый том «библиотеки» получил. Он мне очень понравился, так должна делаться книга для чтения, а не для стояния на полке. И соболек на корешке мне тоже очень понравился. Я в свою очередь поздравляю Вас и всех иркутских издателей с этим добрым началом. Дело-то очень хорошее затеяно. А то сейчас время хороших слов, без всяких дел, или дел — без слов, как и в прежние годы.

Я на неделю ездил в деревню. Прибрался там, сон восстановил, почту всю одолел, но снова начались холода, и хрипов в лёгких добавилось, самочувствие сразу ухудшилось, еле ноги таскал. Пришлось уехать в город, куда мне больше не хочется ехать. Но надо. Предлагали лечь в больницу, но жена больная, внучек прилетел после болезни, надо кому-то быть на ногах. Лечусь дома.

Жаль, что не могу работать. Остальное всё не заслуживает внимания, ни анонимки, ни явные наветы. Всегда спасала работа, на это и надеюсь.

Роман Солнцев отправляется в Венгрию на полмесяца, но о работе помнит. Парень он упорный, и за что возьмётся — делает твёрдой рукой. Книгу мы составили крепкую. Уверен. А с

«Месяцесловом»-то получается ли чего? Я ведь у автора две книги выпросил. Лежат. Уж если в «библиотеку» не войдёт, так хотя бы отдельно издать. Дело-то нужное тоже.

Ну, о деле больше не буду. Отдыхайте. Набирайтесь сил. Впереди много работы. Расклейку я пришлю осенью. Не поздно ведь?

Простите, если что забыл. Кланяюсь, Виктор Петрович

23 июня 1987 г.
(Ф.Р.Штильмарку)
Дорогой Феликс!

Жизнь не даёт спуску. Два раза успел за май проваляться с обострением пневмонии и сейчас лечусь. Но днями надеюсь уехать в Иркутск на экологическую говорильню, на этот раз совместно с японскими писателями. Еду встряхнуться, повидаться с друзьями. Закис. Был недавно на водохранилище и не успел ни одной рыбки поймать — заболел. Более нигде не бывал. Так хотел побывать у твоего знакомого в Бору, и вот опять не вышло, лето проходит.

Вернусь из Иркутска 7 августа, будет текучка, почта, звонки, люди, и время пролетит, а в начале сентября собираюсь поехать в Словакию на международную конференцию под названием «Роксан-87». и там останусь на месяц отдохнуть и подлечиться.

В суете мелькнула твоя статья про детектив с «Наследником», и я даже не заметил, где, и найти не могу *[статья «Маленький детектив о большом романе» в журнале «В мире книг». — Сост.]*. Кстати, у меня ведь и «Наследника» нет. Был один на всю семью, остался в Вологде, у сына.

Черкасова хорошо издали в Иркутске, в серии «Наследство Сибири», и там же вышел первый том 20-томной «Библиотеки Сибири», которую ведёт Ваш покорный слуга.

Вот коротенько мои новости из Енисейской волости. Если дома, черкни маленько. От Виктора Мироновича *[В. М. Довбня, адресат Астафьева из г. Усмани. — Сост.]* получил большое умнющее письмо и думаю, не предложить ли его Залыгину на предмет изготовления на основе письма статьи-рассуждения про мораль в литературе? Как ты думаешь на этот счёт? Ведь обидно, что такие вещи лежат мертво в моём столе.

Обнимаю, Виктор Петрович

Сентябрь 1987 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Надо жить, ребят растить...

Кажется, ещё никогда так трудно не заставлял себя начать работать, но натура всё же мужицкая, заставил, написал три кусочка и новую главу в «Поклон», презабавную и светлую, но заболел Витя воспалением лёгких. Маня топталась, топталась и слегла, пробовала опять умирать. Оставил я Овсянку да сюда. Проку от меня немного, а всё же поддержка. Почты чемодан привёз. Сам-то ведь даже и бандероли не умею завязывать. Оля, невестка, приехала на неделю из Перми, полегче маленько. В воскресенье — сорок дней. Тоже надо переварить *[19 августа в Вологде от сердечного приступа скоропостижно скончалась дочь Астафьевых Ирина. Похоронена на овсянском кладбище. На попечении Марии Семёновны и Виктора Петровича осталось двое внуков-сирот. — Сост.]*.

Я рад, что ты согласился написать предисловие к томику юношеской библиотеки. Оно, по-моему, на пол-листа, так сделаешь без надсады, и всё, глядишь, копейка какая-никакая заработается.

Я посылаю тебе первый томик библиотеки, чтобы ты имел о ней представление. Может, где и доброе слово скажешь о добром и действительно нужном деле, а то ведь как воды в рот набрали. Начни бы эту библиотеку тихое» предприятие, уже бы шум был на весь свет. В четвёртый том станет Толя Соболев с «Грозовой степью», будет и фантастика, и том поэзии, может, удастся продлить библиотеку с 20 на 25 томов и выпустить её не за десять, а лет за шесть.

В Ленинград мне уже не поехать, а вот во Францию, если Марья Семёновна отпустит, в конце октября на неделю съезжу представлять «Печальный детектив», если, обратно, генералы-брежневцы не прикончат за материал, что обещает дать «Литературка» 7 октября *[речь о статье «Да пребудет вечно: память о войне». — Сост.]*.

От Миши Голубкова пришло письмо, даже и почерк хлябает от хвори у него. Да что же это такое, что за напасти на нас? В Овсянке неделя без покойника не обходится.

Не хворайте хоть вы-то, семьёю всей держитесь! Обнимаю, целую. Виктор Петрович

3 октября 1987 г.

(А.Ф.Гремицкой)

Дорогая Ася!

Вы, наверное, уже в отпуске, но я всё-таки пишу и когда вернётесь — прочитаете, а то я могу забыть отписать Вам ответ. Пишу из больницы. Времени здесь больше, чем на «воле», и есть

возможность почитать кое-что и письма отписать.

Смерть есть смерть, но переживать детей это большая неправильность, нарушение здравого смысла и всего здравого нарушение.

Переживаем всё тяжело. Марья Семёновна и без того едва ходила, а тут на нас, сперва на малого Витю, потом на Марью Семёновну, затем и на меня напал какой-то жуткий бронхит, кажется, и заразительный.

Я уже поехал в деревню и каким-то мне даже неизвестным усилием заставил себя начать работать и даже начал разгоняться, сделал ещё одну главку, несколько новых кусков, и вот тут меня и подхватила хворь. Отвели 40 дней, и пришлось мне идти в больницу, а Марье Семёновне дома оставаться, ибо надо ж кому-то быть и дома, дети ж не могут быть одни. Прошла почти неделя, как я здесь, а улучшений почти нет и врачиха говорит, что иные с обострениями и этим бронхитом лежат уже по месяцу, но не поправляются. Какая-то напасть небесная, не иначе, ибо, как вчера сказали американцы из антарктической экспедиции, озонная плёнка вокруг нашей Земли совсем истончилась и буди смерти, холода — это прямое следствие нарушению атмосферного хозяйства. Наши помалкивают, ибо «Над всей Испанией безоблачное небо!», как когда-то сказал Франко, а над нами оно вечно нежно-розовое, благополучное.

Хотя и в больнице, я не теряю связи с «Последним поклоном», думаю, иногда что-то записываю, если кашель не бьёт. Не знаю, смогу ли я сдать Книгу в ноябре, но хотя бы в конце года попробую, только бы поправиться.

Сейчас, как и все стареющие люди, я шибко сожалею о беспутно потраченном времени, о бездарно, в разговорах погубленных днях. Задним-то умом то мы, русаки, богаты!

Книга наполняется. Буду писать ещё одну главу, заключительную, из сегодняшнего дня, с оглядом назад, как и чего с нами произошло! Грустные итоги, печальные страницы пролистаю, назвав их «Вечерние раздумья».

А одна глава написалась почти озорная. Это в такие-то тяжёлые дни! Всё-таки раздвоение человека и писателя явление типическое.

Вот. как всегда в больнице, перечитываю Гоголя. Боже, какой писатель! Какой фулюган! И какой горький патриот своей горькой Родины!

Конечно, со школы не перечитывал «Тараса Бульбу», а тут взял и перечитал. Жемчужина! Никому ничего подобного ещё не удавалось изречь на Руси.

Уж как ни пытались изобразить советского «Тараса», да

кишка тонка. И стало ещё мне понятно, отчего «Тарас» не попадает в кино и на сцену, в школах и вузах читается успешно. Товарищи жиды там оказываются написанными такими, какие они есть на самом деле. А такие, какие они есть, они никому и даже самим себе не нравятся. Снова я читал по слогам, будто сахарок за щекой держал, «Старосветских помещиков». Вот учебник для молодых писателей. Черпай, учись, смотри — там на всех и всего хватит. Да ведь они читают какие-то подмётные листочки и классику знают совсем плохо, да и текущую литературу знают мало, в основном Жалуются на то, что их не печатают, мечтают разбогатеть посредством пера. Стремясь к этому, потеряешь последние штаны и попутно самоотверженно дожидающуюся материальных благ жену, Конечно, кусок хлеба должен быть у всех, и у молодых писателей не дол жен он отнимать много сил и лет, как это было с нами, но и занимать стол места в душе кусок хлеба тоже не должен.

В № 10 «Нашего современника» будут мои новые «затеси», там парочка есть, что стоит посмотреть. Если я выздоровею к концу октября и состоится поездка во Францию, попробую дозвониться или заглянуть в «Молодую гвардии

Чохом всем кланяюсь, всем желаю доброго здоровья. Кланяюсь, обнимаю. Виктор Петрович

Десятого, на десять дней прилетит из Вологды невестка и станет всем нал легче, а пока...

1987 г.

(Г.Семенову)

Дорогой Гоша!

Какое славное письмо ты мне прислал и как ко времени! Я после тяжкого несчастья, свалившегося на нашу семью лежу в больнице. Кругом ахи, охи да разговоры про болезни, а тут о музыке! Будто живым воздухом подышал, спасибо, брат, спасибо! Видно, ты почувствовал, что мне не очень хорошо. Теперь я не удивляюсь и тонкости, даже изяществу твоего письма и звучной стройности его, всё это от музыки. У меня, к сожалению, было меньше возможностей соприкоснуться с классикой, но рос в певческой деревне и родне, народную песню впитал и пропитался ею с раннего детства.

Обнимаю тебя. Бог есть! Твой Виктор

1987 г.

(В.Г.Распутину)

Дорогой Валентин! Как жив-здоров? Мы потихоньку восстаём из праха. Но девочку пришлось послать к сыну и невестке. Не

справляемся. Не хватает сил. Марья Семёновна только начинает подниматься с постели, после сердечных дел было у неё воспаление лёгких, затем воспаление почек, да и я малость в больнице провалялся. Полю — внучку уводили в садик и приводили домой добрые люди. Так она, шустрая и чуткая зверушка говорит: «Меня-то из садика взять не забудьте...»

Последний раз возил их на кладбище, так она. ребенок, плакала, как взрослая женщина, лицо сделалось, как у маленькой старушки. Что-то, какая-то сила проникает и в её маленькое сердечко, заставляет страдать. Когда летели в самолёте, так её мучило, что мне даже страшновато сделалось. Теперь Витька бунтует, в Вологду вослед за Полей просится, а там ещё не обменена квартира. Не понимает пока малой, что в Вологде всё переменилось и ничего уже не вернуть. Ах, сколько горя и бед они ещё переживут!..

Я тут ненадолго съездил во Францию. Чуть не на карачках оттуда прибыл, набегавшись по Москве и намаявшись в очередях в новых, тесных ботинках. До сих пор ноги болят и уже, боюсь, не перестанут, отложение солей разрушает суставы.

Сейчас я работаю. Поездка отвлекла меня и пособила помнить, что пока жив, надо о живом и думать. Делаю «Последний поклон». Понаписал много. Спешу, правлю, в книгу вставляю. В середине января надо книгу сдавать.

Возвращаясь из Франции, я сходил к Карпову и рассказал обо всех издевательствах, творимых над нами. Он всё это знает, тоже ругается и возмущается. Попросил написать письмо, чтоб на основании его выступить в печати или идти с ним в высокие инстанции.

Я посылаю тебе набросок этого письма, если захочешь — подпиши, не захочешь — я только со своей подписью его отправлю. Если письмо тебе кажется резким, можешь его поредактировать, но в любом случае верни мне его и, напечатав три экземпляра, я пошлю его по названным адресам.

Работалось ли тебе хоть маленько? Может, нам в Болгарии снова спрятаться? Зима-то нынче мрачная, ветреная, давящая. Как её и перевалить? Я привёз из Франции лекарство, подобное тому, американскому. Если тебе оно нужно, позвони, разделю.

Всем вашим поклоны. Володе Ивашковскому и Гене Сапронову приветы. Тебе желаю хоть какого-нибудь сносного здоровья и работы по душе.

Обнимаю, твой Виктор Петрович

1987 г.

Секретарю ЦК КПСС т. А. Н. Яковлеву
Министру финансов т. Б. И. Гостеву
Секретарю правления Союза писателей СССР т. В. В. Карпову

Ни в одном известном нам государстве система унижения человека не доведена до такого совершенства, как у нас, в государстве рабочих и крестьян, где гражданские права и достоинство человека гарантируются и вроде бы охраняются Конституцией, многими законами и постановлениями.

Здесь не место перечислять все организации, документы, справки, рекомендации, характеристики, всю бюрократическую управленческую систему, поджидающую тебя за каждым барьером, пропускным бюро, за углом в каждом присутственном месте, чтоб спросить у тебя пропуск, бумагу- справку, удостоверяющие и устанавливающие твою личность и благонаднежность.

Но порой и бумагу некому показать и личность некем удостоверить — перед тобой стена с изощрённой пропускной системой и равнодушием, граничащим с враждебной подозрительностью.

Таким местом является Министерство финансов СССР. Здесь бездушие крючкотворство доведены до такого уровня, который и не снился многим нашим конторам. «Не пущать и не давать!» — вот девиз этого министерства, » многие наши управления позавидовали бы такой чётко отработанной систем и опыт переняли бы, да ни в одну дверь там не пустят, ни одной фамилии не назовут. Всё покрыто в этом министерстве тайной многозначительности.

С тех пор как Союз писателей СССР вступил в международную ассоциацию писателей, у нас в стране появилось управление по авторским правам сокращенно — ВААП. Это управление осуществляет контроль за изданиям» книг, постановками фильмов, спектаклей, заключает договоры с иностранными издательствами на издание книг советских авторов за рубежом. Оно не из вещает автора о перечислении во Внешторгбанк гонораров за издание книг Деньги эти невелики. С перечислений удерживаются налоги в счёт государства, и все финансовые операции и формальности соблюдаются до тех пор, пока гонорарные перечисления не попадут в недра Внешторгбанка.

ВААП извещает, что во Внешторгбанк на ваше имя перечислены деньги в таком-то валютном начислении, в такой-то сумме. Банк извещать об это автора не торопится и по какому-то закону, точнее, по собственному произволу, вообще их не выплачивает автору. Только в том случае, если автор едет за

границу, уже с иностранным паспортом в руках, он может попросить в Министерстве финансов разрешение на выдачу ему Внешторгбанком, как правило, очень незначительной суммы от им же, автором, заработанных денег.

Но попробуйте получить разрешение из Министерства финансов! Здесь сделано всё, чтобы вы ничего не получили иль были доведены до сердечного приступа, унижены и растоптаны. Во всех подъездах Министерства финансов стоит охрана. Она вежливо спрашивает: куда вы идёте и зачем? Вы отвечаете, что едете за границу и вам нужно получить разрешение на выдачу денег. Вам говорят, что нужен пропуск. Вы снова суёте красный паспорт и толкуете в окошко-бойницу насчёт разрешения. На вас смотрят жалостно и снисходительно. «Мы не можем куда попало выписывать пропуск. Позвоните Тамаре Алексеевне или Наталье Ивановне». Заветный телефон записан, но по нему никто не отвечает. И дежурный милиционер (ох эта родная милиция, что бы мы без неё делали?!), жалеючи тебя, говорит: «Нужно сходить в этот вот подъезд, спросить того-то и того-то, может, он чем поможет».

Увы, который может помочь, тот редко бывает на месте, а день заканчивается, а иностранный паспорт выдаётся накануне или в день отъезда. Под него, под паспорт, денег в ВААПе дают ровно столько, чтоб доехать на такси до отеля или разок скромно пообедать. Что делать? Домой возвращаться? Потащили меня черти в Европу. Сидел бы, работал бы!

Наконец появляется тот, кого вы с вожделением ждёте. Кивает, просит проходить, что у вас, спрашивает. Где вы раньше были? Это же финансовая операция, она за час не делается! На сколько дней едете? Сколько денег просите? Мы можем разрешить вам небольшую сумму. Звонит: «Тамара Александровна, сколько мы можем?» — и вежливо называет небольшую сумму, от и без того небольшой суммы, числящейся на моём счёте. «Но это же мои деньги, мной заработанные!» — пусть и робко возражаю я. И совсем неробкий следует ответ: «А мы здесь ворованные и не держим!»

Пишется под диктовку длинное, довольно сложное по содержанию заявление, которое кем-то и где-то разбирается. Наконец сделано тебе великое одолжение, выдана бумага — разрешение. С нею надо мчаться со всех ног в банк, на Чкаловскую улицу. А там! Хоть бы кто-нибудь посмотрел, что там делается! Слоном, изведёшься, изнервничаешься, натолчёшься в очередях, пока получишь свои собственные деньги — на мелкие расходы, чтоб там, за рубежом, не унижать своего достоинства крохоборством и ограничениями в еде, даже в воде.

В особенно трудное положение поставлены живущие на периферии. Им, чтобы преодолеть преграды, чинимые Министерством финансов, надо приезжать в Москву за неделю до отбытия за рубеж. Но недель этих в нашей жизни остаётся уже мало, ими приходится дорожить.

В недавнем интервью писатель Габриель Маркес уже говорил с недоумением и возмущением об абсурдной системе оплаты писательского труда в нашей стране. А ведь он не бывал в Министерстве финансов, не обивал его порош, не прел в очередях Внешторгбанка.

Мы об этом говорить стесняемся, а ждать наведения порядка устали. Хотелось бы узнать при нашей жизни: изменится что-то или все надежды опять па будущее, на то, что и до нас дойдут и о нас позаботятся.

Министерство финансов — учреждение огромное. Наши дела там никакого весомого значения не имеют, так может, передадут всю нашу «мелочевку» в тот же ВААП, и оно, осуществляя контроль за нашими изданиями за рубежом, будет контролировать и осуществлять все финансовые дела и операции с авторами?

Думаю, все заинтересованные лица — авторы согласятся делать отчисления из своих гонораров на содержание дополнительных работников ВААПа.

Но проще и доступней делать это так, как век от веку везде и всюду делается: выделить писателю, имеющему счёт во Внешторгбанке, чековую книжку, и чтоб при наличии иностранного паспорта и документов о выезде сам мог выписать положенную или разрешённую сумму денег для поездки.

Нас на огромных просторах Родины, получающих гонорары из-за рубежа да и изредка по приглашению или в командировки туда ездящих — единицы. И большинство этих единиц уже в преклонных годах, имеют свои заслуги перед государством нашим и труды, по достоинству оценённые. Если наши небольшие суммы гонораров нужны государству, пусть нам об этом скажут, и мы без особых колебаний их отдадим, но отдадим на тот счёт, в то место, куда посчитаем нужным, а так, втихаря, по-шулерски, обращаться с нами, обирать нас по мелочи нехорошо, недостойно ни солидной финансовой организации, ни отечества нашего, во имя и во спасение которого мы не только проработали всю жизнь, но и кровь пролили.

Виктор Астафьев, лауреат Государственных премий, инвалид Отечественной войны

Валентин Распутин — Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий

11 ноября 1987 г.

(В.Винокурову)

Дорогой Валерий!

Я безмерно рад был получить от Вас письмо и ещё более потому рад, что Вы в «Смене», где меня любят, чтут и где меня начали печатать со... спортивного отдела! Чудеса, правда?! Тем более что творения мои никакого отношения к спорту не имели, просто работник спортивного отдела по фамилии Эпельфельд — человек добрейший, ласковый, кого-то там замещал во время отпуска в отделе прозы, вроде бы Игоря Кобзева, и среди других попала ему в руки и моя блёкленькая рукопись. Он её прочёл, ободрил меня обещанием «предложить журналу» и, спустя большое (мне показалось — бесконечное) время творения мои появились в «Смене». Эпельфельд и потом ещё раза два сумел меня «протолкнуть», а когда я попал в Москву, знакомил со всеми, кто был ему доступен, даже один раз покормил меня обедом в «правдинском» буфете и денег не взял, чем потряс меня совершенно. После обеда я ходил к главному редактору, и входил в редакторский кабинет не так уж робко, как могло бы быть до обеда.

Величко послал меня спецкором на начавшуюся стройку Красноярской ГЭС. Там был такой бардак, что даже я, человек, прошедший войну, едва с глузду не съехал. Жили мы с одним инженером в палатке, потом к нам поселили артиста Евгения Лебедева из БДТ — их «бросили» развлекать строителей светлого будущего, но там было не до развлечений — на великой стройке царила безработица. Нагнали уйму народу, угрохали деньги, а дела нет, и ничего нет...

И вот инженер мне говорит: «Не пишут правду! Врут всё! И Вы, Виктор Петрович, наврёте». А я молодой же был, прыткий, и говорю ему: «А вот и напишу! А вот и напишу!..»

И написал очерк, который прочитавши и раз, и два, товарищ Величко впал в удручение и мрачно сказал: «Рано мы Вас, Виктор Петрович, послали. Вот маленько наладится дело на стройке, ещё пошлём». Но тот, кто руководит там, наверху (я не Кремль имею в виду, а Небо) нашим братом, ещё на берегах Енисея шепнул мне тайным голосом, что «правда» твоя, да ещё про «великую» стройку, никому не нужна и никто её не напечатает. А вот напиши-ка ты, братец, что-либо «ударное», привычное, спору не вызывающее, а то ведь и за командировку отчитаться нечем будет, голодом семью уморишь.

И тут я бах на стол редактору Величко боевой очерк с

совершенно новым названием — «Строитель»! Эк обалдел товарищ Величко! «В номер! Немедленно в номер!» — кричит.

И на этом не кончилась, а только началась эпопея с ударным очерком «Строитель» — напечатали его очень скоро и высадили за него полторы с лишним тыщи! Я когда с почты деньги нёс, всё оглядывался: не бежит ли по городу Чусовому за мной товарищ Величко — с намерением вернуть деньги и даже оштрафовать меня за такую халтуру.

А жизнь-то, она вона какая разнообразная, в ей «сурпризов» больше, чем вшей в полушубке пехотного Ваньки-взводного из окопов!

Проели мы полторы тыщи мигом — семья была большая, да долги. И дожили до рублика. А тут кино идёт, трофейное, детективное, и мы, стало быть, с моей прелестной супругой шасть в кино! Удовольствие получили! Тут же нас и раскаянье посетило. «Во какие дураки! — говорит Марья Семёновна, — сходили в кино, а завтра детей нечем кормить. И нянька наша потерпит, потерпит, плюнет и уйдёт от нас. Чё будем делать?» А я ж оптимист! Я ж на юмор налегаю, хотя сердчишку и тесно в груди, и глазу зрячему моему единственному стыдно.

«А, — говорю, — не горюй. Маня! Счас вот придём, ворота отопрём, а в ящике газеты, а в газетах перевод». «Да откуда ему быть-то?»

«Оттуда, — говорю и показываю на небо. А ночь лунная! Погода зимняя. Идём домой, замедляя шаги, как набедокурившие ребятишки. Трясу газеты, а из них живым лепестком, вертясь и паря в воздухе, летит бланк от почтового перевода. — Вот, — говорю, — и всё! А ты, дура, боялась! Двести пятьдесят рубликов откуль-то пришло!..»

«Да ну тебя, Витя! Шутки у тебя какие-то...» — А я ей в руку талончик денежного перевода!..

Зашаталась моя жена на крыльце и, почти лишившись чувств, шепчет:

«Витя! Глаз тебя единственный подвёл! Тут не двести пятьдесят, тут две с половиной тысячи!»

Я ей говорю: «У тебя шутки тоже ничё! Жгучие!» — а сам к свету, к фонарю.

Это, стало быть, исполнилось сорок лет родному комсомолу, и за изданную первую книжку рассказов я получил гонорар вполовину больше, чем за доблестного «Строителя». И когда потом бедовал и голодовал, завоёвывая место в литературе, не раз мне являлся вид падающего из газет серебристо под луной мерцающего квитка от почтового денежного перевода, и голос был: Брось! Пожалей задницу и семью, не изнуряй больную

голову, продолжай своего «Строителя» и будешь сыт, пьян и жопа в табаке, в турецком, ароматном...»

Вот и шлю я Вам отрывочек из новой книги «Зрячий посох» — «Смена» уже частично печатала из него отрывки и даже годовую премию за них отвалила! А этот просто так шлю, к разговору о житье-бытье и о спорте тоже.

Альберту Лиханову (редактор «Смены») можете показать и письмо, и отрывок почитать. Мне ему отдельно уж не собраться написать, но скажите, что окрытку его получил и за всё его благодарю, и ещё скажите, что если дома будет всё в порядке (пока не очень), то в конце ноября я приеду с рукописью в Москву и мне обязательно нужно с ним повидаться, на сей раз по очень серьёзному, моему личному делу. А пока — ещё раз поздравляю Вас. Валерий, с переходом в «Смену» и желаю в ней закрепиться. Отчёты о футболе из Испании и из Англии Ваши я читал. Они написаны с блеском, каковой может допустить наша пресса. В ней шибко-то не разбежишься, не заблажишь и не извольничаешься.

Ваш Виктор Петрович

1987 г.

(В.Воловичу)

Дрогой Виталий!

Я только недавно смог просмотреть и почитать «Слово». Издание хорошее,большой культуры книга, незагроможденная, чего я очень опасался. Ныне ведь подсоединиться к «Слову» и поучаствовать в походе князя Игоря на «нечистых» гораздо больше, чем было при его житье-бытье. И всяк норовит подзаработать под шумок, зело много народа подкормилось на юбилейном празднике со стола, щедрого и терпеливого к прилипалам и словоблудам.

Твои иллюстрации очень украсили издание, дополнили его неожиданным решением темы и возвысили до уровня трагедии исторической, ибо многовато было красивеньких картинок на тему «Слова», особенно в нынешний юбилей. Глядя на картинки того же Глазунова, на его красиво плачущих дамочек и белокудрых отроков да молодецки рубящих князей, можно подумать что князья русские ездили на болота за клюквой и там порубали несметное количество ворогов, неожиданно встреченных, и не сами в плен угодили, а всех косых на верёвках в грады свои привели.

Красивенькая сказочка, плаксивая песенка вместо трагедии — этого же хотелось всегда «патриотически настроенным» нашим полководцам и «героически» плачущим и одновременно поющим угодникам с конфетных бумажек и плакатов. Этакое искусство в

умиление приводило и приводит наших сентиментальных, малограмотных генералов, которые уже и трагедию прошедшей войны хотели бы воспринимать как героический многословный фарс, в котором они в мундирах и при регалиях в семь рядов стоят, выпятив грудь, и кричат: «Ура!» Ибо больше ничего из великого русского языка и войны не запомнили, начисто забыв, что враг был у стен Москвы и на Волге, что выбит на войне русский народ и загублен в послевоенной голодухе, во время которой многие наши чины пир пировали, плюнув на тех, кто спас их шкуры и заслонил своими телами Родину, утопив внешнего врага в крови и не заметив внутреннего, не менее страшного, который всеми способами истреблял русский народ, унижал и уничтожал Россию и преуспел.

А меня заела текучка. Был на съезде, потом в заграницах, потом — Ленинград — Вологда — Горький. В запущенном, унылом грязно-провинциальном Ленинграде был на Рубцовских чтениях, ходил на (частную) выставку из «частных собраний». Дивная выставка, но для моих больных ног и одного зрячего глаза она громоздко велика. В Горьком слушал оперу «Пастух и пастушка» и немножко передохнул от петербургской холодной мглы, грязных улиц и домов.

В Ленинграде (!!!) упал на улице Гранин, переломил нос и вывихнул руку, и никто — никто! — на Кировском проспекте не помог ему встать, не подал руку, не потому, что презирает его как писателя, а просто так, не помогли и всё. Не помогли как человеку, не зная, кто он и что он, но, на всякий случай, посчитавши его пьяным. В Перми жил бывший сапёрный капитан, истерзанный фронтом и раненый, жил с батарейкой в сердце 14 лет. Не раз, почувствовав себя плохо на улице, он взглядом отыскивал поблизости место, чтоб прислониться иль сесть, присаживался или прислонялся, доставал Из кармана лекарства и помогал себе сам. Иногда приходилось выбирать из прохожих, кого можно попросить, чтоб помогли достать лекарство, ибо сам он уже и этого не может, ему плохо, и он вот-вот упадёт. Выбирал старых и молодых, русских и нерусских. И никто ни разу ему не помог, он падал, иногда разбивал себе лицо и нередко слышал голоса возмущённых соотечественников, за которых он на фронте кровь проливал: «Нажрался! Да ещё и старик! Да ещё вроде и еврей». Вот это трагедия!

Сейчас вот в моде слово «ускорение». И если его понимать не так узко, как оно трактуется, то «ускорение», происходящее внутри нашего общества, 0чснь скоро управится со всеми процессами, в том числе и с модно названными, «негативными».

В. Астафьев

1987 г.

(Д.Я.Гусарову)

Дорогой Дима!

Отправляю тебе обещанный отрывок из романа. Скрепя сердце и только из-за давнего и глубокого к тебе уважения и к «Северу», тобой сотворенному. Материал сыроват, и рукопись грязновата, но отсылаю, раз пообещал, перепечатывать уже некогда.

Роман «Прокляты и убиты» должен состоять из трёх книг (экую глыбищу на себя взвалил и дотянул работу до старости, всё зарабатывал хлеб, всё готовил себя к «главной» книге, всё не решался, а теперь успею ли?).

Первая книга о доблестном нашем военном тыле, о запасном полку (отрывок из которой и высылаю), пишу и самому страшно: как это мы пережили? Как стерпели? Поделом нам, покорным рабам. Только вот дети и внуки наши при чём? Вторая книга называется «Плацдарм» — это уже фронт, «героическая», кровавая бойня. Третья книга — послевоенная жизнь брошенных на произвол судьбы фронтовиков, которых добивали уже свои деятели и комиссары, мстя народу за то, что он, дурак, спас им шкуры, — добивали голодом, холодом, притеснениями, тюрьмами, лагерями и прочим, о чём ты не хуже меня знаешь. Пишу это тебе для того, чтобы был в курсе.

Тяжело переболел и до се ещё не отошёл от гриппа и осложнений. Занесли меня черти на этот съезд! Но, как писателю, полезно и любопытно там побывать, чтобы убедиться, что из этого «рая» добра не будет, хуже будет, а уж хуже-то вроде бы и некуда.

Обнимаю. Желаю. Кланяюсь, Виктор

Черкни пару слов, когда получишь отрывок, ладно?

13 декабря 1987

(Адресат не установлен)

Уважаемый Илья Григорьевич!

Письмо Ваше дошло, и работники почты тут ни при чём. Вот если бы я был завмагазином, да ещё продовольственным — они бы знали меня и сами принесли бы письмо мне домой. Осуждать и за это не надо — обманутый, полуголодный, обворованный народ и низкая его жизнь, холуйство, чинопочитание, вороватость — всё-всё взаимосвязано.

Я охотно верю, Илья Григорьевич, что человек Вы хороший и воевали честно, и моя неприязнь к вам, как к человеку

исключительному, отношения не имеет. Но как возможно жить среди грязи и не испачкаться? Быть погруженным в океан лжи и не изолгаться? Быть среди ворья и не завороваться?

Смотрели ли Вы фильм о волгоградском ворье из энкавэдэ, возглавляемом генералом Ивановым? А через три дня в «Советском спорте» было дополнение к фильму, и вот уж тут истинное мурло в полной законченности предстало. Вы, наверное, забыли, что вослед за сиятельным вождём Брежневым ходил в картузе и бил кулаками журналистов и прочая пердак в чине генерал-полковника. Из моей статьи цензура, ныне отмененная, сняла абзац: «Генерал-полковник в роли холуя! Явление уникальное, нам принадлежащее, на наших глазах проистекавшее».

Вы можете представить себе, чтоб царь, умерший, кстати, в чине полковника от подлой пули жида, допустил такое? И чтоб генералы Раевский, Алексеев или Брусилов — опустились до роли холуя?!

Вы знаете, что сказали мне люди, серьёзные и знающие, после просмотра волгоградской «опупеи»? «Если не в каждом, то уж в любом втором нашем городе обретается свой Иванов, и хоть завтра можно садить на скамью подсудимых местную мафию».

Вот до чего мы дожили, изолгались, одубели! И кто это всё охранял, глаза закрывал народу, страшал, сажал, учинял расправы? Кто такие эти цепные кобели? Какие у них погоны? Где они и у кого учились? И доучились, что не замечают, что кушают, отдыхают, живут отдельно от народа и считают это нормальным делом. Вы на фронте, будучи генералом, кушали, конечно, из солдатских кухонь, а вот я видел, что даже Ванька-взводный и тот норовил и жрать, и жить от солдата отдельно, но, увы, быстро понимал, что у него не получится, хотя он и «генерал» на передовой, да не «из тех», и быстро с голоду загнётся или попросту погибнет — от усталости и задёрганности.

Не надо лгать себе, Илья Григорьевич! Хотя бы себе! Трудно Вам согласиться со мной, но советская военщина — самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до неё на свете. Это она «победила» 1:10! Это она сбросала наш народ, как солому, в огонь — и России не стало, нет и русского народа. То, что было Россией, именуется ныне Нечерноземьем, и всё это заросло бурьяном, а остатки нашего народа убежали в город и превратились в шпану, из деревни ушедшую и в город не пришедшую.

Сколько потеряли народа в войну-то? Знаете ведь и помните. Страшно называть истинную цифру, правда? Если назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в

День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощение за бездарно «выигранную» войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови. Не случайно ведь в Подольске, в архиве, один из главных пунктов «правил» гласит: «Не выписывать компрометирующих сведений о командирах совармии».

В самом деле: начни выписывать — и обнаружится, что после разгрома 6-й армии противника (двумя фронтами!) немцы устроили «Харьковский котёл», в котором Ватутин и иже с ним сварили шесть (!!!) армий, и немцы взяли, только пленными более миллиона доблестных наших воинов вместе с генералами (а их взяли целый пучок, как редиску красную из гряды вытащили). Надеюсь Вы знаете, что под Сталинградом мы взяли 90 тысяч пленных, и они были в таком состоянии, что все почти, за исключением нескольких сотен, умерли, хотя их и пытались спасти. Ну что? Может, Вам рассказать, как товарищ Кирпонос, бросив на юге пять армий, стрельнулся, открыв «дыру» на Ростов и далее? Может, Вы не слышали о том, что Манштейн силами одной одиннадцатой армии при поддержке части второй воздушной армии прошёл героический Сиваш и на глазах доблестного Черноморского флота смёл всё, что было у нас в Крыму? И более того, оставив на короткое время осаждённый Севастополь, «сбегал» под Керчь и «танковым кулаком», основу которого составляли два танковых корпуса, показал политруку Мехлису, что издавать газету, пусть и «Правду», где от первой до последней страницы возносил он Великого вождя, — одно дело, а воевать и войсками руководить — дело совсем иное, и дал ему так, что (две) три (!) армии заплавали и перетонули в Керченском проливе.

Ну ладно, Мехлис, подхалим придворный, болтун и лизоблюд, а как мы в 44-м под командованием товарища Жукова уничтожали 1-ю танковую армию противника, и она не дала себя уничтожить двум основным нашим фронтам и, более того, преградила дорогу в Карпаты 4-му Украинскому фронту с доблестной 18-й армией во главе и всему левому флангу 1-го Украинского фронта, после Жукова попавшего под руководство Конева в совершенно расстроенном состоянии. Погубили у Дуклинского перевала более 160 000, но в Словакию нас так и не пустила воскресшая первая танковая.

Вы, конечно, обо всём этом «не слышали», «не знаете», но главное, знать не хотите. Так спокойней жить, правда? А я ведь назвал только часть безобразий и позора нашего. Есть ещё Тула, Воронеж, Ростов и много-много других городов, битв и операций, о которых не хочется рассказывать, стыдно и позорно

рассказывать.

Если Вы не совсем ослепли, посмотрите карты в хорошо отредактированной «Истории Отечественной войны», обратите внимание, что везде, начиная с карт 1941 года, семь-восемь красных стрел упираются в две, от силы в три синих. Только не говорите мне о моей «безграмотности», мол, у немцев армии, корпусы, дивизии по составу своему численно крупнее наших. Я не думаю, что 1-я танковая армия, которую всю зиму и весну били двумя фронтами, была численно больше наших двух фронтов, тем более Вы, как военный специалист, знаете, что во время боевых действий это всё весьма и весьма условно. Но если даже не условно, значит, немцы умели сокращать управленческий аппарат и «малым аппаратом», честно и умело работающими специалистами, управляли армиями без бардака, который нас преследовал до конца войны.

Чего только стоит одна наша связь?! Господи! До сих пор она мне снится в кошмарных снах.

Все мы уже стары, седы, больны. Скоро умирать. Хотим мы этого или нет. Пора Богу молиться. Илья Григорьевич! Все наши грехи нам не замолить — слишком их много и слишком они чудовищны, но Господь милостив и поможет хоть сколько-нибудь очистить и облегчить наши заплёванные, униженные и оскорблённые души. Чего Вам от души и желаю. Виктор Астафьев

28 декабря 1987 г.
Красноярск
(В.Кондратьеву)
Дорогой Вячеслав!

Прочитал в «Неделе» твой отлуп «наследникам». Зря ты их и себя утешаешь — все мы его «наследники», и если бы не были таковыми, у него и его сторожевых псов основы не было бы. Мы и жертвы, и претворители его. Я тоже только раз, перед нашей первой артподготовкой видел на снарядах, приготовленных к заряжению, написанное «За Сталина», а «ура» вообще ни разу не слышал, хотя воевал в более благоприятные времена, на фронте, бестолково наступавшем, но это ничего не решает, Вячеслав. Все мы, все наши гены, косточки, кровь, даже говно наше пропитаны были временем и воздухом, сотворенным Сталиным. Мы сейчас ещё во многом его дети, хотя и стыдно даже себе в этом признаться. Слава богу, что уже не боимся, а лишь стыдимся.

Я совершенно сознательно не вступил на фронте в партию, хотя во время нашего стояния 1944 года политотделы, охваченные бурной деятельностью, махали после боя руками, клацали зубами и болтали своими языками, загоняя всех в

партию, даже целые взводы делая коммунистическими. Не миновало это мероприятие и наш взвод, наполовину выбитый, а мы делали работу за целый взвод — война-то никуда не делась. Делали хуже, чем укокошенный взвод, копали уже и неглубоко, разведку вели тяп-ляп, связь была вся в узлах, радиосвязь полевая вообще не работала. Спать-то ведь и нам часок-другой надо было, и есть хоть раз в сутки требовалось. Как я увернулся, одному богу известно!

Но видевший расстрел людей в Игарке, знавший о переселении «кулаков» такое, что и во сне увидеть не дай бог, ведавший о строительстве Норильска и не всё, недостаточно много получивший объяснений о книге «Поднятая целина» в пятнадцать лет от очень «осведомлённых» бывших крестьян, с которыми лежал долго в больнице, и там, хихикая от восторга, прочитавший штрейкбрехерский роман, особенно вредный и «нужный» в ту пору, сам понимаешь, я, «умудревши», созрел, чтоб не иметь дел с той, которая поименовала себя сама — «умом, совестью и честью эпохи»! Совесть — это, надо полагать, Сталин, ум — это, несомненно, Хрущёв, ну а честь — это уж, само собой, красавчик чернобровый Брежнев.

Кстати, его преемник, о котором Миша Дудин так точно написал: «Извозчик выбился в цари и умер с перепугу», не стыдился писать, что в 1944 году учился в высшей партшколе, этак тоже, оказывается, шкуру спасали, и кто-то помогал её спасать! А мы той порой, мальчишки, съеденные вшами до костей, делали работу один за пятерых, а то и за десятерых. Нам не до Сталина и не до «ура» было — ткнуться, упасть, уснуть. От усталости, недохватов, от куриной слепоты много погибло, выходило из строя бойцов. Не тебе говорить, когда отупеешь и обессилишь до того, что одна-единственная мысль в голове шевелится: «Скорей бы убило. Отмучился бы».

А в это время росли тыловые службы, комиссары имели по три машины: легковушку для выезда на всякого рода руководящие совещания, «виллис» у большинства так и остался новым, у нашего бригадного комиссара даже краска американская, качественная, на нём не сносилась, третья машина — грузовая, «студебеккер». Там стояли только заправленные «простынями» пишущие машинки и всякого рода вдохновляющие тексты и бумаги, и при них секретарши не старше восемнадцати лет, менявшиеся по мере употребления и отправляемые в тыл для «лечения».

Ох, много, много есть чего скрывать «наследникам»! И я «наследник», да ещё какой!

Вот ты помянул Сашу Матросова. а ведь у меня где-то (где-

то!) в бумагах лежит вся история его страшной жизни, не по его вине страшной, а по жизни всей системы. Он ведь был перед отправкой на фронт не в РУ, а в исправительной колонии, которая до недавнею времени носила его ими, и только потом пришло кому-то в голову, что нехорошо тюремному предприятию носить имя героя. Воистину героя! Грудью на дзот он, конечно, не бросался. А попавши на верх дзота, пытался вырвать руками или наклонить ствол пулемёта к земле, но в дзоте-то сидели не те болваны, коих нам показывают в кино, и кормлены они были получше, чем Саша в штрафной роте, и они его за пулемёт стащили сверху и в амбразуру, которую, ты знаешь, даже сытой комиссарской жопой не закрыть, изрешетили парнишку. Но и этой заминки хватило пехоте, чтоб сделать бросок и захлестнуть дзот гранатами. И добро, что борзописец тут скумекал, а не будь его, кто бы узнал о Сашином подвиге. Борзописец тот всю жизнь сулился написать о Матросове правду, да не умел он и не хотел жить правдой!

Но, может, я такой прыткий и «правдивый», у которого были и есть все нравственные данные, чтоб рассказать о своём одногодке правду и написать о ней, да так, чтоб ясно было, что не благодаря Сталину, а вопреки его системе и воле, не глядя на всю угрюмую псарню и велеречивых мехлисов, народ и его истинный сын Саша Матросов шёл на фронт и воевал на передовой с честью, подлинной храбростью и достоинством, написал о нём?

Сперва мне жрать нечего было, а когда стало чего жрать, потерять уже жратву не хотелось, потом у меня появилась «лирическая струна», потом нахлынули более «важные» экологические дела, потом я стар и болен сделался, тему Сашину мне уже не по силам поднять и одолеть, а последователи наши пишут о «бичах», проститутках, наркоманах и заворовавшихся продавщицах. Это теперь так важно! А вот о Матросове вроде бы ещё нельзя. «На святое замахиваетесь! Мало вам Сталина! Так и до Жукова доберётесь!..»

А между прочим, тот, кто «до Жукова доберётся», и будет истинным русским писателем, а не «наследником». Ох, какой это выкормыш «отца и учителя»! Какой браконьер русского народа. Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию. Вот с этого тяжёлого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет правда, но нам до неё не дожить. Сил наших, ума нашего и мужества не хватит говорить о трагедии нашего народа, в том числе о войне, всю правду, а если не всю. то хотя бы главную часть её.

Черчилль говорит в своей книге публицистики, что победители в войнах непременно оставались побеждёнными, и ни

одна страна, ни один народ не терпел такого поражения в войне, как Россия и русский народ. Её, России, попросту не стало. Страшно произносить, но страна-победительница исчезла, самоуничтожилась, и этому исчезновению и самоуничтожению и продолжающемуся неумолимому самоистреблению шибко помогли наши блистательные вожди начиная со Сталина и однопартийная система, спохватившаяся спасать страну и народ во время уже начавшейся агонии.

Остаётся молиться, но уже настоящему Богу-вседержателю и просить его о чуде. Только чудо способно нас спасти! Современный управитель, похожий на Муссолини и Хрущёва одновременно, слабоват, чтоб загородить собой поток после сорванной плотины, да и методы его всё те же, что и у его предшественников, а время показало, что они, эти методы, годны только для разрушения: зажим, подавление, говорильня ничего доброго принести не могут. Общество слишком больно, и болезнь его прогрессирует «изнутри», а нутро-то это, сжавшееся от испуга, мелких страстей кусошника и выжиги, перешедшее во внуков и правнуков от дедов и прадедов, закрыто от всех и для всех. «Сдохни ты сегодня, а я завтра» — эта зловещая мораль, родившаяся в стране ГУЛАГ, залила, как болото, всю страну, весь народ, всё общество.

Заплатки на платье — частичная правда, позволение жить «морально», «по совести», терпеть и ждать снова — отправлены в народ элитой, которая жрёт, пьёт, ездит, даже моется и веселится отдельно от народа. «Узок их круг, страшно далеки они от народа...» — этот пассаж о декабристах вполне ложится на нашу руководящую верхушку.

1988 год

15 января 1987 г.
(Е.Е.Нестеренко)
Дорогой Евгений Евгеньевич!

Вот уже которое время живём мы «под знаком Нестеренко»! Сперва я прочитал горькую беседу с Вами о Мусоргском в «Советской России» (и представил: если б фамилия у него была Факторович, сколь камней, памятников и слов «самый гениальный» свалилось бы на нас! Уши б прожужжали, совсем бездарными бы нас поименовали на фоне гения Факторовича!). Но я иногда думаю, что наша безалаберность, наше благодушие, часто переходящее в бездушие, — всё же не навязчивая трескотня, а где-то и скромность науки, достоинство её, достойно в труде и делах выраженная и от сознания талантливости происходящая.

Сказали же Вы, что «в Милан не стажироваться ездил, а петь».

Славно! Только приходится нам, как нашим футболистам и боксёрам за границей, приходится нам бороться и дело делать с явной форой, в нокаут противника посылать. Я тоже яростный болельщик, и Марья Семёновна до болестей была таковой, — давние мы болельщики «Торпедо», а я, как старый железнодорожник, потихоньку еще болею и за «паровоз», будь он неладен! Но хоть в Высшую лигу вернулся, и то ладно. Однако подбирают отходы «Спартака», а надо бы своих на локомотиве привезти. Вот Марья Семёновна и перепечатывает мои рукописи десятки раз. Иначе нельзя. Никто у нас халтурную, пусть и «новаторскую» работу не примет, да и обрадуются любому нашему провалу, недоделке, неряшливости. Поэтому я был страшно рад (и все, кого я спрашивал, — я-то могу быть и субъективным) Вашей передаче из Останкино.

Браво! Браво! Браво! Браво, что певец наш по-прежнему подтянут, красив, голосист, причём голос, как дар, шарфом не укутан, Бог его дал, для людей, для увеселения, для духоподнятия — нате! Я весь без остатка Ваш! Надо — в деревне запою, надо — на сцене запою. И поговорю без ужимок, без этого, из кожи вынимаемого «юмора», без претензий, ибо прекрасное и без того прекрасно и величаво.

Словом, передача Ваша была большим праздником для всех разрозненных русских людей, и в связи с этим вспомнил я, что все лучшие творческие передачи из этой студии были как раз сделаны русскими людьми, и как тут не назвать нас шовинистами! Ваш покорный слуга ведь тоже на той сцене бывал и рюкзак благодарных писем получил.

Затем я получил газету, где было сообщение о награждении Вас Золотой Звездой и скупые, но искренние похвалы в Ваш адрес. Конечно, репутация всех наших звёзд и медалей шибко товарищем Брежневым поддешевлена, но коли всё-таки — «медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют», — какой всё же молодец Александр Трифонович *[Твардовский. — Сост.]*.

Вот со всеми наградами, юбилеями и «явлениями народу» (ох, как они! необходимы в пору смутную нашему подзаблудившемуся, замордованному, страхом и унижениями повязанному народу!) — со всеми и поздравляю. Но самое главное, чтоб пронесло беду над Екатериной Дмитриевной. Половина, коли её Бог дал, не восполняется и не приставляется ни с какого боку, как я понял, прожив со своей Марьей Семёновной почти сорок пять лет. Особенно! во дни тяжких бед, во дни болезней и трудов. Моя и ростику-то — от горшка два вершка, а как зашатает меня, — вот оно, её плечо, и крепкое

какое!

Нашему мужскому плечу не всегда и вынести те тяжести, какие жёнам! посильны.

Дай Бог ей здоровья, чтоб как можно реже появляться у врачей.

А мы живём, волочим свое горе по земле и как не умерли, — сами удивляемся. Днями будет пять месяцев, как лежит наша доченька под снегом, одна, где «одиноко и темно». Какое-то время дети были с нами, но сил наших не хватает на догляд, друзья и сами мотаются и мучаются со своими семьями. Сперва мы отправили внуков к сыну и невестке, ребятишки шибко привязаны друг к дружке, трудно живут в разлуке, так будут пусть вместе.

Квартиру ещё не соединили и новую не дали, хотя и обещали, — все пять человек сейчас сошлись в двухкомнатной квартире, на зарплату реставратора и преподавателя. Пока мы живы, будем помогать всем, чем можем. А потом? Вот и неохота иной раз, а молишься: «Господи! Продли мои дни ради...»

Я полежал в больнице, а в октябре на неделю съездил во Францию. Побывал на могиле Бунина (это и была моя горькая мечта). Поклонился Ивану Алексеевичу, попросил у него прощение за всех нас, и мне даже легче сделалось. Ещё очень хотел увидеть могилу княгини Оболенской, которой отсекли гильотиной в 1944 году её прекрасную и отважную голову современные варвары. И Господь помог мне найти её могилу среди многих и многих русских могил, может, и цвета русской культуры, отваги и совести.

Вернулся и продолжил оставленную и остановившуюся работу — делать новую редакцию — на всю жизнь растянувшуюся работу над книгой «Последний поклон». Конечно же, работоспособность уже не та, и зима длинная, серая, хлипкая. Но глаза боятся, а руки делают. Осталась последняя книга, и половина месяца на её проработку. В конце января или в начале февраля надо везти книгу в Москву, а сдавши, ложиться на месяц-полтора в лёгочную клинику. Место хлопочут, авось и получится. Лёгкими я маюсь давно и всё подлечиваюсь, а сказали мне: надо лечиться и серьёзно.

С вашего позволения, я, будучи в Москве, Вам позвоню. Может, и в театре удастся побывать. Это для меня всегда большой праздник.

Больше всего меня обрадовало, что налаживается жизнь Большого театра, а то уж до меня доходили слухи, что и его, и Малый хотят разорвать на куски, как МХАТ, современные псы, которым всё равно, что рвать: рубаху ли на российском человеке

или культуру его. Культуру особенно сладко им тереть и пластать.

Посылаю Вам ноты Аркадия Нестерова. Песня «Раздумье», право, совсем недурна, а «Чай» поётся после приёма не чая, а иного напитка, и не одну же Вы арию Дон Карлоса за семейным столом поёте, может, и эту дурашливую песню когда грянете. Горьковчане (они себя называют только нижегородцами), и старые, и малые, нарушая постановления облисполкома, после спектакля ночью как грянули этот самый «Чай», так что я аж на стуле заподпрыгивал. Переписывать ноты у нас некому, авось так дойдут.

Ещё одна новость — с первого номера в журнале «Москва» вместе с Карамзиным (!) начинают печатать и мою вещь под названием «Зрячий посох». Если заглянете в неё, то найдёте всё, что я хотел бы сказать в этом письме. Но пощажу бумагу и Ваше время, да и повторяться не стоит.

Был безмерно рад Вашему письму, и на сердечность Вашу и я, и Марья Семеновна хотели бы ответить самой искренней сердечностью. Сердца наши уже подызношены, но ещё хранят долю тепла и света, его и передаём Вам.

Пожалуйста, будьте здоровы, пойте, чаще появляйтесь на люди, и пусть минуют Вас всякие беды и болезни, Ваш дом и Вашу семью. Кланяюсь, обнимаю Вас, Виктор

9 июня 1988 г.
Красноярск
(К.Перевалову)

Дорогой Кирилл! Уж пожелтело твоё письмо, лёжучи на столе, а я всё собираюсь ответить. Такой год трудный, длинный — спасу нет. По инерции я ещё ездил, что-то делал, в основном текучку. А потом напала апатия, даже шевелиться не хочется, а уж думать тем более.

О Франции и о том, что побывал на могиле Бунина, вспоминал не раз и вспоминаю, даже по телевидению поведал в связи с заданным мне вопросом насчёт Солженицына. Да и помню я Францию в основном по кладбищу. Помню слитно, подробно и даже солнечный осенний день ощущаю, и близким людям, как чудо и творение небесное, рассказываю о том, как я нашёл княгиню Веру Оболенскую. Наверное, у человека бывают в жизни две любимые женщины, одна на земле, а другая в пространстве времён и сфер, как бы выдуманная, а то и подсказанная каким-то или чьим-то далёким, может, и запредельным сознанием. Не знаю, бывает ли это у женщин и у всех мужчин, но у поэтов и разных «повёрнутых» людишек существует. Подсознание бывает

часто ярче и богаче сознания, во всяком случае оно, расходясь с мерзостями и мелочами земного сознания, мучает человека всякими несовершенствами, недостижимостью того, что мы глупо называем идеалом.

Вероятно, существовала или существует где-то материя более совершения, чем наш внутренний мир, наша душа или то, что от скудости нашего ума мы называем душой — единственное, внематериальное, грубо говоря, чем мы вроде бы владеем, но ни «поймать», ни постичь, ни объяснить так и не сумели, да и сумеем ли? Хватит ли времени и ума?

Однажды, будто во сне явившись, прекрасная женщина уже существует в воображении, и это награда духа нашего, его вечный свет, его надежда, бол шей частью неосознанная, тайная, согревающая и дарящая свет иной, священный, как его принято называть. Может быть, обладание этой тайной и есть счастье человека?!

Я не испытал ни большого удивления, ни тем более потрясения, что встретил далёкую женщину мёртвой. Она не может быть для меня мёртвой, она ведь жива, всегда присутствует во мне и отсутствует в земном мире. И только моё физическое представление о том, как ей, живой, отрезали голову гильотиной, как преступный нож, выдуманный преступниками, чтобы казнить невинных и святых, причинял и причиняет боль, ибо я и сам её испытывал не раз и точно знаю ощущение холодного металла в горячем теле и ток крови со звоном, с удаляющимся шумом в голове и с остановкой всего этого. Разом! Мучительный миг, и уже не сознания, а чего-то в теле заключённого, в клубок свитого.

Словом, мне, земному человеку, жаль земного человека, но дух жив, и он не может быть убит даже такой могущественной, чудовищной машиной, как гильотина.

Выдуманная мною княгиня Оболенская, не зная того, безымянно существовала ещё до её рождения во мне и во мне же существует после её смерти, а может, будет существовать и после моей. Ведь досталась же она мне из чего-то, из чьей-то памяти, из чьего-то духа, заключённого в пространстве, и кто меня разубедит в том, что оно не всевечно? Значит, человек бессмертен? Не все, а только те, кто достойны этого, у кого могуч бессмертный дух настолько, что может пройти сквозь время и пространство.

Вот видишь, какие молодые думы во мне ещё живы, хотя душа устала, и порой мне кажется, что я уже столетний старик.

С большим юмором читал я в «Правде» заметку Володи Большакова о том, как кормят безработных в Париже. Нашим бы трудягам такое обслуживание, а детям в «передовых» наших детсадах — еду безработных, а то их уж закормили ивасями,

капустой и лапшой из солоделой муки.

Долгое житьё в парижах вредно — уж очень несовершенной начинает казаться наша жизнь и страна, где «по заслугам каждый награждён». А «их» житьё плохое, и вообще они «не так» живут, как мы, и, что самое дикое, — не хотят, как мы, жить.

Коммунисты, накормленные в буржуйских харчевнях первоклассными продуктами, кроют буржуев в газетке «Юманите», кроют за разные несовершенства. Им бы к нам в Бийск либо в Шарыпово приехать и вкусить пролетарских харчей, пожить в нашем малогабаритном раю, поотравиться в столовых раз пять в месяц, постоять в очередях, порвать штаны на наших асфальтах и пуговицы в трамваях, то есть поработать в наших «экстремальных условиях», как сейчас говорят, — они у нас всё время экстремальные.

Словом, воспринял я заметку Володи Большакова как юмористическую, а очередь он заснял, видимо, вечером у кинотеатра на Монпарнасе, где парижане «низшего сословия» жаждут американского кинобоевика.

Ну вот, хотел написать тебе длинное, обстоятельное письмо, даже в индийскую или индусскую философию ударился, как привезли почту в деревню, а с нею три толстых рукописи графоманов и вёрстку первого тома «Последнего поклона», который подарочно издаётся в «Молодой гвардии». Закругляюсь и желаю тебе и Петрухе того, чего желают добрым людям, — здоровья и еще раз благодарю за солнечный день на кладбище Сен-Женевьев, за его грустную красоту и за душевное очищение. И всё помню приболевшего Петруху. Жалейте его — один же! Но шибко не балуйте — уж так ли туго приходится одноштучным интеллигентным мальчикам в нашей дорогой действительности, особенно в армии, что они порой накладывают на себя руки. Вы ведь не вечны, а ему дальше жить и Бог знает, что их ждёт.

Поклон Парижу, всему разом. И Володе, хоть он и отбил хлеб у Жванецкого, тоже привет. Преданно Вас помнящий Виктор Петрович

9 июня 1988 г.
Красноярск
(Д.Гусарову)
Дорогой Дима!

Много я тут поездил, много повидал. Был аж в Латинской Америке, в Колумбии, Перу, увидел наяву то, о чём давно мечтал, что снилось в дальних юношеских снах. Много и разнообразного народу живёт на земле, но никто не дал себя так разрушить, как

мы, и вывод мой один: не надо разрушать, тогда и восстанавливать ничего не потребуется.

Южная Америка не дала растлить себя и свою древнюю культуру — это главное, что я увидел. Наоборот, влияние её на мировую современную культуру велико, особенно в ремёслах, музыке, танцах. Общение их друг с другом более независимо, чем у соседей американцев. Они, эти индейцы и креолы, не лебезят ни перед кем, психованные, горячие, но и восторженные, дружелюбные, нищие и богатые, трудящиеся и лентяи, воры и бляди, красавцы и красотки, почтительные, бодрые, ничего, даже правил уличного движения, не признающие, — живут непривычно нам, робким, от всего зависимым, послушным, зажатым даже в самих себе. Им же что убить, что полюбить человека — одинаково свободно. А природа! Особенно в Колумбии (я был в Боготе и возле неё). Четыре урожая в год. Овощи, фрукты, прикладные изделия ничего не стоят. Народ лёгкий на ногу, темпераментный, громкий и вольный, несмотря на военное положение и беспрестанную стрельбу.

Был в Новгороде, затем в Вологде у детей, затем в Москве на приёме в ЦДЛ, в «гостях у Рейгана», а после ходил на приём к Горбачёву, проговорили более часу, может, мой визит поможет Сибири и нам всем, может, и нет. Мне-то уже помог — я выговорился, «разгрузился», да и вблизи, глаза в глаза, посмотрел на нынешнего руководителя. Мужик он хороший и добра народу хочет, а уж как получится?..

Горе наше с Марьей непреходяще, и писать об этом не могу. Очень переживаем за детей, их двое, 12 и 5 лет, подтянуть бы их хоть маленько, до того возраста, когда они покрепче на ноги встанут. Сейчас они у сына в Вологде, и теперь у них трое гавриков, и их жизнь им уже не принадлежит.

Толя Знаменский написал мне насчёт повести, и хорошо, что вы хотите её печатать, а то одни Тухачевские да Блюхеры — сами они по ноздри в невинной крови народной, и Господь их покарал за жестокость и низкопоклонство перед тем же Сталиным — пострадали, и после «Ивана Денисовича» что-то насчёт убитых и замученных мужиков не слышно ничего. Мальчик, которого изобразил Знаменский, — укор и Сталиным, и нам всем, и маршалам: его-то за что предали и замучили?

Я думаю, Дима, моего давнего письмишка для вступления достаточно, это даже лучше, непривычней и, главное, короче. Я пока не готов ничего писать. Мне надо прийти в себя, отдохнуть. Устал. А тут погода... третий год не было весны и пока нету лета. Остываем помаленьку.

Дима, моё расположение и симпатии к тебе давние и

неизменные, но пока трачу себя на все стороны, чаше на личности недостойные, злые и навязчивые. Вот уж полгода ничего не писал «на себя», хотя всё время «в деле», в суете, жизнь бежит под уклон, оглянуться некогда и близким людям путем написать некогда.

Женя Носов если напишет в год два раза — хорошо, да и я не больше пишу ему, но узнал о нашей беде — плакал, и он, и Петя Сальников. Может, слёзы эти мужицкие и твоё давнее, братское ко мне отношение — дороже всяких слов, тем более обесцененных в наше торопливое и трепливое время. Но всё же на старости лет и поговорить охота, и поплакаться, да и просто рядом посидеть, но жизнь разбросала по стране, молчим в розницу, а думаем об одном и том же. Что-то будет дальше? И тревога наша, и боль за будущее огромны оттого, что мы знали и знаем больше, чем кто-либо, и знания наши ох как умножают скорбь, отнюдь не библейскую.

Обнимаю тебя, друг мой сердечный. Не хворай! Кланяюсь и ещё раз обнимаю, Виктор

20 июля 1988 г.
Овсянка
(С.А.Баруздину)
Дорогой Сергей Алексеевич!

Виноват, кругом виноват и искупить вину ничем не могу. У Вас родился сын — прекрасно! Жизнь в любом её проявлении — эта прекрасно, а смерть в любом её виде — эта чудовищно.

Через месяц, 19 августа, будет год, как умерла наша дочь — Ирина. Я, как мужик, взял на свои уже не молодецкие плечи весь груз (один перевоз гроба с телом дочери из Вологды в Сибирь мне обошелся не меньшим грузом, чем пребывание на фронте).

За этот год я не написал ничего, кроме фитюлек вроде предисловий или просьб откликнуться на что-то. Почту запустил безобразно и боюсь уже письменного стола...

Если это хоть как-то оправдывает меня, не гневайтесь! Милосердие в наши дни — вещь редкая. И я всё же рассчитываю на него.

Долго я держался, маленько приподняться помог Марье Семёновне, ещё съездил по инерции кой-куда, даже за рубеж, но, видимо, мой ресурс иссяк. Вчера сходил на могилу дочери (это километра три от села), посидел у неё, поговорил и обратно едва пришёл. Если бы на пути не было дальнего родственника, не отлежался бы там и не попил чаю. так, может, и не дошёл бы.

Ночью защемило в сердце, снились кошмары, спал, на всякий случай, рядом с телефоном. Но сейчас маленько полегче, вот и

отписываю хотя бы срочные ответы.

Кланяюсь. Ваш Виктор Петрович

1 августа 1988 г.

Овсянка

(Р.А.Балакшину)

Дорогой Роберт!

Спасибо за твоё письмо и передай мой поклон Ксении Петровне. Что-то, быть может, я поправлю потом, но в большинстве своём останется так, как было. Я ведь не наставление по соблюдению церковных треб пишу, а повесть, где правда жизни главнее всего.

А правда такая, что вот год назад в селе закрыли церковь и собираются в ней делать пекарню. На селе разброд, свирепствует безбожие, по-деревенски бестолковое, жестокое порой. Надо сказать, что вера в Бога у нас в Сибири вообще не столь истовой была как в самой России, и признаки язычества дошли до наших дней. Мне, например, не разрешили родичи сменить подгнившие кресты на могиле родных, и чтоб могила совсем не исчезла, я заказал мраморную плиту и перечислил на ней всех наших с припиской «мир праху вашему».

Наивная Ксения Петровна полагает, что после закрытия церкви у нас ещё был священник. Да его куда-то так далеко дели разгулявшееся (в прямом и переносном смысле этого слова) комиссары, что никто и вспомнить не может, как его звали и где он.

Церковные документы вместе с церковью (её свели на дрова в войну, хотя кругом лес растёт) исчезли, и у села нет прошлого. Дальше дедушки никто никого не помнит, а современные транзисторщики и родителей-то не узнают, накурившись маку, конопли или нажравшись мутной недобродившей браги.

Отчего бабушка икону несла на животе? Таков мой зрительный образ, так сохранила его память. Руки у неё были уже очень больные, проулок грязный, вот и не могла она нести тяжёлую застеклённую икону на груди (деревянных икон у нас почти нет в деревнях). Хотя моё село «старое», но ему чуть больше трёхсот лет, и иконы здесь «молоды». Есть древние иконы у старообрядцев, в глуши таёжной, но они не больно на «свет» лезут и от людей прячутся. И правильно делают. Вон Лыковы, старообрядцы, бежавшие от коллективизации, только общнулись с людьми, «с погаными», как совершенно правильно рекут они, и тут же вымерли. Осталась одна Дарья возле могил братцев и тятеньки, хотя ей предлагали выйти из тайги в «мир».

Я восхищаюсь старообрядцами, которые и «новую эру»

пережили. Не все, но пережили, не оскоромились, не отступили от древней веры. Комиссары испоганились, заворовались, одичали, предали свои высокие идеалы за булку с маслом. Старообрядцы, да и церковь, хотя пусть и полуразбитая, устояла Милостью и волею божьей, и те же комиссары вынуждены ныне с нею считаться и заигрывать, хотя и скрежещут зубами.

Более им ничего не остаётся. Чтоб отдалить свой окончательных крах они ещё и ещё пойдут на попятную и скоро галифе с лампасами станут менять, да и меняют уже, на крестик, и прощения будут просить у остатков нашего народа и у Господа.

Вера в Бога вещь ответственная, нам, убивавшим людей пусть и на фронте, предававшим друг дружку скопом и в розницу, запоганившим землю родную, надругавшимся над церковью, наверное, уже не хватит остатков жизни искупить свою вину,

Я хожу в церковь и молюсь редко, ибо недостоин есть, но всей оставшейся жизнью попытаюсь защитить от гнева божьего хотя бы внуков своих. И стараясь делать добро, писать только правду и «по правде», наверное, хоть чуть-чуть искуплю вину свою и нашу.

Засим до свидания, кланяюсь, храни вас Бог. Ваш Виктор Петрович

8 августа 1988 г.
Красноярск
(А.Ф.Гремицкой)

Дорогая Ася! Всё, что ты велела — с переносом, крашением и прочей работой, я сделал и написал две вставки, одну, что ты просила во вступлении, другую в «Коня» — мне её подарили старухи в деревне. И там, и там потребуется переборка. Если это сложно и дорого, пусть сделают в счёт моего гонорара.

Надвигаются тяжёлые дни, и вообще жизнь идёт туго как-то, нудно, нездоровится. Вас вот мучает жара, а у нас дожди и холод, и всё крушит обузданный покорителями Енисей. Сами гидростроители поднакопили воды, потом ливни, дожди, смыв снегов с гор — на юге тоже жарко, — и началась катавасия. Убытки от сброса всего, что можно сбросить с плотин, колоссальные. Мне уж давно кажется, что и живём-то мы в убыток нашим детям и внукам.

Работать всё ещё не работаю, занимаюсь текучкой, собираюсь на встречу ветеранов дивизии в Киев и в конце сентября — в Грецию на какое-то мероприятие, связанное с экологией и христианством.

Буду в Москве — заеду. Кланяюсь. Обнимаю. Виктор Астафьев

9 августа 1988 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Целая посылка из книг тебе собралась. «Посох» издали быстро и прилично, но уж зато ошибок! На две страницы глянул и больше не захотелось. Вёрстку-то я не читал, да и читал бы, что толку? «Новая генерация» — любимейший термин критика В. Дементьева, да и других тоже, то есть современные мои собратья и сестры — фэзэошники и фэзэошницы правят «великий и могучий» на свой лад и вместо «тятя» смело ставят «тётя», вместо «имать — иметь». А уж редкостное моё слово «подчембарился», идущее от чембар — штанов от глубоких снегов, без прорехи, надеваемых почти до груди и подпоясанных, чтоб не спадывали, отсюда и «подчембарился» — подпоясался, они, мои «сестры и братья», понимают как что-то косметическое, вроде подмалевался.

Мне удалось посидеть в Овсянке, и погода сопутствовала. Читал наконец-то без спешки вёрстку второго тома «Последнего поклона» и порадовался тому, что книгу не испортил и что новые главы, как им и полагается, даже чуть получше некоторых прежних, но не всех, так горько, с таким «юмором», как «Без приюта», мне уже не написать, а совсем свободная, на одном дыхании и до один день (!) когда-то написанная глава «Конь с розовой гривой», просто мне уже и не по силам. Давит так называемый опыт, и на сердце нет того светлого света и восторга от жизни, просто от жизни, от радости творчества, удачно выдуманного и запёчатлённого твоей памятью прошлого, то есть счастья, которое испытывает художник при виде красок, да ещё и в солнечном свете.

Об этом как-то мало пишет ваш брат, а наш брат стесняется это объяснить да и объяснимо ли это? Мрачная, рассудочная и какая-то учебниковая критика наша в массе своей и выбивающаяся из её ряда статья-другая, наверное, проходит без понимания и одобрения. Ты написал блистательную статью в «Литературке» о литературе, «приходящей из столов», термин или боль, исторгнутая словами «дремлющий разум», — это главное откровение и объяснение того, что с нами произошло и происходит. Читал я статью в Овсянке, неторопливо, с чувством, с толком, а прочитавши, сразу же подумал: «Не поймут-с!»

Понимаешь ты, когда читатель в массе своей приучен к определению: «чёрное — белое», «хорошее — плохое», он не вдруг прочтёт умное слово, оно ему не по уму, разум-то «дремлющий»!

Но как он, этот самый разум или рефлекс его, скорее, разрешается непониманием своим! На читинском или кемеровском семинаре после выступлений писателей читатели иные интересовались, мол, этого знаем, этого знаем, а этот кто? — «Критик», — говорили о Николае Николаевиче Яновском. «И вы его не бьёте?! Его ж убить мало!..» Критика приспосабливалась к вождям и их учениям и высоким идеям, она вредна и виновата в том, что, развращая себя, развращала и нашего дорогого читателя, низвела его до сторожевого пса, которому что дадут пожрать, то он и жрёт, — так ему лучше, не надо бегать искать разносолов, ничего не требовать, знай себе лай в небо, и чем громче, тем слышнее хозяевам.

Однако ж это не призыв к тому, чтоб писать упрощённо. Нет и нет. Прочитал я, Марья Семёновна, ещё сотня-другая человек, задумались, что-то ускорили в оформлении своей мысли и в отношении к литературе, нуждающейся в немимоходном толковании и не в поверхностном к ней отношении. Вот пришла, наконец-то, настоящая литература. Но и «ненастоящая» тоже ведь как-то жила и порой дышала запечатанной грудью, через кляп высказывала, иногда и выстанывала слово путнее.

Завтра я улетаю в Киев на встречу ветеранов нашей дивизии, думаю, на последнюю — остарели, вымирают вояки. Уезжаю в хорошем состоянии, приделав почти все мелочи, с почтой прикончив и в здоровье приличном. Погода подладилась, ребятишки у нас долго побыли, вместе с внуком летал в Эвенкию на рыбалку, в деревне особо не скучали, в избе было сухо. Этот запас сил и отдыха мне очень нужен, ведь предстоит ездить по местам боёв, а это не очень лёгкая для сердца и головы работа.

Затем я, кажется, лечу в Грецию, на остров Патмос, где 900 лет стоит монастырь, и там будет конференция по учению Иоанна Богослова, который еще в первом веке говорил и писал об экологии. «Вот бы Валентин Яковлевич обсказал бы тебе всё об этом Богослове», — сказала мне Марья Семёновна после того, как я пожаловался, что ничего я о нём да и об его учении не, знаю, как не знаю и много другого. Да где вот он, Валентин-то Яковлевич? Хандрят во Пскове!

А Марья Семёновна очень мечтает поехать в конце октября в Болгарию, вместе с двумя Валентинами, ибо на меня, после того, как я 1 мая позапрошлого года напился и сбежал от неё, на меня не надеется. У нас приглашение можно организовать, это в наших силах. Оформление в соцстраны сейчас делается на месте, то есть всё оформишь и паспорт получишь во Пскове. Денежные дела пусть тебя не смущают. Болгары — народ замечательный, нуждишку нашу знают и помогут тебе заработать в Болгарии без

большого напряжения. Начинать это надо уже сейчас. Телеграфируй Марье Семёновне согласие, она свяжется с болгарами, и тебе придёт приглашение. Место там уединённое, сухое, бывшая Фракия. Валентин Григорьевич *[Распутин. — Сост.]* там был, и ему очень хорошо молчалось, дышалось и работалось. Он сам о себе похлопочет, а тебе поехать очень бы надо.

Что касается интервью, то оно, как у нас водится, вызвало и восторги, и оскорбления. Приедешь, почитаешь «письма трудящихся». Какая-то безысходная, агрессивная тупость. А уж насчёт Шолохова... Расстрелять меня готовы за непочтительность.

Ну вот и всё. Отдаю письмо на машинку, может, М. С. чего добавит. Мы часто разговариваем об Урале, о Чусовом, о тебе. Какая-то в этом надобность является, и сожалеем, что нет тебя близко, тоже чего-нибудь выкинул бы, потряс бы бородой. Вчера звонил Залыгин, сказал, что звонил Солженицыну, тот дал согласие печататься, но позиции его тверды и требования прежние: не укрощать и не уродовать. Это нас можно...

Обнимаю, целую. Будь здоров. Твой Виктор Петрович

7 сентября 1988 г.

(А.Ф.Гремицкой)

Дорогая Ася!

Ну вот, наконец-то позволил себе читать вёрстку не торопясь. Особых правок нет, но несообразности, ляпсусы и пропуски заполнил — будь, пожалуйста, внимательна, иногда одна буква в слове к такой ли несусветной чуши приводит, что только диво берёт, каков наш «могучий и великий язык», с ним держи ухо востро.

Посидел, слава богу, в деревне. Погода была милостива, но дела и всякого рода делишки гулять особо не давали, однако в огороде, у печки, в обихаживании избы получался роздых и всё равно на душе спокойней. Так и не прошло это, что в повести написано, люблю чистить картошку и, как, наверное, женщины при вязании чулок, совсем успокаиваюсь, мысли текут покойные, умиротворённые.

Сон восстановил, на кладбище больше один не ходил, после того, как сходил, посидел среди могил один и едва живой вернулся в избу, если б не жена племянникова, так и не донёс бы себя.

Марья Семёновна тоже, слава богу, на ногах, получила вёрстку, да пока меня не снарядит и не отправит, едва ли за неё сможет взяться. Я лечу 10-го и Киев на встречу ветеранов нашей

дивизии, думаю, на последнюю, все состарились, одряхлели. Украинцы помнят и любят меня и хотят посодействовать мне в поездках по местам боёв — я понимаю, какой это будет «отдых», но нужно для работы, для книги о войне, и тут никуда не денешься, надо было слесарем оставаться — дольше бы и спокойнее жил. 17-го и 18-го я буду в Москве и заеду в издательство, там утрясём все мелочи, а пока обнимаю всех и целую.

Ну, как Байкал? Силён! Я как-то сказал нечаянно историческую фразу, будучи на берегу его: «Если мы и это погубим, тогда самим надо погибнуть, недостойны мы тогда жить на этой прекрасной планете!..» Во как!..

Преданно ваш — Виктор Петрович

1988 г

(В.Потанину)

Дорогой Витя!

Был я в Греции, ездил на остров Патмос, где, сидючи в пещере возле древнего монастыря, Иоанн Богослов написал книгу «Апокалипсис». Она там, в пещере, и лежит по сию пору как святыня, и я её зрел.

В Афинах пришёл выступать в греко-советское общество, а мне «Литературку» с твоей статьёй дают. Я давно не видел, ни теле нашего, ни газет, угнетённых бедностью женщин давно не видел, растерзанных унизительной жизнью и нерадостной работой мужиков не видел, а сердце-то о них болит. Вот и растрогался твоим приветом с Родины. Хотел сразу тебе отписать и книгу послать, да не вышло.

В награду за плохую весну и гиблое лето Бог нам послал золотую осень, и я поскорее убрался в Овсянку, со скрипом писал что-то похожее на очерк. Писалось трудно, туго и несобранно. Заставлял себя что-то доделывать, какие-то фитюльки, предисловия делал и т. п.

Перед Грецией был на Украине, на встрече ветеранов нашей дивизии. Ох ты, ох ты! Некому скоро будет встречаться. От предпоследней встречи до нынешней за два года умерло 212 человек, и как начали зачитывать этот список...

А ещё последствия Чернобыля. Слышать и читать одно, но видеть... В войну Украина выглядела бодрее. Сейчас это подавленная, в трауре чёрных садов зона, оглушённая несчастьем, смурная, скорбная. И врага не видать. И пожары не полыхают. А мертво — нет мух, бабочек, козявок, улетели птички и аисты «лелеки».

И понял я, надо садиться и писать, стиснуть зубы и писать. Это мой единственный способ зашиты людей. Ах, человек, человек! Какая выродившаяся тварь! И это создание божье? Не верю! Это ошибка природы, роковая её опечатка. Не той скотине она, природа, доверила разум. Погубит эта тварь и себя, и мир божий.

Вот с такими мыслями и поработай на соцреализм, потрудись для блага своего несчастного народа и смертельно больной родины.

Ничего, Витя, из горбачёвской затеи не получится. Заплатки на зад, может, и положим, прикроем на время дверь, но дальше дело не пойдёт. Даже, такой могучий мужик, как Горбачёв, износится, выдохнется, биясь голым черепом в каменную стену равнодушия народа, злобы военщины, тёмных дел бюрократов и разномастного ворья, выдохнется, и его столкнут. И все беды и прорехи на него свалят, а народишко уже у края, ему уже немного надо, чтоб окончательно выродиться и погибнуть.

А за окном такая красота. Хочется смотреть и плакать. Я подобрал тебе открытку: как раз то, что видно из окна на другой стороне Енисея. Но это на открытке, это издаля, а внизу-то притоптано, обезображено скотом по имени — люди.

Обнимаю тебя, целую и желаю доброго здоровья.

Вечно твой Виктор Петрович

Сентябрь 1988 г.

(В.Я.Лакшину)

Дорогой Владимир Яковлевич!

Вернулся я домой из горькой, подавившей меня поездки по Украине — был на встрече ветеранов дивизии, думаю, последней — одряхлели все и всё. Даже в войну Украина выглядела лучше, не была столь подавлена чёрным светом, устланная мёртвым листом, беспроглядно-унылыми садами без плодов. Нет мухи клятой, нет ни бабочек, ни козявок, улетели аисты. Увидел трясогузку на сельской крыше — обрадовался.

И сразу в Грецию, на остров Патмос, в монастырь, где написан Иоанном Богословом «Апокалипсис». Лежит эта книжица в пещере, на приступке отёсанного камня, на белой салфетке, а вокруг души человеческие безгласно реют и лики в камнях проступают, древние, с удивлением и страхом смотрят на нас невинными глазами, и видно по глазам — не узнают уже в нас братьев и сестёр своих...

Ох-хо-хо-ооо! Приехал домой — почтой стол завален. Раньше я на неё набрасывался, как дворовый кобель, а теперь робею, боюсь бумаг, заранее сердце сжимается: обязательно будет там

что-нибудь оскорбительное, гнусное, поражающее даже наш «дремлющий разум» (В. Курбатов) осквернением имени человеческого, не говоря уж о разуме. Какой тут разум?! Покинул он нас уж давненько. Вместо него гвоздь в голове с вечной программой марксизма, и кол в жопе — чтоб не засиживались, а бегали, трясли задом и желали того кола ближнему своему.

Пакет из Смоленска с письмом «Молодой гвардии» и журнал с твоим письмом были тоже на столе. Не выступал я по смоленскому радио, но за мной ходили с этими адскими машинками, всё и всех записывающими, и я мучительно думал: не ляпнул ли я чего-нибудь такого, чем бы воспользовались радисты?

Наверное, ляпнул то, что говорю всем и тебе повторяю: набросившись на действительно чёрное «письмо одиннадцати», сосредоточив огонь на нём и выбивая наружу пух из гнилой подушки, отводят тем вольно или невольно удар от направителей и вдохновителей гнусных дел и свершений. Хорошо, что и, назвал в статье вождей, да не всех, поди-ко, и назовёшь — одни так мелки и тупы, что слова, даже худого, не стоят, другие попрятались или подстроились к перестройке.

Я посылаю тебе книгу на память, где в «Зрячем посохе» есть целая глава о Твардовском и «Новом мире» — это моё и мной подписано. В редакции только жанры обозначили, но я их вычеркнул, как мне не принадлежащие. Если читать некогда, пробеги два абзаца, подчёркнутых мною, думаю, и этого достаточно.

Я в святые не прошусь и знаю, что недостоин веры в Бога, а хотелось бы, но столько лжи и «святой» гадости написал, работая в газете, на соврадио, да и первых «взрослых» опусах, что меня тоже будут жарить на раскалённой сковороде в аду. И поделом!

Но, дорогой Владимир, зачем так много сделалось «святых» в литературе? Поруганных и пострадавших? Это в нашей-то современной литературе и искусстве? По коридорам которой бегает «Белинская» Наталья и трясёт обоссанным от умственного напряжения подолом?! Или с другой стороны — Розенбаум, ещё в люльке облысевший от музыкально-сексуального перенапряжения? Да, мы достойны, за малым исключением, того, чтоб Иванова-Белинская-Рыбакова Наталья витийствовала в журналах и представляла нашу литературу аж в Голландиях, а Розенбаум орал блатным голосом про боль Афганистана.

Работники, народ, общество рождает мыслителей и «гениев» себе подобных, а время формирует «ндравы» и выплёвывает, а ныне — высирает тощих и хищных, как озёрная щучка, критиков, подобных Ивановой, при взгляде на которую уже, не читая её

опусов, можно точно заключить: до чего же дошло и выродилось человечество!

И вы в «Знамени» её держите за самого «ударного» мыслителя?! Да какое же тогда вы имеете право брезговать её однофамильцем, героем и «классиком» современной литературы? Почему вас устраивают бабы Ивановы и не устраивает мужик Иванов? Или чем лучше Гельман Софронова? Это ж одинаковые казаки-разбойники, столько времени угождают всяк своему, и сабельки-то у них одни и те же — картонные.

Вот вы и журнал ваш в упряжке с Коротичем не пропускаете случая, как Кочетов когда-то не пропускал ни одного номера «Нового мира», чтоб не лягнуть его, лягнуть «Наш современник», и делаете это подловато, и в этой подлости участвуешь и ты, Владимир, человек, которого отличало благородство. И когда писал о Щеглове, Булгакове и когда, изгнанный из журнала, писал об Островском, вёл передачи на телевидении о Пушкине, Толстом... Не меня, себя спроси, Владимир, наедине с собою спроси: куда девались авторы разломленного «Нового мира»?

Я хорошо знаю Викулова. Никто с ним не лаялся так, как я, хлопнув дверью, я даже уходил из редколлегии после «пикулевского дела», и вот, вернулся. Надо! Иначе нас передушат поодиночке.

Спроси себя наедине иль в «передовом обчестве» — не было бы гадких евреев в романе Василия Белова, напал ли бы ты на него? Уверен, что нет. И почему ты не хочешь вспомнить, да и твои «союзники» тоже, что, взявши умерший журнал от пьяницы и бездельника Зубавина, мы не только воскресили его, но и не дали загаснуть костру, зажжённому «Новым миром», и головешки-то собрали новомирские, раздули их и в один только год — перечислю — раз уж у тебя начала память сдавать: «Белый Бим — чёрное ухо» — первый и второй номера. Извини, но во втором, третьем и четвёртом номерах печаталась «Царь-рыба»; дальше — «Комиссия» Залыгина, дальше — «Прощание с Матёрой» Распутина, и завершал год страдалец Ермолинский повестью о рашидовщине, которую громили и оплёвывали те же силы и мыслители, что громили и вас в «Новом мире». Это Викулов искупал свой грех. Он не скажет об этом, но искупал. Он только с виду лопух, но ума у него на многое достаёт. И просится он из журнала давно. Как исполнилось 60 лет. Да замены нету.

Хотел я написать тебе коротко и помягче, но, уж извини, понесло, видно, назрела пора не щипать с курочки перья, а говорить, как должно мужику с мужиком, не уподобляясь этой сикухе, попавшей мне на язык.

Я не жаловался тебе на то, что после оскорбительного,

провокационного, жидовского письма Эйдельмана самые гнусные анонимки шли через «Знамя» и под его девизом, и ты уже там работал. А ведь это был первый толстый журнал, напечатавший мой рассказ ещё в 1959 году. Я такие вещи не забываю и благодарно храню их в памяти, в чём ты легко убедишься, прочитав «Зрячий посох».

Наверное, не письменно надо бы разговаривать, а где-нибудь под навесом, как когда-то у кинотеатра «Россия», но суета, враждебность людей доводят до того, что не хочется уже ни с кем видеться.

Мне удавалось сохранять добрые отношения со многими людьми, старался быть предельно честным, хотя бы перед близкими по труду ребятами, и, зная, как неприязненны друг к другу Бондарев и Бакланов, я старался «не брать ничью сторону», но каково же было моё огорчение, какое чувство подавленности и неловкости, когда Григорий спутал трибуну партконференции с коммунальной кухней. Я, ей-богу, считал его умнее! Может, срыв? Может, усталость? Дай-то бог. Только бы не злонамеренность.

Народишко, среди которого я родился и живу, находится на крайней стадии усталости, раздражения и унижения. Его истребляли варварски, а теперь он безвольно самоистребляется, превращается в эскимосов в своей стране. Неужели это радует Коротича и иже с ним? Неужели Бога нет? Неужели милосердие сделалось туманной далью прошлого? Владимир! Ты был умным человеком, выстрадавшим свою жизнь и право на проповедничество. Что с нами произошло и происходит? Зачем мы матушку-Россию превратили в «империю зла» или способствовали этому превращению и далее способствуем? Нам что, уже совсем мало осталось жить-сушествовать? Ведь только на самом краю над пропастью, куда сваливают безбожников, можно так себя вести. «Бывали хуже времена, но не было подлее».

Неужели гибель моего народа-страдальца кому-то в утеху, в утоление ненавистной жажды? Зачем же тогда мы рождались? Зачем Господь вложил нам в руки тот страшный и чудесный инструмент?

Желаю тебе доброго здоровья. Меньше суеты, больше дела и не во вред друг другу, а в утешение. Я знаю, как трудно со временем. Можешь мне не отвечать. Здесь вопросов больше себе, чем тебе. Твой Виктор

2 ноября 1988 г.
Хисар (Болгария)
(В.Андрееву)

Дорогой Володя!

Созвониться нам больше не удалось, поэтому пишу уже из-за кордона. Маленько очухались, отоспались и, хотя погода здесь тоже забарахлила, уже пришли в себя, начинаем читать и даже по малости писать. Вероятно, здесь я пробуду долгонько, если ничего не стрясётся, начну, наконец-то, работать и поэтому, если ты более или менее свободен, тебе, быть может, надо слетать в Красноярск, познакомиться с театром, посмотреть спектакли.

Правда, товарищ Белявский понаставил там ещё те спектакли, завершив свои деяния шедевром Радзинского. Боже! Какая пошлятина! Будто ходил человек по российским вокзалам и собирал харчки в фарфоровую кружечку. Мне неловко было за Витю Павлова, за Догилеву: чем-то и в чём-то родные люди, в родном театре словно бы кривлялись в чужом доме, потрафляя кому-то, говорили лихие пошлости, грязь с чьих-то рук слизывали... и все слова не ихние, и дела, творимые на сцене, и слова — всё выглядело заметно прикрытым насилием. Господи! На какую дешёвку покупаются люди. А Витя Павлов! У него не только некрасивого самого себя, тучного, пухломордого, у него отняли даже русскую фамилию, исказили — Михалев, тогда как по-русски это Михалёв (есть такой поэт на Белгородчине, Володя Михалёв, пастухом работает, кучу детей вырастил). Витя подпрыгивает, подрыгивает, поддакивает.

Вот почему Викулов не отдаёт журнал «Наш современник» — боится отдать его в чужие руки, боится, что он, как театр им. Ермоловой, превратится в пристанище проходимцев, которым особую радость и наслаждение доставляет глумление над русскими людьми... Ничего святого! Ну и Фокин! Ну и молодец! Дождался, проходимец, своего времени...

А ведь наши-то провинциальные дураки и дурочки думают, что это и есть современный театр, что они воюют, как на переднем крае, не иначе. Но и они подустали от драматургии «новой волны», и когда я прочёл им «Черёмуху», — загорелись, оживились, но хитренький Леонид Савельевич Белявский спешил поставить Петрушевскую, Рыбакова, чтоб ему за такие дела и заслуги дали более бойкое место. Вот и дали Рижский русский театр — там уже не слово главное в театре, а символ, театр в театре: одень артистов в бурую кожу, дай им вместо шпаг шариковые ручки, поставь вместо дерева что-то похожее на ракету — вот тебе и «новый театр», вот тебе и «новое прочтение Шекспира».

Я не сулю тебе лёгкой жизни в Красноярском театре имени Пушкина. Тут многое сгнило в прямом и переносном смысле, и зову я тебя не за лаврами, а хоть маленько послужить российской

провинции, поставить народную жизнеутверждающую драму, а не разрушительное жидовское варево из говна и вокзальных харчков.

Народ и так обхаркан и обосран, народ зол и раздражителен, народ перестал ходить в театры, ходят фэзэошники — глядеть на полуголых баб и слушать, как за сценой, а то и на сцене насилуют перезрелую, но всё ещё егозистую и несчастную актрису, отдающуюся принародно за 120 рэ зарплаты.

Перед тем как ехать сюда, позвони секретарю по идеологии Валентине Александровне Ивановой (сообщаю служебный и домашний телефоны) — для того, чтоб тебя встретили, устроили и помогли во всех делах. Они тоже устали уже от жидовства. В труппе, кстати, их почти нет, а которые были, так Белявский с собой забирает этот ценный товар. Есть два актёра в Минусинске — Тамара и Александр Четниковы. Их можно пригласить: одного — на роль Феклина, её — на роль матери. Я их знаю ещё по Вологде, надёжные, талантливые люди, хорошей поддержкой будут тебе в работе. А в Минусинском театре дела плохи, он на грани закрытия: сбежал главный, этакое мелкое ничтожество — по ростику и творческим возможностям — Коля Хомяков, подался в Семипалатинск, оставив на счету Минусинского театра 820 рэ. Вот тут и разбежись, а там есть пяток великолепных артистов, не до конца добитых подлой провинциальной жизнью.

Здесь, в Хисаре (Болгария), тихо, малолюдно, погода налаживается, выглянуло солнце, яркие краски вокруг, много тишины, покоя и фруктов. Я пока вплотную ещё не работаю, но как отдохну, возьмусь — потянуло работать. И читаю побольше — запустил и чтение. Домой вернёмся 15—20 декабря. Хорошо, если ты проведёшь до нового года предварительную работу, а потом и я смогу помочь тебе, кое в чём пригодиться.

Пьеса «Черёмуха» уже в доработанном виде напечатана в журнале «Театр в 8-м или в 9-м номерах за 1978 год. Этот текст я читал в театре года два назад, с тех пор они, артисты, и ждут не дождутся, когда начнётся действо, а их заставляют творить на другой «ниве». Старые-то актёры всего понавидались, а если молодых собьют с толку — жалко.

Ну, будь здоров! Привет домашним.

Обнимаю. Виктор Петрович

29 ноября 1988 г.

Болгария

(В.Я.Курбатову)

Дорогой; Валентин!

Отселева мы улетим около 9 декабря, и дома, конечно же,

писать будет некогда, вот и поздравляю тебя с Новым годом, с новым счастьем.

Дом, на открытке помеченный крестиком, это то заведение, где мы живём и ты жил бы, если б не сдрейфил. Погода сухая, с морозцем ночами и с солнцем днями.

Я сделал операцию, на ноге отдолбали мне кость, и, поскольку ходить пока не могу, строчу, как изголодавшийся пёс кость хрумкаю. Добил большой очерк про Эвенкию, начерно написал рассказ и ликвидировал старый долг — написал киносценарий по «Краже» на две серии. Беру разгон на роман, рука зудится добить его, а там уж и вольничать можно, коли жив буду и в тюрьму не посадят.

Обнимаю. Виктор Петрович. М. С. Подсоединяется

16 декабря 1988 г.
Красноярск
(С.Н.Асламовой)

Дорогая Светлана Николаевна!

Я почти три месяца отсутствовал, из них два месяца просидел в болгарском городе Хисар. Точнее, эта древняя крепость, стоит она в бывшей провинции греческой — Фракии, где император Максимилиан воздвиг крепость неприступную и время от времени скрывался там от своей жены. Видать, та ещё бабёнка была!

Там я уже бывал — глушь, безлюдье, тишина, бывал и с Валентином Григорьевичем *[Распутиным. — Сост.]*, и нынче со своей Марьей.

Наконец-то удалось поработать и операцию на ноге сделать. Выросла кость (о, великий и могучий!), да такая, что я и ходить уже не мог, вот и отдолбили кость, а она, зараза, старая стала, медленно зарастает, и до сих пор я расхаживаюсь.

Когда ходить нельзя и пьянствовать уже поздно, ничего другого не остаётся, как читать и писать. Написал много и несколько страничек сносных даже.

Дома — шквал бумаг, графоманских рукописей, воплей о спасении людей и народов, подмётных писем с угрозами и оскорблениями, обещаниями немедленно приехать для бесед и прочая, и прочая... «Держись, Гараська, в кутузку тащат!» — вопил когда-то пьяный чалдон, и мне то же самое хоть кричи. Но я надеюсь разгрести бумаги до Нового года и взяться за свои дела.

Красноярск — глухая литературная провинция и ждать от неё, кроме сплетен, пожалуй что нечего. Может, молодые оживятся? И работяги, подобного Марку *[иркутский поэт, прозаик, драматург М. Д. Сергеев. — Сост.]*, здесь нет. Все ленивы

и равнодушны, даже к собственной судьбе, все, за исключением трёх-четырёх человек.

Я за то, чтоб Марку дали отдельный том, хотя и знаю неприязнь к нему иркутян. Поклон ему передайте. Вот уж кому принадлежность к избранной мании вредит. Я же всегда относился и отношусь к нему с глубочайшим уважением за его истовую работоспособность, настоящую преданность делу, определённому ему Богом, а мера таланта — это уж тоже от него, но, как говорил один славный писатель: «Талант у меня невелик, да я умею им пользоваться», то есть работать, без работы даже железо ржавеет. Статью Курбатов написал блистательную, не потому что обо мне, а потому что умён, собака, даже то, что я чувствовал интуитивно, что бродило во мне подспудно (в особенности насчёт «Пастушки», вещи в моём понимании необъяснимой), он как-то «раскопал», добрался до сути. С возрастом он всё прибавляет и прибавляет, чего не скажешь о других наших критиках, сидящих в столичных подворотнях. Я горжусь тем, что баба моя и он из одного города родом, из Чусового города, и я их обоих зову «очусовелыми», я сам там молодость угрохал и возмужал, как водится.

Значит, где-то сразу после Нового года я высылаю Вам свои повести и, Наверное, попрошу дать кому-то на расклейку, ибо дома завал. Марья загружена выше сил, а тут ещё внук приезжает, да с двойками в портфеле. Не поручилось у него житьё в Вологде с дядей — нашим сыном. Мы бы и девочку забрали, да сил наших на двоих не хватает, а помощников нет. Вот пожаловаться, поболтать о литературе и перестройке — это пожалуйста, а сварить, еду, постирать и убраться некому, хотя народу кругом полно, а домработницу не найдёшь. А жена после двух инфарктов и с таким букетом болезней, что и говорить страшно о них.

За расклейку я сразу же, куда и кому скажете, вышлю деньги.

С Новым годом Вас поздравляю и желаю всего того, чего желают добры люди добрым людям, и сверх этого, чтоб дети были здоровы, муж работящ в меру пьющ, чтоб в магазинах стало полегче и в издательстве всё шло как маслу. В честь Нового года разрешите Вас обнять и поцеловать в трудовую усталую головушку — уж такой сантимент на меня напал. Кланяюсь, пред; но Ваш Виктор Петрович

1988 г.

(Е.Ф.Светланову)

Дорогой Евгений Фёдорович! Мне передали привет от Вас и сообщили, что Светланов ещё и писать начал и чего-то, мол. Вам

уже послал. И я подумал «Мало ему того, что манишка и фрак бывают сырые от пота за пультом дирижёра, так надо ему ещё и геморрой нажить и неврастению!..»

Потом читал им написанное и смеялся от души: экий панегирик о Сибири! В экое заблуждение можно впасть, когда смотришь на землю и на людей с вертолёта или за праздничным столом, да когда тебе о «совершенствах и достижениях» вещают иные руководители. Если бы всё было так, мы уж давно бы и не единожды в коммунизме пожили, но увы... Развал, воровство, коррупция, зажим идей, честности, не говоря уж о критике и самокритике. Такие естественные для здорового общества определения и понятия, как честность, порядочность, совестливость, сделались навроде бумажных голубей, которые ребятишки пускают ради забавы.

Ваш счастливый удел «махать» палочкой. Это у Вас получается страстно вдохновенно, да и нельзя себе позволить в музыке впасть в невольный самообман и прекраснодушие. Музыка — это самое честное из всего, что человек взял в природе и отзвуком воссоздал и воссоединил, и только музыке дано беседовать с человеком наедине, касаться каждого сердца по отдельности. Лжемузыку, как и массовую культуру, можно навязать человеку, даже подавить его индивидуальность, сделать единице-массой в дёргающемся стадо-человеке, насадить, как картошку, редиску и даже отравно горькую редьку, но съедаемую, потому что все едят.

Настоящая музыка содержит в себе тайну, ни человеком, ни человечеством, слава богу, не отгаданную. В прикосновении к этой тайне, тайне прекрасной, содержащейся и в твоей душе, что сладко томит и тревожит тебя минуты покоя и возвращения к себе, есть величайшее, единственное, от кого-то и от чего-то нам доставшееся, даже не искусство это (слово, к сожалению, как-то уж затаскано и не звучит), а то, что называется волшебством, я бы назвал – молитвою пробуждения человеческой души, воскресения того, что заложено в человеке природой и Богом — для сотворения красоты и добра.

Настоящая музыка, как и поэзия великая, они возвышают человека, а многое другое спешит унизить, дурно влиять на всё, что есть вокруг. Да и литература не без греха, тоже помогла человеку в самоуничижении. Однако русская классика возвеличивала человека, пробуждала в нём всё лучшее, что дала ему природа-мать. Но... литература, воспевающая и восславляющая войны, революции, преступления, политиканство комиссаров всех рангов!.. Наверное, ни одна литература в мире за столь короткий срок не породила столько лжи и, соответственно,

не произвела столько зла, как наша.

Я всё это к тому, что Провидение призвало Вас заниматься самым честным на земле делом, так им и занимайтесь! Ваше дело — благородное, поверьте мне, и самое нужное, потому что оно напрямую воссоединено с человеческим сердцем, и не все ещё сердца остыли, очерствели, забетонировались. Люди ещё и плачут от музыки, на Ваших концертах плачут, плачут о себе, о себе лучших, о том, кем они могли быть, должны были быть, но потеряли себя в пути историческом, во многом нам навязанном, да и самими созданном, самодозволенном пути.

Думаю, не столь уж долго ждать, когда не под Пятую симфонию Чайковского, не под мелодию Глюка, не под дивные марши Моцарта и Шопена, не под самую мою заветную Неоконченную симфонию Шуберта, не под шаловливые пьесы Вивальди и божественный «Реквием» Верди, не под «Молитвы» Березовского и Бортнянского, а под яростное пуканье военной трубы и ревущего зверем контрабаса, под стук первобытного барабана человечество спрыгнет, свалится с криком ужаса на дно пропасти, в кипящий огненный котёл.

Но пока это не наступило — помогайте мне, жене моей, детям моим и внукам, не совсем ещё одичавшим людям, в особенности людям несчастным, жить хотя бы дни, вечера, часы наедине с собой, хорошим, способным на слёзы, на стремление к добру и состраданию.

Кланяюсь, Ваш Виктор Петрович

1989 год

30 января 1989 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Что-то я полюбил ночи. Вот сейчас второй час ночи, за окном гудит и воет ветер, дребезжат окна, стучит чего-то на свете божьем и громыхает, а тут за столом сидишь и чувствуешь — всё же хорошо тут, при свете лампы, при тихом звучании радио, в тепле и домашнем уюте. Вроде и постоянная сосущая тревога под сердцем дальше или глуше становится. Может, это ещё и оттого, что днём совсем работать не дают, да и жить не очень позволяют. Давно уж собираюсь тебе написать, слышал, что хандришь. А кто сейчас не хандрит?

Мы, как приехали с Марьей Семёновной из Болгарии в декабре, так с тем запасом и зимогорим. Не очень чтобы здоровы, но и не совсем больны. У меня было ухудшилось давление и

довольно сильно разгулялось, так на уколы походил, таблетки глотаю, так вроде бы и помогло.

К Новому году переехал к нам, и теперь уж навсегда, наш Витя. Сын и невестка наша, делая широкий жест, не совсем представляли себе, что такое ныне иметь троих детей, да ещё одного в очень трудном возрасте.

В эту же пору были у меня самые тяжкие дни и годы, и вот Витя начал повторять мою судьбу, по существу превратившись в затравленного беспризорника. Но у меня не было никакой опоры и зашиты, а у него всё же живы ещё дед и бабка, и недопустимо, чтоб его загнали в детдом. Я там отбыл срок за всех, за многие поколения вперёд. Словом, теперь он с нами, и ему, и нам легче во всём.

Очень уж Марья Семёновна плакала, когда мы уезжали из Вологды. Ночью на верхней полке вагона как носищем-то своим зашмыгает. Я ей раньше не очень-то говорил, каково там детям-сиротам с дядюшкой-фельдфебелем живётся, в себе носил, не зная, как быть и что предпринять. Теперь всё разрешилось само собой. На лето Полю привезут, и если достанет сил, и её оставим у себя. На сколько хватит нас — потянем, а там уж как Господу будет угодно. Сироты уж в его распоряжении. Правда, сейчас ни сиротам, никому пощады нет, все несут кару за сотворенные нашими комиссарами и дураками преступления перед Богом и миром.

Не знаю, писал ли я тебе, что в Болгарии малость работнул. Но дома так взяло в оборот течение жизни, что лишь теперь принялся за черновики рассказов. И вот ныне ночью хорошо прошёл один рассказ, изрисовал его весь и очень удовлетворённый и довольный собою взялся за это письмо. Наверное, скоро закончу три рассказа. Один довольно серьёзный. Очерк доделал, отослал в «Наш современник», в два листа он получился; киносценарий тоже отослал. Разойдусь, так, может, и ещё чего сделаю.

В Москву на пленум и в Ленинград на кинофестиваль не поехал — очень уж на западе сыро и гнило, так боюсь простудиться и заболеть, а это мне ни к чему. Болеть простудой я стал тяжело, могу однажды и не подняться, а у нас ребятишки, кто их ростить будет.

В Овсянке холодно и тоскливо. Августа, тётка моя, совсем ослепла, одна в доме, никуда и ни к кому ехать не хочет, и так жить тоже негоже. Всю неделю, до субботы или воскресенья, пока дети не приедут, управляется сама. Хворать шибко стала, в избе необиходно, а ведь чистюля и хохотунья была, а тут осенью в огороде заблудилась, людей с дороги кличет, чтоб домой увели.

О мачехе вот тоже хлопотал. Забыли, затуркали её дочь с зятем-бичом. Я попросил власти хоть чем-то помочь старухе, квартиру подладить, всего семь градусов в жилье, болеют. Поскольку никогда и ничего не прошу, власти уважили и дали мачехе однокомнатную отдельную квартиру, так трудящиеся тут же накатали письмо за сотней подписей: «Ах, сын-писатель, так ей фатеру, а мы — пропадай!» Совсем народишко наш шпаной и оглоедом становится. Горлохват и вор — главное действующее лицо у нас. Преступность и смертность здесь ужасающие. Ситуация жизни, кажется, уже не контролируется. Полный разброд и анархия вместо обещанного порядка и благоденствия. Уже приходит на ум мысль о том, что жить, слава богу, остаётся немного, тревоги о детях и судьбе нашей измучили. Но наш брат хоть частично может излить тревогу на бумаге, а каково людям, которые носят всё с собой и в себе?!

Год надвигается юбилейный — Шукшин, Игарка, Енисейск, и всё летом, так, может, хоть весной у нас побываешь или сейчас давай рвани. Что-то Марья Семёновна часто тебя поминает, по Уралу тоскует, скорее, по могилкам, оставшимся на Урале. Со смертью бедного Миши Голубкова словно ещё чего-то оборвалось и безысходность какая-то душу охватила — уж больно неподходящий для ранней смерти человек-то был.

Ну, вот писал, писал и вроде ничего ещё не высказал, не сообщил, устал, наверно. Поэтому закругляюсь и спать буду ложиться. Полежу, подумаю, повспоминаю леса, реки, походы, рыбалки, приду к выводу, что всё же я счастливый человек — столько красоты перевидал, столько радостей изведал от природы и людей, да с тем и усну.

А про литературу уже ни думать, ни говорить не хочется, всё же удалось отравить отношение к ней, даже в таком преданном ей и благодарном человеке, как я. Наверное, скоро совсем я запрезираю и себя, и дело своё, а это равносильно смерти. Твой кореш Конецкий вон хоть пьяный бред пишет и безответственно, мимоходом обижает людей, не щадя даже инвалидов вроде Жана Каталя, человека хлебосольного, много лиха на веку хватившего и не лишённого благородства, пусть и французского. Вякал бы про нас, про нас всё можно, мы уж и обижаться сил не имеем, да и досугу тоже.

Ну, обнимаю тебя. Желаю спокойной ночи — третий час пошёл. Пора и мне на боковую. Храни тебя и близких твоих Бог. А Михаил Сергеевич *[отец Михаил (Капралов). — Сост.]* уехал-таки в Барнаул. Там молится за нас, грешных.

Преданно твой Виктор Петрович

1989 г.

(В.Г.Распутину)

Дорогой Валентин!

Пришёл твой рассказ, перепечатанный «Литературной Россией», и хорошо, что сдержался, проявил «сибирский» характер и не написал сразу. Нагородил бы кучу восторгов и только, а они, восторги, профессионально работающему человеку ни к чему.

Я вот все эти дни о чём думаю — неужто проклятье этой профессии состоит и в том, что чем больше страдает человек (и физически тоже), тем у него лучше получается?!

Во всяком разе, мне так кажется, что такого мироощущения, такого проникновения в самоё себя, в свою, и значит и человеческую душу, такого внутреннего предчувствия, страдания и сострадания близким, а близкими тут становятся все, и свои и чужие, такого запредельного проникновения и в писанину, в звукопись, тонкость стиля и слова, соединения всего этого вместе не строчкой, не чернилами, а как бы единым, совсем неслышным звуком — такого и тебе ещё достигнуть не удавалось. И хотя я люблю очень «Живи и помни» (больше, чем все остальные твои вещи), но и она, эта повесть, в сравнении с рассказом, лишь кажется не то, чтобы ученической, а уже пройденной и оставленной где-то за большим перевалом.

Дай бог! Я так рад, что ты начал работать, что «объявился», и выразить не умею, да и пишу, потому что словами постесняюсь сказать тебе то, что сказалось на бумаге — опять же «сибирский» характер, будь он неладен!

Две неточности есть и обе касательно птиц. Стрижи и другие птицы (не помню какие) — стрижи с другими птицами не якшаются, слетаться к дереву, вместе с ними не могут, ибо и садиться ни на что не могут, они «прилипают» к скале, к высокому яру, и «выпадывают» сверху в полёт, и кормятся, и пьют в полёте; вороны токуют в марте и к началу лета ставят воронят на крыло, чтобы сжирать яйца птенцов в гнёздах других птиц, у меня на Вологодчине они ежегодно вытаскивали скворчат из скворешни. Самая приспособленная к людям птица. Говорят, она, да ещё крысы переживут нас...

А ещё пишу, чтобы сказать, что, наверное, числа 22-23 февраля буду в. Иркутске. Собирается какая-то «лаборатория» каких-то «сибирских драматургов», ну это значит, что съедется ворох взлохмаченных, умствующих «на театре» и теоретизирующих возле него. Мне это не очень-то интересно, но предлог приехать хочется использовать. Сделаю второй заход на

новую повестушку, и надобен будет перерыв, я его и использую.

Ну, вот пока и всё. Буду рад, если ты окажешься к моему приезду в Иркутске. Да и куда ездить в такое гнусное время? В избушку, на работу. Чего и желаю тебе от всего сердца. И ещё этого самого «жгучего страдания», которое просил у Господа Тютчев. Куда без него?

А физического не надо. Без него вполне можно обойтись.

Поклон Свете и всем твоим домашним. Обнимаю, Виктор Петрович

12 февраля 1989 г.
Красноярск
(Е.Г.Попову)

Дорогой Евгений Григорьевич!

Мы, русские люди, так разобщённо живём, что всякая попытка сообщества воспринимается уже как потрясение в жизни.

Когда я написал «Есенина поют», работая в глухой, угасающей вологодской деревушке, находясь в одиночестве, в хвори, написал разом, в один присест, после того, как услышал песню по радио, то долго не мог дознаться, кто автор? Где живёт? Дочка ли моя, царство ей небесное (умерла полтора года назад, оставив нам двух сирот), была по природе музыкальным человеком, помогала пьяненькому отцу петь (а я пою с детства, вырос в песенной деревне), когда я забывал слова, подсказывала, когда сбивался с тону, «поправляла», севши за пианино. Она и сама имела довольно хороший голосишко. И вот дочка моя сделала мне запись по радио, шумную, с помехами, и лишь здесь, в Красноярске, один меломан написал мне целую кассету, начав её с Вашей песни «За окошком ветер», а теперь вот и пластинка есть. Спасибо!

Я и сейчас не могу слушать эту песню спокойно, уже с первых слов, с запева баяна, горло мне стискивают слёзы, потому что эта песня и про мою, сгоревшую на войне и в послевоенной нужде юность и молодость. Такая пространственная, пронзающая печаль!

Два точных попадания есть у Есенина: «Письмо к матери» и «Над окошком месяц», остальное близко, ближе всего «Отговорила роща золотая», но всё же, всё же. Вы совершенно правы: писать с Есениным вместе невероятно трудно, думаю я, как и всё, что просто тобой самим сочинённое постичь порой невозможно.

Так я и не узнал, кто автор и где живёт этот самый Попов. Был бы еврей — мгновенно все и всё знали бы, да и прославили

бы на весь свет. А русский?.. Кому он интересен? Тем более что не бренчит на гитаре и хоть Попов, а «не секёт» в поп-музыке. А они во всём секут, бренчат и сочиняют, не зная нотной грамоты, искажают облик человеческий, и чем больше его исказят, чем гуще напустят дыму и туману, чем срамней изобразят свои разнузданные телеса и чем отвратительней окарикатурят голос, наплюют в лицо человеку, тем больше радости на лицах «обезьян», тем гнусней их плотское торжество.

Никак не могу собраться в Рязань, к Есенину. С толпой к поэту ездить нельзя, это я уж доподлинно знаю, а у одного не получается. Но всё равно соберусь, тогда и поболтаем, а то вон уж дверь дребезжит — пришёл кто-то или, как бабушка говаривала: «Лешаки примчали!»

Давно меня зовёт Нина Краснова, пишет мне славные письма, встретить и сопроводить сулится.

Посылаю Вам книжку, где есть и «Есенина поют», посылаю с благодарностью и надеждой на встречу.

Будьте здоровы! Преодолевайте робость «перед Есениным». Одна большая удача к Вам уже пришла, может, и ещё Господь пособит Вам, а значит, и нам, боготворящим своего богоданного российского поэта, которого больше нет нигде и не будет, сколько бы ни пытались сконструировать да и подсунуть, нам «нового гения» России. А он навеки будет с нами.

Поклон до земли Вашему хору и спасибо за такую нужную россиянам, не совсем ещё оглохшим, работу. Братски обнимаю Вас. Виктор Астафьев

Февраль 1989 г.
Красноярск
(А.Ф.Гремицкой)
Дорогая Ася!

Спасибо за телеграммы. Обе радостные. Обе разом пришли. Обнимаю, целую, благодарю.

А я опять за милосердием, а раз за милосердием, значит в «Молодую гвардию» ко Гремицкой, более не знаю никого, кроме Бога всемилостивейшего. Да и тот рассердился на нас, и шибко рассердился за подвиги наших большевистских дедов и отцов. — жгли иконы, рушили храмы, избивали народ — веселились, теперь подсчитали — прослезились, давай лавочку мелочную из России делать.

Словом, следом за письмом отправляю я тебе сборник стихов Лиры Абдуллиной, о которой тебе говорил, и ты ещё адрес и фамилию зав. отделом поэзии мне дала, но я так, по-овсянски

говоря, бумагами засрался, что уже ничего и найти не могу.

Сборник залежался, и, отрывая время от мелких забот и трудов, я сделал к нему предисловие, отослал подборки стихов Абдуллиной в разные органы, и у меня просьба к тебе: передать сборник в надёжные руки и от моего, но более от своего имени убедить ваше мужское начальство найти «щёлку» для издания этой небольшой и славненькой книжки. А уж как ты умеешь убеждать мужчин, всей Москве и даже Крыму известно, а моё «слово», то есть предисловие, по-моему, тоже убедительно.

Прости меня, обременённая трудами и семейными заботами! Но все мы перед умершими, тем более рано, неожиданно умершими — виноваты, в долгу у них, и как-то хочется, мне например, искупить, хоть немножко вину эту...

Об этом и заканчиваю рассказ, кажется сильный и страшный, да ещё два рассказа попроще и пожиже. Работается пока хорошо, погода у нас сухая пока, солнечная, с лёгким морозцем. Самое мне подходящее время пахать, а уж кто сеять будет, и будет ли вообще — известно только в Главпуре и в журнале «Советская женщина» (ну, как подъехал).

Ещё раз обнимаю, целую. Ваш Виктор Петрович

5 апреля 1989 г.

(Адресат не установлен)

Уважаемая фрау Розел!

С удовольствием сообщаю Вам, что Ваше доброе письмо достигло Сибири и дошло до меня.

Было радостно узнать, что люди, когда-то покинувшие Россию, не держат на неё зла и на русский народ, так много переживший бед и страданий, да и поныне ещё не оправившийся от военных и всяких иных потрясений. Меня поразила Ваша строка о том, что Ваша мать умерла накануне войны и «слава Богу, не увидела её». Да, приходится завидовать тем, кто не познал этого ужаса и человеческого позора, приведшего к озверению и нравственному развалу, который терзает сейчас род человеческий.

Очень рад, что в семье у Вас всё относительно благополучно. Я дважды бывал в ФРГ, ясно представляю Вашу жизнь, и хотя знаю, что проблем везде, и в Германии тоже, очень много, всё же радуюсь, что страна Ваша, кажется, первый раз за всю свою историю живёт такой большой отрезок времени мирной жизнью, и в достатке живёт, и порядок в ней трудовой, спокойный, все заняты делом. Нам пока до надлежащего порядка и материального благополучия далеко, но появились надежды...

Почти два года назад умерла у нас дочь 39 лет и оставила двух детей-сирот. С мужем она была в разводе, и теперь дети разделены, внук живет у нас, а внучка у сына, в городе Вологде, — это очень от нас далеко. Но на лето внученька приедет к нам. Молим Господа, чтоб он дал нам с Марьей Семёновной (так зовут мою жену) сил, чтобы поднять детей хотя бы до того возраста, когда они смогут зарабатывать себе на хлеб.

Много времени и сил ушло на преодоление этого удара и горя, но жизнь идёт и требует дел, забот. Вот и я через год уже начал работать, написал новые рассказы — главы в повесть «Последний поклон» и ещё кое-что. Сейчас «Последний поклон» выходит в Москве в двух уже томах, и, как только мне пришлют книги, я постараюсь послать Вам в подарок эту, мне самую дорогую книгу.

У нас началась весна рано, в апреле уже сияет солнце, начинает зеленеть трава, — это на месяц раньше срока, но в Сибири весна коварная, всё ещё может быть, и холод, и снег. Если пойдёт весна так, то я скоро уеду в деревню, она недалеко, в 18 километрах вверх по Енисею. Там у меня домик, и там я стараюсь быть с весны до осени, на деревенском кладбище покоится и наша дочь.

Будучи в ФРГ, я посетил могилу Генриха Бёлля и поразился её скромности. Могилы многих бюргеров выглядят куда внушительней и «солидней». Но так, наверное, и должно быть: Бёлля весь мир знает по его книгам и делам, а бюргера только по могиле можно отличить от других смертных.

Я ещё не оставил мечты написать книгу о войне. Но хватит ли сил и времени? Многие начали забывать, что такое война, и надо им об этом постоянно напоминать, чтоб у них не чесались руки бить друг друга.

Я и мои домашние кланяются Вам и Вашим детям. Желаю Вам доброго здоровья, процветания, успехов и мирной жизни! Храни Вас Бог! Кланяюсь. Виктор Петрович

1989 г.

(В прокуратуру Красноярского края)

Уважаемый товарищ прокурор!

Весной 1931 года органами ОГПУ г. Красноярска была арестована и посажена в тюрьму группа крестьян из села Овсянка по обвинению в создании контрреволюционной вооружённой организации в селе. Следствие, как ни тужилось, не могло доказать злого умысла и, продержав невинных людей в заключении, было вынуждено освободить их и липовое дело аннулировать.

Но не такова самая «гуманная» в мире власть и её карающие органы, чтобы так вот запросто признать свою вину в оскорблении и подозрении невинных людей — троих из обвиняемых всё-таки признают виновными (неизвестно в чём — ведь существование контрреволюционной организации в селе Овсянка ни слепить, ни доказать даже таким большим умельцам и специалистам, как деятели Красноярского ОГПУ, не удалось), но — на всякий случай, для соблюдения амбиций, не иначе. Трое из проходивших по этому совершенно абсурдному делу считаются злодеями, и дело на них передаётся на рассмотрение так называемой тройки. 25 ноября 1931 года (они почти год провалялись на тюремных нарах) в городе Иркутске дело рассматривается, и все «злодеи» отпускаются домой. Но мой дед, Астафьев Павел Яковлевич, отец мой, Астафьев Пётр Павлович, и «примкнувший» к ним Фокин Дмитрий Петрович приговариваются к пяти годам тюремного заключения (и это очень гуманно для самой «гуманной» власти. Спустя шесть лет этих мужиков без лишней волокиты просто расстреляли бы и не возились с ними).

Пять лет заключения деду были заменены высылкой в Игарку, где с неродной матерью, последней женой деда, Марией Егоровной Астафьевой, бедовала и вымирала огромная семья деда. Отец мой, Пётр Павлович, был отправлен на великую стройку социализма — Беломорканал, с которого вернулся досрочно, через два с половиной года после окончания этой достославной ударной стройки.

Дед, Павел Яковлевич, утонул в Енисее под Игаркой в 1939 году (свидетельство о смерти хранится в моём архиве). Отец проживал последние годы в моей семье. Умер в 1979 году и похоронен в городе Вологде. Бедолага Фокин Дмитрий Петрович, насколько мне известно, после приговора сошёл с ума и кончил свои горькие дни в неволе.

Разумеется, я хорошо понимаю, что эти люди, виноватые лишь в одном, что родились и жили в очень «радостное» время построения новой, невиданной ещё нигде и никем «счастливой» жизни под сенью самой «родной и справедливой власти», давно реабилитированы временем и перед Богом, и перед историей ни в чём не виноваты, как и те сто с лишним миллионов советских людей, погубленных во имя нынешнего и будущего неслыханного «счастья» и «процветания» народов нашей зачумлённой страны.

Но, просматривая списки реабилитированных людей, погубленных и замученных в советских застенках, я не увидел фамилии своего отца и деда. Что, КГБ считает их до сих пор «злодеями» и не включил в списки для реабилитации? Или

прозорливая красноярская прокуратура не сочла возможным реабилитировать этих, давно, слава Богу, окончивших свои дни российских крестьян?

Мне и моим детям и внукам знать это необходимо, ибо детям жить дальше (сколь будет позволено) и надо знать, из какого они корня произросли — вражеского или всё же обыкновенного, человеческого, крестьянского?

Виктор Астафьев, писатель, инвалид Отечественной войны.

7 июля 1989 г.
Овсянка
(С.Н.Асламовой)

Дорогая Светлана Николаевна!

Я только что отболел и затем слетал в Испанию, поездка была для меня испытанием — в Мадриде температура доходила до плюс 45, а мне и 25 хватает, чтоб быть в мыле.

Вернулся — гора бумаг, и все чего-то требуют, просят, ругаются, особенно пенсионеры, у тех такое свободно сделалось перо.

Днями я опять уезжаю. На этот раз на теплоходе, в Игарку (ей 60 лет), и может, удастся отдохнуть, давно мне этого не удаётся сделать, — и чаще ни дела, ни отдыха.

Ничего я Вам писать не буду в альманах, да ещё о молодежи, устал я писать и орать об этом, тошнит уж от празднословия. Вот, бог даст, засяду за роман осенью и вообще всякое языкоупражнение года на два прекращу. Надоело!

А карточку пришлю, здесь, в деревне нету. Забуду — напомните, ладно? Хорошего Вам отдыха! Кланяюсь Вам, Ваш В. Астафьев

26 октября 1989 г.
Вашингтон
(семье)

Дорогие мои Маня, Витя, Поля!

Вот и закончился мой второй день в Америке. Перелёт прошел более или менее сносно. Вчерашний остаток дня я, по существу, проспал, а ночь пытался вам дозвониться. Мне помогали добрые люди, и мы почти добились Красноярска, но телефон не ответил. Утром продолжил звонки — не получилось. Вот и пишу.

Сегодня у меня была беседа на радиостанции «Свобода» примерно на час Затем встреча в университете для наших делегатов с публикой, в основном учёной. Прошла встреча

сносно. После неё смотрели город, а вечером ходили в национальный театр, тот самый, где убили Линкольна, смотрели и слушали джаз и ансамбль духовный национального негритянского искусства и фольклора — замечательное искусство, чудесный театр!

Погода чудесная — тепло, сухо, солнечно. Город днём хорош, собственно, здесь лес в городе, а не город в лесу. Среди города озеро, и в реке Потомак рыбаки чего-то ловят, но вечером в городе мало освещения и почти нет Рекламы, и выглядит он уныло, как наши райцентры.

Завтра день загруженный, но не напряжённый. Послезавтра переезд в Питтсбург, словом, конференция набирает ход. Американцы (в Вашингтоне половина жителей — негры) очень деловиты и обязательны. Есть и чудачества, но впечатления первые и потому поверхностные. Завтра поедем в Капитолий и Белый дом.

Всех вас целую и желаю, чтобы дома всё было хорошо.

А тебе. Маня, в сегодняшний наш праздник *[годовщина свадьбы. — Сост.]*, торжественный день хочу повторить то, что собирался сказать по телефону: я тебя люблю больше всех людей на свете и желаю, чтобы ты всегда была с нами и терпела нас сколько возможно. Ложусь спать, думая о тебе и ребятишках.

Целую, ваш дедушка и отец

30 октября 1989 г.
Питтсбург
(семье)
Дорогие мои Маня, Витя и Поля!

Пишу я вам уже из Питтсбурга, где нахожусь второй день, в отеле, название которого в переводе на наше — «Весёлая харчевня». И отель, и харчевня будь здоров, хотя и дорогие! Работа идёт своим ходом. Утром было пленарное заседание, выступал наш зам. министра иностранных дел Петровский и зам. Госсекретаря, а вёл наш Познер и корреспондент газеты «Тайме». Было интересно, а когда дело дошло до вопросов — и совсем живо стало.

Вчера был приём в каком-то богатом ресторане, но прежде, чем сели за столы, я уже сморился — так было шумно и накурено (а у нас. то есть у вас уже шестой час утра), что я уж не мог ни есть, ни пить и с трудом ворочал языком, хотя собеседники были очень интересные и много рассказывали о Питтсбурге. который по расположению похож на Красноярск и находится в таком же бедственном состоянии. Но хозяева здесь не чета нашим, убрали всю тяжёлую промышленность, город перестроили и сейчас в нём не только можно жить, но и петь можно. Красивый, цветущий город! И погода, как по заказу — днём даже жарковато. Населения в городе полтора миллиона. Живут богато и несуетно. Нью-Йорк, говорят, ад кромешный по сравнению с этим городом, на месте которого когда-то воевали англичане с французами.

В делегации нашей много порядочных и интересных людей, есть с кем общаться. Настроение здесь у всех спокойнее, чем у себя дома, всё, по-моему, пока идёт хорошо.

Сейчас после обеда лежал, думал, слушал музыку и думал о вас. Надеюсь, всё у вас хорошо, вот только погода зимняя уже и ветер дует. Сегодня написал письмо Александру Исаевичу *[Солженицыну, — Сост.]* — он живёт неподалёку отсюда.

Всех вас целую, здоровы будьте! Виктор

24 ноября
Красноярск
(В.А.Линнику)

Дорогой Витя!

Вот на открытках сибирской тайги вид через Енисей из моей квартиры.

Поздравляю тебя, Иру и девчушек твоих с наступающим Новым годом, желаю всего, чего желают добрым людям, да плюс здоровья, работы по душе, поменьше неприятностей и побольше радости, а всем нам, чтобы год мирный был и всё, что задумано отцами нашими в Кремле, сбылось и, главное, чтоб смуты удаление было.

А поздравляю я тебя заранее оттого, что письма мои из Америки пришли к моей Марье уже в двадцатых числах ноября,

но она всё равно была счастлива их получить.

Поездка моя даром не прошла, я хорошо отдохнул, набрался впечатлений, и меня неудержимо, как в молодости, потянуло работать. И можешь меня поправить — на сегодняшнее утро я написал уже 140 страниц военного романа. Вторая и третья книги уже написаны, и вот я кончал первую. Боюсь, что у меня не хватит чернил, и к тебе большая просьба — найти и с кем-нибудь переслать в Москву и из Москвы мне флакончик чёрных чернил и, если можно, то лекарство от головной боли, какое мы покупали с тобой.

Надо ли говорить, как я тебе благодарен за приют и помощь — Бог тебе воздаст за доброту и пошлёт счастья и хороших друзей твоим ребятишкам.

У нас зима, глухо, но кисло — самое время работать, и, хотя меня всё время бомбят вызовами в Москву, я держусь, не еду, ибо, если ездить, то и дома не бывать, или как моя покойная тётка говорила: «Начнёшь давать, не поспеешь штаны скидавать!» Да и летать стало тяжеловато и смещёние времени переживать трудновато, да и услышишь, узнаешь меньше, ибо многие знания про нашу действительность воистину умножают скорбь! Мой поклон Володе, Нью-Йорку — лютому и великому. Так отчётливо я вижу его с твоего 38 этажа и кружащихся внизу, парящих чаек, которые, как я теперь понял, вашего этажа уже достать не могут и живут, и летают на богом им определённой высоте. Это мы всё лезем вверх и вдаль, а оказываемся на больничном горшке или в узенькой равнодушной могиле. Кланяюсь, обнимаю. Виктор Петрович

1989 г.

(Г.Ф.Николаеву)

Уважаемый Геннадий Философович!

Читал я роман Леонида Лиходеева в «Звезде», и захотелось мне и Вас, и журнал ваш поздравить с такой прекрасной прозой. О романе в периодике ни слова — не до него. И пока страшная литература, из лагерей выкопанная и закордонная, часто претенциозная, вымоченная в чужой воде и фруктовом уксусе рыба эта будет питать нашего дорогого читателя, и хиленький роман «Жизнь и судьба» будет возноситься выше Толстого, не в чести будут такие труженики слова, как Лиходеев, и критика не заметит их. Вот уж устанет советский человек от разоблачений Сталина; вождей, партии, от услаждения подвигами проституток и дельцов теневой экономики, да от блуда педерастов и наркоманов, тогда, может, и снизойдут и критика наша бойкоязыкая, и дорогой читатель до текущей литературы.

Попутно я по привычке посмотрел поэзию в журнале и обнаружил, что она не опускается до полупоэзии или слегка зарифмованных газетных заметок Поэтому и решил доверить посмотреть вашему поэтическому отделу стихов в Ленинграде одного очень одаренного начинающего поэта из Красноярска, у которого бабка живёт в Ленинграде. Вот побывал у неё и отразил в своих стихах всё питерское, по-моему, совершенно отличное от стихов самих петербуржцев, восторженно задыхающихся от одного лишь названия своего города ещё старинного прежнего названия.

Посмотрел и публицистику, и критику — и она на хорошем профессиональном уровне, не без перехлёстов, конечно. Но что сейчас без перехлёстов? А дама, печатающая свои труды в «Звезде», вон считает, что антисемитизм -это плохо, а сионизм так и ничего, а по мне и то, и другое стоит друг друга. А вояка Хустик так и вовсе о сионизме плохого мнения, да ведь он и не одинок, вот загвоздка, и давно уж не одинок, или «век иной — иные песни», да?

Кланяюсь и ещё раз благодарю за роман Лиходеева! Желаю много сил доброго здоровья! В. Астафьев

2 декабря 1989 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Мы — в порядке, но я углубился в роман после поездки в Америку, где все работают хорошо, много смеются, здороваются друг с другом, а не говорят про работу и не перегрызают глотки друг другу. Мне, чтобы меньше хотелось блевать и умирать от вида нашей, паршивой помойки, нужно было срочно погружаться в дела свои, а не общественные. На сессию я не ездил, там есть кому и без меня штаны протирать и языком болтать, а принялся за роман, за первую книгу (вторая и третья в набросках есть), и ничего, рабочее настроение, нажитое за морем, не иссякло до се, перешёл сегодня на 200 страницу черновика, пока температура в рукописи низковатая, но и материал-то не кипящий, а скорее вопящий, и постепенно я и рукопись, надеюсь, раскалимся.

Да вот съезд надвигается, отрываться от рукописи придётся. Ах, как не хочется! Для меня и раньше было это больное дело, а теперь... Когда сил меньше, годов больше, а на сердце беспросветно, и вовсе отрыв от рукописи и дома болезнен, ну да куда же денешься-то? Все втянуты в колею, и я тоже, вертимся, или по Клиффорду: «...и вертится планета и летит к своей

неотвратимой катастрофе».

Встаю рано, в пять иногда, работаю часа два, потом Полю в садик веду, делаю два-три кружка по лесу и снова за стол. Надо бы и перед сном гулять, да устаю и смотрю телевизор, обратно, как все совграждане.

Маня моя бьётся с детьми и вроде ещё не падает, дай Бог, и ещё не скоро упадёт, иначе хана нам всем. Поля подросла, стала кокетливой и презабавной девчушкой. Витя входит в юношеский возраст, ломается голосом и вредничает, грубит бабушке, иногда и пнул бы его аль по башке дал, да жалко — сирота, ещё побьют его люди и жизнь, а если она и дальше таковая будет, как нынче, может, и перебьют они друг дружку.

Я почти нигде не бываю, кроме деревни, ото всех всеми силами отбиваюсь, а людишки аж рукава отрывают, волоча на свои, более важные, чем мои, дела. Спасаюсь музыкой, дома слушаю, сегодня вот на концерт поедем — Слава Овчинников приехал с племянником-альтистом, племянник Баха будет играть, а Слава с оркестром свою Первую симфонию и Четвёртую Чайковского, которую наш оркестр ещё ни разу не играл. Композитор этот очень талантлив, но хвастлив непереносимо, всё на свете, кроме него говно да и только.

Фотки твои из Чусового прелестны, зазывы соблазнительны, может, Бог даст, и съездим когда, а когда? Когда ребята подрастут или вместе с ними. Поля нынче осенью пойдёт в первый класс, то есть, кому сказать, осенью 1990 года, но она уже сейчас говорит, что учиться не хочет, а хочет только играть и затем сразу замуж, поскольку считает, что женихов вокруг неё дополна. Программа у неё хорошая, намерения здоровые, ничего не скажешь, вот только жизни бы им ещё хоть на поколение Господь отпустил.

В Овсянке всё подросло, лесисто и травянисто в огороде стало. Приезжай, работой обеспечу, а вина нет, разве что самогонкой гробовозы порадуют.

Добиваюсь я реабилитации, пусть и посмертной, деда и отца. Есть Господь, есть! Это он не давал мне закончить «Поклон». Ныне мне попало в руки «дело» деда и отца, и вот тут-то и конец книге будет, тут-то и последняя глава её. Посмотрел тюремные фото отца и деда — слёзы прошибли меня, и всё-то я им на веки вечные простил. Может, и Господь-милостивец простит этих непутных, гулёвых мужиков, которые и сами горазды были путать свою жизнь, а лучшая в мире власть и самая любимая в мире партия и вовсе их запутали.

Ну вот, хотел маленько написать и разбежался, взял утром-то разгон и не могу от стола подняться, снег сегодня выпал белый, и

морозец малый.

С наступающим Новым годом тебя и твое стойкое семейство, ещё, надеюсь, пока не перешедшее границу эстонского государства за продуктами питания. Здоровья, работы по сердцу, тихой молитвы и радостей больше, чем горестей.

Обнимаю. Виктор Петрович. Марья Семёновна, Поля и Витя подсоединяются.

1990 год

24 января 1990 г.
Красноярск
(Адресат не установлен)
Уважаемый тов. Струнников!

Ваше гневное и во многом справедливое письмо переслали из Верховного Совета мне. Я хотел бы переслать его в газету — еженедельник «Ветеран» — если Вы не возражаете. Я попрошу его напечатать, чтобы дать укорот некоторым «героям» из «политобоза».

«Везде хорошо, где нас нету», — гласит русская пословица. И на фронте, и в тылу было ох как тяжко. Только на настоящем фронте, то есть на передовой, только в настоящем тылу, то есть на производстве, у станка.

В Вашем страшном городе, когда ставился там завод и станки работали под открытым небом (с каким героическим пафосом это показано в нашем «киношедевре» — «Вечный зов!») — уже в конце сорок третьего года многие люди, особенно ребятишки и женщины, не возвращались со смены. Они замерзали на пути в рабочие бараки, и весной на территории завода вытаяли десятки тысяч трупов. Их сгребали лопатами, граблями в кузова и хоронили в общих ямах — так ставил «на крыло» нашу побитую авиацию комбинат Вашего, ныне сверхзагрязнённого, смертельно больного города. А он не самый грязный в стране. Есть грязнее, и много грязнее.

Но и на фронте, голубчик мой, Струнников-гневный, многие и очень многие из первого боя не возвращались. Раненых часто и очень часто бросали замерзать, а иные бедолаги, и до фронта не доехав, погибали. А уж паёк наш. Господи! Если бы не «бабушкин аттестат», то есть если бы мы не воровали, не мародёрничали, то все и позагибались бы с голодухи.

Да, нам полагалось кило хлеба на день (у немцев 600 граммов), но часто вместо хлеба выдавали два клёклых сухаря, да ещё селёдку к ним добавят в безводной местности. Немцам к 600 граммам давали сливочное масло, галеты, печенье, сахарин и т.

д., и т. п., а нам затыкали горло этой пайкой. Анекдот фронтовой тогда родился: немцы по радио агитируют: «Рус! Иван! Переходи к нам! У нас шестьсот граммов хлеба дают!» А в ответ: «Пошёл ты на хрен, у нас кило дают и то не хватает!»

Я рядовой окопный, трижды раненый боец (пишу и работаю с одним зрячим глазом, поэтому на клетчатой бумаге), не пользуюсь подачкой — а это именно подачка — больше слов, чем харчей, хотя и прикреплён к магазину, где ублажают инвалидов войны (я инвалид 2-й группы), у меня пенсия персональная — 152 рубля. Инвалидной книжкой я воспользовался всего несколько раз — при безвыходном положении. Так же ведут себя и мои собратья-фронтовики, а наглеют «политобозники» из армии Брежнева — Вы правы. Они и на фронте хорошо жировали.

Сам будущий вождь был большой спец по молодым бабам, да больше ему и заниматься нечем было, как щупать медсестёр и околофронтовых пэ-пэ-жэ.

Нашего брата, истинных окопников, осталось мало (и я пишу Вам из больницы), конечно, не все, далеко не все они вели себя достойно в послевоенные годы, многие малодушничали, пали, не выдержав нищеты, унижений — ведь о нас вспомнили только 20 лет спустя после войны, и коли Брежнев бросил косточку со своего обильного стола, наша рабская кровь заговорила, и мы же готовы целовать руку благодетеля, забыв добрый совет великого русского поэта: «Избавь нас, Бог, от милостей монарших и от щедрот вельможных отведи».

Но — «не судите да не судимы будете!»

Всех чохом загребая, Вы обижаете и тех, кто вынес эту жизнь такой, какой она ему досталась, и несли свой крест мои собратья, да и несут ещё стоически, пусть и рабски, но никого не объедая и не ушибая. У меня осталось семеро друзей на этой земле — в одном взводе работали, муки принимали такие, что и вспоминать о них тяжко. А унижение! А обиды! А наветы! А объедаловка! Ох-хо-хоооо! — армия-то, в принципе, не изменилась, любуйтесь на нее! Дивуйтесь! Так вот, из семи моих собратьев по окопу один лишь в большие начальники вышел. Ныне все пенсионеры, никто ни разу не сидел в тюрьме, не украл крошки хлеба у государства, не спился, не разрушил семьи.

Не надо их обижать, иначе Вас Бог обидит! А он за нас, Бог-то, раз сохранил нас в таком пекле, каким была Отечественная война. Как и во всём обществе, среди ветеранов есть и сволочи — они и на фронте были сволочами, шакалами, но достойных людей больше.

Жду Вашего разрешения отослать Ваше письмо в «Ветеран». В ответе имя, отчество и точный адрес должны быть.

Извините за почерк. Устал. Да лучше и не умею. Кланяюсь.
Виктор Астафьев

28 января 1990 г.
Красноярск
(С.Н.Асламовой)
Дорогая Светлана!

Получил я книги и письмо Ваше — спасибо! Сам я попал в проруху, в заразной Москве на съезде подцепил грипп, с лихой температурой сутки лежал до дому и здесь с ходу в больницу. Начались осложнения на сердце. А я так разогнался в работе над романом! Мне бы ещё неделю-две до съезда и кончил бы черновик первой книги, а теперь работоспособность утеряна, за столом занимаюсь пустяками, на роман ведь крепкие силы нужны. Боюсь, что зима так и пройдёт в недомоганиях.

Света! У меня большая просьба к тебе и издательству: если ещё не поздно гонорар за мою книгу из «Юношеской библиотеки» пусть переведут на счет Иркутского детского фонда, туда, куда перевели деньги от фантастики.

Мне нужен всего лишь квиток из бухгалтерии издательства — означенное число перевода и сумма.

В Красноярске-то не остаются внакладе, то сюда, то туда деньжонки отсылаю и ещё отдам, а в Иркутске, глядишь, и от меня помощь какая-никакая будет. Сделайте, ладно?

Кашель всё мучает, и грудь «харчит», как точно говорят в деревне.

Ну, всего Вам доброго! Кланяюсь, обнимаю. Ваш Виктор Петрович

3 февраля 1990 г.
Красноярск
(В.В.Воробьёвой)
Дорогая Вера Викторовна!

Книжку я получил и, отложив ворох всяких дел, да всё суетных, не писательских, посмотрел её на ночь. Замечательная книжка, поучительная для современных писателей-олухов, выясняющих, кто за евреев, кто против, и на всякий случай подпевающих евреям, поскольку нынче это выгодно.

Как жалко, как горько, что Костя не увидит этой книги. Может, как-то в земле отзовётся и дойдёт до него радость моя и всех его истинно любивших товарищей и друзей — и собрание сочинений, и другие книги, и поминание на родине, и эта вот исповедь души! Я верю, что кто-то, в чём-то, может, духом каким донесёт до Костиного упокоения наши чувства, нашу вину и

молитву о нём. А то, что он был строптивый и гордый мужик, я ведаю по одному памятному случаю.

Какой-то съезд начинался или уже продолжался, оглядел я Колонный зал, смотрю — Костя *[Воробьёв. — Сост.]* спешит ко мне, расталкивая народ, улыбается широко, ладный, хорошо одетый, с умело завязанным галстуком (это всегда замечаю, поскольку сам до сих пор завязывать его не умею и Марья моя завязывает мне галстуки впрок, закладывает их в чемодан, а я в столицах, идя на Рождество, надеваю их через голову). Обнялись мы с Костей, крепко припали друг к другу, он меня по спине колотит, а голову с плеча не убирает — слёзы прячет. Я ж детдомовец, понятлив, а Костя — опять же по причине детдома: там ведь забьют, если не умеешь приспосабливаться.

Костя в тот раз отчего-то был убит, жаловаться мне откровенно стеснялся, и, поскольку дела мои шли чуть лучше, чем у него, но помочь-то в ту пору я ему ничем не мог, кроме как поддержать добрым словом. Вижу, неподалёку разговаривает с кем-то Б., изящно одетый, хорошо причёсанный, с тоже умело завязанным галстуком и уверенным видом. Я и ляпни Косте: «Ты ж с Б. знаком, обратись к нему, он сейчас в фаворе — секретарь, в сферы вхож...»

«Знаешь что, — разом освирепев, рыкнул Костя, — пошёл он, этот литературный барин. Я с голоду подыхать буду, к нему не пойду!..» — и от меня ушёл стремительно, и только потом, когда мы сидели в компании в гостинице, попивали водочку, подсел Костя ко мне и возникшее меж нами отчуждение снял. О Б. мы с ним уже никогда после не разговаривали, да и надобности не стало. Мы оба скоро поняли, что на бога надейся, да сам не плошай.

А написать предисловие я не могу — загружен бумагами по маковку, и все бумаги одна важней другой, аж военные с пистолетом на поясах их приносят, под расписку отдают, но главное — моё здоровье. Заразным гриппом маюсь, едва живой вернулся из поездки деловой и сразу в больницу. Недавно отпустили домой, но всё недомогаю, каждый вечер поднимается температура, кашель, голова болит, сердце постанывает, но главное, работоспособность утратил.

Перед съездом, после осенней поездки по России, на Курщину и в Америку, где все работают хорошо и не болтают про работу, про изобилие, я так горячо и сильно начал работать над романом о войне, что быстро накатал почти весь черновик первой книги (я, если «дозрею», то черновик пишу лихорадочно, стремительно, даже не зная, что получится, и только потом, получив первый текст с машинки, маю его и сам маюсь до

истощения нервов и плоти). Ничего не пишу, кроме писем, ответов на письма и жалобы сов. граждан, а их всё больше и больше, жизнь испаскудилась, народ отупел от нищеты, но верит в бумагу всё ещё свято, берёт за грудки ближнего неистово, поскольку дальше и выше смелости ему недостаёт.

Простите меня, все Воробьёвы, и не обижайтесь. Вам ли меня не понять? Я тоже жалею, что в Курске не удалось ни с кем путём поговорить — стали видеться редко.

Всем вам кланяюсь. Виктор Петрович

1990 г.

(Адресат не установлен)

Дорогая Люся! Дорогой Жан!

Как приятно было получить от вас весточку и ещё, и ещё раз вспомнить моё гостевание в вашем приветливом доме. Вспоминаю, как Жан угощал прекрасным вином, был остроумен, оживлён и даже выкурил трубку под конец вечера в гостиной, хотя я и понимал: ему при его хворях это едва ли полезно. Но я и сам, загулявши, на хорошем душевном подъёме могу перейти через «нельзя» и не сожалею об этом — минут, доставляющих удовольствие общения с приветливыми людьми, душевно совпадающими с тобой, не так уж много случается в жизни и ими надо дорожить.

Мы живём помаленьку. Постигло нас большое горе — умерла дочь 39 лет От роду, остались с нами её дети, девочка и мальчик, Витя и Поля. Трудно, конечно, особенно бабушке, с ними, и молим Бога, чтоб он продолжил наши Дни ради сирот. Что они без нас? Как? Время такое тревожное.

С горем и бедой справлялись в работе. Я писал новые главы в повесть "Последний поклон" и рассказы, статьи, даже очерк один о природе написал, хотя давал себе слово больше не соваться «в лес».

В прошлом году у меня было восемь публикаций: статья о Гоголе, очерк о северной природе и пять рассказов, в том числе два маленьких рассказа, написанные ещё в шестидесятых годах. Осенью я сделал ещё один, пятый заход (после публикаций) на повесть «Пастух и пастушка», и она, наконец-то, обрела тот уровень и «лик», который и задумывался. Все потери, случившиеся на пути к читателю, восстановлены, кое-что переосмыслено и дописано после моей поездки на Украину, по местам боёв. Журнал «Студенческий меридиан» начал публиковать повесть в новой редакции.

Летом я побывал в Испании, а осенью — в Америке, посмотрел, подивовался, отдохнул, и мне захотелось работать.

Вернувшись домой, продолжил работу над военным романом, в котором и бумага уже пожелтела — так давно я не открывал рукопись. Очень хорошо начал работать, прошёл почти половину черновика первой книги, и тут настала пора ехать на съезд депутатов в Москву. Погода в столице была мокрая, хлюпкая, народищу везде толпы, и я подхватил столичный грипп, лежал в больнице и до сих пор избываю хворь, осложнение легло на сердце, главная работа — над романом — остановилась.

Из новых рассказов я составил сборник, включил в книгу и повесть «Пастух и пастушка» в новой редакции, и известный вам «Печальный детектив». Книга выйдет к концу нынешнего лета в московском издательстве «Книжная палата». В эту книгу включена и «Людочка». Я уж подумывал через ВААП переправить вам эту книгу, и тут ваше письмо. Сейчас мне уже лучше, и я надеюсь скоро войти в рабочую форму, продолжу работу над романом.

Издательство «Молодая гвардия» с 1991 года начинает издание моего собрания сочинений в шести томах. На сей раз хотят выпустить его за два года, вот этой трудоёмкой работой и буду заниматься. Сдача первого тома в апреле нынешнего года. Когда выйдут все шесть томов, я попробую переправить их вам на добрую память, а пока буду ждать новую книгу из «Книжной палаты» и непременно пошлю её вам, но ничего не навязывая. Найдёте возможным что-то переводить — ради бога, а на нет и суда нет.

У нас нынче редкая по сибирским временам зима: были морозы и до 40! Теперь потеплело, солнечно, сухо, много белого снега, вороны уже ремонтируют гнёзда и гоняются друг за дружкой — признак дружной весны. Бог даст, потеплеет и в стране, всё помаленьку наладится. Живём надеждами.

Будьте здоровы! Мира и солнца Франции! Кланяюсь. Виктор Астафьев

23 февраля 1990 г.
Красноярск
(С.Куняеву)
Дорогой Станислав!

Ещё осенью, узнав, что Евгений Иванович Носов, мой друг и брат, выходит из редколлегии «Нашего современника», решил выйти и я. Но сам же Евгений Иванович просил меня пока этого не делать, чтоб не получилось подобие демонстрации «массового выхода». Сейчас, когда дела у журнала идут более или менее нормально, растёт тираж, внимание к журналу, торчать моей фамилии в редколлегии журнала ни к чему. Возьмите вместо

меня более молодого, действенного и талантливого парня из Сибири, например, Мишу Щукина из Новосибирска, а я перехожу в журнал, более соответствующий моему возрасту, и к редактору, с которым меня связывает давняя взаимная симпатия, то есть в «Новый мир».

Уговаривать меня не надо. Я послужил журналу верно, много сил и времени отдал его становлению, даже когда меня в журнале предавали бесстыдно и публично, я, стиснув зубы, служил его делу. А теперь увольте. Обещанный материал высылаю следом за этим письмом.

Желаю немногого — стойкости, бережного отношения к штатам журнала, любым, хоть замам, хоть рядовым работникам, ведения журнала с достоинством, свойственным великой русской литературе, не переходите на базарный ор и бабий визг. Творческую связь с журналом я не прерываю и, если что-то появится, буду присылать.

Будьте все здоровы! Кланяюсь. Виктор Астафьев

1 апреля 1990 г.

Красноярск

(Адресат не установлен)

Уважаемый Александр Сергеевич!

Ах, как жалко мне Вас огорчать на старости-то лет, да никуда от жизни не денешься.

Я понимаю и Вас, и всех других генералов наших, хвалящихся, ибо никто больше не похвалит. Не за что... И Вы, и полководцы, Вами руководившие, были очень плохие вояки, да и быть иными не могли, ибо находились и воевали в самой бездарной армии со времён сотворения рода человеческого. Та армия, как и нынешняя, вышла из самого подлейшего общества — это и в доказательствах уже не нуждается. Теперь всем уже известно, кроме Вас, конечно, что потери наши на войне составляют 40-50 миллионов, и я повторял и повторяю Вам и на этот раз: не Вы, не я и не армия победили фашизм, а народ наш многострадальный. Это в его крови утопили фашизм, забросали врага трупами. Первая и единственная пока война из 15 тысяч войн, происшедших на земле, в которой потери в тылу превышают потери на фронте — они равны 26 миллионам, в основном русских женщин и инвалидов, детей и стариков. Только преступники могли так сорить своим народом! Только недруги могли так руководить армией во время боевых действий, только подонки могли держать армию в страхе и подозрении — все особые отделы, смерши, 1-е, 2-е... -надцатые отделы, штабы, напоминающие цыганские таборы. А штрафные роты, а

заградотряды? А приказ 227? Да за одно за это надо было всю кремлёвскую камарилью разогнать после войны. Боясь этого, боясь прозревшей армии, Ваши собратья, понукаемые Верховным, начали расправу над пародом. Спасли мы шкуры ублюдкам — больше не нужны.

Сбивши внука Бисмарка, побивши шестую армию немцев, что ж Вы не похвалитесь, что немцы тут же округлили эту цифру и разбили под Харьковом (заманив в явный мешок) шесть наших армий? Только одних Ваших доблестных сотоварищей-лампасников под Харьковом одновременно было взято в плен 19 штук, потому что они привыкли наступать сзади и отступать спереди, вот и угодили в полосу сомкнутого кольца сами. В 1943 году! Или о таком позоре: любимец Сталина Мехлис взялся командовать тремя армиями в Крыму, забыв, что редактировать «Правду» и подхалимничать перед Сталиным, писать доносы — одно, а воевать — совсем другое. Манштейн «танковым кулаком», из двух танковых корпусов состоявшим, подчинив себе по пути на Керчь несколько полевых дивизий, не побоявшись бросить в тылу осажденный Севастополь, так дал товарищу Мехлису, что от трёх наших армий «каблуков не осталось», как пишут мне участники этой позорной и кровавой бойни. Мехлис-то ничего, облизался и жив остался. Удрапал, сука!

Я мог бы Вам рассказать, как целую зиму самый крепкий фронт — 1-й Украинский — уничтожал первую танковую армию противника и сам товарищ Жуков к весне занялся этим делом. А остатки армии, без техники, без боеприпасов, потерявши большую часть боевого состава, вышли из окружения под Каменец-Подольском, и... в 1944 году первая танковая воскресла, преградила путь нашим войскам в Словакию. С нею, с 1-й армией, воевал 4-й Украинский фронт, состоявший из двух армий, в том числе из доблестной 18-й армии (надо ж так бездарно организоваться, чтоб держать штаб фронта ради двух армий!). Им помогал левый фланг 1-го Украинского и правый фланг 2-го Украинского фронтов, но, положив 160 тысяч советских воинов, лавина эта так и не выполнила своей задачи, двинулась на Сандомирский плацдарм, где снова нас ждала неудача...

Ах, как мне тоже хотелось бы похвалиться и похвалить Вас! Да за что? то, что, борясь за свою «генеральскую» правду. Вы забыли похоронить павших бойцов и косточки их по сию пору валяются по русским лесам, полям и болотам (за границей-то все они прибраны, и я видел не в ГДР, а в ФРГ бережно хранимые могилы наших солдат), или хвалить за то, что, жируя в послевоенные годы, наши мудрые старшие товарищи вспомнили о вояках через двадцать лет, когда их большая часть уже

отстрадалась и лежала в земле?

Не надо трогать и прижигать наши раны, генерал! А правды Вам уже не спрятать, как не спрятать и того, что сейчас творится в доблестной сов. армии. А ведь пытались и пытаются спрятать изо всех сил и такие вот блюстели «чистоты мундира», как Вы, изо всех оставшихся сил помогают творить преступление. Ещё одно. Да и одно ли? В мирные дни наша армия несёт потери большие, чем граф Чернышев, возглавлявший русскую армию в блистательном походе на Париж. Во время Семилетней войны они равнялись тогда шести процентам. Ну, если учесть, что от недогляда отвратительной бесплатной медицины, плохого, часто вредного питания у нас умирает двести тысяч детей в год, так что уж говорить о солдатишках, которые и всегда-то при советской власти были вроде соломы, годной лишь для того, чтобы гноить её бросать в костёр. Чувствую, что Вы мало читали и читаете, так вот, был такой князь Раевский, который на Бородино вывел своих сыновей на редут (младшему было 14 лет!), вот я уверен, что князь Раевский, и Багратион, и Милорадович. и даже лихой казак Платов не опустились бы до поношения солдата уличной бранью, а вы?!

Ох-хо-хо-ооо, всё же из грязи в князи — никогда ничего не получалось. Я в День Победы пойду в церковь — молиться за убиенных и погубленных во время войны. И Вам советую сделать то же — уверяю Вас, поубудет в Вас злобства, спеси, и не захочется Вам подсчитывать «напрасные обиды», нанесённые нашим генералам. Нет таких слов, нет такой молитвы Божьей, которая бы даровала им прошенье за мерзко прожитые дни (хотя бы брежневские), но если все вы, снявши мундиры, не бренча медалями, вышли б в русское поле, окружённое пустыми деревнями (одна из причин их опустошения — война), если вы встанете на колени и, опустив сивые головы, попросите прощения у Всевышнего, может, он вас и услышит. Это единственный путь к спасению вашей генеральской души, иначе вам смердеть на свете и умереть с темной злобой в сердце. Вразуми Вас Бог! Кланяюсь. В. Астафьев

1990 г.

(Адресат не установлен)

Дорогой однополчанин!

Поздравляю Вас с наступающим праздником Победы! Желаю Вам и вашей семье Вашей мира, здоровья и всего хорошего.

Да, я был солдатиком во взводе управления 3-го дивизиона, связан с бойцами нашего взвода и с бывшим командиром дивизиона Митрофаном Ивановичем Воробьёвым, раненым

весной 44-го года под Каменец-Подольском, а заменивший его тогда Евгений Васильевич Бахтин уже лет десять как умер. И комбриг Дидык А. К. тоже умер. Много народу поумирало, мало осталось ветеранов, и все уже одряхлели. На последней встрече ветеранов в Киеве собралось 170 человек, все едва живые, а ныне и того меньше. Даже Боря Райхман, фотограф бригады, умер в прошлом году. Не знаю, соберётся ли следующая встреча.

Да, я пишу книгу о войне, давно пишу, но не о 17-й дивизии, а вообще о войне. Солдатскую книгу, а то генеральских уж очень много, а солдатских почти нет. Не думаю, что разработки зам. нач. политотдела мне пригодятся. Он наворочает там «правду» из газет, ибо сам-то войны не видел и не знал, девок в тылу портил да нашего брата солдата обжирал. Я спросил у Дидыка: «Почему мы ни разу не видели нач. политотдела на передовой?» А он мне в ответ: «А на кой он тебе там сдался? Чтоб вы, и без того надсаженные солдаты, строили ему блиндаж в три наката? Чтоб ваш подхалим-старшина последние жиры у вас забрал и ему скормил? Я не пускал его на передовую, чтобы он не мешал вам воевать. Он тут хорошо воевал, при штабе, семь девок обрюхатил и семь орденов за это получил. Больше, чем я, всё время под судом и наблюдением находившийся...» Так что пусть эти комиссары-дармоеды положат свои «героические» разработки себе в гроб. Я же пишу книгу о том, что видел и пережил на войне да валяясь в госпиталях, и после войны с голоду подыхал вместе со своей Марьей, тоже сдуру добровольцем на фронт подавшейся. Двух детей похоронили, без жилья, без профессии, без хлеба намытарились так, что на три жизни хватит...

Вышла в свет книга Виктории Крамовой «Счастливая каторжанка». Это о бабушке Сергея Сергеевича Волкенштейна — замечательной женщине. Предисловие к книге моё. книга только что увидела свет в издательстве «Молодая гвардия» и вот-вот поступит в продажу или уже поступила. На Урале я прожил 24 года, 18 лет в городе Чусовом (моя Марья — чусовлянка), 6 лет в Перми и 10 лет в Вологде. В 1980 году вернулся на родину, откуда Вам и пишу.

Если ещё что-то захотите узнать, пишите, я, хотя и завален бумагами с Ног до головы, изредка отвечаю на письма и читаю ворохи чужих рукописей; кучи жалоб и разного рода прожектов о спасении Отечества — как депутат.

Желаю Вам доброго здоровья. В. Астафьев

28 мая 1990 г.
Овсянка
(В.А.Линнику)

Дорогой Виктор!

Ну вот, собирался тебе веху дать пособирался — пришло от тебя письмо, да ещё и с фотографиями, единственными, что памятны по Америке

Я уже в деревне, в своей, родной. Отдыхиваюсь от зимних трудов, хворей. Главное, за зиму прервалась работа над романом о войне, так хорошо пошедшая с осени, и возобновлять работу после большого перерыва всегда сложно, трудно и не хочется. Сколько я побросал начатых вещей! Но заставил себя, взял себя за чуб и ткнул себя мордой в бумагу и — пусть на ином уровне, более вяло и на слабой температуре — черновик первой книги завершил и отложил работу до осени.

Сейчас копаюсь в огороде, занимаюсь почтой и делаю кое-какие записи.

Чуть было не увиделись мы с тобою вновь. Приглашали меня в свиту президента, на переговоры с Бушем, но я лететь после болезни не решился. На руках двое малых детей и больная жена, приходится и об этом думать.

Не смог поехать и в Голландию на сахаровскую конференцию, отказался и от других поездок. Вот вниз по Енисею на теплоходе с семьёй, наверное, поплыву и порыбачу, пока ещё современные дебилы всё не спалили и не срубили.

Нынче у нас малоснежная зима была и сухая весна, так резваки отроческого возраста запалили край со всех концов, да ещё пыльные бури начались, и я воочию узрел, что такое конец света. И вообще живём мы ныне в своём отечестве неспокойно, озабоченно и тревожно. Что-то будет? Уцелеет ли Россия и мы вместе с нею?

Ещё раз спасибо за фото, за поздравление. Кланяюсь, обнимаю, Виктор Петрович

5 июня 1990 г.

Овсянка

(З.Б.Чернышовой, Н.П.Веселовой)

Дорогая Зина! Нина!

Спасибо за письмо и за книжечку. Я её сохраню у себя.

Книжечка хорошая, и девочка способная. Может быть, и очень способная, но сейчас об этом говорить рано, и совершенно исключено внушать это девочке. Они, дети, сплошь сейчас вундеркинды, а это опасно. Уж очень многие за мою творческую жизнь кончили свои дни трагически, или запутались, или запутали жизнь свою и близких людей.

Если Божий дар есть, он сам о себе заявит и сделает человека рабом бумаги, заставит его сочинять, ибо не сочинять он уже не

сможет. Божий дар это тяжёлое бремя, счастье и несчастье одновременно. Я не желал своей доли никому из своих детей, хотя и сложилась моя литературная судьба более или менее удачно. Но то, что знаю я о своей работе, чего в ней «прошёл», сколько перестрадал и буду вынужден страдать до последнего вздоха, — это ведомо лишь мне. Книга — это уже итог внутреннего напряжения, внешняя оболочка, видная людям, а что было унутрях сочинителя, знать никому не дано. Поэтому, наверное, порадовавшись первой своей убогой книжечке, почти благоговейно к ней отнесясь, я уже более не радовался так ни одной своей книге. И чем серьёзнее работаешь, чем больше внутренней сожжённости происходит, тем более усталым приходишь к концу. Нет уже сил, и только депрессия, душевный разлад, чувство безмерной усталости и покинутости. Однажды в деревне Сибла во время дождя, лившего всё лето, я чуть не застрелился в таком состоянии, и тогда-то решил переменить место жительства, поехать «домой», надеясь спастись от безмерной тоски и одиночества.

Это мне удалось. Через месяц будет 10 лет, как я в Сибири, и возраст ли виноват, родина ли врачует, но теперь я уже полюбил быть один, особенно в деревне, порвал почти все связи с внешним миром, много работаю, ещё больше переживаю за то, что творится вокруг, но такой покинутости, ненужности своей, как на Вологодчине, уже не ощущаю. Да и работа скучать не даёт. Роман-то о войне большой, требует много сил, времени и отрешённости от суеты. Счастлив бываю, если день пройдёт и меня никто не потревожит, ничто не выбьет из рабочего настроения.

М. С. уже очень больна, в деревне, где нет врача и больницы, ей быть постоянно нельзя, после двух инфарктов это рисково. Толкётся в городе, поднимает сирот-ребятишек. Витя уже большой во всех смыслах, вредничает иногда, но дом-то на нём уже, и с технической, и с физической стороны. Учится шаляй-валяй, правда, после девятого класса собирается в техникум электротехнического уклона. Дома он постоянно с отвёрткой, паяльником, пылесосом и прочими тех. принадлежностями, огрызается на бабку, а голос — помесь поросёнка с бараном, так я иногда на него поднимусь, что бабке грубит, а он мне: «Чего ты, дед, пылишь, это у меня голос такой!» Поля растёт жизнерадостная, крепенькая, но артистка-а-а-а...

Словом, всё идёт своим чередом. Успеть бы маленько подрастить детей, всё остальное не имеет уже никакого значения.

Ирина похоронена здесь, в Овсянке, под старыми развесистыми берёзами. Я часто бываю на её могиле, и это

помогает мне отрешиться от суеты, не мутить болото своей болтовнёй и борьбой за лучшую жизнь и долю нашего народа. На могиле понимаешь всю тщету слов и пустопорожность суеты, метаний и этой самой борьбы, которая привела нас и не могла не привести к полному краху. Скоро слово никому не нужно будет совсем. И особенно слово тех, кто вырос на асфальте, в малогабаритном раю. Художники новых времён будут идти не от жизни, а всё от той же литературы, от зауми и беспочвенной выдумки. Их уже много, находящихся между небом и землёй, но ближе к ничейному пространству, а будет ещё больше, они выдоят до крови всё молоко, всю жидкость из великой литературы прошлого и станут перепевать друг друга, да и уже перепевают. Вот потому за всех, кто одержим творчеством, страшновато, и за девочку тоже...

Ну, храни её Господь! И дай вам Бог силы и разума помочь девочке в Жизни, а не запутать и погубить её. Чем я могу быть полезен? Кланяюсь, обнимаю, целую всех. Виктор Петрович

22 июня 1990 г.
Овсянка
(В.А.Курбатову)

Дорогой Валентин! Ещё до твоего письма звонили нам, писали и кричали о смерти Юры Селиверстова. Ну что тут поделаешь?. Неужто Бог берёт к себе тех, кого любит? А может, мы и помогаем ему? Говорил ли я тебе о том, что на кладбище. где лежит наша дочь, своей смертью упокоились лишь старики, остальные, как могли, сжили себя со свету...

Я в деревне, с Полей. У меня идёт ремонт избы. Раззадоренная моей отчаянностью, быстро провела ремонт квартиры и М. С. после чего мается руками, не может спать, и вся посинела. Я забрал Полю к себе, чтобы ей полегче было.

Сегодня день начала войны. Вчера в честь этого на сессии произнёс фашистскую речь командующий Уральско-Волжским округом. Шквал аплодисментов сопровождал эту речь, а аплодировали истинные штурмовики, готовые броситься на народ по первой команде, только чтобы доказать свою необходимость и правоту своего оружия. Ничего не переменилось. Недоумки и фанфароны правят бал.

Марья Семёновна в связи с приближением своего невесёлого юбилея настаивает уехать из дома на Урал, поклониться родным могилам и чтобы избавиться от гостей, поздравлений и речей.

Если сохранится рейс Красноярск — Пермь, мы непременно полетим на Урал после того, как проведём день поминовения

дочери, то есть числа 20-22 августа, будем в Чусовом. Раз ты просил об этом известить, вот и извещаю, может, и ты соберёшься.

Я смотрел семейные альбомы, чтобы подобрать для переиздания твоей книжки фотографии. Всё путное уже выбрано, есть интересные фотки, но качество плохое, однако несколько штук я подобрал и отдал на перефотографирование. Мне что-то так с зимы и нездоровится, болеть по-настоящему не болею, но и бодрости тела не обрету никак, не говоря уж о духе, тут совсем всё подавлено. В июле на теплоходе опять поедем вниз по Енисею, так, может, там придём в себя. Обнимаю. Виктор Петрович

1990 г.

(Адресат не установлен)

Дорогой Василий Григорьевич!

Да, мы воевали в одном корпусе, но я воевал — если этим словом можно назвать то, что делали мы, рядовые бойцы: копали землю, таскали брёвна на себе для отцов-командиров, рельсы на блиндажи (обязательно в три наката!), мародёрничали, добывая пропитание, кормили вшей, слушали потоки матерщины от начальников, иногда куда-то и в кого-то стреляли (очень редко), бегали взад-вперёд, мало спали, плохо ели, были оборваны хуже зэков, — так вот, если всё это входит в слово «воевал», то воевал и я в соседней 17-й дивизии, в 92-й артбригаде, которой командовал полковник Дидык (ныне весной скончавшийся в чине генерала в Ленинграде), а дивизией командовал Сергей Сергеевич Волкенштейн.

Я дважды был на встрече ветеранов дивизии, в Киеве и Ленинграде, и дал себе закаину — на них не ездить, ибо ничего, кроме раздражения, они не вызывали. На первой встрече не было ни одного (!) рядового бойца, на вторую пригласили меня — «откушать в качестве поэта», — а я своих друзей пригласил на третью, и для разнообразия зазывают одного рядового казаха. На встрече скопище каких-то хвастливых людей, которых никто ни разу на передовой не видел, обвешаны они до пупа орденами. Масса откуда-то взявшихся евреев-молодцов, баб, которые землю пупом рыли, спасая раненых. Все «герои», все опалены огнём! Если б я лично не видел, как они срали в штаны и обворовывали нас, рядовых бойцов, как бабничали и пьянствовали господа офицеры, то, может, и поверил бы. А так — всё я видел, всё знаю, и слушать полоумных уже стариков, бренчащих железками, нет охоты.

Не думаю, что такое было только в нашей 17-й. Я знаю, что

13-я была ещё более тихоходная. Её командир, как говорил мне Волкенштейн, нарочно не передемортизировал старые орудия на новый ход — не успевали к местам сосредоточения, в особенности в период наступления, — и потому 13-я несла меньше потерь, за что Краснокутский получал ордена. По-моему, недалеко от Дуклы (в Польше) я видел брошенные в поле 120 мм гаубицы (не Вашего ли дивизиона?), их никак не могли «забрать» «герои-артиллеристы» в количестве нескольких взводов управления, боясь засевших в картошке трёх немецких автоматчиков и тем более своих оголтелых командиров.

Я не люблю вспоминать ни войну, ни ветеранов наших, ни тем более оголтелых командиров. Всё ложь, самолюбование и обман.

Виктор Астафьев

21 августа 1990 г.

(Е.И.Носову)

Дорогой Женя!

В последние дни, в последние ночи, будучи в родном селе, видел тебя несколько раз во сне и всё плохо, и порой нелепо. Как-то тревожно стало на душе. Поди, хвораешь? Осень наступила, вино паришь и небось помогаешь его истребить более прытким и жизнерадостным корешкам — Петям, Мишам да Юрикам, а?

А лето на исходе. У нас с весны была жара, сушь, всё горело. В один день в крае было зарегистрировано 170 пожаров, в одном только Манском районе выгорело около 100 000 гектаров леса, сгорели и заготовленные леса, погорели посёлки, горела с краю от лесозавода и моя родная Овсянка, и сгорели в ней только что построенная для обработки топляка пилорама и штабеля леса, да несколько домов. Трудящиеся тащили с пожара добришко, и если такового не было, то увозили навоз и выдёргивали саженцы. О Господи! Уж не по делу ли он карает наш народ, превращенный в шпану?

А уровень высокообразованного общества! Говорил я со старухами нашими овсянскими, и они совершенно убеждены, что пожар прекратился только потому, что они стали бросать в огонь «четверговые» яйца, ну, ты знаешь, что на Святой Четверг красят яйца, и вот ими, крашеными яйцами и молитвами, которые и помнят уж с пятого на десятое, и удалось утихомирить стихию, а два водомета, работавшие с Енисея и с железной дороги, струями отсекшие огонь от деревни. — это не в счёт.

В Игарке я был весною, загорелся какой-то барачишко времён моего золотого детства, пьяная баба цигаркой его подожгла. И вот вокруг него сгрудились пожарные машины, посикают струйками,

или как Петя Борисков покойничек декламировал: «Из своей кривой кишки поливает камешки» — и не тухнет, а в городишке ж почва на семь метров, не менее, состоит из опилочной щепы и гнили. Разгорается там и сям. И вот снизу от реки, по улице Таймырской, грохоча, поднимается машина, которую купили у военных и которая предназначалась, должно быть, для тушения атомных и прочих стратегических пожаров. Её зовут безлико — «батарея», развернулась эта «батарея» с плоской цистерной да как шибанула струёй, так и барачишко, и бабушку-поджигательницу, и граждан вместе с барачишком унесло куда-то! Я видел только три дощечки, упавшие на обнажившийся серый грунт Заполярья. Сейчас на этом месте пустырёк с робко наползающей на него травкой и крапивкой. Зато стоявшую рядом детскую библиотеку, уютную, с горячими печами, куда я заходил «читать», будучи беспризорником, точнее, подремать в тепле, с испугу отремонтировали (у неё подгорел угол), и она снова сделалась уютной, доброй до слёз, и, главное, в ней по-прежнему бывают дети, и книги зачитаны до лоскутьев.

Пробовал я помочь этой библиотеке книгами, так их передали в новую образцовую, показательную, из кирпича строенную библиотеку.

Проехали мы семейкой до Диксона. Есть ещё куда бежать, скрыться, при старании и пропитаться, и обогреться русским людям, да и «братьям» тоже, которые покуражатся-покуражатся, а потом на коленях в Россию полезут — спасенья искать. Сотни, тысячи километров бездушия и безмолвия. Те станки и деревеньки, что возникли вынужденно в 20-30-е годы, умолкли, стёрлись с берегов Енисея-батюшки. Лишь он спокойно, неутомимо, овеянный дымом горящей тундры, несёт свои широкие воды, и вечерами до того красив, спокоен и величав, что со слезами благодарности глядел я на него и верил, что он-то всё-таки будет вечен и переживёт нас, пытающихся его и всё живое на свете изгадить и умертвить.

Мимоплавом и в Игарке был опять, но больше на таком судне не поплыву. Лень одолевает, сытая блажь охватывает, ни делать чего-то, ни думать неохота, а только бы спать, есть да развлекаться, желательно с туристочками, что и делали многие и охотно, а я уж стар.

До этого был в глухой туруханской тайге, на совершенно дикой реке Тынэп, и неудачно. От жары и духоты был такой овод, что валил и скот, и зверя. Пауты с воробья величиной гудят, набрасываются тучей и сразу в кровь секут. С часу ночи и до шести утра можно было вздохнуть, сварить еду и оправиться по большому. Рыба с Тынэпа ушла в притоки и в верха, ту, что была

в ближних порогах, я выловил в первые же сутки, потом пять суток ждали вертолёт в полном бездействии, в нагретой избушке. Рыбы килограмм тридцать пропало, хотя я её солил крепко. Было несколько сигов-красавцев, с великими стараниями и восторгом выловленных мною на удочку. Вечером сиг выходил на плёс и безбоязненно кормился подёнками и стрекозами, падающими на воду, и мне иногда удавалось обмануть дурака на наживленного паута, но рыба сильная, губы у неё слабые, и поскольку подсачника наш брат сибиряк не имеет, то редко удавалось подвести сига к резиновой лодке, и ещё реже — поднять на борт. Однако наловил рыбы, но... проквасил. Один день в тайге в тени было плюс 48! — такая климатическая судорога случается иногда на Севере.

Я обретаюсь в деревне, приехал на сессию краевого Совета. Обман кругом, особенно насчёт экологии, хочется выползти на трибуну, тряхнуть партийную челядь и сов. общественность. Пропадём ведь, а партия расхватухой занялась, имуществом обзаводится, дачи строят, машины гребут!..

Марье моей завтра, 22 августа, стукнет 70 лет, а три дня назад сравнялось три года со дня смерти дочери. Лежит под берёзами и не знает, как подросли её ребятишки, ради которых она и сердце порвала. Каково нам с ними на этом свете, в этом лучшем из миров?! О Господи! Пытаюсь постигнуть всё это и не могу. Есть какая-то скрытая от нас сторона жизни и материи. Как моя мама, повиснув под сплавной боной на своей косе, в последний миг жизни представляла себе мою долю? Что за мысли, что за боль полосовали её сердце, удушаемое водой? И как мне узнать, угадать долю моих ребятишек? Одно я знаю твёрдо: им будет ещё хуже, чем нам. Они не готовы к тем огромным бедам и тяжким испытаниям, какие их ожидают. Да и кто готовит детей для этого? Детей ростят, любят, жалеют — и только. Я иногда бы Витьку так и долбанул — такой он вредный и хамовитый стал, но поматерю его, поору, и на этом дело иссякнет. Побьют ещё и без меня, поуродуют — уж больно упрям да бабкой подбалован, да и матерью-покойницей тоже.

Ну, Женя, дорогой, вот я и покалякал с тобой. Успокой меня хотя бы открыткой. Как ты? Здоров ли и мои сны не вещие?

Крепко тебя обнимаю и целую. Всем твоим домашним привет, всем мои земные поклоны.

Посмотрел письмо — не разобрать тебе его и за неделю. Попрошу Марью напечатать, уж не обессудь. Твой Виктор

9 сентября 1990 г.

Овсянка

(И.Н.Гергелю)

Дорогой Ваня!

Посылаю тебе книгу о бабушке нашего командира дивизии с моим предисловием. Жили на свете удивительные люди, умирали ради будущего, за нас умирали, веруя в лучшую долю своих детей и внуков. Показать бы им, куда мы пришли по их заветам, как жизнь обустроили, так они бы вторично умерли и никогда больше не пожелали бы проснуться.

Я, после зимних хворей, с мая месяца обретался в деревне, отвлекшись только раз на полмесяца — ездил с семьёй к устью Енисея, до Диксона, а потом снова вернулся сюда, но завтра уже покину деревню с большой неохотой, но что делать? Наступила осень. Холодает, картошку выкопали, подступают осенние-зимние сессии и съезды, а я ещё мечтаю продолжить работу над романом, если здоровье позволит, а пока на неделю заберусь в северную тайгу. У нас ещё есть безлюдные уголки, и там можно посидеть у одинокого костерка.

Девятнадцатого августа исполнилось три года со дня смерти дочери, а 22-го Марье Семёновне брякнуло 70 лет. Перевалили ещё одну нелегкую гору! М.С. вышла из своей любимой партии, в которой состояла с 1944 года. Допекла и её жизнь, доконала партийная демагогия.

Ребятишки растут. Поля пошла в 1-й класс, а Витя в 9-й. Он, Витя, уже помощник нам, хотя порой и сладу с ним нет, но хорошо хоть не бродит никуда и особо дурных наклонностей имеет немного.

Так вот и живём, пока ещё хлеб жуём, но уже и с ним перебои начались.

Что и как у вас? Лучше ли внучке?

Кланяюсь всем, всех обнимаю, всем желаю доброго здоровья. Твой Виктор

14 сентября 1990 г.

Красноярск

(В.С.Непомнящему)

Дорогой тов. Непомнящий!

(Простите за невежество, но я не знаю Вашего имени-отчества).

Из далёкой Сибири, где тихая, желтая и добрая осень проистекает среди трухлой действительности, взвинченного гражданского состояния и почти угасшего самосознания, в том числе и национального, низкий Вам поклон и сердечная благодарность за Вашу статью «Предполагаем жить» *[статья*

опубликована в «Литературной газете». — Сост.]. Ваше умное размышление, в особенности о том, что Пушкин — сверхисторическая сила, данная моей прекрасной, моей многострадальной Родине в утешение, ободрение и поучение, — это не просто глоток свежего воздуха среди лукавой и путаной словесности, когда текст и слова уже ничего не значат, а только то, что за текстом. Ваша статья — ещё и утверждение, что честная мысль всегда чиста, смела, надзору не по уму и не по силам. А о том, что своим мученичеством растерзанная и издыхающая Россия спасла христианскую цивилизацию, я тоже робко размышлял, но не смел углубиться в эту истину, казавшуюся настолько колоссальной, что она вроде и не по уму моему. А Дмитрий Сергеевич Лихачёв по пути из гостиницы «Россия» до зала съезда народных депутатов, увидев меня в подавленном состоянии и догадавшись о причине моей подавленности, коротко и просто сказал мне об этом. И я «прозрел», и мне не то чтоб легче стало жить, но просветлело на душе и хоть что-то делать на земле захотелось, руки потянулись к столу, к работе.

Завтра я уезжаю в глухую тайгу и буду мысленно продолжать у таёжного костерка беседу, начатую Вами.

Спасибо на добром слове! Кланяюсь. В. Астафьев

7 октября 1990 г.
Амстердам
(семье)

Дорогие мои! Маня, Поля, Витя!

Ну вот, я первое утро в Амстердаме. Летел хорошо, в первом классе. Напоили и накормили в нашем самолёте «по-иностранному» — хлебосольно и вкусно. Улетел от плохой погоды, прилетел в хорошую. Меня всё же встречали, и я, однако, всё же пошлялся по залу и раза два видел корреспондента «Комсомолки» с газетой в руке, хотел подойти, да думаю, подожду. А тут и профессор Виллен объявился с табличкой в руке. Мыкались какие-то невстреченные люди и из нашего торгпредства, вот и разделились. Профессор повёз меня на автобусике, а корра я попросил помочь мужикам беспризорным русским.

Отельчик очень хороший, на берегу канала, всё в нём чистое и старинное. Место тихое, но спал я всяко: разница во времени с Москвой два часа, да плюс сибирские — дня два-три надо привыкнуть. Я позавтракал. Здесь всё самостоятельно: ключ от подъезда, ключ от номера, никто не гремит и только одна неловкость, одно смущение — чего, как и с кем есть? Всего много, всё вкусно, всё чисто и опять, в который уж раз, я подумал: вот бы

наших ребятишек за этот стол!

О Господи! В самолёте прочёл статью Эд. Поляновского в «Известиях» о смерти артистки МХАТа Георгиевской, последней из стариков. Статья так и называется — «Последняя» и заканчивается словами: «Господи! Не прощай ты нас, не прощай! Ведь мы уже не люди...» Ужасно. Но ещё ужасней Москва с её мрачными нравами и с очередями. Вот и не хочешь здесь «о своём» думать, да оно само думается.

Звонил сейчас корреспонденту и не дозвонился. Зная, что во всякой стране свои причуды, спросил: «Лёня! А как тебе звонить?» — «Очень просто. Набирай и всё!» А не тут-то было. Какие-то гудки и пояснения на английском языке, из чего я понял, что неправильно пользуюсь телефоном. На нём кнопок! Значков!

Буду ждать звонка из издательства — обещали звонить и пригласить переводчика — «переводильника», а пока телевизор посмотрю — впереди много времени. Профессор Виллен преподаёт русскую литературу и просил во вторник встретиться в институте с его студентами. Я пообещал, надо вкусный обед и внимание отрабатывать.

Как всегда, в первый день «за бугром» грустно и тоскливо. Но это наладится, я знаю.

Целую вас всех и очень люблю. Ваш вечный уже отец, дед, муж. Виктор

Ноябрь 1990 г.

(семье)

Дорогие мои Маня, Витя, Поля!

Почуяли ль вы, как я над вами пролетал? Было это в 5.30 утра по-красноярски. Прилетели мы сюда около одиннадцати по-пекински, лету семь часов, улетали от мерзкой погоды, из полутёмной грязной Москвы. Прилетели к светлому дню, к прибранному народу, к погоде плюс 15!

Вот уж четвёртый день мы в Пекине. Выступление было пока только одно — в институте национальных литератур. Поговорили, потом долго, обстоятельно обедали в хорошем ресторане.

Побывали мы уже во дворце императоров и во дворце Духа, Солнца и Земли, где происходили моления об урожае и где император имел уголок земли, плуг и учил народ прилежности в земледелии (удивительное совпадение: через полторы тысячи лет комиссары в соседнем государстве, переняв его опыт, тоже учили крестьян пахать землю, а если их не слушались, они гнали их в ссылку или стреляли из нагана, чего император не имел права делать, да и нагана у него не было и не владел он передовой

марксистско-ленинской наукой).

Сегодня ездили на Китайскую стену, Какое это грандиозное человеческое творение! Какой подвиг труда! Затем были в усыпальницах императоров и императриц. Кругом красота неописуемая! Но уже откуда-то знакомая, где-то и на Монголию похожая, и на Забайкалье, где-то на банках с чаем, на открытках, по кино знакомая.

Сегодня были в гостях у сотрудницы Института мировой литературы и переводчицы. Муж у неё был адмирал, учился у нас, за что и отсидел шесть лет в тюрьме, а жена на работах в деревне отбывала, и сыновья, ещё парнишки, — тоже. Тоже порассказывают, так волосы дыбом.

Но я долго не мог там быть. Приехала моя переводчица из города Тяньцзин. Они с мужем перевели «Затеси» и «Оду огороду». Просят написать предисловие. Она только что опубликовала статью о «Пастухе и пастушке» и привезла мне в подарок костяную миниатюрку с изображением пастушки, сидящей почему-то верхом на овечке. Видимо, это юмор. И ещё двухконечную ручку подарила, на которой иероглифы с пожеланием вечного здоровья, долголетия и мира в душе. Она торопилась, ибо ехать ещё часа полтора, и только что я её проводил.

Послезавтра мы уезжаем в Шанхай, где пробудем три дня, а затем в Нанкин и оттудова вечером вернёмся четырнадцатого. А пятнадцатого, даст бог, возвратимся в Москву, там маленько передохну и домой. Ещё маленько впечатлений: в Китае живет 76-е поколение Конфуция. Он пользуется известностью, почитается, и даже есть водка, изготовленная по рецепту дома Конфуция.

Страна завалена продуктами и товарами, а ещё дивными изделиями ремесленников всех видов.

Не-ет, древний народ не по зубам даже таким умельцам, как коммунисты! Это не наша глина, из которой лепи чего хочешь — всё получается шпана рабская, скот послушный, неважный и воровской.

Поле я купил чудную игрушку, а тебе ещё более чудный веер!

Целую и обнимаю. Ваш В.П.А. — знай наших!

...Дорогие мои Маня, Поля и Витя!

На этот раз пишу вам из Шанхая, где ночевали уже две ночи и ещё одна ночь впереди. А потом поездом в Нанкин — говорят, около двух часов езды.

В Шанхае живёт 14 миллионов, много промышленности, толчея и многолюдство, какие видятся только в кошмарных снах, но... ни разу не видел, чтоб кого-то толкнули, обозвали, тем более задавили, хотя велосипеды и люди шныряют меж машин, как

зайцы во время гона, а на переходах к зелёному свету скапливаются толпы и сплошным потоком катятся навстречу друг Другу. Магазины и магазинчики по всем улицам, в них всего много, и народу тоже. Вчера мы походили, поглазели, но было невыносимо душно, устал я смертельно, начало тошнить, и я уж ничему не был рад, тем более везде жуткие сквозняки, а я насквозь мокрый. Кое-что купил. Ночью посвежело, пошёл дождь, и я хорошо выспался.

После завтрака наша делегация ушла на какую-то экскурсию, а я остался и вот на шикарной, имеющейся в номере бумаге пишу вам письмо. В номере работает телевизор, у меня есть чтение. И вообще, всё у меня есть и незачем мне вылазить под дождь. После обеда намечена поездка по Янцзы реке, и я, может, поеду, а пока наслаждаюсь покоем и прохладой, а в воздухе запах и смог, как у нас в Красноярске. Правда, теплее — когда прилетели, было плюс 9! А вечером я встречаюсь со своим переводчиком, который бывал у нас в гостях и ездил с нами в Ленинград, помнишь?

А вчера была беседа в Академии наук. И хорошо, что со мной были помощники из нашего Института мировой литературы. Они знают английский и поговорить горазды. Я люблю с такими ездить, знай, слушай умных людей, да и помогут, где надо, они артельные, хорошо воспитанные.

Однако в Пекине нам всем было уютней — там нам уделяли побольше внимания и получше кормили. Здесь завтрак совсем никуда не годен, обед более-менее, а ужин обильный. Еда сносная и разнообразная, только бессолая. Но похудеть не дают, а надо бы! Таскать себя уже тяжело, и ноги отекают, и вообще хочется уже домой, за стол. Пришла ведь моя пора для работы — поздняя осень. В голове идёт работа, аж опилки валятся, и жажда продолжать неудержимая.

На пленум я не останусь и вообще постараюсь в Москве не задерживаться — что-то она, Москва наша милая, совсем одурела. Я сам не видел, но сотоварищи мои поглядели вчерашнюю демонстрацию на Красной площади. Китайцы в ужасе! Они не понимают нас, им перевертыши чужды. Мудрый народ! Культурная революция их потрясла, и новых потрясений они более не хотят и не допускают. А у нас все посходили с ума от первого дуновения свободы и готовы давить друг дружку.

Ах ты, Господи! Говорили Дуньке в лес не ходить... А я себе закаину дал про политику не говорить, да вот... А вчера Украина снилась — не к добру, или вечером объелись. Всем приветы. Надеюсь, вы здоровы и благополучны.

Всех целую, муж и дед Виктор

...Дорогие Маня, Поля и Витя!

Ну вот, мы снова в Пекине и в той же скромной и уютной гостинице. Из Нанкина прилетели в полдень, где температура днём плюс 22, а в Пекине Плюс 16. Солнечно, ясно. Я отплевался, дышу полной грудью, только ноги сильно отекают да давление скачет, но то и другое я уже как-то подправляю — научился. Впечатлений много: разнообразных и неожиданных, хотя я не всюду ездил и не везде поднимался по множествам ступеней к храмам, пагодам и прочим достопримечательностям.

Только что были китайцы, вчера вернувшиеся сюда из России, и говорят, что в Тюмени минус 30! Морозы по всей Сибири. Значит, зима по лету? Только они ушли, кстати, все приветливые, любопытные и гостеприимные ребята, я прилёг почитать — бах! Дверь отворяется, и ползёт мужик на карачках, сверкая розовой лысиной. «Господи! — думаю, — и тут пьяный или сумасшедший!..»

А это Миша! Михаил Константинович Аникушин! Личной персоной! Как всегда, жизнерадостен, шумен, здоров, оптимистичен и резок в суждениях. Здесь он уже давно, с женою. Живут в лучшей гостинице. Принят послом, и многие ему почести и внимание. Но мы не в претензии, я во всяком случае. Рад тому, что мало суеты. Машину, когда надо, дают из академии, на временное пользование, шофёр — красивый, опрятный парень, поможет вещи поднести, машину ведёт, не ведёт — играет!

Я почти весь твой заказ выполнил, остались мелочи. Один китайский художник по фамилии вроде бы Го-мон-жон, сделал мой портрет на рисовой бумаге! Чудно! Я молод, почти красив и смахиваю на китайца, гуляющего по траве, якобы на берегу Енисея.

Домой, к бабе «хоцю», по ребятам соскучился просто до стона. Дома вроде бы и грешно, и тесно, а врозь тошно! Каждый день их вижу во сне, много думаю о них, об их судьбе, и о романе думаю. Скорей бы за стол!

Целую всех и надеюсь, что все вы и дома всё в порядке. Ваш В. П.

27 ноября 1990 г.

Красноярск

(Адресат не установлен)

Дорогой Николай Дмитриевич! Письмо Ваше переслали мне из «Нашего современника». Жаль, что Вам не удалось со мной ранее связаться, я бы поспособствовал Вам соединиться с советом ветеранов нашей дивизии. Он в Киеве, где три года назад была проведена ещё одна, видимо, последняя встреча ветеранов нашей дивизии, ибо все постарели, плохо двигаются, да и не нужны

никому сделались. В последний раз в Киеве ветеранов наших плохо разместили, а в Житомире вообще отказались принимать, у них, говорят, своих хлопот полон рот.

Хотели провести ещё одну встречу в Ленинграде, но умер главный организатор этого дела Боря Райхман, бывший фотограф нашей 92-й артбригады. И вообще, в живых остаётся всё меньше и меньше бывших фронтовиков. Скоро мы, спасители милого Отечества, совсем его освободим от забот о нас, и тогда общество наше дорогое вздохнёт с облегчением — нет больше надоедливых стариков. По глупости своей и тупой трусливой ограниченности наш народ, как всегда, ищет виноватого в бедах и прорухах, происшедших у нас, и, как всегда, находит его в тех, кто ближе, ныне в нас, государство объедающих. Но на всякий случай я всё же напишу Вам адрес комитета ветеранов, может, и соберутся ещё недобитые жизнью бывшие вояки на ещё одну, в этот раз уж поистине последнюю встречу.

252001 Киев, ул. Энгельса, дом 4, кв. 7. Мельников М. Н. Командир нашей дивизии Сергей Сергеевич Волкенштейн по происхождению австриец. Его предок ещё при царе Павле I попал в плен. Бабушка его, известная народоволка Людмила Александровна, приговаривалась к смерти, но милостию царя была помилована и 13 лет провела в Шлиссельбургской крепости.. В 1905 году во время волнений во Владивостоке она была застрелена. Рано потерявший родителей и бабушку, Сергей Сергеевич воспитывался в семье известного профессора хирурга Склифосовского. Он рано ушёл в армию, а отец его был толстовец и противник всяких армий и насилия. Обо всём этом выпущена с моим предисловием книжка «Счастливая каторжанка», писала её племянница Волкенштейна, а заканчивала дело уже внучатая племянница Крамова Виктория. Книга эта появляется в магазинах, есть в библиотеках, но можно попросить её и у автора. Напишите ей и мне напишите. Я не всегда могу ответить, но всё же как-то держу связь со своими однополчанами.

Сейчас я работаю, точнее, пытаюсь работать, да недосуг, над романом о войне. С 1991 года в издательстве «Молодая гвардия» начинается выпуск моего собрания сочинений в шести томах. Скоро начнётся подписка. Не прозевайте! А сам я из-за отдалённости от Москвы ограничен в приобретении книг.

Кланяюсь Вам и вашим близким и желаю всякого добра и здоровья. Ваш однополчанин и собрат по окопам В. Астафьев

1991 год

15 января 1991 г.

Красноярск
(А.Ф.Гремицкой)
Дорогая Ася!

Ну вот, одолел я вёрстку. Рассказы читаны-перечитаны *[в издательстве «Молодая гвардия» был сдан в производство второй том собрания сочинений. - Сост.],* уже воротит от них. да и страниц-то 700 с лишним — на один зрячий глаз многовато. Но я заставил себя быть внимательным, иначе нельзя. В нашем мощном и великом языке одна буква, пропущенная или вставленная, приводит к таким искажениям, что дух захватывает. Ваша вёрстка ещё очень хорошая чистенькая почти, но и в ней девочки правят слово «стан» на «стену», слов «имать» на «иметь» — на то, что душе их ближе и чему во школе научились.

Прощу внимательнейшим образом отнестись к моей незначительно правке — она вся по необходимости.

Мы тут все болели по очереди, и я с недельку после Москвы перемогал ся. Одна у нас Полька в строю, но учится из-под бабиной палки, зато врёт сочинительствует куда с добром, бо-ольшая артистка провинциального театра растёт. И грех, и смех с нею!

Я, кажется, приблизился к столу, думаю открыть папку с романом в ближайшее время, если ничего не стрясётся в миру и в доме. Всё тревожно, не устойчиво, и рабочий запал, полученный в Китае, иссяк во время сидения в Москве. Надо опять пересиливать себя, заставлять себя работать, ибо без работы совсем тошно бытовать.

Толя Заболоцкий отъедается и отсыпается у матери, иногда звонит, грозится приехать после 20 января в Красноярск.

Все мои новости иссякли на этом. Поклон молодогвардейцам и всем твоим домашним. Кланяюсь. Обнимаю. Виктор Петрович

23 января 1991 г.
(Л.Черношкуру)
Дорогой Лёня!

Лишь глухою зимою приземлился основательно за столом и могу написать тебе спокойно и основательно, а то ты скажешь: «Уехал, старый обормот, по небу умчался — и ни звуку, ни хрюку от него!»

Улетел я из Амстердама хорошо и роскошно даже — у буржуев же порядок таков, что ежели ты и вовсе идиот, да и глухонемой к тому же, все одно не заблудишься. И самолёт хороший, и воздуху хватает, и ногам просторно. лишь однажды, глянув вниз, я увидел горы, точно как на Чукотке — голые, с

белыми вершинами и царапинами белыми по склонам. «Откудова? Что такое? Ведь Европа же под брюхом самолёта», — заметался мой умишко. Вдруг щёлкнуло, и пилот сказал одно только слово: «Монблан». А я почему-то грустно подумал: «Господи, Господи, кончилась жизнь!..»

Я и сам себе не сразу смог объяснить, да и до сих пор до конца не объясню, почему именно эти мысли явились при слове «Монблан». Наверное, оттого, что забрался туда, куда лишь по географической карте забирался и куда черти носили великого Суворова губить безответных русских мужиков ради того, чтобы спасти какого-то австро-венгерского императора и защитить ...надцатый параграф чьей-то конституции, но, скорее всего, слово «Монблан» поразило моё воображение в детстве, и я считал его чем-то запредельным, потусторонним. И вот достиг. Как бы уж лететь и ехать больше некуда. Но я всё же прилетел в Италию, меня встретил из «Комсомолки» парень, держа эту самую лучшую в мире газету на груди развёрнутым заголовком, чего и тебе советую впредь делать, глядишь — за патриотизм зарплату прибавят!

Ну-с, ребята-комсомолята всё организовали здорово и достойно. Италия но сравнению с Голландией — это кипящий котёл с разноцветным варевом среди старых стен и узких улочек. Италии бы ненадолго, лет хоть на пять, советскую власть и самую мудрую нашу партию — и она тут же бы оказалась в нашей позиции, нечего было бы жрать, петь ни «белькантом», ни блатным голосом не захотелось бы.

Эмигранты на собрании держались хорошо, дружелюбно и как-то встречно расположенно, гораздо дружней и расположенней было, чем на российском съезде писателей, где и писателей-то было раз-два и обчёлся, а остальное — шпана, возомнившая себя интеллигенцией, склонной ко глубокомыслию и идейной борьбе. Вот только с кем — не сказывает, и какие идеи — не поймёшь, ибо орёт, бедолага, рубахи рвёт и криво завязанный пуп царапает аль червивой бородёнкой трясёт, как некий Личутин из поморов, обалдевший оттого, что в «писатели вышел».

Вообще жить стало ещё сложней. Быт сделался ещё более убогим и растрёпанным. Вот пока писал письмо, реформу какую-то страшную обрушили на народ, как всегда, напали на людей из-за угла. О Боже! Как же все устали от ожидания самого худшего, самого страшного!

Ну ладно, Лёня, немножко о жизни моей и близких моих.

Осенью же, на исходе её, я ещё съездил в Китай, хорошо съездил. Подзарядился за полмесяца у китайцев, которые от восхода до захода солнца работают, трудовым энтузиазмом

охваченные. Увидел прекрасную и древнюю страну, уже преодолевшую в основном кризис и последствия культурной революции, захотелось сесть за стол. Но надо было ехать на съезд в Москву: писательский и депутатский, где и отупел, и угас, и едва живой вернулся домой. А пока ездил, заболели жена Мария Семёновна и ребятишки, перестал работать телефон — у нас это частенько бывает. И сам маленько полежал.

Теперь вот собираю в кучу бумаги, мысли, себя, дорабатываю «затеси», в том числе и те, что написал в Голландии и Китае, да и готовлюсь поработать над романом, расчистив путь к нему среди бумаг, суеты и мелких дел. Вышел первый том моего собрания сочинений, и началась подписка на него. Думаю, что в посольстве вам будет возможно подписаться на него.

Очень часто вслух, но чаще про себя, вспоминаю дивные, тихие осенние дни в Голландии, ваш хлебосольный добрый дом, комнату наверху, откуда я вышел и увидел вашу милую дочку, и дворик, где делал физзарядку. Голландия вспоминается как рай земной — из нашей забедованной и замордованной земли даже и не верится, что так может быть и так возможно жить.

Спасибо, Лёня, спасибо. Я понимаю, что во многом мои воспоминания и поездка так светлы и добры от доброты твоей и дома твоего. Чем я смогу вас отблагодарить — не знаю, но есть Бог — и он за добро умеет воздавать добром, и не обойдёт ваш дом его добрый и всемилостивейший взгляд, и он вам везде и всюду помогать будет.

У нас сейчас глухая зима, морозы, ветры дикие — и будем ждать, да уже ждём с нетерпением весны, тепла и всего хорошего, да что-то хорошее нас всё дальше и дальше обходит, видно, и в самом деле прогневили мы Всемилостивейшего.

Пришёл мне журнал — четыре экземпляра с беседой, журнал похож на наш провинциальный «Блокнот агитатора», боюсь, что и беседа такая же, и, может, хорошо, что я по-голландскому читать не умею.

Крепко, по-братски, обнимаю. Храни вас Бог! Ваш Виктор Петрович

26 января 1991 г.

Красноярск

(секретарю Кытмановского райкома партии , Алтайский край

Уважаемый Иван Васильевич!

Не удивляйтесь моему письму — жизнь нынче не такими неожиданностями богата. Я хотел найти Вас на съезде, но не получилось. А искал я Вас вот почему: в деревне Червово Кытмановского района Алтайского края живёт мой однополчанин

и фронтовой друг Пётр Герасимович Николаенко. Мы с ним прошли стрелковый полк, автополк и воевали в 92-й артбригаде на самой страшной и неблагодарной должности — связистами. Я по ранению выбыл из нашей части осенью 1944 года, а Пётр дотянул провод до Берлина, Праги и остановился аж в австрийском городке Кремсе. По возвращении в родную деревню работал бригадиром в колхозе, председателем колхоза, ушёл на пенсию с должности зама председателя. Человек он шумный и часто грубоватый, в душе же добряк и надёжный товарищ. Здоровый физически, громадный телом, он много помогал мне на войне силой своей, в особенности, когда я однажды явился в часть из санбата недолеченный, ослабелый.

Конечно, будучи начальником, попивал он крепко, да и посейчас это увлечение не оставил, но вместе с многотерпеливой женой, дождавшейся его с фронта верной девчонкой, пятерых детей вырастили, добра много людям сделали, детей определили.

Но здоровье сдало и у этого богатыря — обезножел, сердце сдало, и ещё беда — сгорела у него машина, так необходимая ныне в житье-бытье.

И вот я прошу Вас помочь моему фронтовому другу купить эту самую машинёшку. Право слово, и писать об этом, и просить неловко, но Петро сейчас лежит в военном госпитале в Барнауле и Христом Богом молит меня ему помочь, а я вот Вас молю и беспокою. Извините.

Заранее Вас благодарю и желаю добра, здоровья! Виктор Астафьев *[Откликнулись очередной отпиской, так ничего и не сделав для фронтового друга Виктора Петровича. Партийное слово и обещание как были во все времена пустословными и безответственными, такими и остались. — Сост.]*

5 февраля 1991 г.
Красноярск
(В.Болохову)
Дорогой Володя!

Сделав исключение из правил, прочёл я твою рукопись без очереди. Думаю, что «Новый мир» её не напечатает. Журнал этот несколько эстетский, академического духа. Думаю, может твою повесть напечатать «Юность» (тогдашний либерал-прохиндей, гл. редактор её А. Дементьев скакнул от меня, как от прокажённого, чуть не зарезав мой диплом в Литинституте) — они уже приучили почти своих молодых читателей к лагерщине и блатному стилю, с Аксёнова начали и твёрдо держат эту линию.

Что касается меня и моего мнения, если оно тебе нужно. Я

считаю твою повесть антилитературой, и коли существует антижизнь, то и литература, ею рождённая, должна была явиться. И думаю, что половина читателей поймёт антиязык литературы подобного рода. Ведь мы и сами не заметили, что более чем наполовину наш обиходный язык уже состоит из блатного сленга, косноязычия и сквернословия.

Не знаю, есть ли будущее у литературы подобного рода? Почему бы и не быть? Ведь привился же рок к слаборазвитым народам, как гриб к гниющему дереву, и досасывает из него последнюю здоровую кровь и остатки разума. Ослабевшим разумом и принял наш народ припадочных коммунистов, их мораль, а затем и всю пошлость в виде патриотическо-проститутского искусства, и оттуда прямым ходом к видео с голыми бабами, совокуплениями на манер скотства и садизма.

Но порнокультура существовала всегда — не было фото, живописцы, в том числе и великие, баловали публику «видиками»; фольклор всех народов, но особенно наш, русский, индийский, африканский и, отчасти, южноамериканский, наполовину состоит из срама и матерщины.

Но всему этому противостояла колоссальная волна человеческой культуры, начавшаяся с Возрождения и опиравшаяся на достижения древней культуры. Она, настоящая культура, смыла и загнала в подвалы антикультуру. И литературе, подобной твоей, будет противостоять классическая русская культура и прежде всего литература. Вот и меня потянуло почитать после твоей прозы Бунина, Тургенева, Гоголя, прозу Пушкина, как тянет глотнуть чистого воздуха после душного помещения. Здоров будь. Виктор Петрович

Извини, что так нервно и скоротечно отвечаю — народ не переводится, Устал жутко, сегодня начинаю лечиться — давление замучило.

11 февраля 1991 г.
Красноярск
(А.Ф.Гремицкой)
Дорогая Ася!

Ну вот, разделался я с 3-м и 4-м томом. «Последний поклон» доставил Толя *[А. Д. Заболоцкий. — Сост.]*, а «затеси» высылаю по почте. Господи! Я уж и не рад был, что столько их понаписал. Если б не Марья Семёновна, поди-ко, всё бросил бы и изорвал. Теперь я понимаю, каково-то поэтам составлять сборники, а тем более собрания сочинений. Крепкие надо иметь нервы!

И вообще, если окажется «затесей» лишка, выбрасывай самые мелкие и вялые, то есть старые, но, по моим подсчётам, всё

должно быть ладно.

Ещё одно большое усилие, я разделаюсь с текучкой и готов открыть папку с романом, но уже устал и соображаю, куда сбежать на недельку, чтобы передохнуть. Живём помаленьку. Толя расскажет как.

На Красноярский край, на 3,5 миллиона населения дали всего тысячу экземпляров на подписку моего собрания сочинений. В своё время обком в Вологде выхлопотал семь тысяч, но нашим не до книг. Они вместе с Полозковым борются за укрепу рядов, чтобы потом напасть на врагов, то есть снова на народ и под видом прессы — на едва дышащую культуру. Всё-таки эта банда без крови жить не умеет.

Бандероли ходят долго. Так что непременно позвони или телеграмму дай, когда получишь.

У нас уже не заключает договоры на 1992 год издательство и даже план не составляет, и рукописи не принимает. Хана литературной провинции! А как вы будете жить? Где-то мелькнуло, что при «Молодой гвардии» создаётся концерн. Что это такое? С чем едят? О Господи, каждое утро просыпаешься ожиданием худшего. Что ещё выкинут наши перестройщики? Храни нас всех Господь!

Поклон всем молодогвардейцам. Кланяюсь, обнимаю, целую. Виктор Петрович

12 февраля 1991 г.
Красноярск
(Н.И.Године)
Дорогой Коля!

Спасибо, брат, за письмо, за доброе приглашение посетить челябинскую землю. Давно хочется, да грехи не пускают, да суета и видимость работы.

Приехать мне, Коля, сложно, тем более с Марьей Семёновной. Ты, наверное, не в курсе, у нас в доме была большая беда и горе неизбывное. Вот уже четвёртый год, как умерла дочь и оставила на наших руках двух детей (с мужем была в разводе, да и муж тот...) — дети остались совсем малые, но вот уже мальчик пошёл в девятый класс и стал нам помощником, ибо М.С. хватануло два подряд инфаркта, да и других болезней за жизнь поднакопилось. Девочка, её зовут Поля, нынче пошла в первый класс, и молим Бога, чтобы он продлил наши дни ради них, хотя, как сказал мой сотоварищ по литературе и войне, порою доставляет радость мысль о скорой смерти.

Устали. Всё наше поколение, такие на себе тяжести несущее,

устало. А главное, ради чего тащили-то? Итог очень плачевный и горький.

А я ведь с писательского съезда угодил и на депутатский, от литературной шпаны переключился на шпану не менее отвратительную, на политиканствующую, которой легко оказалось прикрываться и прикрывать любые авантюрные и даже реакционные решения, — шпана орёт, рубахи дерёт и криво завязанный пуп царапает, совершенно уже никого не слыша и не понимая, для чего и зачем орёт-то?!

У нас дела тоже неважные. На 1992 год местное издательство уже не составляет даже план и не принимает рукописей, приказано сверху самим писателям добывать бумагу, издаваться на свои деньги и самим реализовывать свою продукцию. Провинциальная литература к этому не готова. Хоть и бедно, бледно и малоденежно, но жили, издавались, права качали честным издателям, вели «творческий образ жизни», и вот остались не у дел.

Я-то проживу и доживу свой век. Издают меня много, собрание сочинений выходит, но каково-то остальной лит. братии, особенно молодой? Да, надо объединяться. Поодиночке писатели России погибнут. Сибиряки уже кое-что делают по Урало-Сибирско-Дальневосточному объединению. Выпушен пробный номер газеты «Литературная Сибирь», есть обращение, примерный устав объединения и даже что-то похожее на программу. Я думаю, уральцам, и для начала челябинцам. нужно обратиться через эту газету к сибирякам с призывом об объединении не двух, а трёх регионов России. Я вижу в этом спасение. Нужно для начала провести что-то вроде съезда и выбрать координационный совет, продумать, где брать деньги на бумагу и самоё бумагу для обьединённого крупного издательства или концерна на базе Новосибирского или Иркутского издательства. Словом, надо шевелиться, иначе хана всем и всему. Останется один «Апрель» и апрелевцы-молодцы, поддерживаемые из-за рубежа, да и в стране имеющие длинную руку.

Вот пока и всё, Коля. Если я уработаюсь за месяц до блевотины и нужна будет пауза, может, в марте и прилечу, но твёрдо обещать не могу, очень зависим от текучки и обстоятельств.

Поклон всем челябинцам. Обнимаю, кланяюсь. Виктор Петрович

18 февраля 1991 г.
Красноярск

(А.Ф.Гремицкой)

Дорогая Ася!

Посылаю досылом потерянную «затесь», вставишь по оглавлению в нужную тетрадь.

У нас зафевралило, морозно и очень ветрено. Дома всё пока слава Богу. Полька более недели отсидела дома из-за карантина и сегодня билась с бабкой, чтобы не вставать и в школу не идти. У неё одно по этому поводу мнение: «Зачем она мне, эта школа?» И я вот тоже иногда думаю, зачем? Чё нам эта грамота-то дала? Одни от неё беспокойства.

Ну, все здоровы будьте! Кланяюсь. Виктор Петрович Сегодня, наконец-то, открыл папку с рукописью романа...

24 февраля 1991 г.

(В.Болохову)

Дорогой Володя!

Я так и думал, что ты постараешься не понять моего письма и слово «антилитература» воспримешь без кавычек, но втайне надеялся, что ты уже приблизился к профессиональному отношению к литературе, когда не комплименты ценятся, а нечто более нужное и необходимое. Тем более что, и пояснил подтекст своего письма, говоря, что «антижизнь» и должна рождать «антилитературу». Более того, я вот и сам понял, что ныне делаю тоже «антилитературу», и какое-то время она будет царить в российской словесности, хорошо, если какое-то время, хорошо, если великая культура прошлого выдержит её накат, а будущая жизнь будет так здорова и сильна, что устоит перед её страшной разрушительной мощью, хотя действительность наша не вселяет в это уверенности.

Не надо меня звать «мэтром» — я это тоже проходил, и людей с воспалённым самолюбием видел в нашей литературе не меньше, чем ты зэков по тюремным нарам. И рекомендацию не могу дать, потому что мой самоотвод не подействовал, и я остался секретарём Союза, а секретарь не имеет права давать рекомендации. Во всяком разе, так было.

Сейчас я вплотную влез в роман, сменил номер телефона и, пользуясь тем, что он не трезвонит, до весны постараюсь сделать первую книгу, и ты хотя бы поэтому рукописей мне не присылай — ворох рукописей останется на лето.

Будь здоров. Пиши — это главное в жизни литератора. Кланяюсь. Виктор Петрович

2 марта 1991 г.

(Л.С.Черепанову)

Дорогой Лев Степанович! Получил Ваше письмо и копию статьи и хотел бы поговорить с кем-то из власть имущих, но тут заболел и не дошёл до них.

Тем временем пришёл «Красноярский рабочий», где снова статья о бедствиях Агафьи *[о семье староверов Лыковых, живших отшельниками в тайге. — Сост.]*. Что говорить, судьба этой женщины трудная и, может, исключительная, но сколько я знаю людей и семей таких несчастных, таких заброшенных и властями забытых, что оторопь берёт, бессилие охватывает, и никто-никто о них не печётся, даже не пытается им помочь, а тут шумиха, хлопоты, газетные дискуссии и перепалки.

Ах, как мы, русские, любим шумиху там, где должно быть тихо. Даже милосердие превратили в телешоу и рвут друг у друга доброхоты микрофон, чтобы похвалить себя за десятку, внесённую в помощь, даже не зная кому.

Извините меня, Лев Степанович, помогать людям надо, тем более женщине, мыкающейся в тайге, но гам и шум вокруг этого поднимать не следует, помня о том, что в родном Отечестве миллионы несчастных, заброшенных сограждан, и все они ждут помощи, сердечного отношения, надеясь, что слово «милосердие» — не рекламная агитка и не предмет для спекуляции и газетного бума.

Желаю Вам доброго здоровья. Кланяюсь. Виктор Астафьев

13 марта 1991 г.

Красноярск

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Вчера ко мне пришёл первый том собрания сочинений! Дожил, сподобился! Слава Господу, что он так щедр и милостив ко мне. Ну, а молодогвардейцам, прежде всего Асе Гремицкой, наивечнейшее моё спасибо за уважение и внимание ко мне, к моей скромной работе. Прежде всего, конечно, Ася молодец, изо всех своих сил старается и радеет за меня.

Ну и тебе спасибо. Сегодня ночью, в тиши и одиночестве, перечитал твою вступительную статью. Ты, по-моему, превзошёл не только себя, но и уровень нашей критики. И дело тут не во мне. я лишь повод для того, чтобы дать тебе возможность порассуждать и помыслить.

Вспомню я родимый и мне город Чусовой, его нравы, дымы, сажу и рабочее житьишко при советской власти, погляжу на

Марью свою, подумаю о тебе — индо и руками разведу: откуда чё берётся?!

И мысль моя с веком наравне о том, что писатель заводится в саже, не только утверждается временем и прогрессом, но и углубляется в том смысле, что ценная мысль тоже выкристаллизовывается, как жемчужное зерно, в навозе и отходах металлургической и углесаженной промышленности. Своим фактом существования, пусть и в социологических пределах, чусовляне подтверждают это: вон Щуплецов-то или, как его напарница именует — Щуп, вверх тормашками на лыжах прокатился и чемпионом мира стал! Разве в Лысьве или даже в самой Перми этакое возможно? Не хватает у них почвы, то есть дыма и сажи для выращивания этаких талантов и подвижников вроде твоего брата — Леонарда Постникова.

Вот, брат, какой заряд бодрости я получил! Но главное, надоумлен был находчивыми людьми сменить номер телефона. Два дня бывшие клиенты по-сибирски выразительно материли мою и без того мной изматерённую госпожу и хозяйку, а потом всё умолкло и я бросился к столу, взял на абордаж рукопись и в общем-то довел её до читабельного состояния. Сейчас она на машинке, после — сверка, уточнения, правка ещё одна, перевод некоторых фраз и слов с русского на казахский и наоборот, и можно рукопись первой книги отдавать в журнал, да чего-то не хочется. Закончить бы вторую книгу и сразу их вместе тиснуть, а тогда бесись вся военная и комиссарствующая камарилья. Третью-то книгу я на волне первых двух вынесу. Написал я, кажется, главный кусок о погибшем хлебном поле. Это вот и есть смысл всей человеческой трагедии, это и есть главное преступление человека против себя, то есть уничтожение хлебного поля, сотворение которого началось миллионы лет Назад с единого зёрнышка и двигало разум человека, формировало его душу и нравственность, и большевики, начавшие свой путь с отнимания и уничтожения хлебного поля и его творца, — есть самые главные преступники человеческой, а не только нашей, российской, истории. Разрушив основу основ, они и себя тут же приговорили к гибели, и только стоит удивляться, что и они, и мы ещё живы, но это уже за счёт сверхвыносливости и сверхтерпения русского народа, а оно не вечно, даже оно, наше национальное достоинство, или родовой наш недостаток. Бог его знает, что сейчас думать, куда и как думать, о чём и зачем?

Конечно, пропустив плодотворное время — осень и начало зимы. — сейчас я быстро выдохся, устал, очень раззвенелась контуженая голова, встаю утром трудно, а уснуть не могу долго, и, если не посплю днём, совсем дело моё плохо, да ещё и

простудиться умудрился на исходе зимы, да и до тепла, видно, хредить буду. А пока у нас солнечно и морозно. Ночью до минус 18—20, днём отпускает, сегодня вон даже таять пробует. Говорят, в конце марта начнётся бурная весна. Дай-то Бог!

Я тебе книжку не посылаю, боюсь — стали всё воровать, и на почтах тоже. Очень тебя ждём по теплу оба с Марьей Семёновной. Право слово, назрела надобность встретиться и погутарить, и на весну не чухонскую — нашу тебе посмотреть. Командировку уж как-нибудь и где-нибудь тебе оплатим, и дорогу тоже. Давай приезжай! В письме всего не скажешь, как бы длинно оно ни было.

Обнимаем, целуем тебя по-чусовлянски — крепко и преданно, я и Марья Семёновна

18 марта 1991 г.
Красноярск
(А.Михайлову)
Дорогой Саша!

Очень рад, что ты снял с себя этот хомут, который надевают людям, творческим притом, а надевши начинают пинать и стегать, как колхозную клячу, на которой может ездить всякий, а она и лягнуть разгильдяя не смеет, и ись не просит, и не брыкается, хотя в упряжи в колхозной, которая вся в узлах, без потника, и шею протирает до костей.

Видно, время такое, когда ревуны и наглецы получили возможность наораться вдосталь, а наш удел работать, и чем время смутнее, тем больше потребность в тружениках, но не в болтунах.

Если бы ты знал, как было противно на съезде писателей РСФСР, где, в отличие от тебя, Юра Бондарев умереть готов был, но в начальстве остаться, понимал ведь, что он главный раздражитель шпаны этой, ан не сдаётся, да и только, а там современный идеолог и мыслитель Глушкова бубнит за Россию, Личутин бородешкой трясёт так, что из неё рыбьи кости сыплются, — этот и вовсе не понимает, чего и зачем орёт, лишь бы заметну быть, лишь бы насладиться мстительно званием писателя, употребляя сие звание, в русской литературе почётное, на потеху и злобство шпане, которая и забыла, зачем она собралась на съезд.

А потом сразу же вослед и депутатский съезд. Здесь то же самое, только в закон облечённое враньё и кривляние, я уже заранее знаю, кто и зачем лезет на трибуну, чего и почему будет говорить, не считая таких, конечно, больных людей, обалдевших,

как Личутин, от звания писателя, офонаревших от депутатского значка, как представитель рабочего класса Сухов, осибирятившийся еврей Казанник или Болдырев и ещё пара больных словонедержанием людей. Они,- бляди, снятся мне уже в кошмарном сне — война, районная газета и они!

Осенью, побывав в Китае, зарядился я таким трудовым порывом, такой тягой к работе, что вот бы броситься на стол, как тигра на добычу! Ан нет. Не себе принадлежишь, на съезды езжай, слушай дураков, внимай воинствующим краснобаям. И дело кончилось тем, что попал я, изнежившийся писака, в страшную прострацию, всё подзабросил и за стол с трудом и тяжестью в сердце уселся уже в феврале. Разошёлся, поработал и довёл первую книгу до читабельного состояния. Ещё один заход — сверка, уточнения, утрясения — и можно будет давать роман в журнал. Однако решил я сделать вторую книгу и тогда уж печатать их подряд. А пока их печатают, бог даст, по инерции, на волне и третью сделаю. Но это всё мечты, а пока едва хватило сил на эту работу, и уже вот приболел, чувствую себя неважно, едва поднимаюсь по утрам, да ещё простудился малость, и отплёвываюсь, и откашливаюсь, а весна к нам пока не торопится, говорят, в последней декаде марта начнётся.

Очень, конечно, заманчивая твоя программа поездки по твоему Северу, но мне надо хорошо отдохнуть, не отрываясь от дома, и для работы над романом съездить на Нижнюю Обь, так что нашу совместную поездку отложу на год, и если Господь пособит, ещё съездим. Хочется.

Марья моя дюжит, крутится, вертится, дети заставляют, спать много не дают и кушать требуют, а с кушаньем-то каждый день всё туже и туже, и чё дальше будет — думать я уже устал и не могу.

Однако и на съезд писателей я не приеду, и на другие съезды тоже. Писать надо, роман заканчивать успеть. А то пропрыгаю, просуечусь и главной работы не сделаю.

Крепко тебя обнимаю. Твой Виктор

1991 г.

М.С.Горбачёву

Москва, Кремль. Верховный Совет, Президенту Горбачёву

Разгул преступности в стране переходит в террор. Вы, как всегда, медлите и опаздываете с принятием решительных мер. Народ вооружается, и, когда кончится его долготерпение, он повернёт оружие против вас, вашего бездейственного правительства, против растерянно притихшей армии и сметёт

всех вас. Вот тогда начнётся хаос, какого еще свет не видывал.

Когда-то уважавший Вас Виктор Астафьев

20 марта 1991 г.
Красноярск
(С.Н.Асламовой)

Дорогая Света!

Когда пришло твоё письмо, я как раз дорабатывал первую книгу романа, через силу работал, так как своё время позднюю осень и начало зимы — проездил, да на дурацких съездах просидел, а потом на исходе зимы и за стол засел вплотную. Но я умею себя заставить работать и в работе «разогреваюсь» словом, первую книгу я почти сделал — рукопись на машинке. Ещё один заход — правка, сверка, уточнения — и можно браться за вторую книгу.

У нас, как и у вас (сужу по сводкам погоды по телевидению), зима затянулась, и я очень устал, да ещё подпростыл тут, переболел и сейчас утром, встаю трудно, разламываюсь, да если б на душе было посветлее и думы полегче, так и недомогание одолел бы скорее, а так...

Тоже надо думать, чем детей кормить, помогать погибающему местному издательству, поддерживать нашу совсем угасающую культуру и вообще все время кого-то от чего-то спасать, поддерживать, хлопотать...

А коммунисты (в том числе и Хайрюзов), они что ж, хотели грешить, злодействовать и не каяться? А как же христиане-то несли свой тяжёлый крест? Эта партия сделала столько преступлений, что поколения Хайрюзова не хватит, чтобы отмолить их. Тем более что они и отмаливать не собираются, а всё на других сваливают, только вот на кого и куда? Перед ними пустыня, а сзади выжженная земля, кровь и кости убитого ими народа. Одно упрямство и кураж ими движет. Но они уже приговорены временем и человечеством, не может формация, даже такая, как коммунисты, существовать в мире, который их давно и справедливо ненавидит, считает антихристами. И кончат они свои дни нечисто, обязательно кусаясь, пья кровь и захлебываясь слезами, в том числе и своих детей.

Рассказы, детектив мне хочется пописать. Надеюсь, летом и попишу. Как напишутся — пришлю. Посылаю тебе календарик с собачкой, а твоим орлам с диво-звёздами, они их любят? У меня вон старший-то заявляет: «Чё? Эту вашу классическую музыку слушать? Не хватало мне!..» Дед ногти в кровь срывал, чтоб хоть к какой-то культуре прибиться, мужика в себе давил и задавить до

конца не смог, а эти, наоборот, от культуры, как чёрт от ладана, в содом, в пещеру, в помойку... О Господи!

Ну, поклоны всем! Мужу твоему и парням и тебе отдельно кланяюсь. Виктор Петрович

27 марта 1991 г.
Красноярск
(В.Г.Невзорову)
Дорогой Василий Тимофеевич!

Я всё собирался тебе написать, узнав о кончине Ирины Александровны. Да не знал, чего написать-то. По горю своему великому ведаю, что всякие слова тут бесполезны, а иногда и раздражительны, лишни. Скорбь, настоящая скорбь, не терпит ни суесловия, ни суеты. Носи в себе горе, страдай, и да поможет тебе Бог, более никто помочь не в силах.

Вот и затянул с письмом-то, а потом работа увлекла, ковыряюсь в романе вроде бы первую книгу подвожу к завершению и устал, ибо своё время — позднюю осень и раннюю зиму — упустил и работал с перенапряжением. Сейчас рукопись на машинке, а я сплю беспробудно. У нас никак не начинается весна, всё холодно и ночами морозно, а хочется уже тепла, травы и солнца.

Тут и твоё письмо. Укор мне ещё один — не справляюсь с почтой и текучкой, да и с жизнью уже едва справляемся — дети подгоняют, на плаву держат. Хоть бы успеть подростить, на ноги поставить. Витя по туловищу-то большой, моя одежда и обувь ему уже в самый раз, а по уму... Да ведь ему 15 лет через месяц будет только, а они сейчас и до 50 норовят детьми оставаться.

Я очень и очень сочувствую тебе. Одиночество — это всё же страшная доля. Она взаимно и с обеих сторон неповторимо трагична. Умер у меня в Новосибирске старший друг, умнейший человек, труженик и наставник — Николай Николаевич Яновский. И овдовела Фаина Васильевна, его жена, человек яркий, театралка, владеющая несколькими языками. И пополивала-то она супруга, и капризы допускала, случалось, а Николай Николаевич с улыбкой, со снисхождением сносил всё это, и пережили они вместе столько горя, сколько на иной десятиэтажный дом советский хватило бы. Николая Николаевича садили три раза, но он остался могучим красавцем, умницей, застенчивым с друзьями и яростным с врагами, а они у него не переводились, особенно в партийных конторах. Не могли ему там прощать, что он умнее их, честнее и неуязвим ни с моральной, ни с материальной стороны. Осталась от него громадная библиотека,

бесценный архив и бедная вдова в неутешном горе. Но ещё осталась добрая, прекрасная память, как и об Ирине Александровне.

Будешь на могиле, положи от меня цветочек и скажи, что Виктор Петрович не раз был спасён во мрачные дни её высоким духом, её светлым отношением к чистому делу, к человеческим правилам и морали в жизни и работе, и ещё её неиссякаемым юмором, каким-то умно-насмешливым отношением к суете сует и умением весело, непринуждённо, восхитительно легко рассказывать даже о богах. Никогда я не уходил от неё, из иконного ли её зала, да и из дома с тяжестью и неловкостью в душе, всегда просветлённо было на душе, всегда ощущение прикосновения к чему-то, что я умел и не разучился чувствовать ещё в человеке, этакую редкостную, недосказанную расположенность к тебе. Мы тихо любили Ирину Александровну и восхищались ею, зная о ее хворях, и о неладах с детьми, и о многом другом.

Однажды я допустил бестактность к её прошлому, и она необидно, умело и тактично дала мне понять, что не хотела бы вспоминать об этом. И всё! Ни обид, ни тем более потуг нанести ответную обиду.

Я бы желал таким людям самой долгой жизни, чтобы свет, идущий от них, помогал нам лучше видеть окружающее и все скверны в себе тоже, да и утеплял бы этот очень холодный мир хоть маленько.

Царствие небесное Ирине Александровне! Уж она-то его заслужила! А тебя братски обнимаю, прижимаю к сердцу и заверяю, что всё добро, тобою для нас и для писателей сделанное, я не только помню, но и пытаюсь в меру моих сил и возможностей передать дальше, помочь людям, ибо только так, по моему убеждению, и должен бытовать человек, иначе зачем он родился и живёт?

Храни тебя Бог! Преданно твой Виктор Астафьев

26 апреля 1991 г.
Красноярск
(З.Домино)
Дорогой Збышек!

Из далёкой Сибири, где нынче никак не проходит зима и не торопится весна, привет тебе и самые добрые пожелания семье, земле твоей и всем близким людям!.

Письмо твоё получил. Благодарю тебя за него и за добрую память. Из прессы, из радио и телепередачи знаю о жизни вашей

страны, хотя, разумеется, и не всё. Вот американцы прощают большие долги и выкупают поляков у большевизма. А кто нас, русских, выкупит? Мы никому не нужны, и всем всегда должны, и перед всеми всегда виноваты.

Так, видимо, на роду писано огромной стране и её злосчастному народу. Я читаю письма и послания Пушкина к своим лицейским друзьям и вижу, как он виновато чувствует себя перед ними за то, что Бог ему много дал, а им недодал, обделил. Гению такая вина была простительна, хотя и тягость, она, в конце концов, и увела его от людей подальше — слишком уж утнетающи, тяжелы были их злоба и любовь, и зависть, и непонимание, и отставание от него лет на двести, а то и навсегда.

Дар Божий — это и награда, и казнь. Пушкин это понимал и умом, и сердцем, и он не от пули, так от гнёта жизни всё равно рано погиб бы. Но это единица! Гений! А каково-то целому народу, богато одарённому, доброму, выдерживать страдания всяческие, муки, унижения, и всё оттого, что его злят, как собаку, то костью дразнят, то палкой бьют. Вот и добили, доунижали, дотоптали — сам себе и жизни не рад народ русский. И что с ним будет? Куда его судьба кинет или занесёт — одному Богу известно. Уповаем на чудо и на разум человеческий. Думаю, ни людям, ни небесам легче не будет от того, что загинет русский народ. Он может за полу шубы стащить в прорубь за собой всё человечество.

Несмотря ни на что, надо работать, пока жив и в башке чего-то шевелится. Вот я и работаю. Делаю роман о войне. К завершению идёт первая книга, а всего должно быть три. Хватило бы сил и жизни на них.

Но очень много дел посторонних, суеты много, какого-то пустопорожнего времяпровождения. Все так заняты у нас, все так «заклопотанэ», как говорят в Польше, что своими делами и заниматься некогда. В прошлом году не убрали урожая, всё говорили об уборке, боролись за урожай. Нынче сеять некогда — всё говорят о посевной.

Преодолеть этот общий психоз говоренья, а не творенья, как показала наша Октябрьская революция, очень трудно, почти невозможно. Люди шалеют от красноречия, пустословия и безделья, все требуют справедливости, порядка и корма, но никто ради этого палец о палец не бьёт. Я преодолеваю в себе эту давящую инерцию бурной видимости труда и борьбы неизвестно с кем и за что. Главная борьба была всегда с собой и за себя, остальное потом, никто за тебя работу твою не сделает, и никто не поможет в себе самом разобраться.

По весне собираюсь в родную деревню, там у меня есть дом и

огород. Поковыряюсь в земле, успокоюсь и, может, отдохну от этой всесокрушающей говорильни и смуты в душе.

Хочется ещё так много сделать, но жизнь наша с Марьей Семёновной очень осложнилась — скоро будет четыре года, как умерла у нас дочь, оставив нам двух детей-сирот. Растить их нынче, да ещё в нашем возрасте и в наше пагубное время, очень тяжело. Это требует сил и времени, а того и другого уже недостаёт. Всё надо делать, и детей растить тоже, вовремя. Но ничего, есть люди, которым ещё труднее, чем нам.

Поздравляю тебя, Збышек, жену твою и близких с праздником весны и Победы! Желаю доброго всем здоровья, а тебе ещё и успехов в труде, вдохновенных встреч. Крепко, по-братски тебя обнимаю. Марья Семёновна, внуки — Витя и Поля — тоже шлют сердечные приветы. Твой Виктор Петрович

5 мая 1991 г.
Красноярск
(адресат не установлен)

Уважаемый Николай Трофимович! Я очень прошу Вас простить меня за то, что так долго не подавал никаких вестей, получив Вашу рукопись. Время моё не просто загружено, а на клочки разорвано и растерзано. Да я ещё и поработать пытаюсь в такое время, когда все охотно говорят о работе и требуют хлеба, желательно с маслом, зрелищ, желательно острых, за разговоры-то.

Рукопись Ваша у меня вызвала почтение уже своим опрятным видом. Терпеть не могу рукописей неряшливых, путаных, невычитанных — это есть самое большое неуважение и к труду своему, и к тому, кто вынужден его читать, часто по слёзной просьбе самого автора.

Чтение Вашей рукописи оказалось делом долгим и нелёгким. Рукопись эта — одно длинное-предлинное стихотворение, содержащее печальный рассказ об одной очень невесёлой жизни. Перемены ритма, звука, энергии стиха — это, собственно, состояние рассказчика, перемены его настроения, работа сердца, ток крови. Тягостна, конечно, первая половина рукописи о неволе, но кто же о ней весело писал?! В ней самое ценное то, что Вы не впали во зло, в чувство мщения и ненависти. Как писал Шаламов о «своей Колыме» — «это было нашим образом жизни». И это-то и чудовищно, и непостижимо, что жизнь человеческая столкнута в тёмную яму, на самое земное дно, на муки и погибель, но и там, в яме, он, человек, пытается жить, думать, надеяться на лучшее.

То же было и в запасном военном полку, и на фронте, в окопах, то же было и по сёлам войны, и по заводам, и по горьким окраинам социалистических городов. И всюду одна надежда — выжить, а там уж всё будет по-другому. А что будет по-другому? Вернётся молодость? Здоровье? Свет и сила? Восприятие жизни высветлится? Оптимизма прибавится?

Очевидно, во всех заблуждениях и надеждах русского человека и содержится главное его достоинство — великая стойкость. И как удобно оказалось обманывать и эксплуатировать человека с этакой верой и надеждой в сердце! Увы, ничто не вечно под луной, и вера иссякла, вместе с нею исчерпалась и главная сила, может, и могущество нашего народа. Я абсолютно уверен, что то, что мы, русские, перенесли, перетерпели и выдюжили, — никому более не по силам.

По стихам Вашим, несколько старомодным, видна Ваша большая читательская культура. Стихи музыкальны, добры, полны благородного звучания и какой-то совершенно детской доверительности и открытости миру. В Вас, несомненно, погиб очень талантливый и благородный поэт, но человек, чуткий к боли и страданию, не только своим, человек, бесконечно справедливый, добрый, остался с Вами, и то слава Богу.

Вам не хватило среды общения, понимания, хотя бы простого, совсем домашнего. Не хватило и печатания — это очень необходимо, ведь от каждого опубликованного произведения автор отплывает, как от пристани, и, глядя на неё издали, ощущает, как потраченная энергия, образовавшаяся в сердце пустота в силу «истраченного материала» наполняется новыми, обновлёнными красками, звуками, чувствами. Ничто так не терпит застоя, ничто не прокисает так быстро в посудине, называемой душой, как литературная продукция.

Излияния на бумаге спасают от одиночества, спасли, судя по стихам, и Вас в заключении, но для совершенствования таланта, для движения выше и дальше этого мало. Поэту нужна среда и среда мыслящая, горячая, противоречивая, но не равнодушная, не чужая, не тупая, наконец. Поэту и без того трудно и одиноко, ибо по остроте восприятия жизни, по глубине чувств он и без того выше и дальше толпы и черни, он и без того гибельно страдает и любит, и в среде, совсем его не понимающей, не чувствующей, не ценящей, — он и вовсе задыхается.

Как Вы выжили в лагере, я могу понять, как перенесли творческое одиночество — это тоже вроде понятно, но почти необъяснимо, не поддаётся толкованию — какая должна быть великая стойкость и сила у человека. Прозаику в этом мире чуть полегче. Кроме того, рядом со мной, например, всю жизнь

человек, который не просто меня понимает, ценит и чувствует, но и помогает своим присутствием, вниманием, да и просто вовремя накормит, спать велит, на машинке напечатает.

Я очень часто думаю над судьбами тех, кто прошёл войну, тюрьмы наши адские, прелести всеобщего соцтруда, — что было бы с литературой и литераторами, не пройди они это? Дар Божий с ними, это несомненно, был и остался бы. А лира? На какой бы лад она была бы настроена? Что было бы с Вами, с Вашим поэтическим даром, не перенеси Вы всего того, что перенесли? Усадебный поэт Фет? Но он уже был, и усадьбы порушены и сожжены новыми хозяевами жизни. Скорей всего целая когорта поэтов нового времени воссоздала бы старое строение и двинула слово дальше. Думаю, высот и побед поэтических и литературных вообще она бы одержала больше, скорей всего создала бы мощную литературу мирового звучания. Плацдарм был, здоровье у народа было, сил не занимать, таланту и любви к своей земле и народу — тоже.

А так что ж? Ещё одно загубленное дарование, ещё одна остановленная на взлёте жизнь. И в результате великая русская литература едва теплится, к небу взлетают лишь отдельные искорки и «гаснут на лету», как сказал поэт Полонский.

Книжку Вашу я оставляю у себя. Может, чего-то выберу (у меня есть намётки) и напечатаю. А из последнего раздела кое-что покажу композиторам - может, положат чего на музыку. На мой взгляд, есть два-три совершенно превосходных романса.

Не знаю, как Вы перебиваетесь материально, но хорошо бы Вам этот сборничек издать, да и успокоиться, прижав его к своему сердцу, потому как все тут есть, и стон, и звук Вашего сердца. Сейчас за деньги можно издаться в любой, даже в местной типографии. Попробуйте, всё же это итог жизни, итог пусть и грустный, но чистый, достойный человека, авось и почитает кто, и поплачет.

Кланяюсь Вам и желаю хоть какого-то здоровья, добрых дней и добрых людей возле себя. Всего-всего Вам доброго! Спасибо за стихи, за грусть и слёзы, за благородство и счастье общения с «тихим, добрым словом». Живите дольше и пишите, пока пальцы держат ручку. Ваш В. Астафьев

8 мая 1911 г.
Красноярск
(семье И.Н.Гергеля)

Дорогие Тоня! Ваня! И я, как всегда, после праздника поздравляю Вас с началом весны и днём Победы! Здоровы будьте! И чтобы ребятишки были здоровы и поменьше хлопот доставляли.

Мы живём напряжённо и трудно, в особенности Мария Семёновна, двое школьников в наши годы — это не награда. В особенности трудно с младшей. Она вертлява, подвижна, учиться не хочет, а только играть, на каждое слово выдаст десять и артистка первоклассная, с нею хоть смейся, хоть плачь. Я прошлым летом забрал её к себе в деревню, и она там партизанила, ходила босиком, все собаки и мальчишки её друзья, лезет в холодный Енисей, норовит кататься на велосипеде. Вырви глаз, одним словом!

Работал над романом о запасном полку, где помянул и твои, Ваня, незабвенные топкие лагеря. Роман страшный, как и вся наша жизнь была и есть страшная. А пока у нас ещё не постучала весна, снег, холод, нет ещё новой травы. Я ещё не убрался в огороде — сыро. И в деревню не перебирались — холодно. Вот на рыбалку 10-го собрался лететь. Один раз уже билеты на самолёт сдавали, было морозно на Севере.

Не знаю, читал ли ты мою статью в «Известиях» за 1-2 мая, там я товарищам коммунистам сказал частично о том, что они заслужили, и боюсь, что с бывшим герой-функционером Шадриновым мы переругаемся, а нам уже на старости лет ругаться не надо бы. Может, Вам с Тоней приехать? Что ты её никуда не возишь? От вас через Оренбург к нам идёт какой-то поезд, есть и проходные. Насчёт самолётов — не знаю, да и дорого на самолётах.

Словом, черкни мне, что и как. А мне надо, чтобы ты прочитал рукопись о запасном полку.

Обнимаю и целую вас. Ваш Виктор.

Мария присоединяется. Ребятишки тоже.

13 мая 1991 г.

Красноярск

(С.Ермолаевой)

Дорогая Светлана!

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Моё затянулось, очень всё же много того, что мешает ныне жить и работать, мелочи давят главное. Работа нал первой частью романа ещё не закончена, но рукопись уже читабельна. Я посылаю её тебе всю, чтобы ты увидела, какую ношу я взвалил на себя, а муж твой откроет для себя новость, что все наши армейские беды и гадости начались не сейчас.

У меня одна просьба — надолго рукопись не задерживать, и, хотя я знаю, как вам и нам всем живётся суетно и трудно, всё же малость загружу вас:

1. Все речения, разговоры казахов перевести на казахский язык, но в русской транскрипции, а можно так и эдак.

2. Два-три расхожих казахских имени, что-то вроде нашего Ивана, и одно редкое, степное, которое бы говорило о принадлежности к древнему высокому роду.

3. Одно-два расхожих восклицания, что-то вроде нашего присловья и обязательно одно-два ругательства, но не стервозных, не пошлых, а «домашних» повседневных. Хорошо бы какую-нибудь примитивную песню или напев, когда поют, чистя картошку, для себя, думая о доме, о родных, о своём кишлаке (надо ауле), о степи, о горах.

Вот и всё. Заранее благодарю. Желаю доброго здоровья и хорошей жизни вообще, с мужем в частности, ибо в наше дикое время сходиться на жительство могут или безответственные дураки, или уж действительно добрые, уставшие от одиночества люди.

Храни вас Бог! Виктор Петрович

18 мая 1991 г.

(адресат не установлен)

Уважаемый Алексей Алексеевич!

Благодарю Вас за письмо и за добрые слова о моей работе.

Переехав в Пермь из г. Чусового той же области (сюда привезла меня жена после войны — она родом из Чусового), в 1962 году я приобрел дом в заброшенной деревушке, где прожил и проработал, как оказалось, свои самые плодотворные и счастливые годы.

То, что написано в рассказе «Яшка-лось», выдумывать не пришлось. Был случай с жеребёнком, потерявшимся и выросшим в лесу, был и бригадир-пьяница, которого обожали лошади и которых утопил он штук пять, да и измывался над ними и над людьми тоже, как дурь велела. Однажды его «сняли с лошади» — выгнали из бригадиров, так он перестал выпускать лошадей из загороди, и они съели там весь дёрн, лизали землю. Когда, идя на берег, я выдернул запор, они чуть не растоптали меня, ринулись к воде. Бригадир пьяный и дурной кричал: «Я подохну, так пусть и они подохнут!» А стадо коней, хорошее, послушное, было сохранено и разведено им. За реку, в догнивающее отделение совхоза отдали лошадей и всё остальное на вымирание — кончится скот, люди бросят землю и совхоз и уедут. И не будет забот совхозу с Заречьем.

Будучи из крестьянской крепкой семьи, хитрый, тогда ещё не запивающийся бригадир увёз за реку жеребца-нутреца под

именем Петька, и тот регулярно там исполнял свои обязанности. Бригадиру говорили, мол, уж не ты ли жеребят делаешь? Словом, основа рассказа документальна, но «писать документ», как это у нас делается, не стоит, и всё остальное в рассказе — работа и мысль сочинителя. Можно, наверное, прочесть рассказ и истолковать его так. как Вы истолковали и прочли.

Желаю Вам всего доброго в жизни. В. Астафьев

21 мая 1991 г.
Овсянка
(А.Ф.Гремицкой)

Дорогая Ася!

Я в деревне. Два дня жары, и вдруг ударил на черёмуху» холод, да какой! Цветочки сегодня ночью поникли от мороза, думал, пропадут, но сибиряки же, чуть солнышко показалось, подняли головки, жить стараются.

Хорошо, что мне удалось быть здесь одному. Очень устал за зиму и чувствую себя разбитым. Да и кругом всё уныло и подло, а тут ещё тётушка Августа Ильинична тяжела, вздумала, по-моему, умирать, да и рада она смерти, но работяга, сибирячка, а вся её порода с жизнью расстаётся трудно. Хожу к ней два раза на день, меряю давление, а оно уж порой неуловимо. Заставил детей её хотя бы ночевать в деревне. Ночуют, огород копают, эти ещё слушаются меня.

Алёша — глухонемой сын Августы, показывает два пальца: остаёмся ты да я. Ох, Господи! И не знаешь радоваться ли тому, что и мы скоро помрём, или горевать.

Позавчера Ирине нашей исполнилось сорок три годика. Были с Марьей и Полей на могилке. Поля играет, Марья Семёновна плачет, Ириша в земле молча полёживает, над ней берёзы шумят, птички поют, и кому лучше, нам или ей, не разберёшься.

Ничего не пишу, даже писем. Не могу. Выдохся! Как и вся наша матушка-Россия, от усталости и запущенности обессилел, видно.

Ну, даст Бог! Скоро прилетит Валя Курбатов, может, с ним оптимизму накопим.

Всем кланяюсь, желаю хлеба и здоровья. Всегда ваш Виктор Петрович

18 июня 1991 г.
Овсянка
(А.Ф.Гремицкой)

...Этот бородатый крытик в Москве будет проездом в субботу и письмо бросит в ящик иди с кем передаст, а сам подастся во Псков, к бабе, которая по чести должна уж об него ухваты обломать, поскольку дома он не живёт, бабу не ублажает и детей не воспитывает.

Прибыл он ко мне ненадолго, поэтому на север я его, на комаров и в летнюю духотищу, не потащил и сам не поехал, потому как, отоспавшись, почувствовал крепость в жилах и вольность в голове. Сел я за стол и решил закончить «Последний поклон», который, хочешь не хочешь, а надо когда-то и завершать. Тем более тётка кончается и своим неутешительным «материалом» подталкивает меня на сию работу, да и маленько от горьких дум о её и нашей жизни отвлекает.

Глава большая, трудоёмкая, но черновик я уже почти нагвоздил, а далее ждёт меня более усидчивая, требующая терпения работа.

Валя засел у меня в избушке, чего-то читает, бумажками шуршит и даже записывает. Сойдясь во дворе, мы треплемся о том о сём, иногда ходим по деревне, спускаемся к Енисею, он смотрит вдаль и бормочет в бороду: «Как без всего этого можно жить?» У нас ведь на его родину, на разгромленный, но всё же ещё недобитый Урал похоже.

Жаль, что он не может наладить сон. Приехал растерзанный, подавленный, но я его юмором растрясываю, как слежалый пласт сена. Иногда и до запаха свежего дело доходит.

Сегодня он уехал в город. Дела. А завтра, как и всегда, 19 числа, поедем на могилу дочери. Марья Семёновна плачет, маленькая, старенькая, прижавшись к холодному чёрному камню плечишком, а Поля, бурная, но жалостливая душа, уговаривает её: «Баба, не плачь, пожалуйста! Ну, не плачь!» — и сама в слезах. Марья Семёновна говорит: «Поплачу и мне вроде бы полегче». Душу они мою в клочья разрывают.

Сегодня ночью тяжкая гроза была, ливень, хряснуло чего-то на столбе, и свет погас. Надо о холодильнике думать, харч спасать, а я о ней, о дите: «Как она там. в лесу, одна, в такую страшную ночь?» Маленькие, бывало, как гроза, а грозы в Чусовом страшенные, залезут под одеяло, прижмёшь их к себе, И уже ладно, уже им неопасно, и они, глядишь, спят себе посапывают, к родителю прильнув. Быть может, эти-то минуты и есть самые главные, самые светлые в нашей жизни, когда дано тебе почувствовать себя защитником своих детей.

А теперь? Где мы? Где дети? Что с ними? Что с нами? Господи, какой конец-то у двадцатого, так хорошо начинавшегося века! Ведь погибаем и сами того понять не можем, и оттого

гибели не страшимся.

Витя поехал в Вологду. Так рвался! Я знаю по себе: он надеется, что всё там, как прежде, и мама жива, и дом на месте, и друзья-приятели всё те же. Какие горькие разочарования его ждут! И сколько их было у меня. Всё сердце в ссадинах. И не защитишь и ничем не поможешь. Только время, только годы приносят забвение и утешение. Впрочем, больше надежды на них. В прошлом году маме исполнился 91 год со дня рождения и шестьдесят лет со дня гибели, а нету забвения, всё та же тоска по ней, по уже вечной матери, всё то же недоумение, заменившее острую боль. Почему так? Отчего и в жизни ей не было счастья, и смерть такая мучительная в молодые годы? В назидание другим? Во избавление их от мук? Но тогда Божий перст указал не туда и не на того, материны муки не убавили мук среди людей, и смерть её никого не образумила, добра не прибавила, ничему хорошему не научила.

Смерть ранняя, понуждённая вообще, видать, никому не нужна и ничем не оправдана. И война — самое отвратительное, самое безнравственное, подлое убийство и ничего больше. Повторись война, я нынче ни за что не пошёл бы на фронт, чтобы спасать фашизм, только назад красной пуговкой, и, спасая который, мы наконец-то добились невиданною и неслыханного счастья. И за ради этого умирать?.. «Фу-еньки!» Как говорит русский классик, проживающий за морем.

Ася! А с «затесями» сделай всё так. как наметила. И про пьянку выброси. Пьянки и без того много вокруг, да и в моих творениях многовато.

Вот на сем я и закончу, оставаясь сегодня не в рабочем состоянии, ибо снова гуляет гроза, надвигается ливень и шквал, тётке стало хуже, и меня с утра «загибат», как говорила бабушка.

Вчера во время грозы я вспомнил: как загремит — я к деду Илье с вопросами. «Ты зачем, деда, гремишь?» Он затрясёт бородой, захохочет: «Да это не я, это Илья-пророк». А бабушка из кути: «Он это, Витька, он камни на небе ворочает, на телеге ездит. Зачем ребёнка омманываш?»

Вот от них и пошёл выдумщик, да отпетый ещё. Вчера со слов тётушки написал я о смерти бабушки и сегодня не работник...

Обнимаю вас всех, целую и желаю хорошей жизни. Преданно ваш Виктор Петрович

7 июля 1991 г.
Овсянка
(С.Ермолаевой)

Дорогая Светлана!

Спасибо тебе и за книги, и за помощь с рукописью. Господь чем-нибудь поможет и тебе за твою доброту, хотя к добрым-то и честным людям он последнее время как раз и не очень ласков.

Осенью я продолжу работу над романом, а пока сижу всё ещё в деревне, и поскольку у нас каждый день льёт дождь, довольно прохладно, ничего не осталось мне делать, как сесть за стол и завершить «Последний поклон». Написал две заключительные главы и с печалью закончил работу, которая продолжалась почти тридцать лет и доставляла мне такое удовольствие, какового не доставляла ни одна книга моя.

Скажи и мужу своему спасибо за письмо. Спорить нам не о чем, поскольку главного предмета, о чём могли бы мы спорить, не было и нет, то есть армии как таковой у нас не было и нет. Есть загнанная в казармы толпа рабов, пользующаяся, кстати, уставом, писаным ещё для рабской армии Рима, и с тех пор на нём лишь корочки менялись. Всей дальнейшей работой в романе я как раз и покажу, как армия рабов воевала по-рабски, трупами заваливая врага и кровью заливая поля, отданные бездарным командованием тоже рабского свойства. Почти четыре миллиона пленных в один год никакая армия не выдержит, а рабы могут всё, они скот бессловесный, и скот этот воспитывается сперва казарменной системой, а уж и доводится, окончательно на колени ставится в самой казарме. Дедовщина так называемая нужна нашим дармоедам-генералам, как когда-то в лагерях блатная рвань нужна была, чтобы, ничего не делая и даже свои полторы извилины не утруждая, можно было управлять ордой рабов, одетых в военную форму.

Ну ладно, ещё раз спасибо! В Алма-Ату пока пути нет, а вот в Барнаул на шукшинско-соболевские чтения поеду. Толя Соболев — не путай с мудаком Леонидом Соболевым! — был моим приятелем, да и фронтового друга, живущего на Алтае, надо навестить. Будешь вдруг в Сибири, позвони 25-49-84, казахи будут действовать у меня и во второй книге, так что все твои советы не раз пригодятся.

Кланяюсь. Виктор Петрович

А возможно, и придётся мне поехать в Казахстан. Кто знает.

1991 г.

(А.Ф.Гремицкой)

Дорогая Ася!

И вёрстку, и договоры успел получить за день до отъезда. И очень хорошо. Я не торопясь хоть раз прочитаю вёрстку.

Жил в деревне, почти не приезжая домой. Жил вместе с Полей, чтобы хоть маленько высвободить Марью Семёновну, Поля — человек очень хороший, с ней не соскучишься, и вольная жизнь по нутру ей, только грязнуля страшенная и с дедом зубатилась так же бойко, как и дед когда-то, в незапамятной дали, зубатился с любимой бабушкой Катериной.

Я был более или менее покоен, прочитал почти все скопившиеся рукописи, все дрянные, кроме одной, и в сладость души пописал «затеси», а больше занимался огородом, землёй, и не нахожу занятия более приятного и полезного.

Лето у нас, начавшись с пожаров, так и бродит по горам и долам с громами, молниями, пужает людишек огнём небесным, опрокидывает ушаты воды, а когда и град запустит. Бурьян растёт ошалелый от счастья, я так до конца с ним и не справился, огородина тоже растёт, если не дать её заглушить. А на государственных-то, на социалистических полях заросло всё. Ни полоть, ни окучивать, ни копать, ни убирать некому, а кушать все требуют, аж за грудки берут.

Что-то совсем у нас всё разладилось. Время показало — а я это и заранее знал, хотя и не провидец, не надо тут быть провидцем — ни к какой свободе мы не готовы и употребим её себе во зло, как это не раз уже на Руси святой бывало. И выхода, откровенно говоря, я, живущий «среди народа и народов», — не зрю. Как бы нам в ящик не сыграть вместе с перестройкой иль в геенне огненной не сгореть. Ведь «большевик никогда не сдаётся», как мы дружно пели в детстве, и он, не признав своего поражения, может хлопнуть картой козырной и таким образом остаться на веки веков непобеждённым, не сдающимся и правым.

Пришла Марья Семёновна, пробует заняться сборами. Закругляюсь. Всем кланяюсь, всех обнимаю. Вёрстку, скорее всего, пошлю с дороги.

Будьте все хоть немного спокойны, и жизнь пусть к вам будет милосердна!

Целуем я и Марья Семёновна

22 октября 1991 г.
Красноярск
(семье Черношкуров)

Дорогие мои Черношкуры! Лидия, Лариса. Лёня и Павел!

Поклон Вам из далёкой, по-осеннему притихшей Сибири с

уже нагими лесами, отлетевшими птицами, с грустью в природе и народе, толкущемся в очередях возле пустых прилавков.

Ещё летом, будучи в деревне, получил я от вас письмо. Лидия в письма такая же, как и в жизни, я слышу её голос, читая письмо, а «звук» в слоге, на немой бумаге даётся только людям искренним, душевно одарённым, А тут от Лидии ещё одна весточка и посылка! Можно было всё это и не посылать, но раз уж послали, то и спасибо! Особое спасибо от Поли — внучки — за шоколад. Я одну шоколадку отдал бабушке и Поле, а другую положил к себе в стол, но хитренькая наша Поля, прикончив бабушкину шоколадку, стала навещать мою комнату и спрашивать: «Деда, нет ли у тебя чего-нибудь сладенького?»

Что сделаешь, дети наши лишены и необходимых продуктов и вещей, о лакомствах и говорить не приходится.

Это я к тому, чтоб вы не особо торопились из пресыщенной Голландии, ещё надоедят и наши порядки, и наши распри, и наша беспросветная нужда. Но, впрочем, живут люди и работают — куда денешься? Лёню, наверное, возьмут в штат или пошлют куда собкором. Может, на ридну Украину? Хорошо бы, там вроде полегче, хотя хохлы и дурят, охваченные зудом самостийности, да и хохлацкая, самая крепкая дурь небесконечна. Жизнь, видимо, заставит все наши повреждённые большевизмом народы всё же жить объединенно, хотя бы в период становления экономической самостоятельности, иначе раздор, беда, новые гетманы типа Ивана Драча и велыкого Дмытро Павлычко поорут-поорут, покрасуются и с трибун сойдут, а народу жить, бедовать.

Летом, запертый непогодой в своей деревенской избе, я принялся работать и закончил свою самую заветную книгу «Последний поклон», написал две заключительные главы, которые будут печататься в «Новом мире». Потом поездил по Енисею, летал в тайгу, и если раньше я приезжал из тайги отдохнувший, бодрый духом, заряженный на работу, то нынче явился домой ещё Более подавленный и разбитый — оголодавшие, но больше сытые люди рвут ИЗ лесов всё, что можно съесть и продать.

О Господи! Куда мы идём и заворачиваем? Работать пока не принимался, рукопись романа ещё и не открывал. В ноябре полечу на «Римские встречи» в Москву, может, после поездки пойдёт работа. Когда я улетал от вас в Рим и когда вернулся, тут же сел работать — так ободрила и дух мой поддержала воистину дружеская встреча и отношения между людьми в Риме.

А дома-то у нас идёт грызня, доходящая уж до резни в Союзе писателей. Наверное и скорей всего, я не буду состоять ни в одном из ныне образовавшихся союзов, потому что и не союзы

они, а обыкновенные шайки разбойников с паханами во главе.

Был я ещё в одной чудесной стране, в Шотландии, угодил туда во дни путча. На чужой стороне, пусть и дружественной, доброй и прекрасной, переживать такие события не приведи Господи. Ну, всего не написать.

Обнимаю вас всех. Желаю доброго возвращения домой и терпения большого, и здоровья, чтобы перенести переезд и войти в нашу жизнь, если это можно назвать человеческой жизнью.

Мария Семёновна, Витя малый и большой также кланяются вам, а Поля целует тётю Лиду за сладенькое. Всем вам всего самого доброго. Тепло Вас вспоминающий Виктор Петрович

19 ноября 1991 г.

(В редакцию газеты "Литературная правда")

Уважаемые товарищи из отдела писем «Ленинградской правды»!

Я как бывший газетчик знаю, что вы найдёте возможность «дать ход» этому моему письму. Горькому и недоуменному...

Осенью прошлого года, во второй половине сентября, будучи в Вологде (где я прежде жил), я одновременно направил семи адресатам в Ленинград четыре тома моего собрания сочинений. И ни одна, ни одна (!) книга не достигла адресата. Книги украли!

В Вологде, на 4-м почтовом отделении, откуда я отправлял книги, их украсть не могли, здесь меня очень хорошо знают. Если б воровали на почтовых отделениях Ленинграда, всё равно хотя бы одна книга да «прорвалась» к адресатам, ибо живут они в разных концах города, тем более что на одной бандероли стояла фамилия Мравинского Евгения Александровича, и уж его-то, великого человека, думаю я, ещё уважают и почитают в этом великом городе.

Книги украдены либо в поезде, в почтовом (!) вагоне, либо на почтовых (!) сортировках, украдены людьми беспардонно наглыми, ничего не читающими. Иначе они бы поняли, что воровать книги — дело не только преступное и безнравственное в высшей степени. На всех томах, на третьей странице, стоит мой автограф — значит, и это для современных почтовых пиратов уже не преграда!

Реестр, по которому я сдал бандероли, у меня, к сожалению, не сохранился, да если бы и сохранился, едва ли книги уже нашлись бы, но воровство моих книг, наверное, не первое и не последнее дело тёмных людей. И где воруют-то? В Ленинграде! В городе, который для меня, да и для всех русских и советских людей был и остаётся самым почитаемым в нашей стране

городом, при одном упоминании о котором что-то светлое и святое поднимается в душе...

И вот харчком в это святое!

Виктор Астафьев, писатель, лауреат Государственных премий России и СССР

19 ноября 1991 г.

Красноярск

(Е.А.Евтушенко)

Дорогой Евгений Александрович!

Из газет я узнал, что меня зачислили в члены и даже выбрали секретарём в какую-то возглавляемую Ю. Черниченко организацию СП. Ну существуют же какие-то, пусть не этические (до этики ли нам сейчас!), а просто общечеловеческие нормы, по которым надобно спросить у человека, прежде чем назначить или выбрать его куда-то.

Ни в каком творческом союзе, и в вашем тоже, я более состоять не хочу и не буду. Вот достукаю срок члена Союза писателей СССР и стану сам себе союзом.

Виктор Астафьев

20 ноября 1991 г.

В редакцию «Литературной газеты».

Копия: в «Литературный Иркутск»

Высказав своё резко отрицательное отношение к странному документу под названием «Слово к народу», я попутно высказал и огорчение своё по поводу того, что под ним стоит и подпись моего земляка и младшего друга — Валентина Распутина.

Я ошибся, предположив, что живу среди людей, не совсем ещё опустившихся до безумия, и рассчитывал, что говорю для людей разумных, умеющих быть самостоятельными, но сомневаться в том, что им предоставлено право судить вся и всех и бросать каменья в ближнего своего. Я забыл о том, что в своё время, создавая Союз писателей РСФСР и заботясь о наполнении его творческими силами, была объявлена очередная мобилизация в писатели, и по Руси Великой и её окраинам заневодили тучу людей в члены СП, порой не знающих до конца и азбуки. Из этой тёмной «творческой» тучи пролился И проливается кислотный дождь зависти, недоброжелательства, злобы, поражающий прежде всего ярко цветущие полезные плоды и совершенно не действующий на сорный бурьян.

То и дело возникающие в столицах и на периферии

творческие союзы напоминают мне шайки шпаны, когда-то резвившиеся в провинциальных городах, в Игарке в тридцатые годы одну шайку возглавлял парнишка по фамилии Вдовин, другую — полупарализованный парнишка из спецпереселенцев по прозвищу Обезьяна. И вот, бывало, поймают тебя, возьмут за грудки и спрашивают: «Ты за кого, за Вдовина или за Обезьяну?» — и лупят дрынами нещадно, коль ты не «за нас, а за них».

Мы, детдомовцы, были «за себя» и если на нас нападали, дружно отбивались и от Вдовина, и от Обезьяны, часто обращали и в бегство городскую шпану.

В литературе талантливый писатель всегда одиночка, а бьёт и топчет его окололитературная шпана, объединённая в шайки, писательские и журналистские, где всегда были и есть люди для хулы. И вставными зубами хватают и кусают слабого, кто не там и не так думает, говорит, живёт и работает.

Очень жаль, что и «Литературная газета» даёт возможность литературным а чаше — окололитературным шавкам рвать то у Распутина, то у Белова штаны. Ещё более жаль, что уважаемые мною газеты «Комсомольская правда», «Известия» и «Московские новости» не хотят в этом пакостном деле отставать от «Литературной газеты», которую совсем почти оставили в покое видный писатели и полосы которой забивались и забиваются в последние годы чем угодно, но только не теми делами и материалами, которыми надлежит ей заниматься соответственно названию своему.

Что касается «доброжелателей», вдруг обрадовавшихся нашему якобы с Распутиным и Беловым расхождению в жизни и творчестве, то и фронтовые мои друзья, и бывшие содетдомовцы, ещё оставшиеся в живых, могут подтвердить, что товарищей и друзей своих я никогда не предавал и не оставлял в беде. А друзья по литературе, есть у меня и такие, подтвердят, что я не разучился уважать убеждения других людей, как бы они ни расходились с моими, и умею бережно относиться к ранимому сердцу любого художника, где бы он ни жил, какой бы национальности ни был и какой бы характер ни имел. Всё-таки, пусть и отстало, я сужу так, что писателя надо принимать таким или? не принимать его, не судить, но скорее обсуждать за труды его, за книги, а не за поведение «на общественной ниве». Это уже политиканство, это мы проходили совсем недавно, и давайте-ка, дорогие товарищи, помаленьку отвыкать от этого позорного явления не на словах, а на деле.

Виктор Астафьев

1 декабря 1991 г.
Красноярск
(А.Ф.Гремицкой)

Ну наконец-то домозолил я вёрстку. Чёрт его знает, что за жизнь! И дела не делай, и от дела не бегай. Каждый день ведь чем-то занимаюсь, а день так короток и столь мало успеваю. До сих пор ещё не открывал рукопись романа, всё недосуг, а главное, что-то гнетёт и не даёт работать. Раньше я, видно, сильней бы и нелегко, не всегда легко, но преодолевал душевную депрессию. Нонче не справлюсь никак с собой, да и давление что-то мучает, иногда с утра уже под двести, с таким грузом не наработаешь.

Живём мы тихо-мирно, вокруг же всё хужей и тревожней. Что с нами будет? Вам в Москве небось уже известно, так хоть нам скажите и ободрите нас.

Марья Семёновна, слава богу, топчется, ребята кормёжки требуют и уже помогают хлеб купить. Чего весною-то будет?! Но всё равно. Скорее бы зима проходила. Может, весной на земле легче будет, в огороде, в тайге.

Ну вот пока и всё. Посылаю папку по почте, даст бог, дойдёт к сроку-то, а нарочного где найти?

Не падай духом, падай брюхом! Как шутили когда-то на Руси святой. Звони! Приезжай! Рады будем. Кланяюсь, обнимаю. Виктор Петрович

1 декабря 1991 г.
(адресат не установлен)
Уважаемый Аскольд Михайлович!

Ну и времени свободного у Вас! Аж позавидуешь. И работоспособность адская! Надо же 13 страниц накатать по поводу пустякового рассказа и потом ещё в переписку вступать, обличая уже и ответчиков, да всё тоном прокурора, тоном вселенского брюзгливого судьи. А язык! Это меня, привыкшего читать трактаты экономического, социального и прочих свойств, да недоученных, но и переученных графоманов, едва хватило одолеть Вашу бумагу — как по молоку плывёшь по Вашему тексту, по кислому, загустевшему.

Есть простой способ, к которому прибегаю я сам: не по душе автор — я его и не читаю, давно не читаю и Пикуля — не мой он писатель. Но у него первое место в стране «по потреблению», и не считаться с этим нельзя, как невозможно печатать и снимать одни шедевры. Смотрели же, читали и читают люди Софронова, а теперь вот Гельмана, а это Софронов нынешнего, перестроечного времени. Посмотрел разок, почитал другой — и хватит. Есть чего

читать.

Должен Вам сказать, что Вы не одиноки в своём обличительном бумаготворчестве, тучи развелись людей, в основном пенсионеров, которых хлебом не корми, дай пообличать. Интересное наблюдение: чем выше уровень эстетический у человека, чем богаче его внутренняя культура (не грамота, нет, грамоте-то Вы куда как хорошо научились!), тем он сдержанней, уважительней и человечней в своих замечаниях, никогда не опускается до отповеди и хихиканья, показывая пальцем — «Смотрите! Смотрите!»

Много у меня появилось добрых знакомых заочных, которых я благодарил за замечания, ибо ошибки и в нашей работе, к сожалению, тоже неизбежны.

Сделав замечание о том, что колорадского жука на юге нету, крупный учёный и старый интеллигент Симолин через два года нашёл время извиниться и написал, чтобы я не правил рассказ — появился колорадский жук и на юге, в том числе и на Кавказе, это, мол, «не Вам, а нам, работающим в биологической энциклопедии, надо вносить поправку, жук нас и наши теории опередил».

Это не значит, что нет ошибок в моих работах, но с какого боку на них Смотреть? Если с Вашего, то Николай Васильевич Гоголь, гений из гениев на мой взгляд, по-вашему выйдет просто халтурщик. Ну что это такое он пишет: «А у этого жида в бороде было семнадцать волосинок, да и те росли только с одной, с левой стороны».

Давайте по-вашему, с Вашей высокой колокольни посмотрим на это «безобразие». Как это старый человек, да ещё горем убитый Тарас Бульба, глядючи в окно, у разговаривающего среди улицы с другими жидами жида мог не только разглядеть, но и сосчитать волосинки? И где они, с левой стороны растут? Лица? Лба? Носа? И потом, отчего бы автору не заменить это хлёсткое, ухо прожигающее слово «жид», ну и написал бы «еврей», «инородец», «человек, не помнящий национальности» — ведь мастак же пера, мог бы.

Нет, не мог. И не смог бы. Есть законы, именно этим писателем сотворенные, и они выше, как Вам ни горько сие слышать, наших с Вами законов, выученных из чужих книг и по чужим правилам употребляемых.

Графоманов и плохих писателей плодит подражательность, следование выучке. Всё у них точно, всё «по правилам», ан не получается, нет самостоятельности. Мужик самостоятельный, как говорят в народе пока не только крестьянину, но и писателю. Свои удила железные грызёт, свою тропу топчет, свой хлеб ест,

своим умом обходится человек, помня, конечно, всечасно, что на полке вон стоят Пушкин, Толстой, Достоевский. А у меня отдельно ото всех стоит ещё и Гоголь, которого я так люблю читать, да времени нету, трачу его, дурак, на чтение писем, подобных Вашему, да ещё порой и на ответы. Я уже чувствую, вижу, как Вы сжали руку не с ручкой — с мечом, плетью, чтобы высечь меня, поставить к столбу. Не надо! Не надо! Ваших писем читать я больше не буду и Вам не напишу. Почитайте лучше наших классиков. Или уж не можете без обличения? Это Ваш кислород? Судя по факсимильному штампику, шибко Вы уважительно относитесь к себе, так уважайте своё и наше время.

С поклоном, В. Астафьев

1992 год

2 января 1992 г.
Красноярск
(Н.Негоде)
Дорогой Николаша!

Очень рад твоей весточке и тому, что в жизни твоей являются освещения творческой удачей. Желаю и в новом году тебе много стихов и песен. Бога свободы в сердце, а ещё здоровья, чтобы работать и не унывать. А всем нам — просветления разума, хлеба, мира и всепрощения Божия за грехи наших дедов, отцов и за наши тоже.

Мы живём помаленьку, зима пока хорошая, в меру морозная, солнечная. Дети растут Я помаленьку работаю. Сейчас пробую вернуться к роману, чтоб за зиму закончить хотя бы первую книгу. Получится ли? Настроение уж больно нерабочее, обстановка жизни у нас препаскудная, очереди немыслимые за всем, неразбериха, злоба, шквал преступности, всё более неуправляемой и звереющей закрываются магазины — нечем торговать, столовые — нечего варить. И в то же время полные поезда и самолёты уходят в свободные государства с ворованной продукцией, частью завезённой к нам из-за рубежа за лес, нефть, за то, что делаем атомную свалку в Сибири. Продаётся и воруется всё, что даже не покупается и не подлежит продаже.

С Украины нет-нет да и получу весточку, недоуменную и горькую. Есть у меня подшефный колхоз «Зирка» в Харьковской области, в Богодуховском районе, так вот, колхозники больше всего горюют и недоумевают по поводу такого злобного отчуждения и совсем ему не радуются, даже наоборот, боятся будущего, готовы Бога молить за мир и согласие, за «життя по-

русски, по-суседски». Но кому-то на Украине не даёт покоя гетманская булава, и ради неё готовы даже на кроволитие. Видел как-то по телевидению заседание украинского парламента, и Кравчук, видимо, удачно сострил насчёт москалей, так идейный гетман Иван Драч аж до уха пасть раззявил. Дужэ смишно! Хохочут, хохмят и на всякий случай в Канаде дачи и виллы себе строят, чтоб было куда скрыться в случае чего. Но это мы уже проходили, и я видел в уральских и сибирских сёлах вымерших, в лесах и на лесосеках вымерших украинских бедолаг — обнявшиеся в смертном братстве скелеты, один взрослый и маленький на печи, обросшей кустами и пихтами, видел — мать и дитя Господь успокоил. Забыли драчи и павленки да яворивские о сибирском страшном ГУЛАГе, но генералы и маршалы помнят и цепи куют.

Ах, как горько! Как безысходно на душе. Разве к свободе так ходят? Разве не объявлял Господь всех людей братьями? Так, по-братски бы и начинать строить самостоятельную Украину и спасать смертельно больную Россию. Прости, Коля! Прости! Не надо бы об этом, да из души крик рвётся. Если не слышал — анекдот, сочинённый тебе явно нашими друзьями. «Стоит на Крещатике негр и читает газету «Рух». Мимо бежит озабоченный хохол, не иначе как на митинг. «Хлопче, ты хто? — спрашивает у негра. «Вукраинэць», — отвечает негр. «Хлопче, а тоди я хто?» — «А хер тебя знает! — ответил неф, мабуть москаль, мабуть жид».

Обнимаю тебя, Николаша! Люблю всех вас. как и любил. Поклон от Марьи Семёновны. Поли, Вити. Серёже, Валентине и всем черкасцам мой братский поклон! Виктор Петрович

3 января 1992 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

И тебя с Рождеством Христовым! Пусть будет просветление на душе твоей и всего нашего погибающего народа. А ещё с настоящим, не большевистским Новым годом! Хлеба и мира да встречи нам на уральской земле весною, ну и всего того, что должны желать друг другу люди, ещё не совсем обезумевшие во зле и духовной бездне.

А я всё же не думал, что ты такой наивный человек! И забыл строчку не мою, но в «Царь-рыбе» присутствующую: «...и в обратный отправившись путь, всё равно не вернёшься обратно».

Как это мы можем вернуться в «Наш современник»? В каком виде? Зачем? Когда-то Викулов, хитромудрый мужик, объединял

нас в журнале, начинавшем жизнь для начала очень важной работы, для объединения существующих и нарождающихся литературных сил в России, и мы, частично побросав свои дела, а затем захваченные успехом этих дел, работали, не жалея сил, на журнал, после и на себя, на своё общественное сознание, которое в работе этой созревало, а заканчивалось в дебатах, часто горячих, но искренних. Народ, как на подбор, был даровитый, языкастый, внутренне заряженный на полезные дела, ещё не уставший от бесполезности и, как оказалось, бессмысленности этих дел. Сам же Викулов. ещё при нас, и начал губить журнал, подначиваемый сверху, из ЦК, который всегда был «за народ». И из Союза писателей РСФСР, который тоже был за народ, но только уж за русский, за тот, что нарисован на картинках Нестерова, изображён на иконах российских богомазов, да трясёт шароварами и подолами в разных ансамблях и хорах.

На самом же деле его давно нет, и большевистский обман постепенно приобрёл окраску голубого цвета, а дурман пролетарской демагогии и атеистической пропаганды таким ладаном густым закадил, что уж самих кадильщиков в здании на Старой площади сделалось не видно. Зато понукаемые ими защитники народа», всех ты их хорошо знаешь, запрыгивали, закривлялись, завизжали на площадях, в редакциях, в курных и злачных помещениях, и всюду задребезжало: «Народ! Народ! Народ!» А это самый подлый обман и есть, самый страшный грех против Бога и своего народа, ибо его уже нет, есть сообщество полудиких людей, щипачей, лжецов, богоотступников, предавших не только Господа, но и брата своего, родителей своих, детей предавших, землю и волю свою за дешёвые посулы продавших.

Среди этого сброда отдельные личности, редкие святые, себя забывшие труженики вроде отца Сергия из Чусовского прихода, фильм о котором мы смотрели (и плакали) вместе с Марьей. Я не успел списать с экрана его данные и прошу тебя спросить его адрес у Леонарда *[Постникова. — Сост.]*, да и сообщить мне, а я ему помогу как смогу.

А народ нам не спасти уже, хоть бы мы все вернулись, куда велено. Кроме того, с Васей Беловым я тем более не хочу никуда идти и объединяться. Бывший секретарь райкома комсомола, вечный член бюро обкома, истовый ревнитель идей партии, ныне тюкающий топориком церковь, в которой некому молиться, как-то мало у меня вызывает энтузиазма на объединение духа и согласия идти единым путём в светлое будущее. Да и к Валентину Григорьевичу *[Распутину, — Сост.]* я уже отношусь настороженно, какое-то здоровое сомненье он во мне породил и в меня вселил.

Мы все изменились, Валентин, и время изменилось, и даже меня, шибко компанейского человека, всё чаше и настойчивей тянет побыть с самими собой наедине, благо рядом ещё есть, пусть и усталый, задёрганный, больной, но бесконечно мне преданный и достойный человек, друг и помощник, с которым быть я не устал, и друг другу мы всё ещё не надоели.

Когда уйдёт из «Нового мира» Залыгин, уйду и я, уйду отовсюду, где маячит моя фамилия, как ушёл из всех союзов писателей, ибо ни для каких союзов не гожусь, тем более для союзов, всё более принимающих форму банд или шайки шпаны, исходящих словесным поносом и брызжущих патриотической слюной. Знаю я этот патриотизм, сам его сочинял и тискал на страницах незабываемой газеты «Чусовской рабочий».

Продолжаю работу над романом, точнее, вхожу только в неё и попутно пишу «затеси». Пиши почаще, а то ты сделался истинным столичным деятелем, отделывающимся телефоном, а телефон, он что — поговорит да и замолкнет.

Обнимаю. Виктор Петрович

19 января 1992 г.

Красноярск

(В.В.Миронову)

Дорогой Вы мой В. В. Миронов!

На посылке — В. В., на старом письме, от девяностого ещё года, тоже В. В. Вот и приходится так обращаться к Вам.

Мы получили посылку и, скрывать не стану, обрадовались ей не только как презенту, но и возможности маленько подживить ребят фруктами, ибо у нас цены на них не просто кусаются, но зубы скалят крокодильи.

Живём мы помаленьку. Ребята растут. Как раз через день после получения посылки внучке Поле исполнилось 9 лет, и кто-то из выдумщиц баб сделал чудесный торт, запихав, как в пирожок, по абрикосинке и выстроив их в виде башни, пусть и не кремлёвской, но на византийскую похожей.

Внуку в апреле будет 16 лет. Никакого языка он всерьёз не учит и вообще учится и живёт пока не всерьёз, в этом смысле Вы правы, нам бы у евреев поучиться цепкости в жизни и науке, да и усидчивости тоже.

Я всё это время чего-то делал. Лето было худое, и непогода меня держала под крышей, в деревенской избе. Читать я много не могу, так пришлось писать, и я закончил «Последний поклон», заключительные главы идут в № 2-3 «Н. мира». Пописал немного «затесей», идут в четвёртом томе. Ну и работали вместе с Марьей

Семёновной над очередными томами. Вот уж заканчиваем подготовку шестого тома *[выпуск шеститомного собрания сочинений был остановлен на четвёртом томе. — Сост.]*. Выйдет он, как предполагается, в начале 93 года. Вышло уже два, сейчас в производстве третий, готовится к сдаче в типографию пятый том. Я посылаю Вам первый том, ибо понимаю, что в богоспасаемом Очакове Вам не подписаться, даже в Сибирь давали мало экземпляров, а уж на самостийную Украину и вовсе мало пошлют.

Бывал осенью в тайге, разбой там идёт, невиданное избиение природы люди бьют, ловят, гребут всё, что можно сожрать, продать, урвать. Все наши неурядицы бьют больно, если не смертельно, нашу уже изнахраченную природу.

Обычно я возвращался из лесу, с Енисея ли бодрым, заряженным на работу, а тут явился домой совершенно подавленным, растерзанным и долго не мог сам себя собрать в кучу, провольничал до поздней уже зимы и лишь недавно принудил себя продолжить работу над романом.

Сейчас я уже вошёл в работу и даже надеюсь, если дело пойдёт такими пусть и не очень устойчивыми, темпами, к весне первую книгу доделать.

В остальном жизнь идёт, как везде, смутно, тревожно, на грани отчаяния. Но жить-то надо. Детей растить надо. Значит, терпи, двигайся дальше вместе со своим совсем уж разнесчастным, деморализованным народом, не зная даже, есть ли у него будущее. Одно ясно: великим народом он уже никогда не будет, сейчас он просто население, стадо, которое куда ломтем хлеба поманят, туда он и потопает, за очередным «кормильцем». Возрождение нашего народа, если Бог ему пособит, будет мучительное и длительное, и вернётся к себе русский народ совсем уже другой дорогой, особью и сообществом, пока не только неугадываемым, но и непредсказуемым. Никаких капиталистов из нас никогда не получится, а коммунистов, теперь уже и слепым дуракам ясно, не получилось. Так каков же наш удел, путь, направление? И куда? Можем ведь и в яме оказаться, называемой могилой. На какое-то время спасёт нас возврат к церкви. А кто же наш народ, разучившийся работать, научит работать? Мы пока что губили и разворовывали до нас наработанное и Богом в наши недра помещённое и на земле взращённое. А когда всё разворуем, сожжём, сгноим, чем жить дети будут?

Ох-хо-хо! Какое трагическое время подступило, начавшееся с оперетки под названием Октябрьская революция. Попрыгали, попели, красными тряпочками помахали, ляжками покрутили — и вот проснулись! Да и проснулись ли? Очень уж крепко мы

любим спать, и боюсь, когда проснёмся, даже матрац из-под нас уже будет вытащен и унесён.

Ну, простите меня. Дело к вечеру, устал, побрюзжать тянет. Как получите первый том, подтвердите телеграммой, и я тут же вышлю Вам второй, а там а третий подойдёт. И напишите, пожалуйста, имена-отчества своё и супруги Вашей.

Низко Вам кланяюсь и от всего сердца мы благодарим Вас за посылку. Виктор Петрович и Мария Семёновна Астафьевы

12 февраля 1992 г.
Красноярск
(А.В.Астафьевой)

Здравствуй, Анастасия! Письмо твоё пришло в те дни, когда я находился в работе, в середине очень для меня трудной и, наверное, последней книги — романа о войне. Пока ещё вожусь с первой книгой, а всего должно быть три. Сейчас, совершенно измотанный, лежу иль сижу и смотрю телевизор. Да ещё умудрился простыть и захлюпал лёгкими. Сил моих уже хватает только-только на работу, всё остальное приходится отстранять, даже почту. Годы берут своё — нынче весной мне исполнится 68 лет — это возраст, особенно для бывшего фронтовика. Жизнь нынче такая, что я стараюсь из дома не выходить, в город не спускаться (Академгородок находится на Гремячей горе, километрах в восьми от города, но город подползает к нему), а меня нет-нет и здесь достают какие-то делишки, которые оказываются важнее моих дел, и неприятности, чаще с почты, с телефонной станции, из родной деревни (она близко) иль ещё откуда.

Нынче мне уже немного надо, чтобы потерять равновесие, выбиться из рабочего состояния.

Но живём помаленьку, растим внучат — Поле исполнилось уже 9 лет, Вите весной будет 16 лет. Нельзя сказать, что растут у нас лучшие дети на свете, они обычные, они как все нынче, и ленивы, и непослушливы, и норовисты порой, но в них и горе, и редкие радости. Однако детей надо иметь и растить вовремя, на старости лет эти нагрузки оборачиваются перегрузкой.

Но я всегда основывался на той морали, что есть люди, которым куда как тяжелее, чем нам, и надо безропотно нести свой крест, он именно тот крест, который взвалил на тебя Господь.

А знаю такие судьбы вокруг, что слово «тяжело» слишком мягко и ласково для них. Есть семьи и люди, которые искупают вину перед Богом за весь наш грешный, жалкий жестокий народ,

отринувший Бога, веру, докатившийся до предательства детей и родителей своих, до братоубийства, до поругания могил и святой молитвы.

Искупят ли? Слишком стадо велико и бесчувственно, слишком далеко мы зашли в обесценивании жизни и крови, слишком потерялись в мире.

Во мне всё меньше и меньше остаётся веры в спасение нашего народа и страны. Самое главное, что наш народ не хочет сам спасаться, а ждёт его от властей, от нас и даже от главного преступника века нашего, покойного неприкаянного вождя. Самосознание народа нашего ещё никогда не было так низко, и никогда он ещё не сближался так близко со скотом, удел которого определил ещё Пушкин — «ярмо с гремушками да бич» и «их только резать или стричь».

Ну да будет, как будет.

Что я должен сделать, чтобы помочь тебе? Чем? Когда? Как? Письмом, даже самым длинным, не поможешь. В Вологду я приехать не могу. Всё. Эта земля, этот город, со смертью Ирины отделены от меня непреодолимой преградой — могилой, которую я уже не смогу переступить.

Может, мне позвать тебя?

Или в деревню, я там живу летом, или в другое какое место? Дома это сделать невозможно. Марья Семёновна живёт и работает из последних сил. Два инфаркта подряд и вновь начавшийся туберкулёзный процесс кости приземлили её, и она живёт только на лекарствах, глотая их горстями, растит детей и ещё помогает мне. Я даже мысль от себя страшную гоню о том, что будет с нами, если её не станет, а один раз она уже была полминуты в клинической смерти, и спас её Господь для детей, спас тем, что врач, живущая под нами, оказалась дома.

Весной нынче я уезжаю на Урал (нужно для романа), лето тоже получается раздёрганное, но осенью я бы смог, где-то в сентябре, встретиться с тобой и чем-то помочь, а может, и душу облегчить, как-то узнать друг друга, хотя я понимаю, какую ответственность, какой груз взваливаю на себя. И выдержу ли? Но... Но всё во власти Божьей. Как ему будет угодно.

Я иногда бываю в церкви, молюсь за покойных и живых, помолюсь и за тебя, чтобы Господь помог тебе в твоём столь ответственном возрасте, как помог, помогал и помогает он мне всю мою жизнь, в которой допустил я не один безответственный поступок, в том числе и в том, ничем не приметном, 74-м году...

Вот пока и всё. Благословляю тебя, целую в умную головку и желаю, чтобы она не вскружилась в этом возрасте, а дальше, Бог даст, лучше всё будет.

Храни тебя Бог. Поклон тёте Зине и матери тоже — мать даже непутёвая от Бога, молит об этом. Виктор Петрович

16 февраля 1992 г.
Красноярск
(В.С.Камышеву)
Дорогой Валентин Семёнович!

Получив Ваше поздравление с Рождеством Христовым на такой чудесной открытке, я надеялся быть в Москве, позвонить Вам и, возможно, где-то встретиться и поговорить. Но не вышло и теперь, как я понимаю, не скоро и выйдет. Предлог-то ехать в Москву на последний съезд писателей СССР, видимо, отпал. Пока так называемые писатели драли друг на дружке рубахи и доказывали кто из них писателистее, будущий съезд стал стоить 15 миллионов рублей, а таких денег в писательской казне нету. Те, что собрал Иван Калита по прозванию Георгий Марков, его последователи растранжирили, может, и разворовали, эти художники своего времени на всё способны.

Я тем временем работал, продолжал мозолить первую часть романа о войне, кажется, уже видно и какие-то итоги, надеюсь на исходе весны сдать рукопись в «Новый мир», если он к той поре ещё будет выходить.

В этот раз продолжить работу мне было весьма и весьма трудно. В конце лета и осенью, я, как обычно, поехал на Енисей, в тайгу, где всегда набирался бодрости и сил для работы. Прошлой же осенью я вернулся с Севера совершенно разбитый — наши все смуты и особенно отсутствие еды такой бедой, таким монгольским нашествием обрушились на природу, что и вообразить-то невозможно это, не увидев. Всё спиливается, рубится, бьётся, вырывается с корнем, вылавливается из воды всё, что смеет жить и шевелиться.

Боже, какое всё-таки чудище человек-то! И не зря, не напрасно Господь приговорил его к гибели, и ныне это стадо само бежит-торопится к пропасти. И невольно вспоминается сердитый и справедливый Лев Толстой: «Пусть вся эта цивилизация погибнет к чёртовой матери, вот только музыку жалко». Да, жалко и Пушкина, и Сервантеса, и Рафаэля, и Лермонтова, и Прадо, и Третьяковку, и Шуберта, и Рахманинова, многое другое, что в муках накопило человечество, причём всё время продираясь сквозь непонимание, неприятие, злое отчуждение при жизни и убийственную зависть, высокомерие, а то и проклятия.

Люди, толпа на земле всегда были недостойны своих гениев, а тем, бедолагам, только и удавалось, чтобы собратья по роду и

по земле не вдруг, не сразу опустились обратно на четвереньки. Но, кажется, большевикам и это удалось — поставили русский народ на колени, а отсюда до четверенек уж совсем близко.

Вот читаю я в «Звезде» Юза Алешковского прозу и Иосифа Бродского так называемую поэзию и вижу, что гениям среди нас уже делать нечего, мы у края жизни, морали, и вот пришли певцы и проповедники этого края, осквернители слова, надругатели добра, люди вялой, барахольной мысли и злобного пера.

Ещё никогда так открыто не проповедовалось зло в его омерзительном облике, и только так возможно восприятие этих, к сожалению, передовых художников, совершенно точно выражающих распад времени и морали совершенно разнузданными средствами. Будто никогда и не существовало такое понятие, как изящная словесность, благородство в обращении со словом и в отношениях с читателем. Правда, передовые наши мыслители уже и не говорят «читатель мой», а льют помои, сыплют вшами и червями на черно текущую толпу и хихикают от наслаждения.

Может, я отстал, закаменел, засох во мне слух, нюх, отупился и умолк дух. Ну, загляните в № 9 «Звезды», там ещё плюс к Алешковскому и Бродскому есть Олеся Николаева, что из кожи лезет, чтобы не отстать от передовых художников, посмотрите, прочтите и скажите мне: «Вы ничего не поняли, всё зто прекрасно, всё это нужно», и я поклонюсь Вам и мне легче станет жить.

Извините, Валентин Семёнович, за этакое письмо, но ведь дожили до того, что и поговорить-то не с кем. Ведь вон умный мужик Андрюша Битов пишет на полном серьёзе, что сейчас единственно кого можно читать, так Юза Алешковского. Конечно, меня потянуло умыться холодной водой и почитать Тургенева, Диккенса, Бунина, да и перечесть Пушкина, почему-то в последнее время тянет к его переписке, да и не только его, хотя я всегда испытываю чувство неловкости, перечитывая переписку классиков, будто в дверную проушину заглядываю, а когда и под юбку иль во штаны.

Будьте здоровы! И храни Вас Бог! Извините за каракули. Накатило! Кланяюсь. Виктор Петрович

3 апреля 1992 г.
Красноярск
(А.Ф.Гремицкой)
Дорогая Ася!

Вот посылаю последние главы «Поклона», немножко поправленные. Не знаю, надо ли их комментировать? Ведь

«Поклон»-то откомментирован. Ну, если надо, то маленько допиши — «Новый мир» второй-третий номера за 1992 год. Окончен сорокалетний труд, завещанный судьбой и Богом.

Телефон у нас снова не работает, и я не знаю, был ли у тебя Евгений Абрамович *[Гендельман, предприниматель из Новосибирска, тогдашний директор издательства «Сибирская газета», организатор так и не состоявшегося в те годы издания собрания сочинений В. П. Астафьева. — Сост.]* и как вы дела порешили. Надеюсь, всё в порядке, работа не очень обременительная и ты будешь при деле, и Бог с ними, с твоими родными молодогвардейцами, так обидевшими тебя.

У меня вон у сестры Галины весь отдел ликвидировали, всех 24 баб, а половина тех баб матери-одиночки и что им теперь делать? На одно место коридорной в новой гостинице, ещё не сданной в эксплуатацию. 120 человек претенденток. А гостиницу-то достраивают китайцы, так, глядишь, китаянок и привезут. О Господи!

Вычитываю рукопись с машинки. Опять правка! Опять сомнения! Надоела она, рукопись, мне, скорей бы отправить её в журнал, да на Урал смыться, дух перевести, если Марья Семёновна совсем не сляжет. Ходит в больницу на капельницы, уколы, Бог даст, поможет.

Ну пока, обнимаю, целую, поклон всем вашим и нашим.

Виктор Петрович

Мая 1992 г.

Красноярск

(семье И.Н.Гергеля)

Дорогой Ваня! Дорогая Тоня!

Жизнь идёт. Зимой работал, болел, заседал, болел, работал. Делал книгу о запасном полку военных времён и рассказы о варварских топких лагерях, а они почти везде были такими. Что мы пережили! Как терпели? Зачем терпели? Почему мы все эти издевательства и унижения терпели? Ни один народ не терпел бы, не вытерпел этой погубительной власти, а мы всё ещё живы, дышим, хоть и хрипло уже, предсмертно.

Всего в романе должно быть три книги. Хватит ли моих земных сроков, моего сердца? Не знаю. Работа невероятная, всё вновь нужно пережить, а ведь не мальчишка, старик уже, много перевидел, передумал, перечувствовал. Ну, даст Бог. Не знаю, как ты, Ваня, а я из этой действительности, из этих крикливых и кичливых банд, называемых партиями, всё более тянусь к Богу. У него хоть тихо, благостно, никто никого не душит и не

уничтожает ради передовых идей, как это делали и делают коммунисты, ничему более не наученные. Хвалю себя за то, что не вступил в эту лживую и кровавую партию. Впрочем, если б по дури и вступил на фронте, то давно бы вышел. Хоть этот грех меня минул. Хватит и других. Зла много. И породили его коммунисты — отродье человеческое. Конец ему, слава Богу, приходит. Во всём мире, как к прокажённым отношение, как к проклятью какому-то, презрение, ненависть, проклятьем этим и должно было кончиться самое страшное зло двадцатого века — фашизм и коммунизм.

----------*Окончание письма утрачено*

16 июня 1992 г.
Овсянка
(А.Нестерову)
Дорогой Аркадий!

Спасибо за партитуру оперы *[«Современная пастораль» по мотивам «Пастуха и пастушки». — Сост.]*, за доброе письмо и приветы. Рад, что во время разгула тёмных сил ты работаешь и не поддаёшься обшей апатии.

Я сдал и уже отредактировал первую книгу романа в «Н. мир», предположительно 9-10-й номера. Дался он мне очень трудно, до сих пор не могу прийти в себя и отоспаться. Впереди же вторая и третья книги и на одного Господа упование, чтоб дал сил и не погрузил меня на дно всеобщего народного отчаяния и предчувствия беды.

Прошлой осенью умер мой приятель-сибиряк, с которым и выпивали, и певали. И у меня как-то разом написалось что-то подобное романсу. Посмотри. Может, он и «зазвучит» в тебе.

Живу в деревне, вожусь в огороде. Погоды нет, холодно. Читаю-перечитываю скопившиеся рукописи — столько наш народ плодит бумажного говна! Мало ему натурального, так стихотворным исходит.

Обнимаю и хрустальных звуков желаю, прежде всего в душе. Твой Виктор Петрович

16 июня 1992 г.
Овсянка
(Н.Н.Насадкину)
Дорогой Николай!

Вернулся из Москвы с так называемого съезда так называемых писателей и, малость отоспавшись, принялся за рукописи, а их скопилось целая телега, да всё рукописи-то дикие,

самодеятельные. Чем хуже нам живётся, тем шибчее исходит народ стишками, особенно пенсионеры. От одичания это, не иначе...

Рукописи Ваши вполне профессиональны, чисто написаны, и я готов предложить рассказы в «Новый мир», хорошо бы три, уж так почему-то повелось давать небольшие рассказы подборкой. Хорошо бы Вы подослали мне ещё один или два рассказа (чтоб выбор был) и не ниже по уровню, чем те, что я прочёл. Я со своей сопроводиловкой зашлю рассказы в отдел прозы нашего всё ещё очень требовательного журнала, и дальше уж помогай Вам Бог. Но если «Новому миру» не подойдут, можно подумать и о других органах, есть у меня кое-где знакомые, например. Леонид Бородин в «Москве», да вот сама-то «Москва», как и многие наши журналы, висит на волоске.

Комплиментов Вам никаких не пишу. Зачем они твёрдо владеющему пером человеку? Дай Бог сил, здоровья и терпения «отражать» эту дорогую действительность, да ещё в «осаде» бесхлебья, беззаконий всеобщего разгула, политиканства, воровства и блядства.

Жму Вашу руку и кланяюсь Вашим близким. Виктор Петрович

5 июля 1992 г.
Овсянка
(Н.Вагнеру)
Дорогой Коля!

Рад был узнать, что ты выкарабкался из больницы и более-менее начал нормально жить, ибо в больнице есть только существование, да к тому же нудное и удручающее. Правда, я использую больницу — много читаю, иногда и пишу мелочи, а врачи поначалу и удивлялись, что в лёгких у человека получше, пузо прибывает, а общее состояние всё хуже и хуже. Врачиха, которая привыкла ко мне и изучила мой образ существования, стала мне, как психу, давать всякие расслабляюше-сонные лекарства, от которых я спал денно и нощно. Да, есть тут особенность, доставшаяся мне от папы, а от меня детям и внукам: я не только ничего не соображаю, становлюсь истуканом от сильнодействующих средств, но у меня затормаживается речь, я начинаю заикаться, видно, сказывается и контузия. Словом, советской, самой лучшей в мире и могучей психиатричке, попади я в неё, работы со мной было бы немного.

А что я в неё и в тюрьму не попал, есть большое моё изумление и даже мистицизм какой-то. Часто я кружил рядом с ними. Вот из Гремячинска *[город в Пермской области. — Сост.]*

детский поэт Киселёв, проклинающий вас и ваше издательство, прислал мне газетку «Гремячинский рабочий», и в ней статейка под модным ныне заголовком «КГБ против Астафьева». Саша Белоусов, бывший работник «Чусовского рабочего», заступивший из машинистов в корреспонденты вместо меня, делится воспоминаниями о том, как уполномоченный МГБ по Чусовому волочил его в контору и спрашивал насчёт кулацкого уклона в романе «Тают снега» и прочего всякого. Я сначала посмеялся, прочитав сию статейку, а потом раздумался и понял, что это могло быть не очень смешно, что Бог, давно меня лично охраняющий от смерти и беды, и на этот раз от меня не отворотился.

Тебя же болезнь спасла от присутствия на позорном действе, так называемом съезде так называемых писателей. Писателей там почти не было, а были посивевшие, совсем, вовсе поглупевшие пьяные члены Союза писателей, которым без Союза, хоть какого, чтобы только мало-мало поил и кормил, ну ни бзднуть, ни охнуть. Собрания в иных колхозах проходят приличнее, чем этот съезд «творческой интеллигенции».

Сообщество это, так нужное и необходимое в своё время, изжило себя, оно бессильно сейчас чем-либо помочь творческим людям, поддержать молодые дарования. Надо искать новые формы работы с людьми, надо приноравливаться к жизни, каковая наступила, проявлять разумную инициативу, суетиться, создавать какие-то новые очаги обучения творческих людей и т. д., и . п. Но для этого надо работать, думать, стараться, даже и ловчиться — вон на каком блистательном, умном и полезном уровне проведён последний конкурс Чайковского для юных дарований! Вот где толк, вот где истинная помощь и поддержка! А у нас десяток резонёрствующих пьяниц никак не хочет уйти с дороги, колодами пьяными лежат на ней и кроме пустопорожних слов ничего и никому не выдают, и всё борются.

В нашем отделении вон создаётся на базе отдела пропаганды товарищество, ибо бондаревский союз, столь заботливый, и даже на словах отказался финансировать организацию, местная же администрация сунула в рот 300 тысяч рублей на затычку, и на этом её помощь исчерпалась.

Союзы же писателей, возникшие в столицах, совсем не для того явились свету, чтоб кому-то помогать, кого-то поддерживать, они создались сами для себя и сами по себе скоро помрут.

Ох-хо-хооо! А ты говоришь — злой! От страдания злой-то, от жизни окружающей, а притворяться не умел и не умею, да и не хочу. Каков есть, точнее, каким стал, таким прошу и жаловать, а любить у нас никто никого не любит, разучились, да и умели ль?

И любовь-то творческая часто притворной, заискивающей была, а мне такой не надо.

Ну вот, понесло контуженого!

А я сегодня намечал написать предисловие к своему полному собранию сочинений, которое затеивается в Новосибирском издательстве, и пишу ещё ДЛЯ того, чтобы обременить тебя просьбой: мне нужно — и срочно! — два экземпляра романа «Тают снега» второго издания [*второе издание романа вышло в Пермском книжном издательстве в 1962 г. — Сост]*. Если есть у тебя — отдай! вырви автограф и отдай! Сходи к Але Зебзеевой, к Рите Тарасовой, ко всем знакомым — выпроси у них книгу и скажи, что взамен они очень скоро (весной 1993 года) получат роскошно изданный том и, коли сердцу любо, вклеят туда старый автограф. Позвони в библиотеку, может, у них есть списанные книги, но обязательно второе издание, первое с вербочкой на обложке, Сашей Зыряновым изображённой, а мной изобретённой — вот тогда я был сентиментальный, добрый и весёлый человек (но это от недоразвитости, Коля, от всеобщей слепоты, глухоты). В будущем году выйдет четыре-пять томов, а всего мы расписали прикидочно уже 14 томов. Начинается подписка, скоро появится объявление в столице, в Сибири они уже есть, но издательство на подписку и на заказы не надеется, оно намерено продать книги, в основном в Сибири, ибо здесь моих книг с огнём не сыщешь, они сюда просто не доходили. Издательству дали кредит под это издание, сразу аж 6 миллионов, правда, назначили большую цену — том будет стоить 80-100 рублей, но это ж на «старые» деньги 8-10 рублей. Я согласился на ставку 300 рублей за лист, только чтобы поддержать сибиряков, для этого же вернулся в редколлегию журнала «Сибирские огни», из которой когда-то ушел всё по той же сердитости характера. Надо помогать общему делу, не дать одичать себе и своему народу. Вот в чём сейчас главное. *[Этому проекту не суждено было состояться: деньги по непонятным причинам пропали вместе с новосибирским частным издателем, бесследно пропал и материал первых четырёх томов, в которых было немало уникальных текстов, в единственном экземпляре переданных Виктором Петровичем издателю. — Сост.]*

Не хворай! Поклон Роберту Белову и ещё раз ему спасибо, что не дал он разорвать меня и моё краткое время пребывания на Урале. Я был для дела, г не для развлечений.

Вот достроит Леонард Дмитриевич Постников литературный музей на Чусовском «Огоньке», непременно приеду на его открытие. А пока обнимаю. Кланяюсь. Ваш Виктор Петрович

Август 1992 г.
Овсянка
(Е.И.Носову)
Дорогой Женя!

Вот уж лето покатилось под гору, а я всё собираюсь написать тебе и послать журнал «Родина», который свозил в Москву — для тебя, и впервые не знал, радоваться или горевать, что ты не приехал. Сказали ребята, и ты, и мать твоя заболели. А как сейчас-то?

Съезд, или то, что было названо съездом, был последним позорищем, достойным нашего времени и писателей, которые это позорище устроили. Раньше как-то незаметней было. А тут сивые, облезлые старые неврастеники, ещё более пьяные и дурные, чем прежде, дёргаются, орут кто во что горазд, видя впереди одну жалкую цель, чтобы им остаться хоть в каком-то Союзе, возле хоть какой-то кормушки. О Господи! Более жалкого зрелища я, кажется, ещё не видел в своей жизни.

В пятидесятых годах был я на колхозном отчётно-выборном собрании, которое отчего-то проводилось весной. Отчитывался однорукий председатель, а опившиеся поганой браги с «колобком» и настоем табака колхозники орали что попало, блевали себе под ноги. Дело кончилось тем, что отчаявшийся председатель тоже напился до бесчувствия и ушёл в одной майке в родные поля, уснул на поле, и родной сын его, пахавший на тракторе, зарезал и запахал его плугом. Даже тогда я не испытал такого горя, беспросветности в душе и отчаяния от беспомощности. Наверное, молод ещё был и конца своего и нашего не видел и не ощущал.

Почти всё лето я в деревне. Мария стала шибко сдавать. А мы с внучкой съездили на Алтай, в деревню, что напрямую в 30 километрах от шукшинских Сросток. Внучка — человек контактный, как нынче говорят. Село редкостное, по-сибирски первозданное, работают и пьют в меру, живут крепко, замков почти не знают, ограды внутренней «друг от друга», как и в Курске, на твоей усадьбе, нет. кони сытые, при сбруе с кистями и бляхами. Отрадно на всё это смотреть. Климат почти крымский, землю можно на хлеб мазать — как масло. Жить бы да жить, но новые правители залавливают крестьян налогами; появились беженцы, в том числе азербайджанцы, армяне и цыгане, и присутствие их гостеприимные чалдоны уже начинают ощущать.

Ездил я на Шукшинские чтения, это уж второй год подряд, и второй год говорю: «Не надо каждый-то год» — на Пикете скоро совсем не останется травы, да и село покоя не знает от праздно-патриотического народа. Опять было многолюдно, торговля с

машин на горе бойкая шла, торговали всем, вплоть до спиртного, и ни единой книжки, ни бумажки, ни открыточки Шукшина нету, и вообще это дело превратилось в дежурное мероприятие.

Был я и в Смоленском, где Толя Соболев лежит, — это в восемнадцати верстах от той деревни, где мы с внучкой отдыхали. Тут было всё поскромнее и потише. Внучка моя купалась, резвилась да и простыла, а в самолёте добавила и так заболела, что враз вся опала, сморилась и нас перепугала до смерти — самый здоровый человек в семье, и любим мы с бабушкой её какой-то уж нездоровой любовью — сирота же, да ещё такая вольная, к учёбе не рвётся, только бы прыгать, да скакать, да выдумывать всякую всячину, Я теперь понимаю свою бабушку, Катерину Петровну, каково ей было со мною. А через несколько дней сравняется уж пять лет со дня кончины нашей дочери, и как-то мы эту дату переживём? Прилетит из Вологды сын Андрей с внуком, маленько поможет, а Марья моя держится, по-моему, только ради внуков, лекарства ест горстями и не знает, встанет ли завтра. А без неё нам хана.

Лето было разное — то лило, то пекло.

В 10—11-м номерах «Нового мира» собираются печатать мою первую книгу романа, готовлюсь ко второй и вижу, какая «лёгкая» была первая. Одолею ли? Надел сам на себя хомут и тащу на стёртой шее. Может, осенью выберусь в тайгу, отдохну, пообщаюсь со старообрядцами — они живут хорошо, независимо, даже от пенсий отказались.

Ну ладно. Хотел много тебе сказать, да не получилось. Обнимаю, Виктор

7 сентября 1992 г.
Овсянка
(Н.Ю.Папановой)

Дорогая Надя! Надежда Юрьевна!

Как я ни изворачивался со временем своим, как мне ни хотелось бы встряхнуться и побывать на юбилее Анатолия Дмитриевича, ничего у меня не получается. Как раз на конец лета и начало осени выпало несколько срочных работ — подготовка нового собрания сочинений, писание предисловия для него, вычитка вёрстки из «Нового мира» нового моего романа — и тут подошёл пятый том идущего в «Молодой гвардии» собрания, и я нисколько за лето не отдохнул, башка трещит. Но вот подоспела пора уборки в огороде — тут я немножко и отдохну, на земле и в земле роясь.

Словами-то я бы, наверное, об Анатолии Дмитриевиче сказал

бы горячей и лучше, чем на бумаге. Но раз иного способа не остаётся, скажу главное.

Папанов — явление чисто российское, по-российски естественное настолько, что он даже из ролей, вроде бы чуждых его природе, делал подлинно узнаваемый характер — генерал Серпилин в «Живых и мёртвых», отставной полковник в «Берегись автомобиля», политический зэк в последнем его фильме «Холодное лето 53-го». Эту роль вообще мог сыграть только он. вытянуть, вдохнуть в неё жизнь, потому как в сценарии она деревянная, сколоченная, будто табуретка, неумелым плотником, когда все гвозди наружу и доски не оструганы. Анатолий Дмитриевич сделал,роль не просто замечательной в «Лете», но и сам фильм подтянул на художественную высоту, где уже светится искусство. Я мало видел его в театре, не повезло, но там, в какой-то пустяковой пьесе из жизни домкома, он сотворил такую ли конфету, что облизываешься и от хохота слёзы текут. А ещё его умение перевоплощаться — от вечного волка до проникновенного, какою-то небесного прикосновения к стихам Тютчева — и это при его-то, вроде бы совершенно не «театральной», скорее, биндюжной дикции. Какое редкостное свойство таланта обернуть недостатки природы: грубую, нескладную внешность, голос, лишённый театральной изысканности, из всего этого сотворить не только достоинство, но и творческую индивидуальность, неповторимую, неподражаемую самобытность. Никогда и никто не сможет подражать Папанову. Его даже пародировать невозможно, хотя на первый взгляд кажется, кого и пародировать-то? Но эта редкость из тех, что близко лежит, да брать далеко.

Однажды я сказал Анатолию Дмитриевичу, что он всю жизнь играет не в своём театре. Это же я говорил и Ульянову, и Льву Дурову, а сейчас вот талдычу Алексею Петренко. Для всех этих актёров, и для Папанова в первую голову, должен был существовать «свой» театр, где бы и труппа, и репертуар подбирались самим актёром, и пусть бы он играл один-два спектакля в году, но «своих», самим им, натурой и талантом его высмотренных, учувствованных и найденных. Может быть, тогда реже актёры вздыхали бы о своих несыгранных ролях, особенно в русской и мировой классике. Может, не один шедевр, подобный «Дальше — тишина» или «Соло для часов с боем», увидели бы мы.

Но, как уже мне не раз говорили: «Тут тебе не Франция, где Жан Габен получает всё, что захочет, тут тебе Россия, и в ней Олег Жаков, не менее талантливый и значительный, так и не удостоился роли, соответствующей его значительности».

Но, как бы там ни было, жизнь прожита Анатолием

Дмитриевичем значительная по содержанию, и не только на сцене. Память его соответствует обаянию, она светла, и остаётся только сожалеть, что Бог не дал ему долголетия и лишил всех нас радости общения с ним.

Кланяюсь русской земле, родившей сей редкостный самородок и упокоившей его. Царство небесное достойному своего великого Отечества человеку, достойно пожившему на этом свете и много потрудившемуся во славу нашего, всё ещё живого, многострадального искусства. Низко кланяюсь всем, кто пришёл помянуть Анатолия Дмитриевича, целую твои руки. Надежда Юрьевна. Храни тебя Бог. Виктор Астафьев

10 сентября 1992 г.
Красноярск
(А.Ф.Гремицкой)
Дорогая Ася!

Затискали, затуркали меня тут дела-делишки — вёрстка из «Нового мира», кстати, правку к третьему куску я послал рукописью. Теперь о пятом томе. Поскольку «Царь-рыбу» мне уже читать всё равно, что самоё рыбу грызть и в сыром виде заглатывать, я начал читать том сзаду — прочёл «Речку Виви» и детские вещи, а потом уж начал со скрипом и самоё «Рыбу». Но 60 страниц не дочитал — с половины главы «Сон о белых горах», тут, где прокладка, пусть эти страницы в редакции корректоры посмотрят внимательней, а тебя прошу обратить внимание на мелкие, но очень существенные поправки.

Я уезжаю на несколько дён в Енисейск, на рыбалку. У нас уже осень, и пришла пора запастись рыбой, ибо буду я рыбачить в промысловой бригаде, ну и удочкой помахаю. А потом сразу же надо копать картошку и лететь в Барнаул, откуда поедем мы на машине к старообрядцам в горы и тайгу — это нужно для работы над романом, поэтому и спешу с вёрсткой, чтобы лишка не лежала у меня.

Будем ждать тебя и Евгения Абрамовича в начале октября, к той поре ещё рыба в холодильнике сохранится, может, даже и икра, но это уж как Бог распорядится. Урожай на картошку и овощи в Овсянке нынче хороший, но местами в крае всё засохло, а у нас последнее время мело, не переставая, но сейчас всё замерло, бабье лето, может, уж наскучило, а ни на бабье, ни на мужичье поглядеть некогда, всё бумага перед глазами.

Кланяюсь, обнимаю, Виктор Петрович

5 октября 1992 г.
Красноярск
(В.Сорокину)
Здравствуй, Валентин!

Очень хорошо написал ты об Иване Акулове! Вот бы тебе и заниматься делом, какое Бог определил, так нет, давно пораженный зудом вождизма, лезешь ты на все трибуны, порой уж совершенно балдея от их манящего великолепия, и трясёшь своими седыми патлами, брызгаешь слюной, защищая какую-то мне неведомую Россию и какой-то совершенно мне неведомый народ. Уж не гостиницу ли одноимённую с её населением обороняешь ты? У тебя, видно, ещё есть жизнь в запасе, коль ты эту — богоданную — расходуешь так наплевательски. Я понимаю Прокушева, твоего предшественника на руководящем посту, — отпетый советский лодырь, демагог, а охота быть литературным барином, чем-то руководить, с кем-то бороться... Но ты, хотя бы судя по материалу об Иване, ещё не поражённый демагогией, разве не чувствуешь, что суета и современное политиканство как ржавчина съедают талант за талантом. А ты-то во имя чего себя и свой Божий дар губишь? Россию никому, в том числе и тебе, и борцам твоим побратимам, не спасти и не помочь ей, если она сама себе не поможет. Как мне тебя жаль и тех, в памяти моей все ещё парнишек, которых вы оторвали от стола и вовлекли в бесполезную свалку.

«Литературную Россию» с нынешнего года я перестал выписывать — она неприлична, это боевой листок стрелковой роты, делающийся на казарменном уровне и под руководством казарменного унтера. Не думаю, что и твой друг и мой товарищ, тоже немало сил и здоровья потративший на «борьбу» и сделавшийся столичным чиновником, из-за чего многое не успел написать, в восторге от твоей бурной деятельности. Я ему говорил о том, и он горько тряс головой, сожалея, что не делал Божье дело и много сил ухлопал ни за что, ни про что.

Неужели и это тебе не урок?

Я где только можно говорю об Иване и его книгах, но судьбы людские — они тоже в руках Божьих, в том числе и посмертные. На Николая Рубцова обрушилась посмертная слава, а на более сформировавшегося, глубокого и серьёзного поэта Алексея Прасолова как не обращал внимания дорогой наш читатель, так и не обращает.

Мне прислали фотографию Ивана с топором за поясом, в полушубке. Замечательная фотография! Такой Иван мне близок и понятен, а не тот, которого я однажды встретил в Госкомиздате — виноватый, суетливый, с бегающими глазами, чего-то

оправдательное лепечущий, жалующийся: «Вот, занимаюсь всякой хернёй, писать некогда...»

И ты занимаешься «всякой хернёй». Осердись на меня, но больше на себя, укройся на своей уютной даче, а лучше поезжай на свой горемычный, ограбленный и угробленный Урал, схватись за сивую голову, помолчи, подумай, уединясь, о своём назначении на земле. Может, Бог и обратит на тебя внимание, вразумит, вернёт к делу, которое он тебе назначил, и простит грехи твои вольные и невольные.

А за Ивана и за память о нём спасибо! Очерк этот убедил меня, что ты человек и писатель ещё не конченый, иначе я бы тебе и не написал.

Кланяюсь. Виктор Петрович

24 ноября 1992 г.
Красноярск
(В.Болохову)
Дорогой Володя!

Ко времени пришло твоё письмо, днями начинаю работу над второй книгой. А написавши большую и очень трудную работу, на почту не смогу отвлекаться, силы уже не те, ведь через год стукнет 70 лет — это много.

Что касается твоего письма, то один Господь без греха, но я хоть каюсь в них, грехах-то. Действительно, поддерживал и хвалил людей, иногда недостойных, но чаше страждущих или чем-то меня опутавших, но ещё чаще, чтобы отвязаться от мешающего жить и работать, особенно журналистов и особенно провинциальных — жалко! Сам был таким. Одно время я говорил: «Если б был бабой, весь матрац подо мной изорвался б в клочья, никому не могу отказать».

Провёртывались и пащенки, но всего четыре за 42 года. Сами по себе они, конечно же, вредны и вредны тем, что, обжегшись на Пащенко, я потом могу пройти и не помочь десятку талантливых людей. Однако ж помогаю. За мной остаётся архив, и из почты моей люди узнают, что поддержал, протолкнул, помог чем мог очень многим настоящим, талантливым людям, подставлял плечо и спину друзьям и слабым людям

Вот перечитал телегу рукописей, выловил из того воза три талантливейших рассказа и со своим предисловием отправил в «Новый мир», увы, их там не приняли, и я передал рукописи в другой журнал. Из всех моих рекомендаций поэтическая не прошла ни одна, прозаических же несколько проскочило. Ну и что? Мне стрелять новомирцев, да? Ну, застрелю я своего старого

друга и превосходного прозаика Залыгина, написавшего «На Иртыше», «Комиссию», «Солёную падь», и что будет? Может, ты знаешь того, кто может заменить его на посту главного? Я таких не вижу и не знаю пока. Кстати, Евгений Храмов, гуляка-мужик, поэт какой, не знаю, уже в «Н. м.» не работает. С ним вместе «ушли» и ещё кое-кого, а взяли людей с коммерческой жилкой, ибо выпуск одного номера «Н. м.» стал стоить 2,5 миллиона, и дай Бог, чтобы журнал выжил. Он был и остаётся пока лучшим в стране, и я немножко горжусь, что состою в его редколлегии, пущай и номинально, скорее дежурно, чем действующее. Я, соглашаясь в редколлегию, так и просил не загружать меня, а Залыгин — мужик понятливый, вон даже гонорар платит ныне самый высокий в стране своим авторам, не желает, чтобы они голодом сидели.

Вот так вот. Что касается Хлестакова Гены, то это агромадный мужик из деревни Толстоносово родом, проработавший оперативником 25 лет и пробующий себя «на ниве журналистики». Я не читал, чего он там наворотил. Тамара, жена его, капусту мне солила в Овсянке, а Гена всё с говорящей машинкой вокруг меня крутился, ну вот и надыбал материал. Что же, мне его тоже убивать? Так ведь не справлюсь, в нём естественного весу 120 кг, и он приёмами владеет, да и худого ничего мне не сделал, а хорошее сделать пытается, помочь чем. А то ведь критиков и стихоплётов много, но мусор увезти некому и за хлебом послать некого, а сами мы всё чаще и чаще не ходоки и нам догляд нужен. А я был и остаюсь человеком благодарным. Иль это тоже грех в твоём понимании?

Здоров будь и поосторожней по отношению к старшим, а то ведь не все они обладают таким же чувством юмора, как я. Кланяюсь. Виктор Петрович

1992 г.

(адресат не установлен)

Дорогая Татьяна Васильевна!

Поклон Вам из далёкой Сибири и благодарение за письмо, за книгу, за работы ребят, довольно умные и порой писанные совершенно зрелым, устоявшимся почерком и содержащие свои ребячьи мысли и суждения. Если за учеников переписывали папы или мамы, то это совершенно напрасно — нынешние дети, чаше всего единственные в семье, и без того лишены самостоятельности мысли и действий, забалованные, ленью и инертностью поражённые. Я со страхом думаю, что с ними будет, если грянет беда: голод, война, свалка, от чего мы совершенно не

застрахованы.

Мы оставляем детям землю больную, изношенную, химией угнетённую1 небо дырявое и грязное, реки покорёженные — только в Сибири 19 мощных гидростанций. Моря опустошённые и загрязнённые.

Если дети нашего поколения из леса не вылазили и знали, какой корень или цветок съедобны, то нынешние детки и в лесу-то не бывают, ничего «про природу» не знают. Бог — опять же Бог! — уже начал спасать людей, возвращая их к земле через дачные участки, где дети видят, что калачи растут не на берёзах и картошка — не на соснах. Хотя и здесь детки при попустительстве бездельничают, где родители не приучают их трудиться на земле, в больших семьях дети по своей воле трудятся и дома, и на земле.

И когда придёт пора окончательного возвращения горожан в деревню, а это произойдёт непременно и скоро, иначе гибель всем, — снова начнётся освоение целины, запушенных пашен, снова начнёт воскресать деревня. Вот тогда наиболее подготовленные к труду и приближенные к земле и природе люди и будут по праву царствовать на земле и из последних уж сил спаса смертельно больную Россию. И тогда интеллектуалы и интеллектуалки пойдут снова в сёла — менять на картошку и хлеб свои драгоценности, тряпки свои знания, свой ум употреблять будут во спасение и процветание земли, не на покорение, то есть на погибель, как это делали наши 2-4 поколения.

Такое развитие человека, когда жители вашего городка летают уж до Луны и живут на небе, а в деревнях землю копают лопатами: когда одни страны обладают оружием, от которого нет зашиты, а где-то у озера Чад люди — тоже люди! — в набедренных повязках ведут первобытный образ жизни и («тайные» сношения с цивилизацией) обменивают рыбёшку и овощи на железки и стекляшки. Такая разножопица (извините за деревенский лексикон) ни к чему хорошему привести не может, и если мы не одумаемся, не остановимся в полёте, в беге, на танках, не уверуем в Божьи помыслы, то очень и очень скоро достигнем края пропасти.

Вместе с Вашим пакетом пришёл конверт с сочинениями ребят на ту же, что и у Вас, тему: небо и земля. Звёздного городка жители, конечно же, более развиты, чем в кубанской станице, откуда пришёл конверт, но и в том, и в Вашем конверте всё то же удивление поведением Васютки в лесу, и как много они «почерпнули полезного из рассказа» *[речь о рассказе «Васюткино озеро». — Сост.]*. Но почему из рассказа? Почему не из леса, не у природы учатся дети? Давно пора в школах вводить уроки

природоведения, надо проводить эти уроки в поле, в лесу, в огороде, заставлять их копать, сеять, садить (да хотя бы цветы), очищать водоёмы, лечить леса. Отчего же нас, деревенских детей, в тридцатых годах учили этому, лесом врачевали, а ныне городские дети узнают природу разве что по телевизору?

Литература — вещь хорошая, молитва — тоже, но они всегда были и будут после хлеба насущного. Когда-то в одной комсомольской газете шёл спор, кто ценнее в жизни — хлебороб или интеллектуал. Наши дети, да и взрослые, как всегда, демагогично, многословно вели вялый спор, но английский писатель, не владеющий приёмами нашего привычного блудословия. оборвал этот пустозвонный спор одной фразой: «Жрать захотите, и сразу ваш спор прекратится». Я, испытавший голод 33-го года и много раз познавший, что такое он, голод, знаю, что «этот царь беспощаден». Не нужно закормленных пряниками детей закармливать ещё и словесной мякиной.

Вчера у меня был целый класс ребят из города Бирюсинска Иркутской области, и, ведя их по берегу Енисея, я показал на противоположный берег, где раскапывают в пещере стоянку первобытного человека наши археологи, и сказал, что в пещере найдены приметы и «вещественные доказательства» людоедства. Один малый сразу врубил: «Завалил жену и сожрал!» — и все засмеялись, учительница, конечно же. возмутилась, а малый из 5-го класса и такой уж «остромыслящий»! Вот, чтобы муж жену не жрал иль жена его — надо бы нам приостановиться, одуматься, попробовать для начала сдержать себя в смысле потребления и истребления всего сущего вокруг, а потом уж за лечение себя и природы приниматься, иначе на этих умненьких ребятах всё и завершится.

Посмотрел я Вашу книжку, Татьяна Васильевна, ещё один вздох и стон деревни, на стихотворении «Деревня Рогово» — прослезился. Стихи Вы пишете основательные, незаёмные, и «бабье» в них своё, только жаль, что всё это пишется уже «во след» многих книг прозы и поэзии, отпевшей и оплакавшей нашу несчастную русскую деревню, с потерей которой потерял себя и наш народ. Богом он задуман народом мирным, земным, и если авантюристы всех мастей, преобразователи и проходимцы красной масти сбили его с пути, ввергли в войны, перевороты и кровопролития, то они в конце концов и будут народом и Богом наказаны, и погибнут прежде самого народа, потому как прокляты Господом от рождения. А народа нашего останется ещё достаточно, ибо он велик, увы, велик чаще только по числу, и сколько его останется, что там впереди будет — масса или народ — судить не берусь, ибо и сейчас уже вижу вокруг не народ, не

нацию, а население, среди которого не вдруг и распознаешь признаки нации, когда-то самой трудовой, самой выносливой, от прошлого, кажется, только терпение и осталось — признаки русичей.

За почерк меня простите — я с войны вижу лишь одним глазом, за мысли невесёлые. Писать ребятам я не буду — недосуг. Перескажите это письмо своими словами, а письма ребят отдам в нашу замечательную сельскую библиотеку, где есть мой архив.

Низко кланяюсь, Виктор Петрович

14 декабря 1992 г.
Красноярск
(Адресат не установлен)
Уважаемая Лилия Витальевна!

Спасибо за письмо, за поправки. В издание книги я их внесу, а в газетную публикацию, буде она состоится, уже не успею. Марья Семёновна нашла тут кое-какие отходы от «Последнего поклона» и велит их отправить. Я знаю, что в доме среди бумаг всякой всячины затесалось много, и кому это интересно, не очень-то представляю. Мне всё кажется, что не только наши бумаги, но и наши книги уже никому не нужны. Но будем надеяться на спасение с Божией помощью. После войны было куда труднее — выкарабкались. Правда, тогда мы были на духовном пределе, полны надежд, и народишко ещё так низко, как сейчас, не пал.

Я отправляю бумаги мои в два места: в Пермь и в дом Пушкина в Санкт-Петербург, там заведён мой фонд. В Сибири, в частности в моём родном городе, это никому не интересно. Здесь собирают бумажки старых большевиков и ищут сортир, в котором оправлялся Ленин, чтобы поместить его в саркофаг. И вообще, чем дальше на восток, тем больше дикости и тупоголовия, хотя народ сибирский сам по себе более целен душой и лучше сохранился, чем в самой России и на Урале, да вот невежество его, как и везде, заедает, что тифозная вша.

Пошлите мне, пожалуйста, опись последнего нашего отправления к вам. Дело в том, что М. С. заполучила от меня бумаги на машинку, но сложила их вместе с архивными и отправила несколько новых «затесей» в архив, скорее всего, в санкт-петербургский. Но оттуда присылают опись обязательно, и я увижу из неё, дома ли потерял художественные произведения, Марья ли их сбагрила по нечаянности.

Она вот на старости лет очень тоскует по Уралу, скорее по родным местам и могилам, ибо в остальном, по саже, заразе, природному разбою и преступному разору мы таки достали Урал,

а кое в чём, наверное, уже обогнали, и пейзаж в нашем городе нисколько не хуже чусовского. Благо только в том, что живём за городом, в лесах и на крутом берегу Енисея, напротив знаменитых Столбов, да ещё есть не тронутая варварами тайга, куда я раз-два в год могу забраться и немножко подживить свою душу и забыться.

Низко кланяюсь. Ваш Виктор Астафьев

19 декабря 1992 г.

(В.Г.Летову)

Дорогой Вадим!

«Отыскался след Тарасов!..» Я осенью месячишко поотдыхал в больнице, ко мне приходил Модест Малахов (он теперь человек семейный, имеет частную каку-то фирму!), и мы вспоминали тебя. Я ему сказал, что не знаю, возможно, в Омске, но в Кишинёве, воюющем со всеми, кроме румын, он едва ли останется.

И вот Ташкент! Эко тебя по косоглазым-то водит и водит. Никуда я сейчас, конечно, не двинусь, ибо работаю вторую книгу романа, первая печатается в № 10—12 «Нового мира». Да и зима, дома оставить народ не на кого. Хотел вот осенью слетать в Алма-Ату, близкий человек звал, но посмотрел, посмотрел и раздумал — улететь-то улечу, а прилететь обратно большой вопрос. Сейчас мне лучше всего быть дома, в крайности двигаться — так не далее Овсянки. Я в Москве-то последний раз был в июле, на так называемом съезде так называемых писателей. Из всех союзов я давно вышел, в партиях как не состоял, даже в лучшей из всех партий, что была умом и совестью всей эпохи, так и не состою.

Мой партиец Марья Семёновна тоже разочаровалась в идеях коммунизма, но билет дома оставила, детям говорит, чтобы не поступали, как я, не совались куда не надо.

А дети растут и дуреют, в мясо в основном растут. Витька шаляй-валяй домучивает 11-й класс, Поля заканчивает третий, мы старимся, время движется всё в одну и ту же сторону, Я спасаюсь работой, М. С. — хлопотами и заботами по дому. Ждём весны, тепла, сегодня вот минус 21 и такой хиус с Енисея, что и на кладбище не решились ехать, хотя каждый месяц, 19-го числа, стараемся там побывать.

Твоя затея написать о писательской жене к Марье едва ли приложится. Не думаю, что она согласится на такую роль, да ещё в «Огоньке» в качестве модели фигурировать. Но если так просто хочется прилететь, наметить себе тему у нас — а тут «матерьялу» до хрена, — и прилетай, самолёт ещё ходит, узбеков-торгашей

возит. А они в отличие от кавказцев смирненькие такие, ласковенькие. Спросишь: «Сколько?» — всё триста-четыреста-шестьсот рэ. «Дорого», — скажешь. «А самолёт не дорого, дюмашь?..» Ласковы они, пока палки в руки не возьмут и бить иноверных не примутся...

Я сегодня уже «отстоял» смену, рука устала, поэтому прости за сумбур в письме.

С Новым вас годом! Здоровья, хлеба, Бога и мира в душе! Ваш Виктор Петрович

1993

3 января 1993 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

С Новым тебя голом! С новь счастьем! Здоров будь! Да чтоб весна и тепло скорее, остальное от съезда советских депутатов зависит.

Мы живём, как и все, в трудах, заботах и тревоге. Я пытаюсь делать вторую книгу романа, но не скажу, что попытка очень уж успешна, пока пишется вяло и неинтересно, однако буду тянуть лямку, а то без работы и вовсе останешься.

М. С. сдаёт, дети растут и наглеют, ничего радостного вокруг нету, кроме поездки на могилу дочери, и уже завидую её покою и усмирению. Никуда не езжу, ни с кем не общаюсь, кругом сплетники и стервятники одни.

Ну, храни тебя Бог. Не пишу оттого, что настроение худое и на сердце паскудно. Кланяюсь, обнимаю. Виктор Петрович

19 января 1993 г.
Красноярск
(Г.В.Вершинину)

Уважаемый Геннадий Васильевич!

От Вашей весточки и от газетных вырезок повеяло давним, уральским, моей творческой молодостью. Я сейчас совершенно обессилен, заканчиваю черновик второй книги романа «Прокляты и убиты» (первая книга в № 10-12 «Нового мира» за 1992 год), и со временем совсем плохо у меня. А у Марьи Семёновны того плоше, она ведёт дом, в котором двое сирот-детей, печатает мои рукописи и ещё умудряется иногда что написать — это после пучка тяжелейших болезней, в том числе двух инфарктов — во уральская порода!

Рукопись Вашу, точнее, вырезки, особенно про рыбалку,

читал я с удовольствием. Сам-то из-за болезни лёгких зимнюю рыбалку закинул, но летом и осенью ещё бываю в тайге, ловлю, чего клюет, чаше хариуса и ленка.

...Весной прошлой и был в Перми, Чусовом — нужно было для романа. Собирался и в Лысьву. у нас там на улице Лесной в доме № 33а живёт наша бывшая нянька, которая нам ближе всякой родни, фамилия её Опарина (по мужу), зовут Секлетинья. На Лесной же жили крестный и крестная Марьи Семёновны, которые вместо отца-матери нам были, но не получилось у меня, не хватило времени для поездки в ваш город.

Был в местном издательстве, они как раз верстали «Робинзона Крузо» И ещё что-то из мировой классики, а местных авторов совсем не издают, если уж разве за свой счёт. Но и этого с определённостью сказать не могу, связи мои с Уралом ослаблены и случайны. Старею, скоро 70 лет, и на всё меня уже не хватает. Закончить бы роман успеть — эта книга моя главная.

Если поухаживаете за могилой Сергея Семёновича *[брата Марии Семёновны, фронтовика. — Сост.]*. Вам зачтётся перед Богом. Мы — далеко. Где-то там рядышком лежат и Алексей Ефимович, и Серафима Андреевна Ходыревы, наши крёстные, наверное, всеми забытые. Секлета их обихаживает, она тоже у них жила до замужества.

Ну, кланяюсь Вам, желаю здоровья и всего хорошего Вам и Вашим близким. Уралу поклон отдельный от меня и от М. С. Виктор Астафьев

21 января 1993 г.
Красноярск
(адресат не установлен)
Дорогой Илья Григорьевич!

Благодарю Вас за письмо, за поддержку, столь мне сейчас необходимую — идут письма самые главные, от тех, кто мыкался именно в 21-м полку и других полках, ему подобных.

Не смогу ли я попросить Вас, Илья Григорьевич, прочесть рукопись второй книги романа *[речь идет о романе «Прокляты и убиты». — Сост.]*. Сейчас я заканчиваю черновик, но к осени надеюсь довести книгу до читабельного состояния. Есть у меня там один генерал, почти хороший! Два командира полка и офицеры есть. Мне бы хотелось уточнить их действия и всё прочее. Сам я, как помните, лишь солдат, и Кочетов-классик называл нашу солдатскую правду-матку «кочкой зрения». Вторая книга больше первой и гораздо тяжелей. Если почему-либо не сможете выполнить мою просьбу — нет претензий. Кланяюсь Вам.

31 января 1993 г.
(М.С.Литвякову)
Дорогой Миша!

Письмо твоё, прельстительное и прелестное, пришло в те дни, когда я доштурмовывал на пределе сил вторую книгу романа «Прокляты и убиты» и позавчера таки доштурмовал!

Съездил к сестре на день рождения (она по выговору, красе и характеру родимый папа, Пётр Павлович, кинула мужа старого, завела нового, из Игарки выехала на магистраль и живёт теперь неподалёку от меня). Выпил я у неё две с половиной рюмки и окосел на второй глаз, так я устал от работы. Ведь Написал 520 страниц, исписав почти две чернильницы этих вот хороших американских чернил которых осталось на донышке, ровно столько, чтоб написать тебе и ещё некоторым хорошим людям письма.

Тем временем мы сподобились увидеть с М. С. тебя по телевизору, и разом оба охнули — настолько ты сделался волосат, красив и на яврея совсем непохожий. А японочку, между прочим, ты мог бы нам подобрать и показать покрасивше, а то японец красавец писаный, а японок такого колера у нас и в Хакасии дополна.

Живём мы, Миша, как и все бывшие советские люди, где-то во всё стремительнее вращающемся пространстве, где и не поймёшь, чего творится, не успеваешь голову поворачивать на картины и кадры, в нём мелькающие. От всего захватывает дух и ноет сердце и живот — как дальше будет? И не поймёшь уже, где комедия и где трагедия. Всё смешалось. Мы живём на моей жопой заработанные деньги, которых, я думал, хватит мне и останется внукам. А теперь хватило бы на этот год. Я раньше всё боялся называть сумму, которую скопил трудами своими, а тут назвал эту сумму одному новому делателю денег и жизни, он расхохотался, сказал, что это пустяк. Так вот за пустяк я изработал всю свою жизнь, надсадил контуженую голову и отдал сиденью за столом всю вольность жизни, почти не познав прелестей и радостей её. Даже и не поблудил, сколь положено мужику.

И продолжаю так жить. Втянулся, и радости нахожу только в работе. Вероятно, я всё же надсажался не зря и место моё в литературе принадлежит только мне, хотя я и вышел из всех союзов. Посылаю вот тебе газету с объявлением о начале издания моих полных сочинений, которое, однако же, напоролось на

современные ошеломительные цены и кабы не умерло на корню, хотя первые три тома налажены и находятся в издательстве. Шеститомное издание в «Молодой гвардии» законсервировано на четвёртом томе, и меня об этом даже не известили.

Но есть люди в Сибири и читатели, которые, вероятно, не дадут нам помереть с голоду. В Иркутске Гена Сапронов решил издать два тома моей военной прозы с первой частью романа во главе, положил мне плату хорошую. В Красноярске новое издательство решило печатать — тоже два тома «Последнего поклона», издаются книги и в Москве, но больше уже как-то стихийно и случайно. Не пропадё-ом!

Достраивается библиотека в Овсянке. Идут отделочные работы. Открывать будем по теплу, где-то в конце мая, и женщины наши обещали пригласить тебя, а я приглашу отдельно. Анечка *[А. Е. Козынцева, директор овсянской библиотеки. — Сост.]* ростит своих трёх детей в наше время, и уж вот ей-бы надо давать ныне звание «Мать-героиня». Потому как Валера её, с виду несокрушимый мужик, стал часто болеть, а у нас и зарплату-то не всем платят, по больничному же...

Народ теперь, если его спросят, где тут изба Астафьева, говорит: «А недалеко от сельсовета трёхэтажная дача строится, так это его дача и будет». Так что народ положительного мнения о себе, обо мне и моих доходах. Молодец народ! Завсегда найдёт, кому позавидовать и кого бить.

Сейчас моя М. С. снова взялась за титанический труд — печатает мою рукопись, а я собираюсь у Парыж на презентацию журнала «Феникс XX», в хорошей компании: Василь Быков и редактор журнала Владимир Огнев. Маленько развеюсь, отвлекусь, и, глядишь, весна наступит. В огороде повожусь и потихоньку начну ковыряться в рукописи. Надеюсь поздней осенью, або зимой сдать её в «Новый мир», а там и третья книга наползёт. Но раз Господь приговорил меня к этому труду, надо его исполнять до конца.

Много чего надо бы написать, да и на другие письма надо сил оставить. Ирине наш общий поклон, сыну, невестке и всем дальше следующим тоже. Кланяемся, обнимаем я, Мария, Витя и Поля, которой 11-го исполнилось 10 лет. Преданно ваш Виктор Астафьев

11 февраля 1993 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Зима свалилась на склоны горы. Была она у нас квёленькая, не сибирская, но, к счастью, и не псковская, без дожжэй, хотя мокренько на дорогах и становилось порой. Но и зима, и Сибирь всё же «людям» женского рода и так просто не уступят, непременно спохватятся в мае, а то и в июне, навалят снегу, подморозят, упредят, что они всё же есть и забывать о них не надо. Но и при этаких клим. условиях, когда морозы держались в пределах минус 7 — 15. и лишь несколько суток до минус 27, в городе всё лопалось, тонуло, люди жили при 5-7 градусах тепла, в том числе и моя сестра, Галина Николаевна, святая душа и добрейший человек, которую всю жизнь за что-то иль печёт, иль морозит.

В середине января в Овсянке мы отпраздновали 80-летие её матери, известной тебе бабули — Анны Константиновны *[Потылицыной. — Сост.]*. В поределой родне, которой стало хватать и горницы в дядином доме, и одного стола (а то вечно друг на дружке лепились), поели, попили мы и даже попели, хотя прежнего ладу и строю уж нету. Да и где он ныне на Руси есть? Я уж и от этакого хора растрогался, до слёз дело не дошло, но ретивое рассолодилось, пожалеть всех захотелось.

Всю-то зиму-зимскую я проработал, оттого и не писал тебе. Делал черновик второй очень трудной книги, более объёмистой и страшной, по сравнению с первой. Хотел избежать лишних смертей и крови, но от памяти и правды не уйдёшь — сплошная кровь, сплошные смерти и отчаянье аж захлёстывают бумагу и переливаются за край её. Когда-то красавец Симонов, умевший угождать советскому читателю, устами своих героев сказал — немец: «Мы всё-таки научили вас воевать», а русский: «А мы вас отучим!» — так вот моя доля отучивать не немцев, а наших соотечественников от этой страшной привычки по любому поводу проливать кровь, желать отомстить, лезть со своим уставом на Кавказ, ходить в освободительные походы.

Литература про «голубых лейтенантов» и не менее голубеньких солдат, романтизировавшая войну, была безнравственна, если не сказать круче. Надо и от её пагубных последствий отучивать русских людей, прежде всего этих восторженных учителок наших, плебейскую полуинтеллигенцию, размазывающую розовые слёзы и сладкие сопли по щекам от умиления, так бы вот и ринулись она или он в тот блиндажик, где такая преданность, такая самоотверженная любовь и дружба царят...

Носом, как котят слепых, надо тыкать в нагаженное место, в кровь, в гной, в слёзы — иначе ничего от нашего брата не добьёшься. Память у россиян так коротка, сознанье так куце, что

они снова готовы бороться с врагами, прежде всего унутренними. Не успев возродиться при попустительстве вчерашних партократов, современные перерожденцы уже вякают: «Мы скоро вас перевешаем!» Нас?! А потом друг дружку. Если они, как Наполеон, пусть и ненадолго придут к власти — России конец, всему тогда конец, и им — этой заразе, навязавшейся на российское тело, тоже конец, но уж с такими потрясениями, от которых и мир может содрогнуться и рассыпаться в прах.

Мало кто, в том числе и коммунисты, чёрт знает во что переродившиеся уцелеют. Вот напасть так напасть на Россию, самими нами и вскормленная, и взращенная.

Идут уже письма на первую книгу романа. Есть интересное письмо от военного, 24 года проработавшего в КГБ, судя по письму, в самом его чреве. Так вот он запросто и почти точно предсказал судьбы героев романа. Ну, конечно, бесятся высокопоставленные военные, так истово укреплявшие ряды верноподданных и нас гнувшие до самой до земли.

И беда, горе горькое. 1 февраля умер в Темиртау мой фронтовой друг, тот самый, что тащил-вёл меня с передовой в 1944 году. Слава, Вячеслав Фёдорович Шадринов, и я не смог полететь на похороны. Надо было лететь с посадкой в Омске до Караганды, потом ещё автотранспортом ехать, а я что-то подраскис, истощившись работой над рукописью. Помаленьку шалит всё, бывает очень высокое давление, болят суставы, особенно правое плечо, не могу снять самостоятельно шубу, М. С. или Поля помогают. Поля иногда говорит: Давай, деда, я тебе массаж сделаю», потыкает кулачишком, потискает плечо, и вроде уж легче. Надеюсь на солнце отогреть свои кости, может, и пройдёт. Но до весны ещё эвон сколько!

Чтобы сократить время до весны, согласился полететь в Париж на презентацию журнала «Феникс XX», первый номер которого вышел, наконец, после 7-летнего мытарства. Компания хорошая: Василь Быков, редактор — Владимир Огнев. Хочется рассеяться, встряхнуться, в Москве дела кое-какие приделать, но пока Огнев не может найти денег на поездку. Если найдёт, в конце февраля отбудем. Не состоится поездка в Париж — залезу в тайгу, на лес посмотрю, на речке посижу у лунки.

Гена Сапронов из Иркутска предложил мне собрать двухтомник моей военной прозы вместе со статьёй, которую я написал для собрания сочинений, и мы с Марьей Семёновной опять пурхались в бумагах, опять ворошили старьё и расклеивали «Чёртову яму». Собрания-то мои сочинений, бодро начавшись, замирают тихо из-за обвальных цен, а жить надо. Гена предложил мне хороший гонорар, а современно мыслящие и действующие

люди говорят: «Пустяки!» А цены-то у нас на продукты оглушительные. Местное издательство, тоже новое, намеревается переиздать целиком «Последний поклон», так что пропасть не дадут, а вот как ты сводишь концы с концами, не могу представить.

Однако при всём при том, если ты захочешь летом побывать в Сибири, можно найти того, кто оплатит тебе дорогу (дорога сделалась немыслимо дорогая), картошек же и крупы на кашу, да и концерву к ней, всё одно найдём. Таня из Никольска *[Андросова, хозяйка дома, где В. П. Астафьев жил во время съемок фильма "Жизнь на миру". — Сост.]* и мне прислала чудное письмо и вот-вот должна прилететь на леченье. Тем временем у Володи Кузнецова обчистили квартиру, но он ничего, держится. Позавчера мы с М. С. были у них в гостях. Люба нас вкусно кормила, Володя поил коньяком. Поля наша бредит Никольским и не допускает даже мысли о том, что летом она не побывает там. У Кузнецовых она бывает часто с ночевой, дружат они с Тоней. А учится плохо, мотает нервы бабушке, врёт на каждом шагу, да танцует и наряжается. Может, инстинктивно хочет пожить, как положено жить детям — беспечно, ибо без бабушки и дедушки хватит такого лиха, что и думать об этом не хочется.

Ну ладно. Бог не оставит нас всех, надо же и ему о нас иногда вспоминать и совсем-то не отворачиваться, хотя и поганцы мы изрядные. Вон Крупин поёт: «Любит нас Господь, оттого и наказывает, любя».

Пусть бы он не так выборочно это делал, иногда и «помотал», как требовал чусовской профсоюзник, когда ему директор клуба металлургов, спутав туалет с балконом, писал на голову. Не всё же нам одним пользоваться безоглядно этакой добротой, как поляк-то хитромудрый определил: «Эгоист это тот, кто думает только о себе и не думает... обо мне».

Кланяемся, обнимаем, к сердцу прижимаем, часто вспоминаем, то в связи с Чусовым, то просто так, тревожимые памятью. Храни вас Господь! Я, Мария, Витя и Поля — твои Астафьевы

28 марта 1993 г.
Красноярск
(семье Каневых)

Дорогая Калина! Дорогой Георгий!

Вот и дошла до нас весточка из Болгарии, которую мы вспоминаем часто и нежно. А следом пришло и поздравление с Женским днём от Кирилла Момчилова. Спасибо ему, спасибо вам,

Калина и Георгий, за память, за поздравления, за всё, за всё!

Признаться, я всё время собирался написать вам и не решался, боясь вам повредить. Обстановка у вас в стране и у нас тоже резко изменилась, время очень смутное, мы оказались не готовы к свободной жизни, хозяйство расстроенное, люди резко размежевались. Я очень рад, и Марья Семёновна рада, что вы, наши старые друзья, остались верны и привязаны друг к другу, ведь приобретать друзей нелегко, терять их — большая трагедия для каждого рагу много человека, ибо жизнь коротка и в старости может постигнуть человека горькое одиночество.

Мы живём, как и прежде, на прежнем месте, воспитываем внуков, стараемся помаленьку работать, старимся.

Я за время прошедшее опубликовал рассказы, написанные в Болгарии: «Людочка», «Мною рождённый», «Улыбка волчицы». Закончил «Последний поклон», написав две заключительные главы: «Забубённая головушка», «Вечерние раздумья», и, самое главное, начал роман о войне, первая книга которою напечатана в последних номерах «Нового мира» за 1992 год. Сейчас я работаю над второй книгой и, если хватит сил и жизни, собираюсь написать и третью. Отношение к роману разное, в основном хорошее, есть уже пресса на первую книгу, но самое главное — идут письма от бывших фронтовиков-окопников, о которых и для которых, собственно, книга и затевалась.

Сейчас Марья Семёновна стучит на машинке, печатает рукопись, а я жду не дождусь, чтобы скорей уехать в деревню и заняться работой в огороде, а затем продолжить работу над рукописью. Меж крупными вещами продолжаю писать «затеси», много сделал новых.

Внучке нашей Поле в январе исполнилось 10 лет, а Вите в апреле будет 17 лет. Время бежит. Уже шестой год, как умерла наша дочь, и нам без неё и горько, и нелегко. Сын Андрей с семьёй по-прежнему живёт в Вологде, но каждое лето приезжает к нам, в прошлом году был вместе с сыном, нашим внуком Женей, которому нынче в июне будет уже 13 лет, я из него сделал заядлого рыбака.

А покойную дочь я привёз в Сибирь, похоронили мы её на овсянском кладбище, у неё мы стараемся бывать каждый месяц и утешаемся хотя бы тем, что она близко от нас.

Родственники мои в Овсянке почти все покинули сей мир, отмучились, в апреле будет год, как умерла моя последняя тётушка Августа Ильинична, похоронили её рядом с оградкой нашей дочери.

В Москве я бываю очень редко. В последний раз был в июле прошлого года, когда проходил съезд Союза писателей. Ныне я ни

в каком Союзе не состою, сам себе Союз, в партии ни в какие не вступал и не вступаю, стараюсь ни в какую политику и смуту не встревать, хотя совсем от этого избавиться невозможно, нет-нет и достанут, вытащат из-за стола.

Дорогие наши друзья! Мы бы очень хотели послать вам книги и журналы. Как это лучше сделать, мы здесь узнаем, и вы нам подскажите. У меня готовятся к изданию двухтомник военной прозы в Иркутске, куда входит и первая книга романа: начинается издание полного, уже законченного «Последнего поклона» и «Царь-рыбы» с выброшенной когда-то цензурой главой. Всё это будет к осени, а сейчас через экспедицию института леса мы пробуем отправить вам хотя бы журналы с романом.

У вас сейчас уже тепло и всё цветёт, а у нас ещё лежит снег в горах и в тайге, но тоже кругом уже тает. И наша жизнь, набравшись сил и тепла у весны, помаленьку оттаивает и налаживается, и, быть может. Господь будет милостив к нам, и мы ещё увидимся на этом свете и братски обнимем друг друга.

Всем, всем друзьям, побратимам — наши дружеские поклоны и пожелание доброго здоровья да благодати на каждый день. Преданно ваши Виктор Астафьев и Мария Астафьева

1993 г.

(В редакцию "Енисейского вестника")

С удивлением узнал я, что по Енисейскому избирательному округу кандидатом в депутаты зарегистрирован Пащенко Олег Анатольевич, редактор откровенно фашиствующей «народной» «Красноярской газеты», которую народ же за её хулиганский, злобный нрав поименовал «Подворотней».

Третий раз он пытается хоть куда-нибудь затесаться, хоть какую-нибудь получить властишку и славу, Пащенко, но в Красноярске уже не осталось порядочных людей, не оклеветанных и не оскорблённых им в своей газете. Здесь за него проголосуют только выжившие из ума бывшие партократы, последыши сладкозвучного комиссарства, не забывшие почестей, и отдельные гулаговские отставники, лжепатриоты. Вот Пащенко и подался снова в края не столь отдалённые, под водительством генерала Руцкого, видимо, в четвёртый раз собирающегося кому-нибудь сдаться в плен и там, в плену бороться за .. державу».

Без удивления прочитал я предвыборную листовку кандидата в депутаты Пащенко и по стилю узнал автора — самого кандидата, который всегда пишет о себе тепло и умильно, нередко — впадая в щенячий визг: и умён-то он, и боец, и родину любит больше всех, и отец-то он добрый, и дед ласковый. Готов

спасти всех страждущих и обиженных, в первую голову, конечно, бедных, потому как сам беден, не имел и не имеет дачи, ни машины, словом, ..истинный пролетарий».

Он и в самом деле не имеет ничего, даже огорода, ибо он лодырь по натуре не стыдившийся в молодости объедать и опивать жён своих, а обездолил, бросил их несколько. Сын деревенских родителей, он давно забыл, с какого конца берутся за лопату, как и чем вбивают гвозди.

И этакого вот «варяга» подваливают вам, енисейцы, аж из самой краевой столицы! Но разве вы не видите по телевизору, что дума наша и без того перегружена психопатами, фашиствующими молодчиками и просто дураками?

У вас в городе и в районе вполне достаточно порядочных людей, способных достойно представлять в думе енисейскую общественность и власть. Назову хотя бы Железовского, одного из лучших лесничих края и страны, спасающего, садящего лес в районе, уважаемого не только лесниками, тем более что Железовский уже был головой Енисейска, много сделал добра городу и людям его. Человек, которого не смогли «спортить» даже преступная партия и холопская советская власть, униженно танцевавшая перед нею, способен честно и праведно служить своему народу, оставаться с ним, не ища удобств в Москве, не кривляться в зале думы, способен говорить правду и приумножать уважение к Сибири и сибирякам.

Виктор Астафьев, писатель, академик, бывший депутат областных, краевых и Верховного Совета СССР, инвалид Отечественной войны

16 мая 1993 г.
Овсянка
(Д.Г.Шеварову)
Дорогой Дима!

Я с 4-го числа в деревне. Погода у нас ужасная. До сих пор холодно, идёт снег, дождь, кругом сыро, непроглядно — этакая погода большой стимул для нашей работы, одиночество и плохая погода много помогли русской литературе, и Болдинская великая осень была не у одного Пушкина.

Я заработался до колик в сердце. И Марья моя Семёновна тяжело заболела, надо бы в город подаваться, а она не велит: «Чем ты мне поможешь-то? Работай!..» 19-го собирается приехать, дочери исполняется 45 лет. так надо проведать её на кладбище. Не знаю, как она выдержит и дату эту, и кладбище. Ну, никто как Бог...

Конечно, был бы ты рядом, кое-что в материале почистили бы и поправили, а так попрошу тебя к фамилиям Гроссмана и прочих добавить: Василь Быков, Константин Воробьёв, Иван Акулов, Юрий Гончаров, Евгений Носов не ссорь меня с моими друзьями, живыми и мёртвыми.

.. Поклон твоей супруге, поцелуй девочек.

P. S. Осталось у меня для второго, очень ёмкого и трудного захода 150 страниц — пройду и отдыхать стану, Надеюсь к той поре и у нас весна наступит - который год нет весны, вот чего мы с природой понаделали, и немудрено - в Сибири сто с лишним водохранилищ, из них 19 самые, конечно, в мире великие и самые ему нужные, особенно нам, около них замерзающим, от простуд и гниющих лёгких загибающимся...

Обнимаю, Виктор Петрович

2-3 июня 1993 г.
Овсянка
(О.М.Хомякову)
Дорогой Олег!

Я переехал в деревню (это близко) 4 мая с ворохом бумаг и с намерениями почитать и отдохнуть. Но весь май у нас был холодный, со снегом, дождём, и сейчас ещё на перевалах лежит снег и люди не отсадились в огородах.

А плохая, хорошо прежде говорилось на Руси — дурная — погода и одиночество, думается мне, и были главной причиной создания великой русской литературы — вспомни осени Пушкина, в том числе и Болдинскую, осень Бунина в полуразорённой усадьбе, осени Гончарова, Тургенева, Фета и прочих товарищей в прозяблом селе, поневоле запишешь. Вот и я, не думая об аналогиях, решил поковыряться в рукописи второй книги романа, называется она «Плацдарм», увяз в ней, и за непогожий месяц сделал второй вариант. Думаю, что ежели сделаю ещё два захода, рукопись можно будет отправлять в Москву, но я, скорее всего, уже поздней осенью повезу её прочесть людям сведущим в литературе и войне, а пока не очень-то можно хвастаться проделанной работой. Если о ком-то и сказано, что писатель «есть субъект великого самообучения», так это прежде всех обо мне. Опять всё сначала, опять жалкие ученические потуги надо доводить до профессионально исполненной работы, ибо непрофессиональность сгубила и нас, и Россию нашу разлюбезную. Живем и работаем абы как, и это после той блистательной литературы, которая за нашей спиной не то что неосвоенная, не постижимая умом, но даже и не прочитанная как

надо (Гоголь прежде всего).

За это время пришли твои письма из которых я узнал о публикациях, сунулся в библиотеку смотреть «Культуру», а там уже и странички те спёрли, так что ждал присылку из редакции и дождался вместе с письмом редактора, давнего моего знакомого. Он, ещё будучи в ЦК, пытался меня воспитывать, правда, ненавязчиво, закажет чаю и сушек, как я стакан чаю выпью и сушку одну съем, спрашивает: «Всё понял?» Я отвечаю: «Всё понял!» — «Ну так иди отсюдова...» Он был военным моряком когда-то, посылать умеет. Вот разумные он и горькие строки написал, прочитав «Чёртову яму» (её, кстати, будет печатать «Роман-газета» в 1994 голу, и выходит она в «Молодой гвардии» отдельным изданием). И, главное, он написал, что у них лежит твоя интересная статья и они её напечатают и будут впредь сотрудничать с тобой.

О поэзии... На сей раз ты попал не по адресу. Сейчас, когда сделалось возможно читать и думать божественное и о Боге, тема сия сделалась модной, кто только не тревожит светлые места и имя Христово. Твои родные киношники так заездили едва прикрытых, а то и вовсе голых баб, изображая окружение Христа, херувимов и херувимок, из опять же родного твоего края, с мохнатыми и лохматыми юбками и ядреными ляжками, видимо, в этом и поучая истинную веру. Ну, да и что взять и ждать от одичалого общества и его мораль направляющих художников?! Ты, я понимаю, невольно попал в родную колею. В одиночестве ты не мог не прийти к этой теме и, выстрадав сам в себе, отразить это. Поэмы, по-моему, никакой тут нет, а есть цикл стихов, пунктирно связанных одной темой. И какие-то стихи удачные, какие-то нет, звучащие вяло и нудно уже и потому, что сейчас пишутся стихи покаянно-злые, вот тебе одно из них, написанное шибко большой активисткой из тех, сотрясавших с трибуны и зарабатывающих место в активе, в президиуме, ну и, разумеется, за счёт этого книжечки, публикации — это она про Малахов курган писала, поскольку жила в Сталинграде, а Зыкина пела: «Здесь солдаты умирали, защищая советскую власть!» Так вот какую эпитафию она сочинила:

Над кладбищем кружится вороньё.
Над холмиком моим без обелиска,
Будь проклято рождение моё
В стране, где поощряется жульё.
Будь проклята былая коммунистка!
Будь прокляты партийные вожди,
Что были мной доверчиво воспеты,
Спешившие захватывать бразды

Правления над судьбами планеты.
Будь проклята слепая беготня
По пресловутым коридорам власти,
Бессовестно лишавшая меня
Простого человеческого счастья.
Будь проклято самодовольство лжи
С её рекламой показных артеков,
Будь проклят унизительный режим,
Нас разделивший на иуд и зэков.
……Екатерина Шевелёва

(Вот тут моё письмо прервалось, ездил на поминки одного славного мужика, умер полгода назад).

Словом, с мысли и настроя я сбился. Статью твою о Жукове я отослал Володе Карпову, который продолжает книгу о Жукове, авось какой штришок ему и сгодится, а сам, как отосплюсь, продолжу работу над рукописью.

У нас всё ещё холодно, недельку вот побаловало теплом, зацвели колокольцы, жарки, марьины коренья, и медуница цветёт, всё перепуталось на грешной земле.

Ладно, что-то выдохлось письмо, охота поваляться в постелях. А на смерть товарища написался у меня романс, этакое детское одноразовое всхлипывание:

Над Енисеем осени круженье,
И листья падают и падают в реку,
И острова плывут, как листьев отраженьем,
А сердце рвётся вслед прощальному гудку.
Ах, осень, осень, зачем так рано
Зачем так скоро прилетела ты?
Зачем ты холодом туманов
Укрыла нежные цветы?
Тревоги нет, а лишь тоска и горе.
Сжимает сердце грустное «прости»!
Летит листок в безбрежный холод моря,
В далёкий край, чтобы угаснуть и остыть
Ах, осень, осень, зачем так ярко
В час угасанья светишь ты?
Зачем в груди и холодно и жарко
От этой негасимой красоты?
Вдаль улетают птицы, нами не добитые,
И в небе стон, прощальный долгий стон.
То улетают годы, нами не дожитые.
Над Енисеем листьев перезвон.

Вот тебе на память мой бред, выплеснувшийся под настроение. Я же его пою под какую-то сборно-соборную

мелодию.

Обнимаю тебя. Бодрись! Богу молись и пусть тебе повезёт! Виктор Петрович Астафьев

4 июня 1993 г.
Овсянка
(Н.Гашеву)
Дорогой Николаша!

Получил уже второе твоё письмо в деревне и вспомнил едкую фразу: «Мама! Письмо, в котором ты просишь денег, я до сих пор не получил...» Если ваши халды ещё не отправили мне деньги, пусть переводят на почту деревни, где я сижу уже месяц. Приехав отдохнуть от рукописи и выспаться, вынужден был топить два раза в день печки и корпеть всё над той же рукописью, ибо на улице была осенняя холодрыга и у нас на перевалах до сих пор лежит снег, ночи холодные, дни тоже не очень жаркие. Отсадились на огородах в районе 1 июня, а в горах, на так называемых дачах, до се садят.

Николаша! Не могу я тебе пока ничего послать из романа. Сделал лишь вторую редакцию, на горизонте маячит ещё две, а из сырой рукописи что-либо давать в моём возрасте неприлично. Думаю, осенью, ближе к снегу смогу что-то прислать, надеюсь. Взвалил на себя на старости лет ношу, с удочкой некогда к реке сходить.

Дома у меня не очень. Марья Семёновна сдаёт всё сильнее, вот уже давненько прибаливает и ложится в постель, а это значит — край, уложить её, человека моторного и хлопотливого, весьма и весьма трудно, а тут ещё Полька — внучка приехала ко мне. Думаю, хоть немножко бабушку разгрузит, а на второй же день страшнейшим образом ржавым костылём пропорола ногу, и теперь бабушке с нею хлопот и канители ещё больше.

У Вас, на Урале, я вижу это по телевизору, погода получше, и дай Бог! А то, я гляжу, без своей картошки россияне не выживут, совсем уж край революции наступил — справа коммунисты, слева хрен знает кто, спереду губошлёп с компанией и за ним темень пропасти...

Ну ладно, живы будем. Бог даст, не помрём! Обнимаю тебя! Пермякам поклон. В. Астафьев

10 июня 1993 г.
Овсянка
(М.С.Литвякову)

Дорогой Миша!

Была у меня в «гостях» в деревне М. С. и долго толковала, помогая себе левшой, о том, что ты звонил и просил меня написать тебе чего-нибудь. А я разленился и всё мне недосуг. Присаживаюсь к столу, чтобы посмотреть изрисованную рукопись, но она в таком виде, что я и сам порою в ней не разбираюсь. Надо печатать, а М. С. некогда и едва она живая, а тут Поля вывёртывает нумера — приехала ко мне на неделю-другую отдохнуть, а главным образом дать бабушке передохнуть, и на второй день страшно поранила себе ногу на берегу Енисея. Только это событие улеглось, в Троицу, будучи на кладбище у матери или уж в моём огороде, где вырос лес, подцепила клеща, коего ныне у нас много. Погоды-то всё нет. Прошли весенние месяцы без тепла, началось лето скоро уж как полмесяца, у нас всё холодно, сыро, ничего не растёт ладом. Видно, на Новой Земле наши рванули опять какую-нибудь сверхсекретную бомбу и к нам несёт всякую пакость, в том числе и холод. Казахи выдворили со своей территории наших мудрецов, так они за остаток русских людей принялись, морят его со всех сторон как могут.

Устали все от ожидания погоды, и я тоже. До се топлю каждый день печку, в мае топил дважды и пожёг все дрова. Вчера привезли машину дров из города!!! Так сегодня здешние бродяги и выпивохи кололи, таскали дрова с улки, а я кормил их (не дрова, а бичей), варил-жарил. Хорошо, бутылка была в запасе. Без бутылки нонче и в глаза не наплюют, не то что дрова не нарубят.

Собирался в Игарку к брату повидаться и порыбачить, так, однако, не полечу, что-то шевелиться неохота. Устал с рукописью очень. И от непогоды устал. Хожу больной, сплю напропалую.

Я не знаю, чего вы хотите снимать, но лучше делать это в августе — меньше шуму. В середине мая паут, комар и мошка. Правда, мошка и в августе есть, но всё же это не паут, который коня и лося валит, а уж киношников просто обгложет до костей и выплюнет, сказав: «Никому вы ноне не нужны, вас даже жрать неинтересно. Писателя намедни ел, так он хоть толстый и хобот об него, как об Говорухина, не сломаешь».

Да-а, однова я попал под паутов-то! Мамуля моя! Фриц треклятый на фронте был более милостив к человеку, хоть поссать давал иногда, а этот, только ты чирку обнажил, в самую-то её горемышную головушку и вдарит, да так, что подпрыгнешь.

Библиотеку в Овсянке медленно, но достраивают. Лето, отнюдь не красное, катится, самолёты в Петербург дорого хоть, но летают. Преград вам нету. Рази что финансовые. Вертолёт стоит сумасшедшие деньги, правда, в Енисейске появился у меня

знакомый, деятель какой-то охотничье-заготовительной корпорации или объединения, хрен их сейчас поймешь. Так он решил купить вертолёт, и большой. Может, и купил уже. Бывший охотник, но парень оказался разворотливый. В любом случае, купил — не купил, хорошо бы побывать на реке и хорошо бы в момент заготовки белых грибов, брусники.

И на реке Сисим (помнишь — бабушка из Сисима?) тоже надо бы побывать. Места детства, загадочная страна: оттудова бабушка. Хочу я взять с собой Андрея и Женьку, рыбаком-харюзятником я его сделал. Помогать нам будут спелеологи из Дивногорска, очень организованный и бывалый народ.

Миша! Кончаются чернила, третий флакон, а тыкать в посудину мне надоело. Так закругляюсь. Мне ведь позвонить можно в Овсянку — 2-70-55 (через Дивногорск), хорошо бы утром или вечером попозже, а то я во дворе топчусь и могу не услышать.

Читал про тебя, сидючи в тайге весною в ожидании вертолёта, в старой «Юности» очерк Нади Рушевой про съёмки. Какая ж девочка к нам Богом послана была, да ненадолго, боялся он, видно, чтоб не освинячилось средь нас это белокрылое дитя.

Ну, обнимаю, поклон Ирине. А ишшо я тебя по телеку видел и обрадовался — во, бля, сказал я себе, Миша и не чует, что я на него гляжу, а то б воздушный поцелуй послал, что ли. Твой Виктор Петрович

18 июня 1993 г.
Овсянка
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Да, конечно, надо бы каждый день по письму писать, да ведь на бумагу-то просочится из души смута и вдали поразит другую душу, которой ныне так нелегко, коли она не из полена, как Буратино, излажена.

Сижу в деревне с 4 мая, больно уж надоело в городе, да и топить перестали, мне с моими лёгкими в панелях совсем худо сделалось. Топил тут печь по два раза в мае, сейчас только раз, на ночь. Пожёг дрова, сунулся к забулдыгам-землякам, а они мне 22 тыщи за машину, а в машине-то конский воз, и послал я их подальше. Александр Николаевич Кузнецов, мой добрый знакомый, внушающий моим землякам высокопоставленным, что Астафьев у нас один и замерзать ему не резон, велел своей властью привезти машину дров, а я нанял бичей овсянских колоть и убирать их. Так не рад и был, всё выпили у меня и съели, и так разошлись в смысле «гонорара», что ещё несколько ночей

ломились в окна и двери. Зато теперь я не экономлю топливо, тепло, сухо, и я работаю, наслаждаясь одиночеством.

У одиночества и непогоды есть положительное свойство — ничего другого не остается делать, как работать. И под дождь, снег и холод (думаю, что на Новой Земле рванули дуру, вот и гонит к нам благодарный Ледовитый океан свои излишки) работается, и глаза боятся — руки делают. Уже далеко я продвинулся со второй книгой и вот при третьей редакции вижу, что-то начало и получаться, но работы ещё очень и очень много. Я усложнил себе задачу тем, что не просто решил написать войну, но и поразмышлять о таких расхожих вопросах, как что такое жизнь и смерть, и человечишко между ними. Может быть, наивно, может, и упрощённо даже, но я всё же пытаюсь доскрестись хоть до верхнего слоя той горы, на которой и Лев Толстой кайлу свою сломал.

Стараюсь и читать. Много любопытного ныне пишется и печатается, страшное всё более казнится на бумаге. «Тихий» и прелестный рассказ Жени Носова в десятом номере «Знамени» за прошлый год. как увядающе-прекрасный и светлый островок среди параш, камер, казарм, общаг и московских квартир где маются интеллектуалы с похмелья. Рассказ называется «Красное, жёлтое, зелёное», таков был цвет хлебных карточек, и рассказ о них, о хлебных карточках. Ко времени и к разу он пришёлся, а то коммунисты почти уже убедили наш горемышный народ, что при них было сплошное благоденствие, а ныне вот всё не так.

Марья Семёновна бывает у меня редко, не очень она уже мобильна, да и погода, 70 раз на день меняющаяся, сырая, мозглая, мучает её. Пробовал я сюда забрать Поленьку, чтобы дать бабушке роздых, она на второй же день сильно поранила ногу на берегу Енисея, а в Троицу на кладбище, у матери, или уж у меня в огороде клеща поймала, и бабушка под крыло её заключила, как старый боец и патриотический чусовской комсомолец, рассуждая: «Погибать, так вместе!» Собрался я полететь к брату в Игарку порыбачить, но отказался от этой затеи: комара ныне налетело — тучи, а здесь ещё и клещ осыпной, так я и в лес не хожу, съездил разок за черемшой и всё. У нас ведь на северных склонах гор и в глубоких распадках ещё есть снег и лёд.

Апокалипсис, батюшко, это называется, или, как старая овсянская баба хорошо говорит, — свето-переставление.

Кстати, о «переставлении» — в конце июня Чусовому-то 60 лет! Нас с М. С. пригласили на торжества, но куда нам. Жопы неподъёмные, дети на руках, а ты небось метнулся, если не телом, то душой на Урал-то? Любопытно было бы посмотреть и

послушать, какими достижениями хвастаться будут чусовляне? Ведь без достижений и без хвастовства какой же у нас праздник?!

(Вот письмо-то начал сразу после работы, а на плиту поставил горох, побежал сейчас, матерясь и торжествуя, а горох упрел и плита не успела сгореть, одна-то уж накрылась. Заправил я его картошкой, луком, ветчинки построгал и подумал: «Был бы тут Валентин Яковлевич Курбатов, знаменитым супом бы побаловались и экую стрельбу по врагам открыли!»)

Словом, пока, похлёбка доваривается, времени три часа дни, ись охота, чего и вам желаю. А ещё здоровья и продыху в мыслях и сердце. Обнимаю. Виктор Петрович

1993 г.

(С.Войтецкой)

Дорогая Светлана!

Дошла-докатилась и до меня печальная весть о кончине Артура *[Войтецкого. — Сост.]*. Когда уходит из жизни человек, любой человек, — становится печально на сердце, но когда уходит близкий человек, да ещё и не просто близкий, а духовно совпадающий с тобой, — совсем на сердце пустынно делается и ветер там веет.

Артур был для меня ещё и мостиком между мной и украинцами. Он, именно он, не пятивший по-хохлацки грудь «чемойданом» и далее не говоривший «гх». — был истинным украинцем, её совестью, её культурой, её честным полпредом в искусстве, делом и своей жизнью, а не горлом, отстаивающий достоинство человеческое, а значит, и национальность. Все беды, обрушившиеся на Украину, да и на Россию тоже, заключены в том, что она и мы не подготовили достаточно людей истинно деловых, бескорыстных, честных. готовых Родине и народу своему отдать сердце своё за просто так, не добиваясь предоплаты и вообще какой-либо платы. Когда я вижу на экране широко раскрытый мокрый рот Ивана Драча, а рот у него и от природы-то не узкий, мне становится неловко и больно за Украину и её культуру: Иван-то и есть хохлацкое горло и мурло. А где ж истинно-то украинское? То, природно-деликатное до застенчивости, мягко произносящее такие дивные слова, как «коханый мий», «хвилыночка», «крапонька». Неужто советская власть так поработала, так перепахала нас, что одни способны лишь орать: «Гэть», другие -в «Пасть порву»?

Встретился мне ещё один человек, воплощающий в облике своём, в жизни, в говоре и любви к Родине Украину, Это подолянка Наташа Кащук, или Натуся, как её ласково звали в

семье Ковалей, особенно мелодично звучало это в исполнении бурной Ковалихи. Наташа была уже смертельно больна, несколько раз побывала под ножом у Амосова и дошла до такой доли, что Амосов же и сказал, что больше никакое вмешательство ей не поможет и пусть живёт сколько сможет. Два года назад, а может, уже и больше, она, надорванная ещё девочкой в оккупации, умерла, и едва ли Киев и Украина, которая орёт, за что и по чё, сама уж не знает, и не заметила, что с земли украинской исчез её невинно-чистый истинный лик. Думаю, что Ковалиха и Витя Коваль только и помнят её. когда и помолятся. Пусть Наташа услышит, что я поминаю её добрым, тихим словом, поминаю среди своих близких и дорогих мне людей молитвою, когда отпускает сердце смута и суета, хотя для молитвы и не надо бы дожидаться времени и подходящего места. Вон мусульмане: где их застигнет час намаза, там и становятся на колени. В полдень все улицы арабских городов устелены циновками — ковриками для моленья, которые «за так» выносят и расстилают ребятишки, хозяева магазинов, аптек, ларьков. Мы – плохие, ленивые миряне вечно ждём удобного случая и времени полюбить Бога, помолиться ему. Делаем это чаще в святые праздники и много пьём, орём, грешим в светлые-то дни. оттого Господь нас так волочит по земной поверхности, тычет рылом в грязь и дерьмо, да никак не научит понять и пронять, наука нам не впрок и беды наши ничему нас не учат.

Пусть будет пухом Артуру земля, которую он так любил, где покоится замечательная женщина — его мать, пусть хотя бы друзья вспоминают его в родной Виннице по праздникам, иногда и в будни. Здесь, в Сибири, его вспоминают хорошо. Слышал я, в Кононове, узнав от о смерти Артура, поплакала ваша хозяйка, поплакали и «массовщицы» заодно с нею.

Мы живём в трудах и заботах. Я закончил вторую книгу романа «Прокляты и убиты», действие происходит на Украине, на Днепровском плацдарме, книга так и называется — «Плацдарм». Напиши нам, как ты без Артура? Знаем, совсем плохо и одиноко. Во мне ещё и вина живёт, что не посмотрел тогда его новый фильм, не повидался с ним в Москве, всё пытался спасти Союз русских писателей, не понимая, что никакой Союз мне не только не спасти, но и не помочь смертельно больной стране и её культуре. Прости меня. Господи, и за этот грех!

Будь здорова и по возможности благополучна. Кланяюсь.

Виктор Петрович

9 августа 1993 г.

Овсянка
(М.С.Литвякову)
Дорогой Миша!

Захлопотанный ты человек, забыл поставить на конверте слово Овсянка, и в результате письмо я получил уже в августе, а на нём написано 21.7.93. Вот-вот прилетит Андрей с Женей, 19 августа годовщина Ирины, следом день рождения Марьи Семёновны, и боюсь, что нынче уже поздно кином заниматься. Надо ведь корабель фрахтовать или вертолёт, который бы летал от избушки к избушке, ибо в палатках я уже ночевать непригоден, лёгкие мои гнилые сухого места требуют.

Ведь в таком кино днями не отделаешься, нужны недели и месяцы, а где ИХ взять? У нас уже дышит небо осенью, ночи холодные, на севере ж вот-вот и снегом повеет. Ты ведь, Миша, ходовый мужик, можешь и до меня, в деревню дозвониться. Телефон у меня здесь 2-70-55 (через Дивногорск).

Библиотеку в Овсянке бросили, законсервировали — нет денег, а за зиму её растащат, ибо есть уже чего и тащить, и громить. Я разленился безобразно, но кое-что читаю. Вот в «Новом мире» роман Кураева, кажется, питерца? Ну чудная вещь! Ну молодец мужик! Номера пятый и шестой почитай, тем более что действие почти всё происходит в Ленинграде.

У нас тут похороны за похоронами, вымирают старики. Вчера закопали и помянули Филиппа Кузьмича Жуковского, бывшего «хозяина» овсянского магазина. И хотя там засел нонче и торгует жвачкой купец новой гильдии, земляки мои по-прежнему говорят: «Пойду к Жуковскому». Вот и достойная память человеку, воистину сельскому продавцу, который готов был из дома чего-нибудь утащить и продать, а то и задарма отдать, только бы быть на любимом месте и любимой работе. Артур Войтецкий немножко подснял его в Фильме «Ненаглядный мой», а сам-то Артур тоже помер в Киеве нынешней весной. И друг мой фронтовой Слава Шадринов помер в Темиртау, и командир дивизиона Воробьёв Митрофан Иванович помер в Новохопёрске, и все уже фронтовики на ладан дышат...

Ну ладно, повело меня. Звонить мне лучше утром или вечером с учетом разницы во времени. Обнимаю тебя, кланяюсь Ирине. Здоровы будьте. Ваш Виктор Петрович

9 августа 1993 г.
Овсянка
(Адресат не установлен)
Дорогая Галя!

Письмо и вырезку я получил сидючи в родной деревне. Разумеется, я читал уже этот материал и, разумеется, в ту же «Литературку» я напишу маленько о Вите, если не забуду. Поздняя осень у меня намечается ш ко забитой, надеюсь в это время докончить вторую книгу военного романа.

Зиму-то я отработал, очень устал, думал, весной и летом наотдыхаюсь. Но у нас не было весны, и она плавно с холодом и дождём перешла в лето. Простывал по два раза, очухивался и продолжал работу. Продвинулся далеко, сделал уже читабельный вариант, и сейчас рукопись на машинке у Марии Семеновны, но она у меня последнее время часто болеет, точнее, совсем слабеет от застарелых болезней и совсем уж через не могу тянет дом и детей.

А дети растут. Витя, намаяв школу за 11 лет, сдал экзамены в экономическо-какой-то техникум, и если будет учиться так же, как в школе, его отчислят после первого же семестра, осенью или будущей весной загребут в армию, а вот этого бабушка не переживёт. Поля тоже учится худо, ей бы играть, танцевать и анекдоты рассказывать, да утром в школу не вставать. Бабушка будить: «Поля! Поленька! Полинушка! Пора в школу!» Она высунет башку глазища чёрные вытаращит и говорит: «На кой она сдалась мне, твоя школа?! и под одеяло. А Витя бабушке: «Погоди, бабушка, погоди! С тобой никто разговаривает!..» — «Раз не разговаривает никто, — отвечает бабушка, — я и вставляю словечко сама». Поля, как посуду или пол мыть, говорит: «Я маленькая». Как чего-то выгадать или идти куда: «Я большая уже»...

Словом, дети. Куда их денешь? С утра и до вечера бабушка грешит с ними, воспитывает, мне ими заниматься недосуг.

Я, передохнув и проводив лето, выкопаю картошку, уберу немножко овощей и снова за дело, которое, слава Богу, отвлекает от суеты и помогает забыться, не особо остро раниться о современную жизнь, хотя писать о войне снова пропуская её через уже изношенное сердце, очень нелегко. Но за меня мою работу никто не выбирал. Сам!

Кланяюсь, желаю здоровья. Виктор Петрович

27 августа 1993 г.
Красноярск

(В редакцию "Нового мира")

Уважаемая Галина Алексеевна!

Вёрстку высылаю Вам с оказией — чтоб скорее дошла. Пусть Вас не удивит, что вставки напечатаны на машинке. Я всегда так делаю, ибо почерк мой неразборчив, а приклеила их Мария Семёновна для того, чтобы не выпали.

В серёдке Вас ждёт сюрприз, от которого я чуть в обморок не упал. В журнале я роман не читал и только в вёрстке обнаружил, что нет половины двенадцатой главы. Я предполагаю, что в номере был «перебор», и нашли подходящий кусок, рубанули его и, возможно, не ведущий редактор, ни тем более главный и знать об этом не знают, а секретарь и технические редакторы помалкивают. Солженицына небось не тронули бы, а Астафьева можно и кастрировать, он «свой», да и живёт далеко, не прибежит в глаза наплевать.

Ах, какое всё-таки у нас скотское отношение к человеку. Везде и всюду! Даже в лучшем журнале! Добиваясь культуры этого издания, великий Твардовский здоровье износил, но пришла новая революционная шпана, и ей нипочём всякая культура, в том числе и журнальная. Секретарь редакции сменился, а если и нет — скажет, пожав плечами: «Экая потеря! Подумаешь, пол-листа сковырнули!..»

Если можно восстановить, прошу Вас. сделайте это. Первое издание. По нему и дальнейшие пойдут, и переводы, и критика. Один внимательный критик уж писал: «Что-то неладно там с двенадцатой главой — коротка больно, стоило ли этот кусок выделять в отдельную главу?»

Желаю Вам доброго здоровья! Поклон Асе. Скажите ей, что я оформляюсь в круиз с новомирцами и если не опоздаю с документами в октябре, покачу по морям по волнам и, значит, буду в Москве.

Кланяюсь. Виктор Астафьев

31 октября 1993 г.

Красноярск

(Е.И.Носову)

Дорогой Женя!

Приветствую тебя уже с зимних квартир — вот написал эту фразу, и на полмесяца письмо остановилось: суетился, по первому снегу и ветру простудился, самолечился, показалось — уже орёл, поехал в город, добавил и слёг уже тяжело.

Тем временем пришло твоё долгожданное письмо, и, забегая вперёд, сообщу, что я уже отправил вам отрывок, выбрав самый

смешной из совершенно несмешной рукописи о том, как нас истребляли немцы и морили голодом наши «отцы» на Днепровском плацдарме...

Но маленько хоть по порядку. Уехал я, значит, в деревню 4 мая и уехал оттудова 3 октября, то есть в самый разгар «революции». За лето в городе был всего три раза, вынужденно, а ночевал только раз, потому как здесь бетонные стены, бездушные, то горячие, то холодные, а в деревне русская печь, деревянный пол и до суббот и воскресений хотя бы ночная тишина.

До начала июля у нас, как и у вас потом, лило, холодило, потом пошло прекрасное лето, урожай вырос отменный, погода для уборки и до се подходящая: солнечно, сухо, перепады есть, но нечастые, и снега в огородах ещё не белеются, хотя леса ветрами ободрало догола. В такую пору на Урале, бывало, я до упаду бродил по тайге с ружьём, гонял орезвевших, поумневших, штаны на зиму надевших рябчиков. А ныне лишь в окно гляжу.

Был в сентябре на Сыме. совершенно сказочной реке, брали белые грибы, которые тут растут морем, и их заготавливают, а для кого — не ведаю. Один раз поехали на ямку — окуньков на блесну подёргать, и приди к нам в гости на пишик жеребец (так тут рябчиков зовут), и мой напарник, стервец, что стреляет с левого и с правого плеча, с пузы, с колена и со спины, желая видимо, себя повеселить, втравил меня в охоту, и я четыре раза стрелял по рябчику, и он исчез куда-то, и я спрашиваю с надеждой: «Улетел, что ли, курва?» — «Да не, завалил ты его в конце-то концов».

Этот Вася-охотник, сейчас в тайге соболя промышляет, на вид тощий, ходит всегда при галстуке, в кожаном пальто, стригётся только в Красноярске, у знакомой парикмахерши и за сто рублей в старом исчислении. Он из одиннадцатидетной семьи, отчество его Несторович, и Нестор — отец — тоже был охотник, и Вася, единственный из детей, пошёл дорогой отца. Имеет участок с восемью избушками, в тайге строг, собран, а в городе и в посёлке стеснителен, но зато рассказчик! Шабутной, но не бабник и не пьяница. Раза два напивался до плохелости, утром морду прячет, к обеду скажет мне и другу моему — художнику: «Если я ещё хоть раз напьюсь так же — отрубите мне башку!»

Но уже и пить, и общаться ему некогда, завёл ассоциацию по заготовке пушнины, рыбы и всего прочего, избу называет «офис». В избе той главный охотовед района, бухгалтер, лицензии на пушнину, на заготовку дикого леса и пр. Купил Вася у генерала, ведавшего зэками, дом за 15 миллионов, квартирёнку продал, дом в деревне продал, пушнины за прошлый год изрядно продал-сдал. И всё же я его спрашиваю: «Где ты, Василий, такие деньги-

то взял?» Тряхнув кучерявой головой, сказал: «Голову на плечах надо иметь!»

Ну, голова головой, а в тайге нынче расшибёшься, чтоб хоть часть долгов-отработать. Он ведь ещё и волков с вертолёта бьёт. Волков развелось — просто ужас.

Чего-то всё на нас наваливается, начиная с коммунистов до волчья, крыс и ворон.

Того же Васю после покупки дома как взялись травить! Только они, работники «всемирной армии труда», получили право строить помещичьи усадьбы и жировать на них, а тут какой-то Несторович с двумя малыми девчушками и женой, истово верующей в Бога, о которой Вася теперь уж с проникновением говорит: «Она и мои, и твои, и все наши грехи замолит...»

Взялись, Женя, и за меня товарищи коммунисты, руками крысиного зверолова Буйлова по наущению и под руководством писательского начальства и других защитников русского народа пишут всякую слякоть, но я не читаю, разумеется, ихних изданий и никогда не отвечаю, так домой звонят. И каков же уровень защитников чистоты морали и высот патриотизма! Поля — внучка — взяла трубку, и давай ей что-то про деда лепить, а она, бедная, лепечет, мол, я всё равно деда уважаю и буду уважать. Потом взяла куклу, причёсывает её и ворчит: «Какая некультурная женщина, а ещё читательшей себя называет...»

Я, конечно, помню, как в Блуднове взашей гнали из избы Яшина тех, кто его травил, и запретили им являться к могиле покойного поэта. Помню и Фёдора Абрамова, как он тряс своим чубом, увидев подпись родного дяди под письмом в «Правду», как он ему говорил: «Ты чё, дурак, хоть понимаешь, чего подписал?» — «Дак я пьяной был, говорят, мол. тут про Фёдора, надо подписать. Откуль же я знал, чё там писано?»

А как Василия Макарыча на родине честили, а теперь заливаются, слюнями брызгая: «Наш великий земляк! Наш знаменитый земляк!..» А Василя Быкова как брали в оборот? В стогу сена за городом ночевал мужик. Дома сделалось жить невозможно. Мальчишка-школьник, плача, спрашивал: «Почему тебя, папа, все называют врагом народа?» Один Володя Карпов стоял грудью против всех, его так устряпали, что в последний раз я его едва узнал. Сейчас там какой-то сраный генерал организовал облаву на Светлану Алексиевич, да времена не те и, главное, нет направителей ЦК, обкомов и горкомов, партийных активистов из писательской среды, но сволочей у нас было всегда полно. Этого Буйлова, защитника русского народа, по национальности мордвина, за сволочизм по существу выгнали из

Хабаровска, а мы пригрели, и я прежде всех...

Ну что ж, «хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца...» Вон когда сказано-то! И кем!

Жаль, что летнее письмо к тебе пропало. И не одно. Я что-то после творческой запарки расслабился и не узнал на почте, почём ноне письма, и отправлял в старых, копеечных конвертах, и все их, летние мои письма, на ближайшей же сортировке в Дивногорске побросали в помойку, в том числе и два письма деловых.

Писал я тебе то письмо сразу же после прочтения твоего рассказа «Красное вино Победы» и высказал тебе свою радость тем, что ты не оставляешь работу, и восторг тем, как написано. Сейчас я прочёл и «Тёмную воду» и могу только повторить то, что писал летом. Болезнь тяжёлая твоя, вопреки моим тайным опасениям, нисколько не отразилась на твоём, говоря пышно, пере, всё так же оно точно, красочно и певуче, и проникновенно, всё так же лучший ты стилист в современной литературе, и дай тебе Бог здоровья и мужества. Знаю, каким трудом и мужеством тебе даётся каждая строка. Таким же стилистом, равным тебе, был на Руси Гоша Семёнов, да сгубил он себя горьким зельем, и ты уж не откликайся на зов друзей, хотя и охота, хотя и компанейская твоя душа, да что сделаешь — годы берут своё.

Двадцать шестого октября справили мы с Марьей 48-летие совместной жизни. И праздник этакий ныне уж редкостный, и я под грибки да овощи попил водяры, и руками замахал, и языком забрякал. Хватило меня часа на два и — «увял торжественный венок»...

Насчёт книжки в Иркутске — Гена Сапронов, хороший сибирский мужик, затеял издательство, выпускает двухтомник моей военной прозы, где заданная часть романа — первая, и я закинул удочку насчёт твоей книжки, на будущее, и он не отринул моего предложения. Ситуация, правда, меняется и по дням, и по месяцам, всё страшно дорожает, но если мой двухтомник хорошо реализуется и они заработают деньги, то я составлю для него твой сборник листов на двадцать, сам и маленькое вступление напишу. Это тебя ни к чему не обязывает, работы не добавляет и вообще теперь, как видишь, дело неблизкого будущего, а платит по совести, сколько может, и, как у буржуев, платит проценты с проданного экземпляра.

Видел, в «Москве» объявлены твои новые рассказы, буду ждать. Там же Начала печататься совершенно изумительная повесть Ивана Шмелёва «Нянька из Москвы» — и от такой литературы мы были отторгнуты, читали шедевры Панфёрова, Кочетова, Кожевникова и прочих! Ах ты, Господи! Морду бы кому-

то набить «за бесцельно прожитые дни»!

Сейчас я отдал Марье на машинку уже читабельный вариант второй книги, а сам по приглашению министра культуры вместе с культурной челядь поеду в круиз по тёплым морям — выгонять из себя простуду. Публика всякая, но, главное, тепло и едет Залыгин, для общения и его хватит. Авось это время революции тут не случится?!

Обнимаю тебя, дорогой мой! Как я горжусь и радуюсь, что есть мы вместе на старости лет. Это так нынче много. Тут один мой землячок совсем радости обалдел — прислал мне ящик яблок и бросил в них бутылку настойки. И представь — дошло!

Целую тебя. Виктор

15 ноября 1993 г.
Греция, о. Пирей)
(жене)
Дорогая Маня!

А пишу я тебе уже из Греции!

Корабль наш, т/х «Тарас Шевченко», стоит уже в порту Пирей, где вода по-прежнему чистая и голубая, хотя стоят здесь сотни крупных и тысячи мелких кораблей.

Здесь в Греции уже потеплее, но на всём протяжении пути меня и всех нас преследовал холод. В Москве дело доходило аж до минус 28, а в Одессе, куда мы ехали спецпоездом, было аж минус 10, и ночью, глядя за окно на украинские просторы, я думал: «Как же мы здесь в войну-то?..»

Садились с приключениями и нервами. Встретил здесь Петра Петровича Глебова, и мы дорогой славно с ним поболтали о недавно демонстрировавшемся «Тихом Доне». Он с возрастом не изменился, всё такой же славный и милый человек. Видел, но издалека, Клару Лучко, Галю Польских и ещё разных других артистов, они со мной раскланялись на палубе, и я благосклонно им тоже поклонился.

Кормят очень хорошо, каюта на двоих просторная и чистая, много воздуху. Сегодня я позволил себе принять душ и сменить бельё, а то было очень холодно и море штормило, но корабль большой и качание на нём едва ощущается.

Корабль туристический, в нём много всякой всячины, коли деньги у кого есть, могут и поразвлечься, и угоститься. Мы же пока читаем да спим. Миша Кураев подарил мне свою книжечку, и я её с удовольствием читаю. Здесь, в Греции, мы пробудем три дня и потом пойдём в Египет, на обратном пути — Израиль, Турция.

Вчера днём мы проходили Босфор, видали Стамбул и, глядя на чистый пролив, прибрежную страну, бурное строительство домов, порадовались тому, что хоть в Турции революция не удалась, коммунистов покойный их лидер пересадил в тюрьму, и потому здесь без шума, крови и свалок идёт перестройка, страна выглядит спокойно и прекрасно.

В общем, всё хорошо, всё ладно, видимо, я хорошо отдохну и наберусь сил перед дальнейшей работой.

Крепко, крепко целую тебя. Полю и Витю (я попробовал его поцеловать в щёку в аэропорту, он страшно смутился и, отодвинувшись, захохотал — экий большой дурило стал!) Господи! Уже тоскую по дому. Ваш Виктор

1993 г.

(жене)

Дорогая Маня!

Пишу тебе из Египту. Здесь мы уже второй день. Стоим в порту Александрия, откуда ездили к пирамидам и к сфинксу через пустыню, которая осваивается, то есть засаживается лесами, садами, и крестьяне здесь появились.

Пирамиду я смотрел снаружи, внутрь не ходил — там душно и далеко вниз спускаться, сооружения, конечно, грандиозные и таинственные. Затем поехали в Каир, были в музее, где всего так много, что обилие фигур, фигурок и разных изделий из камня и мрамора просто очень быстро утомляет.

Я оказался среди писак не один, кто быстро утомлялся от изобилия предметов, тем более что мы всё же не приучены к ваятельному-то изображению. Ленин со Сталиным, торчавшие на каждом шагу, наверное, на столетие отучили русских людей от лицезрения неподвижных фигур. Хотелось посмотреть живопись, но её нет, вместо неё нас возили в магазин-фабрику духов, где столь много тоже флаконч
иков из хрусталя, стекла, фарфора и ещё каких-то материалов и столь густо переплетены запахи, что сразу же начинает болеть голова. Переводчица наша, назвавшая себя Машей, всё шутила, шутила и таскала автобус по магазинам, которые, как мы догадались, находятся у неё «на подсосе», то есть она поставляет им покупателей, а они за это отслюнявливают ей определённую сумму. Приехали в Александрию на теплоход аж в 10 часов вечера едва живые.

Страна эта ужасна, то есть не страна, а города её. Наконец я увидел, сподобился увидеть города грязнее наших и народ нашего жуликоватей и ленивей. Ни радости, ни облегчения от этого на сердце нет, а вот детей нищенствующих, попрошаек

жалко, тем паче, что дети здесь по природе красавцы и очень веселы, шутливы. Это самое моё большое впечатление — дети.

Все наши тут всего напокупали, а у меня попутчика не было, один же куда ни сунусь, меня тут же начинают обсчитывать и обвешивать, да и шумно очень и ярко всё так, что глаза жжёт. Выбрал скромную материю Поле на платье, ибо само платье выбрать невозможно, так они размалёваны, расшиты, что уж аляповато кажется. Сами сошьёте на машинке. Конфеток ещё купил, да кружку, с тем и вернулся на корабель, а сегодня никуда и не пошёл — отходим в 12 в Хайфу (Израиль) и не хочется шататься. Читаю, лежу. Тепло, плюс 21. И вода плюс 21 — для них холодно, не купаются, но рыбачат. Поцелуй ребят. А я тебя целую и уже по дому скучаю.

Твой Виктор

1993 г.

(Юй Ичжуну)

Дорогой Юй Ичжун!

Получил Ваше письмо и постараюсь ответить на все Ваши вопросы.

Мой роман «Прокляты и убиты» помаленьку продвигается вперёд. Сейчас на машинке один из последних вариантов второй книги романа под названием «Плацдарм». Думаю закончить зимою.

Что касается первой книги романа «Чёртова яма», то она заявлена несколькими изданиями, точнее и быстрее всех, вероятно, выпустит книгу издательство «Молодая гвардия». Ещё книга запланирована в массовом издании «Роман-газета», предположительно в № 4—5 в 1994 году. Сдавши вторую книгу в журнал «Новый мир», намереваюсь тут же приступить к третьей под предлагаемым названием «Весёлый солдат». Если только хватит сил, постараюсь закончить роман в 1995-1996 году.

Жизнь у нас в России идёт трудно, в каких-то судорогах, экономических и нравственных. Народ, переживая смятение и разброд, начинает понимать, что надеяться надо, прежде всего, на себя и начинать работать-строить, садить овощи, учится считать копейку, думать о завтрашнем дне. Есть и такие, кто жалуется на жизнь, возмущается тем, что к ним не идут кормильцы и каши, не несут, пусть пересоленной слезами и потом, из прогорклой крупы, но зато «бесплатной» — так привыкли к распаскудной, зато «бесплатной» жизни. Если бы наши правители с прежней коммунистической ретивостью и безответственностью не обещали улучшения жизни «в будущем году», а настраивали народ на

15-20 лет терпения и напряжённого труда, страна была бы уже на более твёрдом пути.

Свободой пользоваться русский народ не научен — века в кабале, сотни лет в крепостной зависимости. Жизнь из-под палки даже для такого большого народа оказалась слишком разрушительной. Нужно работать всем, много и честно, на своём месте. И надежды нас всё-таки не оставляют. Русскому и китайскому народу не привыкать преодолевать беды и потрясения. Желаю Вам и Вашему журналу выжить, а институту процветать. К концу года я буду дома, и если Вы поедете в Москву, можете остановиться у нас, только предупредите. Поклон Вашей милой супруге. Доброй зимы всем вам.

Ваш В. Астафьев

15 декабря 1993 г.
Красноярск
(А.Бондаренко)
Дорогой Алёша!

Письмо твоё пришло, когда я был в далёких морях, ездил, точнее плавал, с «миссией культуры России» в далёкие страны: Египет, Греция. Израиль, Турция. «Миссия» эта состояла из 520 душ, среди которых были музыканты, артисты кино и театра, спортсмены, художники и более 20 писателей, в основном авторов «Нового мира», поскольку формировал группу литераторов Залыгин — главред журнала «Новый мир».

Видел много чудес, с том числе и пирамиды, был в Иерусалиме у Гроба Господня и считаю, что каждому русскому человеку надо бы там побывать. Тогда бы он очистил душу от скверны, смахнул бы с себя шелуху и суету, успокоился бы немного, просветлел сердцем и взором и не тянул бы руки в сторону такой мрази, как Жириновский, поганец Зюганов и совершенно законченный шизофреник Тихонов. Впрочем, старинная мудрость гласит: «Всякий народ достоин своих вождей», как и вожди достойны своего народа.

На очень низком уровне нравственного и гражданского развития находится наш народ и никак умнеть не хочет, потому как дураку легче жить, вот с дураками жить трудно. И всё, что происходит вокруг, весь этот хаос, раздор, хамство, воровство — всё это результат недоразвитости нашей. Все классики нашей литературы, великие умы российские, жизнью своей и творениями пытались хоть что-то изменить к лучшему, но толоконный лоб так и не пробили, не достучались до неповоротливого российского ума. Все эти "Богатые", "Марии",

весь мексиканский и прочий хлам обнажили всю убогость нашего образования, тщету стронуть с места наш незрелый разум.

Более того, утратив крестьянскую тщательность, якобы получив образование и возомнив, что мы уже шибко грамотны, мы сделались ещё более злыми, неграмотными и болеем самообольщением — опаснейшей из болезней последнего века, который добром не кончится, помяни моё слово.

Я живу трудами и в трудах — заканчиваю вторую книгу романа «Прокляты и убиты», одолеваю текучку и пишу для заработка небольшие очерки. Очень дорого и трудно сделалось жить, и никто мою семью, кроме меня, кормить не собирается.

К марту я думаю книгу закончить и. если буду здоров, съезжу в Швейцарию, куда меня давно приглашают русисты — преподаватели русской литературы, которые бывали у меня, в Овсянке и, как и ты, полюбили её.

Съездив, буду редактировать роман и собираться в Овсянку, куда буду поджидать и тебя. Приезжай непременно!

А пока желаю хорошо закончить охотничий сезон. Очень короток сделался день и, как представлю 12—13 часов пребывания в избушке, в одиночестве, так и проникнусь ещё раз уважением к вашей работе. Где-то зимогорит в одиночестве и Вася Сидоркин, дай ему бог удачи. Пиши мне или позвони, я зимой всё время дома. Поздравляю тебя с Новым годом, желаю всего хорошего. Виктор Петрович

1994 год

14 января 1994 г.
Красноярск
(В.А.Линнику)
Уважаемый Виктор!

Я тихо обрадовался, когда Вас назначили редактором «Правды», ибо считал Вас и сейчас ещё, не совсем, правда, уверенно, считаю порядочным человеком, к тому же отличным и грамотным газетчиком.

Я видел Вас по телевизору и не раз. выглядели Вы в этом «окне в преисподнюю» почти достойно и порой даже умно. Впрочем, на фоне таких гигантов мысли, как Зюганов, Горячева, Умалатова и Жириновский умно выглядеть совсем нетрудно, даже и красиво можно выглядеть.

Всё хотел пойти в библиотеку и полистать «Правду», новую, уже Вами ведомую, но работа на пределе не оставляла для этого времени. Зато для романа мне требовалось найти подшивки «Правды» за 1942—1943 годы, и я, сам в прошлом районный

газетчик-приспособленец, всё же в ужас пришёл, листая этот орган. Какое средоточие лжи, обмана, притворства, наглой пропаганды коммунистического бесовства и пресмыкания перед отцом народов. Издавайся газета при Чингисхане, даже азиаты дикие, кровожадные не дошли бы до такой степени лести, низкопоклонства и вероломства.

И вот «доброжелатели» прислали мне «Правду» уже Ваших дней с разглагольствованиями защитника народа В. Г. Распутина, и я увидел воочию, что эту газету, как чёрного кобеля, не отмоешь добела — была «Правда» кривдой, кривдой и осталась.

Сообщаю вам и Кожемяко — исповеднику, что всё, что принял Распутин, всё, на что по дешёвке купился, предлагалось и мне — место в Верховном Совете, место советника, место фрейлины в свите Горбачёва и, естественно, воздаяния за это харчем, вельможными привилегиями, хоромами. Но я хотел работать, исполнять своё дело, богом определённые обязанности и ото всех почестей и подачек отказался — вежливо. И так вежливо, что не утратил уважения к себе, а Михаил Сергеевич, насколько мне известно, не утратил уважения ко мне. А его уважение, пока единственного из всей правящей банды, мне дороже всех, ибо я считал и считаю его величайшим реформатором двадцатого века, избавившим человечество от красной чумы и давшим русскому народу возможность жить свободно и распоряжаться собой и землёю своею.

Но открылось не только мне, всему миру открылось — коммунисты потрудились в России здорово, народа русского уже нет, а есть население, готовое бежать к любому корыту, наполненному кормом и объедками с большевистского стола. Ни морали, ни стыда, ни чести, ни достоинства нет у населения нынешней России, грамота и лозунги, прославляющие народ и горячо им любимую партию, результатов не дали, любое слово, любая ложь, любой обман падает, как сорное семя, в тёмную толпу и произрастает дурью. И тут та «Правда», которую Вы несёте народу, в самую пору, в самый раз.

Я тут писал письмо одному давнему своему товарищу и кладу вам его копию в конверт, чтобы не тратить время на длинное письмо. Одного хочу от вас — ответственности. Если вы поможете коммунистам вновь укрепиться у власти (уходить-то они никуда и не уходили, лишь за спиной оказались и из-за спины действовали подло и нагло, а иначе и не умеют), на Вас грех и преступление лягут тяжкие, ибо Вы обманете неразумных, подведёте к пропасти доверчивых. А столкнуть в пропасть население наше есть много желающих, и сделают они это с чувством сладострастным и мстительным. Как же, не захотели стоять по команде смирно,

идти табуном в казённые места дорубать леса, добывать уголь, докачивать нефть.

Одно ясно, одно поддерживает дух и придаёт силы — 37-го года, в том виде, уже не повторится, каратели будут встречать ответное сопротивление.

P. S. Что касается моей подписи под письмом, она присобачена без согласования со мной, но, начитавшись «Правды», вникнув в нравственно-просветительную проповедь товарища Распутина, я уяснил для себя — подпись моя, стоящая среди достойных людей нашего времени, уместна и я поставил ее, считайте, задним числом.

Обрадуйте тов. Распутина: его беседы из газет «Земля» и «Правда» с визгом перепечатывает тов. Пащенко в своей красноярской «подворотне» — безграмотной, фашистской, чёрной газете, издающейся на уровне «Боевого листка» стройбата — достойное сотрудничество!

С беспартийным приветом, В. Астафьев

Извините, что не перепечатано. Марья Семёновна очень была привязана к Распутину и горько за него переживает. Письмо её очень расстроит.

5 февраля 1994 г.

Красноярск

(С.Ермолаевой)

Дорогая Светлана!

Письмо твоё получил и ко времени подходящему. Я как раз сдал на машинку вторую книгу романа и пробую разделаться с текущими делами.

К сожалению, я ничего тебе делового написать не могу. Наше так называемое краевое издательство протянуло ноги. Там не нашлось человека делать дело, и вот, сохранив почти полностью штат нахлебников, они сидят на случайных подачках или каких-либо грошах, вырванных на подвернувшихся изданиях. По-моему, уже и помещение своё сдают в аренду. Я давно там не был, не знаю, что они делают, но вопят — «погибаем!» Слышу это то по радио, то по телеку, то в газетах их вижу. Что касается других то возникающих, то куда-то бесследно исчезающих издательств, я с ними не связан. Два последних года были полностью отданы работе над романом. Заканчиваю вторую книгу на пределе сил и возможностей.

Издательство «Гротеск» напечатало мою «Царь-рыбу» целиком, наконец-то. По этому случаю я съездил к ним, выпили водки, посидели, погутарили. Они ещё держатся, издавая ходовую

литературу, но у них нет полиграфбазы («Царь-рыбу» печатали в Иркутске), и расходы на издания и налоги несут они всепоглощающие и как дальше существовать будут, и сами, кажется, смутно себе представляют. Но пока они есть, существуют, и ты можешь с ними связаться. Это всё, что я могу сделать. Деловых связей у меня ни с кем нет. Мои книги издаются во многих городах, но идёт это дело стихийно, по предложению самих издательств.

Жизнь в нашем городе и крае, как и везде, трудна и напряжённа, цены растут, предприятия замирают, растёт преступность и безработица, и впереди я не вижу просвета. Но позавчера я встретился с человеком, который буквально убегает от оголтелых казахов из Чимкента и баял, что у нас хотя бы дышать легче. Скоро в Казахстане благодаря усилиям лукавого и коварного Назарбаева образуется рабовладельческое государство, где рабами останутся неспособные уехать и за себя постоять русские, уже позволившие переименовать Павлодар и признать Семиречье исконно казахской землёй, а не казачьей русской вольницей. Павел Васильев в гробу перевернулся небось, он ведь оттуда, из казаков, родом.

Ну, кланяюсь, желаю, чтоб полегче тебе жилось. Виктор Петрович

6 февраля
Красноярск
(А.М.Борщаговскому)

Здравствуйте Александр Михайлович!

Благодарю Вас за тёплые слова поздравления и ответно желаю того же, чего и вы нам пожелали, главное, чтоб красные петуха войны не пустили по нашей горемычной земле и здоровья было бы достаточно, чтобы волочь свои остатние дни без тягости для себя и для родных.

Я, набравшись сил в плаванье, навалился на рукопись романа и вот, слава богу, отдал на машинку уже читабельный вариант. Книга даётся очень трудно, и далеко не всё я вывез в ту гору, которую наметил, но уж и то, что на данном этапе, как говорили большевики, исчерпался, готов уж давать рукопись в читку, считая работу более или менее сделанной, меня утешает.

В двадцатых числах февраля я должен ехать в Швейцарию по приглашению университета читать лекции. Что это такое и как оно делается, я со своими шестью классами представляю смутно, но про сибирскую литературу, если надо, расскажу любопытным женевским студентам. Нашим вон вроде бы уже ничего, кроме

диплома, не надо, сделали из университета сарай и копытят там на дискотеках, уже и профашистский отрядик баркашовцев сколотили.

Живём мы в трудах и заботах. Зима, слава богу, была хорошая и уже движется к концу. Наши сибирские морозцы отвалили к вам, в столицу. Ехать и лететь немножко страшновато и дорого, но меня берут на содержание иностранцы, а с самолётом беда, сидят люди по двое-трое суток в аэропорту — нет керосина, и неизвестно, когда этот бардак кончится. Мне кажется, товарищ президент уже не ведёт, а прямо на верёвке тащит коммунистов обратно к власти. Вот распотеха, вот бедствие-то будет! Но об этом не только говорить, но и думать-то страшно...

Уповая на Господа и заботы его, будем жить дальше и в меру им данных сил трудиться. Кланяюсь и ещё раз желаю доброго здоровья! В. Астафьев

22 февраля 1994 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Съездил я в конце ноября — начале декабря по морям и странам в опчестве, названном «Культурная миссия России», и было нас 520 душ в том числе более 20 писателей — Солоухин, Залыгин, Розов, Окуджава, Чухонцев и два Вити были — Лихоносов и Потанин, а со мною дак и три, был Ваня Завражин из Липецка, большой знаток поэзии, и Миша Кураев из Петербурга был, очень это хороший писатель и человек. В каюте со мной зимогорил Александр Михайлович Боршаговский, сперва он угнетал меня многословием и перечислением друзей во всём мире, а потом иссяк и всё пошло нормально.

Денег у меня почти не было, поэтому я отдавался созерцанию, отдыху и трепотне с ребятами, поскольку до этого работал, разумеется, молча над второй книгой романа и очень устал. Побывали мы в Греции, Египте, Израиле и Турции. Посещение Иерусалима, Вифлеема, Гроба Господня, Назарета и места Крещения Христа на Иордане произвело на меня успокаивающее, благотворное действие.

Вернувшись домой, я навалился с новой силой на роман, и вот сдал М. С. на машинку уже читабельный вариант, а М. С, бедная, первый раз в жизни взбунтовалась, говорит, больше не могу, такого тяжёлого текста ещё не печатала и печатать не могу, выдохлась. Да и я ещё не писал такого тяжёлого текста, и не всё я

вывез на гору и не сделал ещё роман таким, каким хотел бы, но лучше не умею, не справляюсь со страшной задачей, какую сам себе задал, но и того, что есть, с меня довольно. Не скоро я примусь за третью книгу. Шибко устал, обескровился, надсадился.

Никто ведь с меня и с М. С. не снимал домашних забот, текучки, тревоги и нервотрепки. Плавая по морям, придумал я весёлую детскую повесть. Это мне помогало и раньше, после блевотных «Снегов» *[имеется в виду роман «Тают снега», опубликованный в Перми в 1958 году и по желанию самого Виктора Петровича последние тридцать лет ни разу не переиздававшийся. — Сост.]* написал я между прочим «Дядю Кузю», а после «Царь-рыбных» надсад и терзаний — «Оду огороду». Заполнял и другими «лёгкими» опусами паузы, и это мне помогало собраться с духом, накопить сил для очередного штурма высот, мною же нагребённых из российской политики, камня, грязи, слёз и крови.

Великий умница и патриот Отечества нашего по фамилии Кузьмин Валериан Матвеевич, убухавший на «миссию» вроде бы более 30 миллионов им где-то заработанных денег, поинтересовался под конец рейса — удалось ли нам и мне, в частности, отдохнуть. Узнав о том, что я придумал на корабле повестушку, сказал, что уже этот рейс и его немалые хлопоты и старания оправданы.

Дело за малым — осталось сдать книгу в «Новый мир» и, отдохнув в деревне, напечатать повесть. А тут юбилей надвигается — этакая страсть. Марья Семёновна грозится от всего этого залечь в больницу или сбежать куда-нибудь. Да куда же деться-то? И детки-подростки — тоже не подарок. И местные фашисты в лице тов. Пащенко и его связников по какому-то патриотическому русскому союзу шельмуют всех и вся, в том числе и меня, борясь за то, чтоб ничего не писать и ходить в писателях, а если и писать, то плохо, бездарно и отстаивать эту стряпню как величайшее достижение духовной, творческой и всякой другой мысли.

Я-то не читаю ни красноярской подворотни, ни «Дня» — донора и вдохновителя тов. Пащенко. хотя они просто воют, требуя ответов, полемик и всяческого к себе внимания — и здесь ты и Валентин Григорьевич *[Распутин. — Сост.]* хорошо пригодились. Печатая и перепечатывая из таких же боевых листков, издающихся на уровне стройбата, товарищей Зюганова и Проханова, с гордостью трясут вашими умствованиями и духовными на «народную тему» напоминаниями — во, у нас кто попадается! Во, кто нас поддерживает!..

Валентин Григорьевич вон в «Правде» обвинил меня в том,

что я оторвался от народа. От какого? Что касается «моего народа», то лишь в прошлом году я был на восьми похоронах, в том числе и тёти Дуни Федоратихи, которую ты видел. Двоих из восьми сбило машинами, остальные тоже по-всякому кончили свои дни, только старухи умирают своей смертью. Я бы рад от этого народа оторваться, да куда мне? Сил не хватит. И поздно, и места мне в другом месте нету, да ведь и страдаю я муками этого народа. Ну ничего, чувство моё сильнее яви, и я закончу роман, а тогда уж судите меня, подсудимые и больные, как вам хочется.

Кланяюсь. Виктор Петрович

11 марта 1994 г.

Москва

(Адресат не установлен)

Уважаемый Илья Григорьевич!

Написал я Вам большое письмо. Подумал, подумал и отправлять не стал. Боюсь, что Вы не готовы к той правде о войне, которую знаю я. Да и Вы знаете, но привыкли обходиться без неё. «Успокойся, смертный, и не требуй правды той, что не нужна тебе» — Есенин.

С первого номера в журнале «Москва» начнут печатать Карамзина — «История государства Российского». Там и моя, давно написанная вещь. В ней, в общем-то, сказано всё, что я писал Вам. А в очерке о Максимове есть ошибки и похлеще. Большей частью они не мои, но раз моя фамилия стоит — мне и отвечать. К счастью, очерк исправить можно бескровно, не то что ошибки на войне.

Посылаю вам рукопись романа, уже читанную моим другом-критиком, поэтому не удивляйтесь пометкам на полях и не обращайте на них внимания. Прошу Вашего спокойного и дружеского суда и замечаний, особенно когда дело касается генералов, генеральского поведения и их дел. И вообще — организации и организаций на войне. Я напрягался изо всех сил, чтобы «соответствовать», но всё же я на войне был рядовым, и знания войны «рядовые». А я рискнул приподняться над материалом, расширить его.

Кто отдаст Вам рукопись, тот за нею и придёт (договоритесь, как, когда и где). Можете написать мне письмо и отдать вместе с рукописью, ибо на почте стали пропадать письма не только мои, но и ко мне (кто-то, видать, «коллекционирует»!).

Заранее Вас благодарю и желаю доброго здоровья. В Москве я проездом, телефон Ваш куда-то задевался, вот и пользуюсь оказией.

С весной Вас! С теплом! С новыми надеждами! Кланяюсь. В. Астафьев

30 марта 1994 г

(М.С.Литвякову)

Дорогой Миша!

Я всё ещё болею, привычное весеннее обострение в почках. А каким орлом я вернулся из солнечной Швейцарии!

Но тут продуло советско-сибирскими ветрами. В понедельник. 4-го, я уйду в больницу и вернусь уж перед убилеем. Врачиха у меня строгая и не больно-то пустит ко мне репортёров и всякую шоблу, пытающуюся подзаработать по случаю моего совсем не радостного убилея.

Пишу вот чего. В самолёте из Цюриха я увидел Кирилла Юрьевича Лаврова, он обрадовался мне и сообщил, что недавно читал мой роман «Чёртову яму» (первая книга «Прокляты и убиты») по питерскому радио. Чтей он хороший и мужик славный. Я сунул ему визитку и попросил прислать плёнку, но человек он шибко занятой, мог и забыть о моей просьбе. Твоя задача — найти запись на питерском радио и привезти плёнку. Кроме того, если Кирилл Юрьевич высвободит день-другой, я готов ему прислать приглашение на юбилей. Во всяком разе позвони ему и скажи, что я его помню, люблю и приглашаю в Сибирь погулять и культурно отдохнуть.

Для тебя сообщаю, как будет проходить это мероприятие: 1 мая — застолье дома и в резиденции директора металлургического завода, совершенно замечательного человека; 2-го — встреча в краевой библиотеке и продолжение застолья уже с роем бедных, но неунывающих библиотекарш; 3-го — главное событие — в большом концертном зале торжество, а по соседству, в каком-то хитром зальчике, где раньше веселились партократы, а теперь ведут «приёмы» деловые народы, будут накрыты столы и соответственно пьянка продолжится. Мабуть я буду не в том состоянии, как в 60 лет, и тоже рюмаху ухвачу; 4-го — мероприятие ещё главнее — открытие библиотеки в Овсянке и уха, надеюсь, не из петуха, а также братание народов с интеллигенцией, ещё не совсем догнившей, но близкой к тому.

Пятого разъезд, но тебя народ не отпустит и будет продолжать любить. Обещает быть та же компания с Лёвой Дуровым во главе, что и в Вологде, плюс несколько знакомых людей, большей частью родом из Сибири и с Урала.

Обнимаю, жду, приезжай, а лучше прилетай, хотя билеты и дороги. Поцелуй Ирину, Всегда твой Виктор Петрович

10 марта 1994 г.
Красноярск
(А. Бондаренко)
Дорогой Алёша!

Пишу тебе из больницы. Весна пришла и опять меня нашла — обострение в лёгких, а впереди эта беда — юбилей и надо подкрепиться, да и за зиму устал, делал роман. Сдал, и внутри пусто, зато в голове густо — трезвону и боли.

Мы получили твою посылку, спасибо! Прежде всего за сорогу. Мария Семёновна умеет её готовить так, что все едят и пальчики облизывают, вот мы и угощали всех подряд, и все тебя хвалили да повариху. А лосятину отдали на холодец.

Приехал с Урала наш родственник, устроился в деревне, он умеет варить и студень делать, да ещё детей — уж двух своих сделал, а сколько на стороне — и не сыщешь, да все рыжие. Вот М. С. увезла его с Урала и запятила в сибирскую тайгу, где он собирает из рухляди машину и надеется ею рулить, поскольку есть шофёр первого класса и выпивоха класса непоследнего, так сколько и куда нарулит, не знаю.

Получил я журналы «Природа и охота», где было и письмо с сообщением, что твои рассказики напечатают в следующем номере, но с деньгами у них очень плохо, и когда выйдет номер, они и сами не знают ладом.

Алёша! На юбилей ты не приезжай, попойка одна будет и блудословие, а вот числу к 9-10-му если в Овсянку заглянешь, сможем и повидаться, и поговорить. Я нонче летом не собираюсь работать, а хочу отдохнуть, потому как заработал средствия на отдых, и будем мы с тобой на огороде копаться, ворон стрелять и мечтать о будущем, да спать вволю.

Я буду тебя ждать. Тепло будет, так и на лодке на Ману сплаваем, сетчонку закинем.

Обнимаю тебя. Твой Виктор Петрович

26 мая 1994 г.
Овсянка
(Адресат не установлен)
Уважаемый Илья Григорьевич!

Благодарю Вас за то, что набрались мужества дочитать мою рукопись до конца и прислать честный ответ.

Я и сам чувствую, что что-то ещё недотянул в романе, и сейчас он отлёживается, да идёт предварительная читка в «Новом

мире». Оттуда, конечно же, последуют замечания. Вероятно, и скорей всего, роман не будет допечатан до празднования 50-летия Победы.

Пущай уж поколотят в барабаны остарелые призраки войны, так охотно принимающие красивую ложь, к которой привыкли, пускай уйдут в мир иной с убеждением, что они не потерпели поражения в войне, одержали Победу. А в том, что мы, но не Германия, потерпели поражение, оставив для себя красивые слова, а страна и народ разрушены в войне. — никого уже и убеждать не нужно.

Что касается любимой Вами партии, то исправления сделаю, но минимальные, ибо убеждён, что преступней коммунистической партии не бывало на земле, хотя все они строились и строятся по схеме элементарной банды — пахан, окружение его, «шестерки», палачи, угодники-доносители. Самое страшное то, что у нашей родимой «совести и чести эпохи», украсившей себя в истории чудовищными преступлениями, главные деяния впереди. Она придёт к власти, расправится с народом, посмевшим её ослушаться, и кончит тем, что хлопнет дверью перед окончательной гибелью, то есть поднимет, спровоцирует атомную войну, ибо нет такого похабства, такого мерзкого дела, которым бы она побрезговала, чтоб соблюсти свой норов.

На этом завершусь, чтобы не делать Вам больно, ибо, как говорил мой старинный друг и наставник ещё в пору моей прыткой молодости литературной: «Зачем Вы, Виктор Петрович, хотите уверить меня в том, что я напрасно прожил жизнь? Это же жестоко!..»

Да, в окружении моём, ранее фронтовом, чаше в литературном, бывали друзья, убеждённые коммунисты и притом порядочные люди, как, например, Александр Николаевич Макаров. Но он и без партии был бы таким, ибо мать его таким родила, а бабушка и выгнанная из Москвы в Калязин как чуждый пролетариату элемент женщина — старая дева из гимназии воспитали его таким, а «элемент» ещё и французскому языку обучила. И князь Раевский, выведший сыновей на батарею, в коммунистах не состоял, и Кутузов, и Багратион — тоже, но воевали подходяще и были в мире честными людьми.

Всё от Бога, а не от партии зависит, а что ненавидят коммунистов и фашистов во всём мире — не надо и доказывать, стоит внимательно смотреть в почтовый ящик и читать газеты в середине повнимательней.

Я-то был и останусь антикоммунистом, что бы мне ни говорили и что б вокруг меня ни происходило. Игарка — хорошее

пособие с детства, да и оголтелые современные издания во главе с «Правдой» тоже хорошо помогают формированию антикоммунизма. Никто так яростно и умело не боролся с коммунизмом, как сами коммунисты! И помогай им Бог в этом!

Всего Вам доброго! Будьте по возможности здоровы! Кланяюсь.

В. Астафьев

10 июня 1994 г.
Овсянка
(Ю.М.Нагибину)
Дорогой Юра!

Да, брат, отмучился, отсуетился: юбилей — это не для контуженых людей, юбилей — дело серьёзное, если его затевают к тому же как народное торжество.

Да, из Пахры я звал двоих мне симпатичных человеков. Сашу Михайлова и тебя, но мои поручители и помощники именно с этими кандидатами в гости устроили путаницу, и, думаю, представитель нашего края сделал это не без «личных симпатий». Пригласил бы я пахринца Бондарева, его бы и в самолёт внесли. Но я знаю: и Саша, и ты были сердцем со мною, а телом мы уже старинные (как быстро подскочило-то!) и к передвижению уже малоспособны, да если бы судьбе было угодно вам попасть в Сибирь, то Родину свою, беспредельно и больно мной любимую, хотелось бы показать не в многолюдной суете.

Несколько раз за последние годы я принимался за письмо к тебе и всякий раз откладывал его, не закончив. Проступало в письме начётничество, а мы устали от него ещё при большевизме, и плодить блудословие в наши годы уже не к лицу. Первый раз начинал я писать тебе, когда прочёл твой рассказ в «Книжном обозрении», что-то об антисемитизме, об хороших евреях и плохих русских. Евреи любят говорить и повторять: «Если взять в процентном отношении.. », так вот, если взять в процентном отношении, у евреев в пять, а может, и в десять раз орденов в войну получено больше по сравнению с русскими, но это не значит, что они храбрее нас, их погубили и погибло в огне и говне войны пять миллионов. Нас, с учётом послевоенного мора, раз в пять или десять больше, но вот миром оплакиваются те пять миллионов, и та нация признаётся страдавшей и страдающей. А у нас что же, у нас вся Россия — погост, вся нация растоптана, так что же, если одного человека погубят — это убийство, а сотни миллионов — это уже статистика. И я вижу и ощущаю, что мы, русские, становимся всё более и более статистами истории. Что

же касается качеств наших, то, опять же в процентном отношении, среди русских и евреев порядочного и дряни будет поровну, и заискивать ни перед кем, тем более перед евреями, нельзя. Они как нынешние дворняги: чем их больше гладишь и кормишь, да заискиваешь перед ними, тем больше желания испытывают укусить тебя. Об этом вот и писал я тебе в письме, и слава богу, что не отослал его. Довелось мне побывать намедни в Израиле и встречаться с толпой еврейских писателей, при случае встретишься с Борщаговским, пусть он тебе расскажет об этом событии, тем более что рассказчик он и говорун по-прежнему неуёмный...

Второй раз я начинал тебе писать, прочитав в «Литературных новостях» (мне её иногда присылали, теперь перестали) какую-то совершенно яростную статью. И писал я о том, что нам, контуженым и нездоровым мужикам, иногда полезно сосчитать до десяти, а может, и до ста, прежде чем браться написать, но подумал, что на эту тему лучше толковать лично, однако в Москве я бываю редко, пробовал тебе звонить, увы, Бог не сулил нам встречи и беседы.

Но иногда я вижу тебя на экране, читаю по-прежнему всё, что значится под твоей фамилией, привязанность моя к тебе, как к писателю, не претерпела никаких изменений, память моя благодарно хранит всё, что связано с тобой. А о том, что ты помог мне впервые опубликоваться в столичном издании, я снова написал во вступительной статье в собрании сочинений, затеянном в Новосибирске и, кажется, тихо похороненном там же. Но если выйдет что-либо, я тебе непременно пришлю том со статьёй, а если хочешь, и раньше пришлю — выходил у меня двухтомник военной прозы в Иркутске, и там эта статья стоит как послесловие.

Сейчас я в родной деревне. И радуюсь себе, и не верю, что в кои-то веки я отдыхаю. Домашняя работа мне не в тягость. Я варю себе еду, но если перепадает время, можно не варить, так и не варю. Пол мне моет иногда сестра, иногда женщины из библиотеки, стирает Марья Семёновна, хотя она и больна очень, да куда денешься-то?

Зиму-зимскую я проторчал за столом, работал вторую книгу «Проклятых и убитых», залез в окопы, в кровь, в грязь, да ещё и на плацдарм, и еле живой вылез на свет. Я написал страшную, убийственную войну, художеств там, наверное, мало, но того, во что можно и нужно ткнуть носом желающих, предостаточно. Написал произведение, какого в нашей литературе ещё не было, а вот в американской подобное есть, и они в главном перекликаются — это роман Трамбо «Джонни получил винтовку»,

который я с трудом когда-то пробил в «Сибирские огни», а затем он выходил в «Худ. лите», но книжка маленькая, невзрачная, и затерялась в ширпотребе соцреализма, утонула в «Вечных зовах», толстой и, между прочим, много читаемой и много печатаемой книги. Невосполнимые потери понёс наш читатель, вред от соцреализма неискупим и непростителен. Много времени потребуется, чтобы выправить деформированное сознание нашего общества, воспитать его нормальный вкус, вернуть к книгам нашей замечательной русской классики. Подвижки есть, но порча, напущенная на народ, так пагубна, что учить его и переучивать надо долго, может, через три-четыре поколения наша литература вернёт классике достойного читателя.

Ну вот, расписался. Длиннота письма — это свидетельство того, что назрела пора встретиться и выговориться. Может, поздней осенью это и удастся, а пока желаю тебе относительного здоровья и хоть редкой встречи на страницах журналов и на телевидении. Алле поклон. Крепко тебя обнимаю, или, как прежде в русской деревне хорошо говорили, к сердцу прижимаю.

Преданно твой Виктор

[Это письмо Юрий Маркович не успел получить. Письмо принесли на следующий день после его смерти. — Сост.]

26 июля 1994 г.

Овсянка

(Н.Гашеву)

Дорогой Николай!

Опоздал ты со своим письмом. Солженицын сразу же по прибытии в Красноярск приехал ко мне в Овсянку, мы проговорили с ним часа три без свидетелей, и я кое-что успел ему показать в деревне, сводил и на кладбище, и в библиотеку, и на Енисей, а назавтра умчался в Игарку, на юбилей города. Жалкий юбилей, жалкий сделался город, когда-то гордость советского строя, но все эти «гордости» быстро сжались, растащились и умирают совсем без гордости, принося много горя жителям и работягам, ибо остаются они без крова и без возможности где-то заработать кусок хлеба.

Тем временем подошла пора сдачи романа в «Новом мире», и я поскорее спешу с рукописью в Москву, ибо есть у меня вариант более совершенный. Суета суёт, как говорил покойный Папанов.

Сегодня у меня был человек, вернувшийся с Урала, аж из самого Чусового, и сказал, что у вас холодное лето, а у нас только отпустила жара, все южные районы выгорели от засухи. Вот так вот и идёт жизнь, где холодно, где жарко, но везде как-то

неустойчиво.

Прости, Коля, что пишу бегло, работаю, надо успеть ещё раз строго пройтись по рукописи — ответственность уж очень большая, я стал бояться представать перед читающей публикой, ровно нагишом стою с толстым пузом, кривыми ногами и шрамами на теле...

За газету, за письмо и за внимание спасибо. Обнимаю тебя. Виктор Петрович

3 августа 1994 г.
Овсянка
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Я в курсе, что Марья Семёнова писала тебе. Что-то вы, чусовляне подзаболели нотационной болезнью. Маня уж не может и часу прожить, чтоб не сделать мне или Польке замечание или дать руководящее указание, задача её усложнилась в связи с тем, что третий член семьи находится в армии и ему там ценных указаний дают предостаточно.

Самое худое наследство большевизма — это вот желание всех чему-то научить, указать правильный путь, совершенно при этом забывая, что указующий и воспитующий невольно себя ставит выше всех, принимает позу пророка и вещуна. Я уже не раз говорил тебе, что по причине отвращения к большевистским нравоучениям с раздражением воспринимаю и все Христовы поучения, которые тоже были придуманы людьми, много о себе понимающими, естественно, что в конце концов надоели мне и твои нравоучения, особливо когда они писаны не для меня, а по поводу меня в газетках и журнале, пусть и "Москве".

Но сейчас мне совсем недосуг рассуждать на эту тему. Болея, я бился со второй книгой, забросил для ознакомления один вариант в «Новый мир», сам решил отдохнуть после бурного юбилея, ан не тут-то было! Открыл как то рукопись что-то поправить, и понесло меня, а тут юбилеи — Игарки, Енисейска, какие-то события, как-то: приезд Солженицына ко мне, в Овсянку, приезд Ельцина в Красноярск, но я не прекратил работать и вот узнаю -«Новый мир» начал сдачу романа, и десятый номер ушёл в печать. Так я решил хоть одиннадцатый и двенадцатый догнать и поучаствовать, предложить текст более совершенный и избежать тех нелепостей и недоразумений, что произошли с первой книгой — там ведь нет половины двенадцатой главы, не говоря уже о мелочах.

Билет у меня на столе и хоть дорого, хоть накладно, 8-го лечу

в Москву. Свалю гору с плеч — отдохну, постараюсь до зимы за стол вплотную не садиться. Усталость такая, что аж шатает. Третью книгу раньше зимы не возьмусь делать, хотя вся она в башке выстроилась и есть всё же набросок, аж страниц 800.

В остальном всё более или менее. Лето в нашей местности снова хорошее, урожайное, хотя юг края и Хакасия выгорели от засухи. Марья Семёновна здоровьем ещё больше сдала, бывает здесь редко, народ меня одолевает, но терплю, деревья в огороде сделались большие, кедры пышные, так что ниоткуда меня уже не видать, одиночество никакое меня не мучает, даже наоборот радуюсь, когда удаётся побыть с самим собой. От народа и рад бы оторваться, да передохнуть не удаётся. А народ становится всё хуже и подлей особенно наш, полусельский-полугородской, — межедомок ему имя.

У президента мы выпросили полтора миллиарда на культуру, и теперь хочешь не хочешь, приходится молить Бога, чтоб его не свалили коммунисты до той поры, пока он эти деньги нам не выдаст.

С Солженицыным проговорили около трех часов «без свидетелей», это была беседа полноправная, с полуслова понимали друг друга, разночтений не было — великий муж Александр Исаевич, великий! С ним общаться нелегко. ответственно, но интересно и, надеюсь, взаимообогащающе.

Лето перевалило за середину, у нас много огурцов, ягод, появились грибы, в лесу колоссальный урожай ореха — держись, кедр.

Меж делами взял я подшивку «Литературной России» и прочитал про съезд. Экий всё же товарищ Бондарев-то! Ну, Костя Воробьёв не нам чета, он о нём ещё молодом матерно отзывался. Да и другие тоже ничего. С удивлением узнал, что они меня всё ещё числят в своём Союзе, сделали вид, что про заявление моё о выходе забыли, и получается, что я состою в одном Союзе с Прохановым, Бушиным, Бондаренко, Бондаревым, Ивановым и прочая, а я с ними рядом и в сортире-то в одном не сяду. Боюсь, что и Валерий Николаевич (Ганичев) не наладит жизнь российских писателей — остарел народ, саморазрушился, не пишет и не поёт, скорее богадельню надо открывать, а не Союз, это заведение полезней и нужнее сейчас.

Ну, да время и Бог, глядишь, всё исправят. И порядок наведут во всех рядах, в том числе и писательских.

Будь здоров! Недавно был тут у меня учёный-китаевед, который съездил на Урал, в том числе и в Чусовой, привёз горькую весть, что Леонарда согнали с должности и «Огонёк» осиротел, а Витя Шмыров организует музей на месте

политических лагерей в Кучино.

Так вот и живём, если не бурно, то разнообразно хотя бы.

Кланяюсь. Виктор Петрович

21 августа 1994 г.

Овсянка

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Пришло твоё письмо, уже второе, и «Вечерний Красноярск» привезён, где сокращённо дана наша беседа. Я уж боюсь читать всякие беседы о себе и эту газету опасливо развернул. Вроде бы ничего, большой отсебятины нету. А то ведь вот уж и в кандидаты в депутаты чуть не попал. Заезжал в гости М. Н. Полторанин, попросил поддержать блок Рыбкина на выборах, а так как ничего приличнее я в той шатии не вижу, то и согласился поддержать словом и пером Рыбкина, а газетиры сразу за узду и ну поскакали на просторы блудословия, им привычного. Ведь и телефон знают, и ломятся в дом, когда не надо, а тут и позвонить, уточнить им в тягость, знай, блуди, лепи слова на бумаге, повод приспел.

А я тем временем ушёл больницу — перепады температуры невероятные. Днём плюс 35, ночью от воды, спускаемой ГЭС, плюс 5, и меня разморило. Надел на голое тело кожаную куртку — и в огород ягод пощипать, с сорняками побороться. По потному телу поддувает-холодит, ну ночью на «скорой» и умчали чуть тёпленького. Неделю пролежал, искололи всю жопу и руки, чтобы помнил, что лёгкие гнилые, и не рыпался, а потом моя врачиха, Ольга *[Денисова. — Сост.]*, в отпуск пошла, а я в Овсянку вернулся и теперь прею в тельняшке, когда и телогрейке, боясь и малого ветра.

А М. С. заканчивает ремонт, сметя все деньги со всех счетов, даже и с детских, ибо квартира-то была очень запущена. Сама она едва живая. Ребята приехали в отпуск, маленько ей помогают. Позавчера, 19-го, исполнилось 7 лет со дня смерти дочери, побывали на кладбище, завтра, 22-го, у М. С. день рождения, я поеду чаю попить, ибо уж кроме чая ничего нельзя. Это я при тебе ещё орлил, а сейчас уж совсем усмирел, даже и на берег реки не хожу, хочу подкопить здоровья и в начале октября двинуть в Индию, в рериховские места. Художники рисовать туда ездят и меня с собой сулятся взять.

Народ у меня тут разный бывает, так, недавно занесло сына Грэхэма Грина, интересный, очень веселый мужик. У него родовой замок на севере Англии, я и спрашиваю: «Где лучше-то, в Овсянке или в замке?» — «Овсянка лутче. Замок — это дорого и

скучно».

С тем и остаюсь. Твой Виктор Петрович

15 сентября 1994 г
Красноярск
(М.С.Литвякову)
Дорогой Миша!

Опустела без тебя земля, а дом без Марьи Семёновны — день ясный, жёлтый, солнечный, а словно всё померкло. Поля в школе, я, чтобы хоть как-то отвлечься от грызучей тоски, пишу письма и вот отправляю тебе плёнку со всем, что тебе требовалось. Здесь и «Вниз по Волге», правда, с очень хриплым моим голосом, в тот день я пил лекарство, которое сушит горло, и пытался размочить его водкой и чаем, получилось ещё хуже. Поют романс Борис Ванежик, парень из хора Красноярского театра оперы и балета, и бывшая работница краевого радио, а ныне пенсионерка, Галина Шелудченко.

Сегодня я варил суп, в обед его хлебал, и ел тугунка и вспоминал нашу поездку по Енисею — спасибо Господу, что он нас собрал вместе и послал в осень славную, а что ругал вас порой, так не со зла, а от худого характера, который вон бедная моя Марья не вынесла и легла в больницу, а каково для неё слово «лежать»? Это ж как гений и злодейство — несовместны. Ну, обнимаю и целую, а то ещё и зареву в одиночку.

Привет Ирине, Юре, маме твоей и Витьке — пусть не думает, что всю водку можно выпить. Вон её, клятую, сколькие пытались прикончить, но пока что она приканчивает Россию и мужиков её, прежде всего.

Миша! Твоя задача не просто вернуть мне плёнку, но вернуть хотя бы в трёх экземплярах — надо кое-куда послать.

Обнимаю тебя и целую и, как говорят в русском народе — «Прости, если что было не так». Твой Виктор Петрович

20 сентября 1994 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Давненько уже твоё письмо лежит перед глазами, как и других с десяток, но меня, как завело весной в вертящееся колесо, так и вертит. Такой уж видно, год выпал — вертеться. Ездил в Москву, почти вынужденно ездил. Прошлой осенью в поездке по морям и странам я спросил у Залыгина, как в журнале с прозой. И

он бодро ответил: «А хорошо! На год есть». Вот я весной, едучи из-за границы, засунул в журнал компьютерный набор «Плацдарма» с надеждой, что в редакции его с толком, чувством, с расстановкой прочтут, дадут мне заключение с замечаниями и я, благословясь, за зиму подготовлюсь к публикации в 1995 году.

Тем временем рукопись прочли Саша Михайлов (он бывший командир роты сапёров, критик хоть и «тихий», но чего-то в литературе мерекающий) и генерал один толковый прочёл. Оба они сделали замечания, подали толковые советы. А я в Овсянке выспался, отдохнул малость, и нечего, думаю, ждать-то у моря погоды! Давай работать и довольно-таки изрядно подправил рукопись, и Маня из последних сил впечатала вставки, где и подпечатала, где и допечатала.

Сижу или, точнее, колесю по Сибири — юбилей Игарки. Хорошо посидел на берегу Енисея с удочками, полежал в лесной избушке брата. Правда, началась жара, а она лихая в Заполярье, потяжелей морозов. Но зато зацвела лесотундра! Разом вся, ибо весна затянулась и соединилась с летом единым цветением. Боже мой, что это за чудо! Я-то уже подзабыл, да и смотрел на чудо такое привычно, двумя, но незрелыми оками, а тут... Тут я ещё раз вспомнил грустные слова Жени Носова о том, как бессильно слово перед могуществом красоты природы.

Затем был юбилей города Енисейска, грандиозный, с русским широким запоем, с крестным ходом по подметённому и подкрашенному городу под звон колоколов и хряск бутылочного стекла о камни на Енисее...

Уже собрался в Овсянку, но не успел там обопнуться, как свалилась на меня киногруппа из С.-Петербурга. Оказывается, в гуле и суете юбилея, я, чтоб отвязаться только, пообещал осенью поучаствовать в съёмках док. фильма «По следам «Царь-рыбы», и вот поехали мы, полетели по Енисею по осеннему на рыбнадзоровском катере — красота, покой, родная природа, и если б камеру не совали в рыло, было бы хорошо. Но киношники-документалисты народ настырный, своё дело сделали и рыбки дивной — тугунка — вместе со мной маленько поудили, и за рябчиками сходили. Осень у нас снова хорошая, способствует уборке урожая, ибо и лето в наших местах было хорошее (юг выгорел, и в краю сгорели несметные пространства леса). И всё бы ничего, да моя Марья, всё уж вроде перенесшая, плохо переносит разлуку с внуком, а тот, не то шантажируя нас, не то в самом деле, сулится из родной армии сбежать или застрелиться. Коли то и другое в их рядах происходит нередко, да и дошёл он за три месяца, комнатный мальчик, до ручки, вот бабушка свалилась, лежит в больнице. Я бегаю, справки достаю, чтоб

вызволить парня из армии, и, как плохую скотину в плохую погоду часто срать тянет, так меня во дни бед и напастей — писать. Сейчас вот взяла за горло, держит, давит, от себя не отпускает маленькая военная повесть.

Полторы-две недели, и я бы выкрикнул черновик, разродился, опростался чревом. Я с Полей дома один. Маня маленько очухалась, а то ведь падала и сегодня с поддержкой внучки пришла на два выходных домой. Сейчас полезет в дела, я знаю, руководить начнёт. Да и руководила бы! Из меня хозяин худой.

Ну, Бог даст... Надо бы рассказать эпопею с изданием сибирского собрания моих сочинений и как я был в гостях у Андрея Золотова, слушал музыку, его слушал, и это было лучшим моим временем и подарком мне в Москве. Надо бы и о панихиде Леонова написать, да Марья пришла и надо с нею хоть посидеть на кухне, а то ведь, неровён час, подумает, что я и не рад ей, и обидится.

Словом, до свидания! Здоровы все будьте! Твой Виктор Петрович

P. S. А в Овсянку я всё же попаду, чует моё сердце, и повестуху накатаю. Симпатичная по замыслу, повестуха-то.

15 октября 1994 г.
Красноярск
(А.Ф.Гремицкой)
Дорогая Ася!

Бегут года, лета, дни, вот и осень снова. Правда, она у нас лучезарная, чистая, желтолистая, урожайная, что сейчас главнее всех остальных прелестей земных.

Теперь ты уже знаешь, что я побывал в Москве, когда ты полола ярославские грядки. Пребывание в столице и всегда-то для меня гнетуще бывает, а на этот раз и вовсе какая-то мгла безродная. Погода была худая, угодил на похороны Леонида Леонова. Народу пришло на панихиду мало, приличного и совсем не было. В почётном карауле отбывали повинность всё больше инженеры человеческих душ вместе и во главе с Юрой-болтушкой, этим законнорождённым советским строем и соцреализмом мыслителем и вождём, умудрившимся столько вреда русской современной литературе нанести, сколько самому графу Бенкендорфу в своё время не удалось. Можешь представить, что за шушера вокруг гроба действительно замечательного писателя и гражданина вертелась, коли Валера Ганичев выглядел среди неё всех представительней и порядочней.

А и в журнале родном одни огорчения получились. В апреле

Юра Ростовцев занёс в «Новый мир» компьютерный набор романа для ознакомления, ибо прошлой осенью, в совместном плаванье я спросил у Сергея Павловича, как с прозой, и он мне ответил: «Неплохо. На год есть». Я и думал, что раз не поджимает, пусть идёт постепенная подготовка и публикации, дал читать рукопись Саше Михайлову (старшему) и одному толковому генералу. И что-то летом меня подтолкнуло поработать над текстом согласно замечаниям, в основном толковым, этих двух первых читателей романа. Ну, лето, Овсянка, особо сильно никто не мешает, я и прошёлся по тексту всей рукописи, хорошенько её потряс, подсократил, но всё равно осталось 25 листов без малого.

И вот узнаю вдруг, что роман уже в работе, что 10-й номер с началом романа уже подписан к печати. Я папку в охапку, рукопись под мышку, и скорее в Москву. Никого в журнале, кроме секретаря, нету, ветер гуляет по коридорам и трещит электроинструмент, то какие-то предприниматели изготавливают к подвалам экономические помещения, отданные или проданные «Новым миром». Назавтра приезжает Алла Марченко, она «ведёт» роман, и привозит тексты, подготовленные в 11—12-й номера. Сокращено семь листов — не входят, текст измаран и исправлен так, что меня оторопь взяла. Я предлагаю мною привезённый текст, говорят — уже поздно. Тогда я говорю, что сниму с 11 —12-го номеров роман. «А что нам делать?» — «Ставьте что-либо из запаса, у вас прозы на год запас...»

Оказалось, нету ничего, никакого запаса, всё идет с колёс, ибо «Знамя» стало платить гонорар валютой, и вот туда потекли обещанные нашему журналу рукописи, и там-то уж, уверен я, есть и запас, да немалый.

Поскольку в сокращение попали самые грубые, самые натуралистические и опасные куски, то и видна сделалась рука, всё ещё учитывающая цензуру. Начал я восстанавливать по старому тексту новый (подбирать уже поздно), началась суета. Появляется Залыгин, мнётся, жалуется на жизнь, на работников, на то, что замениться некем, а то ушёл бы, сказал, что хотел дать редактировать роман Гремицкой, но её где-то нет, а «время поджимало», и ещё сказал, что он посмотрит конец романа, что-то там его смущает, а я и наперёд знаю, что. Журнал наш, одёрнув юбочку, только что исправил великолепное название у Инги Петкевич «Исповедь красной суки» на «Свободное падение». Эко, эко! Эстеты-то какие! Академисты-фарисеи! А вещь потрясающая, и принёс её в журнал Андрей Битов. Инга его бывшая жена, и Андрей не мог не видеть и не знать, что жена куда как лучше мужа пишет, и вот принёс.

На похоронах Леонова встретил я старого знакомого

Андрюшу Золотова, который познакомил меня когда-то с Мравинским, приглашал нас с Марьей Семёновной в Петербург на его концерты. И вот, закончив журнальную маяту, так я устал, духом упал, что уже ноги сделались ватные и мои лекарства мне не помогают. Позвонил я Андрюше Золотову, возьми, говорю меня отсюдова. Он сказал: «С удовольствием», выпросил машину в агентстве «Новости», завёз меня туда, главный «агент» выпер какого-то немца из кабинета, говоря: «Немцев у меня каждый день десяток бывает, а Астафьев первый раз», и визит закончился тем, что я оказался членом ещё одной редколлегии, журнала «Россия», который здесяка начинает издаваться и собирается стать «истинно российским» журналом. Ну, посмотрим, что будет, собираются-то все органы в России стать российскими, а на деле получается что-то интернациональное или очередной «геймланд».

У Андрюши я провёл замечательно время, поспал часок, поел с хозяином супчику рисового и сосисок, а главное, посмотрел фильмы с его комментариями о Рихтере, Свиридове, Мравинском и даже о Тосканини маленько. Ах, Господи, как мы наговорились! Как хорошо у меня сделалось на душе, хотя о романе, я, конечно, забыть не мог и слова «журнальный вариант» меня мало утешили,

Был я ещё в гостях у Алика Лиханова и у Алёши Петренко с Галей, а жил У Капустиных. У Толи Заболоцкого была мама, улетела в Абакан, Толя обещал ей прилететь следом, но, как у него, у заполошного, водится, пробегал по Москве неделю, а мать в Абакане, прилетев, умерла, и её похоронили без Толи. Звонил тут без меня Марье Семёновне, рыдает...

Тем временем свалилась на меня киногруппа из Санкт-Петербурга снимать док. фильм «По следам «Царь-рыбы», который я, оказывается, обещал во время юбилея, только чтоб отвязаться, ан они не забыли, явились, и сотворилась у нас чудесная поездка по осеннему Енисею на рыбнадзоровском катере. А пока мы ездили, приступило к Марье Семёновне, вчера она упала, сегодня увёл сё в больницу. А что такое больница для Марьи Семёновны? Что такое для неё непонятное слово «лежать», когда она сегодня после бессонное ночи: «Как-то будут Витя и Поля одни?», шебаршит какими-то тряпочками в ванной. Ну что на неё вдыбы подниматься? Поднялся уж, и теперь стыдно больно мне. Заполняю вот пустоту в доме, занявшись письмом к тебе. А как пустоту и чем заполнить?

P. S. Можешь меня поздравить — приняли в Академию творчества. Зовусь отныне, бля, академик. Ну ладно, здоровы вы будьте.

Целую тебя и всех! Твой — Виктор Петрович

23 октября 1994 г.
Овсянка
(В.Болохову)
Владимир!

Из тысячи юбилейных поздравлений, писем и телеграмм единственный, кто требует ответ, — Болохов.

Я не читаю рукописей в «Н. мире», тем более поэтических, и существует моя фамилия там только для поддержки моего старого и старшего друга — Сергея Залыгина. Всей поэтической продукцией журнала распоряжается Олег Чухонцев. Зная его вкус и деловитость, думаю, что поэма Ваша, будь она гениальна, как полагаете, давно была бы напечатана, если не в «Н. мире», то в каком-либо мировом журнале, скажем, в Париже или Нью-Йорке.

Привычка указывать человеку, с кем ему водиться, где и что печатать, что есть, что говорить. — чисто коммунистическая и рабская. Свободный человек сам собой распоряжается и никого не спрашивает о своём поведении, и нет над ним гражданина начальника.

Вашу проповедь и отповедь я получил в момент, когда жена моя, М. С, лежала в тяжелейшем состоянии в больнице, я, вдвоём с неразумной ещё внучкой, тянул дом и писал повесть, но Вы болеете неизлечимой болезнью — гениеманией, и нет Вам дела до чужих бед и забот. Я за свой литературный век перевидал гениев целые тучи, не одного уже посылал на х... надо бы и Вас послать туда же, да жалко, злоба и без того дотачивает Ваш изъеденный лагерной молью, истощалый и больной организм. Можете выступать где угодно и как угодно, мне на это насрать, а письмом Вашим я иду растопить печку, ибо недостойно оно того, чтобы хранилось в моём архиве.

Окстись, неразумный! В. Астафьев

3 ноября 1994 г.
Красноярск
(М.С.Литвякову)
Дорогой Миша!

Ну и наделал ты делов! Подарил мне такую ручку, что сама пишет, даже и думать не надо, а только в пальцах ее держать. Ну как такой струмент может простаивать? Вот я его и пустил в дело и написал новую повесть «Не надо крови», аж в двести с лишним страниц. Началось все с того, что ушла М. С, не выдержав юбилейного и других напряжений. Была в больнице, мы с Полей хозяевали вдвоём. И как всегда, когда М. С. болеет. Господь меня

бросил за стол. Хотел легко отделаться, написать маленькую повесть, но разошёлся, раздухарился, и когда М. С. вышла из больницы и отпустила меня в деревню, я там уже на пределе всех последних СИЛ и дописал черновик.

Осень, как при вас ещё шла, так и продолжалась почти до ноября, что способствовало моей работе. Сухо, солнечно было. Лишь днями начались холода, снег пошёл вместе с дождём, и я переехал в город. М. С. уже топчется. Витьку ещё не отпустили. Находился он в госпитале, не пишет, не звонит, так неизвестно чего там с ним. Полька уже за неделю чувствует себя на каникулах, слоняется из угла в угол, маленько бабушке помогает. Словом, жизнь идет и время движется всё туда же. Зима впереди большая. Отдохнуть мне не удалось, и как я её переживу, зиму-то, не знаю. Уехал бы куда-нибудь в санаторий, да боюсь оставлять М. С. одну, Уж, может, Витька вернётся, тогда поучится.

Начали печатать роман в «Новом мире», искромсана книга сокращениями, читать тяжело, порой уж непонятно, что к чему. За третью книгу примусь нескоро. Буду доделывать повесть, может, доделаю пару давно написанных рассказов, но сперва высплюсь, пока не получается.

Хорошо, что вас всё же приносило, выпала нечаянная неделя общения с природой и маленького отдыха, а то б так дома и прокисал. Таймешка-то, помнишь, как изловил на чудесной речке Кий? А хариус и ленок снова не дали тунку зайти на икромёт в Кий. Второй раз подряд хорошая осень обернулась бедствием для чудесной маленькой рыбки.

Ну, поклон вам всем. Обнимаем я и М. С. Твой Виктор Астафьев

7 ноября 1994 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Во время юбилея подарил мне один тип, мой старый добрый приятель Миша Литвяков из Петербурга, ручку, и я возьми и опробуй её, а ручка такая оказалась, что сама пишет, даже и думать не надобно. Ну куда тут графоману деваться? Тем более что М. С. дошла до ручки, залегла в больницу, а как она угадывает в больницу, меня бросает какая-то спасительная сила, скорей всего, Господня, за стол. Так уже было, когда она умирала в пермской больнице от энцефалита, а я лихорадочно писал рассказ «Ясным ли днём» (с которого и началась твоя любовь ко мне). В другое время, в другой обстановке детки-подростки, не

понимая беды, на нас надвинувшейся, как с цепи сорвались, и мне бы их смертно бить, а я их изображал на бумаге с явной симпатией. Они, поузнавав и отгадав себя на бумаге, возликовали и ненадолго задумались, а я тем временем цап Марью свою, да в лес, в Быковку, где она и оклемалась, слава богу, однако ж и из полуживой М. С. они, детки, довольно попили уже шибко подпорченной клещом крови, да и я тоже.

Ну вот и тут то же, остался я с Полей один (Витька в армии мается), хозяевал тут и на пределе сил писал повесть, которая виделась маленькой, с названием «Дорога на фронт», но в процессе работы этак называться стала первая часть, вторая часть «Дорога с фронта», а вся повесть теперь называется «Не надо крови» *[окончательное название повести — «Так хочется жить». — Сост.]*. Заключительная, минорная третья часть называется «Лунный блик». (Есть у меня маленькая «затесь» с таким названием, так вот весь её аллегорический настрой и смысл сделался заключительным аккордом в жизни славных и несчастных русских людей, мужа и жены, попавших после войны аж в Красновишерск!)

Вся повесть в моём любимом размере, то есть размер «Пастуха и пастушки». Для неё я вынул из третьей книги романа «Прокляты и убиты» целую линию, и ещё попутно вынулось два рассказа, потому как только набросок третьей книги составляет почти уже 800 страниц, а я в «Плацдарме» и с 650 страницами большие муки принял. Роман начал печататься, и никакой радости у меня от этого нету, пришлось сокращать семь листов, резать по живому, многое успели зарезать без меня, и теперь я вижу, что под нож попало, как водится, самое живое, кое-где и логики никакой уж нету. Сергей Павлович *[Залыгин. — Сост.]* с журналом уже давно не справляется, уходить бы надо — остарел, но, говорит, замениться некем. В журнале ветер гуляет по комнатам, а я был в тот момент, когда Валентина Ивановна, секретарша, была в отпуске, а без неё уж и вовсе никто ничего не знает и никто ни за что не отвечает.

Один раз я до того устряпался, что ноги сделались ватные, в голове трезвон и плакать хочется. Позвонил я старому знакомому Андрюше Золотову, он меня забрал домой, я там полтора часа поспал, потом мы супчику поели, сосисок пожевали (жена с дитём были на даче) и пошли смотреть и слушать фильмы о Мравинском, о Рихтере и под занавес уж, совсем маленько, о Тосканини. Наговорились, нашептались, навспоминались, и это помогло мне одолеть остальные дни в гнусной столице.

Ну, а повесть вылупилась из давно задумывавшейся книги «Рассказы на госпитальной койке», однако её время я пропустил,

часть материалов использовал в романе, часть их благополучно померла, но некоторые, как пепел из моей печки овсянской, жгут сердце. Вот и дожгло!

Вернулась Марья Семёновна из больницы, за стенки держась ходит, Поля её водит в больницу, хозяйничает, как может — почта, магазин, мусор и весь дом на малой девчушке (которая, впрочем, вымахала на голову выше бабушки), а я, эгоист, предатель и ещё не знаю кто, смылся в деревню и бросился за стол.

Погода третий год подряд (Господь милостив к нам и дарит урожайное лето) являет длинную солнечную осень, которая, дойдя до ноября, без канители уперлась в зиму и перешла под снежный покров. Всё было за меня, за повесть, и я её начерно закончил, причём черновик, вижу я, не раздрызган, не запутан, писано всё на одном дыхании, потому-то и цельно, и без ужимок художественных, а остальное после машинки видно будет.

Марья Семёновна тем временем поднялась, бродит по дому, стирает, варит, и сама попросила печатать повесть, хочу, говорит, узнать, чего у тебя там. А я и рад, а то куда бы, к кому бы я со своим черновиком-то делся? Пусть я и волшебной ручкой пишу, но, как видишь, почерк от этого не улучшился. Будучи в деревне, средь выросшего на огороде леса, я думал о твоей вести о дождях, от которых маме твоей Чусовой уже раем кажется, а Андрей из Вологды сообщает о том же, и ёжился. Я ведь из Вологды рвался ещё и из-за гнилого климата и правильно сделал, что покинул гостеприимную, милую, но сырую Вологодчину, Давно бы уж сгнил там, а здесь ещё и рюмаху когда подниму, и работаю ещё и по дому, и за столом, да и прочих дел навовсе не кидаю.

Но сейчас-то вот уж не до хвастовства. Я ведь хотел после «Плацдарма» с годик ничего не писать, да вот не себе принадлежу-то. Давление, бессонница, нервы на пределе, левая рука немеет, но налажусь, непременно налажусь. Надо бы съездить хоть в ближний санаторий передохнуть, поколоться, воды попить, но уж не могу больше М. С. на произвол нонешней жизни кидать, не на кого. Из Овсянки каждый день звонил, в случае чего (спаси Бог!) рядом нахожусь...

Ну, всего, что накопилось, мне в одном письме не изобразить, да и силы все роман забрал, будь он неладен. Меня уж пащенковцы сулятся истребить за «неправильное отражение жизни любимого народа». Нашли чем пугать! В энтой современности так тянет иной раз скорее сдохнуть, что и хорошая погода не помогает. Видно, доживу я и до нового пришествия красного сатаны, вот уж этого-то я не переживу, это ж значит, мы все, умники и борцы за свободу, в лужу пёрнули, только пузыри и

вонь возбудили! То есть зазря с больной головой истязали себя, трудили организм свой изношенный, хлеб горький ели и жалкую свою долю и жизнь на алтарь отечества этого разнесчастного клали?!

Нет уж, пусть резвятся тогда и рукоплещут сатанисты и спасители народа без меня, а я не хочу видеть, как будет пропадать Россия и её несчастный народишко в последних судорогах, мордуя друг друга, захлебываясь последней кровью.

Что-то совсем у нас с Марьей Семёновной оборвались всякие связи с Чусовым. Как там? Что с Леонардом *[Постниковым. — Сост.]*, его всё-таки доели, изжевали или нет? Напиши маленько. Я как-то после последней поездки на Урал вовсе остыл к нему, хотя Женю Широкова повидать хочется (прислали мне тут его интервью в «Звезде», стареет Женя, миротворно и печально разговаривает, а печаль всё же признак мудрости), но Маня моя тоскует по Уралу, где ей по здоровью больше уже не бывать, и, может, от этого понимания тоскует, пытается со мною говорить о прошлом, а что со мной говорить? Я-то дома, да и об Урале мало каких воспоминаний в сердце осталось, особенно светлых, а ей же светлые нужны, она ж любит эту родную землю. Ну, обнимаю. Виктор Петрович

22 ноября 1994 г.

(Адресат не установлен)

Владимир Сергеевич!

Мы доживаем с женою полсотни лет, и, сами понимаете, за это время находилось не менее 500 человек, которые пытались нас поссорить. Так неужели же вы, 501-й, надеетесь на это?

Все Ваши письма дошли, они не заслуживают ни внимания, ни ответа от людей, по горло занятых и давно уже нездоровых. На это письмо я отвечаю только для того, чтоб Вы отвязались от меня и тем более от жены. Я знаю, кто Вас науськивает.

Издательскими делами я не занимаюсь. Рукопись Вашу читать не буду — не хочу читать ни письма, ни рукописи склочника. Хорошие рукописи ищут и ждут во всех журналах, печатают каждый год десятки произведений и открывают авторов, даже покойных, в том числе и диссидентов. Для того чтобы напечататься, требуется сущий пустяк — хорошо написать, талантливо.

Стращать меня бесполезно, за сорок с лишним лет работы в литературе я такое повидал и почитал, что Вам и в психиатрической больнице не снилось, даже и конвертом с грифом «правительственное» меня не проймёте. Я знаю, как и где

их достают и сколько они стоят.

Будьте здоровы! Астафьев

1995 год

14 января 1995 г

(А.Михайлову)

Дорогой Саша!

Эта Ваша Москва... Как Вы в ней и живёте? Я едва вырвался, отдыхиваюсь — рукава ведь отрывают — всем чего-то надо, каких-то слов, бесед, будто и без меня трепотни мало!.. От двух газет, даже от трёх так и не смог отбиться, чего-то наговорил впопыхах и обязательно глупость какую-нибудь ляпнул, оплошность сделал, а её за углом с топором ждут Проханов с Бондаренко.

Дома среди почты нашёл и твоё письмо со статьёй. Очень хорошо и доходчиво ты написал, а то ведь вместе с твоей статьёй появилась статья Немзера, по-моему, в «Сегодня». Ну ведь неглупый человек, иногда и мысли толковые высказывает, но хочется вот человеку вывернуться овчиной наружу да и только. Я тут встренул в газете «Сегодня» статью Курицына о Хименесе, обрадовался — поэт-то замечательный, человек колоритнейший, испанцами обожаемый. Ну, думаю, и до наших дойдёт. Да Курицыну до того ли Хименеса, как до полтавского хохла! Ему надо свою умственность продемонстрировать! После его статейки и истолкования жемчужинки мировой словесности «Мой Платеро» Хименеса не только искать, но и читать не станут.

У меня, Саша, одна к тебе претензия иль даже просьба: когда будешь впредь толковать о «правде войны», не забывай, пожалуйста, Костю Воробьёва, он ведь раньше всех нас на боевой-то рубеж вышел и пал на нём, всеми брошенный и одинокий. Бондарев, да, в «Горячем снеге» многое нарисовал, но и похитрил, полукавил достаточно с этими положительными отцами-комиссарами, с иконописным советником фронта — Весниным, а дальше уж и вовсе в эстетизму ударился. Последний роман его в «Нашем современнике» я не смог читать, одолел полста страниц и утомился так же, как утомляли всегда его умственные, многозначительные речи, где и слова единого в простоте человек не скажет...

А дела мои крутые. После сдачи романа в «Новый мир», работы изнурительной, обескураживающей, я хотел отдохнуть. Но тут фашисты забегали, красными флагами затрясли, снова к бою и насилию призывают, и Марья моя, страдая за внука, которого

замордовали в армии, и изнурившись с моим романом, слегла. В больницу отправилась, а её туда не завлечёшь, её только утащить туда возможно — ей, бедолаге, и болеть некогда. А я вот, моральный урод, такой уж моральный урод! Как только моя Марья сваливается — за стол. Работать. И захотелось мне выплеснуть на бумагу повестушку о судьбе незадачливого инвалида войны. И хотел я её взять на шарап, раз, раз и... на матрац. Не-е, паря, силёнки уж не те и графоман плодовитый. Пришла Марья из больницы, за стенки держится, но в деревню меня спровадила. («Чем ты мне тут поможешь? Звони почаще».)

И я засел в деревне-то, засел, и бабу бросил — превыше сил моих и сознания ущербного работа-то. Одновременно внука из армии выцарапывали, бабка получила первую группу инвалидности. Куда уж дальше-то?

Я тем временем накорябал повесть, ноне она называется «Так хочется жить». И опять же Марью, кого больше-то, засадил за машинку. Дело идёт к развязке, с повестью-то. Делаю последнюю правку. В конце января из Москвы прилетит редактор, мы с нею отредактируем повесть и подготовим её в пятый, победный номер «Знамени». От «Нового мира» я решил маленько отдохнуть.

Повесть на 10 листов. Писалась «вне плана», через всякие уж силы и возможности. А тут ещё юбилейный год — нет-нет да и настигнет отголосок пьянки. И я полежал в больнице, вроде бы подправился, сил подкопил, но в Москве их и потратил, поскольку не высыпался — уже не могу с ходу войти во время, как раньше бывало, просыпаюсь часа в три-четыре и хоть ты матушку-репку пой, а ведь дела-то надо делать.

Вышла первая книга в «Вече» «Проклятых и убитых» вместе с «Пастушкой», затеивается издание 15-томного собрания сочинений. На него нужны деньги, и большие. Хлопотали. Выхлопотали под премию и шум премиальный. Издание будет почти благотворительное, из 30 тысяч тиража 20 пойдут бесплатно в библиотеки, в основном в рабочие, и только на 10 тысяч будет проведена подписка. Надо бы как-то и тебя «обхватить» с Санькой твоим. Умён он у тебя, но бродяга. Читал его колонку о книжной выставке в Германии — хлёстко мыслит и пишет и в отличие от Курицына почти не умничает — в отца пошёл, коли и так умён, так чего ж из кожи-то лезть?!

Вот, Саня, доканчиваю работу над повестью и без передыху надо приниматься за собрание сочинений, надо самому составлять и комментировать, ибо много врут издатели. И снова — срочно! А силы мои богатырские оставляют меня, третьего дня закружилась голова, мгновенное отключение — и я упал, да на кухне, об плиту разбил и без того повреждённую половину лица,

колено ушиб, на башку шишек насадил. И сейчас голова кружится. На улицу пока не выхожу — боюсь упасть, да и рожа снесена, скажут, Марья Семёновна, наконец-то, добралась до этого эксплуататора, за все обиды, ей во множестве нанесённые за 50-то лет, рассчиталась! И справедливость торжествует! Бог без наказания никого не оставит.

Ну, раз меня на юмор повело — закругляюсь и ещё раз благодарю тебя за доброе слово о труде, который шибко тяжело мне даётся, как бы уж не мне и принадлежит, отчуждённо я роман-то чувствую, а вот повесть мне родная получилась, ибо о таком же она мудаке, как я сам.

Сегодня Старый Новый год. Дай Бог, чтобы у вас всё было ладно.

Целую, обнимаю преданно. Твой Виктор

5 февраля 1995 г
Красноярск
(Н.Гашеву)
Дорогой Коля!

Марья Семёновна в тяжёлом состоянии на носилках увезена в больницу, уже две недели как, и всё сошло с кругу. Сегодня получил ксероксы повести, запутался в конец, но запечатал и тебе экземпляр. Хватился — не могу найти книжку индексов и газету «Звезда», есть вырезки, а где газета? Найди попробуй.

Тем временем Поля почту принесла, глядь — письмо от тебя, вот тебе и индекс. Завтра бандероль уйдёт к тебе. Ты же знаешь, что меня в детдоме воспитывал не комиссар, а белогвардейский офицер, и коли я пообещал, то воистину кровь из носа, да сделаю.

Живу на пределе. А тут Москва и редакторша заедают, всем чего-то надо, у всех юбилеи, презентации и всякие хуяции. Мечтаю об одном — отдохнуть, но всё зависит от здоровья М. С. не сердитесь на неё. Если б вы знали, как она больна, изношена, сердце на трёх было ниточках, а теперь на двух повисло. Аритмию, сказали, уже не снять, это после двух-то инфарктов! Что мы будем без неё делать, даже воображения не хватает.

Ну, будь здоров и успокойся. Рукопись придёт, напиши. Обнимаю, твой Виктор Петрович

1 марта 1995 г.
Красноярск
(Г.Вершинину)
Дорогой редактор Г. Вершинин!

Я был удивлён и обрадован, получив ваше письмо и газеты с

письмами читателей. С времён молодости я пристально смотрю провинциальные газеты, особенно и в первую очередь «родные» — районки и городские.

Вижу, как скромно ваша газета оформлена! Но какая она неузнаваемая! Была тихонькая, более чем скромная, со снимками стахановцев и стахановок за станком и на тракторе, с детьми, загорающими у пруда, а читать в ней было нечего, её лишь «смотрели».

И вот, прочитав присланные мне номера, увидел, что лысьвенскую газету делают мужики умелые и неробкого десятка — используют с толком благоприятные для журналистов времена. Иной раз я аж вздохну горько и завистливо: «Эх, мне бы в такое время, да в газету бы...»

Что же касается неоднозначного отношения к роману, я и по письмам знаю: от отставного комиссарства и военных чинов — ругань, а от солдат-окопников и офицеров идут письма одобрительные, многие со словами: «Слава богу, дожили до правды о войне!..»

Но правда о войне и сама неоднозначная. С одной стороны — Победа. Пусть и громадной, надсадной, огромной кровью давшаяся и с такими огромными потерями, что нам стесняются их оглашать до сих пор. Вероятно, 47 миллионов — самая правдивая и страшная цифра. Да и как иначе могло быть? Когда у лётчиков-немцев спрашивали, как это они, герои рейха, сумели сбить по 400-600 самолётов, а советский герой Покрышкин — два, и тоже герой... Немцы, учившиеся в наших авиашколах, скромно отвечали, что в ту пору, когда советские лётчики сидели в классах, изучая историю партии, они летали — готовились к боям.

Три миллиона, вся почти кадровая армия наша попала в плен в 1941 году, и 250 тысяч голодных, беспризорных вояк-военных целую зиму бродили по Украине, их, чтобы не кормить и не охранять, даже в плен не брали, и они начали объединяться в банды, потом ушли в леса, объявив себя партизанами…

Ох уж эта «правда» войны! Мы. шестеро человек из одного взвода управления артдивизиона — осталось уже только трое. — собирались вместе и не раз спорили, ругались, вспоминая войну, — даже один бой, один случай, переход — все помнили по-разному. А вот если свести эту «правду» шестерых с «правдой» сотен, тысяч, миллионов — получится уже более полная картина.

«Всю правду знает только народ», — сказал незадолго до смерти Константин Симонов, услышавший эту великую фразу от солдат-фронтовиков.

Я-то, вникнув в материал войны, не только с нашей, но и с

противной стороны, знаю теперь, что нас спасло чудо, народ и Бог, который не раз уж спасал Россию — и от монголов, и в смутные времена, и в 1812 году, и в последней войне, и сейчас надежда только на него, на милостивца. Сильно мы Господа прогневили, много и страшно нагрешили, надо всем молиться, а это значит — вести себя достойно на земле и, может быть, он простит нас и не отвернёт своего милосердного лика от нас, расхристанных, злобных, неспособных к покаянию.

Вот третья книга и будет о народе нашем, великом и многотерпеливом, который, жертвуя собой и даже будущим своим, слезами, кровью, костьми своими и муками спас всю землю от поругания, а себя и Россию надсадил, обескровил. И одичала русская святая деревня, устал, озлобился, кусочником сделался и сам народ, так и не восполнивший потерь нации, так и не перемогший страшных потрясений, военных, послевоенных гонений, лагерей, тюрем и подневольных новостроек, и в конвульсиях уже бившегося нашего доблестного сельского хозяйства, без воскресения которого, как и без возвращения к духовному началу во всей жизни, — нам не выжить.

До третьей книги далеко, а до юбилея Победы уже близко, вот и написал я новую повесть о судьбе военного инвалида. Идёт она в четвёртом номере журнала «Знамя». Писалась она уже сверх сил, тоже надсадно, да ещё в ту пору, когда моя помощница и домовод, Марья Семёновна, в тяжелейшем состоянии лежала в больнице, и потому я затянул с ответом. Да ещё ведь и текущие, общественные дела не обходят меня стороной, и народишко докучает жалобами и просьбами.

Но всё это жизнь, повседневное бытие, куда же от жизни денешься? Пока ноги ходят, руки ручку держат, башка хотя и болит, но думает, — надо шевелиться.

Мой низкий Вам поклон! Отдельный поклон городу вашему, где жили и ещё живут дорогие моему сердцу люди. Поклон и Уралу, уже воистину седому, старому и мудрому, хотя и обобрали его разбойники и варнаки всякие.

Преданно ваш Виктор Астафьев

6 марта 1995 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Письма от тебя нет-нет, да и достигнут меня, но отозваться на них всё недосуг и недосуг. Опять болела М. С, и опять очень тяжело (видно, в этом возрасте болезни, что полегче, не про нас писаны и не для нас предназначены). Уволокли на носилках, в

реанимации две недели пролежала, в палате немного, ныне дома, за стены держась, ходит, но уже даёт ценные указания, командирничать принимается, значит, восстаёт. А я боялся, что на этот раз всё...

Я же всё бумагами шуршал, заканчивал новую повесть *[«Так хочется жить», — Сост.]*, потом редакторша из «Знамени» прилетела, дожимали, правили и пр. Повесть идёт срочно и досрочно в четвёртом номере «Знамени». Тем временем подоспела пора прокомментировать собрание сочинений, которое из раскорячившегося издательства «Сибирская книга» забрало одно московское издательство, надеясь на помощь спонсоров, причём могучих, но они, спонсоры, пить чай-кофе и даже водку — пожалуйста, обещают всё — пожалуйста, а потом просто на звонки издателя не отвечают или отделываются подачками и новыми обещаниями. Люди, повторяю, высокого полёта, так чего уж говорить о просто чиновниках, о просто гражданах. Тут тех, кто скурвился, даже и не порицают, даже и наоборот.

Но я всё же написал комментарии томам к восьми, остальное в голове, и если даже издание не состоится, а так оно скорее всего и будет, комментарии мои всё же останутся, и меньше за мной останется вранья и отсебятины. Кстати, статью твою Роман *[Солнцев. — Сост.]* сдал в шестой номер «Дня и ночи», журнал вроде бы на выходе. Статью я прочёл и понял, что это ещё не всё, и прошу тебя подождать с продолжением, роман неловко сокращён и печатан не по последнему варианту. Кто тут виноват, сейчас уже разбираться не стоит, но моя вина главная. Роман будет печататься в четырнадцатом номере "Роман-газеты" и выйдет в издательстве «Вече», как обещают, ко Дню Победы. А первую книгу вместе со старыми повестями напечатало, и довольно симпатично, это же издательство. Словом, наступил март, а у меня только-только посветлело, и я хочу отдохнуть и разгрести почту, а то уж пробовал в обморок падать, да в неловком месте, на кухне, по пути задев повреждённой стороной лица и головой все предметы, начиная с плиты и кончая раковиной. Лицу и башке не привыкать к биению, а колено вот болит до се.

У нас, как и в прошлые три года, сияет февральско-мартовское солнце, теплынь, и это значит, что в мае будет снег и холод.

А в остальном жизнь, как и везде — смутно, неуютно, грядёт вспышка фашизма, который тлел в загнете русской печи, и мы его, всякий в меру своих сил, сохраняли, а когда и раздували, то шаля и заигрывая с так называемыми Родными подельниками, то молча и равнодушно глазели на него, а кто и грелся от угольков-

то.

Наверное, всё-таки мы сами виноваты во всех наших бедах и злоключениях, нам и гореть в фашистском кострище, если всё же не опомнимся и не начнем с ним не то чтобы бороться (где уж нам уж), а хотя бы противостоять соблазну пополнять его озверевающие стаи.

Посылаю тебе заметку из «Обшей газеты» Егора Яковлева, газеты антирусской, настроенной против всего, что «за нас», и в поддержку всего, вплоть до Дудаева, что готово погубить нас, умыть кровью. Скажи им, что они заодно с русским фашизмом, обидятся ведь и начнут тыкать пальцем в полосы, где порой явно, но больше чуть скрытно торжествует «свобода слова» прохановского понимания и толка.

Умер ещё один мой родственник, муж сестры Кати, мужик под два метра роста, сознательную свою жизнь проработавший в доке грузчиком и сгнивший от небрежно сделанной операции грыжи. Отравились зельем и повымерли мужики вокруг моей избы в Овсянке, в том числе и румяный, косолапый и здоровенный мужик Миша Еремеев, одни Сёмка и Витька Юшковы живут, бьют — один бабу свою, другой — старуху мать, их и отрава уже не берёт, а Сёмку и тюрьма уже не страшит, та же битая и резаная им не раз баба и выкупает его из тюрьмы.

Письмо мамы твоей я относил Марье Семёновне в больницу, она когда очухается, думаю, напишет или уже написала ответ. А пока сидит или лежит и приводит в порядок альбомы, письма и документы своих и моих родственников, бередит и без того надсаженное сердце. Да что ж делать. Я уже видел в свалках, под берегом Енисея, деревенские «дела» и картинки, да и она видела всякое, вот и не может оставлять родных людей без призору.

Бог и за это пособит ей, поддержит так стремительно убегающую жизнь, нужную и нам, живым, да вот и мёртвым необходимую.

Крепко и преданно обнимаю. Виктор Петрович

14 марта 1995 г.

Красноярск

Открытое письмо

Главе администрации Красноярского края В. М. Зубову от писателя, инвалида Отечественной войны, почётного гражданина города Красноярска В. П. Астафьева

В период перестройки, которая кому-то нравится, а кому-то нет, с приходом бесцензурного времени началось стремительное движение печатного слова. Вместо трёх, а где и двух газет —

партийной и комсомольской — начали выходить в краях и областях десятки новых изданий, среди которых были и шумные, пустые и даже визгливые газеты, но устояли и те, что выходят десятки лет, соблюдая высокий журналистский профессионализм, деловитость и стремление помочь стране и народу в тревожное для них время.

Тогда же вот и возникла «Красноярская газета», поименовавшая себя «народной», с претензией говорить только «правду», «открывать ему глаза» на творящееся вокруг, на безобразия. Но «правду» открывать взялась вся послушная и благоверная советская журналистика. Этим, скоро стало видно, никого не удивить, и «народная» газета, ожидавшая, что её расхватают и будут читать народные массы, успеха у народа не снискала, более трёх-четырёх тысяч подписчиков на год не наскребла (для сравнения: старейшая газета края «Красноярский рабочий» имеет подписчиков за 150 тысяч).

Есть выход, давно известный журналистам, — улучшать своё издание, культуру его и собирать под свою крышу читателя достойным трудом, качественной работой.

Но для этого одного норова мало, нужно иметь талант и хотя бы элементарное понятие об этике и ценности печатного слова.

«Красноярская газета» предпочла иной путь, ныне распространённый: брать и завоёвывать читателя не культурой, а горлом — громче всех орать, доходя до митинговщины и оскорблений тех, кто не с ними, спекулируя на сложностях времени и тяжёлом положении в стране, заниматься политиканством самого низкого пошиба, всеми силами, злыми силами, помогая дестабилизации в обществе.

Газета, издающаяся на уровне боевого листка какого-нибудь зачуханного армейского дисбата, объявляет себя единственной в крае, которая пишет и проповедует правду, разоблачает врагов, а во враги её попали уже все более или менее достойные люди края и города Красноярска. И всё это происходило и происходит оттого, что газету начал и до сих пор возглавляет Олег Пащенко, человек духовно недоразвитый в смысле профессии, но честолюбивый, жаждущий власти и славы, которых пером ему не добыть, а только интригами, наглостью и нахрапом.

В своё время я доверился этому человеку и он получил от меня всё, что ему нужно, — предисловие к первой книге, об издании которой хлопотал, дал ему рекомендацию в Союз писателей и снова хлопотал — о принятии его в эту организацию, ибо по его книжке «Родичи», очень слабой и невнятной, его в Союз не приняли бы. Всё это делалось для становления человека и литератора, который бросил пить, обзавёлся семьёй, проявлял

себя активным организатором всяческих творческих встреч и мероприятий.

Но авансы, выданные Пащенко, ввергли его в ещё большую гордыню, возбудили в нём глубоко скрытое честолюбие, надменность, горлохватство.

Получив в своё распоряжение газету, Пащенко развернулся и проявил полной мерой все свои, до благодатного времени тщательно скрываемые качества. Ставши в газете этаким провинциальным наполеончиком, он и кадры подобрал по себе, у него работают не журналисты (те ему ни к чему), а бойцы «за правое дело» собрались вокруг него. Попробовавшие работать в «Красноярской газете» стоящие писатели и журналисты скоро были вынуждены покинуть это воинственное и низкопробное издание. Осталось то, что нужно редактору, — графоманы и неудачники от литературы и журналистики, мстящие всем за свою бесталанность и нравственное одичание, во всём потакая редактору, поддакивая ему — иначе оскорбит и выгонит. Коллектив, точнее, шайка оголтелых писак позволила Пащенко превратиться в культик, хвалящий себя, своих родных и близких на страницах собственной газеты, где он даже юбилей своей статьи отметит перепечаткой с собственным предисловием к ней, назвавши это творение гениальным.

Ну и тешься ты, возноси себя до небес в газете, которую путные люди не читают и не выписывают, читатели тут достойны своего издателя — развенчанные партократы, вохровцы из сталинских лагерей и одичавшая военная элита, жаждущая возврата к тоталитарным временам, тоскующая по Сталину и «смело», когда всё и вся дозволено, изобличающая демократию и в особенности интеллигенцию.

Пропивший свою юность и молодость, редактор Пащенко, покрутившийся возле интеллигенции, но по недоразвитости своей не постигший, что это такое, патологически ненавидит людей образованных и тех, кто талантливей его, а талантливей его все вокруг. От ненависти он бросается с лаем на своих товарищей по Союзу писателей, словами, достойными лагерного тюремного жаргона, срамит всех, кто работает и ведёт себя достойно в литературе.

Дело кончилось тем, что красноярские писатели с позором выдворили его из своей организации, но он, написавший худосочную книжонку и много газетной пакости, не устаёт спекулировать званием писателя и потрясает членским билетом.

Оболганные и оскорблённые «Красноярской газетой» писатели и журналисты не связываются с Пащенко, но он это считает трусостью, пишет всё более агрессивные пасквили,

угрожает то с экрана, то со страниц творческим людям: «Вот наши к власти придут — польётся кровушка, мы всех запомним кто не с нами».

Получив поддержку профашистских изданий, прежде всего прохановского помойного листка под названием «Завтра», и деньги от компартии и ВПК на поддержку своего грязного издания. Пащенко совсем взорлил, и ныне «Красноярская газета», даже не подбирая слов и выражений, кроет почём зря всех, кто ей не нравится, проповедуя насилие, обещает близкий переворот и перемену власти, и тогда «мы дадим». Сам Пащенко, возлюбив по завету своего высокопоставленного патрона и финансового благодетеля Петра Романова слово «оппозиция», прикрываясь им да ещё словом «русские патриоты», выступает в качестве защитника и спасителя русского народа, проповедуя при этом ненависть и примкнув к фашистам, которые, увы, свили своё гнездо не где-нибудь на свалке, а в Красноярском университете.

«Добродетели» однажды прислали мне университетскую газету с отчетом о сборище красноярских чернорубашечников, снявшихся на память, смотрю — сбоку к ним Пащенко прилепился. Это любимая позиция всякого ничтожества — липнуть к тому, кто сей момент кажется сильнее и от кого можно чего-нибудь получить или высосать.

Благодушие и терпение нашей администрации, творческой и культурной общественности, этакое снисходительное пренебрежение и терпимость к оголтелому, воинствующему газетному хамству, переросшему в проповедь насилия и фашизма, уже давно вызывают недоумение творческой интеллигенции и ещё не совсем одичавшей общественности — доколе могут они, вместе с ними и губернатор, и представитель президента потакать разнузданности черносотенной «Красноярской газеты», которая плюёт им. и всем, и кто там дальше, в лицо. Ведь есть же конституция Российской Федерации, а в ней четвёртая статья, которая гласит: «Не допускается использование средств массовой информации... для призыва к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и целостности государства, разжигания национальной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости или розни, для пропаганды войны».

«Красноярская газета», попирающая законы своего государства, оплёвывающая всякую мораль и человеческое достоинство, унижающая звание журналиста, поганящая родное слово, должна быть призвана к порядку и соблюдению хотя бы каких-то этических норм, существующих в цивилизованном обществе.

Я предлагаю администрации края создать комиссию из

культурной и творческой общественности, внимательнейшим образом ознакомиться с продукцией «Красноярской газеты» и передать заключение в краевую прокуратуру. От писательской организации предлагаю ввести в комиссию Николая Волокитина и Аиду Фёдорову. От Союза журналистов — Василия Нелюбина, от культурных заведений — директора краевого краеведческого музея В. М. Ярошевскую. Остальных членов комиссии — на усмотрение администрации.

Виктор Астафьев

26 марта 1995 г.
Красноярск
(А.Ф.Гремицкой)

Дорогая Ася!

Жизнь наша идёт не колесом, тем более не «красным». Попеременке болеем — я от усталости, Марья Семёновна от изношенности. Отдохнуть не удаётся, у меня уже рукава пооторвали с этим несчастным «праздником» Победы...

Мне и сказать-то нечего, выговорился в книгах, особенно в последней повести, но требуют «победных» выкриков и надежд на будущее. А где это всё взять? Но коли у меня нет оптимистического материала за душой, его додумывают и дописывают за меня.

Трудно было мне управиться с «затесями». пока помогала Марья Семёновна — ничего, а вот снова у неё приступ и я всё доделываю один и по тому, как исклеил всё, вымазавшись до бровей в клее, разделив старое вступление надвое, ты увидишь, какой из меня канцелярист.

Несколько «затесей» я так и не нашёл, но, может, наткнусь где — дошлю. Очень бы мне хотелось, чтоб «Вече» или «Дон» издали том «затесей». Когда они будут в куче, мне будет легче к ним пристраиваться с новыми «затесями», как-то их систематизировать и привести в порядок при жизни. Без меня они позатеряются, ибо печатаются разбросанно и, в основном, в провинции. Сегодня воскресенье, завтра Поля отнесёт бандероль на почту и это письмо. Погода наступала солнечная, весенняя, началась первая водотечь, а на сердце отчего-то муторно и тяжко. Скорее бы в деревню, но наши яркие «новости» застают и в деревне, и в тайге даже.

Поля у нас сделалась хорошая помощница бабе, а тот оболтус каким был, таким и остался — грубым, наглым захребетником. Пожалел я бабушку, вытащил из казармы, а надо было ещё подержать его там с полгодика хотя бы. Впрочем, таким

ублюдкам и бесстыжим рожам всё нипочём. Коли ума не дано природой, никакой мерой его не добавить.

Ну, прости, ради бога! У тебя и своих забот и неприятностей хватает. Кланяюсь, обнимаю, целую. Виктор Петрович

5 апреля 1995 г.
Красноярск
(М.С.Литвякову)
Дорогой Миша!

Ну, ты даешь! Сколько времени от тебя ни звуку, ни грюку. Однако, ты меня и ко дню Победы ненаряженным оставишь, а? Не знаю, звонил ли тебе парень с радио, он тут вытянул из меня беседу для «Петербурга-радио», и я просил его позвонить тебе, чтобы ты хоть почтой выслал мне наградные колодки к празднику. Сегодня уже 5 апреля, так может, еще успеешь? Ну не успеешь, так и хрен с ними. Я всё равно никуда не пойду справлять этот патриотический шабаш, то есть плясать, клацая протезами, на горькой памяти и косточках убиенных на войне.

Мы живём с переменным успехом, то я болею, то Марья Семёновна. Я тут сделал повесть о судьбе инвалида войны, идёт в четвёртом номере «Знамени», и растратил остатки сил и здоровья на неё *[речь о повести «Так хочется жить». — Сост.]*. А сейчас жду с нетерпением, когда можно будет уехать в деревню и заняться огородом. Очень надо отдохнуть и набраться сил для третьей книги романа.

Заедает текучка, в связи с приближением Дня Победы — просто отрывают рукава и не смолкает телефон. Всем нужен патриотический трёп о войне — отбиваюсь как могу. Боже, какая же всё-таки мы нация, готовая утопить все самое святое в безудержной болтовне и безответственной говорильне. Ни ума, ни совести, даже не понимают кощунства, лишь бы покрасоваться, грудь героически выпятить, медалями побренчать. Никому и в голову не приходит молиться, совсем свихнуты башки у народа, покалечено сознание коммунистической моралью и брехнёй. Сметёт, сметёт Господь этот мусор с земли, да уже, можно сказать, и подметает, но пьянь и ворьё не замечают этого, сами к гибели стремятся.

Ну ладно, ты всё-таки позвони, коль писать недосуг, звонить-то мастер. Поклон Ирине и маме твоей от меня и Марьи Семёновны. Обнимаю, Виктор Петрович

20 апреля 1995 г.

Красноярск
(Е.И.Носову)
Дорогой мой Женя!

Как ты там, на самой на границе с сопредельным государством живёшь? Чего жуёшь? Бульвоном небось питаешься? Брюхо болит? Пьёшь только чай и узвар, как его называют донцы-молодцы?

Я, в детстве не видевший в глаза ни яблок, ни груш, ни прочего фрукта, думал, что это что-то подобное кулаге, которая из калины напаривается. Она, эта кулага, была тем знаменита, что, растворившись дотла в какую-то сладчайшую жижицу, в загнетке русской печи обратившись, шла насквозь до самых до штанов, потому как трусов-то не было, а штаны стирали от бани до бани, то и ходишь нараскоряку от засохшей в штанах кулаги, и чирку бедную всю изотрёт до костей, и оттого она, испуганная, и оставалась в детском возрасте на всю жизнь. А коль я пишу для того, чтоб поздравить тебя с нашим горьким днём, то никакой политики и философии касаться не буду, а стану тебе рассказывать только славные боевые эпизоды из жизни своей и окружающей меня самой героической армии.

Значит, впервые я попал на фронт в Тульскую область, на границе с Орловской. Наступление наше началось почти серединой лета, во фланг Курско-Белгородского выступа. Гениальный тут замысел был: отсечь, окружить сосредоточенные на дуге силы противника и «на плечах его» — как говорил Василий Иванович Чапаев — закончить войну ещё в 1943 году. Ни хера из этой затеи не получилось, как из многих затей наших мудрейших полководцев — умылись кровью и те, и другие. Немец отвёл оставшиеся силы, оставив и Курск и Белгород, да и заманил в харьковскую ловушку шесть наших армий — округлил, паразит, шестёрку за шестую армию Паулюса...

Но речь не об этом. Туго, медленно продвигаемся вперёд, часть наша, почти сплошь сибирская, на Дальнем Востоке, в какой-то бухте спасалась и вышла оттудова вся в чирьях. Вот в одной орловской деревушке увидели мы черешню. Спелая, алая, и кто-то из чалдонов громко удивляется: «Гляди-ко, ягода кака хрушка, а растёт на дереве, как наша черёмуха». Тут же какой-то неустрашимый сибиряк влез на дерево — попробовать. «Ну, кака ягода? На скус-то?» — «А навроде нашей костяницы и кислицы совместно» (кислицей у нас красную смородину зовут). — «Ты, еппой мать, пьяной, чё ли? Как ето может быть, чтоб и костяница, и кислица?!» — «Нате, сами пробовайте!» — кричит с дерева чалдон, и поскольку вырос он в диком лесу, привык всё ломать, рубить и жечь, то наклоняет вершину черешни, а черешня, да ещё

старая, — дерево ломкое, как тебе, великому натуралисту, известно. Словом, сломилась вершина-то, и промысловик вместе с нею вниз сверзился, ничего вроде не переломал на себе, но ахает, хромает, а ребята черешню едят и соглашаются, что и на костяницу, и на кислицу, и ещё на что-то ягода похожа скусом, головой качают: «Н-ну, блядь, и земля-а-а! Ну всё на ней непонятное! И как тут люди живут?» А из людей баба явилась и говорит: «Вы зачем, дураки, дерево спортили? Зачем вершину сломили?» — «А как же иначе-то? Мы завсегда — хоть черёмуху, хоть рябину — если не нагибается, ломам или пилим, не рубим, а спиливам, чтоб ягоды не осыпались, и так берём». — «Дикий вы народ!» — покачала головой баба и, махнув рукой, ушла прочь.

А в Сумской области первый раз, попав в сады уже в августе иль в сентябре, наелись мы слив до отвала, и тоже, как от кулаги, обдристались все, и врага били беспощадно, и гнали прочь — в засохших галифе, и снова бедную чирку, свету не видавшую, ещё и бабу не нюхавшую, терзало, будто наждаком обстругивало, аж отруби из штанов сыпались.

Хотел ещё тебе описать, как под городом Львовом я обосрался, и здорово обосрался, килограмма на два с половиною опростался (сейчас вон полено осиновое в зубы беру, чтоб крику не слышно было по городу и за два дня едва закорючку выдавлю, бледную-бледную, на червяка похожую), а тогда в духе ещё в сильном был: раз — и готово, полные штаны — враг на два километра отходит, не выдержав моей вони! А ежели полк, дивизия, армия опростается? Так вот, этой страшной вонью мы и допятили культурного врага до границы, а потом всё его логово обосрали. Но я там уж не участвовал. Жаль! Война бы на неделю раньше закончилась, ежели б там я был и по утрам опрастывался...

В «Знамени» № 4 вышла моя повесть о судьбе инвалида войны, и там ты, ежели посмотришь, многие занятные эпизоды этакого рода узришь. А пока я тебя обнимаю, целую и поздравляю, что дожили мы до этой даты, но хорошо это или плохо, с уверенностью сказать не могу. Порой бывает так уж противно жить, что хочется покою. Но вот наступила весна, я засобирался на ток глухариный, в тайгу — и сердце встрепенулось. Весь праздник, и день рождения свой, и этот горький День Победы постараюсь пробыть в тайге. Там я себя равноправным существом чувствую, а здесь, как деревянная куколка на нитке: и дёргают, и дёргают со всех сторон, и то ты кверху жопой, то вниз головой. Фашисты наши во главе с недоноском нашим — Пащенко — за меня взялись, но я отбиваюсь, работаю, иначе... даже на юмор ещё гожусь. Скоро в

деревню, огород садить, то-то отдохну,

Будь здоров, старичонка! Вечно твой Виктор

1995 г.

(Кожевникову)

Дорогой мой собрат по войне!

Увы, Ваше горькое письмо — не единственное на моём письменном столе. Их пачки, и в редакциях газет, и у меня на столе, и ничем я Вам помочь не могу, кроме как советом.

Соберите все свои документы в карман, всю переписку, наденьте все награды, напишите плакат: «Сограждане! Соотечественники! Я четырежды ранен на войне, но меня унижают — мне отказали в инвалидности! Я получаю пенсию 55 тысяч рублей. Помогите мне! Я помог вам своей кровью!» Этот плакат прибейте к палке и с утра пораньше, пока нет оцепления, встаньте с ним на центральной площади Томска 9-го Мая, в День Победы.

Вас попробует застращать и даже скрутить милиция, не сдавайтесь, говорите, что всё снимается на плёнку — для кино. Требуйте, чтоб за Вами лично приехал председатель облисполкома или военком облвоенкомата. И пока они лично не приедут — не сходите с места.

Это Вам сразу же поможет. Через три дня, уверяю Вас, везде и всюду дадут ход Вашему пенсионному делу. Но будьте мужественны, как на фронте. Держитесь до конца!

Если же Вас начнут преследовать, оскорблять — дайте мне короткую телеграмму об этом, и я этим землякам-сибирякам такой устрою скандал, что иные из них полетят со своих тёплых мест.

Сделайте ещё один подвиг, сибиряк! Во имя таких же униженных и обиженных, во имя своей спокойной старости. Желаю Вам мужества!

Ваш В. Астафьев, инвалид войны, писатель, лауреат Государственных премий

Копию письма Кожевникова вместе с моим — в Томский облисполком. Копия письма остаётся у меня.

8 мая 1995 г.

Красноярск

(В. Хорощавцеву)

Дорогой Виктор!

В канун великого и трагического Дня Победы получил от тебя

письмо, спасибо за память. Шлю тебе обещанный двухтомник. Давно надо было написать, давно и выслал бы. В этом двухтомнике есть первая книга моего главного труда — романа о войне. Прочти во втором томе статью «Подводя итоги», там есть кое-что о Чусовом и чусовском бытовании.

Сложные у меня отношения с неподготовленным советским читателем, с людьми, привыкшими к повседневной большевистской лени, изуродовавшей Россию и души россиян исказившей. С читателем культурным, хорошо подготовленным к сложному чтению, никаких у меня проблем нет, как и с честными, горя и беды хватившими на войне и в нашей жизни.

Когда я писал на провинциальном среднем уровне книги поверхностные в поток мутной советской литературы, меня хвалили и воспринимали на «уру» все, но, слава богу, и от книг поточного производства, и от массового читателя я сумел отдалиться, преодолел путы соцреализма. Писатель не красная девица, не может нравиться всем — он сам себе господин и сам творец себя и своей судьбы. Моя творческая судьба принадлежит мне, и у меня есть место в русской литературе и культуре, которое уже никто не сможет занять. И всё это сделано мною, моим трудом, очень, кстати, нелёгким и упорным — да ещё трудом Марии Семёновны, которая перепечатывала некоторые мои повести до 14 раз, а уж сколько я написал — одному Богу известно, и он. Господь, помогал и помогает мне в моей жизни и работе, да ещё друзья — люди высочайшей культуры и светлой души, такие как Александр Николаевич Макаров.

Стихи твои «домашние», без претензий и от того милы, добродушны, читаются с улыбкой. Спасибо!

Здоров будь! Подтверди получение книг, а то — пропадают. Обнимаю. Виктор Петрович

18 мая 1995г.
Овсянка
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Телепатия есть — я недавно подумал, поди-ко нонче Курбатов приедет, подрядит его кто-нибудь. Я сейчас в деревне, отсаживаюсь в огороде. А потом, в конце мая, отскочу в Енисейск, спрячусь на даче у своего дружка возле той самой речки, в которой ты когда-то купался. Кемь она называется.

Тут меня достают по любому поводу, да всё с выпивкой чаше, а я уж кроме чая ничего бы и не пил. Всё ещё не отделался от усталости, не выспался, не восстановился нисколько.

Ты можешь приезжать в июне в любой срок — если я буду в Енисейске, подъедешь. Я оставлю все телефоны и адреса. Хоть помолишься за нас, грешников, побеседуешь с отцом Геннадием и со мной пескарей половишь. М. С. с благоговением встретила твоё сообщение о приезде. Если меня дома не будет — поручу тебя встретить Витьке, внуку, иль друзьям-приятелям.

На этом кончаю. Завтра у нас день тяжёлый, «день молитвы и печали» — дочери-покойнице исполняется 47 лет, и уже 8 лет нету её с нами и с детьми, а дети, сам увидишь, какие уже большие. Полю горе организует и заставляет жить уже взрослой жизнью — вся тяжёлая работа по дому, магазин, почта, больница на ней. Ну да всё увидишь и узнаешь. Печальная она бывает очень, видимо, осознавать начинает, что её ждёт впереди.

Ну ладно, обнимаю. До встречи. Виктор Петрович

28 мая 1995 г.
Овсянка
(Г.Вершинину)
Дорогой Геннадий!

Вот сейчас и есть то время, когда от усталости пребываю в прострации. Измотали меня вконец. Уехал в деревню садить огород — весна плохая, народ, разогнавшийся в праздники, гуляет, отмечает, празднует, достаёт и в деревне, целится камерами, фотоаппаратами, тянет из души патриотическое слово о Родине и народе дорогом, да о Великой Победе. А у меня их нет, да и не было в душе-то, ибо я раньше других сперва почувствовал, а потом и увидел трагедию своего народа, сваленного в червивую яму коммунистами. И оттуда так и не выбравшегося, да и не желающего выбираться. Оказывается, можно жить и в помойке, пусть и в облике животного. Нашлось (и немало) так уже униженных, до скотства доведённых, что им помойка — родной дом. Погибает бедный народишко, погибает, и вроде как не осознаёт этого, что давно его лишили сознания и разума. Уж коли он снова за большевиками, а не за Богом устремился, значит, сам себя и приговорил к кончине. Дело в сроках, но большевички сократят эти сроки и, погибнув во зле и смраде, погубят и страну, и народ.

...А приехать? Ох, Геннадий, боюсь, что Вы забыли о моём возрасте, да и Марья Семёновна болеет давно и тяжело. Вот в тайгу отдышаться уеду. В середине июня сулится приехать Валентин Курбатов. К его приезду и вернусь домой. В деревне у меня есть избушка для гостей, он там любит поспать, почитать, в холодный Енисей ходит купаться, а главным образом мы с ним

треплемся, да вслух друг дружке читаем Гоголя. Башковитый, высокообразованный и глубоко верующий мирянин Курбатов-то, хоть и в варначьем городе Чусовом вырос.

...Газета «Чусовской рабочий», которую я поздравляю со славным юбилеем и желаю, чтобы она «работала» и оставалась, а стало быть, в меру средств И возможностей, жила или уж точнее — мучилась с этими самыми рабочими, выражала их чаяния (любимое газетное и пробольшевистское слово, затасканное, как рабочая акула). Ну, проще сказать, помогала им жить, беды преодолевать, быть их собеседником и другом по времени и доверительности.

«Чусовской рабочий» — больная любовь моя. Любовь — оттого, что здесь я впервые столкнулся с творческим коллективом, который как ни пытались сделать подъяремным, партийным тяглом, вывёртывался из гужей и порой норовил ускакать в чисто поле.

Но как ускакать? Далеко не ускачешь с путами на ногах, с моралью и установкой идеологической: «Не верь глазам своим, а верь партийной совести». А у партии там, где совести быть, шерсть выросла, что она с успехом и ныне доказывает.

И всё же нам удавалось делать газету, порой и достойного уровня — уж как там наш «фюрер», Григорий Иванович Пепеляев, изворачивался, как цензоров явных и природой рождённых вокруг пальца обводил, какой характер проявлял, какой крестьянской сметкой обладал — одному ему известно. И если он жив, ему первый мой привет и поздравление.

...В зрелом возрасте я постиг, что величайшее творение литературы — это «Дон Кихот» Сервантеса, и по мощи таланта, даже не таланта, а бесовства какого-то, архигениальности с Сервантесом может сравниться только Гоголь. Вот их бы и взял с собой и беру, куда ни еду, вот только необитаемого острова найти не могу, а если найду полупустую деревню во святыми старушками — глянь, уже сволочь рядом селится, то расстрига-большевик, то стукач или сексотка.

Обнимаю, желаю, кланяюсь. Виктор Петрович

Лето 1995 г.

(Куликовскому)

Товарищ Куликовский!

Я благодарю Вас за письмо и прежде всего за то, что Вы подписали его, а то ведь эти храбрые коммунисты подписываются словами — «участник ВОВ и труда», боясь за свою шкуру и здесь, в мирной жизни, где писатель, ими отчитываемый или

обматеренный, в лучшем случае может наплевать оскорбителю и поучителю в глаза. Благодарю за то, что не унизили звание фронтовика и седины свои каким-нибудь псевдонимом или подписью — «ветераны».

И за откровение благодарю. Конечно, мне было бы больно читать Ваши откровения, если б Вы оказались единственным читателем, отклик свой изложившим на бумаге, да ещё так пространно.

Увы, увы! Родина наша велика и разнообразна, как и народ, её населяющий. Есть у меня письма, есть и рецензии на роман совсем другого свойства и содержания, чем Ваш отзыв. Особенно мне дороги отзывы тех, кто служил в том же стрелковом полку и воевал под началом командиров, которые не стали бы менять двух взводных на одного политрука. Менять кого-либо, как и стрелять, и судить согласно человеческой морали и Божьего завета нельзя, невозможно. Это только по советской морали можно угробить сто двадцать миллионов своих сограждан, чтобы торжествовала передовая мораль и было всеобщее советское счастье. И полководец здесь может считаться великим и ясноликим, угробив сорок семь миллионов соотечественников и выслуживаясь перед партией и вождём своим в мирное время, погнать целую армию русских парней на место атомного взрыва, как подопытных кроликов, что и сделал Ваш обожаемый Жуков. Есть за ним и другие чёрные делишки и преступления, которые Вам хотелось бы не знать, забыть, а главное, чтобы все сплошь обо всём забыли, вспоминали бы прошлую войну как некое сплошь героическое действо, где русские люди только то и делали, что били врага с патриотическими выкриками, и вперед вёл их неустрашимый комиссар.

Кроме того, что коммунисты и такие непреклонные патриоты, как Вы, опустошили войнами и преобразованиями Россию, унизили и растоптали её несчастный народ, они выработали под страхом штыков демагога-моралиста, присвоившего себе право всем ставить себя в пример, и поучать, и направлять неразумных собратьев своих. Отвратительная, дремуче-невежественная категория людей, чуть схватившая каких-то знаний, и, как им кажется, «овладевших» глубинами культуры, в том числе и читательской. Чаще всего они водятся среди наших учителей, при всеобщей грамотности ввергших и приведших страну и население её к ещё большему невежеству, чем то, которое было в безграмотной России, жившей по Божьему закону и велению, ещё наше дремучее офицерство, закономерно приведшее армию к полнейшему маразму и краху и оскорбившее своим присутствием в военных рядах звание русского офицера.

Вам, так страстно меня уличающему, как, думаю, уличали и обличали Вы своих собратьев на войне, на производстве. — и в голову не пришла Божья заповедь: «Не судите, да не судимы будете», как, наверное, совсем уж не могло прийти в голову, что есть читатель, Вам подобный, которому понравься моя книга, так в удручение и в горе я впал бы.

Я пишу книгу о войне, чтобы показать людям и прежде всего русским, что война — это чудовищное преступление против человека и человеческой морали, пишу для того, чтобы если не обуздать, так хоть немножко утишить в человеке агрессивное начало. А Вам надо, чтобы воспевалась доблесть на войне и многотерпение, забыв при этом, что чем более наврёшь про войну прошлую, тем скорее приблизишь войну будущую. И те писатели, которых Вы перечислили, продукцию, Вам потребную, поставляли для души Вашей, жаждущей победных радостей, эту радость и преподносили. И... постепенно, победно шествуя, сочинили угодную таким, как Вы, героическую войну. А я и сотоварищи мои, настоящие-то писатели и страдальцы, восприняли войну как отвратительную, подлую, в человеке человеческое убивающую. Список Ваших любимых писателей потрясающ, эти покойнички, за исключением Симонова, ничего уже, кроме вздоха сожаления, часто и насмешки, не вызывают. В Вашем списке нет мной уважаемых писателей, есть беспомощные приспособленцы, елеем мазавшие губы советскому читателю. Константин Воробьёв, покойный мой друг, Александр Твардовский, Виктор Некрасов, Василий Гроссман, Василь Быков, Иван Акулов, Виктор Курочкин, Эммануил Казакевич, Светлана Алексиевич — вот далеко не полный перечень тех. кто пытался и ещё пытается сказать правду о войне и кого за это согнали в ранние могилы такие вот, как Вы, моралисты, присвоившие себе право поучать всех и объяснять «неразумным» правду да выгонять их за границу, как Солженицына иль того же прекрасного писателя — Георгия Владимова.

Но согласуйся свет с уровнем Вашего понимания правды и читательскими требованиями таких мыслителей, как Вы, так бы на Стаднюке и сладкоголосых Чаковском и Евг. Воробьёве дело закончилось, и не появилось бы ни «Дон-Кихота» — этого величайшего художественного достижения, ни Свифта, ни Дефо с его «ненормальными» персонажами, ни тем более нашего непостижимого гения — Гоголя, который смел написать, что отрубленная саблей голова казака, «матерясь, покатилась в траву».

Есть закон у Вашей любимой партии, согласно которому за войну расстреляно миллион человек на фронте, так необходимых

в окопах, да ещё двенадцать миллионов в лагерях медленно умерщвлялись и столько же их охраняло в ту пору, о которой всуе упомянутый Вами писатель Богомолов писал, что «на фронте был катастрофический недокомплект». Так вот есть и у писателя свои законы, согласно которым он и пишет, даже свою пунктуацию сотворяет. Уже с первой повести, наивной, простенькой, ущучили меня дотошные читатели, подобные Вам, что на «казёнке» (сплавном плоту с домиком), бригада бывала до двадцати человек, но не менее одиннадцати, у меня же в повести бригада состоит всего из семи человек. А мне так надо, мне удобнее подробно написать семь человек, а не согласно «правде» соцреализма бегло упомянуть двадцать. И если я написал всего двух медичек на переправе, значит, мне так надо. Если написал, что был иней (а он в ту осень был на самом деле) в конце сентября на Украине, то так оно и должно быть. Вот если я схематично, неубедительно это сделал — другое дело. Тут мне надо «всыпать», я и сам себе «всыплю» как следует, ибо сам себе есть самый беспощадный критик. Кстати, мой командир дивизиона Митрофан Иванович Воробьёв, умерший два года назад в Новохопёрске, тот самый единственный офицер, который не матерился (эко мне везло на людей и на офицеров тоже! Не дай бог, попался б на Вашу батарею — извели бы ведь неразумною, дерзкого парнишку). Так вот, Митрофан Иванович, с которого во многом списан Зарубин, никогда, ни в одном письме не сделал мне ни единого замечания насчёт калибров, расположений и количества орудий, ибо понимал, что такую малость, как 1 + 2 — я знаю и без него, и оттого ещё, что был он читатель и человек огромной культуры. И вообще, читатель стоящий, человек воспитанный, а больше — самовоспитанный, не подавляет никого самомнением, и если сделает замечание — не превращает его в обличение, в суд, не сулится послать на Соловки иль расстрелять, четвертовать, «как только мы придём к власти».

Толковать на эту тему, в общем-то, не хочется, да и бесполезно. Но чтоб Вы, когда Вам вздумается ещё кого-то «ущучить», «пригвоздить», а, судя по тому, что у Вас уже имеется и почтовый штамп (у меня вот нету, а надо бы для экономии времени обзавестись, но всё недосуг), Вы шибко много пишите и обличаете, я поделюсь своим наблюдением, и не только своим всё о той же «правде» и достоверности, как Вы её понимаете и как понимаю её я — авось маленько образумит это Вас и укротит самомнение Ваше.

Десятки тысяч полотен в мире написано с распятым Христом, и только в ранних полотнах правильно написан крест, то есть гэобразно, и гвозди, вбитые в предплечья Спасителя, а не в

ладони. Христос, согласно сведениям, до нас дошедшим, измученный большевистскими идеологами и палачами того времени за то, что не мыслил и не говорил, как они, имел всего 32 кг веса, но и этот вес достаточен для того, чтобы слабая кожа и жидкое мясо прорвались на гвоздях, и поскольку меж пальцев нет никаких перепон, распятый просто тут же б и свалился наземь. Но проходят века, Христос всё висит распятым, и гвозди, где уж и не самоковные, а фабричные, изображены вбитыми в ладони. Так вот нужно художникам —для большей выразительности, так они «видят» — и вся тут недолга.

Вот Вы всуе, опять же для обличения, упомянули имя Толстого, видимо, не зная, как его молотили по поводу «Войны и мира», но особенно из-за «Анны Карениной», а после отлучения от церкви Ваши патриотически настроенные предшественники требовали у царя сослать крамольника в Сибирь. Но царь был не чета Вашему любимому Сталину, вырубившему под корень русскую культуру, царь урезонил крови гения жаждущих начальников: «Я не могу и не хочу делать из графа Толстого мученика». Он не мог и не хотел. Вы же, люди передовой морали, с искажённым самосознанием, обуянные жаждой мести, готовы менять взводных на политрука и ради того, чтобы потрясти медалями в День Победы, подчистую снести население страны. Вы, в общем-то, и не готовы читать гуманиста Толстого и тем более — русского гения Достоевского, который из-за одной слезинки ребёнка не приемлет никакой революции.

Степень нашего одичания столь велика и губительна, что говорить о правомерности того или иного суждения уже и не приходится, и я, говоря «нашего одичания», имею в виду не только своё и соседа моего пьяницы и разгильдяя, но и Ваше тоже. Я свое «одичание» сознавал и сознаю постоянно и стыжусь его. Вам и этого не дано. И тут уж не знаешь: завидовать Вам и Вам подобным или нет. Вы так здорово и правильно прожили жизнь (живя семьдесят лет в бардаке, остались целками, как ехидно заметил один современный поэт), что и каяться-то Вам не в чем. Иисусу Христу было в чём покаяться, а владимирскому обывателю Куликовскому не в чем! Один отставной полковник — графоман, осаждавший редакции, написал в своё время бессмертный стих. Дарю Вам его на прощанье, потому как он наиболее других произведений соответствует Вашей бодрой морали и нравственным критериям:

Наша родина прекрасна
И цветёт, как маков цвет,
Акромя явлений счастья.

Никаких явлений нет!

(написано в 60-х годах нашего столетия).

Ну, а если всерьёз, то запомните слова поэта Виктора Авдеева, бывшего пулемётчика, умершего от ран ещё в сороковые годы: «Победой не окуплены потери. Победой лишь оправданы они». Почаще их вспоминайте, когда упоения от победных маршей и блудословия победного Вас снова посетят. Не знаю, сколь раз ранены Вы, а я трижды, и заключительная книга романа будет называться «Болят старые раны». У Вас, если верить Вашему письму, ничего не болело и не болит — ни раны, ни душа. Счастливый человек живёт себе в несчастной стране, среди несчастного народа и руководствуется моралью, выработанной советскими патриотами: «Не верь тому, что видишь, верь нашей совести».

Прозреть не желаю, бесполезно — уже не успеете, да и мучительно прозревать у нас, а здоровьишка, хоть относительного, пожелаю, хотя бы для того, чтоб подумать ещё и вокруг ясным взглядом посмотреть.

Кланяюсь. В. Астафьев

P. S. Если Вам потребуются отрицательные отзывы на мой роман, кроме нижегородской газеты могу назвать и «Труд» — генерал Беликов, бывший нач. политотдела дивизии — тоже бравый вояка и большой страдалец войны... И ещё: в № 4 за 1995 г. журнала «Знамя» напечатана моя новая повесть, оттуда Вы узнаете, что артиллерия, даже тяжёлая, была и на автотяге, как и вся наша дивизионная.

11 сентября 1995 г.

(А.Ф.Гремицкой)

Дорогая Ася!

Взобрался я снова в больницу с тяжелейшим воспалением лёгких (в баньку сходил!) и сразу же собирался надиктовать письмо Мане, ибо сам ни писать, ни дышать. А Маня поехала в Овсянку, поскольку я в панике всё бросил вплоть до ручки и адресного блокнота, да на обратном пути угодила в автоаварию, и поломало ей «рабочую» левую руку. Были вместе с нею в машине Поля с подружкой, но они отделались испугом.

Сейчас Маня кукует дома, а я лечусь, верчусь и не скоро отсюда выйду.

Я чего пишу-то? Был у меня тут Полторанин с группой телевизионщиков, снимали они нашу с ним беседу, долго снимали, намучили вдосталь, а деваться-то некуда, построили в деревне прекрасную библиотеку, ты сама видела, дали ей

самостоятельный статус, а содержать-то её некому, денег никто не даёт. Вот я под будущие деньги и работал. (Была у меня знакомая в Москве во время учёбы на курсах, та говорила: маляр пришёл — подставляй; поэт пришёл, стишки принёс — опять подставляй, ну и т. д.) Вот и мне, страдая за опчество и в пользу бедных, приходится подставляться. Дали деньги библиотеке, говорят, серьёзные.

Полторанин был у меня и во второй раз и пообещал выхлопотать — вставить мое собрание сочинений в какую-то экономическую программу. Сказал, что, прежде чем это всё произойдёт, сюда, в Красноярск, приедет Лапин с представителем издательства «Дом», и назвал представителем тебя. А тут на съёмках оказался директор нашего полиграфического комбината «Офсет», только что очень хорошо отпечатавший для российских школьников 25 учебников на новом немецком оборудовании. Он сказал: «Никакой Твери! И тем более Финляндии. Это дорого и канительно. Я напечатаю собрание и быстрей, и дешевле».

Вот такие вот дела. Если что зашевелится, имей в виду и потихоньку готовься к поездке. Я же всё лето ни хрена не делал, копил силы. В начале октября должен был поехать в Индию, и вот всё накрылось, поехал в больницу с воспалением лёгких — это надолго. Но что же делать? Усмиряет М. С. — она и одной рукой за всё хватается. Соседка сказала, что и вторую руку ей к туловищу привяжет, если она будет так себя вести.

Более писать мне не о чем, да и бумаги нет. С трудом выхожу из душевной депрессии, в которую попал по причине лекарств и бед, на нас свалившихся.

Обнимаю, целую, желаю. Виктор Петрович

1995 год

(Адресат не установлен)

Дорогая Ирина!

Вот и месяц пролетел, как я в больнице, в старости она нисколь не милей, чем в молодости, привычней разве. Марья моя ездила следом за мной в деревню, чтобы привезти впопыхах оставленное мной имущество, в том числе и оставленную адресную книжку, но в пути попала в автоаварию, и ей поломало «рабочую» — левую руку. Но и она уже перемаяла беду эту, завтра поедет снимать гипс, а я днями покину больницу и потому спешу Вам ответить — дома-то могу не собраться — дела, суета, отвычка от стола и всякое другое разноделье отвлекут, отдёрнут от бумаги и ручки.

1. Мне очень понравился ответ Кио — фокусника и весёлого

человека — по телевидению, когда его спросили, отчего он не уехал или не остался «тама», ведь там ему было бы легче и лучше. «А я, — говорит, — встретил в Израиле русскую старушку и спросил: «Как тебе, бабушка, здесь живётся?» — «А хорошо, милай, хорошо. — ответила старушка. — Мне и в Расее жилось хорошо, и тут хорошо живётся. Это евреям везде худо, всё они жалуются»...

Вот и мне, как той бабушке, живётся хорошо, если работается, а радости, как и горести, они и в столице, и на периферии остаются радостями и горестями. Сам человек творит себя и в какой-то мере свою судьбу, иное дело, что судьба русского человека завёртывает иной раз такие кренделя... Но всё же чаще всего кренделя сам русский человек горазд выделывать и стряпать. Сейчас вот, когда я пишу эти строки, празднуется иль отмечается столетие Сергея Есенина. На этот раз достойно судьбы и таланта поэта делается это, без треску, без охов и ахов, без надевания на голову поэта венца из жёлтых одуванчиков, она у него и без того «золотая». И что же жалеть его? Желать ему иной доли? «Лучшего» конца? По-моему, только молиться и радоваться, что нас посетил рождённый российской землёю истинно природный и богоданный гений, да и осветил его и нас, россиян, со всех сторон высветил, как месяц ясный. Не знаю, да нет, знаю, что многим читающим людям он помог стать в жизни лучше и стихами, и мученической душой своей. Большой талант — это не только награда, но и мучение за несовершенную жизнь нашу, ниспосланную Богом, которого мы не слышим оттого, что не слушаем. Неведомые нам мучения мучили и уносили в ранние могилы не одного Есенина, но и божественного Рафаэля, муками таланта раздавленных Вольфганга Моцарта, Франца Шуберта, Лермонтова, Пушкина — у гигантов духа и муки гигантские, не нам, грешным, судить и поучать их за их жизнь, за их метания. Нам остаётся лишь благодарно кланяться их ранним могилам и славить Господа за счастье приобщения к творениям гениальных творцов.

В приснопамятные тридцатые годы везли по Сибири священнослужителей на расстрел, и в Красноярске родственники каким-то образом исхитрились повидаться со своим родным священником-смертником и, зная, что им больше не свидеться, плача спросили сродники: «Что же нам-то тут делать?» — «Радуйтесь!» — ответил смертник.

«Жизнь сладка и печальна», — совершенно точные, совершенно ясные слова Сомерсета Моэма. И во власти каждого человека увеличить свои радости и поубавить печали.

Вот приближается немаловажное в нашей совместной с

Марией Семёновной жизни событие — пятидесятилетие. Жизнь-то за плечами и за горами ой-ей какая осталась. Было много горя, теряли детей, и малых, и больших, родителей перехоронили, друзей. Случалось, обижал, огорчал её, но и делал подарки, покупал что-нибудь из вещей, не забывал за добро говорить спасибо. Но я был лесной бродяга, рано по весне бродил с ружьишком и, наткнувшись на первые цветы, чаше всего беленькие ветренницы, сиреневые хохлатки, медуницы или волчье лыко, непременно на груди согревая, приносил ей букетик. Вот их-то, цветы-то весенние, а не туфли, не платьишки, купленные в магазине, иной раз и в заграничном, она же помнит радостней всего те цветочки

2. Рабочего дня как такового у меня нет, всегда и всё делал рывком, с маху. Если же писал и пишу большую вещь, втянувшись в неё, начинаю как бы выстраивать жизнь, подчинять жизни время этой работе, очень болезненно переживаю перерывы, после которых долго не могу «наладиться», переживая период затяжного отрыва от стола. Были и есть странности, свойственные, наверное, только мне. Если Марья Семёновна надолго отлучалась из дома, чаще всего в больницу, я непременно начинал лихорадочно работать. Видимо, это мой инстинктивный способ самозащиты от одиночества и горя, а проверенный русский способ — «залить горе вином» — мне не подошёл, не годится эта самозащита, приносит ещё больше боли и тоски, но не утешения.

3. Россия не спасётся провинцией — это самообман и большевистское непобедимое крючкотворство, ибо давно смешались границы столичной и провинциальной русской дури, а столичная пошлость, достигнув наших дальних берегов, становится лишь громогласней, вычурней и отвратительней. Если бы Вы знали, сколько по нашим сибирским шинкам и бардакам кривляется, вопя под Пугачёву, Леонтьева, Понаровскую и прочая, прочая. Вот под наших земляков — певца Хворостовского или скрипача Третьякова не поют и не играют — тут талант и труд нужен. Потуги выглядеть «иностранцами», обрядившись во всё модное, или исчужа завезённые замашки мотов и дэнди выдают в провинции всё того же незабвенного Яшку-артиллериста, а нахватанность «культуры» и умение подать себя — другого «Якова верного, холуя примерного», у которого и болесть-то «подагрой называется». Остаться же самим собой возможно везде, мне это давалось всегда без большого усилия. Наверное, как-то сама природа заботится об этом, и не надо её изгонять и сопротивляться, подделываясь под сиюминутные ветродувы.

Другое дело — мировоззрение. Конечно же, оно не может не

изменяться, порождая душевные и прочие противоречия. И чем больше дано человеку, тем подвижней, тем изменчивей и сложнее его мировоззрение. В русской литературе самый противоречивый гигант её — Лев Толстой. Его уход из дома в глубокой старости мой покойный друг критик Александр Макаров в одном из писем ко мне назвал «юношеским поступком», и я с ним совершенно согласен. Даже бревно меняется со временем: гниёт, тлеет, рассыпается. Лишь большевики не меняются и настаивают на неизменности общества, но и они попали в «застой», и поэтому от них несёт запахом разлагающегося трупа, который от немеркнущей злобы всё ещё пытается взлягнуть ногой и укусить чего-нибудь живое.

4. Нет, не надо преувеличивать значения провинции в нашей жизни, тут почище и почестней маленько, чем в столицах, но по-прежнему царит непробудное пьянство, уремная тьма и трусость, желание хапнуть и не попасть, фамусовская угодливость, ноздрёвская бойкая хамовитость и наглость да неукротимая тупость Собакевича.

Конечно же, провинция вынуждена самозащищаться от всех пакостей, на неё наседающих и сверху, и снизу, и справа, и слева. Есть и появляются в ней светлые головы, умные люди, старательные работники. Но тёмные силы, наступающие на русскую провинцию, так огромны, так запущена земля и душа русская, что пробудиться ей — всё равно, что сотворить духовный подвиг. А готова ли она к таковому подвигу, я утвердительно сказать не рискну — очень уж инертна, очень равнодушна, очень устала от всех бед и напастей матушка Русь, и неоткуда взять ей могучей силы. Крестьянство-то — опора державы — разрушено, разогнано, растлено, «из-за сброда — не видать народа», как сказал один современный поэт, а наладить жизнь, унять разброд и болтологию разор и воровство под силу только очень сильному и дружному народу, наверное, много времени, много жертв потребуется, пока он сделается таким. Зачатки есть, но как им развиваться, когда отцы и деды, пережившие небывалые испытания, невзгоды, понеся огромные потери, прежде всего нравственные, не выдержав свободы, испугавшись испытания самостоятельной жизнью, снова хотят полуработы, полужизни, полудостатка и согласны жить под ружьём и надзором, но зато «спокойно», то есть от аванса до получки, не сводя концы с концами, зато не надо ни о чём думать, не надо ни о чём тревожиться, куда-то устремляться — народ настолько ослабел духовно, что и не взыскует лучшей жизни, а уж «ломить хребет за светлое будущее» тем более не станет. Он знает, что это такое, он на себе испытал все прелести «борьбы» и устремлений ко

всеобщему счастью. Иногда ещё вздрогнет, зашевелится, если предложат на халяву пожить, сделаться богатым и на рубль получить тыщу посулят. И когда обнаружит, что ему, как малому дитю, вместо конфеты дадут пустую обёртку, начинает ныть, проклинать всех и вся, прежде всего тех, кому «на халяву» удалось урвать кое-что, ну и конечно, блядевонить правительство, коль позволено его бранить.

Мало что меняется на Руси: «Отняли копеечку, обидели юродивого, не надо молиться за преступного царя Бориса». Это когда написано-то? А вон какая ария! Злободневная и поныне...

Воистину слабый, воистину беззащитный народ тот, который сам за себя ни постоять, ни помолиться не может и, главное, не хочет! Куда несёт, туда и плывёт. Вот снова на посулы большевистские поддаётся, снова «отобрать всё у богатых» намерен и хоть краткое время пожить беззаботно, но главное, отомстить тем, кто «высовывается», кто может работать, умеет и хочет жить своим трудом и достаток иметь по труду. Нет, будь как все, нищим, сирым, бойся всего и самого себя, а буржуйские мечтания изжить бедность, но и избыть богатство, пусть у буржуев и остаются. Мы, как всегда, готовы быть бедными, но гордыми.

Я смотрю и дивлюсь, как это недруги до сих пор не задавили, не прикончили Никиту Михалкова — человека, который может всё в своей профессии, человека, который сам, на свои деньги содержит семью, человека, который умеет нажить эти деньги да ещё и общественной работой заниматься, да ещё успевает не только Родину и народ любить, но и помогать им своим искусством, своим нравственным примером, теми же деньжонками, и на уровне высшего, мирового искусства прославлять эту самую родину, утереть нос, если потребуется, и кулаком тем, кто с захлёбом и восторгом кричит, что с Россией всё кончено, народ российский закатался, а «России нет. Россия вышла и не звонит в колокола». Звонит! Снова звонит, воскрешая дух и талант в той части россиян, которые не во сне видят, а наяву, делом добывают и пропитание своё, и талантом своим крепят мускул державы и народа.

Целая плеяда только что ушедших от нас и здравствующих артистов, художников и писателей, не «пряниками вскормленная», а чаще мёрзлой картохой, солдатской и тюремной пайки хватившая, брёвна и камень в невольничьем труде поворочавшая, но не утратившая ни интеллигентности, ни национального достоинства, ни Бога в душе. Чаше, чаше надо поминать этих людей и молиться их памяти, да добрым делом, которыми они укрепляли нашу веру и надежду в неиссякаемую

силу и величие, земли и народа, их породивших.

Николай Симонов, Олег Борисов, Георгий Товстоногов, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Бондарчук, Эфрос, Владимир Высоцкий, целая плеяда Малого театра и того, ещё не расположиненного МХАТа за ними горит неугасимыми лампадами, не давая нам уж вовсе-то опуститься во тьму кромешную, в полный сон, безверие и безделие.

И ныне среди нас не чадят головешками, а горят, сгорают до срока огнём, согревающим всех нас. истинные интеллигенты, не позволяя сделать ругательно-нецензурным словом слово «демократ»: ушедший от нас тихо и незаметно Алексей Фёдорович Лосев, Бахтин, Лотман, критик Макаров, Селезнёв, писатель Твардовский и живущий ныне Сергей Павлович Залыгин, подвиг которого и пример служения не только литературе, но и Родине своей, защищаемой от надругательства, разорения и разгрома — что стоило только одно достижение — остановка проекта о повороте на юг и переброске вод русских рек в «дружеские» республики, которые, как оказалось, не научились даже такой малости, как благодарность. Наши реки оказались бы теперь «за границей», и нас же бы кляли, смеялись бы над тем, что мы ещё не всё отдали «младшим братьям», что такие мы простодырые. Неблагодарность и вечная неприязнь азиатов к исконно русскому населению в Казахстане, Киргизии, Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане, грузин не спрятать за азиатски-кавказским лукавством, и лозунги, писаные пока ещё на заборах узбекских кишлаков и городов — «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы» — это явь, тщательно скрываемая как нашими новоиспечёнными правителями, так и современными баями, недавними секретарями ЦК, председателями Верховных Советов и прочей парткамарильей вчерашних «дружественных» республик.

Возвращение Солженицына домой — это событие не только для всей культурной жизни России, но и сдвиг в сознании всей мировой интеллигенции, событие, нами пока не осознанное, но многих раздражившее — сам шевелит мозгами и заставляет всех нас тревожиться за свою судьбу, озаботиться заботами России и добиваться блага, строить жизнь собственными руками, собственным трудом. «Эка, явился указчик!» — и указчик, и направитель, а не пустозвон-коммунист, которому наобещать с три короба и ничего не сделать — естественное состояние, а уж пострадать?!

Солженицын прежде всего состраданием, сочувствием своему народу и Родине своей помогает нам взнять лицо к небу, укрепиться на земле, он, он истинный праведник, взывающий к

Богу и добру, а не тот, что, тоже явившись на родину, поддакивал разъяренной толпе: «Если враг не сдаётся, его уничтожают», видя, что во враги тут могут зачислить кого угодно, даже самого новоприбывшего провозвестника-буревестника не пощадят.

5. Ну вот, из больницы выписался, зима наступила, Марии Семёновне гипс сняли, орудует своей левшой на кухне и в ванной возле стиральной машины. Отвели мы и пятидесятилетие совместной жизни. Хотели сделать это «потише и пуже» — не получилось. Значит, кто-то ещё помнит и уважает нас. И добро, и ладно. Будем жить дальше и проживём Богом отпущенный срок, как положено старым людям — тихо и мирно, если позволят обстоятельства и жизнь наша, снова с «оси» съехавшая.

Вот предвыборная вакханалия началась, и опять, в который уж раз, обнажилась убогая наша мысль и неловкая, топорная хитрость. Снова какие-то добры молодцы клянут демократию, сулят спасение и блага, а народ, у которого «отняли копеечку» не только из сбережений, а уже и заработанное не платят, мокрый от осеннею снега, обескураженный и потерянный, толпится возле каких-то контор и зданий, куда-то снесли деньжонки или где заработали на кусок хлеба, и нисколько наши провинциалы не отличаются от столичных горюнов, ни одеждой, ни мольбой. Все дружно ругают президента (разрешено же!), а виноват-то он лишь в том, что впрягся в эту громыхающую телегу, не сознавая, видимо, что гора высока и колдобины на российском пути глубокие, что никуда, ничего и никого не вывезти. Уже в 90-м году было ясно, что народ наш не готов к крупным переменам, к решению колоссальных задач, к крутым, грандиозным переменам. Давно он сломан, раздроблен, не обладает тем сильным характером, который ему приписали. «Что такое перестройка? — задавал себе и нам вопрос добра нам желавший главный зачинатель перестройки, и сам себе и нам ответил: — чтобы каждый человек на своём месте добросовестно исполнял своё дело».

Так просто! Но для исполнения своего дела добросовестно требуется квалификация, устремление к совершенствованию своего труда и непременно самостоятельность и дело стоящее, нужное самому трудящемуся и его детям. Но если он десятки лет гнал свою продукцию, часто не зная ни её назначения, ни даже названия конечного продукта? Гнал химию, уран, заразу бактериологическую, ракеты устарелого образца, самолёты времён прошлой войны, расходуя при этом 40 килограмм сырья на килограмм продукции, тогда как буржуи на ту же продукцию расходуют 4 килограмма Лес рубит — больше половины в отходы, скопали рудные горы, которых должно было хватить на 200-300

лет (Магнит-гора, к примеру), сожгли и разбазарили уголь, разлили,сожгли, пропили моря нефти. И никто ни за что не отвечал, никто ни о чём не думал, но все были устремлены в «светлое будущее». Работали плохо, получат мало, жили одним днём, о «светлом будущем» анекдоты травили и над вождями и их бреднями смеялись втихаря, при всеобщем образовании, в том числе и высшем, остались полуграмотной страной. Зато много спали, пили беспробудно, воровали безоглядно. И этому, в полусне пребывающему, ко всему, кроме выпивки, безразличному народу предложили строить демократическое государство, думать и жить самостоятельно. А зачем это ему, нужно ли — опять позабыли спросить!

Вот в девяностом или во время путча 91-го года и надо было давать отбой — не можем! Не созрели. Подождём ещё! Потерпим! — сказать и без ора, без боя, без шумных арестов, без стрельбы друг в дружку (ни один депутат, ни один маломальский начальник в Белом доме и около него не погиб), без злобы, но пусть и в раздражении поворачивать назад — ни к чему попу гармонь, была бы балалайка — и всё бы шло-ехало помаленьку, дымили бы военные гиганты, шарились бы по чужим морям атомные подлодки, работала бы безотказно лагерная, так крепко отстроенная система, кривлялись бы на мавзолее старые, седовласые и лысые вожди, и пьяный народ, идя под знамёнами, орал им «Ура!», и развалясь на скамейке, хвастался свободный работяга: «Ни хера ни делаю, сто двадцать рэ получаю!»

«К чему стадам дары природы, их только резать или стричь». А. Пушкин. Сто с лишним лет назад писано, а как сегодня. И мне вот не пишется, не работается, а пенсия идёт, и гонораришко какой-никакой тоже на хлеб да ещё и с маслом — и ладно. Может, больница, может, лекарства сказываются, но скорее всего мысли о бесполезности своего дела, вопрос, задаваемый не только мной самому себе: «Книжек-то вон сколько, а сделали они людей лучше?»

Надежда только на Бога и на время, они помощники, избавители и лекари вечные.

Виктор Астафьев

10 октября 1995 г
Красноярск
(Н.Гашеву)
Дорогой Коля!

Экой ты прыткий — подавай ему третью книгу! А я вот после второй и повести — это 1000 с лишним страниц — очухаться не

могу. Решил всё лето, до осени не работать, набраться сил и хорошо так пофилонил, расслабился, и холод и жару в деревне перебыл. Народишко, правда, в этот раз больше иностранный, одолевал, но и ладно, всё какое-никакое развлечение.

Но и «доразвлекался», не заметив, что день укоротился шибко, холодно стало вечером, в баню неладно сходил, и вот скоро полтора месяца, как в больнице маюсь после воспаления лёгких — едва тёпленького на «скорой» притартали сюда, Ну, а здесь пошарились по углам и закоулкам тела моего пузатого и много чего интересного отыскали, домой не отпускают. Никак не садится температура ниже 37, где-то чуть повыше дежурит и дежурит.

А главное, от лекарств, что ли, настала такая депрессия, что ничего делать не могу, даже писем не пишу. Видимо, это. как у дитя — сулили конфетку, а жизнь сунула конфетную обёртку с говном, вот и разочарование.

Но скоро домой, а там, может, и налажусь, настроюсь на работу. Начну, как обычно, с «затесей». Надо два рассказа доделать, может, и детскую повесть написать, а потом уж и за третью книгу приниматься, если духу и сил хватит, если коммунисты на каторгу не свезут. Об этом обо всём поведал миру «Очарованный странник», занимательная литературная газета, в Ярославле издающаяся. В пермской провинции небось этого ничего и не слышали, и информацию «забыли» дать. Ведь все, кто ломал рёбра и жизни талантливых людей на склонах Урала — в «Белом лебеде», в Поньшилаге, в Кунинском политлагере, живут и здравствуют, бегают с кровавыми знамёнами по митингам, клацая вставными челюстями, орут о народе, жаждая новой крови, и старой власти, ихней власти. Обнимаю. В. Астафьев

11 октября 1995 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Экой ты прыткий! И во мне прыть ещё прежнюю подразумеваешь, когда я на рыбалку иль с ружьишком мог избродить 30 верст и еще на какое-никакое дело годиться. Нет, брат, я еще летом поймал себя на мысли, что всё идёт как-то чересчур уж без бед, встрясок и приключений...

И вот почти уже полтора месяца в больнице с воспалением лёгких, и на этот раз воспаление-то в раненом лёгком: на субботу я к Володе в баньку сходил. Никто, никакая «скорая» в Овсянку не едет, литература опять же помогла. Два мужика с правой стороны

Енисея, услышав вызов и отказы диспетчеров, сами приехали за мной, забрали, привезли. Так золотую, солнечную осень я провёл в больнице, что-то на этот раз шибко духом упал, пробовал писать хотя бы «затеси» иль письма — не выходит.

Сейчас меня обследуют — держится температура на 37, чуть побольше, поджелудочная железа, печень, желудок шалят. Завтра за реку еду на какой-то аппарат — будут меня просвечивать. Домой так пока и не знаю когда попаду, а здесь я уже с 3 сентября.

Получил от Постникова письмо и фото Щуплецова-мальчика, из Перми получил письма и узнал о праздновании 60-летия писательской организации и что чусовлянин Олег Селянкин умер. Из старой пермской гвардии один Роберт Белов стоит как гранит! Да ещё Коля Вагнер, дай ему Бог здоровья.

Посылаю тебе обрывки из отрывков, напечатанные в «Красноярском комсомольце».

Хотел в Иркутск на дни священника Меня слетать, но не столь уж само событие манило, как охота побывать в Иркутске. Уже прислали мне материалы из Иркутска. Ну, они молодцы, что затеют, завсегда на хорошем уровне проводят.

Обнимаю тебя, добра и здоровья желаю. Виктор Петрович А что со «Сменой»-то получилось? Ты им скажи, чтобы хоть журнал-то мне прислали. Ещё раз поклон. В. П.

6 ноября 1995 г.
Красноярск
(А.Михайлову)
Дорогой Саша!

Есть какие-то предчувствия или шёпот свыше — я тут долго болел, полтора месяца провалялся в больнице со своими гнилыми лёгкими, и на этот раз навалилась на душу такая смута, что не мог работать в больнице, да и дома до се на рабочий лад никак не настроюсь. И вот, в праздности и безделье чего в голову не лезет, и среди прочего взошло: «Что-то Саша не пишет, ни слуху ни духу, уж не обидел ли я его чем?»

И вот пакет от тебя! Я не читал этой критики, не слышал о ней. Прочёл, пожал плечами — несерьёзно это, хотя и небеспричинно. Это ж мне за начальника политотдела Лазаря Исаковича Мусенка гонорар, разве ты не понял? Меня как-то за слово «еврейчата» в «Печальном детективе» и за плюху Эйдельману доставали аж из Бостона, через «Континент». Володя Максимов дальнюю критическую эпистолу не стал печатать, так криво сикающая Горбаневская, сама себя записавшая в известные

и потому гонимые поэтессы, как только редактор надолго отлучился, тиснула статейку. И в ней было то же самое, жгучее, через слюнявый рот бьющее желание унизить во что бы то ни стало русского лапотника, смеющего чего-то ещё и писать. Громила жидовка мой лучший рассказ «Людочка», заступаясь за русский народ, за русский язык, за нашу святую мораль и в конце статейки уж без маскировки лепила: «Он и раньше не умел писать, а ныне и вовсе впал...» Затем Агеев, ныне работающий в «Знамени», в разовой ивановской газетёнке трепал ту же «Людочку», как подворотний кобелишка штанину, и всё это с углублённой и сердечной заботой о русской культуре вообще и о литературе в частности. И нигде ни звука ни хрюка о первопричине. Заметь, что худо написанное они у меня никогда не трогали. Стервятники! Хитрые и подлые. Меня, увы, это уже не бесит. Прочёл и прочёл.

Газетёнку эту читают и знают в стране мало, тем более в провинции. Пронесёт, как кислый дождь над городом, только желто станет на грядах и тошнотно. Что любопытно: нападают на меня жиды именно в ту пору, когда мне тяжело, или я хвораю, или дома неладно. Лежачего-то и бьют. Но я ещё стою, и меня, как Суворов говорил, мало убить, надо ещё и повалить. Можешь это другу своему Ваншенкину не читать, он-то, как мне кажется, на жидовские штуки не способен и историческую, затаённую злобу в себе не несёт, а Науму Коржавину всё равно, кто он по рождению, неуклюжий, почти слепой и глухой, но какой чудесный человек.

А осень у нас стояла такая золотая и почти до ноября, что сердце моё разрывалось — в тайге не побывал, а поездка в осеннюю тайгу для меня всегда заряд на работу и поддержка во всю зиму. А зимы у нас худые. Енисей-то не замерзает на 300 вёрст, парит, знобит — для лёгочников вовсе беда и хандра. Вот и захандрил, вот и не могу смотреть на бумагу, но, думаю, пройдёт. Надо мне доделать два рассказа, написать детскую повесть, «затесей» написать, а тогда уж и за третью, самую тяжёлую книгу романа приниматься.

Планы, как видишь, более чем наполеоновские, но вполне посильные, лишь бы не было обострения в легких – тяжело они у меня стали проходить. Но что ж делать? Года! И времена какие то промозглые, ненастные, но надо засаживать себя за стол вплотную. Благодарю тебя, друг мой. за письмо, за статью. Вижу, как больно тебе было читать это злобное, подлое варево, когда уж бьют и по раненому глазу, да что же делать? Вспомни историю русской литературы — чего только не делали с русскими писателями, но чем их больше казнили, надругивались над ними,

срамотили и унижали, тем лучше они писали. На том и стоять будем!

Обнимаю тебя и целую, брат мой окопный. Поклон всем твоим. Саня-младший всё холостякует, да? А «Водник»-то держится, вперёд движется, но наш «Енисей» обмелел и закис. Будем жить! Преданно твой Виктор Астафьев

1 декабря 1995 г.

(Е.И.Носову)

Дорогой Женя!

Пролежавши всю осень в больнице, веду я, как сказали бы медики, вялотекущий образ жизни. Вроде как дохварываю или уж хворать теперь и конца не перехворать, и доме я живу в блочном, и оттого, видать, с больной головой спать ложусь и встаю тоже с больной головой.

Чего-то делаю, куда-то хожу, даже в городок Боготол съездил — на юбилей кинорежиссёра Вити Трегубовича. Он работал на «Ленфильме». снимал много и неплохо, может, помнишь по Вите Курочкину фильм «На войне как на войне»? Мужик был здоровый, выходец из белорусов, имел трёх детей. Цыганка ему как-то наворожила, что он доживёт до 72 лет, он этому истово верил. Строил дачу под Петербургом, полез дощечку какую-то пришивать, а она оторвалась, он рухнул вниз и убился...

Познакомился с его сестрами, братом, женой — все славные люди, не то что у Шукшина — там родню ближнего смерть не объединила, а сделала злыми. Жёнушка покойного Макарыча, как колхозная кобыла, под любого, даже выложенного мерина зад подставляет. Вот последняя ее пылкая любовь — руководитель педерастов под названием «На-на», даже на вид отвратный Алибасов. Она интервью налево и направо даёт, помолодела, повеселела, ни креста, ни совести у неё, одно бесстыдство и позор.

Я ещё до твоего письма узнал из письма моего земляка Шадрина, что Костю перевезли на родину и сделали это достойно *[речь идёт о перезахоронении праха писателя К. Воробьёва в Курске]*, с почестями, а мне вспомнились стихи, которыми я когда-то заканчивал статью о нём: «И все цветы, живые, не из жест, придите и отдайте мне теперь. Теперь, теперь, пока мы ещё вместе...»

Нечего этим ливонцам куражиться над живыми и над мёртвыми русскими. Одно время прибалты выкапывали своих родичей в Сибири, четверых выкопали в Овсянке. Делали они это с вызовом, оскорбляя русских. Я же думал: «А нам-то куда

перемешать своих невинно смерть принявших русских людей? Ведь вся Россия — сплошной погост». Им, прибалтам, выделяли бесплатно самолёты, ссуды давали, и не знаю, ведомо ли тебе, что всё время платили им 30 процентов зарплаты — добавки к основной. Нашкодившая партия и советская власть выслуживались перед этими онемеченными нациями, платили «за братство» нашими деньгами и кровью. Но прибалты хоть и куражились, но собой и честью своей дорожили, работать не разучились, а вот братья-грузины и хлеб перестали сеять, одни мандарины, чтоб продавать презренным русским втридорога, а сами ели хлеб за 8 копеек, да такой, какого наши дети и в глаза не видели. Сейчас обижаются, что русские перестали их кормить. Но наши и правители помогут им оружием и хлебом, и солдатами — маленькую Абхазию задавить и «восстановить справедливость». Правда, Ардзинба сказал, что пока жив хоть один абхаз — не видать грузинам Абхазии! Ну, то же самое, что Дудаев говорит нашим дубарям. А вообще-то, давно уже идёт скрытая от всех русско-турецкая война на Кавказе, и её умело направляют гвардейцы из-за океана, нашедшие способ справиться с Россией без войны. Эк, куда меня понесло с самого начала письма!

Заболел-то я 3 сентября, побезалаберничал, сходил в баню, а печь не протопил (шёл какой-то жуткий итальянский фильм про городскую итальянскую окраину), залёг сырой в постель и едва не сдох от воспаления — умудрился заболеть в субботу, никакая «скорая» иль тихая не едет в деревню, потом уж ребята со «скорой», заслышав перебранку диспетчера и моего врача, на свой страх и риск приехали, довезли едва пышкающего. Марья поехала в деревню за моими бумагами и документами, взяв с собой внучку, и попали они в аварию. Марье руку сломало, её левую, рабочую.

На Полины плечи легла и забота о нас, и дела по дому. На беспомощную Марью и смотреть-то было невыносимо. Но уже всё позади. Я долго прокисал в хандре, но всё-таки заставил потом себя сесть за стол, делал два давно написанных рассказа и хреново делал-то, память ли износилась, обленился ль, но так плохо написаны черновики, будто я сроду ничего не писал. Однако Марья стучит на машинке, не даёт ломаной руке застояться. Кудри вон навила, кофту шёлковую надела, юбку чёрную. А я брожу по избе в халате и в кальсонах навыпуск. Спрашиваю: «Ты чё?», а она мне: «Ничё, нарядилась и всё тут».

Недавно открывали на берегу Енисея памятник А. П. Чехову. Я никогда не разделял восторгов по поводу его творений, особенно по поводу его скучнейших пьес, удивлялся его многораздутой славе, но это ж не Бланку-Ленину очередной

памятник, не большевику Петерсону на улице, названной его именем, где и стоит ныне Чехов, — а русскому писателю, истинному доктору. Я с удовольствием перерезал ленточку и дёрнул шнурок на покрывале. А потом, конечно же, пьянка — ныне без неё ни шагу. Но Марья с Полей меня ждали, чтоб ехать на концерт. И попустился я пьянкой-банкетом. Ныне уж рюмку-две осилю и «конец пределу!» — как мой незабвенный папа говаривал.

Ах, какое неподходящее для моей егозливой и весёлой натуры состояние — старость. Как она, милая, угнетает меня. В деревне выспался, на земле поработал, воспарил было, ан не балуй, хрен старый — Господь не велит в годах старых забывать о летах своих и о грехах тоже. Иногда тужусь, пушусь в россказни, бурно поведу себя и тут же. как опара в квашне, осяду, устану, давление поднимется, на боковую потянет.

В деревне все старшие родичи повымирали, младшие состарились и вообще деревня моя стремительно меняет лик свой: место красивое, от города недалеко, на берегу реки. И сносят деревенские гнилушки, и воздвигают на их месте особняки, виллы, дворцы. С Енисея, глядя на них, все угадывают, который же из них дворец мой, ибо и в мыслях не допускают, что писатель может и должен жить в деревенской избе, которую я, кстати, всё больше и больше люблю и зимою страшно по ней тоскую.

По огороду у меня вырос лес, есть ели и лиственницы уже выше избы, кедр пышный, на пол-огорода растут рябина, калина, берёза, даже пихта есть. Середина лета нынче была жаркая, картошшонка у всех наросла неважная, а у меня-то, под кустами и деревьями: с двух вёдер пять кулей накопали! Все вокруг охают и ахают, а я, как покойной тётке говорил, так и всем гробовозам толкую. «Колдунья» тётка Апроня, считавшая меня по прадеду колдуном, возмущалась: «Родной своей тётке слово не говорит! Знат и не говорит! Вот, блядь, какой человек!» Как же всех их сейчас не хватает! Бывало, и досадовал, и ругался, Апроне, жившей напротив, говорил не раз: «Ты ко мне в первой половине дня не приходи». — «А пошто?». — «А по то, что в первой половине дня я работаю». — «Чё работаш-то? Это ручкой-то по бумаге водишь? Пузу на стол навесит, бздит в штаны — и это работа? Я вон картошшонки счас окучивала — вот работа! А тебе небось за это ишшо и деньги платят?» — «Да побольше, чем тебе» (пенсия у неё была 17 рублёв). — «А у нас вечно так: кто пластатца — тому фигу, а кто дурака валят — тому всё!» Потом, когда ей пенсию увеличили, она с четушкой ко мне прибежала: «Давай оммывать!» Ну, оммыли, и я спрашиваю: «Сколько

прибавили-то?» — «А семисят пять копеек». Это генералу, у которого пенсия 500 рублей, согласно проценту вышло прибавки на 50 рублей, а тётке, надсадившейся на земле, вышло 75 копеек!

Ох уж эти коммунисты-мудрецы! И народец наш, их достойный, снова покупается на их посулы и обманы,

«Поле Куликово» получаю. Рад, что ты пишешь и печатаешься. Понимаю, что на копейки от гонорара сейчас не прожить, но хоть какое-то утешение от работы происходит и время не так утомительно течёт.

Обнимаю тебя и целую. Зимы у нас всё ещё нет. тепло и солнечно, значит, весною будет зим но и слякотно до середины июня. Вот уж шесть лет: затяжная осень и ещё более затяжная весна. Так, видно, и остынет обиженная израненная земелюшка, и скоты, её населяющие, в пьянстве, зле и суете не заметят, что давно уж погибают. И погибнут, танцуя и вопя о всеобщем совокуплении, называя это любовью.

Преданно твой — В. Астафьев

Женя, милый! Извини меня за такую неряшливую перепечатку! Бывает. И примите от меня поздравления с приближающимся Новым годом, здоровья всем вам и крепости духа!

12 декабря 1995 г.

(Б.П.Екимову)

Дорогой Борис!

Прости за вторжение в твой дом. Крайняя необходимость.

На войне у меня погибли двое дядьёв — «кулацких деток», одному из которых в годы коллективизации исполнилось шестнадцать лет, и он за это отсидел несколько месяцев в тюрьме, а осенью, с последним пароходом, вместе с отцом, тоже сидевшим в тюрьме в одной с сыном камере, были отправлены в Игарку, где бедовала вся их сосланная семья и за старшего в ней был Иван четырнадцати лет.

Первого из дядьёв. Василия Павловича, я довольно красочно описал в рассказе «Сорока», вошедшем в книгу «Последний поклон». Второй дядя по характеру был полной противоположностью первому. Работая рубщиком на лесобирже, он здорово готовился к войне с фашистами, был весь обвешан значками и не сходил с Доски почёта. А потом внезапно открылся Ачинский сельхозтехникум, был в него большой недобор, и мудрая наша власть разрешила «кулацким деткам» выехать из ссылки и поступить в это учебное заведение. Парень рабочий, лишь в Заполярье видевший опытный сельхозучасток, вместе с

друзьями по переселенческому бараку ринулся во вновь открытое учебное заведение. Там дядя мой не успел обучиться, но успел жениться, но тут началась война, и все эти недоученные сельхозники гуртом ринулись в военкомат. Мои сельчане свидетельствуют, что, будучи на краевой пересылке, Ваня накоротке наведался в родное село, но ко мне, в ФЗО, не заглядывал, не знал, где я есть. И если с дядей Васей я попрощался ладом и описал это наполненное трагическим предчувствием прощание, то дядю Ваню с 1939 года так и не видел и теперь уж никогда не увижу, хотя обоих дядьёв любил я шибче, чем любили их девки.

С Васей я воевал на одном фронте, часто получал от него письма, в одном из них он изобразил танк с номером три, и я догадался, что воюет он в третьей танковой армии. На Лютежском плацдарме, под Киевом, был он тяжело ранен и отправлен в госпиталь, но в пути он был означен как «без вести пропавший» — или выбросили его. мёртвого, из машины, освобождая место для живых, может, закопали в сыпучие приднепровские пески. Я придумал встречу с ним, уже мёртвым, его похороны и тем закончил рассказ «Сорока».

Вася и после войны возникал то в рассказах общих знакомых, то в переписке, то в воспоминаниях мачехи, которая заменила мать всем детям деда, даже в ссылку с ними поехала, хотя по закону «не подлежала» и пенсию получала по справке за «без вести пропавшего» Васю, и на мемориальную гипсовую доску в Игарке Вася попал, а Ваня как в воду канул.

Я писал в инстанции, в том числе и в волгоградские, но ниоткуда ответа не получил, видимо, потому, что в своих писаниях не прославлял героизм, а изничтожал комиссарство как тунеядскую, хитромудрую разновидность приспособленцев и блудословов.

И вот к юбилею Победы вышла у нас в краевом издательстве Книга Памяти, и в ней оказался не только Василий Павлович, но и Ваня — «Астафьев Иван Павлович, г.р. 1918, рядовой. Погиб в бою, сентябрь 1942 г. в деревне Самофаловка Волгоградской обл."

Боря! Узнай, если не в труд, где эта Самофаловка есть? В каком районе?Помоги связаться с администрацией села. Душа моя не устает болеть особенно об этом, горя хватившем через край родном дяде.

Обнимаю тебя. Виктор Петрович

15 декабря 1995 г.
Красноярск
(А.Ф.Гремицкой)

Дорогая Ася!

Вот и минул ещё один год, дай бог, чтоб наступающий был не хуже уходящего, а то уж людям невмоготу.

Мы помаленьку живём и налаживаемся — Марья Семёновна уже стучит на машинке, развивая руку после снятого гипса, я после какой-то непривычной хандры и депрессии начал работать, достал два давно написанных рассказа и начал их доделывать, но рассказы объединяются в небольшую повесть о загубленной войной любви — тема моя старая. И в голове возникла идея собрать в одну книгу вместе с этой повестью старые рассказы и повесть, назвать её: «Плач о несбывшейся любви» и издать здесь, может и за свой счёт. У меня к тебе просьба вернуть мне том с «затесями» или сделать ксерокопию.

У нас теперь и дома есть ксерокс, ездил я в Саяногорск, потрудился там изрядно, и мне за труды мои подарили сей необходимый аппарат. Сделавши начатую работу, примусь писать повесть для детей, давно задуманную, потому как на роман пока сил нету, переболел сильно и до се ещё не совсем отхворался.

Началась у нас зима, подули ветра с открытой воды Енисея, глаза бы не смотрели. Я и вообще-то декабрь не люблю, а наш серо-промозглый корёжит меня до самых кишок.

Поля наша, когда болел, а Марья Семёновна после тяжелейшего ремонта квартиры маялась с поломанной рукой (попала в автоаварию), взяла на свои ещё жиденькие плечи дом и металась между школой — больницей — плитой, магазином, двигала тяжести, что-то даже варила и стирала, называя себя «носителем». Выдержала всё, и я решил её побаловать за это, свозить в Таиланд — есть у нас туда прямой туристический рейс. Если ничего не стрясётся ещё, 4 января полетим и 15-го вернёмся. Пусть, пока дед живой, посмотрит на белый свет, поест фруктов, мороженого, покупается в море иль в бассейне, и я на солнышке погреюсь около неё, да маленько зиму обману, Ох и длинна, ох и утомительна она у нас. На кладбище поедешь и не знаешь горевать или радоваться тому, что люди отмаялись, успокоились и не видят, что деется на нашем, уже давно не белом свете.

Преданно — Виктор Петрович

25 декабря 1995 г.

Красноярск

(А.Михайлову)

Дорогой Саша!

Прими мой новогодний привет и самое искреннее пожелание доброго здоровья и всего хорошего, что ещё возможно в нашей жизни.

Не знаю, получил ли ты моё письмо в ответ на твоё и вырезки из «Независимой», которая утвердила антибукеровскую премию. Рад, что она присуждена Алёше Варламову, написавшему и в самом деле хорошую повесть «Рождение». Но довелось мне, Саша, читать присланную из Петербурга повесть, конечно же, с претенциозным, конечно же, с выверченным названием, которые горазды давать интеллигентно себя понимающие евреи. Вот это — страх и страсть. Повесть о том. как от рака умирает восьмилетняя девочка, и как отец с матерью пытаются её спасти и на пути своём, ужасном, мученическом, встречают много равнодушных людей и мерзавцев тоже, но ещё больше людей бескорыстных, добрых, понимающих и даже на себя принимающих чужое горе.

Писано с натуры, думаю, сам автор пережил сию трагедию. И вот эта-то чудовищная, вроде бы для литературы и непригодная книжка вселяет в сердце веру в доброе начало человека, уважение к жизни, до стона выстраданную любовь к ребёнку. Девочка-крошка, проходя через страдания невыносимые, становится мудрой, всепонимающей женщиной и даже в какой-то период болезни делается мудрее своих родителей, даже пытается их успокоить невинным и святым обманом, пока не раздавливает её болезнь, ищет компанию среди детей и находит её среди таких же обречённых малышей, дружит с мальчиком, тоже обречённым, но на вид «хорошо» выглядящим, по школе тоскует, по всей этой жизни, которую мы клянём. Будь я каким-нибудь начальником иль лучше волшебником, я бы все премии, в том числе и Букеровскую, отдал бы этой книжке Михаила Черкасского — «Сегодня и завтра, и в день моей смерти», изданной однотысячным тиражом и затерявшейся бесследно в кучах литературного хлама.

Какой всё же плавун или плывун под всеми нами, под всей нашей жизнью бродит, шевелится, готовый нас засосать в любой час, утопить бесследно.

Кстати, ещё одна книга в моём зрелом уже возрасте произвела на меня такое же ошеломляющее действие — это маленький, но великий роман Трамбо «Джонни получил винтовку». Читал ли ты её? Если нет, возьми в библиотеке, она шесть лет назад выходила в «Художественной литературе», и я горжусь тем, что первую публикацию помог пробить переводчику Шрайберу, пусть и в «Сибирских огнях». Шрайбер этот, старый переводчик, когда-то подарил нам «Три товарища» Ремарка и ещё что-то. Читать такие книги тяжело. Я с трудом одолевал за присест три-четыре страницы, но уж и в голову, и в сердце входят они дюймовыми гвоздями. Прочитавши «Джонни», ты поймёшь,

почему его автора, коммуниста, отсидевшего в тюрьме за своё творение, переведённое на все действующие в мире языки, экранизированное в Голливуде, не пускали к нам так долго и упорно. Не прочитав «Джонни», я бы писал совсем по-другому и другой роман о войне. Таково разлагающее влияние заокеанского янки на русского писателя.

Статью Давыдова немедленно перепечатала наша фашистская газета, называющая себя «народной» и никак выше трёхтысячного тиража не выбивающаяся, а редактора её, в третий раз возжелавшего власти, народ никак не изберет, забодал и на этот раз вместе с фашиствующим предводителем, вечным военнопленным Руцким, посулившим на предвыборных встречах всех пишущих отправить на лесоповал.

После всего этого предвыборного бесовства, дурнописи и стадного ора с каким же восторгом прочитал я в «Литературке» заметки Ваншенкина. Обними его за меня, облобызай и поздравь с Новым годом! Учусь у него выдержке, мудрой печали, хотя мой сибирский норов, называемый интеллигенцией выдержкой и воспитанностью, часто мне мешает. Хер ли сделаш, ковды детдом, ФЗО да казарма — основные средства воспитания позади, а впереди одно средство осталось — смирение?! Марья моя на меня уж петухом иной раз налегает, но хвост у неё тоже вылез, один голосишко остался, а что мне одинокий голос человека?

Меня может токо медведь подмять аль змея ползучая вроде Давыдова укусить, да и то я, уж антибиотиками напичканный, выдержу. Однако и укус змеи, и когти медвежьи оставляют раны на теле.

Зима стоит сиротская, без мороза и снега — это значит по весне она ударит холодами и снегом, цветы подомнёт, больных лёгкими в постель свалит. Ох-хо-хо-хо-нюшки! Но будем жить, радоваться остатним летам и солнышку, ждать победы на футбольных полях, ибо на полях разума по просторам российским ждать уже нечего. Оборзели, ещё больше ослепли и очумели русские люди — сами в яму лезут. Ну, да Бог им судья!

Крепко обнимаю тебя. Виктор

1995 г.

(В редакцию газеты "Красноярский комсомолец"

Дорогие ребята!

Пишу вам потому, что с уважением отношусь к вашей газете. В неуважаемые газеты я не пишу и в неуважаемых газетах и журналах стараюсь не печататься, особенно когда «органы» отсебятиной занимаются. Вот подхватились и ну писать о том, что я в депутаты наладился. Ну, что бы позвонить, спросить,

уточнить, нет, садят напропалую и с уверенностью излагают «мою платформу», а журналист Никитинский в «Комсомолке», ко всем и ко всему относящийся с высокомерной гордыней, отчего-то разразился руганью, демонстрируя знание лагерного жаргона. Рядом, кстати, с опровержением на его же материал разухабистое перо его звучало особенно убедительно.

Ну да Бог с ним, таково, видать, время, таково отношение к своей профессии — в прежние годы опровержение в газете дорого обходилось журналисту, можно было и работы лишиться, а сейчас, видать, и «лёгкость пера» и реагаж на него подобны тому, что зовётся по-русски: «будто с гуся вода».

Мне хотелось бы предостеречь от излишней горячности и легкомыслия прежде всего журналистов, а молодым вашим читателям и вам пояснить насчет Букеровской премии — отчего это я «вылетел из списка» кандидатов на премию вторично.

Первый раз это произошло по моей личной просьбе — роман не закончен, вышла всего лишь первая книга, вот когда закончу, — писал я в комитет по премии Букера...

Второй раз мне и писать не пришлось — «хозяин», «меценат» или «спонсор» премии Букера, Фрэнк Грин, кстати, сын писателя Грэхэма Грина, летом побывал у меня в гостях в Овсянке и поинтересовался моим отношением к нынешним кандидатам на премию Букера. Я уверенно, не раздумывая, назвал роман Георгия Владимова, с которым с молодых литературных лет знаком и к сочинениям которого отношусь почтительно, к «Верному Руслану» с восторгом, к первой половине романа «Генерал и его армия» — тоже. «А ещё кого назовёте?» — спросил гость, и я, подумав, назвал «Казённую сказку» Павлова, на мой взгляд, самого крепкого, талантливого и умного из нынешних молодых писателей. Естественно, возник вопрос и насчёт моей персоны, и я снова был вынужден попросить подождать окончания романа и, стараясь смягчить и закруглить разговор, добавил, что премий всяческих я наполучал много, а старый, гонимый и всегда ругаемый Владимов ни одной российской премии до сих пор не получил и, не глядя вроде бы на убедительную критику уважаемого писателя Владимира Богомолова, я считаю Владимова кандидатурой номер один. Писатели, да ещё писатели, занявшиеся критикой, всегда очень субъективны, сказал я Фрэнку Грину, И если придерживаться точки зрения русского реалиста, в том числе и Богомолова, то ни «Гулливера», ни великого «Дон-Кихота», ни тем более «Барона Мюнхгаузена» в мировой литературе не существовало бы, с чем «букеровский бог» весьма охотно согласился.

Сын писателя Грина сносно говорит по-русски, человек он не

только глубоко образованный, «юморной», но и богатый. На севере старой доброй Британии у Гринов имеется родовой замок, которому вроде бы девять веков. Я тогда ещё тоже был способен на юмор, не думал о больнице, откуда сейчас пишу, и спросил гостя у меня в Овсянке: «Фрэнк! Где лучше: в Вашем родовом замке или у меня в Овсянке?» И, ни секунды не раздумывая, гость ответил: «Совершенно котэгорычно — в Овсянка! Замок — это много, скучно и дорого».

Вечером мы с гостем распрощались, и не думал я, что возникнет надобность писать по «наградному поводу», хотя и понимаю вас как истинных «болельщиков» — хотелось Вам. искренне хотелось «гола», но погодите, наберитесь терпения. Может, Бог и поможет мне в борьбе за здоровье, и я закончу третью книгу романа «Прокляты и убиты» — и это будет мне Высшей наградой жизни, а о других наградах я никогда не думал, не хлопотал — они сами собой ко мне приходили, помогали мне материально, радовали и поддерживали морально меня и моих добрых читателей.

Виктор Астафьев

1995 г.

(семье И.Н.Гергеля)

Дорогие Тоня и Ваня!

Поздравляем Вас, ваших детей и внуков с Новым годом! Всем доброго здоровья и чтоб год наступающий был не хуже уходящего! Главное, чтобы коммунисты вновь не подняли войну и не залили бы Россию кровью, ибо на этот раз войну России не выдержать — она утонет в собственной крови.

Я со дня на день собирался тебе, Ваня, написать, но всевозможные дела и обязанности, и я никак не могу закончить список, составленный для поздравлений. Зато теперь отправлю письмо и поздравление вместе с книгой, где есть и повесть, вам полюбившаяся. Право слово, она недурна, во всяком разе, боли моей и бедолаг-солдатиков, окопных землероек, в ней много.

Как я понимаю тебя, Ваня! Тема лёгкой и незаметной смерти занимала и занимает всех стариков. А мы ведь уж старики! Конечно, жизнь наша пролетела незаметно в борьбе с нуждой и бесправием. Мы и оглянуться не успели, а он, конец, вот уж!.. Ещё древний восточный поэт писал: «Лёгкой жизни я просил у Бога, надо б лёгкой смерти попросить...» '

В Японии, в Токио, есть храм, и люди заносят в этот храм продающиеся у входа дощечки со всевозможными просьбами, на них написанными. Я спросил, каких просьб больше всего? Мне ответили, что половина — с просьбами к Богу о лёгкой смерти,

есть просьбы о хорошем, умном муже и красивой, богатой невесте — это на втором плане.

Ах, как хочется повидаться с тобой ещё на этом свете, чтоб обнять тебя, но далеко мы друг от друга, а, может, Бог и пособит нам.

Обнимаю, целую вас обоих с Тоней. Будем жить, сколько отпущено нам жизни и надеяться на лучшее. Вечно твой собрат, да уж и брат по окопам Виктор

1996 год

22 января 1996 г.
Красноярск
(Адресат не установлен)
Дорогой Феликс!

Пишу, чтобы поблагодарить Вас за щедрый дар! Теперь мне хватит книг надолго, а то я присланные прежде книги расфукал и спохватился, когда их осталась одна пачка.

Но пишу я не только ради этого, а ещё и ради моего самого близкого друга, почти брата — Евгения Ивановича Носова, прекрасного писателя, несомненно, лучшего стилиста в современной русской литературе. После долгой и тяжёлой болезни он с трудом «разломался», восстановился и написал пятнадцать новых рассказов. Печатает он их в журналах «Поле Куликово», «Знамя», «Москва» и «Новый мир», а издать нигде не может. Бедствует.

Я прошу Вас, даже умоляю, включить в Вашу серию «классиков» книгу Евгения Ивановича Носова и, если получится, известить его об этом.

А я пока и отвечать не буду на его последнее горькое письмо. Мужик он не из тех, кто любит жаловаться, даже другу, и если пожаловался, значит, подошёл край. Нельзя допускать, чтобы писатели такого уровня и высоты духовной голодовали и холодовали, упрёк это будет России вечный.

...Предисловием можно поставить мою статейку о Носове, писанную к книге «Берега», — лучше и свежее мне всё равно уже не написать, а уж с той любовью, которую я там «высказал» — и подавно никому не высказать. Виктор Фёдорович Потанин тоже знает и любит Евгения Ивановича и дополнительно может рассказать всё, что Вам потребуется.

Моя Вам благодарность и за то, что включаете в свою серию книгу М. Кураева, из «новых» пишущих «по-старому» — это самый крепкий и умный писатель.

Кланяюсь и ещё раз благодарю. В. Астафьев

29 января 1996 г.
Красноярск
(А.Ф.Гремицкой)
Дорогая Ася!

Прости, что долго не отзывался. Что-то мы с Марьей Семёновной то болеем попеременке, то дохварываем и никак дохворать не можем. А я ещё затеял мероприятие — свозить Польку в жаркую страну Таиланд за её праведные труды по дому во время нашей болезни. Всё ведь было на ней, да ещё соблазнился тем, что рейс прямой: Красноярск — Паттайя, а он, как и всё у нас, вышел кривой. Десять часов прокантовались в родном городе, сперва в таможенном зале, где температура плюс 7, потом сидели в самолёте.

Полька отдохнула на славу! Она человек контактный, быстро нашла подружек, которых опекали надёжные тёти, я посмотрел, как она умеет плавать, понял, что не утонет, и махнул на неё рукой, ибо воспитывать этого человека, приучать к порядку — всё равно что дикого мустанга зануздывать! Поездила она и по стране, и накупалась вволю, аж ночью купалась — дня не хватало! Фруктов и мороженого поела вволю. А я больше сидел в номере гостиницы и читал, потому что климат влажный, липкий. Два раза съездил в город Паттайю, но всюду душно и жарко, по помещениям гуляют сквозняки, питьё подают только холодное, да ещё со льдом, и на этом я вылазки закончил, стал выходить к заливу, к Сиамскому. О Боже! Куда только черти не занесут! Сидел в тени, дышал, раза три даже опустил пузо в воду, и залив сразу выходил из берегов.

Обратно летели, вернее, почти прилетели хорошо, не хватило керосину, сели в Абакане — уже в другой стране, в Хакасии, а там свои пограничники, свои таможенники и свои вымогатели. Они продержали нас три с половиной часа в открытом самолёте, пока не выморили у директора туристической компании взятку по своему аппетиту. Долетели, час ждали багаж, холодно, у меня ноги остыли. Я попросился на улицу, в машину, а Витя и Поля остались ждать багаж. Ноги мои согрелись только на десятый день после жаркой-то страны. У нас в середине зимы начались морозы с солнцем, и радоваться бы им, но горожане-то замерзают — всё врасплох, всё мы не готовы к зиме. Правда, в нашем старом посёлке в домах очень тепло, у нас тоже, а то и не знаю, что бы делал с моими гнилыми лёгкими.

Очень тяжело мне было дописывать «Подводя итоги», да и чего допишешь-то к законченной, себя исчерпавшей статье? Ну дописал и сам вижу, чего получилось. А насчёт денег — ну кто

мне даст этакую сумму? Зачем и почему даст? Словом, никуда и ни к кому я не пойду, как не ходил и прежде. Нужно будет, когда-нибудь издадут, а не нужно, значит, и Богу неугодно. Да и сумму-то ты назвала такую огромную и несуразную, что её с похмелья и не выговорить! Вот закончу новую повесть, составлю книгу с жалобным названием «Плач о несбывшейся любви» и исполу буду договариваться со здешним шибко прытким и хватким владельцем полиграфии об издании её — у меня лежат деньги от продажи машины, и что-то там накопилось — может, этого «что-то» на половину и хватит, а остальное пусть берёт полиграфист на себя. И ещё «для разогрева машины» начал писать «затеси», так, может, и их где-то издам. Тебе нужно лишь прислать мне ксерокопию с «затесями», а остальные две положишь в мешок и увезёшь домой, да и самой надо подаваться ближе к дому, раз такой у тебя начальник! Зачем он тебе без меня? Скоро весна, поезжай в деревню, покопаешься в земле. Отдохни от начальства, и от нас, и от литературы этой, которая всем уж надоела своей сладкой канителью, — вроде бы так какую-то сладкую стряпню называют?

Андрей наш в Вологде, живучи с однодетной семьёй, бьются вместе с Таней, чтоб хоть как-то удержаться и прокормиться. Зарплаты он не получает с августа прошлого года, и Тане вот перестали платить. Чего нас, их и всех россиян ждёт? Президентские выборы? Целая рота претендентов выстраивается! Вот так бы в пахари рвались мужики, как рвутся они к власти или в ансамбли орущих придурков.

Днями ездил в Овсянку, на совет библиотеки. Библиотека-то хорошая, но на её содержание и зарплату нужны двести миллионов! А где их взять? Наши попечители и так называемые спонсоры угасают один за другим, и боюсь, что скоро многое позакрывается.

Словом, скорей бы весна, хоть люди не дрогли бы, дети не простывали и не мучились.

Ну вот вроде бы и всё. Что надо тебе знать, напиши иль позвони за казённый счёт. Марья Семёновна будет печатать письмо, может, чего добавит от себя. А я кланяюсь всем вашим и целую тебя. Виктор Петрович

13 февраля 1996 г.
Красноярск
(Ю.А.Ростовцеву)
Дорогой Юра!
Мы с Марьей Семёновной так были рады твоим письмам, что

и слов нет выразить нашу радость. Рады и мимоходному упоминанию, что Митя жив и находится в Петербурге. Я не пробовал, не знаю, каково двум свободным мужикам жить вместе, наверное, неловко, и едва ли у кого это получится, даже при условии, если они чужие друг другу.

Обрадовался, что у Толи *[Анатолия Заболоцкого. — Сост.]* так хорошо прошёл юбилей, и погрустил от того, что ему уже шестьдесят! Как-то неожиданно это. Всю жизнь он, как кузнечик, скачет по земле, а на скаку как определишь возраст человека? Грустно: шестьдесят — это жирная черта, за которой остаётся осязаемая жизнь, по эту сторону черты — уже многоточие, а многоточие смутное в нашем правописании обозначает и в то же время многозначительно одно: усталость, болезни, ожидание конца, беспомощность от сознания, что все там будут, и ты — тоже за этим многоточием.

Какая самоуверенная особенность молодости на фронте, среди смерти уверенное сознание было: кого угодно могут убить, только не меня. Много преимуществ у молодости, и эта вот спасительная особенность — одна из главных сил и возможностей молодости. Правда, сейчас, наверное, уже мало на кого из молодых сие распространяется. Они в молодости уже усталые, как старики, и оттого равнодушны ко всему, в том числе и к своей жизни. Может, нами накопленная сверхусталость как-то и для нас незаметно перешла, перекочевала иль перелилась в следующие поколения? Мы-то — люди крестьянского корня, были крепки именно этими корнями, которые подпитывали нас, придавая терпения и сил в этой сверхтяжёлой, для других людей и наций непосильной и невыносимой жизни. Одно несомненно: за нами идут слабые люди, и от слабости, в первую голову духовной, неспособны они постоять за себя, побороться за свою самостоятельность, выжить и укрепиться трудом, а не ожиданием благ и хлеба от хороших царей и мошенников-коммунистов. Боюсь, что на нас Россия и кончится, если ей снова не поможет Бог и не спасёт её от страшной, невиданной на земле погибели.

Юра! Зауральские книжки пусть будут у тебя, мне, слава богу, прислали достаточно, а вот в издательстве «Книжная палата» вышел сборник под тем же названием, так похлопотать бы, чтоб мне выслали, пусть и по почте, наложенным платежом, штук пятьдесят.

Денежки, что у тебя, надо как-то передать нашему Андрею. Плохи у них дела. Реставрационные мастерские закрылись. Андрей с августа прошлого года не получает зарплаты, тянет Татьяна — невестка, а она, ты видел, какой богатырь, набрала работы сверх всякой нормы, но и ей стали задерживать зарплату.

Адрес и телефон Андрея ты знаешь.

И ещё: кажется, налаживается возможность повидаться нам нынешним летом. Петербургская публичная библиотека предложила на базе овсянской сельской библиотеки провести общероссийскую конференцию о литературе и библиотечном деле. Налаживается это дело на конец июня — очень хорошая пора. Сможешь ли ты с бродягой Заболоцким быть в Сибири на сем мероприятии? Я и Андрея с Таней запишу в список приглашённых, и вы все вместе можете катить в Сибирь бесплатно, если наш Аэрофлот согласится взять на себя транспортные расходы. Затея эта, уже по первым прикидкам, стоит 150 миллионов, я же насоставлял список с расчётом, что многие почтенные люди уже не смогут подняться в поход на Сибирь. Вы-то холостые, почти молодые, на подъём должны быть легки. Словом, напишите — согласие иль отказ, а там — светай или не светай, лишь бы петух пропел. По междугородному телефону я и Марья Семёновна звонить не станем, техники, грамотные советские люди, начали пользоваться чужими номерами, в том числе и моим. Способа борьбы с этой бедой нет. Все борцы за правое дело. Чуть не забыл поблагодарить тебя за «Роман-газету» — теперь я без горя.

Вот пока и всё, обнимаем и целуем — я и Марья Семёновна.

Преданно — Виктор Петрович

17 февраля 1996 г.

Красноярск

(Е.И.Носову)

Дорогой Женя!

Памятуя, что у тебя в марте день рождения, но из-за старческого склероза, забыв число и зная, как ты любишь всё изящное и красивое, посылаю тебе эту папочку с запасом бумаги и, может, мысль какую в неё запишешь, может, нарисуешь чего, а может, потянет письмо мне написать, и мы его с Марьей читать будем и радоваться ему, как редкому подарку от родного человека. В клапанок папки я тебе вложил пташку, чем-то — уж не пузцом ли — похожую на тебя и сурьёзную такую. А чтоб повеселить тебя маленько, — картинку сексуальную, из золотой старины, когда ещё, рисуя женщину иль по современному литературному языку — пиша, не обезображивали её, а обожествляли, в то же время оставляя её такой, чтоб любой мужик обернулся, даже если он музыкант иль рядовой советский колхозник, и, чтоб чирка евоная сразу начинала «бросать вода», как говорил мне мой товарищ по охоте татарин Генка Хабибуллин, по-ихнему Хайрулла, уже давно покойный, оттого

что в четырнадцать лет начал зарабатывать хлеб тяжёлой работой, поддерживая мощь и славу родного государства.

Живём мы, как и все уже старики, похварывая и тревожась о будущем детей наших и совсем почти разрушенного Отечества нашего. Державшееся на ржавых гвоздях и гнилых верёвках лжи и демагогии государство рухнуло, началась расхватуха, мародёрство, и первыми грабителями были и остались партийные деятели, которым удалось убедить наш убогий народ, что обокрал его американец клятый, а коммунисты — святые люди, лишь то и делали в своих партийных квартирах в двести метров на двоих, что печалились о народе.

Мы с внучкой в январе слетали в Таиланд на мою прошлогоднюю премию. Первый раз (у нас прямой рейс Аэрофлота, тем и соблазнился) ездил я туристом и с так называемыми новыми русскими — это уж сынки и внуки нашей воровской комшайки, и они ещё гаже и тупее своих отцов и дедов. Сидел я в основном в гостинице, ибо климат на Сиамском заливе липко-влажный зимою. Полька накупалась и отдохнула хорошо. Тем временем у нас подступила настоящая сибирская зима с морозами, которые держатся и по сию пору.

Делал я тут два старых рассказа, а они взяли и соединились в повестушку. Опять о любви, опять о несчастной военной доле. От этого мне, видать, уж никуда не уйти и не отболеть.

Похоронил тут в Дивногорске мачеху. Мало что нас связывало в моей взрослой жизни, иногда заезжал к ней, продуктишки завозил, разговаривал о том, о сём, а хоронить пришлось мне — неповоротливы, несообразительны сделались наши деревенские люди, главное для них — поминки. Земля промёрзла, Сибирь, паря, — с нею не шутят! Чего-то жалко, чего-то накатывает, с каждыми похоронами подступает ближе мысль о скором конце, и строка из восточного поэта — «Лёгкой жизни я просил у Бога, надо б лёгкой смерти попросить» — приобретает всё более глубокую и покаянную значимость. А хоронить приходится часто, родня моя густая падает и падает. Недавно умер двоюродный брат Иван, самолучший из родовы певец, а умер в психушке. Я не хоронил его, болел как раз, и чувство вины угнетает, а похороны ещё собирают близких людей, и горе на время объединяет. Даже свадьбы перестали собирать людей в кучу, только похороны. А посмотришь на овсянское кладбище — на нём всё виднее, чем на необозримом городском, — одни старики своей смертью умерли, все остальные, что окружают могилу нашей дочери, извели себя, сгубили. И я вздохну иной раз: «Ах, Ирина, Ирина! При жизни ты всё собирала вокруг себя каких-то падших и обездоленных, пыталась всех пожалеть,

накормить, и теперь вот, мёртвая, сгруппировала вокруг себя этакую публику...» Спившиеся, опустившиеся, загнали себя под никем не оплаканные, пьяно насыпанные бугорки.

Что-то на беды меня повело. Буду закругляться, авось в другой раз будет в голове яснее, и мысль пойдёт бодрее, и слово ляжет в радостную, но не в горькую сторону, Хватит её, горести-то, всюду и всем.

Да, тебе послали приглашение на библиотечную конференцию, которая будет проходить на базе овсянской библиотеки. Приедешь — не приедешь — дело твоё, но если б поднялся да собрался (все будет оплачено), повидались бы. Может, в последний раз... Обнимаю, целую, твой Виктор

3 марта
Красноярск
(И.Н.Гергелю)
Дорогой Ваня!

Я безмерно рад был твоему письму и альманаху. Пока я его только полистал, а читать буду уж позднее.

Случилось так, что осенью нас настигли хвори и беды: я в Овсянке помолодечествовал — забыв про свои года и застарелые хвори, в результате чуть не умер от тяжёлого воспаления лёгких. Умудрился после бани (!) и не моясь жарко, и не парясь совсем (бани тёпленькой, слабой, как дядя мой говаривал: «Идите, Вихтора зовите в баню, в ей уж покойников мыть можно»). С тех пор, как напарили и накупали меня в Днепре, я нет-нет да и подзабудусь — и сразу обострение, сразу каменья под лопатками и лёгкие мои пищат, как слепые щенята...

Из деревни уезжал я на «дикой» «Скорой помощи» — всё осталось на столе и в избе «на ходу». Марья Семёновна поехала в Овсянку за бумагами и документами, поломала рабочую левую руку, попав в автоаварию. С нею была и внучка, но, благодарение Богу, с нею всё обошлось и она всю осень «вела дом». А я поглядывал из окна больницы на осенний лес, и сердце моё разрывалось от досады — я ведь каждую осень уезжал иль уплывал в тайгу и дней за 15-20 подзаряжался там на всю зиму воздухом и бодростью от природы нашей, всё ещё прекрасной и великой, хотя всё мы делаем, чтоб изуродовать её, обезобразить и погубить.

У нас снова сметают с лица земли тайгу пожары и шелкопряд, что похуже пожаров, и «борются» с этим бедствием так, как только у нас и умеют бороться «за природу» — говорят, постановляю!, а как до работы дело доходит — «карасину нету»,

финансы не отпущены, и лётчики с пожарными напились да передрались.

После больницы, начитавшись в ней газет и насмотревшись телека, впал я в несвойственную мне тяжёлую депрессию — не только работать, а на свет белый не глядел бы. Но не работать — значит совсем духом упасть и раскиснуть. Достал я два своих старых рассказа и начал из них лепить какое-то художественное произведение, а из старого делать новое — это всё равно, что «из болота тащить бегемота». Много времени и сил потратил на то, чтобы слепить небольшую, на четыре листа повесть.

Сейчас она на машинке у Марьи Семёновны, которая не даёт пощады себе и своей ломаной руке, шлёпает и шлёпает и, когда дошлёпает рукопись, я пройдусь по ней последний раз и отошлю в «Новый мир», где ждут третью книгу романа. Но пока на неё у меня нет сил, а сил надо много и приходится собирать их по крохам, при нынешних моих летах и при той жизни, которая так способствует вдохновению и творчеству, что порой хочется уснуть и не проснуться.

До этого — для разгона — пописал «затеси» и, как долажу их, парочку пришлю.

Ваня! Ты вот сам лоб подставляешь и сердце рвёшь, чтоб помочь писателям и альманаху, а здесь подставляют мой толоконный лоб, моё сердце и время на части рвут. Хожу я «в прицепе» с редактором иль секретарём выпрашивать деньги на журнал «День и ночь» — на оплату помещения и прочее, о чём ты знаешь лучше меня. У нас Волокитин секретарит давненько уж без зарплаты, ругается, сулится всё бросить, но ведь тогда бросит и всех, вот я и брожу по этажам и кабинетам, чаи вельможные пью, иной раз с печеньями дорогими, шутки шучу, лекции вымучиваю об экономике и политической жизни страны. Пожалуй, уж обошёл всех людей и начальников, что ещё не покраснели и порядочными слывут, а таких и было-то немного, но к красным же и ворью да карьеристам-аферистам я не пойду, и что? А то, что и журнал, и альманах «Енисей», и вся наша достославная писательская организация замрут и скончаются от белокровия. Мы тоже добиваемся того, чтобы взяли нас со всеми потрохами в муниципальную собственность, «посадили» на бюджет, но современное начальство, вышедшее из прошедшего большевизма, не понимает, как и прошлое не понимало значения местной культуры, презирает её и платить не хочет, а то. прошлое-то, платило хотя бы для того, чтобы с трибун похвалиться собою — вот как оно о народе и духовном его подъёме заботится! Ночей не спит, изо рта своего селёдку вынает и в клюв артистам да писателям отдаёт, как пташка-кормилица

иль колхозная корова, подпускающая к сосцам неразумного телка.

Поклонись ты своим издателям. Гляди-ко! Они ведь средь делячества и всякого рвачества ещё издают что-то, даже библиотеку общероссийскую тянут. Наши молодцы вон все помещения распродали, себя и девок своих готовы распродать, да пенсионерки они сплошь, а напротив казино работает, там прыгают и пляшут, и кальсоны с себя сымают ядрёные халды и голубые молодцы — кто тут соревнование выдержит? Вот и издают книжонки за плату, за денежки, не сократив ни одного человека, не ударив пальцем о палеи, чтобы хоть что-то сделать, издать. Я уж три года не переступал порог сего достославного заведения, а издавали меня частные издательства, да в Москве несколько ещё понимающих или помнящих обо мне издателей.

Ну ладно, Ваня! Обнимаю тебя. А ты обними Витю и позвони Василию в Шадринск. Чего-то перестал он мне писать, даже по праздникам, видать, совсем мохом зарос иль обиделся на что, а я так любил читать его письма — три-четыре строки на целую страницу и, глядишь, письмо в полтора десятка страниц размахом.

Всем поклонись, всех поздравь с наступлением весны. У нас зима была хорошая, и весна началась хорошо, может, коммунисты позволят нам и лето, и осень ещё встретить, а там чего уж Бог даст.

Я думаю, он посылает нашему народу последнее испытание, и если мы вновь отдадимся сатане — отвернётся от нас совсем и тогда уж конец придёт И сатане, и народишку нашему неразумному, с круга давно сошедшему.

Ещё раз обнимаю тебя и кланяюсь.

Виктор Петрович

4 марта 1996

(А.Бондаренко)

Дорогой Алеша!

Спасибо за рыбку, за письмо, за добрые слова. Я как раз доделывал 3-й заход на новую повестушку. Трудновато шло дело, старость, слабеет память и рука, но позавчера закончил. Марии Семёновне на машинку сдал и за почту взялся. Отдохну маленько, хотя и не удаётся, все дергают меня по разным делам и писать приходится какие-то бумаги, порой неожиданные.

Вот прислал мне четыре альманаха «Охотничьи просторы» хороший человек и сообщает, что он составляет охотничий справочник, и просит написать, как я начал охотничать, где охотничал, с какими собаками и ружьём. А я охотник-то аховый, с

горя и от голода больше охотничал, но давно меня Марья Семёновна подговаривает написать «затесь» о разговоре со старым ружьём и говорит, будет очень это занятно. Вот и напишу где я бродил, чего высмотрел, а убил, слава богу, мало, потому как стрелком был никудышным, зверя вообще не трогал, основной зверь бы,. которого я валил на прокорм, — рябчик, реденько тетеря или утка.

Постараюсь написать с юмором и, может, возьму разгон на детскую повесть, давно она задумана и выношена, тянуть больше нечего, а роман с годик подождёт. Вышла у меня повесть «Так хочется жить» в Москве, в издательстве «Книжная палата» вместе со старыми рассказами и старой повестью. Ничего, славно издана книжка. Когда появится, отдам и альманах и новую книгу, а пока шлю охотничьи календарики, а Люде вместе с поздравлением к бабьему дню календарик красноярский.

Мечтаю весной съездить на рыбалку. Предложений много, может, хоть одним и воспользуюсь.

Потерялся в ваших краях охотник. Не убит, не ограблен, вышел сухих дров напилить и как сквозь землю провалился. Снег глубокий, найти не смогли. Теперь уж когда снег растает, найдут косточки. Недаром Вася Сидоркин говорил, что тяжело, смурно было ему в тайге, боялся, что не выйдет.

Ну, обнимаю, целую и желаю, чтоб скорее тепло было и коммунисты войну не подняли в России. Преданно ваш В. Астафьев

4 марта 1996 г.
Красноярск
(О.М.Хомякову)
Дорогой Олег!

Письмо твоё получил, статью про Шолохова прочёл. Не хочется мне спорить по поводу её, а надо бы. Но я вчера закончил третью, самую трудоёмкую редакцию новой повести и, конечно, устал. Сегодня в ванную сходил и выходной себе устроил.

Есть великая книга «Тихий Дон», и автор её — молодой русский мужик Шолохов Михаил Александрович. До книги этой не взошла ни одна литература двадцатого века, а любовь такую не скоро кому-либо удастся сотворить на бумаге, ибо она-то и есть главная мощь, и трагедия русской нации, и краса её, и погибель. Евреи отчего набросились на это величайшее творение века — оттого, что ничего подобного они создать не могут и ещё долго не смогут, ибо выносили много отдельных трагедий и страданий, но трагедию нации своей им не дано было выносить и

разродиться ею, потому как нация была раздроблена, разъединена на части и пока ещё нацией себя не осознала. Только поэтому они хватают любого своего художника — от Фейхтвангера до Гроссмана, от Мандельштама и до Бродского — и поскорее объявляют его гением, а творения его — гениальными. Хочется — вот и торопятся, ведь «Жизнь и судьбу» — роман ещё сырой, незавершённый по всем разделам, без крупных общечеловеческих характеров, без глобальных проблем и судеб, — поспешили объявить выше «Войны и мира», а уж «Тихому Дону» и делать нечего, рядом не лежать.

Если бы такие вот доброхоты, как ты или Валя Осипов, да и вся «ростовская рота», не бросились, не поспешили бы защищать то, что в защите не нуждается, — никакого, не только мирового, но и местного масштаба скандала евреям устроить не удалось бы. Я преклоняюсь перед твоей искренней, юношеской, бескорыстной восторженностью, но я знаю многих защитников и шолоховедов, которые на этом имели капитал и имеют его по сию пору, и не только духовный, но и денежный. Им в отличие от тебя есть чем печку топить, есть что кушать, носить и в героях ходить. Многим из них тут же смерть придёт, как только евреи устанут и переключатся с Шолохова обличать другую величину, например, Льва Толстого! — ведь чем огромней величина, тем они вроде бы храбрее выглядят при нападении на неё.

Но, Олег, есть ещё Шолохов, написавший подлую книгу «Поднятая целина» и оперетку на военную тему «Они сражались за родину». — тут-то уж, надеюсь, никто не менял ему названия? А оно ведь из области «Детгиза». А поведение его в старости, которое тебя так восхищает, с этими «бессмертными» словами: «Говорят, что мы пишем по указке партии, но наши сердца принадлежат партии, а мы пишем сердцем». Ты, помнящий каждое слово, каждый штришок, вдруг забыл эти слова, которые цитировались на каждом углу и которыми в кровь, до костей, как казацкой нагайкой, секли нашу с колен поднимающуюся литературу.

Говорят, что муж Маргарет Митчелл сжёг у неё всё, что она написала после «Унесённых ветром». Жаль, что около Шолохова не нашлось никого, кто бы сделал то же самое — и был бы лик великого русского писателя ясен, и к Богу он, глядишь, был бы допущен. А так что ж — роились около него подхалимы и фанатики, иногда он их разгонял, бил. Но от себя-то не убежишь, не скроешься... Нам кланяться ему и благодарить его приходится за то, что он наглядно учил, как не надо себя вести в жизни и литературе, да ведь и на душу наслаивая тяжкий груз и горечь в сознании — уж если гений наш, российский, подвержен был

такой порче, что спрашивать с народа, с простого, «Тихого Дона» не написавшего. Пусть себе дальше бегает под кровавыми знамёнами, торопясь со своей партией к счастливому прошлому — ведь сам (!) говорил про партию родную эвон как! Эвон чё!

У нас сегодня первый день весны! Лучезарный! Светлый! Капель началась, синички тенькают. Господи! Ещё одну весну подарил ты мне, всем нам! Спасибо! Спасибо! Нынче и зима у нас была путная, с морозцем, с солнцем. Авось и весна, и лето тоже будут хорошие.

Посылаю открытки, если надо — пошлю ещё. У меня их много. Есть возможность повидаться нам, пока ещё призрачная, но есть. Петербургская библиотека совместно с овсянской и краевой публичной библиотекой затеяли в июне пронести у нас конференцию «Литература и библиотечное дело». Мне разрешено пригласить кого захочу. Захоти и ты — приглашу, всё оплачивается. Повидаешься с народом хорошим, увидишь и Андрея моего — он может приехать с семьёй.

А с костромским профессором Лебедевым я когда-то перебросился несколькими письмами, не помню повод. По-моему, я писал предисловие к книге Максимова «Крылатые слова», и мне понадобились какие-то сведения об этом замечательном русском человеке и писателе, но не это меня поразило, не сведения, а почерк профессора. Я такого красивого почерка (вот бы на деньгах-то кому писать!) почти и не встречал, а если и достигал он меня, в совершенстве владеющего каракулями, то, как правило, от людей истинно русской культуры, в совершенстве владеющих словом, учившихся не «где-нибудь и как-нибудь», а у родителей своих, у истинной российской словесности. Но у большинства писателей, даром от Бога награждённых, культура нахватанная, лоскутная, сумбурная и почерк таков же. Есть у меня несколько писем от Нагибина — так там просто закорючки и палочки да скобки. Более других меня умиляет почерк моего неизменного друга, почти брата литературного — Жени Носова — застенчивый, ровненький, угловатенький, из школьной тетрадки в жизнь перешедший без изменения и порчи, только что мельче.

Почти таким же. но только чуть конторой «исправленным» почерком писал ко мне покойный мой друг Александр Николаевич Макаров, а был он сверхобразован, имел феноменальную память, но застенчив и зажат в себе с сиротского детства, что и сказалось на почерке.

Почерк — это характер! У меня характер — хуже некуда, вот и отдам Марье Семёновне письмо на машинку — иначе тебе его не прочесть.

Обнимаю, Виктор Петрович

4 марта 1996 г.

Красноярск

Дорогие костромские писатели!

Привет нам из Сибири и поздравление с наступающей весной! Пишу вам по поводу Хомякова Олега Михайловича, который давно уж зимогорит в одиночестве на родине, в Шарье. Одиночество его плодотворно, но и угнетающе, поскольку всю сознательную жизнь он проработал в шумном и людном бардаке под названием «Советское кино». Одиночество его угнетает, ему хочется с кем-то словом перемолвиться, пообщаться «культурно», и он требует от меня, старого его приятеля, рекомендацию в Союз писателей, а я ни в каком Союзе нынче не состою, разве что в красноярском — чтобы помогать землякам-писателям. Хожу по этажам и кабинетам, клянчу деньги на уплату за аренду помещения, за электричество и санузел, на альманах «Енисей» да на журнал «День и ночь», который, однако, всё же не устоит. К кому не стыдно — я уж сходил, чаю попил и людей порядочных утомил, а к непорядочным идти мне неохота.

Я это к тому, что рекомендовать Олега не могу ни в какой, даже самый прогрессивный Союз, так письмом этим прошу вас: приберите человека, одаренного, любвеобильного и доброго, приобщите его к своему коллективу, чтобы он хоть раз в году вылезал из своей берлоги.

У Олега есть книги прозы, пишет он и стихи. Но в последние годы преуспел в публицистике, очень интересной и по жанру своеобразной. Он пишет о кино, о людях, ему в процессе работы повстречавшихся, иные из них стали его друзьями.

Почитайте и увидите, что в коллектив ваш рвётся прекрасный собеседник и одарённый человек и в смысле сочинительства, и в смысле общения, — это сейчас особенно необходимо русским людям, живущим разобщённо и потому неинтересно.

Всем вам желаю творческих и всяческих успехов, а главное — здоровья. Виктор Астафьев

4 марта 1996 г.

Красноярск

Дорогие мои зауральцы!

Рад, очень рад, что вы, как и вся российская провинция, в том числе и творческая, не сдаётесь, не ждёте «милостей от природы», милостыни из Москвы и от властей наших, о культуре российской и творческом облике её вспоминающих во дни юбилеев, по большим праздникам и тогда, когда им, властям, требуется поддержка «народа» и культуры, чтобы и самим выглядеть покультурней и подуховней. Вожди, прежние и нынешние, и в церковь ходят, и свечки жгут затем же, чтобы все заметили, что они с народом и с Богом заодно.

Я получаю со всех концов России журналы, альманахи и газеты, издающиеся на энтузиазме и нервах творческих людей, на копейки разум не утративших местных предпринимателей, администраций, руководителей предприятий. Лучшая на сегодняшний день в России литературная газета провинции «Очарованный странник», издающаяся в Ярославле, сумела даже организовать и провести всероссийское совещание молодых русских писателей. Бог пособил ярославцам.

Во Владивостоке издаётся солидный альманах «Рубеж»; в Костроме — журнал «Губернский дом», в Новомосковске — симпатичный журнал «Поле Куликово». Редактор его — инвалид, с трудом передвигающийся, русский писатель Глеб Паншин держит два коммерческих ларька, чтобы на выручку от них и с помощью спонсоров — крупных предприятий — выпускать журнал. Героические усилия и неслыханную изобретательность проявляют и в Вологде, и в Томске, и в Улан-Удэ, и в Архангельске, и в Краснодаре, и в десятке других городов, чтобы начать и вести местные газеты, журналы и альманахи.

Как это трудно, как сложно — знаю по нашему красноярскому журналу «День и ночь» и едва дышащему, старейшему в России альманаху «Енисей». Многие из новых, очень славных и нужных изданий уже замерли, остановились, так и не выпутавшись из младенческих пелёнок, наглядно показав, какие колоссальные творческие возможности в недрах российской земли, какие таланты, какие мощные духовные силы невостребованно засыхают на корню.

Надеюсь, ваш славный альманах «Тобол» не постигнет участь многих новых изданий и вы устоите — ведь, не печатаясь, не получая внимания, не сообщаясь с читателем, опустят руки пишущие одаренные люди. Я думаю, у общественности города Кургана достанет ума понять, что накормить народ досыта —

дело непременное, большое, но не дать окончательно одичать этому самому народу, поддержать его духовно, помочь разуму и просвещению страны — дело не меньшей значимости и важности.

Кланяюсь «тобольчанам», желаю, чтобы всем вам хорошо дышалось, пахалось, писалось и жилось. Преданно Ваш Виктор Астафьев

7 апреля 1996 г.
(А.Михайлову)
Дорогой Саша!

Всюё-то зиму-зимскую бился я над маленькой повестью под странным названием «Обертон» и днями, слава богу, отослал её в «Новый мир». Повестушка всё из тех же военных и сразу-послевоенных времён — о любви несбывшейся, о молодости пропащей. А об этих предметах — о любви, о женщинах, если ты не Бунин Иван, надо, видать, объясниться письменно в молодости. Едва ли я ещё раз возьмусь за такую щепетильную и ответственную тему.

А на роман сил и вовсе нету, надо передохнуть, осмотреться и, если коммунисты не повесят, тогда уж и продолжить роман. Но две последние повести вполне могут читаться как продолжение описанной в романе жизни. Интересное ещё одно дело: во время работы над повестью получил я просьбу из альманаха «Охотничьи просторы» написать справку для охотничьего справочника о моих охотах. И вот, излагая сей материал, написал я два листа текста, непринуждённого, светлого, свободного, — и получилось лучше, чем в повести, а главное, полезнее и безвредней для души.

Так было не раз — после натужных, измучивших меня вещей, «для разрядки и сердца утишенья» написал я «Дядю Кузю — куриного начальника». «Оду русскому огороду», ряд лирических рассказов и «затесей». Вот тут и вспомнил поэта, недаром называвшегося символистом: «И женщина, которою дано, сперва измучившись, нам насладиться!..»

Помню, как Серёга Викулов сатанел от названий моих сочинений, особенно от «Пастуха и пастушки» — «Об колхозах, опять подумают читатели». Об «Оде огороду» говорил, что это вообще выпендрёж, как это «Ода огороду» — и старательно объяснял со школы усвоенное понимание, а тут мало что проза, так ещё и... «Царь-рыба» — тоже, я, грудью ложась на редакционные амбразуры, защищал. То-то была бы схватка с «Обертоном» — ах уж эти в школе нашей почерпнутые знания о литературе, они так и не дали развиться до понимания иль хотя бы своего собственного прочтения книги большинству российских

читателей. Нет-нет да и получу от учительш и комиссарствующих пенсионеров поучения о том, как надо писать и обретать вкус, да не губить вульгарностями и грубостями нашу дорогую молодёжь. В сущности, при всеобщем-то образовании, порой и высшем, но без Бога в сердце и без царя в голове, народ наш остался ещё более невежественным, чем это было в царской безграмотной России. И кабы невежество это оставалось втуне. Оно же воинствующе, громогласно. Едва научившись читать и считать свою получку, часто мнят себя передовые советские трудящиеся интеллигентами и мыслителями, способными себя ставить в пример и высокомерно бряцать своим «интеллектом».

Слава богу, были и есть среди постоянных моих читателей истинные интеллигенты. Какой же заряд световой и согревающей энергии исходит от них. как глубоко и деликатно их обращение со словом, как уважительно отношение к труду другого человека.

Их было и есть немного, но кислорода, ими в лёгкие общества и творческого, прежде всего, вдыхаемого, ещё хватает, чтобы поддержать мысль и жизнь в России. Но они уходят иль стареют, и нет им замены, никто не хочет занимать ими согретый старый стул. Все в кресло норовят сесть, и в кресло желательно заморское.

Зима у нас была сухая, солнечная, что помогало бодриться, дышать, работать. И весна вроде бы началась ничего, но вот задурела: ночью холод, днём кислятина, и хорошо, что я закончил к этой поре труды свои. В недомогании садиться за стол и угнетать «больной и маленький свой организм», как писал Коля Рубцов, очень даже тяжеловато.

Собираюсь в конце апреля слетать в Тарханы. От нас ходит самолёт в Самару, а оттуда своим ходом двинемся к пензякам. Давно зовут, и соберусь, пока народ не хлынул в святые места. Ну, а потом в деревню — в огороде садить, по берегу Енисея побродить, в ворон пострелять — совсем обнаглели, все скворечники опустошили. Писать если и буду, то после отдыха и какие-нибудь пустяки. А может, и не буду — футбол нынче европейский, чтения много накопилось, и вообще книг очень уж много написано, да не поумнел от них человечишко, так чего и надсажаться-то?!

Ну вот, оторвали! В гости с Марьей сходили к одной бывшей моей односельчанке. Со стола валится закусон, напитки дорогие, компания простодушная и весёлая. Выпил пару рюмок коньяку, поел разносолов, стряпни всякой — и домой. И ведь куда ни придёшь, в рабочую семью допустим, к двоюродной сестре на поминки ходил — и ё-моё — неслыханное, невиданное на столе изобилие — нет, сидят, клянут жизнь и власти. Ох накажет наш

народ Господь, ох накажет! Ещё раз сатана с кровавым флагом явится, умоет кровью и слезами этот слепой и тупой народишко.

А за «Водник» я порадовался. Наконец-то хоть какая-то радость северянам. А у нас футбольная команда «Металлург» в первую лигу прорвалась. Изобьют её, наверное, — больно уж с деньгами худо и «силы» в основном местные, простодушные. А вот регбисты наши всех в грязи валяют и выталкивают за кромку поля. Хоть бы американцев повалили, а то уж больно они на всех тырятся и всем диктуют. Чуть чего — авианосец посылают, и самолёт, взлетая с него, не падает в воду, курва! А наш, красноярский, опять где-то на Сахалине иль на Камчатке грохнулся.

Ну, обнимаю тебя. Не хворай. Христос воскрес! Твой Виктор

8 апреля 1996 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Вот и весна пришла! У нас она почти зловеща, днём подтаивает, солнце даже пригреет, а ночью все и выморозит, и утро похоже не на апрельское, а на ноябрьское. Снег ещё везде лежит, и проталины едва обозначились.

К весне я кое-как добил повестушку, что-то уж очень надсадно она мне далась, зато начало жизни у неё ударное получилось. По почте в «Новый мир» пришла на пятый (!) день, тут же была прочитана (всего четыре листа, удобная рукопись) и поставлена в номер восьмой, если успеют, или в девятый. Ну и Бог с нею, пусть отплывёт от моих берегов и прибьётся к другим.

Но я ж без надсады жить не умею. Прислали мне тут альманах «Охотничьи просторы» с главой «Поминки» из «Царь-рыбы», и редактор попросил для справочника охотничьего написать что-то вроде справки, где, когда, как я охотился, с кем и с чем ходил, в смысле собак и людей. Я сразу же, пока повесть была на машинке второй раз, сел писать совершенно свободный, безыдейный материал и нахлестал два листа чего-то непринуждённого, светлого, и чувствую сам, да и Марья подтверждает, что этот текст лучше получился, во всяком разе не столь натужно, как в повести *[«Разговор со старым ружьём». — Сост.]*. Там ещё ждали в папке осенью написанные «затеси». Надумал и их доделать, чтобы в деревню отправиться налегке, никакой работой не связанным.

Но прежде, чем я поеду в деревню и займусь огородом, заполню паузу тем, что побываю в Тарханах. Всю жизнь туда

собираюсь, а тут оказия подвернулась, и со мною сопровождающий будет. Всё уже обговорено, от нас самолёт ходит до Самары, а там машину пришлют, и я хоть на Россию изнутра, а не с окраины посмотрю. Хотя «центр России» обозначен в Красноярском крае и знак поставлен в Эвенкии, на озере Виви, всё же по всем параметрам и, прежде всего, по морали мы со своей Сибирью, коей бахвалимся даже больше, чем вологжане своей «тихой родиной», были и остались окраиной Отечества нашего. Впрочем, по степени одичания и духа оскудения сейчас вроде бы все губернии сравнялись, цены на продукты кое-где разные, а дурь едина и неделима.

Должен тебе сообщить, что парни чусовские, прежде всего друг моего сына Андрея, Витя Миров, пробили-таки идею свою и в районе Кучино сделали мемориал жертв политических репрессий, даже комплекс целый соорудили и через меня осуществили заказ на наш алюминиевый завод на какие-то поставки. Меня же пригласили стать членом совета музея и приглашают в июле на первый съезд или слёт, и, поскольку неподалёку от мемориала, на речке Боярке, у них есть уже что-то вроде гостиницы, так, может, и соберусь, ибо и сына туда пригласили. А он, бедный, болтается у нас без работы и без зарплаты. Ему, с его щепетильной и ранимой натурой, это очень тяжело. Всё и облегчение, и роздых побывать у нас, и мы с Марьей зовём его, деньжонки тут у нас случились, так уж эту-то поездку как-нибудь вытянем. А овсянские библиотекарши работают и хлопочут вовсю, осуществляя мечту о конференции, которую разумно перенести на август, когда закончится вся дурь с этими проклятыми выборами. До того всё это надоело, что уж самой идеальной формой нашего существования приходится считать ту, что прежде была, — выборы для фокуса и обмана, а всё остальное назначается и распределяется «по воле и желанию народа», от отца народа, то есть секретаря ЦК, и до председателя сельсовета. Ну не умеем мы, не научены иначе жить, и вся эта демократия русскому народу, что корове скаковое жеребячье седло. Он и сам, народ-то, словно телок, всю зиму, от самого рождения в хлеву проживавший на гнилой соломе, попав на весеннюю поляну, не может понять, что это такое, солнцем ослеплённый, простором напуганный, не знает, то ль ему брыкаться и бодаться начинать, то ль спокойно пастись, щипать травку. Лежал всю зиму под тёплым брюхом мамы-коровы, тянул её усохшие сосцы аж до крови, и уютно ему в хлеву было, и безопасно, и тепло. А тут эвон чё, на волю выгнали со слабыми-то ногами, без практики и желания жить на воле и самому кормиться...

А Конецкий, говоришь, гуляет. Молодец! Завидую! Кажется, в конце мая, в начале июня есть мне возможность слетать в Петербург, так, может, и слетаю, прежде испытав себя в поездке до Тархан, а то что-то я совсем расхлюпался после тяжёлой осенней болезни, чуть чего и лёгкие ломит, и сразу на душе темень, и то, что учёно «депрессией» зовётся. Только работой и спасался, но так опять устал до последней степени.

Вчера Пасху с Марьей отпраздновали. Вдвоём! Хорошо. Поля накануне все стряпала, торт изладила, что-то вроде плаката изобразила, в коридоре иконками его прикрепила, чтобы нам радость доставить, и открыточки нарисовала и написала выразительно «Поздравляю». Ничего читать не хочет, пишет, как слышит, а я говорю — и пусть не читает, и пусть голову свою лёгкую не отяжеляет разной трухой и опилками так называемой культуры, любит лошадок, хочет ветеринаром быть и учиться в сельхозинституте, пусть любит лошадок и учится, где хочет, да деда с бабой почитает и понимает, больше и не надо. Многие знания — многие скорби, ещё задолго до Курбатова и всех прочих критиков сказал кто-то, и лучше уж радоваться без этих самых знаний, чем быть несчастным, угрюмым и нелюдимым со многими знаниями. На земле рождённому, земным человеком и быть ему надо, а не витать в небесах, не шариться в облаках, отыскивая свет и дополнительный смысл жизни. Хватит и того, что Бог дал, ограждая нас от блудного слова и блуда в тёмном лесу. Жизнь сама по себе столь прекрасна, что и жить бы да жить в радости, чего я внучке и желаю.

А тебя обнимаю — эвон куда меня понесло! Твой Виктор Петрович

20 июня 1996 г.

Красноярск

(В секретариат союза писателей России)

Пишу второе заявление в Ваш секретариат с просьбой не числить меня членом красно-коричневого Союза, которым из-за угла по-прежнему правит товарищ Бондарев, сделавший столько зла русской литературе, какового никаким Бенкендорфам сделать не удавалось, и быть в компании фашиствующих молодцов Проханова, Бушина иль Бондаренко тоже желания не испытываю.

На первое заявление было отреагировано — звонил Борис Романов, узнавал, не перейду ли я в какой-либо другой Союз, и успокоился, узнав, что состоять я буду лишь в краевой писательской организации, чтобы помогать ей в меру моих сил и возможностей, ибо от родного Союза провинциальные

организации давно уже никакой пользы и помощи не имеют.

Каково же было моё недоумение, когда я получил из вашего доблестного Союза известие, что я числюсь за номером таким-то. Подумав, что идёт смена билетов в краевом Союзе, я сдал туда фотокарточки, а оно выходит: я всё ещё являюсь членом не почитаемого мною Союза.

Не вынуждайте меня объясняться печатно на тему — почему я не хочу состоять в Союзе писателей России. Рука у меня тяжёлая, и Вы это хорошо знаете.

Прошу выслать мне выписку из постановления секретариата об отчислении меня из ваших стройных рядов.

Виктор Астафьев

24 июля 1996 г.
Овсянка
(Ю.Сбитневу)
Дорогой Юра!

Нахожусь в родной деревне, в здравом уме, но уже слабеющей памяти, недавно увидел тебя во сне, и увидел плохо, поэтому и пишу. Хорошо-то увидев, чего писать? Надеюсь, старческий длинный сон, похожий на поэму соц. реалиста, где долго и нудно что-то происходит, а что — не улавливается, так сном в отдалении и останется и это письмо найдёт тебя в здравии и благополучии.

Век не писал тебе, да и ты меня вестями не радовал. На всё воля Божья и наше русское погружение в лень и равнодушие. Богу нас и судить за это, и судит он, судит, а мы не внимаем, не слышим, не видим. Хорошо так-то, случилась беда, искусали тебя на собачьей свадьбе — отряхнулся, зализал раны и беги себе дальше, ищи еду и суку, ссы на забор, отмечая себя и крепостью мочи упреждая супротивников о своём присутствии в здешнем месте и желании у... того, кто подставится и желает продлить себя в щенятах. А щенят, коли их не выловят азербайджанцы и армяшки на шашлыки для русских братьев, послать «чай пить», то есть перетопить в современном водоёме.

Мы, Юра, живём-доживаем, а точнее, дотаскиваем свои жизни трудновато, да иначе и быть не могло, бо добрые по природе и всё пытаемся кого-то спасать и помогать кому-то. Я ещё ничего, чего-то корябаю на бумаге, изредка печатаюсь, иногда из меня вытащат ловкие люди какие-то слова в газету иль на теле, и за это мне пришлют пару матюков без подписи иль с чужой подписью и подложным адресом чуткие и славные русские граждане. А вот Мария Семёновна после смерти дочери перенесла

ещё два инфаркта, побывавши минуты две в клинической смерти, шибко сдала, но надо было растить двух внуков и «младенца Витю»-старшего нести на руках. Она и осиливалась ради нас, топталась по дому, печатала, стирала, кормила, по-прежнему никого не пуская в дом в качестве помощников. Старшего она уже выкормила, подняла на крыло и радуется, если он вспомнит об ней и позвонит домой, ибо живёт отдельно, но живёт как-то неопределённо и не совсем самостоятельно. С внучкой мучается, с утра до вечера грешит, заставляя читать, писать, учиться, убирать за собой, чистить зубы, причёсываться, мыть морду, прибирать одежду и обувь...

Сделанные дурными отцами-пьяницами, дети получаются тоже дурные — лживые, эгоистичные. Хорошо, если М. С. успеет вырастить девицу, ей уже 13 лет, но бабушка так сдала, не выходит, ко мне в деревню приезжает раз в месяц, чтобы навестить вместе со мною могилку дочери. Сын, Андрей, в Вологде живёт, как всегда, трудно, работу реставратора потерял, закрылись мастерские, работает экспедитором по заготовке посуды на спиртзаводе, мотается по командировкам. Для него, оседлого человека, это совсем неподходящее дело, он ведь на реставрации высидел первую категорию, но надо кормиться и сына растить, а парень у них с Татьяной растёт разумный и собранный.

В Сибири жизнь, как и везде, подлеет всё больше, разбалтывается, и часть людей, наибольшая, прозябает, а часть процветает, рвёт зубами кусок пожирнее, бушует «в роскошной жизни», не зная уж ни удержу, ни совести, ни чести.

Я живу всё в той же деревенской избе, вокруг которой вырос лес и один из двух кедров, который я люблю больше всех существ на свете за то, что я его спас от смерти, подкармливая золой. На 10 лет раньше сроку, определённого ему природой, выдал свету две маленькие завязи на вершине. Я, когда их увидел, прослезился и возблагодарил судьбу и Бога за эту радость. Работа, литература радости уже почти не приносит, пока пишешь, увлечёшься, забудешься, как при совокуплении с тайной или женщиной в молодости, а потом отпустит и снова эта неотвязная язва в душе заноет: «А зачем? Кому это нужно?» А уж постоянная такая простецкая, с молодости, ещё быковской, твердится истина: «Книг вон сколько много написано, а люди лучше не стали». Более того, я нахожу, что эти люди, особенно русские, сделались хуже, чем были, хотя и украшали нацию, крепили её дух и разум твой отец и мой отец (да, да и мой, ох какой крепкий мужичонка!), мама моя и Марья моя, и её отец, и друг мой покойный Макаров, и умирающий от старой болезни и ранения

Носов, и многие вокруг уже павшие и успокоившиеся. Бывая на могиле дочери, я всё чаше и чаше ловлю себя на том, что завидую ей, а Василь Быков в совместной нашей поездке однажды молвил: «Я уже, Виктор, радуюсь тому, что скоро умру...»

Вот в таком-то настроении я собираюсь писать третью книгу романа, которую, откровенно говоря, уже и писать-то не хочется, но я, старый графоман, знаю, неволя заставит — хватило бы только сил и хоть какого-то здоровья. Одна надежда, опять же, на Бога, он меня не оставляет милостями своими. Прошлой осенью отдавал Богу душу, но он меня вернул к жизни. Для работы и вернул, и я вот уже полгода бездельничаю, и мне всё больше и больше глянется бездельничать-то...

Понимаю, что ты отвык от моего почерка, но, может, догадаешься, что я пишу тебе с доброй памятью в сердце, и хоть что-то прочтёшь.

Поцелуй Майю и, если я тебе приснюсь в худом сне, тоже напиши мне. Обнимаю, целую, Виктор

16 сентября 1996 г.
Овсянка
(Адресат не установлен)

Ах ты Люба, Люба — добрая душа!

Были бы рядом, по голове бы тебя, как дочку, погладил, в лоб поцеловал, пожалел, но добрые сердцем родные люди живут всегда далеко и принадлежат Богу. Да и нужны они не одному мне, всем сиротам, всем обездоленным, в ласке и сострадании нуждающимся людям нужны. Согрей уж, приласкай тех, кто рядом, а я от людей не обижен и не обойдён добротой, хотя и сволочья вокруг полно. Во время подготовки к выборам сулились ноги-руки поотрубить, изводили угрозами жену красные-то, даже внучке какую-то гадость сказали, а она, бойкая в дому с бабкой и дедом, но зажатая, как и все сироты, на людях, только и могла сказать: «Как вам не стыдно! У меня дед хороший...» А в другой раз сказала: «Образованная, наверно, а материтесь...»

Но сейчас они примолкли, отбушевали, поняли, что не скоро, а может, и совсем не доведётся им головы рубить и кровь из людей пить.

У тебя, Люба (прости, что на ты, уж очень близкой тебя чувствую), есть сын, вот его и береги, а муж уже дома, у Господа, и там ему отчёт держать, как он жил и распоряжался своей жизнью на земле. На женщине нет и не может быть никакой вины. Она создательница жизни, мать, хозяйка, но не ответчица перед Господом за грехи наши. Женщине и без того на земле, но

особенно в России, трудно существовать, ведь 26 дней из 30, по заключению писателя и врача Вересаева, она недомогает, а наши мужики ещё и свои тяжести на неё валят, если бревно тащить надо, вот её под комель и ставят. Я, когда при мне разведенец или блядун срамно и худо говорит о бывшей жене или любовнице, поднимаюсь в дыбы: «Ты же, курва, в одной постели с нею был, нежные слова шептал ей, так что ж ты?!», но чаше всего напоминаю великого любовника Пушкина: «Я Вас любил так искренно, так нежно, как дай Вам Бог любимой быть другим» — и это действует неотразимо, если уж, конечно, мужик не совсем бревно.

Люба! Я нонче лето пролодырничал, «в уме» сочинял третью книгу романа (вторая выходила в «Роман-газете» № 18 за 1995 год). Народу у меня в деревне перебывало много, конференцию общероссийскую по литературе здесь провели, вот и скопил бумаг и дел кучу, поэтому и попрощаюсь с тобой, а то б поболтал ещё. Но ты мне пиши, не бойся надоесть, хорошие женщины, как сладкие фрукты, никогда не должны мужику надоедать. Во комплимент выворотил, а?!

Храни тебя и сына Бог, помолись за мужа и за всех нас, непутёвых русских мужиков, в церкви. Твоя молитва дойдёт до Господа, чистая и святая твоя душа потому что. Позволь все же, как дочку мою незабвенную, поцеловать тебя в лоб.

Виктор Астафьев

18 сентября 1996 г.

(О.М.Хомякову)

Дорогой Олег!

Получил твое письмо, как всегда, исписанное вдоль и поперёк.

Дом я лично не стал бы продавать, а вот под музей, если тебе разрешат в нём жить и положат жалованье сторожа, согласился бы. Ну получишь ты деньги, сестры и братья получат, ну ты чек, деньги те бумажные быстро прожрёшь и ещё быстрее высерешь, а дальше что? К дочерям, к прочей родне поедешь? Но они, судя по всему, и сами бесприютные, и у них в башке, пусть и учёной, пусть и киношной, завсегда торчит занозой мысль о доме, где можно спрятаться на старости лет, где можно на крючок закрыться от беды, от горя и тоски. Огород не даст затосковать. Огород — это исцеляющая сила. Вон у нас нонче неурожай, маленько картошек накопали, мелконькой морковки и свёклы вырезали, горсть чесноковок, а гляжу и сердце грудь колышет — урожай! Мой! Мною выращенный! Тебе бы вот твоих шибко образованных девок как-то в огород загнать, глядишь бы, они

тоже гордыми человеками стали и труженицами невиданными. Но ты ж сам чокнутый, сверхобразованный, мысли, мысли в тебе бродят, как в умном грузине, спать по ночам не дают, днём жопу чешут, порченый сам, и девок своих спортил культурой и литературой.

А волны в Енисее всё ещё не улеглись после вашего нашествия, и пена пенится на шиверах от вашей пьяной ссаки, и птицы не садятся на изматерённое и осквернённое вами место, и зверь по горам разбежался от ваших песен и вокализов, однако тем не менее решено проводить сии сборища ежегодно и не на три, а на пять дней созывать вас и тех, кого придумаю пригласить, например, того же профессора Лебедева, пусть попрофессорствует и здесь, у нас тоже город на букву Кы называется и вумные мужики и бабы попадаются, хотя и реже, чем в Костроме. Мы ж все с каторги бежали, в горах и тайге грамоте учились, чего с нас взять. Вот и учите, вот и просвещайте, к небесам обетованным вздвигайте. Я тут после вас в тайгу съездил, под непогодь угодил, сейчас похварываю или, как точнее у нас говорят — хредю, кашель в груди хрипит, давление скачет, уж алкоголю ни-ни, и редьки ем в меру, чтоб геморройные шишки не вылетели. Как бы не пёрнуть в воздух и не сбить бы птицу на лету и бабу, молодку какую, на скаку.

Разбираюсь с почтой — накопилось, а скоро из деревни уезжать. Я ведь не люблю ж незаконченные дела за собой таскать. Уеду в конце сентября и попробую определиться в какой-нибудь лёгочный санаторий, надо серьёзно подниматься, в таком разобранном состоянии роман мне не осилить. Шли продолжение статьи, первая половина написана без заскоков и сумбура. Вот как положительно повлияла на тебя Сибирь.

Обнимаю, Виктор Петрович

15 октября 1996 г.

(К.И.Беляковой)

Дорогая Клава!

Никуда я, ни на какой курорт не уехал, а нахожусь по соседству с домом, в больнице. Моя врачиха сердито со мной обошлась и сказала: «Я Вам такую бумагу выдам, что никуда Вас не примут. Марш в больницу!» Ну, я и помаршировал, уже маленько отхаркался, температуры нет, давление скачет, но не очень прытко. Сон пока не могу наладить, но сам виноват, много текущей работы с собой набрал и читаю до одури. Однако и это поправимо, ибо почти всё уже сделал. Иногда выхожу гулять, гляну с горы в сторону Овсянки и, как всегда, тоскую по ней.

Вспоминаю прошедшее лето, а оно хорошо было тем, что ты его не очень портила своим несносным характером, и даже, наоборот, отправила меня в город в бодром настроении. С этой бодростью, чихая, кашляя, сипя лёгкими, я подготовил и сдал в издательство очередные тома собрания сочинений, подписал договор и теперь могу тебе сказать, чтобы ты за зиму подыскала в Дивногорске хороший обмен с доплатой, ибо покупка квартиры и продажа своей — большая, тебе ещё неведомая канитель и морока. Да и слухов сие породит тучу целую, обмен же может пройти и не очень шумно. Ладно? Будь смекалиста и сдержанна, думай больше о девочке, а не о парапсихологии, не комплексуй — девочке надо расти, учиться, выходить в люди, и у неё должен быть свой, надёжный и тёплый угол.

У Миши Литвякова, киношника, что снимал давно ещё в Овсянке фильм про меня, умерла мать на 84-м году, и он на шести страницах с цитатами из моего «Поклона» написал мне о том, как это происходило, и каялся, что не дал матери, овдовевшей в 36 лет, поиметь свою жизнь, как и всякий эгоист-сынок забрал всю материну жизнь себе. Письмо я прочёл на сон грядущий и долго не мог уснуть, снова и снова думая и горюя о том, что не познал я сознательно материнской любви и свою любовь, нежность и печаль её ухода не познал.

Всякое нарушение естественного хода жизни в чём-то изменяет самоё жизнь, а изменения те на ком-то отражаются всегда и глубокую, никогда не заживающую рану оставляют в сердце, если оно. конечно, сердце, а не кирпич. Это я и о девочке нашей — наскочили, сотворили, грех совершили и живём вот. не всегда сознавая, что уже в чём-то ограбили жизнь будущего человека, наделили его недоумением, обидой и болью, которую она до глубины ещё пока не осознаёт, но чувствует же, перемогает и тоску, и непонятную неразгаданную печаль, которую я вот носил в себе всю сознательную жизнь. И мне не хватало, всегда не хватало и посейчас не хватает материнской любви, как девочке не будет всегда, всегда (!) не хватать любви отцовской и ласки мужской.

Тебе, тебе следует любить и жалеть девочку за двоих, ибо я не смею сближаться с нею, я привязчив даже и к чужим детям, катастрофа получится не только для меня — чёрт с ним. со мной-то! — но для моих близких людей, если я позволю себе распуститься, довериться чувствам...

Прости, пожалуйста, на бумаге сказалось то, что должно было быть сказано словами. Ещё и ещё прошу тебя, будь посдержанней, потерпеливей не только к девочке, но и к матери своей. Какую Бог дал, такую и люби, и терпи — мать бывает одна

и никогда, нигде и ни в ком не повторяется. Уж тут ты мне можешь верить на слово.

Посылаю тебе две вырезки из газет, очень любопытные, знаю, что они тебе пригодятся в работе, а девочке берёзовые серёжки, нарисованные в Михайловском художником. Сломите пёстренькую веточку берёзы, расщепите её и сделайте рамку для этого рисунка. А пока целую вас, и пусть в вашем доме будет всю зиму тепло и на сердце спокойно. Я выйду из больницы в конце октября и постараюсь увидеться с тобой. Храни вас Господь!

Ваш В. Астафьев

20 октября 1996 г.

Красноярск

Председателю Законодательного собрания Пермской области Сапиро Евгению Сауловичу

Пишет Вам бывший уралец из Сибири, который видел Вас вживе ещё Женей в незабвенном городе Чусовом, и более наши пути, увы, нигде не пересекалась. И не думал я, не гадал, что доведётся мне обращаться к Вам, как к официальному лицу. Не думал я и тоже не гадал, что не где-нибудь, а в одной из самых мрачных областей, с её «вечно правильным» руководством, жизнерадостно глядящим в светлое будущее, в чусовском пригороде, тоже не самом светлом уголке, в Копально, куда не только сов. граждан, но и корреспондентов «Чусовского рабочего», где я имел честь трудиться, не подпускали и на выстрел, возникнет и создастся «Мемориал», о котором при недавнем прошлом и думать-то жутко было. И кем создаётся?! Самими уральцами, и возглавит эту работу наш человек, выходец из Чусового, друг моего сына.

Вот это и есть главная перемена нынешнего времени — дети наши не хотят повторения нашего во всём, в особенности нашего рабского терпения, которое обернулось трагедией для России и её народа...

Словом, Евгений Саулович, я, как член Совета копалинского мемориала, прошу Вас этому единственному в своем роде в России заведению оказывать всяческую помощь и содействие, и поддержку. Переизберут ли Вас (а я всем сердцем желаю этого), не забывайте, пожалуйста, о моей просьбе и, если на смену Вам придёт разумный преемник, передайте мою просьбу и ему.

Когда будете на могилах папы и мамы, поклонитесь им от меня и Марьи Семёновны и положите цветочек на могилу — мы всё-таки долгое время знали друг друга и почитали, и память сохранила о них самые добрые воспоминания.

Возможно, даст Бог летом нам и повидаться.

Желаю Вам, семье Вашей и Уралу седому спокойствия, труда и процветания. Преданно Вам кланяюсь. Виктор Астафьев

20 ноября 1996 г.

(Н.Гашеву)

Дорогой Николаша!

Два подряд послания от тебя, и тут уж хочешь не хочешь — отвечать надо. Я сейчас не пишу ничего, никуда и никому. Разве что деловые бумаги. Отлежавши снова осень в больнице, занялся я изданием собрания сочинений (15 томов), решил сам их все откомментировать, чтоб после меня брехни меньше было, и девять томов уже сдано — первые тома набраны, задержка из-за художников — безответственные они всё же, необязательные, тем более москвичи (они оформляли «Последний поклон» для «Молодой гвардии» и хорошо оформляли). Очень много времени и всего прочего взял седьмой том («Затеси»), а впереди ещё том публицистики и два тома (последних) — писем. Тут и вовсе зашьёшься, а помощник-то один — Мария Семёновна, да и та хворает, но всё равно, сколь может, помогает.

Как выйдет листовка о подписке (очень славно сделанная), так и вышлю, чтоб не было, как в прошлый раз — прозвенели, даже по сотне рублей собрали, и шабаш, заклинило, издатель ныне по стране бегает, от кредиторов и рэкетиров прячется.

Сейчас издаёт собрание наш «Офсет», могучейший в стране полиграф-комбинат, и под боком он, всегда можно вмешаться в работу, что-то проконтролировать, о чём-то и попросить, на чём-то и настоять. Я сообщу обо всём тебе и попрошу издателей связаться с какой-нибудь пермской книготорговой фирмой, дабы в Пермь попала книга. Тираж пока в заделе небольшой, но было 10 тысяч.

Будьте здоровы, хорошей зимы пермякам и путного губернатора. Обнимаю. В. Астафьев

25 ноября 1996 г.

Красноярск

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Вот дождался я — пришло третье письмо от тебя, да сегодня из краевой библиотеки принесли мне «Москву» с твоими заметками. Волей-неволей надо отвечать, а не хочется-то как! Не хочется ничего делать, а только есть и спать, ну и реденько, да

помалу в туалет сходить, желательно в тёплый. Я ведь опять всю осень в больнице пролежал. Полетел в начале сентября на юг края, а на реке Амыл прихватил нас дождь, да какой-то нехороший, тяжёлый, холодный, за сутки река вздулась, рыбалка накрылась, я и успел-то 9 харюзов поймать и одно обострение. «Давайте когти рвать, ребята!» — воззвал я. Ребята были хорошие, с пониманием, рванули вон из тайги. Ещё сутки повалялся в райцентре и попросился в Овсянку, а до неё более полтысячи вёрст. Где-то на последнем перевале, на бирюсинском, догнал нас снег — густой, противный, косо, сплошной полосой идущий, и когда въехали в Овсянку, я сказал: «Далее не поедем». Еще один, последний, перевал мог быть роковым. Натопили печь, сварили картошки, выпили, я сопутников уложил спать и сам улёгся. Утром снега не было уже, и скоро дождь прекратился — у нас, а на юге шпарил он сорок дней без перерыва. Сорок дней во время уборочной! Я, как мне казалось, маленько оклемался, даже огородишко убрали — урожай худой, такого за 18 лет ещё не было. Тут моя врачиха явилась в деревню и сразу слушать меня и смотреть давай, а она со дня приезда нашего в Сибирь следит за нашей доблестной семейкой. Я ей говорю, что на курорт поеду, может, даже и в жаркую страну, либо в Шорию на Алтай, там есть лёгочный санаторий. А она мне: «Я Вам такую бумагу напишу, что и в красноярскую тюрьму не примут. Шагом марш в свою палату, запустили себя до крайности!..» Я уже ей не сопротивляюсь, женщина сильная и добра всем желает. Месяца полтора я под её началом состоял, сейчас она в Москве, на какой-то переподготовке.

В больнице я занимался собранием сочинений. Сдали мы с Марьей Семёновной уже девять томов, в том числе самый канительный, седьмой том — с «затесями», но впереди ещё тома три совсем уж канительных — это публицистика и два тома писем. Сейчас я как раз читаю письма, есть необычайно умные и серьёзные письма — свидетельства нашего времени. Наконец-то поступило оформление от художников из Москвы. Оформление — не фонтан, но уж перерисовывать некогда, первые тома должны выйти в начале нового года, а все пятнадцать томов — за два года. Чем стремительней издадут, тем оно нужнее и надёжней, но я не загадываю — так, как задумано, у нас редко исполняется.

Все тома я комментирую сам, чтоб за мною меньше брехни было, и всё время занят чем-то, какие-то дела исполняю, чего-то читаю, но почти не пишу, даже писем. Не хочется и всё тут! Вот с моей подачи идёт аж три материала в очередном номере «Дня и ночи». И все три материала выдающиеся. А недавно ездил я в женскую колонию строгого режима, где бабёнки и девчонки сидят

уже по третьему и четвёртому разу. Очень боялся я так называемого стресса, а ничего. Посмотрел, посмотрел и увидел, что у них лучше, чем в наших вузах, опрятней, сытней и порядку больше. И хотя я говорил клиентам этого заведения, чтоб они не привыкали совсем-то к этому месту, и они говорили, что-де не хотят, что охота из-за проволоки наружу, я про себя, и они про себя подумали, что наружу им не надо, хуже у нас тут, чем в тюрьме.

Сейчас вот собираю книги для ихней библиотеки. У них уже свидания есть, зарплата выдаётся, магазин есть, и они даже могут что-то себе приготовить, отпуска им дают, но они уходят и не возвращаются. Гуляют! И вот уж сколько дней я про себя думаю: что-то, товарищ Астафьев, у тебя с головой неладно иль в мире всё опрокинулось и наша лагерная жизнь выглядит лучше, чем не лагерная. Тут ведь недалеко уж и до того, чтобы обратно ГУЛАГ позвать вместе с воспитателями, а в этом лагере его, воспитателя, всё ещё зовут — замполит...

Вот так разнообразно и всяко живу, боясь приняться за писанину, «Обертон» в восьмом номере «Нового мира» напечатали. Женщинам нравится, в альманахе «Охотничьи просторы» напечатали «Разговор со старым ружьём» — хорошо жить, так зачем же омрачать дни свои тяжёлой работой? Затем, чтоб отношение к автору не-га-тив-ное выявить. И как ты забыл это любимое партийцами слово употребить в своих заметках?!

Лежала у меня перед глазами хорошая фотография — мы с тобой в Овсянке, сегодня хватился — нету! Теперь уж когда и где на глаза попадётся, одному Богу известно. Но вот брошюрка о летней конференции и листовка на подписание собрания сочинений (всё сделано красочно и красиво) как выйдут — пришлю.

Девчонкам из овсянской библиотеки спокойно не сидится — придумали 390 лет Овсянке, празднуют вовсю, программу широкую составили. Я поеду уж на заключение, 15 декабря, а 19-го ездил на кладбище, к дочери, дядям и тёткам — чисто, покойно — и поймал себя опять же на мысли, что завидую опустевшему населению, как и позавидовал женщинам-зэкам. «Э-эхма-а, да не дома!» — как баяли когда-то в детдоме.

Зовут в Москву на пьянки по поводу Букера и пятилетия премии «Триумф», на заседание совета по культуре, на общероссийскую конференцию в Челябинск, тоже по культуре, в Пермь губернатор зовёт, и ещё куда-то зовут, а мне и подумать жутко из дому выйти, повыходил — праздновали 50-летие красноярской пис. организации. Поговорили, себя похвалили — хорошо. А букерианец наш Фрэнсис Грин, сын писателя Грина,

говорит: «Раз Вы не едете, я сам в Красноярск приеду». Был он у меня один раз в Овсянке, я его напоил до крепкого пьяна под свежие огурцы — он думает, что и сейчас там «огурьетив», как он называет это растение, цветёт и преет.

Был у нас недавно Витя Шмыров — чусовлянин-то, по делам. Летом они хотят по Енисею, по «заветным» местам проехать (ООН или какая-то иная организация поддержали идею), так вот и тебя позовём, ибо я не уверен, что «провинциальные чтения» ещё раз состоятся. На бумаги наши никто не отозвался, денег в казне нету, дела в крае идут всё тяжелее и тяжелее, как и во всей России.

Возобновилась фашиствующая газета Пащенко, и её поприветствовали — Распутин, Белов, Бондарев, Проханов и прочая... Впрочем, приветствие мог и сам Пащенко сочинить. На подобного рода сочинения у него явный и особый талант, вот только если это и в самом деле произошло, я, значит, воистину больше зэчек понимаю и люблю, чем своих бывших соратников по труду, больших страдальцев за народ. Посмотри юбилейные номера «Нашего современника» — мне прислали, только там и страдают за народ...

Ну, пока, обнимаю. Виктор Петрович

20 декабря 1996 г.
Красноярск
(В.В.Быкову)
Дорогой Василь!

Как я рад неожиданной весточке от тебя! Вот смотрю на бесноватых, сотрясающих самый добрый народ и мирную из всех земель — Беларусь и с болью думаю: каково-то там Василю быть и жить на старости лет?

Рад, что ты жив, держишься и собою держишь небесные своды над своей Родиной, которую кто только ни учил тебя «правильно» любить.

И держись, и стой на своём рубеже, иначе его снова займут красные держиморды и доконают остатки твоего народа-труженика. Посылаю тебе книгу, которую ох как нелегко тебе будет читать. Я наконец-то забрался и окопы, в самое их бездонное и беспросветное дно опустился.

Ох, как тяжело туда возвращаться и все пропускать через старое уже сердце, усталое и больное. Хорошо, что были мы там, на этом самом крайнем краю жизни молодыми, многого не понимающими и страху по-настоящему не знающими. Сейчас уж кажется, что там был кто-то другой, отдалённо на тебя похожий,

— иначе с ума ведь можно сойти, перегружая и без того перегруженную память сверхтяжестями и сверхмуками. Если наткнёшься на ненависть мою открытую, на то и на тех, кто нас обманывал, посылавших на муки и смерть, написанную «в лоб», не очень художественно, знаю, ты мне простишь эту святую ненависть.

В восьмом номере «Нового мира» напечатана моя короткая повесть «Обертон»: это снова о нашей погубленной молодости, о несбывшейся любви.

А третью книгу романа пока не рожаю, не начались схватки, только в башке прокручивается и прокручивается материл, может, осенью начну,

Пока же бьюсь над собранием сочинений, которое издают здесь, в Красноярске, в мощном издательстве «Офсет». Пока мы с Марьей подготовили девять томов, а всего должно быть 15 (!) Каждый том я решил откомментировать сам, чтобы после меня не плели всякие домыслы. Вот закончу эту громоздкую работу и продолжу писать роман. Василь! Поздравляю тебя с Новым годом] Пусть он будет полегче уходящего. По возможности будь здоров. Поклон твоей супруге. Обнимаю тебя. В. Астафьев

1996 г.

(Б.Черных)

Дорогой Борис!

Этот «Крик в ночи», конечно, написан умным мужиком, но, вероятно, из тех самоуверенных интеллектуалов, которые считают, что умнее их на свете нет и быть не может. Односторонности и отсебятины не избежал он и в истолковании вечных истин, как Боговых, так и человеческих. И самое большое, непростительное в суждениях Грицюка, когда он уподобливается злому обывателю, поддаётся его самой оголтелой и живучей демагогии, там, где дело доходит до суждений об интеллигенции. Причём суждения Грицюка мало отличаются от рассуждений галифастых комиссаришек и деятелей комбедов, которые точно опознавали интеллигенцию: раз в очках и в шляпе, тем паче в пенсне — стреляй его, падлу, — интеллигент!

И в рассуждениях о том. кто имеет отношение к Руси и кому разрешается на ней и в ней жить, Грицюк близок к установкам Зюганова и его подвижников. Сановитость и претензия на исключительность всегда приземляют человека, оскопляют его мысли, и даже если он приветствует «коммунистический химер», сам того не сознавая, впадает в коммунистическую категоричность и спекулятивное суесловие.

У меня нет сейчас времени и здоровья обширно возразить разгульной демагогии Грицюка, но и в папке моей хранятся письма художника из Новгорода Владимира Гребенникова, последнее из них. думаю, будет толковым и убедительным ответом вашему автору и твоему. Борис, другу.

Пусть вас не смущает, что письмо начинается с отклика на мой роман. Сие лишь повод для разговора, чтобы у вас не создалось впечатление, что письмо это пишет праздный, в «словесную дурь» впавший человек или бездельник, от излишества свободного времени, в целях «независимости» духа и жизни подавшийся работать в дворники иль кочегары и там, за горячим котлом, с похмелья изливающийся философскими откровениями, которые всенепременно выведут его в отчаянные борцы за свободу своего и всех угнетённых народов, и он будет носить звание — диссидент, как провинциальный народный артист юбилейную медаль на пиджаке.

Автор этой статьи-письма — человек многосемейный, обстоятельный, если мне память не изменяет, ребятишек у него семеро, они долго ютились в трёхкомнатной «хрущёвке» и жили огородом. Все ребятишки в семье труженики, с малолетства добывающие свой хлеб трудом, и не только земляным. Насколько я знаю и слышу, старшие уже вышли в люди, старшие сын и дочь сделались художниками, обзавелись семьями, имеют детей. Когда сделалось тесно в «хрущёвке», не зависимый ни от кого, кроме Бога, никакой власти не признающий глава семьи попросил участок земли рядом с заброшенным и запущенным собором, с тем, чтобы срубить два дома — себе и детям, — и доглядывать храм. Они семейно срубили большие, основательные дома, а уж как художник Гребенников умеет обиходить, украсить и обставить жилище, я видел, будучи в Новгороде.

И художник Владимир Гребенников не последнего ряда, художник синтетический, из дерева, золота, прикладных материалов и ярких красок сотворяющий такие полотна, скульптуры и что-то совершенно новое, необъяснимое, что невольно замираешь перед его божественными творениями. Он долго упорствовал, никому не продавал свои работы, надеясь, что родные ценители искусства, Отечество наше заинтересуются его творениями. Нет, почти невостребованы работы, не боюсь этого слова, великого современного художника. Слух до меня дошёл, что некоторые замечательные его работы уже уплыли за далёкую границу — «Распятие» и «Русь светлая». Если это так (жить-то и Гребенниковым надо, да ещё и строились в годы инфляции), я готов плакать и проклинать равнодушие наше к скромным нуждам наших бессребреников, творцов наших и впадающих в

интеллектуальную истерию тех ценителей, что восславляют и рекламируют всяческую модную мазню.

Я потому позволил себе так подробно написать об авторе письма, что празднословие, политическая трескотня затопили наше шаткое общество. Кругом ждут «хорошую власть», которая каши даст и жизнь наладит, а Гребенниковы, количество их по Руси, к сожалению, убывает стремительно, добывают всё своим трудом и очень не любят, когда им мешают жить своим трудом блудословы и бездельники.

Получил последний номер «Очарованного странника» и с удивлением увидел хвастливое, самоздравное интервью с общественным деятелем Есиным, который хвалится тем, что в Литинституте, им ведомом, нет ни пьяниц, ни хулиганов, ни подозрительных студентов, — в институте ныне всё правильно, не шляются по общежитию разные Рубцовы, Передреевы, Мерзликины, Беловы, Сафоновы, Олжасы Сулейменовы — всё, как из показательного крыловского хора: «Они хотя немножко и дерут, зато уж в рот хмельного не берут».

Вы хотя бы из чувства брезгливости не пускали на чистые полосы своей пока еще не загрязнённой газеты Есиных-то, тем более в один номер со светлым мучеником, несгибаемым бойцом, честнейшим человеком нашего чудовищного времени Василием Стусом, который, кстати, замучен в Кучинском политлагере, что неподалёку от города Чусового, где я прожил почти восемнадцать лет. В газете «Чусовской рабочий», оскверняя родное слово, я прославлял любимых вождей и неутомимых советских тружеников, ничего не зная о Кучинском лагере, ибо весь западный склон Урала был осыпан лагерями разного профиля. В некоторых я бывал и позднее изобразил их в меру сил своих, но к Кучинскому лагерю нас, верноподданных горе-журналистов, и на винтовочный выстрел не подпускали.

А ныне… ныне решено на базе кучинского смертного полигона, где тренировались коммунистические мясники, создать мемориал политических лагерей и возглавить это заведение поручено сокурснику по Пермскому университету и другу моего сына, если, конечно, не спохватились, не раздумали те, кто там, в Кучино, перевоспитывал, идейно направлял разных стусов, а ныне заседает в обкомах, переименованных в администрации и разные отстойники для бывших партократов вроде страховых и коммерческих компаний.

Семинар, затеваемый в Ярославле, в наши дни можно почесть уже подвигом отчаянных русских людей. Когда заведётся счёт семинара или адрес, сообщите. В Красноярске создан фонд моего имени, и я попрошу из него перечислить вам какую-то сумму, а

пока иду подписываться на газеты и переведу вам деньжонок на альманах.

В. Астафьев

1997 год

5 января 1997 г.
Красноярск
(Е.С.Попову)

Дорогой Евгений Семёнович!

Я уж начал было подумывать, что дела у пензяков совсем плохи и им уж не до книг. А как получил 4 января бандероль — и не знаю уж, кого и благодарить за этот дивный мне ещё один подарок судьбы: Вас, Бога, художника и себя похвалить за то, что сподобился побывать в гостях у пензяков, и Лермонтова, и что сам углядел в Меркушеве прекрасного оформителя *[Виктор Петрович получил оформление будущего сборника его повестей «Плач о несбывшейся любви». — Сост.]*. Всё мне понравилось, всё, тем более что московские художники, с которых и спрос немалый, сделали к собранию сочинений очень посредственное, если не убогое оформление, зато боролись за «единство стиля» издания и навязали нашей провинции, опыта изданий подобного рода не имеющей, какой-то новомодный шрифт, мелкий, слепой. Я по мере выхода томов буду высылать их Вам, и Вы сами увидите, как спустя рукава можно исполнить работу.

Макет книги Меркушевым сделан высокопрофессионально, а створка, открытая в прошлое, меня потрясла, и рисунки, именно книжные рисунки — чётки, читаемы и в то же время поэтичны! А этот серенький, тёплый цвет шмуцов, словно нежный рассвет... Как-то бы сохранить его при печатании книги.

Я оставляю у себя варианты (уж простите за нахальство) для того, чтобы нашим издателям ткнуть их в нос и сказать, что оформление книги — дело не только кропотливое, но и серьёзное, в день и в неделю не делается и надо, чтоб художник становился союзником автора и внимательно, желательно с любовью, прочитал то, чего взялся изображать.

Затем я отдам все эти варианты и книгу в Литературный музей, который никак у нас пока не откроют — всё нет денег, но летом всё же сулятся открыть. Но если нужно вернуть варианты, я готов их тут же выслать. Передайте спасибо Анатолию. Мне обложка с фамилией, сделанной вязью, как и ему, нравится, но я против неё по той же причине, что и Вы. — она не будет смотреться на прилавке, а прилавок, он ой-ё-ёй каков — выше

всех законов!

В договоре меня устраивает всё, лишь попрошу в счёт гонорара прислать мне сотню книг — здесь мне их не купить, а книга выходит подарочная! И хорошо, что я её не перегрузил. Она получается компактной — длинным бывает только вздох по утрате, а сама утрата молодости и любви, а горе и беда — они в отдалении, как вспышка зарницы, как молния, но всё-таки до малой былинки высвечивающая...

Всё моё время уходит на работу над собранием сочинений — я сам комментирую все тома, чтобы за мною меньше было вранья и искажений, а два тома писем, и том публицистики, и прочие «мелочи» столько сил и времени требуют. Мария Семёновна, конечно же, мне помогает из всех оставшихся сил, но редактор-то мой в Москве и не хватает её здесь, обещает в конце января приехать.

Сам я умудрился перед Новым годом ушибиться — туловище-то не худеет, а гибкости ни в чём никакой уж нету, в костях тем более. Весь праздник пролежал — ни дыхнуть, ни охнуть не мог, сегодня вот, чтобы Вам письмо написать, присел к столу.

«Обертону» присудили годовую премию в журнале «Новый мир». В Китае вышла книга «затесей» и сокращённый вариант «Царь-рыбы». В Англии один из журналов русистского направления начал печатать «Прокляты и убиты». Наш драмтеатр затевает постановку по «Обертону», но не нашлось в повести сценических возможностей, и дело завершилось тем, что будем ставить спектакль по мотивам «Людочки». Вот немного распутаюсь с собранием сочинений и примусь писать пьесу по «Людочке», предварительное (рабочее) название пьесы «Горе горькое».

А за роман, за третью книгу, пока не принимался — нужны силы и большой кусок свободного времени — для разгона, пока же ни того ни другого — очень у нас в России умеют и любят отнимать время, а главная работа — дело жизни — становится как бы и неглавной, да и ненужной.

У нас многоснежная зима с нормальными для Сибири морозами — доходили до минус 37! Но и перепады бывают. Урожай обещает снегоизобилье, какого уж лет 20 не было, но и половодье иль потоп — неизбежны, а у нас вверх по Енисею две дуры под названием ГЭС — могут полмира утопить собою, если стена упадёт, одну, Саяно-Шушенскую, уже ремонтируют, опять иностранцы — словно не мы, а они воздвигали величайшие в мире гидростанции и не у них, а у нас в городах темнынь при таких-то электрогигантах.

Но опять же никто, как Бог — на него и уповаем. Через день

Рождество Христово. Поздравляю всех пензяков и Вас тоже с этим пресветлым земным праздником! Будьте здоровы! Ещё раз спасибо за всё! Низко кланяюсь.

В Астафьев

20 января 1997 г.

(В.В.Миронову)

Дорогой и, к сожалению, далёкий Владимир Владимирович!

Кажется, удальцы-самостийщики делают всё, чтобы мы были ещё дальше друг от друга и письма русских на Украину не доходили, чинят всяческие препятствия и пакости, достойные базарных торговок с бердичевского или одесского базара, а то и просто не пропускают почту.

Но вроде бы все-таки произошли какие-то изменения, и, наверное, более не требуется заполнять таможенные бумаги для отправки письма, тем более бандероли. Правители-хохлы в ненависти к москалям превзошли даже мои самые мрачные предсказания о том, что, получив вожделенную самостоятельность, они превзойдут в кураже и дури даже трусливых грузин.

Мы живем, хлеб жуём, теперь вот и с маслом, поскольку ещё при жизни моей началось издание почти полного собрания сочинений, и хотя от оплаты его богатым не сделаешься при нынешних ценах, но штаны поддержать и даже новые купить возможно сделалось. Вот с первой получки (всего будет две) мы позатыкали обозначившиеся в доме и в нашем бренном теле дырочки, технику бытовую купили, из одёжки кое-что, вплоть до колготок и мужских носков. А то ведь стыд сказать, друг нашего дома заслуженная артистка, гостившая у нас два месяца, обшивала нас, чего-то латала, а на внучку пальцем показывала — так мы её плохо одевали из-за скверности характера и нашей скупости. Я-то на это плевал, да и Марья Семёновна тоже, но и ей хочется на старости лет выглядеть прилично и меня одеть, поскольку бываю на людях, пусть ныне и редко.

Я любил и люблю петь дурацкую песню старых времён, немножечко её переиначив: «Лишь был бы семейный покой, а всё остальное — дело шестнадцатое...»

А покою-то и нету, ни в России, ни в душе, да и болею всё чаше и чаше. А перед Новым годом я ещё и грохнулся, и бок шибко ушиб, и рёбра повредил.

Малость уже на ходу. Вчера ходили в оперный театр на премьеру, и такой праздничный вечер получился! После спектакля посидели с постановщиками, дирижёром, очень

симпатичным, хотя и нервным, с директором нашего театра, которая возникла из таких ли лесов и болот, что и на карте их не сыщешь, может, за это я к ней давно уж дружески привязан. Сам из урема — тайги вылез — смотрите на проспект издания, это как раз и есть река Мана, которая впадает в Енисей выше моего села. Так бы вот залез в глушь и глубь этой великой тайги, погрузился б в её пространства, в тишину её и жил бы там, писал бы. Богу молился, думал о смысле бытия. Да ведь знаю, как и всякий современный человек, цивилизацией порченный, если не погубленный, — не выдержу одиночества и уединения более месяца.

Всё наше с М. С. время уходит на работу над собранием сочинений, некоторые тома требуют много сил и времени, а последние тома — публицистика и письма — вовсе жилы вымотают. Мы, с Вашего позволения, включили в один из томов и некоторые Ваши письма. А пока будем думать, как Вам, за границу, пересылать тома сочинений. Первый том уже печатается. Всего мы сдали уже девять томов. Всё издание должно быть осуществлено за два года и закончиться в 1998 году. Но человек предполагает, а Бог располагает. На него и будем уповать.

Низко Вам с супругой кланяемся, со всеми уже прошедшими праздниками, прежде всего — с пресветлым Рождеством Христовым поздравляем и желаем Вам всего, чего желают добрым людям добрые люди. Преданно Ваши — Виктор Петрович и Мария Семёновна Астафьевы

3 февраля 1997 г.

(Адресат не установлен)

Дорогие и теперь уже далёкие друзья-софронтовики!

Давно уже пришло от вас письмо, потом второе — с фотографиями и рассказом о вашем житье-бытье. Болезни. текущие и литературные дела отнимают всё моё время, но, видит Бог, я всё собирался вам ответить и вот наконец-то собрался.

Я глубоко вам сочувствую, что на старости лет пришлось тащиться за океан и доживать век на чужой, пусть и благодатной стороне. И всё же хорошо вы сделали, что уехали из Западной Украины — национализм и хохляцкое чванство за это время приняли ещё более широкие и наглые формы, за эти последние годы по всей Украине идёт гонение и проклятие москалей, а уж евреев тем более. Причём не берётся во внимание, что в России не происходит отторжения и украинцы как жили равными со всеми гражданами, так и живут, а ведь Сибирь и Дальний Восток давно массово охохлячены, ещё с давних времён, и если б здесь

началось что-то подобное «гуцульскому варианту», так сколько бы горя, а может, и крови было бы... И Кравчук — советский комиссар, и Кучма пытаются быть хитрее всех, как им кажется, умело разыгрывают национальную карту. Но это уже привело к разделению Украины на Западную и Восточную, а жизнь не улучшается, и украинцам, которые так терпеливо, искренне и долго желали самостоятельности, но не хохлацкого гонора и дури, всё уже опостылело, и они рады бы жить с Россией по-братски и по-соседки, а не править бал в широких шароварах и при висячих вусах. Жизнь оказалась куда серьёзней намерений, политических игр и парада с пустым брюхом и голой задницей.

У нас дела тоже идут неважно, по полгода не выплачивается зарплата, задерживаются пенсии и пособия, народ устал уже ждать облегчения. Да и понять его можно — привыкший жить от аванса до получки, в отличие от буржуев не умеющий накопить копейку, не вписывается он в новые экономические отношения, да, за малым исключением, и не впишется, нужны два-три поколения, чтобы начать жить по-новому. А будет ли время вырастить эти два-три поколения, когда дряхлеет всё: люди, недра, промышленность: приходит в запустение и дичает земля, и никто не хочет работать от утра до вечера, в особенности на земле. Все ждут, что придут и дадут им пусть и бедную пайку, пусть нищую, но устойчивую зарплату, пусть призрачную, но волю. Вот и живём в тревогах и ожиданиях. Как всегда на Руси нашей, великой и горькой, смутное время, брожение в людях, в головах и душах. Одичавшие от безвременья, безверья и коммунистического обмана люди возвращаются или вновь обращаются к Богу. Повсеместно восстанавливаются и вновь строятся храмы и не только христианские, православные.

Вот на Бога и уповаем, и надеемся, а больше уж надеяться не на кого, кругом болтовня, обман и пустые обещания.

Мы с супругой Марией Семёновной — она у меня тоже фронтовичка, женились в 45-м году под Жмеринкой, когда я попал после госпиталя в нестроевую часть, было у нас трое детей, остался один сын, который живёт и работает в Вологде. Первая дочь умерла маленькой, от голода, вторая, выросшая в условиях нашей дорогой действительности, ещё в детстве заболела сердцем и дотянула лишь до 39 лет. была в разводе и оставила нам двух внучат Старший уже вырос, живёт отдельно от нас, здесь, в Красноярске, внучка < нами, учится в 8-м классе. Мы по-прежнему много работаем. Я за последние десять лет написал две книги военного романа и две повести, постепенно подбираюсь к третьей книге и много-много выполняю текущей работы. Здесь, е Красноярске, начато издание моего почти полного собрания

сочинений 15 томах. Сейчас печатается первый том. Всё издание должно быть осуществлено в течение 1997—1998 годов.

Мы получаем пенсию, я — как инвалид войны 2-й группы, Марья Семёновна тоже пенсию получает, вместе с гонораром нам этого хватает на скромное житьё. Но как много у нас людей, которые не сводят концы с концами мыкаются без работы, не имеют денег заплатить за квартиру и бытовые услуги. К сожалению, число их не сокращается, и жизнь ввергает людей в отчаяние и злобу.

Народ мало покупает книги, картины, но, удивительное дело — театры переполнены, концертные залы тоже. Значит, мы ещё живы и надежды наши с нами, а они, как известно, умирают последними.

Очень был рад увидеть вас на параде победы в Нью-Йорке. Сам я ни на какие парады и митинги не хожу, ни в каких празднествах не участвую — не могу, противно всё это выглядит в моих глазах, потому как не прибрали косточки убитых на войне, и пока не исполнили этого Божьего дела — не имеем права ни на какие праздники.

Всего Вам доброго, главное — здоровья! Храни Вас Бог!

Кланяюсь, Виктор Астафьев

17 февраля 1997 г.

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Писать-то мне особо не об чем. Нынешней зимой, занятый вознёй с собранием сочинений, я ничего не писал. Не готов. И не готов физически, только поработаю пером напряжённо, глядишь, начала неметь левая рука — сердце сигнал подаёт: «окстись, может и правая, рабочая, отняться». Но без дела не сидел. Спрос на меня всё ещё, к сожалению, не убывает, да и сам егозлив, побывал вот в колонии в женской строгого режима. Говорили часа три, думал перед встречей, угнетусь, ан нет, то ли привычка уже к лагерю, то ли в самом деле бабам там живётся лучше, чем на так называемой воле. Бывал и ещё кое-где, а перед Новым годом упал, и солидарно со мной упал в Курске Женя [*Носов. — Сост.]*, в Москве брякнулся Саша Михайлов, оба сильно, как и я, расшиблись. И выходит, ежели вот ты не упадёшь, то и не друг ты мне вовсе. Да не надо даже ради дружбы падать, расшибленное тело и костяк болят невыносимо, кроме того, ты идёшь в искусстве по линии критики, значит, вёрток должен быть и эластичен.

Что из новостей? Печатаются и скоро выйдут два первых тома

собрания сочинений, в Пензе в очень хорошем оформлении печатается книга «Плач по несбывшейся любви», состоящая из моих военных и околовоенных повестей и рассказов прежних, а причиной издания послужил «Обертон», который читающая масса, кажется, и не заметила. Ну, да бог с нею, с массой, она куда более важные вещи не замечает, а пошлость жрёт, как диабетики кашу, кастрюлями.

Некто Бушков — красноярский писатель и ныне богач — издал в прошлом году в столицах 11 книг, из которых я смог прочесть лишь два абзаца. Но у нас уже был поставлявший чтиво Алёша Черкасов, я ни одной его книги до конца прочитать не мог, но тот был тюрьмой ушиблен и уж не в себе пребывал, а этот сморчок держится орлом и презирает всю остальную публику, не желающую следовать по его славному пути.

Я ж, одержимый зудом чернильным, нет-нет и чего-нибудь напишу, на что-нибудь откликнусь. Вот поставили у нас оперу Верди «Бал-маскарад», а я её в Красноярске слушал в 1942 году в исполнении сбежавших и объединившихся в Сибири киевско-днепропетровско-одесских театров и, растрогавшись, очень хотел повспоминать. И повспоминал, и старые женщины мне звонили и говорили, что они читали и плакали. А тут и просьба томичей подошла, и тут уж я писал и сам плакал, как плачу всякий раз, глядя единственную на телевидении русскую передачу сибиряка Гены Заволокина «Играй, гармонь». Проплакавшись, я решил тряхнуть публику ещё раз и написал статейку к стихам Джеймса Клиффорда, ибо невыносимо много печатается в газетах и везде стихов занудных, вшивых, с претензией на нарядность или бодряческих виршей какого-нибудь отпетого соцреалиста. Выйдет газета — пришлю, а пока посылаю статью о языке, которая, я тоже знаю, как папиросный дым, послоится над головами русских людей, пощекочет их в носу и горле, да и кончится на этом её влияние, а ведь тоже писал — рука немела.

Кроме статьи, посылаю очень славную фотографию, которую собирался послать ещё осенью, но заложил в бумаги на столе и забыл. Ежели у тебя такая уже есть, отправь её тогда Леонарду *[Постникову. — Сост.]*, а у меня всяческих фото много, и эта тебе нужнее для воспоминаний.

Вспоминая лето и встречу летнюю хороших людей, и задним числом почитая уже и историческую, а больше человеческую значимость её, хвалю себя за настойчивость и выдумку. Повторить всё это уже, по-моему, невозможно. В Дивногорске власть переменилась, и с прокоммунистическими деятелями я не только какие-либо дела делать не хочу, но и срать на огороде на одном не сяду. Вроде бы Миша Кураев нечто подобное затевает

провести в Петербурге в конце мая. Бог даст — увидимся, тем более что 26 мая вручение Пушкинской премии, которую немцы тоже присудили мне, и ты небось об этом знаешь. Я могу из Москвы рвануть в Питер, буде буду здоров и не смоет нас тута половодьем. У нас выпало столько снегу, сколько не выпадало его с 1937 года, и ежели будет ранняя и дружная весна, а именно такую и обещают, то уплывём мы все в Ледовитый океан, а оттудова до Питера тоже — рукой подать.

Ну, вот графоман так графоман! Собирался черкнуть пару фраз и нате, разошёлся, но ты вроде бы разбираешь мои каракули, вот тебе и работа.

Главное, не хандри и не кисни, мы уж вон вовсе стариками становимся, М. С. болеет постоянно, и хронических у неё накопилась куча, ан ломает себя, работает, и я, глядя на неё, не сдаюсь. Пойдёшь в церковь, помолись за чусовлян и за нашу чусовскую дочерь, которую из-за снегов по грудь мы ныне зимой и навестить не можем. Но уж февраль к концу идёт, березняк забусел, горы днём синеют за рекою. Вытаем! Вытаем!

По Овсянке очень скучаю. Осенью вдогон конференции провели ещё юбилей — 390 лет селу, заложили часовню, и с тех пор я там и не бывал, и девчонки не едут и даже не звонят. Может, Марья их отшила. Марья сурова нравом сделалась, особливо к женскому роду, и тут уж ей не укажешь. Годы своё берут!

Ну, обнимаю, целую, поклон парням, жене. Обними и поцелуй маму — скажи: чусовляне велели. Преданно твой Виктор Петрович

25 февраля 1997

(И.А.Дедкову)

Ответ Игорю Дедкову (увы, уже вослед). Голова, где, нам кажется, сосредоточено всё лучшее, что имеет человек, и прямая кишка, где скапливаются и через которую выделяются отходы человечьи, болят у человека одинаково больно. Нет, не одинаково — голова болит как-то «вообще», она как бы изображает недомогание, и потому интеллигентную головную боль можно утешить порошком, мокрым полотенцем, льдом, снадобьями, а вот боль в прямой кишке груба, открыта, всегда остра, дика, невыносима, от неё защемляет сердце, от неё и голову не слышно — от неё только кричать, кусать губы, извиваться на постели, искать место, молить Господа о милости.

Вот я и кричу от грубой боли, не подбирая слов, не могу, неспособен их подбирать и терплю головную боль с 1943 года, со времени контузии, живу с нею, ношу её, работаю с нею или

свыкнувшись с нею — только чтоб не добавилось ни капли сверх того, что есть, вот если добавляется (чаше всего внешними обстоятельствами и безжалостными людьми), тогда уж невыносимо.

Впрочем, и о второй, задней, грубой, боли Создатель позаботился, её я тоже имею и давно, причём произошла она у меня не от сидячего писательского труда, а от надсады. Опять же от надсады грубой: плыл на плоту по уральской горной реке Усьве домой, в город Чусовой, где тогда жил. Книжку первую мою ребята из Перми привезли, а я в леспромхозе в командировке от газеты был — и заторопился подержать мою драгоценность в руках, сколотил плот из сырых брёвен и заскочил с плотом в полуобсохший перехват на выходе из протоки. Плот не бросил — показалось, перехват короткий, а пришлось шестом поднимать и волочить его почти полкилометра.

Назавтра живот судорогами свело, рванул в туалет — полный унитаз нутряной чёрной крови. Вот с тех пор, с первой книги, мучаюсь: головой — от войны, жопой — от (всё-таки) литературы.

А вы судите за натурализм и грубые слова, классиков в пример ставите. Вы-то хоть их читали, а то ведь многие и не читали, а в нос суют. Не толкал посуху плот, грубой работы, черствой горькой пайки не знал Лев Толстой, сытый барин, он баловался, развлекал себя, укреплял тело барское плугом, лопатой, грабельками, и не жил он нашей мерзкой жизнью, не голодал, от полуграмотных комиссаров поучений не слышал, в яме нашей червивой не рылся, в бердской, чебаркульской или тоцкой казарме не служил... Иначе б тоже матерился. Пусть не духом, но костью, телом мы покрепче его, да вот воем и лаем. А он, крутой человек, балованный жизнью, славой, сладким хлебом, и вовсе не выдержал бы нашей натуральной действительности и, не глядя на могучую натуру, глубинную культуру и интеллектуальное окружение, такое б выдал, что бумага бы треснула, а уж зеркало русской революции утюгом бы всенепременно разбил, можете в этом не сомневаться.

Спите спокойно, брат по единой земле и жизни. Там уж никто, ни Лев Толстой, ни даже Гоголь, которому и в гробу смирно не лежится, не потревожат вашего покоя, и жизнь наша окаянная не осквернит ваш тонкий слух, вашу ранимую душу не оцарапает, природой и родителями настроенную на другой лад, на песни иные и на жизнь иную, чем та, которую мы доживаем и избываем.

Виктор Астафьев

10 мая 1997 г.

(А.В.Астафьевой)

Дорогая Ася!

Это очень хорошо, что ты догадалась мне написать — банальная причина моего молчания: затерялись твои письма, и адреса у меня не было. В Вологде же нет таких людей, чтобы я мог у них доверчиво спросить адрес Зины Чернышёвой. У меня очень много оснований не доверять вологодским ребятам. Написала прошлой зимой твоя мать письмо, полное литературных реминисценций, глубоких рассуждений о Боге, долге и детях, но ни своего адреса, ни Зининого не сообщила. В моей уже долгой практике эпистолярного сношения с людьми такие вот факты не единичны, напишут люди, требуя справедливости и ответов, а вместо ФИО поставят закорючку, думая, что их вместе с этой закорючкой знает весь мир.

Ася! Я не знаю, как и когда мама твоя объяснила тебе причину твоего явления на свет, но одно время она коллекционировала знаменитостей местного круга, и в этот круг по слабости мужицкой, пагубе плотской попал и я. А передо мной был Василий Макарович. Ни любви, ни даже банального ухажёрского периода или топтания возле мамы не было...

Чтобы не ранить тебя ещё больше, всё остальное опускаю. Но жизнь есть жизнь, и явление человека на свет случайным не бывает, значит пришла пора ему быть на земле и он всё равно в той или иной комбинации скрещения судеб явился бы свету.

К сожалению, после смерти Ирины я не могу бывать в Вологде, не могу видеть её, встречать людей, с которыми я и она общались. Всех, кроме Зины Чернышёвой. Вот перед кем я преклоняюсь и кого, побывав в Вологде, хотел бы видеть и с кем хотел бы говорить. Но мне в Вологде уже не бывать... неподъёмно. Нужно вот 20-го лететь в Петербург за Пушкинской премией, а я едва в деревню выбрался (она в 18 верстах от города). А перед этим побывал в тысячекоечной больнице, коя может присниться только в страшном сне. Для чёрного люда больница, и, увидев тот битый, резаный чёрный люд, я содрогнулся ещё раз — до какой же мы черты дошли-доехали! Едва живой (всю зиму проболел, дважды подолгу лежал с лёгкими в больнице), прибыв в деревню, тут же с ходу отравился, сделав из дорогих азиатских овощей салат. А они же на химии растут, у меня же в результате длительного воздействия лекарств тронуто почти всё, вплоть до поджелудочной железы, о которой я раньше и не знал, что она у меня есть.

Мария Семёновна уже затяжно и тяжело больна, давно не выходит из дома. Дела наши и дни катятся к закату. Первую (!)

зиму за последние сорок лет я ничего существенного не писал, кроме комментариев к собранию сочинений и текущей мелочи, да кое-что из публицистики. Третью книгу романа я уже, очевидно, не напишу, но «затеси» и про природу попишу, хоть раз себя потешу на старости лет.

Увидеться с тобой и необходимо, и страшновато. Я привязчив, но не ко всем. Ко внукам, ко взрослым теперь, не смог привязаться (Польке 14 лет, Витьке — 21 год) — они мне чужи не только по дурному эгоизму, а просто чужи и всё, чем они больше вырастали, тем более отдалялись от меня или я от них, или то и другое. Сейчас ничего, кроме раздражения, они во мне уже не вызывают, и я не могу быть с ними вместе. Ещё и поэтому зима была тяжёлой, я только и ждал, как бы скорее уехать в деревню и побыть без них, безо всех (с М. С. тоже мне стало трудно), и теперь-то я до дна понимаю старика Толстого, от кого он рванул из дома в таком сверхпреклонном возрасте.

И вот с отравления, с мучительной ночи началось моё пребывание в деревне. Вчерашний День Победы пролежал в горести, навестил лишь вдову двоюродного брата, он умер в конце апреля (инвалид войны) и был моложе меня на 8 дней, да школьного учителя, тоже фронтовика, и нигде ни грамма, кроме сока и мин. воды ничего не пил, а к вечеру прожгло, что-то съел в гостях не то. Однако ночь эту уже спал спокойно. Натопил печь — тепло, сухо (это для меня сейчас главное) и покойно (тоже очень важно), маленько посмотрел телевизор, почитал и отплыл в сон. Я сейчас к столу прорываюсь трудно, как в окоп противника. А письмо твоё, стараясь «положить поближе», я уже трижды терял и, покрываясь потом, искал (вот поэтому, не вдаваясь в рассуждения о Боге, судьбе и прочих сложных вещах, не мешает нам — старикам лишний раз напомнить о себе и адресок не забыть написать).

Та-ак, ближе к делу. Думал я, думал и ничего пока не придумал насчёт нашей встречи — здесь исключается. Я и без того весь в сплетнях, подозрениях и поношениях от коммунистов, которые не брезгуют и за мной следить, телефон прослушивать, письма изымать. В ином месте? Я на подъём тяжёл сделался и ни на каких сессиях в Москве не бываю. Буду думать о нашей встрече и авось что-то придумаю. А пока ты без комплексов и угрызений совести напиши мне полностью своё ФИО. открой счёт в надёжном банке, и я переведу сумму денег на чёрный день, который бывает не за горами, а за плечами. Только, пожалуйста, без «фи» — это та маленькая услуга, которую я способен сделать для тебя.

Теперь самое огорчительное — эти твои литературные и тем

более вгиковские устремления — уж очень я мрачного мнения об этом и ему подобных заведениях. Мается у меня у друзей несколько дочерей после БГИКа, мается блистательного ума и образования друг нашего дома Валентин Курбатов без определённого места и определённого занятия, в своё время кончивший этот институт. Я участвовал в съёмках нескольких фильмов по своим произведениям, написал пару-тройку сценариев и везде твердил и твержу, что с этим искусством никаких дел иметь не хочу, а если имел, то помимо основного своего занятия — писания прозы, то есть мимоходом, не тратя много сил и времени. Тем более сейчас, когда кино наше неизвестно где, когда не востребованы блистательные умы, таланты и подвижники кино.

Не скрою, более всего меня радовало, что ни дети мои, ни внуки не вышли «в кино» и «на литературу». Ах, как тут всё непросто и не очень красиво, и не очень прельстительно, как кажется со стороны. Ладно, если Бог наделил человека могучим даром и он, по-могучему мучаясь, всё же в муках этих находит счастье в самом труде и не может жить иначе и быть кем-то другим. Он Богом прикован к этой тайне, которую вынужден до последнего вздоха катить в гору, только в гору, только истратя все силы, часто уродуя судьбу свою и жизнь близких людей (ты одна из жертв этих, неужели не понимаешь?!). Я, конечно же, готов посмотреть твои писания. Смотрю же я их, со всех сторон приходящие, отчего и твои не посмотреть, но если Бог судил нам встретиться и я не увижу в тебе и бумагах твоих будущего, уверенного предначертания к творческой судьбе, употреблю все усилия, чтобы уберечь тебя от этой пагубы. Разве литературно-киношная судьба твоей мамы тебе не пример? Разве прозябание, за исключением двух-трёх вологодских и прочих писателей тебе не урок? А громкий крик моего друга и земляка, великого артиста современности Михаила Ульянова, когда его спросили, не пойдёт ли внучка по его стопам: «Да Боже сохрани и помилуй!» Сотни, тысячи запутанных судеб, растерзанных и растленных так называемым искусством, да и литературой жизней, это не пример?..

Когда меня спрашивали раньше, кем бы я хотел видеть дочь и сына, я отвечал — портнихой, поварихой, учителем, наконец, а сына — слесарем или токарем, все полагали, что я шучу. Определённость и устойчивость должны быть у человека, земля должна быть пол ногами и умение твёрдое зарабатывать свой хлеб.

Вот пишу и чувствую — бесполезные слова пишу, зараза эта пуще русской дури, выводится она не назиданиями, а ремнём и

трудом...

Давно я не писал так много. Устал. Прости. И будь здорова. Раз уж так рано начала жить самостоятельно, думай, прежде чем сделать какой-либо шаг. А на что ты думаешь жить во ВГИКе? С голоду ведь пропадёшь, здоровье угробишь...

Ну, храни тебя Бог. Целую.

Твой Виктор Петрович

Июнь 1997 г.

(А.В.Астафьевой)

Дорогая Ася!

Привыкай к моим каракулям (я ведь печатать не умею), вообще-то женщины как-то разбирают мои письма, и мужчины некоторые тоже.

Зима была у меня тяжёлая — я её почти всю проболел. Начал с осени и пошло-поехало. Особенно тяжело болел на исходе зимы, какой-то грипп, поражающий иммунную систему, вальнул меня так, что в момент кризиса, в самый глухой ночной час явилась ко мне Ирина и стоит, опершись на косяк моего кабинета, где я и сплю, и смотрит печально-печально. Я спрашиваю: «Ты что, Рина, соскучилась по мне?» — «Соскучилась, папа, соскучилась...» — и исчезла в каком-то неземном, рыже-седом тумане.

Весна у нас ранняя была (и вообще я молодей, что покинул глухой угол вологодчины, давно бы уж там загнулся со своими трухлявыми лёгкими), с середины марта пошло тепло, и какое! Я рано переселился в деревню, топил печи — сухо в деревянном доме, тепло, уютно, и поехал, точнее полетел в Питер-Москву, в Питер на конференцию, в Москву — за премией. Улетал, у нас плюс 25-29, прилетел в Питер — плюс 2, не лучше было и в Москве, но как-то Бог меня там уберёг. Прилетел — тяжело болеет Марья Семёновна, и сейчас болеет, по избе ходит с трудом, опираясь на стены, а больше лежит — это при её-то деятельной натуре. А я вот в деревне ошиваюсь, ибо в городе не могу — дом блочный, в нём давно уже не топят, и то нет горячей воды, а то и холодной.

В деревне я когда и выскочу на веранду иль на улку в рубахе, и когда испортилась погода, похолодало, быстренько приобрёл обострение — сам же и лечусь, а обострение раз от разу тяжелее и тяжелее. Лечился и работал (у меня ведь большое, аж в 15 томов собрание сочинений выходит), и вот самый толстый и самый трудный том подошёл, 10-й, да и 11-й тоже, роман и последние повести. Писал комментарии и накатал аж 35 страниц к 10-му тому, еле выволок эту работу. Вчера приезжал издатель и

всё разом уже сделанное, напечатанное, оформленное увёз. Опять Бог помог, милости его ко мне бесконечны. В нашу знаменитую библиотеку взяли научную работницу, которая специально занимается моим фондом. Этакая мышка-норушка, бойкая, умненькая, видит, что я нос опустил, интересуется, что такое? Я говорю, не просто такое, но и этакое — вот пришла пора правку и комментарий к роману печатать, а моя секретарша не только печатать, но и есть не может, а она заявляет: «Давайте я напечатаю». Я говорю, писал-то хворый, и сам уж свои каракули не разбираю. Она говорит: «Я разберу». Я говорю: «Ну, где не разберёшь, а не разберёшь многое, зови меня, я продиктую». Ничего диктовать почти не пришлось. Всей библиотекой они трудились и всё сделали мне, как надо. Я отнес подарочек моей помощнице, она в отпуск собралась, сказал, что за это отдам им в отдел рукописи и черновики, и машинописный текст, и вот чудо — пришла начальница библиотеки и принесла твоё письмо. Такой хороший день завершился тем, что вечером приехал мой приятель — писатель из Енисейска, он делает книгу о лесе, и я позволил с ним одну рюмку водки (больше-то не могу, прею шибко).

Хотел, как и ты, с ходу ответить на твоё замечательное письмо (натуры-то одинаковые, шибко горячие, и не знаю, как у тебя, но ещё и восторженно-дурные) и хорошо, что не написал. Я придумал, как нам быть. Если ты и соберёшься в этот загадочный ВГИК, то ведь не раньше сентября, и в июне должен приехать Андрей из Вологды. Я с ним отправлю тебе пакет с книгою и в книгу вложу деньги, и ты сможешь приехать сюда. Ныне ко мне народу — валом и что там какая-то, пусть и крупная деваха-корреспондентка иль, как моя покойная тетка говорила — жульнаристка, девчонки из библиотеки устроят с жильём, у той же Нади, что научная сотрудница, можешь переночевать, она одинока и почти все наши библиотекарши, как им и положено, одиночки или матери-одиночки. Девки очень порядочные, славные, а возглавляет их Аня. мать-героиня, как я её зову — трое у неё детей, двое уж при мне родились. Она из старообрядческой семьи и отчество ей будет — Епиксимовна.

Вот как я решил. Так что копи мужества и отпуск хороший, где-то в июле, глядишь, и состоится наша встреча, хотя я её боюсь не меньше, чем ты. Бог даст, всё устроится к лучшему. Я уж сто раз смотрел на твои взрослые фотки и не ощутил тебя чужой, что-то родное брезжит. Я и не встречи боюсь, а разлуки, уж очень я привязчив есть к хорошим людям. За что и страдал много, да и страдаю.

С Андреем, коли встретишься, можешь вести себя по

обстоятельствам, парень он умный, но так жизнью помят, что на себя замкнут и по характеру вроде бы суров, однако в душе-то раним, на доброе слово отзывчив, и у него опять сложности начались, потерял он. кажется, и вторую работу. Буду уговаривать его переехать в Сибирь, мать его бесконечно любит, и устал он без нас и от вологодчины тоже, к которой так и прирос сердечно.

Ну-с, а теперь о творчестве твоём — всё прочел внимательнейшим образом и не знаю, как там киносценарии у тебя будут писаться, а тем более романы. Я так боялся романа, что затянул сроки его создания и вот не знаю, закончу ли. Те же вещи, которые я называл романами или критики за меня называли — «Царь-Рыба», «Печальный детектив» — всё же на дальних подступах к этой наисложнейшей, громоздкой форме прозы. Но жульнаристом, пока что калибра «Красного Севера» иль другой какой областной газеты, ты вполне можешь уже прокормиться. Слава Богу, нет в твоих творениях бойкости пера, самоуверенности, развязности, столь свойственной современной провинциальной журналистике. У нас она просто валом валит — это от бесталанности, малой квалификации и неуважения к писателю и профессии. Бог ласт, явишься, посидишь в библиотеке и убедишься в том, как не надо писать. А романы дело дальнее и оч-че-нь надсадное и трудное, попиши-ка рассказы, очерки, осмысли мир и себя в нём, а тогда уж дерзай, с Богом.

У меня в моём лесу (он в огороде) на кедре, которому 20 лет. появились первые шишки — это на 10 или 15 лет раньше сроку, а всё оттого, что я его, кедр-то, люблю и лелею. Впрочем, любил я и люблю не одни только кедры, но и кое-что и женского рода, и от того грехи мои имеют продолжение, да ещё и с последствиями, об чём ты непременно узнаешь. Сей творец натворил кое-что за жизнь свою уже длинную. Мне ведь уже 73 годика, пора бы и угомониться, но. как говорит учение «Дао», угомонишься и незачем станет жить.

А эти мои слова для твоей любимой тёти Зины.

Зина! Голубчик ты сизокрылый! Спасибо тебе за письмо, спасибо за детей — перед Богом тебе воздастся, да и любовь только одной Аси и преданность её столь многого стоят. Кланяюсь тебе за твою доброту и целую руки твои. Ты, наверное, всё такая же красивая, статная, с пышными белыми волосами?! Не старься, пой, будь такой, какая ты есть. Я себя старого и больного терпеть не могу, а все вокруг говорят, что я но сравнению с моими одногодками-фронтовиками ещё ничего. Но меня работа держит на ногах и в строю, она и исцеляет, одержимостью и живу. Боюсь взять палочку в руку и пшикалку для дыхания, и то. и другое мне выдали медики, но я всё это

спрятал подальше.

О смерти Вити Коротаева услышал я в Петербурге, и подробности дошли до меня — самый деятельный среди этого едва шевелящегося литературного стада — они его и доели. Я ведь получаю от доброхотов из Вологды газетные вырезки, письма, книги и т. д.

Ну, уж разрешите Вас обеих расцеловать. Ася-то вон, сразу видно, в УВД работает, закончила письмо, как протокол, ну что ж. постараюсь заслужить её внимание и ласку, виноват кругом.

Преданно В. Астафьев

4 августа 1997 г.
Москва, Кремль,
Ельцину Б. Н.. Черномырдину В. С, Немцову Б. Е.
Копия — в Совет Федерации
Копия — в Государственную думу
Копия — губернатору Красноярского края Зубову В. И.

Из русского села решительно протестую против обложения налогами земельных участков крестьян, пенсионеров, рабочих, служащих. Богатые от земли не питаются. Ссорясь с массами бедного народа, совершая ошибку за ошибкой, вы создаёте напряжение в стране, тем самым тащите к власти коммуно-фашистов. Понимаете ли вы, что терпение россиян иссякает, вы и вся Россия могут пожать бурю народного гнева?

Писатель Виктор Астафьев

16 августа 1997 г.
Овсянка
(О.М.Хомякову)
Дорогой Олег!

Пишу тебе, находясь на пределе износа и усталости. Зиму я проболел, особенно тяжело в марте, рано приехал в деревню, аж второго мая. Погода была прекрасной, весна началась в середине марта, но отстояли жаркие дни и началось переменчивое лето, то жара то холод. Особенно холодны ночи, от Енисея тащит стужей, вода все время была большая, это значит увеличилась влага, туманы, холод — стройка коммунизма она ж всегда во вред людям. И хотя Енисей крутит турбины алюминиевой и военной промышленности, проданной за рубеж, каким-то матёрым жидам со зловещей фамилией Черные, братья, и река наша великая продана и кроме вреда, хворей и свары народу нашему от этого всего ничего не видать.

Я продолжаю формировать том 12-й, публицистика, и 13-й, пьесы, киносценарии, отрывки, вариации и т. д., и т. п. Всё это весьма и весьма оказалось громоздко и трудно. Была у меня старая рукопись, вроде как третья книга романа, но замысел ушёл в другое место, в другие дебри, свернул на другие рельсы. Я из той рукописи выписал главы, намереваясь быстренько и ловко состряпать два-три рассказа, но всякий раз меня подхватывала графоманская стихия и волокла в какие-то тёмные края, в непроходимые чащи, и я едва из них выбирался, неся под мышкой повесть «Так хочется жить» и затем «Обертон».

Желая остатки разбитой рукописи употребить как вариант

повести «Весёлый солдат», я начал её править, увлёкся, влез вглубь, и вот заканчиваю черновик листов на 8-10. Материал тяжелейший, работа громоздкая. Так вот вместо летнего отдыха сам себе устроил каторгу, лишь на пять дней с сыном сходил в тайгу, передохнуть.

Все тома я комментирую сам, чтобы было меньше за мной вранья и путаницы и отсебятины, когда будут за гробом трясти мои кости. В твоей рукописи, где эмоции то и дело перехлёстывают здравый смысл, неточностей и всего прочего слишком много. Тебе всенепременно надо прочесть комментарии к томам моего собрания сочинений. На выходе восьмой том. Всего, я думаю, нынче удастся напечатать десять томов, а удастся ли закончить издание, не уверен. Я зимою перешлю тебе для шарьинской библиотеки вышедшие тома, и ты прочтёшь комментарии и, уверен я, сделаешься посдержанней, не станешь, возможно, меня ставить наравне с Буниным. Меня коробят подобные сопоставления и восхваления. Я повторял и повторяю — на безрыбье и Астафьев рыба. Место своё и меру своего дарования я знаю уже твёрдо и не самоуничижаюсь, и для самовозвышения поводов особых нет.

Будь посдержаннее и жене своей того же пожелай. Моя тут мне влепила гражданской страсти и чёрненького пафоса, обличая современный режим и меня заодно, будто при прежнем режиме жилось нам всем и вам тоже безбедно и здорово.

Журнал «Сибирские дни» остановился. «День и ночь» ещё выходит. Два последних номера в производстве, и боюсь, как бы не стали последними, так как каждый номер стал стоить 59-60 миллионов и мы обобрали всех, кого ещё у нас тут можно обобрать и ободрать.

К сожалению, «Литературные встречи» не возобновятся — нет денег, а в местную власть избран человек от патриотов-коммунистов. За год присутствия у власти он отработал, точнее, отбыл в кресле 14 дней. Остальное время проотдыхал в спецбольнице, проводя в городе творческие встречи с блядями.

Дела очень и очень худы, времена всё более шаткие. Я отбил телеграмму в Кремль с гневным протестом против обложения налогами земельных участков, с которых кормится народ, и боюсь, это отзовётся на издании собрания сочинений. Но да Бог с ними, моими сочинениями, не было б схватки кровавой, а дело движется к тому.

Марья Семёновна продолжает тяжело болеть, не выходит из дому и становится всё более сердитой и вредной, сердясь на меня, что я не с нею рядом, а обретаюсь в деревне, и она думает, что я здесь пьянствую и морально разлагаюсь. Привык человек к

поклонению и повиновению ей всех и вся, а я на старости лет, уставши от её тяжёлого гнёта, нет-нет да и ускользну, Но надвигается осень, затем зима. Как-то я перевалю их.

Осенью, если буду здоров, полечу в Бельгию на конгресс европейской интеллигенции. Пригласили. Событие это будет с 6 по 9 октября. Вот, может, маленько встряхнусь, пообщаюсь с людьми и передохну, если большевички недобрые снова не устроят какую-нибудь бучу. Они всё грозятся осенью учинить какую акцию неповиновения, а президент наш. самодовольно шлёпая губами, всё уверяет, что жить стало лучше, жить стало веселее.

Вот пока и всё, не торопись с рукописью, поработай ещё, не давай себе увлекаться и почитай моё, раз обо мне пишешь, а то ведь даже «Пастушку» цитируешь по старому варианту. А надо дождаться новых изданий. И непременно, всенепременно прочесть комментарий, особенно к роману — он в десятом томе, роман-то. Комментариев к нему аж 45 страниц. И состоят они большей частью из читательских писем. Твоё читательское право не принимать роман, но ты должен разобраться в нём хотя бы на уровне квалифицированного читателя. Была ведь критика на него, и не только ругательная. Её надо читать, в первую голову статейку Михаила Кураева в «Вопросах литературы» за прошлый год, где-то в начальных номерах.

Ну всё! Желаю тебе доброго здоровья, и дров и картошек побольше, да похрущее. У нас урожай ничего, только вот, опыляя лес от клещей, и огороды опылили, так чернеть растения начали, и первая — картошка. Книжку твою в библиотеку снёс. Дела в библиотеке в связи с переменой власти осложнились, но об этом в другой раз.

Обнимаю, Виктор Астафьев

24 августа 1997 г.

Участникам дальневосточной конференции

Я сижу в деревне, нет здесь ни телеграфа, ни попутного нарочного передать Вам какое-то послание. Вот корябаю пером своим на бумаге, дойдёт — хорошо, не дойдёт — тоже неплохо, ибо с 1953 года, заступаясь за природу, в ту пору за уральский лес и природу его, убедился в бесполезности этого занятия. Более того, тратя бумагу на защиту лесов, мы наносим вред лесу, потому как из него, из бедного, делается бумага. Что касается народности удэге, то ведь и мы, русские, становимся народностью, а не народом и нуждаемся в защите от самих себя. И вообще человек нуждается прежде всего в защите от самого

себя.

Двигаясь вместе с развивающимся прогрессом ускоренным шагом к гибели, современный человек не отказался ни от одной услуги развивающегося прогресса, от комфорта, им предоставляемого. Но самое удручающее — то, что прогресс-то «умнеет», развивается, набирает мощь. а человек всё более дичает, бездельничает, слабеет умственно и физически.

Я думаю, и давно пришёл к убеждению, что наша замечательная планета Земля предназначалась для другого, более разумного и мирного существа, но агрессивное от самого рождения двуногое существо, не заметив того, сожрало, истребило предтечу и пошло кровавым, все истребляющим зверем по земле. Гении человечества, лелеемые Богом, лишь проявили, показали возможности человека, высоту его полёта и ума. Военщина и мракобесные религии всех времён и народов, прорубая себе дорогу в человеческой тайге, беспощадно вырубали тех, кто преграждал им путь к жизни избранной, сладкой, к власти, к возвышению над ближним своим, кто взывал к разуму и сердцу. Более пятнадцати тысяч войн, три с лишним миллиарда человек убитых на войне — это вот показатель «разумной» деятельности человека на земле, и всё, всё подчинено и истреблено во имя и ради возвышения одного народа, а затем и одного государства над другим.

Человек не захотел жить по заветам Божьим, не захотел спасения и посчитал путь, указанный Богом, для себя неприемлемым и трудным, а безбожие, безверие неизбежно приведёт его и «дом» наш уютный — Землю к гибели, причём не в очень отдалённые времена.

Остающиеся существовать на Земле ещё будут завидовать нивхам, удэгейцам, эвенкам, нганасанам и прочим народностям, успевшим вымереть до Страшного Суда, до катастрофы земной, до вымирания всеобщего на отравленной, ограбленной, измученной своей планете. Человечеству даже и задуматься некогда над тем, что его ждёт впереди, какое страшное наказание примет оно за свой преступный путь, за кровавую дорогу, им проложенную, за чудовищную историю, им сотворенную.

Даже и аминь некому будет сказать, ибо забудет оно слова, забудет всякую веру, забудет само себя, на четвереньках уползая обратно в холодные пещеры. Поглядите окрест, оглянитесь на себя и на детей своих — мы уже около устья той пещеры, первого и последнего пристанища существа, которое самоназвалось хомо сапиенс и смеет нагло называть себя наместником Бога на земле.

Да поможет Вам и всем нам наш Всемилостивейший Господь! Да просветится затемнённый наш разум! Назад — к милосердию,

к покаянию, к созиданию и спасению! Низко кланяюсь и молюсь за всех Вас. Виктор Астафьев

29 сентября 1997 г.

(В.Потанину)

Дорогой Витя!

Прости меня, затурканного старика, хотел тебя поздравить с этим самым ...летием, но так меня закрутило-замотало, что и вздохнуть некогда, а завтра, то есть 30-го я уже из деревни уезжаю в этот промозглый, всегда отчуждённый город, который я так уж и не полюблю, точнее, к которому так и не присохну, Я имею в виду не Красноярск, он не лучше и не хуже других городов, а вообще город как образ спрута, всосавшего во чрево своё люд божий и переваривающего в своей неспокойной, отравленной газами и шумом наполненной утробе.

Шестьдесят лет, Витя, противная дата, по себе знаю. Тут как бы упираешься в срок, полученный на суде Божьем, всё ты жил, жил, избывая тебе положенные дни, а дальше уж ты сверхсрочник, уже не живёшь, а доживаешь. Хвори плотнее подступают, редеют родственники, куда-то в тень, что ли, западают друзья и товаришшы. Уж на общих фотокарточках оказывается всё больше мёртвых, чем живых, и меня вот настигла болезнь-наваждение пенсионная — читать некрологи в газетах и смотреть на кладбище, кто, как и где лежит, да прикидывать, как я тут размещуся. А размешуся я рядом с дочерью, устала она там одна, да и дружнее, а может, и теплее вместе.

Мне идёт 74-й год. и все эти «чудачества» уже мне простительны, а тебя пусть минуют сии «блаженства», сулящие мысли и закидоны совсем нешуточные, но зато вечные.

По возможности будь здоров, пусть пол крышей дома твоего будут мир и покой, а на столе не переводится хлеб и соль, да хоть иногда пусть пишется и думается о работе, что только в ней. нашей изнурительной и прекрасной работе есть и забвение от дней и дел текущих, от действительности этой проклятой, от зла и одичания земного.

Я вот вместо того, чтоб летом отдохнуть, втянулся в работу и заканчиваю повесть под хорошим названием «Весёлый солдат». Она как бы замыкает цикл повестей о послевоенной жизни — «Так хочется жить». «Обертон». «Таёжная повесть» — о сверхтяжёлой жизни нашей с Марией Семёновной, которая совсем у меня рассохлась, но ещё держится ради внучки, хотя из дома уже почти не выхолит, да и дома-то чаше лежит. Это она-то. пешком не умевшая ходить, а только бегом!

На неделю ездил на Урал. В Чусовом откупили мой домик и хотят открыть в нём филиал местного этнографического музея под хорошим названием «Мария». Побывал в мемориале политзаключённых, даже в камере, где страдал Лёня Бородин. Подивился на дела красных, которые снова предлагают народу свои услуги. Четвёртого лечу в Москву, оттуда в Брюссель на конференцию творческой интеллигенции Европы.

Обнимаю тебя и целую. Поклон всем твоим близким и друзьям. Преданно твой Виктор Петрович

30 сентября 1997 г.
Овсянка
(О.М.Хомякову)
Дорогой Олег!

Я в ужасе! Ещё в августе отсюда, из Овсянки я тебе отправил рукопись твою вместе с моим ответом на все твои вопросы. Всё я получил и даже сверх того письмо от твоей жены, которая, как и современные истинные патриоты, считает, что я неправильно живу и не за тех голосую.

Рукопись твоя пришла не вовремя. Я как раз добиваю повесть «Весёлый солдат» и почти уже добил. Рукопись «внеплановая», пожравшая мой летний отпуск и последние силы (сейчас я её правлю с машинки), аж на 12 листов повесть. Ну и от текущих дел меня никто не освобождал — письма-просьбы, предисловия, обращения куда-то к кому-то, посетители, заявители, интервьюеры, мать бы их, ну и знакомые гости бывают, такой, например, чудесный парень-мужик, певец Хворостовский, а надысь генерал Лебедь заглянул. Тоже мужик занятный. Я его обедом накормил и под обед денежек под «провинциальные чтения» выпросил. Ликуй, Хомяков, живы будем — в сентябре будущего года увидимся!

Ну и хорошо, быть может, что ты ответа моего не получил. Невоздержан и горяч я порой бываю. Надеюсь, рукопись-то не в одном экземпляре? А если в одном, тогда не знаю что и делать. По рукописи основное замечание — это не книга о старшем друге, а панегирик, юбилейная речь со множеством неточностей, биографических и прочих, много в ней сумбура, провинциальщины и пр. пр.

Вот через два дня я уже отправляюсь в город. А неохота-то как! Мне не хватило ровно ещё одного лета, чтобы управиться с повестью и со всеми делами, которые я на себя взвалил. Готовлю 12-й том (публицистика) и 13-й, с повестью, пьесами, сценариями, отрывками, вариантами. И запурхался же я! Вот

решил восстановить «Ловлю пескарей в Грузии» и послесловие к рассказу дать, чтобы отвести весь туман и ложь, которая нагромоздилась вокруг рассказа, и снова сотня страниц.

Давление скачет, даже утром бывает высокое, а между всем этим творчеством на неделю съездил на Урал. Сын Андрей и его чусовской дружок встретили меня на машине, да ещё и мигалку по распоряжению губернатора к ней присобачили. Побывал я в мемориале «сталинских жертв», и в избе своей побывал (её отдают под музей), и на кладбище побывал в Чусовом. и в Перми, в Быковке побывал, многих увидал, и приехал совсем усталый (стар ведь, хотя душа и не соглашается. «Душа всё ещё хотела б быть звездою!» — по Тютчеву).

Закругляюсь, поздно. Обнимаю, твой Виктор

2 октября 1997 г.

(Н.Гашеву)

Дорогой Коля!

Я выехал из деревни с большой неохотой и сожалением — работу над повестью не завершил, не хватило ровно одного ещё лета на все дела.

Четвёртого утром улетаю в Москву, а оттудова с делегацией в Брюссель на конгресс творческой интеллигенции Европы. Вернусь уж ближе к середине октября и возьмусь за повесть. Она с машинки, и работы ещё много. Когда закончу, сделаю ксерокопию и для тебя, а ты уж сам выберешь, что посчитаешь нужным. Наверное, я к юбилею вашему с повестью не успею, да не беда, автор я совсем не юбилейный, а повесть эта. завершающая цикл из трёх повестей — «Так хочется жить», «Обертон» и вот теперь «Весёлый солдат», — и вовсе не юбилейная. Но три эти повести избавили меня от надобности писать третью книгу романа. Напишу несколько наиболее выношенных кусков и начну писать только о природе, о ягодах, собаках, об осени и весне, то есть тешить душу на старости лет хотя бы творческими радостями.

Ошеломляюще быструю и перенасыщенную впечатлениями поездку на Урал нес ещё внутренне «не освоил», вес ещё там. среди добрых людей, гор, лесов и остановившейся на каком-то смиренном всплеске жизни.

Господи! Уж не знаешь чему радоваться и о чём горевать. Всё вместе смешалось, и радость, и горе. «Было бы сердце, а печали найдутся». — сказал когда-то Ключевский, и печали в моём сердце всё находят место, всё свёртываются там тайным и знобящим комочком. Едем по хребту Урала — по хребту! — а над ним смог непроглядный и указатели: слева Первоуральск, справа

Сургут и трубы, трубы, трубы. А лесишко не весь высох, болезненно и празднично желтеет, и река Чусовая как-то остыло, неподвижно и жалко пред этим смогом, пред этим осквернённым небом, словно изнасилованная старуха, не течёт, а лежит среди жёлтых трав неподвижною тёмною водою. Какие-то копешки темнеют вдали, какие-то люди роются в земле, извлекая из неё картошку.

Господи! Господи! Смотришь на всё это и понимать или ощущать начинаешь, что вместе со мною, с нами и Россия свой срок доживает...

Прости, пожалуйста, но эти ощущения так и не оставляют меня, слезят моё сердце. Кланяюсь. Виктор Петрович

3 октября 1997 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Вот и до третьего письма дошло дело, хотя писать его я собирался всё лето. Но накатило! Хотел остатки наброска третьей книги поставить в 13-й том как набросок некоей давней рукописи, из которой я уже извлёк «Так хочется жить» и «Обертон». Но когда начал править, увлёкся и вместо того чтобы летом отдохнуть, залез в рукопись и сделал вариант повести «Весёлый солдат», аж на 12 листов! Унесло графомана! Сейчас повесть получил с машинки (Бог дал в библиотеку Овсянки такую работницу, которая ведёт все «мои дела» и научилась разбирать почерк).

Поездка на Урал была перенасыщенной не только впечатлениями, встречами и нагрузками всякого рода, так что после неё я не смог сесть за стол, а убирался в огороде, собирался в город и вот 30-го покинул домик свой чуть ли не с плачем, ибо у нас здесь проходит съезд славистов (международный) и мне надо было на нём быть и беседовать со славистами, среди которых были не просто хорошие, но и восхитительные люди, в первую очередь из Томского университета, которым я пособил получить Госпремию, а они привезли мне корзину водки с названием «Ностальгия», на одной из бутылок изображён герб СССР с серпом и молотом. Вчера мы её у нас в доме вместе с томскими гостями опробовали, а ещё часы мне ручные подарили, очень красивые.

А завтра рано утром улетаю в Москву и оттудова 6-го утром — в Брюссель. на конгресс творческой интеллигенции Европы (кто-то вспомнил обо мне и замолвил слово). Поеду, встряхнусь, побеседую с умными людьми и, возвратясь с просвещённой

головой, буду продолжать заканчивать работу над повестью. Цикл из трёх повестей о послевоенной жизни избавляет меня от писания третьей книги романа. Мне её, понял я на повести, уже не осилить.

Годочки-то не романные. Может, отпишу наиболее «наболевшие» куски и перейду писать о природе — для удовольствия души. Что-то мне не удаются никакие удовольствия-то. Пять суток в тайге с Андреем на Сисиме да поездка в деревню Тёмную и Быковку — вот и все удовольствия. Несмотря на помпезную встречу на Урале, увёз я оттуда больше печали, чем радости, но это — как писал Ключевский, «было бы сердце, а печали найдутся», — уж на роду мне написано.

Самая большая радость заключается в том, что я, кажется, добыл деньги для проведения в будущем году «Литературных встреч», и мы уже начали к ним подготовку. Где, как добыл — долго рассказывать. Завтра я вроде бы попаду на приём к новому министру культуры и буду хлопотать о закреплении в постоянном плане «Литературных встреч» и переводе нашей библиотеки под какую-нибудь нездешнюю крышу. Здесь начинает работать та же жестокая провинция, что и Ивана Васильева доконала: из зависти жуют наших библиотекарш и готовы эту треклятую библиотеку раскатать по кирпичику, да и раскатают, когда меня не станет, потому надо творение это как-то защитить.

Лето у нас началось в середине марта и продолжается до сего дня. Урожай небывалый, правда, в сенокос и в начале уборочной лило и лучший урожай выбило градом, но без этого уж, видно, на Руси не бывает, чтобы уж всё-то хорошо было.

Вот из поездки на Урал привёз тягость в душе. За мной в Екатеринбург приезжал сын Андрей и его друг, скорее уже брат — чусовлянин Витя Шмыров, что бьётся над мемориалом в Кучино, и они почти ходом (начальство встретило на границе района хлебом-солью, с девками, наряженными в кокошники) и под «мигалку», уже свою (из Екатеринбурга везла пермская машина-мигалка), под надзором начальника милиции Чусового завезли на фуршет, а Леонард выслал Ольгу, чтоб мы без разговору ехали к нему — «он приготовился!» Я уже раскис и устал, уехал с ребятами в Тёмную, где ребята мои загуляли И спать не давали, и в 3 часа ночи я на них фыркнул, и братва с понятием — унялась. А назавтра приезд губернатора, посещение мемориала и большое застолье. О-о-ох, Господи! До чего ж надоело всё и эта «детская жизнь» — тоже.

С музеем, домиком моим чусовским, дело движется, но так ли своеобычно: избушку обносят литой оградой, как Летний сад в Петербурге, и никто не хочет понимать, в том числе и Леонард,

неуместности этакой роскоши, и сам уж музей, наверное, ни к чему. Как представлю, чего в нём нагородят — оторопь берёт, одно и утешение, что я этого не увижу. Марья Семёновна продолжает хворать, но хорохорится, по дому всё делает, с Полькой борется за учёбу и опрятность, успехи невелики и переменны. Вернусь я домой числа 10—11 октября, уже будет зимно, но отопление включили, может, и эту зиму перевалим. Чего и тебе, и парням твоим желаю, и жене.

Видел в мастерской у Широкова картину-триптих его ученицы: Леонард, ты и я. Тебя они изобразили, конечно же. архангелом со свято взнятым в небо взором. О. святая провинция! Куда от неё деваться! И надо ли деваться? Столичная провинция ещё пошлее и заковыристей.

Обнимаю. В. Астафьев

1998 год

10 февраля

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

И я уж начал подумывать, что чего-то умолкнул критик, подико, литература остановилась, один я зачем-то и чего-то еще пишу, да ещё в «Литературке» новая волна мыслителей разбирает и обмысливает творцами современности варимую словесность — при этом ребята, литературой вскормленные, от неё же и хлеб насущный имеющие, совсем попрали земные ощущения и ориентиры дорожные, что прежде называли верстовыми столбами.

Дмитрий Быков, красивый, сытый парень, бойчее двух Ивановых вместе взятых, мыслящий взахлёб, восторгается литературой, исходящей от литературы, причём не от лучшей. Да и Курицын, и оппоненты евонные как бы и не замечают, что литература от литературы приняла массовый характер и давно уже несёт в своём интеллектуальном потоке красивые фонарики с негасимой свечкой, обёртки от конфеток, меж которых для разнообразия вертится в мелкой стремнине несколько материализованных щепок, оставшихся от строившегося социализма, и куча засохшего натурального говна. Белокровие охватывает литературу, занимающуюся строительством «новых» направлений на прежнем месте и из уже давно отработанных материалов, причём не тех материалов, что находятся за усьвенским мостом в отвалах, в которых ради выплавленного

чёрного чугуна лежит остывшая масса драгоценнейших материалов, иль отвалов сибирских золотых приисков, когда оказывается в отработанном песке золота больше, чем добыто в шахте иль шурфе. Нет, в продукции, которую сработали Пушкин, Лев Толстой, Достоевский и Лесков, только ценные металлы, и когда ими аккуратно, понемножку пользовались, они украшали любое литературное изделие, порой делали его бесценным. Но когда едят литературу прошлую, как иманы афишу, начинается самопоедание, разжижение крови, обесточивание мысли, обессиливание слова и смерть, которую жизнерадостные критики в силу своей беспечной, святой молодости, конечно же, не чуют и не понимают, да и не надо им этого понимать, как нам, молоденьким солдатикам-зубоскалам на фронте не дано было понять, что его, солдатика, тоже могут умертвить. Однако ж, потрезвее, пореалистичней полагалось бы быть, а то городят, городят словесную городьбу и частокол без единого гвоздика, лезь кому не лень следом в огород, таскай на грядах всё, что растёт, не отличая картошку от огурца иль тыквы, вари критическую похлёбку.

Курицыну вон в Ярославле уж горшком глиняным по башке съездили, а он хоть бы что, ещё резвее унижает...

А я вот тоже, старый мудрец, взялся оживить два старых рассказа. Легко мне показалось всё это. Работа по готовому легка, а я возьму разгон и, глядишь, с маху напишу детскую повесть. Два рассказа объединились в процессе работы в повесть листа на четыре, и волоку я её за волосья, волоку, черкаю уже третью редакцию и никак не добью, не дочеркаю. Хорошо хоть Марья Семёновна, развивая ломаную руку, печатает мои каракули, хотя и ропщет маленько. Пробовал я писать «затеси» и набросал штук шесть, да теперь вот едва хватает сил на завершение повестушки.

Очень болит голова, никогда ещё так не болела, особо по утрам. А раньше-то было наоборот, ложишься больной, разбитый, но встаёшь посвежее. Видимо, то, что я принимаю более уже десяти лет лекарства от высокого давления, начинает сказываться, и в таком виде и состоянии написать третью книгу романа нельзя.

Жду весны, чтоб перебраться в Овсянку, надеясь, что там мне, как всегда, легче сделается. А весна у нас обещает быть наконец-то путной, ибо зима стоит настоящая. Средние для Сибири морозы пришли вовремя и держатся до сих пор с солнцем ярким, с ослепляющим снегом. Город большей частью мёрз зимою, а у нас, слава богу, тепло и светло.

Похоронил я тут мачеху в Дивногорске, приедешь — расскажу. А приехать, кажется, будет возможность. Петербургская

публичная библиотека затеяла провести общероссийскую конференцию на базе овсянской и краевой библиотек. Предварительно она именуется: «Литература и библиотечное дело», идёт подготовка. Серьёзная. Я внёс в списки много всяческого народа, в том числе и Валентина Григорьевича *[Распутина. — Сост.]* с Крупиным, и Белова, и тебя, разумеется, и всех стариков, подобных Лиханову, они-то, скорее всего, не приедут, а вам всем «молодым» и Бог велел ещё раз нюхнуть Сибири за казённый счёт. Должно сие событие произойти в конце июня, но деньги большие нужны, да и выборы эти клятые подступают. Как-то мне не до конца верится в таковое дерзкое начинание. Хотя чудеса в наше время происходят.

Вот потребовалось мне установить имена и отчества супругов Мироновых и полез я в «Капитанскую дочку», а как залез, оторваться уж не мог от Пушкина, читал, не сознавая, что происходит это во дни поминальные светлой памяти гения нашего. Ах, до чего же прекрасно читается «Капитанская дочка» и наброски, которые в этом же томе. Но читал я, восторгался и ловил себя на том, что иные наши читатели, особенно из советских учительш и другого грамотного люда, будут воспринимать уже это образцовое, единым (нигде ни разу не порвавшимся) звуком скреплённое повествование как пародию, как старомодное словотворчество, примитивное с точки зрения современного писателя и даже грубо натуралистичное. Ну, как это можно написать на первой же странице: «матушка была ещё мною брюхата...» или совсем «неправильно»: «мысль моя волновалась», а по мне так лучше и короче написать невозможно. Повесть, в наши дни именуемая «маленькой», вмещает материал и события современной трилогии, исключая, конечно, «Тихий Дон», но это «нечаянное» произведение для нашей литературы особь статья. Недаром ведь с ним много уже лет борются товарищи евреи. Нет в ихней литературе произведения такого таланта, и хоть торопятся они объявить «Жизнь и судьбу» В. Гроссмана выше «Войны и мира», а уж «Тихого Дона» тем более, время всё ставит на свои места. Прошло несколько лет после гвалта и литературно-критического бума вокруг этого Гроссмана, и всё уже улеглось, в берега укатилось и предполагаемого половодья не произошло.

Ну всё, расписался, разогнался. Обнимаю, целую. Виктор Петрович

1998 г.
(В.Еременко)

Дорогой Володя!

Никак я не выпутаюсь из сетей медицины, долечился до того, что сегодня мне местное медицинское светило предложило операцию, подобную ельцинской, и от которой славный человек и артист Никулин остался на операционном столе. Года мои уже многие, хворей накопилась куча, и мне просто не выдержать хирургического вмешательства. И порешили мы с давно меня лечащим врачом(чихой), сколь Господь отпустил, столько и проживу, и ускорять процессы уж не буду.

Здесь, в больнице, я перечитал много чего, сегодня вот послал к тебе статейку об одном в глуши непробудной живущем поэте, вслед за этим письмом придёт и материал мой.

Прочёл я и «Великомученицу». За рисковое дело ты брался, удержаться в бабьей, да ещё российской интонации очень и очень трудно. Читал с опаской, но, слава богу, ты справился со своей задачей. Что же касается самой истории, то любая из моих уже покойных тёток могла бы рассказать то же самое, да и все старшие наши русские женщины — той же прописки и редкостной, горькой доли. Кто и когда оценит их невиданный подвиг в веках?! Никто и никогда. Некогда и некому потому что. Так уж хоть живые, благодарности и благодати в душе не утратившие дети и внуки напомнят о них так же благодарно, как сделал это ты. Жалко, тираж у журнала маленький и мало кто прочтёт гобой рассказанную типичнейшую и пронзительную историю.

Кстати, в «Москве», в первом номере, должны появиться мои рассказы, могут и не прислать номер-то, а я формирую новую книжку, и один из рассказов мне позарез нужен. Напиши, пожалуйста, Лёне Бородину обо мне или сам журнал купи в счёт моего гонорара и пришли журнал.

Письмо закругляю, уже вечер, и я очень устал, хотя днём ещё шутил с приятелем насчёт баб-с... Отшутился, видно. У нас издаётся солидный и довольно приличный журнал «День и ночь». Заметили б и отметили хоть вы в «Лит. России» — люди трудятся самозабвенно и почти бесплатно на благо всеми забытой провинциальной русской литературы.

А на следующие «Провинциальные чтения» я, и лёжучи в больнице, кажется, денег всё же достал. Ну, обнимаю тебя. У нас наконец-то ослабели морозы. Надолго ли?

Бог с нами и Бог с вами, как писал Карамзин своим друзьям.

Виктор Астафьев

12 февраля 1998 г.

(А.Ф.Гремицкой)

Дорогая Ася!

Посылаю тебе слайд, может, не сейчас, так потом где-нибудь пригодится. Маню два дня как из реанимации перевели в палату — выкарабкалась и на этот раз. Молодец! Без неё мы совершенно беспомощны. Ладно, Тамара Четникова из Вологды прилетела и вот уже более месяца выручает нас, торчит на кухне и в ванной, варит еду да стирает. Иногда я её вывожу «дохнуть воздухом». Вчера вот в театре были, смотрели здешний «Вишнёвый сад», убогий, конечно, сад-то, унылость и безликость Чехова в драматургии и выдающиеся театры и актёры вывозят с трудом, а уж провинция...

Сдавал я повесть в «Знамя», прилетала редакторша и помотала ж мои истрёпанные нервы — старость автору не в упрёк, но и редактору не награда, въедливость и буквоедство заменили в старушке советчика и помощника.

Затем делал ксерокопии, вычитывал, складывал, паковал, завёртывал (Мани-то нет, даже и обматерить некого, на ребят зыкаешь, а с них, как масло с гуся (постное). Поля, правда, стала лучше учиться, больше следить за собой (бегает даже по лесу утром) и тёте Тамаре помогает. Сейчас вон приходила чванилась: «Деда, я прибираюсь». — «Ну и прибирайся!» — «А я как пол вымою, дашь мне денег на мороженку?» — «А сколько стоит мороженка?» — «Тысячу четыреста рублей». Ох-хо-хо, что делать-то! «Если, — говорю, чисто вымоешь пол — будет тебе мороженка».

Витя учится на курсах шофёров. Если не проспит занятия, ездит куда-то. А курсы-то — дороже денег. Просит компьютер купить, говорит, уже умеет с ним управляться, станет бабке помогать с рукописями. Придётся покупать, всё занятие, может, в будущем пригодится.

Сейчас я думаю передохнуть и попишу комментарии, а то всё было недосуг. Почты на столе сделалась — гора и всё не просто письмо иль там записка, а послания, анкеты и формуляры какие-то. которые и не хотел бы, да начнёшь заполнять. Боязно!

Обнимаю — звони, да с казённого телефона, свой разорителен, у меня гости и редакторша поговорили всласть с домом и столицею, едва рассчитался...

Поклоны всем. Ваш В. Астафьев

3 марта 1998 г.
Красноярск
(Р.Белову)

Дорогой Роберт!

Не успел я ничего с чусовлянином существенного отправить, а вот письмо это тебе отправлю с Секлетой, она послезавтра уезжает (я тоже отдам письмо на машинку, ибо тоже почерк свой усовершенствовал до крайности, а Маня начинает оживать после болезни, и незагруженной её видеть как-то непривычно).

Значит так, чусовскую серию С Миши начнёте, а продолжите Марьей, а меня чуток помедлите. Кого-нибудь впереди меня высунете, если время не терпит.

Когда напечатается «Весёлый солдат» — май-июнь в «Новом мире» — сегодня я жду звонка, чтобы прочесть по телефону правку в вёрстке, то сложится книга из трёх повестей: «Так хочется жить», «Обертон» и «Весёлый солдат». Это примерно 25-28 листов — единый цикл. Чтобы полегче вам было с изданием (прямо возрождение какое-то!), гонорара ни мне, ни Марье платить не надо никакого. Что касается Селянкина — что-то отбирать надо, иначе народ вас не поймёт. Кстати, я недавно прочёл повесть Ольховикова — чусовлянина, совсем недурная повесть, хотя и называется «Камень», написанная уже уверенной рукой. Его знают в «Чусовском рабочем», он там прежде работал.

А письмо президенту мы писали в позапрошлом году, мы — это члены комитета по премиям, писали насчёт провинциалов: Бориса Екимова, Алексея Решетова и ещё кого-то, не помню. Не уверен, что письмо то до президента дошло — такая хевра его окружает, со стороны культуры в частности, что не приведи Бог.

Марья моя, повидавшись с Секлетой, ожила. И слава богу. У нас уже тепло, тает, авось и настоящего тепла дождёмся, до весны ещё одной доживём.

Ребятишки наши живы и резвы. Витя дело своё маленькое налаживает, стал серьёзным, к нам приветливым, но российская бюрократия, лучшая в мире, терзает его. А я говорю: «Как иначе-то? Чтобы понимал, где живёшь, да ещё и делом пробуешь заниматься. Тут у нас только бездельнику климат».

Словом, пока живём и надеемся на лучшее, чего и тебе, и всем пермякам желаем. Кланяюсь. Виктор Астафьев

15 марта 1998 г.

(А.Бондаренко)

Дорогой Алёша!

Только что улетела от меня моя редакторша — добили мы собрание сочинений, сдали три последних тома. Если бы не Марья Семёновна и не Агнесса Фёдоровна, мне бы самому этот адский труд не одолеть. И она, редакторша, сутки спала, в Москву

улетевши, а я тут почти в обмороке сутки отвалялся, но всё равно встал с больной головой, однако почты выше головы накопилось, так вот хоть сверху что лежит — отвечу.

Зарисовки, Алёша, ничего, но не торопись ты печатать всё, что напишешь. Эти зарисовки можно и спустя годы напечатать, желательно, когда героя не станет. Кстати, мне прислали журнал «Муравейник», и там два твоих этюда напечатано. Журнал, если не купишь, возьми у нас. Нонче весной мы с тобой сможем увидеться только в середине мая. В начале мая, здоров буду, улечу в Италию, в Миланском университете читать лекцию о сибирской литературе.

А пока попробую отдохнуть, одолеть почту и кое-что полистать о сибирской литературе, подготовиться к чтению лекции. Я, правда, уже читал в Амстердаме, Женеве, Греции, Японии, но обновить кое-что в памяти всегда не лишнее.

В Овсянке давно не бывал. Пожар там опять был, сгорела изба, правда, не до основания, пьяницы Витьки Рошкова, а Володя, что на берегу всё ковырялся, дрова ловил, корчажки и сетёнки ставил, со страху помер, так вот и тут смерть подбирает путёвых стариков, а пьяницам, им ни хера не делается.

Ну ладно, голова чугунеет совсем.

Алёша! Будешь в лесу — наруби иль наскобли килограмма два пихтовой коры, читательница одна просит для больного сына. Не забудь, пожалуйста, или лесника какого попроси и пошли с попутчиками, ладно?

Люде поклон. Переправил мать-то с обменом квартиры. Ещё одно деревенское гнездо опустеет. О-о Господи, когда же наоборот-то будет?

Обнимаю. Виктор Петрович

26 марта 1998 г.
Красноярск
(А.В.Астафьевой)

Дорогая Ася!

Прости меня за долгое молчание. Совсем тут закрутило меня с новой повестью, собранием сочинений и множеством хлопот, да и суеты.

По получении от тебя почты сдал я твои сказки и рассказы в наш журнал «День и ночь», и они там, в редакции, всё читали и читали, а я всё ждал и ждал, а время бежало и бежало. Потом я поорал маленько и прочли они, злодеи, рукописи и, как я ожидал, сказали, что не ихнего профиля эти творения, однако ж рассказ или два пообещали дать, если выживут. С деньгами плохо, как и

везде, и каждый номер журнала выходит, как бы последний.

Повесть я сдал, уже и вёрстку прошёл, идёт она в майском и июньском номере, сдал и все тома собрания сочинений, что стоило мне полной, смертельной усталости, и я отъехал от дома маленько, в местный лесной профилакторий. Поскольку не сезон, живу уже неделю в половине деревянной дачи один и впервые за много лет отдыхаю и начинаю понимать, что такое отдых! Тишина, никого нету, в соснах ветер пошумливает, птички поют, а главное, писать ничего уже не надо. Хотя и привез с собой полный «дипломат» скопившихся писем, но и даже их писать неохота.

Осталось ещё дня четыре мне здесь вольготно пожить, а там домой, там телефон, люди докучливые, тяжба с выборами, но главное, совсем ослабшая от хворей Марья Семёновна. Плохи дела её, собралась опять умирать, сердечные дела её давят, и нога, разрушенная туберкулёзом, отказывается ходить. Давно она уже из дома не выходит и в доме от кровати до кухонного стола кое-как добирается, но чуть полегчает, уже за машинкой, уже бумажками шуршит. Ну, никто, как Бог.

Поля растёт, перевалила за 15 лет, помогает по дому, но и хлопот-забот бабушке от неё много исходит. Слава Богу, что не пьёт, не курит и наркотиками не занимается. Один раз заставил я её руки показать, ревёт, возмущается: «Дед! Да ты что?!» А я говорю, что лучше сейчас маленько поревёшь, чем потом горько плакать, и пригрозил, что зашибу, если чего замечу. Возраст-то переходный во времена ломаные, приходится построже быть.

Скоро должны мне выплатить деньги за собрание сочинений, и тогда я смогу послать и тебе, а пока тянемся на то, что получаем мои случайные гонорары. Жду с нетерпением мая, чтобы в середине его уехать в Овсянку, если М. С. окончательно не сляжет. Не дай Бог, оставить её не с кем, а без житья в Овсянке мне быть невозможно.

Ну, опять же, никто, как Бог.

Передавай поклон Зине и матери. Кланяюсь, целую. Виктор Петрович

29 марта 1998 г.

Красноярск

(Г.А.Солуяновой)

Дорогая Галина Анатольевна!

Рад Вашему письму и особенно рад, что кто-то ещё шевелится и почитает память Саши Вампилова и хлопочет о книге, доступной читающим людям. К сожалению, сейчас я приехать не

могу. После сдачи последних томов своего собрания сочинений находился почти в обморочном состоянии. Ещё и сдача, доработка новой повести («Новый мир» № 5—6), да и суета, и хлопоты по дому и хозяйству.

Вторую неделю нахожусь в профилактории неподалёку от города, отоспался, отдохнул, ничего не делал (мне понравилось!), а то сам себя в гроб загнал.

Завтра я уезжаю из этого рая и начинаю оформлять поездку в Италию, должен в Миланском университете провести беседу о сибирской литературе. Вернусь, займусь огородом, в середине лета поездка по краю с обществом «Мемориал» по местам гулаговским, осенью, в сентябре, у нас должны пройти вторые «Провинциальные чтения» на тему «Современная литература и библиотечное дело». Я готов, если Вы согласитесь, пригласить Вас, Ларису Геннадьевну и Свету Асламову на это мероприятие, на пять дней. Всё оплачивается — дорога, проживание, питание и пр.

Первые чтения, проведённые два года назад, собрали много народа, но времени не хватило всем выговориться — всего три дня, так на этот раз мы намечаем пять дней. Все хлопоты по организации встреч берут на свои плечики бабёнки из нашей замечательной овсянской библиотеки.

В прошлый раз из Иркутска смог приехать только Гена Машкин, расспросите его хоть по телефону и он Вам расскажет, что это такое.

Единственное, в чём Вас заверяю — политики и рассуждений на тему «кто за кого» не будет, а разговор настоящий будет.

Кланяюсь Вам, желаю доброго здоровья. В. Астафьев

4 апреля 1998 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Уж какая там у вас война происходит, да ещё «вокруг меня», мне неизвестно. У нас тут тихо и пристойно, выборная борьба поглотила всю энергию народную, да, кажется, и творческую. Одна лишь пащенковская газета исходит воплями, что случается при запоре в прямой кишке и в башке, устроенной единожды по пещерному ещё чертежу и коммунистической схеме.

Я всю зиму работал, стараясь разделаться с новой повестью и собранием сочинений. Последние тома выдались особенно трудоёмкие: 12-й — публицистика. 13-й сборный — новая повесть, восстановленный рассказ «Ловля пескарей в Грузии» и

послесловие к нему более самого рассказа, где позволил себе сказать всё, что было, всё, что я думаю по поводу сего времени, и попутно и о гнусных воспоминаниях Викулова и не менее гнусном поведении журнала «Наш современник», его нонешнего редактора и авторов вроде Василия Белова, который совсем сдурел иль лучше сказать по-хохляцки «с глузду зъихав», и никто не смеет ему суперечить. Два последних тома — письма.

Если б не мои самоотверженные бабы — моя жена и Ася Гремицкая — редакторша, бросил бы я последние тома, остановился бы где-то в районе 13-го. Весь мой пар вышел, все силы и терпение иссякли.

Отправил Асю в Москву, сдавши все тома в издательство, и отправился в недалёкий профилакторий, где спал почти трое суток беспробудно, а всего пробыл в одиночестве и тишине почти полмесяца, но у М. С. случился очередной приступ (они у неё всё чаше, всё тяжелее), и я вернулся домой. Пытаюсь разделаться с почтой и текущими делами. М. С. из дома не выходит, бытовая часть на Польке — магазин, почта, аптека, а коммунально-коммерческая — на мне. И только вплотную соприкоснувшись с ними, начинаешь понимать, как крепка и вечна русская бюрократия, при посредстве компьютеров и прочих машин достигшая небывалого совершенства.

Вообще-то, я уж никого к себе не пускаю в качестве корреспондентов, одна морока и досада от них, но «Смене» отказать не могу и тебе тоже. Середина июня — время хорошее. Я нонче не собираюсь творить. И вообще на бумагу и чернила смотреть не могу, хочу отдохнуть как следует, вот и ты у меня в избушке отдохнёшь. Она цела, прохладна, вымыта и ждёт пациента, а избу малость ремонтировать надобно, и огород к той поре посажен будет, и жарки как раз в самом распаде будут, и я в Италию не поеду. Звали в Миланский университет рассказать о сибирской литературе. Я невольно задался вопросом — сколько же сибирских университетов интересуются литературой Италии? Нет мне ответа.

Ну, обнимаю тебя, кланяюсь жене и парням. Преданно кланяюсь. Виктор Петрович

7 апреля 1998 г.

(В.Михайлову)

Дорогой Володя!

Рад был узнать, что ты жив, да ещё и работаешь. А то ведь все письменники Прикамья повымирали, один Алёша Решетов остался, да и тот на старости лет оженился, и жена его якобы

увезла в Екатеринбург.

Писать тебе всяческие воспоминания я не буду, ибо устал от писаний до того, что на бумагу и чернила смотреть не могу. Только что, в марте, закончил сдачу своего 15-томного собрания сочинений, а это такая работа, что всё в организме будто катком переехано.

В № 5-6 «Нового мира» идёт моя новая повесть «Весёлый солдат», вот там тебе всё про нашу с Марьей Семёновной житуху, а ещё почитай мою повесть «Зрячий посох» и многое, что тебе нужно, найдешь, а ещё я попрошу родословную Марьи Семёновны, и про неё ты всё узнаешь.

На Урале я в обшей сложности прожил 24 года, с 1945 по 1969, из них в городе Чусовом 18 лет, до конца 1969 года — в Перми. Писать начал в 1951 году, именно начал, а не «родился как писатель», как писатель я родился в 1924 году, и селе Овсянка, а вот в Союз был принят в 1958 году. Сейчас же в наших Союзах не состою, а вот в академии творчества состою и в обществе рыбаков и охотников тоже, хотя ружьё в руки беру только в деревне, чтобы разогнать ворон... Много раз бывал и на Украине, много по ней ездил, и ныне связей не порываю с украинской землёй, ибо воевал в Киевско-Житомирской дивизии, земля украинская полита и моей кровью, и кровью друзей моих, а это не так просто соскоблить с лика земли — прилипчиво, да и ребята-однополчане не все ещё обалдели от свободы, есть и разумные, изредка перебрасываемся письмами.

Главы из повести твоей прочёл с удовольствием, они выдержаны в благородном тоне старой русской мемуаристики, которую читать всё равно, что из святого родника воду пить.

В Перми и Чусовом я был прошлой осенью, много ездил, многое вспомнил, в г. Чусовом, где я чуть не сдох с семьёй в послевоенные годы, затевается музей в моей избушке. Ограду возле избушки возвели, как в питерском Летнем саду и даже не заметили, что они — избушка и ограда, книжно говоря, не гармонируют друг с дружкой. Ну да Бог с ним, пусть будет, как будет...

Будь по возможности здоров, работоспособен и. если выйдет книжка, пришли, пусть и наложенным платежом. С ещё одной весной тебя и твоих близких! Низко кланяюсь. Твой Виктор Петрович

23 августа 1998 г.
Овсянка
(А.В.Астафьевой)

Дорогая Ася!

Я давно уже собирался тебе написать, да тоже в депрессию угодил и ничего не могу делать, даже писем не пишу.

Заболел по весне, думал в Овсянку исчезну и все хвори пройдут, ан не тут-то было. Пришлось ехать в местный санаторий, где мне помогли с сердечными делами, но открылся диабет, модная нынче, но очень подлая и нудная болезнь. И вообще, когда меня обследовали ультрасовременной машинкой, оказалось всё кроме селезёнки дефектное, и я сказал, что буду жить на селезёнке, а доктор мне сказал, что у меня был колоссальный жизненный запас, и жить я буду остатками его. Вот и живу, соблюдая диету.

Помогала погода держаться хоть немного на плаву, но вот и она сдаёт. Кончилось лето. И что я буду делать в городе, долгую зимнюю пору как перемогать — не ведаю. Болеет Марья Семёновна, ей всё хуже и хуже, выглядит ужасно, а я как кончил все дела, составил 15 томов (вышел двенадцатый), на выходе остальные, напечатал новую повесть в «Н. мире» №5—6, так и почувствовал, как устал за эти годы и за всю жизнь, нашла на меня опустелость. безразличие ко всему. Ладно, ещё огород, цветы и деревья выросшие радуют, в лес не хожу — не ходят ноги, помаленьку расхаживаюсь — это диабет, сраная болезнь, хуже тихой тёши, бьёт по всем частям тела, но вроде бы помаленьку я её избываю.

Приезжали Андрей с Таней, порассказали, какая у вас погодушка. Вот из-за такой погоды и лета поганого однажды решил я было застрелиться в деревушке, но потом перерешил, что лучше уехать домой, и ладно сделал, всё же здесь, в горах, хоть и переменчиво, да сухо. Зимой, правда, бывает тяжело из-за незамерзающего Енисея.

Готовим вторые Провинциальные чтения. Подготовка идёт туго из-за денег, которых всюду нынче недостаёт. Но боремся, и с 14 по 19 сентября, дай Бог погоду, мы всё же соберём народ. Может, и я на людях оживу, а пока апатия, какой ещё не знавал. На бумагу смотреть не могу.

Книжку твою я отдал в библиотеку, там лучше сохранится.

Поклон маме твоей. Зине, тебя обнимаю и целую. Виктор Петрович

3 сентября 1998 г.
Овсянка
(Адресат не установлен)
Уважаемая Татьяна Фёдоровна!

При последнем посещении Перми горькое чувство охватило меня оттого ещё, что в городе, где ранее била ключом литературная жизнь, шумела культурная нива, на меня повеяло пустыней.

Когда-то Тимур Гайдар, часто бывавший в Перми вместе с семейством своим, а в ту пору работавший корреспондентом газеты «Правда» в Югославии, хорошо и точно сказал, что культурный тонус Прикамья определяют двенадцать неувядаемых стариков и в голове их Борис Никандрович Назаровский.

Не стало «неувядаемых», истовых служителей и патриотов местной культуры, но движение в духовном направлении, начатое и поддержанное стариками, было неостановимо и набирало силу, как казалось партийной номенклатуре, благодаря её чуткому руководству. На самом же деле это чуткое руководство сводилось к надоедливой опеке и назойливому досмотру, то есть дополнительному цензорству, и цензура явная, высокооплачиваемая, казённая и партийная была в Перми всегда на должной высоте.

Но вот потихоньку, полегоньку ветры времени, переменчивые, но пока ещё небурливые, начали обдувать листья с дерева прикамской культуры, и прежде всего с литературного дерева, не совсем ещё глубоко вросшего корнями в почву, которую рыхлили для неё такие самоотверженные люди, как Клавдия Васильевна Рождественская, Борис Никандрович Назаровский, Саввотей Гинц, Александр Моисеевич Граевский, Людмила Васильевна Римская. Не стало их, и вслед за ними как-то незаметно, часто и тихо начали уходить прежде срока на тот свет взращенные стариками писатели. Литераторы начали падать, пожалуй, с Ивана Байгулова ещё молодого, только-только развернувшегося, и пошло, поехало. Я не уставал, живучи в Вологде, горько вздыхать и откликаться на слишком уж частые, слишком уж неожиданные потери: Евгения Трутнева, Борис Ширшов, Борис Михайлов, Александр Спешилов, всё это старшие писатели, а вслед за ними Лев Давыдычев, Николай Крашенинников, Алексей Домнин, Виктор Болотов и самая для меня горькая потеря — Михаил Голубков и Владимир Радкевич. Какое унылое, какое полное горькой страсти письмо в предчувствии смерти написал мне Владимир (для меня Володя) Радкевич (я включил это письмо в том писем моего собрания сочинений), открывшись мне той стороной глубокой души, которую в нём многие пермяки и собутыльники даже не подозревали, считая его забулдыгой, повесой и неисправимым гулякой.

Ах, как он был красив! Какой владел прекрасной поэтической

жизнью и внутренней культурой! Небрежность в одежде, некая расхристанность в жизни как бы дополняли его образ, они шли ему, «личили», как говорят в приблатнённом мире. Но всяк, кто пытался подражать ему, был просто грязен, был просто нелеп бездарно. Обаяние это тоже Божий дар, и он даётся индивидуально человеку, но и для руки, тоже индивидуальной, тоже только этому и никакому иному человеку не предназначенной. Пусть спокойно спится Володе в жёсткой уральской земле, которую он любил и пел, справедливо зовясь - певцом Прикамья».

В последний приезд в Пермь я ходил на могилы моих друзей и соратников, с которыми входил в литературу, которых опекал и которые меня опекали. Среди них увидел и могилу Ивана Яковлевича Киреенко, всё пытавшегося меня перевоспитать и направить на правильную дорогу. И кабы только меня, то и горя б было мало: я спереду костист, сзади говнист — не вдруг скушаешь, и породы морозостойкой, сибирской, не вдруг повернёшь на свою дорогу, но сколько ж он «помог» тем, кто разместился подле него в могилах, скольким сократил жизнь, как заморочил головы молодым талантам, затормозил творческую мысль, скольких просто напугал иль остервенил, сделав навсегда непримиримыми с ним и с партидеологией, которую насаждал, впихивал, внедрял в сознание людей. Он был не самым тёмным, не самым тупым среди идеологических руководителей его ранга. Бывший рабочий, бывший лётчик-истребитель на войне, он пытался, что-то понять и однажды горько посетовал в нашей беседе, которыми он меня довольно часто удостаивал: «Вот я, бывший рабочий и воин, ты — бывший рабочий и воин, так что же нас разделяет?» — «Непреодолимая пропасть». — ответил я ему, и он шибко огорчился.

Теперь уж совсем непреодолимая пропасть разделила нас, но зёрна, им и ему подобными партсеятелями брошенные, проросли, иссосав душу, соки и русской культуры во многих местах, и в том числе в Прикамье.

Ох не зря, ох не все «по своей вине» поселились вокруг Ивана Яковлевича, судя по тому, что «правильно» воспитанные сверхидейные товарищи в Перми и до се пытаются вразумить неразумных, направлять культуру в привычное для их глаза и нюха русло, заставить писателей писать так, как они хотят, и соответствовать их уровню миропонимания и слова, и сказать им, как пушкинскому герою «суди, мой брат, не выше сапога», в Перми ныне некому. Вот они и гуляют, под боком писатель вывелся, а больше всё-таки его вывели, так они и на стороне найдут, достанут, чтоб только «указать и наказать». Письмо

против моего романа «Прокляты и убиты» в газету «Ветеран» сверхидейный Пермский совет ветеранов даже печатью заверил, и вообще активный этот совет, как я понял, не прочь не только местным властям, но и любому и каждому «писаке-бумагомарателю» мозги вправить, воспитуя его на собственном героическом и благопристойном примере.

Ко мне дошли газеты с материалами о том, как заочно в Перми меня избирали почётным гражданином Пермской области (будто мне это нужно и я просился в гражданины те). И я ещё раз похвалил себя за то, что уехал из этого в идейной затхлости задыхающегося города и края, иначе давно бы уж лежал со своими друзьями на пермском кладбище и вёл уже вечные тихие беседы (а в земных спорах мы с Иваном Яковлевичем иной раз доходили до матюков) и не занял бы я своего места в нашей нынешней русской многомучительной литературе.

Но находясь в стороне, в Вологде, на родине ль в Сибири, я никогда не переставал «болеть за Пермь» не только в хоккее и футболе, но и в культуре, и допрежь всего в литературе, всегда рад помочь им всем, чем могу.

А пока лишь порадуюсь вместе с вами и со всеми пермяками тому, что вы «оживаете», что возобновляется родной мне альманах «Прикамье», в котором я когда-то. кажется, в другой жизни, начинал печататься, что пришёл в организацию не дежурный, а деятельный секретарь, который пытается расшевелить и объединить разбредшиеся по сторонам всё ещё немалые, надеюсь, и крепчающие творческие силы Прикамья.

С низким братским поклоном Виктор Астафьев

5 декабря 1998

(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Мне из Москвы прислали «Литературную Россию» с твоей статьёй. Спасибо на добром слове. Надорвали меня последние труды — эта повесть и работа над собранием сочинений. Болел лето, перемогался осенью и зимой, которая сразу у нас круто взялась за свои дела, успел похлюпать. И М. С. перемогается, у неё болят ноги, сердце, и вся она подрассохлась, но не сдаётся, тянет свою нитку на лекарствах. Я долго находился в прострации, не мог ничего делать, в незагруженную голову лезет чёрт-те что, а яркая наша действительность добавляет впечатлений. Пересилившись, начал копаться в бумажках, нашёл наброски «затесей», где лишь одно название, и царапаю потихоньку бумагу.

Жалко затихающего и затухающего в душе и памяти

материала. Знаю, что он «мой» и никто его не увидит, не повторит и «не отразит», но в вольную, опустевшую башку наряду с другими «крамольными» мыслями влезла и та, что дело наше не только бесполезное, а и греховное. Обман с помощью слова. Как в церкви, превратив её в театр, блудными словами сотни лет обманывают — это называется «утешают» мирян, так и мы на бумаге творим грех, изображая и навязывая людям своё представление, в большинстве своём убогое, о таких сложных материях, как жизнь, душа, мир, Бог, бесконечность, смерть, любовь, бессмертие. Но люди читают и всё ещё верят лукавому слову.

Вот посылаю тебе письмо читателя, хорошего, честного перед собой — это как бы дополнение к твоей очень мирной и доброй статье. А стихотворение великого русского поэта, неизвестного русскому народу, посылаю, чтоб в письме не объясняться на тему «что со мною происходит?» И ещё рисуночек славный посылаю нашего красноярского забулдыжного художника. Нет предела в изображении человека на бумаге и полотне, а Пушкина тем более.

К 80-летию Солженицына попросили меня нацарапать несколько слов, попутно посылаю и их. Видал ли ты по телевизору фильм Сокурова о нём? По-моему, замечательно, поскольку безыскусно. Не знаю, как Александр Исаевич согласился подпустить к столу и рукописи людей с камерой и вопросами. Тяжкое это испытание, мешает оно не только творить, но прежде всего сохранять равновесие.

Девчонкам овсянским я велел отправить тебе стенограмму, фотографии и все бумажки, а сам после презентации собрания сочинении в краевой библиотеке 9 декабря уеду в санаторий «Загорье» и пробуду там до Нового года. Диабет донимает, ноги плохо ходят, да я никуда, кроме больницы, и не хожу, иногда сердце курлычет, надо побыть на режиме и диете, да и чужим воздухом подышать, у нас Енисей парит — сыро, пасмурно, зима уже надоела.

Обнимаю тебя. Твой Виктор Петрович

1998 г.

(Н.А.Старичковой)

Дорогая Нэля! Нинель Александровна!

Спасибо за память, за присланные вырезки и книжечку Вашу.

Не сразу, очень уж со временем плохо было, но я прочёл Ваши воспоминания о Николае Рубцове и стихи. И то и другое меня порадовало отсутствием зла, предубеждений и отсебятины.

Воспоминания получились сугубо «личные» и оттого совершенно точные, проникновенные и тоже, как и стихи Ваши, «тихие». Уж очень много нагорожено вокруг личности и необычной смерти Рубцова. Поскольку и то и другое мало кому доступно (личность-то загадочней и крупнее времени и окружения), то и уподобляют поэта, его дела и содержание души чаще всего себе подобным, и из страдающей, грустной души поэта выстраивают душонку мятущуюся и ничтожную.

Пишут чаше всего те, с кем он собутыльничал, при ком вольничал, кривлялся и безобразия свои напоказ выставлял. Люди-верхогляды, «кумовья» по бутылке и видели то, что хотели увидеть и не могли ничего другого увидеть, ибо общались с поэтом в пьяном застолье, в грязных шинках и социалистических общагах. Им и в голову не приходит, что он так же, как они, не писал, а «сочинял» стихи, и «стихия» эта органична, тайна глубоко сокрыта от глаза. Вы точно заметили, каким он аккуратным почерком без помарок писал стихи. А он их и не писал, он их записывал уже сложившиеся, звучащие в сердце. Он при мне однажды в областной библиотеке на вопрос: «Как вы пишете стихи?» ответил: «Очень просто, беру листок бумаги, ставлю вверху Н. Рубцов и столбиком записываю», и помню, что хохоток раздался, смеялись не только читатели и почитатели, но и поэты, присутствующие при этом. Смеялись оттого, что им эта стихия и тайна таланта дана Богом не была, они и не понимали поэта, бывало, и спаивали его, бывало, и злили, бывало, ненавидели, бывало, тягостно завидовали. И мало кто по-настоящему радовался. Радовались мы с Марией Семёновной, без оглядки, без задней мысли, и оттого он часто бывал у нас и часто читал нам «новое». Я первый, принеся в больницу ему пару огурчиков (огородных), купленных в Москве, услышал стихи «Достоевский», «В минуту музыки печальной», «У размытой дороги» и ещё какие-то, сейчас не вспомню уж, которые он тут, в больнице (с изрезанной рукой, об этом первом предвестнике беды отчего-то никто не пишет), сочинил и радовался им и тому, что я радовался новым стихам до слёз, и огурчикам первым он обрадовался, как дитя, и во второй мой приход сказал, что разделил огурчики «по пластику» со всеми сопалатниками-мужиками. Тогда же мы договорились, что по выходе его из больницы мы поедем на рыбалку, на речку Низьму, где уже бывали всей семьёй, и где он после чёрного запоя пришёл в себя, оглянулся окрест, ходил в лесок и в горсти приносил грибы, ломал на дрова коряги...

Увы, из больницы его раньше срока увели собутыльники, и я увидел его уже до бесчувствия пьяным, с грязными бинтами на

израненной руке. На реку я всё же с ним попал, но в другой раз и на другую, о чём собираюсь написать, и ещё собираюсь написать о том, как он работал над моим самым любимым произведением «Вечерние стихи», и, верно, нонче напишу, потому как все дела свои заканчиваю и попробую отдохнуть и «пописать для души».

Есть у скульптора Клыкова, изнахратившегося многозаказными услугами, износившего душу в отливании бронзы и тесании камня (не своими руками) до того, что и вовсе жизнь исчезла из его фигур, одни скульптурные холодные знаки остались, так пока ещё была в нём душа жива, изваял он Сергия Радонежского и в середину его, будто матери, поместил ангелочка-ребёночка. Вот я всегда мысленно сравнивал Николая Рубцова с фигурой Радонежского — сверху непотребство, детдомовская разухабистость, от дозы выпитого переходящая в хамство и наглость, нечищеные зубы, валенки, одежда и белье, пахнущие помойкой, заношенное пальтишко. А под ним, в серёдке, под сердцем, таится чистый-чистый ребёнок с милым лицом, грустным и виноватым взглядом очень пристальных глаз. Этот мальчик и «держал волну», охранял звук в раздрызганном, себя не ценящем, дар свой, да не свой, а Богом данный, унижающем, чистый тон, душу, терзаемую, самим Творцом. Как мог, ручонками слабыми удерживал и ещё бы с десяток, может, и другой лет сохранял России поэта, посланного прославлять землю свою, природу русскую и людей её, забитых и загнанных временем в тёмный угол. Я думаю, что к шестидесяти годам он пришёл бы к Богу и перестал бы пить и безобразничать...

Недаром же он лепился к Вам, одинокому, порче не подверженному человеку, и берёг Вас от скверны и ветреного отношения к слову. Богу и поэзии. Да-да он берёг Вас, я это знаю не понаслышке. Вы ему были нужны, а он Вам. И спасибо, что Вы не запятнали его памяти и не пытаетесь пятнать, спасибо и за то, что не клеймите убийцу. Она — женщина и подсудна только Богу.

Низко-низко кланяюсь Вам и благодарю ещё раз. Ваш В. Астафьев

1999 год

1 января 1999 г.
Красноярск
(И.Н.Гергелю)
Дорогой Ваня!

Вот явился я перед самым Новым годом из местного санатория, где меня немножко подладили со всех сторон. Вдвоём со старухой встретили Новый год, внучка сразу же после

двенадцати ушла в гости. Мы ей неинтересны. Я что-то поел, немного выпил и усталый, отяжелевший отправился спать, а Мария так до утра и не спала из-за внучки. Сейчас вот поставил я диск с «Реквиемом» Моцарта и под его божественные звуки пишу тебе. Обычная любимая моя Восьмая неоконченная симфония Шуберта или Соната Альбинони сегодня не к настроению и пусть отдыхают.

После издания собрания сочинений и новой повести «Весёлый солдат» я так устал, изнахратился, что всё лето ничего не писал... Нет сил, и душевная тяжесть опустошает. Даже писем не пишу. Распустился. Читаю только, но и читать много подряд не могу, болит голова, ведь нагрузка-то на один глаз... От Пети Николаенко пришло письмо. Крестьянин он настоящий и ему полегче, работает на дворе со скотом, пьёт самогонку и брагу, на вино денег не хватает. А вокруг чёрт-те что творится. Погибает Россия, стремительно идёт на убыль народ, растёт злоба и смута в душах людей, несчастья отовсюду сваливаются, и слова моего белорусского друга Василя Быкова: «Я, Виктор, иногда радуюсь, что скоро умру» кажутся не такими уж дикими. Сам он, сбежавши от фашиствующего полудурка Лукашенко, живёт в эмиграции, за границей.

Поздравляю тебя, Тоню и всех твоих чад с Рождеством Христовым. Держитесь! Здоровы будьте! Преданно Ваш Виктор

25 января 1999 г.
Красноярск
(Е.С.Рождественской)
Дорогая Елена Сергеевна!

Неожиданностью было и Ваше письмо, и Ваша книжка о Клавдии Васильевне [*Рождественской. — Сост.]*. Книжку-то мне кто-то дарил или присылал — не помню, и она в одном из моих библиотечных шкафов молчала на виду, но никак я не мог выбрать времени её прочесть *[Б. Рябинин «К. В. Рождественская — писатель и редактор». Пермское книжное издательство, 1988, серия «Замечательные люди Прикамья». — Сост.]*. Ваше письмо побудило меня к этому. Я прочитал книжку с большим вниманием и интересом оттого, что Клавдию Васильевну я всё же знал мало и поверхностно. К той поре, как мне явиться перед её бархатистые очи и услышать совершенно неповторимый голос, как бы и не женский, но в то же время по-женскому завлекательный и немножко таинственно-красивый. Быть бы ей ныне диктором на телевидении! Так вот, к этой поре, к 1951 году, вокруг Клавдии Васильевны уже сомкнулся творческий актив, в

том числе и бабий.

В силу древней, детдомовской зажатости и некоторой настороженности, которые и по сию пору не изжиты, боящийся до смерти навязчивости, я в тот кружок и не пытался протиснуться. Да и Клавдия Васильевна в ту пору кипела в творческом котле, возбуждая литературные силы Прикамья, подбрасывая в топку угля набиравшему ход пермскому литературному пароходу.

Возникали не отдельные творцы, а целые косяки романистов, летописцев и краеведов. У самой Клавдии Васильевны, по-моему, в эту пору голова шла кругом от перевозбуждения и творческого столпотворения. Никто не замечал и замечать не собирался чёрных кругов вокруг её глаз, нет, по-украински лучше — очей, никто не спрашивал и спрашивать не собирался, ела ли она, спала ли, вообще, когда последний раз отдыхала.

Вот в эту угарную от творческого напряжения пору она услышала о скандале, поднявшемся в Чусовом вокруг моего хиленького, но для областной литературы той поры совсем не пропащего первого рассказа. *[Речь идёт о первом рассказе В. П. Астафьева «Гражданский человек», который начал печататься в районной газете «Чусовской рабочий», где вскоре В. П. Астафьев стал работать. Публикация была приостановлена по распоряжению местного партийного начальства, но затем всё-таки окончание рассказа увидело свет. К. В. Рождественская — руководитель писательской организации и главный редактор альманаха «Прикамье», отредактировав рассказ, напечатала его в альманахе «Прикамье». — Сост.]* Она не только телеграммой вытребовала вырезки из газеты «Чусовской рабочий», но и автора востребовала в областную столицу, где рассказ был приведён в божий вид и заслан в альманах «Прикамье», да ещё и в «Звезде» напечатан, хотя и подсокращённый. Мне и этого хватило бы, с сиротства наученному ценить доброту и внимание, на веки вечные. Но Клавдия Васильева, поговорив со мной, поглядев другие мои рассказы в рукописях и набросках, свела меня чуть ли не за руку в издательство, где быстро выбила для меня договор под марку «самобытный», и гонорар за рассказ. Огромные деньги! Чуть ли не две тысячи. Я, получавший в «Чусовском рабочем» как литработник шестьсот рублей (скоро это сделается шестьюдесятью рублями), отхватил такую суммишу «ни за что» и договор, типографским способом напечатанный, в котором я ничего ещё не понимал, но уже чувствовал обязательства, на меня наложенные. Более никогда, за исключением одного раза, договоры на сборник рассказов я заключать не стану,

Редактировали мы рассказ очень интересно: Клавдия Васильевна что-то предлагала, а я не смел ослушаться. Ещё бы!

Кто я и кто она! Потом я много иронизировал насчёт этой редактуры и впоследствии, дорабатывая рассказ, вернулся к первоначальной редакции, умертвил-таки героя, который и в самом деле был убит на фронте, да попутно и переименовал рассказ. С шестидесятых годов он стал называться «Сибиряк» и множество раз печатался. В особенности по юбилейным сборникам. Но и та редактура, и сам редактор, ею отношение ко мне и к моему первому, рахитистому дитю — для меня, бедного, было великим благом — это я и перед Богом готов повторить, всегда благодарно принимающий совет, помощь и поддержку — они всегда были бесценны и как воздух особенно необходимы в ту пору.

Клавдия Васильевна скоро пустила меня в самостоятельное плавание. Всё же не её я поля ягода был, и. опытом своим большим обладая, она лучше других понимала и знала мало в ту пору популярную истину: «Не навреди», да и издательство подокрепло. Туда пришёл умнейший, чуткий образованный человек, Борис Никандрович Назаровский. Он снисходительно, однако, ласково относился ко мне, а потом и сердечно ко мне расположился.

Клавдию Васильевну на боевом посту сменил Владимир Александрович Черненко, с которым меня несколько лет связывала добрая и до поры, до времени плодотворная дружба. Помог, и очень сильно, мне Черненко с первой книгой. Спешилов даже распространил слух, что он её за меня написал. Но Владимир Александрович в эту пору пытался разработать беспроигрышный план, делая рассказы о непреклонных, героических коммунистах, и выпустил книжечку «Где проходит человек». Пил он всё активней и активней. При нём начались выпивки в Союзе писателей. За выпивку он доделывал книги наших чусовлян.

В это время вскормленные материнской грудью Клавдии Васильевны романисты пекли книгу за книгой, и всё толще и толще, чтобы получить побольше — Селянкин, Андриевский, Правдин, Молчанова. Всех за давностью лет и не вспомнишь. Подбили и меня написать роман. Хватил я с ним горя. Не умел ещё управиться с рассказом, глядя на «маститых» пермских романистов, поставил и я на бумаге слово — роман. За дерзость, за отклик на злободневную тему мне обещали двойной тираж, но надзорный глаз углядел в моей рукописи какую-то крамолу, и я не поправил свои дела романом, зато усвоил хорошо вечную истину: чего не умеешь делать — не берись!

Но при всем при том роман мой был не хуже «кирпичей», сделанных пермскими толстокнижниками, и через несколько лет

его после моей правки переиздали, предлагали переиздать в Москве, в библиотеке «Земля и люди». Но я к той поре подокреп разумом и понял, что сию книжицу под ласковым названием «Тают снега» надо переписывать, да чёрного кобеля, как известно, не отмоешь добела. Легче было написать новую, серьёзную книгу, и с нею, с «Кражей», я хватил горя, и творческого, и издательского. Но это уже была серьёзная заявка на серьёзное место в литературе, и не только местной.

«Певцом Прикамья» я не мог и не хотел быть, цену себе познал рано и соответственно требования к себе предъявлял повышенные. Мне все предлагали войти в Союз писателей, ещё Клавдия Васильева предлагала. Я знал, если меня не примут, второго заявления не подам. И только когда написал «Перевал», напечатал книжку в «Детгизе», зная наверняка, что меня не завернут, вступил в Союз писателей. Это было в 1958 году, а в 1959 году уехал на Высшие литературные курсы в Москву, и это избавило меня от пьяного общения с Черненко и вечно кружащейся в Союзе умствующей кучки его собутыльников.

Курсы — благослови Бог тех, кто их придумал, — дали мне очень много. Я вернулся уже крепко стоящим на ногах, поднакопив культурный багаж: посмотрел почти все спектакли во всех пристойных театрах, послушал «вживе» музыку, побывал на многих выставках, в музеях и приобрел друзей-товарищей почти во всех городах эсэсэра.

Ещё когда начинал входить, точнее, вползать в литературу, строил избушку и счастлив был заиметь хоть какую-то крышу над головой. Однажды к своему соавтору и кормильцу приезжал Черненко с группой писателей и с ними была Ваша мама. Все навестили меня, и Клавдия Васильевна пришла в полное расстройство, увидев мою халупу. Ныне в ней, перестроенной — филиал чусовского литературного музея. Осветилась гостья лицом, когда побывала внутри халупы — в ней было чисто, уютно и очень тепло. Однако Клавдия Васильевна сказала Черненко, чтоб он ходатайствовал перед местными властями насчёт квартиры для меня. Но я-то знал, что квартиры в Чусовом мне никто не даст, и как только получил гонорар за роман, так и обменял дорогую моему сердцу избушку на настоящую избу, где появилась у меня отдельная комната, стол и стеллаж для книг.

Вернувшись из Москвы, я стал подумывать о переезде. В районной дыре задыхались, погибали и погибают многие мои знакомцы, талантливые ребята. В эту пору в издательстве уже были солидные мои опекуны и сказали: «Никуда ты не поедешь, кроме Перми, тут твоя вторая родина, творческая». Два года я катался взад-вперёд, из Чусового в Пермь и обратно, пока,

наконец, вселились мы в квартиру — «хрущёвку», где не было пока ни воды, ни свету, ни газу — ничего не было. Семейство, получая блага постепенно, познавало, что такое счастье, а хозяин папа, взяв разгон в Москве, загулял со старыми знакомцами. Работяга, знающий уже цену трудовой копейке и литературному груду, забросил рукопись, начал погружаться в трёп о литературе, представительствовать, перед народом выступать, литературными конференциями самолюбие тешить.

И тут Борис Никандрович предложил купить мне на «Винном заводе» избушку рядом с ним (впоследствии её купит Л. Правдин). А я, словно угадывая дачный разгул, попросил, чтоб где-нибудь поглуше и потише. Таким образом попал в заброшенную, едва живую Быковку, где прожил и проработал самые счастливые годы творчества.

Но отношения мои с пермскими писателями и властями делались всё натянутей и сложнее. Меня перестали печатать и издавать в Перми — слишком смело, на просвещенный партийный глаз, начал я работать. Оно и правда, по сравнению с пермской продукцией выглядело и смело, и умело, и криминально с точки зрения областной уже многоступенчатой цензуры.

Приятель, и не только мой, Саша Граевский, царство ему небесное, видя, что мы вот-вот поссоримся навсегда, сделал однажды оригинальное заявление: «Ты, Витя, давай печатайся в Москве. А мы будем переиздавать». Но и с переизданиями дело не шло. Повести, рассказы, «затеси» таскали по столам, в том числе и обкомовским, несколько лет. А братва гуляла, уже и валялись писатели в обнимку с графоманами в блевотине среди Союза, на ковре.

Однажды я попал в больницу, в престижную, партийную, с холециститом — привычной уже уральской болезнью. Лежал в четырёхместной палате и читал роман Крашенинникова «Горюч-камень». Он выглядел получше романов того же Селянкина иль Правдина, и я написал для издательства положительную рецензию. Роман надо было обсудить в Союзе. Я стащил в больнице одежду, явился в Союз в назначенное время, а там никого нет. Глянул в окно — автор вместе с активом выходят из магазина, что напротив Союза писателей был, и утирается рукавом от кильки, которой закусывал водку. Вот тогда я и сказал пьяненькому автору и активу с вечно кривляющимся, юмором исходящим секретарём Л. Давыдычевым: «Я, несмотря на болезнь, прочитал твою рукопись и написал рецензию, а моя вечно занятая и не очень здоровая жена напечатала её, но больше я никогда не прочту ни единой твоей строчки».

И ушёл держась за грудь. А тут ещё беда: в любимой, мною обожаемой Быковке Марья Семёновна и её племянник, разом, от одного клеща, заболели энцефалитом, и я никак не мог пристроить в больницу умирающую Марью Семёновну, Давыдычев обратился в обком, зная, что только крайность может заставить меня идти на поклон в эту контору. Он позвонил, а ему чиновник отрубил: «Вот ещё! Мне только ещё не хватало заниматься писательскими женами».

Тогда я решил окончательно и бесповоротно уехать из Перми. Накипело! Наболело! Ещё когда я лежал в престижной больнице, известный мне ещё по Чусовому хамло Витя Ширяев, до должности заведующего облоно добравшийся, увидев меня, заорал во всю свою начальственную глотку: «А ты-то что здесь делаешь?..»

По-настоящему горевал и сожалел о моем отъезде Назаровский, с которым мы не теряли связь до самой его кончины. Да ещё Саша Граевский. Остальные, пребывая в пьяном угаре, даже и не заметили, что я уехал, а некоторые и вздохнули с облегчением. Уж очень я их костерил и был для них как бревно в глазу.

Вот после литературных курсов-то и моего переезда в Пермь у меня и состоялся тот разговор с Клавдией Васильевной, о котором упоминает Рябинин в своей книге.

Видимо, тоскуя в одиночестве по людям и творческой среде, Клавдия Васильевна пришла в Союз, уже объединённый с домом журналистов, а там многолюдье, шум, дым и кто здоровался со своей литературной мамой, а кто и мимо пробегал, не заметив её. Я подошёл, обнял потерянно к стене жмущуюся и несколько подрастерявшуюся женщину, поцеловал её в щёку, чего прежде никогда не делал, отвёл её за руку к дивану, сел рядом и мы с нею проговорили с полчаса.

Я работал над первым вариантом — всего их будет восемь — «Пастуха и пастушки», весь был в этой во мне кипящей повести и рассказал о ней Клавдии Васильевне.

«Делайте, обязательно делайте. Тот рассказ, с которым вы справились вопреки моим опасениям, убеждает в том, что у вас получится и эта сложная вещь. Ну, я пошла», — довольная мной и собой (помогла человеку, хотя бы советом — такое уж назначение ей было от Бога) и на сборище не осталась, после которого, конечно же, намечалась пьянка — гремя бутылками, молодые ребята таскали ящики, молодые письменники Прикамья были уже навеселе, взвинчены, громкоголосы.

Я прожил на Вологодчине в уважении и почёте десять плодотворных лет и на родину, домой, вернулся «на белом коне»,

иначе сюда и нельзя было возвращаться, здесь тоже шёл затяжной провинциальный бой, и лютая посредственность с помощью крепкого, беспощадного крайкомовского руководства беспощадно давила всё талантливое и живое. Мне с уже утвердившимся авторитетом удалось переменить климат и творческую дремучесть сибирского города. Удалось в родном селе помочь построить сельскую библиотеку, лучшую В России; удалось выхлопотать и настоять, чтобы в селе была построена церковь; удалось остановить лесосплав на родной реке — Мане; нынче удалось издать в Сибири полное, пятнадцатитомное собрание сочинений и сделать для края много, что зачтётся перед Богом.

А остальное меня уже не занимает. Года влекут в тишину, к одиночеству и покою. Рядом жена и внучка. Дочь — чусовчанка, увы, уже одиннадцать лет лежит на горе, под овсянскими берёзами, и нам место рядом приготовлено.

Было бы хоть немного лучше в России, было б и на душе спокойней, а то всю жизнь в тревогах, заботах, словно с резьбы сорванные, крутимся, крутимся...

Сейчас пишу только для души, «затеси» пишу — изливаю душу на бумаге.

А книжка Рябинина мне понравилась. Читается легко. Из неё узнал многое из того, что мне было неизвестно о жизни литературного Урала и о Клавдии Васильевне, царство ей небесное.

Вот тоже пермский штрих. Приезжает в Быковку на охоту Лёша Домнин с кем-то и мимоходом говорит: «Ты знаешь, умерла Рождественская». Я в претензию: «Что же не сообщили? Я бы на похороны приехал». — «Да я и сам узнал об этом случайно», — беспомощно так произносит Лёша, добрый, компанейский мужик, но и забулдыжный тоже. Ох-хо-хо-о! Мать-Россия! Её и в самом деле ни умом, ни разумом не понять и не обнять.

Не сердитесь уж Вы на Рябинина-то. Всё же доброе он дело сделал. Я-то его почти не знал, мимоходно раскланивались и только, да он, по-моему, не очень и стремился в писательскую компанию — где-то мелькнёт, что-то молвит — и след простыл. Как писателя-то за Уралом почти никто его и не знал, и книжка его — это предел его творческих возможностей, даже меня удивлявших, но кое-где и порадовавших.

Может быть, мне ещё доведётся побывать в Перми, ведь что-то тянет, память зудит и точит голову, под сердцем порой становится сладко от воспоминаний. Счастливое свойство человека — забывать всё горькое в прошлом. Вот и я позабыл все горечи, испитые на Урале, помню только хорошее, и свет во мне идёт из прошлого далека.

Пусть всем, кого я знал и знаю, живётся хорошо, все будут здоровы, а те, кто переместился за город, все мои товарищи — соратники по труду, которых я навещаю каждый приезд, пусть спокойно спят и Господь охранит их покой.

Детям Вашим и внукам здравия и бодрости, мужу свету светлого. Вам хлопот поменьше и забот по сердцу. Уралу-дедушке всё того же величия и негасимого солнца над хребтом. Кланяюсь и обнимаю Ваш Виктор Петрович

17 марта 1999 г.
Красноярск
(Ю.Сбитневу)
Дорогой Юра!

Вот уж не думал, что вы сделались столь же неповоротливы, как и я. Тебя хоть сад, земля, изба держат в форме, а я ещё и растолстел, сердце забарахлило серьёзно, диабет привязался.

Но всё равно в прошлом году чтения провели. Обвал августа, конечно, помешал приехать издателям и редакторам, лишь некоторые, среди них и Лёня Бородин, приезжали на 2-3 дня, а люмпены литературные слетелись в кучу, пообщались братски, развеялись, подзарядились на жизнь дальнейшую, кто и на работу.

Сибиряки были почти все, кто не поддался классовому расслоению, собираются у себя кое-что сделать кемеровские, тюменцы, иркутяне. И осень была золотая в разгаре.

Всем участникам библиотека дарила, кто не приехал — отсылала моё собрание сочинений, которое, работая день и ночь без выходных, завершало наше издательство «Офсет». В день открытия чтений была в Овсянке, в центре села, на краю кладбища открыта церковка, что игрушка, и сразу село оформилось, заимело душу и Божий призор.

Я оставил девчонкам собрание и для тебя, надеялся, что отправили, а оно вон оно что. Но это сделалось нормой и в нашем селе, да и в городе — эксплуатировать меня, когда и моё имя, а как дело коснётся моих просьб, очень редких, тут тебе и заклинило. Но я разберусь и заставлю отправить тебе собрание.

На меня надвинулось бедствие — юбилей, что-то произойдёт и хорошее, как, например, постановка балета по мотивам «Царь-рыбы» нашего театра совместно с Большим театром. Постановщик и художник, ряд танцоров — из Большого, руководит постановкой Володя Васильев и сулится вместе с Катей *[Максимовой. — Сост.]* прилететь на премьеру 10-11 апреля. Издаётся полный каталог моих изданий в Государственной публичной библиотеке, и там же

намечается вечер встречи, на котором мне надлежит быть, это 25-26 апреля, ну а в остальном суета, отрывание рукавов. Хотел на Первомай в леса скрыться, а мне говорят: не выйдет, юбилей — это не только ваше мероприятие, оно, вишь ли, народное.

Ладно, бывало и хужее. В 44-м я забыл об дне рождения, такая была катавасия на фронте, а мне ведь исполнилось тогда 20 лет.

Жаль, очень жаль, что вы не приехали, билеты на вас были заказаны, здесь всё оплачивалось. Я думал крайнее — кто-то заболел опять тяжело, ну не сулил Бог, что тут сделаешь.

Целуем и обнимаем оба с Марьей, она держится из последних сил.

Преданно ваш Виктор

6 июня 1999 г.
Овсянка
(А.В.Астафьевой)

Дорогая Ася!

Юбилей мой сделался форменным бедствием, и я от него очухаться не могу до сих пор, хотя живу в Овсянке с 10 мая. Но и здесь достают, и здесь покоя нет.

В Вологде у меня никаких связей не осталось, кроме семьи сына, который спит и видит, как бы уехать в Пермь из этого ласкового города. Он уже давно полубезработный, и Татьяна, жена его, преподаватель, зарплату получает, как и все учителя. В Москве у меня тоже никого и ничего нет, и лишь в Петербурге нашлась зацепка. Живёт там и работает директором студии документальных фильмов Литвяков Михаил Сергеевич, он обещал что-нибудь для тебя придумать и сделать. Скоро он будет проводить очередной кинофестиваль и хоть временно пристроит тебя, включив в дело, а там, глядишь, и найдётся что-нибудь.

Ты ему позвони, скажи, что по моей просьбе звонишь, и он тебе скажет, что и как. В Питере тоже не просто устроиться, он мне говорил. Девушки со спецобразованием, со знанием языка обивают пороги разных присутствий, в том числе и студий, умоляя хоть о какой-то работе. Тяжкие времена на Руси.

Душа болит, и порой уж начинаешь завидовать мёртвым.

Я зимой маленько пописал «затеси», а то, не работая целый год, совсем осатанел. М. С. по-прежнему тянет ниточку жизни, с трудом тянет, ниточка готова в любую минуту оборваться. Полька домаяла 10-й класс и поступила в физкультурный техникум, больше её ни на что не хватает, а там все такие же, как она, старательницы. Хлопот и забот с ней прибавилось. Скоро 17 лет, а

ни ума, ни радения ни в чём нет. Бабушка замаялась с нею.

А в остальном всё на месте, не считая таких мелочей, как воровство ограды с могилы дочери. Но воров уже поймали, скоро суд будет.

В Овсянке всё по-старому. Библиотека работает с большой нагрузкой — туристы, школьники и праздники не дают им скучать, и праздников этих полно. Вот Пушкинские дни помпезно и шумно порой до неприличия сотрясают страну и народ, который везде пляшет и поёт.

Ну, целую тебя. Поклон матери и Зине. Ваш Виктор Астафьев

14 августа 1999 г.
Овсянка
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Вот уже несколько писем от тебя, да ещё и альбом замечательный из Ясной Поляны, сыдю, как Петро Николаенко говорит, и что-то никак склеиться не могу. Хоть и шутил Александр Николаевич Макаров, дружочек мой незабвенный, «инфаркт — залог здоровья», да не очень залог-то утешает, у меня он второй, голубчик, и после первого я ещё жеребятился, много работал, а сейчас едва хватает меня на письмо.

Поездка на Урал отпала, дай Бог при докторе, Марье и Андрее сплавать в Игарку. Что-то я по ней истосковался. На теплоходе, я знаю, будет покойно от погоды и пейзажей родных, давно знакомых, при виде которых всегда у меня душа плачет умилённо. Надеюсь на это, а пока вот жилы мне и Марье выматывали, восстанавливая оградку на могиле дочери, разграбленную в конце мая. Вчера закончили сей скорбный труд, немного отлегло, но погода у нас колкая, холодная, и меня ломает, может, и погодою.

Вышли мои «Затеси» в «Новом мире». Построгали их — всё ещё боятся коммунистов и генералов, может, и не напрасно. Знаю я тут одного генерала поблизости — страшный человек.

В огороде всё наросло хорошо, жаркий июль пошёл на пользу, а я в самую жару притухал в больнице, молил дождя, вот и намолил, впору просить И всех, кто выше него, прекратить эту благодать.

Был тут с фильмом Никита Михалков, навестил меня в больнице, сулился за счёт своих фондов и студии пристроить меня в сухой подмосковный санаторий, так, может, в октябре и поеду. Уж больно недомогаю, так и тянет прилечь, а надо бы ноги расхаживать, пущай и с палочкой.

Ребята зажили отдельной жизнью. Полька поступила в физкультурный техникум и по упражнениям имеет сплошные пятёрки, да это не диво, а диво то, что по литературе она сдала экзамен на четвёрку, уж так её Витька, видать, достал, когда и лупил, наверное, что сдала дивчина усе и теперь, говорит, мастером спорта будет. И пусть спорта, но не с понта только...

Уж в компании-то мне в Ясной Поляне не побывать, но если обыгаюсь в санатории, съезжу один, просто так. Володя Толстой пишет, мол, пожалуйста, в любое время.

Ну вот, уже устал, закругляюсь. Обнимаю тебя, целую многократно, спасибо, что не забываешь. Преданно твой В. Астафьев

P. S. А что это поэт и историк Золотцев на тебя подворотной собачонкой напустился? От чувства неполноценности или от врождённой злобы?

Очень хорошую я книгу пробил Алёши Решетова *[поэтический сборник, выпущенный редакцией журнала «День и ночь» в серии «Поэты свинцового века» (вып. 6), в 1999 г. Виктор Петрович был автором предисловия. — Сост.]*, попрошу Маню тебе послать парочку. Сам зачитываюсь и открываю Алёшу по новой...

6 октября 1999 г.
Красноярск
(Н.Гашеву)
Дорогой Коля!

Высылаю тебе десяток книжек Решетова и приложением книжку «затесей», изданную нашим издательством «Платина». «Затеси» здесь не шевелённые, не подрезанные в опасных местах, как это сделано в нашем целомудренном журнале.

Случилась беда: в тот период, когда издавалась книга, погиб в автокатастрофе директор завода, который поддержал это издательство. Оно много печатает (пусть и маленькими тиражами) всякой литературы, и хорошей, и плохой. Хлопцы стихоплёты местного разлива слетелись на халяву, как осы на мёд, начали издавать поэтический ширпотреб аж тоннами, до двадцати листов, вот мне и хотелось разбавить их настоящей поэзией, тем более что здесь его, Решетова, никто не знает, разве что бывший пермяк Ефимовский (директор Суриковской галереи), он сочиняет романсы на слова Решетова, получается у него просто дивно, если не перепьёт и орать не примется.

Коля! Тут в двух экземплярах я поправил пару ошибок. Как без них на периферии! Ошибки прошли с машинки, за Марьей Семёновной нонче глаз да глаз нужен, ты поправь в остальных

экземплярах и раздай книжки кому захочешь.

Хотел я послать в пермский Союз писателей пачку, да что-то глухо всё у них, и как они к этому отнесутся — не знаю. Посылал по их просьбе (а на все редкие просьбы пермяков я стараюсь откликнуться, обязан я многим Уралу и чувство вины перед ним в сердце ношу), так вот послал в возобновившийся альманах «Прикамье» уже давно, и ни слуху, ни духу. Коля Вагнер хоть изредка писал о делах пермяков, книги и газеты присылал, а сейчас, видать, в Союзе некогда посторонним делом заниматься, наверное, делят шкуру давно убитого медведя, пермскую литературу.

У меня, Коля, тяжёлый год. В июле, в самую жару приключился инфаркт, второй в жизни, и если первый (приключившийся, кстати, в Перми), я не заметил, то от второго не могу избавиться и до сих пор. Года, да ещё пучок других болезней. Естественно, ничего не мог делать, даже на большое письмо сил не хватало, и вот, приехав из деревни, походив в больницу на уколы, глотая по горсти таблеток, начинаю чуть-чуть приближаться к столу. Пробую раскачаться на воспоминания о Николае Рубцове, попишу «затеси», а там, съездив в санаторий, глядишь, и за роман примусь. Писать, оказывается, очень тяжело, много сил надо, вот к концу жизни начали руки неметь. Поэтому прощаюсь с тобой, желаю доброго здоровья и всего хорошего в этой расшатанной жизни. Кланяюсь. В. Астафьев

20 декабря 1999 г.
Красноярск
(семье И.Н.Гергеля)

Дорогой Ваня! Дорогая Тоня!

Вот и прожили ещё один год и избыли ещё один век самый, наверное, жестокий в истории человечества. Откровенно говоря, я и не думал, что доживу до конца столетия. Ведь выжить и прожить жизнь в нашей доблестной стране — большое везение иль несчастье, не знаешь, как и сказать. Но коли Бог сподобил нас жить и не только страдать, а иной раз и радоваться, будем ему благодарны за это и не станем уподобляться тому стаду, которое ни любви, ни благодарности не умеет испытывать. Словом, поздравляю вас с Новым годом, желаю, чтоб он был полегче предыдущего, а век наступающий помилосердней уходящего. И желаю здоровья, хотя бы относительного, хотя бы позволяющего своими ногами ходить и по больницам не валяться. Я вот почти всё лето пролежал в больнице, хватанул меня второй инфаркт, и поскольку наложился он на кучу старых хворей, то я до сих пор от

него не очухался. Начал ходить с палочкой, думал ненадолго, а нет, не получается пока свободного ходу. Надеюсь в январе съездить в подмосковный санаторий, подлечиться, и тогда, может быть, перестану горстью глотать лекарства и заброшу палку.

Марья тоже едва тянет свои дни, перестала совсем выходить из дома, часто её загоняет в постель больное сердце. Пришлось отделить внуков, потому как расти-то они растут, но как-то неохотно и вяло умнеют, а дурь всегда с ними. Купили им квартиру, выпотрошив всю казну свою, и даже машину продали. Ну, оно и к лучшему, меньше волнений, уедет внук — и думай, его ли разбили, он ли кого задавил, иль украли ночью. Всё хотим дожить спокойней свой век, да не получается. Ну да время уж такое нам выпало, что покой нам только снится.

Ваня! Тоня! Держитесь! Как ваши-то дети и внуки? Дают прикурить? Как вообще житуха в хлебном Оренбуржье? У нас всё очень дорого и как-то неспокойно. Край-то и прежде каторжным был, а ныне уж ни запоры, ни железные решетки людей не берегут.

Обнимаю и целую вас. Всегда и преданно ваш Виктор

2000 год

17 января 2000 г
Красноярск
(А.Ф.Гремицкой)
Дорогая Ася!

Со всеми тебя прошедшими великими праздниками и датами!

Я надеялся сам привезти тебе текст предисловия к «Поклону» и фотки, но у нас так засибирило, что из дома боязно высунуться, и когда я полечу в Москву, если полечу, не знаю. Поэтому высылаю тебе всё тобой просимое.

Я помаленьку да полегоньку разделываюсь с почтой, а хитренькая Марья задолго до нового года взялась за это дело и как человек, хорошо воспитанный советской властью и организованный военными рядами, всё и сделала заранее, а теперь говорит: «Мне ничего больше неохота писать». И остатки конвертов мне отдала.

Живём помаленьку, хвораем в меру. Новый год тихо-мирно встретили вдвоём, дома — и экая благодать, без шума, гама, наедине с жизнью и думами своими, не всегда уж весёлыми.

Я тут что-то взялся читать письма из 14-15 томов, и понял, как полно отражена в них жизнь наша и не только прошедшая, но

и бредущая ныне. Шибко интересные есть письма.

Маня книжку подготовила, и средства на неё есть, и работы тебе добавится. Но она сама об этом тебе на машинке настрочит. А я пока говорю до свидания. Преданно ваш В. Астафьев

3 февраля 2000 г.
Красноярск
(В.Самуйлову)
Дорогой Виктор!

У меня тут был затор из рукописей, и от них иль от военной раны воспалился глаз, а левый надсажен жизнью и литературой, вот и лежала твоя рукопись без движения. Лишь «Ваську Рыжего» я отдал в местный приличный журнал «Сибирский промысел» и, как член редсовета, договорился с «Новым миром», что отберу для него несколько Ваших рассказов, а может, и роман дам им читать после того, как прочту сам. Печатание в «Новом мире» — это пропуск в литературу достойный, журнал по-прежнему пользуется вниманием критики и читателей умного порядка.

Так что, если от меня не будет долго вестей, не переживайте. На будущий год будет пятьдесят лет, как я занимаюсь энтим делом, и всякого навидался и натерпелся.

Письмо Вы мне написали замечательно толковое, я его, если дело дойдёт до книги когда-нибудь, вставлю предисловием в назидание потомкам.

Низкий поклон Вашей жене. У меня жена — солдатка, вечный мой спутник и ангел-хранитель, да ещё помощник. Я когда-то вычитал у Даля: «Не у всякого жена Марья, а кому Бог даст», — зовут её у меня Марья Семёновна, обращался я с нею чаше как с батраком. Всё стерпела. Идёт пятьдесят пятый год, как мы вместе, и в этом не моя, а её заслуга. Слегла вот, и дома всё остановилось, даже письмо написать некому, и ничего я в доме не могу найти и сделать. Матерюсь уже про себя, а раньше поднимал пыль до потолка, орал, психовал, но и жалел бабу, старался радости хоть маленькие ей доставлять, «искупал вину», а она характеру твёрдого, хоть и ростом от горшка три вершка, своё тоже умела взять. Словом, как у Твардовского: «Дед мой сеял рожь, пшеницу и не ездил за границу... Пить — пивал, порой без шапки приходил, в ночи шумел, но взысканий, кроме бабки, ниоткуда не имел». А я ещё и за границу ездил, кажись, полмира обшастал, оставляя бабу одну с детьми, порой и со скудным содержанием. Это я к тому, чтоб Вы жалели «свою Марью», а слово «жалеть» в старой России означало ещё и любить.

Кланяюсь и желаю, чтоб зима была к Вам милостива, да не затягивалась. Ваш В. Астафьев

3 февраля 2000 г.
Красноярск
(А.Ф.Гремицкой)
Дорогая Ася!

Значит, передай денежки с Серёжей [*С. Кимом. — Сост.]*, и ещё тебе предстоит получка в «Новом мире». Они вместо третьего пустили воспоминания о Рубцове во второй номер, и он на выходе. Когда ты у них будешь, скажи, чтобы мне послали пяток журналов.

Выбиваю из «Офсета» твою получку, просто раньше я не знал, что тебе не доплатили.

У нас мороз и солнце, но чувствуется, что зима пошла на убыль. Мы с Марьей Семёновной попеременке перемогаемся. Едва ли я соберусь лететь куда-то, уж лучше залягу здесь на профилактику дней на 10-15, ближе к весне, а пока дюжим, боясь гриппера, никуда не вылазим.

Вот вышел у меня в Питере сборник в издательстве «Лимбус пресс», книгу сочли в «Книжном обозрении» лучшей книгой года, а я её в глаза ещё не видел. Не выдержал, написал сердитое письмо директору, какая-то дамочка писклявым голосом сообщила, что выслала бандероль с авторскими ещё до нового года. До се нет — это значит в экспедиции издательства, или они сами подумали и не сделали, иль, что ещё нередко случается, вместо Красноярска написали Краснодар. Ох, отвалю, раз отвалю... Палку надо, только из-под палки наша рать крепости берёт, перестройка проверила — никуда мы не годимся, кроме как в солдаты, колхозники и зэки. Советская власть и коммуния вся на них и стояла, ими строилась, ими дышала, держалась...

Ну, прости, разошёлся с утра-то. Силёнок поутру побольше. Вот и собираюсь вскоре с утра написать первую строчку в повести, а там уж дело само собой пойдёт.

Целую тебя. Не хворай! Виктор Петрович
3 февраля 2000 года (во, бля, дата, аж писать боязно!)

2000 г.
(Ю.Сбитневу)
Дорогой Юра!

Прошедший год был у нас довольно трудный. Оттого я и не писал почти никому, хотя все время шуршу бумагами, чего-то маракую, чем-то вроде бы всё время занят. Словом, научился быть занятым, по существу, ничего не делая. Пень колотить, день

проводить — это про меня нынешнего. За весь год написал с десяток «затесей» и заметки о Николае Рубцове (вышли во втором номере «Нового мира»).

Надоело читать то, что обычно пишут на Руси, погубив талант или, точнее, помогши ему погибнуть, превращая его в гения и херувима. Захотелось рассказать, что всё было гораздо сложнее и проще. Великие таланты плохо уживаются с Россией и в России, потому как надоели они ей. Она их рожает-рожает, губит-губит, а всё неймётся народу, выталкивает из себя не одну только грязь и мерзких вождей — но, хотя и редко, нет-нст и выбросит на русскую помойку человека, не желающего и неспособного ходить в строю. Его равняют, в ранжир ставят, а он выбивается и выбивается из рядов, тогда его нищетой, сумой или тюрьмой заставляют быть похожим на всех — тут и конец таланту, тут он, не похожий ни на кого, и должен либо подчиниться и влезть в стадо, либо погибнет, как погиб Николай Рубцов. Правда, кончина его по чудовищности редкостна и уникальна. Словом, посмотрите заметки, гам не только о Коле речь, но и обо всех нас, о нашей российской судьбе, похожей на Родину свою несчастную, нами же добиваемую, и добивание происходит и начинается с певцов, её любящих безмерно, о ней плакавших и плачущих. Да вот слёз-то наших никто видеть не желает, и не утрёт их платочком батистовым родная наша Русь, вот пинка под зад дать либо растереть, как мизгиря, по деревянному забору, — это всегда пожалуйста.

Чуть я не отдал Богу душу. Летом, в самую жару, случился инфаркт, это второй по счёту. Первый-то я, считай, и не заметил в шестьдесят молодецких лет, а вот второй, как ни вертись, 75 есть 75. Старость, соглашайся с ней, не соглашайся, и в эти годы болести, а их поднакопилось, тем более инфаркт, преодолеваются трудно, и хотя незабвенный мой старший друг Александр Николаевич Макаров, неудержимый хохмач, говорил, что инфаркт — залог здоровья, всё же не совсем он прав был. Вот уже и лето, и осень, и зима наступила, а я всё перемогаюсь, всё не налажусь никак. И налажусь ли? До конца, наверное, нет. Диабет привязался, пока ещё не крайний, не самый активный, но баловаться не даёт, особенно с едой. А уж выпить и вовсе шабаш. Маня говорит: значит, свою бочку выпил. Она у меня тоже едва тянет ниточку жизни. Уже было два инфаркта, и в клинической смерти на моих глазах она побывала. Боязно, страшно остаться одному, а ей одной. Нонче, в октябре, Юра, будет 55 лет, как мы вместе, это, паря, стаж по нынешним-то временам!

Она молится каждый день обо всех живых и мёртвых. Из всей её многочисленной семьи в живых осталась одна. Да и я

потихоньку-помаленьку стаскал остатки родни на новое овсянское кладбище. Осталось несколько двоюродных братьев и сестёр да родные по отцу сестра и брат, все уже тоже старики и живут-перемогаются.

Но что делать? Жизнь, увы, идёт в одну неизбежную сторону, Даже вон город моего детства — Игарка-то — умирает. И как трагически, как мучительно умирает. Такова, видимо, будет судьба всех советских городов, построенных на костях и без Божьего благословения.

Юра! Затеваются у нас третьи «Литературные чтения», в удобное время, на конец сентября, когда у вас сады, у нас огороды будут убраны. Я вношу вас с Майей в список, а сможете ли вы подняться — от вас зависит. На этот раз я уж заранее опишу вам, куда за билетами обращаться, как и с кем связаться, ибо понял, что Талеж — это как град Китеж и вы уже китежане, мохом заросшие, и вас надо за руку на люди выводить. Я сам такой, хотя меня и достают, и из дома выволакивают, аки старого кобеля в облезлой шерсти из конуры, но если долго никто не трогает, по телефону не тормошит, я и рад этому.

Будем рады повстречаться с вами, если доживём до встречи. Приедут и наши из Вологды — Андрей с женою, может, и внук приедет, он учится в МГУ на химика. Головастый парень и шибко самостоятельный, чего не могу сказать о двух других внуках. Отселил вот их, квартирку купили им вдали от нас, но достают, кровь пьют и живут на моём содержании. Полька учится в физкультурном техникуме, а тот ветродуй ни учиться, ни работать не хочет, гордыня его обуяла, по тонкому своему характеру дело найти не может. Но у всех свои беды, грехи и хлопоты. Иринки уж 13-й год как нету на свете, Витьке 24 года. Польке 17 — пора бы уж им на ноги встать, своим умом жить, своим трудом кормиться. Да куда там!

Ну, кланяюсь, обнимаю, целую. Храни вас Бог. Ваш Виктор

21 февраля 2000 г.
Красноярск
(В.Самуйлову)
Дорогой Виктор!

Ну, начитался я твоих произведений и могу сказать — ты есть большой молодец, вполне сложившийся писатель, который нос заткнёт многим нашим модным и превосходным литераторам.

Один у тебя большой недостаток, что простительно для начинающего, — ты совершенно не умеешь называть свои произведения. Но если учесть, что кудесник русского слова Иван

Бунин, за редким исключением, не умел назвать свои волшебные рассказы, то это грех искупимый, и тут я смогу и способен тебе помочь, ибо, придавая большое значение названию, всегда старался назвать свои вещи если не ново, то хотя бы оригинально, и доволен, что некоторые названия пошли в обиход.

Значит, теперь такое дело. Надо доводить работу до конца, в первую очередь с романом, произведением, по-моему, не только неожиданным, но и значительным на фоне той мазни, что написана о наших локальных войнах и в частности об Афганистане. Тебе, Виктор, на два-три дня необходимо прилететь в Красноярск для того, чтобы мы посидели вместе и довели до ума все твои произведения, в частности роман. Работа предстоит не очень большая, но необходимая.

Прилететь тебе надо бы до 8 марта, потому как в середине марта я отправлюсь в больницу на профилактику (у меня летом был инфаркт). Оно, конечно, можно и в больнице пообщаться, но всё же лучше дома. И с самолёта следуй ко мне домой, а я тебя определю жить в комнату приезжих в Союзе писателей, а захочешь — в гостиницу дуй, но очень они, суки, дорогие нынче. Твоего «Рыжего кота» я отдал в здешний журнал, взяли с лапками. Думаю, и остальная твоя продукция будет привечена в Москве и всюду и критикой будет замечена. Дай Бог!

Только не тяни, пожалуйста, ты уже не молод, но ещё много можешь сделать. При встрече поговорим о будущей книге. Будь здоров. Кланяюсь.

В. Астафьев

26 февраля 2000 г.
Красноярск
(Л.И.Бородину)
Дорогой Леонид!

Прочитал твою повесть о старшине Нефёдове *[«Повесть о любви, подвигах и преступлениях старшины Нефёдова». — Сост.]*, и словно кусочек сахара рафинада во рту растаял. Такая добрая и светлая литература, чуждая нонешнему времени, редкость, как редок бывал сахар в нашем детстве. Мне ещё интересно было читать твою повесть и потому, что сам я в прошлом железнодорожник и отношусь к дороге с тем же добродушным юмором, как и ты. А ещё интересна потому, что на станции твоей я бывал, водку на крыльце магазина пивал и, разгребя гнилушки, окурки, гондоны и прочий мусор, запивал ту водку, пригоршнями черпая байкальскую воду холодную. Я худ лёгкими, а Женя Носов с гнилым брюхом... Захворать бы, а ничего, выпили, заели водой и

хоть бы хны. Живал на этой станции в пустой казарме и Валя Распутин. А на пути в вампиловский дом пробовал меня утопить погубитель Саши, Глеб Пакулов, забулдыга и безответственный человек, каких всегда на Руси было много и нонче немало. Это мы на лодчонке вышли на волнорез, и Пакулов запаниковал, ожидал, что на выходе волна меньше. Фронтовик, опытом богатый, я показал ему кулак, и начал указывать рукою, чтобы он не пёр дуром на волнорез, а помаленьку, полегоньку сваливался с волны на волну, и к берегу спокойно рулил. Когда подвалили к берегу, он был бледен и мокр не только от брызг, но и от напряжённости, я ему внятно сказал: «Тебе что, твою мать, Вампилова мало?!»

Славная повесть, и по времени как яичко ко Христову дню. Совсем что-то поганством и красно-коричневым хамством захлестнуло изначально добрую и милосердную русскую литературу. Спасибо, брат. Давно со мною такого не было, чтоб повесть кончилась, а она кончилась хорошо, спокойно и вовремя, а я бы жалел, что вот и дочитал, и простился с хорошими людьми, с в общем-то славным и мало кому понятным истинно русским миром.

Писать о детстве из детства — такое наслаждение, сам его испытал, растянув работу над «Последним поклоном» почти на сорок лет. Затеваем мы третьи «Литературные чтения» в провинции на конец сентября, если сам не сможешь приехать, пошли кого желаешь из журнала. Приглашения пришлём непременно. Здоров будь! Храни тебя господь.

Твой В. Астафьев

Марья болеет, напечатать моё письмо некому, уж разбирай сам мои каракули.

2 марта 2000 г.
Красноярск
(В.Я.Курбатову)

Дорогой Валентин!

Вчера пришло твоё письмо и бандероль от Гены Сапронова с копией твоей статьи. Оба, с Марьей, мы прочли её и нашли замечательной. А что предисловий не читают, то и правда и незнание «ндравов» нашего народа. Преподает иль, по-учёному, «читает» литературу в нашем университете Галина Максимовна Шлёнская, бабиша здоровая, отважная, ума — палата. Я иногда, к сожалению, редко, с нею встречаюсь, её подъелдыкиваю. Так однажды слушали мы вместе художественно-сценическое чтение столичным приличным гастролёром «Руслана и Людмилы», и по окончании, отхлопав в ладоши, Галина Максимовна сказала: «Две

неточности допустил чтец». А я ей: «По-моему, одну», а она мне: «Нет, две!» и давай на ходу читать поэму, да ещё попутно почти всего Пушкина прочла. Однажды я с нею ездил в Канск, где она в местном пед. колледже подрабатывает, ибо сын с невесткой сотворили дитя и подбросили ещё грудного бабушке с дедушкой, вот она и вкалывает на трёх работах, чтобы прокормить семью. Поражённый глубиной её знаний, уму и памяти незаурядного человека поклоняясь, я признался ей, что всегда сожалел, что не поучился ни в каких университетах и страшно завидую тем студентам, которые учатся у неё уму-разуму, внимают ей и самосовершенствуются, подталкиваемые и подпитываемые ею.

«Ох, Виктор Петрович, Виктор Петрович! Как Вы наивны! Да нужна я кому-то со своими знаниями? А что в университете не учились, может, и к лучшему...» Горько мне было слушать это и тяжело, тогда я сказал: «Г. М., ну восемь-то иль девять человек есть, которые вас слушают и которым нужны Ваши знания?» — «Да, есть, но восемь или девять — не больше». — «Ну так вот для них и читайте, им себя и отдавайте. Вы думаете, в аудиториях дореволюционных сплошь Писаревы, Плехановы и Менделеевы сидели? Да на одного умного там сто дураков сидело». — «Ну спасибо, утешили».

Вот и тебе я хочу сказать и тем утешить, прочтёт десяток человек твоё предисловие — и то хлеб, а я думаю, книжку в таком составе будут читать много и многие, глядишь, и в предисловие заглянут. Слушайся, критик! Сам себе этакую профессию выбрал с Божьей помощью. Как говаривал чистой и великой души человек, мой тесть, когда мы с ним чистили сортир: «Надо и эту работу кому-то сполнять».

Вот ты уж и пенсионер. Поздравляю, паря! Оно, конечно, ещё столько же набавили б, так не ошиблись, но надо ж властям самим шиковать и пировать, на всех средствий не напасёшься.

Мы потихоньку перевалили зиму с солнцем, с искрами снега под солнцем, но вот «отпустило» и начался повальный грипп. Стараемся никуда не ходить, но вовсе-то сидеть дома невозможно, в магазин, на почту надо, а тут вот ТЮЗ наш затеял спектакль по «Звездопаду», 5 марта премьера, как тут в гущу народа не залезешь. Театрик слабый, был я на репетиции-прогоне, заскучал и заскулил, но ладно — ребятишки нищие старались, уважать нужно этакий, почти подвижнический, труд.

Прочитал в десятом номере «Москвы» повесть Лёни Бородина и словно свежим воздухом дохнул иль кусочек сахару пососал, так славно, так светло, так дружелюбно к народу своему написал бывший зэк, что всё мокро под носом утёр всем этим ёрникам-новаторам, издевающимся над словом, над собой и ближними

своими. Ещё прочёл в «Нашем современнике» потрясающие стихи омича Кутилова, погибшего рано и бесславно на улице в качестве бродяги. А ко мне вот пришла книжица «Письма к Ней» как ответ на мои сетования по поводу того, что кавалера Де Грие нету. Написал их Вася Емельяненко, бывший лётчик, Герой Советского Союза. *[Книгу писем крохотным тиражом выпустила в Санкт-Петербурге М. Айнбиндер, адресат посланий В. Емельяненко. — Сост.]* С виду нашенский, лапотный мужик, всю жизнь писал письма любимой женщине, но судьба не дала им возможности соединиться. Его четырежды сбивали на «Ильюшине», а я его эксплуатировал беспардонно, пользуясь благорасположением ко мне. Как не могу улететь в Вологду из-за отсутствия билетов, так звоню ему, он садится на свою «Волгу»-танк и мчится в Быково меня выручать. Однажды нас подловили, сраму подвергли и меня, и Героя. Стоим, морды в землю упря, швыркаем носами, а нас отчитывают, а нас страмотят.

А он, Вася, вон любимой своей по-аглицки письма шпарит, ноты шлёт с собственными сочинениями, ибо попутно с военной академией ещё в консерватории учился. Консервы, стало быть, военные делал.

Вот чтобы этих унижений более не было, надо перетерпеть всё. Правда, мы народ такой изобретательный, что вместо прежних унижений придумаем новые, во стократ лучшие. Ну хотя бы те, которым подвергаешься ты и вместе с тобою домашние твои, да и вся литература отечественная. Вышли у меня две роскошно изданные книги в Москве и Питере. В Москве — роман, в Питере «Солдат» и рассказы. Так ведь пока не написал и раз, и два, и три, ни авторские, ни деньги не присылали. Из Москвы, из издательства «Терра», хоть позвонили, извинились, а Питер, как в старину говорили, «о нас ноги повытер».

Может, и ладно, что ты не собрался к нам. Поля у нас животом заболела, у невестки в Вологде подозрение на страшную болезнь, мы с Маней ложимся попеременно в постель. Я собираюсь в больницу, на профилактику, плохо со зрением стало, и ноги отказывают, надо подлечиться.

На конец сентября мы планируем третьи чтения и, если ничего тебя в жизни не перебьёт и не затянет, милости просим. Я-то уже на так далеко не загадываю, но повидаться охота, а желание жилу крепит, сил придаёт, говорят шибко умные люди.

Если не смотрел, то загляни во второй номер «Нового мира», там мои заметки о Рубцове, а в общем-то — о России и обо всех нас, горьких жителях этой неприкаянной отчизны. Ну, что-то я разболтался, аж рука занемела. Обнимаю, целую, кланяюсь домашним, Марья делает то же самое. И прости, что редко пишу.

Хочется, но текучка и душевная смута не подпускают к письму человеку, которому и без моих нытий тошно.

Бодрись. А мне рыбалка каждую ночь снится, соскучился по речке, по бережку, по катерку, по ушке, да мало ли по чему хорошему можно соскучиться и память почесать, но и то хорошо, что есть, по чему скучать, и вспоминать тоже есть что.

Храни тебя Бог! Твой Виктор Петрович

5 марта 2000 г.
Красноярск
(В.Самуйлову)
Дорогой Виктор!

Нашему Серёге *[Задерееву. — Сост.]* уже нельзя и стыдно жить в Красноярске, вот он и подрядился сопровождать Серёгу другого, Кирюшкина, в Норильск: под покровом заполярной ночи жить можно удалённо и незаметно.

Что они там тебе наговорили — не знаю, но раз отодвинули твою поездку, значит «поруководили» маленько. Задереев, и улетая, мне не звонил (а когда я ему нужен, будет трезвонить без устали), и по возвращении голоса не подаёт. Или охрип от холодной водяры, или решил остаться в сопредельном государстве Таймыр в эмиграции.

Сегодня у меня премьера по старой пьесе, в ТЮЗе, и Гена Сапронов, издатель из Иркутска, приезжает, а после восьмого марта приду в больницу. В прошлом году по весне не сходил на профилактику, вот и получил инфаркт. Это второй, а третьего мне не перенести, лета не те и жгучее желание жить (какое было на фронте) подъистаяло, хотя вот солнце по-весеннему засветилось и что-то внутри встрепенулось вместе с геморроем.

Давай долго не затягивай и в конце марта прилетай. Если я ещё буду в больнице — она рядом с домом, и в палате я обычно нахожусь «в рабочей», то есть один, и в самом деле там прежде много работал, «хвосты подбирал», а то и сочинял какую-либо «лёгонькую» литературу для развлечения, вроде «затесей» (смотри «Н. мир» № 2 за нонешний год).

Самое отрадное, что ты мимоходом сообщил в конце письма, что есть у тебя деньги на книгу, а то я при соображении, у кого в Норильске их просить «под тебя». Но в Норильске я был один раз, проездом на туртеплоходе, связей у меня с ним никаких не было, слава богу, в прошлом, и нет в настоящем.

Издателя, и хорошего, я тебе подыщу и, может быть, уговорю свою московскую редакторшу работать с тобой *[А. Ф. Гремицкую. — Сост.]*, хотя она и загружена по маковку. Её школа тебе очень

бы пригодилась. Я с нею работаю уже сорок с лишним лет и счастлив, что мне так в жизни повезло. Сейчас она работает с Марьей Семёновной над изданием её юбилейной книги. Мария постарше меня и в августе ей стукнет 80 лет. Между стиркой кальсон и варением щей, так я просмеиваю её, она тоже пишет и издала уже штук 14 книжек, есть такие, которые и читать можно, но я-то далеко не всё у неё читал. Зато она читала и печатала у меня всё, иной раз по 12—14 раз «Кражу» иль «Пастушку». Сам я печатать не умею, не способен научиться некогда было.

Кланяюсь Лизе за то, что она тебя терпит, знаю по Марье, как это нелегко. И тебе кланяюсь. В. Астафьев

Перед прилётом обязательно позвони, ведь звонят, кому не лень и коп не просят. Скорой Вам весны!

23 апреля 2000 г.
Красноярск
(семье И.Н.Гергеля)

Дорогой Ваня! Дорогая Тоня!

Вот и весна! Снова весна. Дотянули, допыхтели. Видел по телеку, что вас там залило и затопило, надеюсь, хоть на острове под названием проспект Ленина вы усидели? Вас не смыло? Слышал, что дизентерия в Оренбуржье поднялась — это уж итог всякого бедствия и войны, непременная эпидемия. Но нынешняя наука, от советов оставшаяся, способна справиться хотя бы с дриснёй. С туберкулёзом вот уже не справляются — это болезнь социальная, неблагополучие общества, загнавшего себя в яму.

На Новый год я писал вам большое письмо и чувствую, что вы его не получили. Предупреждение Ивана о том, чтоб посылать письма заказные, я получил уже после отправки своего письма. К нам ещё письма ходят и доходят, у нас, стало быть, ещё хоть какой-то порядок существует, а посмотрел я в телевизоре на рожи орских руководителей и понял, что они сплошь разбойники и проходимцы, и при них может быть только разбой и полный бардак.

Мы живём, Ваня и Тоня, так же, как и вы, то есть перемогаемся, тянем с трудом ниточку своей жизни. Да и то сказать, мне через десяток дней пойдёт 77-й годок, а Марье в августе стукнет аж 80 лет. она ныне всё чаше и чаще норовит прилечь, а ведь всю жизнь была на бегу, в работе, в заботе... С трудом перезимовали. Зима у нас была суровая, и Бога да власти благодарим за то, что нас не заморозили, как многих жителей, и в квартире было тепло. Я после инфаркта всё ещё не отошёл, почти ничего не пишу, собираюсь после Дня Победы в деревню, может,

на огороде отойду и возьмусь и за работу. Только что вышел из больницы, месяц отлежал, стали плохо ходить ноги, село зрение и слух, плохо дело с кишечником, но ничего, ещё потянем маленько.

Со всеми вас праздниками, дорогие наши, и прежде всего с Пасхой и Первомаем, да и с горьким Днём Победы тоже. Здоровья и здоровья! Никто из наших фронтовиков ко мне более не пишет, видно, совсем одряхлели.

Обнимаю, целую. Ваш Виктор

5 мая 2000 г.

Красноярск

В газету "Вечерний Красноярск"

Горькое чувство стыда, неловкости и беспокойства заставило меня взяться за перо в связи с поднявшейся в последнее время волной злобы, захлестнувшей наш город и земляков моих.

Как будто люди совсем забыли заповеди Христовы и из них главную из главнейших: «Не судите, да не сулимы будете». Запамятовали они в годы коммунистического режима выстраданную страшную поговорку: «Кто в тюрьме не был, тот будет, кто был, тот не забудет». И древнюю русскую, оказалось, вечную пословицу забыли: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся».

Мы его и без того прогневили, нашего Господа, крепко и надолго: повсеместные пожары, наводнения, крушения поездов, падения самолётов, взрывы на газопроводах и в домах; волна убийств, возврат изжитых вроде бы болезней — туберкулеза, тифа, холеры: подкравшиеся к нам страшные беды — наркомания, СПИД, поголовное пьянство. Это ли не гнев Божий, карающий нас за нечестивые деда и помыслы?

Привезли человека, перед которым ещё недавно заискивали и просителями были многие горожане. Посадили в тюрьму несколько недавних сильных мира сего, заподозренных в мздоимстве и нечистых делах. Их преступления нужно ещё доказать. Если виноваты, судом праведным упредить тех, кто жив и желает жить нечестно, кто жирует на бедах людских и норовит вырвать кусок у ближнего своего. Не забывая при этом, что за скамьёй подсудимых и за всесильным креслом судьи, карающего нечестивых, стоит всезрячая. нетленная тень, напоминая о том, что «все мы, все мы в этом мире тленны».

Злорадствовать же, бить лежачего — распоследнее, гнусное дело, и с торжеством отрезать головы жертвам свойственно лишь диким племенам.

Кажется порой, люди забыли об этом. И губернатор наш *[А.*

И. Лебедь. — Сост.], ещё недавно проявлявший терпимость и снисхождение к «чирикающим» на телевидении и по радио мальчикам и девочкам, говоривший твёрдо: «Они хотят вывести меня из терпения. Не дождутся!» — не всегда умеет подняться над казармой.

Выше, всегда выше всего этого надо быть Вам, Александр Иванович! Должность к этому, обязывает, огромная ответственность, возложенная на вас народом. И вослед моему вам поздравлению с юбилеем напоминаю о том, что вы хоть и генерал, и губернатор, но тоже смертны, и я это по себе знаю, что после пятидесяти лет годы катятся под уклон очень быстро.

Я порой думаю: неужели тяжкие времена и страшные беды нас, русский народ, ничему не научили? Неужели коммунистические головорезы и костоломы, желающие нового помрачения российского разума, новой свалки и братоубийства, снова затмят, зачернят наш здравый смысл, с таким трудом, через такое горе, через такие громадные потери к нам возвращающийся? Неужто мы окончательно заматерели и погрязли во зле?

Новой смуты, ещё одной свалки нам не пережить, не хватит на это наших ослабевших, редеющих рядов, повреждённого, если не надорванного российского здоровья.

Не поддавайтесь тёмным сатанинским силам, русские люди! Постарайтесь жить по справедливости, быть милосердными друг к другу и нетерпимыми ко злу, разрушающему души. Не гневите Господа!

В. Астафьев

21 мая 2000 г.
Красноярск
(А.Бондаренко)
Дорогой Алёша!

Так я и не выбрался в Овсянку. 11-го звонил, чтобы сказать тебе спасибо и попрощаться, но мне сказали, что ты уже уехал. Очевидно, подвернулся транспорт. Все ещё здоровье у меня барахлит, но завтра улетаю в Москву на наделю, на международный конгресс Пен-клуба. Мог бы и не лететь, но я три года не был в Москве, и накопилось много неотложных дел. Огород в деревне обещают посадить Галя и Катя, наверное, в выходные эти и посадят, потому как второй день держится хорошая погода. Бог всё ещё не оставляет русский несчастный народ без своих милостей, ведь не дай и не приведи Господи остаться людям без огородины, без овощей — голод поголовный

будет.

Сестры чего уж посадят, то и ладно, грядку моркови, грядку свёклы и чеснока, да картошку закопают, и у меня душа ныть перестанет, что огород пустует, как у распоследнего пролетария.

Вручили премии моего фонда, в том числе Погодаевской школе, чему я безмерно рад. Ребятишки и учителя приезжали славные. Девчушки, сплошь красавицы, поплясали, попели в платьях и нарядах, ими же шитых. Вася Сидоркин был на вручении, я просил его позвонить тебе. Но дозвонился ли — неизвестно, так я от себя благодарю тебя, что не забываешь старика и добра, хоть и немного тебе сделанного. Добро добром отзовётся.

Ты, наверное, сейчас уже вкалываешь на своём огороде или, приведя в порядок дачу, уже заканчиваешь роман. Дай тебе Бог здоровья и помощи во всех твоих делах и помыслах.

Мария Семёновна очень переживает, что я лечу в Москву, пробовала даже шумнуть, но я ей говорю, что отправляюсь в столицу, наверное, в последний раз, и она смирилась, как всегда, собирает меня в дорогу и ворчит о моей беспечности, чтоб чего не забыл. Вот соединила судьба чёрта с младенцем, и ничего, в октябре будет уже 55 лет вместе. Часто стали мы с ней вспоминать прошлое, горькое, трудное, а всё же лучше нынешнего подлого. Помнишь ли Некрасова: «бывали хуже времена, но не было подлее»? Что бы сказал великий поэт-страдалец о временах нонешних? Обнимаю тебя. Твой Виктор Петрович

6 июля 2000 г.
Красноярск
(В.Самуйлову)
Дорогой Виктор!

Твоё письмо пришло, когда я находился в больнице с подозрением на самый тяжкий диагноз. Обошлось, но и при болезни присутствующей радости тоже мало, а хлопот много. Меня лечат дома, в том числе иглоукалыванием. Помогло, однако, лечиться надо с полгода, чтобы был результат. Но ладно, о наших годах и хворях ни разговаривать, ни слушать никому не интересно.

Хотел я тебя назвать мудаком, да перед Лизой неудобно, и есть, как я понял, на той земле, где ты обретаешься, много желающих так тебя назвать. Зачем ты рукопись отправил с кем-то? В результате рыбину мы получили, а рукопись до се где-то плавает, и ладно, если выплывет. Я уверен, что люди, нас

окружающие, всегда готовы посчитать рыбину ценнее рукописи. Надеюсь, хоть второй экземпляр или черновик у тебя есть?

Ужасно я расстроился, ужасно. Из больницы в Овсянку со «своими» людьми переслал я два рассказа на компьютер (задумано три), и экая канитель поднялась, едва рукописи нашлись. А тут пришёл человек, сунул рыбину и сказал М. С: «Это Вам из Дудинки от какой-то девушки». И всё, как в воду канул, ни спросить не с кого, ни позвонить некому.

Я всякие времена пережил, во всяких русских дырах и дремучих углах пообретался, но рукописи всегда посылал только по почте. И ни одна, слышишь, ни одна из них не потерялась, а вот с нарочными, да ещё с друзьями посылал, те и забывали их послать или передать, и вовсе по пьянке теряли. Тебе мой большой отчёт.

А на теплоходе совместно с Вами поехать мы не можем. Ты же знаешь, что М. С. из дому не выходит и мечтает на первый случай дожить до своего 80-летия (22 августа). У неё вышла превосходно изданная юбилейная книга, она её тебе подарит, как ты у нас объявишься. С 22 по 30 сентября намечаются у нас третьи провинциальные «Литературные чтения», и тебе надо бы как-то изловчиться побывать на них. Будут и умные люди, надо их послушать, а то в своей сторожевой будке совсем ты потеряешься и всякие ориентиры жизненные утратишь.

Ну ладно, я всё ещё не очень работоспособен и на долгое сидение за столом непригоден.

Обнимаю тебя, если можешь, позвони и скажи, где и у кого рукописи. Виктор Петрович

26 июля 2000 г.

(С.Новиковой)

Дорогая Светлана Александровна!

Уже давно получил Вашу книжку, но прочесть её никак не удавалось, суета, болезни, слабеющее зрение и графоманы, ломящиеся в дверь, не оставляют времени на чтение.

Книжку-документ, пусть и тысячным тиражом, Вы бросили в будущие времена, как увесистый булыжник, как ещё одно яркое свидетельство наших бед и побед, не совпадающее с той демагогией, что царила, да и до се царит в нашем одряхлевшем обществе, одряхлевшем и грудью, и духовно, и нравственно. Нужная, важная книга. Конечно, те, кто бегает или уже ковыляет с портретиками Сталина по площадям и улицам, никаких книжков не читают и читать уже не будут, но через два-три поколения потребуется духовное воскресение, иначе России гибель, и тогда

будет востребована правда и о солдатах, и о маршалах. Кстати, солдатик, даже трижды раненый, как я, на Руси ещё реденько, но водится, а командиры, маршалы и главные и неглавные давно вымерли, такова была их «лёгкая» жизнь, да ещё этот сатана, за что-то в наказание России посланный, выпил из них кровь, укоротил век.

Я был рядовым солдатиком, генералов видел издали, но судьбе было угодно, чтоб и издали я увидел командующего 1-м Украинским фронтом Конева, и однажды — во судьба! — совсем близко под городом Проскуровом видел и слышал Жукова. Лучше б мне его никогда не видеть и ещё лучше не слышать. И с авиацией мне не везло. Я начинал на Брянском фронте, и первый самолёт сбитый увидел, увы, не немецкий, а нашего «лавочкина», упал он неподалёку от нашей кухни в весенний березняк, и как-то так неловко упал, что кишки лётчика, вывалившегося из кабины, растянуло по всей белой берёзе, ещё жидко окроплённой листом. И после я почему-то видел, как чаще сбивали наших, и дело доходило до того, что мы по очертаниям крыльев хорошо различали наши и немецкие самолеты, так свято врали друг другу: «Вот опять хераknулся фриц!»

История с Горовцом не так хорошо выглядит, как в Вашей книге, он действительно сбил 9 самолётов, но не только Ю-873, но и других, и на земле были те, кто не сбил и единого, и они его послали в воздух тогда, когда предел его сил кончился, и к вечеру он был сбит и обвинён в том, что, упав в расположении врага, сдался в плен. Справедливость восторжествовала спустя много лет, восторжествовала по нелепой случайности, и когда на Курской дуге ставили памятник-бюст Горовцу, приехала одна мать, а отец сказал: «Они его продали, нехай они его и хоронять».

«Балладу о расстрелянном сердце» написал мой давний приятель Николай Панченко, он живет в Тарусе, под Москвой, почти уже ослеп. «Сталинград на Днепре» — документальную повесть — написал Сергей Сергеевич Смирнов, она печаталась в «Новом мире», а отдельного издания я и не видел.

О-ох как много мне хотелось бы Вам сказать, но на большое письмо меня уже не хватает, и я просто целую Ваши руки и прикладываю ладошку к тому месту, где сердце Ваше, столь вынесшее невзгод и выдержавшее такую работу.

Да, конечно, все войны на земле заканчивались смутой, и победителей наказывали. Как было не бояться сатане, восседающему на русском троне, объединения таких людей и умов, как Жуков, Новиков, Воронов, Рокоссовский, за которыми был обобранный, обнищавший народ и вояки, явившиеся из Европы и увидевшие, что живём мы не лучше, а хуже всех.

Негодование копилось, и кто-то подсказал сатане, что это может плохо кончиться для него, и он загнал в лагеря спасителей его шкуры, и не только маршалов и генералов, но тучи солдат, офицеров, и они полегли в этом беспощадном сражении. Но никуда не делись, все они лежат в вечной мерзлоте с бирками на ноге, и многие с вырезанными ягодицами, пущенными на еду, ели даже и свежемороженые, когда нельзя было развести огонь.

О-ох, мамочки мои, и ещё хотят, требуют, чтоб наш народ умел жить свободно, распоряжаться собой и своим умом. Да всё забито, заглушено, и истреблено, и унижено. Нет в народе уже прежней силы, какая была, допустим, в 30-х годах, чтоб он разом поднялся с колен, поумнел, взматерел, научился управлять собой и Россией своей большой и обескровленной.

Почитайте книгу, которую я Вам посылаю, и увидите, каково-то было и рядовым. Моя Марья, комсомолка-доброволка, и я, Бог миловал, ни в пионерах, ни в комсомоле, ни в партии не состоявший, хватили лиха через край. Баба моя из девятидетной рабочей семьи, маленькая, характером твёрдая, и все тяжести пали в основном на неё. Умерло у нас две дочери — одна восьми месяцев, другая 39 лет, вырастили мы её детей, двух внуков, но всё остальное Вы узнаете из книжки. И простите за почерк, пишу из родной деревни, а Марья с машинкой в городе, я и печатать-то не умею.

Низко Вам кланяюсь. Ваш В. Астафьев

2000 г.

(Т.А.Журавицкой)

Дорогая Татьяна Алексеевна! Таня!

Простите этих охламонов сибиряков и меня тоже, если можете, за то, что так они неповоротливы. Долго мне передавали Вашу посылочку с письмом, кассетою и рекламкой, долго я собирался её прослушать, но вот приехавши в родное село, в нашей великолепной, но бедной библиотеке прослушал её вместе с мною любимыми работницами нашей библиотеки.

Всё нам очень пришлось по душе, особенно то, что Вы поёте не затасканные романсы. Есть среди них давно мною любимые и когда-то много с друзьями петые «Глядя на луч пурпурного заката», «Не слышно шума городского» и другие.

Кассету я оставил в нашей библиотеке, где хранится много моего заветного и где есть работник, специально занимающийся мною и моими реликвиями.

Когда-то я близко дружил с Викторией Ивановой, писал даже о ней. Она бывала у нас дома, а я бывал у неё. Очень любил и до се часто слушаю Галину Кареву, её последний муж, Владимир Фетин, снимал фильм по моей «Царь-рыбе». Из мужиков-певцов любил и дружил с Евгением Нестеренко, уральцем Юрой Марусиным, а ныне люблю и, когда он приезжает домой, вижусь с Димой Хворостовским.

Филармония у нас мобильная, ребята в ней молодцы. Может. Вам приехать на гастроли в наш город? У нас есть так называемый зал малый на 500 мест с прекрасной акустикой и оформлением, не оскорбляющим глаза заезжего певца иль музыкального светила. Дима Хворостовский всегда поёт в нём.

А я пишу Вам после лежания в больнице, отчего раньше и не написал, но уж ничего, начал работать и вот даже на письмо время выбрал.

Посылаю Вам свою последнюю, недурно изданную книжку и вкладываю в нес визитку с адресом, на который жду ответа и подтверждения, что книга до Вас дошла.

Низко кланяюсь и благодарю за пение. Ваш В. Астафьев

7 сентября 2000 г.

Овсянка

(Н.Гашеву)

Дорогой Николай!

Очень не ко времени явилась твоя повесть ко мне. Но, преодолевая недомогания, сквозь слёзы конъюнктивита, я всё же прочёл повесть, отложив все свои дела.

Повесть, на мой взгляд, не получилась, она долго раскачивается, начавшись вроде бы драматично и строго, расползается на необязательные, вторичные дела и совсем уж утомительную болтовню. Где-то страницы со 150-й вроде бы начинается действие, но нарочитость, заданная персонажам, мешает и тут. Совершенно дикие, психологически неподготовленные и просто плохо написанные дела насчёт культа Сталина, но главное, не верится, как это с ходу, с лёту престарелый мужчина совратил, пусть и экзальтированную девицу.

Персонажи, присутствующие в повести, все какие-то неестественные, все на краю жизни и психоза. Во второй части и без того неорганизованный материал вдруг делает броски в сторону, то с рассказом про козу, то про собачку. Любовь, отношения между мужчинами и женщинами написаны скучно, бесстрастно, поэтому и повешение Юльки не потрясает, как не потрясает и смерть Саньки, вдруг объявленная в конце. Тогда уж надо сообщить хотя бы о судьбах главных героев и как-то выстроить повесть так, чтобы читатель догадался, кого, что ждёт впереди.

Много, много нарочитости. Хвалить автора всегда легче, чем бранить, но иначе я не умею, профессиональный опыт не позволяет опуститься до каких-то дежурных комплиментов.

Обрати внимание на срок — четыре года после войны, кажется, к этой поре карточки отменили, во всяком разе хлеб по коммерческой цене уже продавали в 47-м и 48-м году. Сашу Ефимовского приплёл ты зря. Он ведь долго работал в пермской галерее и в Красноярск попал чуть раньше меня. Уточни год выхода на экраны «Падения Берлина». Насчёт катания на трупах, как на салазках, я слышал, но нигде не читал — это требует большой деликатности и мастерства исполнения. Не доводи до парадокса главные образы Прокопа и Памти. Ребятишки кроме футбола знают много других игр и забав, и не долдонь насчёт украденных яблок, их на Руси только ленивый не воровал.

Марья Семёновна не может прочесть рукопись. Она всё ещё не оклемалась после юбилея и видит ещё хуже меня. Будь здоров. Кланяюсь. В. Астафьев

9 сентября 2000 г.
Овсянка
(К.Ю.Лаврову)
Дорогой Кирилл!
И чего ты спешишь меня догонять? Конечно же, 75 лет — это

и подарок от Бога, и нагрузка от жизни. Наверное, из 75 лет все 50 ты проработал на сцене? Усраться можно! Это ж сколько ты испытал всего: и огорчений, и счастья, и предательства, и любви. Один мой любимый артист, не имеющий привычки дурно говорить о людях, тем более о театре, который он назвал приворотным зельем, однажды, когда я уж слишком елеем разлился насчёт театра-то, вдруг сорвался: «Да театр — это такая помойка, где все нечистоты, вся грязь, всё дерьмо свалены в яму». Я очень удивился, тем более что подобной тирады он нигде более не повторял и при мне ни разу не вскипал.

Конечно же, доля твоя завидная в том, что ты большую часть артистической жизни провёл и проработал под крылом Товстоногова в одном театре, а вот та часть жизни, когда тебе невольно пришлось его заменять, тут уж только вздохнёшь и весь поникнешь от сочувствия к тебе. Как, наверное, тебя не ели, а медленно сжёвывали в Питере и сладострастно облизывались. Больно уж время-то злое наступило, и лживости, лицемерия не убыло, а прибавилось. Несчастья, без конца происходящие в России, обнажили всё наше уязвлённое и изъязвлённое нутро, всю гнилую требуху наружу вывели. Вон какой шум и гам подняли насчёт подводной лодки «Курск», а когда утонул «Комсомолец», сообщили нам через шесть лет, и ещё несколько подлодок лежат на дне, о них ни слова, будто там не наши парнишки лежат. И никто, я уверен, никто не додумался помогать их семьям, тем более оплакивать их, просить у них прошения, как это сделал хитромудрый Егор Яковлев печатно, благо, что печать своя, собственная.

Вздохну с облегчением, если узнаю, что в честь юбилея тебя освободят от тягчайших обязанностей худрука театра, и «Зенит» снова выйдет на международную арену, и ему повезёт больше, чем в нынешнем году.

А я чего-то давненько уж и нудно недомогаю, работать напряжённо уже не могу, вот и с письмом закругляюсь. Я давно, по-мужицки железно люблю тебя и желаю, чтобы ты когда-нибудь побывал у нас. Я же на подъём сделался совсем тяжёл, поэтому обнимаю тебя и к сердцу прижимаю, хотя бы письменно. Ты жилист и крепок будь, не играй больше смертей ни на сцене, ни в кино. Что-то роковые эти игры сделались для артистов. Живи долго и хорошо. Покоя тебе душевного и мира вокруг. Всегда твой В. Астафьев

13 сентября 2000 г.
Красноярск

(А.Ф.Астафьевой)

Дорогая Ася!

Давно, очень давно лежит твоё письмо на деревенском столе. Я его то терял, то находил, вот нашёл снова, а скоро пора ехать на зимние квартиры, и я уж более не стану откладывать ответ. За это время я два раза повалялся на больничной койке и подвергся таким исследованиям, что не приведи Господи. От непроходимости заболела прямая кишка — это плюс к инфаркту, диабету и прочим прелестям, подозревали худшее, но пока не подтвердились опасения. Кое-что подладили, но главное, научили, как с собой и требухой своей управляться, вот и управляюсь все лето. Оно у нас было шибко худое — дожди, дожди и холодно. Всё лето топил печь, потом обострение бронхита схватил — простыл средь лета.

Конечно, если бы я мог тебе помочь деньгами, то откликнулся сразу бы, да увы и ах, заработки прозаика, даже интенсивно печатающегося, сошли почти на нет, а деньги, что были на счету, пропали в период обвала, а тут ещё забота — внуков отделили, квартиру покупали, продали всё, что можно было продать, даже машину, оставив гараж на чёрный день. Да и вологодскому внуку, что учится в МГУ, приходится помогать, родители не тянут этой лямки. Андрей почти без работы, Таня учительствует, едва тянет дом свой, оба тощие, на вид больные, хотя и не жалуются. Приезжали на юбилей М. С, ей стукнуло 80 лет. Нам помогли провести скромно юбилей, самим было не справиться. М. С. издали солидный том, пусть и маленьким тиражом. Она в деревне не бывает, совсем сдала, из дому выходит очень и очень редко, по крайне надобности.

Твоя новость насчёт смены фамилии меня почти не удивила, это ожидалось, мама-то всегда была с авантюрным уклоном. Но, если тебе так лучше, удобней жить и способней устраивать свои дела, ради Бога делай, как тебе хочется, только особо не афишируй мои прошлые грехи. Но девка ты при уме и, думаю, на такую дешёвку не пойдёшь.

Собрался я было в Петербург на юбилей Лаврова, старого моего приятеля, ему 15 сентября 75 лет, но брюхо болит, в серёдке ноет, куда уж там, дальше Овсянки не потянуть. Уже два лета на рыбалке не был и страсть как по лесу тоскую, но ноги совсем плохо ходят из-за диабета, ладно хоть за столом могу чего-то делать, написал вот несколько давно задуманных рассказов, один пойдёт в конце года в «Н. мире».

Пока до свиданья, кланяюсь твоим старикам, желаю вам доброго здоровья. Миша Литвяков должен быть у нас в конце месяца и всё остальное расскажет. Целую, твой В. Астафьев

29 октября 2000 г.
Красноярск
(В.Самуйлову)
Дорогой Витя!

Подряд два одинаковых от тебя письма пришло, одно, видимо, Лизой подписано, другое тобой. Всё правильно. Я отсюда, из глухой провинции, живя ныне в отрыве от всех и от всего, мало чем могу тебе помочь. Бейся с журналами сам, как и я бился когда-то, и не сразу, но всё же пробивал их, что ты можешь узнать из моих комментариев к собранию сочинений.

Однако разговаривал я тут со старой своей редакторшей, давно уж работающей в журнале «Знамя» зав. отделом прозы, и заикнулся насчёт твоего романа. Она сказала: «Пусть присылает», а это значит, что рукопись не попадёт в самотёк.

А что сорвался и запил, это дело хозяйское, но если по-мужицки рассуждать, то и ни к чему бы, уже не маленький, чтоб в непотребном виде две недели на бабе виснуть и хворать. А точнее, куражи наводить, роже-то потом совестно, куда её отворачивать-то? Меня в былые дни удалые более чем на двое суток не хватало, контужен, и то, бывало, от Марьи Семёновны не знал, куда морду деть, готов был сквозь землю провалиться.

И вообще ребятки, в основном, подивили меня в этот раз. На прошлых чтениях тоже гуляли, да не так же уж по-чёрному, а тут мои подшефные Березовский, Пчёлкин и полдюжины с ними не в состоянии были из номера гостиницы вылезть. Спрашивается, зачем приезжали? Можно ведь и дома хорошо напиться. На Мишу Кураева не равняйся — в него входит три литра, и от этого у него только нос ещё более картошкой делается и голос громчеет. Он родился и взрос в наиблагополучнейшей семье, с детства кормили пряниками, и 30 лет служил на «Ленфильме» редактором, где прошёл сильный практикум по употреблению спиртного.

Думай и складывай книжку, добывай денег на её издание, скулить некогда будет, пить тем более. А я через пару дней уезжаю в санаторий «Загорье», что в двухстах верстах от Красноярска, вернусь в конце ноября, если дома всё будет нормально. И тоже буду составлять и издавать новую книгу, написал за лето рассказов и «затесей» на целую книгу *[сборник рассказов и затесей «Пролётный гусь» (Иркутск, «Издатель Сапронов») выйдет в конце апреля 2001 г. и станет последней прижизненной книгой писателя. — Сост.]*.

Вот пока и всё. В тундру писателей не зови, народ

канительный, ещё замёрзнет который, тебе переживанье лишнее будет. Оно, конечно, их многовато развелось писателей-то, а всё же...

Обнимаю тебя. Кланяюсь. Виктор Петрович

5 декабря 2000 г.
Красноярск
(А.Ф.Гремицкой)

Дорогая Ася!

Ну, прежде всего тебя, Мишу всех твоих деток, больших и малых, поздравляю с Новым годом, прежде всего желаю чтобы никто не болел и не кашлял. И ты чтоб могла приехать на четвёртые наши чтения, осталось-то всего ничего, каких-то года полтора.

Конечно же, зять твой знал, чем меня взять, посылая свои вопросы вместе с твоим письмом. Я же не могу тебе отказать. Писать и говорить о России сейчас очень трудно. Прежде всего встает во весь рост вопрос, а есть ли она, наша матушка-Россия? Может, мы и не заметили, как Родина наша ушла из-под наших ног и мы в какой-то огромной воде, называемой океаном жизни, болтаемся на одинокой льдине, гадая, когда она развалится и потонем мы все, иль нас всё же прибьёт к какому-то обитаемому берегу. Всё дурное и тёмное, что скрывалось под тёплой шубой так называемого мира земного, прихлынуло к нам, и мы всё это дерьмо заглотили из любопытства и недоразвитости своей духовной — деревню захлестнуло пьянство, города, в том числе и провинциальные — наркомания. СПИД, туберкулёз и полное нежелание этому сопротивляться, спасать себя и страну трудом и радением. Непросто мне будет написать в «Россию», время нужно. Отписаться, отговориться, как многие сейчас делают, это бы зело просто, да с годами приходит уважение не только к слову, тобой изреченному, но и к собственной персоне. На старости лет критически озираешь свой путь и то, что нагородил в словесах, часто безответственно, на ходу, лишь бы отвязаться, отбрехаться.

Все мои новые рассказы идут в первых номерах «Нового мира», «Знамени», «Москвы», а я так разошёлся, что написал ещё один и на подходе второй, да и «затеей» не оставляю, мучаю Марью, которая стучит на машинке, как дятел, чего стучит, напишет тебе и сама.

А я вас всех обнимаю, целую и люблю. Преданно ваш Виктор Петрович

9 декабря 2000 г.
Красноярск
(А.М.Борщаговскому)

Александр Михайлович, здравствуйте!

С Новым вас наступающим годом! Здоровья! Ладу и складу в жизни, да чтобы вокруг просветлело хоть немного.

Повод писать вам возник у меня после прочтения статьи о фильме вашего зятя *[фильм Алексея Германа «Хрусталёв, машину!» — Сост.]*. Сам я фильм не видел, болел в то время, когда он у нас прокатывался, но прочёл о нём много и в основном чепухи. Но вот наша провинциальная бабёнка написала как мне кажется толково, хотя папу Юрия и зря припутала. Многие из нас были соцреалистскими сычами, он хоть талантливым был и то слава Богу.

С болью и кровью отдирается от нас и из нас так называемый советский человек, а как с болью достаётся это мне, увидите в новых рассказах, которые я напечатал после тяжёлого инфаркта, приучаясь почти заново к столу. Идут они в первых номерах «Нового мира». «Знамени» и «Москвы».

А как вы живёте-можете?

Кланяемся дружно я и Марья Семёновна, ей стукнуло 80 лет и 55 лет нашей совместной жизни, сдала она сильно, да и мне особо хвалиться нечем. Обнимаю, В. Астафьев

22 декабря 2000 г.
Красноярск
(семье Сбитневых)

Майя и Юра, приветствую Вас и поздравляю с Новым годом, желаю самого главного — доброго здоровья.

Письмо от тебя, Юра, пришло, когда был в санатории, в местном, далеко уж не рискую ездить, и у том санаторьи прихватило меня здорово, хотя никаких внешних причин к этому не было. Спиртное я уже давно не принимаю, за едой заставляет следить диабет, при котором одни становятся лучинкою, других, в том числе и меня, несёт в толщину, От этого и одышка, и все последствия. Да что о здоровье говорить в моём-то возрасте, маленько раньше надо было его беречь. А ещё в вологодских болотах по пояс в ледяной воде таскался на тока и, что есть колдун, добыл двух глухарей и обоих вечером на подлёте. Опытный же охотник, стрелок — на моё горе, ни хрена не добыл, хотя и стрелял наутро, но попал в птицу плохо, и она улетела от него в глубь болот.

Однако ж, год не работавши по-настоящему, летом я

раздухарился и написал шесть давно носимых в подбрюшье рассказов да «затесей» с десяток — вся эта продукция идёт в первых номерах журналов «Новый мир», «Знамя», «Москва». И ещё вот два черновика рассказов выдал, кажется, удалось мне наконец-то написать без потуг на изысканную художественность и кустарное изящество, стал писать как рассказывать — просто, доступно и внятно. Ну посмотрим, что из этой простоты выйдет, может и пустота.

Из твоего письма я понял, что вы не получили приглашения на третьи литературные чтения. Сам я подготовкой почти не занимался, деньги давали отдел культуры нашей администрации, мин. культуры и ещё кто-то, они и списки утверждали, так, наверное, вас и похерили. Теперь сие мероприятие в четвёртый раз пройдёт через два года, и если доживём до этого времени, авось удастся вытащить вас из берлоги под названием Талеж.

Марья моя в августе отвела своё 80-летие, ей издали хорошую книгу к юбилею, а в октябре мы отметили 55 лет совместной жизни. Эка жизнь-то летит! Сейчас, как ни гляну на старое фото, кругом меня покойники обступают, иногда и жутковато, а каково старикам, кто доживает до 90-летия! Ужас и кошмар!

В остальном жизнь идёт без особых перемен, внучата уже выросли, пробуют жить отдельно, и им кажется, что так оно и есть, но кормить и одевать надо их нам, иначе сдохнут.

В деревне, на огороде, вырос у меня лес, птицы его посещают, осенью и белка была. Огород-то лесом, конечно, задавило, ели выше дома, лиственницы и кедры чуть помене, но один кедр уже плодоносит, много калины, рябины и всякого куста. Стол под калиною ютится, кто ещё может пить, бутылки на него ставят. Только вот народу с каждым годом ломится в ворота всё больше и больше, порой работать днём невозможно, а вечером по-стариковски манит в постель.

Ну, Юра и Майя, здоровы будьте. Ваш Виктор

2001 год

4 января 2001 г.
Красноярск
(В.И.Самуйлову)
Дорогой Витя!

Давненько уже прочёл твои рассказы, да что-то со здоровьем не очень хорошо, и всю почту сложил пучком на столе, аж страшно становится, как подумаю, что надо бы отписывать хоть какие-то ответы.

Рассказы твои, как всегда, написаны мастерски, но ты начинаешь перепевать самого себя. Как бы тебе поглубже уяснить, что твоя излюбленная тема о мужике-алкаше с похмелья тобою исчерпана до дна, и не надо больше себя и машинку мучить пьяной чернухой, тем более что в современной литературе это тема эксплуатируется широко и давно. Видно, людям не о чем писать.

«Чика» твоего напечатали в последнем номере «Дня и ночи». Как-то бы тебе собрать до кучи рассказы про кота Ваську, «Чика», про тундру этюды и сделать из этого книжку, а то, я гляжу, ты пишешь, будто в прорубь снег валишь и всё это под лопату попадёт. Пособраннее бы тебе надо быть, издать роман, рассказы. Сейчас к литературе, особенно для детей, просыпается новый интерес и даже возрождается издательство «Детская литература». Есть у меня и фамилия редакторши, с которой ты мог бы работать.

Извини меня, и Лиза пусть извинит, что не поздравил вас с Новым голом. Накануне хоронили моего глухонемого брата, видимо, я простудился и даже Нового года, боя этих самых курантов не дождавшись, отправился в постель. И вот только-только подымаюсь, но руки дрожат и «гуляют», поэтому много писать не могу. Рад буду, если хоть эти каракули разберёте.

Обнимаю тебя, кланяюсь Лизе и надеюсь, что в этом году ты свои бумаги сложишь в книжку. Здоровы будьте, не замерзайте. Что-то зима взялась за нас всерьёз и разом. Ваш В. Астафьев

Январь 2001 г.

(А.Ф.Гремицкой)

Дорогая Ася!

Вот. отправляю тебе часть своего бреда для твоего зятя. Надо будет — ещё отправлю после того, как вернётся в Овсянку моя печатальщица из отпуска и изладит мне экземпляры.

Что-то страшенные морозы, на нас обрушившиеся, совсем нас в загогулины загнули. Мне бы надо в больницу отправляться, а там студёно, вот и ошиваюсь дома, кашляя и сморкаясь, да иногда на Марью поворчу, а она на меня. Так и идёт жизнь разнообразно.

Писать больше не стану, рука «гуляет», и без того мой каллиграфический почерк неразборчив, зато страстен.

Целую тебя, Виктор Петрович

23 марта 2001 г.

(В.Юровских)

Дорогой мой Вася!

Давно уже получил твою книгу и письмо, а теперь вот поэтическую книгу твоего дружка с письмом. Помнится, лёжучи в больнице, сочинял тебе ответ, а отписал или нет, сейчас уж запамятовал. И здоровье, и память дряхлеют так, что не взыщи и не обижайся, если я надумал чего-то, а на бумагу не выложил.

Рад, что ты жив и относительно здоров, что ещё помаленьку пописываешь. А кто и зачем сейчас станет много-то писать? Кому это нужно?

Стихи твоего дружка ничего, местами трогают душу, но в большинстве своём за ограду областного огорода не перелезают. Сейчас много пишется и ещё больше издаётся стихов, у меня уж мураши в плохо видящих глазах от букв и слов, мною читаемых.

Сам я после тяжёлого инфаркта год ничего не мог писать, но вдруг летом понесло меня. Дождливо было, холодно, и что остаётся писателю, коли он водку перестал пить? Только марать бумагу. Написал целую серию рассказов, их все напечатали в первых номерах журналов и последний в «Огоньке» № 7, да ещё и «затеей» пописал в усладу души. Дотянул вот до весны, у нас снегу навалило после морозов — горы и тоже, как у вас в Зауралье, предвещают потоп. Может, гидростанции, мною проклятые, сдержат напор воды. Но уж когда они, как чугунные горшки переполняются, тогда несёт вся и всех куда-то в тартарары.

А как твои лесные и ягодные дела? Я-то в лесу уже не бываю, ибо хожу с палочкой, года три уж удочки в воду не обмакивал. Во дожил до точки! А душа рвётся в деревню. Там я насадил в огороде лес, он вырос выше дома, и один кедр уже плодоносит, по кустам птички ведутся, в прошлом годе белка наведалась, на пихте шишку пошелушила. Этим и утешаюсь. А окрестности все застроены домами, так что и идти-то некуда, все детские поляны и деревца иль порублены, иль загажены, иль огородиной засажены. А крестьянские избы и пашенная земля пустеют. Во дела!

Целую тебя, Виктор Петрович

30 марта 2001 г.

Красноярск

(Ф.Штильмарку)

Дорогой Феликс!

Получил второй том «заповедников» *[«Заповедники Сибири», т. 2. — Сост.]* и снова подивился, какую же чудную планету,

какое прекрасное обиталище подарил Господь этой неблагодарной, звероподобной свинье, что от рождения своего подрезает корни под собой, похабит землю, которая его кормит, терзает прекрасный лик матери-природы.

Теперь уж и не знает, как убрать за собой говно, как избавить от надвигающейся гибели это двуногое существо, смевшее называть себя разумным, чтобы погибнуть в безумии. Вот к нам, в такой дивный край, на берег великой реки, волокут радиоотходы, уверяя всех, что это спасительное благо для России. Вернуть землю, определиться с крестьянами-кормильцами, которых сами же разорили, не могут уже, так хоть корку, из щелей чужого стола выковырнутую (неразборчиво) и ещё какое-то время посуществовать. И никому из человеков нет дела до человека, ввергнутого в беду. Так и живут по железному коммунистическому закону — отбери хлеб у ближнего своего, и пусть он умрёт сегодня, а я подохну всё-таки завтра. Безбожники! Неблагодарные твари с тёмным рассудком, они всё же доконают жизнь на Земле.

Я лежал в больнице и довольно долго, на сей раз как-то совсем противно, со всяческими нехорошими предположениями, которые пока не подтвердились, но чувствую себя всё ещё хреново, какое-то странное недомогание, меняется давление, из высокого сделалось низким, тянет в сон, вот и сплю почти сутками, ничего не делаю, настроение аховое. Весна вот наступила после могучей зимы, это и радость, что скоро в деревню, может, уберусь и там совсем высплюсь да за работу возьмусь. В прошлом году из-за дождей и холодов столько понаписал, что все толстые журналы первые номера позаполонил, да и тонких прихватил.

Я не понял, Феликс, куда я должен написать насчёт книги отца *[речь идёт о мемуарах отца Ф. Штильмарка, романе-хронике «Горсть света», выпущенной в Москве в 2001 г. издательством «Терра». — Сост.]*. Комитета по печати нынче нет, власти, ведающие книгоиздательством, где-то есть, но где? В издательства? В «Терру» я могу написать, там меня издавали и вроде бы положительно ко мне относятся. Но есть конторы и издательства, где моё обращение не только не возымеет никакого действия, но ещё и навредит, особенно если эти конторы и деятели, ведающие ими, красненького цвета.

Напиши, пока на огород не смылся или в какую-нибудь тайгу не наладился. Нынче всё по маковку завалено снегами, ждут потопа вселенского.

Ну, обнимаю тебя и желаю доброго здоровья. Как твои ребятишки? Как собачонки? Горе им в Москве-то. Твой В.

2 апреля 2001 г.
Красноярск
(А.Бондаренко)
Дорогой Алёша!

Был у меня в больнице журналист, славный парень, прекрасный фотограф, и сказал, что, поклонившись тайге и попросив у неё прощения за шум и урон, ты вернулся домой.

И вот уж апрель на дворе, у нас кругом вода и у вас, я думаю, тоже, скоро и май, мечтаю, с нетерпением жду, когда окажусь в Овсянке. Нынче, наверное, постоянно там быть не смогу, Марии Семёновне всё хуже и хуже. Где-то числа 10—11-го я думаю быть в деревне и возьму с собой обогреватель, потому как и в избушке, и в избе печи неисправные. Тут нашлись огородники знатные и вызвались посадить и облагородить мой огород, и тебе дело найдётся, да ты и сам его найдёшь.

Никуда мы не выходим, съездили лишь на открытие краеведческого музея. Вот где тебе надо непременно побывать, для романа твоего нужно, всё воочию увидишь, что описываешь. А я чувствую, что ты припал к столу, как к той женщине, которая умеет не только в огороде и библиотеке работать, но и везде, куда её приставят.

Кстати, в Овсянке за зиму я был только два раза, завалило её снегом по маковку, никуда ни проехать, ни пройти. Пошёл уже четвёртый месяц, как умер Алёша, душа моя по нём изболелась, как-то я плохо себе представляю — приеду в Овсянку и не повидаюсь с ним.

Что делается в миру и за дверью моей квартиры, не знаю. Вроде бы готовится грандиозное собрание в Союзе писателей, на которое я уже не приду, и ещё из телека узнал, что Васю Сидоркина тягают в суд за вертолёт. То ли ещё будет, коли он вынужден работать под одной крышей с ворюгой-коммунистом.

Я очень радуюсь, что дотянул до весны, очень, зима была такая длинная, что вроде я и не знавал такой в своей жизни. Ну, обнимаю тебя. Твой Виктор Петрович

9 апреля 2001 г.
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!

Твоё письмо подвигло и меня взяться за ручку. Совсем обленился, сплю напропалую днём и ночью, ни хрена неохота

делать, так зима лютая обезжирила нас здесь, так она, проклятая, всех измотала, вроде бы уж 11-й месяц идёт и почти каждый день напоминает о себе. Я уж вроде бы и не верю в то, что вот через месячишко с небольшим соберусь в Овсянку. Был там за зиму всего два раза, снегом всё завалило, даже к избушке моей не проехали, грядёт потоп. Правда, ночи холодные, так все надеются, что за ночь выморозит всю сырь, накипевшую днём.

И я поздравляю тебя с Пасхой, с этим так и оставшимся с детства в памяти таинственно-торжественным праздником. И хотя ещё затемно при наступлении иль накануне Пасхи стреляли у нас по всем улицам и переулкам, это не пугало, а заставляло замирать сердце от чего-то непонятного и тайного, чего боишься и ждёшь. Как сон, как что-то загадочное в тень прошлого откатило всё это, жизнь сделалась обнажённой и утратила все и всякие таинства.

Если соберёшься ко мне в деревню, буду очень рад, может, Гена Сапронов возьмёт расходы поездки на себя или как аванса под будущие твои труды выдаст. У нас здесь тебя вспоминают добрым, тихим словом. А организацию нашу тихой и притырившейся красноте всё же удалось разделить, такой базар открыли, какой только большевики и их выкормыши и способны устраивать. Я сказал этой лохматой, провинциальной, творчески иссочившейся шпане, что более на их собрания приходить не буду и как-нито проживу без них.

Послезавтра заездом из Новосибирска будет у меня Гена Сапронов с уже подготовленной книжкой, которую он намеревается выпустить к дню моего рождении. Я этому рад. надоело мучиться с переизданиями, какая-то давняя усталость накопилась, уже и книги смотреть неохота.

Убывает моя родова. Перед Новым годом умер самый мне близкий и любимый человек — Алёша глухонемой. Умер, как и жил, незаметно, во сне, хотя мог бы ещё жить и жить, ведь всего 70 лет ему исполнилось. Как я теперь в деревне буду чувствовать себя без Алёши? Ведь я знал, что вот он, всегда рядом, неосознанно ждал его, и празднично было на душе, когда он. открыв дверь, сиял и раскидывал руки для обнимания: «О-о, Витя-а!» Мы похоронили его на овсянском кладбище, собиралась вся уже немногочисленная родня, и все горько плакали по Алёше. Как много и щедро он был одарён от Бога душевностью, наделён трудолюбием и любовью ко всем нам.

Марья Семёновна всё недомогает, и как я смогу её в городе оставить, ума не приложу. Я вот, лёжучи в больнице (в середине зимы), взбодрился настолько, что решил тебе звонить и звать тебя в Пермь, но потом раскис и тоже послал лишь телевизионное

приветствие Жене *[Широкову. — Сост.]*. Я думаю, там и без нас народу наберётся достаточно, а что интриги всколыхнулись в Перми, так там почему-то без них никак не могут обходиться. Прислали мне оттудова альманах «Пермь третья», пухло, неряшливо и шибко провинциально вы глядящий, да ещё два таких альманаха, «Литературная Пермь», ну хоть как-то шевелятся и слава Богу. Нету ныне там коня, который бы взвалил на себя воз местной культуры и литературы в том числе, да и тащил бы его, что бурлак на просоленной от пота лопоти, не рассчитывая на благодарность, но получая напутственные пинки.

А я премию получил, братец мой! За «Гуся», напечатанного в «Новом мире». Премия приличная. Ася Гремицкая сулилась описать мне все события, но, видно, вконец забегалась со своими трудами да с моими торжествами *[деньги в счёт премии были получены уже после кончины Виктора Петровича. Но ещё при жизни театр-студия Олега Табакова за этот же рассказ наградил Астафьева премией «За великую любовь к людям». — Сост.]*.

Очень жаль Валентина *[Распутина. — Сост.]*. Ему как-то трудно всегда давалась и даётся жизнь, и вот старость подкатывает с такими бедами. Я тоже стал совсем плохо видеть, читаю — глаза слезятся, и понимаю, какая это беда, потеря зрения для человека вообще, а для человека пишущего — тем более.

Ну, дай Бог тебе всего хорошего, главное, здоровья. Кланяюсь, обнимаю. Виктор Петрович

19 апреля 2001 г.
Красноярск
(С.Н.Асламовой)
Дорогая Светлана!

Получил «Сибирячок» и твоё пространное письмо, сам же пишу коротенько, что-то совсем меня замотали больницы да болезни. Вот завтра поеду на обширное обследование после месячного пребывания в больнице. Ничего не пишу, да и охоты нет. посылаю вот тебе обрывки из отрывков, написанных прошлым летом, может, чего и сгодится.

Журнал «Сибирячок» держится бодро, он именно то, что нужно малым детям, о которых, как и об остальных, никто не думает и не заботится.

Ох, какое это тяжкое дело быть беспризорным. Не дай Бог познать эту горькую долю, полную неприкаянности, постоянного гнетущего чувства одиночества, покинутости. Только щенята, выброшенные на улицу, ощущают это полностью. Если б наше

общество, породившее такое беспредельное сиротство, исправилось и прибрало беспризорных детей, многое Господь простил бы нам. А так, среди многих тяжких грехов, мы не избудем и этот. И ещё матери-одиночки, неслыханное горе наше и позор, и ещё эти девчонки, на ходу, под кустом иль под лестницей поимевшие грех и не понимающие, что с ними произошло, выкидывающие плод блуда и греха на помойку, — это-то как избыть, как отмолить?

И я боюсь, что с твоим уходом «Сибирячок», если ты не найдёшь на замену такую же сумасшедшую бабу иль мужика, скоропостижно скончается.

Были у меня тут по осени люди из «Мурзилки», и у них дело едва держится, а в провинции, глухой и болтливой, кому нужны добрые дела?

Ну, держись, пока можешь. На будущий год увидимся, придёт черёд четвёртых литературных чтений в провинции.

Рад, что у парня твоего всё хорошо в армии, а то ведь сейчас и им-то беспросветно, душно и одиноко.

Во, блин, боролись за свободу, получили её сверху, а она не наша, не нами добытая и оскалилась, аки вольный голодный зверь. Ну, никто как Бог, может он нам выдал последнее испытание на живучесть и право именоваться человеком. Кланяюсь, целую. Виктор Петрович

15 июля 2001 г.
Красноярск
(М.И.Айнбиндер)
Уважаемая Мириам!

Не гневайтесь на меня. Учусь писать после тяжёлого инсульта. *[21 апреля у Виктора Петровича случился инсульт. — Сост.]*. Книгу прочитал сразу же с восторгом и гордостью за Васю *[речь идёт о книге писем В. Емельяненко к Мириам Айнбиндер «Письма к Ней». — Сост.]*. Хотел сразу же написать Вам и попросить нынешний адрес Васи, но болезни одна за другой и работа над последней книгой не оставили мне времени. Книгу сделал, и вот инсульт. Учусь всему — есть, ходить в нужные места. Возвращается память и язык. Книгу выслать не могу, она в деревне, где я не был с прошлого лета, и когда попаду...

Одна обида, что Вы, как советский простой обыватель, упрекнули меня Толстым, у которого был секретарь, поместье, деньги на житьё и полный дом челяди.

Больше писать не могу. Ещё раз простите. Поклон Васе, которого я любил и прежде, а теперь преклоняюсь перед ним. В.

31 сентября 2001
Красноярск
(И.Н.Гергелю)
Дорогой Ваня!

В конце апреля у меня случился инсульт, отнялась вся левая половина, сел слух, ослабло зрение. Сейчас я снова начинаю учиться жить, и писать тоже. Оттого я так давно тебе не писал. До конца я так и не восстановлюсь... Бывал на крике отчаяния, если б водился дома пистолет, оборвал бы все эти мучения, ведь жить-то не могу — мысль опережает руку, пробовал диктовать на диктофон, получается чужой текст, ждать, когда восстановится работоспособность, а зачем? В доме более или менее порядок, но это в городе, а в деревне я так за лето и не побывал, без деревни жить не могу, да и не хочу. Вот такие мои дела, брат. Книга, которую я тебе посылаю *[сборник рассказов и затесей «Пролётный гусь». — Сост.]*, взяла мои последние силы, от неё и слёг.

У меня внук остался без работы, внучка учится в техникуме второй год на одном курсе. Кормлю и их, куда денешь, или книги переиздать — хоть немного, но всё ещё платят. Лекарства дорогие, вот беда. Ну пока, целую Вас всех. Вечно Ваш — Виктор. Прощай, однако

14 октября 2001 г.
Красноярск
(А.Ф.Гремицкой)
Дорогая Ася!

Прости, что с большой задержкой отправляю тебе предисловие к «Последнему поклону». Худой я стал работник, учусь заново писать, каждая строка даётся с большим напряжением, но всё же помаленьку налаживаюсь, обещают через год вернуть меня в строй — прошло полгода *[Виктор Петрович уже практически был прикован к постели, и предисловие (уместившееся на одну страничку) к переизданию самой своей любимой книги «Последний поклон» стало и последней страницей его творчества. — Сост.]*.

В ноябре я уйду в больницу на реабилитацию, говорят, там творят чудеса, поживём — увидим, а пока надвигается зима и дай Бог сё перемочь. Твой Виктор Петрович

29 ноября, в 5 часов утра Виктор Петрович умер в своей красноярской квартире.

Через несколько месяцев после похорон Виктора Петровича Мария Семёновна попросила меня приехать в Красноярск, чтобы помочь с архивом. Несколько дней кряду мы разбирали и перекладывали многочисленные семейные фотоальбомы, папки с оригиналами рукописей, читательскими письмами, теперь, за жизненной чертой писателя, требующие другого порядка и расположения на полках семейного архива. Тогда-то Мария Семёновна и показала мне эти листочки, написанные Виктором Петровичем в разные годы ещё задолго до своего ухода. Это были его завещания и распоряжения близким и друзьям на случай смерти, может, и внезапной, ведь тяжкие недуги сопровождали его многие годы нелёгкой жизни.

Работая над составлением этой книги, я поначалу хотел поставить их в хронологическую цепочку эпистолярного повествования, но думаю, что поступаю правильно, выводя эти тексты за пределы времени земной жизни Виктора Петровича, потому как любое завещание открывается после ухода написавшего его.

Все эти тексты даются по времени их написания.

Г. Сапронов

1987 г.

Дорогая Марья Семёновна!

Андрей! Ирина! (нет уже Иры!*) Поля! Таня! Витя! Женечка! Ольга! Арсений! Анатолий!

В грустный для меня день пишу я это письмо — умер наш однополчанин Равиль Аббасович Абдрашитов, в Темиртау, а я заказал себе, как падёт первый боец «из наших», так значит это сигнал к тому, чтобы оставить (успеть оставить) всем вам моё, высоко говоря, духовное завещание.

Но перед этим я напомню вам ещё раз имена своих однополчан, чтобы вы помнили их, если меня не станет раньше их, и поминали добрым словом, а при случае и цветы положили на их могилы

Раньше всех я познакомился, точнее, судьба меня свела с Петром Герасимовичем Николаенко. Мы прошли с ним 21-й пехотный полк, 22-й Новосибирский автополк, 92-ю

артиллерийскую бригаду.

Гергель Иван Николаевич живёт в Орске. мне довелось его раненого вынести с поля боя в буквальном, а не в «книжном» смысле этого слова, и потому он первым, ещё в 1946 году, нашёл меня. Сошлись мы с ним весной 1943 года под Калугой, в 92-й артбригаде, ранен он был в Польше, возле речки Вискош.

(*)Эта приписка сделана Виктором Петровичем позже.

Шаповалов Георгий Фёдорович (Жора живёт в г. Жданове) был моим напарником-телефонистом после того, как осенью сорок третьего года я перешёл в связь, и стал моим самым близким другом (плакал, когда меня последний раз ранили) и до сих пор относится ко мне с нежностью, как брат. Познакомились мы с ним тоже в 92-й бригаде.

Вячеслав Фёдорович Шадринов живёт тоже в Темиртау. Этот упал к нам с неба. Над Днепром, и на Букринском плацдарме, и за Днепром немцы расстреляли наш десант, целую бригаду, что-то около 800 человек, тщательно подготовленную и бездарно, как и вес наши воздушно-десантные операции, погубленную. Был сильный ветер. Доблестные наши лётчики, испугавшись плотного зенитного огня (тайная операция, проводимая ночью, была до мелочей известна немцам), начали парашютистов выбрасывать (в буквальном, опять же, а не в «книжном» смысле этого слова) с большой высоты. Парашютистов поразнесло ветром, и немцы кого расстреляли в воздухе, кого переловили или перебили на земле, лишь отдельные, мелкие группы сумели спрятаться в тылу у немцев и затем перехолили наш передний край. Так, однажды со своим товарищем (имя — Январ, фамилию не помню) перешёл к нам Слава, и стоявший на посту у наблюдательного пункта Петька Николаенко чуть их в темноте не перестрелял. Слава и выволок меня с поля боя в Польше.

Последним, уже после моих заметок в «Правде», нашёлся командир нашего 3-го дивизиона — Митрофан Иванович Воробьёв. Живет в Новохопёрске Воронежской области с женой своей Капитолиной Ивановной, которая была с ним вместе на фронте. Он был ранен в 1944 году под Каменец-Подольском и помнит, что я помогал ему раненому, а я вот этого не помню. Но зато хорошо помню, что на моём боевом пути это был самый путний командир, который никогда не лаялся, не объедал нас. не похабничал, в беде не бросал (и мы его в беде не бросили), словом, такой командир, каких тучи бродит по нашим книгам и по экрану, а вот в жизни моей встретился всего один.

Все мои однополчане, то есть близкие мне по фронту люди, и

после войны остались людьми достойными: честно зарабатывали свой хлеб, трудно приобретали знания, не изолгались, не заворовались, дорожили товариществом нашим. И хотя мы редко встречались в суете нашей жизни и из-за материальных затруднений, остались друг дня друга братьями, верными памяти нашей и, кажется (да не кажется, а точно), никто не разрушил своей семьи, не осиротил своих детей, не обездолил женщину, богом ему данную.

Я это к чему всё пишу-то? А к тому, что не во всём и не везде, но мы прожили жизнь трудно, однако достойно, преодолевая в себе раба, недуги и несчастья нашего времени, тупых вождей и «сверхчеловеков». которые унизили себя, свою Родину, породили детей, себе подобных, но унизить нас до основания, сделать нас себе подобными им до конца не удалось, хотя кое в чём они и система, ими порождённая, преуспели. В дерьме сидючи, ржавой проволокой опутанным, дряхлыми конструкциями, на которых болтается сорванная со всех гвоздей вывеска «коммунизм» и «счастливое будущее», окружённым. от восхода и до захода солнца слушающим враньё, трудно не завонять, не изаржаветь, не изовраться, с кругу не съехать.

«И всё же, всё же»... кое-как, кое-кто и кое-где сохранил душу живую, остался самим собой, хотя бы частично. Вот этой нашей лучшей части и будьте достойны! Не ждите добра от других — делайте его сами, и оно воздастся, а главное, будьте честными перед собой и временем, насколько хватит вас и вашего мужества.

А жизнь вам предстоит трудная. И, наверное, дряннее нашей. Главное, чтобы не было войны, остальное, может, и преодолеете. Но и в самые тяжкие дни держитесь стойко, не кусочничайте, не подхалимствуйте и опять прошу, очень — не пейте! Заклинаю, умоляю! — хватит и того, что Анатолий пропил себя, семью и много горя принёс людям этим своим горьким пороком, особенно людям близким, и в первую голову тёте Мане, мне, Ольге и Арсению. Пусть пример его и моего отца, вашего деда и прадеда, лежащего на чужбине, послужит вам всем суровым предостережением.

Насколько возможно, Андрею надо усмирить свою суровость и быть ближе к детям, да не в качестве фельдфебеля — дом не казарма. Ведь после меня, ты, Андрей, останешься для всех за старшего мужчину, а если что-то в жизни случится, никому и никогда не отдавать детей в детдома — я там отбыл за всех, натерпелся тоже за всех, и достаточно.

Все старайтесь не терять друг друга из вида, приходите на помощь друг другу — жизнь короткая, и в старости засчитывается только добро и добрые дела.

Хочу, чтобы хоть кто-нибудь из внучат работал на природе и для природы — в Овсянке открывается школа-лесничество, может Вите, с его здоровьем, поступить туда? Не хочу, чтоб хоть один пошёл по моим стопам и сделался писателем или артистом. Бесполезное, проклятое занятие, приводящее человека к полному разочарованию во всём! Если решится возврат «к земле» и возрождение деревни (это неизбежно, иначе все помрут с голоду), хотелось бы мне, чтоб кто-нибудь жил на земле и землёю — нет труднее и благороднее, нужнее и полезнее работы крестьянина. А главное, голова ничем не забита и идейного говна на сердце не водится у крестьянина.

Учитесь, почитайте родителей, не забывайте нас, бывших солдат — берегите наши могилы и не пачкайте нашу память грязными поступками, не тревожьте нас пустыми, громкими словами — мы устали от них и при жизни.

В городе Чусовом, на Красном посёлке, вместе с родителями нашими покоится и Лидочка — вечная моя боль и неизбывная вина. Поминайте и её. Да чтобы хоть раз в пятилетку были все вместе на могилке её, дедушки, бабушки, дядьёв, тёток и всех родных. Мы, грешники, редко навещали дочку нашу и за это не раз наказаны были Господом.

Ну вот и всё, на большее не хватает сил, да ведь всего и не выскажешь. Жизнь непредсказуема, смерть всегда одна, поэтому дам вам последнее распоряжение:

Похороните меня в Овсянке на новом лесном кладбище, рядом с дочерью Ириной(*). На старом кладбище в Овсянке хоронить не надо (его любопытные — мамин, бабушкин прах и односельчан моих — под сапоги пустят), а здесь всё посажено мной и надо мной расти и шуметь будет, да и любопытным просторно.

Пожалуйста, сделайте похороны без шума и блудословия. Пусть звучит музыка — я постараюсь её услышать — и не гремите казёнными речами, я от них тоже устал, и все устали.

Прошу вас после гражданской панихиды в городе (сделать её лучше бы в библиотеке, ближе к книгам, ну в крайности — в издательстве) свозите меня на одну ночь в Овсянку, в мою избу. Пусть там ночью меня, как и прошу, отпоют, если сочтут достойным Господней молитвы, мои друзья из нашей церкви или приедет по вызову из Барнаула отец Михаил.

Выносить на кладбище надо из овсянской избы, минуту постойте перед бабушкиным домом, в котором прошло моё детство, — он изменился, в нём чужие люди живут, но земля-то та же, которую я топтал и грел босыми ногами.

Пожалуйста, поменьше топчитесь на наших могилах, и как

можно реже беспокойте нас. Если читателям и почитателям захочется устраивать поминки, не пейте много вина и не говорите громких речей, а лучше молитесь; коли возникнет необходимость проводить так называемые литературные чтения и собираться в Овсянке и на могиле, делайте это не чаще, чем в три года раз.

И ради Бога, заклинаю вас, не вздумайте что-либо переименовывать, прежде всего моё родное село. Пусть имя моё живёт в трудах моих до тех пор, пока труды эти будут достойны оставаться в памяти людей.

Не мудрите с надгробием и у меня и Марьи Семёновны, если она последует за мной. После моей смерти должно быть такое же надгробие, что и у Ирины — имя, крест и ничего больше. Пусть эту заботу возьмёт на себя близкий мне человек и сотоварищ по многим таёжным походам Владимир Зеленов, а деньги на надгробье возьмите с моего счёта.(**)

Живите с миром в мире и покоем в душе! Будьте достойны самой жизни, ничего нет её дороже. Храни вас всех Бог!

Ваш вечный отец, дедушка и супруг, Виктором крещённый в овсянской церкви. По бумагам — Астафьев Виктор Петрович

(*)Выделенная фраза дописана Виктором Петровичем после смерти Ирины.

(**)Этот абзац был полностью переписан В. П. Астафьевым после смерти дочери.

9 марта 1989 г. Красноярск. Академгорок

Дорогие мои друзья! Земляки!

Я уже перевалил шестидесятилетний возраст, и настала пора подумать о будущем и дать последние советы и распоряжения относительно себя.

Детям, внукам и родным я написал письмо, но когда не станет меня. они. естественно, будут в горе и им потребуется помощь хотя бы на первых порах.

Прошу похоронить меня в одной ограде с дочерью Ириной в лесу. На сельском закрытом кладбище меня хоронить не надо — толпа любопытных разрушит старое кладбище и затопчет прах моих дорогих односельчан и родственников. Довольно и того, что мы при жизни топтали и топчем друг дружку. На казенное же, городское кладбище я не хочу, оно чужое мне, как чужим всегда был современный город, и всё в нём чужое моему сердцу.

Прошу не ставить надо мной никаких казённых пирамидок со звёздами. Хватит и того, что они при жизни долго жгли мой лоб. Если возможно, поставьте лиственничный крест, такой же, как на маминой могиле, а если ЭТО кому-то покажется неловко и будет смущать людей, не ставьте ничего — пусть кедр растёт

неподалёку и будет живым знаком. Или камень с берега Енисея накатите (их много в устье Фонинской речки).

Поменьше слов, друзья мои, поменьше суеты, шума и поминаний всуе. Отнеситесь к моему уходу, как к естественному течению жизни. И, пожалуйста, ничего не переименовывайте, в особенности же деревню, если это взбредёт кому-либо в горячую, догадливую голову. Овсянка была и пусть навеки останется во мне и со мной.

Если властям захочется, чтоб мой деревенский дом сохранился и сделался чем-то вроде пристанища Василия Макаровича Шукшина в Сростках, помогите передать мой дом в ведение краеведческою музея и сделать смотрителем дома кою-то из внуков, если кто-то из них полагает жить в деревне хотя бы в качестве дачника. И пусть музей или какие-то общественные организации положат хоть маленькую зарплату, ибо тех средств, которые останутся после меня внукам, хватит совсем ненадолго.

Гроб с моим телом в казённых домах выставлять не надо. Квартиры вполне достаточно для этого. Ну, а выносить прошу обязательно из деревенского моего дома, открыв ненадолго ворота в родном, бабушкином дворе. Прочтите молитву, кто помнит и знает их и чьи уста не осквернены богохульством. Соседей прошу не отказывать в этой моей просьбе — мало чего осталось от бабушкиного дома и подворья, но для меня дух сё и дедушки всегда витал здесь, а земля такая, которую я топтал и грел босыми ногами.

Будьте дружны между собой, друзья мои! Не давайте волю одиночеству, не позволяйте злу одолеть и замутить вашу душу, стойте твёрдо на родной земле, сопротивляйтесь растлению, которое, как проклятье, с небес опустилось на наш народ.

Пока я буду с вами, пусть играет музыка — (жена и Роман Солнцев знают мои любимые пластинки), и прежде всего пусть звучит «Реквием» Верди со старой, мной заигранной пластинки в исполнении артистов театра Ла Скала

И оркестра под управлением Тосканини: Восьмая неоконченная симфония Шуберта, его же и «Авс Мария»; мелодия Глюка и сонаты Моцарта и Альбинони — всю прекрасную музыку людей мне хотелось бы взять с собой и с вами оставить только всё прекрасное, а главное, надежды на будущую жизнь.

Не пейте много на моих поминках, не доходите до безобразия и потери облика — горюйте достойно и не допускайте недостойных, словоблудных речей надо мною. Коли нечего сказать из сердца — лучше промолчите, поскорбите в себе и не гневите Бога, которого мы и без того прогневили своими делами и пустомельством до того, что нас жестоко наказывают небеса

Не проводите эти самые чтения, превратившиеся в наказание людям и земле родной, а если уж очень хочется, то не чаше чем раз в два-три года.

Не допускайте в переиздания то, чего я сам не включал при жизни в свои книги — там и без того сырья много. И всё, что валяется в столе и полках незаконченное, тоже печатать не надо. Наследство — не барахолка для распродажи. Кому любопытно из близких, пусть роются в бумагах и письмах, но только воистину близким, а не браконьерам должен быть доступ к моим бумагам и письмам ко мне.

Остальное всё в руках Божьих. Как жалко, что лишённый веры в Бога я уже не смог её вернуть себе до конца, безверие много наделало и ещё наделает бед нашему народу. Но для меня всегда был и остаётся один непоколебимый Бог и вера в него — совесть!

Как мне хотелось, чтоб все люди нашей Земли жили бы по совести, под вечным солнцем, и свет любви и согласия никогда для них не угасал!

Благодарю вас за то, что жил среди вас и с вами и многих любил. Эту любовь и уношу с собою, а Вам оставляю свою любовь.

Ваш соотечественник и брат Виктор Петрович Астафьев [Подпись]

В Красноярский краеведческий музей от Астафьева Виктора Петровича

Прошу самых близких мне людей из краевого музея, всегда мне во всём помогавших, в случае моей кончины взять мою избу в селе Овсянка под своё покровительство и догляд, также и флигель, и надворные постройки с усадьбой при следующих условиях:

1. Ничего в избе и прилегающих постройках не менять и не дополнять.

2. На территории усадьбы ничего не срубать и садить только цветы иль кустарники, желательно таёжные.

3. Смотрителем усадьбы прошу назначить мою сестру, Галину Николаевну Потылицыну, давши ей в помощь библиотекаря из овсянской библиотеки, занимающегося моим фондом.

4. Я желал бы, чтоб наша квартира была сохранена как квартира-музей, чтоб ей был присвоен статус музея. Это будет свидетельством нашей жизни и работы и, надеюсь, явится достойным вкладом в возрождение культуры нашего Отечества.

5. Что касается гонораров за издания, переиздания, и

переводные в том числе, а также публикации моих произведений в разных печатных органах через организацию по авторским правам, я делаю распоряжение, чтоб Агнесса Фёдоровна Гремицкая, которой я всецело доверяю, проживающая в г. Москве, открыла бы специальный счёт, на который поступали бы причитающиеся мне авторские гонорары, юридически был бы оформлен процент (в условных единицах) от суммы, полагающийся ей за вышеуказанные услуги, остальная же сумма в свою очередь перечислялась бы на открытый здесь специальный счёт — на содержание квартиры-музея В. П. Астафьева здесь, в Красноярске.

6. Прошу Валентину Михайловну Ярошевскую покровительствовать над внучкой Астафьевой Полиной Геннадьевной, помогать ей делом и советом, быть и в дальнейшем доверенным для неё лицом.

Всё остальное на ваше усмотрение. Я знаю ваши возможности и вкус ваш достаточный для того, чтобы сохранить вживе всё, что останется после меня. И ещё моя просьба — не давайте затаптывать наши могилы, могилы мамы, бабушки и дедушки, всех родственников моих. Пусть не будет на них столпотворения и пьянства, да шуму и блудословия.

Письмо составлено мною 22 октября 1998 года

К сему Виктор Астафьев

Прощаюсь…

Я как-то утром или ночью, может быть, осенью (весной не хочется) остановлюсь в пути и поверну обратно. Туда, откуда я пришёл. Куда пойду уж безвозвратно, простившись с вами, люди, навсегда. Но не с природой, всех нас породнившей.

И пусть меня поднимут на увал, на тот увал, что ждёт меня давно, за милою моей деревней. За бабушкиным огородом. Пусть по распадку, где ходил я с ней по землянику, поднимут меня те, кого любил я и кому дорог. И пусть не плачут обо мне.

Пусть словом или песнею помянут — и я её услышу. Ведь говорят, что после смерти люди ещё два дня слышат, но уж ответить не могут. Услышу из земли, сам став землёю. Но перед тем как стать землёю, последней каплей крови с родиной поделюсь, последний вздох пошлю в природу. И если осенью увидите на дереве листок вы самый яркий, так, значит, капелька моя в листе том растворилась и ожила природа красотою, которой отдал я всего себя и за которую немало слёз я пролил,

немало мук принял и кровь не раз пролил.

Прощаюсь с вами, мои слёзы, мои муки, кровь моя. Прощаюсь, веря, что, рождённый в муках и живший муками, не мучаю я вас своим прощаньем. Прощайте, люди! Я домой вернулся, я к матери моей вернулся, к бабушке, ко всей родне. Не будьте одиноки без меня. Жизнь коротка. Смерть лишь бесконечна. И в этой бесконечности печальной мы встретимся и никогда уж не простимся. И горести, и мук не испытаем, и муки позабудем, и путь наш будет беспределен.

Прощайте, люди! Умолкаю, слившийся с природой. Я слышу новое зачатье жизни; дыханье жаркое, шёпот влюблённых... И не хочу печалить их собою, дарю им яркий листик древа моего. И мысль последнюю, и вздох, и тайную надежду, что зачатая ими жизнь найдёт мир краше, современней. И вспомнит, может быть, да и помянет добрым словом, как Кобзаря, лежащего на берегу Днепра, меня над озарённым Енисеем, и в зеркале его мой лик струёю светлой отразится. И песнь, мной не допетая, там зазвучит.

Прощаюсь я с собой без сожаленья и улетаю ввысь, чтоб в землю лечь на высоте. Иду! Иду! Вы слышите, меня природа кличет! И голос матери звучит в ней, удаляясь. И звуки умолкают в тёмной дали.

Покой и мрак, который долго снился, не так уж страшен. Страшнее жизнь бывает...

Приветствую тебя, моё успокоенье!

Указатель адресатов

Абрамов А. М. — 289
Айнбиндер М. И. — 682
Акулов И. — 252
Александров В. Г. — 17, 18
Алексеева Ю. — 204
Андреев В. — 419
Асламова С. Н. - 389, 421, 431, 437, 466, 681
Астафьева А. В. - 487, 619, 622, 637, 640, 653, 672
Астафьева-Корякина М. С. - 33, 34, 38, 41, 84, 113, 124, 147, 189, 211, 247, 271, 272, 361, 431, 432, 450, 451, 524, 525
Балакшин Р. - 296, 312, 338, 411
Баруздин С. А. - 266, 273, 300, 359, 410
Бахметьев В. М. — 36
Бахтин Е. В. — 256 Белов Р. П. — 635

Белякова К. И. — 604
Богданов А. А. — 201
Болохов В. - 459, 462, 498, 544
Бондарев Ю. В. — 216
Бондаренко А. - 526, 534, 592, 636, 667, 679
Борисова И. П. — 348
Бородин Л. И. — 661
Боршаговский А. М. - 47, 51, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 67, 68, 73, 77, 80, 85, 87, 90, 99, 109, ИЗ, 121, 125, 127, 133, 135, 141, 292, 330, 530, 675
Буйлов А. И. — 317
Быков В. В. - 608
Вагнер Н. Н. - 492
Вершинин Г. В. — 504, 551, 562
Веселова Н. П. — 444
Викулов С. В. — 263
Винокуров В. — 396
Войтецкая С. — 517
Войтецкий А. И. — 175
Волович В. М. — 397
Волокитин Н. И. — 163, 167, 173
Воробьёва В. В. — 301, 438
Воробьёвы К. И. и М. И. — 369
Ганичев В. Н. - 374
Гашев Н. В. - 514, 537, 551, 573, 606, 629, 654, 671
Гергель И. Н. - 449, 471, 490, 584, 590, 646, 655, 665, 683
Година Н. И. - 460
Горбачёв Н. А. - 170
Горбачёв М. С. — 465
Горенский Г. Г. — 364
Городецкий Е. — 168, 239
Гремицкая А. Ф. - 376, 385, 391, 412, 414, 428, 456, 460, 461, 473, 476, 480, 490, 497, 542, 557, 567, 580, 585, 635, 657, 658, 674, 677, 683
Грибов Ю. Т.
Гусаров Д. Я. 281 399, 409
Дедков И. И. - 372, 618
Домино З. — 468
Домогацких М. — 297
Драган Н. А. — 180
Евтушенко Е. А. — 479
Екимов Б. — 579
Ельцин Б. Н. — 624
Ерёменко В. — 634

Ермолаева С. — 472, 475, 529
Журавицкая Т. А. — 670
Задереев С. — 182
Залыгин С. П. - 176, 376
Зебзеева А. Г. — 173
Зубков В. А. — 340
Камышев В. С. — 488
Каневы - 509
Капустин Е. — 204
Коваленко П. П. — 344
Кожевников — 560
Колыхалов В. — 143
Кондратьев В. - 309, 402
Кузьмин Л. И. — 153
Куликовский — 563
Куняев С. — 440
Курбатов В. Я. - 193, 212, 215, 219, 220, 223, 224, 228, 230, 231, 232, 240, 249, 254, 258, 265, 270, 272, 285, 286, 288, 291, 299, 301, 306, 309, 312, 320, 322, 326, 328, 333, 336, 339, 347, 350, 353, 358, 379, 362, 390, 412, 420, 424, 434, 446, 464, 484, 504, 507, 516, 531, 538, 539, 540, 545, 553, 561, 574, 598, 606, 616, 630, 632, 638, 643, 653, 662, 680
Куренной Е. Е. — 329
Лавров К. Ю. – 672
Лакшин В. Я. — 416
Лапин Б. Ф. - 72, 189
Лебедев Е. А. - 183, 324
Летов В. Г. - 164, 165, 170, 209, 228, 234, 245, 247, 254, 258, 269, 274, 287, 357, 374, 502
Линник В. А. - 432, 444, 528
Литвяков М. С. - 349, 505, 515, 519, 533, 540, 544, 558
Лободин И. 140
Макаров А. Н. - 47, 48, 50,51, 52, 65, 66, 74, 78, 82, 83, 89, 92, 93, 95, 96, 98,
100, 104, 105, 108, ПО, 112, 115, 116, 118, 122, 125, 126, 129, 130
Миронов В. В. — 485, 613
Михайлов А. - 188, 464, 549, 575, 581, 596
Михайлов В. — 639
Нагибин Ю. М. — 535
Наседкин Н. Н. — 491
Невзоров В. Т. — 466
Негода Н. – 483
Непомнящий В. С. — 450

Нестеренко Е. Е. — 405
Нестеров А. — 491
Никитин Б. Ф. — 368
Николаев Г. Ф. — 433
Николаенко П. — 366
Новикова С. — 668
Носов Е. И. - 140, 150, 207, 213, 221, 225, 447, 494, 521, 558, 576, 588
Папанова Н. Ю. — 495
Перевалов К. — 407
Попов Е. Г. - 427
Попов Е. С. - 612
Попова З. И. — 276
Потанин В. Ф. - 150, 259, 415, 627
Распутин В. Г. - 196, 204, 218, 231, 283, 316, 341, 370, 380, 388, 392, 426
Рождественская Е. С. — 646
Розел – 428
Ростовцев Ю. А. - 587
Сапиро Е. С. — 605
Самуилов В. - 657, 660, 664, 668, 673, 677
Сапронов Г. К. - 351, 355
Сбитнев Ю. - 283, 346, 351, 352, 386, 600, 652, 659, 675
Светланов Е. Ф. — 422
Свиридов Г. В. — 304
Селянкин О. К. — 335
Семёнов Г. В. - 70, 392
Симонов К. М. — 267
Смирнова В. В. —132
Соколова И. —176
Солуянова Г. А. — 638
Сорокин В. В. – 497
Стариков В. А. —138
Старичкова Н. А. — 644
Стрелкова И. — 186
Струнников — 436
Сулейманов К. — 278
Сурков Е. Д. — 297
Татарский В. – 288
Тяпкина Е. А. — 315
Ульянов М. А. — 250, 318
Филиппович А. С. —165
Ломяков О. М. - 512, 592, 603, 624, 628
Хорошавцев В. — 241, 561

Христов Н. — 243
Цепенко Л. Е. — 226
Чацкий П. В. — 31
Черепанов Л. С. — 462
Черненко В. А. - 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27
Черношкур Л. — 456, 477
Черных Б. И. – 609
Чернышёва З. Б. — 444
Чернявский — 203
Шаповалов Г. Ф. — 277, 348
Шеваров Д. Г. — 511
Ширшов Б. В. — 147
Шламов М. - 268
Штильмарк Ф. Р. - 257, 307, 356, 389, 678
Штильмарк Р. А. — 234
Щербаков А. И. - 153, 208
Эйдельман Н. Я. — 378
Юл Ичжун — 525
Юровских В. И. — 172, 179, 184, 185, 192, 213, 221, 235, 256, 257, 262, 276, 298, 307, 308, 321, 325, 357, 678
Ягумова Е. Х. — 383
Газета «Вечерняя Пермь» — 225
Житомирский обком партии — 366
Журнал «Новый мир»— 17, 520
Восточно-Сибирское книжное издательство — 370
Киностудия «Мосфильм» — 279
Красноярский крайисполком — 331
Красноярский крайком комсомола — 202
Красноярский крайком КПСС — 313
Кытмановский райком КПСС Алтайского края — 458
Московская писательская организация —300
Прокуратура Красноярского края — 429
Редакция «Енисейского вестника» — 510
Редакция «Литературной газеты» — 479
Редакция газеты «Вечерний Красноярск» — 666
Редакция газеты «Красноярский комсомолец» — 582
Редакция газеты «Ленинградская правда» — 478
Редакция газеты «Московские новости» — 325
Секретариат Союза писателей РСФСР — 237 ЦК КПСС – 292

Указатель имён

Абашидзе Ираклий Виссарионович, грузинский поэт — 374, 375, 386

Абдрашитов Равиль Аббасович, однополчанин В. П. Астафьева — 277, 684
Абдуллина Лира Султановна, поэтесса, Красноярск — 46, 428
Абдулов Всеволод Осипович, актёр театра и кино, Москва — 363
Абрамов Анатолий Михайлович, литературовед, поэт, Воронеж — 289
Абрамов Фёдор Александрович, прозаик, Ленинград — 139, 157, 263, 286, 333, 388, 522
Агин Александр Алексеевич, художник, иллюстратор — 337
Айнбиндер Мириам Исааковна, преподаватель английского языка — 663, 682
Айтматов Чингиз Торекулович, киргизский писатель — 306
Аксёнов Василий Павлович, прозаик, кинодраматург, сценарист, Москва — 62, 74, 459
Акулов Иван Иванович, прозаик, Москва — 90, 252, 497, 512, 564 Александров Владимир — 20, 24
Алексеев Михаил Николаевич, прозаик, Москва — 92, 117, 253, 385 Алексиевич Светлана Александровна, белорусский прозаик, публицист — 523, 564
Алексин Анатолий Георгиевич, прозаик, драматург — 74
Апешковский Юз, прозаик, поэт, бард — 489
Алибасов Бари Каримович, музыкальный продюсер — 576
Алов Александр Александрович, кинорежиссёр, сценарист, Москва — 103
Альбинони Томазо, итальянский композитор — 646, 689
Амосов Николай Михайлович, кардиохирург, писатель, Киев — 115, 518
Андреев Владимир Алексеевич, актёр, режиссёр, главный режиссёр театра им. Ермоловой, Москва — 230
Андриевский Иван Иосифович, прозаик, Пермь — 278, 648
Аникушин Михаил Константинович, скульптор, Санкт-Петербург — 361, 454
Антокольский Павел Григорьевич, поэт, переводчик, Москва — 27
Апухтин Алексей Николаевич, поэт — 384
Арагон Луи, французский писатель — 161
Арбенева Надежда Николаевна, переводчик, редактор Пермского книжного издательства в 50-е гг. — 14
Ардаматский Василий Иванович, журналист, писатель, киносценарист, Москва — 212
Ардзинба Владислав Григорьевич, абхазский историк, политический деятель — 577
Асламов Михаил Феофанович, поэт, Хабаровск — 340

Асламова Светлана Николаевна, редактор Восточно-Сибирского книжного издательства, затем, детского журнала «Сибирячок», Иркутск — 638

Астафьева Анастасия Викторовна, внебрачная дочь Астафьева В.П.

Ахмадулина Белла Ахатовна, поэтесса, Москва — 384

Ахматова Анна Андреевна, поэтесса — 112, 386

Бабаевский Семён Петрович, прозаик, Москва — 94, 108, 170

Бабель Исаак Эммануилович, прозаик, Москва — 97

Багратион Пётр Иванович, генерал, герой Отечественной войны 1812 года 442, 535

Байгулов Иван, журналист, Пермь — 641

Бакланов Григорий Яковлевич, прозаик, в 1986-1993 гг. главный редактор журнала «Знамя», Москва — 128, 330, 418

Балакшин Роберт Александрович, прозаик, Вологда — 346

Балахонов С, член литературного кружка при газете «Чусовской рабочий» — 24

Бальзак Оноре де, французский писатель — 60

Баратынский Евгений Абрамович, поэт — 265

Баруздин Сергей Алексеевич, прозаик, главный редактор журнала «Дружба народов» (с 1966 г.), Москва — 74

Барченко Светозар Алексеевич, прозаик, Москва — 34

Бахтин Евгений Васильевич, командир дивизии, в которой воевал В. П. Астафьев - 278, 368, 369, 443

Бахтин Михаил Михайлович, философ, литературовед, теоретик искусства, Москва — 571

Белинский Виссарион Григорьевич, писатель, литературный критик, публицист — 274

Белобородое Афанасий Павлантьевич, генерал армии — 309

Белов Василий Иванович, прозаик, Вологда — 88, 122, 128, 139, 143, 151, 157,

170, 194, 214, 240, 251, 301, 339, 342, 417, 480, 485, 608, 633, 639

Белов Роберт Петрович, прозаик, Пермь — 494, 574

Белоусов Александр, корреспондент газеты «Чусовской рабочий» — 492

Белугин В. А., прозаик, Пермь — 13

Белявский Леонид Савельевич, театральный режиссёр — 419, 420

Бёлль Генрих, немецкий писатель — 429

Бенкендорф Александр Христофорович, военачальник, шеф жандармов и начальник Третьего отделения — 542

Бердяев Николай Александрович, религиозный философ — 299

Березовский Николай Васильевич, писатель, Омск — 674
Берзер Анна Самойловна, литературный критик, редактор, Москва — 39, 109, 134
Биешу Мария Лукьяновна, молдавская оперная и камерная певица — 319
Бирюков Михаил Юрьевич, вратарь футбольной команды «Зенит» в 80-х гг. —349
Бисмарк Отто фон, первый канцлер Германской империи — 441
Битов Андрей Георгиевич, прозаик, Москва — 489, 543
Блок Александр Александрович, поэт — 90, 144
Блюхер Василий Константинович, военачальник и государственный деятель —410
Боголюбов К. В., прозаик, критик, литературовед, Свердловск — 15
Богомолов Владимир Осипович, прозаик, Москва — 565, 583
Боков Виктор Фёдорович, поэт, прозаик. Москва — 118, 377
Бологое Александр Александрович, прозаик, Псков — 338, 340
Болотов Виктор Мартынович, поэт, Пермь — 85, 78, 641
Болохов Владимир Евгеньевич, прозаик, поэт, Новомосковск — 498, 544
Большаков Владимир, собкор «Правды» во Франции в конце 80-х гг. — 408
Бондарев Юрий Васильевич, прозаик, Москва — 137, 157, 168, 191, 215, 295, 331, 341, 346, 356, 361, 418, 464, 535, 539, 549, 599, 608
Бондаренко Алексей, профессиональный охотник, прозаик. Енисейск — 539
Бондаренко Владимир Григорьевич, критик, Москва — 549, 599
Бондарчук Сергей Фёдорович, кинорежиссёр, актёр, сценарист — 571
Борисков Пётр — 448
Борисов Климентий Фёдорович, прозаик. Свердловская область — 62, 88
Борисов Олег Иванович, актёр театра и кино, кинорежиссёр, Москва — 571
Борисова Майя Ивановна, поэтесса, прозаик, журналист, Москва — 141
Бородин Леонид Иванович, прозаик, редактор журнала «Москва», Москва — 492, 628, 634, 652, 663
Борщаговский Александр Михайлович, прозаик, драматург, литературный критик, Москва - 63, 157, 337, 531, 536

Брежнев Леонид Ильич, партийно-государственный деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС - 321, 400, 402, 406, 437
Бровман Григорий Абрамович, критик, литературовед. Москва — 84
Бродский Иосиф Александрович, поэт, переводчик, прозаик, драматург — 489, 593
Брусилов Алексей Алексеевич, военачальник и военный педагог, генерал — 400
Буйлов Анатолий Ларионович, прозаик, Дивногорск — 522, 523
Булгаков Михаил Афанасьевич, русский писатель и драматург, Москва — 102, 103, 104, 417
Булгакова Майя Григорьевна, актриса театра и кино, Москва — 137
Бунин Иван Алексеевич, прозаик, поэт — 48, 131, 135, 144. 242, 274, 321, 406, 407, 459, 490, 512, 596, 625, 660
Бурмагин Николай Васильевич, художник, график, Вологда — 195
Буряк Леонид Иосифович, футболист киевского «Динамо» — 349
Буханцов Николай Стефанович, критик, Москва — 255
Бушин Владимир Сергеевич, критик, прозаик, Москва — 539, 599
Бушков Александр Александрович, прозаик, Красноярск — 617
Быков Василь Владимирович, белорусский писатель — 120, 121, 186, 364, 506, 508, 512, 523, 564, 601, 646
Быков Дмитрий Львович, журналист, прозаик. Москва — 632
Бычков Юрий Александрович, искусствовед, Москва — 337
Вагнер Николай Николаевич, прозаик, редактор Пермского областного книжного издательства — 13, 335. 492, 574, 655
Вампилов Александр Валентинович, драматург, Иркутск — 160, 638, 661
Ваншенкин Константин Яковлевич, поэт, Москва — 575, 582
Варламов Алексей Николаевич, прозаик, Москва — 581
Васильев Владимир Викторович, артист балета, хореограф — 652
Васильев Иван Афанасьевич, прозаик, публицист — 631
Васильев Павел Николаевич, поэт, Москва — 97, 98, 145, 388, 530
Васильева Вера Кузьминична, актриса театра и кино, Москва — 361
Ватутин Николай Фёдорович, генерал армии — 257, 400
Велихов Евгений Павлович, актёр театра и кино — 38

Вельяминов Пётр Сергеевич, актёр театра и кино — 138
Верди Джузеппе, итальянский композитор — 423. 617. 688
Вересаев Викентий Викентьевич, писатель — 602
Весёлый Артём, прозаик, драматург — 97, 386
Вивальди Антонио, итальянский композитор — 423
Видов Олег Борисович, киноактёр — 363
Викулов Сергей Васильевич, поэт, редактор журнала «Наш современник» (1968-1989 гг.), Москва - 184, 197, 201, 212. 215, 222, 229, 253, 298, 377, 417, 418, 419, 484, 596, 638
Владимов Георгий Николаевич, прозаик, критик, Москва — 564, 583 Вознесенский Андрей Андреевич, поэт, Москва — 62
Войтецкий Артур Иосифович, кинорежиссёр, сценарист, Киев — 190, 195, 349, 367, 517, 519
Волкенштейн Сергей Сергеевич, командующий дивизией, в которой воевал В. П. Астафьев - 376, 443, 446, 447, 454, 455
Волков Валентин, поэт, Калужская область — 63
Воловинский Владимир Васильевич, литературный критик, Пермь — 14
Волокитин Николай Иванович, прозаик, Красноярск — 233, 557, 591
Воробьёв Евгений Захарович, прозаик, публицист, Москва — 564
Воробьёв Константин Дмитриевич, прозаик, Вильнюс — 62, 88, 90, 97, 157, 218, 300, 301, 373, 438, 512, 539, 549, 564, 576
Воробьёв Митрофан Иванович, командир дивизиона, в котором воевал В. П. Астафьев - 366, 443, 519, 565, 685
Воронин Николай, прозаик, Калуга — 78, 83, 141
Воронов Николай Павлович, прозаик, Москва — 91
Вучетич Евгений Викторович, скульптор-монументалист, Москва — 33
Высоцкий Владимир Семёнович, актёр, поэт, композитор, Москва — 340, 571
Габен Жан, французский киноактёр — 496
Гаврик Александр, прозаик, Тула — 261
Гайдар Тимур Аркадьевич, журналист, писатель, Москва — 641
Ганди Индира, премьер-министр Индии в 1966-1977 и 1980-1984 гг. — 336
Ганина Майя Анатольевна, прозаик, Москва — 388
Ганичев Валерий Николаевич, прозаик, критик. Москва — 539, 542
Гейченко Семён Степанович, директор Пушкинского заповедника в с. Михайловском Псковской области — 324
Гельман Александр Исаакович, драматург, писатель,

сценарист, Москва — 417. 481
Гендельман Евгений Абрамович, предприниматель — 490
Георгиевская Анастасия Павловна, актриса кино и театра — 451
Гергель Иван Николаевич, однополчанин В. П. Астафьева — 255, 277, 367, 684
Герман Алексей Юрьевич, кинорежиссёр, сценарист, Санкт-Петербург — 675
Герман Юрий Павлович, писатель, драматург, сценарист, Ленинград — 92
Гинц Саввотей, сотрудник книжного издательства, Пермь — 641
Глазунов Илья Сергеевич, художник, Москва — 398
Глебов Пётр Петрович, актёр театра и кино, Москва — 524
Глюк Кристоф Виллибальд. австрийский композитор — 423, 689
Говорухин Станислав Сергеевич, кинорежиссёр — 515
Гоголь Николай Васильевич, русский писатель — 242, 306, 342, 373. 391, 439, 459, 481. 482, 512, 562, 563, 565, 619
Голубков Михаил Дмитриевич, прозаик, Пермь — 263, 286, 336, 391, 425, 641
Гончаров Иван Александрович, прозаик — 512
Гончаров Юрий Данилович, прозаик, Воронеж — 127, 512
Горбаневская Наталья Евгеньевна, поэтесса, переводчик — 575
Горбатов Борис Леонтьевич, прозаик, Москва — 62
Горбачёв Михаил Сергеевич, президент СССР — 409, 416, 528
Горбачёв Николай Андреевич, прозаик, глава комитета по печати в 70-е гг., Москва — 248
Городецкий Евгений Александрович, прозаик, редактор Новосибирского книжного издательства в конце 70-х гг. — 180, 216, 224, 230
Горький Алексей Максимович, писатель — 31, 172, 261
Горячева Светлана Петровна, российский политический деятель — 528
Гостев Борис Иванович, министр финансов СССР в 80-е гг. — 393
Граевский Александр Моисеевич, главный редактор Пермского книжного издательства в 60-е гг. — 341, 641, 649, 650
Гранин Даниил Александрович, прозаик, Санкт-Петербург — 144, 398
Гребнев Анатолий Григорьевич, поэт, Пермь — 339
Гремицкая Агнесса Фёдоровна, редактор книг В. Астафьева, Москва — 428, 463, 543, 636, 639, 664, 681, 690

Грибанов Виктор Алексеевич, секретарь Вологодского обкома партии в 80-е гг. - 314

Грибачёв Николай Матвеевич, прозаик, Москва — 67

Грибов Юрий Тарасович, редактор «Литературной России» в конце 70-х гг. — 281

Грибоедов Александр Сергеевич, драматург, поэт, дипломат, композитор —170

Григорьев Игорь Николаевич, поэт, Псков — 340

Грин Грэхэм, английский писатель — 540, 583

Грин Фрэнсис, один из соучредителей Букеровской премии, Англия — 583, 608

Грин Эльмар, писатель, сотрудник журнала «Нева» в 60-е гг., Ленинград — 40

Гринблат Борис Давыдович, главный редактор Пермского областного книжного издательства — 335

Гроссман Василий Семёнович, прозаик, Москва — 511, 564, 593, 634

Гусев Владимир Иванович, прозаик, Москва — 301

Гусев Владимир Михайлович, актёр театра и кино, Москва — 248

Гушин Геннадий, писатель, Барнаул — 330

Давыдычев Лев Иванович, прозаик, Пермь — 14, 72, 278, 641, 650

Дедков Игорь Александрович, литературный критик, Москва — 321, 329

Дементьев Андрей Дмитриевич, поэт, Москва — 459

Дементьев Валерий Васильевич, критик, Москва — 39, 412

Державин Гавриил Романович, поэт — 365

Дефо Даниэль, английский писатель — 242, 565

Джером Клапка Джером, английский писатель — 97

Джонс Джеймс, американский писатель — 326

Дидык Алексей Кондратьевич, командир бригады, в которой воевал В. П. Астафьев — 367. 443, 446

Диккенс Чарльз, английский писатель — 337, 490

Добролюбов Николай Александрович, критик, публицист — 274

Добряков Юрий, писатель, Москва — 161

Догилева Татьяна Анатольевна, актриса театра и кино. Москва — 419

Долматовский Евгений Аронович, поэт, прозаик, Москва — 361. 374

Домнин Алексей Михайлович, поэт, Пермь — 85, 279, 641, 651

Домогацких Михаил, писатель, Москва — 297

Достоевский Фёдор Михайлович, русский писатель — 36. 54, 56, 60, ЮЗ, 144, 145, 197, 242, 375, 378, 386, 482, 566, 632, 645

Драч Иван Фёдорович, украинский писатель — 477, 483, 518

Дудаев Джохар Мусаевич, лидер чеченского сепаратистского движения в 90-е гг. — 554, 577

Дудин Михаил Александрович, поэт, переводчик, Санкт-Петербург — 162, 402

Дудинцев Владимир Дмитриевич, прозаик, Москва — 88

Дуров Лев Константинович, актёр театра и кино, Москва — 337, 496. 533

Евтушенко Евгений Александрович, поэт, прозаик, драматург, Москва — 78, 79

Ежов Николай Иванович, народный комиссар внутренних дел СССР в 1936-1938 гг. - 381

Екимов Борис Петрович, прозаик, публицист, Волгоград — 636

Ельцин Борис Николаевич, первый президент России — 538

Емельяненко Василий Борисович, прозаик. Москва — 663, 682

Ермолинский Сергей Александрович, прозаик, драматург — 418

Есенин Сергей Александрович, поэт — 36, 135, 289, 427, 532, 568

Есин Сергей Николаевич, прозаик, Москва — 610

Ефимовский Александр, директор Суриковской галереи. Красноярск — 655, 671

Жаков Олег Петрович, киноактёр, Москва — 496

Жаров Михаил Иванович, актёр театра и кино, Москва — 38

Жванецкий Михаил Михайлович, писатель-сатирик — 409

Жемчужников Владимир Борисович, прозаик, Иркутск — 198, 219

Жжёнов Георгий Степанович, актёр театра и кино, прозаик, Москва — 361

Жириновский Владимир Вольфович, председатель ЛДПР - 526, 528

Жуков Георгий Константинович, советский военачальник, маршал — 144, 401, 403, 442, 513, 563, 669

Заболоцкий Анатолий Дмитриевич, кинооператор, фотохудожник, Москва — 339, 456, 460, 543, 587, 588

Заволокин Геннадий Дмитриевич, собиратель фольклора, композитор, создатель телевизионной программы «Играй, гармонь», Новосибирск —617

Завражин Иван Сергеевич, поэт, Липецк — 531

Задереев Сергей Константинович, прозаик, Красноярск —

286, 355, 664,

Зазубрин Владимир Яковлевич, прозаик, Москва — 144, 145, 388

Залыгин Сергей Павлович, прозаик, редактор журнала «Новый мир» в 80-90-е гг., Москва - 64, 115, 146, 170, 180, 252, 288. 301. 361. 392. 414, 418, 485, 499, 524, 526, 531, 542, 543, 544, 546, 571

Зебзеева Альмира Георгиевна, директор Пермского областного книжного издательства — 276, 493

Зеленое Владимир Алексеевич, скульптор, Красноярск — 687

Знаменский Анатолий Дмитриевич, прозаик, Краснодар — 56, 170, 409, 410

Золотое Андрей Андреевич, музыковед, Москва — 542, 543, 546

Золотусский Игорь Петрович, критик, Москва — 321

Зубавин Борис Михайлович, прозаик. Москва — 105, 114. 418

Зубов Валерий Михайлович, губернатор Красноярского края в 1993-1998 гг. —554

Зыкина Людмила Георгиевна, певица — 513

Зырянов Александр Петрович, художник, Москва — 493

Зюганов Геннадий Андреевич, лидер КПРФ — 526, 528, 532, 609

Иванов Анатолий Степанович, прозаик, Москва 386. 417, 539

Иванов Всеволод Вячеславович, прозаик, Москва — 144, 145

Иванова Валентина Александровна, секретарь Красноярского крайкома партии в конце 80-х гг. — 420

Иванова Виктория Николаевна, певица — 253, 670

Иванова Наталия Борисовна, критик, Москва — 417

Ивашковский Владимир Иванович, журналист, Иркутск — 393

Ивашов Владимир Сергеевич, актёр театра и кино, Москва — 45

Илизаров Гавриил Абрамович, хирург-травматолог, ортопед — 298

Ильенков Виктор Григорьевич, сотрудник «Роман-газеты» в 60-е гг. — 36

Ильинский Игорь Владимирович, актёр театра и кино — 236

Исаев Егор Александрович, поэт, Москва — 331

Исаев Иван, однополчанин В. П. Астафьева, Воронеж — 289, 596

Кадочников Павел Петрович, актёр театра и кино, Ленинград — 248

Казакевич Эммануил Генрихович, прозаик, Москва — 108, 564

Казаков Юрий Павлович, прозаик, Москва — 88, 281

Казанник Алексей Иванович, государственный и политический деятель, учёный, Москва — 465
Кампанелла Томмазо, итальянский философ и писатель — 94
Капица Сергей Петрович, учёный, популяризатор науки, Москва — 361
Капустин Евгений Фёдорович, главный художник издательства «Советский писатель», Москва — 214, 230, 288, 543
Караваева Анна Александровна, прозаик — 356
Карева Галина Алексеевна, оперная певица — 670
Карамзин Николай Михайлович, историк, писатель — 336, 407, 532, 634
Карелин Лазарь Викторович, прозаик, Москва — 303
Карпов Владимир Васильевич, прозаик, редактор «Нового мира» (1982-1986 гг.), Москва -282, 343, 350, 393, 513, 523
Касаткина Людмила Ивановна, актриса театра и кино, Москва — 138
Катаев Валентин Петрович, прозаик, Москва — 88, 122, 145
Каталь Жан, французский прозаик — 425
Ким Сергей, журналист, друг В. Астафьева, Красноярск — 658
Кио Игорь Эмильевич, артист цирка, иллюзионист, Москва — 568
Кирпонос Михаил Петрович, военачальник — 365, 401
Клиффорд Джеймс (под этим именем некоторое время вынужденно работал Лившиц Владимир Александрович), поэт, Москва — 76, 434, 617
Клыков Вячеслав Михайлович, скульптор, Москва — 645
Ключевский Василий Осипович, историк, член-корреспондент Петербургской Академии наук — 630, 631
Кобенков Анатолий Иванович, поэт, публицист, Иркутск — 340
Кобзев Игорь, сотрудник журнала «Смена» в конце 80-х гг., Москва — 396
Кожевников Вадим Михайлович, прозаик, редактор журнала «Звезда», Москва — 69, 523
Козынцева Анна Епиксимовна, директор библиотеки, с. Овсянка — 506, 623
Колосов Михаил Макарович, прозаик, Москва — 215, 356
Комаров Владимир Михайлович, лётчик-космонавт — 112
Конев Иван Степанович, военачальник, маршал — 401, 669
Конецкий Виктор Викторович, прозаик, Санкт-Петербург — 333, 347, 425, 599
Кононов Михаил Иванович, актёр театра и кино, Москва — 137
Кончаловский Пётр Петрович, художник, Москва — 45

Коржавин Наум Моисеевич, поэт — 575
Корнейчук Александр Евдокимович, украинский писатель — 167
Коротич Виталий Алексеевич, поэт, публицист, редактор журнала «Огонёк» в конце 80-х гг., Москва — 417, 418
Кочетов Всеволод Анисимович, прозаик, Москва — 417, 505, 523
Кравчук Леонид Маркович, первый президент Украины (1991-1994) — 483, 615
Краснов Пётр Николаевич, прозаик, Оренбург — 347
Краснова Нина Петровна, поэтесса, Москва — 427
Краснокутский Хаим Меерович, генерал-майор, участник Великой Отечественной войны —447
Крашенинников Николай, писатель, Пермь — 279, 641, 649
Крупин Владимир Николаевич, прозаик, Москва — 382, 509, 633
Крымов Юрий Соломонович, прозаик, Москва — 62
Кузнецов Александр Николаевич, земляк В. П. Астафьева, прототип главного героя романа «Печальный детектив», Красноярск —516
Кузнецов Анатолий Васильевич, прозаик — 161
Кузнецов Владимир, поэт, Челябинск — 63
Кузнецов Владимир Сергеевич, режиссёр документального кино, Красноярск — 508
Кузнецов Феликс Феодосьевич, критик, литературовед, Москва — 161
Кузнецов Юрий Поликарпович, поэт, Москва — 312
Кураев Михаил Николаевич, прозаик, Санкт-Петербург — 519, 524, 531, 585, 617, 626, 674
Куранов Юрий Николаевич, прозаик, Псков — 212, 220, 229
Курбатов Валентин Яковлевич, литературный критик, публицист, Псков — 224, 230, 298, 323, 343, 355, 416, 421, 473, 517, 562, 562, 599, 621
Курицын Вячеслав Николаевич, критик, Москва —549, 550, 632, 633
Курносенко Владимир Владимирович, прозаик, редактор Челябинского книжного издательства в 80-е гг. — 346, 347, 360
Курочкин Виктор Александрович, прозаик, Ленинград — 245, 298, 564, 576
Курчатов Игорь Петрович, академик, физик-атомщик, Москва — 322
Кутилов Аркадий Павлович, поэт, Омск — 663
Кутузов Михаил Илларионович, полководец, герой Отечественной войны 1812 г. - 535

Кучма Леонид Данилович, премьер-министр (1992-1993), затем президент Украины (1994-2005) - 615
Тавров Кирилл Юрьевич, актёр театра и кино, Санкт-Петербург — 533, 673
Лакшин Владимир Яковлевич, критик, литературовед, Москва — 274
Ланца Марио, американский певец, актёр итальянского происхождения — 41
Ланшиков Анатолий Петрович, публицист, критик, Москва — 224
Ларошфуко Франсуа, французский писатель-моралист — 135
Лебедев Евгений Алексеевич, актёр театра и кино, Санкт-Петербург — 396
Лебедь Александр Иванович, политический и военный деятель, губернатор Красноярского края с 1998 г. — 629, 666
Ленин Владимир Ильич, основатель советского государства — 525
Леонов Леонид Максимович, прозаик, Москва — 62, 135, 231, 350, 542, 543
Леонтьев Валерий Яковлевич, эстрадный певец, Москва — 569
Лермонтов Михаил Юрьевич, поэт, прозаик — 123. 289, 302. 338, 365, 384, 489, 568, 612
Лесков Николай Семёнович, прозаик — 632
Лигачёв Егор Кузьмич, политический деятель — 381
Линкольн Авраам, 16-й президент США — 431
Литвяков Михаил Сергеевич, режиссёр документального кино, Санкт-Петербург - 349, 545, 604, 653, 673
Лиханов Альберт Анатольевич, прозаик, Москва — 216, 375, 380, 397, 543, 633
Лихачёв Дмитрий Сергеевич, филолог, академик — 450
Лиходеев Леонид Израилевич, прозаик, Москва — 433, 434
Лихоносов Виктор Иванович, прозаик, Краснодар —124, 127, 151, 157, 301, 336, 531
Личутин Владимир Владимирович, прозаик, Москва — 301, 457, 464, 465
Лондон Джек, американский писатель — 242
Лосев Алексей Фёдорович, филолог и философ — 571
Лотман Юрий Михайлович, литературовед, Тарту — 571
Лукашенко Александр Григорьевич, президент Белоруссии — 646
Лучко Клара Степановна, киноактриса, Москва — 524
Лыковы, семья староверов — 329, 462
Магомаев Муслим Магометович, оперный и эстрадный певец,

Москва — 329
Макаров Александр Николаевич, литературный критик, Москва — 39,59. 64, ПО, 114, 132, 133, 187, 189, 195, 209, 259, 262, 267, 268, 288, 385, 535, 561, 569, 571, 594, 601, 653, 659
Макаров Александр, прозаик, Пермь — 24, 35
Максимова Екатерина Сергеевна, балерина — 652
Максимов Владимир Емельянович, прозаик, публицист — 88, 532, 575
Максимов Сергей Васильевич, этнограф-беллетрист — 385, 387, 594
Мамонтов Константин, поэт, Белгород — 344
Мандельштам Осип Эмильевич, поэт, переводчик, литературовед — 593
Мансуров Булат Богаутдинович, кинорежиссёр — 240. 246, 248, 259
Манштейн Эрих фон, немецкий фельдмаршал, участник Первой и Второй мировых войн — 365, 401, 441
Маркес Габриэль Гарсия, колумбийский прозаик 306, 395
Марков Георгий Мокеевич, писатель и общественный деятель, Москва 172 266, 281, 353, 488
Марченко Вячеслав Иванович, прозаик, Москва — 263, 264
Марченко Алла, сотрудник журнала «Новый мир» — 542
Матвеев Евгений Семёнович, актёр театра кино, режиссёр, сценарист, Москва - 251
Матросов Александр Матвеевич, Герой Советского Союза, пехотинец, рядовой — 403
Машкин Геннадий Николаевич, прозаик. Иркутск — 160, 638
Маяковский Владимир Владимирович, поэт —135
Мельников-Печерский Павел Иванович, прозаик — 347, 350, 379, 380
Менделеев Дмитрий Иванович, учёный и общественный деятель — 662
Мень Александр Владимирович, священник —574
Мехлис Лев Захарович, государственный и военный деятель — 365, 401, 441, 442
Милорадович Михаил Андреевич, генерал и государственный деятель, участник войн против Наполеона — 442
Митчелл Маргарет, американская писательница — 593
Михайлов Александр Алексеевич, критик, литературовед, Москва — 188, 535, 541, 542, 616
Михалков Никита Сергеевич, актёр, режиссёр, Москва — 571, 654 Михалков Сергей Владимирович, поэт, драматург, Москва — 324, 353, 381
Можаев Борис Андреевич, прозаик, Москва — 141, 157, 252,

286
Молдавский Дмитрий Михайлович, литературный критик, Ленинград —292
Молчанов И.Н., поэт, прозаик — 21
Молчанов Кирилл, композитор — 287, 313
Морозов Василий, историк, Москва — 325, 326
Моруа Андре, французский писатель — 104
Моцарт Вольфганг Амадей, австрийский композитор — 302, 423, 568, 646, 689 Моэм Сомерсет, английский писатель — 569
Мравинский Евгений Александрович, дирижёр, Ленинград — 478, 543
Муссолини Бенито, итальянский политический деятель — 404
Нагибин Юрий Маркович, прозаик, кинодраматург, Москва — 83, 594
Назарбаев Нурсултан Абишевич. президент Казахстана —530
Назаровский Борис Никандрович, литературовед, редактор Пермского книжного издательства - 18, 43, 44, 147, 641, 648, 649, 650
Наумов Владимир Наумович, кинорежиссёр, сценарист, Москва — 103
Некрасов Виктор Платонович, прозаик — 564
Некрасов Николай Алексеевич, поэт, писатель, публицист — 144, 317, 667
Нелюбин Василий Владимирович, журналист, Красноярск — 557
Немзер Андрей Семёнович, критик, историк литературы, Москва — 549
Нестеренко Евгений Евгеньевич, оперный певец, Москва — 405, 670
Нестеров Михаил Васильевич, художник, Москва — 484
Никитинский Леонид, журналист, Москва — 582
Николаева Галина Евгеньевна, прозаик. Москва — 132
Николаева Олеся Александровна, поэтесса, Москва — 489
Николаенко Пётр Герасимович, однополчанин В. П. Астафьева — 367, 458, 646. 653, 684, 685
Никонов Анатолий Васильевич, сотрудник издательства «Молодая гвардия» — 68
Никонов Николай Григорьевич, прозаик, Екатеринбург — 279
Никулин Лев Вениаминович, очеркист, прозаик. Москва — 31, 33, 135
Никулин Юрий Владимирович, артист цирка и кино, Москва — 387, 634
Нилин Павел Филиппович, писатель, драматург, сценарист,

Москва — 350
Новиков Анатолий Григорьевич, композитор, Москва — 35
Ницше Фридрих Вильгельм, немецкий философ — 135
Новосельский Алексей Степанович, поэт, Екатеринбург — 18
Носов Евгений Иванович, прозаик, Курск - 39, 77, 88, 108, 109, 139, 157, 185, 186, 192, 198, 214, 221, 252, 283, 286, 322, 410, 440, 512., 517, 541, 585, 594, 601, 616, 661
Оболенская Вера Аполлоновна, княгиня, героиня Движения Сопротивления во Франции — 406, 407, 408
Обухова Надежда Андреевна, оперная певица, Москва — 265
Овчинников Вячеслав Александрович, композитор. Москва — 434
Огнев Владимир Фёдорович, критик, Москва — 506, 508
Окуджава Булат Шалвович, поэт, прозаик, Москва — 531,
Олдингтон Ричард, английский писатель — 112
Орлов Сергей Сергеевич, поэт, Москва —162, 215
Осипов Валентин, прозаик, Москва — 593
Островский Николай Алексеевич, прозаик, Москва — 176, 356
Отец Геннадий (Фаст), протоиерей, Енисейск —561
Отец Михаил (Капралов), протоиерей, духовный наставник В. П. Астафьева, Красноярск, Барнаул — 425, 687
Павлов Виктор Павлович, актёр театра и кино, Москва — 419
Павлов Олег Олегович, прозаик, Москва —583
Павлычко Дмитро Васильевич, украинский писатель — 477
Падерин Иван Григорьевич, прозаик, Москва — 40, 45, 83
Пакулов Глеб Иосифович, прозаик, Иркутск — 198, 204, 219, 661
Панфёров Фёдор Иванович, прозаик, Москва — 38, 281, 523
Панченко Николай Васильевич, поэт — 669
Папанов Анатолий Дмитриевич, актёр театра и кино, Москва — 303, 337, 495, 496, 537
Паустовский Константин Георгиевич, прозаик, Москва — 135, 281
Первенцев Аркадий Алексеевич, прозаик, Москва — 287
Песков Василий Михайлович, писатель, публицист, Москва — 327
Петкевич Инга, прозаик, Москва — 543
Петренко Алексей Васильевич, актёр театра и кино, Москва — 496, 543
Петров Пётр Поликарпович, сибирский прозаик — 144, 145, 370
Петрушевская Людмила Стефановна, прозаик, драматург, Москва — 419
Пикуль Валентин Саввич, прозаик, Рига — 481

Пирогов Александр Степанович, оперный певец, Москва — 93, 280, 281
Писарев Дмитрий Иванович, критик, публицист — 23, 44, 274, 662
Платов Матвей Иванович, атаман Донского казачьего войска, герой войны 1812 г. - 442
Платонов Андрей Платонович, прозаик, Москва — 78, 103, 369
Поздеев Андрей Геннадьевич, художник, Красноярск — 380
Познер Владимир Владимирович, тележурналист, Москва — 432
Покрышкин Александр Иванович, лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны — 552
Полевой Борис Николаевич, прозаик, журналист, Москва — 287
Полехина Любовь Тимофеевна, актриса кино — 248
Политов Виктор, прозаик, Саратов — 185, 201, 263, 264
Полозков Иван Кузьмич, партийный деятель 460
Полонский Яков Петрович, поэт — 470
Полторанин Михаил Никифорович, журналист, государственный деятель. Москва — 539, 567
Польских Галина Александровна, актриса кино, Москва — 524
Поляновский Эдвин, журналист, Москва — 451
Понаровская Ирина Витальевна, эстрадная певица, Санкт-Петербург — 569
Пепеляев Григорий Иванович, редактор газеты «Чусовской рабочий» — 18, 563
Попов Виктор Михайлович, прозаик, Пермь — 276
Попов Евгений Григорьевич, хормейстер — 427
Постников Леонард Дмитриевич, директор Музея истории реки Чусовой, г. Чусовой - 463, 485, 494, 539, 547, 574, 617, 631
Потанин Виктор Фёдорович, прозаик. Курган — 151, 192, 256, 301, 531. 585
Потылицына Галина Николаевна, двоюродная сестра В. П. Астафьева — 689
Правдин Лев Николаевич, писатель, Пермь — 648. 649, 650
Прасолов Алексей Тимофеевич, поэт, Воронеж — 289, 290, 291, 340, 355, 498
Прокофьев Александр Андреевич, поэт, Ленинград — 67
Проскурин Пётр Лукич, прозаик, Москва — 337
Проханов Александр Андреевич, прозаик, Москва — 532, 539, 549, 599, 608
Прохоренко Жанна Трофимовна, актриса театра и кино,

Москва — 45
Пугачёва Алла Борисовна, эстрадная певица — 305. 569
Пушкин Александр Сергеевич, поэт, прозаик, драматург — 132, 144, 242, 284, 336, 342, 365, 417, 450, 459, 468, 482, 488, 490, 511, 512, 568, 573, 602, 632, 633, 643
Пчёлкин Анатолий Александрович, писатель, Магадан — 674
Пырьев Иван Александрович, кинорежиссёр, Москва — 103
Пьянков Юрий, композитор, Москва — 313
Радзинский Эдвард Станиславович, драматург, Москва — 419
Раевский Николай Николаевич, герой войны 1812 г., генерал — 400, 442, 535
Райхман Борис, однополчанин В. П. Астафьева — 443, 454
Распутин Валентин Григорьевич, прозаик, Иркутск — 157, 160, 170, 193, 194, 197, 271, 281, 295, 301, 308, 347, 351, 356, 358, 373, 382, 385, 387, 395, 414, 418, 421, 479, 480, 485, 528, 529, 532, 608, 633, 661, 681
Рафаэль Санти, итальянский живописец — 323, 489, 568
Рахманинов Сергей Васильевич, композитор, пианист, дирижёр — 489
Рсксмчук Александр Евсеевич, прозаик, киносценарист, Москва — 76
Ремарк Эрих Мария, немецкий писатель — 36, 39, 54. 581
Реутов Иван Тимофеевич, прозаик, Чусовой — 15, 19, 20, 278
Решетов Алексей Леонидович, поэт, Пермь — 279. 329, 636, 639, 654, 655
Рид Джон, американский журналист, писатель — 36
Римская Людмила Сергеевна, директор Пермского книжного издательства в 50-е гг. - 13, 17, 641
Рихтер Ганс Вернер, немецкий писатель-антифашист — 53
Рихтер Святослав Теофилович, пианист, Москва — 543, 546
Роговцева Ада Николаевна, актриса театра и кино —175
Рождественская Клавдия Васильевна, прозаик, ответственный секретарь Пермской областной писательской организации (1949-1955) — 13, 20, 26, 641, 646, 647. 648, 649, 650, 651
Рождественский Игнатий Дмитриевич, школьный учитель В. П. Астафьева — 117, 147, 148, 152, 158, 161, 172, 200, 194
Рождественский Роберт Иванович, поэт. Москва — 52
Розенбаум Александр Яковлевич, певец, композитор, Санкт-Петербург — 417 Розов Виктор Сергеевич, драматург, Москва — 531
Рокоссовский Константин Константинович, советский военачальник — 669
Романов Александр Александрович, поэт, Вологда — 139, 143, 151, 169

Романов Борис Степанович, прозаик, Новгород 600
Ромм Михаил Ильич — 251
Ростовцев Юрий Алексеевич, редактор журнала «Студенческий меридиан» — 362, 542
Ротару София Михайловна, эстрадная певица — 305
Рубцов Николай Михайлович, поэт, Вологда — 143. 172, 180, 195, 232, 267, 290, 340, 498. 597, 610, 644, 645, 655, 658, 659. 664
Руцкой Александр Владимирович, государственный и политический деятель — 511, 582
Ручьёв Борис Александрович, поэт, Магнитогорск — 340
Рушева Надежда, художник-график — 516
Рыбак Натан Самойлович, украинский писатель — 37
Рыбаков Анатолий Наумович, прозаик — 419
Рыбаков Борис Александрович, археолог и историк, академик, Москва — 339
Рыбкин Иван Петрович, государственный и политический деятель — 539
Ряннель Тойво Васильевич, художник, Красноярск — 380
Сагдеев Роальд Зиннурович, физик, академик — 361
Самсонов Александр, историк — 325. 326
Сапиро Евгений Саулович, председатель Законодательного собрания Пермской области в конце 90-х гг. — 605
Сапиро Саул Исаевич, прозаик, Пермь — 278
Сапожников Владимир Константинович, прозаик, Новосибирск — 84, 85, 88, 151
Сапронов Геннадий Константинович, журналист, книгоиздатель, Иркутск — 393, 506, 508, 523, 662, 664, 680
Сартаков Сергей Венедиктович, прозаик, Москва — 172, 208, 281
Сбитнев Юрий Николаевич, прозаик, Москва — 38
Светловидов Николай Афанасьевич, театральный актёр — 38
Свиридов Георгий Васильевич, композитор, Москва — 543
Свифт Джонатан, английский писатель — 564
Сейфуллина Лидия Николаевна, прозаик — 144. 145
Селезнёв Юрий Иванович, критик, Москва — 195. 241. 377, 571
Селиверстов Юрий Иванович, художник-график, Москва — 446
Селянкин Олег Константинович, прозаик, Пермь — 27, 278, 574, 636, 648, 650
Семёнов Георгий Витальевич, прозаик, Москва — 523
Сервантес Мигель де. испанский писатель — 489, 563
Сергеев Марк Давыдович, поэт, прозаик, публицист. Иркутск — 421

Сидоркин Василий Несторович, профессиональный охотник, Енисейск —
527, 592, 667, 680
Симонов Константин Михайлович, прозаик, поэт, драматург, Москва — 178, 507, 552
Симонов Николай Константинович, актёр театра и кино, Ленинград — 571
Склифосовский Николай Васильевич, профессор, хирург — 455
Смеляков Ярослав Васильевич, поэт, Москва — 249
Смирнов Сергей Сергеевич, прозаик, Москва — 35, 77, 669
Смоктуновский Иннокентий Михайлович, актёр театра и кино, Москва — 571
Соболев Анатолий Пантелеевич, прозаик, Калининград — 371. 392, 476, 495
Соболев Леонид Сергеевич, прозаик, Москва — 35, 67, 71, 73, 114, 476
Соколов Василий Иванович, воспитатель детдома г. Игарки в 30-е гг. — 199, 242
Соколов Виталий, собкор «Комсомольской правды» в Германии в 80-е гг. — 362
Соколова (Ингрида) Ида Николаевна, критик, литературовед, переводчик, Рига - 108
Сокуров Александр Николаевич, кинорежиссёр, сценарист. Москва — 644
Солженицын Александр Исаевич, прозаик, Москва — 49, 56, 77, 88, 120, 159, 160, 161, 336, 407, 414, 432, 521, 537, 538, 564, 571, 572, 644
Солнцев Роман Харисович, поэт, прозаик, драматург, редактор журнала «День и ночь», Красноярск - 338, 340, 247, 376, 389, 553, 688
Солоухин Владимир Алексеевич, прозаик, поэт, Москва — 60, 67, 531
Сорокин Валентин Васильевич, поэт, публицист, Москва — 253
Софронов Анатолий Владимирович, поэт, драматург, Москва — 67, 103, 151, 386, 417, 481, 610
Спешилов Александр Николаевич, писатель, Пермь — 641, 648
Стаднюк Иван Фотиевич, прозаик, драматург, Москва — 564
Сталин Иосиф Виссарионович, государственный, политический и военный деятель - 323, 402, 403, 410, 433, 441, 525, 555, 566
Стейнбек Джон, американский писатель — 42. 49, 137, 161

Стиль Андре, французский писатель — 161
Стржельчик Владислав Игнатьевич, актёр театра и кино, Санкт-Петербург — 138
Суворов Александр Васильевич, полководец — 575
Суворов Евгений Адамович, прозаик, Иркутск — 198
Суриков Василий Иванович, художник — 171, 323
Сурков Алексей Александрович, поэт, Москва — 88
Сухов Фёдор Григорьевич, поэт. Нижний Новгород — 340
Табаков Олег Павлович, актёр театра и кино, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова — 681
Тарасова Маргарита Вениаминовна, художественный редактор Пермского областного книжного издательства — 493
Твардовский Александр Трифонович, поэт, редактор журнала «Новый мир» в 1950-1954 и в 1958-1970 гг. - 39, 75, 76, 77, 84, 134, 172, 179, 249. 316, 361. 386, 388, 406, 417. 521, 564, 571, 658
Тендряков Владимир Фёдорович, прозаик, Москва — 186,
Титов Александр Александрович, прозаик, г. Санкт-Петербург — 302
Ткачёвы Алексей и Сергей, художники. Москва — 337
Товстоногов Георгий Александрович, театральный режиссёр и педагог, Ленинград — 324, 571. 672
Токарева Виктория Самойловна, прозаик, Москва 377
Толстиков А. М., журналист, Чусовой 18. 19, 20, 33
Толстой Владимир Ильич, директор музея «Ясная Поляна», праправнук Л. Н. Толстого — 654
Толстой Лев Николаевич, прозаик, мыслитель, публицист — 35, 36, 131, 144, 145, 179, 197, 242, 260, 261, 417, 433, 482, 489, 517, 566, 569, 593, 618. 619. 620, 632
Тосканини Артуро, итальянский дирижёр — 543, 546, 689
Трамбо Дальтон, американский писатель — 537, 581
Трегубович Виктор Иванович, кинорежиссёр — 576
Третьяков Виктор Викторович, скрипач — 569
Трифонов Юрий Валентинович, прозаик, Москва — 386
Троепольский Гавриил Николаевич, прозаик, Воронеж — 157, 166, 371, 381
Трошкин Владлен Павлович, кинорежиссёр, Москва — 249
Тупиха Михаил Антонович, однополчанин В. П. Астафьева, Краснодар — 368
Тургенев Иван Сергеевич, прозаик — 144, 242, 293, 319, 459, 490, 512
Тухачевский Михаил Николаевич, военный деятель, маршал — 410
Тушнова Вероника Михайловна, поэтесса —112
Тютчев Фёдор Иванович, поэт — 163. 426. 496. 629

Уваров Виталий Сергеевич, сотрудник журнала «Знамя» в 60-е гг. — 64

Ульянов Михаил Александрович, актёр театра и кино, художественный руководитель театра им. Е. Вахтангова. Москва — 265, 270. 302, 305, 337, 349, 496, 621

Умалатова Сажи Зайндиновна, политический "деятель" — 528

Урбанский Евгений Яковлевич, актёр театра и кино, Москва — 45

Уханов Иван, прозаик, Оренбург — 347

Фалеев Александр Александрович, прозаик. Москва — 159, 161

Фёдоров Василий Дмитриевич, поэт. Москва — 39, 388

Фёдорова Аида, писатель, Красноярск — 557

Фёдоровский Евгений, киносценарист — 297

Фейхтвангер Лион, немецкий писатель — 539

Феллини Федерико, итальянский кинорежиссёр — 319

Фервурд Хендрик, идеолог апартеида в ЮАР — 91

Фет Афанасий Афанасьевич, поэт, переводчик — 470, 512

Фетин Владимир Александрович, кинорежиссёр, Москва — 249, 670

Филиппович Александр, писатель, Свердловск — 236, 264, 281, 282

Флобер Гюстав, французский писатель — 82

Фокин Валерий Владимирович, театральный режиссёр, Москва —419

Фокина Ольга Александровна, поэтесса, Вологда —143

Фрадкин В. З.. прозаик, Пермь — 21

Франко Франсиско, правитель и диктатор Испании — 391

Фролов Леонид, директор издательства «Современник» — 337

Хайрюзов Валерий Николаевич, прозаик, Иркутск — 466

Харитонов Владимир Гаврилович, поэт, автор стихов к песням, Москва — 35

Хворостовский Дмитрий Александрович, оперный певец — 569, 629, 670

Хемингуэй Эрнест, американский писатель — 36

Хидиятуллин Вагиз Назирович, футболист — 377

Хиль Эдуард Анатольевич, эстрадный певец — 305

Хименес Хуан Рамон, испанский поэт — 549

Хомяков Олег Михайлович, прозаик, г. Шарья Костромской области — 594, 595, 629

Хрущёв Никита Сергеевич, государственный и политический деятель — 117, 378, 402, 404

Царёв Михаил Иванович, актёр театра и кино, режиссёр — 38

Цвейг Стефан, австрийский писатель — 131

Чаадаев Пётр Яковлевич, философ и публицист — 132
Чайковский Пётр Ильич, композитор — 423,434.493
Чаковский Александр Борисович, прозаик, главный редактор «Литературной газеты» (1962-1988) - 77, 341, 386, 564
Черкасов Александр Александрович, инженер, писатель конца XX в. — 76, 144, 226. 390 71К
Черкасов Алексей Тимофеевич, прозаик, Красноярск - 71, 617
Черкасский Михаил, прозаик. Санкт-Петербург — 5А-/
Черненко Владимир Александрович, прозаик, ответственный секретарь Пермской областной писательской организации в 60-е гг. — 45 252. 648, 649
Черниченко Юрий Дмитриевич, прозаик, публицист. Москва — 356, 479
Черчилль Уинстон, британский государственный и политический деятель — 351, 403
Чехов Антон Павлович, прозаик драматург — 39, 98, 99, 144, 172, 183, 577, 635
Чухонцев Олег Григорьевич, поэт, Москва - 531. 544
Чухрай Григорий Наумович, кинорежиссёр, Москва - 45
Шадринов Вячеслав Фёдорович, фронтовой друг В. П. Астафьева, Темиртау — 277, 367, 471, 508, 519, 685
Шаламов Варлам Тихонович, прозаик, Москва — 649
Шаповалов Георгий Фёдорович, однополчанин В. П. Астафьева — 367, 685
Шастин Анатолий Михайлович, прозаик, Иркутск — 316.
Шевелёва Екатерина Васильевна, поэтесса — 513
Широков Евгений Николаевич, художник, Пермь — 204. 547. 631, 681
Ширшов Борис Валентинович, поэт. Пермь — 24, 25, 641
Шишков Вячеслав Яковлевич, прозаик, Москва — 34, 36, 37, 62. 97. 144. 145
Шкловский Виктор Борисович, прозаик, литературовед, сценарист, Москва —135
Шлёнская Галина Максимовна, профессор Красноярского государственного университета — 662
Шмелёв Иван Сергеевич, прозаик — 523
Шмыров Виктор Александрович, председатель Пермского отделения общества «Мемориал» - 539, 598, 608, 631
Шней-Красиков Константин Николаевич, прозаик, драматург. Красноярск — 313
Шолохов Михаил Александрович, прозаик — 62, 252, 414, 592, 593
Шопен Фредерик, польский композитор и пианист — 423
Штильмарк Роберт Александрович, прозаик, журналист —356

Штраус Иоганн, австрийский композитор — 302
Шуберт Франц, австрийский композитор — 423, 489. 568, 646, 689
Шугаев Вячеслав Максимович, прозаик — 189, 198, 219
Шукшин Василий Макарович, прозаик, актёр, режиссёр, Москва — 192, 195, 206, 208, 249. 251. 268, 270, 273, 275, 329, 337, 425. 495, 522, 576, 619, 688
Щукин Михаил Николаевич, прозаик, Новосибирск — 440
Щуплецов Сергей Борисович, чемпион мира по фристайлу — 463, 574,604
Эйдельман Натан Яковлевич, прозаик, литературовед, Москва — 379, 418, 575
Эфрос Анатолий Васильевич, театральный режиссер, Москва — 571
Юрлов Александр Александрович, хормейстер, Москва — 304
Юровский Яков Михайлович, партийный и государственный деятель, один из участников расстрела Николая и его семьи —379
Юровских Василий Иванович, прозаик, Курган — 264, 286
Яковлев Александр Николаевич, секретарь ЦК КПСС в 80-е гг. — 393
Яковлев Альберт Сергеевич, прозаик, Свердловск — 45, 74
Яковлев Егор Владимирович, журналист, Москва — 554, 672
Яновский Николай Николаевич, критик, литературовед, Новосибирск — 71, 75, 76, 85, 220, 255, 298, 343, 413, 467
Ярошевская Валентина Михайловна, директор Красноярского краеведческого музея — 362, 557, 690
Яхнин Золий, поэт, Красноярск — 71
Яхонтова Зоя Николаевна, зав. редакцией прозы издательства «Молодая гвардия», Москва — 212
Яшин Александр Яковлевич, поэт, прозаик, Вологда — 64, 172, 180, 522
Яшин Лев Иванович, футболист, вратарь — 38

Содержание

Г. Сапронов. Вечно наш _____5
Нет мне ответа... Эпистолярный дневник 1952-2001 ___11
Прощаюсь (затесь) _____691
Указатель адресатов _____692
Указатель имён _____698